Александр Герцен



ГЛАВНЫЕ КНИГИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Былое и думы

В ДВУХ ТОМАХ

Уникальный для русской литературы своего времени синтез автобиографии, исторической хроники и политической публицистики. Историческое для Герцена важнее личного, но в итоге у него получается одна из самых откровенных книг XIX века.

альпина ПРОЗА ПОЛКА

Былое и думы

Александр Иванович Герцен

Аннотация
Александр Герцен. Былое и думы
Предисловие «Полки»
О чем эта книга?
Когда она написана?
Как она написана?
Как она была опубликована?
Что на нее повлияло?
Как ее приняли?
Что было дальше?
В каком жанре написана книга?
Что заставило Герцена написать такую странную исповедь?
Что думал Герцен об эмансипации?
Правда ли то, о чем пишет Герцен?
Как относится автор к своему читателю?
Как показана политическая власть в книге Герцена?
Насколько однозначен Герцен в своих оценках?
Относятся ли высказываемые Герценом принципы к нему самому?

Как Герцен понимает смысл истории?
Как повлияла книга Герцена на восприятие русской истории?
Что думал Герцен об истории западной европы?
Былое и думы. Том I
<Предисловие>
Часть первая. Детская и университет. (1812–1834)
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV. Ник и Воробьевы горы
Глава V
Глава VI
Глава VII
Прибавление. А. Полежаев
Часть вторая. Тюрьма и ссылка. (1834–1838)
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV

Глава XVI. Александр Лаврентьевич Витберг
Глава XVII
Глава XVIII. Начало владимирской жизни
Часть третья. Владимир-на-Клязьме. (1838–1839)
Глава XIX. Княгиня и княжна
Глава XX. Сирота
Глава XXI. Разлука
Глава XXII. В Москве без меня
Глава XXIII. Третье марта и девятое мая 1838 года
Глава XXIV. 13 июня 1839 года
<Письма к Н. А. Захарьиной>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предисловия. Переводы. Отрывки
Братьям на Руси
К первой части
<Предисловие>

<Все несчастие борьбы…>
<Из III главы>
Ко второй части
Введение <к первому изданию «Тюрьмы и ссылки»>
Ко второму изданию <«Тюрьмы и ссылки»>
К третьей части
<Предисловие>
Часть четвертая. Москва, Петербург и Новгород. (1840–1847)
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX. Наши
I
II
Глава XXX. Не наши
I
II
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Н. Х. Кетчер. (1842–1847)
Эпилог
Эпизод из 1844 года

Предисловия к ранним публикациям
<Предисловие к главам четвертой части, опубликованным в «Полярной звезде»>
Между четвертой и пятой частью
Приложение. Из дневника Н. А. Герцен
Часть пятая. Париж – Италия – Париж. (1847–1852)
Перед революцией и после нее
Глава XXXIV. Путь
Глава XXXV. Медовый месяц республики
Западные арабески. Тетрадь первая
I. Сон
II. В грозу
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Западные арабески. Тетрадь вторая
I. Il pianto
II. Post scriptum
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Раздумье по поводу затронутых вопросов
I
II
III

Глава XLII
Былое и думы. Том II
Часть пятая. (окончание)
<Рассказ о семейной драме>
I
Приметы
Тифоидная горячка
II
III. Кружение сердца
IV
Еще год
V
VI. Oceano nox
(1851). I
II
VII
VIII
Post scriptum
Прибавление
Гауг
Теддингтон. Перед отъездом
После приезда
Русские тени
I. Н. И. Сазонов
II. Энгельсоны
I

II
III
IV
V
VI
VII
Часть шестая. Англия. (1852–1864)
Глава I. Лондонские туманы
Глава II. Горные вершины
Глава III. Эмиграции в Лондоне
Прибавление
<Глава IV>. Два процесса
1. Дуэль
Бартелеми
<Глава V>. «Not guilty»
<Глава VI>
Польские выходцы
<Глава VII>. Немцы в эмиграции
<Глава VIII>
Лондонская вольница шестидесятых годов
<Глава IX>. Роберт Оуэн
Посвящено К<авелин>у
I
II
III
IV

V
<Глава X>. Camicia rossa
I. В Брук гаузе
II. В Стаффорд гаузе
III. У нас
IV. 26, Prince’s Gate
Часть седьмая. <Вольная русская типография и «Колокол»>
<Глава I>. Апогей и перигей. (1858–1862)
I
II
III. 1862
<Глава II>. В. И. Кельсиев
<Глава III>. <Молодая эмиграция>
<Глава IV>. М. Бакунин и польское дело
<Приложение. Обращения к комитету русских офицеров в Польше>
<Глава V>. Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley & Co
I
II. Lapinski-colonel. Polles-aide de camp
<Глава VI>. Pater V. Petcherine
<Глава VII>. И. Головин
Часть восьмая. <Отрывки>. (1865–1868)
<Глава I>. Без связи
I. Швейцарские виды

II. Болтовня с дороги и родина в буфете
III. За Альпами
IV. Zu Deutsch
V. С того и этого света
I. С того
II. С этого
<Глава II>. Venezia la bella. (Февраль 1867)
<Глава III>. La belle France
I. Ante portas
II. Intra muros
III. Alpendrücken
IV. Даниилы
V. Светлые точки
VI. После набега
Старые письма. (Дополнение к «Былому и думам»)
Письмо Николая Алексеевича Полевого
Из писем Виссариона Григорьевича Белинского
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
Из писем Тимофея Николаевича Гранов-ского
I
II
III
IV
V
Письмо Петра Яковлевича Чаадаева
Из Писем П. Ж. Прудона
I
II
Письмо Томаса Карлейля
Рекомендуем книги по теме
Примечания

Аннотация

Уникальный для русской литературы своего времени синтез автобиографии, исторической хроники и политической публицистики. Историческое для Герцена важнее личного, но в итоге у него получается одна из самых откровенных книг XIX века.

О серии

«Главные книги русской литературы» – совместная серия издательства «Альпина. Проза» и интернет-проекта «Полка». Произведения, которые в ней выходят, выбраны современными писателями, критиками, литературоведами, преподавателями. Это и попытка определить, как выглядит сегодня русский литературный канон, и новый взгляд на известные произведения: каждую книгу сопровождает подробная статья авторов «Полки».

Александр Герцен
Былое и думы

Текст печатается по изданию: Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 8–10. — М.: АН СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 1956.

Главный редактор *С. Турко*
Руководитель проекта *Л. Разживайкина*
Корректоры *М. Конопкин, Е. Аксёнова*
Компьютерная верстка *А. Абрамов*
Художественное оформление и макет *Ю. Буга*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов

и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Зубков К., предисловие, 2022
© ООО «Альпина Паблишер», 2024

* * *

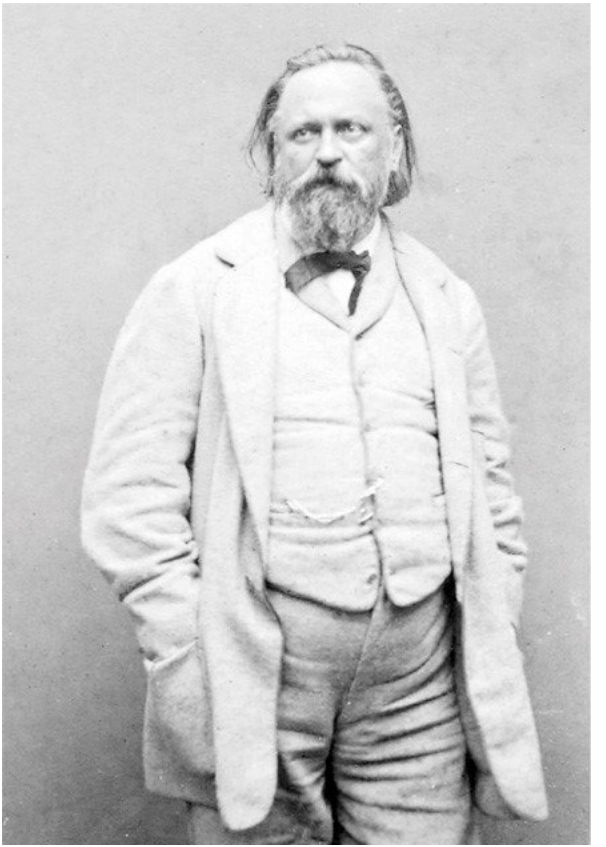


Александр Герцен.
Фотография Сергея Левитинского

1861 год[1]

[1] Сноски: 1

Александр Герцен, 1861 год. Фотография Сергея Левитинского. © Getty Images.



Александр Герцен.
Фотография Этьенна Каржа

1860-е гг.
Государственный литературный музей



Былое и думы

Предисловие «Полки»

Уникальный для русской литературы своего времени синтез автобиографии, исторической хроники и политической публицистики. Историческое для Герцена важнее личного, но в итоге у него получается одна из самых откровенных книг XIX века.

Кирилл Зубков



О чем эта книга?

Согласно формулировке самого Герцена, главная тема его монументального автобиографического произведения — «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Автор «Былого и дум» пытается показать, как индивидуальная жизнь и общественно-политическая история Европы переплетаются, отражаются друг в друге и определяют друг друга. Герцен рассказывает о событиях своей жизни с исключительной, подчас удивляющей даже современного читателя откровенностью — однако ему интересно не просто выразить собственные чувства, но и показать, как важнейшие события, определившие дух эпохи, повлияли на формирование его личности, способность думать и переживать именно так, как он думает и переживает. По этой причине он уделяет не менее пристальное внимание характерам и личностям его знакомых — от управляющего III отделением Леонтия Дубельта до Карла Маркса, от Николая Первого до Петра Чаадаева, от своей жены Натальи до университетских профессоров.

Когда она написана?

Герцен начал работать над автобиографическими произведениями еще в молодости. Замысел обширного повествования о собственной жизни возник у Герцена после гибели его жены в 1852 году, последние же главы были завершены в 1868-м, незадолго до смерти писателя. Особенно важно, что книга Герцена появилась в эпоху, когда особым вниманием пользовались именно невымышленные или по крайней мере не вполне вымышленные произведения — «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина, «Семейная хроника» Аксакова, ранняя проза Льва Толстого. Следы напряженной, долгой и неравномерной работы над книгой бросаются в глаза при чтении. Герцен так охарактеризовал эту особенность своего произведения: «“Былое и думы” не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений — мне бы не хотелось стереть его».

Как она написана?

Повествование постоянно переключается между разными планами, подчиняясь центральной авторской задаче — связать личное и историческое воедино. Яркий пример — финал третьей части книги, где Герцен рассказывает, как узнал о первой беременности жены, — и быстро переходит от описания собственных эмоций к размышлениям о том, как в современной культуре относятся к беременным, а после — к обсуждению общественного положения женщины вообще. Особенно выразительное проявление ужасного отношения к женщине — всеобщее равнодушие к проблемам проституции. Здесь Герцен вновь возвращается к личному опыту: рассказывает, как несколько раз случайно повстречался в Лондоне с «падшей женщиной» и какое сильное впечатление произвела на него ее готовность жертвовать всем ради своего ребенка. После этого он вновь обращается к теме беременности.

Так же меняется и тон рассказчика, постоянно переключающийся между разными регистрами: он обличает, смеется, кается, грустит о прошлом.

Однако за всеми этими многообразными темами, интонациями и вопросами постоянно звучит герценовский голос, который ни с чем невозможно спутать. Писатель постоянно призывает читателя как-то отреагировать на свои слова, привлекает внимание неожиданным ходом мысли, парадоксальными ассоциациями и сравнениями. Чтобы выразить сложную смесь эмоций, Герцен часто нарушает сложившиеся нормы литературного языка и пишет нарочито неправильно. Однако напряженную, никогда не задерживающуюся на месте мысль Герцена трудно было бы передать по-другому. Например, вспоминая о неожиданном визите жандарма, Герцен пишет: «Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову…» — математическое словечко «равняться» здесь не очень уместно с точки зрения языковых норм его времени, однако прекрасно передает абсурдность ситуации: если черепица падает на человека, это можно объяснить только несчастным случаем, однако при появлении российского полицейского такие неприятные «случайности» начинают происходить с железной необходимостью. Вообще язык естественных наук — важный источник стиля Герцена: достаточно вспомнить, что некоторых

не особо самостоятельных революционеров он классифицирует как растения, деля на «тайнобрачных» и «явнобрачных»[2].



[2] Сноски: 2

К явнобрачным относятся цветковые и голосеменные растения, к тайнобрачным — мхи, хвощи и папоротники. Эта классификация была придумана ученым Карлом Линнеем в XVIII веке, в настоящее время она устарела.

Первый выпуск альманаха «Полярная звезда». Вольная русская типография, 1855 год[3]

[3] Сноски: 3

Первый выпуск альманаха «Полярная звезда». Вольная русская типография, 1855 год. Из открытых источников.

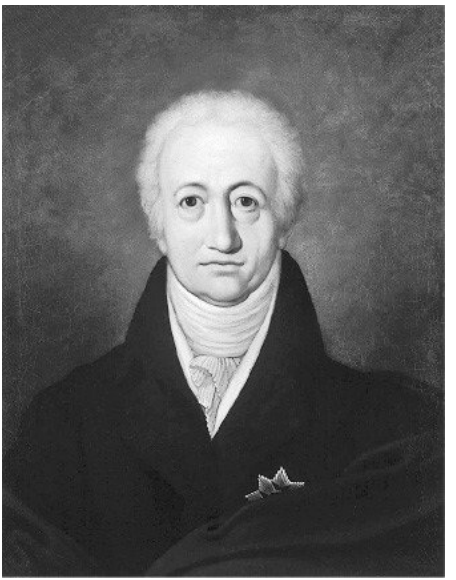
Как она была опубликована?

Как и многие произведения той эпохи, например романы Достоевского, книга писалась параллельно публикации: когда первые ее части увидели свет, Герцен еще даже не приступал к последним. При этом некоторые фрагменты, особенно относящиеся к семейной драме Герцена, автор не хотел публиковать при жизни. Отдельные разделы «Былого и дум» печатались в лондонской типографии Герцена, преимущественно в составе альманаха «Полярная звезда». Герцен также предпринимал отдельные издания некоторых частей своей книги; оставшиеся в рукописи фрагменты наследники писателя печатали после его смерти. Полное издание «Былого и дум» было осуществлено только в 1919–1920 годы, уже в советской России. До сих пор остается серьезной проблемой порядок, в котором должны следовать некоторые главы книги, не опубликованные при жизни писателя: не вполне понятно, как автор планировал их расположить.

Что на нее повлияло?

«Былое и думы» — очень необычное произведение, и точно установить источники влияния непросто. Герцен постоянно цитирует Пушкина, Гоголя, Грибоедова — однако в их произведениях он вряд ли мог найти образцы той специфической формы повествования, которую стремился создать в своей книге. До некоторой степени на Герцена могли повлиять произведения Гёте и Гейне. В романах Гёте о Вильгельме Мейстере Герцен мог бы найти образец обширного произведения о постепенном формировании человеческой личности, в гётевской книге «Поэзия и правда» — автобиографическое повествование, где жизнь автора тесно связана с повстречавшимися на его пути личностями и событиями разных эпох и стран. Проза Гейне могла бы пригодиться Герцену как образец свободного переключения между самыми разными эмоциональными и стилистическими регистрами, которые крепко сшиваются в одно целое благодаря единым, хорошо узнаваемым авторским интонациям. Сочетание постоянной иронии и пронзительных исповедальных интонаций

в «Былом и думах» — тоже очень «гейневское». Однако ни Гёте, ни Гейне не снимали столь решительно границы между частным и политическим — здесь предшественников Герцена найти трудно.



Фердинанд Ягеман. Портрет Иоганна Вольфганга Гёте. 1818 год. Романы Гёте о Вильгельме Мейстере могли стать для Герцена образцом

повествования о том, как формируется человеческая личность[4]

[4] Сноски: 4

Фердинанд Ягеман. Портрет Иоганна Вольфганга Гёте. 1818 год. Государственный Эрмитаж.

Как ее приняли?

Когда началась публикация «Былого и дум», Герцен был на пике популярности. Напечатанные его бесцензурной типографией издания знала вся читающая Россия, от Александра II и его министров до оппозиционных, радикально настроенных литераторов, таких как Добролюбов и Чернышевский. Автобиографическое повествование Герцена читалось не просто как исповедь одного, пусть выдающегося, человека — для оппозиционно настроенных жителей России это был образец современного, европейского способа мыслить и воспринимать собственную личность. Многие идеи Герцена вызывали у русских читателей отторжение: поддержка польского восстания 1863 года оттолкнула «правых», скептическое отношение к радикальной сатире — «левых». Однако «Былое и думы» все равно воспринимались как важное и талантливое свидетельство о нескольких эпохах русской жизни. Отклики на него встречаются в публицистике и прозе Достоевского, Тургенева, Писемского и многих других, менее известных писателей. Подробного ее разбора в критике, конечно, не могло появить-

ся по цензурным причинам.

На Западе «Былое и думы» воспринимались скорее как выражение типично русского взгляда на историю и в то же время как источник исключительно интересных и ценных сведений о России. Отрывки из книги были немедленно переведены на английский, французский и немецкий языки. Интерес вызывали как личность автора, видного деятеля международного социалистического движения, так и экзотическое содержание. В погоне за русской спецификой один из издателей даже сообщил, что Герцен вспоминает о сибирской ссылке. Не ездивший дальше Пензы автор «Былого и дум» протестовал — но критики все равно упрекали его в стремлении похвастать отсутствующим сибирским опытом.

Что было дальше?

Книга Герцена оказала огромное влияние и на русскую, и на европейские литературы. О Герцене-писателе высоко отзывались такие разные и не склонные к похвалам люди, как Лев Толстой и Фридрих Ницше. Толстой, например, замечал, что Герцен «не уступит Пушкину», и в 1888 году писал Владимиру Черткову: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. ‹…› Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита, и убийства, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства и консерваторов и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь».

Немецкий философ писал переводчице «Былого и дум», подруге дочери Герцена Ольги, М. Мейзенбург: «Что вы переводчица мемуаров Герцена, было для меня совершенно ново; я со-

жалею, что прежде, чем узнал это, не выразил вам свое ощущение ценности этого перевода. Я был изумлен мастерством и силой выражения, и, склонный предполагать у Герцена любой выдающийся талант, я молча решил, что он сам перевел свои мемуары с русского на немецкий. Я обратил внимание моих друзей на это произведение; я по нему научился о множестве отрицательных тенденций думать более сочувственно, чем был способен до этого; и собственно отрицательными я не должен бы их называть. Ибо такая благородно-пламенная и стойкая душа не могла бы жить только отрицанием и ненавистью».

Автобиографические приемы, введенные в русскую литературу Герценом, не раз воспроизводились даже в воспоминаниях авторов, идейно очень далеких от создателя «Былого и дум», таких, например, как поэт, критик и один из создателей почвенничества Аполлон Григорьев. Во многом Герцен создал язык, с помощью которого русские революционеры и оппозиционеры осмысляли и свой жизненный опыт, и историческое прошлое. Например, знаменитые, много раз цитировавшиеся и пародировавшиеся слова Ленина о том, что «декабристы разбудили Герцена», на самом деле восходят к словам самого

Герцена: «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Уже в XX веке влияние Герцена заметно в прозе Лидии Гинзбург — одновременно замечательной исследовательницы герценовской прозы и писательницы, отразившей опыт блокады Ленинграда. Во многом близок к «Былому и думам» и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, где лагерные впечатления автора и история страны так же неразделимы, как и в прозе Герцена.

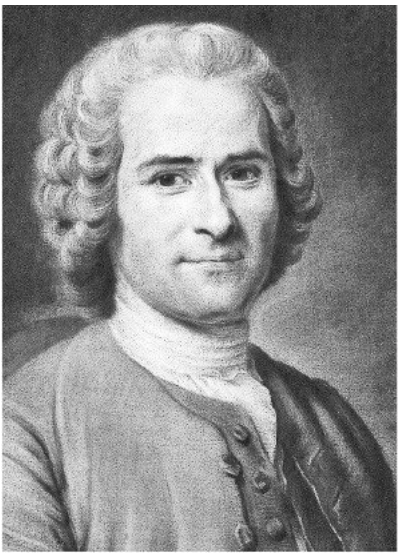
В то же время известность Герцена со временем уменьшается. Несмотря на официальное признание писателя в советские годы, серьезные исследования его творчества властями не поощрялись: социалистические взгляды создателя «Былого и дум» были очень далеки, например, от марксизма, хотя Герцен знал Маркса и внимательно читал его произведения. Возможно, именно поэтому Герцен редко входил в школьную программу. Свою роль сыграл и объем его самой известной книги: «Былое и думы», если читать их со всеми приложениями, не уступят по длине «Войне и миру». Интересно, что на Западе Герцен продолжает восприниматься как один из наиболее значительных деятелей русской и европейской культуры своего времени

и вызывает живой интерес до сих пор: например, на материале «Былого и дум» в первую очередь основана драматическая трилогия Тома Стоппарда «Берег утопии», где Герцен — главный герой.

В каком жанре написана книга?

Сам Герцен определял «Былое и думы» как исповедь. Действительно, в центре книги находится личность ее автора. Хотя Герцен часто говорит о людях и событиях, с которыми связан лишь поверхностно, они обычно оказываются необходимы для понимания его жизни. В русской литературе до «Былого и дум» трудно найти сопоставимые произведения, ориентированные на исповедальный жанр, — можно вспомнить разве что «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, которые Герцен по идеологическим причинам вряд ли мог всерьез учитывать. В то же время для современников Герцена жанр этот был важен — огромную роль исповедь играет, например, в творчестве Льва Толстого. Но если Толстого больше интересовали универсальные законы человеческой психологии, то Герцен понимает исповедь неожиданным образом — он принципиально отказывается писать о тех чувствах и мыслях, которые сложно выразить: «Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем — а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком

или словом заповедных тайн своих».



Морис Кантен де Латур. Портрет Жан-Жака Руссо. 1753 год. «Исповедь» Руссо — одна из самых известных автобиографий в европейской литературе, но Герцен в своем повествовании отходит от руссоистской традиции[5]

[5] Сноски: 5

Морис Кантен де Латур. Портрет Жан-Жака Руссо. 1753 год. Musée Antoine-Lécuyer.

Наиболее известная исповедь в европейской литературе написана Жан-Жаком Руссо. Толстой, очень высоко ценивший Руссо, во многом следовал его образцу; Герцен же с руссоистской традицией решительно порвал. Достаточно вспомнить знаменитое начало «Исповеди» Руссо: «Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они». Ценность собственной личности для Руссо — в ее уникальности. Напротив, в предисловии к английскому изданию фрагментов своей книги Герцен писал:

> Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила. Мы любим проникать во внутренний мир другого человека, нам нравится коснуться самой чувствительной струны в чужом сердце и наблюдать его тайные содрогания, мы стремимся познать его сокровенные тайны, чтобы сравнивать, подтверждать, находить оправдание, уте-

шение, доказательство сходства.

Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь, в них рассказанная, бедной и незначительной. Тогда не читайте их – и это будет самым страшным приговором для книги. И в данном случае не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров. Мемуары Бенвенуто Челлини интересны не потому, что он был великим художником, а потому, что он затрагивает в них в высшей степени интересные вопросы.

Как и Руссо, автор «Былого и дум» был уверен, что каждый человек имеет право на исповедь — но не в силу собственной уникальности, а как раз в силу общности исторического опыта разных людей. Именно поэтому Герцен уделяет очень мало места чувствам и переживаниям: они интересуют его постольку, поскольку в них отразились исторические закономерности, которые писатель стремится отыскать в собственной личности.

Что заставило Герцена написать такую странную исповедь?

Работа над «Былым и думами» началась вскоре после смерти жены Герцена Натальи Александровны. В течение нескольких лет перед этим тянулась долгая и болезненная любовная связь ее с немецким поэтом-революционером Георгом Гервегом. Герцены поддерживали эмансипацию женщин, которая в их время, с легкой руки популярнейшей французской писательницы Жорж Санд (Авроры Дюдеван), ассоциировалась в первую очередь со свободой выбирать спутника жизни и правом изменять свое решение (этим правом наделена, например, Вера Павловна из «Что делать?» Чернышевского). Однако Герцен все же был уверен, что Гервег не имеет никакого права на любовь его жены, а отношения их строятся на обмане (пусть не вполне сознательном) со стороны немецкого поэта:

> Его письма 1850 и первые разговоры в Ницце служат страшным обличительным документом… чего? Обмана, коварства, лжи? Нет; да это было бы и не

ново, – а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я всегда останавливался с изумлением, как этот человек ни разу, ни одним словом, *ни одним* прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность?

Некоторое время Герцены и Гервег с женой пытались жить совместно, однако этот опыт закончился скандальным разрывом. Остается неизвестным, кто же был настоящим отцом Ольги Герцен, дочери Натальи Александровны (Ольга скончалась в 1953 году в возрасте 103 лет — удивительная и интересная судьба). Семейное дело Герценов стало вопросом новой морали, имевшим общественное значение, и широко обсуждалось в кругах европейских радикалов. В результате жена Герцена осталась с ним, одна-

ко для всех участников эта семейная драма стала тяжелейшим переживанием. Вскоре после этого, в 1851 году, сын и мать Александра Ивановича погибли в кораблекрушении. В главе «Oceano Nox» («Ночь на океане»; название взято из цитируемого в главе стихотворения Виктора Гюго) Герцен подробно описывает момент, когда до него дошла весть об этой беде; на страницах «Былого и дум» она много раз предвосхищается в отступлениях; по всей эпопее проходят постоянные упоминания моря как чего-то непостижимого и опасного. После этого Наталья Александровна тяжело заболела и умерла в преждевременных родах; ребенок также не выжил.

Все эти события потрясли Герцена. Жена была не только спутницей жизни, с которой он прошел вторую ссылку и эмигрантские годы, — она была еще и единомышленницей (по крайней мере так казалось самому Герцену), одним из немногих людей, которым Герцен доверял абсолютно. С ее потерей в жизни Герцена начался серьезнейший кризис. Собственная биография требовала переосмысления: Герцену отчаянно нужно было найти в прошлом новый источник сил для будущей жизни. Об эпохе общественных и личных потрясений он пишет:

Теперь я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко: удивление и радость обузданы воспоминаниями былого, страхом будущего. Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себе конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало.

А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира – да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и вообще такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия.

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С такой отчасти терапевтической целью и писались «Былое и думы», которые должны были

как бы пересоздать личность автора, определив ее не через частные переживания, а через общественно-исторические тенденции. Радикально переосмысляя собственную жизнь, Герцен создал модель биографического повествования, по которой могли осмыслять собственную жизнь многие русские литераторы и революционеры (и не только они). Сама история, казалось, создает человека, который должен стать решительным противником отжившего прошлого.

Что думал Герцен об эмансипации?

Для Герцена свобода женщины — очевидная необходимость. Именно внутренняя свобода — главная причина, по которой он восхищается своей женой. В то же время пути к внешней свободе женщин Герцен, по собственному признанию, не знает. Традиционная семья, с его точки зрения, в ближайшее время вряд ли может быть отменена, а при ее наличии даже самые радикальные реформы не способны кардинально изменить положение женщины. Вообще гендерные проблемы показаны в книге как едва ли разрешимые: почти невозможно одновременно сохранить уважение к человеку, его интеллектуальной и нравственной самостоятельности, и тесную связь с этим человеком. Даже любовь кажется Герцену очень сомнительным чувством:



Карл Рейхель. Портрет Натальи Герцен. 1842 год[6]

Я отрицаю то царственное место, которое дают любви в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увле-

[6] Сноски: 6

Карл Рейхель. Портрет Натальи Герцен. 1842 год. Фонд Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

чением.

Неужели мы освободились от всего на свете: от Бога и диавола, от римского и уголовного права – и провозгласили разум единственным путеводителем и регулятором для того, чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы или уснуть на коленях Далилы? Неужели женщина искала своего освобождения от ига семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон-Леони вместо одного?

Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратное точит и губит всепожирающий Молох любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше *загнана в любовь*... Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.

Мне ее жаль.

Жалость, о которой пишет Герцен, тесно связана с глубоким чувством вины перед своей женой, рассказ о смерти которой завершается отчаянными словами: «Бедная страдалица — и сколько я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве!»

Правда ли то, о чем пишет Герцен?

«Былое и думы» обычно производят впечатление абсолютной искренности и правдивости. Герцен не утаивает от читателя даже эпизодов, в которых сам он играет сомнительную роль, — например, пишет о своей любовной связи со служанкой, где «с ее стороны вряд было ли и увлеченье». Книга Герцена должна читаться как невымышленное повествование — в ней, говоря словами Лидии Гинзбург, господствует «установка на достоверность». Однако Герцен, конечно, далек от летописного воспроизведения фактов. Показательный пример: приложениями к отдельным частям книги он публикует выдержки из писем и дневников своей покойной жены и ее знакомых — казалось бы, вот абсолютно достоверный источник! — однако далеко не всегда он публикует их точно. Часто Герцен слегка подправляет тексты, чтобы они лучше соответствовали его собственным идеям и воспоминаниям. Некоторые эпизоды из собственной биографии Герцен опускает. Например, в «Былом и думах» лишь немного говорится о европейских революциях 1848 года — предполагается, что

достаточно обратиться к другой книге Герцена, «Письмам из Италии и Франции». Читатель обязан верить Герцену, однако в первую очередь не как беспристрастному летописцу, а как живому свидетелю, излагающему свою далеко не беспристрастную точку зрения.

Как относится автор к своему читателю?

Герцен стремится создать у читателя ощущение, будто он давний и близкий знакомый автора. Он постоянно шутит, рассказывает анекдоты, приводит комичные случаи, которые, с одной стороны, могут послужить запоминающимися примерами общих исторических тенденций, а с другой — показывают героев книги как старых приятелей и автора, и читателя. Например, в конце четвертой части «Былого и дум» излагается эпизод с женитьбой Василия Боткина: желая обвенчаться тайком от строгого отца, Боткин попросил о помощи Герцена, который предложил заключить брак у священника-пьяницы в собственной деревне. После завершения обряда молодые должны были направиться домой к Герцену. Когда сильно опоздавший экипаж наконец подъехал, случилось неожиданное: «Я подошел дать руку Арманс, она вдруг меня схватила за руку, да с такой силой, что я чуть не вскрикнул… и потом разом бросилась мне на шею, с хохотом повторяя: “Monsieur Herstin”… Это был не кто

иной, как Виссарион Григорьевич Белинский». Подчас герценовские анекдоты обретают характер шаржей — эпизодом из кинокомедии выглядит рассказ про то, как тот же Белинский пролил вино на белые брюки Жуковского:

> Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку *en petit comité* [В небольшом кругу], когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки…

во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

К моменту публикации четвертой части «Былого и дум» давно скончавшийся Белинский в глазах большинства русских читателей был значительной и очень авторитетной фигурой, и знакомство с ним с «частной стороны» как бы вводит читателя в интимный круг, где Белинский — свой, близкий и знакомый человек.

Как показана политическая власть в книге Герцена?

Создатель «Былого и дум» очень скептически относится к «официозным» историческим повествованиям и неоднократно насмехается над сложившимися в них штампами, показывая их абсурдность с помощью снижения. Например, устоявшуюся в хвалебных текстах характеристику Николая I как человека с твердой волей и непреклонным характером он выворачивает наизнанку: «Я часто замечал эту непоколебимую твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть, и какая необходимость не опоздать минутой на развод?» Император оказывается похож не на античного героя, а на кассира — тем самым самодержавная власть перестает казаться исключительной и начинает восприниматься как нечто повседневное,

совершенно лишенное ореола возвышенности. В отличие от ярких друзей Герцена, такая власть не может предложить ничего интересного и нового, если не считать новым совершенную неприменимость большинства ее распоряжений.

Петр III уничтожил застенок и тайную канцелярию.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александр I еще раз ее уничтожил.

Ответы, сделанные «под страхом», не считаются по закону. Чиновник, пытающий подсудимого, подвергается сам суду и строгому наказанию.

И во всей России – от Берингова пролива до Таурогена – людей пытают… Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, правительствующий сенат мирволит, министры молчат; государь и синод, помещики и квартальные – все согласны с Селифаном, что «отчего же мужика и не посечь, мужика иногда надобно посечь!».

Насколько однозначен Герцен в своих оценках?

Кажется, картина вырисовывается простая: Герцен, его друзья и соратники по борьбе с российской и европейской политической властью — это хорошо, а сама власть — это плохо. На самом же деле все совсем не так. Между абсолютными полюсами, такими как Белинский и Николай Первый, существует огромное большинство действующих лиц «Былого и дум». Таков, например, Николай Кетчер — близкий друг Герцена, ставший его решительным политическим противником. Герцен показывает, что будущее Кетчера было во многом предопределено еще в то время, когда они были друзьями, и связано с теми условиями, в которых Кетчер воспитывался. В то же время Герцен не признает полного детерминизма: и сам Кетчер, и его друзья (включая автора «Былого и дум») совершили несколько роковых ошибок, которые привели к разрыву и принципиальному конфликту. Знаменитый французский социалист Прудон описывается с нескрываемым восторгом — однако тут же

выясняется, что и он не был способен, например, выработать разумное отношение к женщине. Оказывается, что личность каждого человека определяется не одним, а множеством самых разных факторов: воспитанием, окружением, собственными решениями, давлением извне — и проч., и проч. Именно поэтому героев «Былого и дум», за редкими исключениями, нельзя свести к общественным типам: даже выросшие и сформировавшиеся в почти одинаковых условиях люди могут быть совсем не похожи друг на друга просто в силу того, что невозможно учесть все факторы, повлиявшие на их формирование. Герцен, например, прямо отказывается дать исчерпывающую классификацию отечественных «чудаков» — никакой систематизации они не поддаются.

Относятся ли высказываемые Герценом принципы к нему самому?

В целом — несомненно. Герцен, незаконнорожденный сын богатого барина, прямо пишет о своем аристократическом воспитании — а в аристократии он, как типичный социалист-революционер, видит враждебную силу. Однако не все так просто: даже в «барском» воспитании, по Герцену, есть свои достоинства. Уже в конце XX века Юрий Лотман, опираясь на соображения Пушкина, будет писать о чувстве нравственной независимости от властей, которое воспитывалось дворянским обществом. Книга Герцена дает понять, как складывался этот дух независимости. Для Герцена, особенно молодого, большинство его оппонентов — люди не только безнравственные, но и безвкусные, невоспитанные, не умеющие достойно держать себя, а потому целиком зависимые от государства. Внешнее достоинство, по Герцену, тесно связано с достоинством внутренним.

Вот один пример невоспитанности. Пока главный герой книги сидит под арестом и ждет

результатов следствия, его друг, подкупив сторожа, передает ему бутылку отличного вина.

Надобно быть в тюрьме, чтоб знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем.

Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было; однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхания; этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков; я во всей Европе не видал людей, которые бы пили *залпом* стакан или умели *хватить* рюмку. Чтоб потерю этого стакана сделать еще чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: «Мадера хоть куда». Я с ненавистью посмотрел на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа

не обошла его человеческой.

Этот знаток вин привез меня в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре…

Столкновение Герцена со «знатоком вин» очень показательно. Именно аристократическое пренебрежение к не умеющему уважать себя человеку позволяет выдержать неприятные и унизительные ситуации, возникающие в ссылке, и сохранить себя. Неспособность уважать себя — вообще одно из наиболее заметных качеств антагонистов «Былого и дум». Например, некий исправник останавливает ссыльного Герцена, которого он при этом немножко побаивается, не уверенный, насколько ценит Герцена новый губернатор. Уверенное поведение Герцена дает исправнику понять, что перед ним — человек, наделенный большой властью. Следует, вероятно, один из самых сильных эпизодов в книге:

Я остановил его рукою и спросил очень серьезно:

– Как вы могли велеть, чтоб мне не давали лошадей? Что это за вздор – на большой дороге останавливать проезжих?

– Да я пошутил, помилуйте – как вам

не стыдно сердиться! Лошадей, вели лошадей, что ты тут стоишь, разбойник? – закричал он рассыльному. – Сделайте одолжение, выкушайте чашку чаю с ромом.

– Покорно благодарю.

– Да нет ли у нас шампанского?.. – Он бросился к бутылкам – все были пусты.

– Что вы тут делаете?

– Следствие-с – вот молодчик-то топором убил отца и сестру родную из-за ссоры да по ревности.

– Так это вы вместе и пируете?

Исправник замялся. Я взглянул на черемиса, он был лет двадцати, ничего свирепого не было в его лице, совершенно восточном, с узенькими, сверкающими глазами, с черными волосами.

Все это вместе так было гадко, что я вышел опять на двор. Исправник выбежал вслед за мной, он держал в одной руке рюмку, в другой бутылку рома и приставал ко мне, чтоб я выпил.

Чтоб отвязаться от него, я выпил. Он схватил меня за руку и сказал:

– Виноват, ну виноват, что делать!

Но я надеюсь, вы не скажете об этом его превосходительству, не погубите благородного человека.

При этом исправник *схватил мою руку и поцеловал ее*, повторяя десять раз:

– Ей-богу, не погубите благородного человека.

Как Герцен понимает смысл истории?

Герцен признавался в том, что на него сильно повлияли идеи Гегеля, которые он в «Былом и думах» определил как «алгебру революции». Как известно, сам Гегель сделал из своей философии отнюдь не революционные в политическом отношении выводы. Герцен, однако, был уверен в политическом потенциале диалектики[7], из которой он делал выводы о способности человека повлиять на ход исторических событий.

Исторический процесс Герцен воспринимал как диалектику свободы и необходимости. С одной стороны, как убежденный материалист он отрицал существование души и свободы воли, которые бы не зависели от внешних обстоятельств. С другой стороны, он видел, что сами эти обстоятельства внутренне неоднородны, а когда на человека действуют противоположные друг другу факторы, перед ним открывается возможность хотя бы относительно свободного выбора.

---

[7] Сноски: 7

Научно-философский метод познания, в основу которого положен принцип взаимодействия и борьбы противоположных начал. Противоречия с точки зрения диалектики составляют основу развития мира.

Другая важная для Герцена идея состоит в том, что человеческую индивидуальность нельзя противопоставлять некой монолитной «среде»: на человека действуют не какие-то безличные «объективные законы», а поступки других людей, совершенно конкретных. Разделение «объективного» и «субъективного» для автора «Былого и дум» было проявлением ненавистного ему «дуализма», наподобие противопоставления духа и плоти, которое Герцен не принимал еще с 1840-х годов. Высшей ценностью в истории для писателя оставалось появление самостоятельной, ни от чего не зависящей личности.

Как повлияла книга Герцена на восприятие русской истории?

Вообще количество идей Герцена, которые постепенно перешли в разряд общих мест, трудно измерить. Можно сказать, что большинство современных интерпретаций истории русского общества 1830–40-х годов восходит именно к «Былому и думам», а также к книге «О развитии революционных идей в России» (она, впрочем, скорее была ориентирована на западного читателя и знакомила его с историей русской литературы и общественной мысли). Простой пример — история русского восприятия того же Гегеля. В четвертой части своей книги Герцен разбирает восприятие знаменитой формулы «Все действительное разумно» — и показывает, что, вопреки Белинскому, она означает не обязательную разумность всего сущего, а, напротив, нереальность всего неразумного. Герцен демонстрирует несостоятельность политических выводов, сделанных Белинским из философии Гегеля, — якобы любая политическая власть полностью оправдана непреложными законами

разума. При этом он проводит эффектную параллель с библейским изречением: «Всякая власть от Бога» — и замечает, что эту фразу можно понимать совершенно по-разному: и как утверждение божественной природы любой власти, и как отрицание любой власти, которая не способна обосновать свою божественную природу. Очень схожим образом будет разбирать логику Белинского, например, Николай Бердяев в «Истоках и смысле русского коммунизма». Мысли и слова Герцена сейчас редко воспринимаются как принадлежащие ему — но дело не в их банальности, а в их необыкновенной убедительности, которая не в последнюю очередь происходит из личной позиции Герцена. История русского общества в трактовке автора «Былого и дум» — это драматичная, полная событиями жизнь ярких и необычных людей, в существование которых очень хочется поверить.

Что думал Герцен об истории западной европы?

История Европы, особенно революционного движения, постоянно увлекала Герцена. Имена деятелей Великой французской революции, названия различных политических движений входят в его язык наравне с отсылками к Библии или античной мифологии. Он то и дело пользуется ими для сопоставлений и объяснения происходящих событий, причем далеко не только собственно политических. В то же время автор «Былого и дум» довольно скептически относился к современной ему Западной Европе: в ней он видел засилье «мещанства», губительного для человеческой свободы (стоит учесть, что Герцен своими глазами наблюдал французскую революцию 1848 года и мог многое узнать о жестокости «лавочников»). Это нивелирование личности, по Герцену, глубоко укоренилось в европейских политических и общественных системах, особенно во французской:

> Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее прави-

тельство не создало, но только поняло тайну прекращения личностей – оно, совершенно во французском духе, устроило общественное воспитание, т. е. воспитание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час, по тем же книгам – одно и то же. На всех экзаменах задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры; учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию.

Н. П. ОГАРЕВУ

В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет, — ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

Искандер.
1 июля 1860.
Eagle's Nest Bournemouth

Былое и думы. Том I

<Предисловие>

Многие из друзей советовали мне начать полное издание «Былого и дум», и в этом затруднения нет, по крайней мере относительно двух первых частей. Но они говорят, что отрывки, помещенные в «Полярной звезде», рапсодичны, не имеют единства, прерываются случайно, забегают иногда, иногда отстают. Я чувствую, что это правда, но поправить не могу. Сделать дополнения, привести главы в хронологический порядок — дело не трудное; но все переплавить, d'un jet[8], я не берусь.

«Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений, — мне бы не хотелось стереть его.

Это не столько *записки,* сколько *исповедь,* около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из *Былого,* там-сям остановленные мысли из *Дум.* Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей *единство есть,* по крайней мере мне так кажет-

---

[8] Сноски: 8
сразу (*фр.*).

ся.

Записки эти не первый опыт. Мне было лет двадцать пять, когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Случилось это так: переведенный из Вятки во Владимир, я ужасно скучал. Остановка перед Москвой дразнила меня, оскорбляла; я был в положении человека, сидящего на последней станции без лошадей!

В сущности, это был чуть ли не самый «чистый, самый серьезный период оканчивавшейся юности»[9]. И скучал-то я тогда светло и счастливо, как дети скучают накануне праздника или дня рождения. Всякий день приходили письма, писанные мелким шрифтом; я был горд и счастлив ими, я ими рос. Тем не менее разлука мучила, и я не знал, за что приняться, чтоб поскорее протолкнуть эту *вечность* — каких-нибудь *четырех* месяцев… Я послушался данного мне совета и стал на досуге записывать мои воспоминания о Крутицах, о Вятке. Три тетрадки были написаны… потом прошедшее потонуло в свете настоящего.

В 1840 Белинский прочел их, они ему понравились, и он напечатал две тетрадки в «Отечествен-

---

[9] Сноски: 9

См. «Тюрьма и ссылка». *(Здесь и далее, за исключением перевода слов, прим. А. И. Герцена.)*

ных записках» (первую и третью); остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лет*[10], «я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа; знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось поговорить.

…А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вы-

---

[10] Сноски: 10
Введение к «Тюрьме и ссылке», писанное в мае 1854 года.

зывало сотни других; все старое, полузабытое воскресало: отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь».

Этот раз я писал не для того, чтобы выиграть время, — торопиться было некуда.

Когда я начинал новый труд, я совершенно не помнил о существовании «Записок одного молодого человека» и как-то случайно попал на них в British Museum'е[11], перебирая русские журналы. Я велел их списать и перечитал. Чувство, возбужденное ими, было странно: я так ощутительно увидел, насколько я состарелся в эти пятнадцать лет, что на первое время это потрясло меня. Я играл еще тогда жизнию и самим счастием, как будто ему и конца не было. Тон «Записок одного молодого человека» до того был розен, что я не мог ничего взять из них; они принадлежат молодому времени, они должны остаться сами по себе. Их утреннее освещение нейдет к моему вечернему труду. В них много

[11] Сноски: 11
Британском музее (*англ.*).

истинного, но много также и шалости; сверх того, на них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке. На «Былом и думах» видны следы *жизни и* больше никаких следов не видать.

Мой труд двигался медленно… много надобно времени для того, чтобы *иная* быль отстоялась в прозрачную думу — неутешительную, грустную, но примиряющую пониманием. Без этого может быть искренность, но не может быть *истины!*

Несколько опытов мне не удались, — я их бросил. Наконец, перечитывая нынешним летом одному из друзей юности мои последние тетради, я сам *узнал знакомые* черты и остановился… труд мой был кончен!

Очень может быть, что я далеко переценил его, что в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного;* может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи… может, но оттого книга эта мне не меньше дорога. Она долго заменяла мне и людей и утраченное. Пришло время и с нею расстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанию надо покориться. Это не отчаяние, не старчество, не холод и не равнодушие; это — седая юность, одна из форм выздоровления или, лучше, самый процесс его. Человечески переживать иные раны можно только этим путем.

В монахе, каких бы лет он ни был, постоянно встречается и старец, и юноша. Он похоронами всего личного возвратился к юности. Ему стало легко, широко… иногда слишком широко… Действительно, человеку бывает подчас пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихиями и образами будущего, проходящими по их поверхности, как облачные тени. Но что же из этого? Людям хотелось бы все сохранить: и розы, и снег; им хотелось бы, чтоб около спелых гроздьев винограда вились майские цветы! Монахи спасались от минут ропота молитвой. У нас нет молитвы: у нас есть *труд.* Труд — наша молитва. Быть может, что *плод того и другого* будет одинакий, но на сию минуту не об этом речь.

Да, в жизни есть пристрастие к возвращающемуся ритму, к повторению мотива; кто не знает, как старчество близко к детству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обе стороны полного разга-

ра жизни, с ее венками из цветов и терний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходные в главных чертах. Чего юность *еще* не имела, то *уже* утрачено; о чем юность мечтала, без личных видов, выходит светлее, спокойнее и также без личных видов из-за туч и зарева.

…Когда я думаю о том, как мы двое теперь, под *пятьдесят лет*, стоим за первым станком русского вольного слова, мне кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевых горах было не *тридцать три* года тому назад, а много — три!

Жизнь… жизни, народы, революции, любимейшие головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примроз-Гилем; след их уже почти заметён беспощадным вихрем событий. Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвы-реки, и чужое племя около… и нет нам больше дороги на родину… одна мечта двух мальчиков — одного 13 лет, другого 14 — уцелела!

Пусть же «Былое и думы» заключат счет с личною жизнию и будут ее оглавлением. Остальные *думы* — на дело, остальные *силы* — на борьбу.

Таков остался наш союз…

Опять одни мы в грустный путь пойдем,

Об истине глася неутомимо, –

И пусть мечты и люди идут мимо!

Часть первая
Детская и университет
(1812–1834)

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть, и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

Н. Огарев («Юмор»)

Глава I

Моя нянюшка и La grande armée[12]. – Пожар Москвы. – Мой отец у Наполеона. – Генерал Иловайский. – Путешествие с французскими пленниками. – Патриотизм. – К. Кало. – Общее управление именьем. – Раздел. – Сенатор.

---

[12] Сноски: 12
Великая армия (*фр.*).

… — Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, — говаривал я, потягиваясь на своей кроватке, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и завертываясь в стеганое одеяло.

— И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, — отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне его слушать.

— Да вы немножко расскажите, ну как же вы узнали, ну с чего же началось?

— Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой, — все в долгой ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили: пора ехать, чего ждать? Почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой. Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный, да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил». Так у нас у всех сердце и опустилось, — сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим — а по улице скачут драгуны в таких

касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такие были щедушные да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

— Сначала еще шло кое-как, первые дни, то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают: нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут, да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны, дом загорелся; вот Павел Иванович[13] говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные». Пошли мы, и господа, и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть. Добрались мы, наконец, до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем,

---

[13] Сноски: 13
Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца.

там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных. Один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хвать, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли-де каких ассигнаций или брильянтов; видит, что ничего нет, так нарочно, азарник, изодрал пеленки да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь наша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся,

а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив. Лошадь его стоит, ни с места, и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню; должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее. Измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть. Не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» Тут я взяла кусок равендюка с бильярда и завернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольший жил в губернаторском доме. Сели мы так просто на улице; караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка; она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас — и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, манже[14], они сна-

[14] Сноски: 14
поесть (*фр.* manger).

чала посмотрели на нее так сурово, да и говорят: «*алле, алле*»[15], а она их ругать, — экие, мол, окаянные, такие, сякие; солдаты ничего не поняли, а таки вспрынули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные домы. Так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер…

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою бранд-майорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы; он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав la sua dolce favella[16], обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав,

---

[15] Сноски: 15
ступай (*фр*. aller).

[16] Сноски: 16
милую родную речь (*ит*.).

что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и левантский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского.

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать

пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

— Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

— Я пропусков не велел никому давать. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади средь неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

— Я принял бы предложение в. в., — заметил ему мой отец, — но мне трудно ручаться.

— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

— Je m'engage sur mon honneur, Sire[17].

— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

— Герцог Тревизский сделает что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых, в четыре часа утра, Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дни страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма,

---

[17] Сноски: 17
Ручаюсь честью, государь (*фр.*).

становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал каббалистическим словом «Москва»; в Москве догадался и он.

Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l'Empereur Alexandre»[18].

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен *московским* обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счаст-

[18] Сноски: 18
Брату моему, императору Александру (*фр.*).

ливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

— Что делать с вашими? — спросил казацкий генерал Иловайский. — Здесь оставаться невозможно; они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

— Сочтемся после, — сказал Иловайский, — и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без ураль-

ских казаков и военнопленных, — я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков приезжал, по приказанию государя, расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься.

Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дома в этой деревне

не было), я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробиваясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.

Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца, утром, староста и несколько дворовых с поспешностью взошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать; ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая, ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу: они взошли туда; старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) середи этих *полудиких* людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни,

ночи плакала после его смерти. А *дикие* эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.

Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой, как лунь, и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна, вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.

Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и, наконец, через год перебрались в Москву. К тем порам воротился из Швеции брат моего отца, бывший посланником в Вестфалии и потом ездивший зачем-то к Бернадоту; он поселился в одном доме с нами.

Я еще, как сквозь сон, помню следы пожара, остававшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь; дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попировать на радостях победы.

Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича; он говорил с чрезвычайною живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк. Но ис-

ключительное чувство национальности никогда до добра не доводит; меня оно довело до следующего. Между прочими у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы. Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария-Антуанетта пила на погибель революции. Граф Кенсона, худой, стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало пэрство, он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи именья. Надобно было, на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне.

— Да ведь вы, стало, сражались против нас? — спросил я его пренаивно.

— Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe[19].

— Как, — сказал я, — вы француз и были в нашей армии? Это не может быть!

Отец мой строго взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело; он сказал,

---

[19] Сноски: 19

Нет, голубчик, нет, я был в русской армии (*фр.*).

обращаясь к моему отцу, что «ему нравятся такие *патриотические* чувства». Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. «Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять; граф из верности *своему* королю служил *нашему* императору». Действительно, я этого не понимал.

Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его — еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер, без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устроивалась, — оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, именье нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо.

За мной ходили две нянюшки — одна русская и одна немка; Вера Артамоновна и M-me Прово были очень добрые женщины, но мне было скучно смотреть, как они целый день вяжут чулок и пикируются между собой, а потому при всяком удобном случае я убегал на половину Сенатора (бывшего посланника), к моему единственному приятелю — к его камердинеру Кало.

Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей. Совершенно одинокий в России, разлученный со всеми своими, плохо говоривший по-русски, он имел женскую привязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комнате, докучал ему, притеснял его, шалил — он все выносил с добродушной улыбкой, вырезывал мне всякие чудеса из картонной бумаги, точил разные безделицы из дерева (зато ведь как же я его и любил). По вечерам он приносил ко мне наверх из библиотеки книги с картинами — путешествие Гмелина и Палласа и еще толстую книгу «Свет в лицах», которая мне до того нравилась, что я ее смотрел до тех пор, что даже кожаный переплет не вынес. Кало часа по два показывал мне одни и те же изображения, повторяя те же объяснения в тысячный раз.

Перед днем моего рождения и моих именин Кало запирался в своей комнате; оттуда были слышны разные звуки молотка и других инструментов; часто быстрыми шагами проходил он по коридору, всякий раз запирая на ключ свою дверь, то с кастрюлькой для клея, то с какими-то завернутыми в бумагу вещами. Можно себе представить, как мне хотелось знать, что он готовит; я подсылал дворовых мальчиков выведать,

но Кало держал ухо востро. Мы как-то открыли на лестнице небольшое отверстие, падавшее прямо в его комнату, но и оно нам не помогло; видна была верхняя часть окна и портрет Фридриха II с огромным носом, с огромной звездой и с видом исхудалого коршуна. Дни за два шум переставал, комната была отворена — все в ней было по-старому, кой-где валялись только обрезки золотой и цветной бумаги; я краснел, снедаемый любопытством, но Кало, с натянуто серьезным видом, не касался щекотливого предмета.

В мучениях доживал я до торжественного дня, в пять часов утра я уже просыпался и думал о приготовлениях Кало; часов в восемь являлся он сам в белом галстуке, в белом жилете, в синем фраке и с пустыми руками. «Когда же это кончится? Не испортил ли он?» И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже приходил с завязанной в салфетке богатой игрушкой, и Сенатор уже приносил какие-нибудь чудеса, но беспокойное ожидание сюрприза мутило радость.

Вдруг, как-нибудь невзначай, после обеда или после чая, нянюшка говорила мне:

— Сойдите на минуточку вниз, вас спрашивает один человечек.

«Вот оно», — думал я, и опускался, скользя на руках по поручням лестницы. Двери в залу отворяются с шумом, играет музыка, транспарант с моим вензелем горит, дворовые мальчики, одетые турками, подают мне конфекты, потом кукольная комедия или комнатный фейерверк. Кало в поту, суетится, все сам приводит в движение и не меньше меня в восторге.

Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником, — я же никогда не любил *вещей*, бугор собственности и стяжания не был у меня развит ни в какой возраст, — усталь от неизвестности, множество свечек, фольги и запах пороха! Недоставало, может, одного — товарища, но я все ребячество провел в одиночестве[20] и, стало, не был избалован с этой стороны.

У моего отца был еще брат, старший обоих, с которым он и Сенатор находились в открытом разрыве; несмотря на то, они именьем управля-

---

[20] Сноски: 20

Кроме меня, у моего отца был другой сын, лет десять старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с двенадцати и до тридцати он провел под ножом хирургов. После ряда истязаний, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, в которых я говорю о его уединенном, печальном существовании, выпущены мной; я их не хочу печатать без его согласия.

ли вместе, т. е. разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он — им. Старосты и крестьяне теряли голову: один требует подвод, другой сена, третий дров, каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту — меньшие сменяют его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты и которых тормошили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустройством капризных требований.

Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их, потерю огромного процесса с графами Девиер, в котором они были правы. Имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия; противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имения, сенат приговорил каждого из братьев к уплате проторей и убытков *по тридцати тысячи* рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они

решились разделиться. Около года продолжались приуготовительные толки; именье было разбито на три довольно ровные части, судьба должна была решить, кому какая достанется. Сенатор и мой отец ездили к брату, которого не видали несколько лет, для переговоров и примирения; потом разнесся слух, что он приедет к нам для окончания дела. Слух о приезде старшего брата распространил ужас и беспокойство в нашем доме.

Это было одно из тех оригинально-уродливых существ, которые только возможны в оригинально-уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан, — и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти. Он начал свою службу тоже с Измайловского полка, состоял при Потемкине чем-то вроде адъютанта, потом служил при какой-то миссии и, возвратившись в Петербург, был сделан обер-прокурором в синоде. Ни дипломатический круг, ни монашеский не могли укротить необузданный характер его. За ссоры е архиереями он был отставлен, за пощечину, которую хотел дать

или дал на официальном обеде у генерал-губернатора какому-то господину, ему был воспрещен въезд в Петербург. Он уехал в свое тамбовское именье; там мужики чуть не убили его за волокитство и свирепости; он был обязан своему кучеру и лошадям спасением жизни.

После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми посторонними, он жил один-одинехонек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. Он завел большую библиотеку и целую крепостную сераль, и то и другое держал назаперти. Лишенный всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы, которые вел с ожесточением. *Тридцать* лет длился у него процесс об аматиевской скрыпке и кончился тем, что он выиграл ее. Он оттягал после необычайных усилий стену, общую двум домам, от обладания которой он ничего не приобретал. Будучи в отставке, он, по газетам приравнивая к себе повышение своих сослуживцев, покупал ордена, им данные, и клал их на столе как скорбное напоминанье: чем и чем он мог бы быть изукрашен!

Братья и сестры его боялись и не имели с ним

никаких сношений, наши люди обходили его дом, чтоб не встретиться с ним, и бледнели при его виде; женщины страшились его наглых преследований, дворовые служили молебны, чтоб не достаться ему.

И вот этот-то страшный человек должен был приехать к нам. С утра во всем доме было необыкновенное волнение; я никогда прежде не видал этого мифического «брата-врага», хотя и родился у него в доме, где жил мой отец после приезда из чужих краев; мне очень хотелось его посмотреть, и в то же время я боялся — не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два перед ним явился старший племянник моего отца, двое близких знакомых и один добрый, толстый и сырой чиновник, заведовавший делами. Все сидели в молчаливом ожидании; вдруг взошел официант и каким-то не своим голосом доложил:

— Братец изволили пожаловать.

— Проси, — сказал Сенатор с приметным волнением. Мой отец принялся нюхать табак, племянник поправил галстук, чиновник поперхнулся и откашлянул. Мне было велено идти наверх, я остановился, дрожа всем телом, в другой комнате.

Тихо и важно подвигался «братец», Сенатор и мой отец пошли ему навстречу. Он нес с собою, как носят на свадьбах и похоронах, обеими руками перед грудью — образ и протяжным голосом, несколько в нос, обратился к братьям с следующими словами:

— Этим образом благословил меня пред своей кончиной наш родитель, поручая мне и покойному брату Петру печься об вас и быть вашим отцом в замену его… если б покойный родитель наш знал ваше поведение против старшего брата…

— Ну, mon cher frère[21], — заметил мой отец своим изученно бесстрастным голосом, — хорошо и вы исполнили последнюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелые напоминовения для вас, да и для нас.

— Как? Что? — закричал набожный братец. — Вы меня за этим звали… — и так бросил образ, что серебряная риза его задребезжала. Тут и Сенатор закричал голосом еще страшнейшим. Я опрометью бросился на верхний этаж и только успел видеть, что чиновник и племянник, испуганные не меньше меня, ретировались на балкон.

Что было и как было, я не умею сказать; ис-

---

[21] Сноски: 21
любезный брат (*фр.*).

пуганные люди забились в углы, никто ничего не знал о происходившем; ни Сенатор, ни мой отец никогда при мне не говорили об этой сцене. Шум мало-помалу утих, и раздел имения был сделан, тогда или в другой день — не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное именье в Рузском уезде. На следующий год мы жили там целое лето; в продолжение этого времени Сенатор купил себе дом на Арбате; мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в Старой Конюшенной.

С Сенатором удалялся, во-первых, Кало, а во-вторых, все живое начало нашего дома. Он один мешал ипохондрическому нраву моего отца взять верх, теперь ему была воля вольная. Новый дом был печален, он напоминал тюрьму или больницу; нижний этаж был со сводами, толстые стены придавали окнам вид крепостных амбразур; кругом дома со всех сторон был ненужной величины двор.

В сущности, скорее надобно дивиться, как Сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они разъехались. Я редко видал двух человек более противуположных, как они.

Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, — несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 не только прошли возле, но зацеплялись за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Гренвилю, чтобы узнать о том, что предпринимает генерал Бонапарт, оставивший египетскую армию. Он был в Париже во время коронации Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его остановить и задержать в Касселе, где он был послом «при царе Ерёме», как выражался мой отец в минуты досады. Словом, он был налицо при всех огромных происшествиях последнего времени, но как-то странно, не так, как следует.

Лейб-гвардии капитаном Измайловского полка он находился при миссии в Лондоне; Павел, увидя это в списках, велел ему немедленно явиться в Петербург. Дипломат-воин отправился с первым кораблем и явился на развод.

— Хочешь оставаться в Лондоне? — спросил сиплым голосом Павел.

— Если в. в. угодно будет мне позволить, — отвечал капитан при посольстве.

— Ступай назад, не теряя времени, — ответил Павел сиплым голосом, и он отправился, не повидавшись даже с родными, жившими в Москве.

Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы, начальником Александринского института и все исполнял с рвением, которое вряд было ли нужно, с строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал.

Он никогда не бывал дома. Он заезжал в день две четверки здоровых лошадей: одну утром, одну после обеда. Сверх сената, который он никогда не забывал, опекунского совета, в котором бывал два раза в неделю, сверх больницы и института, он не пропускал почти ни один французский спектакль и ездил раза три в неделю в Английский клуб. Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь,

и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов.

Зато он до семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах — все равно каких: агрономических или медицинских, страхового от огня общества или общества естествоиспытателей… да, сверх того, зато же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту.

Нельзя ничего себе представить больше противуположного вечно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заезжавшему домой, как моего отца, почти никогда не выходившего со двора, ненавидевшего весь официальный мир, вечно капризного и недовольного. У нас было тоже восемь лошадей (прескверных), но наша конюшня была вроде богоугодного заведения для кляч; мой отец их держал отчасти для порядка и отчасти для того, чтоб два кучера и два форейтора имели какое-нибудь занятие, сверх хождения за «Московскими ведомостями» и петушиных боев, которые они завели с успехом между каретным сараем и соседним двором.

Отец мой почти совсем не служил; воспитан-

ный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет шестнадцати поступил в Измайловский полк сержантом, послужил до павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном; в 1801 он уехал за границу и прожил, скитаясь из страны в страну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения и, проживши год в тверском именье после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала.

После переезда Сенатора все в доме стало принимать более и более угрюмый вид. Стены, мебель, слуги — все смотрело с неудовольствием, исподлобья; само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шёпот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах и в них те же заметки. В спальной и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтоб без него не вздумали вымыть полов или почи-

стить стен.

Глава II

Разговор нянюшек и беседа генералов. – Ложное положение. – Русские энциклопедисты. – Скука. – Девичья и передняя. – Два немца. – Ученье и чтенье. – Катехизис и евангелие.

Лет до десяти я не замечал ничего странного, особенного в моем положении; мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, Кало носил на руках, Вера Артамоновна одевала меня, клала спать и мыла в корыте, M-me Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки; все шло своим порядком, а между тем я начал призадумываться.

Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обращать мое внимание. Старушка Прово и вся дворня любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домаш-

ние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров М-me Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери.

Моя мать действительно имела много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли, она была совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает с слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах. По несчастию, именно в этих мелочах отец мой был почти всегда прав, и дело оканчивалось его торжеством.

— Я, право, — говаривала, например, М-me Прово, — на месте барыни просто взяла бы да и уехала в Штутгарт; какая отрада — все капризы да неприятности, скука смертная.

— Разумеется, — добавляла Вера Артамоновна, — да вот что связало по рукам и ногам, — и она указывала спичками чулка на меня. — Взять с собой — куда? к чему? Покинуть здесь одного, с нашими порядками, это и вчуже жаль!

Дети вообще проницательнее, нежели думают, они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчиво-

стью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе, у Сенатора, и в мужском платье переехала границу; все это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса.

Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца — за сцены, о которых я говорил. Я их видел и прежде, но мне казалось, что это в совершенном порядке; я так привык, что всё в доме, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что он всем делал замечания, что не находил этого странным. Теперь я стал иначе понимать дело, и мысль, что доля всего выносится за меня, заволакивала иной раз темным и тяжелым облаком светлую, детскую фантазию.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась.

Года через два или три, раз вечером, сидели у моего отца два товарища по полку: П. К. Эс-

сен, оренбургский генерал-губернатор, и А. Н. Бахметев, бывший наместником в Бессарабии, генерал, которому под Бородиным оторвало ногу. Комната моя была возле залы, в которой они уселись. Между прочим мой отец сказал им, что он говорил с князем Юсуповым насчет определения меня на службу.

— Время терять нечего, — прибавил он, — вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтоб до чего-нибудь дослужиться.

— Что тебе, братец, за охота, — сказал добродушно Эссен, — делать из него писаря? Поручи мне это дело, я его запишу в уральские казаки, в офицеры его выведем, — это главное, потом своим чередом и пойдет, как мы все.

Мой отец не соглашался, говорил, что он разлюбил все военное, что он надеется поместить меня со временем где-нибудь при миссии в теплом крае, куда и он бы поехал оканчивать жизнь.

Бахметев, мало бравший участия в разговоре, сказал, вставая на своих костылях:

— Мне кажется, что вам следовало бы очень подумать о совете Петра Кирилловича. Не хотите записывать в Оренбург, можно и здесь записать. Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно: штатской службой, уни-

верситетом вы ни *вашему молодому человеку* не сделаете добра, ни пользы для общества. Он явным образом *в ложном положении,* одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина — великая школа, дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу идут одни дураки? А мы-то с вами, да и весь наш круг? Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерского чина, да в этом-то именно мы и поможем вам.

Разговор этот стоил замечаний M-me Прово и Веры Артамоновны. Мне тогда уже было лет тринадцать. Такие уроки, переворачиваемые на все стороны, разбираемые недели, месяцы в совершенном одиночестве, приносили свой плод. Результатом этого разговора было то, что я, мечтавший прежде, как все дети, о военной службе и мундире, чуть не плакавший о том, что мой отец хотел из меня сделать статского, вдруг охладел к военной службе и хотя не разом, но мало-помалу искоренил дотла любовь и нежность к эполетам, аксельбантам, лампасам. Еще раз, впрочем, потухающая страсть к мун-

диру вспыхнула. Родственник наш, учившийся в пансионе в Москве и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский уланский полк. В 1825 году он приезжал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел со всеми шнурками и шнурочками, с саблей и в четвероугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцом мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а лядунка… что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые панталоны?

Приезд родственника потряс было действие генеральской речи, но вскоре обстоятельства снова и окончательно отклонили мой ум от военного мундира.

Внутренний результат дум о «ложном положении» был довольно сходен с тем, который я вывел из разговоров двух нянюшек. Я чувствовал себя свободнее от общества, которого вовсе не знал, чувствовал, что, в сущности, я оставлен

на собственные свои силы, и с несколько детской заносчивостью думал, что покажу себя Алексею Николаевичу с товарищами.

При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учители приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину.

Передняя и девичья составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Тут мне было совершенное раздолье, я брал партию одних против других, судил и рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и никогда не проболтался в гостиной о тайнах передней.

На этом предмете нельзя не остановиться. Я, впрочем, вовсе не бегу от отступлений и эпизодов, — так идет всякий разговор, так идет самая

жизнь.

Дети вообще любят слуг; родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России; дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьей весело. В этом случае, как в тысяче других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайная» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства.

Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в беспрерывном сношении, безнравственен.

Много толкуют у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они, действительно, не отличаются примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать, — которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? Быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие пра-

ва…

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил севильскому цирюльнику качества, которые он требует от слуги, Фигаро заметил, вздыхая: «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями?»

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубок. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают

то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других как сословие — я не знаю.

Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и Сенатора, но о слугах двух-трех близких нам домов в продолжение двадцати пяти лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах… но тут понятия так сбиты положением, что трудно судить: *человек-собственность* не церемонится *с своим* товарищем и поступает запанибрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников; но, во-первых, они составляют исключение — это Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босую ногу; сверх того, они-то и ведут себя всех лучше,

напиваются только ночью и платья своего не закладывают в питейный дом.

Простодушный разврат прочих вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой — крестьянской простоты, при рабстве, внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы, но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми: безделица их тешит, безделица огорчает; желания их ограниченны и скорее наивны и человечественны, чем порочны.

Вино и чай, кабак и трактир — две постоянные страсти русского слуги; для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения патера Метью осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает; это

оглушение и раздражение тем больше нравятся, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Как же не пить слуге, осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу? Он пьет через край — когда может, потому что не может пить всякий день; это заметил, лет пятнадцать тому назад, Сенковский в «Библиотеке для чтения». В Италии и южной Франции нет пьяниц, оттого что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломились в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой; как они ни бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробыв шесть дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, — человек дико вырывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение не много может вынести. Лучше бы и моралисты пили себе Irish или Scotch whisky[22] да молчали бы, а то с их

[22] Сноски: 22
ирландский или шотландский виски (*англ.*).

бесчеловечной филантропией они накличутся на страшные ответы.

Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай; дома ему все напоминает, что он слуга; дома у него грязная людская, он должен сам поставить самовар; дома у него чашка с отбитой ручкой и всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек, он господин, для него накрыт стол, зажжены лампы, для него несется с подносом половой, чашки блестят, чайник блестит, он приказывает — его слушают, он радуется и весело требует себе паюсной икры или расстегайчик к чаю.

Во всем этом больше детского простодушия, чем безнравственности. Впечатления ими овладевают быстро, но не пускают корней; ум их постоянно занят, или, лучше, рассеян случайными предметами, небольшими желаниями, пустыми целями. Ребячья вера во все чудесное заставляет трусить взрослого мужчину, и та же ребячья вера утешает его в самые тяжелые минуты. Я с удивлением присутствовал при смерти двух или трех из слуг моего отца: вот где можно было судить о простодушном беспечии, с которым проходила их жизнь, о том, что на их совести вовсе не было

больших грехов; а если кой-что случилось, так уже покончено на духу с «батюшкой».

На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно-снисходительное обращение, оттого что они умны и понимают, что для них они — дети, а для слуг — лица. Вследствие этого они гораздо больше любят играть в карты и лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для *них*, из снисхождения уступают им, дразнят их и оставляют игру, как вздумается; горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей; от этого игра получает интерес.

Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь *слабых и простых.*

Встарь бывала, как теперь в Турции, патриархальная, династическая любовь между помещиками и дворовыми. Нынче нет больше на Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ. И это понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет отвечать за своих людей на страшном судилище Христовом, а пользуется ею из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как кару

Божию, не как искус, — а просто оттого, что он беззащитен; сила солому ломит.

Я знавал еще в молодости два-три образчика этих фанатиков рабства, о которых со вздохом говорят восьмидесятилетние помещики, повествуя о их неусыпной службе, о их великом усердии и забывая прибавить, чем их отцы и они сами платили за такое самоотвержение.

В одной из деревень Сенатора проживал на покое, т. е. на хлебе, дряхлый старик Андрей Степанов.

Он был камердинером Сенатора и моего отца во время их службы в гвардии, добрый, честный и трезвый человек, глядевший в глаза молодым господам и угадывавший, по их собственным словам, их волю, что, думаю, было не легко. Потом он управлял подмосковной. Отрезанный сначала войной 1812 года от всякого сообщения, потом один, без денег, на пепелище выгорелого села, он продал какие-то бревна, чтоб не умереть с голоду. Сенатор, возвратившись в Россию, принялся приводить в порядок свое имение и наконец добрался до бревен. В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавли-

ваться на день, на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличом, приходил всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним.

Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам голого черепа глубоко трогали меня.

— Слышал я, государь мой, — говорил он однажды, — что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро Богу душу отдам, а ведь не сподобил меня Господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях!

Я смотрел на старика: его лицо было так детски откровенно, сгорбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос — все внушало доверие; он не лгал, он не льстил, ему действительно хотелось видеть прежде смерти в «кавалерии и регалиях» человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это: святой или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости?

Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят

на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу; они, наверно, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не владимирскую ленту.

Скажу здесь кстати о положении нашей прислуги вообще.

Ни Сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, т. е. не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив и именно потому часто груб и несправедлив; но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил; для русского человека это часто хуже побоев и брани.

Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и два-три случая, в которые Сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству «частного дома», были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовых в солдаты; наказание это приводило в ужас всех молодых людей;

без роду, без племени, они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены… Являлись два полицейские солдата по зову помещика, они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейный платок.

Помню я еще, как какому-то старосте за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет шестидесяти: он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестья.

Когда Сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из тридцати мужчин и почти стольких же женщин; замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством; на службе были пять-шесть горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить *мальчишек и девчонок*, которых при-

учали к службе, т. е. к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни в России, я не думаю, чтоб было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давались пять рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом шесть. Женщинам — рублем меньше, детям лет с десяти — половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалованье состояло из ста рублей ассигнациями в год, другие получали половину, некоторые тридцать рублей в год. Мальчики лет до восемнадцати не получали жалованья. Сверх оклада, людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины; мальчикам, не получавшим жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, т. е. на баню и *говенье.* Взяв все в расчет, слуга обходился рублей в триста ассигнациями; если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем трехсот пятидесяти рублей. Это составляет *чет-*

вертую часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне.

Плантаторы обыкновенно вводят в счет *страховую* премию рабства, т. е. содержание жены, детей помещиком и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет, но страховая премия сильно понижается — премией *страха* телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания.

Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству. Но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи или стоя с тарелкой за столом, — нет места сомнению.

Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыба в воде, — люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и с своего рода художеством исполняют свою должность.

В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное — наш старый лакей Бакай.

Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия, он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных.

Почтенный старец этот постоянно был сердит, или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность; он умел с особенным шумом и треском отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела; сумрачно и навытяжке стоял на запятках и всякий раз, когда его подтряхивало на рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру: «Легче!», несмотря на то что рытвина уже была на пять шагов сзади.

Главное занятие его, сверх езды за каретой, — занятие, добровольно возложенное им на себя, — состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кой-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая; он

отворял мне дверь в залу и говорил:

— Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу.

Он не пропускал ни одного движения, ни одного слова, чтоб не разбранить мальчишек; к словам нередко прибавлял он и тумак или «ковырял масло», т. е. щелкал как-то хитро и искусно, как пружиной, большим пальцем и мизинцем по голове.

Когда он разгонял, наконец, мальчишек и оставался один, его преследования обращались на единственного друга его, Макбета, большую ньюфаундлендскую собаку, которую он кормил, любил, чесал и холил. Посидев без компании минуты две-три, он сходил на двор и приглашал Макбета с собой на залавок; тут он заводил с ним разговор.

— Что же ты, дурак, сидишь на дворе, на морозе, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращил глаза — ну? Ничего не отвечаешь?

За этим следовала обыкновенно пощечина. Макбет иногда огрызался на своего благодетеля; тогда Бакай его упрекал, но без ласки и уступок.

— Впрямь, корми собаку — все собака останется; зубы скалит и не подумает, на кого… Блохи бы заели без меня!

И, обиженный неблагодарностью своего друга, он нюхал с гневом табак и бросал Макбету в нос что оставалось на пальцах, после чего тот чихал, ужасно неловко лапой снимал с глаз табак, попавший в нос, и, с полным негодованием оставляя залавок, царапал дверь; Бакай ему отворял ее со словами «мерзавец!» и давал ему ногой толчок. Тут обыкновенно возвращались мальчики, и он принимался ковырять масло.

Прежде Макбета у нас была легавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взял на свой матрац и две-три недели ухаживал за ней. Утром рано выхожу я раз в переднюю. Бакай хотел мне что-то сказать, но голос у него переменился, и крупная слеза скатилась по щеке — собака умерла. Вот еще факт для изучения человеческого сердца. Я вовсе не думаю, чтоб он и мальчишек ненавидел; это был суровый нрав, подкрепляемый сивухою и бессознательно втянувшийся в поэзию передней.

Но рядом с этими дилетантами рабства какие мрачные образы мучеников, безнадежных страдальцев печально проходят в моей памяти.

У Сенатора был повар, необычайного таланта, трудолюбивый, трезвый, он шел в гору; сам Сенатор хлопотал, чтоб его приняли в кухню го-

сударя, где тогда был знаменитый повар-француз. Поучившись там, он определился в Английский клуб, разбогател, женился, жил барином; но веревка крепостного состояния не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своим положением.

Собравшись с духом и отслуживши молебен Иверской, Алексей явился к Сенатору с просьбой отпустить его за пять тысяч ассигнациями. Сенатор гордился *своим* поваром точно так, как гордился *своим* живописцем, а вследствие того денег не взял и сказал повару, что отпустит его даром после своей смерти.

Повар был поражен, как громом; погрустил, переменился в лице, стал седеть и… русский человек — принялся попивать. Дела свои повел он спустя рукава, Английский клуб ему отказал. Он нанялся у княгини Трубецкой; княгиня преследовала его мелким скряжничеством. Обиженный раз ею через меру, Алексей, любивший выражаться красноречиво, сказал ей с своим важным видом, своим голосом в нос:

— Какая непрозрачная душа обитает в вашем светлейшем теле!

Княгиня взбесилась, прогнала повара и, как следует русской барыне, написала жалобу Сенатору.

Сенатор ничего бы не сделал, но, как учтивый кавалер, призвал повара, разругал его и велел ему идти к княгине просить прощения.

Повар к княгине не пошел, а пошел в кабак. В год времени он все спустил: от капитала, приготовленного для взноса, до последнего фартука. Жена побилась, побилась с ним, да и пошла в няньки куда-то в отъезд. Об нем долго не было слуха. Потом как-то полиция привела Алексея, обтерханного, одичалого; его подняли на улице, квартеры у него не было, он кочевал из кабака в кабак. Полиция требовала, чтоб помещик его прибрал. Больно было Сенатору, а может, и совестно; он его принял довольно кротко и дал комнату. Алексей продолжал пить, пьяный шумел и воображал, что сочиняет стихи; он действительно не был лишен какой-то беспорядочной фантазии. Мы были тогда в Васильевском. Сенатор, не зная, что делать с поваром, прислал его туда, воображая, что мой отец уговорит его. Но человек был слишком сломлен. Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрыпом зубов и с мимикой, которая, особенно в поваре, могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку;

он меня любил и часто, фамильярно трепля меня по плечу, говорил:

— Добрая ветвь испорченного древа.

После смерти Сенатора мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно и значило сбыть его с рук; он так и пропал.

Рядом с ним не могу не вспомнить другой жертвы крепостного состояния. У Сенатора был, вроде письмоводителя, дворовый человек лет тридцати пяти. Старший брат моего отца, умерший в 1813 году, имея в виду устроить деревенскую больницу, отдал его мальчиком какому-то знакомому врачу для обучения фельдшерскому искусству. Доктор выпросил ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии; молодой человек был с способностями, выучился по-латыни, по-немецки и лечил кой-как. Лет двадцати пяти он влюбился в дочь какого-то офицера, скрыл от нее свое состояние и женился на ней. Долго обман не мог продолжаться, жена с ужасом узнала после смерти барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, нисколько их не теснил, он даже любил молодого Толочанова, но ссора его с женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. Толочанов, должно быть, очень

любил ее; он с этого времени впал в задумчивость, близкую к помешательству, прогуливал ночи и, не имея своих средств, тратил господские деньги; когда он увидел, что нельзя свести концов, он 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочанов взошел при мне к моему отцу и сказал ему, что он пришел с ним проститься и просит его сказать Сенатору, что деньги, которых недостает, истратил он.

— Ты пьян, — сказал ему мой отец, — поди и выспись.

— Я скоро пойду спать надолго, — сказал лекарь, — и прошу только не поминать меня злом.

Спокойный вид Толочанова испугал моего отца, и он, пристальнее посмотрев на него, спросил:

— Что с тобою, ты бредишь?

— Ничего-с, я только принял рюмку мышьяку.

Послали за доктором, за полицией, дали ему рвотное, дали молока… Когда его начало тошнить, он удерживался и говорил:

— Сиди, сиди там, я не с тем тебя проглотил.

Я слышал потом, когда яд стал сильнее действовать, его стон и страдальческий голос, повторявший:

— Жжет! Жжет! Огонь!

Кто-то посоветовал ему послать за священником, он не хотел и говорил Кало, что жизни за гробом быть не может, что он *настолько знает анатомию.* Часу в двенадцатом вечера он спросил штаб-лекаря по-немецки, который час, потом, сказавши: «Вот и Новый год, поздравляю вас», — умер.

Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней, — туда снесли Толочанова; тело лежало на столе в том виде, как он умер: во фраке, без галстуха, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки, и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами, и я слышал его «жжет! огонь!».

В заключение этого печального предмета скажу только одно: на меня передняя не сделала никакого действительно дурного влияния. Напротив, она с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: «Дайте срок, — вырастете, такой же барин

будете, как другие». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: *таким, как другие* по крайней мере, я не сделался.

Сверх передней и девичьей, было у меня еще одно рассеяние, и тут по крайней мере не было мне помехи. Я любил чтение столько же, сколько не любил учиться. Страсть к бессистемному чтению была вообще одним из главных препятствий серьезному учению. Я, например, прежде и после терпеть не мог теоретического изучения языков, но очень скоро выучивался кой-как понимать и болтать с грехом пополам, и на этом останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтения.

У отца моего вместе с Сенатором была довольно большая библиотека, составленная из французских книг прошлого столетия. Книги валялись грудами в сырой, нежилой комнате нижнего этажа в доме Сенатора. Ключ был у Кало; мне было позволено рыться в этих литературных закромах, сколько я хотел, и я читал себе да читал. Отец мой видел в этом двойную пользу: во-первых, что я скорее выучусь по-французски, а сверх того, что я занят, т. е. сижу смирно, и притом у себя в комнате. К тому же я не все книги показывал или клал у себя на столе, — иные прятались в шифоньер.

Что же я читал? Само собою разумеется, романы и комедии. Я прочел томов пятьдесят французского «Репертуара» и русского «Феатра»; в каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверх французских романов, у моей матери были романы Лафонтена, комедии Коцебу, — я их читал раза по два. Не могу сказать, чтоб романы имели на меня большое влияние; я бросался с жадностью на все двусмысленные или несколько растрепанные сцены, как все мальчики, но они не занимали меня особенно. Гораздо сильнейшее влияние имела на меня пьеса, которую я любил без ума, перечитывал двадцать раз, и притом в русском переводе «Феатра», — «Свадьба Фигаро». Я был влюблен в Херубима и в графиню, и, сверх того, я сам был Херубим; у меня замирало сердце при чтении, и, не давая себе никакого отчета, я *чувствовал к*акое-то новое ощущение. Как упоительна казалась мне сцена, где пажа одевают в женское платье, мне страшно хотелось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайком целовать ее. На деле я был далек от всякого женского общества в эти лета.

Помню только, как изредка по воскресеньям к нам приезжали из пансиона две дочери Б. Меньшая, лет шестнадцати, была поразительной

красоты. Я терялся, когда она входила в комнату, не смел никогда обращаться к ней с речью, а украдкой смотрел в ее прекрасные темные глаза, на ее темные кудри. Никогда никому не заикался я об этом, и первое дыхание любви прошло, не сведанное никем, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встречался с нею, сильно билось сердце, и я вспоминал, как я двенадцати лет от роду молился ее красоте.

Я забыл сказать, что «Вертер» меня занимал почти столько же, как «Свадьба Фигаро»; половины романа я не понимал и пропускал, торопясь скорее дойти до страшной развязки, тут я плакал, как сумасшедший. В 1839 году «Вертер» попался мне случайно под руки, это было в Владимире; я рассказал моей жене, как я мальчиком плакал, и стал ей читать последние письма… И когда дошел до того же места, слезы полились из глаз, и я должен был остановиться.

Лет до четырнадцати, я не могу сказать, чтоб мой отец особенно теснил меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическом здоровье, рядом с полным равнодушием к нравственному, страшно надоедала. Предостережения от простуды, от вредной пищи,

хлопоты при малейшем насморке, кашле. Зимой я по неделям сидел дома, а когда позволялось проехаться, то в теплых сапогах, шарфах и пр. Дома был постоянно нестерпимый жар от печей. Все это должно было сделать из меня хилого и изнеженного ребенка, если б я не наследовал от моей матери непреодолимого здоровья. Она, с своей стороны, вовсе не делила этих предрассудков и на своей половине позволяла мне все то, что запрещалось на половине моего отца.

Ученье шло плохо, без соревнования, без поощрений и одобрений; без системы и без надзору, я занимался спустя рукава и думал памятью и живым соображением заменить труд. Разумеется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись в цене — лишь бы они приходили в свое время и сидели свой час, — они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета в том, что делали.

Одним из самых странных эпизодов моего тогдашнего учения было приглашение французского актера Далеса давать мне уроки декламации.

— Нынче на это не обращают внимания, — говорил мне мой отец, — а вот брат Александр — он шесть месяцев сряду всякий вечер читал с Офре-

ном le récit de Théramène[23] и все не мог дойти до того совершенства, которого хотел Офрен.

Затем принялся я за декламацию.

— А что, monsieur Dalès[24], — спросил его раз мой отец, — вы можете, я полагаю, давать уроки танцевания?

Далес, толстый старик за шестьдесят лет, с чувством глубокого сознания своих достоинств, но и с не меньше глубоким чувством скромности отвечал, что «он не может судить о своих талантах, но что он часто *давал советы* в балетных танцах au Grand Opéra»[25].

— Я так и думал, — заметил ему мой отец, поднося ему свою открытую табакерку, чего с русским или немецким учителем он никогда бы не сделал. — Я очень хотел бы, если б вы могли le dégourdir un peu[26], после декламации, немного бы потанцевать.

---

[23] Сноски: 23
рассказ Терамена (*фр.*).

[24] Сноски: 24
господин Далес (*фр.*).

[25] Сноски: 25
в «Большой Опере» (*фр.*).

[26] Сноски: 26
сделать его поразвязнее, растормошить (*фр.*).

— Monsieur le comte peut disposer de moi[27].

И мой отец, безмерно любивший Париж, начал вспоминать о фойе Оперы в 1810, о молодости Жорж, о преклонных летах Марс и расспрашивал о кафе и театрах.

Теперь вообразите себе мою небольшую комнатку, печальный зимний вечер, окны замерзли, и с них течет вода по веревочке, две сальные свечи на столе и наш tête-à-tête[28]. Далес на сцене еще говорил довольно естественно, но за уроком считал своей обязанностью наиболее удаляться от натуры в своей декламации. Он читал Расина как-то нараспев и делал тот пробор, который англичане носят на затылке, на цезуре каждого стиха, так что он выходил похожим на надломленную трость.

При этом он делал рукой движение человека, попавшего в воду и не умеющего плавать. Каждый стих он заставлял меня повторять несколько раз и все качал головой.

— Не то, совсем не то! Attention! «Je crains Dieu, cher Abner, — тут пробор, он закрывал глаза, слегка качал головой и, нежно отталкивая ру-

---

[27] Сноски: 27
граф может располагать мною (*фр.*).

[28] Сноски: 28
разговор наедине (*фр.*).

кой волны, прибавлял: — et n'ai point d'autre crainte»[29].

Затем старичок, «ничего не боявшийся, кроме Бога», смотрел на часы, свертывал роман и брал стул: *это была моя дама.*

После этого нечему дивиться, что я никогда не танцевал.

Уроки эти продолжались недолго и прекратились очень трагически недели через две.

Я был с Сенатором в французском театре; проиграла увертюра и раз, и два — занавесь не подымалась; передние ряды, желая показать, что они знают *свой* Париж, начали шуметь, как там шумят *задние.* На авансцену вышел какой-то режиссер, поклонился направо, поклонился налево, поклонился прямо и сказал:

— Мы просим всего снисхождения публики; нас постигло страшное несчастие: наш товарищ Далес, — и у режиссера действительно голос перервался слезами, — найден у себя в комнате мертвым от угара.

Таким-то сильным средством избавил меня русский чад от декламации, монологов и монотанцев с моей дамой о четырех точеных ножках

---

[29] Сноски: 29

Внимание! «Я боюсь Бога, дорогой Абнер… а ничего другого не боюсь» (*фр.*).

из красного дерева.

Лет двенадцати я был переведен с женских рук на мужские. Около того времени мой отец сделал два неудачных опыта приставить за мной немца.

Немец при детях — и не гувернер, и не дядька, это совсем особенная профессия. Он не учит детей и не одевает, а смотрит, чтоб они учились и были одеты, печется о их здоровье, ходит с ними гулять и говорит тот вздор, который хочет, не иначе, как по-немецки. Если есть в доме гувернер, немец ему покоряется; если есть дядька, он покоряется немцу. Учители, ходящие по билетам, опаздывающие по непредвидимым причинам и уходящие слишком рано по обстоятельствам, не зависящим от их воли, строят немцу куры, и он при всей безграмотности начинает себя считать ученым. Гувернанты употребляют немца на покупки, на всевозможные комиссии, но позволяют ухаживать за собой только в случае сильных физических недостатков и при совершенном отсутствии других поклонников. Лет четырнадцати воспитанники ходят тайком от родителей к немцу в комнату курить табак, он это терпит, потому что ему необходимы сильные вспомогательные средства, чтоб оставаться в доме. В самом деле,

большей частию в это время немца при детях благодарят, дарят ему часы и отсылают; если он устал бродить с детьми по улицам и получать выговоры за насморк и пятны на платьях, то немец *при детях* становится просто немцем, заводит небольшую лавочку, продает прежним питомцам мундштуки из янтаря, одеколонь, сигарки и делает другого рода *тайные* услуги им[30].

Первый немец, приставленный за мною, был родом из Шлезии и назывался Иокиш; по-моему, этой фамилии было за глаза довольно, чтоб его не брать. Высокий плешивый мужчина, он отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своим знанием агрономии, я думаю, что отец мой именно поэтому его и взял. Я с отвращением смотрел на шленского великана и только на том мирился с ним, что он мне рассказывал, гуляя по Девичьему полю и на Пресненских прудах, сальные анекдоты, которые я передавал передней. Он прожил не больше года, напакостил что-то в деревне, садовник хотел его убить косой, отец мой велел ему убираться.

На его место поступил брауншвейг-вольфен-

[30] Сноски: 30

Органист и учитель музыки, о котором говорится в «Записках одного молодого человека», И. И. Экк давал только уроки музыки, не имев никакого влияния.

бюттельский солдат (вероятно, беглый) Федор Карлович, отличавшийся каллиграфией и непомерным тупоумием. Он уже был прежде в двух домах при детях и имел некоторый навык, т. е. придавал себе вид гувернера, к тому же он говорил по-французски на «ши», с обратным ударением[31].

Я не имел к нему никакого уважения и отравлял все минуты его жизни, особенно с тех пор, как я убедился, что, несмотря на все мои усилия, он не может понять двух вещей: десятичных дробей и тройного правила. В душе мальчиков вообще много беспощадного и даже жестокого; я с свирепостию преследовал бедного вольфенбюттельского егеря пропорциями; меня это до того занимало, что я, мало вступавший в подобные разговоры с моим отцом, торжественно сообщил ему о глупости Федора Карловича.

К тому же Федор Карлович мне похвастался, что у него есть новый фрак, синий, с золотыми пуговицами, и действительно я его видел раз отправляющегося на какую-то свадьбу во фраке, который ему был широк, но с золотыми пуговицами. Мальчик, приставленный за ним, донес

---

[31] Сноски: 31

Англичане говорят хуже немцев по-французски, но они только коверкают язык, немцы *оподляют* его.

мне, что фрак этот он брал у своего знакомого сидельца в косметическом магазейне. Без малейшего сожаления пристал я к бедняку: где синий фрак? — да и только.

— У вас в доме много моли, я его отдал к знакомому портному на сохранение.

— Где живет этот портной?

— Вам на что?

— Отчего же не сказать?

— Не надобно не в свои дела мешаться.

— Ну, пусть так, а через неделю мои именины, — утешьте меня, возьмите синий фрак у портного на этот день.

— Нет, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы «импертинент»[32].

И я грозил ему пальцем.

Надобно же было для последнего удара Федору Карловичу, чтоб он раз при Бушо, французском учителе, похвастался тем, что он был рекрутом под Ватерлоо и что немцы дали страшную таску французам. Бушо только посмотрел на него и так страшно понюхал табаку, что победитель Наполеона несколько сконфузился. Бушо ушел, сердито опираясь на свою сучковатую палку,

---

[32] Сноски: 32
дерзкий (*фр*. impertinent).

и никогда не называл его иначе, как le soldat de Vilain-ton[33]. Я тогда еще не знал, что каламбур этот принадлежит Беранже, и не мог нарадоваться на выдумку Бушо.

Наконец, товарищ Блюхера рассорился с моим отцом и оставил наш дом; после этого отец мой не теснил меня больше немцами.

При брауншвейг-вольфенбюттельском воине я иногда похаживал к каким-то мальчикам, при которых жил его приятель тоже в должности «немца» и с которыми мы делали дальние прогулки; после него я снова оставался в совершенном одиночестве — скучал, рвался из него и не находил выхода. Не имея возможности пересилить волю отца, я, может, сломился бы в этом существовании, если б вскоре новая умственная деятельность и две встречи, о которых скажу в следующей главе, не спасли меня. Я уверен, что моему отцу ни разу не приходило в голову, какую жизнь он заставляет меня вести, иначе он не отказывал бы мне в самых невинных желаниях, в самых естественных просьбах.

Изредка отпускал он меня с Сенатором в французский театр, это было для меня высшее насла-

---

[33] Сноски: 33

Игра слов: «le soldat de Vilain-ton» — «солдат дурного тона» — звучит по-французски так же, как «le soldat Wellington» — «солдат Веллингтона».

ждение; я страстно любил представления, но и это удовольствие приносило мне столько же горя, сколько радости. Сенатор приезжал со мною в полпиесы и, вечно куда-нибудь званный, увозил меня прежде конца. Театр был у Арбатских ворот, в доме Апраксина, мы жили в Старой Конюшенной, т. е. очень близко, но отец мой строго запретил возвращаться без Сенатора.

Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, *насколько* это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастие. Священнику за уроки Закона Божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис.

Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в Священное Писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь,

впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимою он извинялся тем, что священник и дьякон вносят такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных.

Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до артистической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие, — талант, который я сохранил до совершеннолетия.

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная mise

en scène[34] поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову, это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность; так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Но Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу.

Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но тем, что я приводил тексты буквально.

---

[34] Сноски: 34
постановка (*фр.*).

«Но Господь Бог, — говорил он, — раскрыв ум, не раскрыл еще сердца». И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако же был доволен мною, думая, что у Терновского сумею держать ответ.

Вскоре религия другого рода овладела моей душой.

Глава III

Смерть Александра I и 14 декабря. – Нравственное пробуждение. – Террорист Бушо. – Корчевская кузина.

Одним зимним утром, как-то не в свое время, приехал Сенатор; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастию, мне недолго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подзывало меня; это был лакей Сенатора. Я бросился к двери.

— Вы не слыхали? — спросил он.

— Чего?

— Государь помер в Таганроге.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры. Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное. Когда он поровнялся с нами, я снял шляпу и поднял ее; он, улыбаясь, поклонился мне. Какая разница с Николаем, вечно представлявшим остриженную и взлызистую медузу с усами! Он на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи — останавливать кровь в жилах[35].

---

[35] Сноски: 35

Рассказывают, что как-то Николай в своей семье, т. е. в присутствии двух-трех начальников тайной полиции, двух-трех *лейб*-фрейлин и лейб-генералов, попробовал свой взгляд на Марье Николаевне. Она похожа на отца, и взгляд ее действительно напоминает его страшный взгляд. Дочь смело вынесла отцовский взор. Он побледнел, щеки задрожали у него и глаза сделались еще свирепее; тем же взглядом отвечала ему дочь. Все побледнело и задрожало вокруг; лейб-фрейлины и лейб-генералы не смели дохнуть от этого каннибальски-царского поединка глазами, вроде описанного Байроном в «Дон-Жуане». Николай встал, — он почувствовал, что нашла коса на камень.

Если наружная кротость Александра была личина, не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластья.

…Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора, большой охотник до политических новостей и которому было где их собирать по всем передним сенаторов и присутственных мест, по которым он ездил с утра до ночи, не имея выгоды лошадей, которые менялись после обеда, сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо.

В царствование Александра политические гонения были редки; он сослал, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что он, будучи

конференц-секретарем в Академии художеств, предложил избрать кучера Илью Байкова в члены Академии[36]; но систематического преследования не было. Тайная полиция не разрасталась еще в самодержавный корпус жандармов, а состояла из канцелярии над начальством старого волтерианца, остряка и болтуна и юмориста вроде Жуи де-Санглена. При Николае де-Санглен попал сам под надзор полиции и считался либералом, оставаясь тем же, чем был; по одному этому легко вымерить разницу царствований.

Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардей-

---

[36] Сноски: 36

Президент Академии предложил в почетные члены Аракчеева. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги графа в отношении к искусствам? Президент не нашелся и отвечал, что Аракчеев — «самый близкий человек к государю». — «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова, — заметил секретарь, — он не только близок к государю, но сидит перед ним». Лабзин был мистик и издатель «Сионского вестника»; сам Александр был такой же мистик, но с падением министерства Голицына отдал головой Аракчееву своих прежних «братий о Христе и о внутреннем человеке». Лабзина сослали в Симбирск.

цев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: «в. в., у меня шпага в руке». Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастью, он не был замешан[37].

Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а дру-

[37] Сноски: 37

Офицер, если не ошибаюсь, граф Самойлов, вышел в отставку и спокойно жил в Москве. Николай узнал его в театре; ему показалось, что он как-то изысканно оригинально одет, и он высочайше изъявил желание, чтоб подобные костюмы были осмеяны на сцене. Директор и *патриот* Загоскин поручил одному из актеров представить Самойлова в каком-нибудь водевиле. Слух об этом разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящий Самойлов взошел в ложу директора и просил позволения сказать несколько слов своему двойнику. Директор струсил, однако, боясь скандалу, позвал гаера. «Вы прекрасно представили меня, — сказал ему граф, — но для полного сходства у вас недоставало одного — этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мне вручить его вам: вы его будете надевать, когда вам опять будет приказано меня представить». После этого Самойлов спокойно отправился на свое место. Плоская шутка так же глупо пала, как объявление Чаадаева сумасшедшим и другие августейшие шалости.

гие хуже — бескорыстно.

Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких… И у креста стояли одни женщины, и у кровавой гильотины является — то Люсиль Демулен, эта Офелия революции, бродящая возле топора, ожидая свой черед, то Ж. Санд, подающая на эшафоте руку участия и дружбы фанатическому юноше Алибо.

Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. Сестры, не имевшие права ехать, удалялись от двора, многие оставили Россию; почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о *несчастных.*

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтоб не сказать несколько слов об одной из этих героических историй, которая очень мало известна.

В старинном доме Ивашевых жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сын Ивашева хотел на ней жениться. Это свело с ума

всю родню его; гвалт, слезы, просьбы. У француженки не было налицо брата Чернова, убившего на дуэли Новосильцева и убитого им; ее уговорили уехать из Петербурга, его — отложить до поры до времени свое намерение. Ивашев был одним из энергических заговорщиков; его приговорили к вечной каторжной работе. От этой mésalliance[38] родня не спасла его. Как только страшная весть дошла до молодой девушки в Париж, она отправилась в Петербург и попросила дозволения ехать в Иркутскую губернию к своему жениху Ивашеву. Бенкендорф попытался отклонить ее от такого преступного намерения; ему не удалось — и он доложил Николаю. Николай велел ей объяснить положение жен, не *изменивших* мужьям, сосланным в каторжную работу, присовокупляя, что он ее не держит, но что она должна знать, что если жены, идущие из верности с своими мужьями, заслуживают некоторого снисхождения, то она не имеет на это ни малейшего права, сознательно вступая в брак с преступником.

Она и Николай сдержали слово: она отправилась в Сибирь — он ничем не облегчил ее судьбу.

---

[38] Сноски: 38
неравного брака (*фр.*).

Царь был строг, но справедлив.

В крепости ничего не знали о позволении, и бедная девушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство опишется с Петербургом, в каком-то местечке, населенном всякого рода бывшими преступниками, без всякого средства узнать что-нибудь об Ивашеве и дать ему весть о себе.

Мало-помалу она ознакомилась с своими новыми товарищами. Между ними был сосланный разбойник; он работал в крепости, она рассказала ему свою историю. На другой день разбойник принес ей записочку от Ивашева. Через день он предложил ей носить от Ивашева вести и брать ее записки. С утра он должен был работать в крепости до вечера; когда наступала ночь, он брал письмецо Ивашева и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталь, и возвращался к рассвету на свою работу[39].

---

[39] Сноски: 39

Люди, хорошо знавшие Ивашевых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в истории разбойника. И что, говоря о возвращении детей и о участи брата, нельзя не вспомнить благородного поведения сестер Ивашева. Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к брату (Ивашеву) в Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойнике, я не помню. Не смешали ли Ивашеву с кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому через незнакомого раскольника? Целы ли письма Ивашева? Нам кажется, будто мы имеем право на них.

Наконец, пришло позволение, их обвенчали. Через несколько лет каторжная работа заменилась поселением. Положение их несколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала под бременем всего испытанного. Она увяла, как должен был увянуть цветок полуденных стран на сибирском снегу. Ивашев не пережил ее, он умер ровно через год после нее, но и *тогда* он уже не был здесь; его письма (поразившие третье отделение) носили след какого-то безмерно грустного, святого лунатизма, мрачной поэзии; он, собственно, не жил после нее, а тихо, торжественно умирал.

Это «житие» не оканчивается с их смертию. Отец Ивашева, после ссылки сына, передал свое именье незаконному сыну, прося его не забывать бедного брата и помогать ему. У Ивашевых осталось двое детей, двое малюток без имени, двое будущих кантонистов, посельщиков в Сибири — без помощи, без прав, без отца и матери. Брат Ивашева испросил у Николая позволение взять детей к себе; Николай разрешил. Через несколько лет он рискнул другую просьбу: он ходатайствовал о возвращении им имени отца; удалось и это.

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве

сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных, — коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха. Николай уехал из Петербурга и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце… Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля.

Народ русский отвык от смертных казней: после Мировича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная

казнь de jure[40] не существовала. Рассказывают, что при Павле на Дону было какое-то частное возмущение казаков, в котором замешались два офицера. Павел велел их судить военным судом и дал полную власть гетману или генералу. Суд приговорил их к смерти, но никто не осмелился утвердить приговор; гетман представил дело государю. «Все они бабы, — сказал Павел, — они хотят свалить казнь на меня, очень благодарен», — и заменил ее каторжной работой.

Николай ввел *смертную казнь* в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле[41]. Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный

---

[40] Сноски: 40

юридически (*лат.*).

[41] Сноски: 41

«Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля.

Никогда виселицы не имели такого торжества; Николай понял важность победы!

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, осквернённым кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и облекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, ал-

тарь и пушки — все осталось; но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу» («Полярная звезда» на 1855).

въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтоб он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину, как Павел Лопухину, как Александр всех женщин, кроме своей жены; он «пребывал к ним благосклонен», не больше.

В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остается; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двоится; с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью

и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле. Но есть и другой — это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть — повелевать; ум узок, сердца совсем нет — это монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы *гвардейские и армейские* императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов. Я понимаю необходимость этих угрюмых и непреклонных стражей возле умирающего в бешенстве, но зачем они возникающему, юному?

Несмотря на то, что политические мечты занимали меня день и ночь, понятия мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображал в самом деле, что петербургское возмущение имело между прочим целью посадить на трон цесаревича, ограничив его власть. Отсюда — целый год поклонения этому чудаку. Он был тогда народнее Николая; отчего, не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и сол-

даты, для которых он делал один вред, любили его. Я очень помню, как во время коронации он шел возле бледного Николая, с насупившимися светло-желтого цвета взъерошенными бровями, в мундире литовской гвардии с желтым воротником, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвенчавши, в качестве отца посаженого, Николая с Россией, он уехал додразнивать Варшаву. До 29 ноября 1830 года о нем не было слышно.

Некрасив был мой герой, такого типа и в Ватикане не сыщешь. Я бы этот тип назвал *гатчинским,* если б не видал сардинского короля.

Само собою разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: «Дай Бог, чтоб эти чувства со-

зрели в вас и укрепились». Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина: «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева, я их переписывал тайком… (*а теперь* печатаю явно!)

Разумеется, что и чтение мое переменилось. Политика вперед, а главное — история революции; я ее знал только по рассказам М-me Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачем, — спросил я его середь урока, — казнили Людвика XVI?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a été traître à la patrie[42].

— Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов[43]; для меня было довольно; ясное дело, что поделом казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготовлял уроки, он часто говаривал: «Из вас ничего не выйдет», но когда заметил мою симпатию к его идеям régicides[44], он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда «развратные и плуты» взяли верх. Он с тою же важностию, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

— Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более

---

[42] Сноски: 42
Потому что он изменил отечеству (*фр*.).

[43] Сноски: 43
сослагательных наклонений (*фр*. subjonctif).

[44] Сноски: 44
цареубийственным (*фр*.).

теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лег, но видались мы редко; она приезжала раз в год на Святки или об Масленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, т. е. не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.

Мы переписывались, и очень, с 1824 г., но письма — это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях — и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я

на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дни три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению запивая кислыми щами всякое предложение, толковал о «гексаметре», страшно рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой «Илиады», — вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе… Я вспыхнул в лице, мне было не до рубленного гнева «Ахиллеса, Пелеева сына»; я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина, закутанная в шубах, шалях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребячество!» Словно они стали

лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек, — пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что «ребячество» с двумя-тремя годами юности — самая полная, самая изящная, самая *наша* часть жизни, да и чуть ли не самая важная: она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями *дает* юность человеку, но человека сложившегося *берет* для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти

не зависящих от него; он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслаждение — все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок и, как все игроки по крови, десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Les beaux restes[45] своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели; девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное.

---

[45] Сноски: 45
Остатки (*фр.*).

Вовсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт «семинаристов в желтой шали», она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Феодоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: «Il a repris son sourire de bienveillance!»[46]

Можно себе представить стройное trio, составленное из отца — игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще, между женщинами трид-

---

[46] Сноски: 46

На его устах вновь появилась благосклонная улыбка (*фр.*).

цати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак — вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак — вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретилась с неумолимой логикой жизни — с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца — своей матерью.

С своей стороны и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении; ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкнувшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она, наконец, склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю и Анахарсисово путешествие. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонностям моим курить тайком табак, завертывая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще, она любила мне читать морали, — если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастию, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке, вместо археологического романа, и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневики и гороховый кисель с постным

маслом, а летом — крыжовник и смородину.

Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу, — и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я — будущий «Брут или Фабриций».

Мне одному она доверила тайну любви к одному офицеру Александрийского гусарского полка, в черном ментике и в черном доломане; это была действительная тайна, потому что и сам гусар никогда не подозревал, командуя своим эскадроном, какой чистый огонек теплился для него в груди восьмнадцатилетней девушки. Не знаю, завидовал ли я его судьбе, — вероятно, немножко, — но я был горд тем, что она избрала меня своим поверенным, и воображал (по Вертеру), что это одна из тех трагических страстей, которая будет иметь великую развязку, сопровождаемую самоубийством, ядом и кинжалом; мне даже при-

ходило в голову идти к нему и все рассказать.

Кузина привезла из Корчевы воланы; в один из воланов была воткнута булавка, и она никогда не играла другим, и всякий раз, когда он попадался мне или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень к нему привыкла. Демон espiègleries[47], который всегда был моим злым искусителем, наустил меня переменить булавку, т. е. воткнуть ее в другой волан. Шалость вполне удалась: кузина постоянно брала тот, в котором была булавка. Недели через две я ей сказал; она переменилась в лице, залилась слезами и ушла к себе в комнату. Я был испуган, несчастен и, подождав с полчаса, отправился к ней; комната была заперта, я просил отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не друг ей, а бездушный мальчик. Я написал ей записку, умолял простить меня; после чая мы помирились, я у ней поцеловал руку, она обняла меня и тут объяснила всю важность дела. Год тому назад гусар обедал у них и после обеда играл с ней в волан, — его-то волан и был отмечен. Меня угрызала совесть, я думал, что я сделал истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября месяца. Отец

---

[47] Сноски: 47
шалости (*фр.*).

звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картоны, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы — она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневики и гороховый кисель, и исчезла; я походил по двору — так что-то холодно и дурно, взошел в свою комнату — и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал — где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало — в будущем июне вместе в Васильевском!

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея…

«Едем мы нынешний год в Васильевское или нет?» Вопрос этот сильно занимал меня с весны. Отец мой всякий раз говорил, что в этом году

он уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист, и никогда не мог собраться прежде июля. Иной год он так опаздывал, что мы совсем не ездили. В деревню писал он всякую зиму, чтоб дом был готов и протоплен, но это делалось больше по глубоким политическим соображениям, нежели серьезно, — для того, чтоб староста и земский, боясь близкого приезда, внимательнее смотрели за хозяйством.

Кажется, что едем. Отец мой говорил Сенатору, что очень хотелось бы ему отдохнуть в деревне и что хозяйство требует его присмотра, но опять проходили недели.

Мало-помалу дело становилось вероятнее, запасы начинали отправляться: сахар, чай, разная крупа, вино — тут снова пауза, и, наконец, приказ старосте, чтоб к такому-то дню прислал столько-то крестьянских лошадей, — итак, едем, едем!

Я не думал тогда, как была тягостна для крестьян в самую рабочую пору потеря четырех или пяти дней, радовался от души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я с внутренним удовольствием слушал их жеванье и фырканье на дворе и принимал большое участие в суете кучеров, в спорах людей о том, где кто сядет, где кто положит свои пожит-

ки; в людской огонь горел до самого утра, и все укладывались, таскали с места на место мешки и мешочки и одевались по-дорожному (ехать всего было около восьмидесяти верст!). Всего более раздражен был камердинер моего отца, он чувствовал всю важность укладки, с ожесточением выбрасывал все положенное другими, рвал себе волосы на голове от досады и был неприступен.

Отец мой вовсе не раньше вставал на другой день, — казалось, даже позже обыкновенного, так же продолжительно пил кофе и, наконец, часов в одиннадцать приказывал закладывать лошадей. За четвероместной каретой, заложенной шестью господскими лошадями, ехали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или, вместо ее, две телеги; все это было наполнено дворовыми и пожитками; несмотря на обозы, прежде отправленные, все было битком набито, так что никому нельзя было порядочно сидеть.

На полдороге мы останавливались обедать и кормить лошадей в большом селе Перхушкове, имя которого попалось в наполеоновские бюльтени. Село это принадлежало сыну «старшего брата», о котором мы говорили при разделе. Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженной плоскими безотрадными полями;

но мне и эта пыльная даль очень нравилась после городской тесноты. В доме покоробленные полы и ступени лестницы качались, шаги и звуки раздавались резко, стены вторили им будто с удивлением. Старинная мебель из кунсткамеры прежнего владельца доживала свой век в этой ссылке; я с любопытством бродил из комнаты в комнату, ходил вверх, ходил вниз, отправлялся в кухню. Там наш повар приготовлял наскоро дорожный обед с недовольным и ироническим видом. В кухне сидел обыкновенно бурмистр, седой старик с шишкой на голове; повар, обращаясь к нему, критиковал плиту и очаг; бурмистр слушал его и по временам лаконически отвечал: «И то — пожалуй, что и так» — и невесело посматривал на всю эту тревогу, думая: «Когда нелегкое их пронесет».

Обед подавался на особенном английском сервизе из жести или из какой-то композиции, купленном ad hoc[48]. Между тем лошади были заложены; в передней и в сенях собирались охотники до придворных встреч и проводов: лакеи, оканчивающие жизнь на хлебе и чистом воздухе, старухи, бывшие смазливыми горничными

---

[48] Сноски: 48
для данного случая (*лат.*).

лет тридцать тому назад, — вся эта саранча господских домов, поедающая крестьянский труд без собственной вины, как настоящая саранча. С ними приходили дети с светло-палевыми волосами; босые и запачканные, они всё совались вперед, старухи всё их дергали назад; дети кричали, старухи кричали на них, ловили меня при всяком случае и всякий год удивлялись, что я так вырос. Отец мой говорил с ними несколько слов; одни подходили *к ручке*, которую он никогда не давал, другие кланялись, — и мы уезжали.

В нескольких верстах от Вязьмы князя Голицына дожидался васильевский староста, верхом, на опушке леса, и провожал проселком. В селе, у господского дома, к которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стречка, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему.

Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или именье Лопухина против Саввина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское

лежит на продолжении того же берега верст тридцать от Саввина монастыря. На отлогой стороне — село, церковь и старый господский дом. По другую сторону — гора и небольшая деревенька, там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом; озера нив, колеблясь, стлались без конца; разные усадьбы и села с белеющими церквами видны были там-сям; леса разных цветов делали полукруглую раму, и черезо все — голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал.

При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, оттого, что я в нем встретился в первый раз с деревней; я так любил длинную, тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле; дом разваливался, и из одной трещины в сенях росла тоненькая, стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки; на этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро — лет одиннадцати, двенадцати. Перед домом сиживал почти всегда сгорбленный старик-садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон; гнезда их покры-

вали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево и все затихнет… А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом… Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать.

Каждый год или по крайней мере через год ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шилле-

ра; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам о себе вслух; тем не меньше еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал *философскую* статью о Шиллеровом Валленштейне — и из прежних игр удержался в силе один фальконет.

Впрочем, сверх пальбы, еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью — сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускалось в нем… Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой; все подернулось дымчатым испарением, — в Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на мулов; по дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшою деревенькой; кой-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий и несколько сырой ветер подувал с Апеннин. При выезде из деревни,

в нише, стояла небольшая мадонна, перед нею горел фонарь; крестьянские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом на голове, опустились на колена и запели молитву, к ним присоединились шедшие мимо нищие пиферари. Я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Мы посмотрели друг на друга… и тихим шагом поехали к остерии[49], где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать?

Деревья сада
Стояли тихо. По холмам
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домам
Уныло медленное стадо.
(«Юмор»)

…Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычанье, блеянье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курц-галопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе — но тропинка повернула направо, и звуки снова

[49] Сноски: 49
ресторану (*um.* osteria).

удаляются. Из домов, скрыпя воротами, выходят дети, девочки — встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно-чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается паленый запах овинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожа, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говорит, найдя меня под липой:

— Что это вас нигде не сыщешь? И чай давно подан, и все в сборе, я уже искала, искала вас, ноги устали, не под лета мне бегать; да и что это на сырой траве лежать?.. Вот будет завтра насморк, непременно будет.

— Ну, полноте, полноте, — говорил я, смеясь, старушке, — и насморку не будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдьте сливок получше, с самого верху.

— В самом деле, уж какой вы, на вас и сердиться нельзя… Лакомство какое! Сливки-то я уже и без вашего спроса приготовила. А вот зарница… хорошо! Это к хлебу зарит.

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся

домой.

После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжение моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст двадцать от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище. И вот мы опять едем тем же проселком; открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником, а тут и брод через реку, — этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг, — вода брызжет, мелкие камни хрустят, кучера кричат, лошади упираются… Ну вот и село, и дом священника, где он сиживал на лавочке в буром подряснике, простодушный, добрый, рыжеватый, вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавший и постоянно одержимый икотой; вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнувши третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи, муж ее был на поле.

Что-то чужое прошло тут в эти десять лет; вместо нашего дома на горе стоял другой, около него

был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках; оно мне показывало что-то, я подошел — это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника; ей было тогда уже лет около семидесяти, и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала:

— Ох, уже и ты-то как состарился, я по поступи тебя только узнала — а я — уж я-то — о-о-ох — и не говори!

Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас; он сначала не узнал меня, но когда мы проехали, он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся: староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед; его высокая бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знакомо проводила нас из отчуждившегося Васильевского.

Глава IV
Ник и Воробьевы горы

«Напиши тогда, как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Письмо 1833

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, т. е. по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке, он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было,

ишь какой, словно кошка. А впрочем, — прибавил он, — мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака, — это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он

лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный,
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.
Старушка бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,
Молитву шопотом творя,
И четки все перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у Бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел…
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.
И все такою тишиной
Кругом дышало, только чтенье
Дьячков звучало, и с душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.
(«Юмор»)

…Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана», от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта, переход к 14 декабря и Ни-

колаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим *бушотовским* терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

— Все так, — заметил юный князь О., — но ведь он был помазанник Божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича *Константина!*

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться

или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль — Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки, дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина *самого* покупать в лавки готовые сапоги. Переворот Зонненберга, так же как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами, — но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и sans-gêne[50] филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, подни-

[50] Сноски: 50
бесцеремонности (*фр.*).

мал Ника в 59 минут шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были не шуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состареться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, облепившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было *запрещено* кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, — но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил

из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, — сделался последним.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. *Сила* сломила в нас мно-

гое, *но не она* нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны, — свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с Богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно».

«Напиши, — заключал он, — как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей — А. Л. Витберг. В 1842, воз-

вратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем, — но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане, он с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, — на беду ли, на счастие ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827–28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина — может, ей попадутся эти строки и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать *ты* и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру[51].

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благословить судьбу, если у вас *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благо-

---

[51] Сноски: 51
«Philosophische Briefe».

словить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina will schlafen»[52], но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberté[53], эта перемена психического голоса — очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем[54]; лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он

---

[52] Сноски: 52

«Беттина хочет спать» (*нем.*).

[53] Сноски: 53

жаргон возмужалости (*фр.*).

[54] Сноски: 54

Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния; несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых altkluge Burschen <молодых старичках>, которые так хорошо знают *недостатки* его в семнадцать лет?..

слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел… не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я *наши* воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе.

Для тебя они имеют двойной смысл — смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена[55].

...А не странно ли подумать, что умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником, или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.

Он не забыл его — наш «старый дом».

Старый дом, старый друг! посетил я,
Наконец, в запустенье тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.
Двор лежал предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, тлел он на почве сырой.
Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,

---

[55] Сноски: 55
Писано в 1853 году.

Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.
Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили.
Нас страшил его черствый язык.
Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой,
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.
В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.
В этой комнате счастье былое,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.
И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.

Глава V

Подробности домашнего житья. – Люди XVIII века в России. – День у нас в доме. – Гости и habitués[56]*. – Зонненберг. – Камердинер и пр.*

Невыносимая скука нашего дома росла с каждым годом. Если б не близок был университетский курс, не новая дружба, не политическое увлечение и не живость характера, я бежал бы или погиб.

Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа, он постоянно был всем недоволен. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил; светский человек accompli[57], он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но он не хотел этого и все более и более впадал в капризное отчуждение ото всех.

Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей,

---

[56] Сноски: 56
завсегдатаи (*фр.*).

[57] Сноски: 57
совершенный (*фр.*).

больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие встречи двух вещей до того противуположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию, — помещичьей праздности.

Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе — отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в «окно» гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызвало их везде, даже там, где они не были нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство. В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома,

иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме.

К этому кругу принадлежал в Москве на первом плане блестящий умом и богатством русский вельможа, европейский grand seigneur[58] и татарский князь Н. Б. Юсупов. Около него была целая плеяда седых волокит и esprits forts[59], всех этих Масальских, Санти и tutti quanti[60]. Все они были люди довольно развитые и образованные; оставленные без дела, они бросились на наслаждения, холили себя, любили себя, отпускали себе добродушно все прегрешения, возвышали до платонической страсти свою гастрономию и сводили любовь к женщинам на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был

---

[58] Сноски: 58
большой барин (*фр.*).

[59] Сноски: 59
вольнодумцев (*фр.*).

[60] Сноски: 60
всяких других (*ит.*).

одарен действительно артистическим вкусом. Чтоб в этом убедиться, достаточно раз побывать в Архангельском, поглядеть на его галереи, если их еще не продал вразбивку его наследник. Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный мраморной, рисованной и *живой* красотой. В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание, и рисовал Гонзага, которому Юсупов посвятил свой театр.

Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе, по жизни и связям принадлежал к этому же кругу; но ему ни его нрав, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лет ветреную жизнь, и он перешел в противуположную крайность. Он хотел себе устроить жизнь одинокую, в ней его ждала смертельная скука, тем более, что он только *для себя* хотел ее устроить. Твердая воля превращалась в упрямые капризы, незанятые силы портили нрав, делая его тяжелым.

Когда он воспитывался, европейская цивилизация была еще так нова в России, что быть образованным значило быть наименее русским. Он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски, он à la

lettre[61] не читал ни одной русской книги, ни даже Библии. Впрочем, Библии он и на других языках не читал; он знал понаслышке и по отрывкам, о чем идет речь вообще в Св. Писании, и дальше не полюбопытствовал заглянуть. Он уважал, правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написал оду на смерть его дяди князя Мещерского, Крылова за то, что вместе с ним был секундантом на дуэли Н. Н. Бахметева. Как-то мой отец принялся за Карамзина «Историю государства Российского», узнавши, что император Александр ее читал, но положил в сторону, с пренебрежением говоря: «Все Изяславичи да Ольговичи, кому это может быть интересно?»

Людей он презирал откровенно, открыто — всех. Ни в каком случае он не считал ни на кого, и я не помню, чтоб он к кому-нибудь обращался с значительной просьбой. Он и сам ни для кого ничего не делал. В сношениях с посторонними он требовал одного — сохранения приличий; les apparences, les convenances[62] составляли его нравственную религию. Он много прощал, или, лучше, пропускал сквозь пальцы, но нарушение

---

[61] Сноски: 61
буквально (*фр.*).

[62] Сноски: 62
видимость, приличия (*фр.*).

форм и приличий выводили его из себя, и тут он становился без всякой терпимости, без малейшего снисхождения и сострадания. Я так долго возмущался против этой несправедливости, что, наконец, понял ее: он вперед был уверен, что всякий человек способен на все дурное и если не делает, то или не имеет нужды, или случай не подходит; в нарушении же форм он видел личную обиду, неуважение к нему или «мещанское воспитание», которое, по его мнению, отлучало человека от всякого людского общества.

«Душа человеческая, — говаривал он, — потемки, и кто знает, что у кого на душе; у меня своих дел слишком много, чтоб заниматься другими да еще судить и пересуживать их намерения; но с человеком дурно воспитанным я в одной комнате не могу быть, он меня оскорбляет, *фруасирует*[63]; а там он может быть добрейший в мире человек, за то ему будет место в раю, но мне его не надобно. В жизни всего важнее esprit de conduite[64], важнее превыспреннего ума и всякого ученья. Везде уметь найтиться, нигде не соваться вперед, со всеми чрезвычайная вежливость и ни с кем

---

[63] Сноски: 63
задевает, раздражает (*фр*. froisser).

[64] Сноски: 64
умение вести себя (*фр*.).

фамильярности».

Отец мой не любил никакого abandon[65], никакой откровенности, он все это называл фамильярностью, так, как всякое чувство — сентиментальностью. Он постоянно представлял из себя человека, стоящего выше всех этих мелочей; для чего, с какой целью? в чем состоял высший интерес, которому жертвовалось сердце? — я не знаю. И для кого этот гордый старик, так искренно презиравший людей, так хорошо знавший их, представлял свою роль бесстрастного судьи? Для женщины, которой волю он сломил, несмотря на то, что она иногда ему противуречила, для больного, постоянно лежавшего под ножом оператора, для мальчика, из резвости которого он развил непокорность, для дюжины лакеев, которых он не считал людьми!

И сколько сил, терпения было употреблено на это, сколько настойчивости, и как удивительно верно была доиграна роль, несмотря ни на лета, ни на болезни. Действительно, душа человеческая — потемки.

Впоследствии я видел, когда меня арестовали, и потом, когда отправляли в ссылку, что сердце

---

[65] Сноски: 65
вольности, несдержанности (*фр.*).

старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность.

Разумеется, он не был счастлив: всегда настороже, всем недовольный, он видел с стесненным сердцем неприязненные чувства, вызванные им у всех домашних; он видел, как улыбка пропадала с лица, как останавливалась речь, когда он входил; он говорил об этом с насмешкой, с досадой, но не делал ни одной уступки и шел с величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмешка, ирония холодная, язвительная и полная презрения — было орудие, которым он владел артистически, он его равно употреблял против нас и против слуг. В первую юность многое можно скорее вынести, нежели *шпынянье,* и я, в самом деле, до тюрьмы удалялся от моего отца и вел против него маленькую войну, соединяясь с слугами и служанками.

Ко всему остальному, он уверил себя, что он опасно болен, и беспрестанно лечился; сверх домового лекаря, к нему ездили два или три доктора, и он делал по крайней мере три консилиума в год. Гости, видя постоянно неприязненный вид его и слушая одни жалобы на здоровье, которое

далеко не было так дурно, редели. Он сердился за это, но ни одного человека не упрекнул, не пригласил. Страшная скука царила в доме, особенно в бесконечные зимние вечера — две лампы освещали целую анфиладу комнат; сгорбившись и заложив руки на спину, в суконных или поярковых сапогах (вроде валенок), в бархатной шапочке и в тулупе из белых мерлушек ходил старик взад и вперед, не говоря ни слова, в сопровождении двух-трех коричневых собак.

Вместе с меланхолией росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своим именьем он управлял дурно для себя и дурно для крестьян. Старосты и его missi dominici[66] грабили барина и мужиков; зато все находившееся на глазах было подвержено двойному контролю; тут береглись свечи и тощий vin de Graves[67] заменялся кислым крымским вином в то самое время, как в одной деревне сводили целый лес, а в другой ему же продавали его собственный овес. У него были привилегированные воры; крестьянин, которого он сделал сборщиком оброка в Москве и которого посылал всякое

[66] Сноски: 66
господские сподручные (*лат.*).

[67] Сноски: 67
сорт белого вина (*фр.*).

лето ревизовать старосту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с детства ненавидел этого министра без портфеля; он при мне раз на дворе бил какого-то старого крестьянина, я от бешенства вцепился ему в бороду и чуть не упал в обморок. С тех пор я не мог на него равнодушно смотреть до самой его смерти в 1845 году. Я несколько раз говорил моему отцу:

— Откуда же Шкун взял деньги на покупку дома?

— Вот что значит трезвость, — отвечал мне старик, — он капли вина в рот не берет.

Всякий год около Масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Керенска оброк *натурой.* Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свиными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни, они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали *за воду* в колодце, не позволяя поить лошадей без платы; бабы — *за тепло* в избе; аристократам передней они должны были кланяться кому поросенком и полотенцем, кому гусем и маслом. Все время

их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги, делались селянки, жарились поросята, и в передней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и сивухи, уже выпитой. Бакай последние два дня не входил в переднюю и не вполне одевался, а сидел в накинутой старой ливрейной шинели, без жилета и куртки, в сенях кухни. Никита Андреевич, видимо, худел и становился смуглее и старше. Отец мой выносил все это довольно спокойно, зная, что это необходимо и отвратить этого нельзя.

После приема мерзлой *живности* отец мой, — и тут самая замечательная черта в том, что эта шутка повторялась ежегодно, — призывал повара Спиридона и отправлял его в Охотный ряд и на Смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, меньше, чем вполовину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за Шкуном или Слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец, Слепушкин предлагал взять все гулом: и яйцы, и поросят, и масло, и рожь, «чтоб вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было». Цену он давал, само

собою разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался, Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару — двухсотрублевую ассигнацию.

Слепушкин этот был в большой милости у моего отца и часто занимал у него деньги, он и тут был оригинален, именно потому, что глубоко изучил характер старика.

Выпросит, бывало, себе рублей пятьсот месяца на два и за день до срока является в переднюю с каким-нибудь куличом на блюде и с пятью-стами рублей на куличе. Отец мой брал деньги, Слепушкин кланялся в пояс и просил ручку, которую барин не давал. Но дня через три Слепушкин снова приходил просить денег взаймы, тысячи полторы. Отец ему давал, и Слепушкин снова приносил в срок; отец мой ставил его в пример; а тот через неделю увеличивал куш и имел таким образом для своих оборотов тысяч пять в год наличными деньгами, за небольшие проценты двух-трех куличей, несколько фунтов фиг и грецких орехов да сотню апельсин и крымских яблоков.

В заключение упомяну, как в Новоселье пропало несколько сот десятин строевого леса. В сороковых годах М. Ф. Орлов, которому тогда,

помнится, графиня Анна Алексеевна давала капитал для покупки именья его детям, стал торговать тверское именье, доставшееся моему отцу от Сенатора. Сошлись в цене, и дело казалось оконченным. Орлов поехал осмотреть и, осмотревши, написал моему отцу, что он ему показывал на плане лес, но что этого леса вовсе нет.

— Ведь вот умный человек, — говорил мой отец, — и в конспирации был, книгу писал des finances[68], а как до дела дошло, видно, что пустой человек… Неккеры! А я вот попрошу Григория Ивановича съездить; он не конспиратор, но честный человек и дело знает.

Поехал и Григорий Иванович в Новоселье и привез весть, *что леса нет,* а есть только лесная декорация, так что ни из господского дома, ни с большой дороги порубки не бросаются в глаза. Сенатор после раздела, на худой конец, был пять раз в Новоселье, и все оставалось шито и крыто.

Чтоб дать полное понятие о нашем житье-бытье, опишу целый день с утра; однообразность была именно одна из самых убийственных вещей, жизнь у нас шла, как английские ча-

---

[68] Сноски: 68
о финансах (*фр.*).

сы, у которых убавлен ход, — тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду.

В десятом часу утра камердинер, сидевший в комнате возле спальной, уведомлял Веру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что барин встает. Она отправлялась приготовлять кофей, который он пил один в своем кабинете. Все в доме принимало иной вид, люди начинали чистить комнаты, по крайней мере показывали вид, что делают что-нибудь. Передняя, до тех пор пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбет садилась перед печью и, не мигая, смотрела в огонь.

За кофеем старик читал «Московские ведомости» и «Journal de St. Pétersbourg»; не мешает заметить, что «Московские ведомости» было велено греть, чтоб не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным. Одно время он брал откуда-то гамбургскую газету, но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами, всякий раз показывал мне разницу между французской печатью и немецкой и говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками слабеет зрение. Потом он выписывал «Journal de Francfort»,

а впоследствии ограничивался отечественными газетами.

Окончив чтение, он примечал, что в его комнате уже находится Карл Иванович Зонненберг. Когда Нику было лет пятнадцать, Карл Иванович завел было лавку, но, не имея ни товара, ни покупщиков и растратив кой-как сколоченные деньги на эту полезную торговлю, он ее оставил с почетным титулом «ревельского негоцианта». Ему было тогда гораздо лет за сорок, и он в этот приятный возраст повел жизнь птички Божией или четырнадцатилетнего мальчика, т. е. не знал, где завтра будет спать и на что обедать. Он пользовался некоторым благорасположением моего отца; мы сейчас увидим, что это значит.

В 1830 году отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом; дом этот принадлежал графине Ростопчиной, жене знаменитого Федора Васильевича. Мы перешли в него. Вслед за тем он купил третий дом, уже совершенно ненужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустые, внаймы они не отдавались, в предупреждение пожара (домы были застрахованы) и беспокойства от наемщиков; они, сверх того, и не поправлялись, так что были на самой верной дороге к разрушению. В одном-то из них

дозволялось жить бесприютному Карлу Ивановичу, с условием ворот после десяти часов вечера не отпирать, — условие легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать из домашнего запаса (он их действительно покупал, у нашего кучера) и состоять при моем отце в должности чиновника особых поручений, т. е. приходить поутру с вопросом, нет ли каких приказаний, являться к обеду и приходить вечером, когда никого не было, занимать повествованиями и новостями.

Как ни проста, кажется, была должность Карла Ивановича, но отец мой умел ей придать столько горечи, что мой бедный ревелец, привыкнувший ко всем бедствиям, которые могут обрушиться на голову человека без денег, без ума, маленького роста, рябого и немца, не мог постоянно выносить ее. Года в два, в полтора глубоко оскорбленный Карл Иванович объявлял, что «это вовсе несносно», укладывался, покупал я менял разные вещички подозрительной целости и сомнительного качества и отправлялся на Кавказ. Неудачи его обыкновенно преследовали с ожесточением. То клячонка его, — он ездил на своей лошади в Тифлис и в Редут-Кале, — падала неподалеку Земли донских казаков, то у него крали половину

груза, то его двухколесная таратайка падала, причем французские духи лились, никем не оцененные, у подножия Эльбруса на сломанное колесо; то он терял что-нибудь, и когда нечего было терять, терял свой пасс. Месяцев через десять, обыкновенно, Карл Иванович, постарше, поизмятее, победнее и еще с меньшим числом зубов и волос, смиренно являлся к моему отцу с запасом персидского порошку от блох и клопов, линялой тармаламы, ржавых черкесских кинжалов и снова поселялся в пустом доме на тех же условиях: исполнять комиссии и печь топить своими дровами.

Приметив Карла Ивановича, отец мой тотчас начинал небольшие военные действия против него. Карл Иванович осведомлялся о здоровье, старик благодарил поклоном и потом, подумавши, спрашивал, например:

— Где вы покупаете помаду?

При этом необходимо сказать, что Карл Иванович, пребезобразнейший из смертных, был страшный волокита, считал себя Ловласом, одевался с претензией и носил завитую золотисто-белокурую накладку. Все это, разумеется, давно было взвешено и оценено моим отцом.

— У Буйс, на Кузнецкой Мост, — отрывисто

отвечал Карл Иванович, несколько пикированный, и ставил одну ногу на другую, как человек, готовый постоять за себя.

— Как называется этот запах?

— Нахтфиолен[69], — отвечал Карл Иванович.

— Он вас обманывает, violette[70] — это запах нежный, c'est un parfum[71], а это какой-то крепкий, противный, тела бальзамируют чем-то таким; куда нервы стали у меня слабы, мне даже тошно сделалось, велите-ка мне дать одеколонь.

Карл Иванович сам бросался за склянкой.

— Да нет, вы уже позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мне сделается дурно, я упаду.

Карл Иванович, рассчитывавший на действие своей помады на девичью, глубоко огорчался.

Опрыскавши комнату одеколонью, отец мой придумывал комиссии: купить французского табаку, английской магнезии, посмотреть продажную по газетам карету (он ничего не покупал). Карл Иванович, приятно раскланявшись

---

[69] Сноски: 69
Ночная фиалка (*нем*. Nachtviole).

[70] Сноски: 70
фиалка (*фр*.).

[71] Сноски: 71
это благоухание (*фр*.).

и душевно довольный, что отделался, уходил до обеда.

После Карла Ивановича являлся повар; что б он ни купил и что б ни написал, отец мой находил чрезмерно дорогим.

— У-у, какая дороговизна! Что это, подвозов, что ли, нет?

— Точно так-с, — отвечал повар, — дороги очень дурны.

— Ну, так, знаешь, пока их починят, мы с тобой будем поменьше покупать.

После этого он садился за свой письменный стол, писал отписки и приказания в деревни, сводил счеты, между делом журил меня, принимал доктора, а главное — ссорился с своим камердинером. Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста, сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он, как нарочно, был создан для того, чтоб дразнить моего отца и вызывать его поучения. Сцены, повторявшиеся между ними всякий день, могли бы наполнить любую комедию, а все это было совершенно серьезно. Отец мой очень знал, что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжение тридцати пяти лет. Камердинер,

с своей стороны, не вынес бы такой жизни, если б не имел своего развлечения: он, по большей части, к обеду был несколько навеселе. Отец мой замечал это и ограничивался легкими околичнословиями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтоб не пахло водкой. Никита Андреевич имел обыкновение, выпивши, подавая блюды, особенно расшаркиваться. Как только мой отец замечал это, он выдумывал ему поручение, посылал его, например, спросить у «цирюльника Антона, не переменил ли он квартиры», прибавляя мне по-французски:

— Я знаю, что он не съезжал; но он нетрезв, уронит суповую чашку, разобьет ее, обольет скатерть и перепугает меня; пусть он проветрится, le grand air[72] помогает.

Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал; но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин, тем же спокойным голосом, звал его и спрашивал, что он ему сказал.

— Я не докладывал ни слова.

— С кем же ты говоришь? Кроме меня и тебя, никого нет ни в этой комнате, ни в той.

---

[72] Сноски: 72
свежий воздух (*фр.*).

— Сам с собой.

— Это очень опасно, с этого начинается сумасшествие.

Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальной; там он читал «Московские ведомости» и тресировал[73] волосы для продажных париков. Вероятно, чтоб отвести сердце, он свирепо нюхал табак; табак ли был у него силен, нервы носа, что ли, были слабы, но он вследствие этого почти всегда раз шесть или семь чихал.

Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил.

— Это ты чихаешь?

— Я-с.

— Желаю здравствовать. — И он давал рукой знак, чтоб камердинер удалился.

В последний день Масленицы все люди, по старинному обычаю, приходили вечером просить прощения к барину; в этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает.

— Что это за почтенный старец стоит там в углу? — спрашивал он камердинера.

---

[73] Сноски: 73
заплетал (*фр*. tresser).

— Кучер Данило, — отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это — одно драматическое представление.

— Скажи, пожалуйста, как он переменился! Я, право, думаю, что это все от вина люди так стареют; чем он занимается?

— Дрова *таскает* в печи.

Старик делал вид нестерпимой боли.

— Как это ты в тридцать лет не научился говорить?.. Таскает — как это таскать дрова? Дрова носят, а не таскают. Ну, Данило, слава Богу, Господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты тратишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Потаскай еще дровец, пока силенка есть, ну, а теперь настает пост, так вина употребляй поменьше, в наши лета вредно, да и грех.

В этом роде он делал общий смотр.

Обедали мы в четвертом часу. Обед длился долго и был очень скучен. Спиридон был отличный повар; но, с одной стороны, экономия моего отца, а с другой — его собственная делали обед довольно тощим, несмотря на то, что блюд было много. Возле моего отца стоял красный глиняный таз, в который он сам клал разные куски для собак;

сверх того, он их кормил с своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, следовательно, меня. Почему? Трудно сказать…

Гости вообще ездили редко, обедать — еще реже. Помню одного человека из всех посещавших нас, которого приезд к обеду разглаживал иной раз морщины моего отца — Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бахметев, брат хромого генерала и тоже генерал, но давно в отставке, был дружен с ним еще во время их службы в Измайловском полку. Они вместе кутили с ним при Екатерине, при Павле оба были под военным судом: Бахметев за то, что стрелялся с кем-то, а мой отец — за то, что был секундантом; потом один уехал в чужие края — туристом, а другой в Уфу — губернатором. Сходства между ними не было. Бахметев, полный, здоровый и красивый старик, любил и хорошенько поесть, и выпить немного, любил веселую беседу и многое другое. Он хвастался, что во время о́но съедал до ста подовых пирожков, и мог, лет около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневых блинов, потонувших в луже масла; этим опытам я бывал не раз свидетель.

Бахметев имел какую-то тень влияния или по крайней мере держал моего отца в узде. Когда

Бахметев замечал, что мой отец уж через край не в духе, он надевал шляпу и, шаркая по-военному ногами, говорил:

— До свиданья, — ты сегодня болен и глуп; я хотел обедать, но я за обедом терпеть не могу кислых лиц! Гегорсамер динер![74]...

А отец мой, в виде пояснения, говорил мне:

— Impressario![75] Какой живой еще Н. П.! Слава Богу, здоровый человек, ему понять нельзя нашего брата, Иова многострадального; мороз в двадцать градусов, он скачет в санках, как ничего... с Покровки... а я благодарю создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... ох! недаром пословица говорит: сытый голодного не понимает.

Больше снисходительности нельзя было от него ждать.

Изредка давались семейные обеды, на которых бывал Сенатор, Голохвастовы и прочие, и эти обеды давались не из удовольствия и неспроста, а были основаны на глубоких экономико-политических соображениях. Так, 20 февраля, в день Льва Катанского, т. е. в именины Сенатора, обед

---

[74] Сноски: 74
Покорный слуга (*нем.* gehorsamer Diener).

[75] Сноски: 75
Здесь: предприимчивый (*ит.*).

был у нас, а 24 июня, т. е. в Иванов день, — у Сенатора, что, сверх морального примера братской любви, избавляло того и другого от гораздо большего обеда у себя.

Затем были разные habitués; тут являлся ex officio[76] Карл Иванович Зонненберг, который, хвативши дома перед самым обедом рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался от крошечной рюмочки какой-то особенно настоянной водки; иногда приезжал последний французский учитель мой, старик-скряга, с дерзкой рожей и сплетник. Monsieur Thirié так часто ошибался, наливая вино в стакан, вместо пива, и выпивая его в извинение, что отец мой впоследствии говорил ему:

— С правой стороны вашей стоит vin de Graves, вы опять не ошибитесь, — и Тирье, пихая огромную щепотку табаку в широкий и вздернутый в одну сторону нос, сыпал табак на тарелку.

В числе этих посетителей одно лицо было в высшей степени комическое. Небольшой лысенький старичок, постоянно одетый в узенький и короткий фрак и в жилет, оканчивавшийся там, где нынче жилет, собственно, начинает-

---

[76] Сноски: 76
по обязанности (*лат.*).

ся, с тоненькой тросточкой, — он представлял всей своей фигурой двадцать лет назад, в 1830–1810 год, а в 1840–1820 год. Дмитрий Иванович Пименов, статский советник по чину, был один из начальников Шереметевского странноприимного дома и притом занимался литературой. Скупо наделенный природой и воспитанный на сентиментальных фразах Карамзина, на Мармонтеле и Мариво, Пименов мог стать средним братом между Шаликовым и В. Панаевым. Вольтер этой почтенной фаланги был начальник тайной полиции при Александре — Яков Иванович де-Санглен; ее молодой человек, подававший надежды, — Пимен Арапов. Все это примыкало к общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитриеву; у него соперников не было, а был Василий Львович Пушкин. Пименов всякий вторник являлся к «ветхому деньми» Дмитриеву, в его дом на Садовой, рассуждать о красотах стиля и об испорченности нового языка. Дмитрий Иванович сам искусился на скользком поприще отечественной словесности; сначала он издал «Мысли герцога де Ларошфуко», потом трактат «О женской красоте и прелести». В этом трактате, которого я не брал в руки с шестнадцатилетнего возраста, я помню только длинные

сравнения в том роде, как Плутарх сравнивает героев — блондинок с черноволосыми. «Хотя блондинка — то, то и то, но черноволосая женщина зато — то, то и то…» Главная особенность Пименова состояла не в том, что он издавал когда-то книжки, никогда никем не читанные, а в том, что если он начинал хохотать, то он не мог остановиться и смех у него вырастал в припадки коклюша, со взрывами и глухими раскатами. Он знал это и потому, предчувствуя что-нибудь смешное, брал мало-помалу свои меры: вынимал носовой платок, смотрел на часы, застегивал фрак, закрывал обеими руками лицо и, когда наступал кризис, вставал, оборачивался к стене, упирался в нее и мучился полчаса и больше; потом, усталый от пароксизма, красный, обтирая пот с плешивой головы, он садился, но еще долго потом его схватывало.

Разумеется, мой отец не ставил его ни в грош, он был тих, добр, неловок, *литератор* и бедный человек, — стало, по всем условиям стоял за цензом; но его судорожную смешливость он очень хорошо заметил, в силу чего он заставлял его смеяться до того, что все остальные начинали, под его влиянием, тоже как-то неестественно хохотать. Виновник глумления, немного улы-

баясь, глядел тогда на нас, как человек смотрит на возню щенят.

Иногда мой отец делал с несчастным ценителем женской красоты и прелести ужасные вещи.

— Инженер-полковник такой-то, — докладывал человек.

— Проси, — говорил мой отец и, обращаясь к Пименову, прибавлял: — Дмитрий Иванович, пожалуйста, будьте осторожны при нем: у него несчастный тик, когда он говорит, как-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка. — При этом он представлял совершенно верно полковника. — Я знаю, вы человек смешливый, — пожалуйста, воздержитесь.

Этого было довольно. По второму слову инженера Пименов вынимал платок, делал зонтик из руки и, наконец, вскакивал.

Инженер смотрел с изумлением, а отец мой говорил мне преспокойно:

— Что это с Дмитрием Ивановичем? Il est malade[77], это спазмы; вели поскорее подать стакан холодной воды да принеси одеколонь.

Пименов хватал в подобных случаях шляпу и хохотал до Арбатских ворот, останавливаясь

---

[77] Сноски: 77
Он болен (*фр.*).

на перекрестках и опираясь на фонарные столбы.

Он в продолжение нескольких лет постоянно через воскресенье обедал у нас, и равно его аккуратность и неаккуратность, если он пропускал, сердили моего отца, и он теснил его. А добрый Пименов все-таки ходил и ходил пешком от Красных ворот в Старую Конюшенную до тех пор, пока умер, и притом совсем не смешно. Одинокий, холостой старик, после долгой хворости, умирающими глазами видел, как его экономка забирала его вещи, платья, даже белье с постели, оставляя его без всякого ухода.

Но настоящие souffre-douleur'ы[78] обеда были разные старухи, убогие и кочующие приживалки княгини М. А. Хованской (сестры моего отца). Для перемены, а долею для того, чтоб осведомиться, как все обстоит в доме у нас, не было ли ссоры между господами, не дрался ли повар с своей женой и не узнал ли барин, что Палашка или Ульяша с прибылью, — прихаживали они иногда в праздники на целый день. Надобно заметить, что эти вдовы еще незамужними, лет сорок, пятьдесят тому назад, были *прибежны*

---

[78] Сноски: 78
козлы отпущения (*фр.*).

к дому княгини и княжны Мещерской и с тех пор знали моего отца; что в этот промежуток между молодым шатаньем и старым кочевьем они лет двадцать бранились с мужьями, удерживали их от пьянства, ходили за ними в параличе и снесли их на кладбище. Одни таскались с каким-нибудь гарнизонным офицером и охапкой детей в Бессарабии, другие состояли годы под судом с мужем, и все эти опыты жизненные оставили на них следы повытий и уездных городов, боязнь сильных мира сего, дух уничижения и какое-то тупоумное изуверство.

С ними бывали сцены удивительные.

— Да ты что это, Анна Якимовна, больна, что ли, ничего не кушаешь? — спрашивал мой отец.

Скорчившаяся, с поношенным вылинялым лицом старушонка, вдова какого-то смотрителя в Кременчуге, постоянно и сильно пахнувшая каким-то пластырем, отвечала, унижаясь глазами и пальцами:

— Простите, батюшка, Иван Алексеевич, право-с, уж мне совестно-с, да так-с, по-старинному-с, ха, ха, ха, теперь спажинки.

— Ах, какая скука! Набоженство все! Не то, матушка, сквернит, что в уста входит, а что из-за уст; то ли есть, другое ли — один исход; вот что

из уст выходит, — надобно наблюдать… пересуды да о ближнем. Ну, лучше ты обедала бы дома в такие дни, а то тут еще турок придет — ему пилав надобно, у меня не герберг[79] à la carte[80].

Испуганная старуха, имевшая в виду, сверх того, попросить крупки да мучки, бросалась на квас и салат, делая вид, что страшно ест.

Но замечательно то, что, стоило ей или кому-нибудь из них начать есть скоромное в пост, отец мой (никогда не употреблявший постного) говорил, скорбно качая головой:

— Не стоило бы, кажется, Анна Якимовна, на несколько последних лет менять обычай предков. Я грешу, ем скоромное, по множеству болезней; ну, а ты, по твоим летам, слава Богу, всю жизнь соблюдала посты, и вдруг… что за пример для *них.*

Он указывал на прислугу. И бедная старуха снова бросалась на квас да на салат.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной раз я дерзал вступаться и напоминал противуположное мнение. Тогда отец мой привставал, снимал с себя за кисточку бархатную шапочку и, держа

---

[79] Сноски: 79
постоялый двор, трактир (*нем.* Herberge).

[80] Сноски: 80
Здесь: с подачей по карте (*фр.*).

ее на воздухе, благодарил меня за уроки и просил извинить забывчивость, а потом говорил старухе:

— Ужасный век! Мудрено ли, что ты *кушаешь* скоромное постом, когда дети учат родителей! Куда мы идем? Подумать страшно! Мы с тобой, по счастью, не увидим.

После обеда мой отец ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчас рассыпалась по полпивным и по трактирам. В семь часов приготовляли чай; тут иногда кто-нибудь приезжал, всего чаще Сенатор; это было время отдыха для нас. Сенатор привозил обыкновенно разные новости и рассказывал их с жаром. Отец мой показывал вид совершенного невнимания, слушая его: делал серьезную мину, когда тот был уверен, что морит со смеху, и переспрашивал, как будто не слыхал, в чем дело, если тот рассказывал что-нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не так, когда он противуречил или был не одного мнения с меньшим братом, что, впрочем, случалось очень редко; а иногда без всяких противуречий, когда мой отец был особенно не в духе. При этих комико-трагических сценах, что всего было смешнее, это естественная запальчивость Сенатора и натяну-

тое, искусственное хладнокровие моего отца.

— Ну, ты сегодня болен, — говорил нетерпеливо Сенатор, хватал шляпу и бросался вон.

Раз в досаде он не мог отворить дверь и толкнул ее что есть сил ногой, говоря: «Что за проклятые двери!» Мой отец спокойно подошел, отворил дверь в противуположную сторону и совершенно тихим голосом заметил:

— Дверь эта делает свое дело, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь.

При этом не мешает заметить, что Сенатор был двумя годами старше моего отца и говорил ему *ты,* а тот, в качестве меньшого брата, — *вы.*

После Сенатора отец мой отправлялся в свою спальную, всякий раз осведомлялся о том, заперты ли ворота, получал утвердительный ответ, изъявлял некоторое сомнение и ничего не делал, чтобы удостовериться. Тут начиналась длинная история умываний, примочек, лекарств; камердинер приготовлял на столике возле постели целый арсенал разных вещей: склянок, ночников, коробочек. Старик обыкновенно читал с час времени Бурьенна «Mémorial de S-te Hélène» и вообще разные «Записки»; за сим наступала ночь.

Так я оставил в 1834 наш дом, так застал его в 1840, и так все продолжалось до его кончины

в 1846 году.

Лет тридцати, возвратившись из ссылки, я понял, что во многом мой отец был прав, что он, по несчастию, оскорбительно хорошо знал людей. Но моя ли была вина, что он и самую истину проповедовал таким возмутительным образом для юного сердца. Его ум, охлажденный длинной жизнию в кругу людей испорченных, поставил его en garde[81] противу всех, а равнодушное сердце не требовало примирения, он так и остался в враждебном отношении со всеми на свете.

Я его застал в 1839, а еще больше в 1842, слабым и уже действительно больным. Сенатор умер, — пустота около него была еще больше, даже и камердинер был другой, но он сам был тот же, одни физические силы изменили: тот же злой ум, та же память, он так же всех теснил мелочами, и неизменный Зонненберг имел свое прежнее кочевье в старом доме и делал комиссии.

Тогда только оценил я все безотрадное этой жизни; с сокрушенным сердцем смотрел я на грустный смысл этого одинокого, оставленного существования, потухавшего на сухом, жестком, каменистом пустыре, который он сам

---

[81] Сноски: 81
настороже (*фр.*).

создал возле себя, но который изменить было не в его воле; он знал это, видел приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживал себя. Мне бывало ужасно жаль старика, но делать было нечего — он был неприступен.

…Тихо проходил я иногда мимо его кабинета, когда он, сидя в глубоких креслах, жестких и неловких, окруженный своими собачонками, один-одинехонек играл с моим трехлетним сыном. Казалось, сжавшиеся руки и окоченевшие нервы старика распускались при виде ребенка и он отдыхал от беспрерывной тревоги, борьбы и досады, в которой поддерживал себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели.

Глава VI

Кремлевская экспедиция. – Московский университет. – Химик. – Мы. – Маловская история. – Холера. – Филарет. – Сунгуровское дело. – В. Пассек. – Генерал Лесовский.

О, годы вольных, светлых дум И беспредельных упований! Где смех без желчи, пира шум? Где труд, столь полный ожиданий?

(«Юмор»)

Несмотря на зловещие пророчества хромого генерала, отец мой определил-таки меня на службу к князю Н. Б. Юсупову в Кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось; больше я о службе ничего не слыхал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора, который всегда кричал таким голосом, как будто он стоял на стропилах пятого этажа и оттуда что-нибудь приказывал работникам в подвале, известить, что я получил первый офицерский чин. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были не нужны: чины, полученные службой, я разом наверстал, выдержавши экзамен на кандидата, — из каких-нибудь двух-трех годов старшинства не стоило хлопотать. А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь к канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен.

Для служащих были особые курсы после обеда,

чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые «комитетские экзамены». Все лентяи с деньгами, баричи, ничему не учившиеся, все, что не хотело служить в военной службе и торопилось получить чин асессора, держало комитетские экзамены; это было нечто вроде *золотых* приисков, уступленных старым профессорам, дававшим privatissime[82] по двадцати рублей за урок.

Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что, если он не найдет другого средства, я подам в отставку.

Отец мой сердился, говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бранил учителей, которые натолковали мне этот вздор, но, видя, что все это очень мало меня трогает, решился ехать к Юсупову.

Юсупов рассудил дело вмиг, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более нежели на четыре месяца нель-

---

[82] Сноски: 82
самым частным образом (*лат.*).

зя давать без высочайшего разрешения.

— Какой вздор, братец, — сказал ему князь, — что тут затрудняться; ну — в отпуск нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках — слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории.

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской истории. Он прислал А. Писарева, генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентов одеть в мундирные сертуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст, отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий *по очереди* должен был его заменять,

так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, не уволенным своей общиной. Николай все это исказил; он ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных *дворян.* Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшегося на русское колесо, — вместе с законом о пассах, о религиоз-

ной нетерпимости и пр.[83]

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей *белой костью* или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так

---

[83] Сноски: 83

Кстати, вот еще одна из отеческих мер «незабвенного» Николая. Воспитательные домы и приказы общественного призрения составляют один из лучших памятников екатерининского времени. Самая мысль учреждения больниц, богаделен и воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами, замечательно умна.

Учреждения эти принялись, ломбарды и приказы богатели, воспитательные домы и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, частию оставались там, частию раздавались крестьянкам в деревни; последние оставались крестьянами, первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в технологический институт. То же

с девочками: одни приготовлялись к рукодельям, другие — к должности нянюшек и, наконец, способнейшие — в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась; та сказала ей, что она из «пансионерок воспитательного дома». Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет, — это ей подало повод подумать о *неприличии* давать такое воспитание подкинутым детям.

Через несколько месяцев Николай *произвел* высшие классы воспитательных домов в *обер-офицерский* институт, т. е. не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мере более радикальной — он не велел в губернских заведениях, в приказах принимать новорожденных детей. Лучшая комментария на эту умную меру — в отчете министра юстиции в графе «Детоубийство».

близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западномещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы досадовали на их христианское смирение[84].

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, он вряд мог ли развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не полюбопыт-

[84] Сноски: 84

В этом отношении сделан огромный успех; все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собою разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся.

ствовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять, — это франкёров курс; но, воздержный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет, потому что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встреча навела меня на эти занятия.

После знаменитого раздела именья в 1822 году, о котором я рассказывал, «старший братец» переехал на житье в Петербург. Долго об нем ничего не было слышно, как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за шестьдесят лет тогда, и все знали, что, сверх совершеннолетнего сына, у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына; «молодой» тоже было за пятьдесят. Этим браком он «привенчал», как говорили встарь, своего сына. Отчего же не всех детей? Мудрено было бы сказать отчего, если б главная цель, с которой он все это делал, была неизвестна; он хотел одного — лишить своих братьев наследства, и этого он достигал вполне «при-

венчиванием» сына. В известное наводнение 1824 года старика залило водой в карете, он простудился, слег и в начале 1825 года умер.

О сыне носились странные слухи: говорили, что он был нелюдим, ни с кем не знался, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. Об нем сказано в «Горе от ума»:

– Он химик, он ботаник,
Князь Федор, наш племянник,
От женщин бегает и даже от меня.

Дяди, перенесшие на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе, как Химик, придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека.

Отец перед смертию страшно теснил сына, он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата, — разврата циничесого, — но просто ревновал его к своей серали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагородной жизни лауданумом; его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и перед смертью стал смирнее с сыном.

После смерти отца Химик дал отпускную несчастным одалискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты.

Года через полтора он приехал в Москву, мне хотелось его видеть, я его любил за крестьян и за несправедливое недоброжелательство к нему его дядей.

Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реагенциями. Отец мой встретил его холодно, колко; племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканенной; померявшись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит.

Они никогда не сближались потом. Химик ездил очень редко к дядям; в последний раз он виделся с моим отцом после смерти Сенатора, он приезжал просить у него тысяч тридцать рублей взаймы на покупку земли. Отец мой не дал; Химик рассердился и, потирая рукою нос, с улыбкой

ему заметил: «Какой же тут риск, у меня именье *родовое,* я беру деньги для его усовершенствования, детей у меня нет, и мы друг после друга наследники». Старик семидесяти пяти лет никогда не прощал племяннику эту выходку.

Я стал время от времени навещать его. Жил он чрезвычайно своеобычно; в большом доме своем на Тверском бульваре занимал он одну крошечную комнату для себя и одну для лаборатории. Старуха мать его жила через коридор в другой комнатке; остальное было запущено и оставалось в том самом виде, в каком было при отъезде его отца в Петербург. Почерневшие канделабры, необыкновенная мебель, всякие редкости, стенные часы, *будто бы* купленные Петром I в Амстердаме, кресла, будто бы из дома Станислава Лещинского, рамы без картин, картины, обороченные к стене, — все это, поставленное кой-как, наполняло три большие залы, нетопленные и неосвещенные. В передней люди играли обыкновенно на торбане и курили (в той самой, в которой прежде едва смели дышать и молиться). Человек зажигал свечку и провожал этой оружейной палатой, замечая всякий раз, что плаща снимать не надобно, что в залах очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатые

и курьезные вещи, отражавшиеся и двигавшиеся вместе со свечой в вычурных зеркалах, солома, остававшаяся от укладки, спокойно лежала тамсям вместе с стриженой бумагой и бечевками.

Рядом этих комнат достигалась, наконец, дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. В нем Химик в замаранном халате на беличьем меху, сидел безвыходно, обложенный книгами, обстановленный склянками, ретортами, тигелями, снарядами. В этом кабинете, где теперь царил микроскоп Шевалье, пахло хлором и где совершались за несколько лет страшные, вопиющие дела, — в этом кабинете я *родился.* Отец мой, возвратившись из чужих краев, до ссоры с братом, останавливался на несколько месяцев в его доме, и в этом же доме родилась моя жена в 1817 году. Химик года через два продал свой дом, и мне опять случалось бывать в нем на вечерах у Свербеева, спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъезд, сени, лестница, передняя — все осталось, также и маленький кабинет остался.

Хозяйство Химика было еще менее сложно, особенно когда мать его уезжала на лето в под-

московную, а с нею и повар. Камердинер его являлся часа в четыре с кофейником, распускал в нем немного крепкого бульону и, пользуясь химическим горном, ставил его к огню вместе с всякими ядами. Потом он приносил из трактира полрябчика и хлеб — в этом состоял весь обед. По окончании его камердинер мыл кофейник и он входил в свои естественные права. Вечером снова являлся камердинер, снимал с дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наследству от отца, и груду книг, стлал простыню, приносил подушки и одеяло, и кабинет так же легко превращался в спальню, как в кухню и столовую.

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьезно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и «опасные без всякой пользы» — политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и де-Кандолеву растительную органографию. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже свое руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учен, остер и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до орангу-

танга его все интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталый человек, он просто не верил в людей, т. е. верил, что эгоизм — исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов нисколько не был похож на материализм Химика. Его взгляд был спокойный, последовательный, оконченный; он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону. «Кант принимает гипотезу Бога», — сказал ему Бонапарт. «Sire[85], — возразил астроном, — мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Атеизм Химика шел далее теологических сфер. Он считал Жофруа Сент-Илера мистиком, а Окена просто поврежденным. Он с тем пренебрежением, с которым мой отец сложил «Историю» Карамзина, закрыл сочинения натурфилософов. «Сами выдумали первые причины, духовные силы, да и удивляются потом, что их ни найти,

---

[85] Сноски: 85
Государь (*фр.*).

ни понять нельзя». Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный.

Взгляд его становился еще безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что все — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой *больше ждут, нежели она в состоянии дать.* Семейную жизнь он не любил, говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он пережил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна теплая струйка в этом охлажденном человеке еще оставалась, она была видна в его отношениях к старушке матери; они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплавили их; он трогательно окружал одинокую и болезненную старость ее, насколько умел, покоем и вниманием.

Теорий своих, кроме химических, он никогда не проповедовал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет с шпицем, позволяя ему себя теребить и только легко отгоняя

лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался à la charge[86], не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, т. е. лет через двенадцать, я много раз поминал Химика так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трех четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, — мы уже говорили об этом, — которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью — где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению.

---

[86] Сноски: 86
к нападению (*фр.*).

Перед окончанием моего курса Химик уехал в Петербург, и я не видался с ним до возвращения из Вятки. Несколько месяцев после моей женитьбы я ездил полутайком на несколько дней в подмосковную, где тогда жил мой отец. Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним, он все еще сердился на меня за мой брак.

По дороге я остановился в Перхушкове, там, где мы столько раз останавливались; Химик меня ожидал и даже приготовил обед и две бутылки шампанского. Он через четыре или пять лет был неизменно тот же, только немного постарел. Перед обедом он спросил меня совершенно серьезно:

— Скажите, пожалуйста, откровенно, ну как вы находите семейную жизнь, брак? Что, хорошо, что ли, или не очень?

Я смеялся.

— Какая смелость с вашей стороны, — продолжал он, — я удивляюсь вам; в нормальном состоянии никогда человек не может решиться на такой страшный шаг. Мне предлагали две-три партии очень хорошие, но как я вздумаю, что у меня в комнате будет распоряжаться женщина, будет все приводить по-своему в порядок, по-

жалуй, будет мне запрещать курить мой табак (он курил нежинские корешки), поднимет шум, сумбур, тогда на меня находит такой страх, что я предпочитаю умереть в одиночестве.

— Остаться мне у вас ночевать или ехать в Покровское? — спросил я его после обеда.

— Недостатка в месте у меня нет, — ответил он, — но для вас, я думаю, лучше ехать, вы приедете часов в десять к вашему батюшке. Вы ведь знаете, что он еще сердит на вас; ну, вечером, перед сном у старых людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, он вас примет, вероятно, гораздо лучше нынче, чем завтра; утром вы его найдете совсем готовым для сражения.

— Ха, ха, ха, — как я узнаю моего учителя физиологии и материализма, — сказал я ему, смеясь от души, — ваше замечание так и напомнило мне те блаженные времена, когда я приходил к вам, вроде гётевского Вагнера, надоедать моим идеализмом и выслушивать не без негодования ваши охлаждающие сентенции.

— Вы с тех пор довольно жили, — ответил он, тоже смеясь, — чтоб знать, что все дела человеческие зависят просто от нервов и от химического состава.

После мы как-то разошлись с ним; вероятно, мы

оба были неправы… Тем не менее в 1846 он написал мне письмо. Я начинал тогда входить в моду после первой части «Кто виноват?». Химик писал мне, что он с грустью видит, что я употребляю на пустые занятия мой талант. «Я с вами примирился за ваши “Письма об изучении природы”; в них я понял (насколько человеческому уму можно понимать) немецкую философию — зачем же, вместо продолжения серьезного труда, вы пишете сказки?» Я отвечал ему несколькими дружескими строками — тем наши сношения и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Химику, я попрошу его их прочесть, ложась спать в постель, когда нервы ослаблены, и уверен, что он простит мне тогда дружескую болтовню, тем более что я храню серьезную и добрую память о нем.

Итак, наконец, затворничество родительского дома пало. Я был au large[87]; вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым — шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели,

---

[87] Сноски: 87
на просторе (*фр.*).

чем в родительском доме с самого дня рождения.

А дом родительский меня преследовал даже в университете в виде лакея, которому отец мой велел меня провожать, особенно когда я ходил пешком. Целый семестр я отделывался от провожатого и насилу официально успел в этом. Я говорю: «официально», потому что Петр Федорович, мой камердинер, на которого была возложена эта должность, очень скоро понял, во-первых, что мне неприятно быть провожаемым, во-вторых, что самому ему гораздо приятнее в разных увеселительных местах, чем в передней физико-математического факультета, в которой все удовольствия ограничивались беседою с двумя сторожами и взаимным потчеванием друг друга и самих себя табаком.

К чему посылали за мной провожатого? Неужели Петр, с молодых лет зашибавший по нескольку дней сряду, мог меня остановить в чем-нибудь? Я полагаю, что мой отец и не думал этого, но для *своего* спокойствия брал меры недействительные, но все же меры, вроде того, как люди, не веря, говеют. Черта эта принадлежит нашему старинному помещичьему воспитанию. До семи лет было приказано водить меня за руку по внутренней лестнице, которая была несколь-

ко крута; до одиннадцати меня мыла в корыте Вера Артамоновна; стало, очень последовательно — за мной, студентом, посылали слугу и до двадцати одного года мне не позволялось возвращаться домой после половины одиннадцатого. Я практически очутился на воле и на своих ногах в ссылке; если б меня не сослали, вероятно, тот же режим продолжался бы до двадцати пяти лет… до тридцати пяти.

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, — но и те молчали[88].

---

[88] Сноски: 88

Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича.

Один пустой мальчик, допрашиваемый своею матерью о маловской истории под угрозою прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать, *аристократка* и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малова девять, — отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, — заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, — и буря поднялась; свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его! Pereat!»[89] Малов, бледный, как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом, и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17–18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть,

---

[89] Сноски: 89
Да сгинет! (*лат.*)

что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Vae victis[90] с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него.

Итак, дело закипело. На другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал à la lettre, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлаге шинели принес от «лехтура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным

[90] Сноски: 90
Горе побежденным (*лат.*).

мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить.

— Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории, — отвечал я ему.

— А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?

— Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по-пустому, пошли слушать другую.

— Он не поверит.

— Это уж его дело.

Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона, пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.

— Слушайте, — сказал я, — вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями; вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете, — много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование.

Барон обещал и честно сдержал слово.

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, *допожарных*, т. е. до 1812 года. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках à l'instar[91] конноегерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-нем-

---

[91] Сноски: 91
вроде (*фр.*).

цы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и, вместо неумеренного употребления сигар, употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы — из поповских детей.

Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica»[92], неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию, — с Рейсом, который, читая по-фран-

[92] Сноски: 92
Медицинское вещество (*лат.*).

цузски, называл светильню — bâton de coton[93], яд — рыбой (poisson[94]), а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится, — мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову, — времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну *Баваркой*[95], а другую *Пруденкой*[96].

Но Двигубский был вовсе не добрый профессор, он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, при-

---

[93] Сноски: 93
хлопчатобумажной палкой, надо: «cordon de coton» — хлопчатобумажный фитиль (*фр.*).

[94] Сноски: 94
Яд — poison; рыба — poisson (*фр.*).

[95] Сноски: 95
Болтушкой (*фр.* bavard).

[96] Сноски: 96
Трусихой (*фр.* prudent).

говорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке — меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь; видно, меня не первого вели; когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова; князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде, ректор прислал какой-то суп, мы отказались и хорошо сделали: как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью

и ложась спать днем.

Раз как-то товарищ попечителя Панин, брат министра юстиции, верный своим конногвардейским привычкам, вздумал обойти ночью рундом государственную тюрьму в университетском подвале. Только что мы зажгли свечу под стулом, чтоб снаружи не было видно, и принялись за наш ночной завтрак, раздался стук в наружную дверь, — не тот стук, который своей слабостью просит солдата отпереть, который больше боится, что его услышат, нежели то, что не услышат; нет, это был стук с авторитетом, приказывающий. Солдат обмер, мы спрятали бутылки и студентов в небольшой чулан, задули свечу и бросились на наши койки. Взошел Панин.

— Вы, *кажется*, курите? — сказал он, едва вырезываясь с инспектором, который нес фонарь, из-за густых облаков дыма. — Откуда это они берут огонь, ты даешь?

Солдат клялся, что не дает. Мы отвечали, что у нас был с собою трут. Инспектор обещал его отнять и обобрать сигары, и Панин удалился, не заметив, что количество фуражек было вдвое больше количества голов.

В субботу вечером явился инспектор и объявил, что я и еще один из нас может идти домой,

но что остальные посидят до понедельника. Это предложение показалось мне обидным, и я спросил инспектора, могу ли остаться; он отступил на шаг, посмотрел на меня с тем грозно-грациозным видом, с которым в балетах цари и герои пляшут гнев, и, сказавши: «Сидите, пожалуй», вышел вон. За последнюю выходку досталось мне дома больше, нежели за всю историю.

Итак, первые ночи, которые я не спал в родительском доме, были проведены в карцере. Вскоре мне приходилось испытать другую тюрьму, и там я просидел не восемь дней, а девять месяцев, после которых поехал не домой, а в ссылку. Но до этого далеко.

С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента; после маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях.

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его де-

ло — поставить человека à même[97] продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны — и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений… Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

А какие оригиналы были в их числе и какие чудеса — от Федора Ивановича Чумакова, *подгонявшего* формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и *x* за известное, до Гавриила Мягкова, читавшего самую *жесткую* науку в мире — тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобрела строевую выправку: застегнутый до горла, в несгибающемся галстухе, он

---

[97] Сноски: 97
дать ему возможность (*фр.*).

больше командовал свои лекции, чем говорил.

— Господа! — кричал он, — на поле! *Об артиллерии!*

Это не значило: на поле сражения едут пушки, а просто, что на марже[98] такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет; если б он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем.

А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, т. е. водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось — он отправил вместо себя племянника…

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр), принадлежит сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова.

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете,

---

[98] Сноски: 98
полях книги (*фр.* marge).

членами которого были разные сенаторы, губернаторы — вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси.

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, — с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть — желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералом, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из учтивости и из кокетства; бугор de

l'approbativité[99] сильно развит в нашем черепе.

«Князь Дмитрий Голицын, — сказал как-то лорд Дюрам, — настоящий виг, виг в душе».

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» — не понимаю. Будьте уверены, князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом.

Прием Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат — все явилось: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с трехугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествоиспытателей — везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще и именно потому говорящий очень медленно, — каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридо-

---

[99] Сноски: 99
желания понравиться (*фр.*).

рами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не простудиться на месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал. Я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием.

Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать. Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах *отдать приказ*, по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густо-сиплым, прочел свое стихотворение, начинавшееся так:

Humboldt – Prométhée de nos jours![100]

А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими — вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра I…; насилу Эренберг и Розе нашли случай

[100] Сноски: 100
Гумбольдт — Прометей наших дней! (*фр.*)

кой-что рассказать о своих открытиях[101].

У нас и в неофициальном мире дела идут не много лучше: десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе. Глупостей довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер; в Германии это все стародевическая экзальтация, сентиментальность, все Blumenstreuen[102]; у нас — подчинение, признание власти, вытяжка, у нас все «честь имею явиться к вашему превосходительству». Тут же, по несчастию, прибавилась слава Листа как известного ловласа, дамы толпились около него так, как крестьянские мальчики на проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей, любознательно рассматривая его самого, его коляску, шапку… Все слушало одного Листа, все говорило только

---

[101] Сноски: 101

Как розно было понято в России путешествие Гумбольдта, можно судить из повествования уральского казака, служившего при канцелярии пермского губернатора; он любил рассказывать, как он провожал «сумасшедшего прусского принца Гумплота». «Что же он делал?» — «Так, самое, то есть, пустое: травы наберет, песок смотрит; как-то в солончаках говорит мне через толмача: полезай в воду, достань что на дне; ну, я достал, обыкновенно, что на дне бывает, а он спрашивает: что, внизу очень холодна вода? Думаю — нет, брат, меня не проведешь, сделал фрунт и ответил: того, мол, ваша светлость, служба требует — все равно, мы рады стараться».

[102] Сноски: 102

осыпание цветами (*нем.*).

с ним одним, отвечало только ему. Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея за почтенную публику, сказал мне:

— Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь, чтоб Лист видел, что здесь в комнате люди, не исключительно занятые им.

В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормошились, не давали проходу другим знаменитостям — Кошуту, потом Гарибальди и прочим; но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей!

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным, в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывался с Гёте по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром,

он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Качановский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гёте, в котором Гёте ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге; вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть, — вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготовляться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии… И он уже умер!

Где наш старец Ланжерон!

Где наш старец Бенигсон!
И тебя уже не стало,
И тебя как не бывало!

Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина, с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во время первого консулата, он, еще не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным (что очень хорошо шло к каменному предмету его) голосом: «Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует, о кремнеземии», потом он садился и продолжал: «О глиноземии…» У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала, от которых он никогда не отступал; случалось, что характеристика иных определялась отрицательно: «Кристаллизация — не кристаллизуется, употребление — никуда не употребляется, польза — вред, приносимый организму…»

Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок, и всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают,

он прибавлял: «Господа, это обман». В сельском хозяйстве он находил *моральными* качествами хорошего петуха, если он «охотник петь и до кур», и отличительным свойством аристократического барана — «плешивые коленки». Он умел тоже трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял: «Господа, это прозопопея»[103].

Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента с «хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня.

Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся… Я шепнул ему:

— Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.

— Не хвались, идучи на рать… — отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.

---

[103] Сноски: 103
олицетворение (*фр*. prosoporée).

Я чуть не захохотал, но, когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами — они надеялись на меня; под кафедрой за столом — «сильные мира сего» и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом: «О кристаллизации, ее условиях, законах, формах».

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фавёре. Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха, я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили, Уваров водил представлять князю Голицыну, — он сказал что-то одними гласными, так что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал.

Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. В 1836 году я представлял «Угара», а жена жандармского полковника — «Марфу»

при всем вятском бомонде и при Тюфяеве. С месяц времени мы делали репетицию, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдруг заменила увертюру и занавесь стала, как-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы с Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль или до того она боялась, что я испорчу дело, что она мне подала огромный стакан шампанского, но и с ним я был едва жив.

С легкой руки министра народного просвещения и жандармского полковника я уже без нервных явлений и самолюбивой застенчивости явился на польском митинге в Лондоне, это был мой третий публичный дебют. Отставной министр Уваров был заменен отставным министром Ледрю-Ролленом.

Но не довольно ли студентских воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это — останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года.

Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, — раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страш-

ной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве!» — разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены, возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой изве-

стью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях.

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюльтени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнию отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью — что тот-то занемог, что такой-то умер…

Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов;

самые священники, привыкшие обращаться с Богом запанибрата, были серьезны и тронуты. Доля их шла в Кремль; там на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился — да мимо идет чаша сия. На том же месте он молился об убиении декабристов шесть лет тому назад.

Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха; во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности. Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковнославянский; все это вместе не давало ему никаких прав на оппозицию. Народ его не любил и называл масоном, потому что он был в близости с князем А. Н. Голицыным и проповедовал в Петербурге в самый разгар библейского общества. Синод запретил учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма. Может, именно по соперничеству они ненавидели друг друга с Николаем.

Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть; в его проповедях просвечивал тот христианский, неопределенный социализм, которым блистали Лакордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего

первосвятительного амвона говорил о том, что человек никогда не может быть *законно* орудием другого, что между людьми может только быть обмен услуг, и это говорил он в государстве, где полнаселения — рабы.

Он говорил колодникам в пересыльном остроге на Воробьевых горах: «Гражданский закон вас осудил и гонит, а церковь гонится за вами, хочет сказать еще слово, еще помолиться об вас и благословить на путь». Потом, утешая их, он прибавлял, что «они, наказанные, покончили с своим прошедшим, что им предстоит новая жизнь, в то время как между другими (вероятно, других, *кроме* чиновников, не было налицо) есть еще бóльшие преступники», и он ставил в пример разбойника, распятого вместе с Христом.

Проповедь Филарета на молебствии по случаю холеры превзошла все остальные; он взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод или чуму; Давид избрал чуму. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно ста-

ли бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивейшему императору, что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу.

Так играл в оппозицию московский митрополит.

Молебствие так же мало помогло от заразы, как хлористая известь; болезнь увеличивалась.

Я был все время жесточайшей холеры 1849 в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ее помогали, бедные люди мерли, как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты[104] были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.

---

[104] Сноски: 104
сборы пожертвований (*фр.* collecte).

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, т. е. без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse[105] привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больни-

---

[105] Сноски: 105
в полном составе (*фр.*).

цах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, — и все это без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента малороссиянина, кажется, Фицхелаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко; он, наконец, получил его; в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен, — и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, по видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812.

Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обагренную кровью своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию

Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения, — и она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы.

Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя,

как говорит Пушкин, — а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!

В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклиффовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!», как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтоб мы остановились, и форейтор Сенатора, в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* — Два листа «Journal des Débats», которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть — и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался, какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы всё принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий, языческий Пан умер». Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамен Констана до Дюпон де-Лёра и Арман Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании. Это уж недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind keine leere Träume![106]

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был по-

---

[106] Сноски: 106
Нет! Это не пустые мечты! (*нем.*)

трясен, *испуган,* он усомнился[107] в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение.

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году *пропал* поляк, студент нашего отделения. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс, мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально, никогда мы не слыхали от него ни одного резкого слова, но никогда не слыхали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день — тоже нет. Мы стали спраши-

---

[107] Сноски: 107

Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»: «Государь сказал однажды А. П. Ермолову: “Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе, в Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов; известия из армии доходили до меня лишь через Кенигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами”».

«Записки» партизана не оставляют никакого сомнения, что Николай, как Аракчеев, как все бездушно-жестокосердые и мстительные люди, был *трус.* Вот что рассказывал Давыдову генерал Чеченский: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь 14 декабря близь государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время *бледным, душа была в пятках».*

А вот что рассказывает сам Давыдов. «Во время бунта на Сенной государь прибыл в столицу лишь на *второй* день, когда уже все успокоилось. Государь был в Петергофе и как-то сам случайно проговорился: “Мы с Волконским стояли во весь день на кургане в саду и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрелы”. Вместо озабоченного прислушивания в саду и беспрерывных отправок курьеров в Петербург, — добавляет Давыдов, — он должен был лично поспешить туда; так поступил бы всякий мало-мальски мужественный человек. На следующий день (когда все было усмирено) государь, въехав в коляске в толпу, наполнявшую площадь, закричал ей: “На колени!” — и толпа поспешно исполнила его приказание. Государь, увидев несколько лиц, одетых в партикулярных платьях (в числе следовавших за экипажем), *вообразил*, что это были лица подозрительные, приказал взять этих несчастных на гауптвахты и, обратившись к народу, стал кричать: “Это все подлые полячишки, они вас подбили!” Подобная неуместная выходка совершенно испортила, по моему мнению, результаты». — Каков гусь был этот Николай?

вать, казеннокоштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велели об этом говорить. Тем и кончилось, *мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека*[108].

Прошло несколько месяцев, вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов, — называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других; мы их знали коротко — все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия*, в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга.

---

[108] Сноски: 108

А где Критские? Что они сделали, кто их судил? На что их осудили?

Нас было пятеро сначала, тут мы встретились с Пассеком.

В Вадиме для нас было много нового. Мы все, с небольшими вариациями, имели сходное развитие, т. е. ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш провинциальный; он далеко не так пошл и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастия развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества — человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири.

Вадим, по наследству, ненавидел от всей души самовластье и крепко прижал нас к своей груди,

как только встретился. Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге.

— Хочешь познакомиться с К<етчером>, о котором ты столько слышал? — говорит мне Вадим.

— Непременно хочу.

— Приходи завтра, в семь часов вечера, да не опоздай, — он будет у меня.

Я прихожу — Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу — он берет книгу.

— Да вы, — говорит он, раскрывая ее, — вы Герцен?

— Да, а вы — К<етчер>?

Начинается разговор, — живей, живей…

— Позвольте, — грубо перебивает меня К<етчер>, — позвольте, сделайте одолжение, говорите мне *ты.*

— Будемте говорить *ты.*

И с этой минуты (которая могла быть в конце 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; с этой минуты гнев и милость, смех и крик К<етчера> раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни.

Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь.

Собирались мы по-прежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское именье. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалека от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма.

Но рядом с его светлой, веселой комнатой, обитой красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жженки и других… я хотел сказать — яств и питий, но остановился, потому что из съестных припасов, кроме сыру, редко что было, — итак, рядом с ультрастуденческим приютом Огарева, где мы спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой, ему было скучно, когда он не видал долго сестер и матери. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью — нашей.

Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского *посещения*; она вчера пришла из Сибири, она была разорена, замучена и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастие не на каждого страдальца, а на чело тех, которые *умели* вынести.

Их отец был схвачен при Павле вследствие какого-то политического доноса, брошен в Шлиссельбург и потом сослан в Сибирь на поселенье. Александр возвратил тысячи сосланных безумным отцом его, но Пассек был *забыт.* Он был племянник того Пассека, который участвовал в убийстве Петра III, потом был генерал-губернатором в польских провинциях, и *мог требовать* долю наследства, уже перешедшего в другие руки, — эти-то другие руки и задержали его в Сибири.

Содержась в Шлюссельбурге, Пассек женился на дочери одного из офицеров тамошнего гарнизона. Молодая девушка знала, что дело кончится дурно, но не остановилась устрашенная ссылкой.

Сначала они в Сибири кой-как перебивались, продавая последние вещи, но страшная бедность шла неотразимо и тем скорее, что семья росла числом. В нужде, в работе, лишенные теплой одежды, а иногда насущного хлеба, они умели выходить, вскормить целую семью львенков; отец передал им неукротимый и гордый дух свой, веру в себя, тайну великих несчастий, он воспитал их примером, мать — самоотвержением и горькими слезами. Сестры не уступали братьям в героической твердости. Да чего бояться слов — это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они делали для семьи — невероятно, — и всё с поднятой головой, нисколько не сломившись.

В Сибири у трех сестер была как-то одна пара башмаков; они ее берегли для прогулки, чтоб посторонние не видали крайности.

В начале 1826 года Пассеку было разрешено возвратиться в Россию. Дело было зимой; шутка ли подняться с такой семьей без шуб, без денег из Тобольской губернии, а с другой стороны, сердце рвалось — ссылка всего невыносимее после ее окончания. Поплелись наши страдальцы кой-как; кормилица-крестьянка, кормившая кого-то из детей во время болезни матери, принесла свои деньги, кой-как сколоченные ею, им на дорогу,

прося только, чтоб и ее взяли; ямщики провезли их до русской границы за бесценок или даром; часть семьи шла, другая ехала, молодежь сменялась, так они перешли дальний зимний путь от Уральского хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, их надеждой, — там их ждал голод.

Правительство, прощая Пассеков, и не думало им возвратить какую-нибудь долю именья. Истощенный усилиями и лишениями, старик слег в постель; не знали, чем будут обедать завтра.

В это время Николай праздновал свою коронацию, пиры следовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу; везде огни, щиты, наряды… Две старших сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение именья. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут «венчанного и превознесенного» царя. Когда Николай сходил со ступеней Красного крыльца, две девушки тихо выступили вперед и подняли просьбу. Он прошел мимо, сделав вид, что не замечает их; какой-то флигель-адъютант взял бумагу, полиция повела их на съезжую.

Николаю тогда было около тридцати лет и он

уже был способен к такому бездушию. Этот холод, эта выдержка принадлежат натурам рядовым, мелким, кассирам, экзекуторам. Я часто замечал эту *непоколебимую* твердость характера у почтовых экспедиторов, у продавцов театральных мест, билетов на железной дороге, у людей, которых беспрестанно тормошат и которым ежеминутно мешают; они умеют не видеть человека, глядя на него, и не слушать его, стоя возле. А этот самодержавный экспедитор с чего выучился не смотреть, и какая необходимость не опоздать минутой на развод?

Девушек продержали в части до вечера. Испуганные, оскорбленные, они слезами убедили частного пристава отпустить их домой, где отсутствие их должно было переполошить всю семью. По просьбе ничего не было сделано.

Не вынес больше отец, с него было довольно, он умер. Остались дети одни с матерью, кой-как перебиваясь с дня на день. Чем больше было нужд, тем больше работали сыновья; трое блестящим образом окончили курс в университете и вышли кандидатами. Старшие уехали в Петербург; оба отличные математики, они, сверх службы (один во флоте, другой в инженерах), давали уроки и, отказывая себе во всем, посылали в семью выру-

ченные деньги.

Живо помню я старушку-мать в ее темном капоте и белом чепце; худое бледное лицо ее было покрыто морщинами, она казалась с виду гораздо старше, чем была, одни глаза несколько отстали, в них было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлых слез. Она была влюблена в своих детей, она была ими богата, знатна, молода… она читала и перечитывала нам их письма, она с таким свято глубоким чувством говорила о них своим слабым голосом, который иногда изменялся и дрожал от удержанных слез.

Когда они все бывали в сборе в Москве и садились за свой простой обед, старушка была вне себя от радости, ходила около стола, хлопотала и, вдруг останавливаясь, смотрела на свою молодежь с такою гордостью, с таким счастием и потом поднимала на меня глаза, как будто спрашивая: «Не правда ли, как они хороши?» — Как в эти минуты мне хотелось броситься ей на шею, поцеловать ее руку! И к тому же они действительно все были даже наружно очень красивы.

Она была счастлива тогда… Зачем она не умерла за одним из этих обедов?

В два года она лишилась трех старших сыновей. Один умер блестяще, окруженный признанием

врагов, середь успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову. Это был молодой генерал, убитый черкесами под Дарго. Лавры не лечат сердца матери… Другим даже не удалось хорошо погибнуть; тяжелая русская жизнь давила их, давила — пока продавила грудь.

Бедная мать! И бедная Россия!

Вадим умер в феврале 1843 г., я был при его кончине и тут в первый раз видел смерть близкого человека, и притом во всем несмягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лет перед своей смертью Вадим женился на моей кузине, и я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемена быта развели нас несколько. Он был счастлив в своем à parte[109], но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятия не шли. Незадолго до нашего ареста он поехал в Харьков, где ему была обещана кафедра в университете. Его поездка хотя и спасла его от тюрьмы, но имя его не ускользнуло от полицейских ушей. Вадиму отказали в месте. Товарищ попечителя признался ему, что они получили бумагу, в силу которой им не велено ему давать

---

[109] Сноски: 109
Здесь: в семейной жизни (*фр.*).

кафедры за известные правительству связи его с *злоумышленными людьми.*

Вадим остался без места, т. е. без хлеба, — вот его Вятка.

Нас сослали. Сношения с нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него; в семилетней борьбе с добыванием скудных средств, в оскорбительных столкновениях с людьми грубыми и черствыми, вдали от друзей, без возможности перекликнуться с ними, здоровые мышцы его износились.

— Раз, — сказывала мне его жена потом, — у нас вышли все деньги до последней копейки; накануне я старалась достать где-нибудь рублей десять, нигде не нашла; у кого можно было занять несколько, я уже заняла. В лавочках отказались давать припасы иначе, как на чистые деньги; мы думали об одном — что же завтра будут есть дети? Печально сидел Вадим у окна, потом встал, взял шляпу и сказал, что хочет пройтиться. Я видела, что ему очень тяжело, мне было страшно, но все же я радовалась, что он несколько рассеется. Когда он ушел, я бросилась на постель и горько, горько плакала, потом стала думать, что делать: все сколько-нибудь ценные вещи — кольцы, ложки — давно были заложены;

я видела один выход: приходилось идти к *нашим* и просить их тяжелой, холодной помощи. Между тем Вадим бродил без определенной цели по улицам и так дошел до Петровского бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло в голову спросить, не продал ли он хоть один экземпляр его книги; он был дней пять перед тем, но ничего не нашел; со страхом взошел он в его лавку. «Очень рад вас видеть, — сказал ему Ширяев, — от петербургского корреспондента письмо, он продал на триста рублей ваших книг, желаете получить?» И Ширяев отсчитал ему пятнадцать золотых. Вадим потерял голову от радости, бросился в первый трактир за съестными припасами, купил бутылку вина, фрукт и торжественно прискакал на извозчике домой. Я в это время разбавила водой остаток бульона для детей и думала уделить ему немного, уверивши его, что я уже ела, как вдруг он входит с кульком и бутылкой, веселый и радостный, как бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова…

После ссылки я его мельком встретил в Петербурге и нашел его очень изменившимся. Убеждения свои он сохранил, но он их сохранил, как воин не выпускает меча из руки, чувствуя,

что сам ранен навылет. Он был задумчив, изнурен и сухо смотрел вперед. Таким я его застал в Москве в 1842 году; обстоятельства его несколько поправились, труды его были оценены, но все это пришло поздно — это эполеты Полежаева, это прощение Кольрейфа, сделанное не русским царем, а русской жизнью.

Вадим таял, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года, — страшная болезнь, которую мне привелось еще раз видеть.

За месяц до его смерти я с ужасом стал примечать, что умственные способности его тухнут, слабеют, точно догорающие свечи, в комнате становилось темнее, смутнее. Он вскоре стал с трудом и усилием приискивать слово для нескладной речи, останавливался на внешних созвучиях, потом он почти и не говорил, а только заботливо спрашивал свои лекарства и не пора ли принять.

Одной февральской ночью, часа в три, жена Вадима прислала за мной; больному было тяжело, он спрашивал меня, я подошел к нему и тихо взял его за руку, его жена назвала меня, он посмотрел долго, устало, не узнал и закрыл глаза. Привели детей, он посмотрел на них, но тоже, кажется, не узнал. Стон его становился тяжелее, он утихал

минутами и вдруг продолжительно вздыхал с криком; тут в ближней церкви ударили в колокол; Вадим прислушался и сказал: «Это заутреня». Больше он не произнес ни одного слова… Жена рыдала на коленях у кровати возле покойника; добрый, милый молодой человек из университетских товарищей, ходивший последнее время за ним, суетился, отодвигал стол с лекарствами, поднимал сторы… Я вышел вон, на дворе было морозно и светло, восходящее солнце ярко светило на снег, точно будто сделалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гроб.

Когда я возвратился, в маленьком доме царила мертвая тишина, покойник, по русскому обычаю, лежал на столе в зале, поодаль сидел живописец Рабус, его приятель, и карандашом, сквозь слез, снимал его портрет; возле покойника, молча, сложа руки, с выражением бесконечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и глубокую «Скорбь». Женщина эта была немолода, но следы строгой, величавой красоты остались; завернутая в длинную черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно.

Я остановился в дверях.

Прошли две-три минуты, — та же тишина, но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и, сказав: «Прощай, прощай, друг Вадим!», твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал, он кивнул мне головой, говорить нам не хотелось, я молча сел у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланного за 14 декабря, Е. Черткова.

Симоновский архимандрит Мелхиседек сам предложил место в своем монастыре. Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игумном и наконец архимандритом. При этом он остался плотником, т. е. не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного, здорового лица. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве.

Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились, и вышел Мелхиседек со всеми монахами встретить тихим, грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы. Недалеко от могилы Вадима покоится другой прах, дорогой нам, — прах Веневитинова с надписью: «Как знал он жизнь, как мало жил!» Много знал и Вадим жизнь!

Судьбе и этого было мало. Зачем, в самом деле, так долго зажилась старушка-мать? Видела конец ссылки, видела своих детей во всей красоте юности, во всем блеске таланта — чего было жить еще! Кто дорожит счастием, тот должен искать ранней смерти. Хронического счастья так же нет, как нетающего льда.

Старший брат Вадима умер несколько месяцев спустя после того, как Диомид был убит; он простудился, запустил болезнь, подточенный организм не вынес. Вряд было ли ему сорок лет, а он был старший.

Эти три гроба, трех друзей, отбрасывают назад длинные черные тени; последние месяцы юности виднеются сквозь погребальный креп и дым кадил…

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в *намерении* составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — *Сунгурова.* Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

«Что могли сделать несколько молодых студен-

тов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны *благоразумием* русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровской, и до истории Петрашевского прошло спокойно *пятнадцать лет*, именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломились два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безум-

ных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16–17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз; но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования.

Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.

Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спро-

сил Киреевского:

— А это что за бумаги?

— Имена подписавшихся, — сказал Киреевский, — и счет.

— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик.

— Об этом нечего говорить.

— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж *нам беречь их имена?* — с этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был

Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве — месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, К<етчера>, С<атина>, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

— Вы делали для них подписку, *это еще хуже.* На первый раз государь *так милосерд, что он вас прощает*; только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на К<етчере>, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

— Вам-то, милостивый государь, в *вашем звании* как не стыдно?

Можно было думать, что К<етчер> был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени

в письме не было.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!*

Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его *слабость* с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили.

Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратил через *десять лет* из Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чахотку, так, как за чахотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за *смерть.* Кольрейф возвратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.

Костенецкий отличился рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры. Антонович тоже.

Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволение выйти на воздух из душной избы,

битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность — ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.

Несчастный офицер был разжалован в солдаты.

Сунгуров не умер. Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого посельщика — ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в *предупреждение* побегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила *один* удар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.

Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.

В Вятке встретил я раз на улице молодого лека-

ря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.

— Боже мой, — сказал лекарь, — знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сижу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов, пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа, взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязном полу, в углу на соломе, какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.

— Вот больной, — сказал офицер.

Лгать мне не пришлось: несчастный был в сильнейшей горячке; исхудалый и изнеможенный от тюрьмы и дороги, полуобритый и с бородой, он был страшен, бессмысленно водил глазами и беспрестанно просил пить.

— Что, брат, плохо? — сказал я больному и при-

бавил офицеру: — идти ему невозможно.

Больной уставил на меня глаза и пробормотал: «Это вы?» Он назвал меня. «Вы меня не узнаете», — прибавил он голосом, который ножом провел по сердцу.

— Извините меня, — сказал я ему, взяв его сухую и каленую руку, — не могу припомнить.

— Я Сунгуров, — отвечал он.

— Бедный Сунгуров! — повторил лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили? — спросил я.

— Нет, однако дали телегу.

После того, как я писал это, я узнал, что Сунгуров умер в *Нерчинске.* Именье его, состоявшее из двухсот пятидесяти душ в Бронницком уезде под Москвой и в Арзамасском, Нижегородской губернии, в четыреста душ, *пошло на уплату за содержание его и его товарищей в тюрьме в продолжение следствия.* Семью его разорили; впрочем, сперва позаботились и о том, чтоб ее уменьшить: *жена Сунгурова была схвачена с двумя детьми и месяцев шесть прожила* в Пречистенской части, грудной ребенок там и умер. Да будет проклято царствование Николая во веки веков, аминь!

Глава VII

Конец курса. – Шиллеровский период. – Молодая юность и артистическая жизнь. – Сенсимонизм и Н. Полевой.

Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспанные ночи для бесполезных мнемонических пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес, — все это — как всегда. Я писал *астрономическую* диссертацию на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес *серебра.*

Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен, — я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься да и только, — и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорты, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу. А в самом деле профессора удивились бы, что я в столько

лет так много пошел назад. Раз это со мной уже и случилось[110].

После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по сеням. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено; наконец, вышел Гейман.

— Поздравляю вас, — сказал он мне, — вы — кандидат.

— Кто еще? кто еще?

— Такой-то и такой-то.

Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего

---

[110] Сноски: 110

В 1844 г. встретился я с Перевощиковым у Щепкина и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал:

— Жаль-с, очень жаль-с, что обстоятельства-с помешали-с заниматься делом-с, — у вас прекрасные-с были-с способности-с.

— Да ведь не всем же, — говорил я ему, — за вами на небо лезть. Мы здесь займемся, на земле, кой-чем.

— Помилуйте-с, как же-с это-с можно-с, какое занятие-с — Гегелева-с философия-с! Ваши статьи-с читал-с, понимать-с нельзя-с, птичий язык-с. Какое-с это дело-с. Нет-с!

Я долго смеялся над этим приговором, т. е. долго не понимал, что язык-то у нас тогда действительно был скверный, и если птичий, то, наверно, птицы, состоящей при Минерве.

родительского дома, в котором провел так юно хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия, — и отчего же не признаться, — и название кандидата, полученное сразу[111].

Alma mater![112] Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнию, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития… И я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула…

---

[111] Сноски: 111

В бумагах, присланных мне из Москвы, я нашел записку, которой я извещал *кузину*, бывшую тогда в деревне с княгиней, об окончании курса. «Экзамен кончился, и я кандидат! Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних занятий. Вспомнили ли вы обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера» (26 июня 1833). Мне кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругления. Но при всем удовольствии самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому (Александру Драшусову). Во втором письме, от 6 июля, сказано: «Сегодня акт, но я не был, я не хотел быть *вторым* при получении медали».

[112] Сноски: 112

Благая мать (*лат.*).

Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи, все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от *истинных* падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край, я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек *серьезно* должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто, — открыто редко делается дурное. Половина, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страст-

ность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троят пороки.

Я считаю большим несчастием положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские *пожилые* люди лет в пятнадцать от роду — просто противны.

Во Франции некогда была блестящая аристократическая юность, потом революционная. Все эти С.-Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героические дети, выращенные на мрачной поэзии Жан-Жака, были настоящие юноши. Революция была сделана молодыми людьми; ни Дантон, ни Робеспьер, ни сам Людовик XVI не пережили своих тридцати пяти лет. С Наполеоном из юношей делаются ординарцы; с Реставрацией, «с воскресением старости», юность вовсе несовместима, — все становится совершеннолетним, деловым, т. е. мещанским.

Последние юноши Франции были сен-симонисты и фаланга. Несколько исключений не могут изменить прозаически-плоский характер французской молодежи. Деку и Лебра застрелились

оттого, что они были юны в обществе стариков. Другие бились, как рыба, выкинутая из воды на грязном берегу, пока одни не попались на баррикаду, другие — на иезуитскую уду.

Но так как возраст берет свое, то большая часть французской молодежи отбывает юность *артистическим* периодом, т. е. живет, если нет денег, в маленьких кафе, с маленькими гризетками в quartier Latin[113], и в больших кафе с большими лоретками, если есть деньги. Вместо шиллеровского периода это период поль-де-коковский; в нем наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергия, все молодое, и человек готов — в commis[114] торговых домов. Артистический период оставляет на дне души одну страсть — жажду денег, и ей жертвуется вся будущая жизнь, других интересов нет; практические люди эти смеются над общими вопросами, презирают женщин (следствие многочисленных побед над *побежденными* по ремеслу). Обыкновенно артистический период делается под руководством какого-нибудь истасканного грешника из увяд-

[113] Сноски: 113
в Латинском квартале (*фр.*).

[114] Сноски: 114
приказчики (*фр.*).

ших знаменитостей, d'un vieux prostitué[115], живущего на чужой счет, какого-нибудь актера, потерявшего голос, живописца, у которого трясутся руки; ему подражают в произношении, в питье, а главное — в гордом взгляде на людские дела и в основательном знании блюд.

В Англии артистический период заменен пароксизмом милых оригинальностей и эксцентрических любезностей, т. е. безумных проделок, нелепых трат, тяжелых шалостей, увесистого, но тщательно скрытого разврата, бесплодных поездок в Калабрию или Квито, на юг, на север — по дороге лошади, собаки, скачки, глупые обеды, а тут и жена с неимоверным количеством румяных и дебелых baby[116], обороты, «Times», парламент и придавливающий к земле ольдпорт[117].

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы

---

[115] Сноски: 115
старого развратника (*фр.*).

[116] Сноски: 116
детей (*англ.*).

[117] Сноски: 117
старый портвейн (*англ.* old port).

ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела.

И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через два дня — 6 декабря, Николин день. Обилие Николаев страшное: Николай Огарев, Николай С<атин>, Николай К<етчер>, Николай Сазонов…

— Господа, кто празднует именины?

— Я! — Я!

— А я на другой день.

— Это все вздор, что такое на другой день? Общий праздник, складку! Зато каков будет и пир!

— Да, да! У кого же собираться?

— С<атин> болен, ясно, что у него.

И вот делаются сметы, проекты, это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к «Яру» заказывать ужин, другой — к Матерну за сыром и салами. Вино, разумеется, берется на Петровке у Депре, на книжке которого Огарев написал эпиграф:

De près ou de loin
Mais je fournis toujours[118].

Наш неопытный вкус еще далее шампанско-

[118] Сноски: 118

Близко ли далеко ли, но я доставляю всегда. Игра слов: De près (близко) и Депре (фамилия) (*фр.*).

го не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу Rivesaltes mousseux[119]. В Париже я на карте у ресторана увидел это имя, вспомнил 1833 год и потребовал бутылку. Но увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся.

При этом не могу не рассказать, что случилось с Соколовским. Он был постоянно без денег и тотчас тратил все, что получал. За год до его ареста он приезжал в Москву и остановился у С<атина>. Он как-то удачно продал, помнится, рукопись «Хевери», и потому решился дать праздник не только нам, но и pour les gros bonnets[120], т. е. позвал Полевого, Максимовича и прочих. Накануне он с утра поехал с Полежаевым, который тогда был с своим полком в Москве, делать покупки, накупил чашек и даже самовар, разных ненужных вещей и наконец вина и съестных припасов, т. е. пастетов, фаршированных индеек и прочего. Вечером мы пришли к С<атину>.

---

[119] Сноски: 119
шипучего вина «Ривесальт» (*фр.*).

[120] Сноски: 120
для важных особ, для «шишек» (*фр.*).

Соколовский предложил откупорить одну бутылку, затем другую; нас было человек пять; к концу вечера, т. е. к началу утра следующего дня, оказалось, что ни вина больше нет, ни денег у Соколовского. Он купил на все, что оставалось от уплаты маленьких долгов.

Огорчился было Соколовский, но, скрепив сердце, подумал, подумал и написал ко всем gros bonnets, что он страшно занемог и праздник откладывает.

Для пира *четырех именин* я писал целую программу, которая удостоилась особенного внимания инквизитора Голицына, спрашивавшего меня в комиссии, точно ли программа была исполнена.

— À la lettre, — отвечал я ему. Он пожал плечами, как будто он всю жизнь провел в Смольном монастыре или в великой пятнице.

После ужина возникал обыкновенно *капитальный* вопрос, — вопрос, возбуждавший прения, а именно: «Как варить жженку?» Остальное обыкновенно елось и пилось, как вотируют по доверию в парламентах, без спору. Но тут каждый участвовал, и притом с высоты ужина.

— Зажигать — не зажигать еще? как зажигать?

тушить шампанским или сотерном?[121] класть фрукты и ананас, пока еще горит, — или после?

— Очевидно, пока горит, тогда-то весь аром[122] перейдет в пунш.

— Помилуй, ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда.

— Все это вздор! — кричит К<етчер> всех громче. — А вот что не вздор — свечи надобно потушить.

Свечи потушены, лица у всех посинели, и черты колеблются с движением огня. А между тем в небольшой комнате температура от горящего рома становится тропическая. Всем хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, француз, присланный от «Яра», готов; он приготовляет какой-то антитезис жженки, напиток со льдом из разных вин, à la base de cognac[123]; неподдельный сын «великого народа», он, наливая французское вино, объясняет нам, что оно потому так хорошо, что два раза проехало экватор. — Oui, oui,

---

[121] Сноски: 121
сорт белого вина (*фр*. sauternes).

[122] Сноски: 122
аромат (*фр*. arôme).

[123] Сноски: 123
на коньяке (*фр*.).

messieurs; deux fois l'équateur, messieurs![124]

Когда замечательный своей полярной стужей напиток окончен и вообще пить больше не надобно, К<етчер> кричит, мешая огненное озеро в суповой чашке, причем последние куски сахара тают с шипением и плачем:

— Пора тушить! Пора тушить!

Огонь краснеет от шампанского, бегает по поверхности пунша с какой-то тоской и дурным предчувствием.

А тут отчаянный голос:

— Да помилуй, братец, ты с ума сходишь, разве не видишь, смола топится прямо в пунш.

— А ты сам подержи бутылку в таком жару, чтоб смола не топилась.

— Ну, так ее прежде обить, — продолжает огорченный голос.

— Чашки, чашки! Довольно ли у вас их, сколько? Нас — девять, десять… четырнадцать, — так, так.

— Где найти четырнадцать чашек?

— Ну, кому чашек недостало — в стакан.

— Стаканы лопнут.

— Никогда, никогда, стоит только ложечку

---

[124] Сноски: 124

Да, да, господа, два раза экватор, господа! (*фр.*)

положить.

Свечи поданы; последний зайчик огня выбежал на середину, сделал пируэт — и нет его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась! — говорят со всех сторон.

На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жженки, — смесь! И тут искреннее решение впредь жженки никогда не пить, это отрава.

Входит Петр Федорович.

— А вы-с сегодня пришли не в своей шляпе: наша шляпа будет получше.

— Черт с ней совсем.

— Не прикажете ли сбегать к Николай Михайловичеву Кузьме?

— Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошел без шляпы?

— Не мешает-с, на всякий случай.

Тут я догадываюсь, что дело совсем не в шляпе, а в том, что Кузьма звал на поле битвы Петра Федоровича.

— Ты к Кузьме ступай, да только прежде попроси у повара мне кислой капусты.

— Знать, Лександ Иваныч, именинники-то не ударили лицом в грязь?

— Какой — в грязь! Эдакого пира во весь курс не было.

— В ниверситет-то уже, должно быть, сегодня отложим попечение?

Меня угрызает совесть, и я молчу.

— Папенька-то ваш меня спрашивал: «Как это, говорит, еще не вставал?» Я, знаете, не промах: голова изволит болеть, с утра-с жаловались, так я так и сторы не подымал-с. «Ну, говорит, и хорошо сделал».

— Да дай ты мне Христа ради уснуть. Хотел идти к С<атину>, ну и ступай.

— Сию минуту-с, только за капустой сбегаю-с.

Тяжелый сон снова смыкает глаза, часа через два просыпаешься гораздо свежее. Что-то они делают там? К<етчер> и Огарев остались ночевать. Досадно, что жженка так на голову действует, надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканом, я решительно отныне и до века буду пить небольшую чашку.

Между тем мой отец уже окончил чтение газет и прием повара.

— У тебя голова болит сегодня?

— Очень.

— Может, слишком много занимался? — И при этом вопросе видно, что прежде ответа он усо-

мнился. — Я и забыл, ведь вчера ты, кажется, был у Николаши[125] и у Огарева?

— Как же-с.

— Потчевали, что ли, они тебя… именины? Опять суп с мадерой? Ох, не охотник я до всего до этого. Николаша-то любит, я знаю, не вовремя вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павл Иванович… ну, 29 июня именины, позовет всех родных, обед, как водится, все скромно, прилично. А это, по-нынешнему, шампанского да сардинки в масле, — противно смотреть. О несчастном сыне Платона Богдановича я и не говорю — один, брошен! Москва… деньги есть — кучер Еремей, «пошел за вином»! А кучер рад: ему за это в лавке гривенник.

— Да, я у Николая Павловича завтракал. Впрочем, я не думаю, чтоб от этого болела голова. Я пройдусь немного, это мне всегда помогает.

— С Богом; обедаешь дома, я надеюсь.

— Без сомнения, я только так.

Для пояснения *супа с мадерой* необходимо сказать, что за год или больше до знаменитого пира четырех именинников мы на Святой неделе отправлялись с Огаревым гулять, и, чтоб отделаться

---

[125] Сноски: 125
Голохвастова.

от обеда дома, я сказал, что меня пригласил обедать отец Огарева.

Отец мой не любил вообще моих знакомых, называл наизнанку их фамилии, ошибаясь постоянно одинаким образом: так, С<атина> он безошибочно называл Сакеным, а Сазонова — Сназиным. Огарева он еще меньше других любил и за то, что у него волосы были длинны, и за то, что он курил без его спроса. Но, с другой стороны, он его считал внучатным племянником и, следственно, родственной фамилии искажать не мог. К тому же Платон Богданович принадлежал, и по родству и по богатству, к малому числу признанных моим отцом личностей, и мое близкое знакомство с его домом ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, если б у Платона Богдановича не было сына.

Итак, отказать ему не считалось приличным.

Вместо почтенной столовой Платона Богдановича мы отправились сначала под Новинское, в балаган Прейса (я потом встретил с восторгом эту семью акробатов в Женеве и Лондоне); там была небольшая девочка, которой мы восхищались и которую назвали Миньоной.

Посмотрев Миньону и решившись еще раз прийти ее посмотреть вечером, мы отправились

обедать к «Яру». У меня был золотой, и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали ouka au champagne[126], бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отец мой, прощаясь со мной, сказал мне, что ему кажется, будто бы от меня пахнет вином.

— Это, верно, оттого, — сказал я, — что суп был с мадерой.

— Au madère; это зять Платона Богдановича, верно, так завел; cela sent les casernes de la garde[127].

С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне:

— Ты, верно, ел сегодня суп с мадерой!

Итак, я скорым шагом к С<атину>.

Разумеется, Огарев и К<етчер> были на месте. К<етчер> с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически вышибал клин

---

[126] Сноски: 126
уху на шампанском (*фр.*).

[127] Сноски: 127
с мадерой… это пахнет гвардейскими казармами (*фр.*).

клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у Сатина:

В роще Марьиной гулянье
В самой тот день семика.

…Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить «страшный опыт своего *изжитого* сердца». Драма эта начиналась так: «Сад — вдали дом — окна освещены — буря — никого нет — калитка не заперта, она хлопает и скрыпит».

— Сверх калитки и сада, есть действующие лица? — спросил я у Вадима.

И Вадим, несколько огорченный, сказал мне:

— Ты все дурачишься! Это не шутка, а быль моего сердца; если так, я и читать не стану, — и стал читать.

Были и вовсе не платонические шалости, да-

же такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было *содержанок* (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, — разврат по контракту, миновал наш круг.

— Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат?

— Не я, а вы! Т. е., не *вы* вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени; о тогдашнем грундтоне[128] нашей жизни, можно легко по ним судить. В 1833 году, июня 7, Огарев, например, мне пишет:

---

[128] Сноски: 128
основном тоне (*нем.* Grundton).

«Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итак, скажи, — с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, — мало того, кажется, — мне врезалась мысль, что мое призвание — быть поэтом, стихотворцем или музыкантом, alles eins[129], но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду, и порядочно (извини за такое пошлое выражение), писать. Друг, скажи же, верить ли мне моему призванью? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься.

Июня 7, 1833».

---

[129] Сноски: 129
все одно (*нем.*).

«Ты пишешь: *Да ты поэт, поэт истинный!* Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? Итак, оно не ложно, все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бред горячки — это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь, не правда ли? Я это действительно чувствую. Нет, эта высокая жизнь — не бред горячки, не обман воображения, она слишком высока для обмана, она действительна, я живу ею, я не могу вообразить себя с иною жизнию. Для чего я не знаю музыки, какая симфония вылетела бы из моей души теперь! Вот слышишь величественное adagio[130], но нет сил выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано; presto, presto[131], мне надобно бурное, неукротимое presto. Adagio и presto, две крайности. Прочь с этой посредственностью, andante[132], allegro moderato[133], это заики или слабоумные, не мо-

---

[130] Сноски: 130
очень медленно (*ит.*).

[131] Сноски: 131
очень быстро (*ит.*).

[132] Сноски: 132
не спеша (*ит.*).

[133] Сноски: 133
умеренно быстро (*ит.*).

гут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.

Село Чертково, 18 августа 1833».

Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности, он нам странен, но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло 20 лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него не загрязнившись.

Это — не неуверенность в себе, это — сомнение веры, это страстное желание подтверждения, ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это — беспокойство зарождающегося творчества, это — тревожное озирание души *зачавшей.*

«Я не могу еще взять, — пишет он в том же письме, — те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми! Я поэт, поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения».

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде, нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно

то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Баранже, терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросилась на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Енфантен и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отращенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии.

С одной стороны, *освобождение женщины*, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с ровным.

С другой — оправдание, *искупление плоти*, réhabilitation de la chair[134].

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, — мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески

---

[134] Сноски: 134
реабилитация плоти (*фр.*).

развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещение плоти* есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало в свою очередь и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи *завешенную* икону после революции 1830 года. Их обвиняли

в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду — через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят черезо всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая — историю, одна — диалектику, другая — эмбриогению. Одна из них *правее,* другая *возможнее.*

О выборе не может быть и речи, обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, — она влечет

невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том, легче или тяжеле будет, — тот ищет истины и неумолимо, нелицеприятно проводит начала, как сен-симонисты некогда, как Прудон до сих пор.

Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сен-симонизм поставил рубеж между мной и Н. А. Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко претворяющего всякую пищу; он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса — и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, — время, предшествовавшее запрещению «Телеграфа».

Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума не мог понять сен-симонизма. Для нас сен-симонизм был откровением, для него — безумием, пустой утопией,

мешающей гражданскому развитию. Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом, он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него.

Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне:

— Придет время, и вам, в награду за целую жизнь усилий и трудов, какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: «Ступайте прочь, вы — отсталый человек».

Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом.

Вы знаете, что с ним было потом, — он принялся за «Парашу Сибирячку»…

Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на *многих других!*

Прибавление
А. Полежаев

В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А. Полежаеве.

Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами, задел он многое.

Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прощений; Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu[135].

---

[135] Сноски: 135
Праздника божества (*фр.*).

Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева…

И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет — но, на этот раз, уж прямо к государю.

Князь Ливен оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то что был шестой час утра, и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отличился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

— Ты ли, — спросил он, — сочинил эти стихи?

— Я, — отвечал Полежаев.

— Вот, князь, — продолжал государь, — вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, — прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу, — сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. Никогда, говорил он, я не видывал «Сашку» так переписанного и на такой славной бумаге.

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату, это все еще *следы, последние остатки*; я их искореню. Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:

— Превосходнейшего поведения, в. в.

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно, для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться, — отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:

— От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне *писать*, — *поцеловал его в лоб.*

Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе — так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

— Это он?

— Он, в. с.

— Что же! Доброе дело, послужите в военной;

я все в военной службе был — видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом.

Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.

Прошли года три, Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое — тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй; приговор послали к государю на утверждение.

Полежаев хотел лишить себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:

— Я сам отточил его.

Государь не велел наказывать Полежаева.

Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение:

Без утешений
Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал…

Полежаева отправили на Кавказ; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским поэтом и петь доблести Николая он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.

Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами: она их продает в университет, в медицинскую академию, вы-

варивает скелеты и проч. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева, — он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.

После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах, — он был произведен в больнице.

Часть вторая
Тюрьма и ссылка
(1834–1838)
Глава VIII

Пророчество. – Арест Огарева. – Пожар. – Московский либерал. – М. Ф. Орлов. – Кладбище.

…Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму; ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взошел наверх, в небольшую комнату его, и сел писать.

Дверь тихо отворилась, и взошла старушка, мать Вадима; шаги ее были едва слышны, она подошла устало, болезненно к креслам и сказала мне, садясь в них:

— Пишите, пишите, — я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя; дети пошли гулять, внизу такая пустота, мне сделалось грустно и страшно, я посижу здесь; я вам не мешаю, делайте свое дело.

Лицо ее было задумчиво, в нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошед-

шем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири.

— Много, много пришлось мне перестрадать; что-то еще придется увидеть, — прибавила она, качая головой, — хорошего ничего не чует сердце.

Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова.

— Вы, — продолжала она, — и ваши друзья, вы идете верной дорогой к гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех; я ведь и вас люблю, как сына.

Слеза катилась по исхудалой щеке.

Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила:

— Не сердитесь, у меня нервы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была, вы все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я так много перенесла несчастий, что на новые недостает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите Ваде об этом, он огорчится, будет меня уговаривать…

Вот он, — прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтоб я молчал.

Бедная мать! Святая, великая женщина!

Это стоит корнелевского «qu'il mourût»[136].

Пророчество ее скоро сбылось; по счастию, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралась бедная горя и страху.

– *Как взяли?* — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтоб знать, сплю я или нет.

— Полицмейстер приезжал ночью, с квартальным и казаками, часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Н. П.

Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция, — в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал… и отчего же его взяли, а меня нет?

Сложа руки нельзя было оставаться, я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастие, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие.

Бродя по улицам, мне, наконец, пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может, и помочь. Он жил страшно далеко,

---

[136] Сноски: 136
«ему следовало умереть» (*фр.*).

на даче за Воронцовским полем; я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра.

Года за полтора перед тем познакомились мы с В.; это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных; ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен.

В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими заметками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно; мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он всё — новые романы, трактаты, журналы, стихи и, сверх того, сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг.

Либерализм его был чистейший, трехцветной

воды, левого бока между Могеном и генералом Ламарком.

Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, от Гемпдена и Бальи до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей — набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета.

Мы с завистью посматривали на его опытность и знание людей; его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на *делового* революционера, как на государственного человека in spe[137].

Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свиданья с князем; его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и au rez-de-chaussée[138], огромная дверь

---

[137] Сноски: 137
в будущем (*лат.*).

[138] Сноски: 138
в нижнем этаже (*фр.*).

вела на террасу и в сад. День был жаркий, из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень… а в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы.

— Что такое? — спросил я.

— Да пожалуйте сюда, взгляните.

Я вышел, не желая его обидеть, на террасу — и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью.

Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая:

— Славно забирает, вот и этот дом направо загорится, непременно загорится.

Пожар имеет в себе что-то революционное: он смеется над собственностью, нивелирует состояния. Камердинер инстинктом понял это.

Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лафертово. Это было начало тех зажигательств, которые про-

должались месяцев пять; об них мы еще будем говорить.

Наконец, приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил:

— Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол…

— Прежде, нежели посадят нас на кол, — отвечал я, — боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?

— Полиция, — что вы говорите?

— Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать, съездите к князю, узнайте, в чем дело, попросите мне дозволение его увидеть.

Не получая ответа, я взглянул на В., но вместо его, казалось, был его старший брат, с посоловелым лицом, с опустившимися чертами, — он ахал и беспокоился.

— Что с вами?

— Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет… Да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно, — ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят, эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы.

— Поедете вы к князю?

— Помилуйте, зачем же это? Я вам советую дружески, и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны — мой искренний совет: держите себя в стороне; тормошитесь как хотите — Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно самовластье, — какие права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?

На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал.

Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже Сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные и был недоволен.

На столе я нашел записку от М. Ф. Орлова, он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт хотя меня и проучил, но все же — попытка не пытка и спрос не беда.

Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого Союза благоденствия, и если он не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря.

Орлов был послан в свои деревни, через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде captatio benevolentiae[139] стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орлов поспорил — потом согласился.

Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни.

Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала.

---

[139] Сноски: 139
заискивания (*лат.*).

После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтиться в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни; в одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтоб раскрыть все эти несуществующие козни.

Им надобна, как воздух, сцена и зрители; на сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности, — без этих конфортативов[140] они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков Ледрю-Роллен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор, как отрастил усы.

Он был очень хорош собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивые мужественные черты, совершенно обнаженный череп, и все это вместе, стройно соединенное, сообщали его

---

[140] Сноски: 140
подкрепляющих средств (*фр.* confortatif).

наружности неотразимую привлекательность. Его бюст — pendant[141] бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состаревшегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе.

От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать «о кредите», — нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку.

Смертельно жаль было видеть Орлова, усиливавшегося сделаться ученым, теоретиком. Он имел ум ясный и блестящий, но вовсе не спекулятивный, а тут он путался в разных новоизобретенных системах на давно знакомые предметы, вроде химической номенклатуры. Все отвлеченное ему решительно не удавалось, но он с величайшим ожесточением возился с мета-

---

[141] Сноски: 141
под стать (*фр.*).

физикой.

Неосторожный, невоздержный на язык, он беспрестанно делал ошибки; увлекаемый первым впечатлением, которое у него было рыцарски благородно, он вдруг вспоминал свое положение и сворачивал с полдороги. Эти дипломатические контрмарши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и он, заступив за одну постромку, заступал за две, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди так поверхностны и невнимательны, что они больше смотрят на слова, чем на действия, и отдельным ошибкам дают больше веса, чем совокупности всего характера. Что тут винить, с натянутой регуловской точки зрения, человека — надобно винить грустную среду, в которой всякое благородное чувство передается, как контрабанда, под полой да затворивши двери; а сказал слово громко — так день целый и думаешь, скоро ли придет полиция…

Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский был тоже в опале с 14 декабря; сын знаменитого Н. Н. Раевского, он мальчиком четырнадцати лет находился с своим братом под Бородиным возле отца; впоследствии он умер от ран на Кавказе.

Я рассказал ему об Огареве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать.

Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения.

— Тут нет места хотеть или не хотеть, — отвечал он, — только я сомневаюсь, чтоб Орлов мог много сделать; после обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам. Так вот, — прибавил он, помолчав, — и ваш черед пришел; этот омут всех утянет.

Расспросивши меня, Орлов написал письмо к князю Голицыну, прося его свиданья.

— Князь, — сказал он мне, — порядочный человек; если он ничего не сделает, то скажет по крайней мере правду.

Я на другой день поехал за ответом. Князь Голицын сказал, что Огарев арестован по высочайшему повелению, что назначена следственная комиссия и что материальным поводом был какой-то пир 24 июня, на котором пели возмутительные песни. Я ничего не мог понять. В этот день были именины моего отца; я весь день был дома, и Огарев был у нас.

С тяжелым сердцем оставил я Орлова; и ему

было нехорошо; когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, крепко прижал к широкой своей груди и поцеловал.

Точно будто он чувствовал, что мы расстаемся надолго.

Я его видел с тех пор один раз, ровно через шесть лет. Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение, знал расстройство дел — и не видел выхода. Месяца через два он умер; кровь свернулась в его жилах.

…В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. В впадине лежит умирающий лев; он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

Раз как-то, долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова…

Ехавши от Орлова домой мимо обер-полицмей-

стерского дома, мне пришло в голову попросить у него открыто дозволение повидаться с Огаревым.

Я отроду никогда не бывал прежде ни у одного полицейского лица. Меня заставили долго ждать, наконец обер-полицмейстер вышел.

Мой вопрос его удивил.

— Какой повод заставляет вас просить дозволение?

— Огарев — мой родственник.

— Родственник? — спросил он, прямо глядя мне в глаза.

Я не отвечал, но так же прямо смотрел в глаза его превосходительства.

— Я не могу вам дать позволения, — сказал он, — ваш родственник au secret[142]. Очень жаль!

...Неизвестность и бездействие убивали меня. Почти никого из друзей не было в городе, узнать решительно нельзя было ничего. Казалось, полиция забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволокло серыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня.

---

[142] Сноски: 142
под строгим арестом (*фр.*).

Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня.

Первый раз в моем рассказе является женский образ… и, собственно, один женский образ является во всей моей жизни.

Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины; новых, других не пришло.

Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась.

— До завтра, — сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра, — ответил я… и долго смотрел вслед за исчезавшим образом ее.

Это было девятнадцатого июля 1834.

Глава IX

Арест. – Добросовестный. – Канцелярия Пречистенского частного дома. – Патриархальный суд.

…«До завтра», — повторял я, засыпая… На душе было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во втором ночи меня разбудил камердинер моего отца; он был раздет и испуган.

— Вас требует какой-то офицер.

— Какой офицер?

— Я не знаю.

— Ну, так я знаю, — сказал я ему и набросил на себя халат.

В дверях залы стояла фигура, завернутая в военную шинель; к окну виднелся белый султан, сзади были еще какие-то лица, — я разглядел казацкую шапку.

Это был полицмейстер Миллер.

Он сказал мне, что по приказанию военного генерал-губернатора, которое было у него в руках, он должен осмотреть мои бумаги. Принесли свечи. Полицмейстер взял мои ключи; квартальный и его поручик стали рыться в книгах, в белье. Полицмейстер занялся бумагами; ему все казалось подозрительным, он все откладывал и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

— Я вас попрошу покамест одеться: вы поедете со мной.

— Куда? — спросил я.

— В Пречистенскую часть, — ответил полиц-

мейстер успокоивающим голосом.

— А потом?

— Дальше ничего нет в приказании генерал-губернатора.

Я стал одеваться.

Между тем испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась из своей спальной ко мне в комнату, но в дверях между гостиной и залой была остановлена казаком. Она вскрикнула, я вздрогнул и побежал туда. Полицмейстер оставил бумаги и вышел со мной в залу. Он извинился перед моею матерью, пропустил ее, разругал казака, который был не виноват, и воротился к бумагам.

Потом взошел мой отец. Он был бледен, но старался выдержать свою бесстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидела в углу и плакала. Старик говорил безразличные вещи с полицмейстером, но голос его дрожал. Я боялся, что не выдержу этого à la longue[143], и не хотел доставить квартальным удовольствие видеть меня плачущим.

Я дернул полицмейстера за рукав.

— Поедемте!

— Поедемте, — сказал он с радостью.

---

[143] Сноски: 143
долго (*фр.*).

Отец мой вышел из комнаты и через минуту возвратился; он принес маленький образ, надел мне на шею и сказал, что им благословил его отец, умирая. Я был тронут; этот *религиозный* подарок показал мне меру страха и потрясения в душе старика. Я стал на колени, когда он надевал его; он поднял меня, обнял и благословил.

Образ представлял, на финифти, отсеченную голову Иоанна Предтечи на блюде. Что это было — пример, совет или пророчество? — не знаю, но смысл образа поразил меня.

Мать моя была почти без чувств.

Вся дворня провожала меня по лестнице со слезами, бросаясь целовать меня, мои руки, — я заживо присутствовал при своем выносе; полицмейстер хмурился и торопил.

Когда мы вышли за ворота, он собрал свою команду; с ним было четыре казака, двое квартальных и двое полицейских.

— Позвольте мне идти домой? — спросил у полицмейстера человек с бородой, сидевший перед воротами.

— Ступай, — сказал Миллер.

— Это что за человек? — спросил я, садясь на дрожки.

— Добросовестный; вы знаете, что без добросо-

вестного полиция не может входить в дом.

— За тем-то вы и оставили его за воротами?

— Пустая форма! Даром помешали человеку спать, — заметил Миллер.

Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом.

В частном доме не было для меня особой комнаты. Полицмейстер велел до утра посадить меня в канцелярию. Он сам привел меня туда; бросился на кресла и, устало зевая, бормотал:

— Проклятая служба, на скачке был с трех часов да вот с вами провозился до утра, — небось, уж четвертый час, а завтра в девять с рапортом ехать. Прощайте, — прибавил он через минуту и вышел.

Унтер запер меня на ключ, заметив, что если что нужно, то могу постучать в дверь.

Я отворил окно — день уж начался, утренний ветер подымался; я попросил у унтера воды и выпил целую кружку. О сне не было и в помышлении. Впрочем, и лечь было некуда: кроме грязных кожаных стульев и одного кресла, в канцелярии находился только большой стол, заваленный бумагами, и в углу маленький стол, еще более заваленный бумагами. Скудный ночник не мог освещать комнату, а делал колеблющееся пятно

света на потолке, бледневшее больше и больше от рассвета.

Я сел на место частного пристава и взял первую бумагу, лежавшую на столе, — билет на похороны дворового человека князя Гагарина и медицинское свидетельство, что он умер по всем правилам науки. Я взял другую — полицейский устав. Я пробежал его и нашел в нем статью, в которой сказано: «Всякий арестованный имеет право через три дня после ареста узнать причину оного или быть выпущен». Эту статью я себе заметил.

Через час времени я видел в окно, как приехал наш дворецкий и привез мне подушку, одеяло и шинель. Он просил о чем-то унтера, вероятно, о позволении взойти ко мне. Это был седой старик, у которого я ребенком перекрестил двух или трех детей. Унтер грубо и отрывисто отказывал ему. Один из наших кучеров стоял возле. Я им закричал в окно. Унтер засуетился и велел им убираться. Старик кланялся мне в пояс и плакал; кучер, стегнувши лошадь, снял шляпу и утер глаза, — дрожки застучали, и слезы полились у меня градом. Душа переполнилась. Это были первые и последние слезы во все время заключения.

К утру канцелярия начала наполняться; явил-

ся писарь, который продолжал быть пьяным с вчерашнего дня, — фигура чахоточная, рыжая, в прыщах, с животноразвратным выражением в лице. Он был во фраке кирпичного цвета, прескверно сшитом, нечистом, лоснящемся. Вслед за ним пришел другой, в унтер-офицерской шинели, чрезвычайно развязный. Он тотчас обратился ко мне с вопросом:

— В театре, что ли-с, попались?

— Меня арестовали дома.

— И сам Федор Иванович?

— Кто это Федор Иванович?

— Полковник Миллер-с.

— Да, он.

— Понимаем-с, — он моргнул рыжему, который не показал никакого участия. Кантонист не продолжал разговора; он увидел, что я взят не за буянство, не за пьянство, и потерял ко мне весь интерес, а может, и боялся вступить в разговор с *опасным* арестантом.

Спустя немного явились разные квартальные, заспанные и непроспавшиеся, наконец просители и тяжущиеся.

Содержательница публичного дома жаловалась на полпивщика, что он в своей лавке обругал ее всенародно и притом такими словами, кото-

рые она, будучи женщиной, не может произнести при начальстве. Полпивщик клялся, что он таких слов никогда не произносил. Содержательница клялась, что он их неоднократно произносил и очень громко, причем она прибавляла, что он замахнулся на нее и если б она не наклонилась, то он раскроил бы ей все лицо. Сиделец говорил, что она, во-первых, ему не платит долг, во-вторых, разобидела его в собственной его лавке и, мало того, обещала исколотить его не на живот, а на смерть руками своих приверженцев.

Содержательница, высокая, неопрятная женщина, с отекшими глазами, кричала пронзительно громким, визжащим голосом и была чрезвычайно многоречива. Сиделец больше брал мимикой и движениями, чем словами.

Соломон-квартальный, вместо суда, бранил их обоих на чем свет стоит.

— С жиру собаки бесятся, — говорил он. — Сидели б, бестии, покойно у себя, благо мы молчим да мирволим. Видишь, важность какая! Поругались — да и тотчас начальство беспокоить. И что вы за фря такая? Словно вам в первый раз — да вас назвать нельзя не выругавши — таким ремеслом занимаетесь.

Полпивщик тряхнул головой и передернул

плечами в знак глубокого удовольствия. Квартальный тотчас напал на него.

— А ты что из-за прилавка лаешься, собака? Хочешь в сибирку? Сквернослов эдакий! Да лапу еще подымать — а березовых, горячих… хочешь?

Для меня эта сцена имела всю прелесть новости, она у меня осталась в памяти навсегда; это был первый патриархальный русский процесс, который я видел.

Содержательница и квартальный кричали до тех пор, пока взошел частный пристав. Он, не спрашивая, зачем эти люди тут и чего хотят, закричал еще больше диким голосом:

— Вон отсюда, вон! Что здесь: торговая баня или кабак?

Прогнавши «сволочь», он обратился к квартальному:

— Как вам это не стыдно допускать такой беспорядок? Сколько раз вам говорил! Уважение к месту теряется — шваль всякая станет после этого содом делать. Вы потакаете слишком этим мошенникам. Это что за человек? — спросил он обо мне.

— Арестант, — отвечал квартальный, — которого привезли Федор Иванович, тут есть бумажка-с.

Частный пробежал бумажку, посмотрел на меня, с неудовольствием встретил прямой и неподвижный взгляд, который я на нем остановил, приготовляясь на первое его слово дать сдачи, и сказал: «Извините».

Дело содержательницы и полпивщика снова явилось; она требовала присяги — пришел поп; кажется, они оба присягнули — я конца не видал. Меня увезли к обер-полицмейстеру — не знаю зачем — никто не говорил со мною ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой. Унтер-офицер заметил, что если я хочу поесть, то надобно послать купить что-нибудь, что казенный паек еще не назначен и что он еще дня два не будет назначен; сверх того, как он состоит из трех или четырех копеек серебром, то *хорошие* арестанты предоставляют его в экономию.

Запачканный диван стоял у стены, время было за полдень, я чувствовал страшную усталость, бросился на диван и уснул мертвым сном. Когда я проснулся, на душе все улеглось и успокоилось. Я был измучен в последнее время неизвестностью об Огареве, теперь черед дошел и до меня, опасность не виднелась издали, а обложилась вокруг, туча была над головой. Это первое гонение долж-

но было нам служить рукоположением.

Глава X

Под каланчой. – Лиссабонский квартальный. – Зажигатели.

К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания. К тишине и совершенной воле в клетке привыкаешь быстро — никакой заботы, никакого рассеяния.

Сначала не давали книг; частный пристав уверял, что из дому книг не дозволяется брать. Я его просил купить. «Разве что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли, пожалуй, можно, а не то, надобно спросить генерала». Предложение читать от скуки грамматику было неизмеримо смешно, тем не менее я ухватился за него обеими руками и попросил частного пристава купить итальянскую грамматику и лексикон. Со мной были две красненькие ассигнации, я отдал одну ему; он тут же послал поручика за книгами и отдал ему мое письмо к обер-полицмейстеру, в котором я, основываясь на вычитанной мною

статье, просил объявить мне причину ареста или выпустить меня.

Частный пристав, в присутствии которого я писал письмо, уговаривал не посылать его. «Напрасно-с, ей-богу, напрасно-с утруждаете генерала, — скажут: беспокойные люди, — вам же вред, а пользы никакой не будет».

Вечером явился квартальный и сказал, что обер-полицмейстер велел мне на словах объявить, что в свое время я узнаю причину ареста. Далее он вытащил из кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавил: «Так хорошо случилось, что тут и словарь есть, лексикончика не нужно». Об сдаче и разговора не было. Я хотел было снова писать к обер-полицмейстеру, но роль миниатюрного Гемпдена в Пречистенской части показалась мне слишком смешной.

Недели через полторы после моего взятия, часу в десятом вечера, пришел маленького роста черненький и рябенький квартальный с приказом одеться и отправляться в следственную комиссию.

Пока я одевался, случилось следующее смешно-досадное происшествие. Обед мне присылали из дома, слуга отдавал внизу дежурному ун-

тер-офицеру, тот присылал с солдатом ко мне. Виноградное вино позволялось пропускать от полубутылки до целой в день. Н. Сазонов, пользуясь этим дозволением, прислал мне бутылку превосходного «Иоганнисберга». Солдат и я — мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букет поразил издали. Этим вином я хотел наслаждаться дня три-четыре.

Надобно быть в тюрьме, чтоб знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем.

Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было; однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхания; этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и у поляков; я во всей Европе не видал людей, которые бы пили *залпом* стакан или умели *хватить* рюмку. Чтоб потерю этого стакана сделать еще чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: «Мадера хоть куда». Я с ненавистью посмотрел на него

и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человеческой.

Этот знаток вин привез меня в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре, ввел в боковую залу и оставил одного. Полчаса спустя из внутренних комнат вышел толстый человек с ленивым и добродушным видом; он бросил портфель с бумагами на стул и послал куда-то жандарма, стоявшего в дверях.

— Вы, верно, — сказал он мне, — по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых?

Я подтвердил.

— Слышал я, — продолжал он, — мельком. Странное дело, ничего не понимаю.

— Я сижу две недели в тюрьме по этому делу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего.

— Это-то и прекрасно, — сказал он, пристально посмотревши на меня, — и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вам дам совет: вы молоды, у вас еще кровь горяча, хочется поговорить — это беда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасения.

Я смотрел на него с удивлением: лицо его не выражало ничего дурного; он догадался и,

улыбнувшись, сказал:

— Я сам был студент Московского университета лет двенадцать тому назад.

Взошел какой-то чиновник; толстяк обратился к нему как начальник и, кончив свои приказания, вышел вон, ласково кивнув головой и приложив палец к губам. Я никогда после не встречал этого господина и не знаю, кто он; но искренность его совета я испытал.

Потом взошел полицмейстер, другой, не Федор Иванович, и позвал меня в комиссию. В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер-полицмейстер председательствовал.

Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал:

— Батюшка, не угодно ли?

Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим лицом. Священник дремал, хотел домой; думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукою рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня *увещевать;* толковал о грехе утаивать

истину пред лицами, назначенными царем, и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание всеслышащее ухо Божие; он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что «нет власти, аще не от Бога» и «кесарю — кесарево». В заключение он сказал, чтоб я приложился к святому Евангелию и *честному* кресту в удостоверение обета, — которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал, — искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Окончивши, он поспешно начал завертывать Евангелие и крест. Цынский, едва приподнявшись, сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык.

— Я прибавлю к словам священника одно: запираться вам нельзя, если б вы и хотели.

Он указал на кипы бумаг, писем, портретов, с намерением разбросанных по столу.

— Одно откровенное сознание может смягчить вашу участь; быть на воле или в Бобруйске, на Кавказе — это зависит от вас.

Вопросы предлагались письменно; наивность некоторых была поразительна. «Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь

обществу — литературному или *иному?* кто его члены? где они собираются?»

На все это было чрезвычайно легко отвечать одним *нет.*

— Вы, я вижу, ничего не знаете, — сказал, перечитывая ответы, Цынский. — Я вас предупредил — вы усложните ваше положение.

Тем и кончился первый допрос.

…Восемь лет спустя, в другой половине дома, где была следственная комиссия, жила женщина, некогда прекрасная собой, с дочерью-красавицей, сестра нового обер-полицмейстера.

Я бывал у них и всякий раз проходил той залой, где Цынский с компанией судил и рядил нас; в ней висел, тогда и потом, портрет Павла — напоминовением ли того, до чего может унизить человека необузданность и злоупотребление власти, или для того, чтоб поощрять полицейских на всякую свирепость, — не знаю, но он был тут, с тростью в руках, курносый и нахмуренный — я останавливался всякий раз пред этим портретом, тогда арестантом, теперь гостем. Небольшая гостиная возле, где все дышало женщиной и красотой, была как-то неуместна в доме строгости и следствий; мне было не по себе там и как-то жаль, что прекрасно развернувшийся цветок

попал на кирпичную, печальную стену съезжей. Наши речи и речи небольшого круга друзей, собиравшихся у них, так иронически звучали, так удивляли ухо в этих стенах, привыкнувших слушать допросы, доносы и рапорты о повальных обысках, — в этих стенах, отделявших нас от шепота квартальных, от вздохов арестантов, от бренчанья жандармских шпор и сабли уральского казака…

Через неделю или две снова пришел рябенький квартальный и снова привез меня к Цынскому. В сенях сидели и лежали несколько человек скованных, окруженные солдатами с ружьями; в передней было тоже несколько человек, разных сословий, без цепей, но строго охраняемых. Квартальный сказал мне, что это всё зажигатели. Цынский был на пожаре, следовало ждать его возвращения; мы приехали часу в десятом вечера; в час ночи меня еще никто не спрашивал, и я все еще преспокойно сидел в передней с зажигателями. Из них требовали то одного, то другого — полицейские бегали взад и вперед, цепи гремели, солдаты от скуки брякали ружьями и выкидывали артикул. Около часу приехал Цынский, в саже и копоти, и пробежал в кабинет, не останавливаясь. Прошло с полчаса, позвали

моего квартального; он воротился бледный, растерянный и с судорожным подергиванием в лице. Вслед за ним Цынский высунул голову в дверь и сказал:

— А вас, monsieur Г., вся комиссия ждала целый вечер, этот *болван* привез вас сюда в то время, как вас требовали к князю Голицыну. Мне очень жаль, что вы здесь прождали так долго, но это не моя вина. Что прикажете делать с такими исполнителями? Я думаю, пятьдесят лет служит и все чурбан. — Ну, пошел теперь домой! — прибавил он, изменив голос на гораздо грубейший и обращаясь к квартальному.

Квартальный повторял целую дорогу:

— Господи! какая беда! Человек не думает, не гадает, что над ним сделается, — ну, уж он меня доедет теперь. Он бы еще ничего, если б вас там не ждали, а то ведь ему срам. Господи, какое несчастие!

Я простил ему рейнвейн, особенно когда он мне сообщил, что он менее был испуган, когда раз тонул возле Лиссабона, чем теперь. Последнее обстоятельство было так нежданно для меня, что мною овладел безумный смех.

— Как же вы это попали в Лиссабон? Помилуйте, на что же это похоже? — спросил я его.

Старик был лет за двадцать пять морским офицером. Нельзя не согласиться с министром, который уверял капитана Копейкина, что в России, некоторым образом, никакая служба не остается без вознаграждения. Его судьба спасла в Лиссабоне для того, чтоб быть обруганным Цынским, как мальчишка, после сорокалетней службы.

Он же почти не был виноват.

Следственная комиссия, составленная генерал-губернатором, не понравилась государю; он назначил новую под председательством князя Сергея Михайловича Голицына. В этой комиссии членами были: московский комендант Стааль, другой князь Голицын, жандармский полковник Шубинский и прежний аудитор Оранский.

В обер-полицмейстерском приказе не было сказано, что комиссия переведена; весьма естественно, что лиссабонский квартальный свез меня к Цынскому…

В частном доме была тоже большая тревога: три пожара случились в один вечер, и потом из комиссии присылали два раза узнать, что со мной сделалось, — не бежал ли я. Чего Цынский не добранил, то добавил частный пристав лиссабонцу, что и следовало ожидать, потому что частный пристав был тоже долею виноват,

не справившись, куда именно требуют. В канцелярии, в углу, кто-то лежал на стульях и стонал; я посмотрел, — молодой человек красивой наружности и чисто одетый, он харкал кровью и охал, частный лекарь советовал пораньше утром отправить его в больницу.

Когда унтер-офицер привел меня в мою комнату, я выпытал от него историю раненого. Это был отставной гвардейский офицер, он имел интригу с какой-то горничной и был у нее, когда загорелся флигель. Это было время наибольшего страха от зажигательства; действительно, не проходило дня, чтоб я не слышал трех-четырех раз сигнального колокольчика; из окна я видел всякую ночь два-три зарева. Полиция и жители с ожесточением искали зажигателей. Офицер, чтоб не компрометировать девушку, как только началась тревога, перелез забор и спрятался в сарае соседнего дома, выжидая минуты, чтоб выйти. Маленькая девчонка, бывшая на дворе, увидела его и сказала первым прискакавшим полицейским, что зажигатель спрятался в сарае; они ринулись туда с толпой народа и с торжеством вытащили офицера. Они его так основательно избили, что он на другой день к утру умер.

Начался разбор захваченных людей; половину

отпустили, других нашли подозрительными. Полицмейстер Брянчанинов ездил всякое утро и допрашивал часа три или четыре. Иногда допрашиваемых секли или били; тогда их вопль, крик, просьбы, визг, женский стон, вместе с резким голосом полицмейстера и однообразным чтением письмоводителя, доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мне по ночам грезились эти звуки, и я просыпался в исступлении, думая, что страдальцы эти в нескольких шагах от меня лежат на соломе, в цепях, с изодранной, с избитой спиной и наверное без всякой вины.

Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политических арестантов, которые большею частию принадлежат к дворянству, содержат строго, наказывают свирепо, но их судьба не идет ни в какое сравнение с судьбою бедных бородачей. С этими полиция не церемонится. К кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться, где найдет суд?

Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Он ждет

с нетерпением, когда его пошлют в Сибирь, — его мученичество оканчивается с началом наказания. Теперь вспомним, что три четверти людей, хватаемых полициею по подозрению, судом освобождаются и что они прошли через те же истязания, как и виновные.

Петр III уничтожил застенок и тайную канцелярию.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александр I *еще раз* ее уничтожил.

Ответы, сделанные «под страхом», не считаются по закону. Чиновник, пытающий подсудимого, подвергается сам суду и строгому наказанию.

И во всей России — от Берингова пролива до Таурогена — людей пытают; там, где опасно пытать розгами, пытают нестерпимым жаром, жаждой, соленой пищей; в Москве полиция ставила какого-то подсудимого босого, градусов в десять мороза, на чугунный пол — он занемог и умер в больнице, бывшей под начальством князя Мещерского, рассказывавшего с негодованием об этом. Начальство знает все это, губернаторы прикрывают, *правительствующий* сенат мирволит, министры молчат; государь и синод, помещики и квартальные — все согласны с Селифаном, что «отчего же мужика и не посечь,

мужика иногда надобно посечь!».

Комиссия, назначенная для розыска зажигательств, судила, т. е. секла — месяцев шесть кряду — и ничего не высекла. Государь рассердился и велел дело окончить в три дня. Дело и кончилось в три дня; виновные были найдены и приговорены к наказанию кнутом, клеймению и ссылке в каторжную работу. Из всех домов собрали дворников смотреть страшное наказание «зажигателей». Это было уже зимой, и я содержался тогда в Крутицких казармах. Жандармский ротмистр, бывший при наказании, добрый старик, сообщил мне подробности, которые я передаю. Первый осужденный на кнут громким голосом сказал народу, что он клянется в своей невинности, что он сам не знает, что отвечал под влиянием боли, при этом он снял с себя рубашку и, повернувшись спиной к народу, прибавил: «Посмотрите, православные!»

Стон ужаса пробежал по толпе: его спина была синяя полосатая рана, и по этой-то ране его следовало бить кнутом. Ропот и мрачный вид собранного народа заставили полицию торопиться, палачи отпустили законное число ударов, другие заклеймили, третьи сковали ноги, и дело казалось оконченным. Однако сцена эта поразила

жителей; во всех кругах Москвы говорили об ней. Генерал-губернатор донес об этом государю. Государь велел назначить *новый* суд и особенно разобрать дело зажигателя, протестовавшего перед наказанием.

Спустя несколько месяцев прочел я в газетах, что государь, желая вознаградить двух невинно наказанных кнутом, приказал им выдать по двести рублей за удар и снабдить особым паспортом, свидетельствующим их невинность, несмотря на клеймо. Это был зажигатель, говоривший к народу, и один из его товарищей.

История о зажигательствах в Москве в 1834 г., отозвавшаяся лет через десять в разных провинциях, остается загадкой. Что поджоги были, в этом нет сомнения; вообще огонь, «красный петух», — очень национальное средство мести у нас. Беспрестанно слышишь о поджоге барской усадьбы, овина, амбара. Но что за причина была пожаров именно в 1834 в Москве, этого никто не знает, всего меньше — члены комиссии.

Перед 22 августа, днем коронации, какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, в которых сообщали жителям, чтоб они не заботились об иллюминации, что освещение будет.

Переполошилось трусливое московское на-

чальство. С утра частный дом был наполнен солдатами, эскадрон уланов стоял на дворе. Вечером патрули верхом и пешие беспрестанно объезжали улицы. В экзерциргаузе была приготовлена артиллерия. Полицмейстеры скакали взад и вперед с казаками и жандармами, сам князь Голицын с адъютантами проехал верхом по городу. Этот военный вид скромной Москвы был странен и действовал на нервы. Я до поздней ночи лежал на окне под своей каланчой и смотрел на двор… Спешившиеся уланы сидели кучками около лошадей, другие садились на коней; офицеры расхаживали, с пренебрежением глядя на полицейских; плац-адъютанты приезжали с озабоченным видом, с желтым воротником и, ничего не сделавши, — уезжали.

Пожаров не было.

Вслед за тем явился сам государь в Москву. Он был недоволен следствием над нами, которое только началось, был недоволен, что нас оставили в руках явной полиции, был недоволен, что не нашли зажигателей, словом, был недоволен всем и всеми.

Мы вскоре почувствовали высочайшую близость.

Глава XI

Крутицкие казармы. – Жандармские повествования. – Офицеры.

Дня через три после приезда государя, поздно вечером — все эти вещи делаются в темноте, чтоб не беспокоить публику, — пришел ко мне полицейский офицер с приказом собрать вещи и отправляться с ним.

— Куда? — спросил я.

— Вы увидите, — отвечал умно и учтиво полицейский. После этого, разумеется, я не продолжал разговора, собрал вещи и пошел.

Ехали мы, ехали часа полтора, наконец проехали Симонов монастырь и остановились у тяжелых каменных ворот, перед которыми ходили два жандарма с карабинами. Это был Крутицкий монастырь, превращенный в жандармские казармы.

Меня привели в небольшую канцелярию. Писаря, адъютанты, офицеры — все было голубое. Дежурный офицер, в каске и полной форме, просил меня подождать и даже предложил закурить

трубку, которую я держал в руках. После этого он принялся писать расписку в получении арестанта; отдав ее квартальному, он ушел и воротился с другим офицером.

— Комната ваша готова, — сказал мне последний, — пойдемте.

Жандарм светил нам, мы сошли с лестницы, прошли несколько шагов двором, взошли небольшой дверью в длинный коридор, освещенный одним фонарем; по обеим сторонам были небольшие двери, одну из них отворил дежурный офицер; дверь вела в крошечную кордегардию, за которой была небольшая комнатка, сырая, холодная и с запахом подвала. Офицер с аксельбантом, который привел меня, обратился ко мне на французском языке, говоря, что он désolé d'être dans la nécessité[144] шарить в моих карманах, но что военная служба, обязанность, повиновение… После этого красноречивого вступления он очень просто обернулся к жандарму и указал на меня глазом. Жандарм в ту же минуту запустил невероятно большую и шершавую руку в мой карман. Я заметил учтивому офицеру, что это вовсе не нужно, что я сам, пожалуй, выворочу

---

[144] Сноски: 144
огорчен необходимостью (*фр.*).

все карманы, без таких насильственных мер. К тому же, что могло быть у меня после полуторамесячного заключения?

— Знаем мы, — сказал, неподражаемо самодовольно, улыбаясь, офицер с аксельбантом, — знаем мы порядки частных домов.

Дежурный офицер тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтоб он только смотрел; я вынул все, что было.

— Высыпьте на стол ваш табак, — сказал офицер désolé[145].

У меня в кисете был перочинный ножик и карандаш, завернутые в бумажке; я с самого начала думал об них и, говоря с офицером, играл с кисетом до тех пор, пока ножик мне попал в руку, я держал его сквозь материю и смело высыпал табак на стол, жандарм снова его всыпал. Ножик и карандаш были спасены — вот жандарму с аксельбантом урок за его гордое пренебрежение к явной полиции.

Это происшествие расположило меня чрезвычайно хорошо, я весело стал рассматривать мои новые владения.

В монашеских кельях, построенных за триста

---

[145] Сноски: 145
огорченный (*фр.*).

лет и ушедших в землю, устроили несколько светских келий для политических арестантов.

В моей комнате стояла кровать без тюфяка, маленький столик, на нем кружка с водой, возле стул, в большом медном шандале горела тонкая сальная свеча. Сырость и холод проникали до костей; офицер велел затопить печь, потом все ушли. Солдат обещал принесть сена; пока, подложив шинель под голову, я лег на голую кровать и закурил трубку.

Через минуту я заметил, что потолок был покрыт прусскими тараканами. Они давно не видали свечи и бежали со всех сторон к освещенному месту, толкались, суетились, падали на стол и бегали потом опрометью взад и вперед по краю стола.

Я не любил тараканов, как вообще всяких незваных гостей; соседи мои показались мне страшно гадки, но делать было нечего — не начать же было жаловаться на тараканов, — и нервы покорились. Впрочем, дня через три все прусаки перебрались за загородку к солдату, у которого было теплее; иногда только забежит, бывало, один, другой таракан, поводит усами и тотчас назад — греться.

Сколько я ни просил жандарма, он печку все-та-

ки закрыл. Мне становилось не по себе, в голове кружилось, я хотел встать и постучать солдату; действительно встал, но этим и оканчивается все, что я помню…

…Когда я пришел в себя, я лежал на полу, голову ломило страшно. Высокий, седой жандарм стоял сложа руки и смотрел на меня бессмысленно-внимательно, в том роде, как в известных бронзовых статуэтках собака смотрит на черепаху.

— Славно угорели, ваше благородие, — сказал он, видя, что я очнулся. — Я вам хренку принес с солью и с квасом; я уж вам давал нюхать, теперь выпейте.

Я выпил, он поднял меня и положил на постель; мне было очень дурно, окно было с двойной рамой и без форточки; солдат ходил в канцелярию просить разрешения выйти на двор; дежурный офицер велел сказать, что ни полковника, ни адъютанта нет налицо, а что он на свою ответственность взять не может. Пришлось оставаться в угарной комнате.

Обжился я и в Крутицких казармах, спрягая итальянские глаголы и почитывая кой-какие книжонки. Сначала содержание было довольно строго. В девять часов вечера при последнем

звуке вестовой трубы солдат входил в комнату, тушил свечу и запирал дверь на замок. С девяти вечера до восьми следующего дня приходилось сидеть в потемках. Я никогда не спал много, в тюрьме без всякого движения мне за глаза было достаточно четырех часов сна — каково же наказание не иметь свечи? К тому же часовые с двух сторон коридора кричали каждые четверть часа протяжно и громко: «Слу-у-ушай!»

Через несколько недель полковник Семенов (брат знаменитой актрисы, впоследствии княгини Гагариной) позволил оставлять свечу, запретив, чтоб чем-нибудь завешивали окно, которое было ниже двора, так что часовой мог видеть все, что делается у арестанта, и не велел в коридоре кричать «Слушай».

Потом комендант разрешил нам иметь чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетом на том условии, чтоб все листы были целы. Гулять было дозволено раз в сутки на дворе, окруженном оградой и цепью часовых, в сопровождении солдата и дежурного офицера.

Жизнь шла однообразно, тихо, военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность вроде цезуры в стихах. Утром я варил с помощью жандарма в печке кофей; ча-

сов в десять являлся дежурный офицер, внося с собой несколько кубических футов мороза, гремя саблей, в перчатках с огромными обшлагами, в каске и шинели; в час жандарм приносил грязную салфетку и чашку супа, которую он держал всегда за края, так что два большие пальца были приметно чище остальных. Кормили нас сносно, но при этом не следует забывать, что за корм брали по два рубля ассигнациями в день, что в продолжение девятимесячного заключения составило довольно значительную сумму для неимущих. Отец одного арестанта просто сказал, что у него денег нет; ему хладнокровно ответили, что у него из жалованья вычтут. Если б он не получал жалованья, весьма вероятно, что его посадили бы в тюрьму.

В дополнение должно заметить, что в казармы присылалось для нашего прокормления полковнику Семенову один рубль пятьдесят копеек из ордонансгауза. Из этого было вышел шум, но пользовавшиеся этим плац-адъютанты задарили жандармский дивизион ложами на первые представления и бенефисы, тем дело и кончилось.

После вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солда-

та, хрустевшими по снегу перед самым окном, ни дальними окликами часовых. Обыкновенно я читал до часу и потом тушил свечу. Сон переносил на волю, иной раз впросоньях казалось: фу, какие тяжелые грезы приснились — тюрьма, жандармы, и радуешься, что все это сон, а тут вдруг прогремит сабля по коридору, или дежурный офицер отворит дверь, сопровождаемый солдатом с фонарем, или часовой прокричит нечеловечески «кто идет?», или труба под самым окном резкой «зарей» раздерет утренний воздух…

В скучные минуты, когда не хотелось читать, я толковал с жандармами, караулившими меня, особенно с стариком, лечившим меня от угара. Полковник в знак милости отряжает старых солдат, избавляя их от строю, на спокойную должность беречь запертого человека, над ними назначается ефрейтор — шпион и плут. Пять-шесть жандармов делали всю службу.

Старик, о котором идет речь, был существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которых, вероятно, ему не много даставалось в жизни. Он делал кампанию 1812 года, грудь его была покрыта медалями; срок свой он выслужил и остался по доброй воле, не зная, куда деться.

— Я два раза, — говорил он, — писал на родину в Могилевскую губернию, да ответа не было, видно, из моих никого больше нет; так оно как-то и жутко на родину прийти, побудешь-побудешь, да, как окаянный какой, и пойдешь куда глаза глядят Христа ради просить.

Какое варварское и безжалостное устройство военной службы в России, с ее чудовищным сроком! Личность человека у нас везде принесена на жертву без малейшей пощады, без всякого вознаграждения.

Старик Филимонов имел притязания на знание немецкого языка, которому обучался на зимних квартирах после взятия Парижа. Он очень удачно перекладывал на русские нравы немецкие слова: лошадь он называл *ферт*, яйца — *еры*, рыбу — *пиш*, овес — *обер*, блины — *панкухи*.

В его рассказах был характер наивности, наводивший на меня грусть и раздумье. В Молдавии, во время турецкой кампании 1805 года, он был в роте капитана, добрейшего в мире, который о каждом солдате, как о сыне, пекся и в деле был всегда впереди.

— Его приворожила к себе одна молдаванка; мы видим: наш ротный командир в заботе, а он, знаете, того, подметил, что молдаванка к дру-

гому офицеру похаживает. Вот раз позвал он меня и одного товарища — славного солдата, ему потом под Малым Ярославцем обе ноги оторвало — и стал нам говорить, как его молдаванка обидела и что хотим ли мы помочь ему и дать ей науку. «Отчего же, — говорим мы ему, — мы вашему высокоблагородию всегда ради стараться». Он поблагодарил да и указал дом, в котором жил офицер, и говорит: «Вы ночью станьте на мосту, она беспременно пойдет к нему, вы ее без шума возьмите да и в реку». — «Можно, мол, ваше высокоблагородие», — говорим мы ему да и припасли с товарищем мешочек; сидим-с; только едак к полночи бежит молдаванка; мы, знаете, говорим ей: «Что, мол, сударыня, торопитесь?» да и дали ей раз по голове; она, голубушка, не пикнула, мы ее в мешок — да и в реку. А капитан на другой день к офицеру пришел и говорит: «Вы не гневайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она, т. е., теперь в реке, а с вами, дескать, прогуляться можно на сабле или на пистолях, как угодно». Ну, и рубились. Тот нашему капитану грудь сильно прохватил, почах, сердечный, одначе месяца через три Богу душу и отдал.

— А молдаванка, — спросил я, — так и утонула?

— Утонула-с, — отвечал солдат.

Я с удивлением смотрел на детскую беспечность, с которой старый жандарм мне рассказывал эту историю. И он, как будто догадавшись или подумав в первый раз о ней, добавил, успокоивая меня и примиряясь с совестью:

— Язычница-с, все равно что некрещеная, такой народ.

Жандармам дают всякий царский день чарку водки. Вахмистр дозволял Филимонову отказываться раз пять-шесть от своей порции и получать разом все пять-шесть; Филимонов метил на деревянную бирку, сколько стаканчиков пропущено, и в самые большие праздники отправлялся за ними. Водку эту он выливал в миску, крошил в нее хлеб и ел ложкой. После такой закуски он закуривал большую трубку на крошечном чубучке, табак у него был крепости невероятной, он его сам крошил и вследствие этого остроумно называл «санкраше». Куря, он укладывался на небольшом окне, — стула в солдатской комнате не было, — согнувшись в три погибели, и пел песню:

Вышли девки на лужок,
Где муравка и цветок.

По мере того как он пьянел, он иначе произносил слово цветок — «тветок», «кветок», «хветок», дойдя до «хветок», он засыпал. Каково здоровье человека, с лишком шестидесяти лет, два раза раненного и который выносил такие завтраки!

Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандские картины à la Вуверман–Калло и эти тюремные сплетни, похожие на воспоминания всех в неволе заключенных, скажу еще несколько слов об офицерах.

Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпионы, а люди, случайно занесенные в жандармский дивизион. Молодые дворяне, мало или ничему не учившиеся, без состояния, не зная, куда преклонить главы, они были жандармами потому, что не нашли другого дела. Должность свою они исполняли со всею военной точностью, но я не замечал тени усердия — исключая, впрочем, адъютанта, — но зато он и был адъютантом.

Когда офицеры ознакомились со мной, они делали все маленькие льготы и облегчения, которые от них зависели, жаловаться на них было бы грешно.

Один молодой офицер рассказывал мне, что в 1831 году он был командирован отыскать и за-

хватить одного польского помещика, скрывавшегося в соседстве своего имения. Его обвиняли в сношениях с эмиссарами. Офицер отправился, по собранным сведениям он узнал место, где укрывался помещик, явился туда с командой, оцепил дом и взошел в него с двумя жандармами. Дом был пустой; походили они по комнатам, пошныряли — нигде никого, а, между прочим, некоторые безделицы явно показывали, что в доме недавно были жильцы. Оставя жандармов внизу, молодой человек второй раз пошел на чердак; осматривая внимательно, он увидел небольшую дверь, которая вела к чулану или к какой-нибудь каморке; дверь была заперта извнутри, он толкнул ее ногой, она отворилась — и высокая женщина, красивая собой, стояла перед ней; она молча указывала ему на мужчину, державшего в своих руках девочку лет двенадцати, почти без памяти. Это был он и его семья. Офицер смутился. Высокая женщина заметила это и спросила его:

— И вы будете иметь жестокость погубить их?

Офицер извинялся, говоря обычные пошлости о беспрекословном повиновении, о долге, и, наконец, в отчаянии, видя, что его слова нисколько не действуют, кончил свою речь вопросом:

— Что же мне делать?

Женщина гордо посмотрела на него и сказала, указывая рукой на дверь:

— Идти вниз и сказать, что здесь никого нет.

— Ей-богу, не знаю, — говорил офицер, — как это случилось и что со мной было, но я сошел с чердака и велел унтеру собрать команду. Через два часа мы его усердно искали в другом поместье, пока он пробирался за границу. Ну, женщина! Признаюсь!

…Ничего в мире не может быть ограниченнее и бесчеловечнее, как оптовые осуждения целых сословий по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названия — страшная вещь. Ж.-П. Рихтер говорит с чрезвычайной верностью: если дитя солжет, испугайте его дурным действием, скажите, что он солгал, но не говорите, что он — *лгун.* Вы разрушаете его нравственное доверие к себе, определяя его как лгуна. «Это — убийца», говорят нам, и нам тотчас кажется спрятанный кинжал, зверское выражение, черные замыслы, точно будто убивать — постоянное занятие, ремесло человека, которому случилось раз в жизни кого-нибудь убить. Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно

быть жандармским офицером — не утратив всего человеческого достоинства, так, как сплошь да рядом можно найти женственность, нежное сердце и даже благородство в несчастных жертвах «общественной невоздержности».

Я имею отвращение к людям, которые не умеют, не хотят или не дают себе труда идти далее названия, перешагнуть через преступление, через запутанное, ложное положение, целомудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это делают обыкновенно отвлеченные, сухие, себялюбивые, противные в своей чистоте натуры или натуры пошлые, низшие, которым еще не удалось или не было нужды заявить себя официально; они по сочувствию дома на грязном дне, на которое другие упали.

Глава XII

Следствие. – Голицын sen. – Голицын jun[146]*. – Генерал Стааль. – Сентенция. – Соколовский.*

---

[146] Сноски: 146
senior — старший, junior — младший (*лат.*).

...Но при всем этом что же *дело,* что же следствие и процесс?

В новой комиссии дело так же не шло на лад, как в старой. Полиция следила за нами давно, но, нетерпеливая, не могла в своем усердии дождаться дельного повода и сделала вздор. Она подослала отставного офицера Скарятку, чтоб нас завлечь, обличить; он познакомился почти со всем нашим кругом, но мы очень скоро угадали, что он такое, и удалили его от себя. Другие молодые люди, большею частью студенты, не были так осторожны, но эти *другие* не имели с нами никакой серьезной связи.

Один студент, окончивший курс, давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года. Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто *не был приглашен.* Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и между прочим спели хором известную песню Соколовского:

Русский император
В вечность отошел,
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет государство,
Плачет весь народ,

Едет к ним на царство
Константин урод.
Но царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.
Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая, –
С..... подлец.

Вечером Скарятка *вдруг* вспомнил, что это день его именин, рассказал историю, как он выгодно продал лошадь, и пригласил студентов к себе, обещая дюжину шампанского. Все поехали. Шампанское явилось, и хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского. Середь пения отворилась дверь, и взошел Цынский с полицией. Все это было грубо, глупо, неловко и притом неудачно.

Полиция хотела захватить *нас,* она искала внешний повод запутать в дело человек пять-шесть, до которых добиралась, — и захватила двадцать человек невинных.

Но русскую полицию трудно сконфузить. Через

две недели арестовали нас, как *соприкосновенных* к делу праздника. У Соколовского нашли письма С<атина>, у С<атина> — письма Огарева, у Огарева — мои, — тем не менее ничего не раскрывалось. Первое следствие не удалось. Для большего успеха второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, А. Ф. Голицына.

Порода эта у нас редка. К ней принадлежал известный начальник третьего отделения Мордвинов, виленский ректор Пеликан да несколько служилых остзейцев и падших поляков[147].

Но на беду инквизиции, первым членом был назначен московский комендант Стааль. Стааль — прямодушный воин, старый, храбрый генерал, разобрал дело и нашел, что оно состоит из двух обстоятельств, не имеющих ничего общего между собой: из дела о празднике, за который следует полицейски наказать, и из ареста людей, захваченных Бог знает почему, которых вся видимая вина в каких-то полувысказанных мнениях, за которые судить и трудно и смешно.

Мнение Стааля не понравилось Голицыну младшему. Спор их принял колкий характер;

---

[147] Сноски: 147

К вновь отличившимся талантам принадлежит известный Липранди, подавший проект об учреждении академии шпионства (1858).

старый воин вспыхнул от гнева, ударил своей саблей по полу и сказал:

— Вместо того чтоб губить людей, вы бы лучше сделали представление о закрытии всех школ и университетов, это предупредит других несчастных — а впрочем, вы можете делать что хотите, но делать без меня; нога моя не будет в комиссии.

С этими словами старик поспешно оставил залу.

В тот же день это было донесено государю.

Утром, когда комендант явился с рапортом, государь спросил его, зачем он не хочет ездить в комиссию? Стааль рассказал зачем.

— Что за вздор? — возразил император. — Ссориться с Голицыным, как не стыдно! Я надеюсь, что ты по-прежнему будешь в комиссии.

— Государь, — ответил Стааль, — пощадите мои седые волосы, я дожил до них без малейшего пятна. Мое усердие известно в. в., кровь моя, остаток дней принадлежат вам. Но тут дело идет о моей чести — моя совесть восстает против того, что делается в комиссии.

Государь сморщился, Стааль откланялся и в комиссии не был ни разу с тех пор.

Этот анекдот, которого верность не подлежит

ни малейшему сомнению, бросает большой свет на характер Николая. Как же ему не пришло в голову, что если человек, которому он не отказывает в уважении, храбрый воин, заслуженный старец, так упирается и так умоляет пощадить его честь, то, стало быть, дело не совсем чисто? Меньше нельзя было сделать, как потребовать налицо Голицына и велеть Стаалю при нем объяснить дело. Он этого не сделал, а велел нас строже содержать.

После него в комиссии остались одни враги подсудимых под председательством простенького старичка, князя С. М. Голицына, который через девять месяцев так же мало знал дело, как девять месяцев прежде его начала. Он хранил важно молчание, редко вступал в разговор и при окончании допроса всякий раз спрашивал:

— Его *мошно* отпустить?

— Можно, — отвечал Голицын junior, и senior, важно говорил арестанту:

— Ступайте!

Первый допрос мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двух родов. Одни имели целью раскрыть образ мыслей, «не свойственных духу правительства, мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона» — так

выражался Голицын junior и аудитор Оранский.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто; вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту: писал ли человек или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: «Как вы объясняете следующее место вашего письма?»

Разумеется, объяснять было нечего, я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном месте аудитор открыл фразу: «Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов». Когда мне пришлось объяснять эту фразу, я заметил, что я не вижу никакой обязанности защищать конституционное правительство и что, если б я его защищал, меня в этом обвинили бы.

— На конституционную форму можно нападать с двух сторон, — заметил своим нервным, шипящим голосом Голицын junior, — вы не с монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о *рабах*.

— В этом отношении я делю ошибку с императрицей Екатериной II, которая не велела своим

подданным зваться *рабами.*

Голицын junior, задыхаясь от злобы за этот иронический ответ, сказал мне:

— Вы, верно, думаете, что мы здесь собираемся для того, чтоб вести схоластические споры, что вы в университете защищаете диссертацию?

— Зачем же вы требуете объяснений?

— Вы делаете вид, будто не понимаете, чего от вас хотят.

— Не понимаю.

— Какая *у них у всех* упорность, — прибавил председатель Голицын senior, пожал плечами и взглянул на жандармского полковника Шубинского. Я улыбнулся.

— Точно Огарев, — довершил добрейший председатель.

Сделалась пауза. Комиссия собиралась в библиотеке князя Сергия Михайловича; я обернулся к шкафам и стал смотреть книги. Между прочим тут стояло многотомное издание записок герцога Сен-Симона.

— Вот, — сказал я, обращаясь к председателю, — какая несправедливость! Я под следствием за сен-симонизм, а у вас, князь, томов двадцать его сочинений!

Так как добряк отродясь ничего не читал, то

он и не нашелся, что отвечать. Но Голицын jun. взглянул на меня глазами ехидны и спросил:

— Что, вы не видите, что ли, что это записки герцога С.-Симона, который был при Людовике XIV?

Председатель улыбнулся, сделал мне знак головой, выражавший: «Что, брат, обмишурился?», и сказал:

— Ступайте.

Когда я был в дверях, председатель спросил:

— Ведь это он писал о Петре I, вот что вы мне показывали?

— Он, — отвечал Шубинский.

Я приостановился.

— Il a des moyens[148], — заметил председатель.

— Тем хуже. Яд в ловких руках опаснее, — прибавил инквизитор. — Превредный и совершенно неисправимый молодой человек…

Приговор мой лежал в этих словах.

À propos к Сен-Симону. Когда полицмейстер брал бумаги и книги у Огарева, он отложил том истории французской революции Тьера, потом нашел другой… третий… восьмой. Наконец он не вытерпел и сказал: «Господи! Какое

---

[148] Сноски: 148
Он не без способностей (*фр.*).

количество революционных книг… И вот еще!» — прибавил он, отдавая квартальному речь Кювье «Sur les révolutions du glode terrestre».

Другой порядок вопросов был запутаннее. В них употреблялись разные полицейские уловки и следственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противуречие. Тут делались намеки на показание других и разные нравственные пытки. Рассказывать их не стоит, довольно сказать, что между нами четырьмя, при всех своих уловках, они не могли натянуть *ни одной очной ставки.*

Получив последний вопрос, я сидел один в небольшой комнате, где мы писали. Вдруг отворилась дверь и взошел Голицын jun. с печальным и озабоченным видом.

— Я, — сказал он, — пришел поговорить с вами перед окончанием ваших показаний. Давнишняя связь моего покойного отца с вашим заставляет меня принимать в вас особенное участие. Вы молоды и можете еще сделать карьеру; для этого вам надобно выпутаться из дела… а это зависит, по счастию, от вас. Ваш отец очень принял к сердцу ваш арест и живет теперь надеждой, что вас выпустят; мы с князем Сергием Михайловичем сейчас говорили об этом и искренно готовы мно-

гое сделать; дайте нам средства помочь.

Я видел, куда шла его речь — кровь у меня бросилась в голову — я с досадой грыз перо.

Он продолжал:

— Вы идете прямо под белый ремень или в казематы, по дороге вы убьете отца, он дня не переживет, увидев вас в серой шинели.

Я хотел что-то сказать, но он перервал мои слова.

— Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у вас были замыслы против правительства, это очевидно. Для того чтоб обратить на вас монаршую милость, нам надобны доказательства вашего раскаяния. Вы запираетесь во всем, уклоняетесь от ответов и из ложного чувства чести бережете людей, о которых мы знаем больше, чем вы, *и которые не были так скромны, как вы*[149]; вы им не поможете, а они вас стащат с собой в пропасть. Напишите письмо в комиссию, просто, откровенно, скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лет, *назовите* несчастных заблудших людей, которые вовлекли вас… Хотите ли вы этой легкой ценой искупить вашу будущность?

---

[149] Сноски: 149

Нужно ли говорить, что это была наглая ложь, пошлая полицейская уловка.

и жизнь вашего отца?

— Я ничего не знаю и не прибавлю к моим показаниям ни слова, — ответил я.

Голицын встал и сказал сухим голосом:

— А, так вы не хотите, — не наша вина!

Этим заключились допросы.

В январе или феврале 1835 года я был в последний раз в комиссии. Меня призвали перечитать мои ответы, добавить, если хочу, и подписать. Один Шубинский был налицо. Окончив чтение, я сказал ему:

— Хотелось бы мне знать, в чем можно обвинить человека по этим вопросам и по этим ответам? Под какую статью Свода вы подведете меня?

– *Свод законов назначен для преступлений другого рода,* — заметил голубой полковник.

— Это дело иное. Перечитывая все эти литературные упражнения, я не могу поверить, что в этом-то все *дело,* по которому я сижу в тюрьме седьмой месяц.

— Да вы, в самом деле, воображаете, — возразил Шубинский, — что мы так и поверили вам, что у вас не *составлялось* тайного общества?

— Где же это общество? — спросил я.

— Ваше счастие, что следов не нашли, что вы

не успели ничего наделать. Мы вовремя вас остановили, т. е., просто сказать, мы спасли вас.

Опять история слесарши Пошлепкиной и ее мужа в «Ревизоре».

Когда я подписал, Шубинский позвонил и велел позвать священника. Священник взошел и подписал под моей подписью, что все показания мною сделаны были добровольно и без всякого насилия. Само собою разумеется, что он не был при допросах и что даже не спросил меня из приличия, как и что было (а это опять мой добросовестный за воротами!).

По окончании следствия тюремное заключение несколько ослабили. Близкие родные могли доставать в ордонансгаузе дозволение видеться. Так прошли еще два месяца.

В половине марта приговор наш был утвержден; никто не знал его содержания; одни говорили, что нас посылают на Кавказ, другие — что нас свезут в Бобруйск, третьи надеялись, что всех выпустят (таково было мнение Стааля, посланное им особо государю; он предлагал вменить нам тюремное заключение в наказание).

Наконец нас собрали всех двадцатого марта к князю Голицыну для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись

в первый раз после ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех; расспросам, анекдотам не было конца.

Соколовский был налицо, несколько похудевший и бледный, но во всем блеске своего юмора.

Соколовский, автор «Мироздания», «Хевери» и других довольно хороших стихотворений, имел от природы большой поэтический талант, но не довольно дико самобытный, чтоб обойтись без развития, и не довольно образованный, чтоб развиться. Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые минуты, bon vivant[150], любивший покутить — как мы все… может, немного больше.

Попавшись невзначай с оргий в тюрьму, Соколовский превосходно себя вел, он вырос в остроге. Аудитор комиссии, педант, пиетист, сыщик, похудевший, поседевший в зависти, стяжании и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии понимать

---

[150] Сноски: 150
любивший хорошо пожить (*фр.*).

грамматического смысла последних двух стихов:

— К кому относятся дерзкие слова в конце песни?

— Будьте уверены, — сказал Соколовский, — что не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту *облегчающую* причину.

Аудитор пожал плечами, возвел глаза горé и, долго, молча посмотрев на Соколовского, понюхал табаку.

Соколовского схватили в Петербурге и, не сказавши, куда его повезут, отправили в Москву. Подобные шутки полиция у нас делает часто и совершенно бесполезно. Это ее поэзия. Нет на свете такого прозаического, такого отвратительного занятия, которое бы не имело своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшений. Соколовского привезли прямо в острог и посадили в какой-то темный чулан. Почему его посадили в острог, когда нас содержали по казармам?

У него было с собой две-три рубашки и больше ничего. В Англии всякого колодника, приводимого в тюрьму, тотчас по приходе сажают в ванну, у нас берут предварительные меры против чистоты.

Если б доктор Гааз не прислал Соколовскому связку своего белья, он зарос бы в грязи.

Доктор Гааз был преоригинальный чудак. Память об этом *юродивом и поврежденном* не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов, описывающих добродетели первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде гниения тела.

Старый, худощавый, восковой старичок, в черном фраке, коротеньких панталонах, в черных шелковых чулках и башмаках с пряжками, казался только что вышедшим из какой-нибудь драмы XVIII столетия. В этом grand gala[151] похорон и свадеб и в приятном климате 59° сев. шир. Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора тюремных заведений он имел доступ к ним, он ездил их осматривать и всегда привозил с собой корзину всякой всячины, съестных припасов и разных лакомств — грецких орехов, пряников, апельсинов и яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодование *благотворительных* дам, боящихся благотворением сделать удовольствие, боящихся больше благотворить, чем нужно, чтоб спасти от голодной смерти и трескучих морозов.

Но Гааз был несговорчив и, кротко выслушивая упреки за «глупое баловство преступниц», поти-

---

[151] Сноски: 151
парадном костюме (*фр.*).

рал себе руки и говорил:

— Извольте видеть, милостивый сударинь, кусок клеба, крош им всякой дает, а конфекту или апфельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать[152] из ваших слов; потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится.

Гааз жил в больнице. Приходит к нему перед обедом какой-то больной посоветоваться. Гааз осмотрел его и пошел в кабинет что-то прописать. Возвратившись, он не нашел ни больного, ни серебряных приборов, лежавших на столе. Гааз позвал сторожа и спросил, не входил ли кто, кроме больного? Сторож смекнул дело, бросился вон и через минуту возвратился с ложками и пациентом, которого он остановил с помощию другого больничного солдата. Мошенник бросился в ноги доктору и просил помилования. Гааз сконфузился.

— Сходи за квартальным, — сказал он одному из сторожей. — А ты позови сейчас писаря.

Сторожа, довольные открытием, победой и вообще участием в деле, бросились вон, а Гааз, пользуясь их отсутствием, сказал вору:

---

[152] Сноски: 152
вывести (*фр.* conséquence).

— Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит… а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились… Да постой, может, у тебя нет ни гроша, — вот полтинник; но старайся исправить свою душу — от Бога не уйдешь, как от будочника!

Тут восстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый доктор толковал свое:

— Воровство — большой порок; но я знаю полицию, я знаю, как они истязают, — будут допрашивать, будут сечь; подвергнуть ближнего розгам гораздо больший порок; да и почем знать — может, мой поступок тронет его душу!

Домочадцы качали головой и говорили: «Er hat einen Raptus»[153]; благотворительные дамы говорили: «C'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle là»[154], и они указывали на лоб. А Гааз потирал руки и делал свое.

…Едва Соколовский кончил свои анекдоты, как несколько других разом начали свои; точно все мы возвратились после долгого путешествия — расспросам, шуткам, остротам не было

---

[153] Сноски: 153

«Он — человек с причудами» (*нем.*).

[154] Сноски: 154

«Это человек хороший, но тут вот у него не все в порядке» (*фр.*).

конца.

Физически С<атин> пострадал больше других, он был худ и лишился части волос. Узнав в Тамбовской губернии, в деревне у своей матери, что нас схватили, он сам поехал в Москву, чтоб приезд жандармов не испугал мать, простудился на дороге и приехал домой в горячке. Полиция его застала в постели, вести в часть было невозможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальной с внутренней стороны полицейского солдата и *братом милосердия* посадили у постели больного квартального надзирателя; так что, приходя в себя после бреда, он встречал *слушающий* взгляд одного или испитую рожу другого.

В начале зимы его перевезли в Лефортовский гошпиталь; оказалось, что в больнице не было ни одной пустой *секретной* арестантской комнаты; за такой безделицей останавливаться не стоило: нашелся какой-то отгороженный угол *без печи,* — положили больного в эту южную веранду и поставили к нему часового. Какова была температура зимой в каменном чулане, можно понять из того, что часовой ночью до того изнемог от стужи, что пошел в коридор погреться к печи, прося С<атина> не говорить об этом дежурному.

Тропическое помещение показалось самим властям гошпиталя в такой близости к полюсу невозможным; С<атина> перевели в комнату, возле которой оттирали замерзлых.

Не успели мы пересказать и переслушать половину похождений, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно — и маленький князь Сергий Михайлович Голицын взошел en grande tenue[155], лента через плечо; Цынский — в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светло-зеленый статско-военный мундир для такой радости. Комендант, разумеется, не приехал.

Шум и смех между тем до того возрастали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное *неуважение* к высочайшей воле, которую мы должны услышать.

Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела; в первом были: Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев; во втором были мы; в третьем tutti frutti[156].

---

[155] Сноски: 155
в парадной форме (*фр.*).

[156] Сноски: 156
все прочие (*ит.*).

Приговор прочли особо первой категории — он был ужасен: обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлюссельбург на *бессрочное время.*

Все трое выслушали геройски этот дикий приговор.

Когда Оранский, мямля для важности, с расстановкой читал, что за оскорбление величества и августейшей фамилии следует то и то..., Соколовский ему заметил:

— Ну, фамильи-то я никогда не оскорблял.

У него в бумагах, сверх стихов, нашли шутя несколько раз писанные под руку вел. кн. Михаила Павловича резолюции с намеренными орфографическими ошибками, напр.: «утвѣрждаю», «пѣреговорить», «доложить мне» и пр., и эти ошибки способствовали к обвинению его.

Цынский, чтоб показать, что и он может быть развязным и любезным человеком, сказал Соколовскому после сентенции:

— А вы прежде в Шлюссельбурге бывали?

— В прошлом году, — отвечал ему тотчас Соколовский, — точно сердце чувствовало, я там выпил бутылку мадеры.

Через два года Уткин умер в каземате. Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ,

он умер в Пятигорске. Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком.

Уткин, «вольный художник, содержащийся в остроге», как он подписывался под допросами, был человек лет сорока; он никогда не участвовал ни в каком политическом деле, но, благородный и порывистый, он давал волю языку в комиссии, был резок и груб с членами. Его за это *уморили* в сыром каземате, в котором вода текла со стен.

Ибаев был виноватее других только эполетами. Не будь он офицер, его никогда бы так не наказали. Человек этот попал на *какую-то* пирушку, вероятно, пил и пел, как все прочие, но наверное не более и не громче других.

Пришел наш черед. Оранский протер очки, откашлянул и принялся благоговейно возвещать высочайшую волю. В ней было *изображено*, что государь, рассмотрев доклад комиссии и взяв в особенное внимание молодые лета преступников, *повелел под суд нас не отдавать*, а объявить нам, что по закону следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении величества пением возмутительных песен, лишить живота, а в силу других законов сослать на вечную каторжную

работу. Вместо чего государь, в беспредельном милосердии своем, большую часть виновных прощает, оставляя их на месте жительства под надзором полиции. Более же виноватых повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоящим в отправлении их на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства.

Этих более виновных нашлось шестеро: Огарев, С<атин>, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я. Я назначался в Пермь. В числе осужденных был Лахтин, который вовсе не был арестован. Когда его позвали в комиссию слушать сентенцию, он думал, что это для страха, для того чтоб он казнился, глядя, как других наказывают. Рассказывали, что кто-то из близких князя Голицына, сердясь на его жену, удружил ему этим сюрпризом. Слабый здоровьем, он года через три умер в ссылке.

Когда Оранский окончил чтение, выступил полковник Шубинский. Он отборными словами и ломоносовским слогом объявил нам, что мы обязаны предстательству того благородного вельможи, который председательствовал в комиссии, что государь был так милосерд.

Шубинский ждал, что при этом слове все при-

мутся благодарить князя; но вышло не так.

Несколько из прощенных кивнули головой, да и то украдкой глядя на нас.

Мы стояли сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронуто царской и княжеской милостью.

Тогда Шубинский выдумал другую уловку и, обращаясь к Огареву, сказал:

— Вы едете в Пензу, неужели вы думаете, что это случайно? В Пензе лежит в параличе ваш отец — князь просил государя вам назначить этот город для того, чтоб ваше присутствие сколько-нибудь ему облегчило удар вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?

Делать было нечего, Огарев слегка поклонился. Вот из чего они бились.

Добренькому старику это понравилось, и он, не знаю почему, вслед за тем позвал меня. Я вышел вперед с святейшим намерением, что бы он и Шубинский ни говорили, не благодарить; к тому же меня посылали дальше всех и в самый скверный город.

— А вы едете в Пермь, — сказал князь.

Я молчал. Князь срезался и, чтоб что-нибудь сказать, прибавил:

— У меня там есть имение.

— Вам угодно что-нибудь поручить через меня вашему старосте? — спросил я, улыбаясь.

— Я таким людям, как вы, ничего не поручаю — *карбонариям,* — добавил находчивый князь.

— Что же вы желаете от меня?

— Ничего.

— Мне показалось, что вы меня позвали.

— Вы можете идти, — перервал Шубинский.

— Позвольте, — возразил я, — благо я здесь, вам напомнить, что вы, полковник, мне говорили, когда я был в последний раз в комиссии, что меня никто не обвиняет в деле праздника, а в приговоре сказано, что я — один из виновных по этому делу. Тут какая-нибудь ошибка.

— Вы хотите возражать на высочайшее решение? — заметил Шубинский. — Смотрите, как бы Пермь не переменилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать.

— Я об этом хотел просить. В приговоре сказано: по докладу комиссии, я возражаю на ваш доклад, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мне не было даже вопроса ни о празднике, ни о каких песнях.

— Как будто вы не знаете, — сказал Шубинский, начинавший бледнеть от злобы, — что

ваша вина вдесятеро больше тех, которые были на празднике. Вот, — он указал пальцем на одного из прощенных, — вот он под пьяную руку спел мерзость, да после на коленках со слезами просил прощения. Ну, вы еще от всякого раскаяния далеки.

Господин, на которого указал полковник, промолчал и понурил голову, побагровев в лице… Урок был хорош. Вот и делай после подлости…

— Позвольте, не о том речь, — продолжал я, — велика ли моя вина или нет; но если я убийца, я не хочу, чтоб меня считали вором. Я не хочу, чтоб обо мне, даже оправдывая меня, сказали, что я то-то наделал «под пьяную руку», как вы сейчас выразились.

— Если б у меня был сын, родной сын, с такой закоснелостью, я бы сам попросил государя сослать его в Сибирь.

Тут обер-полицмейстер вмешал в разговор какой-то бессвязный вздор. Жаль, что не было меньшого Голицына, — вот был бы случай поораторствовать.

Все это, разумеется, окончилось ничем.

Лахтин подошел к князю Голицыну и просил отложить отъезд.

— Моя жена беременна, — сказал он.

— В этом я не виноват, — отвечал Голицын.

Зверь, бешеная собака, когда кусается, делает серьезный вид, поджимает хвост, а этот юродивый вельможа, аристократ, да притом с славой доброго человека… не постыдился этой подлой шутки.

…Мы остановились еще раз на четверть часа в зале, вопреки ревностным увещеваниям жандармских и полицейских офицеров, крепко обнялись мы друг с другом и простились надолго. Кроме Оболенского, я никого не видел до возвращения из Вятки.

Отъезд был перед нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но с отъездом в глушь она обрывалась.

Юношеское существование в нашем дружеском кружке оканчивалось.

Ссылка продолжится наверное несколько лет. Где и как встретимся мы, и встретимся ли.

Жаль было прежней жизни, и так круто приходилось ее оставить… не простясь. Видеть Огарева я не имел надежды. Двое из друзей добрались ко мне в последние дни, но этого мне было мало.

Еще бы раз увидеть мою юную утешительницу, пожать ей руку, как я пожал ей на кладбище… В ее лице хотел я проститься с былым и встре-

титься с будущим…

Мы увиделись на несколько минут, 9 апреля 1835 года, накануне моего отправления в ссылку.

Долго святил я этот день в моей памяти, это — одно из счастливейших мгновений в моей жизни.

…Зачем же воспоминание об этом дне и обо всех светлых днях моего былого напоминает так много страшного?.. Могилу, венок из темно-красных роз, двух детей, которых я держал за руки, — факелы, толпу изгнанников, месяц, теплое море под горой, речь, которую я не понимал и которая резала мое сердце…

Все прошло!

Глава XIII

Ссылка. – Городничий. – Волга. – Пермь.

Утром 10 апреля жандармский офицер привез меня в дом генерал-губернатора. Там, в секретном отделении канцелярии, позволено было родственникам проститься со мною.

Разумеется, все это было неловко и щемило душу — шныряющие шпионы, писаря, чтение

инструкции жандарму, который должен был меня везти, невозможность сказать что-нибудь без свидетелей, — словом, оскорбительнее и печальнее обстановки нельзя было придумать.

Я вздохнул, когда коляска покатилась, наконец, по Владимирке.

Per me si va nella citta dolente,
Per me si va nel eterno dolore…[157]

На станции где-то я написал эти два стиха, которые равно хорошо идут к преддверию ада и к сибирскому тракту.

В семи верстах от Москвы есть трактир, называемый «Перовым». Там меня обещался ждать один из близких друзей. Я предложил жандарму выпить водки, он согласился: от городу было далеко. Мы взошли, но приятеля там не было. Я мешкал в трактире всеми способами, жандарм не хотел больше ждать, ямщик трогал коней — вдруг несется тройка и прямо к трактиру, я бросился к двери… двое незнакомых гуляющих купеческих сынков шумно слезали с телеги. Я посмотрел вдаль — ни одной движущейся точки, ни одного человека не было видно на дороге к Москве…

---

[157] Сноски: 157

Через меня идут в город скорби, через меня идут на вечную муку (*ит.*).

Горько садиться и ехать. Я дал двугривенный ямщику, и мы понеслись, как из лука стрела.

Мы ехали не останавливаясь; жандарму велено было делать не менее двухсот верст в сутки. Это было бы сносно, но только не в начале апреля. Дорога местами была покрыта льдом, местами водой и грязью; притом, подвигаясь к Сибири, она становилась хуже и хуже с каждой станцией.

Первый путевой анекдот был в Покрове.

Мы потеряли несколько часов за льдом, который шел по реке, прерывая все сношения с другим берегом. Жандарм торопился; вдруг станционный смотритель в Покрове объявляет, что лошадей нет. Жандарм показывает, что в подорожной сказано: «Давать из курьерских, если нет почтовых». Смотритель отзывается, что лошади взяты под товарища министра внутренних дел. Как разумеется, жандарм стал спорить, шуметь; смотритель побежал доставать обывательских лошадей. Жандарм отправился с ним.

Надоело мне дожидаться их в нечистой комнате станционного смотрителя. Я вышел за ворота и стал ходить перед домом. Это была первая прогулка без солдата после девятимесячного заключения.

Я ходил с полчаса, как вдруг повстречался мне

человек в мундирном сертуке без эполет и с голубым pour le mérite[158] на шее. Он с чрезвычайной настойчивостью посмотрел на меня, прошел, тотчас возвратился и с дерзким видом спросил меня:

— Вас везет жандарм в Пермь?

— Меня, — отвечал я, не останавливаясь.

— Позвольте, позвольте, да как же он смеет…

— С кем я имею честь говорить?

— Я здешний городничий, — ответил незнакомец голосом, в котором звучало глубокое сознание высоты такого общественного положения. — Прошу покорно, я с часу на час жду товарища министра — а тут политические арестанты по улицам прогуливаются. Да что же это за осел жандарм!

— Не угодно ли вам адресоваться к самому жандарму?

— Не адресоваться, а я его арестую, я ему велю влепить сто палок, а вас отправлю с полицейским.

Я кивнул ему головой, не дожидаясь окончания речи, и быстрыми шагами пошел в станционный дом. В окно мне было слышно, как он горячился

---

[158] Сноски: 158
орденской лентой (*фр.*).

с жандармом, как грозил ему. Жандарм извинялся, но, кажется, мало был испуган. Минуты через три они взошли оба, я сидел, обернувшись к окну, и не смотрел на них.

Из вопросов городничего жандарму я тотчас увидел, что он снедаем желанием узнать, за какое дело, почему и как я сослан. Я упорно молчал. Городничий начал безличную речь между мною и жандармом:

— В наше положение никто не хочет взойти. Что, мне весело, что ли, браниться с солдатом или делать неприятности человеку, которого я отродясь не видал? Ответственность! Городничий — хозяин города. Что бы ни было, отвечай: казначейство обокрадут — виноват; церковь сгорела — виноват; пьяных много на улице — виноват; вина мало пьют — тоже виноват (последнее замечание ему очень понравилось, и он продолжал более веселым тоном); хорошо, вы меня встретили, — ну, встретили бы министра да тоже бы эдак мимо, а тот спросил бы: «Как, политический арестант гуляет? — городничего под суд…»

Мне, наконец, надоело его красноречие, и я, обращаясь к нему, сказал:

— Делайте все, что вам приказывает служ-

ба, но я вас прошу избавить меня от поучений. Из ваших слов я вижу, что вы ждали, чтоб я вам поклонился. Я не имею привычки кланяться незнакомым.

Городничий сконфузился.

«У нас всё так, — говаривал А. А., — кто первый даст острастку, начнет кричать, тот и одержит верх. Если, говоря с начальником, вы ему позволите поднять голос, вы пропали; услышав себя кричащим, он сделается дикий зверь. Если же при первом грубом слове вы закричали, он непременно испугается и уступит, думая, что вы с характером и что таких людей не надобно слишком дразнить».

Городничий услал жандарма спросить, что́ лошади, и, обращаясь ко мне, заметил вроде извинения:

— Я это больше для солдата и сделал, вы не знаете, что такое наш солдат, — ни малейшего попущения не следует допускать, но поверьте, я умею различать людей — позвольте вас спросить, какой несчастный случай…

— По окончании дела нам запретили рассказывать.

— В таком случае… конечно… я не смею… — и взгляд городничего выразил муку любопытства.

Он помолчал.

— У меня был родственник дальний, он сидел с год в Петропавловской крепости, знаете, тоже, сношения — позвольте, у меня это на душе, вы, кажется, все еще сердитесь? Я человек военный, строгий, привык; по семнадцатому году поступил в полк, у меня нрав горячий, но через минуту все прошло. Я вашего жандарма оставлю в покое, черт с ним совсем…

Жандарм взошел с докладом, что ранее часа лошадей нельзя пригнать с выгона.

Городничий объявил ему, что он прощает его по моему ходатайству; потом, обращаясь ко мне, прибавил:

— И вы уж не откажите в моей просьбе, и в доказательство, что не сердитесь, — я живу через два дома отсюда, — позвольте вас просить позавтракать чем Бог послал.

Это было так смешно после нашей встречи, что я пошел к городничему и ел его балык и его икру, и пил его водку и мадеру.

Он до того разлюбезничался, что рассказал мне все свои семейные дела, даже семилетнюю болезнь жены. После завтрака он с гордым удовольствием взял с вазы, стоявшей на столе, письмо и дал мне прочесть «стихотворение» его

сына, удостоенное публичного чтения на экзамене в кадетском корпусе. Одолжив меня такими знаками несомненного доверия, он ловко перешел к вопросу, косвенно поставленному, о моем деле. На этот раз я долею удовлетворил городничего.

Городничий этот напомнил мне того секретаря уездного суда, о котором рассказывал наш Щ<епкин>. «Девять исправников переменились, а секретарь остался бессменно и управлял по-прежнему уездом.

— Как это вы ладите со всеми? — спросил его Щ<епкин>.

— Ничего-с, с Божией помощью обходимся кой-как. Иной точно, сначала такой сердитый, бьет передними и задними ногами, кричит, ругается; и в отставку, говорит, выгоню и в губернию, говорит, отпишу — ну, знаете, наше дело подчиненное, смолчишь и думаешь: дай срок, надорвется еще! Так это, — еще первая упряжка. И, действительно, глядишь, — куда потом *в езде хорош».*

…Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всем блеске весеннего разлива; целую станцию от Услона до Казани надобно было плыть на дощанике — река разливалась верст на пятна-

дцать или больше. День был ненастный. Перевоз остановился, множество телег и всяких повозок ждали на берегу.

Жандарм пошел к смотрителю и требовал дощаника. Смотритель давал его нехотя, говорил, что, впрочем, лучше обождать, что неровен час. Жандарм торопился, потому что был пьян, потому что хотел показать свою власть.

Уставили мою коляску на небольшом дощанике, и мы поплыли. Погода, казалось, утихла; татарин через полчаса поднял парус, как вдруг утихавшая буря снова усилилась. Нас понесло с такой силой, что, нагнав какое-то бревно, мы так в него стукнулись, что дрянной порой проломился, и вода разлилась по палубе. Положение было неприятное; впрочем, татарин сумел направить дощаник на мель.

Купеческая барка прошла в виду; мы ей кричали, просили прислать лодку; бурлаки слышали и проплыли, не сделав ничего.

Крестьянин подъехал на небольшой комяге с женой, спросил нас, в чем дело, и, заметив: «Ну, что же? Ну, заткнуть дыру, да благословясь и в путь. Что тут киснуть? Ты вот для того, что татарин, так ничего и не умеешь сделать», — взошел на дощаник.

Татарин в самом деле был очень встревожен. Во-первых, когда вода залила спящего жандарма, тот вскочил и тотчас начал бить татарина. Во-вторых, дощаник был казенный, и татарин повторял:

— Ну, вот потонет, что мне будет! что мне будет!

Я его утешал, говоря, что и он тогда с дощаником потонет.

— Харошо, бачка, коли потону, а как нет? — отвечал он.

Мужик и работники заткнули дыру всякой всячиной; мужик постучал топором, прибил какую-то дощечку; потом, по пояс в воде, помог другим стащить дощаник с мели, и мы скоро вплыли в русло Волги. Река несла свирепо. Ветер и дождь со снегом секли лицо, холод проникал до костей, но вскоре стал вырезываться из-за тумана и потоков воды памятник Иоанна Грозного. Казалось, опасность прошла, как вдруг татарин жалобным голосом закричал: «Тече, тече!» — и действительно, вода с силой вливалась в заткнутую дыру. Мы были на самом стрежне реки, дощаник двигался тише и тише, можно было предвидеть, когда он совсем погрузнет. Татарин снял шапку и молился. Мой камердинер,

растерянный, плакал и говорил:

— Прощай, моя матушка, не увижусь я с тобой больше.

Жандарм бранился и обещался на берегу всех исколотить.

Сначала и мне было жутко, к тому же ветер с дождем прибавлял какой-то беспорядок, смятение. Но мысль, что это нелепо, чтоб я мог погибнуть, *ничего не сделав,* это юношеское «Quid timeas? Caesarem vehis!»[159] взяло верх, и я спокойно ждал конца, уверенный, что не погибну между Услоном и Казанью. Жизнь впоследствии отучает от гордой веры, наказывает за нее; оттого-то юность и отважна и полна героизма, а в летах человек осторожен и редко увлекается.

…Через четверть часа мы были на берегу подле стен казанского кремля, передрогнувшие и вымоченные. Я взошел в первый кабак, выпил стакан пенного вина, закусил печеным яйцом и отправился в почтамт.

В деревнях и маленьких городках у станционных смотрителей есть комната для проезжих. В больших городах все останавливаются в гостиницах, и у смотрителей нет ничего для проезжа-

---

[159] Сноски: 159
«Чего ты боишься? Ты везешь Цезаря!» (*лат.*)

ющих. Меня привели в почтовую канцелярию. Станционный смотритель показал мне свою комнату; в ней были дети и женщины, больной старик не сходил с постели, — мне решительно не было угла переодеться. Я написал письмо к жандармскому генералу и просил его отвести комнату где-нибудь, для того чтоб обогреться и высушить платье.

Через час времени жандарм воротился и сказал, что граф Апраксин велел отвести комнату. Подождал я часа два, никто не приходил, и я опять отправил жандарма. Он пришел с ответом, что полковник Поль, которому генерал приказал отвести мне квартиру, в дворянском клубе играет в карты и что квартиры до завтра отвести нельзя.

Это было варварство, и я написал второе письмо к графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на следующей станции могу найти приют. Граф изволил почивать, и письмо осталось до утра. Нечего было делать; я снял мокрое платье и лег на столе почтовой конторы, завернувшись в шинель «старшого»; вместо подушки я взял толстую книгу и положил на нее немного белья.

Утром я послал принести себе завтрак. Чинов-

ники уже собирались. Экзекутор ставил мне на вид, что, в сущности, завтракать в присутственном месте нехорошо, что ему лично это все равно, но что почтмейстеру это может не понравиться.

Я шутя говорил ему, что выгнать можно только того, кто имеет право выйти, а кто не имеет его, тому поневоле приходится есть и пить там, где он задержан…

На другой день граф Апраксин разрешил мне остаться до трех дней в Казани и остановиться в гостинице.

Три дня эти я бродил с жандармом по городу. Татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с православными церквами — все это напоминает Азию и Восток. В Владимире, Нижнем подозревается близость к Москве, здесь — даль от нее.

…В Перми меня привезли прямо к губернатору. У него был большой съезд: в этот день венчали его дочь с каким-то офицером. Он требовал, чтоб я взошел, и я должен был представиться всему пермскому обществу в замаранном дорожном архалуке, в грязи и пыли. Губернатор, потолковав всякий вздор, запретил мне знакомиться с сосланными поляками и велел на днях прийти

к нему, говоря, что он тогда сыщет мне занятие в канцелярии.

Губернатор этот был из малороссиян, сосланных не теснил и вообще был человек смирный. Он как-то втихомолку улучшал свое состояние; как крот, где-то под землею, незаметно, он прибавлял зерно к зерну и отложил-таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятного контроля и порядка он приказывал всем сосланным на житье в Пермь являться к себе в десять часов утра по субботам. Он выходил с трубкой и с листом, поверял, все ли налицо, а если кого не было, посылал квартального узнавать о причине, ничего почти ни с кем не говорил и отпускал. Таким образом я в его зале перезнакомился со всеми поляками, с которыми он предупреждал, чтоб я не был знаком.

На другой день после моего приезда уехал жандарм, и я впервые после ареста очутился на воле.

На воле… в маленьком городе на сибирской границе, без малейшей опытности, не имея понятия о среде, в которой мне надобно было жить.

Из детской я перешел в аудиторию, из аудитории — в дружеский кружок, — теории, мечты, свои люди, никаких деловых отношений. Потом тюрьма, чтоб дать всему осесться. Практическое

соприкосновение с жизнью начиналось тут — возле Уральского хребта.

Она тотчас заявила себя; на другой день после приезда я пошел с сторожем губернаторской канцелярии искать квартиру; он меня привел в большой одноэтажный дом. Сколько я ему ни толковал, что я ищу дом очень маленький и, еще лучше, часть дома, он упорно требовал, чтоб я взошел.

Хозяйка усадила меня на диван; узнав, что я из Москвы, спросила — видел ли я в Москве г. Кабрита. Я ей сказал, что никогда и фамилии подобной не слыхал.

— Что ты это, — заметила старушка, — Кабрит-то? — и она назвала его по имени и по отчеству. — Помилуй, батюшка, он у нас вист-то губернатором.

— Да я девять месяцев в тюрьме сидел, может, потому не слыхал, — сказал я, улыбаясь.

– *Пожалуй,* что и так. Так ты, батюшка, домик нанимаешь?

— Велик, больно велик, я служивому-то говорил.

— Лишнее добро за плечами не висит.

— Оно так, но за лишнее добро вы попросите и денег побольше.

— Ах, отец родной, да кто же это тебе о моих ценах говорил, я и не молвила еще.

— Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой дом.

— Даешь-то ты сколько?

Чтоб отделаться от нее, я сказал, что больше трехсот пятидесяти рублей (ассигнациями) не дам.

— Ну, и на том спасибо; вели-ка, голубчик мой, чемоданчики-то перенести да выпей тенерифу рюмочку.

Цена ее мне показалась баснословно дешевой, я взял дом, и, когда совсем собрался идти, она меня остановила.

— Забыла тебя спросить: а что коровку свою станешь держать?

— Нет, помилуйте, — отвечал я, до оскорбления пораженный ее вопросом.

— Ну, так я буду тебе сливочек приносить.

Я пошел домой, думая с ужасом, где я и что я, что меня заподозрили в возможности держать свою коровку.

Но я еще не успел оглядеться, как губернатор мне объявил, что я переведен в Вятку, потому что другой сосланный, назначенный в Вятку, просил его перевести в Пермь, где у него были

родственники. Губернатор хотел, чтоб я ехал на другой же день. Это было невозможно; думая остаться несколько времени в Перми, я накупил всякой всячины, надобно было продать хоть за полцены. После разных уклончивых ответов губернатор разрешил мне остаться двое суток, взяв слово, что я не буду искать случая увидеться с другим сосланным.

Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянь, как вдруг явился полицмейстер с приказом выехать в продолжение двадцати четырех часов. Я объяснил ему, что губернатор дал мне отсрочку. Полицмейстер показал бумагу, в которой, действительно, было ему предписано выпроводить меня в двадцать четыре часа. Бумага была подписана в самый тот день, следовательно, после разговора со мною.

— А, — сказал полицмейстер, — понимаю, понимаю: это наш герой-то хочет оставить дело на моей ответственности.

— Поедемте его уличать.

— Поедемте!

Губернатор сказал, что он забыл разрешение, данное мне. Полицмейстер лукаво спросил, не прикажет ли он переписать бумагу.

— Стоит ли труда! — прибавил простодушно

губернатор.

— Поймали, — сказал мне полицмейстер, потирая от удовольствия руки… — Чернильная душа!

Пермский полицмейстер принадлежал к особому типу военно-гражданских чиновников. Это люди, которым посчастливилось в военной службе как-нибудь наткнуться на штык или подвернуться под пулю, за это им даются преимущественно места городничих, экзекуторов.

В полку они привыкли к некоторым замашкам откровенности, затвердили разные сентенции о неприкосновенности чести, о благородстве, язвительные насмешки над писарями. Младшие из них читали Марлинского и Загоскина, знают на память начало «Кавказского пленника», «Войнаровского» и часто повторяют затверженные стихи. Например, иные говорят всякий раз, заставая человека курящим:

Янтарь в устах его дымился.

Все они без исключения глубоко и громко сознают, что их положение гораздо ниже их достоинства, что одна нужда может их держать в этом «чернильном мире», что если б не бедность и не раны, то они управляли бы корпусами армии

или были бы генерал-адъютантами. Каждый прибавляет поразительный пример кого-нибудь из прежних товарищей и говорит:

— Ведь вот — Крейц или Ридигер — в одном приказе в корнеты произведены были. Жили на одной квартире — Петруша, Алеша, — ну, я, видите, не немец, да и поддержки не было никакой — вот и сиди будочником. Вы думаете, легко благородному человеку с нашими понятиями занимать полицейскую должность?

Жены их еще более горюют и с стесненным сердцем возят в ломбард всякий год денежки класть, отправляясь в Москву под предлогом, что мать или тетка больна и хочет в последний раз видеть.

И так они живут себе лет пятнадцать. Муж, жалуясь на судьбу, сечет полицейских, бьет мещан, подличает перед губернатором, покрывает воров, крадет документы и повторяет стихи из «Бахчисарайского фонтана». Жена, жалуясь на судьбу и на провинциальную жизнь, берет все на свете, грабит просителей, лавки и любит месячные ночи, которые называет «лунными».

Я потому остановился на этой характеристике, что сначала я был обманут этими господами и в самом деле считал их несколько получше других,

что вовсе не так…

Я увез из Перми одно личное воспоминание, которое дорого мне.

На одном из губернаторских смотров ссыльным меня пригласил к себе один ксёндз. Я застал у него несколько поляков. Один из них сидел молча, задумчиво куря маленькую трубку; тоска, тоска безвыходная видна была в каждой черте. Он был сутуловат, даже кривобок, лицо его принадлежало к тому неправильному польско-литовскому типу, который удивляет сначала и привязывает потом; такие черты были у величайшего из поляков — у Фаддея Костюшки. Одежда Цехановича свидетельствовала о страшной бедности.

Спустя несколько дней я гулял по пустынному бульвару, которым оканчивается в одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая; молодой лист развертывался, березы цвели (помнится, вся аллея была березовая) — и никем никого. Провинциалы наши не любят *платонических* гуляний. Долго бродя, я увидел наконец по другую сторону бульвара, т. е. на поле, какого-то человека, гербаризировавшего или просто рвавшего однообразные и скудные цветы того края. Когда он поднял голову, я узнал Цехановича и подошел

к нему.

Впоследствии я много видел мучеников польского дела; четьи минеи польской борьбы чрезвычайно богаты, — Цеханович был первый. Когда он мне рассказал, как их преследовали заплечные мастера в генерал-адъютантских мундирах, эти кулаки, которыми дрался рассвирепелый деспот Зимнего дворца, — жалки показались мне тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наше следствие.

В Вильне был в то время начальником, *со стороны победоносного неприятеля,* тот знаменитый ренегат Муравьев, который обессмертил себя историческим изречением, что «он принадлежит не к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, *которые вешают».* Для узкого, мстительного взгляда Николая люди раздражительного властолюбия и грубой беспощадности были всего пригоднее, по крайней мере всего симпатичнее.

Генералы, сидевшие в застенке и мучившие эмиссаров, их знакомых, знакомых их знакомых, обращались с арестантами, как мерзавцы, лишенные всякого воспитания, всякого чувства деликатности и притом очень хорошо знавшие, что все их действия покрыты солдатской шинелью Николая, облитой и польской кровью мучеников, и слезами польских матерей… Еще

эта *страстная неделя* целого народа ждет своего Луки или Матфия… Но пусть *они* знают: один палач за другим будет выведен к позорному столбу истории и оставит там свое имя. Это будет портретная галерея николаевского времени в pendant галереи полководцев 1812 года.

Муравьев говорил арестантам «ты» и ругался площадными словами. Раз он до того разъярился, что подошел к Цехановичу и хотел его взять за грудь, а может, и ударить, — встретил взгляд скованного арестанта, сконфузился и продолжал другим тоном.

Я догадывался, каков должен был быть этот взгляд: рассказывая мне года через три после события эту историю, глаза Цехановича горели, и жилы налились у него на лбу и на перекошенной шее его.

— Что же бы вы сделали в цепях?

— Я разорвал бы его зубами, я своим черепом, я цепями избил бы его, — сказал он дрожа.

Цеханович сначала был сослан в Верхотурье, один из дальнейших городов Пермской губернии, потерянный в Уральских горах, занесенный снегом и так стоящий вне всяких дорог, что зимой почти нет никакого сообщения. Разумеется, что жить в Верхотурье хуже, чем в Омске

или Красноярске. Совершенно одинокий, Цехановича занимался там естественными науками, собирал скудную флору Уральских гор, наконец получил дозволение перебраться в Пермь; и это уже для него было улучшение: снова услышал он звуки своего языка, встретился с товарищами по несчастью. Жена его, оставшаяся в Литве, писала к нему, что она отправится к нему *пешком из Виленской губернии*... Он ждал ее.

Когда меня перевели так неожиданно в Вятку, я пошел проститься с Цехановичем. Небольшая комната, в которой он жил, была почти совсем пуста; небольшой старый чемоданчик стоял возле скудной постели, деревянный стол и один стул составляли всю мебель, — на меня пахнуло моей крутицкой кельей.

Весть о моем отъезде огорчила его, но он так привык к лишениям, что через минуту, почти светло улыбнувшись, сказал мне:

— Вот за то-то я и люблю природу: ее никак не отнимешь, где бы человек ни был.

Мне хотелось оставить ему что-нибудь на память, я снял небольшую запонку с рубашки и просил его принять ее.

— К моей рубашке она не идет, — сказал он мне, — но запонку вашу я сохраню до конца жиз-

ни и наряжусь в нее на своих похоронах.

Потом он задумался и вдруг быстро начал рыться в чемодане. Достал небольшой мешочек, вынул из него железную цепочку, сделанную особым образом, оторвав от нее несколько звеньев, подал мне с словами:

— Цепочка эта мне очень дорога, с ней связаны святейшие воспоминания иного времени; все я вам не дам, а возьмите эти кольцы. Не думал, что я, изгнанник из Литвы, подарю их русскому изгнаннику,

Я обнял его и простился.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Завтра утром, но я вас не зову: у меня уже на квартире ждет бессменно жандарм.

— Итак, добрый путь вам, будьте счастливее меня.

На другой день с девяти часов утра полицмейстер был уже налицо в моей квартире и торопил меня. Пермский жандарм, гораздо более ручной, чем крутицкий, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что он будет 350 верст пьян, работал около коляски. Все было готово; я нечаянно взглянул на улицу — идет мимо Цеханович. Я бросился к окну.

— Ну, слава Богу, — сказал он, — я вот четвер-

тый раз прохожу, чтоб проститься с вами хоть издали, но вы все не видали.

Глазами, полными слез, поблагодарил я его. Это нежное, женское внимание глубоко тронуло меня; без этой встречи мне нечего было бы и пожалеть в Перми!

…На другой день после отъезда из Перми с рассвета полил дождь сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах, и продолжался весь день; часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было; вотяки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись, две ли печати или одна, кричали «айда, айда!» и запрягали лошадей, разумеется, вдвое скорее, чем бы это сделалось при смотрителе. Мне хотелось обсушиться, обогреться, съесть что-нибудь. Пермский жандарм согласился на мое предложение часа два отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я взошел в избу, душную, черную, и узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нету верст пять, я было раскаялся и хотел спросить лошадей.

Пока я думал, ехать или не ехать, взошел солдат и отрапортовал мне, что этапный офицер

прислал меня звать на чашку чая.

— С большим удовольствием. Где твой офицер?

— Возле, в избе, ваше благородие! — и солдат выделал известное *па* налево кру–ом.

Я пошел вслед за ним.

Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из тех недальних, добродушных служак, тянувший лет двадцать пять свою лямку и затянувшийся, без рассуждений, без повышений, в том роде, как служат старые лошади, полагая, вероятно, что так и надобно на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить.

— Кого и куда вы ведете?

— И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну, да про то знают пер- шие, наше дело — исполнять приказания, не мы в ответе; а по-человеческому — некрасиво.

— Да в чем дело-то?

— Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают — не знаю. Сначала было их *велели гнать в Пермь, да вышла перемена — го-*

ним в Казань. Я их принял верст за сто. Офицер, что сдавал, говорил: «Беда да и только, треть осталась на дороге» (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения, — прибавил он.

— Повальные болезни, что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности.

— Нет, не то, чтоб повальные, а так, мрут, как мухи. Жиденок, знаете, эдакий чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привык часов десять месить грязь да есть сухари... Опять — чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет — да и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?

Я молчал.

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно, дождь был уже больно силен... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!

Привели малюток и построили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал, — бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались, но малютки восьми, десяти лет... Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.

Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без уходу, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу.

И притом заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно было жаль детей. Ну, а если б попался военно-политический эконом?

Я взял офицера за руку и, сказав: «Поберегите их», бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь…

Какие чудовищные преступления безвестно схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая! Мы к ним привыкли, они делались обыденно, делались как ни в чем не бывало, никем не замеченные, потерянные за страшной далью, беззвучно заморенные в немых канцелярских омутах или задержанные полицейской цензурой.

Разве мы не видали своими глазами семьи голодных псковских мужиков, переселяемых насильственно в Тобольскую губернию и ко-

чевавших без корма и ночлегов по Тверской площади в Москве до тех пор, пока князь Д. В. Голицын на свои деньги велел их призреть?

Глава XIV

Вятка. – Канцелярия и столовая его превосходительства. – К. Я. Тюфяев.

Вятский губернатор не принял меня, а велел сказать, чтоб я явился к нему на другой день в десять часов.

В зале утром я застал исправника, полицмейстера и двух чиновников; все стояли, говорили шепотом и с беспокойством посматривали на дверь. Дверь растворилась, и взошел небольшого роста плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога; большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались; старое и с тем вместе приапическое выражение лица, небольшие, быстрые серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление.

Он сначала сильно намылил голову исправни-

ку за дорогу, по которой вчера ехал. Исправник стоял с несколько опущенной, в знак уважения и покорности, головою и ко всему прибавлял, как это встарь делывали слуги:

— Слушаю, ваше превосходительство.

После исправника он обратился ко мне. Дерзко посмотрел на меня и спросил:

— Вы ведь кончили курс в Московском университете?

— Я кандидат.

— Потом служили?

— В Кремлевской экспедиции.

— Ха, ха, ха! Хорошая служба! Вам, разумеется, при такой службе был досуг пировать и песни петь. Аленицын! — закричал он.

Взошел молодой золотушный человек.

— Послушай, братец, вот кандидат Московского университета; он, вероятно, все знает, кроме службы; его величеству угодно, чтоб он ей у нас поучился. Займи его у себя в канцелярии и докладывай мне особо. Завтра вы явитесь в канцелярию в девять утром, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забыл спросить, как вы пишете?

Я сразу не понял.

— Ну, то есть почерк.

— У меня ничего нет с собой.

— Дай бумаги и перо, — и Аленицын подал мне перо.

— Что же я буду писать?

— Что вам угодно, — заметил секретарь, — напишите: *А по справке оказалось*.

— Ну, к государю переписывать вы не будете, — заметил, иронически улыбаясь, губернатор.

Я еще в Перми многое слышал о Тюфяеве, но он далеко превзошел все мои ожидания.

Что и чего не производит русская жизнь!

Тюфяев родился в Тобольске. Отец его чуть ли не был сослан и принадлежал к беднейшим мещанам. Лет тринадцати молодой Тюфяев пристал к ватаге бродящих комедиантов, которые слоняются с ярмарки на ярмарку, пляшут на канате, кувыркаются колесом и пр. Он с ними дошел от Тобольска до польских губерний, потешая православный народ. Там его, не знаю почему, арестовали и, так как он был без вида, его, как бродягу, отправили пешком при партии арестантов в Тобольск. Его мать овдовела и жила в большой крайности; сын клал сам печку, когда она развалилась; надобно было приискать какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота, и он стал наниматься писцом в магистрате. Развязный от природы и изощривший свои спо-

собности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях, с которыми прошел с одного конца России до другого, он сделался лихим дельцом.

В начале царствования Александра в Тобольск приезжал какой-то ревизор. Ему нужны были деловые писаря, кто-то рекомендовал ему Тюфяева. Ревизор до того был доволен им, что предложил ему ехать с ним в Петербург. Тогда Тюфяев, у которого, по собственным словам, самолюбие не шло дальше места секретаря в уездном суде, иначе оценил себя и с железной волей решился сделать карьеру.

И сделал ее. Через десять лет мы его уже видим неутомимым секретарем Канкрина, который тогда был генерал-интендантом. Еще год спустя он уже заведует одной экспедицией в канцелярии Аракчеева, заведовавшей всею Россией; он с графом был в Париже во время занятия его союзными войсками.

Тюфяев все время просидел безвыходно в походной канцелярии и à la lettre не видал ни одной улицы в Париже. День и ночь сидел он, составляя и переписывая бумаги, с достойным товарищем своим Клейнмихелем.

Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных

рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить долее, то они мрут. Устал наконец и Тюфяев на этой фабрике приказов и указов, распоряжений и учреждений и стал проситься на более спокойное место. Аракчеев не мог не полюбить такого человека, как Тюфяев: без высших притязаний, без развлечений, без мнений, человека формально честного, снедаемого честолюбием и ставящего повиновение в первую добродетель людскую. Аракчеев наградил Тюфяева местом вице-губернатора. Спустя несколько лет он ему дал пермское воеводство. Губерния, по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке, лежала у его ног.

Власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири. Такой-то край и был нужен Тюфяеву.

Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все мешавшийся, вечно занятый. Тюфяев был бы свирепым комиссаром Конвента в 94 году — каким-нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние

было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг к подчиненным; без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел донельзя; например, отправляя чиновника на следствие, разумеется, если он был интересован в деле, говорил ему, что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если б открылось что-нибудь другое.

В Перми все еще было полно славою Тюфяева, у него там была партия приверженцев, враждебная новому губернатору, который, как разумеется, окружил себя своими клевретами.

Но зато были люди, ненавидевшие его. Один из них, довольно оригинальное произведение русского *надлома,* особенно предупреждал меня, что такое Тюфяев. Я говорю об докторе на одном из заводов. Человек этот, умный и очень нервный, вскоре после курса как-то несчастно женился, потом был занесен в Екатеринбург и, без всякой опытности, затерт в болото провинциальной жизни. Поставленный довольно независимо в этой среде, он все-таки сломился; вся деятельность его обратилась на преследование

чиновников сарказмами. Он хохотал над ними в глаза, он с гримасами и кривлянием говорил им в лицо самые оскорбительные вещи. Так как никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой язык доктора. Он сделал себе общественное положение своими нападками и заставил бесхарактерное общество терпеть розги, которыми он хлестал его без отдыха.

Меня предупредили, что он хороший доктор, но поврежденный, и что он чрезвычайно дерзок.

Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски; совсем напротив, они были полны юмора и сосредоточенной желчи; это была его поэзия, его месть, его крик досады, а может, долею и отчаяния. Он изучил чиновнический круг, как артист и как медик, он знал все мелкие и затаенные страсти их и, ободренный ненаходчивостью, трусостью своих знакомых, позволял себе все.

Ко всякому слову прибавлял он: «Ни копейки не стоит». Я раз шутя заметил ему это повторение.

— Чему же вы удивляетесь? — возразил доктор. — Цель всякой речи убедить, я и тороплюсь прибавить сильнейшее доказательство, какое существует на свете. Уверьте человека, что убить

родного отца ни копейки не будет стоить, — он убьет его.

Чеботарев никогда не отказывал давать взаймы небольшие суммы, в сто, двести рублей ассигнациями. Когда кто у него просил, он вынимал свою записную книжку и подробно спрашивал, когда тот ему отдаст.

— Теперь, — говорил он, — позвольте держать пари на целковый, что вы не отдадите в срок.

— Да помилуйте, — возражал тот, — за кого же вы меня принимаете?

— Вам это ни копейки не стоит, — отвечал доктор, — за кого я вас принимаю, а дело в том, что я шестой год веду книжку, и ни один человек еще не заплатил в срок, да никто почти и после срока не платил.

Срок проходил, и доктор пресерьезно требовал выигранный целковый.

Пермский откупщик продавал дорожную коляску; доктор явился к нему и, не прерываясь, произнес следующую речь:

— Вы продаете коляску, мне нужно ее; вы богатый человек, вы миллионер, за это вас все уважают, и я потому пришел свидетельствовать вам мое почтение; как богатый человек, вам ни копейки не стоит, продадите ли вы ко-

ляску или нет, мне же ее очень нужно, а денег у меня мало. Вы захотите меня притеснить, воспользоваться моей необходимостью и спросите за коляску 1500; я предложу вам рублей семьсот, буду ходить всякий день торговаться; через неделю вы уступите за 750 или 800, — не лучше ли с этого начать? Я готов их дать.

— Гораздо лучше, — отвечал удивленный откупщик и отдал коляску.

Анекдотам и шалостям Чеботарева не было конца; прибавлю еще два[160].

— Верите ли вы в магнетизм? — спросила его при мне одна дама, довольно умная и образованная.

— Да что вы разумеете под магнетизмом?

Дама ему сказала какой-то общий вздор.

— Вам ни копейки не стоит знать, — отвечал он, — верю я магнетизму или нет, а хотите, я вам расскажу, что я видел по этой части.

— Пожалуйста.

— Только слушайте внимательно.

После этого он передал очень живо, умно и интересно опыты какого-то харьковского доктора, его знакомого.

---

[160] Сноски: 160

Эти два анекдота не были в первом издании, я их вспомнил, перечитывая листы для поправки (1858).

Середь разговора человек принес на подносе закуску. Дама сказала ему, когда он выходил:

— Ты забыл подать горчицы.

Чеботарев остановился.

— Продолжайте, продолжайте, — сказала дама, несколько уже испуганная, — я слушаю.

— Соль-то принес ли он?

— Это вы уже и рассердились, — прибавила дама, краснея.

— Нисколько, будьте уверены; я знаю, что вы внимательно слушали, да и то знаю, что женщина, как бы ни была умна и о чем бы ни шла речь, не может никогда стать выше кухни, — за что же я лично на вас смел бы сердиться?

На заводах графини Полье, где он тоже лечил, понравился ему дворовый мальчик; он его пригласил к себе в услужение. Мальчик был согласен, но управляющий сказал, что без разрешения графини он его не может уволить. Чеботарев написал к графине. Она велела управляющему выдать паспорт, но на том условии, чтобы Чеботарев заплатил за *пять лет* вперед оброк. Получив этот ответ, он немедленно написал к графине, что согласен, но что просит ее предварительно разрешить ему следующее сомнение: с кого ему получить заплаченные деньги в том случае, если

Энкиева комета, пересекая орбиту земного шара, собьет его с пути, — что может случиться за полтора года до окончания срока.

В день моего отъезда в Вятку утром рано явился доктор и начал с следующей глупости:

— Вы, — как Гораций: раз *пели,* и до сих пор вас всё *переводят.*

Потом он вынул бумажник и спросил, не нужно ли мне денег на дорогу. Я поблагодарил его и отказался.

— Отчего же вы не берете? Вам это ни копейки не стоит.

— У меня есть деньги.

— Плохо, — сказал он, — мир кончается, — раскрыл свою записную книжку и вписал: «После пятнадцатилетней практики в первый раз встретил человека, который не взял денег, да еще будучи на отъезде».

Отдурачившись, он сел ко мне на постель и серьезно сказал:

— Вы едете к страшному человеку. Остерегайтесь его и удаляйтесь как можно более. Если он вас полюбит, плохая вам рекомендация; если же возненавидит, так уж он вас доедет, клеветой, ябедой, не знаю чем, но доедет, ему это ни копейки не стоит.

При этом он мне рассказал происшествие, истинность которого я имел случай после поверить по документам в канцелярии министра внутренних дел.

Тюфяев был в открытой связи с сестрой одного бедного чиновника. Над братом смеялись; брат хотел разорвать эту связь, грозился доносом, хотел писать в Петербург, словом, шумел и беспокоился до того, что его однажды полиция схватила и представила как сумасшедшего для освидетельствования в губернское правление.

Губернское правление, председатели палат и инспектор врачебной управы, старик немец, пользовавшийся большой любовью народа и которого я лично знал, — все нашли, что Петровский — сумасшедший.

Наш доктор знал Петровского и был его врачом. Спросили и его для формы. Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший и что он предлагает переосвидетельствовать, иначе должен будет дело это вести дальше. Губернское правление было вовсе не прочь, но, по несчастию, Петровский умер в сумасшедшем доме, не дождавшись дня, назначенного для вторичного свидетельства, и несмотря на то, что он был

молодой, здоровый малый.

Дело дошло до Петербурга. Петровскую арестовали (почему не Тюфяева?), началось секретное следствие. Ответы диктовал Тюфяев; он превзошел себя в этом деле. Чтоб разом остановить его и отклонить от себя опасность вторичного непроизвольного путешествия в Сибирь, Тюфяев научил Петровскую сказать, что брат ее с тех пор с нею в ссоре, как она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности при проезде императора Александра в Пермь, за что и получила через генерала Соломку пять тысяч рублей.

Привычки Александра были таковы, что невероятного ничего тут не было. Узнать, правда ли, было не легко и, во всяком случае, наделало бы много скандалу. На вопрос г. Бенкендорфа генерал Соломка отвечал, что через его руки проходило столько денег, что он не припомнит об этих пяти тысячах.

«La regina en aveva molto!»[161] — говорит импровизатор в «Египетских ночах» Пушкина…

И вот этот-то почтенный ученик Аракчеева и достойный товарищ Клейнмихеля, акробат,

---

[161] Сноски: 161
«У царицы их было много!» (*ит.*)

бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, бескорыстный человек, запирающий здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там, человек, оклеветавший императора Александра для того, чтоб отвести глаза императора Николая, брался теперь приучать меня к службе.

Зависимость моя от него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздор министру, меня отослали бы куда-нибудь в Иркутск. Да и зачем писать? Он имел право перевести в какой-нибудь дикий город Кай или Царево-Санчурск без всяких сообщений, без всяких ресурсов. Тюфяев отправил в Глазов одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать с ним мазурку, а не с его превосходительством.

Так князь Долгорукий был отправлен из Перми в Верхотурье. Верхотурье, потерянное в горах и снегах, принадлежит еще к Пермской губернии, но это место стоит Березова по климату, — оно хуже Березова — по пустоте.

Князь Долгорукий принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже.

На это тратилась его жизнь. Это был Измай-

лов на маленьком размере, князь Е. Грузинский без притона беглых в Лыскове, т. е. избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на житье в Пермь.

Он приехал в двух каретах: в одной он сам с собакой, в другой — его повар-француз с попугаями. В Перми обрадовались богатому гостю, и вскоре весь город толокся в его столовой. Долгорукий завел шашни с пермской барыней; барыня, заподозрив какие-то неверности, явилась невзначай утром к князю и застала его с горничной. Из этого вышла сцена, кончившаяся тем, что неверный любовник снял со стены арапник; советница, видя его намерение, пустилась бежать; он — за ней, небрежно одетый в один халат; нагнав ее на небольшой площади, где учили обыкновенно батальон, он вытянул раза три ревнивую советницу арапником и спокойно отправился домой, как будто сделал дело.

Подобные милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решилось сорокалетнего шалуна отослать в Верхотурье. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки поехали;

Долгорукий обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом.

Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукий патетически обратился к гостям и сказал:

— Не будет же сказано, что я, расставаясь с вами, что-нибудь пожалел. Я велел вчера убить моего Гарди для пирога.

Чиновники с ужасом взглянули друг на друга и искали глазами знакомую всем датскую собаку — ее не было. Князь догадался и велел слуге принести бренные остатки Гарди, его шкуру; внутренность была в пермских желудках. Полгорода занемогло от ужаса.

Между тем Долгорукий, довольный тем, что ловко подшутил над приятелями, ехал торжественно в Верхотурье. Третья повозка везла целый курятник, — курятник, едущий на почтовых! По дороге он увез с нескольких станций приходные книги, перемешал их, поправил в них цифры и чуть не свел с ума почтовое ведомство, которое и с книгами не всегда ловко сводило концы с концами.

Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью

и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства.

В петушьем крике Суворова, как в собачьем паштете князя Долгорукого, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях Толстого-Американца, я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое.

Я лично знал Толстого, и именно в ту эпоху, когда он лишился своей дочери Сарры, необыкновенной девушки, с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности, и это не удивительно: всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге… Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейства лет двадцать сряду, пока, наконец, был сослан в Сибирь, откуда «вернулся алеутом», как говорит Грибоедов, т. е. пробрался через Камчатку в Америку и оттуда

выпросил дозволение возвратиться в Россию. Александр его простил — и он, на другой день после приезда, продолжал прежнюю жизнь. Женатый на цыганке, известной своим голосом и принадлежавшей к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры. Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака.

Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет десять или двенадцать тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В это время один известный русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению; но русский Бог велик! Граф Орлов

написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого *прямого торжества низшему сословию над высшим.* Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места… Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень хорошо знал неосторожного чиновника. Но возвратимся в Вятку.

Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Не материальная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени — вот что делало канцелярию невыносимой. Аленицын меня не теснил, он был даже вежливее, чем я ожидал, он учился в казанской гимназии и в силу этого имел уважение к кандидату Московского университета.

В канцелярии было человек двадцать писцов. Большей частию люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия — дети писцов и секретарей, с колыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян почвой, приносящей доход, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Мой камердинер перестал

ходить в «бильярдную», говоря, что чиновники плутуют хуже всякого, а проучить их нельзя, потому что они *офицеры.*

Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от девяти до двух утра и от пяти до восьми часов вечера.

Сверх Аленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, к которому меня посадили, — существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За одним столом со мною сидели четыре писца. С ними надобно было говорить и быть знакомым, да и со всеми другими тоже. Не говоря уже о том, что эти люди «за гордость» рано или поздно подставили бы мне ловушку, просто нет возможности проводить несколько часов дня с одними и теми же людьми, не перезнакомившись с ними. Сверх того, не должно забывать, как провинциалы льнут к постороннему, особенно приехавшему из столицы, и притом еще с какой-то интересной историей за спиной.

Просидевши день целый в этой галере, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, — изнуренный, униженный и не способный ни на какую

работу, ни на какое занятие. Я душевно жалел о моей крутицкой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен, делал что хотел, никто мне не мешал; вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств там была мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения.

А тут еще придет «по дороге» кто-нибудь из сослуживцев посидеть от скуки, погуторить, пока до узаконенного часа идти на службу…

Через несколько месяцев, впрочем, канцелярия сделалась несколько полегче.

Долгое, равномерное преследование не в русском характере, если не примешивается личностей или денежных видов; и это совсем не оттого, чтоб правительство не хотело душить и добивать, а от русской беспечности, от нашего laisser-aller[162]. Русские власти все вообще неотесанны, наглы, дерзки, на грубость с ними накупиться очень легко, но постоянное доко-

---

[162] Сноски: 162
небрежности (*фр.*).

лачивание людей не в их нравах, у них на это недостает терпения, может, оттого, что оно не приносит никакого барыша.

Сначала, сгоряча, чтоб показать в одну сторону усердие, в другую — власть, делаются всякие глупости и ненужности, потом мало-помалу человека оставляют в покое.

Так случилось и с канцелярией. Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики; оно велело везде завести комитеты и разослало такие программы, которые вряд возможно ли было бы исполнить где-нибудь в Бельгии или Швейцарии; при этом всякие вычурные таблицы с maximum и minimum, с средними числами и разными выводами из десятилетних сложностей (составленными по сведениям, которые *за год перед тем* не собирались!), с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На комитет и на собрание сведений денег не назначалось ни копейки; все это следовало делать из любви к статистике, через земскую полицию, и приводить в порядок в губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская полиция, ненавидящая все *мирные* и теоретические занятия, смотрели на статистический комитет как на ненужную

роскошь, как на министерскую шалость; однако отчеты надобно было представить с таблицами и выводами.

Это дело казалось безмерно трудным всей канцелярии; оно было просто невозможно; но на это никто не обратил внимания, хлопотали о том, чтоб не было выговора. Я обещал Аленицыну приготовить введение и начало, очерки таблиц с красноречивыми отметками, с иностранными словами, с цитатами и поразительными выводами, если он разрешит мне этим тяжелым трудом заниматься дома, а не в канцелярии. Аленицын переговорил с Тюфяевым и согласился.

Начало отчета о занятиях комитета, в котором я говорил о надеждах и проектах, потому что в настоящем ничего не было, тронуло Аленицына до глубины душевной. Сам Тюфяев нашел, что оно мастерски написано. Тем и окончились труды по части статистики, но комитет дали в мое заведование. На барщину переписки бумаг меня больше не гоняли, и мой пьяненький столоначальник сделался почти подчиненное мне лицо. Аленицын требовал только, из каких-то соображений высшего приличия, чтоб я на короткое время заходил всякий день в канцелярию.

Для того чтоб показать всю меру невозмож-

ности серьезных таблиц, я упомяну сведения, присланные из заштатного города Кая. Там между разными нелепостями было: *«Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2»,* и в графе сумм выставлено *«четыре».* Под рубрикой чрезвычайных происшествий значился следующий трагический анекдот: «Мещанин такой-то, расстроив горячительными напитками свой ум, — повесился». Под рубрикой о нравственности городских жителей было написано: «Жидов в городе Кае не находилось». На вопрос, не было ли ассигновано сумм на постройку церкви, биржи, богадельни, ответы шли так: «На постройку биржи ассигновано было — не было»…

Статистика, спасая меня от канцелярской работы, имела несчастным последствием личные сношения с Тюфяевым.

Было время, когда я этого человека ненавидел, это время давно прошло, да и человек этот прошел — он умер в своих казанских поместьях около 1845 года. Теперь я вспоминаю о нем без злобы, как об особенном звере, попавшемся в лесу и дичи, — которого надобно было изучать, но на которого нельзя было сердиться за то, что он зверь; тогда я не мог не вступить с ним в борьбу: это была необходимость для всякого по-

рядочного человека. Случай мне помог, иначе он сильно повредил бы мне; иметь зуб за зло, которое он мне не сделал, было бы смешно и жалко.

Тюфяев жил один. Жена его была с ним в разводе. На задней половине губернаторского дома, как-то намеренно неловко, пряталась его фаворитка, жена повара, удаленного именно за вину своего брака в деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, т. е. особенно боявшиеся следствий, составляли придворный штат супруги повара «в случае». Их жены и дочери, не хвастаясь этим, потихоньку, вечером делали ей визиты. Госпожа эта отличалась тем тактом, который имел один из блестящих ее предшественников — Потемкин; зная нрав старика и боясь быть смененной, она сама приискивала ему неопасных соперниц. Благодарный старик платил привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно.

Тюфяев все утро работал и был в губернском правлении. Поэзия жизни начиналась с трех часов. Обед для него был вещь не шуточная. Он любил поесть, и поесть на людях. У него на кухне готовилось всегда на двенадцать человек; если гостей было меньше половины, он огорчался;

если не больше двух человек, он был несчастен; если же никого не было, он уходил обедать, близкий к отчаянию, в комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтоб их накормить до тошноты, — не трудная задача, но его официальное положение и страх чиновников перед ним не позволяли ни им свободно пользоваться его гостеприимством, ни ему сделать трактир из своего дома. Надобно было ограничиться советниками, председателями (но с половиной он был в ссоре, т. е. не благоволил к ним), редкими проезжими, богатыми купцами, откупщиками и *странностями*, нечто вроде capacités[163], которые хотели ввести при Людовике-Филиппе в выборы. Разумеется, я был странность первой величины в Вятке.

Людей, сосланных на житье «за мнения» в дальние города, несколько боятся, но никак не смешивают с обыкновенными смертными. «Опасные люди» имеют тот интерес для провинции, который имеют известные Ловласы для женщин и куртизаны для мужчин. Опасных людей гораздо больше избегают петербургские чиновники и московские тузы, чем провинци-

---

[163] Сноски: 163
правомочий (*фр.*).

альные жители, особенно сибиряки.

Сосланные по четырнадцатому декабря пользовались огромным уважением. К вдове Юшневского делали чиновники первый визит в Новый год. Сенатор Толстой, ревизовавший Сибирь, руководствовался сведениями, получаемыми от сосланных декабристов, для поверки тех, которые доставляли чиновники.

Мюних заведовал из своей башни в Пелыме делами Тобольской губернии. Губернаторы ходили к нему совещаться о важных делах.

Простой народ еще менее враждебен к сосланным, он вообще со стороны наказанных. Около сибирской границы слово «ссыльный» исчезает и заменяется словом «несчастный». В глазах русского народа судебный приговор не пятнает человека. В Пермской губернии, по дороге в Тобольск, крестьяне выставляют часто квас, молоко и хлеб в маленьком окошке, на случай если «несчастный» будет тайком пробираться из Сибири.

Кстати, говоря о сосланных, — за Нижним начинают встречаться сосланные поляки, с Казани число их быстро возрастает. В Перми было человек сорок, в Вятке не меньше; сверх того, в каждом уездном городе было несколько че-

ловек.

Они жили совершенно отдельно от русских и удалялись от всякого сообщения с жителями; между собою у них было большое единодушие, и богатые делились братски с бедными.

Со стороны жителей я не видал ни ненависти, ни особенного расположения к ним. Они смотрели на них, как на посторонних, к тому же почти ни один поляк не знал по-русски.

Один закоснелый сармат, старик, уланский офицер при Понятовском, делавший часть наполеоновских походов, получил в 1837 году дозволение возвратиться в свои литовские поместья. Накануне отъезда старик позвал меня и несколько поляков отобедать. После обеда мой кавалерист подошел ко мне с бокалом, обнял меня и с военным простодушием сказал мне на ухо: *«Да зачем же вы русский»* Я не отвечал ни слова, но замечание это сильно запало мне в грудь. Я понял, что *этому* поколению нельзя было освободить Польшу.

С Конарского начиная, поляки совсем иначе смотрят на русских.

Вообще поляков, сосланных на житье, не теснят, но материальное положение ужасно для тех, которые не имеют состояния. Правительство

дает неимущим *по 15 рублей ассигнациями в месяц;* из этих денег следует платить за квартиру, одеваться, есть и отапливаться. В довольно больших городах, в Казани, Тобольске, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балах, рисуя портреты, заводя танц-классы. В Перми и Вятке не было и этих средств. И, несмотря на то, у русских они не просили ничего.

…Приглашения Тюфяева на его жирные, сибирские обеды были для меня истинным наказанием. Столовая его была та же канцелярия, но в другой форме, менее грязной, но более пошлой, потому что она имела вид доброй воли, а не насилия.

Тюфяев знал своих гостей насквозь, презирал их, показывал им иногда когти и вообще обращался с ними в том роде, как хозяин обращается с своими собаками: то с излишней фамильярностию, то с грубостию, выходящей из всех пределов, — и все-таки он звал их на свои обеды, и они с трепетом и радостью являлись к нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

Я за них краснел и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяев скоро догадался, что я не гожусь в «высшее» вят-

ское общество.

Через несколько месяцев он был мною недоволен, через несколько других он меня ненавидел, и я не только не ходил на его обеды, но вовсе перестал к нему ходить. Проезд наследника спас меня от его преследований, как мы увидим после.

Притом необходимо заметить, что я решительно ничего не сделал, чтоб заслужить сначала его внимание и приглашения, потом гнев и немилость. Он не мог вынести во мне человека, державшего себя независимо, но вовсе не дерзко; я был с ним всегда en règle[164], он требовал подобострастия.

Он ревниво любил свою власть, она ему досталась трудовой копейкой, и он искал не только повиновения, но *вида* беспрекословной подчиненности. По несчастию, в этом он был национален.

Помещик говорит слуге: «Молчать! Я не потерплю, чтоб ты мне отвечал!»

Начальник департамента замечает, бледнея, чиновнику, делающему возражение: «Вы забываетесь, знаете ли вы, с *кем* вы говорите?»

---

[164] Сноски: 164
корректен (*фр.*)

Государь *«за мнения»* посылает в Сибирь, за *стихи* морит в казематах, — и все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи.

Тюфяев был настоящий царский слуга, его оценили, но мало. В нем византийское рабство необыкновенно хорошо соединялось с канцелярским порядком. Уничтожение себя, отречение от воли и мысли перед властью шло неразрывно с суровым гнетом подчиненных. Он бы мог быть статский Клейнмихель, его «усердие» точно так же превозмогло бы все, и он точно так же штукатурил бы стены человеческими трупами, сушил бы дворец людскими легкими, а молодых людей инженерного корпуса сек бы еще больнее за то, что они не доносчики.

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее он сохранил от горьких испытаний. Для Тюфяева каторжная канцелярия Аракчеева была первой гаванью, первым освобождением. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляли его на мелкие комиссии. Когда он служил по интендантской части, офицеры по-армейски преследовали его, и один полковник вытянул его на улице в Вильне

хлыстом… Все это взошло и назрело в душе писаря; теперь, губернатором, его черед теснить, не давать стула, говорить *ты,* поднимать голос больше, чем нужно, а иной раз отдавать под суд столбовых дворян.

Из Перми Тюфяев был переведен в Тверь. Дворянство, при всей уступчивости и при всем раболепии, не могло вынести Тюфяева. Они упросили министра Блудова удалить его. Блудов назначил его в Вятку.

Тут он снова очутился в своей среде. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники — раздолье да и только. Все трепетало его, все вставало перед ним, все поило его, все давало ему обеды, все глядело в глаза; на свадьбах и именинах первый тост предлагали «за здравие его превосходительства!».

Глава XV

Чиновники. – Сибирские генерал-губернаторы. – Хищный полицмейстер. – Ручный судья. – Жареный исправник. – Равноапостольный татарин. – Мальчик женского пола. – Картофельный террор и пр.

Один из самых печальных результатов петровского переворота — это развитие чиновнического сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать, кроме «служения», ничего не знающий, кроме канцелярских форм; он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых.

Гоголь приподнял одну сторону занавеси и показал нам русское чиновничество во всем безобразии его; но Гоголь невольно примиряет смехом, его огромный комический талант берет верх над негодованием. Сверх того, в колодках русской ценсуры он едва мог касаться печальной стороны этого грязного подземелья, в котором куются судьбы бедного русского народа.

Там, где-то в закоптелых канцеляриях, через которые мы спешим пройти, обтерханные люди пишут, пишут на серой бумаге, переписывают на гербовую, и лица, семьи, целые деревни обижены, испуганы, разорены. Отец идет на поселенье, мать в тюрьму, сын в солдаты, и все это разразилось, как гром, нежданно, большей частью неповинно. А из-за чего? Из-за денег. Складчину… или начнется следствие о мертвом

теле какого-нибудь пьяницы, сгоревшего от вина и замерзнувшего от мороза. И голова собирает, староста собирает, мужики несут последнюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; советнику надобно жить, да и детей воспитать, советник — примерный отец…

Чиновничество царит в северо-восточных губерниях Руси и в Сибири; тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки… даль страшная, все участвуют в выгодах, кража становится res publica[165]. Самая власть царская, которая бьет, как картечь, не может пробить эти подснежные, болотистые траншеи из топкой грязи. Все меры правительства ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано — и все с видом верноподданнического раболепия и с соблюдением всех канцелярских форм.

Сперанский пробовал облегчить участь сибирского народа. Он ввел всюду коллегиальное начало; как будто дело зависело от того, как кто крадет — поодиночке или шайками. Он сотнями отрешал старых плутов и сотнями принял новых.

---

[165] Сноски: 165
общим делом (*лат.*).

Сначала он нагнал такой ужас на земскую полицию, что мужики *брали* деньги с чиновников, чтоб не ходить с челобитьем. Года через три чиновники наживались по новым формам не хуже, как по старым.

Нашелся другой чудак, генерал Вельяминов. Года два он побился в Тобольске, желая уничтожить злоупотребления, но, видя безуспешность, бросил все и совсем перестал заниматься делами.

Другие, благоразумнее его, не делали опыта, а наживались и давали наживаться.

— Я искореню взятки, — сказал московский губернатор Сенявин седому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Старик улыбнулся.

— Что же ты смеешься? — спросил Сенявин.

— Да, батюшка, — отвечал мужик, — ты прости; на ум пришел мне один молодец наш, похвалялся царь-пушку поднять и, точно, пробовал — да только пушку-то не поднял!

Сенявин, который сам рассказывал этот анекдот, принадлежал к тому числу непрактических людей в русской службе, которые думают, что риторическими выходками о честности и деспотическим преследованием двух-трех плутов, которые подвернутся, можно помочь такой все-

общей болезни, как русское взяточничество, свободно растущее под тенью ценсурного древа.

Против него два средства: гласность и совершенно другая организация всей машины, введение снова народных начал третейского суда, изустного процесса, целовальников и всего того, что так ненавидит петербургское правительство.

Генерал-губернатор Западной Сибири Пестель, отец знаменитого Пестеля, казненного Николаем, был настоящий римский проконсул, да еще из самых яростных. Он завел открытый, систематический грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от России. Ни одно письмо не переходило границы нераспечатанное, и горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь о его управлении. Он купцов первой гильдии держал по году в тюрьме, в цепях, он их пытал. Чиновников посылал на границу Восточной Сибири и оставлял там года на два, на три.

Долго терпел народ; наконец какой-то тобольский мещанин решился довести до сведения государя о положении дел. Боясь обыкновенного пути, он отправился на Кяхту и оттуда пробрался с караваном чаев через сибирскую границу. Он нашел случай в Царском селе подать Александру свою просьбу, умоляя его прочесть ее. Александр

был удивлен, поражен страшными вещами, прочтенными им. Он позвал мещанина и, долго говоря с ним, убедился в печальной истине его доноса. Огорченный и несколько смущенный, он сказал ему:

— Ступай, братец, теперь домой, дело это будет разобрано.

— Ваше величество, — отвечал мещанин, — я к себе теперь не пойду. Прикажите лучше меня запереть в острог. Разговор мой с вашим величеством не останется в тайне — меня убьют.

Александр содрогнулся и сказал, обращаясь к Милорадовичу, который тогда был генерал-губернатором в Петербурге:

— Ты мне отвечаешь за него.

— В таком случае, — заметил Милорадович, — позвольте мне его взять к себе в дом.

Там мещанин, действительно, и оставался до окончания дела.

Пестель почти всегда жил в Петербурге. Вспомните, что и проконсулы живали обыкновенно в Риме. Он своим присутствием и связями, а всего более дележом добычи предупреждал всякие

неприятные слухи и дрязги[166]. Государственный совет, пользуясь отсутствием Александра, бывшего в Вероне или Аахене, умно и справедливо решил, что так как речь в доносе идет о Сибири, то дело и передать на разбор Пестелю, благо он налицо. Милорадович, Мордвинов и еще человека два восстали против этого предложения, и дело пошло в сенат.

Сенат, с тою возмутительной несправедливостью, с которой постоянно судит дела высших чиновников, выгородил Пестеля, а Трескина, тобольского гражданского губернатора, лишив чинов и дворянства, сослал куда-то на житье. Пестель был только отрешен от службы.

После Пестеля явился в Тобольск Капцевич, из школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиран по натуре, тиран потому, что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель, он приводил все во фрунт и строй, объявлял maximum на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках разбойников. В 1824 году государь хотел посетить Тобольск. По Пермской губернии

---

[166] Сноски: 166

Это дало повод графу Ростопчину отпустить колкое слово насчет Пестеля. Они оба обедали у государя. Государь спросил, стоя у окна: «Что это там на церкви… на кресте, черное?» — «Я не могу разглядеть, — заметил Ростопчин, — это надобно спросить у Бориса Ивановича, у него чудесные глаза, он видит отсюда, что делается в Сибири».

идет превосходная широкая дорога, давно наезженная и которой, вероятно, способствовала почва. Капцевич сделал такую же до Тобольска в несколько месяцев. Весной, в распутицу и стужу, он заставил тысячи работников делать дорогу; их сгоняли по раскладке из ближних и дальних поселений; открылись болезни, половина рабочих перемерла, но «усердие все превозмогает» — дорога была сделана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это уж так далеко, что и вести едва доходят до Петербурга. В Иркутске генерал-губернатор Броневский любил палить в городе из пушек, когда «гулял». А другой служил пьяный у себя в доме обедню в полном облачении и в присутствии архиерея. По крайней мере шум одного и набожность другого не были так вредны, как осадное положение Пестеля и неусыпная деятельность Капцевича.

Жаль, что Сибирь так скверно управляется. Выбор генерал-губернаторов особенно несчастен. Не знаю, каков Муравьев; он известен умом и способностями; остальные были никуда не годны. Сибирь имеет большую будущность — на нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но кото-

рый холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно.

Мертвящее русское правительство, делающее все насилием, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед. Увидим, что будет, когда устья Амура откроются для судоходства и Америка встретится с Сибирью возле Китая.

Я давно говорил, что *Тихий океан — Средиземное море будущего*[167]. В этом будущем роль Сибири, страны между океаном, южной Азией и Россией, чрезвычайно важна. Разумеется, Сибирь должна спуститься к китайской границе. Не в самом же деле мерзнуть и дрожать в Березове и Якутске, когда есть Красноярск, Минусинск и пр.

Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем начала, намекающие на иное развитие. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети посельщиков, сибиряки, вовсе не знают помещичьей власти. Дворянства в Сибири нет, а с тем вместе нет и аристократии в городах; чиновник

---

[167] Сноски: 167

С большой радостью видел я, что нью-йоркские журналы несколько раз повторили это.

и офицер, представители власти, скорее похожи на неприятельский гарнизон, поставленный победителем, чем на аристократию. Огромные расстояния спасают крестьян от частого сношения с ними; деньги спасают купцов, которые в Сибири презирают чиновников и, наружно уступая им, принимают их за то, что они есть, — за своих приказчиков по гражданским делам.

Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместна; привычка к опасностям, к расторопности сделали сибирского крестьянина более воинственным, находчивым, готовым на отпор, чем великорусского. Даль церквей оставила его ум свободнее от изуверства, чем в России, он холоден к религии, большей частью раскольник. Есть дальние деревеньки, куда поп ездит раза три в год и гуртом накрещивает, хоронит, женит и исповедует за все время.

По сю сторону Уральского хребта дела делаются скромнее, и, несмотря на то, я томы мог бы наполнить анекдотами о злоупотреблениях и плутовстве чиновников, слышанными мною в продолжение моей службы в канцелярии и столовой губернатора.

— Вот был профессор-с — мой предшественник, — говорил мне в минуту задушевного

разговора вятский полицмейстер. — Ну, конечно, эдак жить можно, только на это надобно родиться-с; это в своем роде, могу сказать, Сеславин, Фигнер, — и глаза хромого майора, за рану произведенного в полицмейстеры, блистали при воспоминании славного предшественника.

— Показалась шайка воров, недалеко от города; раз, другой доходит до начальства — то у купцов товар ограблен, то у управляющего по откупам деньги взяты. Губернатор в хлопотах, пишет одно предписание за другим. Ну, знаете, земская полиция — трус; так какого-нибудь воришку связать да представить она умеет — а там шайка, да и, пожалуй, с ружьями. Земские ничего не сделали. Губернатор призывает полицмейстера и говорит: я, мол, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляет меня обратиться к вам.

Полицмейстер прежде уж о деле был наслышан. «Генерал, — отвечает он, — я еду через час. Воры должны быть там-то и там-то; я беру с собой команду, найду их там-то и там-то и через два-три дня приведу их в цепях в губернский острог».

— Ведь это Суворов-с у австрийского императора! Действительно: сказано — сделано; он их так и накрыл с командой, денег не успели спря-

тать, полицмейстер все взял и представил воров в город.

Начинается следствие. Полицмейстер спрашивает: «Где деньги?» — «Да мы их тебе, батюшка, сами в руки отдали», — отвечают двое воров. — «Мне?» — говорит полицмейстер, пораженный удивлением. — «Тебе! — кричат воры. — Тебе». «Вот дерзость-то! — говорит полицмейстер частному приставу, бледнея от негодования. — Да вы, мошенники, пожалуй, уверите, что я вместе с вами грабил. Так вот я вам покажу, каково марать мой мундир; я уланский корнет и честь свою не дам в обиду!»

Он их сечь, — признавайся да и только, куда деньги дели? Те сначала свое. Только как он велел им закатить *на две трубки,* так главный-то из воров закричал: «Виноваты, деньги прогуляли». — «Давно бы так, — говорит полицмейстер, — а то несешь вздор такой; меня, брат, не скоро надуешь». — «Ну, уж точно, нам у вашего благородия надобно учиться, а не вам у нас. Где нам!» — пробормотал старый плут, с удивлением поглядывая на полицмейстера.

— А ведь он за это дело получил Владимира в петлицу.

— Позвольте, — спросил я, перебивая похваль-

ное слово великому полицмейстеру, — что же это значит: *на две трубки?*

— Это так у нас, *домашнее* выражение. Скучно, знаете, при наказании, ну, так велишь сечь да и куришь трубку; обыкновенно к концу трубки и наказанию конец, — ну, а в экстренных случаях велишь иной раз и на две трубки угостить приятеля. Полицейские привычны, знают, примерно, сколько.

Об этом Фигнере и Сеславине ходили целые легенды в Вятке. Он чудеса делал. Раз, не помню по какому поводу, приезжал ли генерал-адъютант какой или министр, полицмейстеру хотелось показать, что он недаром носил уланский мундир и что кольнет шпорой не хуже другого свою лошадь. Для этого он адресовался с просьбой к одному из Машковцевых, богатых купцов того края, чтоб он ему дал свою серую, дорогую верховую лошадь. Машковцев не дал.

— Хорошо, — говорит Фигнер, — вы этакой безделицы не хотите сделать по доброй воле, я и без вашего позволения возьму лошадь.

— Ну, это еще посмотрим! — сказало *злато.*

— Ну, и увидите, — сказал *булат.*

Машковцев запер лошадь, приставил двух караульных. На этот раз полицмейстер ошибется.

Но в эту ночь, как нарочно, загорелись пустые сараи, принадлежавшие откупщикам и находившиеся за самым Машковцевым домом. Полицмейстер и полицейские действовали отлично; чтоб спасти дом Машковцева, они даже разобрали стену конюшни и вывели, не опаливши ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Через два часа полицмейстер, парадируя на белом жеребце, ехал получать благодарность особы за примерное потушение пожара. После этого никто не сомневался в том, что полицмейстер все может сделать.

Губернатор Рыхлевский ехал из собрания; в то время как его карета двинулась, какой-то кучер с небольшими санками, зазевавшись, попал между постромок двух коренных и двух передних лошадей. Из этого вышла минутная конфузия, не помешавшая Рыхлевскому преспокойно приехать домой. На другой день губернатор спросил полицмейстера, знает ли он, чей кучер въехал ему в постромки и что его следует постращать.

— Этот кучер, ваше превосходительство, не будет более в постромки заезжать, я ему влепил порядочный урок, — отвечал, улыбаясь, полицмейстер.

— Да чей он?

— Советника Кулакова-с, ваше превосходительство.

В это время старик советник, которого я застал и оставил тем же советником губернского правления, взошел к губернатору.

— Вы нас простите, — сказал губернатор ему, — что мы вашего кучера поучили.

Удивленный советник, не понимая ничего, смотрел вопросительно.

— Вчера он заехал мне в постромки. Вы понимаете, если он мне заехал, то…

— Да, ваше превосходительство, я вчера да и хозяйка моя сидели дома, и кучер был дома.

— Что это значит? — спросил губернатор.

— Я, ваше превосходительство, вчера был так занят, голова кругом шла, виноват, совсем забыл о кучере и, признаюсь, не посмел доложить это вашему превосходительству. Я хотел сейчас распорядиться.

— Ну, вы настоящий полицмейстер, нечего сказать! — заметил Рыхлевский.

Рядом с этим хищным чиновником я покажу вам и другую, противуположную породу — чиновника мягкого, сострадательного, ручного.

Между моими знакомыми был один почтенный старец, исправник, отрешенный по сенаторской

ревизии от дел. Он занимался составлением просьб и хождением по делам, что именно было ему запрещено. Человек этот, начавший службу с незапамятных времен, воровал, подскабливал, наводил ложные справки в трех губерниях, два раза был под судом и пр. Этот ветеран земской полиции любил рассказывать удивительные анекдоты о самом себе и своих сослуживцах, не скрывая своего презрения к выродившимся чиновникам нового поколения.

— Это так, вертопрахи, — говорил он, — конечно, они берут, без этого жить нельзя, но, то есть, эдак ловкости или знания закона и не спрашивайте. Я расскажу вам, для примера, об одном приятеле. Судьей был лет двадцать, в прошедшем году помре, — вот был голова! И мужики его лихом не поминают, и своим хлеба кусок оставил. Совсем особенную манеру имел. Придет, бывало, мужик с просьбицей, судья сейчас пускает к себе, — такой ласковый, веселый.

— Как, дескать, дядюшка, твое имя и батюшку твоего как звали?

Крестьянин кланяется.

— Ермолаем, мол, батюшка, а отца Григорьем прозывали.

— Ну, здравствуйте, Ермолай Григорьевич,

из каких мест господь несет?

— А мы дубиловские.

— Знаю, знаю. Мельницы-то, кажись, ваши вправо от дороги — от трахта?

— Точно, батюшка, мельницы общинные наши.

— Село зажиточное, землица хорошая, чернозем.

— На Бога не жалобимся, ништо, кормилец.

— Да ведь оно и нужно. Небось у тебя, Ермолай Григорьевич, семейка не малая?

— Три сыночка, да девки две, да во двор к старшей принял молодца, пятый годок пошел.

— Чай, уж и внучата завелись?

— Есть, точно, небольшое дело, ваша милость.

— И слава Богу! плодитесь и умножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевич, дорога дальняя, выпьем-ка рюмочку березовой.

Мужик ломается. Судья наливает ему, приговаривая:

— Полно, полно, брат, сегодня от святых отцов нет запрета на вино и елей.

— Оно точно, что запрету нет, но вино-то и доводит человека до всех бед. — Тут он крестится, кланяется и пьет березовку.

— При такой семейке, Григорьич, небось, на-

кладно жить? Каждого накормить, одеть — одной клячонкой или коровенкой не оборотишь дела, молока недостанет.

— Помилуй, батюшка, куда толкнешься с одной лошаденкой; есть таки троечка, была четвертая, саврасая, да пала с глазу о Петровки, — плотник у нас, Дорофей, не приведи Бог, ненавидит чужое добро, и глаз у него больно дурен.

— Бывает-с, бывает-с. А у вас ведь выгоны большие — небось, барашков держите?

— Ништо, есть и барашки.

— Ох, затолковался я с тобой. Служба, Ермолай Григорьич, царская, пора в суд. Что у тебя дельце, что ли?

— Точно, ваша милость, есть.

— Ну, что такое? Повздорили что-нибудь? Поскорее, дядя, рассказывай, пора ехать.

— Да что, отец родной, беда под старость лет пришла… Вот в самое-то успленье были мы в питейном, ну, и крупно поговорили с суседским крестьянином, — такой безобразный человек, наш лес крадет. Только, поговоримши, он размахнулся да меня кулаком в грудь. «Ты, мол, в чужой деревне не дерись», — говорю я ему, да хотел так, то есть, пример сделать, тычка ему дать, да спьяна, что ли, или нечистая сила — прямо ему в глаз;

ну, и попортил, то есть, глаз, а он со старостой церковным сейчас к становому, — хочу, дескать, суд по форме.

Во время рассказа судья — что ваши петербургские актеры! — все становится серьезнее, глаза эдакие сделает страшные, и ни слова.

Мужик видит и бледнеет, ставит шляпу у ног и вынимает полотенце, чтоб обтереть пот. Судья все молчит и в книжке листочки перевертывает.

— Так вот я, батюшка, к тебе и пришел, — говорит мужик не своим голосом.

— Чего ж я могу сделать тут? Экая причина! И зачем же это прямо в глаз?

— Точно, батюшка, зачем… враг попутал.

— Жаль, очень жаль! Из чего дом должен погибнуть! Ну, что семья без тебя останется? Все молодежь, а внучата — мелкота, да и старушку-то твою жаль.

У мужика начинают ноги дрожать.

— Да что же, отец родной, к чему же это я себя угодил?

— Вот, Ермолай Григорьич, читай сам… или того, грамота-то не далась? Ну, вот видишь «о членовредителях» статья… «Наказавши плетьми, сослать в Сибирь на поселенье».

— Не дай разориться человеку! Не погуби хри-

стианина! Разве нельзя как?..

— Экой ты какой! Разве супротив закона можно идти? Конечно, все — дело рук человеческих. Ну, вместо тридцати ударов мы назначим эдак пяточек.

— Да, то есть, в Сибирь-то?..

— Не в нашей, братец ты мой, воле.

Тащит мужик из-за пазухи кошелек, вынимает из кошелька бумажку, из бумажки — два-три золотых и с низким поклоном кладет их на стол.

— Это что, Ермолай Григорьевич?

— Спаси, батюшка.

— И полно, полно! Что ты это? Я, грешный человек, иной раз беру благодарность. Жалованье у меня малое, поневоле возьмешь; но принять, так было бы за что. Как я тебе помогу? Добро бы ребро или зуб, а то прямо в глаз! Возьмите денежки ваши назад.

Мужичок уничтожен.

— Разве вот что: поговорить мне с товарищами, да и в губернию отписать? Неравно дело пойдет в палату, там у меня есть приятели, все сделают; ну, только это люди другого сорта, тут тремя лобанчиками не отделаешься.

Мужик начинает приходить в себя.

— Мне, пожалуй, ничего не давай — мне семью

жаль; ну, а тем меньше двух серебьких и предлагать нечего.

— То есть, как пред Богом, ума не приложу, где это достать такую палестину денег — четыреста рублев — время же какое?

— Я-таки и сам думаю, что оно трудновато. Наказанье мы уменьшим — за раскаянье, мол, и приняв в соображенье нетрезвый вид… Ведь и в Сибири люди живут. Тебе же не Бог весть как далеко идти… Конечно, если продать парочку лошадок, да одну из коров, да барашков, оно, может, и хватит. Да скоро ли потом в крестьянском деле сколотишь столько денег! А с другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себе куда Макар телят не гонял. Подумай, Григорьич, время терпит, пообождем до завтра, а мне пора, — прибавляет судья и кладет в карман лобанчики, от которых отказался, говоря: — Это вовсе лишнее, я беру, только чтоб вас не обидеть.

На другое утро, глядь, старый жид тащит разными крестовиками да старинными рублями рублев триста пятьдесят ассигнациями к судье.

Судья обещает печься об деле; мужика судят, судят, стращают, а потом и выпустят с каким-нибудь легким наказанием или с советом впредь

в подобных случаях быть осторожным, или с отметкой «оставить в подозрении», и мужик всю жизнь молит Бога за судью.

— Вот как делали встарь, — приговаривал отрешенный от дел исправник, — начистоту.

…Вятские мужики вообще не очень выносливы. Зато их и считают чиновники ябедниками и беспокойными. Настоящий клад для земской полиции — это вотяки, мордва, чуваши; народ жалкий, робкий, бездарный. Исправники дают двойной окуп губернаторам за назначение их в уезды, населенные финнами.

Полиция и чиновники делают невероятные вещи с этими бедняками.

Землемер ли едет с поручением через вотскую деревню, он непременно в ней останавливается, берет с телеги астролябию, вбивает шест, протягивает цепь. Через час вся деревня в смятении. «Межемерия, межемерия!» — говорят мужики с тем видом, с которым в 12 году говорили: «Француз, француз!»

Является староста поклониться с миром. А тот все меряет и записывает. Он его просит не обмерить, не обидеть. Землемер требует двадцать, тридцать рублей. Вотяки радехоньки, собирают деньги — и землемер едет до следующей вотской

деревни.

Попадется ли мертвое тело исправнику со становым, они его возят две недели, пользуясь морозом, по вотским деревням, и в каждой говорят, что сейчас подняли и что следствие и суд назначены в их деревне. Вотяки откупаются.

За несколько лет до моего приезда исправник, разохотившийся брать выкупы, привез мертвое тело в большую русскую деревню и требовал, помнится, двести рублей. Староста собрал мир; мир больше ста не давал. Исправник не уступал. Мужики рассердились, заперли его с двумя писарями в волостном правлении и, в свою очередь, грозили их сжечь. Исправник не поверил угрозе. Мужики обложили избу соломой и как ультиматум подали исправнику на шесте в окно сторублевую ассигнацию. Героический исправник требовал еще сто. Тогда мужики зажгли с четырех сторон солому, и все три Муция Сцеволы земской полиции сгорели. Дело это было потом в сенате.

Вотские деревни вообще гораздо беднее русских.

— Плохо, брат, ты живешь, — говорил я хозяину-вотяку, дожидаясь лошадей в душной, черной и покосившейся избушке, поставленной окнами

назад, т. е. на двор.

— Что, бачка, делать? Мы бедна, деньга бережем на черная дня.

— Ну, чернее мудрено быть дню, старинушка, — сказал я ему, наливая рюмку рому, — выпей-ка с горя.

— Мы не пьем, — отвечал вотяк, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня.

— Полно, ну-тка бери.

— Выпей сама прежде.

Я выпил, и вотяк выпил.

— А ты что? — спросил он, — с губерния, по делу?

— Нет, — отвечал я, — проездом, еду в Вятку.

Это его значительно успокоило, и он, осмотревшись на все стороны, прибавил в виде пояснения:

— Черной дня, когда исправник да *non* приедут.

Вот о последнем-то я и хочу рассказать вам кое-что. Поп у нас превращается более и более в духовного квартального, как и следует ожидать от византийского смирения нашей церкви и от императорского первосвятительства.

Финское население долею приняло крещение в допетровские времена, долею было окрещено

в царствование Елизаветы и долею осталось в язычестве. Большая часть крещеных при Елизавете тайно придерживается своей печальной, дикой религии[168].

Года через два-три исправник или становой отправляются с попом по деревням ревизовать, кто из вотяков говел, кто нет и почему нет. Их теснят, сажают в тюрьму, секут, заставляют платить требы; а главное, поп и исправник ищут какое-нибудь доказательство, что вотяки не оставили своих прежних обрядов. Тут духовный сыщик и земский миссионер подымают бурю, берут огромный окуп, делают «черная дня», потом уезжают, оставляя все по-старому, чтоб иметь случай через год-другой снова поехать с розгами и крестом.

В 1835 году святейший синод счел нужным поапостольствовать в Вятской губернии и обра-

---

[168] Сноски: 168

Все молитвы их сводятся на материальную просьбу о продолжении их рода, об урожае, о сохранении стада и больше ничего. «Дай, Юмала, чтоб от одного барана родилось два, от одного зерна родилось пять, чтоб у моих детей были дети». В этой неуверенности в *земной* жизни и хлебе насущном есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Диавол (шайтан) почитается наравне с Богом. Я видел сильный пожар в одном селе, в котором жители были перемешаны — русские и вотяки. Русские таскали вещи, кричали, хлопотали — особенно между ними отличался целовальник. Пожар остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмик и плакали навзрыд, ничего не делая.

тить черемисов-язычников в православие.

Это обращение — тип всех великих улучшений, делаемых русским правительством, фасад, декорация, blague[169], ложь, пышный отчет: кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут.

Митрополит Филарет отрядил миссионером бойкого священника. Его звали Курбановским. Снедаемый русской болезнью — честолюбием, Курбановский горячо принялся за дело. Во что б то ни стало он решился втеснить благодать Божию черемисам. Сначала он попробовал проповедовать, но это ему скоро надоело. И, в самом деле, много ли возьмешь этим старым средством?

Черемисы, смекнувши, в чем дело, прислали своих священников, диких, фанатических и ловких. Они, после долгих разговоров, сказали Курбановскому:

— В лесу есть белые березы, высокие сосны и ели, есть тоже и малая мозжуха. Бог всех их терпит и не велит мозжухе быть сосной. Так вот и мы меж собой, как лес. Будьте вы белыми березами, мы останемся мозжухой; мы вам не мешаем, *за царя молимся,* подать платим и рекрутов ста-

---

[169] Сноски: 169
бахвальство (*фр.*).

вим, а святыне своей изменить не хотим[170].

Курбановский увидел, что с ними не столкуешь и что доля Кирилла и Мефодия ему не удается. Он обратился к исправнику. Исправник обрадовался донельзя; ему давно хотелось показать свое усердие к церкви — он был некрещеный татарин, то есть правоверный магометанин, по названию Девлет-Кильдеев.

Исправник взял с собой команду и поехал осаждать черемисов словом Божиим. Несколько деревень были окрещены. Апостол Курбановский отслужил молебствие и отправился смиренно получать камилавку. Апостолу-татарину правительство прислало владимирский крест за распространение христианства!

По несчастию, татарин-миссионер был не в ладах с муллою в Малмыже. Мулле совсем не нравилось, что правоверный сын Корана так успешно проповедует Евангелие. В Рамазан исправник, отчаянно привязавши крест в петлицу, явился в мечети и, разумеется, стал впереди всех. Мулла только было начал читать в нос Коран, как вдруг остановился и сказал, что он не смеет

---

[170] Сноски: 170

Подобный ответ (если Курбановский его не выдумал) был некогда сказан крестьянами в Германии, которых хотели обращать в католицизм.

продолжать в присутствии *правоверного*, пришедшего в мечеть с христианским знамением.

Татары зароптали, исправник смешался и куда-то спрятался или снял крест.

Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Кильдеева. По несчастию, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм.

Перед окончанием моей вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой наглости, что над ним назначили следственную комиссию, которая разослала ревизоров по губерниям. С этого началось введение нового управления государственными крестьянами.

Губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось мне тут прочесть! — и печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением.

«Дело о потери *неизвестно* куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного

мышами».

«Дело о потери *двадцати двух* казенных оброчных статей», т. е. верст пятнадцати земли.

«Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».

Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски.

Отец этого предполагаемого Василья пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв «под хмельком», окрестил девочку Васильем и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику, говоря, что он пропустил десятилетнюю давность. Мужик пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой… Тут уж както завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плотских различий, выступил

на сцену, и дело длилось годы и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужеского пола.

Не думайте, что это нелепое предположение сделано мною для шутки; вовсе нет, это совершенно сообразно духу русского самодержавия.

При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать».

Это еще лучше моей Василисы-Василья. Что значит грубый факт жизни перед высочайшим приказом? Павел был поэт и диалектик само-

властья!

Как ни грязно и ни топко в этом болоте приказных дел, но прибавлю еще несколько слов. Эта гласность — последнее, слабое вознаграждение страдавшим, погибнувшим без вести, без утешения.

Правительство дает охотно в награду высшим чиновникам пустопорожние земли. Вреда в этом большого нет, хотя умнее было бы сохранить эти запасы для умножающегося населения. Правила, по которым велено отмежевывать земли, довольно подробны; нельзя давать берегов судоходной реки, строевого леса, обоих берегов реки; наконец, ни в каком случае не велено выделять земель, обработанных крестьянами, хотя бы крестьяне не имели никаких прав на эти земли, кроме давности…[171]

Все это, разумеется, на бумаге. На деле отмежевание земель в частное владение — страшный источник грабежа казны и притеснения крестьян.

---

[171] Сноски: 171

В Вятской губернии крестьяне особенно любят переселяться. Очень часто в лесу открываются вдруг три-четыре *починка.* Огромные земли и леса (до половины уже сведенные) увлекают крестьян брать эту res nullius <ничью вещь (*лат.*)>, бесполезно остающуюся. Министерство финансов несколько раз вынуждено было утверждать землю за захватившими.

Благородные вельможи, получающие аренды, обыкновенно или продают свои права купцам, или стараются через губернское начальство завладеть, вопреки правилам, чем-нибудь особенным. Сам граф Орлов *случайно* получил в надел дорогу и пастбища, на которых останавливаются гурты в Саратовской губернии.

Дивиться, стало быть, нечему, что одним добрым утром у крестьян Даровской волости Котельнического уезда отрезали землю вплоть до гуменников и домов и отдали в частное владение купцам, купившим аренду у какого-то родственника графа Канкрина. Купцы положили наемную плату за землю. Из этого началось дело. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкрина, запутала дело. Но крестьяне решились его вести настойчиво; они выбрали двух толковых мужиков и отправили их в Петербург. Дело пошло в сенат. Межевой департамент догадался, что мужики правы, но не знал, что делать, и спросил Канкрина. Канкрин просто признал, что земля неправильно отрезана, но считал затруднительным возвратить ее, потому что она с тех пор *могла* быть перепродаваема, и что владельцы оной *могли сделать* разные улучшения. А потому его сиятельство положило,

пользуясь большим количеством казенных земель, наделить крестьян полным количеством с другой стороны. Это понравилось всем, кроме крестьян. Во-первых, шуточное ли дело вновь разработывать поля? Во-вторых, земля с другой стороны оказалась неудобною, болотистою. Так как крестьяне Даровской волости больше занимались хлебопашеством, чем охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу.

Тогда казенная палата и министерство финансов отделили новое дело от прежнего и, найдя закон, в котором сказано, что если попадется неудобная земля, идущая в надел, то не вырезывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велели дать даровским крестьянам к болоту еще полболота.

Крестьяне снова подали в сенат, но пока их дело дошло до разбора, межевой департамент прислал им планы на новую землю, как водится, переплетенные, раскрашенные, с изображением звезды ветров, с приличными объяснениями ромба RRZ и ромба ZZR, а главное — с требованием такой-то подесятинной платы. Крестьяне, увидев, что им не только не отдают земли, но хотят с них слупить деньги за болото, начисто отказались платить.

Исправник донес Тюфяеву. Тюфяев послал военную экзекуцию под начальством вятского полицмейстера. Тот приехал, схватил несколько человек, пересек их, усмирил волость, взял деньги, предал *виновных* уголовному суду и неделю говорил хриплым языком от крику. Несколько человек были наказаны плетьми и сосланы на поселенье.

Через два года наследник проезжал Даровской волостью, крестьяне подали ему просьбу, он велел разобрать дело. По этому случаю я составлял из него докладную записку. Что вышло путного из этого пересмотра — я не знаю. Слышал я, что сосланных воротили, но воротили ли землю — не слыхал.

В заключение упомяну о знаменитой истории картофельного бунта и о том, как Николай приобщал к благам петербургской цивилизации — кочующих цыган.

Русские крестьяне неохотно сажали картофель, как некогда крестьяне всей Европы: как будто инстинкт говорил народу, что это дрянная пища, не дающая ни сил, ни здоровья. Впрочем, у порядочных помещиков и во многих казенных деревнях «земляные яблоки» саживались гораздо прежде картофельного террора. Но русскому пра-

вительству то-то и противно, что делается само собою. Все надобно, чтоб делалось из-под палки, по флигельману, по темпам.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии засеяли картофелем поля. Когда картофель был собран, министерству пришло в голову завести по волостям центральные ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и в начале зимы мужики скрепя сердце повезли картофель в центральные ямы. Но когда следующей весной их хотели заставить сажать *мерзлый* картофель, они отказались. Действительно, не могло быть оскорбления более дерзкого труду, как приказ делать явным образом нелепость. Это возражение было представлено как бунт. Министр Киселев прислал из Петербурга чиновника; он, человек умный и практический, взял в первой волости по рублю с души и позволил не сеять картофельные выморозки.

Чиновник повторил это во второй и в третьей. Но в четвертой голова ему сказал наотрез, что он картофель сажать не будет, ни денег ему не даст. «Ты, — говорил он ему, — освободил таких-то и таких-то; ясное дело, что и нас должен освободить».

Чиновник хотел дело кончить угрозами и роз-

гами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернатор послал казаков. Соседние волости вступились за своих.

Довольно сказать, что дело дошло до пушечной картечи и ружейных выстрелов. Мужики оставили домы, рассыпались по лесам; казаки их выгоняли из чащи, как диких зверей; тут их хватали, ковали в цепи и отправляли в военно-судную комиссию в Козьмодемьянск.

По странной случайности старый майор внутренней стражи был честный, простой человек; он добродушно сказал, что всему виною чиновник, присланный из Петербурга. На него все опрокинулись, его голос подавили, заглушили, его запугали и даже застыдили тем, что он хочет «погубить невинного человека».

Ну, и следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег и целую толпу сослали в Сибирь.

Замечательно, что Киселев проезжал по Козьмодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть в военную комиссию или позвать к себе майора.

Он этого не сделал!

…Знаменитый Тюрго, видя ненависть французов к картофелю, разослал всем откупщикам, поставщикам и другим подвластным лицам картофель на посев, строго запретив давать крестьянам. С тем вместе он сообщил им тайно, чтоб они не препятствовали крестьянам красть на посев картофель. В несколько лет часть Франции обсеялась картофелем.

Tout bien pris[172], ведь это лучше картечи, Павел Дмитриевич?

К Вятке прикочевал в 1836 году табор цыган и расположился на поле. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая с незапамятных времен свою вольную бродячую жизнь, с вечным ученым медведем и ничему не учеными детьми, с коновалами, гаданьем и мелким воровством. Они спокойно пели песни и крали кур, но вдруг губернатор получил высочайшее повеление, буде найдутся цыгане *беспаспортные* (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта, и это очень хорошо знали и Николай и его люди), то дать им такой-то срок, чтоб они приписались там, где их застанет указ, к сельским, городским обществам.

---

[172] Сноски: 172
Приняв все во внимание (*фр.*).

По прошествии же данного срока предписывалось *всех* годных к военной службе отдать в солдаты, *остальных* отправить на поселение, *отобрав детей* мужеского пола.

Этот безумный указ, напоминающий библейские рассказы о избиениях и наказаниях целых пород и всех к стене мочащихся, сконфузил самого Тюфяева. Он объявил цыганам нелепый указ, написал в Петербург о невозможности исполнения. Для того чтоб приписываться, надобны деньги, надобно согласие обществ, которые тоже даром не захотят принять цыган, и притом следует еще предположить, что сами цыгане хотят ли именно тут поселиться. Взяв все это во внимание, Тюфяев — и тут нельзя ему не отдать справедливости — представлял министерству о том, чтоб им дать льготы и отсрочки.

Министр отвечал предписанием по истечении срока привести в исполнение навуходоносоровское распоряжение. Скрепя сердце послал Тюфяев команду, которой велел окружить табор; когда это было сделано, явилась полиция с гарнизонным батальоном, и что тут, говорят, было — это трудно себе представить. Женщины с растрепанными волосами, с криком и слезами, в каком-то безумии бегали, валялись в ногах у полиции,

седые старухи цеплялись за сыновей. Но порядок восторжествовал, и колчевский полицмейстер забрал детей, забрал рекрут, остальных отправили по этапам куда-то на поселение.

Но когда отобрали детей, возник вопрос, куда их деть? и на какие деньги содержать?

Прежде при приказах общественного призрения были воспитательные домы, ничего не стоившие казне. Но прусское целомудрие Николая их уничтожило, как вредные для нравственности. Тюфяев дал вперед своих денег и спросил министра. Министры никогда и ни за чем не останавливаются — велели отдать малюток, впредь до распоряжения, на попечение стариков и старух, призираемых в богадельне.

Маленьких детей поместить с умирающими стариками и старухами и заставить их дышать воздухом смерти, и поручить ищущим покоя старикам — уход за детьми даром…

Поэты!

Чтоб не прерываться, расскажу я здесь историю, случившуюся года полтора спустя с владимирским старостою моего отца. Мужик он был умный, бывалый, ходил в извозе, сам держал несколько троек и лет двадцать сидел старостой небольшой оброчной деревеньки.

В тот год, в который я жил в Владимире, соседние крестьяне просили его сдать за них рекрута; он явился в город с будущим защитником отечества на веревке и с большой самоуверенностью, как мастер своего дела.

— Это, батюшка, — говорил он, расчесывая пальцами свою обкладистую белокурую бороду с проседью, — все дело рук человеческих. В запрошлом году нашего малого ставили, был такой плохенький, ледащий, мужички больно опасались, что не сойдет. Ну, я и говорю: «А что примерно, православные, прикладу положите? Немазано колесо не вертится». Мы так потолковали промеж себя, мир-то и определил двадцать пять золотых. Приезжаю я в губернию и, поговоривши в казенной палате, иду прямо к председателю — человек, батюшка, был он умный и меня давненько знал. Велел он позвать меня в кабинет, а у самого ножка болит, так изволит лежать на софе. Я ему все представил, а он мне в ответ со смехом: «Ладно, ладно, ты толкуй, — сколько *оных*-то привез? Ты ведь жидомор, знаю я тебя». Я положил на стол десять лобанчиков и поклонился в пояс — они их так в ручку взяли и поигрывают. «А, что, — говорит, — не мне ведь одному платить-то надо, что же ты еще привез?»

Я докладываю: с десяток, мол, еще наберется. «Ну, — говорит, — куда же ты их денешь? Сам считай: лекарю два, военному приемщику два, письмоводителю, ну, там на всякое угощение все же больше трех не выйдет, — так ты уж остальные мне додай, а я постараюсь уладить дельце».

— Ну, что же, ты дал?

— Вестимо, что дал — ну, и забрили лоб оченно хорошо.

Обученный такому округлению счетов, привыкнувший к такого рода сметам, а вероятно, и к пяти золотым, о судьбе которых он умолчал, староста был уверен в успехе. Но много несчастий может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекрутскому набору в Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему с своими лобанчиками и арапчиками. По несчастию, наш граф, как героиня в «Нулине», был воспитан «не в отеческом законе», а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил, вбежал письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существовании людей в мундире, которые бы

не брали взяток, до того растерялся, что не запер-ся, не начал клясться и божиться, что никогда денег не давал, что если только хотел этого, так чтоб лопнули его глаза и росинка не попала бы в рот. Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаиваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил и тем его обидел.

Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина, и желая, вероятно, искоренить in Rußland[173] взятки, наказать порок и поставить целебный пример, написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили в острог и отдали под суд. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку, дело было скверное, и старосту надобно было спасти во что б ни стало.

Я бросился к губернатору — он отказался вступать в это дело; председатель и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигель-адъютанта, качали головой. Сам фли-

---

[173] Сноски: 173
в России (*нем.*).

гель-адъютант первый, сменив гнев на милость, говорил, что он «никакого зла сделать старосте не хочет, что он хотел его проучить, *что пусть его посудят да и отпустят».* Когда я это рассказывал полицмейстеру, тот мне заметил: «То-то и есть, что все эти господа не знают дела; прислал бы его просто ко мне, я бы ему, дураку, вздул бы спину, — не суйся, мол, в воду, не спросясь броду, — да и отпустил бы его восвояси, — все бы и были довольны; а теперь поди, расчихивайся с палатой».

Два суждения эти так ловко и ярко выражают русское имперское понятие о праве, что я не мог их позабыть.

Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденции староста попал в средний, в самый глубокий омут, т. е. в уголовную палату. Через несколько месяцев заготовили решение, в силу которого старосту, наказавши плетьми, отправляли в Сибирь на поселение. Явился ко мне его сын, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мне было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнувшего. Поехал я снова к председателю и советникам, снова стал им доказывать, что они себе причиняют вред, наказывая так строго

старосту; что они сами очень хорошо знают, что ни одного дела без взяток не кончишь; что, наконец, им самим нечего будет есть, если они, как истинные христиане, не будут находить, что всяк дар совершен и всякое даяние благо. Прося, кланяясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достиг в половину моей цели. Старосту присудили к наказанию несколькими ударами плетью в стенах острога, с оставлением на месте жительства и с воспрещением ходатайствовать по делам за других крестьян.

Я веселее вздохнул, увидя, что губернатор и прокурор согласились, и отправился в полицию просить об облегчении силы наказания; полицейские, отчасти польщенные тем, что я сам пришел их просить, отчасти жалея мученика, пострадавшего за такое близкое каждому дело, сверх того зная, что он мужик зажиточный, обещали мне сделать одну проформу.

Через несколько дней явился как-то утром староста, похудевший и еще более седой, нежели был. Я заметил, что при всей радости он был что-то грустен и под влиянием какой-то тяжелой мысли.

— О чем ты кручинишься? — спросил я его.

— Да что, уж разом бы все порешили.

— Ничего не понимаю.

— Да, то есть, когда же наказывать-то будут?

— А тебя не наказывали?

— Нет.

— Как же тебя выпустили? Ты ведь идешь домой?

— Домой-то домой — да вот о наказании-то думается, секлетарь именно читал.

Я ничего в самом деле не понимал и наконец спросил его, дали ли ему какой-нибудь вид. Он подал мне его. В нем было написано все решение и в конце сказано, что, учинив, по указу уголовной палаты, наказание плетьми в стенах тюремного замка, «выдать ему оное свидетельство и из замка освободить».

Я расхохотался.

— Да ведь уже ты наказан!

— Нет, батюшка, нет.

— Ну, если недоволен, ступай назад, проси, чтоб наказали, может, полиция взойдет в твое положение.

Видя, что я смеюсь, улыбнулся и старик, сумнительно качая головой и приговаривая:

— Поди ты, вон, эки чудеса!

«Экой беспорядок», — скажут многие; но пусть же они вспомнят, что только этот беспо-

рядок и делает возможною жизнь в России.

Глава XVI
Александр Лаврентьевич Витберг

Середь этих уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью.

Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутав его в судебные проделки и следственные полицейские уловки, но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада.

Разорив, опозорив А. Л. Витберга, Николай его сослал в Вятку. Там мы встретились с ним.

Два года с половиной я прожил с великим художником и видел, как, под бременем гонений и несчастий, разлагался этот сильный человек, павший жертвою приказно-казарменного самовластия, тупо меряющего все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой.

Нельзя сказать, чтоб он легко сдался, он отчаянно боролся целых десять лет, он приехал в ссылку еще в надежде одолеть врагов, оправдаться, он приехал, словом, еще готовый на борьбу, с планами и предположениями. Но тут он разглядел, что все кончено.

Может быть, он сладил бы и с этим открытием, но возле стояла жена, дети, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишений, и Витберг седел, седел, старел, старел не по дням, а по часам. Когда я его оставил в Вятке через два года, он был десятью годами старше.

Вот повесть этого длинного мученичества.

Император Александр не верил своей победе над Наполеоном, ему было тяжело от славы, и он откровенно относил ее к Богу. Всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызения совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном.

Когда «последний неприятельский солдат переступил границу», Александр издал манифест, в котором давал обет воздвигнуть в Москве огромный храм во имя Спасителя.

Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурс.

Витберг был тогда молодым художником, окончившим курс и получившим золотую медаль за живопись. Швед по происхождению, он родился в России и сначала воспитывался в горном кадетском корпусе. Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист; артист читает манифест, читает вызовы — и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступной мыслию, она сильнее его, он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает.

Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окрестности и снова работает, месяцы целые скрываясь от глаз и скрывая свой проект.

Пришло время конкурса. Проектов было много, были проекты из Италии и из Германии, наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж в числе прочих. Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были сорок дней в пустыне, дни искуса, сомнений и мучительного ожидания.

Колоссальный, исполненный религиозной поэзии проект Витберга поразил Александра. Он

остановился перед ним и об нем первом спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика академии.

Александр захотел видеть Витберга. Долго говорил он с художником. Смелый и одушевленный язык его, действительное вдохновение, которым он был проникнут, и мистический колорит его убеждений поразили императора. «Вы камнями говорите», — заметил он, снова рассматривая проект.

В тот же день проект был утвержден и Витберг назначен строителем храма и директором комиссии о постройке. Александр не знал, что вместе с лавровым венком он надевает и терновый на голову артиста.

Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество; отвлеченное, геометрическое, немо-музыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония; здание ищет обитателя, это — очерченное, расчищенное место, это — обстановка, броня черепахи,

раковина моллюска, — именно в том-то и дело, чтоб содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцырь черепахе. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатлено божество, обитающее в нем, так, как извивы мозга отпечатлеваются на костяном черепе.

Египетские храмы были их священные книги. Обелиски — проповеди на большой дороге.

Соломонов храм — построенная Библия, так, как храм святого Петра — построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого.

Самое построение храмов было всегда так полно мистических обрядов, иносказаний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма и составляли между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство.

Собственно мистический характер зодчество теряет с веками Восстановления. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка — с греческим фронтоном, духовная святыня — с светской красотой. Поэтому-то храм

св. Петра и имеет такое высокое значение: в его колоссальных размерах христианство рвется в жизнь, церковь становится языческая, и Бонарроти рисует на стене Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, Геркулесом в цвете лет и силы.

После храма св. Петра зодчество церквей совсем пало и свелось наконец на простое повторение в разных размерах то древних греческих *периптеров,* то церкви св. Петра.

Один Парфенон назвали церковью св. Магдалины в Париже. Другой — биржей в Нью-Йорке.

Без веры и без особых обстоятельств трудно было создать что-нибудь живое; все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые *судки* с луковками вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строит Николай с Тоном, или как угловатые готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города.

Но именно обстоятельства, при которых Витберг сочинил свой проект, его личность и настроение императора Александра выходили из ряда вон.

Война 1812 года сильно потрясла умы в России,

долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся мысли и нервное раздражение. События вне России, взятие Парижа, история ста дней, ожидания, слухи, Ватерлоо, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственникам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой, — все это сильно действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе артиста-юношу, мистика, художника, одаренного творческой силой и притом фанатика, под влиянием совершающегося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения.

Близ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой, небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелется у их подошвы, с их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица; здесь явился перед ним иерей Сильвестр и строгим словом пересоздал на двадцать лет гениального изверга.

Эту гору обогнул Наполеон с своей армией, тут переломилась его сила, от подошвы Воробьевых

гор началось отступление.

Можно ли было найти лучше место для храма в память 1812 года как дальнейшую точку, до которой достигнул неприятель?

Но это еще мало, надобно было самую гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство.

Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен.

Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделабрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году, вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы, по стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых.

На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма, — храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний.

Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выражавшейся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом.

Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелких подробностей и везде совершенно последовательно христианской теодицее и архитектурному изяществу.

Удивительный человек, он всю жизнь работал над своим проектом. Десять лет подсудимости он занимался только им; гонимый бедностью и нуждой в ссылке, он всякий день посвящал несколько

часов своему храму. Он жил в нем, он не верил, что его не будут строить: воспоминания, утешения, слава — все было в этом портфеле артиста.

Быть может, когда-нибудь другой художник, после смерти страдальца, стряхнет пыль с этих листов и с благочестием издаст этот архитектурный мартиролог, за которым прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освещенная ярким светом и затертая, раздавленная потом, попавшись между царем-фельдфебелем, крепостными сенаторами и министрами-писцами.

Проект был гениален, страшен, безумен — оттого-то Александр его выбрал, оттого-то его и следовало исполнить. Говорят, что гора не могла вынести этого храма. Я не верю этому. Особенно, если мы вспомним все новые средства инженеров в Америке и Англии, эти туннели в восемь минут езды, цепные мосты и пр.

Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. На это кто-то заметил графу, что провоз из Финляндии будет очень дорого стоить.

— Именно поэтому-то и надобно их выписать, — отвечал он. — Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить.

Милорадович был воин-поэт и потому понимал вообще поэзию. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.

Одна природа делает великое даром.

Главное обвинение, падающее на Витберга со стороны даже тех, которые никогда не сомневались в его чистоте, — зачем он принял место директора, — он, неопытный артист, молодой человек, ничего не смысливший в канцелярских делах? Ему следовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.

Но такие обвинения легко поддерживать, сидя у себя в комнате. Он именно потому и принял, что был молод, неопытен, артист; он принял потому, что после принятия его проекта ему казалось все легко; он принял потому, что сам царь предлагал ему, ободрял его, поддерживал. У кого не закружилась бы голова?.. Где эти трезвые люди, умеренные, воздержные? Да если и есть, то они не делают колоссальных проектов и не заставляют «говорить каменья»!

Само собою разумеется, что Витберга окружила толпа плутов, людей, принимающих Россию — за аферу, службу — за выгодную сделку, место — за счастливый случай нажиться. Не трудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают

яму. Но для того чтоб он, упавши в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтоб к воровству прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других.

Товарищами Витберга в комиссии были: митрополит Филарет, московский генерал-губернатор, сенатор Кушников; все они вперед были разобижены товариществом с молокососом, да еще притом смело говорящим свое мнение и возражающим, если не согласен.

Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потом.

Этому способствовало сначала падение мистического министерства князя А. Н. Голицына, потом смерть Александра.

Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые, в лице Магницкого в Казани и Рунича в Петербурге, дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и Бог знает каких чудес.

С своей стороны, дикое, грубое, невежественное православие взяло верх. Его проповедовал новгородский архимандрит Фотий, живший в какой-то — разумеется, не телесной — бли-

зости с графиней Орловой. Дочь знаменитого Алексея Григорьевича, задушившего Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотию и его обители большую часть несметного именья, насильственно отнятого у монастырей Екатериной, и предаваясь неистовому изуверству.

Но в чем петербургское правительство постоянно, чему оно не изменяет, как бы ни менялись его начала, его религия, — это несправедливое гонение и преследования. Неистовство Руничей и Магницких обратилось на Руничей и Магницких. Библейское общество, вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религии, — сегодня закрыто, запечатано и поставлено на одну доску чуть не с фальшивыми монетчиками; «Сионский вестник», вчера рекомендованный всем отцам семейства, запрещен больше Вольтера и Дидро, и его издатель Лабзин сослан в Вологду.

Падение князя А. Н. Голицына увлекло Витберга, все опрокидывается на него, комиссия жалуется, митрополит огорчен, генерал-губернатор недоволен. Его ответы «дерзки» (в его деле *дерзость* поставлена в одно из главных обвинений); его подчиненные *воруют*, — как будто кто-нибудь, находящийся на службе в России,

не ворует. Впрочем, вероятно, что у Витберга воровали больше, чем у других: он не имел никакой привычки заведовать смирительными домами и классными ворами.

Александр велел Аракчееву разобрать дело. Ему было жаль Витберга, он передал ему через одного из своих приближенных, что он уверен в его правоте.

Но Александр умер, и Аракчеев пал. Дело Витберга при Николае приняло тотчас худший вид. Оно тянулось *десять* лет с невероятными нелепостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатом. Пункты, в которых оправдывает палата, ставятся в вину сенатом. Комитет министров принимает все обвинения. Государь, пользуясь «лучшей привилегией царей — миловать и уменьшать наказания», прибавляет к приговору — ссылку на Вятку.

Итак, Витберг отправился в ссылку, отрешенный от службы «за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущербы, нанесенные казне»; на него насчитывают миллион, кажется, рублей, берут все именье, продают все с публичного торга и распускают слух, что он перевел видимо-невидимо денег в Америку.

Я жил с Витбергом в одном доме два года и после остался до самого отъезда постоянно в сношениях с ним. Он не спас насущного куска хлеба; семья его жила в самой страшной бедности.

Для характеристики этого дела и всех подобных в России я приведу две небольшие подробности, которые у меня особенно остались в памяти.

Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова; прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырублена, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен в острог за это дело и умер там.

Второе дело было перед моими глазами. Витберг скупал именья для храма. Его мысль состояла в том, чтоб помещичьи крестьяне, купленные с землею для храма, обязывались выставлять известное число работников, — этим способом они приобретали полную волю себе и деревне. Забавно, что наши сенаторы-помещики находили в этой мере какое-то невольничество!

Между прочим, Витберг хотел купить именье

моего отца в Рузском уезде, на берегу Москвы-реки. В деревне был найден мрамор, и Витберг просил дозволение сделать геологическое исследование, чтоб определить количество его. Отец мой позволил. Витберг уехал в Петербург.

Месяца через три отец мой узнает, что ломка камня производится в огромном размере, что озимые поля крестьян завалены мрамором; он протестует, его не слушают. Начинается упорный процесс. Сначала хотели все свалить на Витберга, но, по несчастию, оказалось, что он не давал никакого приказа и что все это было сделано комиссией во время его отсутствия.

Дело пошло в сенат. Сенат решил, к *общему удивлению,* довольно близко к *здравому смыслу:* наломанный камень оставить помещику, считая ему его в вознаграждение за помятые поля; деньги, истраченные казной на ломку и работу, до ста тысяч ассигнациями, взыскать с подписавших контракт о работах. Подписавшиеся были: князь Голицын, Филарет и Кушников. Разумеется — крик, шум. Дело довели до государя.

У него своя юриспруденция. Он велел освободить виновных от платежа, потому, написал он собственноручно, как и напечатано в сенатской записке, что «члены комиссии не знали, что

подписывали». Положим, что митрополит по ремеслу должен оказывать смирение, а каковы другие-то вельможи, которые приняли подарок, так учтиво и милостиво мотивированный!

Но откуда же было взять сто тысяч? Казенное добро, говорят, ни на огне не горит, ни в воде не тонет, — оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тут задумываться — сейчас генерал-адъютанта на почтовых в Москву разбирать дело.

Стрекалов все разобрал, привел в порядок, уладил и кончил в несколько дней: камень у помещика взять за сумму, заплаченную за ломку; впрочем, если помещик хочет оставить, взыскать с него сто тысяч. Особого вознаграждения помещику потому не следует, что ценность его имения возвысилась открытием новой отрасли богатства (ведь это chef-d'œuvre![174]), а впрочем, за помятые крестьянские поля *выдать* по закону о затопленных лугах и потравленных сенокосах, утвержденному Петром I, столько-то копеек с десятины.

Собственно, наказанный в этом деле был мой отец. Не нужно добавлять, что ломка этого камня

---

[174] Сноски: 174
шедевр (*фр.*).

в процессе все-таки поставлена на счет Витберга.

…Года через два после ссылки Витберга вятское купечество вознамерилось построить новую церковь.

Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасад, *высочайше* утвержденных. Кто бы ни хотел строить церковь, он должен непременно выбрать один из казенных планов. Говорят, что он же запретил писать русские оперы, находя, что даже писанные в III отделении собственной канцелярии флигель-адъютантом Львовым никуда не годятся. Но это еще мало — ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов.

Вятское купечество, перебирая «апробованные» планы, имело смелость не быть согласным со вкусом государя. Проект вятского купечества удивил Николая, он утвердил его и велел предписать губернскому начальству, чтоб при исполнении не исказили мысли архитектора.

— Кто делал этот проект? — спросил он статс-секретаря.

— Витберг, в. в.

— Как, тот Витберг?

— Тот самый, в. в.

И вот Витбергу, как снег на голову, — разрешение возвратиться в Москву или Петербург. Человек просил позволение оправдаться — ему отказали; он сделал удачный проект — государь велел его воротить, как будто кто-нибудь сомневался в его художественной способности…

В Петербурге, погибая от бедности, он сделал последний опыт защитить свою честь. Он вовсе не удался. Витберг просил об этом князя А. Н. Голицына, но князь не считал возможным поднимать снова дело и советовал Витбергу написать пожалобнее письмо к наследнику с просьбой о денежном вспомоществовании. Он обещался с Жуковским похлопотать и сулил рублей тысячу серебром.

Витберг отказался.

В 1846, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Витберга. Он совершенно гибнул, даже его прежний гнев против его врагов, который я так любил, стал потухать; надежд у него не было больше, он ничего не делал, чтоб выйти из своего положения, ровное отчаяние докончило его, существование сломилось на всех составах. Он ждал смерти.

Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен.

Жив ли страдалец — не знаю, но сомневаюсь.

— Если б не семья, не дети, — говорил он мне, прощаясь, — я вырвался бы из России и пошел бы по миру; с моим владимирским крестом на шее спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр, — рассказывая им мой проект и судьбу художника в России!

Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе, *я тебе за это отвечаю.*

Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке. Серьезная ясность и некоторая торжественность в манерах придавали ему что-то духовное. Он был очень чистых нравов и вообще скорее склонялся к аскетизму, чем к наслаждениям; но его строгость ничего не отнимала от роскоши и богатства его артистической натуры. Он умел своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колорит, что возражение замирало на губах, жаль было анализировать, разлагать мерцающие образы и туманные картины его фантазии.

Мистицизм Витберга лежал долею в его скандинавской крови; это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видим в Шведенборге, похожая в свою очередь на огненное отражение солнечных лучей, падающих на ледя-

ные горы и снега Норвегии.

Влияние Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы, и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии.

Но именно в ту эпоху, когда я жил с Витбергом, я более, чем когда-нибудь, был расположен к мистицизму.

Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу, и вместе гнетущее чувство раскаяния, — все это помогало Витбергу.

И еще года два после я был под влиянием идей мистически-социальных, взятых из Евангелия и Жан-Жака, на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру.

Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. В 1833 он начинал писать текст для Гебелевой[175] оратории «Потерянный рай». «В идее потерянного рая, — писал мне Огарев, —

---

[175] Сноски: 175
Гебель — известный композитор того времени.

заключается вся история человечества!» Стало быть, в то время и он *отыскиваемый рай* идеала принимал за утраченный.

Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы. В одних я представлял борьбу древнего мира с христианством, тут Павел, входя в Рим, воскрешал мертвого юношу к новой жизни. В других — борьбу официальной церкви с квекерами и отъезд Уильяма Пена в Америку, в Новый Свет[176].

Мистицизм науки вскоре заменил во мне — евангельский мистицизм; по счастью, отделался я и от второго.

Но возвратимся в наш скромный Хлынов-городок, переименованный, не знаю зачем, разве

---

[176] Сноски: 176

Я эти сцены, не понимая почему, вздумал написать *стихами*. Вероятно, я думал, что всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам Погодин писал им. В 1839 или 40 году я дал обе тетрадки Белинскому и спокойно ждал похвал. Но Белинский на другой день прислал мне их с запиской, в которой писал: «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов, я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи».

Убил Белинский обе попытки драматических сцен. Долг красен платежами. В 1841 Белинский поместил в «Отечественных записках» длинный разговор о литературе. «Как тебе нравится моя последняя статья?» — спросил он меня, обедая en petit comité <в тесной компании (*фр.*)> у Дюссо. «Очень, — отвечал я, — все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак?» —

«И в самом деле так, — сказал, помирая со смеху, Белинский, — ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!»

из финского патриотизма, Екатериной II в Вятку.

В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученный со всем дорогим, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук.

Где вы? Что с вами, подснежные друзья мои? Двадцать лет мы не видались. Чай, состарелись и вы, как я, дочерей выдаете замуж, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчиком на ножке наливку. Кто из вас разбогател, кто разорился, кто в чинах, кто в параличе? А главное, жива ли у вас память об наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и *негодованием?*

Я остался тот же, вы это знаете; чай, долетают до вас вести с берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас, всегда с любовью; у меня есть несколько писем того времени, некоторые из них мне ужасно дороги, и я люблю их перечитывать.

«Я не стыжусь тебе признаться, — писал мне 26 января 1838 один юноша, — что мне очень горько теперь. Помоги мне ради той жизни, к которой призвал меня, помоги мне своим советом. *Я хочу учиться,* назначь мне книги, назначь что

хочешь, я употреблю все силы, дай мне ход, — на тебе будет грех, если ты оттолкнешь меня».

«Я тебя благословляю, — пишет мне другой, вслед за моим отъездом, — как земледелец благословляет дождь, оживотворивший его неудобренную почву».

Не из суетного чувства выписал я эти строки, а потому, что они мне очень дороги. За эти юношеские призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную в них *тоску* можно было примириться с девятимесячной тюрьмой и трехлетней жизнию в Вятке.

А тут два раза в неделю приходила в Вятку московская почта; с каким волнением дожидался я возле почтовой конторы, пока разберут письма, с каким трепетом ломал печать и искал в письме из дома, нет ли маленькой записочки на тонкой бумаге, писанной удивительно мелким и изящным шрифтом.

И я не читал ее в почтовой конторе, а тихо шел домой, отдаляя минуту чтения, наслаждаясь одной мыслию, что письмо *есть.*

Эти письма все сохранились. Я их оставил в Москве. Ужасно хотелось бы перечитать их, и страшно коснуться…

Письма — больше, чем воспоминанья, на них

запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.

…Нужно ли еще раз знать, видеть, касаться сморщившимися от старости руками до своего венчального убора?..

Глава XVII

Наследник в Вятке. – Падение Тюфяева. – Перевод во Владимир. – Исправник на следствии.

Наследник будет в Вятке! Наследник едет по России, чтоб себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала всех, но всех более, разумеется, губернатора. Он затормошился и наделал ряд невероятных глупостей: велел мужикам по дороге быть одетыми в праздничные кафтаны, велел в городах перекрасить заборы и перечинить тротуары. В Орлове бедная вдова, владелица небольшого дома, объявила городничему, что у нее нет денег на поправку тротуара, городничий донес губернатору. Губернатор велел у нее разобрать полы (тротуары там деревянные), а буде недостанет, сделать поправку на казен-

ный счет и взыскать потом с нее деньги, хотя бы для этого следовало продать дом с публичного торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали.

Верстах в пятидесяти от Вятки находится место, на котором явилась новогородцам чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новогородцы поселились в Хлынове (Вятке), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти верстах от Вятки; новогородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обет, если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку, кажется, 23 мая. Это главный летний праздник в Вятской губернии. За сутки отправляется икона на богатом дощанике по реке, с нею архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, дощаников, комяг, наполненных крестьянами и крестьянками, вотяками, мещанами, пестро двигаются за плывущим образом. И впереди всех — губернаторская расшива, покрытая красным сукном. Дикое зрелище это очень недурно. Десятки тысяч народа из близких и дальних уездов ждут образа на Великой реке. Все это кочует шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннее, толпы некрещеных вотя-

ков и черемис, даже татар, приходят молиться иконе. Зато и праздник имеет чисто языческий вид. За монастырской стеной вотяки, русские приносят на жертву баранов и телят, их тут же бьют, иеромонах читает молитвы, благословляет и святит мясо, которое подают в особое окно с внутренней стороны ограды. Мясо это раздают по кускам народу. Встарь давали его даром, теперь монахи берут несколько копеек за каждый кусок. Так что мужик, подаривший целого теленка, должен истратить грош-другой, чтоб получить кусок себе на снедь. На монастырском дворе сидят целые толпы нищих, калек, слепых, всяких уродов, которые хором поют «Лазаря». Молодые поповичи и мещанские мальчики сидят на надгробных памятниках около церкви с чернильницей и кричат: «Кому памятцы писать? Кому памятцы?» Бабы и девки окружают их, сказывая имена, мальчишки, ухарски скрыпя пером, повторяют: «Марью, Марью, Акулину, Степаниду, отца Иоанна, Матрену, — ну-тка, тетушка, твоих, твоих-то — вишь, отколола грош, меньше пятака взять нельзя: родни-то, родни-то — Иоанна, Василису, Иону, Марью, Евпраксею, младенца Катерину…»

В церкве толкотня и странные предпочтения,

одна баба передает соседу свечку с точным поручением поставить «гостю», другая — «хозяину». Вятские монахи и дьяконы постоянно пьяны во все время этой процессии. Они по дороге останавливаются в больших деревнях, и мужики их потчуют на убой.

Вот этот-то народный праздник, к которому крестьяне привыкли веками, переставил было губернатор, желая им потешить наследника, который должен был приехать 19 мая; что за беда, кажется, если Николай-*гость* тремя днями раньше придет к *хозяину?* На это надобно было согласие архиерея; по счастию, архиерей был человек сговорчивый и не нашел ничего возразить против губернаторского намерения отпраздновать 23 мая 19-го.

Ряд ловких мер своих для приема наследника губернатор послал к государю, — посмотрите, мол, как сынка угощаем. Государь, прочитавши, взбесился и сказал министру внутренних дел: «Губернатор и архиерей дураки, оставить праздник как был». Министр намылил голову губернатору, синод — архиерею, и Николай-гость остался при своих привычках.

Между разными распоряжениями из Петербурга велено было в каждом губернском городе

приготовить выставку всякого рода произведений и изделий края и расположить ее по трем царствам природы. Это разделение по царствам очень затруднило канцелярию и даже отчасти Тюфяева. Чтоб не ошибиться, он решился, несмотря на свое неблагорасположение, позвать меня на совет.

— Ну, например, мед, — говорил он, — куда принадлежит мед? Или золоченая рама — как определить, куда она относится?

Увидя из моих ответов, что я имею удивительно точные сведения о трех царствах природы, он предложил мне заняться расположением выставки.

Пока я занимался размещением деревянной посуды и вотских нарядов, меда и чугунных решеток, а Тюфяев продолжал брать свирепые меры для вящего удовольствия «его высочества», оно изволило прибыть в Орлов, и громовая весть об аресте орловского городничего разнеслась по городу. Тюфяев пожелтел и как-то неверно начал ступать ногами.

Дней за пять до приезда наследника в Орлов городничий писал Тюфяеву, что вдова, у которой пол сломали, шумит, и что купец такой-то, богатый и знаемый в городе человек, похваля-

ется, что все наследнику скажет. Тюфяев насчет его распорядился очень умно: он велел городничему заподозрить его сумасшедшим (пример Петровского ему понравился) и представить для свидетельства в Вятку; пока бы дело длилось, наследник уехал бы из Вятской губернии, тем дело и кончилось бы. Городничий все исполнил; купец был в вятской больнице.

Наконец наследник приехал. Сухо поклонился Тюфяеву, не пригласил его и тотчас послал доктора Енохина свидетельствовать арестованного купца. Все ему было известно. Орловская вдова свою просьбу подала, другие купцы и мещане рассказали все, что делалось. Тюфяев еще на два градуса перекосился. Дело было не хорошо. Городничий прямо сказал, что он на все имел письменные приказания от губернатора.

Доктор Енохин уверял, что купец совершенно здоров. Тюфяев был потерян.

В восьмом часу вечера наследник с свитой явился на выставку, Тюфяев повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то *царе* Тохтамыше. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их.

Вид наследника не выражал той узкой стро-

гости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие и вялость. Ему было около двадцати лет, но он уже начинал толстеть.

Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы, без хриплого, отрывистого тона Константина Павловича, без отцовской привычки испугать слушающего до обморока.

Когда он уехал, Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать, как я попал в Вятку, их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику об моем положении, и действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. Государь отвечал, что это было бы несправедливо относительно других сосланных, но, взяв во внимание представление наследника, велел меня перевести во Владимир, это было географическое улучшение: семьсот верст меньше. Но об этом после.

Вечером был бал в благородном собрании. Музыканты, нарочно выписанные с одного из заводов, приехали мертвецки пьяные; губернатор распорядился, чтоб их заперли за сутки до бала и прямо из полиции конвоировали на хоры, от-

куда не выпускали никого до окончания бала.

Бал был глуп, неловок, слишком беден и слишком пестр, как всегда бывает в маленьких городках при чрезвычайных случаях. Полицейские суетились, чиновники в мундирах жались к стене, дамы толпились около наследника в том роде, как дикие окружают путешественников… Кстати, об дамах. В одном городке был приготовлен после выставки «гуте»[177]. Наследник ничего не брал, кроме одного персика, которого кость он бросил на окно. Вдруг из толпы чиновников отделяется высокая фигура, налитая спиртом, земского заседателя, известного забулдыги, который мерными шагами отправляется к окну, берет кость и кладет ее в карман.

После бала или *гуте* заседатель подходит к одной из значительных дам и предлагает высочайше обглоданную косточку; дама в восхищенье. Потом он отправляется к другой, потом к третьей — все в восторге.

Заседатель купил пять персиков, вырезал косточки и осчастливил шесть дам. У кого настоящая? Все подозревают истинность своей косточки…

---

[177] Сноски: 177
угощение (*фр.* goûter).

Тюфяев, после отъезда наследника, приготовлялся с стесненным сердцем променять пашалык[178] на сенаторские кресла — но вышло хуже.

Недели через три почта привезла из Петербурга бумаги на имя «управляющего губернией». В канцелярии все переполошилось. Регистратор губернского правления прибежал сказать, что у них получен указ. Правитель дел бросился к Тюфяеву, Тюфяев сказался больным и не поехал в присутствие.

Через час мы узнали, он был отставлен — sans phrase[179].

Весь город был рад падению губернатора; управление его имело в себе что-то удушливое, нечистое, затхло-приказное, и, несмотря на то, все-таки гадко было смотреть на ликование чиновников.

Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря. Людская подлость и тут показалась не меньше, как при падении Наполеона, несмотря на разницу диаметров. Все последнее время я был с ним в открытой ссоре, и он непременно

---

[178] Сноски: 178
административный округ, управляемый пашой (*тур.* paşalik).

[179] Сноски: 179
без всяких разговоров (*фр.*).

услал бы меня в какой-нибудь заштатный город Кай, если б его не прогнали самого. Я удалялся от него, и мне нечего было менять в моем поведении относительно его. Но другие, вчера снимавшие шляпу, завидя его карету, глядевшие ему в глаза, улыбавшиеся его шпицу, потчевавшие табаком его камердинера, — теперь едва кланялись с ним и кричали во весь голос против беспорядков, которые он делал *вместе с ними.* Все это старо и до того постоянно повторяется из века в век и везде, что нам следует эту низость принять за общечеловеческую черту и по крайней мере не удивляться ей.

Явился новый губернатор. Это был человек совершенно в другом роде. Высокий, толстый и рыхло-лимфатический мужчина, лет окало пятидесяти, с приятно улыбающимся лицом и с образованными манерами. Он выражался с необычайной грамматической правильностью, пространно, подробно, с ясностью, которая в состоянии была своей излишностью затемнить простейший предмет. Он был ученик Лицея, товарищ Пушкина, служил в гвардии, покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после

приезда.

Перемена была очень резка. Те же комнаты, та же мебель, а на месте татарского баскака с тунгусской наружностью и сибирскими привычками — доктринер, несколько педант, но все же порядочный человек. Новый губернатор был умен, но ум его как-то светил, а не грел, вроде ясного зимнего дня — приятного, но от которого плодов не дождешься. К тому же он был страшный формалист, — формалист не приказный — а как бы это выразить?.. Его формализм был второй степени, но столько же скучный, как и все прочие.

Так как новый губернатор был в самом деле женат, губернаторский дом утратил свой ультрахолостой и полигамический характер. Разумеется, это обратило всех советников к советницам; плешивые старики не хвастались победами «насчет клубники», а, напротив, нежно отзывались о завялых, жестко и угловато костлявых или заплывших жиром до невозможности пускать кровь, супругах своих.

Корнилов был назначен за несколько лет перед приездом в Вятку, прямо из семеновских или измайловских полковников, куда-то гражданским губернатором. Он приехал на воеводство, вовсе

не зная дел. Сначала, как все новички, он принялся все читать, вдруг ему попалась бумага из другой губернии, которую он, прочитавши два раза, три раза, — не понял.

Он позвал секретаря и дал ему прочесть. Секретарь тоже не мог ясно изложить дела.

— Что же вы сделаете с этой бумагой, — спросил его Корнилов, — если я ее передам в канцелярию?

— Отправлю в третий стол, это по третьему столу.

— Стало быть, столоначальник третьего стола знает, что делать?

— Как же, в. п., ему не знать? Он седьмой год правит столом.

— Позовите его ко мне.

Пришел столоначальник. Корнилов, отдавая ему бумагу, спросил, что надобно сделать. Столоначальник пробежал наскоро дело и доложил, что-де в казенную палату следует сделать запрос и исправнику предписать.

— Да что предписать?

Столоначальник затруднился и, наконец, признался, что это трудно так рассказать, а что написать легко.

— Вот стул, прошу вас написать ответ.

Столоначальник принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочил две бумаги.

Губернатор взял их, прочел, прочел раз и два, — ничего понять нельзя.

— Я увидел, — рассказывал он, улыбаясь, — что это действительно был ответ на ту бумагу, — и, благословясь, подписал. Никогда более не было помину об этом деле — бумага была вполне удовлетворительна.

Весть о моем переводе во Владимир пришла перед Рождеством — я скоро собрался и пустился в путь.

С вятским обществом я расстался тепло. В этом дальнем городе я нашел двух-трех искренних приятелей между молодыми купцами.

Все хотели наперерыв показать изгнаннику участие и дружбу. Несколько саней провожали меня до первой станции, и, сколько я ни защищался, в мою повозку наставили целый груз всяких припасов и вин. — На другой день я приехал в Яранск.

От Яранска дорога идет бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные, небольшие пошевни неслись по узенькой дороге. Таких лесов я после никогда не видал, они идут таким образом, не прерываясь, до Архангель-

ска, изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частию строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их черные хвои, как щетина, — и заснешь, и опять проснешься, а полки сосен все идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах: домишко, потерянный за деревьями, лошади привязаны к столбу, бубенчики позванивают, два-три черемисских мальчика в шитых рубашках выбегут заспанные, ямщик-вотяк каким-то сиплым альтом поругается с товарищем, покричит «айда», запоет песню в две ноты… и опять сосны, снег — снег, сосны…

При самом выезде из Вятской губернии мне еще пришлось проститься с чиновническим миром, и он pour la clôture[180] явился во всем блеске.

Мы остановились у станции, ямщик стал откладывать, высокий мужик показался в сенях и спросил:

— Кто проезжает?

— А тебе что за дело?

— А то дело, что исправник велел узнать, а я —

---

[180] Сноски: 180
на прощание (*фр.*).

рассыльный при земском суде.

— Ну, так ступай же в станционную избу, там моя подорожная.

Мужик ушел и через минуту воротился, говоря ямщику:

— Не давать ему лошадей.

Это было через край. Я соскочил с саней и пошел в избу. Полупьяный исправник сидел на лавке и диктовал полупьяному писарю. На другой лавке в углу сидел или, лучше, лежал человек с скованными ногами и руками. Несколько бутылок, стаканы, табачная зола и кипы бумаг были разбросаны.

— Где исправник? — сказал я громко, входя.

— Исправник здесь, — отвечал мне полупьяный Лазарев, которого я видел в Вятке. При этом он дерзко и грубо уставил на меня глаза — и вдруг бросился ко мне с распростертыми объятиями.

Надобно при этом вспомнить, что после смены Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошие отношения с новым губернатором, начали меня побаиваться.

Я остановил его рукою и спросил очень серьезно:

— Как вы могли велеть, чтоб мне не давали лошадей? Что это за вздор — на большой дороге

останавливать проезжих?

— Да я пошутил, помилуйте — как вам не стыдно сердиться! Лошадей, вели лошадей, что ты тут стоишь, разбойник? — закричал он рассыльному. — Сделайте одолжение, выкушайте чашку чаю с ромом.

— Покорно благодарю.

— Да нет ли у нас шампанского?.. –

Он бросился к бутылкам — все были пусты.

— Что вы тут делаете?

— Следствие-с — вот молодчик-то топором убил отца и сестру родную из-за ссоры да по ревности.

— Так это вы вместе и пируете?

Исправник замялся. Я взглянул на черемиса, он был лет двадцати, ничего свирепого не было в его лице, совершенно восточном, с узенькими, сверкающими глазами, с черными волосами.

Все это вместе так было гадко, что я вышел опять на двор. Исправник выбежал вслед за мной, он держал в одной руке рюмку, в другой бутылку рома и приставал ко мне, чтоб я выпил.

Чтобы отвязаться от него, я выпил. Он схватил меня за руку и сказал:

— Виноват, ну, виноват, что делать! Но я надеюсь, вы не скажете об этом его превосходительству, не погубите благородного человека.

При этом исправник *схватил мою руку и поцеловал* ее, повторяя десять раз:

— Ей-богу, не погубите благородного человека.

Я с отвращением отдернул руку и сказал ему:

— Да ступайте вы к себе, нужно мне очень рассказывать.

— Да чем же бы мне услужить вам?

— Посмотрите, чтоб поскорее закладывали лошадей.

— Живей, — закричал он, — айда, айда! — и сам стал подергивать какие-то веревки и ремешки у упряжи.

Случай этот сильно врезался в мою память. В 1846 году, когда я был в последний раз в Петербурге, нужно мне было сходить в канцелярию министра внутренних дел, где я хлопотал о пассе. Пока я толковал с столоначальником, прошел какой-то господин… дружески пожимая руку магнатам канцелярии, снисходительно кланяясь столоначальникам. «Фу, чорт возьми, — подумал я, — да неужели это он?»

— Кто это?

— Лазарев — чиновник особых поручений при министре и в большой силе.

— Был он в Вятской губернии исправником?

— Был.

— Поздравляю вас, господа, девять лет тому назад он целовал мне руку.

Перовский мастер выбирать людей!

Глава XVIII
Начало владимирской жизни

…Когда я вышел садиться в повозку в Козьмодемьянске, сани были заложены по-русски: тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке, коренная в дуге весело звонила колокольчиком.

В Перми и Вятке закладывают лошадей гуськом: одну перед другой или две в ряд, а третью впереди.

Так сердце и стукнуло от радости, когда я увидел нашу упряжь.

— Ну-тка, ну-тка, покажи нам свою прыть, — сказал я молодому парню, лихо сидевшему на облучке в нагольном тулупе и несгибаемых рукавицах, которые едва ему дозволяли настолько сблизить пальцы, чтобы взять пятиалтынный из моих рук.

— Уважим-с, уважим-с. Эй вы, голубчики! Ну, барин, — сказал он, обращаясь вдруг ко мне, — ты только держись, туда гора, так я коней-то пущу.

Это был крутой съезд к Волге, по которой шел

зимний тракт.

Действительно, коней он пустил. Сани не ехали, а как-то целиком прыгали справа налево и слева направо, лошади мчали под гору, ямщик был смертельно доволен да, грешный человек, и я сам, — русская натура.

Так въезжал я на почтовых в 1838 год — в лучший, в самый светлый год моей жизни. Расскажу вам нашу первую встречу с ним.

Верстах в восьмидесяти от Нижнего взошли мы, т. е. я и мой камердинер Матвей, обогреться к станционному смотрителю. На дворе было очень морозно и к тому же ветрено. Смотритель, худой, болезненный и жалкой наружности человек, записывал подорожную, сам себе диктуя каждую букву и все-таки ошибаясь. Я снял шубу и ходил по комнате в огромных меховых сапогах, Матвей грелся у каленой печи, смотритель бормотал, деревянные часы постукивали разбитым и слабым звуком…

— Посмотрите, — сказал мне Матвей, — скоро двенадцать часов, ведь Новый год-с. Я принесу, — прибавил он, полувопросительно глядя на меня, — что-нибудь из запаса, который нам в Вятке поставили. — И, не дожидаясь ответа, бросился доставать бутылки и какой-то кулечек.

Матвей, о котором я еще буду говорить впоследствии, был больше, нежели слуга, он был моим приятелем, меньшим братом. Московский мещанин, отданный Зонненбергу, с которым мы тоже познакомимся, на изучение переплетного искусства, в котором, впрочем, Зонненберг не был особенно сведущ, он перешел ко мне.

Я знал, что мой отказ огорчил бы Матвея, да и сам, в сущности, ничего не имел против почтового празднества... Новый год — своего рода станция.

Матвей принес ветчину и шампанское.

Шампанское оказалось замерзнувшим вгустую; ветчину можно было рубить топором, она вся блистала от льдинок; но à la guerre comme à la guerre[181].

«С Новым годом! С новым счастьем!..» В самом деле, с новым счастьем. Разве я не был на возвратном пути? Всякий час приближал меня к Москве, — сердце было полно надежд.

Мороженое шампанское не то чтоб слишком нравилось смотрителю — я прибавил ему в вино полстакана рома. Это новое half-and-half[182] име-

---

[181] Сноски: 181
на войне как на войне (*фр.*).

[182] Сноски: 182
смесь двух напитков в равных количествах (*англ.*).

ло большой успех.

Ямщик, которого я тоже пригласил, был еще радикальнее: он насыпал перцу в стакан пенного вина, размешал ложкой, выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил: «Славно огорчило!»

Смотритель сам усадил меня в сани и так усердно хлопотал, что уронил в сено зажженную свечу и не мог ее потом найти. Он был очень в духе и повторял:

— Вот и меня вы сделали с Новым годом… вот и с Новым годом!

Огорченный ямщик тронул лошадей…

На другой день, часов в восемь вечера, приехал я во Владимир и остановился в гостинице, чрезвычайно верно описанной в «Тарантасе», с своей курицей «с рысью», хлебенным — патише[183] и с уксусом вместо бордо.

— Вас спрашивал какой-то человек сегодня утром, он, никак, дожидается в полпивной, — сказал мне, прочитав в подорожной мое имя, половой с тем ухарским пробором и отчаянным виском, которым отличались прежде одни русские половые, а теперь — половые и Людо-

---

[183] Сноски: 183
пирожным (*искаж. фр.* pâtisserie).

вик-Наполеон.

Я не мог понять, кто бы это мог быть.

— Да вот и они-с, — прибавил половой, сторонясь. Но явился сначала не человек, а страшной величины поднос, на котором было много всякого добра: кулич и баранки, апельсины и яблоки, яйца, миндаль, изюм… а за подносом виднелась седая борода и голубые глаза старосты из владимирской деревни моего отца.

— Гаврило Семеныч! — вскрикнул я и бросился его обнимать. Это был *первый* человек из *наших,* из прежней жизни, которого я встретил после *тюрьмы и ссылки.* Я не мог насмотреться на умного старика и наговориться с ним. Он был для меня представителем близости к Москве, к дому, к друзьям, он три дня тому назад всех видел, ото всех привез поклоны… Стало, не так-то далеко!

Губернатор Курута, умный грек, хорошо знал людей и давно успел охладеть к добру и злу. Мое положение он понял тотчас и не делал ни малейшего опыта меня притеснять. О канцелярии не было и помину, он поручил мне с одним учителем гимназии заведовать «Губернскими ведомостями» — в этом состояла вся служба.

Дело это было мне знакомое: я уже в Вятке

поставил на ноги неофициальную часть «Ведомостей» и поместил в нее раз статейку, за которую чуть не попал в беду мой преемник. Описывая празднество на «Великой реке», я сказал, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновскому, в стары годы раздавали бедным, а нынче продают. Архиерей разгневался, и губернатор насилу уговорил его оставить дело.

«Губернские ведомости» были введены в 1837 году. Оригинальная мысль приучать к гласности в стране молчания и немоты пришла в голову министру внутренних дел Блудову. Блудов, известный как продолжатель истории Карамзина, не написавший ни строки далее, и как сочинитель «Доклада следственной комиссии» после 14 декабря, которого было бы лучше совсем не писать, принадлежал к числу государственных доктринеров, явившихся в конце александровского царствования. Это были люди умные, образованные, честные, состарившиеся и выслужившиеся «арзамасские гуси»; они умели писать по-русски, были патриоты и так усердно занимались отечественной историей, что не имели досуга заняться серьезно современностью. Все они чтили незабвенную память Н. М. Карамзина, любили Жуковского, знали на память Крылова

и ездили в Москве беседовать к И. И. Дмитриеву, в его дом на Садовой, куда и я езживал к нему студентом, вооруженный романтическими предрассудками, личным знакомством с Н. Полевым и затаенным чувством неудовольствия, что Дмитриев, будучи поэтом, был министром юстиции. От них много надеялись, они ничего не сделали, как вообще доктринеры всех стран. Может быть, им и удалось бы оставить след более прочный при Александре, но Александр умер, и они остались при своем *желании* делать что-нибудь путное.

В Монако на надгробном памятнике одного из владетельных князей написано: «Здесь покоится Флорестан такой-то — он *хотел* делать добро своим подданным!»[184] Наши доктринеры тоже желали делать добро, если не своим, то подданным Николая Павловича, но счет был составлен без хозяина. Не знаю, кто помешал Флорестану, но им помешал наш Флорестан. Им пришлось быть соприкосновенными во всех ухудшениях России и ограничиваться ненужными нововведениями — переменами форм, названий. Всякий начальник у нас считает высшей обязанностию

---

[184] Сноски: 184

Il a voulu le bien de ses sujets. <Он желал добра своим подданным (*фр.*)>

нет-нет да и представить какой-нибудь проект, изменение, обыкновенно к худшему, но иногда просто безразличное. Секретаря в канцелярии губернатора, например, сочли нужным назвать правителем дел, а секретаря губернского правления оставили без перевода на русский язык. Я помню, что министр юстиции подавал проект о необходимых изменениях мундиров гражданских чиновников. Проект этот начинался как-то величаво и торжественно: «Обратив в особенности внимание на недостаток единства в шитье и покрое некоторых мундиров гражданского ведомства и взяв в основание» и т. д.

Одержимый тою же болезнию проектов, министр внутренних дел *заменил* земских заседателей становыми приставами. Заседатели жили по городам и наезжали в деревни. Становые иногда съезжаются в город, но постоянно живут в деревне. Все крестьяне таким образом были отданы под надзор полиции, и это при полном знании, какое хищное, плотоядное, развратное существо — наш полицейский чиновник. Блудов ввел полицейского в тайны крестьянского промысла и богатства, в семейную жизнь, в мирские дела и через это коснулся последнего убежища народной жизни. По счастию, деревень у нас

очень много, а становых бывает два на уезд.

Почти в то же время тот же Блудов выдумал «Губернские ведомости». У нас правительство, презирая всякую грамотность, имеет большие притязания на литературу; и в то время как в Англии, например, совсем нет казенных журналов, у нас каждое министерство издает свой, академия и университеты — свои. У нас есть журналы горные и соляные, французские и немецкие, морские и сухопутные. Все это издается на казенный счет, подряды статей делаются в министерствах так, как подряды на дрова и свечи, только без переторжки; недостатка в общих отчетах, выдуманных цифрах и фантастических выводах не бывает. Взявши все монополи, правительство взяло и монополь болтовни, оно велело всем молчать и стало говорить без умолку. Продолжая эту систему, Блудов велел, чтоб каждое губернское правление издавало свои «Ведомости» и чтоб каждая «Ведомость» имела свою неофициальную часть для статей исторических, литературных и пр.

Сказано — сделано, и вот пятьдесят губернских правлений рвут себе волосы над неофициальной частью. Священники из семинаристов, доктора медицины, учители гимназии, все люди, состоя-

щие в подозрении образования и уместного употребления буквы Ь, берутся в реквизицию. Они думают, перечитывают «Библиотеку для чтения» и «Отечественные записки», боятся, посягают и, наконец, пишут статейки.

Видеть себя в печати — одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком. Но, тем не меньше, решаться на публичную выставку своих произведений — не легко без особого случая. Люди, которые не смели бы думать о печатании своих статей в «Московских ведомостях», в петербургских журналах, стали печататься у себя дома. А между тем *пагубная* привычка иметь орган, привычка к гласности, укоренилась. Да и совсем готовое орудие иметь недурно. Типографский станок *тоже* без костей!

Товарищ мой по редакции был кандидат нашего университета и одного со мною отделения. Я не имею духу говорить о нем с улыбкой — так горестно он кончил свою жизнь, а все-таки до самой смерти он был очень смешон. Далеко не глупый, он был необыкновенно неуклюж и неловок. Не только полнейшего безобразия трудно было встретить, но и такого большого, т. е. такого растянутого. Лицо его было в полтора больше

обыкновенного и как-то шероховато, огромный рыбий рот раскрывался до ушей, светло-серые глаза были не оттенены, а скорее освещены белокурыми ресницами, жесткие волосы скудно покрывали его череп, и притом он был головою выше меня, сутуловат и очень неопрятен.

Он даже назывался так, что часовой во Владимире посадил его в караульню за его фамилию. Поздно вечером шел он, завернутый в шинель, мимо губернаторского дома; в руке у него был ручной телескоп, он остановился и прицелился в какую-то планету; это озадачило солдата, вероятно, считавшего звезды казенной собственностью.

— Кто идет? — закричал он неподвижно стоявшему наблюдателю.

— Небаба, — отвечал мой приятель густым голосом, не двигаясь с места.

— Вы не дурачьтесь, — ответил оскорбленный часовой, — я в должности.

— Да говорю же, что я Небаба!

Солдат не вытерпел и дернул звонок; явился унтер-офицер, часовой отдал ему астронома, чтоб свести на гауптвахту: там, мол, тебя разберут, баба ты или нет. Он непременно просидел бы до утра, если б дежурный офицер не узнал его.

Раз Небаба зашел ко мне поутру, чтоб сказать, что едет на несколько дней в Москву, при этом он как-то умильно лукаво улыбался.

— Я, — сказал он, заминаясь, — я возвращусь не один!

— Как, вы то есть?

— Да-с, вступаю в законный брак, — ответил он застенчиво.

Я удивлялся героической отваге женщины, решающейся идти за этого доброго, но уж чересчур некрасивого человека. Но когда, через две-три недели, я увидел у него в доме девочку лет восьмнадцати, не то чтоб красивую, но смазливенькую и с живыми глазками, тогда я стал смотреть на него как на героя.

Месяца через полтора я заметил, что жизнь моего Квазимодо шла плохо: он был подавлен горем, дурно правил корректуру, не оканчивал своей статьи «о перелетных птицах» и был мрачно рассеян; иногда мне казались его глаза заплаканными. Это продолжалось недолго. Раз, возвращаясь домой через Золотые ворота, я увидел мальчиков и лавочников, бегущих на погост церкви, полицейские суетились. Пошел и я.

Труп Небабы лежал у церковной стены, а возле ружье. Он застрелился супротив окон своего

дома, на ноге оставалась веревочка, которой он спустил курок. Инспектор врачебной управы плавно повествовал окружающим, что покойник нисколько не мучился; полицейские приготовлялись нести его в часть.

…Куда природа свирепа к лицам! Что и что прочувствовалось в этой груди страдальца прежде, чем он решился своей веревочкой остановить маятник, меривший ему одни оскорбления, одни несчастия. И за что? За то, что отец был золотушен или мать лимфатична? Все это так. Но по какому праву мы требуем справедливости, отчета, причин? у кого? у крутящегося урагана жизни?..

В то же время для меня начался новый отдел жизни… отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью.

Он принадлежит к другой части.

Часть третья
Владимир-на-Клязьме
(1838–1839)

Не ждите от меня длинных повествований о внутренней жизни того времени… Страшные события, всякое горе все же легче кладутся на бумагу, чем воспоминания совершенно светлые и безоблачные… Будто можно рассказывать счастье?

Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем – а я буду говорить о наружной стороне, об обстановке, редко, редко касаясь намеком или словом заповедных тайн своих.

(«Былое и думы»)

Глава XIX
Княгиня и княжна

Когда мне было лет пять-шесть и я очень шалил, Вера Артамоновна говаривала: «Хорошо, хорошо, дайте срок, погодите, я все расскажу кня-

гине, как только она приедет». Я тотчас усмирялся после этой угрозы и умолял ее не жаловаться.

Княгиня Марья Алексеевна Хованская, родная сестра моего отца, была строгая, угрюмая старуха, толстая, важная, с пятном на щеке, с поддельными пуклями под чепцом; она говорила прищуривая глаза и до конца жизни, т. е. до восьмидесяти лет, употребляла немного румян и немного белил. Всякий раз, когда я ей попадался на глаза, она притесняла меня; ее проповедям, ворчанью не было конца, она меня журила за все: за измятый воротничок, за пятно на курточке, за то, что я не так подошел к руке, заставляла подойти другой раз. Окончивши проповедь, она иногда говаривала моему отцу, бравши кончиками пальцев табак из крошечной золотой табатерки: «Ты бы мне, голубчик, отдал баловня-то твоего на выправку, он у меня в месяц сделался бы шелковый». Я знал, что меня не отдадут, а все-таки у меня делался зноб от этих слов.

С летами страх прошел, но дома княгини я не любил — я в нем не мог дышать вольно, мне было у нее не по себе, и я, как пойманный заяц, беспокойно смотрел то в ту, то в другую сторону, чтоб дать стречка.

Княгинин дом вовсе не походил на дом мо-

его отца или Сенатора. Это был старинный, православный русский дом. Дом, в котором соблюдались посты, ходили к заутрени, ставили накануне Крещенья крест на дверях, делали удивительные блины на Масленице, ели буженину с хреном, обедали ровно в два и ужинали в девятом часу. Западная зараза, коснувшаяся братьев и сбившая их несколько с родной колеи, не коснулась житья княгини; она, напротив, с неудовольствием посматривала, как «Ванюша» и «Левушка» испортились в *этой* Франции.

Княгиня жила во флигеле дома, занимаемого ее теткой, княжной Мещерской, девицей лет восьмидесяти.

Княжна была живою и чуть ли не единственною связью множества родственников во всех семи восходящих и нисходящих коленах. Около нее собирались в большие праздники все ближние; она мирила ссорившихся, сближала отдалявшихся, ее все уважали, и она заслуживала это. С ее смертью родственные семьи распались, потеряли свое средоточие, забыли друг друга.

Она окончила воспитание моего отца и его братьев; после смерти их родителей она заведовала их имением до совершеннолетия, она отправила их в гвардию на службу, она выдала замуж их

сестер. Не знаю, насколько она была довольна плодом своего воспитания, образовавши, с помощью французского инженера, Вольтерова родственника, помещиков esprits forts[185], но уважение к себе вселить она умела, и племянники, не очень расположенные к чувствам покорности и уважения, почитали старушку и часто слушались ее до конца ее жизни.

Дом княжны Анны Борисовны, уцелевший каким-то чудом во время пожара 1812, не был поправлен лет пятьдесят; штофные обои, вылинялые и почерневшие, покрывали стены; хрустальные люстры, как-то загорелые и сделавшиеся дымчатыми топазами от времени, дрожали и позванивали, мерцая и тускло блестя, когда кто-нибудь шел по комнате; тяжелая, из цельного красного дерева, мебель, с вычурными украшениями, потерявшими позолоту, печально стояла около стен; комоды с китайскими инкрустациями, столы с медными решеточками, фарфоровые куклы рококо — все напоминало о другом веке, об иных нравах.

В передней сидели седые лакеи, важно и тихо занимаясь разными мелкими работами, а иногда

---

[185] Сноски: 185
вольнодумцев (*фр.*).

читая вполслуха молитвенник или Псалтырь, которого листы были темнее переплета. У дверей стояли мальчики, но и они были скорее похожи на старых карликов, нежели на детей, никогда не смеялись и не подымали голоса.

Во внутренних комнатах царила мертвая тишина; только по временам раздавался печальный крик какаду, несчастный опыт его, картавя, повторить человеческое слово, костяной звук его клюва об жердочку, покрытую жестью, да противное хныканье небольшой обезьяны, старой, осунувшейся, чахоточной, жившей в зале на небольшом выступе изразцовой печи. Обезьяна эта, одетая дебардером[186], в широких красных шароварах, сообщала всей комнате особый запах, чрезвычайно неприятный. В другой зале висело множество фамильных портретов всех величин, форм, времен, возрастов и костюмов. Портреты эти имели для меня особый интерес именно по противуположности оригиналов с изображениями. Молодой человек лет двадцати, в светло-зеленом шитом кафтане, с пудреной головой, вежливо улыбавшийся с холста, — это был мой отец. Девочка с растрепанными кудрями,

[186] Сноски: 186
грузчиком (*фр.* débardeur).

с букетом роз, украшенная мушкой, неумолимо затянутая в какой-то граненый бокал, воткнутый в непомерные фижмы, была грозная княгиня…

Чинность и тишина росли по мере приближения к кабинету. Старые горничные, в белых чепцах с широкой оборкой, ходили взад и вперед с какими-то чайничками так тихо, что их шагов не было слышно; иногда появлялся в дверях какой-нибудь седой слуга в длинном сертуке из толстого синего сукна, но и его шагов также не было слышно, даже свой доклад старшей горничной он делал шевеля губами без всякого звука.

Небольшая ростом, высохнувшая, сморщившаяся, но вовсе не безобразная старушка обыкновенно сидела или, лучше, лежала на большом неуклюжем диване, обкладенная подушками. Ее едва можно было разглядеть; все было белое: капот, чепец, подушки, чехлы на диване. Бледновосковое и кружевно нежное лицо ее вместе с слабым голосом и белой одеждой придавали ей что-то отошедшее, еле-еле дышащее.

Большие английские столовые часы своим мерным, громким спондеем — тик-так — тик-так — тик-так… казалось, отмеривали ей последние четверть часа жизни.

Часу в первом являлась княгиня и важно усаживалась в глубокие кресла, ей было скучно в пустом флигеле своем. Она была вдова, и я еще помню ее мужа; он был небольшого роста, седенький старичок, пивший тайком от княгини настойки и наливки, ничем не занимавшийся путным в доме и привыкнувший к безусловной покорности жене, против которой иногда возмущался на словах, особенно после наливок, но никогда на деле. Княгиня удивлялась потом, как сильно действует на князя Федора Сергеевича крошечная рюмка водки, которую он пил официально перед обедом, и оставляла его покойно играть целое утро с дроздами, соловьями и канарейками, кричавшими наперерыв во все птичье горло; он обучал одних органчиком, других собственным свистом; он сам ездил ранехонько в Охотный ряд менять птиц, продавать, прикупать; он был артистически доволен, когда случалось (да и то по его мнению), что он надул купца… И так продолжал свою полезную жизнь до тех пор, пока раз поутру, посвиставши своим канарейкам, он упал навзничь и через два часа умер.

Княгиня осталась одна. У нее были две дочери; она обеих выдала замуж, обе вышли не по любви,

а только чтоб освободиться от родительского гнета матери. Обе умерли после первых родов. Княгиня была действительно несчастная женщина, но несчастия скорее исказили ее нрав, нежели смягчили его. Она от ударов судьбы стала не кротче, не добрее, а жестче и угрюмее.

Теперь у нее оставались только братья и, главное — княжна. Княжна, с которой она почти не расставалась во всю жизнь, еще больше приблизила ее к себе после смерти мужа. Она не распоряжалась ничем в доме. Княгиня самодержавно управляла всем и притесняла старушку под предлогом забот и внимания.

Около стен, по разным углам постоянно сиживали всякие старухи, приживавшие у княжны или временно кочевавшие в ее доме. Полусвятые и полубродяги, несколько поврежденные и очень набожные, больные и чрезвычайно нечистые, эти старухи таскались из одного старинного дома в другой; в одном доме покормят, в другом подарят старую шаль, отсюда пришлют крупок и дровец, отсюда холста и капусты — концы-то кой-как и сойдутся. Ими везде тяготились, везде их обходили, везде сажали на последнее место и везде принимали от скуки, пустоты, а пуще всего от любви к сплетням. При посторонних

печальные фигуры эти обыкновенно молчали, с завистливой ненавистью поглядывали друг на друга… вздыхая, качали головой, крестились и бормотали себе под нос счет петель, молитвы, а может, и брань. Зато, оставшись наедине с *благодетельницей* и *покровительницей,* они вознаграждали себя за молчание самой предательской болтовней обо всех других благодетельницах, к которым их пускали, где их кормили и дарили.

Они беспрестанно просили что-нибудь у княжны и за ее подарки, делаемые часто тайком от княгини, которая не любила их баловать, приносили ей окаменелые просвиры и собственного изделия шерстяные и вязаные ненужности, которые княжна потом продавала в их же пользу, причем воля покупщика вовсе не бралась в соображение.

Сверх дня рождения, именин и других праздников, самый торжественный сбор родственников и близких в доме княжны был накануне Нового года. Княжна в этот день *поднимала* Иверскую Божию Матерь. С пением носили монахи и священники образ по всем комнатам. Княжна первая, крестясь, проходила под него, за ней все гости, слуги, служанки, старики, дети. После этого все поздравляли ее с наступающим Новым

годом и дарили ей всякие безделицы, как дарят детям. Она ими играла несколько дней, потом сама раздаривала.

Отец мой возил меня всякий год на эту языческую церемонию; все повторялось в том же порядке, только иных стариков и иных старушек недоставало, об них намеренно умалчивали, одна княжна говаривала:

— «А нашего-то Ильи Васильевича и нет, дай ему Бог царство небесное!.. Кого-то в будущий год Господь еще позовет?»

И сомнительно качала головой.

А спондей английских часов продолжал отмеривать дни, часы, минуты… и наконец домерил до роковой секунды. Старушка раз, вставши, как-то дурно себя чувствовала; прошлась по комнатам — все нехорошо; кровь пошла у нее носом и очень обильно; она была слаба, устала, прилегла совсем одетая на своем диване, спокойно заснула… и не просыпалась. Ей было тогда за девяносто лет.

Дом и большую часть именья оставила она княгине, но внутренний смысл своей жизни не передала ей. Княгиня не умела продолжать изящную в своем роде роль прародительницы, патриархальной связи многих нитей. С кончи-

ной княжны все приняло разом, как в гористых местах при захождении солнца, мрачный вид; длинные черные тени легли на все. Она заперла наглухо дом тетки и осталась жить во флигеле, двор порос травой, стены и рамы всё больше и больше чернели; сени, на которых вечно спали какие-то желтоватые неуклюжие собаки, покривились.

Знакомые и родные редели, дом ее пустел, она огорчалась этим, но поправить не умела.

Уцелев одна из всей семьи, она стала бояться за свою ненужную жизнь и безжалостно отталкивала все, что могло физически или морально расстроить равновесие, обеспокоить, огорчить. Боясь прошедшего и воспоминаний, она *удаляла* все вещи, принадлежавшие дочерям, даже их портреты. То же было после княжны — какаду и обезьяна были сосланы в людскую, потом высланы из дома. Обезьяна доживала свой век в кучерской у Сенатора, задыхаясь от нежинских корешков и потешая форейторов.

Эгоизм самохранения страшно черствит старое сердце. Когда болезнь последней дочери ее приняла совершенно отчаянный характер, мать уговорили ехать домой, *и она поехала.* Дома она тотчас велела приготовить разные спирты и ка-

пустные листы (она их привязывала к голове) для того, чтоб иметь под рукой все, что надобно, когда придет *страшная весть.* Она не простилась ни с телом мужа, ни с телом дочери, она их не видала после смерти и не была на похоронах. Когда впоследствии умер Сенатор, ее любимый брат, она догадалась по нескольким словам племянника о том, что случилось, *и просила его* не объявлять ей печальной новости, ни подробности кончины. Как же не жить с этими мерами против собственного сердца — и такого сговорчивого сердца — до восьмого, девятого десятка в полном здоровье и с несокрушимым пищеварением!

Впрочем, напомню в защиту княгини, что это уродливое отдаление всего печального было гораздо больше в ходу у аристократических баловней прошлого века, чем теперь. Знаменитый Кауниц строго запретил под старость, чтоб при нем говорили о чьей-нибудь смерти и об оспе, которой он очень боялся. Когда умер Иосиф II, секретарь, не зная, как доложить Кауницу, решился сказать: «Ныне царствующий император Леопольд». Кауниц понял и, бледный, опустился на кресла, не спросив ничего. Садовник его в разговорах миновал слово «прививка»,

чтоб не напомнить оспы. Наконец о смерти собственного сына он узнал случайно от испанского посланника. А над страусами, которые прячут голову под крыло от опасности, люди смеются!

Для хранения полного покоя своего княгиня учредила особую полицию и начальство над нею вверила искусным рукам.

Сверх кочующих старух, унаследованных от княжны, у княгини жила постоянная «компаньонка». Эту почетную должность занимала здоровая, краснощекая вдова какого-то звенигородского чиновника, надменная своим «благородством» и асессорским чином покойника, сварливая и неугомонная женщина, которая никогда не могла простить Наполеону преждевременную смерть ее звенигородской коровы, погибшей в Отечественную войну 1812 года. Я помню, как она серьезно заботилась после смерти Александра I — какой ширины плерезы ей следует носить по *рангу.*

Женщина эта играла очень неважную роль, пока княжна была жива, но потом так ловко умела приладиться к капризам княгини и к ее тревожному беспокойству о себе, что вскоре заняла при ней точно то место, которое сама княгиня имела при тетке.

Обшитая своими чиновными плерезами, Марья Степановна каталась, как шар, по дому с утра до ночи, кричала, шумела, не давала покоя людям, жаловалась на них, делала следствия над горничными, давала тузы и драла за уши мальчишек, сводила счеты, бегала на кухню, бегала на конюшню, обмахивала мух, терла ноги, заставляла принимать лекарство. Домашние не имели больше доступу к барыне — это был Аракчеев, Бирон, словом, первый министр. Княгиня, чопорная и хотя по-старинному, но все же воспитанная, часто, особенно сначала, тяготилась звенигородской вдовой, ее крикливым голосом, ее рыночными манерами, но вверялась ей больше и больше и с восхищением видела, что Марья Степановна значительно уменьшила и без того не очень важные расходы по дому. Кому княгиня берегла деньги — трудно сказать, у нее не было никого близкого, кроме братьев, которые были вдвое богаче ее.

Со всем тем княгиня, в сущности, после смерти мужа и дочерей скучала и бывала рада, когда старая француженка, бывшая гувернантой при ее дочерях, приезжала к ней погостить недели на две, или когда ее племянница из Корчевы навещала ее. Но все это было мимоходом, изредка,

а скучное с глазу на глаз с компаньонкой не наполняло промежутков.

Занятие, игрушка и рассеяние нашлись очень естественно незадолго перед смертью княжны.

Глава XX
Сирота

В половине 1825 года Химик, принявший дела отца в большом беспорядке, отправил из Петербурга в шацкое именье своих братьев и сестер; он давал им господский дом и содержание, предоставляя впоследствии заняться их воспитанием и устроить их судьбу. Княгиня поехала на них взглянуть. Ребенок восьми лет поразил ее своим грустно-задумчивым видом; княгиня посадила его в карету, привезла домой и оставила у себя.

Мать была рада и отправилась с другими детьми в Тамбов.

Химик согласился — ему было все равно.

— Помни всю жизнь, — говорила маленькой девочке, когда они приехали домой, компаньонка, — помни, что княгиня — *твоя благодетельница,* и молись о продолжении ее дней. Что была бы ты без нее?

И вот в этом отжившем доме, над которым

угрюмо тяготели две неугомонные старухи: одна, полная причуд и капризов, другая — ее беспокойная лазутчица, лишенная всякой деликатности, всякого такта, — явилось дитя, оторванное от всего близкого ему, чужое всему окружающему и взятое от скуки, как берут собачонок или как князь Федор Сергеевич держал канареек.

В длинном траурном шерстяном платье, бледная до синеватого отлива, девочка сидела у окна, когда меня привез через несколько дней отец мой к княгине. Она сидела молча, удивленная, испуганная, и глядела в окно, боясь смотреть на что-нибудь другое.

Княгиня подозвала ее и представила моему отцу. Всегда холодный и неприветливый, он равнодушно потрепал ее по плечу, заметил, что покойный брат сам не знал, что делал, побранил Химика и стал говорить о другом.

У девочки были слезы на глазах; она опять села к окну и опять стала смотреть в него.

Тяжелая жизнь начиналась для нее. Ни одного теплого слова, ни одного нежного взгляда, ни одной ласки; возле, около — посторонние, морщины, пожелтелые щеки, существа потухающие, хилые. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпелива и держала себя слиш-

ком далеко от сироты, чтоб ей в голову пришло приютиться к ней, отогреться, утешиться в ее близости или поплакать. Гости не обращали на нее никакого внимания. Компаньонка сносила ее как каприз княгини, как вещь лишнюю, но которая ей вредить не может; она, особенно при посторонних, даже показывала, что покровительствует ребенку и ходатайствует перед княгиней о ней.

Ребенок не привыкал и через год был столько же чужд, как в первый день, и еще печальнее. Сама княгиня удивлялась его «сериозности» и иной раз, видя, как она часы целые уныло сидит за маленькими пяльцами, говорила ей:

— Что ты не порезвишься, не пробежишь?

Девочка улыбалась, краснела, благодарила, но оставалась на своем месте.

И княгиня оставляла ее в покое, нисколько не заботясь, в сущности, о грусти ребенка и не делая ничего для его развлечения. Приходили праздники, другим детям дарили игрушки, другие дети рассказывали о гуляньях, об обновах. Сироте ничего не дарили. Княгиня думала, что довольно делает для нее, давая ей кров; благо есть башмаки, на что еще куклы! Их, в самом деле, было не нужно — она не умела играть, да

и не с кем было.

Одно существо поняло положение сироты; за ней была приставлена старушка няня, она одна просто и наивно любила ребенка. Часто вечером, раздевая ее, она спрашивала: «Да что же это вы, моя барышня, такие печальные?»

Девочка бросалась к ней на шею и горько плакала, и старушка, заливаясь слезами и качая головой, уходила с подсвечником в руке.

Так шли годы. Она не жаловалась, она не роптала, она только лет двенадцати хотела умереть. «Мне все казалось, — писала она, — что я попала ошибкой в эту жизнь и что скоро ворочусь домой, — но где же был мой дом?.. Уезжая из Петербурга, я видела большой сугроб снега на могиле моего отца; моя мать, оставляя меня в Москве, скрылась на широкой, бесконечной дороге… Я горячо плакала и молила Бога взять меня скорей домой».

«…Мое ребячество было самое печальное, горькое; сколько слез пролито, невидимых никем, сколько раз, бывало, ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смея и молиться не в назначенное время) и просила Бога, чтоб меня кто-нибудь любил, ласкал. У меня не было той забавы или игрушки, которая бы

заняла меня и утешила, потому что ежели и давали что-нибудь, то с упреком и с непременным прибавлением: “Ты этого не стоишь”. Каждый лоскут, получаемый от них, был мною оплакан; потом я становилась выше этого; стремленье к науке душило меня, я ничему больше не завидовала в других детях, как ученью. Многие меня хвалили, находили во мне способности и с состраданием говорили: “Если б приложить руки к этому ребенку!” — “Он дивил бы свет”, — договаривала я мысленно, и щеки мои горели, я спешила идти куда-то, мне виднелись мои картины, мои ученики, — а мне не давали клочка бумаги, карандаша… Стремленье выйти в другой мир становилось все сильнее и сильнее и с тем вместе росло презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым, я повторяла беспрерывно стихи Чернеца:

Вот тайна: дней моих весною
Уж я все горе жизни знал.

Помнишь ли ты, мы как-то были у вас, давно, еще в том доме, ты меня спросил, читала ли я Козлова, и сказал из него именно то же самое место. Трепет пробежал по мне, я улыбнулась, насилу удерживая слезы».

Глубоко грустная нота постоянно звучала в ее груди; вполне она никогда не исключалась, а только иногда умолкала, поглощенная светлой минутой жизни.

Месяца за два до своей кончины, возвращаясь еще раз к своему детству, она писала:

«Кругом было старое, дурное, холодное, мертвое, ложное, мое воспитание началось с упреков и оскорблений, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя…»

Но для такого углубления в самого себя надобно было иметь не только страшную глубь души, в которой привольно нырять, но страшную силу независимости и самобытности. Жить своею жизнию в среде неприязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной могут очень немногие. Иной раз дух не вынесет, иной раз тело сломится.

Сиротство и грубые прикосновения в самый нежный возраст оставили черную полосу на душе, рану, которая никогда не срасталась вполне.

«Я не помню, — пишет она в 1837, — когда бы я свободно и от души произнесла слово “маменька”, к кому бы, беспечно забывая все, склонилась на грудь. С восьми лет *чужая* всем, я люблю мою

мать… но мы не знаем друг друга».

Глядя на бледный цвет лица, на большие глаза, окаймленные темной полоской, двенадцатилетней девочки, на ее томную усталь и вечную грусть, многим казалось, что это одна из предназначенных, ранних жертв чахотки, — жертв, с детства отмеченных перстом смерти, особым знамением красоты и преждевременной думы. «Может, — говорит она, — я и не вынесла бы этой борьбы, если б я не была спасена нашей встречей».

И я так поздно ее понял и разгадал!

До 1834 я все еще не умел оценить это богатое существование, развертывавшееся возле меня, несмотря на то, что девять лет прошло с тех пор, как княгиня представляла ее моему отцу в длинном шерстяном платье. Объяснить это не трудно. Она была дика — я рассеян; мне было жаль дитя, которое все так печально и одиноко сидело у окна, но мы видались очень не часто. Редко, и всякий раз поневоле, ездил я к княгине; еще реже привозила ее княгиня к нам. Визиты княгини производили к тому же почти всегда неприятные впечатления, она обыкновенно ссорилась из-за пустяков с моим отцом, и, не видавшись месяца два, они говорили друг другу

колкости, прикрывая их нежными оборотами, в том роде, как леденцом покрывают противные лекарства. «Голубчик мой», — говорила княгиня. — «Голубушка моя», — отвечал мой отец, и ссора шла своим порядком. Мы всегда радовались, когда княгиня уезжала. Сверх того, не надобно забывать, что я тогда был совершенно увлечен политическими мечтами, науками, жил университетом и товариществом.

Но *чем жила она*, сверх своей грусти, в продолжение этих темных, длинных *девяти годов*, окруженная глупыми ханжами, надменными родственниками, скучными иеромонахами, толстыми попадьями, лицемерно покровительствуемая компаньонкой и не выпускаемая из дома далее печального двора, поросшего травою, и маленького палисадника за домом?

Из приведенных строк уже видно, что княгиня не особенно изубытчивалась на воспитание ребенка, взятого ею. Нравственностью занималась она сама; это преподавание состояло из наружной выправки и из привития целой системы лицемерия. Ребенок должен был быть с утра зашнурован, причесан, навытяжке; это можно бы было допустить в ту меру, в которую оно не вредно здоровью; но княгиня шнуровала вместе

с талией и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство, она требовала улыбку и веселый вид, когда ребенку было грустно, ласковое слово, когда ему хотелось плакать, вид участия к предметам безразличным — словом, постоянной лжи.

Сначала бедную девочку ничему не учили под предлогом, что раннее учение бесполезно; потом, т. е. года через *три* или *четыре*, наскучив замечаниями Сенатора и даже посторонних, княгиня решилась устроить учение, имея в виду наименьшую трату денег.

Для этого она воспользовалась старушкой-гувернантой, которая считала себя обязанной княгине и иногда нуждалась в ней; таким образом французский язык доведен был до последней дешевизны — зато и преподавался à bâtons rompus[187].

Но и русский язык был доведен до того же; для него и для *всего прочего* был приглашен сын какой-то вдовы-попадьи, облагодетельствованной княгиней, разумеется, без особых трат: через ее ходатайство у митрополита двое сыновей попадьи были сделаны соборными священниками.

---

[187] Сноски: 187
кое-как (*фр.*).

Учитель был их старший брат, диакон бедного прихода, обремененный большой семьей; он гибнул от нищеты, был доволен всякой платой и не смел делать условий с благодетельницей братьев.

Что может быть жальче, недостаточнее такого воспитания, а между тем все пошло на дело, все принесло удивительные плоды: так мало нужно для развития, если только есть чему развиться.

Бедный, худой, высокий и плешивый диакон был один из тех восторженных мечтателей, которых не лечат ни лета, ни бедствия, напротив, бедствия их поддерживают в мистическом созерцании. Его вера, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтического оттенка. Между им — отцом голодной семьи — и сиротой, кормимой чужим хлебом, тотчас образовалось взаимное пониманье.

В доме княгини диакона принимали так, как следует принимать беззащитного и к тому же кроткого бедняка, — едва кивая ему головой, едва удостоивая его словом. Даже компаньонка считала необходимым обращаться с ним свысока; а он едва замечал и их самих, и их прием, с любовью давал свои уроки, был тронут понятливостью ученицы и умел трогать ее самое до слез. Это-

го княгиня не могла понять, журила ребенка за плаксивость и была очень недовольна, что диакон расстроивает нервы: «Уж это слишком как-то эдак, совсем не по-детски!»

А между тем слова старика открывали перед молодым существом иной мир, иначе симпатичный, нежели тот, в котором сама религия делалась чем-то кухонным, сводилась на соблюдение постов да на хождение ночью в церковь, где изуверство, развитое страхом, шло рядом с обманом, где все было ограничено, поддельно, условно и жало душу своей узкостью. Диакон дал ученице в руки Евангелие — и она долго не выпускала его из рук. Евангелие была *первая книга,* которую она читала и перечитывала с своей единственной подругой Сашей, племянницей няни, молодой горничной княгини.

Я Сашу потом знал очень хорошо. Где и как умела она развиться, родившись между кучерской и кухней, не выходя из девичьей, — я никогда не мог понять, но развита была она необыкновенно. Это была одна из тех неповинных жертв, которые гибнут незаметно и чаще, чем мы думаем, в людских, раздавленные крепостным состоянием. Они гибнут не только без всякого вознаграждения, сострадания, без светлого дня,

без радостного воспоминания, но не зная, не подозревая сами, что в них гибнет и сколько в них умирает.

Барыня с досадой скажет: «Только начала было девчонка приучаться к службе, как вдруг слегла и умерла…» Ключница семидесяти лет проворчит: «Какие нынче слуги — хуже всякой барышни» — и отправится на кутью и поминки. Мать поплачет, поплачет и начнет попивать — тем дело и кончено.

И мы идем возле, торопясь и не видя этих страшных повестей, совершающихся под нашими ногами, отделываясь важным недосугом, несколькими рублями и ласковым словом. А тут вдруг, изумленные, слышим страшный стон, которым дает о себе весть на веки веков сломившаяся душа, и, как спросонья, спрашиваем, откуда взялась эта душа, эта сила?

Княгиня убила свою горничную, — разумеется, нехотя и бессознательно, — она ее замучила по мелочи, сломила ее, гнувши целую жизнь, она истомила ее унижениями, шероховатым, грубым прикосновением. Она несколько лет не позволяла ей идти замуж и разрешила только тогда, когда разглядела чахотку на ее страдальческом лице.

Бедная Саша, бедная жертва гнусной, прокля-

той русской жизни, запятнанной крепостным состоянием, — смертью ты вышла на волю! И ты еще была несравненно счастливее других: в суровом плену княгининого дома ты встретила друга, и дружба той, которую ты так безмерно любила, проводила тебя заочно до могилы. Много слез стоила ты ей; незадолго до своей кончины она еще поминала тебя и благословляла память твою как единственный светлый образ, явившийся в ее детстве!

…Две молодые девушки (Саша была постарше) вставали рано по утрам, когда все в доме еще спало, читали Евангелие и молились, выходя на двор, под чистым небом. Они молились о княгине, о компаньонке, просили Бога раскрыть их души; выдумывали себе испытания, не ели целые недели мяса, мечтали о монастыре и о жизни за гробом.

Такой мистицизм идет к отроческим чертам, к тому возрасту, где все — еще тайна, все — религиозная мистерия, пробуждающаяся мысль еще неясно светит из-за утреннего тумана, а туман еще не рассеян ни опытом, ни страстью.

В тихие и кроткие минуты я любил слушать потом рассказы об этой детской молитве, которою начиналась одна широкая жизнь и оканчива-

лось одно несчастное существование. Образ *сироты,* оскорбленной грубым благодеянием, и *рабы,* оскорбленной безвыходностью своего положения, молящихся на одичалом дворе о своих притеснителях, наполнял сердце каким-то умилением, и редкий покой сходил на душу.

Это чистое и грациозное явление, никем не оцененное из близких в бессмысленном доме княгини, нашло, сверх диакона и Саши, отзыв и горячее поклонение всей дворни. Простые люди эти видели в ней больше, чем добрую, ласковую барышню, они в ней угадали что-то высшее, перед чем они склонялись, они веровали в нее. Невесты из княгининого дома просили ее приколоть своими руками какую-нибудь ленту, когда шли к венцу. Одна молодая горничная, — помнится, ее звали Еленой, — вдруг занемогла колотьем; открылась сильная плерези[188], надежды спасти ее не было, послали за попом. Девушка, испуганная, спрашивала мать, все ли кончено; мать, рыдая, сказала ей, что Бог ее скоро позовет. Тогда больная, припав к матери, с горькими слезами просила сходить за барышней, чтоб она пришла сама благословить ее образом

[188] Сноски: 188
плеврит (*фр.* pleurésie).

на тот свет. Когда она пришла к ней, больная взяла ее руку, приложила к своему лбу и повторяла: «Молитесь обо мне, молитесь!» Молодая девушка, сама вся в слезах, начала вполслуха молитву — больная отошла в продолжение этого времени. Все в комнате стояли кругом на коленях и крестились; она закрыла ей глаза, поцеловала холодеющий лоб и вышла[189].

Одни сухие и недаровитые натуры не знают этого романтического периода; их столько же жаль, как те слабые и хилые существа, у которых мистицизм переживает молодость и остается навсегда. В *наш* век с реальными натурами этого и не бывает; но откуда могло проникнуть в дом княгини *светское* влияние девятнадцатого столетия? — он был так хорошо законопачен.

---

[189] Сноски: 189

В бумагах моих сохранились несколько писем Саши, писанных между 35 и 36 годами. Саша оставалась в Москве, а подруга ее была в деревне с княгиней; я не могу читать этого простого и восторженного лепета сердца без глубокого чувства. «Неужели это правда, — пишет она, — что вы приедете? Ах, если б вы в самом деле приехали, я не знаю, что со мной бы было. Ведь вы неповерите, чтоб я так часто об вас думала, почти все мои желания, все мои мысли, *все, все, все в вас*... Ах, Наталья Александровна, ведь как вы прекрасны, как милы, как высоки, как — но не могу уж выразить. Право, это не выученные слова, прямо из сердца...»

В другом письме она благодарит за то, что «барышня» часто пишет ей. «Это уж слишком, — говорит она, — впрочем, ведь это *вы, вы»*, и заключает письмо словами: «Все мешают, обнимаю вас, мой ангел, со всею истинной, безмерной любовью. Благословите меня!»

Щель нашлась-таки.

Корчевская кузина иногда гостила у княгини, она любила «маленькую кузину», как любят детей, особенно несчастных, но не знала ее. С изумлением, почти с испугом разглядела она впоследствии эту необыкновенную натуру и, порывистая во всем, тотчас решилась поправить свое невнимание. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое.

— Маленькая кузина, — говорила она мне, — гениальное существо, нам следует ее вести вперед!

«Большая кузина», — и при этом названии я не могу без улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростом, — сообщила разом своей ставленнице все бродившее в ее собственной душе: шиллеровские идеи и идеи Руссо, революционные мысли, взятые у меня, и мечты влюбленной девушки, взятые у самой себя. Потом она ей тайком надавала французских романов, стихов, поэм. Это были большей частию книги, вышедшие после 1830 года. Они, при всех недостатках, сильно будили мысль и крестили огнем и духом юные сердца. В романах и повестях, в поэмах и песнях того времени, с ведома писателя или нет, везде сильно билась социальная артерия, везде обличались общественные раны, везде

слышался стон сгнетенных голодом, невинных каторжников работы; тогда еще этого ропота и этого стона не боялись как преступления.

Само собою разумеется, что «кузина» надавала книг без всякого разбора, без всяких объяснений, и я думаю, что в этом не было вреда; есть организации, которым никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которые всего лучше идут там, где нет решетки.

Вскоре прибавилось другое лицо, продолжавшее светское влияние корчевской кузины. Княгиня наконец решилась взять гувернанту и, чтоб недорого платить, пригласила молодую *русскую* девушку, только что выпущенную из института.

Русские гувернанты у нас нипочем, по крайней мере так еще было в тридцатых годах, а между тем, при всех недостатках, они все же лучше большинства француженок из Швейцарии, бессрочноотпускных лореток и отставных актрис, которые с отчаянья бросаются на воспитание как на последнее средство доставать насущный хлеб, — средство, для которого не нужно ни таланта, ни молодости, ничего, кроме произношения «гррра» и манер d'une dame de

comptoir[190], которые часто у нас по провинциям принимаются за «хорошие» манеры. Русские гувернанты выпускаются из институтов или из воспитательных домов, стало быть, все же имеют какое-нибудь правильное воспитание и не имеют того мещанского pli[191], которое вывозят иностранки.

Нынешних французских воспитательниц не надобно смешивать с теми, которые приезжали в Россию до 1812 года. Тогда и Франция была меньше мещанской и приезжавшие женщины принадлежали совсем другому слою. Долею это были дочери эмигрантов, разорившихся дворян, вдовы офицеров, часто их покинутые жены. Наполеон женил своих воинов в том роде, как наши помещики женят дворовых людей, — не очень заботясь о любви и наклонностях. Он хотел браками сблизить дворянство пороха с старым дворянством; он хотел оболванить своих Скалозубов женами. Привычные к слепому повиновению, они венчались беспрекословно, но вскоре бросали своих жен, находя их слишком чопорными для казарменных и бивачных

---

[190] Сноски: 190
приказчицы (*фр.*).

[191] Сноски: 191
налета (*фр.*).

вечеринок. Бедные женщины плелись в Англию, в Австрию, в Россию. К числу прежних гувернант принадлежала француженка, гащивавшая у княгини. Она говорила с улыбкой, отборным слогом и никогда не употребляла ни одного сильного выражения. Она вся состояла из хороших манер и никогда ни на минуту не забывалась. Я уверен, что она ночью в постеле больше преподавала, как следует спать, нежели спала.

Молодая институтка была девушка умная, бойкая, энергическая, с прибавкой пансионской восторженности и врожденного чувства благородства. Деятельная и пылкая, она внесла в существование ученицы-подруги больше жизни и движения.

Унылая, грустная дружба к увядающей Саше имела печальный, траурный отблеск. Она вместе с словами диакона и с отсутствием всякого развлечения удаляла молодую девушку от мира, от людей. Третье лицо, живое, веселое, молодое и с тем вместе сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на месте; оно стягивало на землю, на действительную, истинную почву.

Сначала ученица приняла несколько наружных форм Эмилии; улыбка чаще стала показываться,

разговор становился живее, но через год времени натуры двух девушек заняли места по удельному весу. Рассеянная, милая Эмилия склонилась перед сильным существом и совершенно подчинилась ученице, видела ее глазами, думала ее мыслями, жила ее улыбкой, ее дружбой.

Перед окончанием курса я стал чаще ходить в дом княгини. Молодая девушка, казалось, радовалась, когда я приходил, иногда вспыхивал огонь на щеках, речь оживлялась, но тотчас потом она входила в свой обыкновенный, задумчивый покой, напоминая холодную красоту изваянья или «деву чужбины» Шиллера, останавливавшую всякую близость.

Это не было ни отчуждение, ни холодность, а внутренняя работа — чужая другим, она еще себе была *чужою* и больше предчувствовала, нежели знала, что в ней. В ее прекрасных чертах было что-то недоконченное, невысказавшееся, им недоставало одной искры, одного удара резцом, который должен был решить, назначено ли ей истомиться, завянуть на песчаной почве, не зная ни себя, ни жизни, или отразить зарево страсти, обняться ею и жить, — может, страдать, даже наверное страдать, *но много жить*.

Печать жизни, выступившей на полудетском

лице ее, я первый увидел накануне долгой разлуки.

Памятен мне этот взгляд, иначе освещенный, и все черты, вдруг изменившие значенье, будто проникнутые иною мыслию, иным огнем… будто тайна разгадана и внутренний туман рассеян. Это было в тюрьме. Десять раз прощались мы, и все еще не хотелось расстаться; наконец, моя мать, приезжавшая с Natalie[192] в Крутицы, решительно встала, чтоб ехать. Молодая девушка вздрогнула, побледнела, крепко, не по своим силам, сжала мне руку и повторила, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы: «Александр, не забывай же сестры».

Жандарм проводил их и принялся ходить взад и вперед. Я бросился на постель и долго смотрел

---

[192] Сноски: 192

Я очень хорошо знаю, сколько аффектации в французском переводе имен, но как быть — имя дело традиционное, как же его менять? К тому же все неславянские имена у нас как-то усечены и менее звучны, — мы, воспитанные отчасти «не в отеческом законе», в нашу молодость «романизировали» имена, предержащие власти «славянизируют» их. С производством в чины и с приобретением силы при дворе меняются буквы в имени; так, например, граф Строганов остался до конца дней *Сергей Григорьевичем,* но князь Голицын всегда назывался *Сергий Михайлович.* Последний пример производства по этой части мы заметили *в известном* по 14 декабрю генерале Ростовцеве: во все царствование Николая Павловича он был Яков, так, как Яков Долгорукий, но с воцарения Александра II он сделался Иаков, так, как брат Божий!

на дверь, на которой исчезло это светлое явление. «Нет, брат твой не забудет тебя», — думал я.

На другой день меня везли в Пермь, но прежде, нежели я буду говорить о разлуке, расскажу, что еще мне мешало перед тюрьмой лучше понять Natalie, больше сблизиться с нею. Я был влюблен!

Да, я был влюблен, и память об этой юношеской, чистой любви мне мила, как память весенней прогулки на берегу моря, середь цветов и песен. Это было сновидение, навеявшее много прекрасного и исчезнувшее, как обыкновенно сновиденья исчезают!

Я говорил уже прежде, что мало женщин было во всем нашем кругу, особенно таких, с которыми бы я был близок; моя дружба, сначала пламенная, к корчевской кузине приняла мало-помалу ровный характер, после ее замужества мы видались реже, потом она уехала. Потребность чувства больше теплого, больше нежного, чем наша мужская дружба, неопределенно бродила в сердце. Все было готово, недоставало только «ее». В одном из знакомых нам домов была молодая девушка, с которой я скоро подружился; странный случай сблизил нас. Она была помолвлена, вдруг вышла какая-то ссора, жених оставил

ее и уехал куда-то на другой край России. Она была в отчаянии, огорчена, оскорблена; с искренним и глубоким участием смотрел я, как горе разъедало ее; не смея заикнуться о причине, я старался рассеять ее, утешить, носил романы, сам их читал вслух, рассказывал целые повести и иногда не приготовлялся вовсе к университетским лекциям, чтоб подольше посидеть с огорченной девушкой.

Мало-помалу слезы ее становились реже, улыбка светилась по временам из-за них; отчаянье ее превращалось в томную грусть; скоро ей сделалось страшно за прошедшее, она боролась с собой и отстаивала его против настоящего из сердечного point d'honneur'а[193], как воин отстаивает знамя, понимая, что сражение потеряно. Я видел эти последние облака, едва задержанные у небосклона, и, сам увлеченный и с бьющимся сердцем, тихо-тихо вынимал из ее рук знамя, а когда она перестала его удерживать, — я был влюблен. Мы верили в нашу любовь. Она мне писала стихи, я писал ей в прозе целые диссертации, а потом мы вместе мечтали о будущем, о ссылке, о казематах, она была на все готова. Внешняя сторона

[193] Сноски: 193
собственного понятия о чести (*фр.*).

жизни никогда не рисовалась светлой в наших фантазиях, обреченные на бой с чудовищною силою, успех нам казался почти невозможным. «Будь моей Гаетаной», — говорил я ей, читая «Изувеченного» Сантина, и воображал, как она проводит меня в сибирские рудники.

«Изувеченный» — это тот поэт, который написал пасквиль на Сикста V и выдал себя, когда папа дал слово не казнить виновного смертью. Сикст V велел ему отрубить руки и язык. Образ несчастного страдальца, задыхающегося от собственной полноты мыслей, которые теснятся в его голове, не находя выхода, не мог не нравиться нам тогда. Грустный и истомленный взгляд страдальца успокоивался только и останавливался с благодарностью и остатком веселья на девушке, которая любила его прежде и не изменила ему в несчастии; ее-то звали Гаетаной.

Этот первый опыт любви прошел скоро, но он был совершенно искренен. Может, даже эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшего, самого благоуханного достоинства, своего девятнадцатилетнего возраста, своей непорочной свежести. Когда же ландыши зимуют?

И неужели ты, моя Гаетана, не с той же ясной

улыбкой вспоминаешь о нашей встрече, неужели что-нибудь горькое примешивается к памяти обо мне через двадцать два года? Мне было бы это очень больно. И где ты? И как прожила жизнь?

Я свою дожил и плетусь теперь под гору, сломленный и нравственно «изувеченный», не ищу никакой Гаетаны, перебираю старое и память о тебе встретил радостно… Помнишь угольное окно против небольшого переулка, в который мне надобно было заворачивать, ты всегда подходила к нему, провожая меня, и как бы я огорчился, если б ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мне приходилось повернуть.

А встретить тебя в самом деле я не хотел бы. Ты в моем воображении осталась с твоим юным лицом, с твоими кудрями blond cendré[194]; останься такою; ведь и ты, если вспоминаешь обо мне, то помнишь стройного юношу с искрящимся взглядом, с огненной речью; так и помни и не знай, что взгляд потух, что я отяжелел, что морщины прошли по лбу, что давно нет прежнего светлого и оживленного выражения в лице, которое Огарев называл «выражением надежды», да нет и надежд.

---

[194] Сноски: 194
пепельного цвета (*фр.*).

Друг для друга мы должны быть такими, какими были тогда… ни Ахилл, ни Диана не стареются… Не хочу встретиться с тобою, как Ларина с княжной Алиной:

Кузина, помнишь Грандисона? –
«Как? Грандисон?.. А, Грандисон!»
В Москве, живет у Симеона.
Меня в Сочельник навестил,
Недавно сына он женил.

…Последнее пламя потухавшей любви осветило на минуту тюремный свод, согрело грудь прежними мечтами, и каждый пошел своим путем. Она уехала в Украйну, я собирался в ссылку. С тех пор не было вести об ней.

Глава XXI
Разлука

«Ах, люди, люди злые,
Вы их разрознили…»

Так оканчивалось мое первое письмо к Natalie, и замечательно, что, испуганный словом «сердца́», я его не написал, а написал в конце письма «Твой брат».

Как дорога мне была уже тогда моя *сестра* и как беспрерывно в моем уме, видно из того, что я писал к ней из Нижнего, из Казани и на другой день после приезда в Пермь. Слово *сестра* выражало все сознанное в нашей симпатии; оно мне бесконечно нравилось и теперь нравится, употребляемое не как *предел,* а, напротив, как смешение их, в нем соединены дружба, любовь, кровная связь, общее предание, родная обстановка, привычная неразрывность. Я никого не называл прежде этим именем, и оно было мне так дорого, что я и впоследствии часто называл Natalie так.

Прежде нежели я вполне понял наше отношение и, может, именно оттого, что не понимал его вполне, меня ожидал иной искус, который мне не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаетаной, — искус, смиривший меня и стоивший мне много печали и внутренней тревоги.

Очень мало опытный в жизни и брошенный в мир, совершенно мне чуждый, после девятимесячной тюрьмы, я жил сначала рассеянно, без оглядки, новый край, новая обстановка рябили перед глазами. Мое общественное положение изменилось. В Перми, в Вятке на меня смотрели совсем иначе, чем в Москве; там я был молодым

человеком, жившим в родительском доме, здесь, в этом болоте, я стал на свои ноги, был принимаем за чиновника, хотя и не был вовсе им. Не трудно было мне догадаться, что без большого труда я мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе.

В Перми я не успел оглядеться, там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли я корову! Вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студентской жизни. Но в Вятке я перезнакомился со всем светом, особенно с молодым купечеством, которое там гораздо образованнее купечества внутренних губерний, хотя кутить любит не меньше. Сбитый канцелярией с моих занятий, я вел беспокойно праздную жизнь; при особенной удобовпечатлимости или, лучше сказать, удободвижимости характера и отсутствии опытности можно было ждать ряд всякого рода столкновений.

В силу кокетливой страсти de l'approbativité[195] я старался нравиться направо и налево, без разбо-

---

[195] Сноски: 195
нравиться (*фр.*).

ра кому, натягивал симпатии, дружился по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась нелепой ссорой, в которой меня же обвиняли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, в непостоянстве.

Я сначала жил в Вятке не один. Странное и комическое лицо, которое время от времени является на всех перепутьях моей жизни, при всех важных событиях ее, — лицо, которое тонет для того, чтоб меня познакомить с Огаревым, и машет фуляром с русской земли, когда я переезжаю таурогенскую границу, — словом, К. И. Зонненберг жил со мною в Вятке; я забыл об этом, рассказывая мою ссылку.

Случилось это так. В то время, как меня отправляли в Пермь, Зонненберг собирался на ирбитскую ярмарку. Отец мой, любивший всегда усложнять простые дела, предложил Зонненбергу заехать в Пермь и там *монтировать мой дом;* за это он брал на себя путевые издержки.

В Перми Зонненберг ревностно принялся за дело, т. е. за покупку ненужных вещей, всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталю, запасов;

он сам ездил на Обву, чтоб приобрести ex ipso fonte[196] вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели в Вятку. Мы распродали за полцены купленное добро и оставили Пермь. Зонненберг, добросовестно исполняя волю моего отца, счел необходимым ехать также и в Вятку «монтировать» мой дом. Отец мой так был доволен его преданностью и самоотвержением, что положил ему сто рублей жалованья в месяц, пока он будет у меня. Это было выгоднее и вернее Ирбита — и он не торопился меня оставить.

В Вятке он уже купил не одну, а трех лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества. Карл Иванович, — мы уже говорили это, — несмотря на свой пятидесятилетний возраст и на значительные недостатки в лице, был большой волокита и был приятно уверен, что всякая женщина и девушка, подходящая к нему, подвергается опасности мотылька, летающего возле зажженной свечи. Действие, произведенное лошадьми, Карл Иванович утратить не хотел и старался вывести из него пользу по эротиче-

[196] Сноски: 196
из самого источника (*лат.*).

ской части. К тому же все обстоятельства ему способствовали. У нас был балкон, выходящий на двор, за которым начинался сад. С десяти часов утра Зонненберг в казанских *ичигах*, в шитой золотом *тибитейке* и в кавказском бешмете, с огромным янтарным мундштуком во рту, сидел на вахте, делая вид, будто читает. Тибитейка и янтарь — все это было направлено на трех барышень, живших в соседнем доме. Барышни, с своей стороны, занимались приезжими и с любопытством рассматривали восточную куклу, курившую на балконе. Карл Иванович знал, когда и как тайком они подымали стору, находил, что дела его идут успешно, и нежно выпускал дым легкой струйкой по заветному направлению.

Вскоре сад представил нам возможность познакомиться с соседками. У нашего хозяина было три дома, сад был общий. Два дома были заняты: в одном жили мы и сам хозяин с своей мачехой — толсто-мягкой вдовой, которая так матерински и с такой ревностью за ним присматривала, что он только украдкой от нее разговаривал с садовыми дамами; в другом жили барышни с своими родителями; третий стоял пустой. Карл Иванович через неделю был свой человек в дамском обществе нашего сада, он постоянно по несколь-

ку часов в день качал барышень на качелях, бегал за мантильями и зонтиками, словом, был aux petits soins[197]. Барышни с ним дурачились больше, чем с другими, именно потому, что его еще меньше можно было подозревать, чем жену Цезаря; при взгляде на него останавливалось всякое, самое отважное злоречие.

По вечерам ходил и я в сад по тому табунному чувству, по которому люди без всякого желания делают то же, что другие. Туда, сверх жильцов, приходили их знакомые, главный предмет занятий и разговоров было волокитство и подсматривание друг за другом. Карл Иванович с неусыпностью Видока предался сентиментальному шпионству, знал, кто с кем чаще гуляет, кто на кого непросто смотрит. Я был страшным камнем преткновения для всей тайной полиции нашего сада, дамы и мужчины удивлялись моей скрытности и при всех стараниях не могли открыть, за кем я ухаживаю, кто мне особенно нравится, что, действительно, было не легко: я решительно ни за кем не ухаживал, и все барышни мне не особенно нравились. Это, наконец, им надоело и оскорбило их, меня стали считать

---

[197] Сноски: 197
крайне предупредителен (*фр.*).

гордым, насмешником, и дружба барышень заметно стыла, хотя в одиночку каждая пробовала на мне самые опасные взгляды свои.

Середи всех этих обстоятельств одним утром Карл Иванович сообщил мне, что хозяйская кухарка с утра открыла ставни третьего дома и моет окна. Дом был занят каким-то приезжим семейством.

Сад занялся исключительно подробностями о новоприезжих. Незнакомая дама, усталая с дороги или еще не успевшая разобраться, как назло, не являлась к нам в воксал. Ее старались увидеть в окно или в сенях, иным удавалось, другие тщетно караулили целые дни, видевшие находили ее бледной, томной, словом, интересной и недурной. Барышни говорили, что она печальна и болезненна, молодой губернаторский чиновник, шалун и очень неглупый малый, один знал приезжих. Он служил прежде в одной губернии с ними, все пристали к нему с расспросами.

Разбитной чиновник, довольный, что знает, чего другие не знают, толковал без конца о достоинствах новоприезжей; он ее превозносил, называл ее столичной дамой.

— Она умна, — повторял он, — мила, образованна, на нашего брата и не посмотрит. Ах, Боже

мой, — прибавил он, вдруг обращаясь ко мне, — вот чудесная мысль, поддержите честь вятского общества, поволочитесь за ней… Ну, знаете, вы из Москвы, в ссылке, верно, пишете стихи, — это вам с неба подарок.

— Какой вы вздор порете, — сказал я ему смеясь, однако вспыхнул в лице — мне захотелось ее видеть.

Через несколько дней я встретился с ней в саду, она в самом деле была очень интересная блондина; тот же господин, который говорил об ней, представил меня ей, я был взволнован и так же мало умел это скрыть, как мой патрон — улыбку.

Самолюбивая застенчивость прошла, я познакомился с ней — она была очень несчастна и, обманывая себя мнимым спокойствием, томилась и исходила в какой-то праздности сердца.

Р. была одна из тех скрытно-страстных женских натур, которые встречаются только между блондинами, у них пламенное сердце маскировано кроткими и тихими чертами; они бледнеют от волнения и глаза их не искрятся, а скорее тухнут, когда чувства выступают из берегов. Утомленный взор ее выбивался из сил, стремясь к чему-то, несытая грудь неровно подымалась. Во всем существе ее было что-то неспокойное,

электрическое. Часто, гуляя по саду, она вдруг бледнела и, смущенная или встревоженная изнутри, отвечала рассеянно и торопилась домой; я именно в эти минуты любил смотреть на нее.

Внутреннюю жизнь ее я вскоре разглядел. Она не любила мужа и не могла его любить; ей было лет двадцать пять, ему за пятьдесят — с этим, может, она бы сладила, но различие образования, интересов, характеров было слишком резко.

Муж почти не выходил из комнаты; это был сухой, черствый старик, чиновник с притязанием на помещичество, раздражительный, как все больные и как почти все люди, потерявшие состояние. Ей было шестнадцать лет, когда ее отдали замуж; он имел достаток, но впоследствии все проиграл в карты и принужден был жить службой. Года за два до перевода в Вятку он начал хиреть, какая-то рана на ноге развилась в костоеду, старик сделался угрюм и тяжел, боялся своей болезни и смотрел взглядом тревожной и беспомощной подозрительности на свою жену. Она грустно и самоотверженно ходила за ним, но это было исполнение долга. Дети не могли удовлетворить всему — чего-то просило незанятое сердце.

Раз вечером, говоря о том о сем, я сказал, что

мне бы очень хотелось послать моей кузине портрет, но что я не мог найти в Вятке человека, который бы умел взять карандаш в руки.

— Дайте, я попробую, — сказала соседка, — я когда-то довольно удачно делала портреты черным карандашом.

— Очень рад. Когда же?

— Завтра перед обедом, если хотите.

— Разумеется. Я приду в час.

Все это было при муже; он не сказал ни слова.

На другой день утром я получил от соседки записку; это была первая записка от нее. Она очень вежливо и осторожно уведомляла меня, что муж ее недоволен тем, что она мне предложила сделать портрет, просила снисхождения к капризам больного, говорила, что его надобно щадить, и в заключение предлагала сделать портрет в другой день, не говоря об этом мужу, чтоб его не беспокоить.

Я горячо, может, через край горячо, благодарил ее, тайное делание портрета не принял, но тем не меньше эти две записки сблизили нас много. Отношения ее к мужу, до которых я никогда бы не коснулся, были высказаны. Между мною и ею невольно составлялось тайное соглашение, лига против него.

Вечером я пришел к ним, — ни слова о портрете. Если б муж был умнее, он должен бы был догадаться о том, что было; но он не был умнее. Я взглядом поблагодарил ее, она улыбкой отвечала мне.

Вскоре они переехали в другую часть города. Первый раз, когда я пришел к ним, я застал соседку одну, в едва меблированной зале; она сидела за фортепьяно, глаза у нее были сильно заплаканы. Я просил ее продолжать; но музыка не шла, она ошибалась, руки дрожали, цвет лица менялся.

— Как здесь душно! — сказала она, быстро вставая из-за фортепьяно.

Я молча взял ее руку, слабую, горячую руку; голова ее, как отяжелевший венчик, страдательно повинуясь какой-то силе, склонилась на мою грудь, она прижала свой лоб и мгновенно исчезла.

На другой день я получил от нее записку, несколько испуганную, старавшуюся бросить какую-то дымку на вчерашнее; она писала о страшном нервном состоянии, в котором она была, когда я взошел, о том, что она едва помнит, что было, извинялась — но легкий вуаль этих слов не мог уж скрыть страсть, ярко просвечи-

вавшуюся между строк.

Я отправился к ним. В этот день мужу было легче, хотя на новой квартире он уже не вставал с постели; я был монтирован[198], дурачился, сыпал остротами, рассказывал всякий вздор, морил больного со смеху, и, разумеется, все это для того, чтоб заглушить ее и мое смущение. Сверх того, я чувствовал, что смех этот увлекает и пьянит ее.

...Прошли недели две. Мужу было все хуже и хуже, в половину десятого он просил гостей удаляться, слабость, худоба и боль возрастали. Одним вечером, часов в девять, я простился с больным. Р. пошла меня проводить. В гостиной полный месяц стлал по полу три косые бледно-фиолетовые полосы. Я открыл окно, воздух был чист и свеж, меня так им и обдало.

— Какой вечер! — сказал я. — И как мне не хочется идти.

Она подошла к окну.

— Побудьте немного здесь.

— Невозможно, я в это время переменяю повязку.

— Приходите после, я вас подожду.

Она молчала, я взял ее руку.

---

[198] Сноски: 198
возбужден, «взвинчен» (*фр.* être monté).

— Ну приходите же. Я вас прошу… Придете?

— Право, нельзя, я сначала надеваю блузу.

— Приходите в блузе, я вас утром заставал несколько раз в блузе.

— А если вас кто-нибудь увидит?

— Кто? Человек ваш пьян, отпустите его спать, а ваша Дарья… верно, любит вас больше, чем вашего мужа, — да она и со мной приятельница. Да и что же за беда? Помилуйте, ведь теперь десятый час, — вы хотели мне что-нибудь поручить, просили подождать…

— Без свечей…

— Велите принести. А впрочем, эта ночь стоит дня.

Она еще сомневалась.

— Приди же — приди! — шептал я ей на ухо, первый раз так обращаясь к ней.

Она вздрогнула.

— Приду — но только на минуту.

…Я ждал ее больше получаса… Все было тихо в доме, я мог слышать оханье и кашель старика, его медленный говор, передвиганье какого-то стола… Хмельной слуга приготовлял, посвистывая, на завалок в передней свою постель, выругался и через минуту захрапел… Тяжелая ступня горничной, выходившей из спальной,

была последним звуком… Потом тишина, стон больного и опять тишина… вдруг шелест, скрипнул пол, легкие шаги — и белая блуза мелькнула в дверях…

Ее волнение было так сильно, что она сначала не могла произнести ни одного слова, ее губы были холодны, ее руки — как лед. Я чувствовал, как страшно билось ее сердце.

— Я исполнила *твое* желание, — сказала она наконец. — Теперь пусти меня… Прощай… ради Бога прощай, поди и ты домой, — прибавила она печально умоляющим голосом.

Я обнял ее и крепко, крепко прижал ее к груди.

— Друг мой… иди же!

Это было невозможно… Troppo tardi…[199] Оставить ее в минуту, когда у нее, у меня так билось сердце, — это было бы сверхчеловеческих сил и очень глупо… Я не пошел — она осталась….Месяц прокладывал свои полосы в другую сторону. Она сидела у окна и горько плакала… Я целовал ее влажные глаза, утирал их прядями косы, упавшей на бледно-матовое плечо, которое вбирало в себя месячный свет, терявшийся без отражения в нежно тусклом отливе.

---

[199] Сноски: 199
Слишком поздно (*ит.*).

Мне было жаль оставить ее в слезах, я ей болтал полушепотом какой-то бред… Она взглянула на меня, и в ее глазах мелькнуло из-за слез столько счастья, что я улыбнулся. Она как будто поняла мою мысль, закрыла лицо обеими руками и встала… Теперь было в самом деле пора, я отнял ее руки, расцеловал их, ее — и вышел.

Тихо выпустила меня горничная, мимо которой я прошел, не смея взглянуть ей в лицо. Отяжелевший месяц садился огромным красным ядром — заря занималась. Было очень свежо, ветер дул мне прямо в лицо — я вдыхал его больше и больше, мне надобно было освежиться. Когда я подходил к дому — взошло солнце, и добрые люди, встречавшиеся со мной, удивлялись, что я так рано встал «воспользоваться хорошей погодой».

С месяц продолжался этот запой любви; потом будто сердце устало, истощилось — на меня стали находить минуты тоски; я их тщательно скрывал, старался им не верить, удивлялся тому, что происходило во мне, — а любовь стыла себе да стыла.

Меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтоб я чувствовал себя неправым перед гражданско-церковным собственником женщины, которая

его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унизительной: лицемерие и двоедушие — два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем; но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье.

Одним утром Матвей взошел ко мне в спальню с вестью, что старик Р. «приказал долго жить». Мной овладело какое-то странное чувство при этой вести, я повернулся на другой бок и не торопился одеваться: мне не хотелось видеть мертвеца. Взошел Витберг, совсем готовый. «Как? — говорил он, — вы еще в постеле! Разве вы не слыхали, что случилось? Чай, бедная Р. одна, пойдемте проведать, одевайтесь скорее».

Я оделся — мы пошли.

Мы застали Р. в обмороке или в каком-то нервном летаргическом сне. Это не было притворством; смерть мужа напомнила ей ее беспомощное положение; она оставалась одна с детьми в чужом городе, без денег, без близких людей. Сверх того, у ней бывали и прежде при сильных потрясениях эти нервные ошеломления, продолжавшиеся по нескольку часов. Бледная, как смерть, с холодным лицом и с закрытыми

глазами, лежала она в этих случаях, изредка захлебываясь воздухом и без дыханья в промежутках.

Ни одна женщина не приехала помочь ей, показать участие, посмотреть за детьми, за домом. Витберг остался с нею; пророк-чиновник и я — взялись за хлопоты.

Старик, исхудалый и почернелый, лежал в мундире на столе, насупив брови, будто сердился на меня; мы положили его в гроб, а через два дня опустили в могилу. С похорон мы воротились в дом покойника; дети в черных платьицах, обшитых плерезами, жались в углу, больше удивленные и испуганные, чем огорченные; они шептались между собой и ходили на цыпочках. Не говоря ни одного слова, сидела Р., положив голову на руку, как будто что-то обдумывая.

В этой гостиной, на этом диване я ждал ее, прислушиваясь к стону больного и к брани пьяного слуги. Теперь все было так черно… Мрачно и смутно вспоминались мне, в похоронной обстановке, в запахе ладана — слова, минуты, на которых я все же *не мог* не останавливаться без нежности.

Печаль ее улеглась мало-помалу, она тверже смотрела на свое положение; потом мало-помалу и другие мысли прояснили ее озабоченное и уны-

лое лицо. Ее взор останавливался с какой-то взволнованной пытливостью на мне, будто она ждала чего-то — вопроса… ответа…

Я молчал — и она, испуганная, встревоженная, стала сомневаться.

Тут я понял, что муж, в сущности, был для меня извинением в своих глазах, — любовь откипела во мне. Я не был равнодушен к ней, далеко нет, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занимал теперь иной порядок мыслей, и этот страстный порыв словно для того обнял меня, чтоб уяснить мне самому иное чувство. Одно могу сказать я в свое оправдание — я был искренен в моем увлечении.

В то время как я терял голову и не знал, что делать, пока я ждал с малодушной слабостью случайной перемены от времени, от обстоятельств, время и обстоятельства еще больше усложнили положение.

Тюфяев, видя беспомощное состояние вдовы, молодой, красивой собой и брошенной без всякой опоры в дальнем, ей чуждом городе, как настоящий «отец губернии», обратил на нее самую нежную заботливость. Сначала мы все думали, что действительно он принимает в ней участие. Но вскоре Р. с ужасом заметила, что его вни-

мание совсем не просто. Два-три развратных губернатора воспитали вятских дам, и Тюфяев, привыкнувший к ним, не откладывая в долгий ящик, прямо стал говорить ей о своей любви. Р., разумеется, отвечала ему холодным презрением и насмешкой на его старческие любезности. Тюфяев не считал себя побитым и продолжал наглое ухаживанье. Видя, впрочем, что дело мало подвигается, он дал ей почувствовать, что судьба ее детей в его руках и что без него она их не поместит на казенный счет, а что он, с своей стороны, хлопотать не будет, если она не переменит с ним своего холодного обращения. Оскорбленная женщина вскочила уязвленным зверем.

— Извольте вон идти! И чтоб нога ваша не смела переступить моего порога! — сказала она ему, указывая дверь.

— Фу, какие вы сердитые! — сказал Тюфяев, обращая дело в шутку.

— Петр, Петр! — закричала она в переднюю, и испуганный Тюфяев, боясь огласки, задыхаясь от бешенства, пристыженный и униженный, бросился в свою карету.

Вечером Р. рассказала все случившееся Витбергу и мне. Витберг тотчас понял, что обратившийся в бегство и оскорбленный волокита не оставит

в покое бедную женщину, — характер Тюфяева был довольно известен всем нам. Витберг решился, во что б то ни стало, спасти ее.

Гонения начались скоро. Представление о детях было написано так, что отказ был неминуем. Хозяин дома, лавочники требовали с *особенной* настойчивостью уплаты. Бог знает, что можно было еще ожидать; шутить с человеком, уморившим Петровского в сумасшедшем доме, не следовало.

Витберг, обремененный огромной семьей, задавленный бедностью, не задумался ни на минуту и предложил Р. переехать с детьми к нему, на другой или третий день после приезда в Вятку его жены. У него Р. была спасена, такова была нравственная сила этого сосланного. Его непреклонной воли, его благородного вида, его смелой речи, его презрительной улыбки боялся сам вятский Шемяка.

Я жил в особом отделении того же дома и имел общий стол с Витбергом; и вот, *мы* очутились под одной крышей — именно тогда, когда должны были бы быть разделены морями.

В этой близости она поняла, что былого не воротишь.

Зачем она встретилась именно со мной, неусто-

явшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло, новая жизнь любви, гармонии была так возможна для нее! Бедная, бедная Р.! Виноват ли я, что это облако любви, так непреодолимо набежавшее на меня, дохнуло так горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потом?

…Сбитый с толку, предчувствуя несчастия, недовольный собою, я жил в каком-то тревожном состоянии; снова кутил, искал рассеяния в шуме, досадовал за то, что находил его, досадовал за то, что не находил, и ждал, как чистую струю воздуха середь пыльного жара, несколько строк из Москвы от Natalie. Надо всем этим брожением страстей всходил светлее и светлее кроткий образ ребенка-женщины. Порыв любви к Р. уяснил мне мое собственное сердце, раскрыл его тайну.

Увлекаясь больше и больше моей симпатией к отсутствующей кузине, я не давал себе именно отчета в чувстве, связывавшем меня с ней. Я к нему привык и не следил за тем, изменилось оно или нет.

Мои письма становились все тревожнее; с одной стороны, я глубоко чувствовал не только свою вину перед Р., но новую вину лжи, которую брал на себя молчанием. Мне казалось, что я

пал, не достоин иной любви… а любовь росла и росла.

Имя сестры начинало теснить меня, теперь мне недостаточно было дружбы, это тихое чувство казалось холодным. Любовь ее видна из каждой строки ее писем, но мне уж и этого мало, мне нужно не только любовь, но и самое слово, и вот я пишу: «Я сделаю тебе странный вопрос: веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, — одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, — одна дружба? — *Я не верю».*

«Ты что-то смущен, — отвечает она, — я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чем меня. Успокойся, друг мой, оно не переменило во мне решительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Но слово было произнесено; «туман исчез, — пишет она, — опять светло и ясно».

Она радостно, безоблачно отдавалась названному чувству, письма ее — одна отроческая песнь любви, подымающаяся от детского лепета до могучего лиризма.

«Может, ты сидишь теперь, — пишет она, — в кабинете, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару и взор углублен в неопределен-

ную даль, и нет ответа на приветствие взошедшего. Где же твои думы? Куда стремится взор? Не давай ответа — пусть придут ко мне».

«…Будем детьми, назначим час, в который нам обоим непременно быть на воздухе, — час, в который мы будем уверены, что нас ничего не делит, кроме одной дали. В восемь часов вечера и тебе, верно, свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо — да тотчас возвратилась, думая, что ты был в комнате».

«…Глядя на твои письма, на портрет, думая о моих письмах, о браслете, мне захотелось перешагнуть лет за сто и посмотреть, какая будет их участь. Вещи, которые были для нас святыней, которые лечили наше тело и душу, с которыми мы беседовали и которые нам заменяли несколько друг друга в разлуке; все эти орудия, которыми мы оборонялись от людей, от ударов рока, от самих себя, что будут они после нас? Останется ли в них сила их, их душа? разбудят ли, согреют ли они чье сердце, расскажут ли нашу повесть, наши страдания, нашу любовь, будет ли им в награду хоть одна слеза? Как грустно становится, когда воображу, что портрет твой, наконец, будет висеть безвестным в чьем-нибудь кабинете, или, может, какой-нибудь ребенок, играя им, разобьет

стекло и сотрет черты».

Не таковы мои письма[200]: середь полной, восторженной любви пробиваются горькие звуки досады на себя, раскаяния, немой укор Р. гложет сердце, мутит светлое чувство, я казался себе лгуном, а ведь я не лгал.

Как же мне было признаться, как сказать Р. в январе, что я ошибся в августе, говоря ей о своей любви? Как она могла поверить в истину моего рассказа — новая любовь была бы понятнее, измена — проще. Как мог дальний образ отсутствующей вступить в борьбу с настоящим, как могла струя другой любви пройти через этот горн и выйти больше сознанной и сильной — все это я сам не понимал, а чувствовал, что все это правда.

Наконец сама Р., с неуловимой ловкостью яще-

---

[200] Сноски: 200

Разница между слогом писем Natalie и моим очень велика, особенно в начале переписки; потом он уравнивается и впоследствии делается сходен. В моих письмах рядом с истинным чувством — ломаные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго и новых французских романистов. Ничего подобного в ее письмах, — язык ее прост, поэтичен, истинен, на нем заметно одно влияние — влияние Евангелия. Тогда я все еще старался писать свысока и писал дурно, потому что это не был мой язык. Жизнь в непрактических сферах и излишнее чтение долго не позволяют юноше естественно и просто говорить и писать; умственное совершеннолетие начинается для человека только тогда, когда его слог установливается и принимает свой последний склад.

рицы, ускользала от серьезных объяснений, она чуяла опасность, искала отгадки и в то же время отдаляла правду. Точно она предвидела, что мои слова раскроют страшные истины, после которых все будет кончено, и она обрывала речь там, где она становилась опасною.

Сначала она осмотрелась кругом, несколько дней она находила себе соперницу в молодой, милой, живой немке, которую я любил, как дитя, с которой мне было легко именно потому, что ни ей не приходило в голову кокетничать со мною, ни мне с ней. Через неделю она увидела, что Паулина вовсе не опасна. Но я не могу идти дальше, не сказав несколько слов о ней.

В вятской аптеке приказа общественного призрения был аптекарь-немец, и в этом нет ничего удивительного, но удивительно было то, что его гезель[201] был русский, а назывался Болман. Вот с ним-то я и познакомился; он был женат на дочери какого-то вятского чиновника, у которой была самая длинная, густая и красивая коса из всех виденных мною. Самого аптекаря, Фердинанда Рулковиуса, не было налицо, и мы с Болманом пили разные «шипучки» и художественные

[201] Сноски: 201
подмастерье (*нем.* Gesell).

«желудочные» настойки фармацевта. Аптекарь был в Ревеле; там он познакомился с какой-то молодой девушкой и предложил ей руку; девушка, едва знавшая его, шла за него очертя голову, как следует девушке вообще и немке в особенности, она даже не имела понятия, в какую дичь он ее везет. Но когда после свадьбы пришлось собираться, страх и отчаяние овладели ею. Чтоб утешить новобрачную, аптекарь пригласил ехать с ними в Вятку молодую девушку лет семнадцати, дальнюю родственницу его жены; она, еще более очертя голову и уже совсем не зная, что такое «Вьатка», согласилась. Обе немки не говорили ни слова по-русски, в Вятке не было четырех человек, говоривших по-немецки. Даже учитель немецкого языка в гимназии не знал его; это меня до того удивило, что я решился его спросить, как же он преподает.

— По грамматике, — отвечал он, — и по диалогам.

Он объяснял при этом, что он, собственно, учитель математики, но покамест, за недостатком ваканции, преподает немецкий язык, и что,

впрочем, он получает половинный оклад[202]. Немки пропадали со скуки и, увидевши человека, который если не хорошо, то понятно мог объясняться по-немецки, пришли в совершенный восторг, запоили меня кофеем и еще какой-то «калтешале»[203], рассказали мне все свои тайны, желания и надежды и через два дня называли меня другом и еще больше потчевали сладкими мучнистыми яствами с корицей. Обе были довольно образованны, т. е. знали на память Шиллера, поигрывали на фортепиано и пели немецкие романсы. Этим сходство, впрочем, между ними и оканчивается. Аптекарша была белокурая, лимфатическая, высокая, очень недурная собой, но вялая и сонная женщина, она была чрезвычайно добра, да и трудно было при такой комплекции быть злою. Убедившись однажды, что ее муж — муж ее, она тихонько и ровненько любила его, занималась кухней и бельем, читала в свободные минуты романы и в свое время благополучно родила аптекарю дочь, белобрысую

---

[202] Сноски: 202

Зато «просвещенное» начальство определило в той же вятской гимназии известного ориенталиста, товарища Ковалевского и Мицкевича, — Верниковского, сосланного по делу филаретов, учителем французского языка.

[203] Сноски: 203

прохладительным напитком (*нем.* kalte Schale).

и золотушную.

Подруга ее, небольшого роста, смуглая брюнетка, крепкая здоровьем, с большими черными глазами и с самобытным видом, была коренастая, народная красота; в ее движениях и словах видна была большая энергия, и когда, бывало, аптекарь, существо скучное и скупое, делал не очень вежливые замечания своей жене и та их слушала с улыбкой на губах и слезой на реснице, Паулина краснела в лице и так взглядывала на расходившегося фармацевта, что тот мгновенно усмирялся, делал вид, что очень занят, и уходил в лабораторию мешать и толочь всякую дрянь для восстановления здоровья вятских чиновников.

Мне нравилась наивная девушка, которая за себя постоять умела, и не знаю, как это случилось, но ей первой рассказал я о моей любви, ей переводил письма. Тот только знает цену этой сердечной болтовни, кто живал долго, годы целые с людьми совершенно посторонними. Я редко говорю о чувствах, но бывают минуты, в которые потребность высказаться становится невыносимою, даже *теперь*. А тогда мне было двадцать четыре года, и я только что понял мою любовь. Я мог переносить разлуку, перенес бы и молчание,

но, встретившись с другим ребенком-женщиной, в котором все было так непритворно просто, я не мог удержаться, чтоб не разболтать ей мою тайну. Да и как же она была мне благодарна за то, и сколько добра сделала она мне!

Всегда серьезная беседа Витберга иной раз утомляла меня, мучимый моим тяжелым отношением к Р., я не мог быть при ней свободен. Часто вечером уходил я к Паулине, читал ей пустые повести, слушал ее звонкий смех, слушал, как она нарочно для меня пела «Das Mädchen aus der Fremde», под которой я и она понимали другую *деву чужбины*, и облака рассеивались, на душе мне становилось искренно весело, безмятежно спокойно, и я с миром уходил домой, когда аптекарь, окончив последнюю микстуру и намазав последний пластырь, приходил надоедать мне вздорными политическими расспросами, — не прежде, впрочем, как выпивши его «лекарственной» и закусивши герингсалатом[204], приготовленным беленькими ручками der Frau Apothekerin[205].

...Р. страдала, я, с жалкой слабостью, ждал

---

[204] Сноски: 204
салатом с селедкой (*нем.* Hering-Salat).

[205] Сноски: 205
госпожи аптекарши (*нем.*).

от времени случайных разрешений и длил полуложь. Тысячу раз хотел я идти к Р., броситься к ее ногам, рассказать все, вынести ее гнев, ее презрение… Но я боялся не негодования — я бы ему был рад — боялся слез. Много дурного надобно испытать, чтоб уметь вынести женские слезы, чтоб уметь сомневаться, пока они, еще теплые, текут по воспаленной щеке. К тому же ее слезы были бы искренние.

Так прошло много времени. Начали носиться слухи о близком окончании ссылки, не так уже казался далеким день, в который я брошусь в повозку и полечу в Москву, знакомые лица мерещились, и между ними, перед ними заветные черты; но едва я отдавался этим мечтам, как мне представлялась с другой стороны повозки бледная, печальная фигура Р., с заплаканными глазами, с взглядом, выражающим боль и упрек, и радость моя мутилась, мне становилось жаль, смертельно жаль ее.

Долее оставаться в ложном положении я не мог и решился, собрав все силы, вынырнуть из него. Я написал ей полную исповедь. Горячо, откровенно рассказал ей всю правду. На другой день она не выходила и сказалась больной. Все, что может вынесть преступник, боящийся, что его уличат,

все вынес я в этот день; ее нервное оцепенение возвратилось — я не смел ее навестить.

Мне надобно было большее покаянье; я заперся с Витбергом в кабинет и рассказал ему весь роман мой. Сначала он удивился, потом выслушал меня не как судья, а как друг, не мучил расспросами, не читал задним числом морали, а принялся со мной искать средств смягчить удар — он один и мог это сделать. Он горячо любил тех, кого любил. Я боялся его ригоризма, но дружба ко мне и к Р. решительно взяла верх. Да, на его руки я мог оставить несчастную женщину, которой безотрадное существование я доломал; в нем она находила сильную нравственную опору и авторитет. Р. уважала его, как отца.

Утром Матвей подал мне записку. Я почти не спал всю ночь, с волнением распечатал я ее дрожащей рукой. Она писала кротко, благородно и глубоко печально; цветы моего красноречия не скрыли аспика[206], в ее примирительных словах слышался затаенный стон слабой груди, крик боли, подавленный чрезвычайным усилием. Она благословляла меня на новую жизнь, желала нам счастия, называла Natalie сестрой и протягивала

---

[206] Сноски: 206
аспида (*фр.* aspic).

нам руку на забвение прошедшего и на будущую дружбу, — как будто она была виновата!

Рыдая, перечитывал я ее письмо. Qual cour tradisti![207]

Я встретился впоследствии с нею; дружески подала она мне руку, но нам было неловко, каждый чего-то не договаривал, каждый старался кой-чего не касаться.

Год тому назад я услышал о ее кончине.

Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание об Р. Мирясь с собой, я принялся писать повесть, героиней которой была Р. Я представил барича екатерининских времен, покинувшего женщину, любившую его, и женившегося на другой. Она чахнет и умирает. Весть о ее смерти тяжко падает на него, он сделался мрачен, задумчив и, наконец, сошел с ума. Его жена, идеал кротости и самоотвержения, испытав все, везет его, в одну из тихих минут, в *Девичий монастырь* и бросается с ним на колени перед могилой несчастной женщины, прося прощения и заступничества. Из окон монастыря достигают слова молитвы, тихие женские голоса поют об отпущении, — барич выздоравливает. Повесть

---

[207] Сноски: 207
Какое сердце ты предал! (*ит.*)

вышла плоха. Когда я писал ее, Р. не собиралась в Москву, и один человек, догадывавшийся о том, что что-то было между мной и Р., был «вечный немец» К. И. Зонненберг. После кончины моей матери в 1851 от него не было ни одной вести. В 1860 один турист, рассказывая мне о своем знакомстве с восьмидесятилетним Карлом Ивановичем, показал его письмо. В P. S. он извещал его о кончине Р. и о том, что *мой брат* ее похоронил *в Новодевичьем монастыре!*

Само собой разумеется, что повесть им обоим была неизвестна.

Глава XXII
В Москве без меня

Мирная жизнь моя во Владимире скоро была возмущена вестями из Москвы, которые теперь приходили со всех сторон. Они сильно огорчали меня. Для того чтоб сделать их понятными, надобно воротиться к 1834 году.

На другой день после моего взятия в 1834 году были именины княгини, потому-то Natalie, расставаясь со мной на кладбище, сказала мне: «До завтра». Она ждала меня; съехалось несколько человек родных, вдруг является мой

двоюродный брат и рассказывает со всеми подробностями историю моего ареста. Новость эта, совершенно неожиданная, поразила ее, она встала, чтобы выйти в другую комнату, и, сделав два шага, упала без чувств на пол. Княгиня все видела и все поняла, она решилась противудействовать всеми средствами возникающей любви.

Для чего?

Не знаю. В последнее время, т. е. после окончания моего курса, она была очень хорошо расположена ко мне; но мой арест, слухи о нашем *вольном* образе мыслей, об измене православной церкве при вступлении в сен-симонскую «секту» разгневали ее; она с тех пор меня иначе не называла, как «государственным преступником» или «несчастным сыном брата Ивана». Весь авторитет Сенатора был нужен, чтоб она решилась отпустить Natalie в Крутицы проститься со мной.

По счастию, меня ссылали, времени перед княгиней было много. «Да и где это Пермь, Вятка, — верно, он там себе свернет шею или ему свернут ее, а главное — там он ее забудет».

Но, как назло княгине, у меня память была хороша. Переписка со мной, долго скрываемая от княгини, была наконец открыта, и она строжайше запретила людям и горничным

доставлять письма молодой девушке или отправлять ее письма на почту. Года через два стали поговаривать о моем возвращении. «Эдак, пожалуй, каким-нибудь добрым утром несчастный сын брата отворит дверь и взойдет, чего тут долго думать да откладывать, — мы ее выдадим замуж и спасем от государственного преступника, человека без религии и правил».

Прежде княгиня, вздыхая, говорила о бедной сироте, о том, что у нее почти ничего нет, что ей нельзя долго разбирать, что ей бы хотелось *как-нибудь* пристроить ее при себе. Она действительно с своими приживалками устроила *кой-как* судьбу одной дальней родственницы без состояния, отдав ее замуж за какого-то подьячего. Добрая, милая девушка, очень развитая, пошла замуж, желая успокоить свою мать; года через два она умерла, но подьячий остался жив и из благодарности продолжал заниматься хождением по делам ее сиятельства. Теперь, совсем напротив, сирота — вовсе не бедная невеста, княгиня собирается ее выдать, как родную дочь, дает одними деньгами сто тысяч рублей и оставляет, сверх того, какое-то наследство. На таких условиях можно всегда найти женихов не только в Москве, но где угодно, особенно имея компа-

ньонку, княжеский титул и кочующих старух.

Шепот, переговоры, слухи — и горничные довели до несчастной жертвы такой попечительности намерения княгини. Она сказала компаньонке, что решительно не примет ничьего предложения. Тогда началось беспрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гонение, — гонение ежеминутное, мелкое, цепляющееся за каждый шаг, за каждое слово.

«…Представь себе дурную погоду, страшную стужу, ветер, дождь, пасмурное, какое-то без выражения небо, прегадкую маленькую комнату, из которой, кажется, сейчас вынесли покойника, а тут эти *дети* без цели, даже без удовольствия, шумят, кричат, ломают и марают все близкое; да хорошо бы еще, если б только можно было глядеть на этих детей, а когда заставляют быть в их среде», — пишет она в одном письме из деревни, куда княгиня уезжала летом, и продолжает: «У нас сидят три старухи, и все три рассказывают, как их покойники были в параличе, как они за ними ходили, — а и без того холодно».

Теперь к этой среде прибавилось систематическое преследование, и уже не от одной княгини, но и от жалких старух, мучивших бес-

прерывно Natalie, уговаривая ее идти замуж и браня меня; большей частию она умалчивала в письмах о ряде неприятностей, выносимых ею, но иной раз горечь, унижение и скука брали верх. «Не знаю, — пишет она, — можно ли выдумать еще что-нибудь к моему угнетению, неужели у них станет настолько ума? Знаешь ли ты, что даже выход в другую комнату мне запрещен, даже перемена места в той же комнате? Я давно не играла на фортепьяно, подали огонь, иду в залу, авось-либо смилосердятся; нет, воротили, заставили вязать; пожалуй, только сяду у другого стола, подле них мне невыносимо, — можно ли хоть это? Нет, непременно сядь тут, рядом с попадьей, слушай, смотри, говори — а они только и говорят о Филарете да пересуживают тебя. На минуту мне стало досадно, я покраснела, и вдруг тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть их рабою, нет… мне смертельно стало жаль их».

Начинается формальное сватовство.

«У нас была одна дама, которая любит меня и которую я за это не люблю… Хлопочет что есть мочи пристроить меня и до того рассердила меня, что я пропела ей вслед:

Гробовой скорей покроюсь пеленой,

Чем без милого узорчатой фатой».

Через несколько дней, 26 октября 1837 года, она пишет: «Что я вытерпела сегодня, друг мой, ты не можешь себе представить. Меня нарядили и повезли к С., которая с детства была ко мне *милостива* через меру, к ним каждый вторник ездит полковник З. играть в карты. Вообрази мое положение: с одной стороны, старухи за карточным столом, с другой — разные безобразные фигуры и он. Разговор, лица — все это так чуждо, странно, противно, так безжизненно, пошло, я сама была больше похожа на изваяние, чем на живое существо; все происходящее казалось мне тяжким, удушливым сном, я, как ребенок, беспрерывно просила ехать домой, меня не слушали. Внимание хозяина и *гостя* задавили меня, он даже написал мелом до половины мой вензель; Боже мой, моих сил недостает, ни на кого не могу опереться из тех, которые могли быть опорой; одна — на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия, чтоб столкнуть меня, иногда я устаю, силы слабеют — и нет тебя вблизи, и вдали тебя не видно; но одно воспоминание — и душа встрепенулась, готова снова на бой в доспехах любви».

Между тем полковник понравился всем, Се-

натор его ласкал, отец мой находил, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». «Даже, — пишет Natalie, — его превосходительство Д. П. (Голохвастов) доволен им». Княгиня не говорила прямо Natalie, но прибавляла притеснения и торопила дело. Natalie пробовала прикидываться при нем совершенной «дурочкой», думая, что отстращает его. Нисколько — он продолжает ездить чаще и чаще.

«Вчера, — пишет она, — была у меня Эмилия, вот что она сказала: “Если б я услышала, что ты умерла, я бы с радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога”. Она права во многом, но не совсем, душа ее, живущая одним горем, поняла вполне страдания моей души, но блаженство, которым наполняет ее любовь, едва ли ей доступно».

Но и княгиня не унывала. «Желая очистить свою совесть, княгиня призвала какого-то священника, знакомого с З., и спрашивала его, не грех ли будет отдать меня насильно? Священник сказал, что это будет даже богоугодно пристроить сироту. Я пошлю за своим духовником, — прибавляет Natalie, — и открою ему все».

30 октября. «Вот платье, вот наряд к завтраму, а там образ, кольцы, хлопоты, приготовления —

и ни слова мне. Приглашены Насакины и другие. Они готовят мне сюрприз — и я готовлю им сюрприз».

Вечер. «Теперь происходит совещание. Лев Алексеевич (Сенатор) здесь. Ты уговариваешь меня, — не нужно, друг мой, я умею отворачиваться от этих ужасных, гнусных сцен, куда меня тянут на цепи. Твой образ сияет надо мной, за меня нечего бояться, и самая грусть и самое горе так святы и так сильно и крепко обняли душу, что, отрывая их, сделаешь еще больнее, раны откроются».

Однако как ни скрывали и ни маскировали дела, полковник не мог не увидеть решительного отвращения невесты; он стал реже ездить, сказался больным, заикнулся даже о прибавке приданого, это очень рассердило, но княгиня прошла и через это унижение, она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, и он не ждал, потому что после нее он совсем скрылся.

Месяца два прошли тихо. Вдруг разнеслась весть о моем переводе во Владимир. Тогда княгиня сделала последний отчаянный опыт сватовства. У одной из ее знакомых был сын офицер, только что возвратившийся с Кавказа, он был

молод, образован и весьма порядочный человек. Княгиня, откинув спесь, сама предложила его сестре «посондировать» брата, не хочет ли он посвататься. Он поддался на внушения сестры. Молодой девушке не хотелось еще раз играть тут же отвратительную и скучную роль, она, видя, что дело принимает серьезный оборот, написала ему письмо, прямо, открыто и просто говорила ему, что любит другого, доверялась его чести и просила не прибавлять ей новых страданий.

Офицер очень деликатно устранился. Княгиня была поражена, оскорблена и решилась узнать, в чем дело. Сестра офицера, с которой говорила сама Natalie и которая дала слово брату ничего не передавать княгине, рассказала все компаньонке. Разумеется, та тотчас же донесла.

Княгиня чуть не задохнулась от негодованья. Не зная, что делать, она приказала молодой девушке идти к себе наверх и не казаться ей на глаза; недовольная этим, она велела запереть ее дверь и посадила двух горничных для караула. Потом она написала к своим братьям и одному из племянников записки и просила их собраться для совета, говоря, что она так расстроена и огорчена, что не может ума приложить к несчастному

делу, ее постигшему. Отец мой отказался, говоря, что у него своих забот много, что вовсе не нужно придавать случившемуся такой важности и что он плохой судья в делах сердечных. Сенатор и Д. П. Голохвастов явились на другой день вечером, по зову.

Долго толковали они, ни в чем не согласились и наконец потребовали арестанта. Молодая девушка взошла; но это была не та молчаливая, застенчивая сирота, которую они знали. Непоколебимая твердость и безвозвратное решение были видны в спокойном и гордом выражении лица; это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь — мою любовь.

Вид «подсудимой» смешал ареопаг. Им было неловко; наконец Дмитрий Павлович, l'orateur de la famille[208], изложил пространно причину их съезда, горесть княгини, ее сердечное желание устроить судьбу своей воспитанницы и странное противудействие со стороны той, в пользу которой все делается. Сенатор подтверждал головой и указательным пальцем слова племянника. Княгиня молчала, сидела отвернувшись и нюхала соль.

---

[208] Сноски: 208
семейный оратор (*фр.*).

«Подсудимая» все выслушала и простодушно спросила, чего от нее требуют.

— Мы весьма далеки от того, чтоб что-нибудь требовать, — заметил племянник, — мы здесь, по воле тетушки, для того, чтоб дать вам искренний совет. Вам представляется партия, превосходная во всех отношениях.

— Я не могу ее принять.

— Какая же причина на это?

— Вы ее знаете.

Оратор семейства немного покраснел, понюхал табаку и, щуря глаза, продолжал:

— Тут есть очень многое, против чего можно бы возражать, — я обращаю ваше внимание на шаткость ваших надежд. Вы так давно не видались с нашим несчастным Alexandr'ом, он так молод, горяч — уверены ли вы?..

— Уверена. Да и какие бы намерения его ни были, я не могу переменить своих.

Племянник исчерпал свою латынь; он встал, говоря:

— Дай Бог, дай Бог, чтоб вы не раскаялись! Я очень боюсь за ваше будущее.

Сенатор морщился; к нему-то и обратилась теперь несчастная девушка.

— Вы, — сказала она ему, — показывали мне

всегда участие, вас я умоляю, спасите меня, сделайте что хотите, но избавьте меня от этой жизни. Я ничего никому не сделала, ничего не прошу, ничего не предпринимаю, я только отказываюсь обмануть человека и погубить себя, выходя за него замуж. Что я за это терплю, нельзя себе представить, мне больно, что я должна это высказать в присутствии княгини, но выносить оскорбления, обидные слова, намеки ее приятельницы выше моих сил. Я не могу, я не должна позволить, чтоб во мне был оскорблен…

Нервы взяли свое, и слезы градом полились из ее глаз; Сенатор вскочил и, взволнованный, ходил по комнате.

В это время компаньонка, кипевшая от злобы, не выдержала и сказала, обращаясь к княгине:

— Какова наша скромница-то — вот вам и благодарность!

— О ком она говорит? — закричал Сенатор. — А? Как это вы, сестрица, позволяете, чтоб эта, черт знает кто такая, при вас так говорила о дочери вашего брата? Да и вообще, зачем эта шваль здесь? Вы ее тоже позвали на совет? Что она вам — родственница, что ли?

— Голубчик мой, — отвечала испуганная княгиня, — ты знаешь, что она мне и как она за мной

ходит.

— Да, да, это прекрасно, ну и пусть подает лекарство и что нужно: не о том речь — я вас, ma sœur[209], спрашиваю, зачем она здесь, когда говорят о семейном деле, да еще голос подымает? Можно думать после этого, что она делает одна, а потом жалуетесь. — Эй, карету!

Компаньонка, расплаканная и раскрасневшаяся, выбежала вон.

— Зачем вы так балуете ее? — продолжал расходившийся Сенатор. — Она все воображает, что в шинке в Звенигороде сидит; как вам это не гадко?

— Перестань, мой друг, пожалуйста, у меня нервы так расстроены… Ох!.. Ты можешь идти наверх и там остаться, — прибавила она, обращаясь к племяннице.

— Пора и Бастильи все эти уничтожить. Все это вздор и ни к чему не ведет, — заметил Сенатор и схватил шляпу.

Уезжая, он взошел наверх; взволнованная всем происшедшим, Natalie сидела на креслах, закрывши лицо, и горько плакала. Старик потрепал ее по плечу и сказал:

---

[209] Сноски: 209
сестра (*фр.*).

— Успокойся, успокойся, все перемелется. Ты постарайся, чтоб сестра перестала сердиться на тебя, она женщина больная, надобно ей уступить; она ведь все ж добра тебе желает; ну, а насильно тебя замуж не отдадут, за это я тебе отвечаю.

— Лучше в монастырь, в пансион, в Тамбов, к брату в Петербург, чем дольше выносить эту жизнь! — отвечала она.

— Ну, полно, полно! Старайся успокоить сестру, а дуру эту я отучу от грубостей.

Сенатор, проходя по зале, встретил компаньонку. «Прошу не забываться!» — закричал он на нее, грозя пальцем. Она, рыдая, пошла в спальню, где княгиня уже лежала в постели и четыре горничные терли ей руки и ноги, мочили виски уксусом и капали гофманские капли на сахар.

Тем семейный совет и кончился.

Ясное дело, что положение молодой девушки не могло перемениться к лучшему. Компаньонка стала осторожнее, но, питая теперь личную ненависть и желая на ней выместить обиду и унижение, она отравляла ей жизнь мелкими, косвенными средствами; само собою разумеется, что княгиня участвовала в этом неблагородном преследовании беззащитной девушки.

Надобно было положить этому конец. Я решился выступить прямо на сцену и написал моему отцу длинное, спокойное, искреннее письмо. Я говорил ему о моей любви и, предвидя его ответ, прибавлял, что я вовсе его не тороплю, что я даю ему время вглядеться, мимолетное это чувство или нет, и прошу его об одном: чтоб он и Сенатор взошли в положение несчастной девушки, чтоб они вспомнили, что они имеют на нее столько же права, сколько и сама княгиня.

Отец мой на это отвечал, что он в *чужие дела* терпеть не может мешаться, что до него не касается, что княгиня делает у себя в доме; он мне советовал оставить пустые мысли, «порожденные праздностью и скукой ссылки», и лучше приготовляться к путешествию в чужие края. Мы часто говаривали с ним в былые годы о поездке за границу, он знал, как страстно я желал, но находил бездну препятствий и всегда оканчивал одним: «Ты прежде закрой мне глаза, потом дорога открыта на все четыре стороны». В ссылке я потерял всякую надежду на скорое путешествие, знал, как трудно будет получить дозволение, и, сверх того, мне казалось неделикатно, после насильственной разлуки, настаивать на добровольную. Я помнил слезу, дрожавшую на старых

веках, когда я отправлялся в Пермь… И вдруг мой отец берет инициативу и предлагает мне ехать!

Я был откровенен, писал, щадя старика, просил так мало, — он мне отвечал иронией и уловкой. «Он ничего не хочет сделать для меня, — говорил я сам себе, — он, как Гизо, проповедует la non-intervention[210]; хорошо, так я сделаю сам, и теперь — аминь уступкам». Я ни разу прежде не думал об устройстве будущего; я верил, знал, что оно мое, что оно наше, и предоставлял подробности случаю; нам было довольно сознания любви, желания не шли дальше минутного свидания. Письмо моего отца заставило меня схватить будущее в мои руки. Ждать было нечего — cosa fatta capo ha![211] Отец мой не очень сентиментален, а княгиня –

Пускай себе поплачет…
Ей ничего не значит!

В это время гостили во Владимире мой брат и К<етчер>. Мы с К<етчером> проводили целые ночи напролет, говоря, вспоминая, смеясь сквозь слез и до слез. Он был первый из наших, которого

---

[210] Сноски: 210
невмешательство (*фр.*).

[211] Сноски: 211
сделанного не воротишь (*ит.*).

я увидел после отъезда из Москвы. От него я узнал хронику нашего круга, в чем перемены и какие вопросы занимают, какие лица прибыли, где те, которые оставили Москву, и пр. Переговоривши все, я рассказал о моих намерениях. Рассуждая, что и как следует сделать, К<етчер> заключил предложением, нелепость которого я оценил потом. Желая исчерпать все мирные пути, он хотел съездить к моему отцу, которого едва знал, и *серьезно* с ним поговорить. Я согласился.

К<етчер>, конечно, был способнее на все хорошее и на все худое, чем на дипломатические переговоры, особенно с моим отцом. Он имел в высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дело. Он одним появлением своим наводил уныние и тревогу на всякого консерватора. Высокий ростом, с волосами странно разбросанными, без всякого единства прически, с резким лицом, напоминающим ряд членов Конвента 93 года, а всего более Мара, с тем же большим ртом, с тою же резкой чертой пренебрежения на губах и с тем же грустно и озлобленно-печальным выражением; к этому следует прибавить очки, шляпу с широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкий голос, непривычку себя сдерживать

и способность по мере негодования поднимать брови все выше и выше. К<етчер> был похож на Ларавинье в превосходном романе Ж. Санд «Орас», с примесью чего-то патфайндерского, робинзоновского и еще чего-то чисто московского. Открытая, благородная натура с детства поставила его в прямую ссору с окружающим миром; он не скрывал это враждебное отношение и привык к нему. Несколькими годами старше нас, он беспрерывно бранился с нами и был всем недоволен, делал выговоры, ссорился и покрывал все это добродушием ребенка. Слова его были грубы, но чувства нежны, и мы бездну прощали ему.

Представьте же именно его, этого последнего могикана, с лицом Мара, «друга народа», отправляющегося увещевать моего отца. Много раз потом я заставлял К<етчера> пересказывать их свидание, моего воображения недоставало, чтоб представить все оригинальное этого дипломатического вмешательства. Оно пришлось так невзначай, что старик не нашелся сначала, стал объяснять все глубокие соображения, почему он против моего брака, и потом уже, спохватившись, переменил тон и спросил К<етчера>, с какой он стати пришел к нему говорить о деле, до него вовсе не касающемся. Разговор принял

характер желчевой. Дипломат, видя, что дело становится хуже, попробовал пугнуть старика моим здоровьем; но это уже было поздно, и свидание окончилось, как следовало ожидать, рядом язвительных колкостей со стороны моего отца и грубых выражений со стороны К<етчера>.

К<етчер> писал мне: «От старика ничего не жди». Этого-то и надо было. Но что было делать, как начать? Пока я обдумывал по десяти разных проектов в день и не решался, который предпочесть, брат мой собрался ехать в Москву.

Это было 1 марта 1838 года.

Глава XXIII
Третье марта и девятое мая 1838 года

Утром я писал письма; когда я кончил, мы сели обедать. Я не ел, мы молчали, мне было невыносимо тяжело, — это было часу в пятом, в семь должны были прийти лошади. — Завтра после обеда он будет в Москве, а я… — и с каждой минутой пульс у меня бился сильнее.

— Послушайте, — сказал я наконец брату, глядя в тарелку, — довезите меня до Москвы?

Брат мой опустил вилку и смотрел на меня не уверенный, послышалось ему или нет.

— Провезите меня через заставу как вашего слугу, больше мне ничего не нужно, согласны?

— Да я — пожалуй; только знаешь, чтоб тебе потом…

Это уж было поздно, его «пожалуй» было у меня в крови, в мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь неисторгаема.

— Что тут толковать, мало ли что может случиться — итак, вы берете меня?

— Отчего же — я, право, готов — только…

Я вскочил из-за стола.

— Вы едете? — спросил Матвей, желая что-то сказать.

— Еду! — отвечал я так, что он ничего не прибавил. — Я послезавтра возвращусь, коли кто придет, скажи, что у меня болит голова и что я сплю, вечером зажги свечи и засим дай мне белья и сак.

Бубенчики позванивали на дворе.

— Вы готовы?

— Готов. Итак, в добрый час.

На другой день, в обеденную пору бубенчики перестали позванивать, мы были у подъезда К<етчера>. Я велел его вызвать. Неделю тому назад, когда он меня оставил во Владимире, о моем приезде не было даже предположения, а пото-

му он так удивился, увидя меня, что сначала не сказал ни слова, а потом покатился со смеху, но вскоре принял озабоченный вид и повел меня к себе. Когда мы были в его комнате, он, тщательно запирая дверь на ключ, спросил меня:

— Что случилось?

— Ничего.

— Да ты зачем?

— Я не мог остаться во Владимире, я хочу видеть Natalie — вот и все, а ты должен это устроить, и сию же минуту, потому что завтра я должен быть дома.

К<етчер> смотрел мне в глаза и сильно поднял брови.

— Какая глупость, это черт знает что такое, без нужды, ничего не приготовивши, ехать. Что ты, писал, назначил время?

— Ничего не писал.

— Помилуй, братец, да что же мы с тобой сделаем? Это из рук вон, это белая горячка!

— В том-то все дело, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, как и что.

— Ты глуп, — сказал положительно К<етчер>, забирая еще выше бровями. — Я был бы очень рад, чрезвычайно рад, если б ничего не удалось, был бы урок тебе.

— И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будет темно, мы поедем к дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу из людей, я тебе скажу кого, — ну, потом увидим, что делать. Ладно, что ли?

— Ну, делать нечего, пойдем, а уж как бы мне хотелось, чтоб не удалось! Что же вчера не написал? — и К<етчер>, важно нахлобучив на себя свою шляпу с длинными полями, набросил черный плащ на красной подкладке.

— Ах ты, проклятый ворчун! — сказал я ему, выходя, и К<етчер>, от души смеясь, повторял: «Да разве это не курам на смех! Не написал и приехал, — это из рук вон».

У К<етчера> нельзя было оставаться: он жил ужасно далеко, и в этот день у его матери были гости. Он отправился со мной к одному гусарскому офицеру. К<етчер> его знал за благородного человека, он не был замешан в политические дела и, следственно, вне полицейского надзора. Офицер с длинными усами сидел за обедом, когда мы пришли; К<етчер> рассказал ему, в чем дело, офицер в ответ налил мне стакан красного вина и поблагодарил за доверие, потом отправился со мной в свою спальню, украшенную седлами и чепраками, так что можно было думать, что он

спит верхом.

— Вот вам комната, — сказал он, — вас никто здесь не обеспокоит.

Потом он позвал денщика, гусара же, и велел ему ни под каким предлогом никого не пускать в эту комнату. Я снова очутился под охраной солдата, с той разницей, что в Крутицах жандарм меня караулил от всего мира, а тут гусар караулил весь мир от меня.

Когда совсем смерклось, мы отправились с К<етчером>. Сильно билось сердце, когда я снова увидел знакомые, родные улицы, места, домы, которых я не видал около четырех лет… Кузнецкий мост, Тверской бульвар… Вот и дом Огарева, — ему нахлобучили какой-то огромный герб, он чужой уж; в нижнем этаже, где мы так юно жили, жил портной… Вот Поварская, — дух занимается, в мезонине, в угловом окне, горит свечка, это ее комната, она пишет ко мне, она думает обо мне, свеча так весело горит, так *мне* горит.

Пока мы придумывали, как лучше вызвать кого-нибудь, нам навстречу бежит один из молодых официантов княгини.

— Аркадий, — сказал я, поровнявшись. Он меня не узнал. — Что с тобой? — сказал я. — Своих

не узнаешь?

— Да это вы-с? — вскрикнул он.

Я приложил палец к губам и сказал:

— Хочешь ли ты мне сослужить дружескую службу? Доставь немедленно, через Сашу или Костеньку, как можно скорей, вот эту записочку, понимаешь? Мы будем ждать ответ в переулке за углом, и ни полслова никому о том, что ты меня видел в Москве.

— Будьте покойны, все обделаем вмиг, — отвечал Аркадий и пустился рысью домой.

Около получаса ходили мы взад и вперед по переулку, прежде чем вышла, торопясь и оглядываясь, небольшая худенькая старушка, та самая бойкая горничная, которая в 1812 году у французских солдат просила для меня «манже»; с детства мы звали ее Костенькой. Старушка взяла меня обеими руками за лицо и расцеловала.

— Так-то ты и прилетел, — говорила она. — Ах ты, буйная голова, и когда ты это уймешься, беспутный ты мой, и барышню так испугал, что чуть в обморок не упала.

— Что же записочка, есть у вас?

— Есть, есть, ишь какой нетерпеливый! — и она мне подала лоскуток бумаги.

Дрожащей рукой, карандашом были написаны

несколько слов: «Боже мой, неужели это правда — ты здесь, завтра в шестом часу утра я буду тебя ждать, не верю, не верю! Неужели это не сон?»

Гусар снова меня отдал на сохранение денщику. В пять часов с половиной я стоял, прислонившись к фонарному столбу, и ждал К<етчера>, взошедшего в калитку княгининого дома. Я и не попробую передать того, что происходило во мне, пока я ждал у столба; такие мгновения остаются потому личной тайной, что они немы.

К<етчер> махал мне рукой. Я взошел в калитку; мальчик, который успел вырасти, провожал меня, знакомо улыбаясь. И вот я в передней, в которую некогда входил зевая, а теперь готов был пасть на колена и цаловать каждую доску пола. Аркадий привел меня в гостиную и вышел. Я, утомленный, бросился на диван; сердце билось так сильно, что мне было больно, и, сверх того, мне было страшно. Я растягиваю рассказ, чтоб дольше остаться с этими воспоминаниями, хотя и вижу, что слово их плохо берет.

Она взошла, вся в белом, ослепительно прекрасна, три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выражение.

— Это ты, — сказала она своим тихим, кротким голосом.

Мы сели на диван и молчали.

Выражение счастия в ее глазах доходило до страдания. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смешивается с выражением боли, потому что и она мне сказала: «Какой у тебя измученный вид».

Я держал ее руку, на другую она облокотилась, и нам нечего было друг другу сказать… Короткие фразы, два-три воспоминания, слова из писем, пустые замечания об Аркадии, о гусаре, о Костеньке.

Потом взошла нянюшка, говоря, что пора, и я встал, не возражая, и она меня не останавливала… такая полнота была в душе. Больше, меньше, короче, дольше, еще — все это исчезало перед полнотой настоящего…

Когда мы были за заставой, К<етчер> спросил:

— Что же у вас, решено что-нибудь?

— Ничего.

— Да ты говорил с ней?

— Об этом ни слова.

— Она согласна?

— Я не спрашивал, — разумеется, согласна.

— Ты, ей-богу, поступаешь, как дитя или как сумасшедший, — заметил К<етчер>, повышая брови и пожимая с негодованием плечами.

— Я ей напишу, потом тебе, а теперь прощай! Ну-тка по всем по трем!

На дворе была оттепель, рыхлый снег местами чернел, бесконечная белая поляна лежала с обеих сторон, деревеньки мелькали с своим дымом, потом взошел месяц и иначе осветил все; я был один с ямщиком и все смотрел и все был там с нею, и дорога, и месяц, и поляны как-то смешивались с княгининой гостиной. И странно, я помнил каждое слово нянюшки, Аркадия, даже горничной, проводившей меня до ворот, но что я говорил с нею, что она мне говорила, не помнил!

Два месяца прошли в беспрерывных хлопотах, надобно было занять денег, достать метрическое свидетельство; оказалось, что княгиня его взяла. Один из друзей достал всеми неправдами другое из консистории — платя, кланяясь, потчуя квартальных и писарей.

Когда все было готово, мы поехали, т. е. я и Матвей.

На рассвете 8 мая мы были на последней ямской станции перед Москвой. Ямщики пошли за лошадями. Погода была душная, дождь капал, казалось, будет гроза, я не вышел из кибитки и торопил ямщика. Кто-то странным голосом, тонким, плаксивым, протяжным, говорил возле.

Я обернулся и увидел девочку лет шестнадцати, бледную, худую, в лохмотьях и с распущенными волосами, она просила милостыню. Я дал ей мелкую серебряную монету; она захохотала, увидя ее, но, вместо того, чтоб идти прочь, влезла на облучок кибитки, повернулась ко мне и стала бормотать полусвязные речи, глядя мне прямо в лицо; ее взгляд был мутен, жалок, пряди волос падали на лицо. Болезненное лицо ее, непонятная болтовня вместе с утренним освещением наводили на меня какую-то нервную робость.

— Это у нас так, юродивая, т. е. дурочка, — заметил ямщик. — И куда ты лезешь, вот стягну, так узнаешь! Ей-богу, стягну, озорница эдакая!

— Что ты бро́нишься, что я те сделла — вот барин-то серебряной пятачок дал, а что я тебе сделла?

— Ну дал, так и убирайся к своим чертям в лес.

— Возьми меня с собой, — прибавила девочка, жалобно глядя на меня, — ну право, возьми…

— В Москве показывать за деньги, чудо, мол, юдо, рак морской, — заметил ямщик, — ну слезай, что ли, трогаем.

Девочка не думала идти, а все жалобно смотрела, я просил ямщика не обижать ее; он взял ее тихо в охапку и поставил на землю. Она распла-

калась, и я готов был плакать с нею.

Зачем это существо попалось мне именно в этот день, именно при въезде в Москву? Я вспомнил «Безумную» Козлова: и ее он встретил под Москвой.

Мы поехали, воздух был полон электричества, неприятно тяжел и тепел. Синяя туча, опускавшаяся серыми клочьями до земли, медленно тащилась ими по полям, — и вдруг зигзаг молнии прорезал ее своими уступами вкось — ударил гром, и дождь полился ливнем. Мы были верстах в десяти от Рогожской заставы, да еще Москвой приходилось с час ехать до Девичьего поля. Мы приехали к А<страковым>, где меня должен был ожидать К<етчер>, решительно без сухой нитки на теле.

К<етчера> не было налицо. Он был у изголовья умирающей женщины, Е. Г. Левашовой. Женщина эта принадлежала к тем удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с нею, которых все существование — подвиг, никому неведомый, кроме небольшого круга друзей. Сколько слез утерла она, сколько внесла утешений не в одну разбитую душу, сколько юных существований поддержала она и сколько сама страдала. «Она изошла любовью», — сказал мне

Чаадаев, один из ближайших друзей ее, посвятивший ей свое знаменитое письмо о России.

К<етчер> не мог ее оставить и писал, что около девяти часов приедет. Меня встревожила эта весть. Человек, объятый сильной страстью, — страшный эгоист; я в отсутствии К<етчера> видел одну задержку… Когда же пробило девять часов, раздался благовест к поздней обедне и прошло еще четверть часа, мною овладело лихорадочное беспокойство и малодушное отчаяние… Половина десятого — нет, он не будет, больной, верно, хуже, что мне делать? Оставаться в Москве не могу: одно неосторожное слово горничной, нянюшки в доме княгини откроет все. Ехать назад было возможно; но я чувствовал, что у меня не было силы ехать назад.

В три четверти десятого явился К<етчер> в соломенной шляпе, с измятым лицом человека, не спавшего всю ночь. Я бросился к нему и, обнимая его, осыпал упреками. К<етчер>, нахмурившись, посмотрел на меня и спросил:

— Разве получаса не достаточно, чтобы дойти от А<страковых> до Поварской? Мы бы тут болтали с тобой целый час, ну, оно как ни приятно, а я из-за этого не решился прежде, чем было нужно, оставить умирающую женщину. Левашова, —

прибавил он, — посылает вам свое приветствие, она благословила меня на успех своей умирающей рукой и дала мне на случай нужды теплую шаль.

Привет умирающей был для меня необыкновенно дорог. Теплая шаль была очень нужна ночью, и я не успел ее поблагодарить, ни пожать ее руки… она вскоре скончалась.

К<етчер> и А<страков> отправились. К<етчер> должен был ехать за заставу с Natalie, А<страков> — воротиться, чтобы сказать мне, все ли успешно и что делать. Я остался ждать с его милой, прекрасной женой; она сама недавно вышла замуж; страстная, огненная натура, она принимала самое горячее участие в нашем деле; она старалась с притворной веселостью уверить меня, что все пойдет превосходно, а сама была до того снедаема беспокойством, что беспрестанно менялась в лице. Мы с ней сели у окна, разговор не шел; мы были похожи на детей, посаженных за вину в пустую комнату. Так прошли часа два.

В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание в такие минуты. Друзья делают большую ошибку, снимая с плеч главного *пациента* всю ношу. Выдумать

надобно занятия для него, если их нет, задавить физической работой, рассеять недосугом, хлопотами.

Наконец, взошел А<страков>. Мы бросились к нему.

— Все идет чудесно, они при мне ускакали! — кричал он нам со двора. — Ступай сейчас за Рогожскую заставу, там у мостика увидишь лошадей недалеко Перова трахтира. С Богом! Да перемени на полдороге извозчика, чтоб последний не знал, откуда ты.

Я пустился, как из лука стрела… Вот и мостик недалеко от Перова; никого нет, да и по другую сторону мостик, тоже никого нет. Я доехал до Измайловского зверинца — никого; я отпустил извозчика и пошел пешком. Ходя взад и вперед, я наконец увидел на другой дороге какой-то экипаж; молодой красивый кучер стоял возле.

— Не проезжал ли здесь, — спросил я его, — барин высокий, в соломенной шляпе, и не один — с барышней?

— Я никого не видал, — отвечал нехотя кучер.

— Да ты с кем здесь?

— С господами.

— Как их зовут?

— А вам на что?

— Экой ты, братец, какой, не было бы дела, так и не спрашивал бы.

Кучер посмотрел на меня испытующим взглядом и улыбнулся; вид мой, казалось, его лучше расположил в мою пользу.

— Коли дело есть, так имя сами должны знать, кого вам надо?

— Экой ты кремень какой, ну надобно мне барина, которого К<етчером> зовут.

Кучер еще улыбнулся и, указывая пальцем на кладбище, сказал:

— Вот вдали-то, видите, чернеет, это самый он и есть, и барышня с ним, шляпки-то не взяли, так уже господин К<етчер> свою дали, благо соломенная.

И в этот раз мы встречались на *кладбище!*

…Она с легким криком бросилась мне на шею.

— И навсегда! — сказала она.

— Навсегда! — повторил я.

К<етчер> был тронут, слезы дрожали на его глазах, он взял наши руки и дрожащим голосом сказал:

— Друзья, будьте счастливы!

Мы обняли его. Это было наше *действительное* бракосочетание!

Мы были больше часу в особой комнате Перова

трактира, а коляска с Матвеем еще не приезжала! К<етчер> хмурился. Нам и в голову не шла возможность несчастия; нам так хорошо было тут втроем и так дома, как будто мы и всё вместе были. Перед окнами была роща, снизу слышалась музыка и раздавался цыганский хор; день после грозы был прекрасный.

Полицейской погони со стороны княгини я не боялся, как К<етчер>, я знал, что она из спеси не замешает квартального в семейное дело. Сверх того, она ничего не предпринимала без Сенатора, ни Сенатор — без моего отца; отец мой никогда не согласился бы на то, чтоб полиция остановила меня в Москве или под Москвой, т. е. чтоб меня отправили в Бобруйск или в Сибирь за нарушение высочайшей воли. Опасность могла только быть со стороны тайной полиции, но все было сделано так быстро, что ей трудно было знать; да если она что-нибудь и проведала, то кому же придет в голову, чтоб человек, тайно возвратившийся из ссылки, который увозит свою невесту, спокойно сидел в Перовом трактире, где народ толчется с утра до ночи?

Явился наконец и Матвей с коляской.

— Еще бокал, — командовал К<етчер>, — и в путь!

И вот мы одни, т. е. вдвоем, несемся по Владимирской дороге.

В Бунькове, пока меняли лошадей, мы взошли на постоялый двор. Старушка-хозяйка пришла спросить, не надо ли чего подать, и, добродушно глядя на нас, сказала:

— Какая хозяюшка-то у тебя молоденькая да пригожая — и оба-то вы, Господь с вами, — парочка.

Мы покраснели до ушей, не смели взглянуть друг на друга и спросили чаю, чтоб скрыть смущение. На другой день часу в шестом мы приехали во Владимир. Время терять было нечего; я бросился, оставив у одного старого семейного чиновника невесту, узнать, все ли готово. Но кому же было готовить во Владимире?

Везде не без добрых людей. Во Владимире стоял тогда Сибирский уланский полк; я мало был знаком с офицерами, но, встречаясь довольно часто с одним из них в публичной библиотеке, я стал с ним кланяться; он был очень учтив и мил. С месяц спустя он признался мне, что знал меня и мою историю 1834 года, рассказал, что он сам из студентов Московского университета. Уезжая из Владимира и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумал об офицере, поехал

к нему и прямо рассказал, в чем дело. Он, искренно тронутый моей доверенностью, пожал мне руку, все обещал и все исполнил.

Офицер ожидал меня во всей форме: с белыми отворотами, с кивером без чехла, с лядункой через плечо, со всякими шнурками. Он сообщил мне, что архиерей разрешил священнику венчать, но велел предварительно показать метрическое свидетельство. Я отдал офицеру свидетельство, а сам отправился к другому молодому человеку, тоже из Московского университета. Он служил свои *два губернских года*, по новому положению, в канцелярии губернатора и пропадал от скуки.

— Хотите быть шафером?

— У кого?

— У меня.

— Как, у вас?

— Да, да, у меня!

— Очень рад! Когда?

— Сейчас.

Он думал, что я шучу, но когда я ему наскоро сказал, в чем дело, он вспрыгнул от радости. — Быть шафером на тайной свадьбе, хлопотать, может, попасть под следствие, и все это в маленьком городе без всяких рассеяний. Он тотчас

обещал достать для меня карету, четверку лошадей и бросился к комоду смотреть, есть ли чистый белый жилет.

Ехавши от него, я встретил моего улана, он вез на коленах священника. Представьте себе пестрого, разнаряженного офицера на маленьких дрожках с дородным попом, украшенным большой, расчесанной бородой, в шелковой рясе, которая цеплялась за все ненужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя внимание не только улицы, идущей от владимирских Золотых ворот, но и парижских бульваров или самой Режент-стрит. А улан и не подумал об этом, да и я подумал уже после. Священник ходил по домам с молебном, — это был Николин день, и мой кавалерист насилу где-то его поймал и взял в реквизицию. Мы поехали к архиерею.

Для того чтоб понять, в чем дело, надобно рассказать, как вообще архиерей мог быть замешан в него. За день до моего отъезда священник, согласившийся венчать, вдруг объявил, что без разрешения архиерея он венчать не станет, что он что-то слышал, что он боится. Сколько мы ни ораторствовали с уланом — священник уперся и стоял на своем. Улан предложил по-

пробовать их полкового попа. Священник этот, бритый, стриженый, в длинном, долгополом сертуке, в сапогах сверх штанов, смиренно куривший из солдатской трубчонки, хотя и был тронут некоторыми подробностями нашего предложения, но венчать отказался, говоря, и притом на каком-то польско-белорусском наречии, что им строго-настрого заказано венчать «цивильных».

— А нам еще строже запрещено быть свидетелями и шаферами без позволения, — заметил ему офицер, — а ведь вот я иду же.

— Инное дело, пред Иезусом инное дело.

— Смелым владеет Бог, — сказал я улану, — я еду сейчас к архиерею. Да кстати, зачем же вы не спросите позволения?

— Не нужно. Полковник скажет жене, а та разболтает. Да еще, пожалуй, он не позволит.

Владимирский архиерей Парфений был умный, суровый и грубый старик; распорядительный и своеобычный, он равно мог быть губернатором или генералом, да еще, я думаю, генералом он был бы больше на месте, чем монахом; но случилось иначе, и он управлял своей епархией, как управлял бы дивизией на Кавказе. Я в нем вообще замечал гораздо больше свойств адми-

нистратора, чем живого мертвеца. Он, впрочем, был больше человек крутой, чем злой; как все деловые люди, он понимал вопросы быстро, резко и бесился, когда ему толковали вздор или не понимали его. С такими людьми вообще гораздо легче объясняться, чем с людьми мягкими, но слабыми и нерешительными. По обыкновению всех губернских городов, я после приезда во Владимир зашел раз после обедни к архиерею. Он радушно меня принял, благословил и потчевал семгой; потом пригласил когда-нибудь приехать посидеть вечером, потолковать, говоря, что у него слабеют глаза и он читать по вечерам не может. Я был раза два-три; он говорил о литературе, знал все новые русские книги, читал журналы, итак, мы с ним были как нельзя лучше. Тем не менее не без страха постучался я в его архипастырскую дверь.

День был жаркий. Преосвященный Парфений принял меня в саду. Он сидел под большой тенистой липой, сняв клобук и распустив свои седые волосы. Перед ним стоял без шляпы, на самом солнце, статный плешивый протопоп и читал вслух какую-то бумагу; лицо его было багрово, и крупные капли пота выступали на лбу, он щурился от ослепительной белизны бумаги, осве-

щенной солнцем, — и ни он не смел подвинуться, ни архиерей ему не говорил, чтоб он отошел.

— Садитесь, — сказал он мне, благословляя, — мы сейчас кончим, это наши консисторские делишки. Читай, — прибавил он протопопу, и тот, обтершись синим платком и откашлянув в сторону, снова принялся за чтение.

— Что скажете нового? — спросил меня Парфений, отдавая перо протопопу, который воспользовался сей верной оказией, чтоб поцеловать руку.

Я рассказал ему об отказе священника.

— У вас есть свидетельства?

Я показал губернаторское разрешение.

— Только-то?

— Только.

Парфений улыбнулся.

— А со стороны невесты?

— Есть метрическое свидетельство, его привезут в день свадьбы.

— Когда свадьба?

— Через два дня.

— Что же, вы нашли дом?

— Нет еще.

— Ну, вот видите, — сказал мне Парфений, кладя палец за губу и растягивая себе рот, зацепивши им за щеку, — одна из его любимых игрушек. —

Вы человек умный и начитанный, ну а старого воробья на мякине вам не провести. У вас тут что-то неладно; так вы, коли уже пожаловали ко мне, лучше расскажите мне ваше дело по совести, как на духу. Ну, я тогда прямо вам и скажу, что можно и чего нельзя, во всяком случае совет дам не к худу.

Мне казалось мое дело так чисто и право, что я рассказал ему все, разумеется, не вступая в ненужные подробности. Старик слушал внимательно и часто смотрел мне в глаза. Оказалось, что он давнишний знакомый с княгиней и долею мог, стало быть, сам поверить истину моего рассказа.

— Понимаю, понимаю, — сказал он, когда я кончил. — Ну, дайте-ка я напишу от себя письмо к княгине.

— Будьте уверены, что все мирные средства ни к чему не поведут, капризы, ожесточение, все это зашло слишком далеко. Я вашему преосвященству все рассказал, так, как вы желали, теперь я прибавлю: если вы мне откажете в помощи, я буду принужден тайком, воровски, за деньги сделать то, что делаю теперь без шума, но прямо и открыто. Могу уверить вас в одном: ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановят.

— Видишь, — сказал Парфений, вставая и потягиваясь, — прыткий какой, тебе все еще мало Перми-то, не укатали крутые горы. Что, я разве говорю, что запрещаю? Венчайся себе, пожалуй, противузаконного ничего нет; но лучше бы было семейно да кротко. Пришлите-ка ко мне вашего попа, уломаю его как-нибудь; ну только одно помните: без документов со стороны невесты и не пробуйте. Так «ни тюрьма, ни ссылка» — ишь какие нынче, подумаешь, люди стали! Ну, Господь с вами, в добрый час, а с княгиней-то вы меня поссорите.

И так в наш заговор, сверх улана, вступил высокопреосвященный Парфений, архиепископ владимирский и суздальский.

Когда я предварительно просил у губернатора дозволение, я вовсе не представлял моего брака тайным; это было вернейшее средство, чтоб никто не говорил, и чего же было естественнее приезда моей невесты во Владимир, когда я был лишен права из него выехать? Тоже естественно было и то, что в таком случае мы желали венчаться — как можно скромнее.

Когда мы с священником приехали 9 мая к архиерею, нам послушник его объявил, что он с утра уехал в свой загородный дом и до ночи

не будет. Был уже восьмой час вечера, после десяти венчать нельзя, следующий день была суббота. Что делать? Священник трусил. Мы взошли к иеромонаху, духовнику архиерея; монах пил чай с ромом и был в самом благодушном настроении. Я рассказал ему дело, он мне налил чашку чая и настоятельно требовал, чтоб я прибавил рому; потом он вынул огромные серебряные очки, прочитал свидетельство, повернул его, посмотрел с той стороны, где ничего не было написано, сложил и, отдавая священнику, сказал: «В наисовершеннейшем порядке». Священник все еще мялся. Я говорил отцу иеромонаху, что если я сегодня не обвенчаюсь, мне будет страшное расстройство.

— Что откладывать, — сказал иеромонах, — я доложу преосвященнейшему; повенчайте, отец Иоанн, повенчайте — во имя отца и сына и святого духа — аминь!

Попу нечего было говорить, он поехал писать обыск, я поскакал за Natalie.

…Когда мы выезжали из Золотых ворот вдвоем, без чужих, солнце, до тех пор закрытое облаками, ослепительно осветило нас последними ярко-красными лучами, да так торжественно и радостно, что мы сказали в одно слово: «Вот на-

ши провожатые!» Я помню ее улыбку при этих словах и пожатье руки.

Маленькая ямская церковь, верстах в трех от города, была пуста, не было ни певчих, ни зажженных паникадил. Человек пять простых уланов взошли мимоходом и вышли. Старый дьячок пел тихим и слабым голосом, Матвей со слезами радости смотрел на нас, молодые шаферы стояли за нами с тяжелыми венцами, которыми перевенчали всех владимирских ямщиков. Дьячок подавал дрожащей рукой серебряный ковш единения… В церкве становилось темно, только несколько местных свеч горело. Все это было или казалось нам необыкновенно изящно именно своей простотой. Архиерей проехал мимо и, увидя отворенные двери в церкве, остановился и послал спросить, что делается; священник, несколько побледневший, сам вышел к нему и через минуту возвратился с веселым видом и сказал нам:

— Высокопреосвященнейший посылает вам свое архипастырское благословение и велел сказать, что он молится о вас.

Когда мы ехали домой, весть о таинственном браке разнеслась по городу, дамы ждали на балконах, окна были открыты, я опустил стекла

в карете и несколько досадовал, что сумерки мешали мне показать «молодую».

Дома мы выпили с шаферами и Матвеем две бутылки вина, шаферы посидели минут двадцать, и мы остались одни, и нам опять, как в Перове, это казалось так естественно, так просто, само собою понятно, что мы совсем не удивлялись, а потом месяцы целые не могли надивиться тому же.

У нас было три комнаты, мы сели в гостиной за небольшим столиком и, забывая усталь последних дней, проговорили часть ночи…

Толпа чужих на брачном пире мне всегда казалась чем-то грубым, неприличным, почти циническим; к чему это преждевременное снятие покрывала с любви, это посвящение людей посторонних, хладнокровных — в семейную тайну. Как должны оскорблять бедную девушку, выставленную всенародно в качестве *невесты*, все эти битые приветствия, тертые пошлости, тупые намеки… Ни одно деликатное чувство не пощажено, роскошь брачного ложа, прелесть ночной одежды выставлены не только на удивление гостям, но всем праздношатающимся. А потом, первые дни начинающейся новой жизни, в которых дорога каждая минута, в ко-

торые следовало бы бежать куда-нибудь вдаль, в уединение, проводятся за бесконечными обедами, за утомительными балами, в толпе, точно на смех.

На другой день утром мы нашли в зале два куста роз и огромный букет. Милая, добрая Юлия Федоровна (жена губернатора), принимавшая горячее участие в нашем романе, прислала их. Я обнял и расцеловал губернаторского лакея, и потом мы поехали к ней самой. Так как приданое «молодой» состояло из двух платьев, — одного дорожного и другого венчального, — то она и отправилась в венчальном.

От Юлии Федоровны мы заехали к архиерею; старик сам повел нас в сад, сам нарезал букет цветов, рассказал Natalie, как я его стращал своей собственной гибелью, и в заключение советовал заниматься хозяйством.

— Умеете ли вы солить огурцы? — спросил он Natalie.

— Умею, — отвечала она, смеясь.

— Ох, плохо верится. А ведь это необходимо.

Вечером я написал письмо к моему отцу. Я просил его не сердиться на конченное дело и, «так как Бог соединил нас», простить меня и присовокупить свое благословение. Отец мой

обыкновенно писал мне несколько строк раз в неделю, он не ускорил ни одним днем ответа и не отдалил его, даже начало письма было, как всегда. «Письмо твое от 10 мая я третьего дня в пять часов с половиною получил и из него не без огорчения узнал, что Бог тебя соединил с Наташей. Я воле Божией ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушениям, которые он ниспосылает на меня. Но так как деньги мои, а ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то и объявляю тебе, что я к твоему прежнему окладу, тысяче рублей серебром в год, не прибавлю ни копейки».

Как мы смеялись от чистого сердца этому разделу духовной и светской власти!

А куда как надобно было прибавить! Деньги, которые я занял, выходили. У нас не было ничего, да ведь решительно ничего: ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартире, потому что не в чем было выйти. Матвей, из экономических видов, сделал отчаянный опыт превратиться в повара, но, кроме бифстека и котлет, он не умел ничего делать и потому держался больше вещей по натуре готовых: ветчины, соленой рыбы, молока, яиц, сыру и каких-то пряников с мятой, необычайно

твердых и не первой молодости. Обед был для нас бесконечным источником смеха: иногда молоко подавалось сначала, это значило суп; иногда после всего, вместо десерта. За этими спартанскими трапезами мы вспоминали, улыбаясь, длинную процессию священнодействия обеденного стола у княгини и у моего отца, где полдюжина официантов бегали из угла в угол с чашками и блюдами, прикрывая торжественной mise en scène, в сущности, очень незатейливый обед.

Так бедствовали мы и пробивались с год времени. Химик прислал десять тысяч ассигнациями, из них больше шести надобно было отдать долгу, остальные сделали большую помощь. Наконец, и отцу моему надоело брать нас, как крепость, голодом: он, не прибавляя к окладу, стал присылать денежные подарки, несмотря на то, что я ни разу не заикнулся о деньгах после его знаменитого distinguo![212]

Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался внаймы запущенный большой барский дом с садом. Он принадлежал вдове какого-то князя, проигравшегося в карты, и отдавался особенно дешево оттого, что был далек, неудо-

---

[212] Сноски: 212
различаю, провожу различие (*лат.*).

бен, а главное оттого, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничем не отделенную, для своего сына, баловня лет тринадцати, и для его прислуги. Никто не соглашался на это чересполосное владение; я тотчас согласился, меня прельстила вышина комнат, размер окон и большой тенистый сад. Но именно эта вышина и эти размеры пресмешно противуречили совершенному отсутствию всякой движимой собственности, всех вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень неравнодушная к Матвею, снабжала нас на свой страх то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами.

Какие светлые, безмятежные дни проводили мы в маленькой квартире в три комнаты у Золотых ворот и в огромном доме княгини!.. В нем была большая зала, едва меблированная; иногда нас брало такое ребячество, что мы бегали по ней, прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделабрах, прибитых к стене, и, осветив залу a giorno[213], читали стихи. Матвей и горничная, молодая гречанка, участвовали во всем и дурачились не меньше нас. Порядок «не торжествовал»

---

[213] Сноски: 213
ярко, как днем (*ит.*).

в нашем доме.

И со всем этим ребячеством, жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, тихом и мирном, мы вполне были отданы друг другу. Изредка приходила весть о ком-нибудь из друзей — несколько слов горячей симпатии, — и потом опять одни, совершенно одни. Но в этом одиночестве грудь наша не была замкнута счастием, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное. Только в том и была разница, что Natalie вносила в наш союз элемент тихий, кроткий, грациозный, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины, а я — живую деятельность, мое semperin motu[214], беспредельную любовь да, сверх того, путаницу серьезных идей, смеха, *опасных* мыслей и кучу

[214] Сноски: 214
всегда в движении (*лат.*).

несбыточных проектов.

«…Мои желания остановились. Мне было довольно — я жил в настоящем, ничего не ждал от завтрашнего дня, беззаботно верил, что он и не возьмет ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это был предел; всякое изменение должно было с какой-нибудь стороны уменьшить его.

Весною приехал Огарев из своей ссылки на несколько дней. Он был тогда во всей силе своего развития; вскоре приходилось и ему пройти скорбным испытанием; минутами он будто чувствовал, что беда возле, но еще мог отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и сам думал тогда, что эти тучи разнесутся; беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному сил, в ней выражается доверие к жизни, к себе. Чувство полного обладания своей судьбой усыпляет нас… а темные силы, а черные люди влекут, не говоря ни слова, на край пропасти.

И хорошо, что человек или не подозревает, или умеет не видать, забыть. Полного счастия нет с тревогой; полное счастие покойно, как море во время летней тишины. Тревога дает свое болезненное, лихорадочное упоение, которое нравится, как ожидание карты, но это далеко

от чувства гармонического, бесконечного мира. А потому, сон или нет, но я ужасно высоко ценю это доверие к жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила… Мрут же китайцы из-за грубого упоения опиумом…»

Так окончивал я эту главу в 1853 году, так окончу ее и теперь.

Глава XXIV
13 июня 1839 года

Раз, длинным зимним вечером в конце 1838, сидели мы, как всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали и молча продолжали говорить. На дворе сильно морозило, и в комнате было совсем не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диване, покрывшись мантильей, я сидел возле на полу; чтение не налаживалось, она была рассеянна, думала о другом, ее что-то занимало, она менялась в лице.

— Александр, — сказала она, — у меня есть тайна, поди сюда поближе, я тебе скажу на ухо, или нет — отгадай.

Я отгадал, но потребовал, чтоб она сказала ее, мне хотелось слышать от нее эту новость; она *сказала мне,* и мы взглянули друг на друга в ка-

ком-то волнении и с слезами на глазах.

…Как человеческая грудь богата на ощущение счастия, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость — весь этот сор, который к полудню жизни наносит суета суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и невесть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошенная, с обычной щедростью своей, — и пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит.

Что, кажется, можно было бы прибавить к нашему счастью, а между тем весть о будущем младенце раскрыла новые, совсем неведанные нами области сердца, упоений, тревог и надежд.

Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей. Новый элемент вступает

в жизнь, какое-то таинственное лицо стучится в нее — гость, который есть и которого нет, но который уже необходим, которого страстно ждут. Кто он? Никто не знает, но кто бы он ни был, он — счастливый незнакомец, с какой любовью его встречают у порога жизни!

А тут мучительное беспокойство — родится ли он живым или нет? Столько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы — «он ничего не смыслит или не хочет говорить»; от посторонних все еще скрыто; не у кого спросить, да и совестно.

Но вот младенец подает знаки жизни, — я не знаю выше и религиознее чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющей свои не готовые мышцы, это — первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего пришельца и уступает ему долю своей жизни.

— Моя жена, — сказал мне раз один французский буржуа, — моя жена, — он осмотрелся и, видя, что ни дам, ни детей нет, прибавил вполслуха: — беременна.

Действительно, путаница всех нравственных понятий такова, что беременность считается

чем-то неприличным; требуя от человека безусловного уважения к матери, какова бы она ни была, завешивают тайну рождения не из чувства уважения, внутренней скромности, а из приличия. Все это идеальное распутство, монашеский разврат, проклятое заклание плоти; все это несчастный дуализм, в котором нас тянут, как магдебургские полушария, в две разные стороны. Жан Деруан, несмотря на свой социализм, намекает в «Almanach des femmes», что со временем дети будут родиться иначе. Как иначе? — Так, как ангелы родятся. — Ну, оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гёте: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся форму *будущей* матери, сравнивая ее с гибкими членами будущей женщины.

Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоенья весь крест любви, все бремя ее, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая своей грудью, — один из самых изящных и трогательных образов.

В римских элегиях, в «Ткачихе», в Гретхен и ее отчаянной молитве Гёте выразил все торжествен-

ное, чем природа окружает созревающий плод, и все тернии, которыми венчает общество этот сосуд будущего.

Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви, — как грубо и безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так нужен покой и привет, дико отравляя ей те незаменимые минуты полноты, в которые жизнь, слабея, склоняется под избытком счастия…

…С ужасом открывается мало-помалу тайна, несчастная мать сперва старается убедиться, что ей только показалось, но вскоре сомнение невозможно, отчаянием и слезами сопровождает она всякое движение младенца, она хотела бы остановить тайную работу жизни, вести ее назад, она ждет несчастья, как милосердия, как прощения, — а неотвратимая природа идет своим путем: она здорова, молода!

Заставить, чтоб мать *желала* смерти своего ребенка, а иногда и больше — сделать из нее его палача, а потом ее казнить нашим палачом или покрыть ее позором, если сердце женщины возьмет верх, — какое умное и нравственное устройство!

И кто взвесил, кто подумал о том, что и что было в этом сердце, пока мать переходила страшную

тропу от любви до страха, от страха до отчаяния, от отчаяния до преступления, до безумия, потому что детоубийство есть физиологическая нелепость. Ведь были же и у нее минуты забвения, в которые она страстно любила своего будущего малютку, и тем больше, что его существование была тайна между ними двумя; было же время, в которое она мечтала об его маленькой ножке, об его молочной улыбке, целовала его во сне, находила в нем сходство с кем-то, который был ей так дорог…

«Да чувствуют ли они это? Конечно, есть несчастные жертвы… но… но другие, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далее этих летучих мышей, шныряющих в ночное время середь тумана и слякоти по лондонским улицам, этих жертв неразвития, бедности и голода, которыми общество обороняет честных женщин от излишней страстности их поклонников… Конечно, в них всего труднее предположить след материнских чувств. Не правда ли?

Позвольте же мне рассказать вам небольшое происшествие, случившееся со мною. Года три тому назад я встретился с одной красивой и молодой девушкой. Она принадлежала к по-

четному гражданству разврата, т. е. не «делала» демократически «тротуар», а буржуазно жила на содержании у какого-то купца. Это было на публичном бале; приятель, бывший со мною, знал ее и пригласил выпить с нами на хорах бутылку вина, она, разумеется, приняла приглашение. Это было существо веселое, беззаботное и, наверное, как Лаура в «Каменном госте» Пушкина, никогда не заботившаяся о том, что там, где-то далеко в Париже, холодно, слушая, как сторож в Мадриде кричит «ясно»... Допивши последний бокал, она снова бросилась в тяжелый вихрь английских танцев, и я потерял ее из виду.

Нынешней зимой, в ненастный вечер, я пробирался через улицу под аркаду в Пель-Мель, спасаясь от усилившегося дождя; под фонарем за аркой стояла, вероятно, ожидая добычи и дрожа от холода, бедно одетая женщина. Черты ее показались мне знакомыми, она взглянула на меня, отвернулась и хотела спрятаться, но я успел узнать ее.

— Что с вами сделалось? — спросил я ее с участием.

Яркий пурпур покрывал ее исхудалые щеки; стыд ли это был или чахотка, не знаю, только, казалось, не румяны; она в два года с половиной

состарелась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна, — она с видом сильной горести указала мне взглядом на свое изношенное платье.

— Да где же ваш друг?

— Убит в Крыму.

— Да ведь он был какой-то купец?

Она смешалась и, вместо ответа, сказала:

— Я и теперь еще очень больна, да к тому же работы совсем нет. А что, я очень переменилась? — спросила она вдруг, с смущением глядя на меня.

— Очень, тогда вы были похожи на девочку, а теперь я готов держать пари, что у вас есть свои дети.

Она побагровела и с каким-то ужасом спросила:

— Отчего же вы это узнали?

— Да, видите, узнал. Теперь расскажите-ка мне, что с вами в самом деле было?

— Ничего, ну только вы правы, у меня есть маленький… Если б вы знали, — и при этих словах лицо ее оживилось, — какой славный, как он хорош, даже соседи, все, удивляются ему. А тот-то женился на богатой и уехал на материк. Малютка родился после. Он-то и причина моему положе-

нию. Сначала были деньги, я всего накупила ему в самых больших магазейнах, а тут пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючок»; мне советовали отдать малютку в деревню; оно, точно, было бы лучше, да не могу; я посмотрю на него, посмотрю — нет, лучше вместе умирать; хотела места искать — с ребенком не берут. Я воротилась к матери, она ничего, добрая, простила меня, любит маленького, ласкает его; да вот пятый месяц как отнялись ноги; что доктору переплатили и в аптеку, а тут, сами знаете, нынешний год уголь, хлеб — все дорого; приходится умирать с голоду. Вот я, — она приостановилась, — ведь, конечно, лучше б броситься в Темзу, чем… да малютку-то жаль, на кого же я его оставлю, ведь уж он очень, очень мил!

Я дал ей что-то и, сверх того, вынул шиллинг и сказал:

— А на это купите что-нибудь вашему малютке.

Она с радостью взяла монету, подержала ее в руке и, вдруг отдавая мне ее назад, прибавила с печальной улыбкой:

— Уж если вы так добры, купите ему тут где-нибудь в лавке сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь, — ведь этому бедному малютке, с тех пор

как он родился, никто еще не подарил ничего.

Я с умилением взглянул на эту *потерянную* женщину и дружески пожал ей руку.

Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если б оставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнущий, голодный разврат, — разврат роковой, который насильно влечет свою жертву по пути гибели и не дает ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блестки мишурного платья.

Это мне напомнило бедного умного переводчика «Фауста», Жерар-де-Нерваля, который застрелился в прошлом году. Он в последнее время дней по пяти, по шести не бывал дома. Открыли наконец, что он проводит время в самых черных харчевнях возле застав, вроде Поль Нике, что он там перезнакомился с ворами и со всякой сволочью, поит их, играет с ними в карты и иногда спит под их защитой. Его прежние приятели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль, добродушно защищаясь, раз сказал им:

— Послушайте, друзья мои, у вас страшные предрассудки; уверяю вас, что общество этих

людей вовсе не хуже всех остальных, в которых я бывал.

Его подозревали в сумасшествии; после этого, я думаю, подозрение перешло в достоверность!

Роковой день приближался, все становилось страшнее и страшнее. Я смотрел на доктора и на таинственное лицо «бабушки» с подобострастием. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастию, к нам из Москвы приехала, по просьбе моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правления; я повиновался, как негр.

Раз ночью слышу, чья-то рука коснулась меня. Открываю глаза: Прасковья Андреевна стоит передо мной в ночном чепце и кофте, со свечой в руках; она велит послать за доктором и за «бабушкой». Я обмер, точно будто эта новость была для меня совсем неожиданна. Так бы, кажется, выпил опиума, повернулся бы на другой бок и проспал бы опасность… Но делать было нечего, я оделся дрожащими руками и бросился будить Матвея.

Десять раз выбегал я в сени из спальни, чтоб прислушаться, не едет ли издали экипаж: все

было тихо, едва-едва утренний ветер шелестил в саду, в теплом июньском воздухе; птицы начинали петь, алая заря слегка подкрашивала лист, и я снова торопился в спальню, теребил добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами, судорожно жал руки Наташе, не знал, что делать, дрожал и был в жару… Но вот дрожки простучали по мосту через Лыбедь, — слава Богу, вовремя!

В одиннадцать часов утра я вздрогнул, как от сильного электрического удара: громкий крик новорожденного коснулся моего уха. «Мальчик!» — кричала мне Прасковья Андреевна, идучи к корыту; я хотел было взять младенца с подушки, но не мог: так дрожали у меня руки. Мысль об опасности (которая часто тут только начинается), сжимавшая грудь, разом исчезла, буйная радость овладела сердцем, будто в нем звон во все колокола, праздников праздник! Наташа улыбалась мне, улыбалась малютке, плакала, смеялась, и только прерывающееся, спазматическое дыханье, слабые глаза и смертная бледность напоминали о недавнем мучении, о вынесенной борьбе.

Потом я оставил комнату, я не мог больше вынести, взошел к себе и бросился на диван, совершенно обессиленный, и с полчаса пролежал

без определенной мысли, без определенного чувства, в какой-то боли счастья.

Это измученно-восторженное лицо, эту радость, летающую вместе с началом смерти около юного чела родильницы, я узнал потом в Фан-Дейковой мадонне в римской галерее Корсики. Младенец только что родился, его подносят к матери; изнеможенная, без кровинки в лице, слабая и томная, она улыбнулась и остановила на малютке взгляд усталый и исполненный бесконечной любви.

Надобно признаться, дева-родильница совсем не идет в холостую религию христианства. С нею невольно врывается жизнь, любовь, кротость — в вечные похороны, в Страшный суд и в другие ужасы церковной теодицеи.

Оттого-то протестантизм и вытолкнул *одну* Богородицу из своих сараев богослужения, из своих фабрик слова Божия. Она действительно мешает христианскому чину, она не может отделаться от своей земной природы, она греет холодную церковь и, несмотря ни на что, остается женщиной, матерью. Естественными родами мстит она за неестественное зачатие и вырывает благословение своему *чреву* из уст монашеских, проклинающих все телесное.

Бонарроти и Рафаил поняли все это кистью.

В «Страшном суде» Сикстинской капеллы, в этой варфоломеевской ночи на том свете, мы видим сына Божия, идущего предводительствовать казнями; он уже поднял руку… он даст знак — и пойдут пытки, мученья, раздастся страшная труба, затрещит всемирное аутодафе; но — женщина-мать, трепещущая и всех скорбящая, прижалась в ужасе к нему и умоляет его о грешниках; глядя на нее, может, он смягчится, забудет свое жесткое «женщина, что тебе до меня?» и не подаст знака.

Сикстинская мадонна — это Миньона после родов; она испугана небывалой судьбой, потеряна…

Was
hat man dir, du armes Kind, getan?[215]

Внутренний мир ее разрушен; ее уверили, что ее сын — сын Божий, что она — Богородица; она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с магнетическим ясновидением, она будто говорит: «Возьмите его, он не мой». Но в то же время прижимает его к себе так, что, если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы

[215] Сноски: 215
Что с тобой сделали, бедное дитя? (*нем.*)

просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына. И все это оттого, что она женщина-мать и вовсе не сестра всем Изидам, Реям и прочим богам женского пола.

Оттого-то ей и было так легко победить холодную Афродиту, эту Нинону Ланкло Олимпа, о детях которой никто не заботится; Мария с ребенком на руках, с кротко потупленными на него глазами, окруженная нимбом женственности и святостью звания матери, ближе нашему сердцу, нежели ее златовласая соперница.

Мне кажется, что Пий IX и конклав очень последовательно объявили неестественное или, по их, *незапятнанное* зачатие Богородицы. Мария, рожденная, как мы с вами, *естественно* заступается за людей, сочувствует нам; в ней прокралось живое примирение плоти и духа в религию. Если и она не по-людски родилась, между ней и нами нет ничего общего, ей не будет нас жаль, плоть еще раз проклята, церковь еще нужнее для спасения.

Жаль, что папа опоздал лет тысячу, — это уж такая судьба Пия IX. Troppo tardi, Santo Padre, siete sempre e sempre — troppo tardi![216]

---

[216] Сноски: 216

Слишком поздно, святой отец, вы всегда, всегда опаздываете! (*ит.*)

<Письма к Н. А. Захарьиной>

Когда я писал эту часть «Былого и дум», у меня не было нашей прежней переписки. Я ее получил в 1856 году. Мне пришлось, перечитывая ее, поправить два-три места, не больше. Память тут мне не изменила. Хотелось бы мне приложить несколько писем Natalie и с тем вместе какой-то страх останавливает меня, и я не решил вопрос, следует ли еще дальше разоблачать жизнь и не встретят ли строки, дорогие мне, холодную улыбку?

В бумагах Natalie я нашел свои записки, писанные долею до тюрьмы, долею из Крутиц. Несколько из них я прилагаю к этой части. Может, они не покажутся лишними для людей, любящих следить за всходами личных судеб; может, они прочтут их с тем нервным любопытством, с которым мы смотрим в микроскоп на живое развитие организма.

1[217]

15 августа 1832.

Любезнейшая Наталья Александровна!

Сегодня день вашего рождения; с величайшим желанием хотелось бы мне поздравить вас лично, но, ей-богу, нет никакой возможности. Я виноват, что давно не был, но обстоятельства совершенно не позволили мне по желанию расположить временем. Надеюсь, что вы простите мне, и желаю вам полного развития всех ваших талантов и всего запаса счастья, которым наделяет судьба души чистые.

Преданный вам А. Г.

2

5 или 6 июля 1833.

Напрасно, Наталья Александровна, напрасно вы думаете, что я ограничусь одним письмом, — вот вам и другое. Чрезвычайно приятно писать к особам, с которыми есть сочувствие; их так мало, так мало, что и дести бумаги не изведешь

---

[217] Сноски: 217

Записочки эти сохранились у Natalie; на многих написано ею несколько слов карандашом. Ни одного письма из писанных ею в тюрьму не могло у меня уцелеть. Я их должен был тотчас уничтожать.

в год.

Я — кандидат, это правда, но золотую медаль дали не мне. Мне серебряная медаль — *одна из трех!*

А. Г.

P. S. Сегодня акт, но я не был, ибо не хочу быть вторым при получении награды.

3

(В начале 1834)

Natalie! Мы ждем вас с нетерпением к нам. М. надеется, что, несмотря на вчерашние угрозы Е. И., и Эмилия Михайловна наверное будет к нам. Итак, до свиданья.

Весь ваш А. Г.

4

10 декабря 1834, Крутицкие казармы.

Сейчас написал я к полковнику письмо, в котором просил о пропуске *тебе*, ответа еще нет. У вас это труднее будет обделать, я полагаюсь на маменьку. Тебе счастье насчет меня: ты была последний из моих друзей, которого я видел пе-

ред взятием (мы расстались с твердой надеждой увидеться скоро, в десятом часу, а в два я уже сидел в части), и ты первая опять меня увидишь. Зная тебя, я знаю, что это доставит тебе удовольствие; будь уверена, что и мне также. Ты для меня родная сестра.

О себе много мне нечего говорить, я обжился, привык быть колодником; самое грозное для меня — это разлука с Огаревым: он мне необходим. Я его ни разу не видал — т. е. порядочно; но однажды я сидел один в горнице (в комиссии), допрос кончился; из моего окна видны были освещенные сени; подали дрожки; я бросился инстинктивно к окну, отворил форточку и видел, как сели плац-адъютант и с ним Огарев; дрожки укатились, и ему нельзя было меня заметить. Неужели нам суждена гибель, немая, глухая, о которой никто не узнает? Зачем же природа дала нам души, стремящиеся к деятельности, к славе? Неужели это насмешка? Но нет, здесь в душе горит вера — сильная, живая. Есть провидение! Я читаю с восторгом четьи минеи, — вот примеры самоотвержения, вот были люди!

Ответ получил, он не весел — позволение пропустить не дают.

Прощай, помни и люби твоего брата.

5

31 декабря 1834.

Никогда не возьму я на себя той ответственности, которую ты мне даешь, никогда! У тебя есть много *своего,* зачем же ты так отдаешься в волю мою? Я хочу, чтоб ты сделала *из себя то, что можешь из себя сделать,* с своей стороны, я берусь способствовать этому развитию, отнимать преграды.

Что касается до твоего положения, оно не так дурно для твоего развития, как ты воображаешь. Ты имеешь большой шаг над многими; ты, когда начала понимать себя, очутилась одна, одна во всем свете. Другие знали любовь отца и нежность матери, — у тебя их не было. Никто не хотел тобою заняться, ты была оставлена себе. Что же может быть лучше для развития? Благодари судьбу, что тобою никто не занимался: они тебе навеяли бы чужого, они согнули бы ребяческую душу, — теперь это поздно.

6

8 февраля 1835, Крутицкие казармы.

У тебя, говорят, мысль идти в монастырь; не жди от меня улыбки при этой мысли, — я понимаю ее, но ее надобно взвесить очень и очень. Неужели мысль любви не волновала твою грудь? Монастырь — отчаяние, теперь нет монастырей для молитвы. Разве ты сомневаешься, что встретишь человека, который тебя будет любить, которого ты будешь любить? Я с радостью сожму его руку и твою. Он будет счастлив. Ежели же этот *он* не явится — иди в монастырь, это в миллион раз лучше пошлого замужества.

Я понимаю le ton d'exaltation[218] твоих записок — *ты влюблена!* Если ты мне напишешь, что любишь серьезно, я умолкну, — тут оканчивается власть брата. Но слова эти мне надобно, чтоб ты сказала. Знаешь ли ты, что такое обыкновенные люди? Они, правда, могут составить счастье, — но твое ли счастье, Наташа? Ты слишком мало ценишь себя! Лучше в монастырь, чем в толпу. Помни одно, что я говорю это, потому что я твой

---

[218] Сноски: 218
восторженный тон (*фр.*).

брат, *потому что я горд за тебя и тобою!*

От Огарева получил еще письмо, вот выписка:

«L'autre jour donc je repassais dans ma mémoire toute ma vie. Un bonheur, qui ne m'a jamais trahi, c'est ton amitié. De toutes mes passions und seule, qui est restée intacte, c'est mon amitié pour toi, car mon amitié est une passion»[219].

...В заключение еще слово. Если он тебя любит, что же тут мудреного? Что же бы он был, если б не любил, видя тень внимания? Но я умоляю тебя, не говори ему о своей любви — долго, долго.

Прощай, твой брат Александр.

7

<Февраль 1835 г.>

Каких чудес на свете не видится, Natalie! Я, прежде чем получил последнюю твою записку, отвечал тебе на все вопросы. Я слышал, ты больна, грустна. Береги себя, пей с твердостью не столько горькую, сколько отвратительную чашу, которую наполняют тебе *благодетельные*

---

[219] Сноски: 219

«На днях я пробежал в памяти всю свою жизнь. Счастье, которое меня никогда не обманывало, — это твоя дружба. Из всех моих страстей единственная, которая осталась неизменной, — это моя дружба к тебе, ибо моя дружба — страсть» (*фр.*).

люди.

И вслед за тем на другом листочке:

<Март 1835 г.>

Наташа, друг мой, сестра, ради Бога не унывай, презирай этих гнусных эгоистов, ты слишком снисходительна к ним, презирай их всех — они мерзавцы! Ужасная была для меня минута, когда я читал твою записку к Emilie. Боже, в каком я положении, — ну что я могу сделать для тебя? Клянусь, что ни один брат не любит более сестру, как я тебя, — но что я могу сделать?

Я получил твою записку и доволен тобою. Забудь его, коли так; это был опыт, а ежели б любовь в самом деле, то она не так бы выразилась.

8

2 апреля <1835 г.>, Крутицкие казармы.

По клочкам изодрано мое сердце, во все время тюрьмы я не был до того задавлен, стеснен, как теперь. Не ссылка этому причиной. Что мне Пермь или Москва, и Москва — Пермь! Слушай все до конца.

31 марта потребовали нас слушать сентенцию.

Торжественный, *дивный* день. Там соединили двадцать человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны одни по казематам крепостей, другие — по дальним городам; все они провели девять месяцев в неволе. Шумно, весело сидели эти люди в большой зале. Когда я пришел, Соколовский, с усами и бородою, бросился мне на шею, а тут С<атин>; уже долго после меня привезли Огарева, все высыпало встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло в моей душе, я жил, я *был юноша,* я жал всем руку, — словом, это одна из счастливейших минут жизни, ни одной мрачной мысли. Наконец, нам прочли приговор[220].

…Все было хорошо, но вчерашний день, — да будет он проклят! — сломил меня до последней жилы. Со мною содержится Оболенский. Когда нам прочли сентенцию, я спросил дозволения у Цынского нам видеться, — мне позволили. Возвратившись, я отправился к нему; между тем, об этом дозволении забыли сказать полковнику. На другой день мерзавец офицер С. донес полковнику, и я, таким образом, замешал трех лучших офицеров, которые мне делали Бог зна-

---

[220] Сноски: 220
Пропускаю его.

ет сколько одолжений; все они имели выговор и все наказаны и теперь должны, не сменяясь, дежурить три недели (а тут Святая). Васильева (жандарма) высекли розгами — и все через меня. Я грыз себе пальцы, плакал, бесился, и первая мысль, пришедшая мне в голову, было мщение. Я рассказал про офицера вещи, которые могут погубить его (он заезжал куда-то с арестантом), и вспомнил, что он бедный человек и отец семи детей; но должно ль щадить фискала? Разве он щадил других?

9

10 апреля 1835, 9 часов

За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе — к тебе будет последний звук отъезжающего. Тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался; она влечет меня, и я покоряюсь. Когда ж мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы, изгнанник никогда не забудет свою прелестную сестру.

Может быть… но окончить нельзя, за мной пришли. Итак, прощай надолго, но, ей-богу, не навсегда, я не могу думать сего.

Все это писано при жандармах.

На этой записке видны следы слез, и слово «может быть» подчеркнуто два раза ею. Natalie эту записку носила с собой несколько месяцев.

Предисловия
Переводы
Отрывки
Братьям на Руси

Под сими строками покоится прах сорокалетней жизни, окончившейся прежде смерти.
Братья, примите память ее с миром!

Наконец, смятение и тревога, окружавшие меня, вызванные мною, утихают; людей становится меньше около меня, и так как нам не по дороге, я более и более остаюсь один.

Я не еду из Лондона. Некуда и незачем… Сюда прибило и бросило волнами, так безжалостно ломавшими, крутившими меня и все мне близкое… Здесь и приостановлюсь, чтоб перевести дух и сколько-нибудь прийти в себя.

Не знаю, успею ли я, смогу ли воспользоваться этим временем, чтоб рассказать вам страшную историю последних лет моей жизни. Сделаю опыт.

Каждое слово об этом времени тяжело потрясает душу, сжимает ее, как редкие и густые

звуки погребального колокола, и между тем я хочу говорить об нем — не для того, чтоб от него отделаться, от моего прошедшего, чтоб покончить с ним, — нет, я им не поступлюсь ни за что на свете: у меня нет ничего, кроме его. Я благословил свои страдания, я примирился с ними; и я торжественно бы вышел из ряда испытаний, и не один, если б смерть не переехала мне дорогу. За пределами былого у меня нет ничего своего, личного. Я живу в нем, я живу смертью, минувшим, — так иноки, постригаясь, теряли свою личность и жили созерцанием былого, исповедью совершившегося, молитвой об усопших, об их светлом воскресении. Прошедшее живо во мне, я его продолжаю, я не хочу его заключить, а хочу говорить, потому что я один могу свидетельствовать об нем.

Исповедь моя нужна мне, вам она нужна, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям.

Мы расстались с вами, любезные друзья, 21 января 1847 г.

Я был тогда во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне такие залоги и такие испытания, что я смело шел от вас, с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием

к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение.

Я нашел все, чего искал, — да, сверх того, гибель, утрату всех благ и всех упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не останавливающееся ни перед чем, посягающее на все, и нравственное растление, о котором вы не имеете понятия…

Пятнадцать лет тому назад, будучи в ссылке, в одну из изящнейших, самых поэтических эпох моей жизни, зимой или весной 1838 года, написал я легко, живо, шутя воспоминания из моей первой юности. Два отрывка, искаженные цензурою, были напечатаны. Остальное погибло; я сам долею сжег рукопись перед второю ссылкой, боясь, что она попадет в руки полиции и компрометирует моих друзей.

Между теми записками и этими строками прошла и совершилась целая жизнь, — две жизни,

с ужасным богатством счастья и бедствий. Тогда все дышало надеждой, все рвалось вперед, теперь одни воспоминания, один взгляд назад, взгляд вперед переходит пределы жизни, он обращен на детей. Я иду спиной, как эти дантовские тени, со свернутой головой, которым

il veder dinanziera tolto[221].

Пятнадцать лет было довольно не только чтоб развить силы, чтоб исполнить самые смелые мечты, самые несбыточные надежды, с удивительной роскошью и полнотой, но и для того, чтоб сокрушить их, низвергая все, как карточный дом… частное и общее.

Продолжать «Записки молодого человека» я не хочу, да если б и хотел, не могу. Улыбка и излишняя развязность не идут к похоронам. Люди невольно понижают голос и становятся задумчивы в комнате, где стоит гроб — незнакомого даже им покойника.

А. Герцен.

2 ноября 1852. Лондон. 2, Barrow Hill Place, Primrose Road.

---

[221] Сноски: 221
не дано было смотреть вперед (*ит.*).

К первой части
<Предисловие>

В октябре месяце нынешнего года Герст и Блякет издали английский перевод моих «Записок». Успех был полнейший: не только все свободомыслящие журналы и ревю поместили большие отрывки с самыми лестными отзывами (с особенной благодарностью вспоминаю я о статьях «The Athenaeum», «The Critic» и «Weekly Times»), но даже тайнобрачный орган пальмерстоновского и бонапартовского союза «Morning Post» разбранил меня и советовал закрыть русскую типографию, если я хочу пользоваться уважением (кого? — их — нисколько не хочу).

Этот успех, вместе с разбором немецкого перевода в нью-йоркских и немецких журналах, решил мое сомнение — печатать или нет часть, предшествующую «Тюрьме и ссылке». В этой части мне приходилось больше говорить о себе, нежели в напечатанных, и не только о себе, но и о семейных делах. Это вещь трудная — не сама по себе, а потому, что по дороге невольно наталкиваешься на предрассудки, окружающие

забором семейный очаг. Я не коснулся грубо ни одного воспоминания, не оскорбил ни одного истинного чувства, но я не хотел пожертвовать интересом, который имеет жизнь, искренно рассказанная, — целомудренной лжи и коварному умалчиванию.

Не знаю, стоит ли говорить о гнусных нападках, которым меня подвергла неосторожная проделка издателей; но, чтоб не подумали, что я умолчал о них, скажу несколько слов. Издатели переводов, не имевшие никакого сношения со мной, смело поставили слово «Сибирь» в заглавии. Я протестовал. Это не помешало одному журналу напасть на меня. Я отвечал, рассказав дело. Он продолжал клевету — я не мог нагнуться до ответа. По счастью, я знаю, что в России не только между нашими друзьями, но между нашими врагами не найдется ни один человек, который бы заподозрил меня в намеренном обмане à la Barnum или подумал бы, что ссылка на *чернильную* работу была для меня добровольной службой.

И–р.

<Все несчастие борьбы...>

Все несчастие борьбы, на которую он потратил так много себя, состояло преимущественно в том, что он слишком серьезно и добросовестно принимал замечания и капризы отца. В преследованиях его ничего не было *лютого*: tracasseries[222], к которым он привык и которыми теснил нас, обращались ко всем. Бедный страдалец воображал, что отец его терпеть не может. Ненавидеть не только без причины, но и с причиной было вовсе не в нраве старика; он действительно был слишком эгоист, чтоб ненавидеть.

Принимать поверхностные шероховатости жизни за большие бедствия — страшная вещь. Без доли легости невозможно жить человеку; кто все принимает к сердцу, тому нет места на земли. Он столько же вне истинной жизни, как тот, с которого все стекает, как с гуся вода. Две-три струны играют приму, — когда они обрываются, все должно обрываться, когда они фальшат — все фальшит; остальное — хор, аккомпанемент, вариации — они могут прибавить согласия

---

[222] Сноски: 222
придирки (*фр.*).

или несогласия, но основного тона не должны менять в здоровой натуре; человек может от них освободиться, но для этого надобно иметь внутри себя — или, пожалуй, вне — другие обители.

Натура больного именно не была здоровой натурой. Единственная обитель, которая могла представить выход брату, была музыка. Но он был уж слишком замучен, чтоб сделаться истинным артистом. Воспитанье, задержанное болезнию и небрежностью, не дало ему никаких средств внутреннего освобождения. Он вовсе не был лишен способностей, но одичал в своей физической и моральной борьбе.

<Из III главы>

Il se créa même une masse entière de fanatiques de l'esclavage, les uns y étaient par bassesse et calcul, les autres pire que cela — sans aucun intérêt, très franchement.

L'insurrection et la terreur firent sur moi une grande impression. Je ne sais comment, mais dès les premiers jours je sentais que je n'étais pas du côté des canons et de la mitraille — l'exécution de Pestel et de ses amis réveilla complètement mon âme et décida de mon sort.

Tout le monde attendait la commutation de la peine, c'était la veille du couronnement, même mon père avec sa réserve prudente et son scepticisme disait que les gibets et toutes ces sentences imprimées n'étaient que pour frapper les esprits. On connaissait trop peu son Nicolas. Il quitta Pétersbourg et sans entrer à Moscou s'arrêta au Palais Pétrovsky, et c'est là qu' <il> attendait la bonne nouvelle. On était stupéfait en lisant un matin le terrible article de la gazette officielle: «Le 26 juillet à 5 heures du matin cinq traîtres condamnés par la Haute Cour ont été *pendus* par la main du bourreau».

Il ne faut pas oublier que le peuple russe est déshabitué des meurtres judiciaires. Depuis l'exécution immorale et astucieuse de Mirovitch qui a été décapité pour le crime commis par Catherine, et du célèbre Pougatcheff avec ses deux amis — il n'y avait pas une seule exécution, c'est-à-dire pendant cinquante ans. Du temps de Paul, il y avait une révolte partielle des Cosaks, deux officiers y étaient mêlés, Paul investit d'un pouvoir discrétionnaire le hetman qui présidait le conseil de guerre, on condamna les deux officiers à être décapités. La sentence leur fut annoncée — mais personne ne voulait signer l'ordre, le hetman, ne sachant que faire en écrivit à l'empereur. Paul était très mécontent.

ПЕРЕВОД

Создалась даже целая масса фанатиков рабства, одни из подлости и расчета, другие хуже того — без всякой корысти, совершенно чистосердечно.

Восстание и террор произвели на меня огромное впечатление. Не знаю, каким образом, но с первых же дней я почувствовал, что я не на стороне пушек и картечи, — казнь Пестеля и его друзей совершенно разбудила мою душу и решила мою судьбу.

Все ожидали смягчения наказания, это было накануне коронации, — даже мой отец, со своей

осторожной сдержанностью и скептицизмом, говорил, что виселицы и все эти напечатанные приговоры имеют целью лишь поразить умы. Но все слишком плохо знали своего Николая. Он покинул Петербург и, не въезжая в Москву, остановился в Петровском дворце, и там-то он ожидал доброй вести. Все были поражены, читая как-то утром страшную статью официальной газеты: «26 июля в 5 часов утра пять изменников, осужденных Верховным судом, были *повешены* рукой палача».

Не следует забывать, что русский народ отвык от убийств по судебному приговору. Со времен безнравственной и коварной казни Мировича, который был обезглавлен за преступление, совершенное Екатериной, и знаменитого Пугачева с его двумя друзьями, т. е. в течение пятидесяти лет, не было ни одной казни. При Павле было какое-то частное возмущение казаков; в нем были замешаны два офицера; Павел дал неограниченную власть гетману, председательствовавшему на военном совете; оба офицера, по приговору, должны были быть обезглавлены. Приговор был им объявлен, но никто не хотел подписать приказа; гетман, не зная, что делать, написал об этом императору. Павел был очень недоволен.

Ко второй части
Введение <к первому изданию «Тюрьмы и ссылки»>

В конце 1852 года я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примроз-Гилля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей.

В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере делами целого народа, знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили — и ни одного слова о том, о чем хотелось говорить.

…А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что *ни один человек*, кроме меня, не знает ее и что с моей смертью умрет и истина.

Я решился писать; но одно воспоминание вы-

зывало сотни других, все старое, полузабытое воскресало — отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка[223] — эти ранние несчастия, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь.

Я не имел сил отогнать эти тени, — пусть они светлыми сенями, думалось мне, встречают в книге, как было на самом деле.

И я стал писать с начала; пока я писал две первые части, прошли несколько месяцев поспокойнее…

Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище…

Лондон, 1 мая 1854 г.

---

[223] Сноски: 223

Рассказ о «Тюрьме и ссылке» составляет вторую часть записок. В нем всего меньше речи обо мне, он мне показался именно потому занимательнее для публики.

Ко второму изданию <«Тюрьмы и ссылки»>

Когда *Н. Трюбнер* просил у меня дозволения сделать *второе издание* моих сочинений, изданных в Лондоне, я потому исключил «Тюрьму и ссылку», что думал в скором времени начать полное издание моих воспоминаний под заглавием «Былое и думы».

Но, несмотря на то, что скоро сказывается сказка, да не скоро делается дело, я увидел, что мой рассказ еще не так близок к полному изданию, как я думал. Между тем требования на «Тюрьму и ссылку» повторяются чаще и чаще. Книжка эта имеет свою относительную целость, свое единство, и я согласился на предложение г. Трюбнера.

Перечитывая ее, я добавил две-три подробности (мою встречу с Цехановичем и историю владимирского старосты…), но текст оставлен без значительных поправок. Я не разделяю шутя высказанного мнения Гейне, который говорил, что он очень доволен тем, что долго не печатал своих записок, потому что события доставляли ему случай проверять и исправить сказанное.

И–р.

21 апреля 1858. Путней, близ Лондона.

К третьей части <Предисловие>

Отрывок, печатаемый теперь, следует прямо за той частию, которая была особо издана под заглавием «Тюрьма и ссылка»; она была написана тогда же (1853), но я многое прибавил и дополнил.

Странная судьба моих «Записок»: я хотел напечатать одну часть их, вместо того напечатал три и теперь еще печатаю *четвертую.*

Один парижский рецензент, разбирая, впрочем, очень благосклонно («La presse», 13 oct. 1856), третий томик немецкого перевода моих «Записок», изданных Гофманом и Кампе в Гам-

бурге, в котором я рассказываю о моем детстве, прибавляет шутя, что я повествую свою жизнь, как эпическую поэму: начал in medias res[224] и потом возвратился к детству.

Это эпическое кокетство — совершенная случайность, и если кто-нибудь виноват в нем, то совсем не я, а скорее мои рецензенты и в том числе сам критик «Прессы». Если б они отрывки из моих «Записок» приняли строже, холоднее и, что еще хуже, — пропустили бы их без всякого внимания, я долго не решился бы печатать еще и долго обдумывал бы, в каком порядке печатать.

Прием, сделанный им, увлек меня, и мне стало труднее не печатать, нежели печатать.

Я знаю, что большая часть успеха их принадлежит не мне, а предмету. Западные люди были рады еще раз заглянуть за кулисы русской жизни. Но, может, в сочувствии к моему рассказу доля принадлежит *простой правде* его. Эта награда была бы мне очень дорога, ее только я и желал.

Часть, печатаемая теперь, интимнее прежних; именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов; но мне было гораздо труднее ее

---

[224] Сноски: 224
с сути дела (*лат.*).

писать… К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с внутренним трепетом, не давая себе отчета зачем…

…Может быть, кому-нибудь из тех, которым была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя. Ведь мы уже теперь старые знакомые…

И–р.

Лондон, 21 ноября 1856.

Часть четвертая
Москва, Петербург и Новгород (1840–1847)
Глава XXV

Диссонанс. – Новый круг. – Отчаянный гегелизм. – В. Белинский, М. Бакунин и пр. – Ссора с Белинским и мир. – Новгородские споры с дамой. – Круг Станкевича.

В начале 1840 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок с щемящим сердцем и страхом; я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше и что придется подвязать много парусов.

Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы и нашу весну…

Не повторятся зимние вечера, в которые, сидя близко друг к другу, мы закрывали книгу и слушали скрып пошевней и звон бубенчиков, напоминавший нам то 3 марта 1838, то нашу

поездку 9 мая…

Не повторятся!

…На сколько ладов и как давно люди знают и твердят, что «жизни май цветет один раз и не больше», а все же июнь совершеннолетия, с своей страдной работой, с своим щебнем на дороге, берет человека врасплох. Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет — а тут любовь, найдено *неизвестное,* все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво; постороннее и тут не бьет: они *даны* друг другу — кругом хоть трава не расти!

А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться.

Мы знали, что Владимира с собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел. Мне казалось даже, что, возвращаясь в Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель — вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в двух шагах от Сенатора и моего отца, да вот и он сам, мой отец, состаревшийся и сгорбившийся, но так же готовый меня журить за то, что поздно воротил-

ся домой. «Кто-то завтра читает лекции? Когда репетиция? Из университета зайду к Огареву»… Это *1833 год!*

Огарев в самом деле был налицо.

Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатично окружало его.

Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокоивают их, они — *открытый стол,* за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом.

Знакомые поглощали у него много времени, он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирал, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость. Да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь не только близких людей, но посторонних, слабых; ведь и это стоит чтения и других занятий!

Я никогда толком не мог понять, как это обви-

няют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом за рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повторил слова Дон-Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку. Все это так, но ни Цезарь, ни Дон-Карлос с Позой, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для *бессмертия.* Есть дело, надобно его и сделать, а как же это делать для дела или в *знак памяти* роду человеческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дело?

Дело, business[225]... Чиновники знают только гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и ско-

---

[225] Сноски: 225
дело, занятие (*англ.*).

ванном. Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем, сделанном мною, отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более *праздно* проводили за бокалом вина?

…Но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино — но не весело, не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрел Огарев, и К<етчер> зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем аккорде вопиющим диссонансом; всей теплоты, всей дружбы Огарева недоставало, чтоб заглушить ее.

То, чего я опасался за год перед тем, то случилось, и хуже, чем я думал.

Отец Огарева умер в 1838; незадолго до его смерти он женился. Весть о его женитьбе испугала

меня — все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу; он писал с восторгом и был счастлив, — ему я больше верил, но все же боялся.

В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Оранский нам читал приговор. Тут было не до разбора, помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу; но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия — молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила.

У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие.

— На колени! — сказал Огарев, — и поблагода-

рим за то, что мы все четверо вместе!

Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному из четырех вряд нужно ли было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на происходившее; я думал тогда, что это — retenue[226], но она сама сказала мне впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны; но зачем же она смотрела со стороны, зачем она была так трезва в этом упоении, так совершеннолетня в этой молодости?

Огарев возвратился в свое именье, она поехала в Петербург хлопотать о его возвращении в Москву.

Через месяц она опять проезжала Владимиром — одна. Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову. Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство. «Как-то сладит она с этим?» — думал я. Много бед могло развиться из такой противуположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны; может, это было минутное увлеченье — она была умна, она любила Огарева — и я надеялся.

---

[226] Сноски: 226
сдержанность (*фр.*).

В Москве опасались, что это не так легко переработается в ней. Артистический и литературный круг довольно льстил ее самолюбию, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы иметь при аристократическом салоне придел для художников и ученых и насильно увлекала Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки. Ближайшие друзья стали замечать это, и К<етчер>, давно уже хмурившийся, грозно заявил свое veto[227]. Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнувшая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия, столько же раздражительные, как ее. Угловатые, несколько сухие манеры ее и насмешки, высказываемые тем голосом, который при первой встрече так странно провел мне по сердцу, вызвали резкий отпор. Побранившись месяца два с К<етчером>, который, будучи прав в фонде[228], был постоянно неправ в форме, и восстановив против себя несколько человек, может, слишком обидчивых по материальному положению, она наконец очутилась лицом к лицу со мной.

Меня она боялась. Во мне она хотела поме-

[227] Сноски: 227
запрет (*лат.*).

[228] Сноски: 228
сущности (*фр.* fond).

риться и окончательно узнать, что возьмет верх — *дружба или любовь,* как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре; тут было сознание, что я всего сильнее противудействую ее видам, тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С К<етчером> она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бранятся, всякий день, но без ожесточения; на меня она смотрела бледнея и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, и, в свою очередь, сделался жёсток и беспощаден. Она сама признавалась мне, пять лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить, — вот до чего доходила ее ненависть. Она с Natalie раззнакомилась за ее любовь ко мне, за дружбу к ней всех наших.

Огарев страдал. Его никто не пощадил: ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угловатости — и мы мири-

лись; но дико кричало оскорбленное самолюбие, и наболевшая обидчивость вспыхивала войной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята его святыня, что она чужая, — но не мог ее разлюбить. Мы были свои — но он с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему. Он не мог грубо порвать узы Naturgewalt'a[229], связывавшего его с нею, ни крепкие узы симпатии, связывавшие с нами; он во всяком случае должен был изойти кровью, и, чувствуя это, он старался сохранить ее и нас — судорожно не выпускал ни ее, ни наших рук, — а мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи!

Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток, в своем неведении, ребенок, жесток юноша, гордый своей чистотой, жесток поп, гордый своей святостью, и доктринер, гордый своей наукой, — все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными падениями, вслед

---

[229] Сноски: 229
власти природы (*нем.*).

за испугом, который обдает человека холодом, когда он один, без свидетелей начинает догадываться, какой он слабый и дрянной человек. Сердце становится кротче; обтирая пот ужаса, стыда, боясь свидетеля, оно ищет *себе* оправданий — и находит их *другому.* Роль судьи, палача с той минуты поселяет в нем отвращение.

Тогда я был далек от этого!

Перемежаясь, продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преследуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше в какие-то путы, не могла в них идти, рвалась, падала — и не менялась. Чувствуя свое бессилие победить, она сгорала от досады и dépit[230], от ревности без любви. Ее растрепанные мысли, бессвязно взятые из романов Ж. Санда, из наших разговоров, никогда ни в чем не дошедшие до ясности, вели ее от одной нелепости к другой, к эксцентричностям, которые она принимала за оригинальную самобытность, к тому женскому освобождению, в силу которого они отрицают из существующего и принятого *на выбор,* что им не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрыв становился неминуем, но Огарев еще

---

[230] Сноски: 230
обиды (*фр.*).

долго жалел ее, еще долго хотел спасти ее, надеялся. И когда на минуту в ней пробуждалось нежное чувство или поэтическая струйка, он был готов забыть на веки веков прошедшее и начать новую жизнь гармонии, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновесие и всякий раз падала глубже. Нить за нитью болезненно рвался их союз до тех пор, пока беззвучно перетерлась последняя нитка, — и они расстались навсегда.

Во всем этом является один вопрос не совсем понятный. Каким образом то сильное симпатическое влияние, которое Огарев имел на все окружающее, которое увлекало посторонних в высшие сферы, в общие интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставив на нем никакого благотворного следа? А между тем он любил ее страстно и положил больше силы и души, чтоб ее спасти, чем на все остальное; и она сама сначала любила его — в этом нет сомнения.

Много я думал об этом. Сперва, разумеется, винил одну сторону, потом стал понимать, что и этот странный, уродливый факт имеет объяснение и что в нем, собственно, нет противуречия. Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на *одну* женщину.

Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать *одного* ребенка. В аудитории, в церкви, в клубе одинаковость стремлений, интересов идет вперед, во имя их люди встречаются там, — стоит продолжать развитие. Огарева кружок состоял из прежних университетских товарищей, молодых ученых, художников и литераторов; их связывала общая религия, общий язык и еще больше — общая ненависть. Те, для которых эта религия не составляла в самом деле жизненного вопроса, мало-помалу отдалялись, на их место являлись *другие*, а мысль и круг крепли при этой свободной игре избирательного сродства и общего, связующего убеждения.

Сближение с женщиной — дело чисто личное, основанное на ином, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы прежде близки, потом знакомимся. У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко, у них все случайно, в половину уступает он, в половину она; да если и не уступают — беды нет. С ужасом открывает, напротив, человек, преданный своей идее, что она чужда существу, так близко поставленному. Он принимается наскоро будить

женщину, но большей частью только пугает или путает ее. Оторванная от преданий, от которых она не освободилась, и переброшенная через какой-то овраг, ничем не наполненный, она верит в свое освобождение — заносчиво, самолюбиво, через пень-колоду отвергает старое, без разбора принимает новое. В голове, в сердце — беспорядок, хаос… вожжи брошены, эгоизм разнуздан… А мы думаем, что сделали дело, и проповедуем ей, как в аудитории!

Талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика.

Уж не оттого ли люди истязают детей, а иногда и больших, что их так трудно воспитывать, а сечь так легко? Не мстим ли мы наказанием за нашу неспособность?

Огарев это понял еще тогда; потому-то его все (и я в том числе) упрекали в излишней кротости.

…Круг молодых людей, составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин

и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления, одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное.

Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно

обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье, — совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота?

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.

Станкевич, тоже один из *праздных* людей, *ничего* не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно по-

литическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непониманья, был Грановский; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como[231] лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич естественно должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтобы надолго остаться в спекулативном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево

[231] Сноски: 231
озера Комо (*ит.*).

учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений — за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки: с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они — *сегодня, а мы — уже вчера,* и требуя безусловного принятия «Феноменологии» и «Логики» Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее *по себе бытии».* Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, за-

читывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он, — так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником Гегелевой философии», если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их *покупали.*

Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения, — ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления; молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык; они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще, для большей легости, оставляя все латинские слова in crudo[232], давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать, потому что, увле-

---

[232] Сноски: 232
здесь: в нетронутом виде (*лат.*).

ченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это «птичьим языком». Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских.

Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучилась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, т. е. в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для *верных*, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее.

Механическая слепка немецкого *церковно*-ученого диалекта была тем непростительнее, что

главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем, — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля с студентом. Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном

и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту»[233] или к «трагическому в сердце»…

То же в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество Божие», «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер — поэт субъективный, но его субъ-

---

[233] Сноски: 233
душевному состоянию (*нем.* Gemüt).

ективность объективна, и vice versa[234], все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи

[234] Сноски: 234
наоборот (*лат.*).

«о палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии.

Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы (один Ганс делает исключение), окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так оказать, в мысль — становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике — тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политиче-

ским бытом Германии — «Все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от Бога». Но если все власти от Бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая таутология, но, таутология или нет, она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, — этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противуположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически-страстная натура бойца — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не

самобытные: в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, *заговорить*, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных при-

ятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость ex ipso fonte bibere[235] и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не *переживший* «Феноменологии» Гегеля и «Противуречий общественной экономии» Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал, не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может, с намерением, дурно формулирована.

Так, как в математике — только там с бóльшим правом — не возвращаются к определению пространства, движения, сил, а продолжают

---

[235] Сноски: 235
испить из самого источника (*лат.*).

диалектическое развитие их свойств и законов, так и в формальном понимании философии, привыкнув однажды к началам, продолжают одни выводы. Новый человек, не забивший себя методой, обращающейся в привычку, именно за эти-то предания, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цепляется. Людям, давно занимающимся и, следственно, не беспристрастным, кажется удивительным, как другие не понимают вещей «совершенно ясных».

Как не понять *такую* простую мысль, как, например, что «душа бессмертна, а что умирает одна личность», — мысль, так успешно развитая берлинским Михелетом в его книге. Или еще более простую истину, что безусловный дух есть личность, сознающая себя через мир, а между тем имеющая и свое собственное самопознание.

Все эти вещи казались до того легки нашим друзьям, они так улыбались «французским» возражениям, что я был на некоторое время подавлен ими и работал, и работал, чтоб дойти до отчетливого понимания их философского jargon[236].

По счастию, схоластика так же мало свойствен-

---

[236] Сноски: 236
жаргона (*фр.*).

на мне, как мистицизм, я до того натянул ее лук, что тетива порвалась и повязка упала. Странное дело, спор с дамой привел меня к этому.

В Новгороде, год спустя, познакомился я с одним генералом. Познакомился я с ним потому, что он всего меньше был похож на генерала.

В его доме было тяжело, в воздухе были слезы, — тут очевидно прошла смерть. Седые волосы рано покрыли его голову, и добродушно-грустная улыбка больше выражала страданий, нежели морщины. Ему было лет пятьдесят. След судьбы, обрубившей живые ветви, еще яснее виднелся на бледном, худом лице его жены. У них было слишком тихо. Генерал занимался механикой, его жена по утрам давала французские уроки каким-то бедным девочкам; когда они уходили, она принималась читать, и один цветы, которых было много, напоминали иную, благоуханную, светлую жизнь, да еще игрушки в шкапе — только ими никто не играл.

У них было трое детей; два года перед тем умер девятилетний мальчик, необыкновенно даровитый; через несколько месяцев умер другой ребенок от скарлатины; мать бросилась в деревню спасать последнее дитя переменой воздуха и через несколько дней воротилась; с ней в каре-

те был гробик.

Жизнь их потеряла смысл, кончилась и продолжалась без нужды, без цели. Их существование удержалось сожалением друг о друге; одно утешение, доступное им, состояло в глубоком убеждении необходимости одного для другого, для того, чтоб как-нибудь нести крест. Я мало видел больше гармонических браков, но уже это и не был брак — их связывала не любовь, а какое-то глубокое братство в несчастии, их судьба тесно затягивалась и держалась вместе тремя маленькими холодными ручонками и безнадежной пустотою около и впереди.

Осиротевшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасение от тоски в мире таинственных примирений, она была обманута лестью религии человеческому сердцу. Для нее мистицизм был не шутка, не мечтательность, а опять-таки дети, и она защищала их, защищая свою религию. Но, как ум чрезвычайно деятельный, она вызывала на спор и знала свою силу. Я после и прежде встречал в жизни много мистиков в разных родах, от Витберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение Бога и снимавших шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь

«Мапа», который сам мне рассказывал свое свидание с Богом, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижем. Все они, большею частью люди нервные, действовали на нервы, поражали фантазию или сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики.

На нем-то и стояла твердо и безбоязненно Л. Д. Где и как она успела приобрести такую артистическую ловкость диалектики — я не знаю. Вообще женское развитие — тайна: все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословие и чтение романов, глазки и слезы — и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла — и перед вами Теруань де-Мерикур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках, среди крамольной толпы солдат.

У Л. Д. все было кончено, тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости; вряд были ли иезуиты или кальвинисты так стройно последовательны своему ученью, как она.

Вместо того чтоб ненавидеть смерть, она, лишившись своих малюток, возненавидела жизнь. Это-то и надобно для христианства, для этой пол-

ной апотеозы смерти — пренебрежение земли, пренебрежение тела не имеет другого смысла. Итак, гонение на все жизненное, реалистическое: на наслаждение, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существования. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина.

Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости — барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести.

— Вы никогда не дойдете, — говорила она, — ни до личного Бога, ни до бессмертия души никакой философией, а храбрости быть атеистом и отвергнуть жизнь за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий, внутреннее отвращение отталкивает их, — вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтоб отвести глаза, чтоб дойти до того, что просто и детски дано религией.

Я возражал, я спорил, но внутри чувствовал, что полных доказательств у меня нет и что она тверже стоит на своей почве, чем я на своей.

Надобно было, чтоб для довершения беды подвернулся тут инспектор врачебной управы, добрый человек, но один из самых смешных нем-

цев, которых я когда-либо встречал; отчаянный поклонник Окена и Каруса, он рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со мной.

Доктор выходил из себя, бесился, тем больше что другими средствами не мог взять, находил воззрения Л. Д. женскими капризами, ссылался на Шеллинговы чтения об академическом учении и читал отрывки из Бурдаховой физиологии для доказательства, что в человеке есть начало вечное и духовное, а внутри природы спрятан какой-то личный Geist[237].

Л. Д., давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мне на него глазами. Она, разумеется, была правее его, и я добросовестно ломал себе голову и досадовал, когда мой доктор торжественно смеялся. Споры эти занимали меня до того, что я с новым ожесточением принялся за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела.

---

[237] Сноски: 237
дух (*нем.*).

— Вы совершенно правы, — сказал я ей, — и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно без этих вперед идущих предположений.

Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

— Жаль мне вас, а может, оно и к лучшему: вы в этом направлении долго не останетесь, в нем слишком пусто и тяжело. А вот, — прибавила она, улыбаясь, — наш доктор, тот неизлечим, ему не страшно, он в таком тумане, что не видит ни на шаг вперед.

Однако лицо ее было бледнее обыкновенного.

Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев, он привез мне «Wesen des Christentums» Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксаифа, не нужно нам облекать истину в мифы!

В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о «дилетантизме в науке», в которых, между прочим, отомстил и доктору.

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты, в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава Богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать… Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер. — «Да». — «Нет, покорно благодарю», — сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть, — я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю…» Чего же вам

больше?

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное; plus royalistes que le roi[238] — они с мужеством несчастия старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести; другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля с Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие — точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. «Москвитянин» в некоторых статьях дал

---

[238] Сноски: 238
более роялисты, чем сам король (*фр.*).

торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустраши-

мая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем — так катаньем, не антикритикой — так доносом! Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяния их дорогие, *задушевные* мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в *«Отечественных* записках», а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием *«Европеец»*; эти названия всего лучше доказывают, что в начале были только оттенки, а не мнения, не партии.

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты

в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжелый номер рвали из рук в руки. — «Есть Белинского статья?» — «Есть», — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами… и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте:

— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу.

Я в другой книге говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов об нем самом.

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме.

Он являлся иногда на литературно-дипломати-

ческие вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и А. Мейендорф, статские советники из образованных, Иакинф Бичурин из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А. К. домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им так, как Людовик-Филипп в начале своего царствования, снисходя к своим избирателям, приглашал на балы в Тюльери целые rez-de-chaussée[239] подтяжечных мастеров, москательных лавочников, башмачников и других почтенных граждан.

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

---

[239] Сноски: 239
нижние этажи (*фр.*).

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comité[240], когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему, он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки… Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

Милый Белинский! Как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом — не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом

---

[240] Сноски: 240
в тесной компании (*фр.*).

теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми мало симпатичными, снедаемый болезнию, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был

до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей.

Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам; лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам…

Раз приходит он обедать к одному литератору на страстной неделе; подают постные блюда.

— Давно ли, — спрашивает он, — вы сделались так богомольны?

— Мы едим, — отвечает литератор, — постное просто-напросто для людей.

– *Для людей?* — спросил Белинский и побледнел. — Для людей? — повторил он и бросил свое место. — Где ваши люди? Я им скажу, что

они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет *людей*!

В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь honnête et modérée[241]. Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

— Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много; будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь

---

[241] Сноски: 241
благопристойную и умеренную (*фр.*).

насмешкой, ты это лучше умеешь — ну утешь.

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом «Письме» Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами:

— Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым, это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

— Совсем нет, — отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты «гнусный», «презрительный» — *гнусны и презрительны*, относясь

к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал:

— Вот они, высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочке мысль водить… — и пошел, и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорб-

ляющих то, что целый народ чтит… и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И. Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому сделается страшно, провесть раз десять языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово.

Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому.

— Несмотря на вашу нетерпимость, — сказал он наконец, — я уверен, что вы согласитесь с одним…

— Нет, — отвечал Белинский. — Что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!

Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр

схватил шляпу и уехал.

…Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года, он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых, он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

Так оканчивалась эта глава в 1854 году; с тех пор многое переменилось. Я стал гораздо *ближе* к тому времени, ближе увеличивающейся далью от здешних людей, приездом Огарева и двумя книгами: анненковской биографией Станкевича и первыми частями сочинений Белинского. Из вдруг раскрывшегося окна в больничной палате дунуло свежим воздухом полей, молодым воздухом весны…

Переписка Станкевича прошла незаметно.

Она появилась некстати. В конце 1857 Россия еще не приходила в себя после похорон Николая, ждала и надеялась; это худшее настроение для воспоминаний… Но книга эта не пропадет. Она останется, на убогом кладбище, одним из редких памятников своего времени, по которым *грамотный* может прочесть, что *тогда* хоронилось безгласно. Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие следы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли, которая *в сущности* не перерывалась. По видимому поток был остановлен, Николай перевязал артерию — но кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича.

Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря, — наследие общечеловече-

ской науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются*, и если умирают на полдороге, то не все умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.

Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, т. е. до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались — кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.

Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.

Возражение, что эти кружки, не заметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, — нам кажется очень неосновательным.

Может, в конце прошлого и начале нашего века была в аристократии закраинка русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью; но у них не было ни живых интересов, ни кругов, основанных на убеждениях, ни своей литературы. Они вымерли бесплодно. Жертвы петровского разрыва с народом, они остались чудаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкие. Война 1812 года положила им предел — старые доживали свой век, новых не развивалось в том направлении. Ставить в их число людей вроде П. Я. Чаадаева было бы страшнейшей ошибкой.

Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя английскую жизнь, бегая от Англии, как от чумы, оставался типическим англичанином. Гейне, старавшийся

из озлобления за гнусное политическое состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший протест против юдаизма — христианство — исполнено юдаического характера. Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев не-англичан.

Люди, вообще, отрешаются от своих физиологических воспоминаний и от своего наследственного склада очень трудно; для этого надобно или особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают этих сторон духа, не будят их; но как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных, где человек не только наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник, там мы находим физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя.

Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею,

какие-нибудь стихии народного характера и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, *чьих он*. Гёте — немец и в греческой «Ифигении» и в восточном «Диване». Поэты в самом деле, по римскому выражению, — «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что неизвестно, что есть* в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем.

Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских, перехвачено, как кольцом, одной личностью, — и каждое волокно, каждый намек, каждое посягательство, бродившее из поколенья в поколенье, не отдавая себе *отчета*, получило форму и язык.

Вероятно, никто не думает, чтобы Англия времен Елизаветы, особенно большинство народа, понимало отчетливо Шекспира; оно и теперь не понимает отчетливо — да ведь они и себя не понимают отчетливо. Но что англичанин, ходящий в театр, инстинктивно, по сочувствию понимает Шекспира, в этом я не сомневаюсь. Ему на ту минуту, когда он слушает, становится что-то знакомее, яснее. Казалось бы, народ, такой спо-

собный на быстрое соображение, как французы, мог бы тоже понять Шекспира. Характер Гамлета, например, до такой степени общечеловеческий, особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них, каких-то измен великому в пользу ничтожного и пошлого, что трудно себе представить, чтоб его не поняли. Но, несмотря на все усилия и опыты, Гамлет чужой для француза.

Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм.

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Об застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были

мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место; они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время их прошло.

Под этим большим *светом* безучастно молчал большой *мир* народа; для него ничего не переменилось — ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время *не пришло.* Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову, может, оттого, что они не подозревали, как это опасно; но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя.

Их остановило совершеннейшее противуречие *слов* учения с *былями* жизни вокруг. Учители, книги, университет говорили одно — и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны предержащие власти и денежные выгоды. Противуречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской

Руси. Шершавый немецкий студент, в круглой фуражке на седьмой части головы, с миросокрушительными выходками, гораздо ближе, чем думают, к немецкому шписбюргеру[242], а исхудалый от соревнования и честолюбия collégien французский уже en herbe l'homme raisonnable, qui exploite sa position[243].

Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали не то чтоб объемистое воспитание, но довольно общее и гуманное; оно *очеловечивало* учеников всякий раз, когда принималось. Но *человека*-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспеяния помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиться — так толпа и делала, — или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт,

[242] Сноски: 242
мещанину (*нем.* Spießbürger).

[243] Сноски: 243
школьник… уже будущий рассудительный мужчина, умеющий воспользоваться положением (*фр.*).

вина; для других — время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило распаденье на разные круги.

Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете, уже готовым, кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.

В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокоивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова — и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. Его самого я уже не застал — он был в Германии; но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.

Возвратившись, мы померились. Бой был неровен с обеих сторон; почва, оружие и язык — все было розное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет.

Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал — и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно — стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и пр. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий док-

тринаризм, — живые люди из русских к нему не способны.

Возле Станкевичева круга, сверх нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии назвали славянофилами. *Славяне* приближаясь с противуположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.

Между ними и нами естественно должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, т. е. к Хомякову и Киреевским, Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии.

Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам.

В 1842 сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу с славянами. Об этой борьбе мы будем говорить в другом месте.

В заключение прибавлю несколько слов об элементах, из которых составился круг Станкевича;

это бросает своего рода луч на странные подземные потоки, в тиши подмывающие плотную кору русско-немецкого устройства.

Станкевич был сын богатого воронежского помещика, сначала воспитывался на всей барской воле, в деревне, потом его посылали в острогожское училище (и это чрезвычайно оригинально). Для хороших натур богатое и даже аристократическое воспитание очень хорошо. Довольство дает развязную волю и ширь всякому развитию и всякому росту, не стягивает молодой ум преждевременной заботой, боязнью перед будущим, наконец оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет.

Станкевич развивался стройно и широко; его художественная, музыкальная и вместе с тем сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя с самого начала университетского курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять или, как немцы говорят, *снимать* противуречия, была основана на его художественной натуре. Потребность гармонии, стройности, наслаждения делает их снисходительными к средствам; чтоб не видать колодца, они покрывают его холстом. Холст не выдержит напора, но зияющая пропасть

не мешает глазу. Этим путем немцы доходили до пантеистического квиетизма и опочили на нем; но такой даровитый русский, как Станкевич, не остался бы надолго «мирным».

Это видно из первого вопроса, который невольно тревожит Станкевича тотчас после курса.

Срочные занятия окончены, он предоставлен себе, его не ведут, но *он не знает, что ему делать.* Продолжать нечего было, кругом никто и ничто не звало живого человека. Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи: ступай куда хочешь — есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и с любовью, — это *ученье.*

И вот Станкевич натягивает ученые занятия, он думает, что его призвание — быть историком, и он начинает заниматься Геродотом; из этого занятия, можно было предвидеть, ничего не выйдет.

Хотелось бы ему и в Петербург, где так кипит *какая-то* деятельность и куда его манит театр

и близость к Европе; хотелось бы ему побывать почетным смотрителем училища в Острогожске, он решается быть полезным «на этом скромном поприще» — это еще меньше Геродота удастся. Его, в сущности, тянет в Москву, в Германию, в родной университетский круг, к родным интересам. Без близких людей он жить не мог (новое доказательство, что около не было близких интересов). Потребность сочувствия так сильна у Станкевича, что он иногда выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, и удивлялся им[244].

Но — и в этом его личная мощь — ему вообще не часто нужно было прибегать к таким фикциям, он на каждом шагу встречал удивительных людей, *умел их* встречать, и каждый, поделившийся его душою, оставался на всю жизнь страстным другом его, и каждому своим влиянием он сделал или огромную пользу или облегчил ношу.

В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека

---

[244] Сноски: 244

Клюшников пластически выразил это следующим замечанием: «Станкевич — серебряный рубль, завидующий величине медного пятака» (Анненков. Биография Станкевича, с. 133).

простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека; сын прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и, краснея, решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с восторгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных, кровно-родных песен, если б на его пути не стоял Станкевич.

Бакунин, кончив курс в артиллерийском корпусе, был выпущен в гвардию офицером. Его отец, говорят, сердясь на него, сам просил, чтобы его перевели в армию; брошенный в какой-то потерянной белорусской деревне, с своим парком, Бакунин одичал, сделался нелюдимом, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе

на своей постели. Начальник парка жалел его, но делать было нечего, он ему напомнил, что надобно или служить, или идти в отставку. Бакунин не подозревал, что он имеет на это право, и тотчас попросил его уволить. Получив отставку, Бакунин приехал в Москву; с этого времени (около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь. Он прежде ничем не занимался, ничего не читал и едва знал по-немецки. С большими диалектическими способностями, с упорным, настойчивым даром мышления он блуждал, без плана и компаса, в фантастических построениях и аутодидактических попытках. Станкевич понял его таланты и засадил его за философию. Бакунин по Каиту и Фихте выучился по-немецки и потом принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве — и кому не проповедовал ее потом? Нам и Белинскому, дамам и Прудону.

Но Белинский черпал столько же из самого источника; взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов

и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича.

И в то же время ему приходилось служить опорой, быть старшим братом, ободрять Грановского, тихого, любящего, задумчивого и расхандрившегося тогда. Письма Станкевича к Грановскому изящны, прелестны — и как же его любил Грановский!

«Я еще не опомнился от первого удара, — писал Грановский вскоре после кончины Станкевича, — настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не верю в возможность потери — только иногда сжимается сердце. Он унес с собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так много обязан. Его влияние на нас было бесконечно и благотворно».

...И сколько человек могли сказать это! Может, сказали!..

В станкевичевском кругу только он и Боткин были достаточные и совершенно обеспеченные люди. Другие представляли самый разнообразный пролетариат. Бакунину родные не давали ничего; Белинский — сын мелкого чиновни-

ка в Чембарах, исключенный из Московского университета «за слабые способности», — жил скудной платой за статьи. Красов, окончив курс, как-то поехал в какую-то губернию к помещику *на кондицию,* но жизнь с патриархальным плантатором так его испугала, что он пришел пешком назад в Москву, *с котомкой за спиной,* зимою, в обозе чьих-то крестьян. Вероятно, каждому из них отец с матерью, благословляя на жизнь, говорили — и кто осмелится упрекнуть их за это? — : «Ну, смотри же, учись хорошенько; а выучишься, прокладывай себе дорогу, тебе неоткуда ждать наследства, нам тебе тоже нечего дать, устроивай сам свою судьбу, да и об нас подумай». С другой стороны, вероятно, Станкевичу говорили о том, что он по всему может занять в обществе почетное место, что он призван, по богатству и рождению, играть роль, так, как Боткину все в доме, начиная от старика-отца до приказчиков, толковало словом и примером о том, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться.

Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все уси-

лия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность — и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, humanitas[245] — поглощает все.

И заметьте, что это отрешение от мира сего вовсе не ограничивалось университетским курсом и двумя-тремя годами юности. Лучшие люди круга Станкевича умерли; другие остались какими были до нынешнего дня. Бойцом и нищим пал, изнуренный трудом и страданиями, Белинский. Проповедуя науку и гуманность, умер, идучи на свою кафедру, Грановский. Боткин не сделался в самом деле купцом… Никто из них *не отличился* по службе.

То же самое в двух смежных кругах — в славянском и в нашем. Где, в каком углу современного Запада, найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремленья вечно юны?

Где? Укажите! Я бросаю смело перчатку, исключаю только *на время* одну страну, Италию,

---

[245] Сноски: 245
гуманизма (*лат.*).

и отмерю шаги поля битвы, т. е. не выпущу противника из статистики в историю.

Что такое был теоретический интерес и страсть истины и религии во времена таких мучеников разума и науки, как Бруно, Галилей и пр., мы знаем. Знаем и то, чтó была Франция энциклопедистов во второй половине XVIII века, — а далее? А далее — sta, viator![246]

В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов Реставрации и июльской династии, Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции двадцатых годов, и я готов согласиться, что я слишком обще выразился[247]; но далее я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признания. Возьмите «Les mémoires d'un enfant du siècle» и стихотворения Альфреда де Мюссе, восстановите ту Францию, которая просвечивает в записках Ж. Санда, в современной драме и повести, в процессах.

Но что же доказывает все это? — Многое,

---

[246] Сноски: 246

стой, путник! (*лат.*)

[247] Сноски: 247

В. Гюго, прочитав «Былое и думы» в переводе Делаво, писал мне письмо в защиту французских юношей времен Реставрации.

но на первый случай то, что немецкой работы китайские башмаки, в которых Россию водят полтораста лет, натерли много мозолей, но, видно, костей не повредили, если всякий раз, когда удается расправить члены, являются такие свежие и молодые силы. Это нисколько не обеспечивает будущего, но делает его крайне *возможным.*

Глава XXVI

Предостережения. – Герольдия. – Канцелярия министра. – III отделение. – История будочника. – Генерал Дубельт. – Граф Бенкендорф. – Ольга Александровна Жеребцова. – Вторая ссылка.

Как ни привольно было нам в Москве, но приходилось перебираться в Петербург. Отец мой требовал этого; граф Строгонов, министр внутренних дел, велел меня зачислить по канцелярии министерства, и мы отправились туда в конце лета 1840 года.

Впрочем, я был в Петербурге две-три недели в декабре 1839.

Случилось это так. Когда с меня сняли надзор

и я получил право выезжать «в резиденцию и в столицу», как выражался К. Аксаков, отец мой решительно предпочел древней столице невскую резиденцию. Граф Строгонов, попечитель, писал брату, и мне следовало явиться к нему. Но это не все. Я был представлен владимирским губернатором к чину коллежского асессора: отцу моему хотелось, чтоб я этот чин получил как можно скорее. В герольдии есть черед для губерний; черед этот идет черепашьим шагом, если нет особенных ходатайств. Они почти всегда есть. Цена им дорогая, потому что все представление можно пустить вне чередового порядка, но одного чиновника нельзя вырвать из списка. Поэтому надобно платить за всех, «а то за что же остальные даром обойдут черед?». Обыкновенно чиновники делают складку и посылают депутата от себя; на этот раз издержки брал на себя мой отец, и таким образом несколько владимирских титулярных советников обязаны ему, что они месяцев восемь прежде стали асессорами.

Отправляя меня в Петербург хлопотать по этому делу, мой отец, простившись со мною, еще раз повторил:

— Бога ради, будь осторожен, бойся всех, от кондуктора в дилижансе до моих знакомых,

к которым я даю тебе письма, не доверяйся никому. Петербург теперь не то, что был в наше время, там во всяком обществе наверное есть муха или две. Tiens toi pour averti[248].

С этим эпиграфом к петербургской жизни сел я в дилижанс первоначального заведения, т. е. имеющего все недостатки, последовательно устраненные другими, и поехал.

Приехав часов в девять вечером в Петербург, я взял извозчика и отправился на Исаакиевскую площадь — с нее хотел я начать знакомство с Петербургом. Все было покрыто глубоким снегом, только Петр I на коне мрачно и грозно вырезывался середь ночной темноты на сером фонде[249]:

Чернея сквозь ночной туман,
С поднятой гордо головою,
Надменно выпрямив свой стан,
Куда-то кажет вдаль рукою
С коня могучий великан;
А конь, притянутый уздою,

---

[248] Сноски: 248
Намотай это себе на ус (*фр.*).

[249] Сноски: 249
основании (*фр.* fond).

Поднялся вверх с передних ног,
Чтоб всадник дальше видеть мог.
(«Юмор»)

Отчего битва 14 декабря была именно на этой площади, отчего именно с пьедестала этой площади раздался первый крик русского освобождения, зачем каре жалость к Петру I — награда ли это ему?.. или наказание? Четырнадцатое декабря 1825 было следствием дела, прерванного двадцать первого января 1725 года. Пушки Николая были равно обращены против возмущения и против статуи; жаль, что картечь не расстреляла медного Петра…

Возвратившись в гостиницу, я нашел у себя одного родственника; поговоривши с ним о том, о сем, я, не думая, коснулся до Исаакиевской площади и до 14 декабря.

— Что дядюшка? — опросил меня родственник, — как вы оставили его?

— Слава Богу, как всегда; он вам кланяется…

Родственник, не меняя нисколько лица, одними зрачками телеграфировал мне упрек, совет, предостережение; зрачки его, косясь, заставили меня обернуться — истопник клал дрова в печь; когда он затопил ее, причем сам отправлял долж-

ность раздувальных мехов, и сделал на полу лужу снегом, оттаявшим с его сапог, он взял кочергу длиною с казацкую пику и вышел.

Родственник мой принялся тогда меня упрекать, что я при истопнике коснулся такого *скабрезного* предмета, да еще по-русски. Уходя, он сказал мне вполголоса:

— Кстати, чтоб не забыть, тут ходит цирюльник в отель, он продает всякую дрянь, гребенки, порченую помаду; пожалуйста, будьте с ним осторожны, я уверен, что он в связях с полицией, — болтает всякий вздор. Когда я здесь стоял, я покупал у него пустяки, чтоб скорее отделаться.

— Для поощрения. Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармов?

— Смейтесь, смейтесь, вы скорее другого попадетесь; только что воротились из ссылки — за вами десять нянь приставят.

— В то время как и семерых довольно, чтоб быть без глазу.

На другой день поехал я к чиновнику, занимавшемуся прежде делами моего отца; он был из малороссиян, говорил с вопиющим акцентом по-русски, вовсе не слушая, о чем речь, всему удивлялся, закрывая глаза и как-то по-мышиному приподнимая пухленькие лапки…

Не вытерпел и он, и, видя, что я взял шляпу, отвел меня к окошку, осмотрелся и сказал мне: «Уж это ви не погневайтесь, так по стародавнему знакомству с семейством вашего батюшки и их покойных братцев, ви, т. е. насчет гистории, бившей с вами, не очень поговаривайте. Ну помилуйте, сами обсудите, к чему это нужно? Теперь все прошло, как дим; ви что-то молвили при моей кухарке, — чухна, кто ее знает, я даже так немножко — очень испугався».

«Приятный город», — подумал я, оставляя испуганного чиновника… Рыхлый снег валил хлопьями, мокро-холодный ветер пронимал до костей, рвал шляпу и шинель. Кучер, едва видя на шаг перед собой, щурясь от снегу и наклоняя голову, кричал: «гись, гись!» Я вспомнил совет моего отца, вспомнил родственника, чиновника и того воробья-путешественника в сказке Ж. Санда, который спрашивал полузамерзнувшего волка в Литве, зачем он живет в таком скверном климате. *«Свобода,* — отвечал волк, — заставляет забыть климат».

Кучер прав — «берегись, берегись!» И как мне хотелось поскорей уехать!

Я и то недолго остался в мой первый приезд. В три недели я все покончил и к Новому году

прискакал назад во Владимир.

Опытность, приобретенная мною в Вятке, послужила мне чрезвычайно в герольдии. Я знал уже, что герольдия — нечто вроде прежнего Сен-Джайля в Лондоне — вертеп официально признанных воров, которых никакая ревизия, никакая реформа изменить не может. Сен-Джайль для очистки взяли приступом, скупая домы и приравнивая их земле; то же следует сделать с герольдией. К тому же она совершенно не нужна, какое-то паразитное место — служба служебного повышения, министерство табели о рангах, археологическое общество изыскания дворянских грамот, канцелярия в канцелярии. Само собою разумеется, что и злоупотребления там должны были быть *второго порядка!*

Поверенный моего отца привел ко мне длинного старика в мундирном фраке, которого каждая пуговица висела на нитках, нечистого и уже закусившего, несмотря на ранний час. Это был корректор из сенатской типографии; поправляя грамматические ошибки, он за кулисами помогал иным ошибкам разных обер-секретарей. Я в полчаса сговорился с ним, поторговавшись точно так, как бы речь шла о покупке лошади или мебели. Впрочем, он сам положительно от-

вечать не мог, бегал в сенат за инструкциями и, наконец, получивши их, просил «задаточку».

— Да сдержат ли они обещание?

— Нет, уж это позвольте, это не такие люди, этого никогда не бывает, чтоб, получимши благодарность, не исполнить долг чести, — ответил корректор до того обиженным тоном, что я счел нужным его смягчить легкой прибавочкой благодарности.

— В герольдии-с, — заметил он, обезоруженный мною, — был прежде секретарь, удивительный человек, вы, может, слыхали о нем, брал напропалую, и все с рук сходило. Раз какой-то провинциальный чиновник пришел в канцелярию потолковать о своем деле да, прощаясь, потихоньку из-под шляпы ему и подает серенькую бумажку.

— Да что у вас за секреты? — говорит ему секретарь. — Помилуйте, точно любовную записку подаете. Ну, серенькая, тем лучше, пусть другие просители видят, это их поощрит, когда они узнают, что двести рублей я взял, да зато дело обделал.

И, растянув ассигнацию, он ее сложил и сунул в жилетный карман.

Корректор был прав: секретарь исполнил долг

чести.

Я оставил Петербург с чувством очень близким к ненависти. А между тем делать было нечего, надобно было перебираться в неприязненный город.

Я недолго служил, всячески лынял от дела, и потому многого о службе мне рассказывать нечего. Канцелярия министра внутренних дел относилась к канцелярии вятского губернатора, как сапоги вычищенные относятся к невычищенным; та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком. Я не видал здесь пьяных чиновников, не видал, как берут двугривенники за справку, а что-то мне казалось, что под этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живет такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душонка, что мой столоначальник в Вятке казался мне больше человеком, чем они. Я вспоминал, глядя на новых товарищей, как он раз, на пирушке у губернского землемера, выпивши, играл на гитаре плясовую и наконец не вытерпел, вскочил с гитарой и пустился вприсядку; ну, эти ничем не увлекутся, в них не кипит кровь, вино не вскружит им голову. В танцклассе где-нибудь с немочками они умеют пройти французскую

кадриль, представить из себя разочарованных, сказать стих Тимофеева или Кукольника… дипломаты, аристократы и Манфреды. Жаль только, что министр Дашков не мог этих Чайльд-Гарольдов отучить в театре, в церкве, везде делать фрунт и кланяться.

Петербуржцы смеются над костюмами в Москве, их оскорбляют венгерки и картузы, длинные волосы, гражданские усы. Москва действительно город штатский, несколько распущенный, не привыкший к дисциплине, но достоинство это или недостаток — это нерешенное дело. Стройность одинаковости, отсутствие разнообразия, личного, капризного, своеобычного, обязательная форма, внешний порядок — все это в высшей степени развито в самом нечеловеческом состоянии людей — в казармах. Мундир и однообразие — страсть деспотизма. Моды нигде не соблюдаются с таким уважением, как в Петербурге; это доказывает незрелость нашего образования: наши платья чужие. В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок. В Париже только боятся быть одетым без вкуса, в Лондоне боятся только простуды, в Италии всякий одевается как хочет. Если б показать эти батальоны оди-

наковых сертуков, плотно застегнутых, щеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов.

Всякий раз делал я над собою усилие, входя в министерство. Начальник канцелярии К. К. фон Поль, гернгутер, добродетельный и лимфатический уроженец с острова Даго, наводил какую-то благочестивую скуку на все его окружавшее. Начальники отделений озабоченно бегали с портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, действительно были завалены работой и имели перспективу умереть за теми же столами — по крайней мере просидеть без особенно счастливых обстоятельств лет двадцать. В регистратуре был чиновник, тридцать третий год записывавший исходящие бумаги и печатавший пакеты.

Мое «упражнение в стиле» и здесь доставило мне некоторую льготу; испытав мою неспособность ко всему другому, начальник отделения поручил мне составление общего отчета по министерству из частных, губернских. Предусмотрительность начальства нашла нужным вперед объяснить некоторые будущие выводы, не оставляя их на произвол цифр и фактов. Так,

например, в слегка набросанном плане отчета было оказано: «Из рассматривания числа и характера преступлений (ни число, ни характер еще не были известны) в. в. изволите усмотреть успехи народной нравственности и усиленное действие начальства с целью оную улучшить».

Судьба и граф Бенкендорф спасли меня от участия в подложном отчете, это случилось так.

В первых числах декабря, часов в девять утром, Матвей сказал мне, что квартальный надзиратель желает меня видеть. Я не мог догадаться, что его привело ко мне, и велел просить. Квартальный показал мне клочок бумаги, на котором было написано, что он *«пригласил* меня в 10 часов утра в III отделение собств. е. в. канцелярии».

— Очень хорошо, — отвечал я. — Это у Цепного моста?

— Не беспокойтесь, у меня внизу сани, я с вами поеду.

«Дело скверное», — подумал я, и сердце сильно сжалось.

Я взошел в спальню. Жена моя сидела с малюткой, который только что стал оправляться после долгой болезни.

— Что он хочет? — спросила она.

— Не знаю, какой-нибудь вздор, мне надобно

съездить с ним… Ты не беспокойся.

Жена моя посмотрела на меня, ничего не отвечала, только побледнела, как будто туча набежала на ее лицо, и подала мне малютку проститься.

Я испытал в эту минуту, насколько тягостнее всякий удар семейному человеку: удар бьет не его одного, и он страдает за всех и невольно винит себя за их страдания.

Переломить, подавить, скрыть это чувство можно, но надобно знать, чего это стоит; я вышел из дома с черной тоской. Не таков был я, отправляясь шесть лет перед тем с полицмейстером Миллером в Пречистенскую часть.

Проехали мы Цепной мост, Летний сад и завернули в бывший дом Кочубея, там во флигеле помещалась светская инквизиция, учрежденная Николаем; не всегда люди, входившие в задние вороты, перед которыми мы остановились, выходили из них, т. е., может, и выходили, но для того, чтоб потеряться в Сибири, погибнуть в Алексеевском равелине. Шли мы всякими дворами и двориками и дошли, наконец, до канцелярии. Несмотря на присутствие комиссара, жандарм нас не пустил, а вызвал чиновника, который, прочитав бумагу, оставил квартального в коридоре, а меня просил идти за ним. Он меня привел

в директорскую комнату. За большим столом, возле которого стояло несколько кресел, сидел один-одинехонек старик, худой, седой, с зловещим лицом. Он для важности дочитал какую-то бумагу, потом встал и подошел ко мне. На груди его была звезда, из этого я заключил, что это какой-нибудь корпусный командир шпионов.

— Видели вы генерала Дубельта?

— Нет.

Он помолчал, потом, не смотря мне в глаза, морщась и сводя бровями, спросил каким-то стертым голосом (голос этот мне ужасно напомнил нервно-шипящие звуки Голицына junior'а московской следственной комиссии):

— Вы, кажется, не очень давно получили разрешение приезжать в столицы?

— В прошедшем году.

Старик покачал головой.

— Плохо вы воспользовались милостью государя. Вам, кажется, придется опять ехать в Вятку.

Я смотрел на него с удивлением.

— Да-с, — продолжал он, — хорошо показываете вы признательность правительству, возвратившему вас.

— Я совершенно ничего не понимаю, — сказал я, теряясь в догадках.

— Не понимаете? — это-то и плохо! Что за связи, что за занятия? Вместо того чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу, — нет! куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились. Как вас опыт не научил? Почем вы знаете, что в числе тех, которые с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь *мерзавца*[250], который лучше не просит, как через минуту прийти *сюда* с доносом.

— Ежели вы можете мне объяснить, что все это значит, вы меня очень обяжете. Я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.

— Куда ведут?.. Хм… Ну, а скажите, слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?

— Слышал, — отвечал я пренаивно.

— И, может, повторяли?

— Кажется, что повторял.

— С рассуждениями, я чай?

— Вероятно.

— С какими же рассуждениями? — Вот оно —

---

[250] Сноски: 250

Я честным словом уверяю, что слово «мерзавец» было употреблено почтенным старцем.

наклонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание, и оно будет наверно принято графом в соображение.

— Помилуйте, — сказал я, — какое тут сознание! Об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра в. д., в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?

— Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, нетерпимое законами.

— Вы меня обвиняете, мне кажется, в том, что я выдумал это дело?

— В докладной записке государю сказано только, что вы способствовали к распространению такого вредного слуха. На что последовала высочайшая резолюция об возвращении вас в Вятку.

— Вы меня просто стращаете, — отвечал я. — Как же это возможно за такое ничтожное дело сослать семейного человека за тысячу верст, да и притом приговорить, осудить его, даже не спросив, правда или нет?

— Вы сами признались.

— Да как же, записка была представлена и дело кончено прежде, чем вы со мной говорили?

— Прочтите сами.

Старик подошел к столу, порылся в небольшой пачке бумаг, хладнокровно вытащил одну и подал. Я читал и не верил своим глазам: такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России.

Я молчал. Мне показалось, что сам старик почувствовал, что дело очень нелепо и чрезвычайно глупо, так что он не нашел более нужным защищать его, и, тоже помолчав, спросил:

— Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

— Женат, — отвечал я.

— Жаль, что это прежде мы не знали; впрочем, если что можно сделать, граф сделает, я ему передам наш разговор. Из Петербурга *во всяком случае* вас вышлют.

Он посмотрел на меня. Я молчал, но чувствовал, что лицо горело; все, что я не мог высказать, все задержанное внутри можно было видеть в лице.

Старик опустил глаза, подумал и вдруг апатическим голосом, с притязанием на тонкую учтивость, сказал мне:

— Я не смею дольше задерживать вас; желаю душевно, — впрочем, дальнейшее вы узнаете.

Я бросился домой. Разъедающая злоба кипела в моем сердце, это чувство бесправия, бессилия,

это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку.

Жену я застал в лихорадке, она с этого дня занемогла и, испуганная еще вечером, через несколько дней имела преждевременные роды. Ребенок умер через день. Едва через три или через четыре года оправилась она.

Говорят, что чувствительный pater familias[251] Николай Павлович плакал, когда умерла его дочь!..

И что это у них за страсть — поднять сумбур, скакать во весь опор, хлопотать, все делать опрометью, точно пожар, трон рушится, царская фамилия гибнет, — и все это без всякой нужды! Поэзия жандармов, драматические упражнения сыщиков, роскошная постановка для доказательства верноподданнического усердия… опричники, стременные, гончие!

…Грустно сидели мы вечером того дня, в который я был в III отделении, за небольшим столом; малютка играл на нем своими игрушками, мы говорили мало; вдруг кто-то так рванул звонок,

---

[251] Сноски: 251
отец семейства (*лат.*).

что мы поневоле вздрогнули. Матвей бросился отворять дверь, и через секунду влетел в комнату жандармский офицер, гремя саблей, гремя шпорами, и начал отборными словами извиняться перед моей женой: «Он не мог думать, не подозревал, не предполагал, что дама, что дети, чрезвычайно неприятно»…

Жандармы — цвет учтивости; если б не священная обязанность, не долг службы, они бы никогда не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах. Я это знаю с Крутицких казарм, где офицер, désolé[252], был так глубоко огорчен необходимостью шарить в моих карманах.

Поль-Луи Курье уже заметил в свое время, что палачи и прокуроры становятся самыми вежливыми людьми. «Любезнейший палач, — пишет прокурор, — вы меня дружески одолжите, приняв на себя труд, если вас это не обеспокоит, отрубить завтра утром голову такому-то». И палач торопится отвечать, что «он считает себя счастливым, что такой безделицей может сделать приятное г. прокурору, и остается всегда готовый к его услугам — палач». А тот — *третий,* остается

---

[252] Сноски: 252
опечаленный (*фр.*).

преданным без головы.

— Вас просит к себе генерал Дубельт.

— Когда?

— Помилуйте, теперь, сейчас, сию минуту.

— Матвей, дай шинель.

Я пожал руку жене — на лице у нее были пятны, рука горела. Что за спех, в десять часов вечера? Заговор открыт, побег, драгоценная жизнь Николая Павловича в опасности? «Действительно, — подумал я, — я виноват перед будочником: чему было дивиться, что при этом правительстве какой-нибудь из его агентов прирезал двух-трех прохожих? Будочники второй и третьей степени разве лучше своего товарища на Синем мосту? А сам-то будочник будочников?»

Дубельт прислал за мной, чтоб *мне сказать*, что граф Бенкендорф требует меня завтра в восемь часов утра к себе для объявления мне высочайшей воли!

Дубельт — лицо оригинальное, он наверно умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир

победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив.

Когда я взошел в его кабинет, он сидел в мундирном сертуке без эполет и, куря трубку, писал. Он в ту же минуту встал и, прося меня сесть против него, начал следующей удивительной фразой:

— Граф Александр Христофорович доставил мне случай познакомиться с вами. Вы, кажется, видели Сахтынского сегодня утром?

— Видел.

— Мне очень жаль, что повод, который заставил меня вас просить ко мне, не совсем приятный для вас. Неосторожность ваша навлекла снова гнев его величества на вас.

— Я вам, генерал, скажу то, что сказал г. Сахтынскому: я не могу себе представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторил уличный слух, который, конечно, вы слышали прежде меня, а может, точно так же рассказывали, как я.

— Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы равны; но вот где начинается разница — я, повторяя эту нелепость, клялся, что этого никогда

не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть de dénigrer le gouvernement[253] — страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление *отеческое*, все делается как можно келейнее… Мы выбиваемся из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а тут люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение, рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах. Не правда ли, ведь вы писали об этом?

— Я так мало придаю важности делу, что совсем не считаю нужным скрывать, что я писал об этом, и прибавлю к кому — к моему отцу.

— Разумеется, дело неважное; но вот оно до чего вас довело. Государь тотчас вспомнил вашу фамилию и что вы были в Вятке, и велел вас отправить назад. А потому граф и поручил мне уведомить вас, чтоб вы завтра в восемь часов утра приехали к нему, он вам объявит высочай-

---

[253] Сноски: 253
чернить правительство (*фр.*).

шую волю.

— Итак, на том и останется, что я должен ехать в Вятку, с больной женой, с больным ребенком, по делу, о котором вы говорите, что оно не важно?..

— Да вы служите? — спросил меня Дубельт, пристально вглядываясь в пуговицы моего вицмундирного фрака.

— В канцелярии министра в. д.

— Давно ли?

— Месяцев шесть.

— И все время в Петербурге?

— Все время.

— Я понятия не имел.

— Видите, — сказал я, улыбаясь, — как я себя скромно вел.

Сахтынский не знал, что я женат, Дубельт не знал, что я на службе, а оба знали, что́ я говорил в своей комнате, как думал и что писал отцу… Дело было в том, что я тогда только что начал сближаться с петербургскими литераторами, печатать статьи, а главное, я был переведен из Владимира в Петербург графом Строгоновым без всякого участия тайной полиции и, приехавши в Петербург, не пошел *являться* ни к Дубельту, ни в III отделение, на что мне намекали

добрые люди.

— Помилуйте, — перебил меня Дубельт, — все сведения, собранные об вас, совершенно в вашу пользу, я еще вчера говорил с Жуковским, — дай Бог, чтоб об моих сыновьях так отзывались, как он отозвался.

— А все-таки в Вятку…

— Вот видите, ваше *несчастие,* что докладная записка *была подана* и что многих обстоятельств не было на виду. Ехать вам надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно заменить другим городом. Я переговорю с графом, он еще сегодня едет во дворец. Все, что возможно сделать для облегчения, мы постараемся сделать; граф — человек ангельской доброты.

Я встал. Дубельт проводил меня до дверей кабинета. Тут я не вытерпел и, приостановившись, сказал ему:

— Я имею к вам, генерал, небольшую просьбу. Если вам меня нужно, не посылайте, пожалуйста, ни квартальных, ни жандармов: они пугают, шумят, особенно вечером. За что же больная жена моя будет больше всех наказана в деле будочника?

— Ах, Боже мой, как это неприятно! — возразил Дубельт. — Какие они все неловкие! Будьте увере-

ны, что я не пошлю больше полицейского. Итак, до завтра; не забудьте: в восемь часов у графа; мы там увидимся.

Точно будто мы сговаривались вместе ехать к Смурову есть устрицы.

На другой день в восемь часов я был в приемной зале Бенкендорфа. Я застал там человек пять-шесть просителей; мрачно и озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем проходящим адъютантам. В числе их была женщина вся в трауре, с заплаканными глазами, она сидела с бумагой, свернутой в трубочку, в руках, бумага дрожала, как осиновый лист. Шага три от нее стоял высокий, несколько согнувшийся старик, лет семидесяти, плешивый и пожелтевший, в темно-зеленой военной шинели, с рядом медалей и крестов на груди. Он время от времени вздыхал, качал головой и шептал что-то себе под нос.

У окна сидел, развалясь, какой-то «друг дома», лакей или дежурный чиновник. Он встал, когда я взошел; вглядываясь в его лицо, я узнал его: мне эту противную фигуру показывали в театре, — это был один из главных уличных шпионов, помнится, по фамилии Фабр. Он спросил меня:

— Вы с просьбой к графу?

— По его требованию.

— Ваша фамилия?

Я назвал себя.

— Ах, — сказал он, меняя тон, как будто встретил старого знакомого. — Сделайте одолжение, не угодно ли сесть? Граф через четверть часа выйдет.

Как-то было страшно тихо и unheimlich[254] в зале; день плохо пробивался сквозь туман и замерзнувшие стекла, никто ничего не говорил. Адъютанты быстро пробегали взад и вперед, да жандарм, стоявший за дверями, гремел иногда своей сбруей, переступая с ноги на ногу. Подошло еще человека два просителей. Чиновник бегал каждого спрашивать зачем. Один из адъютантов подошел к нему и начал что-то рассказывать полушепотом, причем он придавал себе вид отчаянного повесы; вероятно, он рассказывал какие-нибудь мерзости, потому что они часто перерывали разговор лакейским смехом без звука, причем почтенный чиновник, показывая вид, что ему мочи нет, что он готов надорваться, повторял:

---

[254] Сноски: 254
жутко (*нем.*).

— Перестаньте, ради Бога, перестаньте, не могу больше.

Минут через пять явился Дубельт, расстегнутый, по-домашнему, бросил взгляд на просителей, причем они поклонились, и, издали увидя меня, сказал:

— Bonjour, m. H., votre affaire va parfaitement bien[255], на хорошей дороге…

«Оставляют меня, что ли» Я хотел было спросить, но, прежде чем успел вымолвить слово, Дубельт уже скрылся. Вслед за ним взошел какой-то генерал, вычищенный, убранный, затянутый, вытянутый, в белых штанах, в шарфе, — я не видывал лучшего генерала. Если когда-нибудь в Лондоне будет выставка генералов, так, как в Цинцинати теперь Baby-Exhibition[256], то я советую послать именно его из Петербурга. Генерал подошел к той двери, из которой должен был выйти Бенкендорф, и замер в неподвижной вытяжке; я с большим любопытством рассматривал этот идеал унтер-офицера… Ну, должно быть, солдат посек он на своем веку за шагистику. Откуда берутся эти люди? Он родился для выки-

---

[255] Сноски: 255
Здравствуйте, г. Г., ваше дело идет превосходно (*фр.*).

[256] Сноски: 256
выставка детей (*англ.*).

дывания артикула и для строя! С ним пришел, вероятно, его адъютант, тончайший корнет в мире, с неслыханно длинными ногами, белокурый, с крошечным беличьим лицом и с тем добродушным выражением, которое часто остается у матушкиных сынков, никогда ничему не учившихся или по крайней мере не выучившихся. Эта жимолость в мундире стояла в почтительном отдалении от образцового генерала.

Снова влетел Дубельт, этот раз приосанившись и застегнувшись. Он тотчас обратился к генералу и спросил, что ему нужно. Генерал правильно, как ординарцы говорят, когда являются к начальникам, отрапортовал:

— Вчерашний день от князь Александра Ивановича получил высочайшее повеление отправиться в действующую армию на Кавказ, счел обязанностью явиться перед отбытием к его сиятельству.

Дубельт выслушал с религиозным вниманием эту речь и, наклоняясь несколько в знак уважения, вышел и через минуту возвратился.

— Граф, — сказал он генералу, — искренно жалеет, что не имеет времени принять ваше превосходительство. Он вас благодарит и поручил мне пожелать вам счастливого пути. — При этом

Дубельт распростер руки, обнял и два раза коснулся щеки генерала своими усами.

Генерал отступил торжественным маршем, юноша с беличьим лицом и с ногами журавля отправился за ним. Сцена эта искупила мне много горечи того дня. Генеральский фрунт, прощание по доверенности и, наконец, лукавая морда Рейнеке-Фукса, целующего безмозглую голову его превосходительства, — все это было до того смешно, что я чуть-чуть удержался. Мне кажется, что Дубельт заметил это и с тех пор начал уважать меня.

Наконец двери отворились à deux battants[257], и взошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим.

Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все, — я

---

[257] Сноски: 257
на обе створки (*фр.*).

готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, — но и добра он не сделал: на это у него недоставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай.

Сколько невинных жертв прошли его руками, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, оттого, что он занят был волокитством, и сколько, может, мрачных образов и тяжелых воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничества католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями…

— До сведения государя императора, — сказал он мне, — дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его величество, видя, как вы мало исправились, изволил приказать вас отправить обратно в Вятку; но я, по просьбе генерала Дубельта и основываясь на сведениях, собранных об вас, докладывал е. в. о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Е. в. воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего

жительства предоставлено назначить министру внутренних дел.

— Позвольте мне откровенно сказать, что даже *в сию* минуту я не могу верить, чтоб не было другой причины моей ссылки. В 1835 году я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был; теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!

Бенкендорф поднял плечи и, разводя руками, как человек, исчерпавший все свои доводы, перебил мою речь:

— Я вам объявляю монаршую волю, а вы мне отвечаете рассуждениями. Что за польза будет из всего, что вы мне скажете и что я вам скажу? Это — потерянные слова. Переменить теперь ничего нельзя; что будет потом, долею зависит от вас. А так как вы напомнили об вашей первой истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей, — *так легко* в третий раз вы наверно не отделаетесь.

Бенкендорф благосклонно улыбнулся и отправился к просителям. Он очень мало говорил с ними, брал просьбу, бросал в нее взгляд, потом отдавал Дубельту, перерывая замечания просителей той же грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали

и приготовлялись к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли, сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармом или швейцаром! И как, должно быть, щемящи, велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции; вероятно, предварительно были исчерпаны все законные пути — а человек этот отделывается общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столоначальник положит *какое-нибудь* решение, чтоб сдать дело в *какую-нибудь* другую канцелярию. И чем он так озабочен, куда торопится?

Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил:

— Ваше сиятельство, взойдите в мое положение.

— Что за мерзость! — закричал граф. — Вы позорите ваши медали! — И, полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал.

Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человечными!

Дубельт подошел к старику, взял просьбу и сказал:

— Зачем это вы, в самом деле? Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорф уехал к государю.

— Что же мне делать? — спросил я Дубельта.

— Выберите себе какой хотите город с министром внутренних дел, мы мешать не будем. Мы завтра все дело перешлем туда; я поздравляю вас, что так уладилось.

— Покорнейше вас благодарю!

От Бенкендорфа я поехал в министерство. Директор наш, как я сказал, принадлежал к тому типу немцев, которые имеют в себе что-то лемуровское, долговязое, нерасторопное, тянущееся. У них мозг действует медленно, не сразу схватывает и долго работает, чтоб дойти до какого-нибудь заключения. Рассказ мой, по несчастию, предупредил сообщение из III отделения; он вовсе не ждал его и потому совершенно растерялся, говорил какие-то бессвязные вещи, сам заметил это и, чтоб поправиться, сказал мне: «Erlauben Sie mir deutsch zu sprechen»[258]. Может, грамматически речь его и вышла правильнее на немецком

---

[258] Сноски: 258

«Разрешите мне говорить по-немецки» (*нем.*).

языке, но яснее и определеннее она не стала. Я заметил очень хорошо, что в нем боролись два чувства: он понял всю несправедливость дела, но считал обязанностью директора оправдать действие правительства; при этом он не хотел передо мной показать себя варваром, да и не забывал вражду, которая постоянно царствовала между министерством и тайной полицией. Стало быть, задача сама по себе выразить весь этот сумбур была не легка. Он кончил признанием, что ничего не может сказать без министра, к которому и отправился.

Граф Строгонов позвал меня, расспросил дело, выслушал все внимательно и сказал мне в заключение:

— Это чисто полицейская уловка — ну, да хорошо, и я, с своей стороны, им отвечу.

Я, право, думал, что он сейчас отправится к государю и объяснит ему дело; но так далеко министры не ходят.

— Я получил, — продолжал он, — высочайшее повеление об вас, вот оно; вы видите, что мне предоставлено избрать место и употребить вас на службу. Куда вы хотите?

— В Тверь или в Новгород, — отвечал я.

— Разумеется… ну, а так как место зависит

от меня и вам, вероятно, все равно, в который из этих городов я вас назначу, то я вам дам первую ваканцию советника губернского правления, т. е. высшее место, которое вы по чину можете иметь. Шейте себе мундир с шитым воротником, — добавил он шутя.

Вот и отыгрался, только не в мою масть.

Через неделю Строгонов представил в сенат о назначении меня советником в Новгород.

А ведь пресмешно: сколько секретарей, асессоров, уездных и губернских чиновников домогались, долго, страстно, упорно домогались, чтоб получить это место; взятки были даны, святейшие обещания получены, — и вдруг министр, исполняя высочайшую волю и в то же время делая отместку тайной полиции, *наказывал* меня этим повышением, бросал человеку под ноги, для позолоты пилюли, это место — предмет пламенных желаний и самолюбивых грез, — человеку, который его брал с твердым намерением бросить при первой возможности.

От Строгонова я поехал к одной даме; об этом знакомстве следует сказать несколько слов.

Между рекомендательными письмами, которые мне дал мой отец, когда я ехал в Петербург, было одно, которое я десять раз брал в руки, пе-

ревертывал и прятал опять в стол, откладывая визит свой до другого дня. Письмо это было к семидесятилетней знатной, богатой даме; дружба ее с моим отцом шла с незапамятных времен; он познакомился с ней, когда она была при дворе Екатерины II, потом они встретились в Париже, вместе ездили туда и сюда, наконец оба приехали домой на отдых, лет тридцать тому назад.

Я вообще не любил важных людей, особенно женщин, да еще к тому же семидесятилетних; но отец мой спрашивал второй раз, был ли я у Ольги Александровны Жеребцовой, и я, наконец, решился проглотить эту пилюлю. Официант привел меня в довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, как-то почерневшую, полинявшую; мебель, обивка — все сдало цвет, все стояло, видно, давно на этих местах. На меня пахнуло домом княжны Мещерской; старость не меньше юности протаптывает свои следы на всем окружающем. Самоотверженно ждал я появления хозяйки, приготовляясь к скучным вопросам, к глухоте, к кашлю, к обвинениям нового поколения, а может, и к моральным поучениям.

Минут через пять взошла твердым шагом высокая старуха, с строгим лицом, носившим следы большой красоты; в ее осанке, поступи и жестах

выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум. Она проницательно осмотрела меня с головы до ног, подошла к дивану, отодвинула одним движением руки стол и сказала мне:

— Садитесь сюда на кресла, поближе ко мне, я ведь короткая приятельница с вашим отцом и люблю его.

Она развернула письмо и подала мне, говоря:

— Пожалуйста, прочтите мне, у меня болят глаза.

Письмо было писано по-французски, с разными комплиментами, с воспоминаниями и намеками. Она слушала, улыбаясь, и, когда я кончил, сказала:

— Ум-то у него не стареет, все тот же; он очень был любезен и очень костик[259]. А что, теперь все сидит в комнате, в халате, представляет больного? Я два года тому назад проезжала Москвой, была тогда у вашего батюшки; насилу, говорит, могу принять, разрушаюсь, а потом разговорился и забыл свои болезни. Все баловство; он немного старше меня, года два-три, да и то есть ли, а вот я и женщина, а все еще на ногах. Да, да, много воды утекло с тех времен, о которых ваш

---

[259] Сноски: 259
язвителен (*фр.* caustique).

отец поминает. Ну подумайте, мы с ним были из первых танцоров. Англезы тогда были в моде; вот я с Иваном Алексеичем, бывало, и танцуем у покойной императрицы; можете вы себе представить вашего батюшку в светло-голубом французском кафтане, в пудре и меня с фижмами и décolletée[260]. С ним было очень приятно танцевать, il était bel homme[261], он был лучше вас, — дайте-ка хорошенько на вас посмотреть, — да, точно, он был получше… Вы не сердитесь, в мои лета можно говорить правду. Да ведь вам и не до того, я думаю, ведь вы литератор, ученый. Ах, Боже мой, кстати, расскажите мне, пожалуйста, что это с вами за гистория была? Батюшка ваш писал ко мне, когда вас послали в Вятку, я пробовала говорить с Блудовым — ничего не сделал. За что это вас услали? Они ведь не говорят, все у них secret d'Etat[262].

В ее манере было столько простоты и искренности, что, вопреки ожиданию, мне было легко и свободно. Я отвечал полушутливо и полусерьез-

---

[260] Сноски: 260
декольтированную (*фр.*).

[261] Сноски: 261
он был красавец-мужчина (*фр.*).

[262] Сноски: 262
государственная тайна (*фр.*).

но и рассказал ей наше дело.

— Воюет с студентами, — заметила она, — все в голове одно — конспирации; ну, а те и рады подслуживаться; все пустяками занимаются. Людишки такие дрянные около него — откуда это он их набрал? — Без роду и племени. Так, видите, mon cher conspirateur[263], что же вам было тогда — лет шестнадцать?

— Ровно двадцать один год, — отвечал я, смеясь от души ее полнейшему презрению к нашей политической деятельности, т. е. к моей и Николаевой, — но зато я был старший.

— Четыре-пять студентов испугали, видите, tout le gouvernement[264] — срам какой.

Потолковавши в этом роде с полчаса, я встал, чтоб ехать.

— Постойте-ка, постойте-ка, — сказала мне Ольга Александровна еще более дружеским тоном, — я не кончила мою исповедь; а как это вы увезли свою невесту?

— Почему вы знаете?

— Э, батюшка, слухом свет полнится, — моло-

---

[263] Сноски: 263
мой милый заговорщик (*фр.*).

[264] Сноски: 264
все правительство (*фр.*).

дость, des passions[265], я говорила тогда с вашим отцом, он еще сердился на вас; ну, да ведь умный человек, понял… благо, вы счастливо живете — чего еще? «Как же, — говорит, — приезжал в Москву против приказа; попался бы, ну, послали бы в крепость». Я ему на это и молвила: «Ну, да ведь не попался, так это надобно радоваться вам, а что пустяки городить да придумывать, что могло бы быть». — «Ну, вы всегда, — говорит он мне, — были отважны и жили очертя голову». — «А что же, батюшка, оканчиваю не хуже других век, — ответила я ему. — А это что уж такое, без денег оставил молодых! На что это похоже!» — «Ну, говорит, пошлю, пошлю, не сердитесь». Познакомьте меня с вашей супругой-то, а?

Я поблагодарил ее и сказал, что я приехал покамест один.

— Где же вы остановились?

— У Демута.

— И там обедаете?

— Иногда там, иногда у Дюме.

— На что же это по трактирам-то, дорого стоит, да и так нехорошо женатому человеку. Если не скучно вам со старухой обедать — приходи-

---

[265] Сноски: 265
страсти (*фр.*).

те-ка; а я, право, очень рада, что познакомилась с вами; спасибо вашему отцу, что прислал вас ко мне: вы очень интересный молодой человек, хорошо понимаете вещи, даром что молоды. Вот мы с вами и потолкуем о том, о сем; а то, знаете, с этими куртизанами[266] скучно — все одно: об дворе да кому орден дали — все пустое.

Тьер в одном томе истории Консулата довольно подробно и довольно верно рассказал умерщвление Павла. В его рассказе два раза упомянута одна женщина, сестра последнего фаворита Екатерины, графа Зубова. Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется, убитого во время войны, страстная и деятельная натура, избалованная положением, одаренная необыкновенным умом и мужским характером, она сделалась средоточием недовольных во время дикого и безумного царствования Павла. У нее собирались заговорщики, она подстрекала их, через нее шли сношения с английским посольством. Полиция Павла заподозрила ее наконец, и она, вовремя извещенная, может, самим Паленом, успела уехать за границу. Заговор был тогда готов, и она получила, танцуя на бале прусского короля, весть

---

[266] Сноски: 266
царедворцами (*фр.* courtisan).

о том, что Павел убит. Вовсе не скрывая радости, она с восторгом объявила новость всем находившимся в зале. Это до того скандализировало прусского короля, что он велел ее выслать в двадцать четыре часа из Берлина.

Она поехала в Англию. Блестящая, избалованная придворной жизнью и снедаемая жаждой большого поприща, она является львицей первой величины в Лондоне и играет значительную роль в замкнутом и недоступном обществе английской аристократии. Принц Валлийский, т. е. будущий король Георг IV, у ее ног, вскоре более… Пышно и шумно шли годы ее заграничного житья, но шли и срывали цветок за цветком.

Вместе с старостью началась для нее пустыня, удары судьбы, одиночество и грустная жизнь воспоминаний. Ее сын был убит под Бородиным, ее дочь умерла и оставила ей внучку, графиню Орлову. Старушка всякий год ездила в августе месяце из Петербурга в Можайск посетить могилу сына. Одиночество и несчастие не сломили ее сильного характера, а сделали его только угрюмее и угловатее. Точно дерево середь зимы, она сохранила линейный очерк своих ветвей; листья облетели, костливо зябли голые сучья, но тем яснее виднелся величавый рост, смелые размеры,

и стержень, поседелый от инея, гордо и сумрачно выдерживал себя и не гнулся от всякого ветра и от всякой непогоды.

Ее длинная, полная движения жизнь, страшное богатство встреч, столкновений образовали в ней ее высокомерный, но далеко не лишенный печальной верности взгляд. У нее была своя философия, основанная на глубоком презрении к людям, которых она оставить все же не могла, по деятельному характеру.

— Вы их еще не знаете, — говаривала она мне, провожая киваньем головы разных толстых и худых сенаторов и генералов, — а уж я довольно на них насмотрелась, меня не так легко провести, как они думают; мне двадцати лет не было, когда брат был в пущем фавёре, императрица меня очень ласкала и очень любила. Так, поверите ли, старики, покрытые кавалериями, едва таскавшие ноги, наперерыв бросались в переднюю подать мне салоп или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день дом мой опустел, меня бегали, как заразы, знаете, при сумасшедшем-то — и те же самые персоны. Я шла своей дорогой, не нуждалась ни в ком и уехала за море. После моего возвращения Бог посетил меня большими несчастиями, только я ни от кого участия

не видала; были два-три старых приятеля, те, точно, и остались. Ну, пришло новое царствование, Орлов, видите, в силе, т. е. я не знаю, насколько это правда… так думают, по крайней мере; знают, что он мой наследник, и внучка-то меня любит, ну, вот и пошла такая дружба — опять готовы подавать шубу и калоши. Ох! Знаю я их, да скучно иной раз одной сидеть, глаза болят, читать трудно, да и не всегда хочется, я их и пускаю, болтают всякий вздор, — развлечение, час, другой и пройдет…

Странная, оригинальная развалина другого века, окруженная выродившимся поколением на бесплодной и низкой почве петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя выше его и была права. Если она делила сатурналии Екатерины и оргии Георга IV, то она же делила опасность заговорщиков при Павле.

Ее ошибка состояла не в презрении ничтожных людей, а в том, что она принимала произведения дворцового огорода за все наше поколение. При Екатерине двор и гвардия в самом деле обнимали все образованное в России; больше или меньше, это продолжалось до 1812 года. С тех пор русское общество сделало страшные успехи; война вызвала к сознанию, сознание —

к 14 декабрю, общество внутри раздвоилось. Со стороны дворца остается не лучшее: казни и свирепые меры отдалили одних, новый тон отдалил других. Александр продолжал образованные традиции Екатерины, при Николае светски-аристократический тон заменяется сухим, формальным, дерзко-деспотическим, с одной стороны, и беспрекословно покорным — с другой, смесь наполеоновской отрывистой и грубой манеры с чиновничьим бездушием. Новое общество, средоточие которого в Москве, быстро развилось.

Есть удивительная книга, которая поневоле приходит в голову, когда говоришь об Ольге Александровне. Это «Записки» княгини Дашковой, напечатанные лет двадцать тому назад в Лондоне. К этой книге приложены «Записки» двух сестер Вильмот, живших у Дашковой между 1805 и 1810 годами. Обе — ирландки, очень образованные и одаренные большим талантом наблюдения. Мне чрезвычайно хотелось бы, чтоб их письма и «Записки» были известны у нас.

Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, т. е.

отставных, удаленных, отправленных на покой; теперь есть общество *независимых.* Тогдашние львы были капризные олигархи: граф А. Г. Орлов, Остерман — «общество теней», как говорит miss Willmot[267], общество государственных людей, умерших в Петербурге лет пятнадцать тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды и пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла. Московские львы с 1825 года были: Пушкин, М. Орлов, Чаадаев, Ермолов. Тогда общество с подобострастием толпилось в доме графа Орлова, дамы «в чужих брильянтах», кавалеры *не смея садиться* без разрешения; перед ними графская дворня танцевала в маскарадных платьях. Сорок лет спустя я видел то же общество, толпившееся около кафедры одной из аудиторий Московского университета; дочери дам в чужих каменьях, сыновья людей, не смевших сесть, с страстным сочувствием следили за энергической, глубокой речью Грановского, отвечая взрывами рукоплесканий на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смелостью и благородством.

Вот этого-то общества, которое съезжалось

---

[267] Сноски: 267
Мисс Вильмот.

со всех сторон Москвы и теснилось около трибуны, на которой молодой войн науки вел серьезную речь и пророчил былым, — этого общества не подозревала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мне потому, что я был первый образчик мира, неизвестного ей; ее *удивил* мой язык и мои понятия. Она во мне оценила возникающие всходы другой России, не той, на которую весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца. Спасибо ей и за то!

Я мог бы написать целый том анекдотов, слышанных мною от Ольги Александровны: с кем и кем она ни была в сношениях, от графа д'Артуа и Сегюра до лорда Гренвиля и Каннинга, и притом она смотрела на всех независимо, по-своему и очень оригинально. Ограничусь одним небольшим случаем, который постараюсь передать ее собственными словами.

Она жила на Морской. Раз как-то шел полк с музыкой по улице; Ольга Александровна подошла к окну и, глядя на солдат, сказала мне:

— У меня дача есть недалеко от Гатчины, летом иногда я езжу туда отдохнуть. Перед домом я велела сделать большой сквер, знаете, эдак на английский манер, покрытый дерном. В за-

прошлый год приезжаю я туда; представьте себе — часов в шесть утром слышу я страшный треск барабанов; лежу ни живая, ни мертвая в постели; все ближе да ближе; звоню, прибежала моя калмычка. «Что, мать моя, это случилось? — спрашиваю я, — шум какой?» — «Да это, — говорит, — Михайла Павлович изволит солдат учить». — «Где это?» — «На нашем дворе».

— Понравился сквер — гладко и зелено. Представьте себе, дама живет, старуха, больная! — а он в шесть часов в барабан. Ну, думаю, это — пустяки. «Позови дворецкого». Пришел дворецкий; я ему говорю: «Ты сейчас вели заложить тележку да поезжай в Петербург и найми сколько найдешь белоруссов, да чтоб завтра и начали копать пруд». Ну, думаю, авось, *навального*[268] учения не дадут под моими окнами. Все это невоспитанные люди!

…Естественно, что я прямо от графа Строгонова поехал к Ольге Александровне и рассказал ей все случившееся.

— Господи, какие глупости, от часу не легче, — заметила она, выслушавши меня. — Как это

---

[268] Сноски: 268
морского (*фр.* naval).

можно с фамилией[269] тащиться в ссылку из таких пустяков! Дайте я переговорю с Орловым, я редко его о чем-нибудь прошу — они все не любят этого; ну, да иной раз может же сделать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денька через два, я вам ответ сообщу.

Через день утром она прислала за мной. Я застал у нее несколько человек гостей. Она была повязана белым батистовым платком вместо чепчика — это обыкновенно было признаком, что она не в духе, щурила глаза и не обращала почти никакого внимания на тайных советников и явных генералов, приходивших свидетельствовать свое почтение.

Один из гостей с предовольным видом вынул из кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольге Александровне, сказал:

— Я вам привез вчерашний рескрипт князю Петру Михайловичу, может, вы не изволили еще читать?

Слышала ли она или нет, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надела очки и, морщась, с страшными усилиями, прочла: «Князь, Пе-тр Ми-хайло-вич!..»

---

[269] Сноски: 269
с семьей (*фр.* famille).

— Что вы это мне даете?.. А?.. Это не ко мне?

— Я вам докладывал-с, это рескрипт…

— Боже мой, у меня глаза болят, я не всегда могу читать письма, адресованные ко мне, а вы заставляете чужие письма читать.

— Позвольте я прочту… я, право, не подумал.

— И, полноте, что трудиться понапрасну, какое мне дело до их переписки; доживаю кое-как последние дни, совсем не тем голова занята.

Господин улыбнулся, как улыбаются люди, попавшие впросак, и положил рескрипт в карман.

Видя, что Ольга Александровна в дурном расположении духа и в очень воинственном, гости один за другим откланялись. Когда мы остались одни, она сказала мне:

— Я просила вас сюда зайти, чтоб сказать вам, что я на старости лет дурой сделалась; наобещала вам, да ничего и не сделала; не спросясь броду-то, и не надобно соваться в воду, знаете, по мужицкой пословице. Говорила вчера с Орловым об вашем деле — и не ждите ничего…

В это время официант доложил, что графиня Орлова приехала.

— Ну, это ничего, свои люди, сейчас доскажу.

Графиня, красивая женщина и еще в цвете лет, подошла к руке и осведомилась о здоровье,

на что Ольга Александровна отвечала, что чувствует себя очень дурно, потом, назвавши меня, прибавила ей:

— Ну сядь, сядь, друг мой. Что детки, здоровы?

— Здоровы.

— Ну, слава Богу; извини меня, я вот рассказываю о вчерашнем. Так вот, видите, я говорю ее мужу-то: «Что бы тебе сказать государю, ну как это пустяки такие делают?» Куда ты! Руками и ногами уперся. «Это, — говорит, — по части Бенкендорфа; с ним, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу: он не любит, да у нас это и не заведено». — «Что же это за чудо, — говорю я ему, — поговорить с Бенкендорфом? Я это и сама умею. Да и он-то что уж из ума выжил, сам не знает, что делает? Все актриски на уме, — кажется, уж и не под лета волочиться; а тут какой-нибудь секретаришка у него делает доносы всякие, а он и подает. Что же он сделает? Нет, уж ты лучше, говорю, не срами себя, что же тебе просить Бенкендорфа — он же все и напакостил». — «У нас, — говорит, — уж так заведено», — и пошел мне тут рассказывать… Ну! вижу, что он просто боится идти к государю… «Что он у вас это, зверь, что ли, какой, что подойти страшно? И как же всякий день

вы его пять раз видите?» — молвила я, да так и махнула рукой, — поди с ними толкуй. Посмотрите, — прибавила она, указывая мне на портрет Орлова, — экой бравый представлен какой, а боится слово сказать!

Вместо портрета я не мог удержаться, чтоб не посмотреть на графиню Орлову; положение ее было не из самых приятных. Она сидела, улыбаясь, и иногда взглядывала на меня, как бы говоря: «Лета имеют свои права, старушка раздражена»; но, встречая мой взгляд, не подтверждавший того, она делала вид, будто не замечает меня. В речь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно; у старухи разгорелись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтоб вихрь пронесся через голову.

— Ведь это, чай, у вас там, где вы это были, в этой в Вологде, писаря думают: «Граф Орлов — случайный человек, в силе»… Все это — вздор, это подчиненные его, небось, распускают слух. Все они не имеют никакого влияния, они не так себя держат и не на такой ноге, чтоб иметь влияние… Вы уже меня простите, взялась не за свое дело. Знаете, что я вам посоветую? Что вам в Новгород ездить! Поезжайте лучше в Одессу,

подальше от них, и город почти иностранный, да и Воронцов, если не испортился, человек другого «режиму».

Доверие к Воронцову, который тогда был в Петербурге и всякий день ездил к Ольге Александровне, не вполне оправдалось; он хотел меня взять с собой в Одессу, *если* Бенкендорф изъявит согласие.

…Между тем прошли месяцы, прошла и зима, никто мне не напоминал об отъезде, меня забыли, и я уж перестал быть sur le qui vive[270], особенно после следующей встречи. Вологодский военный губернатор Болговский был тогда в Петербурге; очень короткий знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда. Он участвовал в убийстве Павла, будучи молодым семеновским офицером, и потом был замешан в непонятное и необъясненное дело Сперанского в 1812 году. Он был тогда полковником в действующей армии, его вдруг арестовали, свезли в Петербург, потом сослали в Сибирь. Он не успел доехать до места, как Александр простил его, и он возвратился в свой полк. Раз весною прихожу я к нему; спиною к дверям в больших креслах

---

[270] Сноски: 270
настороже (*фр.*).

сидел какой-то генерал, мне не было видно его лица, а только один серебряный эполет.

— Позвольте мне представить, — сказал Болговский, и тут я разглядел Дубельта.

— Я давно имею удовольствие пользоваться вниманием Леонтия Васильевича, — сказал я, улыбаясь.

— Вы скоро едете в Новгород? — спросил он меня.

— Я полагал, что мне надобно у вас спросить об этом.

— Ах, помилуйте, я совсем не думал напоминать вам, я вас просто так спросил. Мы вас передали с рук на руки графу Строгонову и не очень торопим, как видите; сверх того, такая законная причина, как болезнь вашей супруги… (Учтивейший в мире человек!)

Наконец, в начале июня я получил сенатский указ об утверждении меня советником новогородского губернского правления. Граф Строгонов думал, что пора отправляться, и я явился около 1 июля в Богом и св. Софией хранимый град Новгород и поселился на берегу Волхова, против самого того кургана, откуда волтерианцы XII столетия бросили в реку *чудотворную* статую Перуна.

Глава XXVII

Губернское правление. – Я у себя под надзором. – Духоборцы и Павел. – Отеческая власть помещиков и помещиц. – Граф Аракчеев и военные поселения. – Каннибальское следствие. – Отставка.

Перед моим отъездом граф Строгонов сказал мне, что новгородский военный губернатор, *Эльпидифор Антиохович* Зуров, в Петербурге, что он говорил ему о моем назначении, и советовал съездить к нему. Я нашел в нем довольно простого и добродушного генерала очень армейской наружности, небольшого роста и средних лет. Мы поговорили с ним с полчаса, он приветливо проводил меня до дверей, и там мы расстались.

Приехавши в Новгород, я отправился к нему — перемена декораций была удивительна. В Петербурге губернатор был в гостях, здесь — дома; он даже ростом, казалось мне, был побольше в Новгороде. Не вызванный ничем с моей стороны, он счел нужным сказать, что он не терпит, чтоб советники подавали голос или оставались бы пись-

менно при своем мнении, что это задерживает дела, что если что не так, то можно переговорить, а как на *мнения* пойдет, то тот или другой должен выйти в отставку. Я, улыбаясь, заметил ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка — единственная цель моей службы, и прибавил, что, пока горькая необходимость заставляет меня служить в Новгороде, я, вероятно, не буду иметь случая подавать своих мнений.

Разговора этого было совершенно достаточно для обоих. Выходя от него, я решился не сближаться с ним. Сколько я мог заметить, впечатление, произведенное мною на губернатора, было в том же роде, как то, которое он произвел на меня, т. е. мы настолько терпеть не могли друг друга, насколько это возможно было при таком недавнем и поверхностном знакомстве.

Когда я присмотрелся к делам губернского правления, я увидел, что мое положение не только очень неприятно, но чрезвычайно опасно. Каждый советник отвечал за свое отделение и делил ответственность за все остальные. Читать бумаги по всем отделениям было решительно невозможно, надобно было подписывать на веру. Губернатор, последовательный своему мнению, что советник никогда не должен советовать,

подписывал, противно смыслу и закону, первый после советника того отделения, по которому было дело. Лично для меня это было превосходно: в его подписи я находил некоторую гарантию, потому что он делил ответственность и потому еще, что он часто, с особенным выражением, говорил о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей других советников, они мало успокоивали. Люди эти были закаленные, старые писцы, дослужившиеся десятками лет до советничества, жили они одной службой, т. е. одними взятками. Пенять на это нечего: советник, помнится, получал тысячу двести рублей ассигнациями в год; семейному человеку продовольствоваться этим невозможно. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни в дележе общих добыч, ни сам грабить, они стали на меня смотреть как на непрошенного гостя и опасного свидетеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядели, что между мной и губернатором дружба была очень умеренная. Друг друга они берегли и предостерегали, до меня им дела не было.

К тому же мои почтенные сослуживцы не боялись больших денежных взысканий и начетов, потому что у них ничего не было. Они могли

рисковать, и тем больше, чем важнее было дело; будет ли начет в пятьсот рублей или в пятьсот тысяч, для них было все равно. Доля жалованья шла, в случае начета, на уплату казне и могла длиться двести, триста лет, если б чиновник длился так долго. Обыкновенно или чиновник умирал или государь — и тогда наследник на радостях прощал долги. Такие манифесты являются часто и при жизни того же государя по поводу рождения, совершеннолетия и всякой всячины; они на них считали. У меня же, напротив, захватили бы ту часть именья и тот капитал, который отец мой отделил мне.

Если б я мог положиться на своих столоначальников, дело было бы легче. Я сделал многое для того, чтоб привязать их, обращался учтиво, помогал им денежно и довел только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись советников, которые обращались с ними, как с мальчишками, и стали вполпьяна приходить на службу. Это были беднейшие люди, без всякого образования, без всяких надежд; вся поэтическая сторона их существования ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По своему отделению, стало быть, приходилось тоже быть настороже.

Сначала губернатор мне дал IV отделение — тут откупные дела и всякие денежные. Я просил его переменить, он не хотел, говорил, что не имеет права переменить без воли другого советника. Я в присутствии губернатора спросил советника II отделения, он согласился, и мы поменялись. Новое отделение было меньше заманчиво; там были паспорты, всякие циркуляры, дела о злоупотреблении помещичьей власти, о раскольниках, фальшивых монетчиках и людях, находящихся под полицейским надзором.

Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят[271], а между тем это сущая правда, что я, как советник губернского правления, управляющий вторым отделением, свидетельствовал каждые три месяца рапорт полицмейстера *о самом себе* как о человеке, находившемся под полицейским надзором. Полицмейстер, из учтивости, в графе поведения ничего не писал, а в графе занятий ставил: «занимается государственной службой». Вот

[271] Сноски: 271

Это до такой степени справедливо, что какой-то немец, раз десять ругавший меня в «Morning Advertiser», приводил в доказательство того, что я не был в ссылке, то, что я занимал должность советника губернского правления.

до каких геркулесовских столбов безумия можно доправиться, имея две-три полиции, враждебные друг другу, канцелярские формы вместо законов и фельдфебельские понятия вместо правительственного ума.

Нелепость эта напоминает мне случай, бывший в Тобольске несколько лет тому назад. Гражданский губернатор был в ссоре с виц-губернатором, ссора шла на бумаге, они друг другу писали всякие приказные колкости и остроты. Виц-губернатор был тяжелый педант, формалист, добряк из семинаристов, он сам составлял с большим трудом свои *язвительные* ответы и, разумеется, целью своей жизни делал эту ссору. Случилось, что губернатор уехал на время в Петербург. Виц-губернатор занял его должность и в качестве губернатора получил от себя дерзкую бумагу, посланную накануне; он, не задумавшись, велел секретарю отвечать на нее, подписал ответ и, получив его как виц-губернатор, снова принялся с усилиями и напряжениями строчить самому себе оскорбительное письмо. Он считал это высокой честностью.

С полгода вытянул я лямку в губернском правлении, тяжело было и крайне скучно. Всякий день в одиннадцать часов утра надевал я мун-

дир, прицеплял статскую шпажонку и являлся в присутствие. В двенадцать приходил военный губернатор; не обращая никакого внимания на советников, он шел прямо в угол и там ставил свою саблю, потом, посмотревши в окно и поправив волосы, он подходил к своим креслам и кланялся присутствующим. Едва вахмистр с страшными седыми усами, стоявшими перпендикулярно к губам, торжественно отворял дверь и бренчанье сабли становилось слышно в канцелярии, советники вставали и оставались, стоя в согбенном положении, до тех пор, пока губернатор кланялся. Одно из первых действий оппозиции с моей стороны состояло в том, что я не принимал участия в этом соборном восстании и благочестивом ожидании, а спокойно сидел и кланялся ему тогда, когда он кланялся нам.

Больших прений, горячих рассуждений не было; редко случалось, чтоб советник спрашивал предварительно мнения губернатора, еще реже обращался губернатор к советникам с деловым вопросом. Перед каждым лежал ворох бумаги, и каждый писал свое имя — это была фабрика подписей.

Помня знаменитое изречение Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердием и за-

нимался делами насколько было нужно, чтоб не получить замечания или не попасть в беду. Но в моем отделении было два рода дел, на которые я не считал себя вправе смотреть так поверхностно: это были дела о раскольниках и злоупотреблении помещичьей власти.

У нас раскольников не постоянно гонят; так вдруг *найдет* что-то на синод или на министерство внутренних дел, они и сделают набег на какой-нибудь скит, на какую-нибудь общину, ограбят ее и опять затихнут. Раскольники обыкновенно имеют смышленых агентов в Петербурге, они предупреждают оттуда об опасности, остальные тотчас собирают деньги, прячут книги и образа, поят православного попа, поят православного исправника, дают выкуп; тем дело и кончается лет на десять.

В Новгородской губернии в царствование Екатерины было много духоборцев[272]. Их начальник, старый ямской голова, чуть ли не в Зайцеве, пользовался огромным почетом. Когда Павел ехал короноваться в Москву, он велел позвать к себе старика — вероятно, с целью обратить его. Духоборцы, как квекеры, не снимают

---

[272] Сноски: 272
Духоборцев ли, я не уверен.

шапки — с покрытой головой взошел седой старец к гатчинскому императору. Этого он вынести не мог. Мелкая и щепетильная обидчивость особенно поразительна в Павле и во всех его сыновьях, кроме Александра; имея в руках дикую власть, они не имеют даже того звериного сознания силы, которое удерживает большую собаку от нападений на маленькую.

— Перед кем ты стоишь в шапке? — закричал Павел, отдуваясь и со всеми признаками бешеной ярости. — Ты знаешь меня?

— Знаю, — отвечал спокойно раскольник, — ты Павел Петрович.

— В цепи его, в каторжную работу, в рудники! — продолжал *рыцарственный* Павел.

Старика схватили, и император велел *зажечь* с четырех концов село, а жителей выслать в Сибирь на поселение. На следующей станции кто-то из его приближенных бросился к его ногам и сказал ему, что он осмелился приостановить исполнение высочайшей воли и ждет, чтоб он повторил ее. Павел несколько отрезвел и понял, что странно рекомендоваться народу, выжигая селения и ссылая без суда в рудники. Он велел синоду разобрать дело крестьян, а старика сослать на пожизненное заточение в Спасо-Евфимьев-

ский монастырь; он думал, что православные монахи домучат его лучше каторжной работы; но он забыл, что наши монахи не только православные, но люди, любящие деньги и водку, а раскольники водки не пьют и денег не жалеют.

Старик прослыл у духоборцев святым; со всех концов России ходили духоборцы на поклонение к нему, ценою золота покупали они к нему доступ. Старик сидел в своей келье, одетый весь в белом, — его друзья обили полотном стены и потолок. После его смерти они выпросили дозволение схоронить его тело с родными и торжественно пронесли его на руках от Владимира до Новгородской губернии. Одни духоборцы знают, где он схоронен; они уверены, что он при жизни имел уже дар делать чудеса и что его тело нетленно.

Я все это слышал долею от владимирского губернатора И. Э. Куруты, долею от ямщиков в Новгороде и, наконец, от посошника в Спасо-Евфимьевском монастыре. Теперь в этом монастыре нет больше политических арестантов, хотя тюрьма и наполнена разными попами, церковниками, непокорными сыновьями, на которых жаловались родители, и пр. Архимандрит, плечистый, высокий мужчина, в меховой шапке,

показывал нам тюремный двор. Когда он взошел, унтер-офицер с ружьем подошел к нему и рапортовал: «Вашему преосвященству честь имею донести, что по тюремному замку все обстоит благополучно, арестантов столько-то». Архимандрит в ответ благословил его. Что за путаница!

Дела о раскольниках были такого рода, что всего лучше было их совсем не подымать вновь; я их просмотрел и оставил в покое. Напротив, дела о злоупотреблении помещичьей власти следовало сильно перетряхнуть; я сделал все, что мог, и одержал несколько побед на этом вязком поприще, освободил от преследования одну молодую девушку и отдал под опеку одного морского офицера. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части.

Какая-то барыня держала у себя горничную, не имея на нее никаких документов, горничная просила разобрать ее права на вольность. Мой предшественник благоразумно придумал до решения дела оставить ее у помещицы в полном повиновении. Мне следовало подписать; я обратился к губернатору и заметил ему, что незавидна будет судьба девушки у ее барыни после того, как она подавала на нее просьбу.

— Что же с ней делать?

— Содержать в части.

— На чей счет?

— На счет помещицы, если дело кончится против нее.

— А если нет?

По счастию, в это время взошел губернский прокурор. Прокурор по общественному положению, по служебным отношениям, по пуговицам на мундире должен быть врагом губернатора, по крайней мере во всем перечить ему. Я нарочно при нем продолжал разговор; губернатор начал сердиться, говорил, что все дело не стоит трех слов. Прокурору было совершенно все равно, что будет и как будет с просительницей, но он тотчас взял мою сторону и привел десять разных пунктов из свода законов. Губернатор, которому, в сущности, еще больше было все равно, сказал мне, насмешливо улыбаясь:

— Тут выход один: или к барыне, или в острог.

— Разумеется, лучше в острог, — заметил я.

— Будет сообразнее с смыслом, изображенным в своде законов, — заметил прокурор.

— Пусть будет по-вашему, — сказал, еще более смеясь, губернатор, — услужили вы вашей *протеже*; как посидит в тюрьме несколько месяцев, поблагодарит вас.

Я не продолжал прения, цель моя была спасти девушку от домашних преследований; помнится, месяца через два ее выпустили совсем на волю.

Между нерешенными делами моего отделения была сложная и длившаяся несколько лет переписка о буйстве и всяких злодействах в своем именье отставного морского офицера Струговщикова. Дело началось по просьбе его матери, потом крестьяне жаловались. С матерью он как-то поладил, а крестьян сам обвинил в намерении его убить, не приводя, впрочем, никаких серьезных доказательств. Между тем из показаний его матери и дворовых людей видно было, что человек этот делал всевозможные неистовства. Больше года дело это спало сном праведных; справками и ненужными переписками можно всегда затянуть дело и потом, *почислив* решенным, сдать в архив. Надобно было сделать представление в сенат, чтоб его отдали под опеку, но для этого необходим отзыв дворянского предводителя. Предводители обыкновенно отвечают уклончиво, не желая потерять избирательный голос. Пустить дело в ход совершенно зависело от моей воли, но надобен был coup de grâce[273] предво-

[273] Сноски: 273
последний удар (*фр.*).

дителя.

Новгородский предводитель, милиционный[274] дворянин, с владимирской медалью, встречаясь со мной, чтоб заявить начитанность, говорил книжным языком докарамзинского периода; указывая раз на памятник, который новгородское дворянство воздвигнуло *самому себе* в награду за патриотизм в 1812 году, он как-то с чувством отзывался о, так сказать, трудной, священной и тем не менее лестной обязанности предводителя.

Все это было в мою пользу.

Предводитель приехал в губернское правление для свидетельства в сумасшествии какого-то церковника; после того как все председатели всех палат истощили весь запас глупых вопросов, по которым сумасшедший мог заключить об них, что и они не совсем в своем уме, и церковника возвели окончательно в должность безумного, я отвел предводителя в сторону и рассказал ему дело. Предводитель жал плечами, показывал вид негодования, ужаса и кончил тем, что отозвался об морском офицере как об отъявленном негодяе, «кладущем тень на благородное общество новго-

---

[274] Сноски: 274
участник ополчения (*фр.* milice).

родского дворянства».

— Вероятно, — сказал я, — вы так и ответите письменно, если мы вас спросим?

Предводитель, взятый врасплох, обещал отвечать по совести, прибавив, что «честь и правдивость — беспременные атрибуты россейского дворянства».

Сомневаясь немного в беспременности этих атрибутов, я таки пустил дело в ход; предводитель сдержал слово. Дело пошло в сенат, и я помню очень хорошо ту сладкую минуту, когда в мое отделение был передан сенатский указ, назначавший опеку над имением моряка и отдававший его под надзор полиции. Моряк был уверен, что дело кончено, и, как громом пораженный, явился после указа в Новгород. Ему тотчас сказали, как что было; яростный офицер собирался напасть на меня из-за угла, подкупить бурлаков и сделать засаду, но, непривычный к сухопутным кампаниям, мирно скрылся в какой-то уездный город.

По несчастию, «атрибут» зверства, разврата и неистовства с дворовыми и крестьянами является «беспременнее» правдивости и чести у нашего дворянства. Конечно, небольшая кучка образованных помещиков не дерутся с утра

до ночи с своими людьми, не секут всякий день, да и то между ними бывают «Пеночкины», остальные недалеко ушли еще от Салтычихи и американских плантаторов.

Роясь в делах, я нашел переписку псковского губернского правления о какой-то помещице Ярыжкиной. Она засекла двух горничных до смерти, попалась под суд за третью и была почти совсем оправдана уголовной палатой, основавшей между прочим свое решение на том, что третья горничная не умерла. Женщина эта выдумывала удивительнейшие наказания — била утюгом, сучковатыми палками, вальком.

Не знаю, что сделала горничная, о которой идет речь, но барыня превзошла себя, она поставила ее на колени на дрань, или на тесницы, в *которых были набиты гвозди.* В этом положении она била ее по спине и по голове вальком, и, когда выбилась из сил, позвала кучера на смену, по счастию, его не было в людской; барыня вышла, а девушка, полубезумная от боли, окровавленная, в одной рубашке, бросилась на улицу и в частный дом. Пристав принял показания, и дело пошло своим порядком; полиция возилась, уголовная палата возилась с год времени; наконец суд, явным образом закупленный, решил премудро: позвать мужа

Ярыжкиной и внушить ему, чтоб он удерживал жену от таких наказаний, а ее самое ставя в подозрении, что она способствовала смерти двух горничных, обязать подпиской их впредь не наказывать. На этом основании барыне отдавали несчастную девушку, которая в продолжение дела содержалась где-то.

Девушка, перепуганная будущностью, стала писать просьбу за просьбой; дело дошло до государя, он велел преследовать его и прислал из Петербурга чиновника. Вероятно, средства Ярыжкиной не шли до подкупа столичных, министерских и жандармских следопроизводителей, и дело приняло иной оборот. Помещица отправилась в Сибирь на поселение, ее муж был взят под опеку. Все члены уголовной палаты отданы под суд; чем их дело кончилось, не знаю.

Я в другом месте[275] рассказал о человеке, засеченном князем Трубецким, и о камергере Базилевском, высеченном своими людьми. Прибавлю еще одну дамскую историю.

Горничная жены пензенского жандармского полковника несла чайник, полный кипятком; дитя ее барыни, бежавши, наткнулся на горнич-

---

[275] Сноски: 275
«Крещеная собственность».

ную, и та пролила кипяток; ребенок был обварен. Барыня, чтоб отомстить той же монетой, велела привести ребенка горничной и обварила ему руку из самовара… Губернатор Панчулидзев, узнав об этом чудовищном происшествии, душевно жалел, что находится в деликатном отношении с жандармским полковником и что, вследствие этого, считает неприличным начать дело, которое могут счесть за личность!

А тут чувствительные сердца и начнут удивляться, как мужики убивают помещиков с целыми семьями, как в Старой Руссе солдаты военных поселений избили всех русских немцев и немецких русских.

В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую *предупредить легко,* а остановить вряд возможно ли будет.

Старая Русса, военные поселения! — страшные имена! Неужели история, вперед закупленная аракчеевской на-водкой[276], никогда не отдернет

---

[276] Сноски: 276

Аракчеев положил, кажется, 100 000 рублей в ломбард для выдачи через сто лет с процентами тому, кто напишет лучшую историю Александра I.

савана, под которым правительство спрятало ряд злодейств, холодно, систематически совершенных при введении поселений? Мало ли ужасов было везде, но тут прибавился особый характер — петербургско-гатчинский, немецко-татарский. Месяцы целые продолжалось *забивание палками и засекание розгами* непокорных… пол не просыхал от крови в земских избах и канцеляриях… Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед!

Монгольская сторона московского периода, исказившая славянский характер русских, фухтельное бесчеловечье, исказившее петровский период, воплотилось во всей роскоши безобразия в графе Аракчееве. Аракчеев, без сомнения, одно из самых гнусных лиц, всплывших после Петра I на вершины русского правительства; этот

Холоп венчанного солдата,

как сказал об нем Пушкин, был идеалом образцового капрала, так, как он носился в мечтах отца Фридриха II: нечеловеческая преданность, механическая исправность, точность хронометра, никакого чувства, рутина и деятельность, ровно столько ума, сколько нужно для испол-

нителя, и ровно столько честолюбия, зависти, желчи, чтоб предпочитать власть деньгам. Такие люди — клад для царей. Только мелкой злопамятностью Николая и можно объяснить, что он не употребил никуда Аракчеева, а ограничился его подмастерьями.

Павел открыл Аракчеева по сочувствию. Александр, пока еще у него был стыд, не очень приближал его; но, увлеченный фамильной страстью к выправке и фрунту, он вверил ему походную канцелярию. О победах этого генерала от артиллерии мы мало слышали[277]; он исполнял больше статские должности в военной службе, его сражения давались на солдатской спине, его враги приводились к нему в цепях, они вперед были побеждены. В последние годы Александра Аракчеев управлял всей Россией. Он мешался во все, на все имел право и бланковые подписи. Расслабленный и впадавший в мрачную меланхолию, Александр поколебался немного между кн. А. Н. Голицыным и Аракчеевым и, естественно, склонился окончательно

---

[277] Сноски: 277

Аракчеев был жалкий трус, об этом говорит граф Толь в своих «Записках» и статс-секретарь Марченко в небольшом рассказе о 14 декабре, помещенном в «Полярной звезде». Я слышал о том, как он прятался во время старорусского восстания и как был без души от страха, от инженерского генерала Рейхеля.

на сторону последнего.

Во время таганрогской поездки Александра в именье Аракчеева, в Грузине, дворовые люди убили любовницу графа; это убийство подало повод к тому следствию, о котором с ужасом до сих пор, т. е. через семнадцать лет, говорят чиновники и жители Новгорода.

Любовница Аракчеева, шестидесятилетнего старика, его крепостная девка, теснила дворню, дралась, ябедничала, а граф порол по ее доносам. Когда всякая мера терпения была перейдена, повар ее зарезал. Преступление было так ловко сделано, что никаких следов виновника не было.

Но виновный был нужен для мести нежного старика, он бросил дела всей империи и прискакал в Грузино. Середь пыток и крови, середь стона и предсмертных криков Аракчеев, повязанный окровавленным платком, снятым с трупа наложницы, писал к Александру чувствительные письма, и Александр отвечал ему: «Приезжай отдохнуть на груди твоего друга от твоего несчастия». Должно быть, баронет Виллие был прав, что у императора перед смертию вода разлилась в мозгу.

Но виновные не открывались. Русский человек удивительно умеет молчать.

Тогда, совершенно бешеный, Аракчеев явился в Новгород, куда привели толпу мучеников. Желтый и почернелый, с безумными глазами и все еще повязанный кровавым платком, он начал новое следствие; тут эта история принимает чудовищные размеры. Человек восемьдесят были захвачены вновь. В городе брали людей по одному слову, по малейшему подозрению, за дальнее знакомство с каким-нибудь лакеем Аракчеева, за неосторожное слово. Проезжие были схвачены и брошены в острог; купцы, писаря ждали по неделям в части допроса. Жители прятались по домам, боялись ходить по улицам; о самой истории никто не осмеливался поминать.

Клейнмихель, служивший при Аракчееве, участвовал в этом следствии…

Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец изнемог и, когда ему велели допрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него недостало сил. Он взошел к губернатору — это было при старике Попове, который мне рассказывал, — и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вско-

чил с своего места и, бешеный от злобы, бросился на исправника с *поднятым кулаком*: «Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы — *изменник!*» Исправник был арестован и подал в отставку; душевно жалею, что не знаю его фамилии, — да будут ему прощены его прежние грехи за эту минуту, скажу просто, геройства: с такими разбойниками вовсе была не шутка показать человеческое чувство.

Женщину пытали, она ничего не знала о деле… однако ж умерла.

Да и «благословенный» Александр умер. Не зная, что будет далее, эти изверги сделали последнее усилие и добрались до виновного; его, разумеется, приговорили к кнуту. Середь торжества следопроизводителей пришел приказ Николая отдать их под суд и остановить все дело.

Губернатора велено было судить сенату…[278], оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации; под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева — под него подошел этот мерзавец. Через два-три года он же был судим в Тамбове за злоупо-

---

[278] Сноски: 278

Чрезвычайно досадно, что я забыл имя этого достойного начальника губернии; помнится, его фамилья Жеребцов.

требление власти в своем именье; да, он *подошел* под манифест Николая — он был ниже его.

В начале 1842 года я был до невозможности утомлен губернским правлением и придумывал предлог, как бы отделаться от него. Пока я выбирал то одно, то другое средство, случай совершенно внешний решил за меня.

Раз в холодное зимнее утро приезжаю я в правление. В передней стоит женщина лет тридцати, крестьянка; увидавши меня в мундире, она бросилась передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Барин ее Мусин-Пушкин ссылал ее с мужем на поселение, их сын лет десяти оставался, она умоляла дозволить ей взять с собой дитя. Пока она мне рассказывала дело, взошел военный губернатор, я указал ей на него и передал ее просьбу. Губернатор объяснил ей, что дети старше десяти лет оставляются у помещика. Мать, не понимая глупого закона, продолжала просить; ему было скучно, женщина, рыдая, цеплялась за его ноги, и он сказал, грубо отталкивая ее от себя: «Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь». После этого он пошел твердым и решительным шагом в угол, где ставил саблю.

И я пошел… С меня было довольно… Разве эта женщина не приняла меня *за одного из них*? Пора кончить комедию.

— Вы нездоровы? — спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

— Болен, — отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении. Потом я подал в отставку «за болезнию». Отставку мне сенат дал, присовокупив к ней чин *надворного советника*; но Бенкендорф с тем вместе сообщил губернатору, что мне запрещен въезд в столицы и велено жить в Новгороде.

Огарев, возвратившийся из первой поездки за границу, принялся хлопотать в Петербурге, чтоб нам было разрешено переехать в Москву. Я мало верил успеху такого протектора и страшно скучал в дрянном городишке с огромным историческим именем. Между тем Огарев все обделал. 1 июля 1842 года императрица, пользуясь семейным праздником, просила государя разрешить мне жительство в Москве, взяв во внимание болезнь моей жены и ее желание переехать туда. Государь согласился, и через три дня моя жена получила от Бенкендорфа письмо, в котором он

сообщал, что мне разрешено сопровождать ее в Москву, вследствие предстательства государыни. Он заключил письмо приятным извещением, что полицейский надзор будет продолжаться и там.

Новгород я оставлял без всякого сожаления и торопился как можно скорее уехать. Впрочем, при разлуке с ним случилось чуть ли не единственно приятное происшествие в моей новгородской жизни.

У меня не было денег; ждать из Москвы я не хотел, а потому и поручил Матвею сыскать мне тысячи полторы рублей ассигнациями. Матвей через час явился с содержателем гостиницы Гибиным, которого я знал и у которого в гостинице жил с неделю. Гибин, толстый купец с добродушным видом, кланяясь, подал пачку ассигнаций.

— Сколько желаете процентов? — спросил я его.

— Да я, видите, — отвечал Гибин, — этим делом не занимаюсь и в припент денег не даю, а так как наслышал от Матвея Савельевича, что вам нужны деньги на месяц, на другой, а мы вами оченно довольны, а деньги, слава Богу, свободные есть — я и принес.

Я поблагодарил его и спросил, что он желает:

простую расписку или вексель?

Но Гибин и на это отвечал:

— Дело излишнее, я вашему слову верю больше, чем гербовой бумаге.

— Помилуйте, да ведь могу же я умереть.

— Ну, так к горести об вашей кончине, — прибавил Гибин смеясь, — не много прибудет от потери денег.

Я был тронут и, вместо расписки, горячо пожал ему руку. Гибин, по русскому обычаю, обнял меня и сказал:

— Мы ведь все смекаем, знаем, что служили-то вы поневоле и что вели себя не то, что другие, прости Господи, чиновники, и за нашего брата и за черный народ заступались, вот я и рад, что потрафился случай сослужить службу.

Когда мы поздно вечером выезжали из города, ямщик осадил лошадей против гостиницы и тот же Гибин подал мне на дорогу торт величиною с колесо…

Вот моя «пряжка за службу»!

Глава XXVIII

Grübelei[279]*. – Москва после ссылки. – Покровское. – Смерть Матвея. – Иерей Иоанн.*

Жизнь наша в Новгороде шла нехорошо. Я приехал туда не с самоотвержением и твердостью, а с досадой и озлоблением. Вторая ссылка с своим пошлым характером раздражала больше, чем огорчала; она не была до того несчастна, чтобы поднять дух, а только дразнила, в ней не было ни интереса новости, ни раздражения опасности. Одного губернского правления с своим Эльпидифором Антиоховичем Зуровым, советником Хлопиным и виц-губернатором Пименом Араповым было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь.

Я сердился; грустное расположение брало верх у Natalie. Нежная натура ее, привыкнувшая в детстве к печали и слезам, снова отдавалась себябуравящей тоске. Она долго останавливалась на мучительных мыслях, легко пропуская все светлое и радостное. Жизнь становилась сложнее, струн было больше, а с ними и больше тревоги. Вслед за болезнью Саши — испуг III отделения, несчастные роды, смерть младен-

---

[279] Сноски: 279
Мучительное раздумье (*нем.*).

ца. Смерть младенца едва чувствуется отцом, забота о родильнице заставляет почти забывать промелькнувшее существо, едва успевшее проплакать и взять грудь. Но для матери новорожденный — старый знакомый, она давно *чувствовала* его, между ними была физическая, химическая, нервная связь; сверх того, младенец для матери — выкуп за тяжесть беременности, за страдания родов; без него мучения, лишенные цели, оскорбляют, без него ненужное молоко бросается в мозг.

После кончины Natalie я нашел между ее бумагами записочку, о которой я совсем забыл. Это были несколько строк, написанных мною за час или за два до рождения Саши. Это была молитва, благословение, посвящение неродившегося существа на «службу человечества», обречение его на «трудный путь».

С другой стороны было написано рукой Natalie: «1 января 1841. Вчера Александр дал мне этот листок; лучшего подарка он не мог сделать, этот листок разом вызвал всю картину трехлетнего счастья, беспрерывного, беспредельного, основанного на одной любви.

Так перешли мы в новый год; что бы ни ждало нас в нем, я склоняю голову и говорю за нас обо-

их: да будет твоя воля!

Мы встречали новый год дома, уединенно; только А. Л. Витберг был у нас. Недоставало маленького Александра в кружке нашем; малютка покоился безмятежным сном, для него еще не существует ни прошедшего, ни будущего. Спи, мой ангел, беззаботно, я молюсь о тебе — и о *тебе*, дитя мое, еще не родившееся, но которого я уже люблю всей любовью матери, твое движение, твой трепет так много говорят моему сердцу. Да будет твое пришествие в мир радостно и благословенно!»

Но благословение матери не сбылось: младенец был казнен Николаем. Мертвящая рука русского самодержца замешалась и тут — и тут задушила!

Смерть малютки не прошла ей даром.

С грустью и взошедшей внутрь злобой переехали мы в Новгород.

Правда того времени так, как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения лучами, проходящими через ряды других событий, сохранилась в записной книге того времени. Я собирался писать журнал, начинал много раз и никогда не продолжал.

В день моего рождения в Новгороде Natalie подарила мне белую книгу, в которой я иногда писал, что было на сердце или в голове.

Книга эта уцелела. На первом листе Natalie написала: «Да будут все страницы этой книги и всей твоей жизни светлы и радостны!»

А через три года она прибавила на ее последнем листе:

«В 1842 я желала, чтоб все страницы твоего дневника были светлы и безмятежны; прошло три года с тех пор, и, оглянувшись назад, я не жалею, что желание мое не исполнилось, — и наслаждение и страдание необходимо для полной жизни, а успокоение ты найдешь в моей любви к тебе, — в любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя.

Мир прошедшему и благословение грядущему! *25 марта 1845, Москва».*

Вот что там записано 4 апреля 1842 года:

«Господи, какая невыносимая тоска! Слабость ли это или мое законное право? Неужели мне считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаружения держать под спудом, пока потребности заглохнут, и тогда начать пустую жизнь? Можно было бы жить с единой целью внутреннего образования,

но середь кабинетных занятий является та же ужасная тоска. Я должен обнаруживаться, — ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищит сверчок… и еще годы надобно таскать эту тяжесть!»

И, будто сам испугавшись, я выписал вслед за тем стихи Гёте:

Cut verloren – etwas verloren!
Ehre verloren – viel verloren!
Mußt Ruhm gewinnen,
Da werden die Leute sich anders besinnen.
Mut verloren – alles verloren!
Da wär'es besser nicht geboren[280].

И потом:

«…Мои плечи ломятся, но еще несут!»

«…Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наши страдания — почки, из которых разовьется их счастие. Поймут ли они, отчего мы лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее? Отчего руки не подымают-

[280] Сноски: 280

Потерять имущество — потерять *немного*! Потерять честь — потерять *много*! Но завоюешь славу — и люди изменят свои мнения. Потерять мужество — *все* потерять! Тогда уж лучше было не родиться (*нем.*).

ся на большой труд, отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. Пусть же они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем: мы заслужили их грусть!»

«…Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь, — и как бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писал к Дубельту (просил его, чтоб он выхлопотал мне право переехать в Москву). Написавши такое письмо, я делаюсь болен, on se sent fletri[281]. Вероятно, это чувство, которое испытывают публичные женщины, продаваясь первые раза за деньги…»

И вот эту-то досаду, этот строптивый крик нетерпения, эту тоску по *свободной деятельности*, чувство цепей на ногах — Natalie приняла иначе.

Часто заставал я ее у кроватки Саши с заплаканными глазами; она уверяла меня, что все это от расстроенных нерв, что лучше этого не замечать, не спрашивать… я верил ей.

Раз воротился я домой поздно вечером; она была уже в постеле, я взошел в спальную. На сердце у меня было скверно. Ф<илиппович> пригласил меня к себе, чтоб сообщить мне свое подозре-

---

[281] Сноски: 281
чувствуешь себя запятнанным (*фр.*).

ние на одного из наших общих знакомых, что он в сношениях с полицией. Такого рода вещи обыкновенно щемят душу не столько возможной опасностью, сколько чувством нравственного отвращения.

Я ходил молча по комнате, перебирая слышанное мною, вдруг мне показалось, что Natalie плачет; я взял ее платок — он был совершенно взмочен слезами.

— Что с тобой? — спросил я, испуганный и потрясенный.

Она взяла мою руку и голосом, полным слез, сказала мне:

— Друг мой, я скажу тебе правду; может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебе скучно — я понимаю это, я оправдываю тебя, но мне больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуешь бедность твоей жизни — и в самом деле, что я могу сделать для тебя?

Я был похож на человека, которого вдруг разбудили середь ночи и сообщили ему, прежде чем он совсем проснулся, что-то страшное: он уже испуган, дрожит, но еще не понимает, в чем

дело. Я был так вполне покоен, так уверен в нашей полной, глубокой любви, что и не говорил об этом, это было великое *подразумеваемое* всей жизни нашей; покойное сознание, беспредельная уверенность, исключающая сомнение, даже неуверенность в себе — составляли основную стихию моего личного счастья. Покой, отдохновение, художественная сторона жизни — все это было как перед нашей встречей на кладбище 9 мая 1838, как в начале владимирской жизни — в ней, в ней и в ней!

Мое глубокое огорчение, мое удивление сначала рассеяли эти тучи, но через месяц, через два они стали возвращаться. Я успокоивал ее, утешал, она сама улыбалась над черными призраками, и снова солнце освещало наш уголок; но только что я забывал их, они опять подымали голову, совершенно ничем не вызванные, и, когда они проходили, я вперед боялся их возвращения.

Таково было расположение духа, в котором мы, в июле 1842 года, переехали в Москву.

Московская жизнь, сначала слишком рассеянная, не могла благотворно действовать, ни успокоить. Я не только не помог ей в это время, а, напротив, дал повод развиться сильнее и глубже всем Grübelei…

Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше — вера ее в меня поколебалась, идол был разрушен.

Это был кризис, болезненный переход из юности в совершеннолетие. Она не могла сладить с мыслями, точившими ее, она была больна, худела, — испуганный, упрекая себя, стоял я возле и видел, что той самодержавной власти, с которой я мог прежде заклинать мрачных духов, у меня нет больше, мне было больно это и бесконечно жаль ее.

Говорят, что дети растут в болезнях; в эту психическую болезнь, которая поставила ее на край чахотки, она выросла колоссально. Вместо утреннего, яркого, но косого освещения она входила этим скорбным путем в светлый полдень. Организм вынес — это только и было нужно. Не утрачивая ни одной йоты женственности, она мыслью развилась с необычайной смелостью и глубиной. Тихо и с самоотверженной улыбкой склонялась она перед неотвратимым, без романтического ропота, без личной строптивости и без кичливого удовольствия, с другой стороны.

Не в книге и книгой освободилась она, а ясновидением и жизнью. Неважные испытания, горькие столкновения, которые для многих про-

шли бы бесследно, провели сильные бразды в ее душе и были достаточным поводом внутренней глубокой работы. Довольно было легкого намека, чтоб от последствия к последствию она доходила до того безбоязненного пониманья истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно расставалась с своим иконостасом, в котором стояло так много заветных святынь, облитых слезами печали и радости; она покидала их, не краснея, как краснеют большие девочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась от них, она их уступила с болью, зная, что она станет от этого беднее, беззащитнее, что кроткий свет мерцающих лампад заменится серым рассветом, что она дружится с суровыми, равнодушными силами, глухими к лепету молитвы, глухими к загробным упованиям. Она тихо отняла их от груди, как умершее дитя, и тихо опустила их в гроб, уважая в них прошлую жизнь, поэзию, данную ими, их утешения в иные минуты. Она и после не любила холодно касаться до них, так, как мы минуем без нужды ступать на земляную насыпь могилы.

При этой сильной внутренней работе, при этой ломке и перестройке всех убеждений явилась естественная потребность отдыха и одиночества.

Мы уехали в подмосковную моего отца.

И как только мы очутились одни, окруженные деревьями и полями, мы широко вздохнули и опять светло взглянули на жизнь. Мы жили в деревне до поздней осени. Изредка приезжали гости из Москвы, К<етчер> гостил с месяц, все друзья явились к 26 августа; потом опять тишина, тишина, и лес, и поля — и никого, кроме нас.

Уединенное Покровское, потерянное в огромных лесных дачах, имело совершенно другой характер, гораздо больше серьезный, чем весело брошенное на берегу Москвы-реки Васильевское с своими деревнями. Разница эта даже была заметна между крестьянами. Покровские мужички, задвинутые лесами, меньше васильевских походили на подмосковенных, несмотря на то что жили двадцатью верстами ближе к Москве. Они были тише, проще и чрезвычайно тесно сжились между собой. Мой отец переселил в Покровское одну богатую крестьянскую семью из Васильевского, но они никогда не считали эту семью за принадлежащую к их селу и называли их «посельщиками».

С Покровским я тоже был тесно соединен всем детством; там я бывал даже таким ребенком, что и не помню, а потом с 1821 года почти всякое

лето, отправляясь в Васильевское или из Васильевского, мы заезжали туда на несколько дней. Там жил старик Кашенцов, разбитый параличом, в опале с 1813 года, и мечтал увидеть своего барина с кавалериями и регалиями; там жил и умер потом, в холеру 1831, почтенный, седой староста с брюшком, Василий Яковлев, которого я помнил во все свои возрасты и во все цвета его бороды, сперва темно-русой, потом совершенно седой; там был молочный брат мой Никифор, гордившийся тем, что для меня отняли молоко его матери, умершей впоследствии в доме умалишенных…

Небольшое село из каких-нибудь двадцати или двадцати пяти дворов стояло в некотором расстоянии от довольно большого господского дома. С одной стороны был расчищенный и обнесенный решеткой полукруглый луг, с другой — вид на запруженную речку для предполагаемой лет за пятнадцать тому назад мельницы и на покосившуюся, ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лет пятнадцать, Сенатор и мой отец, владевшие этим именьем сообща.

Дом, построенный Сенатором, был очень хорош: высокие комнаты, большие окна и с обеих

сторон сени вроде террас. Он был построен из отборных толстых бревен, ничем не покрытых ни снаружи, ни внутри, и только проконопаченных паклей и мохом. Стены эти пахли смолой, выступавшей там-сям янтарным потом. Перед домом за небольшим полем начинался темный, строевой лес, через него шел просек в Звенигород; по другую сторону тянулась селом и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, выходившей через майковскую фабрику на Можайку. Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей… и запах… этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами… которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил. Иногда будто пахнёт им, после скошенного сена, при широкко, перед грозой… и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку; на траве трехлетний мальчик, валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!

Солнце село, еще очень тепло, домой идти

не хочется, мы сидим на траве. К<етчер> разбирает грибы и бранится со мной без причины. Что это, будто колокольчик? К нам, что ли? Сегодня суббота — может быть.

— Исправник едет куда-нибудь, — говорит К<етчер>, подозревая, что это не он.

Тройка катит селом, стучит по мосту, ушла за пригорок, тут одна дорога и есть — к нам. Пока мы бежим навстречу, тройка у подъезда; Михаил Семенович, как лавина, уже скатился с нее, смеется, целуется и морит со смеха, в то время как Белинский, проклиная даль Покровского, устройство русских телег, русских дорог, еще слезает, расправляя поясницу. А К<етчер> уже бранит их:

— Да что вас эта нелегкая принесла в восемь часов вечера, не могли раньше ехать! Все привередник Белинский — не может рано встать. Вы что смотрели!

— Да он еще больше одичал у тебя, — говорит Белинский, — да и волосы какие отрастил! Ты, К<етчер>, мог бы в «Макбете» представлять подвижной лес. Погоди, не истощай всего запаса ругательств, есть злодеи, которые позже нашего приезжают.

Другая тройка уже загибает на двор: Гранов-

ский, Е. К<орш>.

— Надолго ли вы?

— На два дни.

— Превосходно! — И сам К<етчер> рад до того, что встречает их почти так, как Тарас Бульба своих сыновей.

Да, это была одна из светлых эпох нашей жизни, от прошлых бурь едва оставались исчезавшие облака; дома, в кругу друзей, была полная гармония!

А чуть было нелепая случайность не перепортила все.

Как-то вечером Матвей, при нас показывая Саше что-то на плотине, поскользнулся и упал в воду с мелкой стороны. Саша перепугался, бросился к нему; когда он вышел, вцепился в него ручонками и повторял сквозь слезы:

— Не ходи, не ходи, ты утонешь!

Никто не думал, что эта детская ласка будет для Матвея последняя и что в словах Саши заключалось для него страшное пророчество.

Измокший и замаравшийся Матвей пошел спать, — и мы больше не видали его.

На другое утро я стоял на балконе часов в семь; послышались какие-то голоса, больше и больше, нестройные крики, и вслед за тем показались

мужики, бежавшие стремглав.

— Что у вас там?

— Да беда, — отвечали они, — человек-то ваш, никак, тонет… одного вовремя вытащили, а другого не могут сыскать.

Я бросился к реке. Староста был налицо и распоряжался без сапог и с засученными портками; двое мужиков с комяги забрасывали невод. Минут через пять они закричали:

— Нашли, нашли! — и вытащили на берег мертвое тело Матвея.

Цветущий юноша этот, красивый, краснощекий, лежал с открытыми глазами, без выражения жизни, и уж нижняя часть лица начала вздуваться. Староста положил тело на берегу, строго наказал мужикам не дотрогиваться, набросил на него армяк, поставил караульного и послал за земской полицией…

Когда я возвратился домой, я встретился с Natalie; она уже знала, что случилось, и, рыдая, бросилась ко мне.

Жаль, очень жаль нам было Матвея. Матвей в нашей небольшой семье играл такую близкую роль, был так тесно связан со всеми главными событиями ее последних пяти лет и так искренно любил нас, что потеря его не могла легко

пройти.

«Может, — писал я тогда, — для него смерть — благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего. Он развился под моим влиянием, но слишком поспешно, его развитие мучило его своей неравномерностью».

Печальная сторона в судьбе Матвея состояла именно в разрыве, который неосторожное развитие внесло в его жизнь и в немогуте наполнить его, в отсутствии твердой воли одолеть им. Благородные чувства и нежное сердце в нем были сильнее ума и характера. Он быстро, *по-женски,* почуял многое, особенно из нашего воззрения; но смиренно возвратиться к началам, к азбуке и выполнить учением пустоты и пробелы он не был в состоянии. Звания своего он не любил, да и не мог любить. Общественное неравенство нигде не является с таким унижающим, оскорбительным характером, как в отношении между барином и слугой. Ротшильд на улице гораздо ровнее с нищим, который стоит с метлой и разметает перед ним грязь, чем с своим камердинером в шелковых чулках и белых перчатках.

Жалобы на слуг, которые мы слышим ежедневно, так же справедливы, как жалобы слуг

на господ, и это не потому, чтоб те и другие сделались хуже, а потому, что их отношение больше и больше приходит в сознание. Оно удручительно для слуги и развращает барина.

Мы так привыкли к нашему аристократическому отношению к прислуге, что вовсе его не замечаем. Сколько есть на свете барышень добрых и чувствительных, готовых плакать о зябнущем щенке, отдать нищему последние деньги, готовых ехать в трескучий мороз на томболу[282] в пользу разоренных в Сирии, на концерт, дающийся для погорелых в Абиссинии, и которые, прося маменьку еще остаться на кадриль, ни разу не подумали о том, как малютка-форейтор мерзнет на ночном морозе, сидя верхом с застывающей кровью в жилах.

Гнусно отношение господ с слугами. Работник по крайней мере знает свою работу, он что-нибудь делает, он что-нибудь может сделать поскорее, и тогда он прав; наконец, он может мечтать, что сам будет хозяином. Слуга не может кончить своей работы: он в беличьем колесе; жизнь сорит, сорит беспрестанно, слуга беспрестанно подчищает за ней. Он *должен* взять на себя все

---

[282] Сноски: 282
лотерею (*ит.* tombola).

мелкие неудобства жизни, все грязные, все скучные ее стороны. На него надевают ливрею, чтоб показать, что он *не сам, а чей-то.* Он ухаживает за человеком вдвое больше здоровым, чем он сам, он должен ступать в грязь, чтоб тот сухо прошел, он должен мерзнуть, чтоб тому было тепло.

Ротшильд не делает нищего ирландца свидетелем своего лукулловского обеда, он его не посылает наливать двадцати человекам Clos de Vougeot[283] с подразумеваемым замечанием, что если он нальет себе, то его прогонят как вора. Наконец, ирландец тем уже счастливее комнатного раба, что он не знает, какие есть мягкие кровати и пахучие вины.

Матвею было лет пятнадцать, когда он перешел ко мне от Зонненберга. С ним я жил в ссылке, с ним во Владимире; он нам служил в то время, когда мы были без денег. Он, как нянька, ходил за Сашей; наконец, он имел ко мне безграничное доверие и слепую преданность, которые шли из пониманья, что *я не в самом деле барин.* Его отношение ко мне больше походило на то, которое встарь бывало между учениками ита-

---

[283] Сноски: 283
марка вина (*фр.*).

льянских художников и их maestri[284]. Я часто был им недоволен, но вовсе не как слугой... Я печально смотрел на его будущность. Чувствуя тягость своего положения, страдая об этом, он ничего не делал, чтоб выйти из него. В его лета, если б он хотел заниматься, он мог бы начать новую жизнь; но для этого-то и надобен был постоянный, настойчивый труд, часто скучный, часто детский. Его чтение ограничивалось романами и стихами; он их понимал, ценил, иногда очень верно, но серьезные книги его утомляли. Он медленно и плохо считал, дурно и нечетко писал. Сколько я ни настаивал, чтоб он занялся арифметикой и чистописанием, не мог дойти до этого: вместо русской грамматики он брался то за французскую азбуку, то за немецкие диалоги; разумеется, это было потерянное время и только обескураживало его. Я его сильно бранил за это, он огорчался, иногда плакал, говорил, что он несчастный человек, что ему учиться поздно, и доходил иногда до такого отчаяния, что желал умереть, бросал все занятия и недели, месяцы проводил в скуке и праздности.

С посредственными способностями без боль-

---

[284] Сноски: 284
учителями (*ит.*).

шого размаха можно было бы еще сладить. Но, по несчастию, у этих психически тонко развитых, но мягких натур большею частию сила тратится на то, чтоб ринуться вперед, а на то, чтоб продолжать путь, ее и нет. Издали образование, развитие представляются им с своей поэтической стороны, ее-то они и хотели бы захватить, забывая, что им недостает всей технической части дела — doigté[285], без которого инструмент все-таки не покоряется.

Часто спрашивал я себя, не ядовитый ли дар для него его полуразвитие? Что-то ждет его в будущем?

Судьба разрубила гордиев узел!

Бедный Матвей! К тому же и самые похороны его были окружены, при всем подавляющем, угрюмом характере, скверной обстановкой и притом совершенно отечественной.

К полудню приехали становой и писарь; с ними явился и наш сельский священник, горький пьяница и старый старик. Они освидетельствовали *тело,* взяли допросы и сели в зале писать. Поп, ничего не писавший и ничего не читавший, надел на нос большие серебряные очки и сидел

---

[285] Сноски: 285
умения (*фр.*).

молча, вздыхая, зевая и крестя рот, потом вдруг обратился к старосте и, сделавши движение, как будто нестерпимо болит поясница, спросил его:

— А что, Савелий Гаврилович, закусочка будет?

Староста, важный мужик, произведенный Сенатором и моим отцом в старосты за то, что он был *хороший плотник*, не из той деревни (следственно, ничего в ней не знал) и был очень красив собой, несмотря на шестой десяток, — погладил свою бороду, расчесанную веером, и, так как ему до этого никакого дела не было, отвечал густым басом, посматривая на меня исподлобья:

— А уж это не могим доложить-с!

— Будет, — отвечал я и позвал человека.

— Благодарение Господу Богу, да и пора: рано встаю, Лександр Иванович, так и отощал.

Становой положил перо и, потирая руки, сказал, прихорашиваясь:

— У нас, кажись, отец-то Иоанн взалкал; дело доброе-с; коли хозяин не прогневается, можно-с.

Человек принес холодную закуску, сладкой водки, настойки и хересу.

— Благословите-ка, батюшка, яко пастырь, и покажите пример, а мы, грешные, за вами, —

заметил становой.

Поп с поспешностию и с какой-то чрезвычайно сжатой молитвой хватил винную рюмку сладкой водки, взял крошечный верешок хлеба в рот, погрыз его и в ту же минуту выпил другую и потом уже тихо и продолжительно занялся ветчиной.

Становой — и это мне особенно врезалось в память, — повторяя тоже сладкую водку, был ею доволен и, обращаясь ко мне, с видом знатока заметил:

— Полагаю-с, что доппель-кюммель[286] у вас от вдовы Руже-с?

Я не имел понятия, где покупали водку, и велел подать полуштоф; действительно, водка была от вдовы Руже. Какую практику надобно было иметь, чтоб различить *по букету* водки имя заводчика!

Когда они покончили, староста положил становому в телегу куль овса и мешок картофеля; писарь, напившийся в кухне, сел на облучок, и они уехали.

Священник пошел нетвердыми стопами домой, ковыряя в зубах какой-то щепкой. Я приказывал людям о похоронах, как вдруг отец Иоанн оста-

---

[286] Сноски: 286
тминная водка (*нем.* Doppelkümmel).

новился и замахал руками; староста побежал к нему, потом от него ко мне.

— Что случилось?

— Да батюшка велел вашу милость спросить, — отвечал староста, не скрывая улыбки, — кто, мол, поминки будет справлять по покойнике?

— Что же ты ему сказал?

— Сказал, чтоб не сумлевался, блины, мол, будут.

Матвея схоронили, блинов и водки попу дали, а все-то это оставило за собой длинную темную тень; мне же предстояло еще ужасное дело — известить его мать.

Расстаться с честным иереем храма Покрова Божией Матери в селе Покровском я никак не могу, не рассказав об нем следующее событие.

Отец Иоанн был не модный, семинарский священник, не знал греческих спряжений и латинского синтаксиса. Ему было за семьдесят лет, полжизни он провел диаконом в большом селе «Елисавет Алексиевны Голохвастовой», которая упросила митрополита рукоположить его священником и определить на открывшуюся вакансию в селе моего отца. Как он ни старался всею жизнию привыкнуть к употреблению большого количества сивухи, он не мог победить ее дей-

ствия, и поэтому он после полудня был постоянно пьян. Пил он до того, что часто со свадьбы или с крестин в соседних деревнях, принадлежавших к его приходу, крестьяне выносили его замертво, клали, как сноп, в телегу, привязывали вожжи к передку и отправляли его под единственным надзором его лошади. Клячонка, хорошо знавшая дорогу, привозила его преаккуратно домой. Матушка-попадья также пила допьяна всякий раз, когда Бог пошлет. Но замечательнее этого то, что его дочь, лет четырнадцати, могла не морщась выпивать чайную чашку пенника.

Мужики презирали его и всю его семью; они даже раз жаловались на него миром Сенатору и моему отцу, которые просили митрополита взойти в разбор. Крестьяне обвиняли его в очень больших запросах денег за требы, в том, что он не хоронил более трех дней без платы вперед, а венчать вовсе отказывался. Митрополит или консистория нашли просьбу крестьян справедливой и послали отца Иоанна на два или на три месяца толочь воду. Поп возвратился после архипастырского исправления не только вдвое пьяницей, но и вором.

Наши люди рассказывали, что раз в храмовой праздник, под хмельком, бражничая вместе с по-

пом, старик-крестьянин ему сказал: «Ну вот, мол, ты азарник какой, довел дело до высокопреосвященнейшего! Честью не хотел, так вот тебе и подрезали крылья». Обиженный поп отвечал, будто бы, на это: «Зато ведь я вас, мошенников, так и венчаю, так и хороню: что ни есть самые дрянные молитвы, их-то я вам и читаю».

Через год, т. е. в 1844, мы опять жили лето в Покровском. Седой, исхудалый поп все так же пил и так же не мог одолеть сильного действия алкоголя. По воскресеньям он повадился после обедни приходить ко мне, напиваться водкой и сидеть часа два. Мне это надоело, я не велел его принимать и даже прятался от него в лес, но он и тут нашелся:

— Барина дома нет, — говорил он, — ну, а водка-то дома, верно? Небось, не взял с собой?

Человек мой выносил ему в переднюю большую рюмку сладкой водки, и священник, выпив ее и закусив паюсной икрой, смиренно уходил восвояси.

Наконец наше знакомство рушилось окончательно.

Одним утром является ко мне дьячок, молодой долговязый малый, по-женски зачесанный, с своей молодой женой, покрытой веснушками.

Оба они были в сильном волнении, оба говорили вместе, оба прослезились и отерли слезы в одно время. Дьячок каким-то сплюснутым дискантом, супруга его, страшно картавя, рассказывали в обгонки, что на днях у них украли часы и шкатулку, в которой было рублей пятьдесят денег, что жена дьячка нашла «воя», и что этот «вой» не кто иной, как честнейший богомолец наш и во Христе отец Иоанн.

Доказательства были непреложны: жена дьячка нашла в хламе, выброшенном из священникова дома, кусок от крышки украденного ящика.

Они приступили ко мне, чтоб я защитил их. Сколько я им ни объяснял разделения властей на духовную и светскую, но дьячок не сдавался, жена его плакала; я не знал, что делать. Жаль мне его было, потерю свою он ценил в девяносто рублей. Подумав, я велел заложить телегу и послал старосту с письмом к исправнику; у него-то я спрашивал того совета, который дьячок надеялся получить от меня. К вечеру староста воротился, исправник мне на словах велел сказать: «Бросьте это дело, а то консистория вступится и наделает хлопот. Пусть, мол, барин не трогает кутьи, коли не хочет, чтоб от рук воняло». Ответ этот, и в особенности последнее замечание, Савелий

Гаврилов передавал с большим удовольствием.

— А что шкатунку украл батюшка, — прибавил он, — то это так верно, как я перед вами стою.

Я с горестью передал дьячку ответ светской власти. Староста, напротив, успокоительно говорил ему:

— Ну, что безвременно нос повесил? погоди, подведем еще; что ты — баба или дьячок?

И подвел староста с компанией.

Был ли Савелий Гаврилов раскольник или нет, я наверное не знаю, но семья крестьян, переведенная из Васильевского, когда отец мой его продал, вся состояла из старообрядцев. Люди трезвые, смышленые и работящие, они все ненавидели попа. Один из них, которого мужики называли лабазником, имел на Неглинной в Москве свою лавку. История украденных часов тотчас дошла до него; наводя справки, лабазник узнал, что дьякон без места, зять покровского попа, предлагал кому-то купить или отдать под заклад часы, что часы эти у менялы; лабазник знал часы дьячка, он к меняле — как раз часы те самые. На радостях он не пожалел лошади и приехал сам с вестию в Покровское.

Тогда, с полными доказательствами в руках, дьячок отправился к благочинному. Дни через

три я узнал, что поп заплатил дьячку сто рублей и они помирились.

— Как же это было? — спросил я дьячка.

— Благочинный соизволил, как изволили слышать, нашего Ирода выписывать к себе-с. Долго держали их-с, и уже что было, не знаю-с. Только потом изволили меня потребовать и строго сказали мне: «Что у вас там за дрязги? Стыдно, молодой человек, мало ли что под хмельком случится; старик, видишь, старый, в отцы тебе годится. Он тебе сто рублёв на мировую дает. Доволен ли» — «Доволен, — говорю я, мол, — ваше высокоблагословение». — «Ну, а доволен, так хайло-то держи, нечего в колокола звонить, все же ему за семьдесят лет; а не то, смотри, самого в бараний рог сверну».

И этот пьяный вор, уличенный лабазником, снова явился священнодействовать при том же старосте, который так утвердительно говорил мне, что он украл «шкатунку», с тем же дьячком на крылосе, у которого теперь паки и паки в кармане измеряли скудельное время знаменитые часы, и — при тех же крестьянах!

Случилось это в 1844 году в пятидесяти верстах от Москвы, и я был всего этого свидетелем!

Что же тут удивительного, если на призыв

отца Иоанна дух святой, как в песне Беранже, не сойдет?

> Non, dit l'Esprit Saint, je ne descends pas![287]

Как же его не прогнали?

Муж церкви, скажут нам мудрые православия, не может быть подозреваем, как и Цезарева жена!

Глава XXIX
Наши
I

Московский круг. – Застольная беседа. – Западники (Боткин, Редкин, Крюков, Е. К<орш>).

Поездкой в Покровское и тихим летом, проведенным там, начинается та изящная, возмужалая и деятельная полоса нашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъезда.

Судорожно натянутые нервы в Петербурге

---

[287] Сноски: 287
Нет, сказал Святой дух, я не сойду! (*фр.*)

и Новгороде — отдали, внутренние непогоды улеглись. Мучительные разборы нас самих и друг друга, эти ненужные разбереживания словами недавних ран, эти беспрерывные возвращения к одним и тем же наболевшим предметам миновали; а потрясенная вера в нашу непогрешительность придавала больше серьезный и истинный характер нашей жизни. Моя статья «По поводу одной драмы» была заключительном словом прожитой болезни.

С внешней стороны теснил только полицейский надзор; не могу сказать, чтоб он был очень докучлив, но неприятное чувство дамокловой трости, занесенной рукой квартального, очень противно.

Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский — ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала в этой личности. Со многими я был согласнее в мнениях, но с ним я был ближе — там где-то, в глубине души.

Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто — занимая кафедры

в университете, кто — участвуя в обозрениях и журналах, кто — изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.

Мы были уж очень не дети; в 1842 году мне стукнуло тридцать лет; мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь с тем успокоенным, ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарелись, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке.

Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонно-

стью. Он всегда доволен собой, его suffisance[288] нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде.

Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном состоянии — *он линяет.* Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменила его, каждая оставила след и сбила понятия, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство несовместно с нашим характером — и слава Богу!

Распущенность ли наша, недостаток ли нравственной оседлости, определенной деятельности, юность ли в деле образования, аристократизм ли воспитания, но мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой — гораздо проще западных людей: не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не так на Западе.

---

[288] Сноски: 288
самонадеянность (*фр.*).

С людьми самыми симпатичными как раз здесь договоришься до таких противуречий, где уж ничего нет общего и где убедить невозможно. В этой упрямой упорности и непроизвольном непонимании так и стучишь головой о предел мира завершенного.

Наши теоретические несогласия, совсем напротив, вносили более жизненный интерес, потребность деятельного обмена, держали ум бодрее, двигали вперед; мы росли в этом трении друг об друга и в самом деле были сильнее тою composite[289] артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде.

С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного, поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз!..

Наш небольшой кружок собирался часто, то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в

---

[289] Сноски: 289
Здесь: сплоченностью (*фр.*).

одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.

Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки.

Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю более, чем с любовью, — чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбарана, мы не плакали о грехах мира сего — мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы *кой на что,* не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен.

Ты прав, мой друг, ты прав…

Да, ты прав, Боткин — и гораздо больше Платона, — ты, поучавший некогда нас не в садах и портиках (у нас слишком холодно без крыши), а за дружеской трапезой, что человек равно может найти «пантеистическое» наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым словам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку.

Недаром покидал ты твою Маросейку, ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавных, высочайших икр, soberana pantorilla!

Ведь вот и Р<едкин> был в Испании, но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для «юридыческих» комментарий к Пухте и Савиньи, вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барцелоне (окончившееся совершенно тем же, чем всякая качуча, т. е. ничем) и так много рассказывал об нем, что куратор Строгонов, качая головой, стал посматривать на ею больную ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что «радыкальный юрист» зашиб себе ногу,

свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую.

— Что за неуважение к науке! Ты, братец, знаешь, что я таких шуток не люблю, — говорят строго Р<едкин> и вовсе не сердится.

— Это ввв-сё мо-о-жет быть, — замечает, заикаясь, Е. К<орш>, — но отчего же ты себя до того идентифировал[290] с наукой, что нельзя шутить над тобой, не обижая ее?

— Ну, пошло, теперь не кончится, — прибавляет Р<едкин> и принимается с настойчивостью человека, прочитавшего всего Роттека, за суп, осыпаемый слегка остротами Крюкова — с изящной античной отделкой по классическим образцам.

Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на осетрину; *ее объясняет* сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем Агассис кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не из боку в бок, а склоняясь; один К<етчер>, равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом.

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду

---

[290] Сноски: 290
отождествил (*фр.* identifier).

продолжать их; они почти невольно сорвались с пера, когда мне представились наши московские обеды; на минуту я забыл и невозможность записывать шутки и то, что очерки эти живы только для меня да для немногих, очень немногих оставшихся. Мне бывает страшно, когда я считаю, — давно ли перед всеми было так много, так много дороги!..

…И вот перед моими глазами встают наши Лазари, — но не с облаком смерти, а моложе, полные сил. Один из них угас, как Станкевич, вдали от родины — И. П. Галахов.

Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. К<орш>а остроты и шутки искрились, как шипучее вино, от избытка сил. Юмор Галахова не имел ничего светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждущего выйти на покой, на гармонию — но без большой надежды.

Воспитанный аристократически, Галахов очень рано попал в Измайловский полк и так же рано оставил его и тогда уже принялся себя воспитывать в самом деле. Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпеливостью хотел выну-

дить *истину*, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни. Он не обращал внимания, так, как это делает большая часть французов, на то, что *истина* только дается методе, да и то остается неотъемлемой от нее; истина же как результат — битая фраза, общее место. Галахов искал не с скромным самоотвержением, что бы ни нашлось, а искал именно истины успокоительной, оттого и не удивительно, что *она* ускользала от его капризного преследования. Он досадовал и сердился. Людям этого слоя не живется в отрицании, в разборе, им анатомия противна, они ищут готового, целого, созидающего. Что же Галахову мог дать наш век, и притом в николаевское царствование?

Он всюду бросался; постучался даже в католическую церковь, но живая душа его отпрянула от мрачного полусвета, от сырого, могильного, тюремного запаха ее безотрадных склепов. Оставив старый католицизм иезуитов и новый — Бюше, он принялся было за философию; ее холодные, неприветные сени отстращали его, и он на несколько лет остановился на фурьеризме.

Готовая организация, обязательный строй и долею казарменный порядок фаланстера, ес-

ли не находят сочувствия в людях критики, то, без сомнения, сильно привлекают тех усталых людей, которые просят почти со слезами, чтоб истина, как кормилица, взяла их на руки и убаюкала. Фурьеризм имел определенную цель: труд, и труд сообща. Люди вообще готовы очень часто отказаться от собственной воли, чтоб прервать колебания и нерешительность. Это повторяется в самых обыкновенных, ежедневных случаях. «Хотите вы сегодня в театр или за город?» — «Как вы хотите», — отвечает другой, и оба не знают, что делать, ожидая с нетерпением, чтоб какое-нибудь обстоятельство решило за них, куда идти и куда нет. На этом основании развилась в Америке кабетовская обитель, коммунистический скит, ставропигиальная, икарийская лавра. Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились, наконец, из сил, сомнения начали одолевать ими; испугавшись их, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку и подчинению, которое конечно не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев.

Галахов был слишком развит и независим, чтоб совсем исчезнуть в фурьеризме, но на несколь-

ко лет он его увлек. Когда я с ним встретился в 1847 в Париже, он к фаланге питал скорее ту нежность, которую мы имеем к школе, в которой долго жили, к дому, в котором провели несколько спокойных лет, чем ту, которую верующие имеют к церкви.

В Париже Галахов был еще оригинальнее и милее, чем в Москве. Его аристократическая натура, его благородные, рыцарские понятия были оскорбляемы на каждом шагу; он смотрел с тем отвращением, с которым гадливые люди смотрят на что-нибудь сальное — на мещанство, окружавшее его там. Ни французы, ни немцы его не надули, и он смотрел несколько свысока на многих из тогдашних героев, чрезвычайно просто указывая их мелочную ничтожность, денежные виды и наглое самолюбие. В его пренебрежении к этим людям проявлялось даже национальное высокомерие, совершенно чуждое ему. Говоря, например, об одном человеке, который ему очень не нравился, он сжал в одном слове «немец!» выражением, улыбкой и прищуриванием глаз целую биографию, целую физиологию, целый ряд мелких, грубых, неуклюжих недостатков, специально принадлежащих германскому племени.

Как все нервные люди, Галахов был очень неровен, иногда молчалив, задумчив, но par saccades[291] говорил много, с жаром, увлекал вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морил со смеху неожиданной капризностью формы и резкой верностью картин, которые делал в два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передам, как сумею, один из его рассказов, и то в небольшом отрывке. Речь как-то шла в Париже о том неприятном чувстве, с которым мы переезжаем нашу границу. Галахов стал нам рассказывать, как он ездил в последний раз в свое именье, — это был chef-d'œuvre.

«…Подъезжаю к границе; дождь, слякоть, через дорогу бревно, выкрашенное черной и белой краской; ждем, не пропускают. Смотрю, с той стороны наезжает на нас казак с пикой, верхом.

— Пожалуйте паспорт.

Я ему отдал и говорю:

— Я, братец, с тобой пойду в караульню, здесь очень дождь мочит.

— Никак нельзя-с.

— Отчего?

---

[291] Сноски: 291
временами (*фр.*).

— Извольте обождать.

Я повернул в австрийскую кордегардию — не тут-то было: очутился, как из-под земли, другой казак с китайской рожей.

— Никак нельзя-с!

— Что случилось?

— Извольте обождать! — А дождь все сечет, сечет… Вдруг из караульни кричит унтер-офицер: «Подвысь!» Цепи загремели, и полосатая гильотина стала подыматься; мы подъехали под нее, цепи опять загремели, и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! В караульне какой-то кантонист прописывает паспорт.

— Это вы сами и есть? — спрашивает; я ему тотчас — цванцигер[292].

Тут взошел унтер-офицер; тот ничего не говорит, ну, а я поскорее и ему — цванцигер.

— Все в исправности, извольте отправляться в таможню.

Я сел, еду… только все кажется — за нами погоня. Оглядываюсь — казак с пикой трях-трях…

— Что ты, братец?

— В таможню ваше благородие конвоирую.

На таможне чиновник в очках книжки осмат-

---

[292] Сноски: 292

Здесь: двадцать крейцеров (*нем.* Zwanziger).

ривает. Я ему — талер и говорю:

— Не беспокойтесь, это все такие книги, ученые, медицинские!

— Помилуйте, что это-с! Эй, сторож, запирай чемодан!

Я — опять цванцигер.

Выпустили, наконец; я нанял тройку, едем бесконечными полями; вдруг зарделось что-то, больше да больше… зарево.

— Смотри-ка, — говорю я ямщику, — а? несчастие.

— Ничего-с, — отвечает он, — должно быть, избенка какая или овин какой горит; ну, ну, пошевеливай, знай!

Часа через два с другой стороны красное небо, — я уж и не спрашиваю, успокоенный тем, что это избенка или овинишко горит.

…В Москву я из деревни приехал в Великий пост; снег почти сошел, полозья режут по камням, фонари тускло отсвечиваются в темных лужах, и пристяжная бросает прямо в лицо мороженую грязь огромными кусками. А ведь престранное дело: в Москве только что весна установится, дней пять пройдут сухих, и, вместо грязи, какие-то облака пыли летят в глаза, першит, и полицмейстер, стоя озабоченно на дрожках, показывает

с неудовольствием на пыль, а полицейские суетятся и посыпают каким-то толченым кирпичом от *пыли*!»

Иван Павлович был чрезвычайно рассеян, и его рассеянность была таким же милым недостатком в нем, как заикание у Е. К<орша>; иногда он немного сердился, но большей частию сам смеялся над оригинальными ошибками, в которые он беспрестанно попадал. Х<оврина> звала его раз на вечер, Галахов поехал с нами слушать «Линду ди-Шамуни»; после оперы он заехал к Шевалье и, просидев там часа полтора, поехал домой, переоделся и отправился к Х<овриной>. В передней горела свеча, валялись какие-то пожитки. Он в залу — никого нет; он в гостиную — там застал он мужа Х<овриной> в дорожном платье, только что приехавшего из Пензы. Тот смотрит на него с удивлением. Галахов осведомляется о пути и спокойно садится в креслы. Х<оврин> говорит, что дороги скверны и что он очень устал.

— А где же Марья Дмитриевна? — спрашивает Галахов.

— Давно спит.

— Как спит? Да разве так поздно? — спрашивает он, начиная догадываться.

— Четыре часа! — отвечает <Ховрин>.

— Четыре часа! — повторяет Галахов. — Извините, я только хотел вас поздравить с приездом.

Другой раз, у них же, он приехал на званый вечер; все были во фраках, и дамы одеты. Галахова не звали или он забыл, но он явился в пальто[293]; посидел, взял свечу, закурил сигару, говорил, никак не замечая ни гостей, ни костюмов. Часа через два он меня спросил:

— Ты куда-нибудь едешь?

— Нет.

— Да ты во фраке?

Я расхохотался.

— Фу, вздор какой! — пробормотал Галахов, схватил шляпу и уехал.

Когда моему сыну было лет пять, Галахов привез ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростом. Куклу эту Галахов сам усадил за столом и ждал действия сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свечи, но вдруг он остановился, постоял, постоял, покраснел и с ревом бросился назад.

— Что с тобой, что с тобой? — спрашивали

---

[293] Сноски: 293
сюртуке (*фр.* paletot).

мы все.

Заливаясь горькими слезами, он только повторял:

— Там чужой мальчик, его не надо, его не надо!

В кукле Галахова он увидел какого-то соперника, alter ego[294] и сильно огорчился этим; но сильнее его огорчился сам Галахов; он схватил несчастную куклу, уехал домой и долго не любил говорить об этом.

В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову, он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки.

С его могилы перехожу на другую, больше до-

---

[294] Сноски: 294
другое я (*лат.*).

рогую и больше свежую.

II

На могиле друга.

Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.

...В 1840 году, бывши проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготовлялся занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы — все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой.

Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года, когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвратился на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко.

Грановский был одарен удивительным *тактом* сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорится с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых *строй* некоторых, едва слышных струн не по одному камертону.

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был меж-

ду нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтиться. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга.

К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства, ценсура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова, — в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь», — думал каждый и свободнее дышал.

А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова

его действовали, но и его молчание; мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений от 1848 года до смерти Николая сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочетавалась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили.

Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации — не тех бурных, грозных, которые в «гневе своем чувствуют вполне свою жизнь», как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и действительно Грановский по всему

строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр.

Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его; длинную, светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие, восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию.

Развитие Грановского не было похоже на наше. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать «по подряду» журнальные статьи. Он и друг его Е. К<орш>, с которым он встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовестный труд их в шипучее цимлянское «Библиотеки для чте-

ния».

Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем, это — важнейшее событие всей его юности.

Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах… и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывного родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга; для деятельной любви различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку.

В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мыш-

лению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история — не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением? Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду. А Станкевич привил ему поэтически и даром не только воззрение современной науки, но и ее прием.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измеряют труд мысли, усомнятся в этом… Ну, а как же, спросим мы их, Прудон и Белинский? Неужели они не лучше поняли хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин? А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его *левых и правых* последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками.

Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос его существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бывает в юности.

Года через два они расстались. Грановский поехал в Москву занимать свою кафедру, Станкевич — в Италию лечиться от чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановского. Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника; я редко видел более подавляющую, тихую, молчащую грусть.

Это было вскоре после его женитьбы. Гармония, окружавшая плавно и покойно его новый быт, подернулась траурным крепом. Следы этого удара долго не проходили; не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней сохранился тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами, и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые

и сильные, поздно просыпаются и долго не могут прийти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу.

Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитора.

Они мне казались братом и сестрой, тем больше что у них не было детей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине… В эти-то потерянные часы и ими люди срастаются так неразрывно и безвозвратно.

Страшно мне и больно думать, что впослед-

ствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановским и Огаревым, которые пламенно, глубоко любили друг друга, протеснилась, сверх теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидим, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споров наших, их сам Грановский окончил; он заключил следующими словами письмо ко мне из Москвы в Женеву 25 августа 1849 года. С благочестием и гордостию повторяю я их:

«На дружбу мою к вам двум (т. е. к Огареву и ко мне) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреп-

лены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из *худшей стороны* самого себя. *Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа.* Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего “Крупова”? Оно написано в памятную мне ночь. С души сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мной во всей ясности своей, и я протянул тебе руку в Париже так же легко и любовно, как протягивал в лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Не талант твой только подействовал на меня так сильно. От этой пьесы мне повеяло всем тобой. Когда-то ты оскорблял меня, говоря: «Не полагай ничего на личное, верь в одно общее», а я всегда клал много на личное. Но личное и общее слилось для меня в тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя».

Пусть же эти строки вспомнятся при чтении моего рассказа о наших размолвках…

В конце 1843 года я печатал мои статьи о «Дилетантизме в науке», успех их был для Грановского источником детской радости. Он ездил с «Отече-

ственными записками» из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились. Вслед за тем пришлось и мне видеть успех Грановского, да и не такой. Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.

— Лекции Грановского, — сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, — *имеют историческое значение.*

Я совершенно с ним согласен. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свиданья, встречи beau mond'a[295]. Для этого он не нарядил истории в кружева и блонды, совсем напротив — его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций à la française[296], ставящих огромные точки на крошечные *i* вроде нравоучений после басни.

---

[295] Сноски: 295
высшего света (*фр.*).

[296] Сноски: 296
во французском духе (*фр.*).

Излагая события, художественно группируя их, он говорил *ими* так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию.

Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, — все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросились к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавших сквозь слезы «браво! браво!». Выйти не было возможности; Грановский, бледный, как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице — в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался, измученный, в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета — и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы молча заплакали.

...Такие слезы текли по моим щекам, когда герой Чичероваккио в Колизее, освещенном последними лучами заходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся народу *римскому* отрока-сына за несколько месяцев перед тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными палачами венчанного мальчишки!

Да, это были дорогие слезы: одними я верил в Россию, другими — в революцию!

Где революция? Где Грановский? Там, где и отрок с черными кудрями и широкоплечий popolano[297], и другие близкие, близкие нам. Осталась еще вера в Россию. Неужели и от нее придется отвыкать?

И зачем тупая случайность унесла Грановского, этого благородного деятеля, этого глубоко настрадавшегося человека, в самом начале какого-то другого времени для России, еще неясного, но все-таки другого; зачем не дала она ему подышать новым воздухом, которым повеяло у нас и который не так крепко пахнет застенком и казармами!

Грубо поразила меня весть о его смерти. Я шел в Ричмонде на железную дорогу, когда мне по-

---

[297] Сноски: 297
простолюдин (*ит.*).

дали письмо. Я прочитал его идучи и истинно — сразу не понял. Я сел в вагон, письма не хотелось перечитывать: я боялся его. Посторонние люди, с глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрел на все и думал: «Да это вздор! Как? Этот человек в цвете лет, он, которого улыбка, взгляд у меня перед глазами, — его будто нет?..» Меня клонил тяжелый сон, и мне было страшно холодно. В Лондоне со мной встретился А. Таландье; здороваясь с ним, я сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез.

Мало было у нас сношений в последнее время, но мне *нужно* было знать, что там — вдали, на нашей родине — *живет* этот человек!

Без него стало пусто в Москве, еще связь порвалась!.. Удастся ли мне когда-нибудь одному, вдали от всех посетить его могилу? Она скрыла так много сил, будущего, дум, любви, жизни, — как другая, не совсем чуждая ему могила, на *которой я был*!

Там перечту я строки грустного примирения, которые так близки мне, что я их выпросил в дар *нашим* воспоминаниям.

МЕРТВОМУ ДРУГУ

То было осенью унылой…
Средь урн надгробных и камней
Свежа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали –
Рукой твоих учеников
На ней рассыпаны лежали
Венки из листьев и цветов.
Над ней, суровым дням послушна, –
Кладбища сторож вековой, –
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главой,
И речка, берег омывая,
Волной бесследною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая,
Вдоль нескончаемой стези.
Твоею дружбой не согрета,
Вдали шла долго жизнь моя,
И слов последнего привета
Из уст твоих не слышал я.
Размолвкой нашей недовольный,
Ты, может, глубоко скорбел;

Обиды горькой, но невольной
Тебе простить я не успел.
Никто из нас не мог быть злобен,
Никто, тая строптивый нрав,
Был повиниться неспособен,
Но каждый думал, что он прав.
И ехал я на примиренье,
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять…
Но было поздно…
В день унылый,
В глухую осень, одинок
Стоял я у твоей могилы
И все опомниться не мог.
Я, стало, не увижу друга?
Твой взор потух, и навсегда?
Твой голос смолк среди недуга?
Меня отныне никогда
Ты в час свиданья не обнимешь,
Не молвишь в провод ничего?
Ты сердцем любящим не примешь

Признаний сердца моего?
Все кончено, все невозвратно,
Как правды ужас ни таи! –
Шептали что-то непонятно
Уста холодные мои,
И дрожь по телу пробегала,
Мне кто-то говорил укор,
К груди рыданье подступало,
Мешался ум, мутился взор,
И кровь по жилам стыла, стыла…
Скорей на воздух! Дайте свет!
О! это страшно, страшно было
Как сон гнетущий или бред…
Я пережил, – и вновь блуждает
Жизнь между дела и утех,
Но в сердце скорбь не заживает,
И слезы чуются сквозь смех.
В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;
Гляжу – и будто образ брата
У сердца смерть не отняла.
И вдруг мечта на ум приходит,

Что это только мирный сон;
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный,
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар…
Но снова в памяти унылой
Ряд урн надгробных и камней
И насыпь свежая могилы
В цветах и листьях, и над ней,
Дыханью осени послушна, –
Кладбища сторож вековой, –
Сосна качает равнодушно
Зелено-грустною главой,
И волны, берег омывая,
Бегут, спешат, не отдыхая.

Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричина. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не меньше я удерживаю мое выражение: да, он много стра-

дал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу, — «не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого».

Передо мною лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы; какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

«Положение наше, — пишет он в 1850 году, — становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право

принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историками римской империи, которой недоставало только одного — наследственности!..

…Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, — когда же развалится этот мир?..

Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать — пусть выгонят сами.

…Вчера пришло известие о смерти Галахова, а на днях разнесся слух и о твоей смерти. Когда мне сказали это, я готов был хохотать от всей

души. А впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального».

Осенью 1853 года он пишет: «Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде (т. е. при мне) и чем стали теперь. Вино пьем по старой памяти, но веселья в сердце нет; только при воспоминании о тебе молодеет душа. Лучшая, отраднейшая мечта моя в настоящее время — еще раз увидеть тебя, да и она, кажется, не сбудется».

Одно из последних писем он заключает так: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противудействие? Тяжело, брат, — а выхода нет *живому».*

Быстро на нашем севере дикое самовластие изнашивает людей. Я с внутренней боязнию осматриваюсь назад, точно на поле сражения, — мертвые да изуродованные…

Грановский был не один, а в числе нескольких молодых профессоров, возвратившихся из Германии во время нашей ссылки. Они сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет. Люди добросовестной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали их именно в то время, когда остов диалектики стал обрастать мясом, когда наука перестала считать себя противуположною жизни, когда Ганс прихо-

дил на лекцию не с древним фолиантом в руке, а с последним нумером парижского или лондонского журнала. Диалектическим настроением пробовали тогда решить исторические вопросы в современности, это было невозможно, но привело факты к более светлому сознанию.

Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и кафедры для них были святыми налоями, с которых они были призваны благовестить истину; они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии.

И где вся эта плеяда молодых доцентов, начиная с лучшего из них, с Грановского? Милый, блестящий, умный, ученый Крюков умер лет тридцати пяти от роду. Эллинист Печерин побился, побился в страшной русской жизни, не вытерпел и ушел без цели, без средств, надломленный и больной, в чужие края, скитался бесприютным сиротой, сделался иезуитским священником и жжет протестантские библии в Ирландии. Р<едкин> постригся в гражданские монахи, служит себе в министерстве внутренних дел и пишет боговдохновенные статьи с текста-

ми. Крылов — но довольно. La toile! La toile![298]

Глава XXX
Не наши

Славянофилы и панславизм. – Хомяков, Киреевские, К. Аксаков. – П. Я. Чаадаев.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинакая… И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно.

«Колокол», лист 90
(На смерть К. С. Аксакова)

I

Рядом с нашим кругом были наши противники, nos amis les ennemis[299], или, вернее, nos ennemis

---

[298] Сноски: 298
Занавес! Занавес! (*фр.*)

[299] Сноски: 299
наши друзья-враги (*фр.*).

les amis[300] — московские славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки; но в начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно — этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории; но, принимая за серьезное их православие, но, видя их церковную нетерпимость в обе стороны, — в сторону науки и в сторону раскола, — мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви.

На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его

---

[300] Сноски: 300
наши враги-друзья (*фр.*).

истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации.

Идея народности, сама по себе, — идея консервативная, выгораживание своих прав, противуположение себя другому; в ней есть и юдаическое понятие о превосходстве племени, и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность как знамя, как боевой крик только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства, со всеми их преувеличениями, исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам: в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят; они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию. Нам надо было противупоставить нашу народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появление славянофилов как школы и как особого ученья было совершенно на месте; но если б у них

не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как «Домострой» и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партией оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала.

К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм, при появлении своем, был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было, вообще, время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных Лазарей, свежих и смердящих. Рядом с Тейчтумом[301], шедшим

[301] Сноски: 301
германизмом (*ст. — нем.* Teutschtum).

на воскресение *счастливых* времен Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненавистей; массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался туже, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта; границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами. В Милане, в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах.

Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России.

Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противудействие исключительно иностранному влиянию, существовал со времени обрития первой бороды Петром I.

Противудействие петербургскому терроризму

образования никогда не перемежалось: казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими *потешниками*, в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).

Все раскольники — славянофилы.

Все белое и черное духовенство — славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который

чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы; они, вообще, переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

> Pour un cœur bien né, que la patrie est chère![302]

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограниченно. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцуженный граф Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях.

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую, циническую лесть «Северной пчелы», с другой — в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую — Манчестером, Шебуева — Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Таври-

---

[302] Сноски: 302
Сколь дорога отчизна благородному сердцу! (*фр.*)

ды…

При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось, сообразно космополитическому характеру города, *изобретением* народного гимна по Себастиану Баху[303] и Прокопием Ляпуновым — по Шиллеру[304].

Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь *православия, самодержавия и народности*, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало — дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и «Рукой всевышнего отечество спасла».

---

[303] Сноски: 303

Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «God save the King» <Боже, храни короля (*англ.*)> да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это — нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный *корпуса жандармов* полковником Львовым.

Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний нумер «Journal des Débats» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в «Северной пчеле», что, между прочими выгодами

железной дороги между Москвой и Петербургом, он не может без умиления вздумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой — в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью, в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание — и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту вымарал граф С. Г. Строгонов, *рассказывавший мне* этот милый анекдот.

[304] Сноски: 304

Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то *стерты,* не нашли сил аплодировать.

Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастием. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III отделению или к управе благочиния. Что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми.

Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве, проездом, панславист Гай, игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше, чем иностранец, больше, чем свой, — он был то и другое. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек *красного* православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих

босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев.

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастию, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил с своего стула, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц, — немец; я сбегаю его прирезать и сейчас возвращусь».

Гром смеха заглушил негодование.

В такую-то кровожадную в *тостах* партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде.

Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении «Письма» Чаадаева и шуме, который оно вызвало.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою

гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni speranza[305].

Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон

---

[305] Сноски: 305
оставьте всякую надежду (*ит.*).

принес мне последнюю книжку «Телескопа». Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать «Телескоп» — «Философские письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, т. е. что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски, неизвестным автором… Я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «Письмо» Витбергу,

потом С<кворцову>, молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе.

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев.

Долго оторванная от народа часть России пострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было *что-то* на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал *что.* Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это «пробел разумения, грозный урок, данный народам, — до чего отчуждение и рабство могут довести». Это было покаяние и обвинение; знать вперед, *чем* примириться, — не дело

раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине — шутка, и искупление — неискренно.

Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход.

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и цензор, был отставлен, Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить *сумасшедшим* и обязать подпиской *ничего* не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, т. е. выдавали за своей подписью *пятьдесят два фальшивых свидетельства по высочайшему повелению,* — умно и нравственно. Наказанные, разумеется, были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволья власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.

Я видел Чаадаева прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

— А вы думаете, — сказал Чаадаев, — что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня в памяти.

Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до отъезда мы были с ним в самых лучших отношениях.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фонде московской high life[306]. Я любил смотреть на него середь этой

---

[306] Сноски: 306
знати (*англ.*).

мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, Бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать,

его звать… и, еще больше, ездить к нему? Вопрос очень серьезный.

Чаадаев не был богат, особенно в последние годы; он не был и знатен: ротмистр в отставке с железным кульмским крестом на груди. Он, правда, по словам Пушкина,

в Риме был бы Брут, а Афинах – Периклес,
Но здесь, под гнетом власти царской,
Он только офицер гусарской…

Знакомство с ним могло только компрометировать человека в глазах правительствующей полиции. Откуда же шло влияние, зачем в его небольшом, скромном кабинете, в Старой Басманной, толпились по понедельникам «тузы» Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, зачем генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого *Американца* Толстого и дикого генерал-адъютанта Шипова, уничтожавшего

просвещение в Польше?

Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им с ними[307]. Разумеется, что люди эти ездили к нему и звали на свои рауты из тщеславия, но до этого дела нет; тут важно невольное сознание, что мысль стала мощью, имела свое почетное место вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена.

Чаадаев имел свои странности, свои слабости, он был озлоблен и избалован. Я не знаю общества менее снисходительного, как московское, более исключительного; именно поэтому оно смахива-

---

[307] Сноски: 307

Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

— Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

— Ах, это вы! — отвечал Чаадаев. — Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник, прежде, кажется, был красный?

— Да, разве вы не знаете, что я морской министр?

— Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигают, — отвечал несколько недовольный Меншиков.

— Да разве на этом основании, — заключил Чаадаев.

Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.

— Чем же? — спросил Чаадаев.

— Помилуйте, одно чтение записок, дел, — и сенатор показал аршин от полу.

— Да ведь вы их не читаете.
— Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.
— Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, — заметил Чаадаев.

ет на провинциальное и напоминает недавность своего образования. Отчего же человеку в пятьдесят лет, одинокому, лишившемуся почти всех друзей, потерявшему состояние, много жившему мыслию, часто огорченному, не иметь своего обычая, свои причуды?

Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела. Государь находился тогда, помнится, в Вероне или в Аахене на конгрессе. Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему, и он как-то опоздал часом или двумя и приехал позже курьера, посланного австрийским посланником Лебцельтерном. Государь, раздраженный делом, увлекаемый тогда окончательно в реакцию Меттернихом, который с радостью услышал о семеновской истории, очень дурно принял Чаадаева, бранился, сердился и потом, опомнившись, велел ему предложить звание флигель-адъютанта; Чаадаев отклонил эту честь и просил одной милости — отставки. Разумеется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаев не торопился в Россию; расставшись с золоченым мундиром, он принялся за науку. Умер Александр, случилось 14 декабря (отсутствие Чаадаева спасло его от вероятного пресле-

дования[308]); около 1830 года он возвратился.

В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом; это знакомство, вероятно, много способствовало, чтоб навести его на мистическую философию. Она у него развилась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. В своем «Письме» он половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства.

Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть. Лакордер проповедовал католический социализм, оставаясь доминиканским монахом; ему помогал Шеве, оставаясь сотрудником «Voix du Peuple». В сущности, неокатолицизм не хуже риторического деизма, этой не-религии и не-ведения, этой умеренной теологии образованных мещан, «атеизма, окруженного религиозными учреждениями».

Если Ронге и последователи Бюше еще возможны после 1848 года, после Фейербаха и Прудона, после Пия IX и Ламенне, если одна из самых энергических партий движения ставит мистическую

---

[308] Сноски: 308

Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина.

формулу на своем знамени, если до сих пор есть люди, как Мицкевич, как Красинский, продолжающие быть мессианистами, — то дивиться нечему, что подобное учение привез с собою Чаадаев из Европы двадцатых годов. Мы ее несколько забыли; стоит вспомнить «Историю» Волабеля, «Письма» леди Морган, «Записки» Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна из самых тяжелых эпох истории. Революция оказалась несостоятельной, грубый монархизм, с одной стороны, цинически хвастался своей властию, лукавый монархизм, с другой, целомудренно прикрывался листом хартии; едва только, и то изредка, слышались песни освобождающихся эллинов, какая-нибудь энергическая речь Каннинга или Ройе-Коллара.

В протестантской Германии образовалась тогда католическая партия, Шлегель и Лео меняли веру, старый Ян и другие бредили о каком-то народном и демократическом католицизме. Люди спасались от настоящего в средние века, в мистицизм — читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ; Гюго, враг католицизма, столько же помогал его восстановлению, как тогдашний Ламенне, ужасавшийся бездушному индифферентизму

своего века.

На русского такой католицизм должен был еще сильнее подействовать. В нем было формально все то, чего недоставало в русской жизни, оставленной на себя, сгнетенной одной материальной властью и ищущей путь собственным чутьем. Строгий чин и гордая независимость западной церкви, ее оконченная ограниченность, ее практические приложения, ее безвозвратная уверенность и мнимое снятие всех противуречий своим высшим единством, своей вечной фатаморганой, своим urbi et orbi[309], своим презрением светской власти должно было легко овладеть умом пылким и начавшим свое серьезное образование в совершенных летах.

Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарения Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен — все это исчезло с 1826 годом.

Были иные всходы, подседы, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с раскрытой

---

[309] Сноски: 309
Риму и миру (*лат.*).

шеей à l'enfant[310] или учившиеся по пансионам и лицеям; были молодые литераторы, начинавшие пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев.

Друзья его были на каторжной работе; он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец втроем с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольшие пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!

Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву; между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Но заря не взошла, а взошел Николай на трон,

---

[310] Сноски: 310
как дети (*фр.*).

и Пушкин пишет:

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
…Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена!

В мире не было ничего противуположнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное, проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.

«В Москве, — говаривал Чаадаев, — каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором до-

стопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка — гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами*, как будто удивляясь, что имеет слово человеческое»[311].

Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни, — сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: «Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы — где же выход?»

«Его нет», — отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет. «История других народов — повесть их освобождения. Русская

---

[311] Сноски: 311

«В дополнение к тому, — говорил он мне в присутствии Хомякова, — они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков».

история — развитие крепостного состояния и самодержавия». Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей, — *просвещенных* рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, не понятые народом, побитые правительством, — пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь… Это почти значило «пора умереть», и Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви.

С точки зрения западной цивилизации, так, как она выразилась во время реставраций, с точки зрения петровской Руси, взгляд этот совершенно оправдан. Славяне решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание *живой души* в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было, — *не смертельная болезнь.* И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа.

«Выход за нами, — говорили славяне, — выход

в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство; *воротимся* к прежним нравам!»

Но история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Мы видели две: ни легитимисты не возвратились к временам Людовика XIV, ни республиканцы — к 8 термидору. Случившееся стоит писаного — его не вырубишь топором.

Нам, сверх того, не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика — а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьян, а к старинным неуклюжим костюмам?

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов: принимая *его совсем готовым.* Они полагали, что делить предрассудки народа значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе, — великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли, — в этом, конечно, наше призвание. Но не надобно ошибаться, все это далеко за *пределом* государства; московский период так же мало поможет тут, как петер-

бургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в «Уложении» уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и наконец петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и *не могла иметь.* То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь *только* всходит на пажитях истории, утучненных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта — не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только *уцелели* под трудным историческим выработыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние

силы для их развития без петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей; однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, — все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни — все же камни… и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно *социального*, оно невольно влечет к круговой поруке народов… Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие — при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, их *жен-*

ственность, недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют». Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усвоивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непониманья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством — монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

«Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию *современного* европейского, государственного чина, постоянно впадая или в

отчаяннейший деспотизм или в безвыходное неустройство?»

Эта неспособность и эта неполнота — великие *таланты* в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несется с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским троном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастие старших братий. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм — выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так неспособна

к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм — военный стан, империя — война, император — военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома — внизу, на дне — и *там*, за Неманом.

Начавшаяся теперь война[312] может иметь перемирия, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседелым деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал — государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить *третью* личность, немую, без знамени, без имени, являющуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой — на Тихом океане.

Помирятся ли эти *трое*, померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия

---

[312] Сноски: 312
Писано во время Крымской войны.

на части, или обессиленная Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг вперед, или будут резаться без конца — одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений — это то, что *разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма.*

II

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты,

множество женщин и пр., и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, *бывало*, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы услышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал

два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал одну *молодую* Москву, литературно-светскую, и говорю только об ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла — без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять;

где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Р<едкин> выводил логически личного бога, ab majorem gloriam Hegeli[313]; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало.

Вообще, в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга. В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных вре-

---

[313] Сноски: 313
к вящей славе Гегеля (*лат.*).

мен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий — Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава. Помещичья распущенность, признаться сказать, нам по душе; в ней есть своя ширь, которую мы не находим в мещанской жизни Запада. Подобострастный клиентизм, о котором говорит девица Уильмот в «Записках» Дашковой и который я сам еще застал, в тех кругах, о которых идет речь, не существовал. Хор этого общества был составлен из неслужащих помещиков или служащих не для себя, а для успокоения родственников, людей достаточных, из молодых литераторов и профессоров. В этом обществе была та свобода неустоявшихся отношений и не приведенных в косный порядок обычаев, которой нет в старой европейской жизни, и в то же время в нем сохранилась привитая нам воспитанием традиция западной вежливости, которая на Западе исчезает; она с примесью славянского laisser-aller[314], а подчас и разгула, составляла особый русский

[314] Сноски: 314
разболтанности (*фр.*).

характер *московского* общества, к его великому горю, потому что оно смертельно хотело быть *парижским*, и это хотение, наверное, осталось.

Мы Европу все еще знаем задним числом; нам всем мерещатся те времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали, как на стерлядь; когда приезд Давида Юма в Париж сделал эпоху и все контессы, виконтессы ухаживали за ним, кокетничали с ним до того, что другой баловень, Гримм, надулся и нашел это вовсе неуместным. У нас все в голове времена вечеров барона Гольбаха и первого представления «Фигаро», когда вся аристократия Парижа стояла дни целые, делая хвост, и модные дамы без обеда ели сухие бриошки, чтоб добиться места и увидать революционную пьесу, которую через месяц будут давать в Версале (граф Прованссский, т. е. будущий Людовик XVIII, в роли Фигаро, Мария-Антуанетта — в роли Сусанны!).

Tempi passati…[315] Не только гостиные XVIII столетия не существуют, — эти удивительные гостиные, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которо-

---

[315] Сноски: 315
Давно минувшие времена (*ит.*).

го выросла исполинская революция, — но и таких гостиных больше нет, как бывали, например, у Стааль, у Рекамье, где съезжались все знаменитости аристократии, литераторы, политики. Литературы боятся, да ее и нет совсем; партии разошлись до того, что люди разных оттенков не могут учтиво встретиться под одной крышей.

Один из последних опытов «гостиной» в прежнем смысле слова не удался и потух вместе с хозяйкой. Дельфина Гэ истощала все свои таланты, блестящий ум на то, чтоб как-нибудь сохранить *приличный* мир между гостями, подозревавшими, ненавидевшими друг друга. Может ли быть какое-нибудь удовольствие в этом натянутом, тревожном состоянии перемирия, в котором хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит небо за то, что вечер сошел с рук без неприятностей?

Действительно, Западу, и в особенности Франции, теперь не до литературной болтовни, не до хорошего тона, не до изящных манер. Закрыв страшную пропасть императорской мантией с пчелами, мещане-генералы, мещане-министры, мещане-банкиры кутят, наживают миллионы, теряют миллионы, ожидая Каменного гостя

ликвидации… Не легкая «козри»[316] нужна им, а тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото, как в Первой империи, вытесняет искусство, лоретка — даму, биржевой игрок — литератора.

Это распадение общества не в одном Париже. Ж. Санд была живым средоточием всего своего соседства в Ноане. К ней съезжались простые и непростые знакомые, без больших церемоний, всегда, когда хотели, и проводили вечер чрезвычайно изящно. Тут была музыка, чтение, драматические импровизации, и, что всего важнее, тут была сама Ж. Санд. С 1852 года тон начал меняться, добродушные беришоны уже не приезжали затем, чтоб отдохнуть и посмеяться, но со злобой в глазах, исполненные желчи, терзали друг друга заочно и в лицо, выказывали новую ливрею, другие боялись доносов; непринужденность, которая делала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать до того надоела, намучила Ж. Санд, что она решилась прекратить свои ноанские вечера и свела свой круг на два, на три старых приятеля…

---

[316] Сноски: 316
болтовня (*фр.* causerie).

…Говорят, Москва, молодая Москва состарелась, не пережила Николая; что и университет ее измельчал, и помещичья натура слишком рельефно выступила перед вопросом освобождения; что ее Английский клуб сделался всего менее английский; что в нем Собакевичи кричат против освобождения и Ноздревы шумят за *естественные и неотъемлемые* права дворян. Может быть!.. Но не такова была Москва сороковых годов, и вот эта-то Москва и принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея *только*, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной.

Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде,

как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего», по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, — словом, кого за убеждение — убеждение прочь, кого за логику — логика прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретёр диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого

легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку.

Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли *у него у самого* что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, *как казалось*, от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме. Он, вообще, больше сбивал, чем убеждал.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность — способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (т. е. даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии

и пр. На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!

Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался.

— Знаете ли что, — сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли, — не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

— Я вам и не говорил, — ответил я ему, — что

я берусь это доказывать, — я очень хорошо знал, что это невозможно.

— Как? — сказал Хомяков, несколько удивленный, — вы можете принимать эти страшные результаты *свирепейшей имманенции*, и в вашей душе ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

— Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!

— Докажите мне, что *не-наука* ваша истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.

— Для этого надобно веру.

— Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».

Многие — и некогда я сам — думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого

и неслужившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал — это зависело от нерв, от склада ума, от того, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается.

Хомяков, может быть, беспрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских.

Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это — теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.

Преждевременно состаревшееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он, помнится, в 1833 году за ежемесячное обозрение «Европеец». Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй «Евро-

пеец» был запрещен. Он поместил в «Деннице» статью о Новикове, — «Денница» была схвачена, и ценсор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг — он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества — мистиком и православным.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому:

— Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом.

И он в самом деле потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг — Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза

еще не обсохла, будто вчера посетило несчастие, появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утешение:

Погоди немного,

Отдохнешь и ты!

Жаль было разрушать его мистицизм; эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный; за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.

И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленах и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне

уясняться. Да, это не просто доска с изображением… Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону — тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей… И я пал на колени и смиренно молился ей».

Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянизме, — натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию — с наукой, западную цивилизацию — с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что ему было

легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде (и это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.

Их общее несчастие состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно; 14 декабря застало нас детьми, их — юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний, мы были Гракхи и Риензи в детской; потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы; выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы.

Тюрьма и ссылка в молодых летах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны; это закал, одни слабые организации смиряются тюрьмой, те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противудействовать, удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит, и на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде.

Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.

Не то было с нашими предшественниками. Им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным

«Письмом» Чаадаева. Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печёрин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты.

В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X; *докончив* в Париже свою забытую трагедию «Ермак» и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастию, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия — «Дмитрий Самозванец». Опять скука!

В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была

осмеяна; тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских.

Семя было брошено; на посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, несвихнутых, ненадломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учители, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин.

Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды — а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предваряет торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин; с покойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой — средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей

и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!

Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их и, последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом.

— Москва — столица русского народа, — говорил он, — а Петербург только резиденция императора.

— И заметьте, — отвечал я ему, — как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на *съезжу*, а в Петербурге сведут на *гауптвахту.*

«Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели

больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

— Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. — Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!»[317]

Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил.

Грановский и мы еще кой-как с ними ладили, не уступая начал; мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. «Я жид по натуре, — писал он мне из Петербурга, — и с филистимлянами за одним столом есть не могу… Грановский хочет знать, читал ли я его статью в “Москвитянине”? Нет,

---

[317] Сноски: 317
«Колокол», лист 90.

и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания».

Зато честили его и славяне. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем как о человеке опасном, жаждущем разрушения, «радующемся при зрелище пожара».

Впрочем, «Москвитянин» выражал преимущественно университетскую, доктринерскую партию славянофилов. Партию эту можно назвать не только университетской, но и отчасти *правительственной.* Это большая новость в русской литературе. У нас рабство или молчит, берет взятки и плохо знает грамоту, или, пренебрегая прозой, берет аккорды на верноподданнической лире.

Булгарин с Гречем не идут в пример: они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения. Погодин и Шевырев, издатели «Москвитянина», совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев — не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и муче-

ний, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика; Погодин — из ненависти к аристократии.

Бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою сторону, как в 1812 году, врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, *может быть*, при Александре II[318]. Но выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и, опираясь на батюшку-царя, вооружаться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью, — нелепо и вредно.

Говорят, что, защищаясь преданностью к царской власти, можно смелее говорить правду. Зачем же они ее не говорили?

Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами и с не новым Гереном на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским. Но как писатель он имел мало значения, несмотря на то, что он писал все, даже Гец фон Берлихингена по-русски. Его шероховатый, неметеный слог,

---

[318] Сноски: 318
Писано в 1855 году.

грубая манера бросать корноухие, обгрызенные отметки и нежеваные мысли, вдохновил меня как-то в старые годы, и я написал в подражание ему небольшой отрывок из «Путевых записок Ведрина». Строгонов (попечитель), читая их, сказал:

— А ведь Погодин, верно, думает, что он это в самом деле написал.

Шевырев вряд даже сделал ли что-нибудь как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писанном им ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения. Слог его зато совершенно противуположен погодинскому: дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндалю, хотя под его патокой и заморена бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во сне.

Говоря о слоге этих сиамских братьев московского журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитого товарища Кука по Сандвичевским островам, и Робеспьера — по Конвенту единой и нераздельной республики. Будучи

в Вильне профессором ботаники и прислушиваясь к польскому языку, так богатому согласными, он вспомнил своих знакомых в Отаити, говорящих почти одними гласными, и заметил: «Если б эти два языка смешать, какое бы вышло звучное и плавное наречие!»

Тем не меньше, хотя и дурным слогом, но близнецы «Москвитянина» стали зацеплять уж не только Белинского, но и Грановского за его лекции. И все с тем же несчастным отсутствием такта, который восстановлял против них всех порядочных людей. Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному *порядку идей*, за которые Николай из *идеи порядка* ковал в цепи да посылал в Нерчинск.

Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю? «Меня обвиняют, — сказал Грановский, — в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтоб

рассказывать, больше или меньше занимательно, ряд событий».

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции — так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь их рукоплескала не меньше нас. После курса был даже сделан опыт примирения. Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамилье *ы* вместо *е* и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим soprano: «Он и с *е* хорош, он и с *е* русский». С обеих сторон примирение было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее.

Примирения, вообще, только тогда возможны, когда они не нужны, т. е. когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. Иначе всякое

примирение будет взаимное ослабление, обе стороны полиняют, т. е. сдадут свою резкую краску. Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением.

С нашей стороны было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!» Мы все понурили голову. Белинский был прав!

Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастию, он для этого избрал опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского — лжеучителем, растлевающим юношей, меня — слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех — изменниками отечеству. Конечно, он не называл нас по имени, — их добавляли чтецы, носившие с восхищением из залы в залу донос в стихах. К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже

стихами, резко клеймя злые нападки и называя *«не нашими»* разных славян, во Христе бозе нашем жандармствующих.

Обстоятельство это прибавило много горечи в наши отношения. Имя поэта, имя чтеца, круг, в котором он жил, круг, который этим восхищался, — все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели к огромному несчастию, к гибели двух чистейших и лучших представителей обеих партий. Едва усилиями друзей удалось затушить ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.

Середь этих обстоятельств Шевырев, который никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского, вздумал побить его на его собственном поприще и объявил свой публичный курс. Читал он о Данте, о народности в искусстве, о православии в науке и пр.; публики было много, но она осталась холодна. Он бывал иногда смел, и это было очень оценено, но общий эффект ничего не произвел. Одна лекция осталась у меня в памяти — это та, в которой он говорил о книге Мишле «Le Peuple» и о романе Ж. Санд «La Mare au Diable», потому что он в ней живо коснулся живого и современного интереса.

Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваливая греко-российскую церковь. Только Федор Глинка и супруга его Евдокия, писавшая «о млеке Пречистой Девы», сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь.

Шевырев портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи, — выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог.

Между тем, «каких ни вымышляли пружин, чтоб умудриться» хорошо издавать «Москвитянина», он решительно не шел. Для живого полемического журнала надобно непременно иметь чутье современности, надобно иметь ту нежную щекотливость нерв, которая тотчас раздражается всем, что раздражает общество. Издатели «Москвитянина» вовсе были лишены этого ясновидения, и, как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта, они убедились наконец сами, что ни рубленой сечкой погодинских фраз, ни поющей плавностью шевыревского красноречия ничего не возьмешь в нашем испорченном веке. Они подумали, подумали и решились пред-

ложить главную редакцию И. В. Киреевскому. Выбор Киреевского был необыкновенно удачен не только со стороны ума и талантов, но и с финансовой стороны. Я сам ни с кем в мире не желал бы так вести торговых дел, как с Киреевским.

Чтоб дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали. Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь, конь сильно ему приглянулся; кучер, видя это, набавил цену, они поторговались, офицер согласился и взошел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру, что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: «Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять»... Где же лучше можно было взять редактора?

Он горячо принялся за дело, потратил много времени, переехал для этого в Москву, но при всем своем таланте не мог ничего сделать.

«Москвитянин» не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке. Неуспех должен был сильно огорчить Киреевского.

После второго крушения «Москвитянина» он не оправлялся, и сами славяне догадались, что на этой ладье далеко не уплывешь. У них стала носиться мысль другого журнала.

На этот раз победителями вышли не они. Общественное мнение громко решило в нашу пользу. В глухую ночь, когда «Москвитянин» тонул и «Маяк» не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своею кровью «Отечественные записки», поставил на ноги их побочного сына и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имя было достаточно, чтоб обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие, — в то время как талант Киреевского и участие Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину».

Так я оставил поле битвы и уехал из России.

Обе стороны высказались еще раз[319], и все вопросы переставились громадными событиями 1848 года.

Умер Николай, новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усобицы, мы протянули им руки, но где они? — Ушли! И К. Аксаков ушел, и нет этих «противников, которые были ближе нам многих своих».

Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.

Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову.

«Киреевские, Хомяков и Аксаков *сделали свое дело*; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается *перелом русской мысли.*

---

[319] Сноски: 319

Статья К. Кавелина и ответ Ю. Самарина. Об них в «Dévelop des idées révolut».

И когда *мы* это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *неодинакая.*

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно.*

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце;

мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, — это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока –

Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Schweifen auf den wilden Höhen![320]

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили *горный дух*, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас, не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они — в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников

---

[320] Сноски: 320

Мать, мать, отпусти меня, позволь бродить по диким вершинам! (*нем.*)

с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!»[321]

Глава XXXI

Кончина моего отца. – Наследство. – Дележ. – Два племянника.

С конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались, он явным образом гаснул, особенно со смерти Сенатора, умершего совершенно последовательно всей своей жизни: невзначай и чуть-чуть не в карете. В 1839 году, одним вечером, он по обыкновению сидел у моего отца; приехал он из какой-то агрономической школы, привез модель какой-то агрономической машины, употребление которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и в одиннадцать часов вечера уехал домой.

Он имел обыкновение дома очень немного закусывать и выпивать рюмку красного вина; на этот раз он отказался и, сказав моему старому

---

[321] Сноски: 321
«Колокол», 15 января 1861.

другу Кало, что он что-то устал и хочет лечь, отпустил его. Кало помог ему раздеться, поставил у кровати свечу и вышел; едва дошел он до своей комнаты и успел снять с себя фрак, как Сенатор дернул звонок; Кало бросился — старик лежал возле постели мертвый.

Случай этот сильно потрёс моего отца и испугал; одиночество его усугублялось, страшный черед был возле: три старших брата были схоронены. Он стал мрачнее и хотя по обыкновению своему скрывал свои чувства и продолжал ту же холодную роль, но мышцы изменяли, — я с намерением говорю «мышцы», потому что мозг и нервы у него остались те же до самой кончины.

В апреле 1846 лицо старика стало принимать предсмертный вид, глаза потухали; он уже был так худ, что часто, показывая мне свою руку, говорил:

— Скелет совсем готов, стоит только снять кожицу.

Голос его стал тише, он говорил медленнее; но ум, память и характер были как всегда — та же ирония, то же постоянное недовольство всеми и та же раздражительная капризность.

— Помните, — спросил дней за десять до кон-

чины кто-то из его старых знакомых, — кто был наш поверенный в делах в Турине после войны? Вы его знавали за границей.

— Северин, — отвечал старик, едва подумавши несколько секунд.

Третьего мая я его застал в постеле; щеки горели лихорадочно, что у него почти никогда не бывало; он был беспокоен и говорил, что не может встать; потом велел себе поставить пиявки и, лежа в постеле во время этой операции, продолжал свои колкие замечания.

— А! ты здесь, — сказал он, будто я только что взошел. — Ты бы, любезный друг, съездил куда-нибудь рассеяться, это очень меланхолическое зрелище — смотреть, как разлагается человек: cela donne des pensées noires![322] Да вот прежде дай-ка мальчику гривенник на водку.

Я пошарил в кармане, ничего не нашел меньше четвертака и хотел дать, но больной увидел и сказал:

— Какой ты скучный; я тебе сказал — гривенник.

— У меня нету с собой.

— Подай мой кошелек из бюро, — и он, долго

---

[322] Сноски: 322
это внушает мрачные мысли (*фр.*).

искавши, нашел гривенник.

Взошел Голохвастов, племянник моего отца; старик молчал. Чтоб что-нибудь сказать, Голохвастов заметил, что он сейчас от генерал-губернатора; больной при этом слове дотронулся, по-военному, пальцем до черной бархатной шапочки; я так хорошо изучил все его движения, что тотчас понял, в чем дело: Голохвастову следовало сказать «у Щербатова».

— Представьте, какая странность, — продолжал тот, — у него открылась каменная болезнь.

— Отчего же странно, что у генерал-губернатора открылась каменная болезнь? — спросил медленно больной.

— Как же, mon oncle[323], ему с лишком семьдесят лет, и в первый раз открылся камень.

— Да, вот и я, хоть и не генерал-губернатор, тоже очень странно: мне семьдесят шесть лет, и я в первый раз умираю.

Он действительно чувствовал свое положение, это-то и придавало его иронии какой-то макабрский[324] характер, заставлявший разом улыбаться и цепенеть от ужаса. Камердинер его,

---

[323] Сноски: 323
дядюшка (*фр.*).

[324] Сноски: 324
мрачный (*фр.* macabre).

который всегда по вечерам делал мелкие домашние доклады, сказал, что хомут у водовозной лошади очень худ и что следует купить новый.

— Какой ты чудак, — отвечал ему мой отец, — человек отходит, а ты ему толкуешь о хомуте. Погоди денек-другой, как отнесешь меня в залу на стол, тогда доложи ему (он указал на меня), он тебе велит купить не только хомут, но седло и вожжи, которых совсем не нужно.

Пятого мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернели, старик видимо тлел от внутреннего огня. Говорил он мало, но с совершенным присутствием духа; утром он спросил кофею, бульону… и часто пил какую-то тизану[325]. В сумерки он подозвал меня и сказал:

— Кончено, — при этом он провел рукой, как саблей или косой, по одеялу. Я прижал к губам его руку — она была горяча. Он хотел что-то сказать, начинал… и, ничего не сказавши, заключил:

— Ну, да ты знаешь. — И обратился к Г. И., стоявшему по другую сторону кровати.

— Тяжело, — сказал он ему и остановил на нем томный взгляд.

---

[325] Сноски: 325
отвар (*фр.* tisane).

Г. И., заведовавший тогда делами моего отца, человек чрезвычайно честный и пользовавшийся его доверием больше других, наклонился к больному и сказал:

— Все до сих пор употребленные нами средства остались безуспешными, позвольте мне вам посоветовать прибегнуть к другому лекарству.

— К какому лекарству? — спросил больной.

— Не пригласить ли священника?

— Ох, — сказал старик, обращаясь ко мне, — я думал, что Г. И. в самом деле хочет посоветовать какое-нибудь лекарство.

Вскоре потом он уснул. Сон этот продолжался до следующего утра, должно быть, это было забытье. Болезнь за ночь сделала страшный успех; конец был близок, я в девять часов послал верхового за Голохвастовым.

В половину одиннадцатого больной потребовал одеться. Он не мог ни стать на ноги, ни верно взять что-нибудь рукой, но тотчас заметил, что серебряной пряжки, которой застегивались панталоны, недоставало, и велел ее принесть. Одевшись, он перешел, поддерживаемый нами, в свой кабинет. Там стояли большие вольтеровские кресла и узенькая, жесткая кушетка; он велел себя положить на нее. Тут он сказал

несколько слов непонятно и бессвязно, но минут через пять раскрыл глаза и, встретив взором Голохвастова, спросил его:

— Что так раненько пожаловал?

— Я, дядюшка, был тут поблизости, — отвечал Голохвастов, — так заехал узнать о вашем здоровье.

Старик улыбнулся, как бы говоря: «Не проведешь, любезный друг». Потом спросил свою табатерку; я подал ее ему и раскрыл, но, делая долгие усилия, он не мог настолько свести пальцы, чтобы взять табаку; его, казалось, поразило это; мрачно посмотрел он вокруг себя, и снова туча набежала на мозг; он сказал несколько невнятных слов, потом спросил:

— Как, бишь, называются вот эти трубки, что через воду курят?

— Кальян, — заметил Голохвастов.

— Да, да… мой кальян, — и ничего.

Между тем Голохвастов приготовил за дверями священника с дарами; он громко спросил больного, желает ли он его принять; старик раскрыл глаза и кивнул головой. К<лючарев> растворил дверь, и взошел священник… Отец мой был снова в забытьи, но несколько слов, сказанные протяжно, и еще больше запах ладана разбудили

его, он перекрестился; священник подошел, мы отступили.

После церемонии больной увидел доктора Левенталя, усердно писавшего рецепт.

— Что вы пишете? — спросил он.

— Рецепт для вас.

— Какой рецепт? или мошус, что ли? Как вам не стыдно, вы бы опиума прописали, чтоб спокойнее отойти… Подымите меня, я хочу сесть на кресла, — прибавил он, обращаясь к нам. Это были последние слова, сказанные им в связи.

Мы подняли умирающего и посадили.

— Подвиньте меня к столу.

Мы подвинули. Он слабо посмотрел на всех.

— Это кто? — спросил он, указывая на М. К. Я назвал.

Ему хотелось опереть голову на руку, но рука опустилась и упала на стол, как неживая; я подставил свою. Он раза два взглянул томно, болезненно, как будто просил помощи; лицо принимало больше и больше выражение покоя и тишины… вздох, еще вздох — и голова, отяжелевшая на моей руке, стала стынуть… Все в комнате хранило несколько минут мертвое молчание.

Это было шестого мая 1846 года, около трех

часов пополудни.

Торжественно и пышно был он схоронен в Девичьем монастыре; два семейства крестьян, отпущенных им на волю, пришли из Покровского, чтоб нести гроб на руках, мы шли за ними; факелы, певчие, попы, архимандриты, архиерей… потрясающее душу «со святыми упокой», а потом могила и тяжелое падение земли на крышу гроба — тем и кончилась длинная жизнь старика, так упрямо и сильно державшего в руке своей власть над домом, так тяготевшего надо всем окружающим, и вдруг его влияние исчезло, его воля исключена, его нет, совсем нет!

Могилу засыпали, попов и монахов повели обедать, я не пошел, а отправился домой. Экипажи разъезжались, нищие толкались около монастырских ворот; крестьяне стояли в кучке, обтирая пот с лица; я всех их знал коротко, простился с ними, поблагодарил их и уехал.

Перед кончиной моего отца мы почти совсем переехали из маленького дома в большой, в котором он жил, а потому и не удивительно, что в суете первых трех дней я не успел оглядеться, но теперь, возвращаясь с похорон, как-то странно сжалось сердце. На дворе, в сенях меня встретили слуги, мужчины и женщины, прося покровитель-

ства и защиты (почему, я сейчас объясню); в зале пахло ладаном. Я взошел в комнату, в которой стояла постель моего отца, она была вынесена; дверь, к которой столько лет не только люди, но и я сам, подходили осторожно ступая, была настежь, и горничная в углу накрывала небольшой стол. Все адресовалось ко мне за приказаниями. Мое новое положение было мне противно, оскорбительно — все это, этот дом принадлежит мне оттого, что кто-то умер, и этот кто-то — мой отец. Мне казалось, в этом грубом завладении было что-то нечистое, словно я обкрадывал покойника.

Наследство имеет в себе сторону глубоко безнравственную: оно искажает законную печаль о потере близкого лица введением во владение его вещами.

По счастию, нас избежало другое отвратительное последствие его — дикие распри, безобразные ссоры делящих добычу возле гроба. Раздел всего именья сделался в какие-нибудь два часа времени, при которых никто не сказал ни одного холодного слова, никто не возвысил голоса и после которого все разошлись с бóльшим уважением друг к другу. Факт этот, главная честь которого принадлежит Голохвастову, заслужива-

ет, чтоб об нем сказать несколько слов.

При жизни Сенатора он и мой отец сделали взаимное завещание родового именья друг другу с тем, чтоб последний передал его Голохвастову. Часть своего именья отец мой продал и капитал этот назначил нам. Потом он дал мне небольшое именье в Костромской губернии, и это по настоятельному требованию Ольги Александровны Жеребцовой. Именье это и теперь находится под секвестром, который правительство, вопреки закона, наложило прежде, чем мне был сделан запрос, хочу ли я возвратиться. После смерти Сенатора мой отец продал его тверское именье. Пока собственное родовое именье моего отца покрывало проданное им из принадлежавшего его брату, Голохвастов молчал. Но когда у старика явилась мысль отдать мне подмосковную с тем, чтоб я деньгами заплатил, по назначению его, долю моему брату и долю другим лицам, тогда Голохвастов заметил, что это несообразно с волею покойника, хотевшего, чтоб именье перешло к нему. Старик, не выносивший ни в чем ни малейшей оппозиции, особенно таким планам, которые он долго обдумывал и потому считал непогрешительными, осыпал племянника колкостями. Голохвастов отказался от всякого

участия в его делах и пуще всего от звания душеприказчика. Размолвка сначала пошла так круто, что они было прервали все сношения.

Удар этот был не легок старику. Мало было людей на свете, которых бы он в самом деле любил; Голохвастов был в том числе. Он вырос на его глазах, им гордилась вся семья, к нему отец мой имел большое доверие, его он ставил мне всегда в образец, и вдруг «Митя, сын сестры Лизаветы», в ссоре, отказывается от распоряжений, заявляет свое veto, и уже из-за него видны иронические глаза Химика, с улыбкой потирающего свой нос пальцами, обожженными селитряной кислотой.

По обыкновению отец мой не показывал ни малейшего вида, что это огорчает его, и избегал разговора о Голохвастове, но заметно стал угрюмее, беспокойнее и чаще говорил об «ужасном веке, в котором ослабли все узы родства и старшие не находят больше того уважения, каким были окружены в счастливые времена», вероятно, когда представительницей всех семейных добродетелей была Екатерина II!

В начале этой ссоры я был в Соколове и едва мельком слышал о ней, но на другой день после моего возвращения в Москву рано утром приехал ко мне Голохвастов. Большой педант и форма-

лист, он пространно, хорошим и правильным слогом рассказал мне все дело, прибавив, что именно потому поторопился приехать, чтоб предупредить меня, в чем дело, прежде чем я услышу что-нибудь о размолвке.

— Недаром, — сказал я ему шутя, — меня зовут Александром: этот гордиев узел я вам тотчас разрублю. Вы должны во что б то ни стало помириться, и для того, чтоб уничтожить спорный предмет, я скажу вам прямо и решительно, что я отказываюсь от Покровского; а там одних лесных дач будет довольно, чтоб покрыть потерю тверского именья.

Голохвастов несколько смешался и поэтому еще больше доказывал мне все то, что я так хорошо понял по первым двум словам. Мы с ним расстались в самых лучших отношениях.

Через несколько дней мой отец как-то вечером сам заговорил о Голохвастове. По своему обыкновению, когда он был недоволен кем-нибудь, он не оставил в нем ни одного здорового места. Идеал, на который он мне указывал с десятилетнего возраста, этот образцовый сын, этот примерный брат, этот лучший племянник в мире, этот благовоспитанный человек по превосходству, этот человек, наконец, одевающийся до того хоро-

шо, что никогда узел галстуха не был ни велик, ни мал, — этот человек являлся теперь в каком-то отрицательном фотографическом снимке, так что впадины были выпуклы, а белые места черны.

Переход к простой брани был бы слишком крут и заметен без разных переливов, оттенков и мостов. Такой непоследовательности отец мой при своем уме не мог сделать.

— Да, скажи, пожалуйста, — все забываю тебя спросить, — виделся ты с Дмитрием Павловичем (он его всегда звал Митя) после твоего возвращения?

— Один раз.

— Ну что, как его превосходительство?

— Ничего, здоров.

— Очень хорошо, что ты с ним видаешься; таких людей надобно держаться. Я его люблю и привык любить, да он всего этого и заслуживает. Конечно, есть и у него свои, и пресмешные, недостатки… но един Бог без греха. Скорая карьера вскружила ему голову… ну, молод в аннинской ленте; к тому же род его службы такой: ездит куратором учеников бранить да все с школярами привык говорить свысока… поучает их, те слушают его навытяжке… он и думает, что со всеми

можно говорить тем же тоном. Не знаю, заметил ли ты — даже голос у него переменился? Я помню, при покойной императрице князь Прозоровский таким же резким голосом приказывал своим ординарцам. Ридикульно[326] сказать, приехал вдруг ко мне выговор читать. Я слушаю его и думаю: что, если бы покойница сестра Лизавета могла видеть это! Я ее с рук на руки Павлу Ивановичу передал в день их венчания, а тут ее сын: «Да, дядюшка, кричит, если так, вы уж лучше обратитесь к Алексею Александровичу, а меня прошу избавить». Я, ты знаешь, одна нога в гробу, бездна забот, болезни, ну, Иов многострадальный. А он кричит, распалахнулся в лице… Quel siècle![327] Я знаю, ну, он привык в декастериях… ведь он никуда не ездит, а любит распоряжаться дома со старостами да с конюхами, а тут эти писаришки — все «вашпревосходитство! вашпревосходитство!» — ну, затмение…

Словом, как в портрете Людовика-Филиппа, изменяя слегка черты, последовательно доходишь от спелого старика до гнилой груши, так и «образцовый Митя» — оттенок за оттенком —

---

[326] Сноски: 326
Смешно (*фр.* ridicule).

[327] Сноски: 327
Что за век! (*фр.*)

под конец уж как-то стал сбиваться на Картуша или на Шемяку.

Когда последние удары кистью были кончены, я рассказал весь мой разговор с Голохвастовым. Старик выслушал внимательно, насупил брови, потом, продолжительно, отчетливо, систематически нюхая табак, сказал мне:

— Ты, пожалуйста, любезный друг, не думай, что ты меня очень затруднил тем, что отказываешься от Покровского… Я никого не упрашиваю и никому не кланяюсь: «возьмите, мол, мое имение», и тебе кланяться не стану. Охотники найдутся. Все контркарируют[328] мои прожекты; мне это надоело, — отдам все в больницу — больные будут добром поминать. Не только Митя, уж ты, наконец, учишь меня распоряжаться моим добром, а давно ли Вера тебя в корыте мыла? Нет, устал, пора в отставку; я и сам пойду в больницу.

Так разговор и окончился.

На другой день, часов в одиннадцать утром, отец прислал за мной своего камердинера. Это случалось очень редко, обыкновенно я заходил к нему перед обедом или если не обедал у него, то приходил к чаю.

---

[328] Сноски: 328
Противодействуют (*фр.* contrecarrer).

Я застал старика перед его письменным столом, в очках и за какими-то бумагами.

— Поди-ка сюда, да, если можешь подарить мне часик времени… помоги-ка тут мне в порядок привести разные записки. Я знаю, ты занят, всё статейки пишешь — литератор… видел я как-то в «Отечественной почте» твою статью, ничего не понял, всё такие термины мудреные. Да уж и литература-то такая… Прежде писывали Державин, Дмитриев, а нынче ты… да мой племянник Огарев. Хотя, по правде сказать, лучше дома сидеть и писать всякие пустяки, чем все в санках, да к Яру, да шампанское.

Я слушал и никак не понимал, куда идет это captatio benevolentiae[329].

— Садись-ка, вот здесь, прочти эту бумагу и скажи твое мнение.

Это было духовное завещание и несколько прибавлений к нему. С его точки зрения, это было высшее доверие, которое он мог оказать.

Странный психологический факт. В продолжение чтения и разговора я заметил две вещи: во-первых, что ему хотелось помириться с Голохвастовым, а во-вторых, что он очень оценил мой

---

[329] Сноски: 329
снискивание расположения (*лат.*).

отказ от именья, и в самом деле с этого времени, т. е. с октября месяца 1845, и до своей кончины, он во всех случаях показывал не только доверие, но иногда советовался со мной и даже раза два поступил по моему совету.

А что бы подумал человек, который бы вчера подслушал наш разговор? В ответе моего отца насчет Покровского я не изменил ни йоты, я очень помню его.

Завещание в главной части было просто и ясно: он оставлял все недвижимое имение Голохвастову, все движимое, капитал и домы моей матери, брату и мне, с условием равного раздела. Зато прибавочные статьи, написанные на разных лоскутках без чисел, далеко не были просты. Ответственность, которую он клал на нас и в особенности на Голохвастова, была до чрезвычайности неприятна. Они противуречили друг другу и носили тот характер неопределенности, из-за которого обыкновенно выходят безобразные ссоры и обвинения.

Например, там были такие вещи: «Всех дворовых людей, *хорошо* и *усердно* мне служивших, отпускаю я на волю и поручаю вам выдать им денежные награждения по *заслугам*».

В одной записке было сказано, что старый ка-

менный дом оставляется Г. И. В другой — дом имел иное назначение, а Г. И. оставлялись деньги, но вовсе не было сказано, чтоб эти деньги шли взамен дома. По одному прибавлению, отец мой оставлял десять тысяч серебром одному родственнику, а по другому — он оставлял его сестре небольшое именье с тем, чтоб она отдала своему брату эти десять тысяч серебром.

Надобно заметить, что о половине этих распоряжений я прежде слыхал от него, и не я один. Старик много раз при мне говорил, например, о доме Г. И. и советовал ему даже переехать в него.

Я предложил моему отцу пригласить Голохвастова и поручить ему с Г. И. составить общую записку.

— Конечно, — говорил он, — Митя мог бы помочь, да ведь он очень занят. Знаешь, эти государственные люди… Что ему до умирающего дяди — он всё семинарии ревизует.

— Он наверно приедет, — заметил я, — это дело слишком важно для него.

— Я всегда рад его видеть. Только не всегда у меня голова достаточно здорова говорить о делах.

Митя, il est très verbeux[330], он заговорит меня, а у меня сейчас мысли кругом пойдут. Ты лучше свези к нему все эти бумаги, да пусть он прежде на маржах[331] поставит свои замечания.

Дни через два Голохвастов приехал сам; он, как большой формалист, перепугался больше меня беспорядка, а как классик, выразился об этом так: «mais, mon cher, c'est le testament d'Alexandre le Grand»[332]. Мой отец, как всегда в подобных случаях бывало, представил себя вдвое больше больным, говорил Голохвастову косвенные колкости, потом обнял его, тронул щекой его щеку, и семейное Кампо-Формио было заключено.

Насколько мы могли, мы уговорили старика переменить редакцию его прибавлений и сделать одну записку. Он сам хотел ее написать и не кончил в продолжение шести месяцев.

Вслед за разделом явился, естественно, вопрос, кто же поступает на волю и кто нет? Что касается до денежного награждения, я уговорил моего отца определить сумму; после долгих пре-

---

[330] Сноски: 330
он очень болтлив (*фр.*).

[331] Сноски: 331
на полях (*фр.* marge).

[332] Сноски: 332
но, дорогой мой, это завещание Александра Великого (*фр.*).

ний он назначил три тысячи рублей серебром. Голохвастов объявил людям, что, не зная, кто именно служил в доме и как, он предоставляет мне разбор их прав. Я начал с того, что поместил в список всех до одного из служивших в доме. Но когда разнесся слух о моем листе, на меня хлынули со всех сторон какие-то дворовые прошлых поколений, с дурно бритыми седыми подбородками, плешивые, обтерханные, с тем неверным качанием головы и трясением рук, которые приобретаются двумя-тремя десятками лет пьянства, старухи, сморщившиеся и в чепцах с огромными оборками, заочные крестники и крестницы, о христианском существовании которых я не имел понятия. Одних из этих людей я совсем не видывал, других помнил как во сне; наконец явились и такие, о которых я наверно знал, что они никогда не служили у нас в доме, а вечно ходили по паспорту, другие когда-то жили, и то не у нас, а у Сенатора, или пребывали спокон века в деревне. Если б эти разбитые на ноги старики и уменьшившиеся в росте и закоптевшие от лет старухи хотели вольную для себя, беда была бы не велика; совсем напротив, они-то и были готовы окончить век свой за Дмитрием Павловичем, но у каждого почти нашлись сыновья, дочери,

внучата. Призадумался я, думал, думал, да и дал всем им свидетельства. Голохвастов очень хорошо понял, что половина этих незнакомцев никогда не была на службе, но, видя мои свидетельства, велел всем писать отпускные; когда мы их подписывали, он, почесывая пальцем волосы, сказал мне, улыбаясь:

— Я думаю, мы тут и чужих несколько человек отпустили.

Голохвастов был в своем роде тоже оригинальное лицо, как вся семья моего отца.

Меньшая сестра моего отца была замужем за старым, старинным столбовым и очень богатым русским барином Павлом Ивановичем Голохвастовым. Голохвастовы мелькают там-сям в русской истории со времен Грозного; при Самозванце, во время междуцарствия встречаются их имена. Келарь Авраамий Палицын навлек на себя сначала гнев Дмитрия Павловича, а потом предлинную статью, неосторожно отозвавшись об одном из предков его в своем сказании об осаде Троице-Сергиевской лавры.

Павел Иванович был угрюмый, скупой, но чрезвычайно честный и деловой человек. Мы видели, как он помешал моему отцу уехать из Москвы в 1812 году и как умер потом в деревне от удара.

У него остались два сына и дочь. Они жили с матерью в том самом большом доме на Тверской, которого пожар так поразил старика[333]. Несколько строгий, скупой и тяжелый тон, введенный стариком, пережил его. В доме их царствовала обдуманная, важная скука и официально учтивый, благосклонный тон с чувством собственного достоинства, который à la longue[334] чрезвычайно надоедал. Большие и хорошо убранные комнаты были слишком пусты и беззвучны. Молча сидела, бывало, за своей работой дочь; мать, сохранившая следы большой красоты и тогда еще не старая, лет сорока пяти с чем-нибудь, начинала хворать и обыкновенно лежала на софе; обе говорили протяжно и несколько нараспев, как тогда вообще говорили московские дамы и девицы. Дмитрий Павлович лет восьмнадцати походил на сорокалетнего мужчину. Меньшой брат был живее его, но зато его почти никогда не было налицо…

…И все-то это примерло… А я еще помню, когда мать дала Дмитрию Павловичу торжественную

---

[333] Сноски: 333
«Былое и думы», часть 1-я, глава I.

[334] Сноски: 334
в конце концов (*фр.*).

инвеституру[335] на полное распоряжение лошадью и дрожками. Их бывший гувернер Маршаль, превосходный человек, послуживший мне когда-то типом Жозефа в «Кто виноват?», давал мне уроки после Бушо.

Как ни обходи, ни маскируй, как умно ни разрешай эти тревожные вопросы о жизни, смерти, судьбе, они все-таки являются с своими могильными крестами и с той будто неуместной улыбкой, которая остается на осклабившихся челюстях мертвой головы!

А если раздумаешься, то сам увидишь, что и нельзя не улыбаться. Вот хоть бы судьба этих двух братьев — чего и чего не придет в голову, думая о них!

Разница, бывшая между моим отцом и Сенатором, бледнеет перед резкой противуположностью их, несмотря на то, что они выросли в одной комнате, имели одного гувернера, одних учителей, одинакую обстановку.

Старший брат был блондин с британски-рыжеватым оттенком, с светло-серыми глазами, которые он любил щурить и которые говорили о невозмущаемом штиле души. С летами фигу-

---

[335] Сноски: 335
ввод во владение (*лат.* investire).

ра его все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой-то психической сытости собою. Он тогда стал щурить не только глазами, но и ноздрями особенного, довольно удачного покроя. Говоря, он почесывал третьим пальцем левой руки волосы на висках, всегда подвитые и правильно причесанные, притом он постоянно держал губы на благосклонной улыбке; последнее он унаследовал у матери и у Лампиева портрета Екатерины II. Правильные черты его вместе с стройным и довольно высоким ростом, с тщательно округленными движениями, с шейным платком, которого узел «никогда не был ни велик, ни мал», придавали ему какую-то торжественную красоту — посаженого отца, почетного свидетеля, человека, которому предоставлено раздавать награды отличившимся ученикам, или по крайней мере человека, приехавшего поздравить с Рождеством Христовым или с наступающим Новым годом. Но для будней, для ежедневного обихода он был слишком наряден.

Вся его жизнь была рядом наград за успехи и нравственность. Он их заслуживал вполне. Маршаль, поседевший от меньшого брата его, не мог нахвалиться Дмитрием Павловичем

и безусловно верил в непогрешительность его французского синтаксиса. Действительно, он говорил по-французски с той непорочной правильностью, с которой французы никогда не говорят (вероятно, потому, что в них не развито чувство сознания всей важности знать французскую грамматику). Четырнадцати лет он не только участвовал в управлении именьем, но перевел на французский язык в прозе *всю* «Россиаду» Хераскова для упражнения в стиле. Вероятно, старик радовался на том свете больше, чем «Лебедь на водах Меандра», узнавши это. Но Голохвастов не только правильно говорил по-французски и по-немецки, не только хорошо знал по-латыни, но знал и говорил правильно и хорошо по-русски.

Так, как Маршаль считал его лучшим учеником, так его мать считала его лучшим сыном, дяди его — лучшим племянником, а князь Дмитрий Владимирович Голицын, когда он определился к нему на службу, считал его лучшим чиновником. Но что еще важнее — что все это действительно так и было. А странное дело… чувствовалось отсутствие *чего-то.* Он был умен, деловой человек, много читал и помнил — чего же больше, кажется, требовать?

Я впоследствии не раз встречал эти натуры, эти «гладенькие» умы, эти светло понимающие — на известном пространстве и в известную глубину — головы. Они умно рассуждают, не отступая от данных; они еще умнее поступают, не сходя с торной дороги; они настоящие современники своего времени, своего общества. Все, что они говорят, — истинно, но они могли бы говорить что-нибудь другое; все, что они делают, — хорошо, но они могли бы делать что-нибудь иное. Они обыкновенно нравственны, но вам нечистая сила шепчет на ухо: «Да могут ли они быть безнравственны?» Немцы назвали бы таких людей «рассудочными»; это среда вигизма в Англии, — среда, которой гений и высший представитель теперь — Маколей, в стары годы был Вальтер Скотт, среда практической философии пустынника de la Chaussée d'Antin и философских поучений Вейса. Все у этих господ исправно, чинно, на месте; они правильно любят добродетель и бегут порока; все у них не лишено известной прелести серенького летнего дня — без дождя и солнца, а чего-то нет, — ну, так, безделицы, *ничего*, как у великих княжон царя Никиты… но

И того недоставало,

а без того и все остальное не в честь.

Меньшой брат Голохвастова родился хромой, уж одно это обстоятельство лишило его возможности приобресть античную позу и версальскую поступь старшего брата. К тому же у него были черные волосы и огромные черные глаза, которыми он никогда не щурился. Эта энергическая и красивая наружность была всё; внутри бродили довольно неустроенные страсти и смутные понятия. Мой отец, не ставивший его ни в грош, говорил, когда особенно был им недоволен:

— Quel jeu intéressant de la nature[336] видеть на плечах Николаши, — и при этом старик поднимал свои собственные, — голову персидского шаха!

Так, как его старший брат не мог ни на минуту обдосужиться весь свой век и постоянно что-нибудь делал, так Николай Павлович всю жизнь решительно ничего не делал. В юности он не учился; лет двадцати трех он уже был женат, и это презабавным образом: он увез сам себя. Влюбившись в бедную и незнатную девушку, чрезвычайно милую грёзовскую головку или севрскую изящнейшую куколку, он просил позволения же-

---

[336] Сноски: 336
Какая занятная игра природы (*фр.*).

ниться на ней, и этому я всего меньше дивлюсь. Мать, исполненная аристократических предрассудков и воображавшая, что за своих сыновей меньше взять нельзя, как Румянцеву или Орлову, и то с целым народонаселением какой-нибудь Воронежской или Рязанской губернии, разумеется, не согласилась. Но, как брат его ни уговаривал, как дяди и тетки ни усовещивали, светленькие глазки молодой девушки взяли свое; наш Вертер, видя, что ничем не сломит волю своих родных, спустил ночью в окно шкатулку, несколько белья, камердинера Александра, потом спустился сам, оставив свою дверь запертую изнутри. Когда к обеду следующего дня открыли дверь, он был уже обвенчан. Его мать так огорчилась тайным браком, что слегла в постель и умерла, принеся свою жизнь в жертву на алтарь этикета и приличий.

У них в доме жила вдова коменданта Орской крепости во времена чумы и Пугачева, старушка-офицерша, глухая, с небольшими усами и ворчунья. Часто рассказывала она мне потом о потрясающем событии побега и всякий раз прибавляла: «Я, батюшка, с малых лет видела, что в Николае-то Павловиче проку никакого не будет и никакого утешения Елизавете Алексеевне. Ему,

извольте видеть, было лет двенадцать, — век не забуду, — прибежал ко мне, хохочет до слез, говорит: “Надежда Ивановна, Надежда Ивановна, поскорее к окну: посмотрите, что с нашей коровой сделалось!” Я к окну — да так и ахнула. Ну, представь, батюшка: ей собаки, что ли, хвост оторвали, только она, моя голубушка, так-таки без хвоста и есть… Корова была тирольская… Не вытерпела я. Так это, я говорю, ты смеешься над маменькиной коровой да над своим добром, ну какой же в тебе будет путь! Так я уж и махнула рукой с той самой поры».

Пророчество, так странно вышедшее из коровьего хвоста, которого не было на своем месте, начало сбываться быстро. Братья разделились, и меньшой пошел кутить.

Кто не помнит ряд Гогартовых рисунков, в которых он представляет параллельно жизнь трудолюбивого и лентяя. Трудолюбивый скучает в церкве, ленивый играет в кости; трудолюбивый читает в семействе назидательную книгу, лентяй пьет водку и т. д. Эту параллель с изменением общественного положения представляли наши братья. У Гогарта один из героев начинает воровать и оканчивает виселицей, а другой всю жизнь совсем не веселится и приговари-

вает своего приятеля к смерти. Воровство hors d'œuvre[337], — не его вина, что ему мать не оставила двух тысяч душ в Калужской губернии, как Елизавета Алексеевна, и полмиллиона денег. Стал ли бы он тогда хлопотать и трудиться, — воровать вовсе не отдохновение, а работа очень неприятная и чрезвычайно опасная.

Оба брата, разделившись, горячо принялись за дело: один — улучшать свое именье, другой — разорять его; не знаю, прибавил ли Дмитрий Павлович сто рублей своими неусыпными заботами к имуществу; Николай Павлович через десять лет имел больше миллиона долга.

Вскоре после смерти матери, устроив свою сестру, т. е. выдав ее замуж, Дмитрий Павлович уехал в Париж и Лондон — глядеть Европу; а Николай Павлович принялся себя показывать Москве: балы, обеды, спектакли следовали друг за другом; его дом с утра был набит охотниками до хорошего завтрака, знатоками вин, танцующей молодежью, интересными французами, гвардейскими офицерами; вино лилось, музыка гремела; он даже иногда поднимал местные образа первой величины: князя Д. В. Голицына, князя Юсупова.

---

[337] Сноски: 337
вставной эпизод (*фр.*).

Холостой Дмитрий Павлович между тем, правильно осмотревши Европу и выучившись по-английски, возвращался вооруженный планами девонширских ферм и корнвельского конского завода, в сопровождении английского берейтора и двух огромных, породистых ньюфаундлендских собак с длинной шерстью, с перепонками на лапах и одаренных невероятной глупостью. Морем плыли сеяльные и веяльные машины, необыкновенные плуги и модели всяких агрономических затей.

Пока Дмитрий Павлович старательно заводил четырехпольное хозяйство, не идущее к нашей земле, и обсевал клевером наши православные луга, пока он давал английское воспитание жеребятам, от русских родителей рожденным, и изучал Тэера, — Николай Павлович, и это, я думаю, худший и глупейший поступок в его жизни, успел разлюбить свою жену и, как бы не находя довольно быстрым средством разорения балы и обеды, взял на содержание актрису-танцовщицу, которая, без сомнения, была недостойна завязывать шнурков корсета его жены. С этой минуты все пошло как на парах: именье было описано, жена погоревала, погоревала о судьбе детей и о своей собственной, простудилась и в

несколько дней умерла, — дом распадался.

Видя это, Дмитрий Павлович принял энергическую меру, чтоб и его именье не пошло кредиторам его брата: он решился жениться. Он тщательно выбрал умную и дельную жену; брак его не был делом безумной страсти; он из династического интереса желал прямых наследников, чтоб оградить родовое именье праотцев.

Свадьба брата сильно огорчила Николая Павловича. Такого сюрприза от него он не ждал; видно, им было на роду написано удивлять друг друга своими бракосочетаниями. Чтоб утешиться, он стал вдвое кутить. Как медленно ни делаются у нас эти дела, но, наконец, настало время продажи именья с аукционного торга. Не думаю, чтоб это очень заботило Дмитрия Павловича, но тут опять замешались династические интересы, и потому Дмитрий Павлович с помощью дядей принялся за спасение брата. Начали скупать разные двойные векселя, давая копеек сорок с рубля, т. е. бросали в печь большую сумму денег и увидели потом, что это совершенно бесполезно, — так много было векселей. Один из эпизодов этой истории остался у меня в памяти. При разделе брильянты матери достались Николаю Павловичу; Николай Павлович, наконец, за-

ложил и их. Видеть брильянты, украшавшие некогда величавый стан Елизаветы Алексеевны, проданными какой-нибудь купчихе, Дмитрий Павлович не мог. Он представил брату весь ужас его поступка; тот плакал, клялся, что раскаивается; Дмитрий Павлович дал ему вексель на себя и послал к ростовщику выкупить брильянты; Николай Павлович просил его позволение привезти брильянты к нему, чтоб он их спрятал как единственное наследство его дочерей. Брильянты он выкупил и повез к брату, но, вероятно, chemin faisant[338] он раздумал, потому что, вместо брата, он заехал к другому ростовщику и снова их заложил. Надо себе представить удивление Сенатора, досаду Дмитрия Павловича и пространные рассуждения моего отца, чтоб понять, как я от души хохотал над этим высоко комическим происшествием.

Когда все средства окончательно истощились, именье было продано, дом назначен в продажу, люди распущены, брильянты не выкуплены во второй раз; когда, наконец, Николай Павлович велел рубить свой московский сад, для того чтоб *топить печи*, та же благодатная судьба, которая

---

[338] Сноски: 338
по дороге (*фр.*).

баловала его всю жизнь, снова помогла ему. Он поехал на дачу к своему двоюродному брату и вышел пройтиться, приостановился середь разговора, взял себя за голову рукой, упал и умер.

В эти последние годы the diligent[339] Дмитрий Павлович, как Цинциннат, оставив плуг, перешел к управлению ученой республики в Москве. Случилось это так. Император Николай, полагая, что генерал-майор Писарев довольно остриг студентов и основательно научил застегивать виц-мундирные сюртуки, захотел переменить военное управление университета на статское. На дороге между Москвой и Петербургом он назначил попечителем князя Сергий Михайловича Голицына — по какому соображению, это трудно сказать, вероятно, он и сам себе в этом отчета не мог дать. Разве он назначил его для того, чтобы доказать, что место попечителя вовсе не нужно. Голицын, которого он взял с собой, без того уже полуживой от курьерской езды сломя голову, к которой он не привык, до того испугался нового места, что стал отказываться. Но в этих случаях толковать с Николаем было невозможно: его упорность доходила до безумия беременных

---

[339] Сноски: 339
прилежный (*англ.*).

женщин, когда они чего-нибудь хотят животом.

Вронченко, когда его сделали министром финансов, бросился ему в ноги, уверяя его в своей неспособности. Николай глубокомысленно отвечал ему:

— Все это вздор, я прежде не управлял государством, а вот научился же, — научишься и ты.

И Вронченко остался поневоле министром к великой радости всех «unprotected females»[340] Мещанской улицы, которые осветили свои окна, говоря: «Наш Василий Федорович стал министром!»

Голицын, проскакавши еще верст сто и еще больше измятый, решился идти на переговоры и доложил, что он только тогда возьмет место, когда у него будет надежный товарищ, который бы помогал ему пасти университетскую паству. Государь через пятьдесят верст велел ему самому сыскать себе товарища. Так они благополучно приехали в Петербург.

Отдохнув с месяц от дороги, Голицын тихонько поехал в Москву и принялся искать товарища. У него был по университету помощник, высочайший из смертных после своего брата и преобра-

---

[340] Сноски: 340
«публичных женщин» (*англ.*).

женского тамбурмажора, граф А. Панин; но он действительно был слишком высок, чтоб маленький старичок мог его избрать. Осмотревшись в Москве, взгляд Голицына остановился на Дмитрии Павловиче. С его точки зрения, он не мог сделать лучшего выбора. Дмитрий Павлович имел все те достоинства, которые высшее начальство ищет в человеке нашего века, — без тех недостатков, за которые оно гонит его: образованье, хорошая фамилия, богатство, агрономия и не только отсутствие «завиральных идей», но и вообще всяких происшествий в жизни. Голохвастов не имел ни одной любовной интриги, ни одного дуэля, не играл отроду в карты, ни разу не напивался допьяна, но часто по воскресеньям ездил к обедне, и не просто к обедне, а к обедне в домовую церковь князя Голицына. К этому надобно прибавить мастерской французский язык, округленные манеры и одну страсть, страсть совершенно невинную, — к лошадям.

Только что Голицын придумал, как уж Николай опять несся стремглав в Москву. Тут Голицын поймал его, пока он не ударился в Тулу, и представил ему Дмитрия Павловича. Он вышел от государя товарищем попечителя.

С этого времени Дмитрий Павлович начал при-

метно толстеть, наружность его выражала еще больше важности, он стал как-то больше говорить в нос, чем прежде, и фрак стал носить как-то пошире, без звезды, но видимо предчувствуя ее.

До его назначения в университет мы были с ним настолько близки, насколько различие лет позволяло (он был лет 16 старше меня). Тут я с ним чуть не рассорился, по крайней мере лет десять кряду мы смотрели друг на друга с неприязненным холодом.

Частной причины на это не было никакой. Его поведение относительно меня было всегда исполнено деликатности, без ненужной короткости, без оскорбительного отдаления. Это потому заслуживает внимания, что отец мой с своей стороны, стараясь нас сблизить, делал все, что следует, чтоб поселить между нами ненависть.

Он постоянно толковал мне, что Сенатор и Дмитрий Павлович — мои естественные *покровители*, что я должен быть к ним *прибежен*, что я должен ценить их родственную ласку. К этому он прибавлял, что само собою разумеется, что все их знаки внимания оказываются собственно для него, а не для меня. Относительно старика Сенатора, к которому я привык почти столько же, сколько к моему отцу, с той разницей, что его

я не боялся, мне эти слова ничего не значили, но от Голохвастова они меня отдаляли, и если не отдалили, то это благодаря такту, с каким себя Голохвастов постоянно вел.

Вещи эти отец мой говорил не в минуту досады, а в самом лучшем расположении духа, и это оттого, что в екатерининском веке клиентизм был обыкновенен, подчиненные не смели сердиться за «ты» от начальника и все на свете открыто искали милостивцев и покровителей.

Когда Дмитрий Павлович был назначен в университет, я думал точно так, как князь Сергий Михайлович, что это будет очень полезно для университета; вышло совсем напротив. Бели бы Голохвастов тогда попал в губернаторы или в обер-прокуроры, весьма можно предположить, что он был бы лучше многих губернаторов и многих обер-прокуроров. Место в университете было совсем не по нем; свой холодный формализм, свое педантство он употребил на мелочное, пансионское управление студентами; такого вмешательства начальства в жизнь аудитории, такого педельства на большом размере не было при самом Писареве. И тем хуже, что Голохвастов сделался в нравственном отношении то, что были Панин и Писарев для волос и пуговиц.

Прежде в нем было, при всем можайско-верейском торизме его, что-то образованно-либеральное, любовь к законности, негодование против произвола, против чиновничьего грабежа. С вступления в университет он становился ex officio[341] со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостью своего сана. Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая?

Формализм его и это вечное священнодействие, mise en scène[342] себя иногда вводили его в самые забавные истории, из которых, вечно занятый сохранением достоинства и постоянно довольный собой, он не умел никогда ловко вывернуться.

Как председатель московского ценсурного комитета он, разумеется, тяжелой гирей висел на нем и сделал то, что впоследствии книги и статьи посылали ценсировать в Петербург. В Москве был старик Мяснов, большой охотник до лошадей; он составил какую-то генеалогическую таблицу лошадиных родов и, желая выиграть

---

[341] Сноски: 341
по должности (*лат.*).

[342] Сноски: 342
Здесь: стремление показать себя в каком-то особом свете (*фр.*).

время, просил позволения посылать в цензуру корректурные листы вместо рукописи, в которой, вероятно, хотел сделать поправки. Голохвастов затруднился, произнес длинную речь, где плодовито изложил pro и contra[343], и заключил ее тем, что, впрочем, разрешить присылку корректурных листов в цензуру можно, буде автор удостоверит, что в его книге нет ничего против правительства, религии и нравственности.

Холерический и раздражительный Мяснов встал и с серьезным видом сказал:

— Так как это дело остается на моей ответственности, то я считаю необходимым оговориться: в книге моей, конечно, нет ни одного слова против правительства, ни против нравственности, но насчет религии я не так уверен.

— Помилуйте! — сказал удивленный Голохвастов.

— А вот, извольте видеть, в Кормчей книге есть статья, так гласящая: «Над корчагами клянущие, волосы плетущие и на конские ристалища ходящие да будут преданы анафеме». А я в моей книге очень много говорю о конских ристалищах, так, право, и не знаю…

---

[343] Сноски: 343
за и против (*лат.*).

— Это не может быть препятствием, — заметил Голохвастов.

— Покорнейше вас благодарю за разрешение сомнения, — ответил колкий старик, откланиваясь.

Когда я возвратился из второй ссылки, положение Голохвастова в университете было не прежнее. На место князя *Сергий* Михайловича поступил граф *Сергей* Григорьевич Строгонов. Понятия Строгонова, сбивчивые и неясные, были все же несравненно образованнее. Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студентов от полицейских набегов и был либерален, насколько можно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский «наш» с палочкой внутри и будучи смиренным обладателем строгоновского майората. В этих случаях не надо забывать la difficulté vaincue[344].

— Какая страшная повесть Гоголева «Шинель», — сказал раз Строгонов Е. К<оршу>, — ведь это привидение на мосту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч. Поставьте себя в мое положение и взгляните на эту повесть.

---

[344] Сноски: 344
преодоленной трудности (*фр.*).

— Мне о-очень т-трудно, — отвечал К<орш>, — я не привык рассматривать предметы с точки зрения человека, имеющего тридцать тысяч душ.

Действительно, с такими двумя бельмами, как майорат и «наш» с палочкой, трудно ясно смотреть на Божий свет, и граф Строгонов иногда заступал постромку, делался чисто-начисто генерал-адъютантом, т. е. взбалмошно-грубым, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него недоставало, и в этом снова выражалась добрая сторона его натуры. Для объяснения того, что я хочу сказать, приведу один пример.

Раз кончивший курс казенный студент, очень хорошо занимавшийся и определенный потом в какую-то губернскую гимназию старшим учителем, услышав, что в одной из московских гимназий открылась по его части ваканция младшего учителя, пришел просить у графа перемещения. Цель молодого человека состояла в том, чтобы продолжать заниматься своим делом, на что он не имел средств в губернском городе. По несчастию, Строгонов вышел из кабинета желтый, как церковная свечка.

— Какое вы имеете право на это место? — спросил он, глядя по сторонам и подергивая усы.

— Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась ваканция.

— Да и еще одна открывается, — перебил граф, — ваканция нашего посла в Константинополе. Не хотите ли ее?

— Я не знал, что она зависит от вашего сиятельства, — ответил молодой человек, — я приму место посла с искренней благодарностию.

Граф стал еще желтее, однако учтиво просил его в кабинет.

У меня лично с ним бывали прекурьезные сношения; самое первое свидание наше не лишено того родного колорита, по которому сразу узнается русская школа.

Вечером как-то, во Владимире, сижу я дома за своей Лыбедью; вдруг является ко мне учитель гимназии, немец, доктор Иенского университета, по прозванию Делич, в мундире. Доктор Делич объявил мне, что утром приехал из Москвы попечитель университета, граф Строгонов, и прислал его пригласить меня завтра в десять часов утра к себе.

— Не может быть; я его совсем не знаю, и вы, верно, перемешали.

— Это не фозмошно. Der Herr Graf geruhten aufs freundlichste sich bei mir zu beurkunden über Ihre

Lage hier[345]. Увы едете?

Русский человек, я поборолся еще с Деличем, убедился еще больше, что ездить совсем не нужно, и поехал на другой день.

Альфиери, как человек не русский, поступил иначе, когда французский маршал, занявший Флоренцию, пригласил его, незнакомого, к себе на вечер. Он ему написал, что если это просто частное приглашение, то он за него весьма благодарит, но просит его извинить, потому что он никогда не ездит к незнакомым. Если же это приказ, то, зная военное положение города, он непременно в восемь часов вечера отдастся в плен (se constituera prisonnier).

Строгонов звал меня как редкость, принадлежавшую прежде к университету, как блудного кандидата. Ему просто хотелось меня видеть и, сверх того, хотелось — такова слабость души человеческой, даже под толстым аксельбантом — похвастать передо мной своими улучшениями по университету.

Он меня принял очень хорошо. Наговорил мне кучу комплиментов и скорым шагом дошел до чего хотел.

---

[345] Сноски: 345

Граф изволил самым дружеским образом осведомиться у меня о вашем положении здесь (*нем.*).

— Жаль, что вам нельзя побывать в Москве, вы не узнаете теперь университет; от здания и аудитории до профессоров и объема преподавания — все изменилось, — и пошел, и пошел.

Я очень скромно заметил, чтоб показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дурак, что, вероятно, преподавание оттого так изменилось, что много новых профессоров возвратилось из чужих краев.

— Без всякого сомнения, — отвечал граф, — но, сверх того, дух управления, единство, знаете, моральное единство…

Впрочем, отдадим ему справедливость: он своим «моральным единством» больше сделал пользы университету, чем Земляника своей больнице «честностию и порядком». Университет очень много обязан ему… но все же нельзя не улыбнуться при мысли, что он хвастался этим перед человеком, сосланным под надзор за политические проступки. Ведь это стоит того, что человек, сосланный за политические проступки, без всякой необходимости поехал по зову генерал-адъютанта. О Русь!.. Что же тут удивительного, что иностранцы ничего не понимают, глядя на нас!

Второй раз я видел его в Петербурге, именно

в то время, когда меня ссылали в Новгород. Сергей Григорьевич жил у брата своего, министра внутренних дел. Я входил в залу в то самое время, как Строгонов выходил. Он был в белых штанах и во всех своих регалиях, лента через плечо; он ехал во дворец. Увидя меня, он остановился и, отведя меня в сторону, стал расспрашивать о моем деле. Он и его брат были возмущены безобразием моей ссылки.

Это было во время болезни моей жены, несколько дней после рождения малютки, который умер. Должно быть, в моих глазах, словах было видно большое негодование или раздражение, потому что Строгонов вдруг стал меня уговаривать, чтобы я переносил испытания с христианской кротостью.

— Поверьте, — говорил он, — каждому на свой пай достается нести крест.

«Даже и очень много иногда», — подумал я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застилавшие его грудь, и не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.

Он догадался и покраснел.

— Вы, верно, думаете, — сказал он, — хорошо, мол, ему проповедовать. Поверьте, что tout est

compensé[346] — по крайней мере так думает Азаис.

Сверх проповеди, он и Жуковский действительно хлопотали обо мне, но челюсти бульдога, вцепившегося в меня, не легко было разнять.

Поселившись в 1842 году в Москве, я стал иногда бывать у Строгонова. Он ко мне благоволил, но иногда будировал. Мне очень нравились эти приливы и отливы. Когда он бывал в либеральном направлении, он говорил о книгах и журналах, восхвалял университет и все сравнивал его с тем жалким положением, в котором он был в мое время. Но когда он был в *консервативном* направлении, тогда упрекал, что я не служу и что у меня нет религии, бранил мои статьи, говоря, что я развращаю студентов, бранил молодых профессоров, толковал, что они его больше и больше ставят в необходимость изменить присяге или закрыть их кафедры.

— Я знаю, какой крик поднимется от этого, вы первый будете меня называть вандалом.

Я склонил голову в знак подтверждения и прибавил:

— Вы этого никогда не сделаете, и потому я вас

---

[346] Сноски: 346
все уравновешено (*фр.*).

могу искренно поблагодарить за хорошее мнение обо мне.

— Непременно сделаю, — ворчал Строгонов, потягивая ус и желтея, — вы увидите.

Мы все знали, что он ничего подобного не предпримет, за это можно было позволить ему периодически пострашать, особенно взяв в расчет его майорат, его чин и почечуй.

Раз как-то он до того зарапортовался, говоривши со мной, что, браня все революционное, рассказал мне, как 14 декабря Т. ушел с площади, расстроенный прибежал в дом к его отцу и, не зная, что делать, подошел к окну и стал барабанить по стеклу; так прошло некоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой в их доме, не выдержала и громко сказала ему: «Постыдитесь, тут ли ваше место, когда кровь ваших друзей льется на площади, так-то вы понимаете ваш долг?» Он схватил шляпу и пошел — куда вы думаете? — спрятаться к австрийскому послу.

— Конечно, ему следовало бы идти в полицию и донести, — сказал я.

— Как? — спросил удивленный Строгонов и почти попятился от меня.

— Или вы считаете, как француженка, — сказал я, не удерживая больше смеха, — что его

обязанность была идти на площадь и стрелять в Николая?

— Видите, — заметил Строгонов, поднимая плечи и нехотя посматривая на дверь, — какой у вас несчастный pli[347] ума; я только говорю, что вот эти люди… когда нет истинных, моральных, основанных на вере принципов, когда они сходят с прямого пути… все путается. Вы с летами все это увидите.

До этих лет я еще не дожил, но эту сторону ненаходчивости у Строгонова, над которой часто зло подсмеивался Чаадаев, я, совсем напротив, ставлю ему в большое достоинство.

Говорят, что во время совершенного помрачения духа нашего невского Саула, после февральской революции, увлекся и Строгонов. Он будто бы настоял в новом цензурном совете на воспрещении пропускать что бы то ни было из писанного мною. Я это принимаю за действительный знак его хорошего расположения ко мне; услышав это, я принялся за русскую типографию. Но Саул шел дальше. Вскоре реакция обошла и перешла нашего графа, он не хотел быть палачом университета и вышел из попечителей.

---

[347] Сноски: 347
склад (*фр.*).

Но это еще не все. Через два-три месяца после Строгонова вышел в отставку и Голохвастов, устрашенный рядом безумных мер, которые ему предписывались из Петербурга.

Так окончилась публичная карьера Дмитрия Павловича, и он, как настоящий москвич, сложив с себя бремя государственных дел, расположился важно отдохнуть, занимаясь сельским хозяйством и окруженный семьей, рысаками и хорошо переплетенными книгами.

Во внутренней жизни его в продолжение его кураторства все шло благополучно, т. е. в свое время являлись на свет дети, в свое время у них резались зубы. Именье было ограждено законными наследниками. Сверх того, еще одно лицо обрадовало и согрело последние десять лет его жизни. Я говорю о приобретении *Бычка*, первого рысака по бегу, красоте, мышцам и копытам не только Москвы, но и всей России. Бычок представлял поэтическую сторону серьезного существования Дмитрия Павловича. У него в кабинете висели несколько портретов Бычка, писанных масляными красками и акварелью. Как представляют Наполеона — то худым консулом, с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором с клочком волос на лбу,

сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим, заложив руки за спину, на скале середь плещущего океана, — так и Бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни: в стойле, где он провел свою юность, в поле — свободный с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой, невесомой упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанной, как у ассирийских царей-быков, — тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков Сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале.

Казалось бы, отделавшись от скучных забот по университету, с огромным именьем и огромным доходом, с двумя звездами и четырьмя детьми, тут-то бы и жить да поживать. Судьба решила иначе; вскоре после своей отставки Дмитрий Павлович, здоровый, сильный мужчина, лет пятидесяти с чем-то, занемог, хуже да хуже, сделалась горловая чахотка, и он умер после тяжелой и мучительной болезни в 1849 году.

И вот я поневоле останавливаюсь в раздумье перед этими двумя могилами, и ряд странных вопросов, о которых я упомянул, снова представ-

ляется уму.

Смерть прировняла двух непохожих братьев. Кто же из них лучше воспользовался своим промежутком между двумя немыми и безответными пропастями? Один истратил и себя и свое достояние, но имел свой медовый месяц из лучших липовых сот. Положим, что он и был человек бесполезный, но вреда *намеренного* никому не делал. Он оставил детей в бедности — плохо; но они все-таки получили воспитание и должны были получить кой-что от дяди. А сколько тружеников, работавших всю жизнь, с горькой слезой закрывают глаза, глядя на детей, которым они не могли дать ни воспитания, ни куска хлеба? Т. Карлейль, утешая людей, слишком умилявшихся над судьбой несчастного сына Людовика XVI, сказал им: «Это правда, он был воспитан сапожником, т. е. получил то дурное воспитание, которое получали и теперь получают миллионы детей бедных поселян и работников».

Другой брат совсем не жил, он *служил* жизнь, так, как священники *служат* обедню, т. е. с чрезвычайной важностию совершал какой-то привычный ритуал, более торжественный, чем полезный. Обдумать, зачем он его исполнял, ему было так же некогда, как его брату. Если из жизни

Дмитрия Павловича исключить два-три случая — Бычка, скачки и кубки да два-три входа и выхода, например, когда он взошел в университет с сознанием, что он начальник его, когда он вышел первый раз из своей комнаты в звезде, когда он представлялся е. и. величеству, когда водил по аудиториям е. и. высочество, — останется одна проза, одно деловое, натянутое, официальное утро. Спору нет, мысль о важности его участия в делах административных доставляла ему удовольствие; этикет — своего рода поэзия, своего рода артистическая гимнастика, как парады и танцы; но ведь какая бедная поэзия в сравнении с пышными пирами, в которых провел свою жизнь его брат, тайком обвенчавшийся на хорошенькой барышне с упоительными глазками!

И в дополнение, Дмитрий Павлович своей правильной жизнию, своим образцовым поведением в нравственном, служебном и гигиеническом отношениях даже не дошел ни до здоровья, ни до долголетия и умер так же неожиданно, как его брат, но только с гораздо большими мучения-

ми[348].

Ну и all right![349]

Глава XXXII

Последняя поездка в Соколово. – Теоретический разрыв! – Натянутое положение. – Dahin! Dahin![350]

После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда — я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

---

[348] Сноски: 348

Мне кажется, что, говоря о Дмитрии Павловиче, я не должен умолчать о его последнем поступке со мною. После кончины моего отца он мне остался должен 40 000 сер. Я уехал за границу, оставив этот долг за ним. Умирая, он завещал, чтобы мне первому было уплачено, потому что официально я не мог ничего требовать. Вслед за вестью о его кончине я по следующей почте получил все деньги.

[349] Сноски: 349

ладно (*англ.*).

[350] Сноски: 350

Туда! Туда! (*нем.*)

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам — и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем *нравились*.

Сначала эти споры шли полушутя. Мы смеялись, например, над малороссийским упрямством Р<едкина>, старавшегося вывести логическое построение личного духа. При этом я вспоминаю одну из последних шуток милого, доброго Крюкова. Он уже был очень болен, мы сидели с Р<едкиным> у его кровати. День был ненастный, вдруг блеснула молния и вслед за ней рассыпался сильный удар грома. Р<едкин> подошел к окну и опустил стору.

— Что же, от этого будет лучше? — спросил я его.

— Как же, — ответил за него Крюков, — Р<едкин> верит in die Persönlichkeit des absoluten Geistes[351] и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.

Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго

---

[351] Сноски: 351
в личность абсолютного духа (*нем.*).

не остановится.

На одном листе записной книжки того времени, с видимой arrière-pensée[352], помечена следующая сентенция: «Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена».

В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.

Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так, как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука, — если только человек вверится ей без якоря, — непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились — от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля — все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти все

---

[352] Сноски: 352
задней мыслью (*фр.*).

пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий; оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.

Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули наконец из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но наконец убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Р<едкина>, то в сущности все же они с ним согласнее, чем со мной, и что, при всей независимости их мысли, еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми: с Грановским и Е. К<оршем>.

Открытие это исполнило меня глубокой печалью; порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.

Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о «Дилетантизме в науке» и «Письма об изучении природы», но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строгонова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы.

Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.

Сын одного знакомого подмосковного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за «Отечественными записками». Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу; я переломил, наконец, его отроческую неуверенность в себе и стал с ним говорить об «Отечественных записках». Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали

мое историческое изложение систем и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.

Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.

— Что вы намерены делать после курса? — спросил я его раз.

— Постричься в священники, — отвечал он, краснея.

— Думали ли вы серьезно об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?

— Мне нет выбора: мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.

— Вы не сердитесь на меня, — возразил я, — но мне невозможно не сказать вам откровенно моего мнения. Ваш разговор, ваш образ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам, — все это и, сверх того, искренное участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли

у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?

Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:

— Перед вами лгать не стану — нет!

— Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против Святого Духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!

— Это ужасно! ужасно! — сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.

На другой день вечером он возвратился.

— Я к вам пришел затем, — сказал он, — чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно правы: духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.

Я горячо пожал ему руку и обещал, с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.

Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере способствовал к ее спасению.

Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.

Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной

власти[353].

С радостью приветствовал я в лицеистах, бывших в Московском университете, новое, сильное поколение.

Вот эта-то университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начинали восставать против его «романтизма». Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений.

Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась

---

[353] Сноски: 353

История, как один из них попал в университет, так полна родственного благоухания николаевских времен, что нельзя удержаться, чтоб ее не рассказать. В лицее каждый год празднуется та годовщина, которая нам всем известна по превосходным стихам Пушкина. Обыкновенно в этот день разлуки с товарищами и свидания с прежними учениками позволялось молодым людям покутить. На одном из этих праздников один студент, еще не кончивший курса, расшалившись, пустил бутылку в стену; на беду бутылка ударилась в мраморную доску, на которой было *начертано* золотыми буквами: «Государь император изволил осчастливить посещением такого-то числа…», и отбила от нее кусок. Прибежал какой-то смотритель, бросился на студента с страшным ругательством и хотел его вывести. Молодой человек, обиженный при товарищах, разгоряченный вином, вырвал у него из рук трость и вытянул его ею. Смотритель немедленно донес; студент был арестован и послан в карцер под страшным обвинением

не только в нанесении удара смотрителю, но и в святотатственном неуважении к доске, на которой было изображено священное имя государя императора.

Весьма легко может быть, что его бы отдали в солдаты, если б другое несчастие не выручило его. У него в самое это время умер старший брат. Мать, оглушенная горем, писала к нему, что он теперь ее единственная опора и надежда, советовала скорее кончать курс и приехать к ней. Начальник лицея, кажется, генерал Броневский, читая это письмо, был тронут и решился спасти студента, не доводя дела до Николая. Он рассказал о случившемся Михаилу Павловичу, и великий князь велел его келейно исключить из лицея и тем покончить дело. Молодой человек вышел с видом, по которому ему нельзя было вступить ни в одно учебное заведение, т. е. ему преграждалась почти всякая будущность, потому что он был очень небогат, — и все это за увечье доски, украшенной высочайшим именем! Да и то еще случилось по особенной милости Божией, убившей вовремя его брата, по неслыханной в генеральском чине нежности, по невиданной великокняжеской снисходительности! Одаренный необыкновенным талантом, он гораздо после добился права слушать лекции в Московском университете.

около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, недоставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.

На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову, сказать о приезде из чужих краев Огарева и С<атина>.

Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались… Что-то они… как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к «Яру», где они остановились. Ну, вот они, наконец. И как переменились, и какая борода — и не видались несколько лет! — Мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.

Наконец, наш маленький круг был почти весь в сборе — теперь-то заживем.

Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколово — это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который

спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой — открывался пространный вид вдаль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, «Бель-вю»[354].

Соколово некогда принадлежало графам Румянцовым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы по Москве-реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.

Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. К<етчер> меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Е. приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. М. С. нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с ши-

---

[354] Сноски: 354
«Прекрасный вид» (*фр.* belle vue).

рокими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота…

Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном: об отсутствии Огарева. Ну, вот и он — и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами; Грановский нанял на все лето небольшой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.

И со всем этим, через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша villeggiatura[355] не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри — явится боль,

[355] Сноски: 355
дачная жизнь (*ит.*).

диссонанс, с которым не всегда сладишь.

Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела — все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.

Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в «Отечественных записках» одно из моих писем об изучении природы (помнится, об *Энциклопедистах)* и был им чрезвычайно доволен.

— Да что же тебе нравится? — спросил я его. — Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

— Твои мнения, — ответил Грановский, — точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится

в Вольтере или Дидро: они живо, резко затрогивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед; ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?

— Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее *обязывает нас* к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

— Все это так мало обязательно, — возразил Грановский, слегка изменившись в лице, — что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

— Славно было бы жить на свете, — сказал я, —

если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.

— Подумай, Грановский, — прибавил Огарев, — ведь это своего рода бегство от несчастия.

— Послушайте, — возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, — вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

— Изволь, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно: мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего…

После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь

близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа — предел и с тем вместе ценсура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни?»

Огарев взял тройку и поехал в Москву. На дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф.

...Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок,
Я правды речь вел строго в дружнем круге,
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел, которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
.....
.....
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,

С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало — дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, не имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью…

Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. К<оршу>. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. К<орша>, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет, и все это он говорил с дружбой, с деликатностью — видно было, что и ему не легко.

Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей «наивности», а потом, когда остал-

ся один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили — ловко, без боли, но его нет!

Далее не было ничего… а только все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon[356] исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, т. е. действительно отступили на «границу химического сродства», — и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.

Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал… может быть… но, в сущности, я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество *религии* необходимо, — тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше — можно быть хорошим и верным *союзником*, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал,

---

[356] Сноски: 356
откровенность (*фр.*).

не соглашаясь в многом с ними, например, с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они — меня; у нас довольно было общего, чтоб идти не ссорясь по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнию, нельзя было так глубоко расходиться.

Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений… Какие же могли быть уступки на этом поле?..

Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает, мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать, и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решает один такт сердца, тут нет правил.

Вскоре и в дамском обществе все разладилось.

На ту минуту нечего было делать.

Ехать, ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора и *без* разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.

Глава XXXIII

Частный пристав в должности камердинера. – Обер-полицмейстер Кокошкин. – «Беспорядок в порядке». – Еще раз Дубельт. – Паспорт.

…За несколько месяцев до кончины моего отца граф Орлов был назначен на место Бенкендорфа. Я написал тогда к Ольге Александровне, не может ли она мне выхлопотать заграничного пасса или какой-нибудь вид для приезда в Петербург, чтоб самому достать его. О. А. отвечала, что второе легче, и я получил через несколько дней от Орлова «высочайшее» разрешение приехать в Петербург на короткое время для устройства дел. Болезнь моего отца, его кончина, действительное устройство дел и несколько месяцев на даче задержали меня до зимы. В конце ноября я отправился в Петербург, предварительно подав просьбу генерал-губернатору о пассе. Я знал, что он не мог разрешить, потому что я все еще был под *строгим* надзором полиции; мне хотелось одного: чтоб он послал запрос в Петербург.

В день отъезда я утром послал взять билет из полиции, но вместо билета явился квартальный сказать, что есть какие-то затруднения и что сам частный пристав будет ко мне. Приехал и он, и попросивши, чтоб я остался с ним наедине, он таинственно объявил мне новость, что мне пять лет тому назад въезд в Петербург запрещен и что без высочайшего повеления он билета не подпишет.

— За этим у нас дело не станет, — сказал я, смеясь, и вынул из кармана письмо.

Частный пристав, сильно удивленный, прочитав, попросил дозволение показать обер-полицмейстеру и часа через два прислал мне билет и мою бумагу.

Надобно сказать, что половину разговора мой пристав вел на необыкновенно очищенном французском языке. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски, он испытал очень горько.

За несколько лет перед тем приехал в Москву с Кавказа какой-то путешественник, легитимист шевалье Про. Он был в Персии, в Грузии, много видел и имел неосторожность сильно критиковать тогдашние военные действия на Кавказе и особенно администрацию. Боясь, что Про будет

то же говорить в Петербурге, генерал-губернатор кавказский благоразумно написал военному министру, что Про — преопасный военный агент со стороны французского правительства. Про жил преспокойно в Москве и был хорошо принят князем Д. В. Голицыным, как вдруг князь получил приказ отправить его с полицейским чиновником из Москвы за границу. Сделать такую глупость и такую грубость над знакомым всегда труднее, и потому Голицын, помявшись дни два, пригласил к себе Про и после красноречивого вступления, наконец, сказал ему, что какие-то доносы, вероятно, с Кавказа, дошли до государя и что он приказал ему оставить Россию, что, впрочем, даже ему дадут провожатого…

Про, рассерженный, заметил князю, что так как правительство имеет право высылать, то он ехать готов, но провожатого не возьмет, не считая себя преступником, которого следует конвоировать.

На другой день, когда полицмейстер приехал к Про, тот его встретил с пистолетом в руке, объявляя наотрез, что он ни в комнату, ни в свою коляску не пустит полицейского, не пославши ему пули в лоб, если тот захочет употребить силу.

Голицын был, вообще, очень порядочный человек и потому затруднен; он послал за Вейером, французским консулом, чтоб посоветоваться, как быть. Вейер нашел expédient[357]: он потребовал полицейского, хорошо говорящего по-французски, и обещал его представить Про как путешественника, просящего уступить ему место в коляске Про за половину прогонов.

С первых слов Вейера Про догадался, в чем дело.

— Я не торгую местами в моей коляске, — сказал он консулу.

— Человек этот будет в отчаянии.

— Хорошо, — сказал Про, — я его беру даром, за это пусть он возьмет на себя маленькие услуги. Да не капризник ли это какой? Я его тогда брошу на дороге.

— Самый услужливый в мире человек, вы просто распоряжайтесь им. Я вас благодарю за него. — И Вейер поскакал к князю Голицыну объявить о своем торжестве.

---

[357] Сноски: 357
выход (*фр.*).

Вечером Про и bona fide[358] traveller[359] отправились. Про молчал всю дорогу; на первой станции он взошел в комнату и лег на диван.

— Эй! — закричал он товарищу, — подите сюда, снимите сапоги.

— Что вы, помилуйте, с какой стати?

— Вам говорят: снимите сапоги, или я вас брошу на дороге, ведь я не держу вас.

Снял мой полицейский офицер сапоги…

— Вытрясите их и вычистите.

— Это из рук вон!

— Ну, оставайтесь!..

Вычистил офицер сапоги.

На следующей станции та же история с платьем, и так Про тормошил его до самой границы. Чтоб утешить этого *мученика* шпионства, на него было обращено особое монаршее внимание и его, наконец, сделали частным приставом.

На третий день после моего приезда в Петербург дворник пришел спросить от квартального, «по какому виду я приехал в Петербург?». Единственный вид, бывший у меня, — указ об отставке, был мною представлен генерал-губернатору

---

[358] Сноски: 358
мнимый (*лат.*).

[359] Сноски: 359
путешественник (*англ.*).

при просьбе о пассе. Я дал дворнику билет, но дворник возвратился с замечанием, что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург. С тем вместе пришел полицейский с приглашением в канцелярию обер-полицмейстера. Отправился я в канцелярию Кокошкина (днем освещенную лампами!), через час времени он приехал. Кокошкин лучше других лиц того же разбора выражал царского слугу без дальних видов, чернорабочего временщика без совести, без размышления, — он служил и наживался так же естественно, как птицы поют.

Перовский сказал Николаю, что Кокошкин сильно берет взятки.

— Да, — отвечал Николай, — но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге.

Я посмотрел на него, пока он толковал с другими… Какое измятое, старое и дряхло-растленное лицо; на нем был завитой парик, который вопиюще противуречил опустившимся чертам и морщинам.

Поговоривши с какими-то немками по-немецки и притом с какой-то фамильярностью, показывавшей, что это старые знакомые, что видно было и из того, что немки хохотали и шушукались, Кокошкин подошел ко мне и, смотря вниз,

довольно грубым голосом спросил:

— Ведь вам высочайше запрещен въезд в Петербург?

— Да, но я имею разрешение.

— Где оно?

— У меня.

— Покажите… как же вы это второй раз пользуетесь тем же разрешением?

— Как во второй раз?

— Я помню, что вы приезжали.

— Я не приезжал.

— И какие это у вас дела здесь?

— У меня есть дело к графу Орлову.

— Что же, вы были у графа?

— Нет, но был в Третьем отделении.

— Видели Дубельта?

— Видел.

— А я вчера видел самого Орлова; он говорит, что никакого разрешения вам не посылал.

— Оно у вас в руках.

— Бог знает, когда это писано, и время прошло.

— Впрочем, странно было бы с моей стороны приехать без позволения и начать с визита генералу Дубельту.

— Коли не хотите хлопот, так извольте отправляться назад, и то не дальше, как через двадцать

четыре часа.

— Я вовсе не располагался пробыть здесь долго, но мне нужно же подождать ответ графа Орлова.

— Я вам не могу позволить, да и граф Орлов очень недоволен, что вы приехали без позволения.

— Позвольте мне мою бумагу, я сейчас поеду к графу.

— Она должна остаться у меня.

— Да ведь это письмо ко мне, на мое имя, единственный документ, по которому я здесь.

— Бумага останется у меня как доказательство, что вы были в Петербурге. Я вам серьезно советую завтра ехать, чтоб не было хуже.

Он кивнул головой и вышел. Вот тут и толкуй с ними.

У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под начет. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старосте. Но доверенности на этот предмет вовсе не было дано, Тучков так и отвечал. Дело пошло в сенат, сенат снова решил: «Так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность… то…» На что Тучков опять отвечал: «А так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот

предмет не давал, то...» Прошел год, снова полиция объявляет с строжайшим подтверждением: «Так как генерал-лейтенант... то...», и опять старик пишет свой ответ. Не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения.

Все это вовсе не исключение, а совершенно нормально. Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит № и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: «А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад» и бумагу кладет в карман.

Чаадаев действительно прав, говоря об этих господах: «Какие они все шалуны!»

Я поехал в III отделение и рассказал Дубельту, что было. Дубельт расхохотался.

— Как это они вечно все перепутают! Кокошкин доложил графу, что вы приехали без позволения, граф и сказал, чтоб вас выслали, но я потом объяснил дело; вы можете жить сколько хотите, я сейчас велю написать в полицию. Но теперь об вашем деле: граф не думает, чтоб полезно было просить вам позволение ехать за границу. Государь вам два раза отказал, последний раз

по просьбе графа Строгонова; если он откажет в третий раз, то в это царствование вы уж, конечно, не поедете к *водам.*

— Что же мне делать? — спросил я с ужасом: так мысль путешествия и воли обжилась в моей груди.

— Отправляйтесь в Москву; граф напишет генерал-губернатору частное письмо о том, что вы желаете для здоровья вашей супруги ехать за границу, и спросит его, заметив, что знает вас с самой лучшей стороны, думает ли он, что можно с вас снять надзор? На такой вопрос нечего отвечать, кроме «да». Мы представим государю о снятии надзора, тогда берите себе паспорт, как все другие, и с Богом к каким хотите *водам.*

Мне казалось все это чрезвычайно сложным и даже просто уловкой, чтоб отделаться от меня. Отказать мне они не могли, это навлекло бы на них гонение Ольги Александровны, у которой я бывал всякий день. Однажды уехавши из Петербурга, я не мог еще раз приехать; переписываться с этими господами — дело трудное. Долю моих сомнений я сообщил Дубельту; он начал хмуриться, т. е. еще больше улыбаться ртом и щурить глазами.

— Генерал, — сказал я в заключение, — не знаю,

а мне даже не верится, что до государя дошло представление Строгонова.

Дубельт позвонил и велел подать «дело» обо мне и, ожидая его, добродушно сказал мне:

— Граф и я, мы предлагаем вам тот путь для получения паспорта, который мы считаем вернейшим; ежели у вас есть средства более верные, употребите их; вы можете быть уверены, что мы вам не помешаем.

— Леонтий Васильевич совершенно прав, — заметил какой-то гробовой голос. Я обернулся: возле меня стоял еще более седой и состарившийся Сахтынский, который принимал меня пять лет тому назад в том же III отделении.

— Я вам *советую* руководствоваться его мнением, если хотите ехать.

Я поблагодарил его.

— А вот и дело, — сказал Дубельт, принимая толстую тетрадь из рук чиновника (что бы я дал — прочесть ее всю! В 1850 году я видел в кабинете Карлье мой «досье» в Париже; интересно было бы сличить); порывшись в ней, он мне ее подал раскрытую: это была докладная записка Бенкендорфа, вследствие письма Строгонова, просившего мне разрешение ехать на шесть месяцев к водам в Германию. На поле было крупно

написано карандашом «рано», по карандашу было проведено лаком, внизу написано было пером: «рукою е. и. в. написано *рано.* Граф А. Бенкендорф».

— Верите теперь? — спросил Дубельт.

— Верю, — отвечал я, — и так верю вашим словам, что завтра же еду в Москву.

— Да вы, пожалуй, погуляйте у нас, полиция теперь вас беспокоить не будет, а перед отъездом заезжайте; я велю вам показать письмо к Щербатову. Прощайте, bon voyage[360], если не увидимся.

— Счастливого пути, — прибавил Сахтынский.

Мы расстались, как видите, приятельски.

Приехав домой, я нашел приглашение от частного пристава, кажется, II Адмиралтейской части. Он меня спрашивал, когда я выезжаю.

— Завтра вечером.

— Помилуйте, да, кажется, я думал… генерал говорил, сегодняшнего числа. Его превосходительство, конечно, отсрочит, но позвольте быть удостоверену?

— Можете, можете; кстати, дайте мне билет.

— Я его напишу в части и пришлю часа через

---

[360] Сноски: 360
счастливого пути (*фр.*).

два. В каком заведении изволите ехать?

— В Серапинском, если найду место.

— И прекрасно, а в случае, если места не найдете, благоволите сообщить.

— С удовольствием.

Вечером опять явился квартальный: частный пристав велел мне сказать, что *не может* выдать мне билета, а чтоб я пришел завтра в *восемь часов* утра к обер-полицмейстеру.

Что за пропасть такая и что за скука! В восемь часов я не пошел, а в продолжение утра явился в канцелярию. Частный пристав был там и сказал мне:

— Вам нельзя ехать: есть бумага из III отделения.

— Что случилось?

— Не знаю, генерал не велел выдавать билета.

— Правитель дел знает?

— Как не знать, — и он мне указал полковника в мундире и сабле, сидевшего за большим столом в другой комнате; я спросил его, в чем дело.

— Точно-с, — сказал он, — была бумага, да вот она, — он прочитал ее и подал мне. Дубельт писал, что я имел полное право приехать в Петербург и могу остаться *сколько хочу.*

— Поэтому-то вы меня не пускаете? Извините,

я не могу удержаться от смеха: вчера обер-полицмейстер гнал меня отсюда против моей воли, сегодня против моей воли оставляет, и все это на том основании, что в бумаге сказано, что я могу оставаться *сколько хочу.*

Дело было так очевидно, что сам полковник-секретарь расхохотался.

— На что же я брошу деньги за два места в дилижансе? Велите, пожалуйста, написать билет.

— Я не могу, а пойду доложить генералу.

Кокошкин велел написать билет и, проходя по канцелярии, с упреком сказал мне:

— На что это похоже? То хотите остаться, то едете; ведь сказано, что можете остаться.

Я ему ничего не отвечал.

Когда вечером мы выехали из-за заставы и я снова увидел бесконечную поляну, тянувшуюся к Четырем Рукам, я посмотрел на небо и искренно присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии, в котором учтив один Дубельт, да и тот — начальник III отделения.

Щербатов неохотно отвечал Орлову. У него тогда был секретарем не полковник, а пиетист,

ненавидевший меня за мои статьи как «афея и гегельянца». Я сам ездил толковать с ним. Схи-секретарь елейным голосом и с христианским помазанием говорил, что генерал-губернатору ничего неизвестно обо мне, что он в моих высоких нравственных качествах не сомневается, но что следует забрать справки у обер-полицмейстера. Он хотел затянуть дело; к тому же этот господин не брал взяток. В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи Бог. По счастью, обер-полицмейстер Лужин одобрил меня.

Дней через десять, возвращаясь домой, я в дверях столкнулся с жандармом. Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову, и потому не без особенно неприятного чувства ждал я, что он мне скажет; он подал мне пакет. Граф Орлов извещал о высочайшем повелении снять надзор. С тем вместе я получал *право на заграничный* пасс.

Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Я отпущен в страны чужие!
Да это, полно ли, не сон?

Нет! Завтра ж кони почтовые
И я скачу von Ort zu Ort[361]
Отдавши деньги за паспорт.
Поеду. Что-то будет там?..
Не знаю! верю! но темно
Грядущее перед очами,
Бог весть, что мне сулит оно!
Стою со страхом пред дверями
Европы. Сердце так полно
Надеждой, смутными мечтами,
Но я в сомнении, друг мой,
Качаю грустной головой.
(«Юмор», ч. II)

«…Шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи… Мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались.

Был уж вечер, возок заскрипел по снегу… Вы смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все были налицо, одного только недоставало — ближайшего из близких, он один был болен и как будто своим отсутствием омыл руки в моем

[361] Сноски: 361
из города в город (*нем.*).

отъезде.

Это было 21 января 1847 года…»

Дней через десять мы были на границе.

…Унтер-офицер отдал мне пассы, небольшой, старый солдат в неуклюжем кивере, покрытом клеенкой, и с ружьем неимоверной величины и тяжести, поднял шлагбаум; уральский казак с узенькими глазками и широкими скулами, державший поводья своей небольшой лошаденки, шершавой, растрепанной и сплошь украшенной ледяными сосульками, подошел ко мне «пожелать счастливого пути»; грязный, худой и бледный жиденок-ямщик, у которого шея была обвернута раза четыре какими-то тряпками, взбирался на козлы.

— Прощайте! Прощайте! — говорил, во-первых, наш старый знакомец Карл Иванович, проводивший нас до Таурогена, и кормилица Таты, красивая крестьянка, заливавшаяся слезами.

Жиденок тронул коней, возок двинулся; я смотрел назад, шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу, поднимая как-то вкось хвост и гриву казацкой лошади.

Кормилица в сарафане и душегрейке все еще смотрела нам вслед и плакала; Зонненберг, этот образчик родительского дома, эта забавная

фигура из детских лет, махал фуляром; кругом бесконечная степь снегу.

— Прощай, Татьяна! Прощайте, Карл Иванович!

Вот столб и на нем обсыпанный снегом *одноглавый* и худой орел с растопыренными крыльями… и то хорошо — одной головой меньше.

Прощайте!

Н. Х. Кетчер (1842–1847)

Мне приходится говорить о Кетчере опять, и на этот раз гораздо подробнее.

Возвратившись из ссылки, я застал его попрежнему в Москве. Он, впрочем, до того сросся и сжился с Москвой, что я не могу себе представить Москву без него или его в каком-нибудь другом городе. Как-то он попробовал перебраться в Петербург, но не выдержал шести месяцев, бросил свое место и снова явился на берега Неглинной, в кофейной Бажанова, проповедовать вольный образ мысли офицерам, играющим на бильярде, поучать актеров драматическому искусству, переводить Шекспира и любить

до притеснения прежних друзей своих. Правда, теперь у него был и новый круг, т. е. круг Белинского, Бакунина; но хотя он их и поучал денно и нощно, но душою и сердцем все же держался нас.

Ему было тогда лет под сорок, но он решительно остался старым студентом. Как это случилось? Это-то и надобно проследить.

Кетчер по всему принадлежит к тем странным личностям, которые развились на закраине петровской России, особенно после 1812 года, как ее последствие, как ее жертвы и косвенно как ее выход. Люди эти сорвались с общего пути — тяжелого и безобразного — и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этом искании останавливались. В этой пожертвованной шеренге черты очень розны: не все похожи на Онегина или на Печорина, не все — лишние и праздные люди, а есть люди трудившиеся и ни в чем не успевшие, — люди неудавшиеся. Мне тысячу раз хотелось передать ряд своеобразных фигур, резких портретов, снятых с натуры, и я невольно останавливался, подавленный материалом. В них ничего нет стадного, рядского, чекан розный, одна общая связь связует их, или, лучше, одно *общее несчастие;* вглядываясь

в темно-серый фон, видны солдаты под палками, крепостные под розгами, подавленный стон, выразившийся в лицах, кибитки, несущиеся в Сибирь, колодники, плетущиеся туда же, бритые лбы, клейменые лица, каски, эполеты, султаны… словом, петербургская Россия. Ею они несчастны, и нет сил ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь делу. Они хотят бежать с полотна и не могут: земли нет под ногами; хотят кричать — языка нет… да нет и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этом потерянном равновесии больше развивалось оригиналов и чудаков, чем практически полезных людей, чем неутомимых работников, что в их жизни было столько же неустроенного и безумного, как хорошего и чисто человеческого.

Отец Кетчера был инструментальный мастер. Он славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Он умер рано, оставив большую семью на руках вдовы и очень расстроенные дела. Происхождением он был, кажется, швед. Стало, об истинной связи с народом, о той непосредственной связи, которая всасывается с молоком, с первыми играми, даже в господском доме, — не может быть и речи. Общество иностранных производителей, инду-

стриалов, ремесленников и их хозяев составляет замкнутый круг, жизнию, привычками, интересами, всем на свете отделенный и от верхнего и от низшего русского слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнее и чище, чем дикая тирания и затворнический разврат нашего купечества, чем печальное и тяжелое пьянство мещан, чем узкая, грязная и основанная на воровстве жизнь чиновников, но тем не меньше она совершенно чуждая окружающему миру… иностранная… дающая с самого начала другой pli и другие основы.

Мать Кетчера была русская — вероятно, оттого Кетчер и не сделался иностранцем. В воспитание детей я не думаю, чтоб она входила, но чрезвычайно важно было то, что дети были крещены в православной вере, т. е. не имели никакой. Будь они лютеране или католики, они совсем бы отошли на немецкую сторону, они бы ходили в ту или другую кирку и вступили бы незаметно в выделяющуюся, обособляющуюся Gemeinde[362] с ее партиями, приходскими интересами. В русскую церковь, конечно, Кетчера никто не посылал; сверх того, если он иногда и хаживал ребенком,

[362] Сноски: 362
общину (*нем.*).

то она не имеет того паутинного свойства, как ее сестры, особенно на чужбине.

Надобно вспомнить, что время, о котором идет речь, вовсе не знало судорожного православия. Церковь, как и государство, не защищались тогда чем ни попало, не ревновали о своих правах, может, потому, что никто не нападал. Все знали, какие это два зверя, и не клали пальца им в рот. Зато и они не хватали прохожих за ворот, сомневаясь в их православии или не доверяя их верноподданничеству. Когда в Московском университете учредили кафедру богословия, старик профессор Гейм, памятный лексиконами, с ужасом говорил в университетской «ауле»[363]: «Es ist ein Ende mit der großen Hochschule Rutheniae»[364]. Даже свирепая холера изуверства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (как всё у нас), Магницкого и Рунича, пронеслась зловредной тучей, побила народ, попавшийся на дороге, и исчезла, воплощаясь в разных Фотиев и графинь. В гимназиях и школах катехизис преподавали для формы и для экзамена, который постоянно начинался с «закона Божия».

---

[363] Сноски: 363
актовом зале (*лат.* aula).

[364] Сноски: 364
«Пришел конец высшей школе в России» (*нем.*).

Когда пришло время, Кетчер поступил в Медико-хирургическую академию. Это было тоже чисто иностранное заведение, и тоже не особенно православное. Там проповедовал Just-Christian Loder — друг Гёте, учитель Гумбольдта, один из той плеяды сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этих людей наука была еще религией, пропагандой, войной, им самим свобода от теологических цепей была нова, они еще помнили борьбу, они верили в победу и гордились ею. Лодер никогда не согласился бы читать анатомию по Филаретову катехизису. Возле него стояли Фишер Вальдегеймский и оператор Гильтебрант, о которых я говорил в другом месте, и разные другие немецкие адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты. «Ни слова русского, ни русского лица». Все русское было отодвинуто на второй план. Одно исключение мы только и помним — это Дядьковский. Кетчер чтил его память — и он, вероятно, имел хорошее влияние на студентов; впрочем, медицинские факультеты и в позднейшее время жили не общей жизнью университетов: составленные из двух наций — немцев и семинаристов — они занимались своим *делом.*

Этого *дела* показалось мало Кетчеру, и это — лучшее доказательство тому, что он не был немец и не искал прежде всего профессии.

Особенной симпатии к своему домашнему кругу он не мог иметь, с молодых лет любил он жить особняком. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Он принялся читать — и читать Шиллера.

Кетчер впоследствии перевел всего Шекспира, но Шиллера с себя стереть не мог.

Шиллер был необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Макс, Карл Моор и Фердинанд, студенты, разбойники-студенты — все это протест первого рассвета, первого негодования. Больше деятельный сердцем, чем умом, Кетчер понял, овладел поэтической рефлекцией Шиллера, его революционной философией в диалогах, и на них остановился, он был удовлетворен, критика и скептицизм были для него совершенно чужды.

Через несколько лет после Шиллера он попал на другое чтение — и нравственная жизнь его была окончательно решена. Все остальное проходило бесследно, мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедия в шиллеровском роде, с рефлекциями

и кровью, с мрачными добродетелями и светлыми идеалами, с тем же характером рассвета и протеста — поглотили его. Отчета Кетчер и тут себе не давал. Он брал Французскую революцию, как библейскую легенду; он верил в нее, он любил ее лица, имел личные к ним пристрастия и ненависти; за кулисы его ничто не звало.

Таким я его встретил в 1831 году у Пассека и таким оставил в 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель… не романтический, а, так сказать, этико-политический, вряд мог ли найти в тогдашней Медико-хирургической академии ту среду, которую искал. Червь точил его сердце, и врачебная наука не могла заморить его… Отходя от окружавших людей, он больше и больше вживался в одно из тех лиц, которыми было полно его воображение. Наталкиваясь везде на совсем другие интересы, на мелких людишек, он стал дичать, привык хмурить брови, говорить без нужды горькие истины, и истины всем известные, старался жить каким-то лафонтеновским «Зондерлингом»[365], каким-то «Робинсоном в Сокольниках». В небольшом саду их дома была беседка; туда перебрался «лекарь

---

[365] Сноски: 365
«Чудаком» (*нем.* Sonderling).

Кетчер и принялся переводить лекаря Шиллера», как в те времена острил Н. А. Полевой. В беседке дверь не имела замка… в ней было трудно повернуться. Это-то и было надобно. Утром копался он в саду, сажал и пересаживал цветы и кусты, даром лечил бедных людей в околотке, правил корректуру «Разбойников» и «Фиеско» и, вместо молитвы на сон грядущий, читал речи Марата и Робеспьера. Словом, если б он меньше занимался книгами и больше заступом, он был бы тем, чем желал бы Руссо, чтоб был каждый.

С нами Кетчер сблизился через Вадима в 1831 году. В нашем кружке, состоявшем тогда, сверх нас двоих, из Сазонова, Сатина, старших Пассеков и еще двух-трех студентов, он увидел какой-то зачаток исполнения своих заветных мечтаний, новые всходы на плотно скошенной ниве в 1826 — и потому горячо к нам придвинулся. Постарше нас, он вскоре овладел «цензурой нравов» и не давал нам делать шагу без замечаний, а иногда и выговора. Мы верили, что он практический человек и опытный больше нас; сверх того, мы любили его, и очень. Занемогал ли кто, Кетчер являлся сестрой милосердия и не оставлял больного, пока тот оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и других, Кетчер

первый пробрался к ним в казармы, развлекал их, делал им поручения и дошел до того, что жандармский генерал Лисовский его призывал и внушал ему быть осторожнее и вспомнить свое звание (штаб-лекаря!). Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег, и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара. Знака долго не подавали… Надеждин уныл и пал духом. Кетчер стоически утешал его — отчаяние и утешение подействовали на Надеждина оригинально: он задремал. Кетчер насупил брови и мрачно ходил по бульвару.

— Она не придет, — говорил Надеждин спросонья, — пойдемте спать.

Кетчер вдвое насупил брови, мрачно покачал головой и повел сонного Надеждина домой. Вслед за ними вышла и девушка в сени своего дома, и условленный знак был повторен не один, а десять раз, и ждала она час, другой… все тихо, она сама — еще тише — возвратилась в свою комнату, вероятно, поплакала, но зато радикально

вылечилась от любви к Надеждину. Кетчер долго не мог простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, с дрожащей нижней губой, говорил: «Он ее не любил!»

Участие Кетчера во время нашего тюремного заключения, во время моей женитьбы рассказано в других местах. Пять лет, которые он оставался почти один — 1834–1840 — из нашего круга в Москве, он с гордостью и доблестью представлял его, храня нашу традицию и не изменяя ни в чем ни йоты. Таким мы его и застали, кто в 1840, кто в 1842… в нас ссылка, столкновение с чуждым миром, чтение и работа изменили многое. Кетчер, неподвижный представитель наш, остался тот же. Только вместо Шиллера переводил Шекспира.

Одна из первых вещей, которой занялся Кетчер, чрезвычайно довольный, что старые друзья съезжались снова в Москву, состояла в возобновлении своей цензуры morum[366]… и тут оказались первые шероховатости, которых он долго не замечал. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоедала. Прежняя жизнь кипела так быстро и шла так обще, что

---

[366] Сноски: 366
нравов (*лат.*).

никто не обращал внимания на маленькие камешки по дороге. Время, как я сказал, изменило многое, личности развились резче, развились розно, и роль доброго, но ворчащего дяди часто была хуже чем смешна; все старались повернуть в смешное, покрыть его дружбой, его чистыми намерениями ненужную искренность и обличительную любовь, и делали очень дурно. Да дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если б его останавливали с самого начала, не выросли бы те несчастные столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь в начале 1847 года.

Впрочем, новые друзья не совсем были так снисходительны, как мы, и сам Белинский, очень любивший его, выбившись иной раз из сил и столько же не терпевший несправедливости, как сам Кетчер, давал ему резкие уроки, на целые месяцы переставая с ним спорить. Холодным или равнодушным Кетчер никогда не бывал. Он был постоянно в пароксизме преследования или в припадке любви, быстро переходя из самого горячего друга в уголовного судью, — из этого ясно, что он всего менее выносил холод и молчание.

Тотчас после ссоры или ряда крупных об-

винений Кетчер развлекался, гнев проходил бесследно, вероятно, внутренно бывал он недоволен собой, но никогда не сознавался — напротив, он старался всему придать вид шутки и опять переходил за те пределы, за которыми шутка не веселит. Это было вечное повторение знаменитого «гусака» в примирении Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Кто не видал детей, которые, закусив удила, нервно не могут остановиться в какой-нибудь шалости; уверенность в том, что будет наказание, как будто усиливает искушение. Чувствуя, что успел снова додразнить кого-нибудь до холодных и колких ответов, он окончательно возвращался в мрачное расположение духа, поднимал брови, ходил большими шагами по комнате, становился трагическим лицом из шиллеровских драм, присяжным из суда Фукье-Тенвиля, произносил свирепым голосом ряд обвинений на всех нас, — обвинений, не имевших ни малейшего основания, сам под конец убеждался в них и, подавленный горем, что его друзья такие мерзавцы, уходил угрюмо домой, оставляя нас ошеломленными, взбешенными до тех пор, пока гнев ложился на милость, и мы хохотали, как сумасшедшие.

На другой день Кетчер с раннего утра, тихий

и печальный, ходил из угла в угол, свирепо дымя трубкой и ожидая, чтоб кто-нибудь из нас приехал побранить его и помириться; мирился он, разумеется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательного, строгого дяди. Если же никто не являлся, то Кетчер, затая в груди смертельный страх, шел печально в кофейную на Неглинной или в светлую, покойную гавань, в которой всегда встречал его добродушный смех и дружеский прием, т. е. отправлялся к М. С. Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая им, уляжется; он, разумеется, жаловался М. С. на нас; добрый старик мылил ему голову, говорил, что он порет дичь, что мы совсем не такие злодеи, как он говорит, и что он его сейчас повезет к нам. Мы знали, как Кетчер мучился после своих выходок, понимали или, лучше, прощали то чувство, почему он не говорил прямо и просто, что виноват, и стирали по первому слову дочиста следы размолвки. В наших уступках на первом плане участвовали дамы, становившиеся почти всегда его заступницами. Им нравилась его открытая простота (он и их не щадил), доходившая до грубости, как странность; видя их потворство, Кетчер убедился, что так и следует поступать, что это мило и что, сверх того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры в Покровском иногда бывали полнейшего комизма — а все-таки оставляли на целые дни длинную, серую тень.

— Отчего кофей так дурен? — спросил я у Матвея.

— Его не так варят, — отвечал Кетчер и предложил свою методу. Кофей вышел такой же.

— Давайте сюда спирт и кофейник, я сам сварю, — заметил Кетчер и принялся за дело. Кофей не поправлялся, я заметил это Кетчеру. Кетчер попробовал и, уже несколько взволнованным голосом и устремив на меня свой взгляд из-под очков, спросил:

— Так, по-твоему, этот кофей не лучше?

— Нет.

— Однако ж это удивительно, что ты в едакой мелочи не хочешь отказаться от своего мнения.

— Не я, а кофей.

— Это, наконец, из рук вон, что за несчастное самолюбие!

— Помилуй, да ведь не я варил кофей, и не я делал кофейник…

— Знаю я тебя… лишь бы поставить на своем. Какое ничтожество — из-за поганого кофея — адское самолюбие!

Больше он не мог; удрученный моим деспо-

тизмом и самолюбием во вкусе, он нахлобучил свой картуз, схватил лукошко и ушел в лес. Он воротился к вечеру, исходивши верст двадцать; счастливая охота по белым грибам, березовикам и масленкам разогнала его мрачное расположение; я, разумеется, не поминал о кофее и делал разные вежливости грибам.

На следующее утро он попытался было снова поставить кофейный вопрос, но я уклонился.

Один из главных источников наших препинаний было воспитание моего сына.

Воспитание делит судьбу медицины и философии: все на свете имеют об них определенные и резкие мнения, кроме тех, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройке моста, об осушении болота — человек откровенно скажет, что он не инженер, не агроном. Заговорите о водяной или чахотке — он предложит лекарство по памяти, понаслышке, по опыту своего дяди, но в воспитании он идет далее. «У меня, говорит, такое правило, и я от него никогда не отступаю; что касается до воспитания, я шутить не люблю… это предмет слишком близкий к сердцу».

Какие понятия о воспитании должен был иметь Кетчер, можно вывести до последней

крайности из того очерка его характера, который мы сделали. Тут он был последователен себе — обыкновенно толкующие о воспитании и этого не имеют. Кетчер имел эмилевские понятия и твердо веровал, что ниспровержение всего, что теперь делается с детьми, было бы само по себе отличное воспитание. Ему хотелось исторгнуть ребенка из *искусственной* жизни и сознательно возвратить его в дикое состояние, в ту первобытную независимость, в которой равенство простирается так далеко, что различие между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки от этого взгляда, но у него он делался, как все, однажды усвоенное им, фанатизмом, не терпящим ни сомнения ни возражения. В противудействии старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанию с его догматизмом, доктринаризмом, натянутым, педантским классицизмом и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась действительная и справедливая потребность. По несчастию, в деле воспитания, как во всем, крутой и революционный путь, зря ломая старое, ничего не давал в замену. Дикий предрассудок нормального человека, к которому стремились последователи

Жан-Жака, отрешал ребенка от исторической среды, делал его в ней иностранцем, как будто воспитание не есть привитие родовой жизни лицу.

Споры о воспитании редко велись на теоретическом поле… прикладное было слишком близко. Мой сын — тогда ему было лет семь-восемь — был слабого здоровья, очень подвержен лихорадкам и кровавым поносам. Это продолжалось до нашей поездки в Неаполь или до встречи в Сорренто с одним неизвестным доктором, который изменил всю систему леченья и гигиены. Кетчер хотел его закалить сразу, как железо, я не позволял, и он выходил из себя.

— Ты консерватор! — кричал он с неистовством, — ты погубишь несчастного ребенка! Ты сделаешь из него изнеженного барича и вместе с тем раба.

Ребенок шалил и кричал во время болезни матери, я останавливал его; сверх простой необходимости, мне казалось совершенно справедливым заставлять его стеснять себя для другого, для матери, которая его так бесконечно любила; но Кетчер мрачно говорил мне, затягиваясь до глубины сердечной «Жуковым»:

— Где твое право останавливать его крик — он

должен кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!

Размолвки эти, как я ни брал их легко, делали тяжелыми наши отношения и грозили серьезным отдалением между Кетчером и его друзьями. Если б это было, он больше всех был бы наказан и потому, что он все же был очень привязан ко всем, и потому, что он мало умел жить один. Его нрав был по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему был необходим. Самый труд его был постоянной беседой с *другим,* и этот другой был Шекспир. Проработавши целое утро, ему становилось скучно. Летом он еще мог бродить по полям, работать в саду, но зимой оставалось надеть знаменитый плащ или верблюжьего цвета шероховатое пальто и идти из-под Сокольников к нам на Арбат или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила от этого отсутствия внутренней работы, поверки, разбора, приведения в ясность, приведения в вопрос; для него вопросов не было: дело решенное — и он шел вперед, не оглядываясь. Может, если б он был призван на практическое дело, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмешательство в общественные дела было невоз-

можно: у нас в них мешаются только первые три класса, и он свою жажду дела перенес на частную жизнь друзей. Мы избавлялись от пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой, Кетчер решал все вопросы sommairement[367] сплеча, так или иначе — все равно, а решивши, продолжал, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо верным своему решению.

При всем том серьезного отдаления до 1846 между нами не было. Natalie очень любила Кетчера, с ним неразрывна была память 9 мая 1838 года; она знала, что под его ежовыми колючками хранилась нежная дружба, и не хотела знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни. Ссора с Кетчером представлялась ей чем-то зловещим; ей казалось, если время может подпилить, и притом такой маленькой пилкой, одно из колец, так крепко державшихся во всю юность, то оно примется за другие — и вся цепь рассыпется. Середь суровых слов и жестких ответов я видел, как она бледнела и просила взглядом остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало Кетчера, но он употреблял гигантские усилия,

[367] Сноски: 367
в целом (*фр.*).

чтоб показать, что ему, в сущности, все равно, что он готов примириться, но, пожалуй, будет продолжать ссору…

На этом можно было бы годы продлить странное, колебавшееся отношение карающей дружбы и дружбы уступающей… но новые обстоятельства, усложнившие жизнь Кетчера, повели дела круче.

У него был свой роман, странный, как всё в его жизни, и заставивший его быстро осесть в довольно топкой семейной сфере.

Жизнь Кетчера, сведенная на величайшую простоту, на элементарные потребности студентского бездомовья и кочевья по товарищам, вдруг изменилась. У него *в доме* явилась женщина, или, вернее, у него *явился дом*, потому что в нем была женщина. До тех пор никто не предполагал Кетчера семейным человеком, в своем chez soi[368], — его, любившего до того все делать беспорядочно — ходя закусывать, курить между супом и говядиной, спать не на своей кровати, — что Конст. Аксаков замечал шутя, что «Кетчер отличается от людей тем, что люди обедают, а Кетчер ест», — у него-то вдруг ложе, свой очаг,

---

[368] Сноски: 368
домашнем кругу (*фр.*).

своя крыша!

Случилось это вот как.

За несколько лет до того Кетчер, ходя всякий день по пустынным улицам между Сокольниками и Басманной, стал встречать бедную, почти нищую девочку; утомленная, печальная, возвращалась она этой дорогой из какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застенчива и жалка; ее существование никем не было замечено… ее никто *не жалел*… Круглая сирота, она была принята ради имени Христова в какой-то раскольнический скит, там выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, без защиты, без опоры, одна на свете. Кетчер стал с ней разговаривать, приучил ее не бояться себя, расспрашивал ее о ее печальном ребячестве, о ее горемычном существовании. В нем первом она нашла участие и теплоту и привязалась к нему душой и телом. Его жизнь была одинока и сурова: за всеми шумами приятельских пиров, московских первых спектаклей и бажановской кофейной была пустота в его сердце, в которой он, конечно, не признался бы даже себе самому, но которая сказывалась. Бедный, невзрачный цветок сам собою падал на его грудь — и он принял его, не очень думая о последствиях и, ве-

роятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

В лучших и развитых людях для женщин все еще существует что-то вроде электорального[369] ценса и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. С ними не женировались[370] мы все… и потому бросить камень вряд посмеет ли кто-нибудь.

Сирота безумно отдалась Кетчеру. Недаром воспиталась она в раскольническом скиту — она из него вынесла способность изуверства, идолопоклонства, способность упорного, сосредоточенного фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтила, чего боялась, чему повиновалась — Христос и Богоматерь, святые угодники и чудотворные иконы — все это теперь было в Кетчере, в человеке, который первый пожалел, первый приласкал ее. И все это было вполовину скрыто, погребено… не смело обнаружиться.

…У ней родился ребенок; она была очень больна, ребенок умер… Связь, которая должна была скрепить их отношения, лопнула. Кетчер стал

---

[369] Сноски: 369
избирательного (*фр.* électoral).

[370] Сноски: 370
стеснялись (*фр.* se gêner).

холоднее к Серафиме, видался реже и наконец совсем оставил ее. Что это дикое дитя «не разлюбит его даром», можно было смело предсказать. Что же у ней оставалось на всем белом свете, кроме этой любви?.. Разве броситься в Москву-реку. Бедная девушка, оканчивая дневную работу, едва покрытая скудным платьем, выходила, не смотря ни на ненастье, ни на холод, на дорогу, ведущую к Басманной, и ждала часы целые, чтоб встретить его, проводить глазами и потом плакать, плакать целую ночь; большею частью она пряталась но иногда кланялась ему и заговаривала. Если он ласково отвечал, Серафима была счастлива и весело бежала домой. О своем же «*несчастии*», о своей любви она говорить стыдилась, и не смела. Так прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. В 1845 Кетчер переселился в Петербург. Это было свыше сил. Не видать его даже на улице, не встречать издали и не проводить глазами, знать, что он за семьсот верст между чужими людьми, и не знать, здоров ли он и не случилось ли с ним какой беды — этого вынести она не могла. Без всяких пособий и помощи, Серафима начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилия на одной цели, работала

месяцы, исчезла и добралась-таки до Петербурга. Там, усталая, голодная, исхудалая, она явилась к Кетчеру, умоляя его, чтоб он не оттолкнул ее, чтоб он ее простил, что дальше ей ничего не нужно: она найдет себе угол, найдет черную работу, будет жить на хлебе и воде — лишь бы остаться в том городе, где он, и иногда видеть его. Тогда только Кетчер вполне понял, что за сердце билось в ее груди. Он был подавлен, потрясен. Жалость, раскаяние, сознание, что он так любим, изменили роли: теперь она останется здесь у него, это будет ее дом, он будет ее мужем, другом, покровителем. Ее мечтания сбылись: забыты холодные осенние ночи, забыт страшный путь и слезы ревности, и горькие рыданья: она с ним и уже наверное не расстанется больше… живая. До приезда Кетчера в Москву никто не знал всей этой истории, разве один Михаил Семенович; теперь скрыть ее было невозможно и не нужно: мы двое и весь наш круг приняли с распростертыми объятиями этого дичка, сделавшего геройский подвиг.

И эта-то девушка, полная любви, с своей безусловной преданностью, покорностью, наделала Кетчеру бездну вреда. На ней было все благословение и все проклятие, лежащее на пролетариате, — да еще особенно на нашем.

В свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она Кетчеру.

И то и другое в совершенном неведении и с безусловной чистотой намерений!

Она окончательно испортила жизнь Кетчера, как ребенок портит кистью хорошую гравюру, воображая, что он ее раскрашивает. Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы — дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь, — и она, воспитывавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России, во всем фанатизме сектаторства, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта. Связывая вновь необыкновенной силой воли порванные концы, она крепко держалась за узел.

Ускользнуть Кетчер уже не мог. Но он и не хотел этого. Упрекая себя в прошедшем, Кетчер

искренно стремился загладить его, подвиг Серафимы увлек его. Склоняясь перед ним, он знал, что, в свою очередь, и он делает жертву; но, натура в высшей степени честная и благородная, он был рад ей как искуплению. Только знал-то он одну материальную сторону ее, фактическое стеснение жизни… о противуречии сожития старого студента с шиллеровскими мечтами — с женщиной, для которой не только мир Шиллера не существовал, но и мир грамотности, мир всего светского образования, — ему и в голову не приходило.

Что ни говори и ни толкуй, но пословица inter pares amicitia[371] совершенно верна, и всякий mésalliance[372] — вперед посеянное несчастие. Много глупого, надменного, буржуазного разумелось под этим словом, но сущность его истинна. В худшем из всех неравенств — в неравенстве развития — одно спасение и есть: воспитание одного лица другим; но для этого надобно два редкие дара: надобно, чтоб один умел воспитывать, а другой умел воспитываться, чтоб один вел, другой шел. Гораздо чаще неразвитая лич-

[371] Сноски: 371
между равными дружба (*лат.*).

[372] Сноски: 372
неравный брак (*фр.*).

ность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов, одолевает; человека возьмет одурь, усталь, он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокоивается, запутанный нитками и тесемками. Бывает и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитие превращается в консолидированную войну, в вечное единоборство, в котором лица крепнут и остаются на веки веков в бесплодных усилиях, с одной стороны, поднять и, с другой — стянуть, т. е. отстоять свое место. При равных силах этот бой поглощает жизнь и самые крепкие натуры истощаются и падают обессиленными середь дороги. Падает всего прежде натура развитая — ее эстетическое чувство глубоко оскорблено двойным строем, лучшие минуты, в которые все звонко и ярко, ей отравлены… Экспансивные люди страстно требуют, чтоб все близкое им было близко их мысли, их религии. Это принимается за нетерпимость. Для них прозелитизм дома — продолжение апостольства, пропаганды; их счастие оканчивается там, где их не понимают… а чаще всего их не хотят понять.

Позднее воспитание сложившейся женщины — дело очень трудное, особенно трудное в тех

сожитиях, которыми оканчиваются, а не начинаются близкие отношения. Связи, легко, ветрено начатые, редко подымаются выше спальной и кухни. Общая крыша слишком поздно покрывает их, чтоб под ней можно было учиться, разве какое-нибудь страшное несчастие разбудит душу спящую, но способную проснуться. По большей части la petite femme[373] никогда не делается *большой*, никогда не делается женой и сестрой вместе. Она остается или любовницей и лореткой или делается кухаркой и любовницей.

Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность. Но одинаковость развития сглаживает многое. А когда его нет, а есть праздный досуг, нельзя вечно пороть вздор, говорить о хозяйстве или любезничать; а что же делать с женщиной, когда она — что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо телесно близкое и умственно далекое.

---

[373] Сноски: 373
маленькая жена (*фр.*).

Ее не нужно днем, а она беспрестанно тут; мужчина не может делить с ней своих интересов, она не может не делить с ним своих сплетен.

Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона: она отрезывает его силу, и от нее никак не отстережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в десять часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, в которое белье сочтено и расход проверен. Вот в эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков. Бесследным это не остается.

Бывают прочные отношения сожития мужчины с женщиной без особенного равенства развития, основанные на удобстве, на хозяйстве, я почти скажу, на гигиене. Иногда это — рабочая ассоциация, взаимная помощь, соединенная с взаимным удовольствием; большей частию жена берется как сиделка, как добрая хозяйка, «pour avoir un bon pot-au-feu»[374], как говорил мне Прудон. Формула старой юриспруденции очень

---

[374] Сноски: 374
«чтобы иметь хороший обед» (*фр.*).

умна: a mensa et toro[375], — уничтожь общий стол и общую кровать, они и разойдутся с покойной совестью.

Эти деловые браки — чуть ли не лучшие. Муж постоянно в своих занятиях, ученых, торговых, в своей канцелярии, конторе, лавке — жена постоянно в белье и припасах. Муж возвращается усталый — все готово у него, и все идет шагом и маленькой рысцой к тем же воротам кладбища, к которым доехали родители. Это явление чисто городское[376]; в Англии оно является чаще, чем где-либо; это та среда мещанского счастья, о котором проповедовали моралисты французской сцены, о котором мечтают немцы; в ней легче уживаются разные степени развития через год после окончания курса в университете, тут есть разделение труда и чинопочитание. Муж, особенно при капитале, делается тем, чем его назвал смысл народный — *хозяин*, «mon bourgeois» своей жены. Этим путем, и благодаря законам о наследстве, он не зарастет травой: всякая женщина

---

[375] Сноски: 375

от стола и ложа (*лат.*).

[376] Сноски: 376

Ни у пролетария, ни у крестьян нет между мужем и женой двух разных образований, а есть тяжелое равенство перед работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

постоянно остается *женщиной на содержании*, если не у постороннего, то у своего мужа. Она это знает.

Dessen Brot man ißt,
Dessen Lied man singt[377].

Но в этих браках есть свое нравственное единство, есть свое одинакое воззрение, свои одинакие цели. Кетчер сам цели не имел и равно не мог быть ни «хозяином», ни воспитателем. Он не мог с Серафимой даже бороться — она всегда уступала. Своим криком, своим строптивым характером он запугал ее. При ее развитом сердце — у нее было тяжелое, упирающееся пониманье, та неповоротливость мозга, которую мы часто встречаем в людях, совершенно не привыкнувших к отвлеченной работе, и которая составляет одну из отличительных черт допетровских времен. Соединенная с своим «кровным, болезным», она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бедности? Да разве она всю жизнь не была бедна, разве она не вынесла нищету — эту бедность с унижением? Работы? Разве она не работала с утра до ночи

[377] Сноски: 377
Чей хлеб ешь, того песню поешь (*нем.*).

в мастерской за несколько грошей? Ссоры, разлуки? Да, последнее было страшно, и очень, но она до такой степени отказалась от всякой воли, что трудно было с ней в самом деле поссориться, а каприз она вынесла бы; пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть уверенной, что он ее хоть немного любит и не хочет с ней расстаться. И он этого не хотел, и на это, сверх всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьем любви Серафима. Темно сознавая, что она не может вполне удовлетворить Кетчера, она стала заменять чего в ней не было — постоянным уходом и заботливостью.

Кетчеру было за сорок лет. В отношении к домашнему комфорту он не был избалован. Он почти всю жизнь прожил дома так, как киргиз в кибитке: без собственности и без желания ее иметь, без всяких удобств и без потребности на них. Исподволь все меняется, он окружен сетью вниманья и услуг, он видит детскую радость, когда он чем-нибудь доволен, ужас и слезы, когда он поднимает брови; и это всякий день, с утра до ночи. Кетчер стал чаще оставаться дома — жаль же было и ее оставлять постоянно одну. К тому же трудно было, чтоб Кетчеру не бросалось в глаза различие между ее совершенной покорно-

стью и возраставшим отпором нашим. Серафима переносила самые несправедливые взрывы его с кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидает, без rancune[378], чтоб туча прошла. Покорная, безответная до рабства, Серафима, трепещущая, готовая плакать и целовать руку, имела огромное влияние на Кетчера. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бедная, глупая Тереза Руссо, разве не сделала из пророка равенства щепетильного разночинца, постоянно занятого сохранением своего достоинства?

Влияние Серафимы на Кетчера приняло ту самую складку, о которой говорит Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо был подозрителен. Тереза развила подозрительность его в мелкую обидчивость и нехотя, без умысла рассорила его с лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умела порядком читать и никогда не могла выучиться узнавать, который час, что ей не помешало довести ипохондрию Руссо до мрачного помешательства.

Утром Руссо заходит к Гольбаху; человек приносит завтрак и три куверта: Гольбаху, его жене

---

[378] Сноски: 378
злобы (*фр.*).

и Гримму; в разговоре никто не замечает этого, кроме Жан-Жака. Он берет шляпу. «Да останьтесь же завтракать», говорит г-жа Гольбах и велит подать прибор; но уже поправлять поздно: Руссо, желтый от досады, бежит, мрачно проклиная род человеческий, к Терезе и рассказывает, что ему не поставили тарелки, намекая, чтоб он ушел. Ей такие рассказы по душе; в них она могла принять *горячее* участие: они ставили ее на одну доску с ним и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на M-me Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерывает связи, пишет безумные и оскорбительные письма, вызывает иногда страшные ответы (например, от Юма) и удаляется, оставленный всеми, в Монморанси, проклиная, за недостатком людей, воробьев и ласточек, которым бросал зерны.

Еще раз — без равенства нет брака в самом деле. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, — наложница, экономка, нянька, но *не жена* в полном, в благородном значении слова. Гейне говорил о своей «Терезе», что «она не знает и никогда не узнает о том, что он писал». Это находили милым, смешным, и никому не при-

ходило в голову спросить: «Зачем же она была его жена?» Мольер, читавший своей кухарке свои комедии, был во сто раз человечественнее. Зато M-me *Айн* и заплатила, вовсе нехотя, своему мужу. В последние годы его страдальческой жизни она окружила его своими приятельницами и приятелями, увядшими камелиями прошлого сезона, сделавшимися нравственными дамами от морщин, и полинялыми, поседевшими, падшими на ноги друзьями их.

Я нисколько не хочу сказать, что жена непременно должна и делать и любить что делает и любит муж. Жена может предпочитать музыку, а муж — живопись, — это не разрушит равенства. Для меня всегда были ужасны, смешны и бессмысленны официальные таскания мужа и жены, и чем выше, тем смешнее; зачем какой-нибудь императрице Евгении являться на кавалерийское учение и зачем Виктории возить «своего мужчину», le Prince Consort[379], на открытие парламента, до которого ему дела нет. Гёте прекрасно делал, что не возил свою дородную половину на веймарские куртаги. Проза их брака была не в этом, а в отсутствии

---

[379] Сноски: 379
принца-супруга (*фр.*).

всякого общего поля, всякого общего интереса, который бы связывал их помимо полового различия…

Перехожу ко вреду, который мы сделали бедной Серафиме.

Ошибка, сделанная нами, — опять-таки родовая ошибка всех утопий и идеализмов. Верно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого внимания, к чему эта сторона приросла и можно ли ее отделить, — никакого внимания на глубокое сплетение жил, связывающих дикое мясо со всем организмом. Мы всё еще по-христиански думаем, что стоит сказать хромому: «Возьми одр твой и ступай», он и пойдет.

Мы разом перебросили затворницу Серафиму — Серафиму полудикую, не видавшую людей, из ее одиночества в наш круг. Ее оригинальность нравилась, мы хотели ее сберечь и обломили последнюю возможность развития, отняли у нее охоту к нему, уверив ее, *что и так хорошо.* Но оставаться *просто* по-прежнему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы — революционеры, социалисты, защитники женского освобождения — сделали из наивного, преданного, простодушного существа *московскую мещанку!*

Не так ли Конвент, якобинцы и сама коммуна сделали из Франции мещанина, из Парижа — épicier?[380]

Первый дом, открывшийся с любовью, с теплотой сердца, был наш дом. Natalie поехала к ней и силой привезла к нам. С год времени Серафима держалась тихо и дичилась чужих; пугливая и застенчивая, как прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзией. Ни малейшего желания обращать на себя внимание своей странностью — напротив, желание, чтоб ее не заметили. Как дитя, как слабый зверок, она прибегала под крыло Natalie; ее преданности тогда не было границ. Часы целые любила она играть с Сашей и рассказывала ему и нам подробности своего ребячества, своей жизни у раскольников, своих горестей в *ученье*, т. е. в мастерской.

Она сделалась игрушкой нашего круга — это наконец ей понравилось; она поняла, что ее положение, что она сама — *оригинальны*, и с этой минуты она пошла ко дну… Никто не удержал ее. Одна Natalie серьезно думала о том, чтоб развить ее. Серафима не принадлежала к гурто-

---

[380] Сноски: 380
лавочника (*фр.*).

вым натурам, ее миновали множество дрянных недостатков — она не любила рядиться, была равнодушна к роскоши, к дорогим вещам, к деньгам — лишь бы Кетчер не чувствовал нужды, был бы доволен, до остального ей не было дела. Сначала Серафима любила долго-долго говорить с Natalie и верила ей, кротко слушала ее советы и старалась им следовать… Но, оглядевшись, обжившись в нашем круге и, может, подстрекаемая другими, тешившимися ее странностями, она начала показывать страдательную оппозицию и на всякое замечание говорила далеко не наивно: «Уж я такая несчастная… где мне меняться да переделываться? Видно, уж такая глупая и бесталанная и в могилку сойду». В этих словах с ведома или без ведома звучало задетое самолюбие. Она перестала себя чувствовать свободной у нас, реже и реже ходила она к нам. «Бог с ней, с Н. А., — говорила она, — разлюбила она меня, бедную». Панибратство, пансионская фамильярность были чужды Natalie, в ней во всем преобладал элемент покойной глубины и великого эстетического чувства. Серафима не поняла смысла разницы в обхождении с нею Natalie и других и забыла, кто первый протянул ей руку и прижал к сердцу; вместе с ней отдалился и Кетчер, все

больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность Кетчера удвоилась. В каждом неосторожном слове он видел преднамеренность, злой умысел, желание обидеть, и не его одного, а и Серафиму. Она, с своей стороны, плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за Кетчера, и, по закону нравственной реверберации[381], собственные подозрения его возвращались к нему удесятеренными. Его обличительная дружба стала превращаться в желание найти в нас вины, в надзор, в постоянное полицейское следствие, и мелкие недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще все остальные стороны их.

В наш чистый, светлый, совершеннолетний круг стали врываться пересуды девичьей и пикировка провинциальных чиновников. Раздражительность Кетчера становилась заразительной; постоянные обвинения, объяснения, примирения отравляли наши вечера, наши сходки.

Вся эта едкая пыль наседала во все щели и мало-помалу разлагала цемент, соединявший так прочно наши отношения к друзьям. Мы все подверглись влиянию сплетен. Сам Грановский стал угрюм и раздражителен, несправедливо

---

[381] Сноски: 381
отражения (*фр.* réverbération).

защищал Кетчера и сердился. К Грановскому приходил Кетчер с своими обвинениями против меня и Огарева — Грановский не верил им, но, жалея «больного, огорченного и все-таки любящего» Кетчера, запальчиво брал его сторону и сердился на меня за недостаток терпимости.

— Ведь ты знаешь, что у него нрав такой, это болезнь, влияние доброй Серафимы, но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкает его в этот несчастный путь, а ты споришь с ним, как будто он был в нормальном положении.

Чтоб кончить этот грустный рассказ, приведу два примера… В них ярко выразилось, как далеко мы ушли от теории варения кофея в Покровском…

Как-то вечером, весной 1846 года, у нас было человек пять близких знакомых и в том числе Михаил Семенович.

— Нанял ты нынешний год дом в Соколове?

— Нет еще, денег нет, а там надобно платить вперед.

— Неужели же все лето останешься в Москве?

— Подожду немного, потом увидим.

Вот и все. Никто не обратил на этот разговор никакого внимания, и через секунду шла покойно другая речь.

Мы собирались на другой день после обеда съездить в Кунцево, которое любили с детства. Кетчер, Корш и Грановский хотели ехать с нами. Поездка состоялась, и все шло своим порядком, кроме Кетчера, мрачно подымавшего брови; но наконец все были обстреляны.

Вечер был наш, весенний, без палящего жара, но теплый; лист только что развернулся; мы сидели в саду, шутя и разговаривая. Вдруг Кетчер, молчавший с полчаса, встал и, остановясь передо мной, с лицом прокурора фемического суда и с дрожащей от негодования губой, сказал мне:

— А надобно тебе честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнил, что он еще не заплатил тебе девятьсот рублей, которые брал у тебя.

Я истинно ничего не понял, тем больше что наверное год не думал об долге Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать, — старик теперь без денег, с своей огромной семьей, собирается в Крым, а тут ему в присутствии пяти человек говорят: «Нет денег на наем дачи»! Фу, какая гадость!

Огарев вступился за меня, Кетчер накинулся на него; нелепым обвинениям не было конца; Грановский попробовал его унять, не смог и уехал

с Коршем прежде нас. Я был рассержен, унижен и отвечал очень жестко. Кетчер посмотрел исподлобья и, не говоря ни слова, пошел пешком в Москву. Мы остались одни и в каком-то жалком раздражении поехали домой.

Я хотел на этот раз дать сильный урок и если не вовсе прервать, то приостановить сношения с Кетчером. Он раскаивался, плакал, Грановский требовал мира, говорил с Natalie, был глубоко огорчен. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: «Ведь это на три дня».

Вот прогулка, а вот и другая.

Месяца через два мы были в Соколове. Кетчер и Серафима отправлялись вечером в Москву. Огарев поехал их провожать верхом на своей черкесской лошади; не было ни тени ссоры, размолвки.

…Огарев возвратился через два-три часа; мы посмеялись, что день прошел так мирно, и разошлись.

На другой день Грановский, который накануне был в Москве, встретил меня у нас в парке; он был задумчив, грустнее обыкновенного и наконец сказал мне, что у него есть что-то на душе и что он хочет поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сели на лавочке, вид с которой

знают все, бывшие в Соколове.

— Герцен, — сказал мне Грановский, — если б ты знал, как мне тяжело, как больно… как я, несмотря ни на что, всех люблю, ты знаешь… и с ужасом вижу, что все разваливается. И тут, как на смех, мелкие ошибки, проклятое невнимание, неделикатность…

— Да что случилось…. скажи, пожалуйста? — спросил я, действительно испуганный.

— То, что Кетчер взбешен против Огарева, да и, по правде сказать, трудно не быть взбешенным… Я стараюсь, делаю что могу, но сил моих нет, особенно когда люди не хотят ничего сами сделать.

— Да дело-то в чем?

— А вот в чем: вчера Огарев поехал Кетчера и Серафиму провожать верхом.

— При мне было, да и я Огарева видел вечером, он ни слова не говорил.

— На мосту Кортик зашалил, стал на дыбы; Огарев, усмиряя его, с досады выругался при Серафиме, и она слышала… да и Кетчер слышал. Положим, что он не подумал, но Кетчер спрашивает: «Отчего на него не находят рассеянности в присутствии твоей жены или моей?» Что на это сказать?.. и притом, при всей простоте своей,

Серафима очень сюссептибельна[382], что при ее положении очень понятно.

Я молчал — это перешло все границы.

— Что ж тут делать?

— Очень просто: с негодяями, которые в состоянии намеренно забываться при женщине, надобно раззнакомиться. С такими людьми быть близким другом — презрительно…

— Да он не говорит, что Огарев это сделал намеренно.

— Так о чем же речь? И ты, Грановский, друг Огарева, ты, который так знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бред безумного, которого пора посадить в желтый дом. Стыдно тебе.

Грановский смутился.

— Боже мой! — сказал он, — неужели и наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся, любил, куда спасался от гнетущей среды, — неужели и она разойдется в ненависти и злобе?

Он покрыл глаза рукой.

Я взял другую… мне было очень тяжело.

— Грановский, — сказал я ему, — Корш прав:

---

[382] Сноски: 382
обидчива (*фр.* susceptible).

мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг другу в постромки… Gemach! друг мой, Gemach![383] Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края, — мы разойдемся без ненависти и злобы… что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой.

Грановский плакал. С Кетчером по этому делу никаких объяснений не было. Огарев действительно осенью уехал, а вслед за ним и мы.

Laurel House, Putney, 1857. Пер. в Буасьере и на дороге в сентябре 1865.

…Реже и реже доходили до нас вести о московских друзьях. Запуганные террором после 1848, они ждали верной оказии. Оказии эти были редки, паспортов почти не выдавали. От Кетчера — годы целые ни слова; впрочем, он никогда не любил писать.

Первую живую весть, после моего переселения в Лондон, привез в 1855 году доктор Пикулин… Кетчер был в своей стихии, шумел на банкетах в честь севастопольцев, обнимался с Погоди-

---

[383] Сноски: 383
Спокойствие!.. спокойствие! (*нем.*)

ным и Кокоревым, обнимался с черноморскими моряками, шумел, бранился, поучал. Огарев, приехавший прямо со свежей могилы Грановского, рассказывал мало, его рассказы были печальны…

Прошло еще года полтора. В это время была окончена мною эта глава и кому первому из посторонних прочтена? Да — habent sua fata libelli![384]

Осенью 1857 года приехал в Лондон *Чичерин.* Мы его ждали с нетерпением: некогда один из любимых учеников Грановского, друг Корша и Кетчера, он для нас представлял близкого человека. Слышали мы о его жесткости, о консерваторских веллеитетах[385], о безмерном самолюбии и доктринаризме, но он еще был молод… Много угловатого обтачивается теченьем времени.

— Я долго думал, ехать мне к вам или нет. К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть… Я же, как вы знаете, вполне уважая вас, далеко не во всем согласен с вами.

---

[384] Сноски: 384
книги имеют свою судьбу! (*лат.*)

[385] Сноски: 385
стремлениях (*фр.* velléité).

Вот с чего начал Чичерин.

[Он] подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой… Свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. С первых слов я почуял, что это не противник, а враг, но подавил физиологический сторожевой окрик — и мы разговорились.

Разговор тотчас перешел к воспоминаниям и к расспросам с моей стороны. Он рассказывал о последних месяцах жизни Грановского, и, когда он ушел, я был довольнее им, чем сначала.

На другой день после обеда речь зашла о Кетчере. Чичерин говорил об нем как о человеке, которого он любит, беззлобно смеясь над его выходками; из подробностей, сообщенных им, я узнал, что обличительная любовь к друзьям продолжается, что влияние Серафимы дошло до того, что многие из друзей ополчились против нее, исключили из своего общества и пр. Увлеченный рассказами и воспоминаниями, я предложил Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о Кетчере и прочел ее всю. Я много раз раскаивался в этом — не потому, чтоб он во зло употребил читанное мною, а потому, что мне было больно и досадно, что я в сорок пять лет мог

разоблачать наше прошедшее перед черствым человеком, насмеявшимся потом с такой беспощадной дерзостью над тем, что он называл моим «темпераментом».

Расстояния, делившие наши воззрения и наши темпераменты, обозначились скоро. С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним. Можно понять, что́ были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все это учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии.

— Зачем вы хотите быть профессором, — спрашивал я его, — и ищете кафедру? Вы должны быть министром и искать портфель.

Споря с ним, проводили мы его на железную дорогу и расстались, не согласные ни в чем, кро-

ме взаимного уважения.

Из Франции он написал мне недели через две письмо, с восхищением говорил о работниках, об учреждениях. «Вы нашли то, что искали, — отвечал я ему, — и очень скоро. Вот что значит ехать с готовой доктриной». Потом я предложил ему начать печатную переписку и написал начало длинного письма.

Он не хотел, говорил, что ему некогда, что такая полемика будет вредна…

Замечание, сделанное в «Кол<околе>» о доктринерах вообще, он принял на свой счет; самолюбие было задето, и он мне прислал свой «обвинительный акт», наделавший в то время большой шум.

Чичерин кампанию потерял — в этом для меня нет сомнения. Взрыв негодования, вызванный его письмом, напечатанным в «Колоколе», был общим в молодом обществе, в литературных кругах. Я получил десятки статей и писем; одно было напечатано. Мы еще шли тогда в восходящем пути, и катковские бревна трудно было класть под ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом: он был еще нов тогда… Зато со стороны Чичерина стали: Елена Павловна — Ифигения Зимнего дворца, Тимашев,

начальник III отделения, и Н. Х. Кетчер.

Кетчер остался верен реакции, он стал тем же громовым голосом, с тем же откровенным негодованием и, вероятно, с тою же искренностью кричать против нас, как кричал против Николая, Дубельта, Булгарина… И это не потому, чтоб

Грандисона Ловласу предпочла,

а потому, что, носимый без собственного компаса à la remorque[386] кружка, он остался верен ему, не замечая, что тот плывет в противуположную сторону. Человек котерии[387], — для него вопросы шли под знаменем лиц, а не наоборот.

Никогда не доработавшись ни до одного ясного понятия, ни до одного твердого убеждения, он шел с благородными стремлениями и завязанными глазами и постоянно бил врагов, не замечая, что позиции менялись, и в этих-то жмурках бил нас, бил других… бьет кого-нибудь и теперь, воображая, что делает дело.

Прилагаю письмо, писанное мной к Чичерину для начала приятельской полемики, которой

---

[386] Сноски: 386
на буксире (*фр.*).

[387] Сноски: 387
кружка (*фр.* coterie).

помешал его прокурорский обвинительный акт.

My learned friend![388]

Спорить с вами мне невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное, вы уверены *в том, что* знаете, и потому покойны; вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой. С настоящим вы не можете быть в разладе, вы знаете, что если прошедшее было *так и так*, настоящее должно быть *так и так* и привести к *такому-то* будущему; вы примиряетесь с ним вашим пониманием, вашим объяснением. Вам досталась завидная доля священников — утешение скорбящих вечными истинами вашей науки и верой в них. Все эти выгоды вам дает доктрина, потому что доктрина исключает сомнение. Сомнение — открытый вопрос, доктрина — вопрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение никогда не достигает такой резкой законченности — оно потому и сомнение, что готово согласиться с говорящим или добросовестно искать смысл в его

[388] Сноски: 388
Мой ученый друг (*англ.*).

словах, теряя драгоценное время, необходимое на приискивание возражений. Доктрина видит истину под определенным углом и принимает его за единоспасающий угол, а сомнение ищет отделаться от всех углов, осматривается, возвращается назад… и часто парализует всякую деятельность своим смирением перед истиной. Вы, ученый друг, определенно знаете, куда идти, как вести, — я не знаю. И оттого я думаю, что нам надобно наблюдать и учиться, а вам — *учить* других. Правда, мы можем сказать, *как не надобно*, можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль, освободить ее от цепей, улетучить призраки — церкви и съезжей, академии и уголовной палаты — вот и все; но вы можете сказать, *как надобно.*

Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, т. е. отношение *с точки зрения вечности*; временное, преходящее, лица, события, поколения едва входят в Campo Santo[389] науки или входят уже очищенные от *живой жизни,* вроде гербария логических теней. Доктрина в своей всеобщности живет действительно во все времена; она и в своем времени живет,

---

[389] Сноски: 389
кладбище (*ит.*).

как в истории, не портя страстным участием теоретическое отношение. Зная необходимость страдания, доктрина держит себя, как Симеон Столпник, — на пьедестале, жертвуя всем временным — вечному, общим идеям — живыми частностями.

Словом, доктринеры — больше всего историки, а мы вместе с толпой — ваш субстрат; вы — история für sich[390], мы — история an sich[391]. Вы нам объясняете, чем мы больны, но больны мы, вы нас хороните, после смерти награждаете или наказываете… вы — доктора и попы наши. Но больные и умирающие мы.

Этот антагонизм — не новость, и он очень полезен для движения, для развития. Если б род людской мог весь поверить вам, он, может, сделался бы благоразумным, но умер бы от всемирной скуки. Покойный Филимонов поставил эпиграфом к своему «Дурацкому колпаку»: «Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien»[392].

---

[390] Сноски: 390
для себя (*нем.*).

[391] Сноски: 391
в себе (*нем.*).

[392] Сноски: 392
«Если бы разум царил в мире, в нем ничего не происходило бы» (*фр.*).

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ее дают ей обширную возможность обобщений, — она должна бояться впечатлений, и, как Август, приказывать, чтоб Клеопатра опустила покрывало. Но для деятельного вмешательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстен человек не бывает. Всеобщее он понимает, а частное — любит или ненавидит. Спиноза со всею мощью своего откровенного гения проповедовал необходимость считать существенным одно неточимое молью, вечное, неизменное — субстанцию и не полагать своих надежд на случайное, частное, личное. Кто это не поймет в теории? Но только привязывается человек к одному частному, личному, современному, — в уравновешивании этих крайностей, в их согласном сочетании — высшая мудрость жизни.

Если мы от этого общего определения наших противуположных точек зрения перейдем к частным, мы — при одинаковости стремлений — найдем не меньше антагонизма даже в тех случаях, когда мы согласны в начале. Примером это легче объяснить.

Мы совершенно согласны в отношении к рели-

гии, но согласие это идет только на отрицание надзвездной религии, и как только мы являемся лицом к лицу с *подлунной* религией, расстояние между нами неизмеримо. Из мрачных стен собора, пропитанных ладаном, вы переехали в светлое присутственное место, из гвельфов вы сделались гибеллином, чины небесные заменились для вас государственным чином, поглощение лица в Боге — поглощением его в государстве, Бог заменен централизацией и поп — квартальным надзирателем.

Вы в этой перемене видите переход, успех, мы — новые цепи. Мы не хотим быть ни гвельфами, ни гибеллинами. Ваша светская, гражданская и уголовная религия тем страшнее, что она лишена всего поэтического, фантастического, всего детского характера своего, который заменится у вас канцелярским порядком, идолом государства с царем наверху и палачом внизу. Вы хотите, чтобы человечество, освободившееся от церкви, ждало столетья два в передней присутственного места, пока каста жрецов-чиновников и монахов-доктринеров решит, как ему быть вольным и насколько. Вроде наших комитетов об освобождении крестьян. А нам все это противно — мы можем многое допустить, сделать уступку, при-

нести жертву обстоятельствам; но для вас это не жертвы. Разумеется, и тут вы счастливее нас. Утратив религиозную веру, вы не остались ни при чем, и, найдя, что гражданские верования человеку заменяют христианство, вы их приняли — и хорошо сделали — для нравственной гигиены, для покоя. Но лекарство это нам першит в горле, и мы ваше присутственное место, вашу централизацию ненавидим совсем не меньше инквизиции, консистории, Кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу? Вы как учитель хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы как стадо, приходящее к сознанию, не хотим, чтоб нас пасли, а хотим иметь свои земские избы, своих поверенных, своих подьячих, которым поручать хождение по делам. Оттого нас *правительство* оскорбляет на всяком шагу своей властью, а вы ему рукоплещете так, как ваши предшественники, попы, рукоплескали светской власти. Вы можете и расходиться с ним так, как духовенство расходилось или как люди, ссорящиеся на корабле, как бы они ни удалялись друг от друга: за борт вы не уйдете, и для нас, мирян, вы все-таки будете со стороны его.

Гражданская религия — апотеоза государства, идея чисто романская и в новом мире преиму-

щественно французская. С нею можно быть сильным государством, но нельзя быть свободным народом, можно иметь славных солдат… но нельзя иметь независимых граждан. Северо-Американские Штаты, совсем напротив, отняли религиозный характер полиции и администрации до той степени, до которой это возможно.

Эпилог

Перечитывая главу о Кетчере, невольно призадумываешься о том, что за чудаки, что за оригинальные личности живут и жили на Руси! Какими капризными развитиями сочилась и просочилась история нашего образования. Где, в каких краях, под каким градусом широты, долготы возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера, кроме Москвы?

А сколько я их нагляделся — этих оригинальных фигур «во всех родах различных», начиная с моего отца и оканчивая «детьми» Тургенева.

«Так русская печь печет!» — говорил мне Погодин. И в самом деле, каких чудес она не печет, особенно, когда хлеб сажают на немецкий

лад… от саек и калачей до православных булок с Гегелем и французских хлебов à la quatre-vingt-treize![393] Досадно, если все эти своеобычные печенья пропадут бесследно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильных деятелях.

…Но в них меньше видна русская печь, в них ее особенности поправлены, выкуплены, в них больше русского склада да ума, чем печи. Возле них пробиваются, за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившиеся с дороги — вот в их-то числе не оберешься чудаков.

Волосяные проводники исторических течений, капли дрожжей, потерявшихся в опаре, но поднявших ее *не для себя.* Люди, рано проснувшиеся темной ночью и ощупью отправившиеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дороге, — они разбудили других на совсем иной труд.

…Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля от полного забвения. Их уж теперь едва видно из-за серого тумана, из-за которого только и вырезываются вершины гор и утесов…

---

[393] Сноски: 393
девяносто третьего года! (*фр.*)

Эпизод из 1844 года

К нашей второй *виллежиатуре*[394] относится очень характеристический эпизод; его не пометить просто жаль, несмотря на то что я и Natalie участвовали в нем очень мало.

Эпизод этот можно было бы назвать: *Арманс и Базиль — философ из учтивости, христианин из вежливости и Жак Ж. Санд, делающийся Жаком-фаталистом.*

Начался он на французской томболе[395].

Зимой 1843 я поехал на томболу. Публики было бездна, помнится, тысяч пять человек, знакомых почти никого. Базиль шмыгнул с какой-то маской — ему было не до меня, он слегка покачал головой и прищурил ресницы так, как делают знатоки, находя вино превосходным и бекаса удивительным.

Бал был в зале Благородного собрания. Я походил, посидел, глядя, как русские аристократы, переодетые в разных пьеро, ото всей души

---

[394] Сноски: 394
дачной жизни (*фр.* villégiature).

[395] Сноски: 395
лотерее (*ит.* tombola).

усердствовали представить из себя парижских сидельцев и отчаянных канканеров… и пошел ужинать наверх. Там-то меня отыскал Базиль. Он был совершенно не в нормальном положении, а в первом разгаре острого периода любви; он у него был тем острее, что Базилю тогда было около сорока лет и волос начал падать с возвышенного чела… Бессвязно толковал он мне о какой-то французской «Миньоне со всей простотой “Клерхен” и со всей игривой прелестью парижской гризетки…».

Сначала я думал, что это один из тех романов в одну главу, в которых победа на первой странице, — а на последней вместо оглавления счет. Но убедился, что это не так.

Базиль видел свою парижанку во второй или третий раз и вел циркумволюционные линии, не бросаясь на приступ. Он меня познакомил с ней. Арманс действительно была живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся в отца. От ее языка до манер и известной самостоятельности, отваги — все в ней принадлежало благородному плебейству великого города. Она еще была работница, а не мещанка. У нас этот тип никогда не существовал. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и середь всего

чутье самосохранения, чутье опасности и чести. Дети, брошенные иногда с десяти лет на борьбу с бедностью и искушениями, беззащитные, окруженные заразой Парижа и всевозможными сетями, они сами становятся своим провидением и охраной. Такие девушки могут легко отдаться, но взять их невзначай, врасплох трудно. Те из них, которых можно бы было купить, — те до этого круга работниц не доходят: они уже куплены прежде, завертелись, унеслись и исчезли в омуте другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтоб через пять-шесть лет явиться в своей коляске по Longchamp или в первом ярусе оперы в своей ложе — mit Perlen und Diamanten[396].

Базиль был влюблен по уши. Резонер в музыке и философ в живописи, он был один из самых полных представителей московских ультрагегельцев. Он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях. На жизнь он смотрел так, как Речер на Шекспира, возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее, словом, не оставляя в своей непосредственности ни одного движенья

---

[396] Сноски: 396
в жемчугах и бриллиантах (*нем.*).

души. Взгляд этот, впрочем, в разных степенях принадлежал тогда почти всему кружку; иные срывались талантом, другие живостью, но у всех еще долго оставался — у кого жаргон, у кого и самое дело. «Пойдем, — говорил Бакунин Тургеневу в Берлине, в начале сороковых годов, — окунуться в пучину действительной жизни, бросимся в ее волны», — и они пошли просить Варнгагена фон Энзе, чтоб он их ввел ловким купальщиком в практические пучины и представил бы их одной хорошенькой актрисе. Понятно, что с этими приготовлениями не только ни до какого купанья в страстях, «разъедающих тайники духа нашего», но вообще ни до какого *поступка* дойти нельзя. Не доходят до них и немцы; но зато немцы и не ищут поступков, а как бы поспокойнее. Наша натура, напротив, не выносит этого постного отношения — des theoretischen Schwelgens[397], запутывается, спотыкается и падает больше смешно, чем опасно.

Итак, влюбленный и сорокалетний философ, щуря глазки, стал сводить все спекулативные вопросы на «демоническую силу любви», равно влекущую Геркулеса и слабого отрока к ногам

---

[397] Сноски: 397
созерцательного наслаждения (*нем.*).

Омфалы, начал уяснять себе и другим нравственную идею семьи, почву брака. Со стороны Гегеля (Гегелевой философии права, глава Sittlichkeit[398]) препятствий не было. Но призрачный мир случайности и «кажущегося», мир духа, не освободившегося от преданий, не был так сговорчив. У Базиля был отец — Петр Кононыч — старый кулак, богач, который сам был женат последовательно на трех и от каждой имел человека по три детей. Узнав, что его сын, и притом старший, хочет жениться на католичке, на нищей, на француженке, да еще с Кузнецкого Моста, он решительно отказал в своем благословении. Без родительского благословения, может, Базиль, принявший в себя шик и момент скептицизма, как-нибудь и обошелся бы, но старик связывал с благословением не только последствие jenseits (на том свете), но и diesseits (на этом), а именно *наследство.*

Препятствие старика, как всегда, двинуло дело вперед, и Базиль стал подумывать о скорейшей развязке. Оставалось жениться, не говоря худого слова, и впоследствии заставить старика при-

[398] Сноски: 398
Нравственность (*нем.*).

нять un fait accompli[399] или скрыть от него брак в ожидании, что он скоро не будет ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наследством.

Но непросветленный мир преданий и тут подставлял свою ногу. Обвенчаться под сурдинку в Москве было не легко, чрезвычайно дорого и тотчас бы дошло до отца через диаконов, архидиаконов, дьячков, просвирен, свах, приказчиков, сидельцев и разных потаскушек. Положено было посондировать нашего отца Иоанна в с. Покровском, известного читателям нашим своей историей о похищении в нетрезвом виде серебряных «часов и шкатунки» у дьячка.

Отец Иоанн, узнав, что непокорному сыну около сорока лет, что невеста не русская и что родителей ее здесь нет, что, сверх меня, подпишется свидетелем университетский профессор, стал меня благодарить за такую милость, полагая, вероятно, что я старался женить Базиля для доставления ему двухсотенной бумажки. Он был до того тронут, что закричал в другую комнату: «Попадья, попадья, выпусти два-три яичка!» и достал из шкапа полуштоф, заткнутый бумажкой, для того чтоб меня попотчевать.

---

[399] Сноски: 399
совершившийся факт (*фр.*).

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Арманс должна была приехать к нам в Покровское погостить, Базиль (хотевший ее сопровождать) — возвратиться в Москву и, окончательно устроившись, идти от отцовского проклятия под благословение пьяненького отца Иоанна.

…Ожидая i promessi sposi[400], мы велели приготовить ужин и сели ждать. Ждали, ждали; бьет двенадцать ночи — никого нет… Час — никого нет. Дамы пошли уснуть; я с Г<рановским> и К<етчером> принялся за ужин.

Le ore suonan, quadrano,
E una, e due, e tre…[401]

Ма…[402] их нет, как нет.

…Наконец, колокольчик… ближе и ближе; повозка простучала по мосту. Мы бросились в сени. Тарантас, заложенный тройкою, быстро въезжал на двор и остановился. Вышел Базиль. Я подошел дать руку Арманс, она вдруг меня схватила за ру-

---

[400] Сноски: 400
обрученных (*ит.*).

[401] Сноски: 401
Часы бьют каждую четверть, один, два, три… (*искаж. ит.*)

[402] Сноски: 402
Но… (*ит.*)

ку, да с такой силой, что я чуть не вскрикнул… и потом разом бросилась мне на шею, с хохотом повторяя: «Monsieur Herstin»… Это был не кто иной, как Виссарион Григорьевич Белинский in propria persona[403].

В тарантасе не было больше никого. Мы смотрели друг на друга с удивлением, кроме Белинского, который хохотал до кашля, и Базиля, который чуть до насморка не плакал. К дополнению эффекта надобно заметить, что два дня тому назад в Москве о Белинском и слуху не было.

— Давайте мне есть, — сказал, наконец, Белинский, — я вам расскажу там, какие у нас были чудеса; надобно же выручить несчастного Базиля, который вас боится больше Арманс.

Вот что случилось. Видя, что дело быстро приближается к развязке, Базиль испугался, начал *рефлектировать* и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализм брака, неразрушимость его по Кормчей книге и по книге Гегеля. Он заперся, отданный на жертву духу мучительного исследования и беспощадного анализа. Страх возрастал с часу на час, и тем больше, что дорога к отступлению была тоже не легка

---

[403] Сноски: 403
собственной персоной (*лат.*).

и что решиться на нее почти надобно было иметь столько же характера, как и на самый брак… Страх этот рос до тех пор, пока в дверь постучался Белинский, приехавший из Петербурга прямо к нему в дом. Базиль рассказал ему весь ужас, с которым он идет на сретение своего счастия, и все отвращение, с которым он вступает в бракосочетание по любви… и требовал его совета и помощи.

Белинский отвечал ему, что надобно быть сумасшедшим, чтоб после этого, сознательно и зная вперед, что будет, положить на себя такую цепь.

— Вот Герцен, — говорил он, — и женился, и жену свою увез, и за ней приезжал из ссылки; а спроси его — он ни разу не задумывался, следует ему так делать или нет и какие будут последствия. Я уверен, что ему казалось, что он *не может* иначе поступить… Ну, ему и вытанцевалось… А ты то же хочешь сделать, любомудрствуя и рефлектируя.

Только этого и надо было Базилю. Он в ту же ночь написал Арманс диссертацию о браке, о своей несчастной рефлекции, о неспособности простого счастья для пытливого духа, излагал все невыгоды и опасности их соединения и спрашивал Арманс совета, что им теперь делать?

Ответ Арманс он привез с собой.

В рассказе Белинского и письме Арманс обе натуры — ее и Базиля — вполне вышли, как на ладони. Действительно, брачный союз таких противуположных людей был бы странен. Арманс писала ему грустно, она была удивлена, оскорблена, рефлекций его не понимала, а видела в них предлог, охлаждение; говорила, что в таком случае не должно быть и речи о свадьбе, развязывала его от данного слова и заключила тем, что после случившегося им не следует видеться. «Я вас буду помнить, — писала она, — с благодарностью и нисколько не виню вас: я знаю, вы чрезвычайно *добры*, но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!»

Такое письмо, должно быть, не совсем приятно получить. В каждом слове сила, энергия и немного свысока… Дитя славного плебейского кряжа, Арманс поддержала свое происхождение. Будь это англичанка, как бы крепко она ухватилась за письмо Базиля, как ртом бы своего добродетельного соллиситора[404] рассказала с негодованием, с стыдом о первом пожатии руки, о первом поцелуе… и как бы ее адвокат,

---

[404] Сноски: 404
поверенного (*англ.* solicitor).

со слезами на глазах и мелом в парике, потребовал бы у присяжных вознаградить обиженную невинность тысячью или двумя фунтов…

Француженке, бедной швее, и в голову этого не пришло.

Два или три дня, которые они провели в Покровском, были печальны для экс-жениха. Точно ученик, сильно напакостивший в классе и который боится и учителя и товарищей, Базиль потерпел день-другой и уехал в Москву.

Вскоре мы услышали, что Боткин едет в чужие краи. Он писал ко мне письмо смутное, недовольное собой, звал проститься. В первых числах августа я поехал из Покровского в Москву; новая диссертация ехала в то же время из Москвы в Покровское к Natalie. Я отправился к Боткину и прямо попал на прощальный пир. Пили шампанское, и в тостах, в желаниях были какие-то странные намеки.

— Ведь ты не знаешь, — сказал мне Базиль на ухо, — ведь я того… — и он прибавил шепотом: — ведь Арманс едет со мной. Вот девушка! Я теперь только ее узнал, — и он качал головой.

Это стоило появления Белинского.

В эпистоле к Natalie он пространно объяснял ей, что мысль и рефлекция о женитьбе повергли его

в раздумье и отчаянье, он усомнился и в своей любви к Арманс, и в своей способности к семейной жизни; что таким образом он дошел до мучительного сознания, что он должен все разорвать и бежать в Париж, что в этом расположении он явился смешным и жалким в Покровское… Решившись таким образом, он, перечитывая письмо Арманс, сделал новое открытие, именно — что он Арманс любит очень много, и потому потребовал у нее свиданье и снова предложил ей руку. Он думал опять о покровском попе, но близость майковской фабрики пугала его. Венчаться он собирался в Петербурге и тотчас ехал во Францию. «Арманс рада, как ребенок».

В Петербурге Базиль придумал венчаться в Казанском соборе. Чтоб при этом философия и наука не были забыты, он пригласил для совершения обряда протоиерея *Сидонского*, ученого автора «Введения в науку философии». Сидонский давно знал Боткина по его статьям как свободного светского мыслителя и немецкого любомудра. После всех чудес, бывших с Арманс, ей досталась честь, редко достающаяся: послужить поводом одной из самых комических встреч двух заклятых врагов — религии и науки.

Сидонский, чтоб блеснуть своим мирским

образованием, перед венчанием стал говорить о новых философских брошюрах, и, когда все было готово и дьячок подал ему епитрахиль, к которой он приложился и стал надевать, он, потупя взоры, сказал Боткину:

— Вы извините: обряды-с — я весьма хорошо знаю, что христианский ритуал сделал свое время, что…

— О, нет, нет! — прервал его Базиль голосом, полным участия и сострадания. — Христианство вечно — его сущность, его субстанция не может пройти.

Сидонский поблагодарил целомудренным взглядом «рыцарственного» антагониста, обратился к клиру и запел: «Благословен Бог наш… и ныне, и присно, и во веки веков». — «Аминь!» — грянул клир, и дело пошло своим порядком, и Боткина в венце и Арманс в венце повел Сидонский круг аналоя… заставляя ликовать Исаию.

Из собора Базиль отправился с Арманс домой и, оставив ее там, явился на литературный вечер Краевского. Через два дня Белинский посадил молодых на пароход… Теперь-то, подумают, история наверное окончена.

Нисколько.

До Каттегата дело шло очень хорошо, но тут

попался проклятый «Жак» Ж. Санда.

— Как ты думаешь о Жаке? — спросил Боткин Арманс, когда она кончила роман.

Арманс сказала свое мнение.

Базиль объявил ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляет своим суждением глубочайшие стороны его духа и что его *миросозерцание* не имеет ничего общего с ее.

Сангвиническая Арманс не хотела менять миросозерцания — так прошли оба Бельта.

Вышедши в Немецкое море, Боткин почувствовал себя больше дома и сделал еще раз опыт переменить миросозерцание Арманс — иначе взглянуть на Жака.

Умирающая от морской болезни Арманс собрала последние силы и объявила, что мнения своего о Жаке она не переменит.

— Что же нас связывает после этого? — заметил сильно расходившийся Боткин.

— Ничего, — отвечала Арманс, — et si vous me cherchez querelle[405], так лучше просто расстаться, как только коснемся земли.

— Вы решились? — говорил Боткин, петушась. — Вы предпочитаете?..

---

[405] Сноски: 405
и если вы хотите ссориться (*фр.*).

— Все на свете, чем жить с вами; вы несносный человек — слабый и тиран!

— Madame!

— Monsieur!

Она пошла в каюту, он остался на палубе. Арманс сдержала слово: из Гавра уехала к отцу… и через год возвратилась в Россию одна, и притом в Сибирь.

На этот раз, кажется, история этого перемежающегося брака кончилась.

А впрочем, Барер говорил же: «Только мертвые не возвращаются!»

(Писано в 1857, Putney, Laurel House)

Предисловия к ранним публикациям <Предисловие к главам четвертой части, опубликованным в «Полярной звезде»>

— Кто имеет право писать свои воспоминания?

– *Всякий*.

Потому, что *никто их* не обязан читать.

Для того, чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать.

Всякая жизнь интересна: не личность — так среда, страна занимают, *жизнь* занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению… Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания…

— Но могут же записки быть скучны, описан-

ная жизнь бесцветна, пошла?

— Так не будем их читать — хуже наказания для книги нет.

Сверх того, этому горю не пособит никакое *право* на писание мемуаров. Записки Бенвенуто Челлини совсем не потому занимательны, что он был отличный золотых дел мастер, а потому, что они сами по себе занимательны любой повестью.

Дело в том, что слово «иметь право» на такую или другую речь принадлежит не нашему времени, а времени умственного несовершеннолетия, поэтов-лауреатов, докторских шапок, цеховых ученых, патентованных философов, метафизиков по диплому и других фарисеев христианского мира. Тогда акт писания считался каким-то священнодействием, писавший для публики говорил свысока, неестественно, отборными словами, он «проповедовал» или «пел».

А мы просто говорим. Для нас писать — такое же светское занятие, такая же работа или рассеяние, как и все остальные. В этом отношении трудно оспоривать «право на работу». Найдет ли труд признание, одобрение — это совсем иное дело.

Год тому назад я напечатал по-русски одну

часть моих записок под заглавием «Тюрьма и ссылка», напечатал я ее в Лондоне, во время начавшейся войны; я не считал ни на читателей, ни на внимание вне России. Успех этой книги превзошел все ожидания: «Revue des Deux Mondes», этот целомудреннейший и чопорнейший журнал, поместил полкниги в французском переводе. Умный, ученый «The Athenaeum» дал отрывки по-английски; на немецком вышла вся книга, на английском она издается.

Вот почему я решился печатать отрывки из других частей.

В другом месте скажу я, какое огромное значение для меня лично имеют мои записки и с какою целью я их начал писать. Я ограничусь теперь одним общим замечанием, что у нас особенно полезно печатание современных записок. Благодаря цензуре мы не привыкли к публичности, всякая гласность нас пугает, останавливает, удивляет. В Англии каждый человек, появляющийся на какой-нибудь общественной сцене — разносчиком писем или хранителем печати, подлежит тому же разбору, тем же свисткам и рукоплесканиям, как актер последнего театра где-нибудь в Ислингтоне или Падингтоне. Ни королева, ни ее муж не исключены. Это — великая узда!

Пусть же и наши императорские *актеры* тайной и явной полиции, так хорошо защищенные от гласности цензурой и отеческими наказаниями, знают, что рано или поздно дела их выйдут на белый свет.

Между четвертой и пятой частью

Два первые тома «Былого и дум» составляют такой «отрезанный ломоть», что мне пришло в голову между ними и следующими частями поставить небольшую кладовую для старого добра, с которым по *ту* сторону *берега* нечего делать; она может служить вроде pièces justificatives[406] или обвинительных актов.

Общих статей, вроде «Писем об изучении природы», «Дилетантизма в науке» и пр., разумеется, в этой книге нет[407], нет также и повестей. Я выбрал только те статьи, которые имеют какое-нибудь отношение к двум вышедшим томам «Былого и дум». Тут на первом плане «Записки

[406] Сноски: 406
оправдательных документов (*фр.*).

[407] Сноски: 407
Я сделал исключение для двух статей: «По поводу одной драмы» и «Капризы и раздумье»: обе имеют тесное отношение к личным опытам и событиям, имевшим сильное влияние на меня, на нас.

одного молодого человека»; как чертежи сравнительной анатомии или лафатеровские профили, они показывают наглядно изменения, вносимые в физиогномию мысли и слова двадцатью такими годами, которые я прожил между записками *молодого* человека, набросанными в 1838 в Владимире-на-Клязьме, и думами *пожилого* человека, помеченными в Лондоне на Темзе.

Досадно, что у меня нет цензурных пропусков[408], и всего досаднее, что нет целой тетради между первым напечатанным в «Отечественных записках» отрывком и вторым. Я помню, что в ней был наш университетский курс и что тетрадь оканчивалась *соборной* поездкой нашей в Архангельское князя Юсупова, описанием обеда и пира возле оранжереи, который продолжался потом еще дни два возле Пресненских прудов.

Затем я поместил несколько полемических статей, во всей их *правде* и *кривде*, в костюме сороковых годов и во всей тогдашней односторонности.

---

[408] Сноски: 408

Некоторые мелочи, выпущенные цензурой, я добавил на память, они напечатаны курсивом. В других местах я точками означил пропуски.

Много воды утекло с тех пор, как мы боролись с православной покорой славянофильской, и быстро текла вода с 1848 — все сдвинула она, все подмыла… многое совсем снесла. Наша религия независимости не так исключительна и ревнива, как была, и недавно еще нам казалось издали, что великороссийская любовь к отечеству перестала быть ненавистью к другим…

25 января 1862 г.
Orsett House, Westbourne Terrace.
И–р.

Приложение
Из дневника Н. А. Герцен

1846. Окт<ябрь>25. Так много жилось и работалось, что мне наконец жаль стало унести все это с собою. Пусть прочтут дети, — их жизнь не даст им, может быть, столько опыта. Не знаю, долго ли это будет и что будет потом, но пока я жива — более или менее, — они будут сохранены от этих опытов; хорошо ли это — не знаю, но как-то нет сил не отдернуть свечи, когда ребенок протягивает к ней руку. Не так было со мною. С ранних лет или даже дней отданная случайности и себе, я часто изнемогала от блужданья впотьмах, от безответных вопросов, от того, что не было точки под ногами, на которой бы я могла остановиться и отдохнуть, не было руки, на которую б опереться… Мое прошедшее интересно внутренними и внешними событиями, но я расскажу его после как-нибудь, на досуге… Настоящее охватывает все существо мое; страшная разработка… до того все сдвинуто с своего места, все взломано и перепутано, что слова, имевшие ярко определенное значение целые столетия, для меня стерты и не

имеют более смысла.

30-е, середа. Сегодня я ездила с Марьей Федоровной проститься к Огареву, он уезжает в свою пензенскую деревню, и, может быть, надолго… Горько расставаться с ним, он много увозит с собою. У Александра из нашего кружка не осталось никого, кроме его; я еще имею к иным слабость, но только слабость… религиозная эпоха наших отношений прошла; юношеская восторженность, фантастическая вера, уважение — все прошло! И как быстро. Шесть месяцев тому назад всем, протягивая друг другу руку, хотелось еще думать, что нет в свете людей ближе между собой, теперь даже и этого никому не хочется. Какая страшная тоска и грусть была во всех, когда сознали, что нет этой близости, какая пустота; будто после похорон лучшего из друзей. И в самом деле были похороны не одного, а всех лучших друзей. У нас остался один Огарев, у них — не знаю кто. — Однако же мало-помалу силы возвращаются, проще, самобытнее становишься, будто сошел со сцены и смотришь на нее из партера; игра была откровенна, все же было трудно, тяжело, неестественно. Разошлися по домам, теперь хочется уехать подальше, подальше…

Ноябрь, 1-е. Да, уехать, — мы уже несколько

лет собираемся в чужие краи, здоровье мое расстроено, для меня необходимо это путешествие, писала просьбу к императрице пять лет тому назад — все бесполезно; Александр ездил в Петербург в прошлом месяце, хлопотал, хлопотал, Ольга Александровна Жеребцова расположена к нам как нельзя лучше, она много может, и она хлопотала; Дубельт, Орлов желали этого и не могли ничего сделать. Прежде нужно освободиться от надзора полиции, который уже продолжается одиннадцать лет. Пошла бумага об этом в Петербург, — что-то будет? Впрочем, я как-то спокойнее ожидаю теперь позволенье и отказ. Что это — равнодушие или твердость? — но на все смотришь спокойнее, удовлетворения все меньше и меньше и требовательности меньше… Не резигнация[409] ли это? Какое жалкое чувство; нет, лучше сердиться или страдать. Отчего же я не сержусь и не страдаю, и не сознаю резигнации — и не равнодушие это, стало — твердость. По временам я чувствую страшное развитие силы в себе, не могу себе представить несчастия, под которым бы я пала. Последний припадок слабости со мною был в июне, на даче, тогда,

[409] Сноски: 409
покорность судьбе (*фр*. résignation).

как разорвалась цепь дружеских отношений и каждое звено отпало само по себе. У меня поколебалась вера в Александра — не в него, а в нераздельность, в слитость наших существований, но это прошло, как болезнь, и не возвратится более. Теперь я не за многое поручусь в будущем, но поручусь за то, что это отношение останется цело, сколько бы ни пришлось ему выдержать толчков. Могут быть увлечения, страсть, но *наша любовь* во всем этом останется невредима.

2-е, суб. Теперь далеко О<гарев>. Как хорошо ему ins Freie!..[410] Что за чудный человек; по фактам, по внешней жизни его я никого не знаю нелепее; зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония, — в этом отношении он выше Александра; со мною никто в этом не согласен: все почитают его слабым, распущенным до эгоизма, избалованным до сухости, до равнодушия, — никто его не понимает вполне, даже Александр не совсем, оттого что наружное слишком противуречит с внутренним. И я не могу объяснить этого, доказать, но довольно видеть его наружность, чтоб понять, что этот человек не рядовой, что натура его божественна (выра-

[410] Сноски: 410
на воле (*нем.*).

жаясь прежним языком); в наше время он не мог ничего из себя сделать, и самое воспитание отняло у него много средств. Может быть, я и тут еще увлекаюсь, может быть, я не могу устоять против этого влечения; раз, просидевши со мной часа три, он сказал, что еще не соскучился, — приятнее этого комплимента я еще ни от кого не слыхала в мою жизнь, и это потому, что он сказал мне его. Любишь его бескорыстно, как-то и не думается, чтоб он тебя любил; от других требуешь любви, уваженья, требуешь покорности; отчего, почему все это так — не знаю. От иных не требуешь вовсе ничего, потому что не замечаешь их, от него — вовсе не потому. Ему не смеешь ничего пожелать, так сильно сознание его свободы и воли.

4-е, пон. Как тяжело бывает с некоторыми из прежних близких, в беседе с ними нет более ни содержанья, ни смысла. Как тяжело притворяться, и притворяться не для того, чтоб обмануть, а еще нет силы, выказать, насколько мы стали далеки; мне об этом трудно говорить даже с Александром. И между тем есть полное убежденье, что мы не виноваты в том, что отошли от них далеко, что мы не можем быть близки, — некоторые благородные черты не удовлетворяют настолько; прежде это как-то натягивалось внут-

ри себя, не отдавая себе полного отчета, — теперь это невозможно. Какая-то потребность, жажда открывать во всем истину, насколько б это ни было больно, хотя б куски собственного тела вырывались с ложным убежденьем. Видно, возраст такой пришел; оттого и разошлись мы, что они боятся всякой правды, еще им нравятся сказки и детские игрушки, а это возбуждает негодованье и сожаленье. Иные это делают с хитростью, желая обмануть самих себя, — тут есть еще надежда, откровенное же ребячество жалко. — До такой степени для меня изменило все свое значенье, что то, что прежде казалось трогательно и вызывало нежное, какое-то неопределенное сочувствие, теперь возмутительно и возбуждает гнев. Например, Сатин; мне его долго было жаль, долго хотелось сохранить его, — такая любящая натура… и он все хотел заменить любовью, но полного сочувствия, сознательного согласия никогда не было. В последний мой разговор с ним до того все натянулось, что порвалось. Я молчу сколько можно, и уж не прикрою ни одной правды, когда нужно говорить, — для меня это невозможно. Его нежность, его ласки, попечительная любовь, страдание о том, что никто не отвечает на эту любовь вполне, — все это не что иное, как слабость,

недостаток содержания в самом себе и ограниченность притом. Пять лет тому назад, уезжая за границу, он оставил меня идеалом женщины, такою чистою, святою, погруженною совершенно в любовь к Александру и Саше, не имеющею никаких других интересов; возвратившись, нашел холодною, жестокою и совершенно под влиянием Александра, распространяющего теорию ложной самобытности и эгоизма. Я не пережила ничего (т. е. со мною не случилось никаких несчастий?) и потому не могу знать жизнь и понять истину, выработать же это мыслью — не свойственно женщине. Ну, тут трудно возражать. Такое пониманье очень обыкновенно между людей, но пока С. не высказал его вполне, я никогда б не поверила, что он до такой степени туп. В нем много благородного, много готовности на всякую услугу, я никогда не протяну ему руки без уваженья и холодно.

5-е, середа. Что это, как нелепо устроена жизнь! и вместо того, чтобы облегчить, прочистить себе как-нибудь дорогу, люди отдаются слепому произволу, идут без разбору куда он их ведет, страдают, погибают с каким-то самоотверженьем, как будто не в их воле существовать хорошо. Иные с большим трудом выработали себе внутреннюю

свободу, но им нельзя проявить ее, потому что другие, оставаясь рабами в самих себе, не дают и другим воли действовать, и все это так бессмысленно, безотчетно, сами не понимая, что делают и зачем? Ну, а те, которые понимают? Им трудно отстать от предрассудков, как от верования в будущую жизнь, и они добровольно оставляют на себе цепи, загораживают ими дорогу другим и плачут о них и о себе. — Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого, как будто в отмщение (но кому в отмщение?) за то, что другие имеют больше средств, она казнит их этими средствами, не желая разделить их с ними. И это истинная казнь! Сидеть за роскошным столом, покрытым драгоценными ненужностями, и *не сметь* предложить другому самого необходимого — тут сделается противно все, и сам себе покажешься так жалок и ничтожен. Я всегда была довольно равнодушна к украшениям, даже к удобствам жизни; однако же иногда бывали желания иметь что-нибудь, чего нельзя было; теперь мне противно всякое излишнее удобство, так бы хотелось поделиться с тем, у кого нет и необходимого, — единственное средство без угрызения пользоваться самому богатством, а тут не смеешь предложить или по-

лучаешь отказ… Непростительная жестокость!

11-е, пон. Получили письмо от Огарева. Он пишет, что для него Ал., я и еще одно существо нигде и никем не заменимы. У меня захватило дух, когда я прочла эту фразу. Он не лжет, но не ошибается ли? Если же это правда и если это долго не изменится, — я не могу себе представить выше счастия. Такая полная симпатия… а мне и прежде казалась иная симпатия полной… и наконец выходило из нее полное отчуждение… Пусть, пусть это юношеская мечта, увлеченье, ребячество, глупость, — я отдаюсь всей душой этой глупости; после Алекс. никого нет, кого бы я столько любила, уважала, никого, в ком бы было столько человечественного, истинного. Он грандиозен в своей простоте и верности взгляда. Мне тяжело бы было существовать, если б он перестал существовать, и у Ал. это единственный человек, вполне симпатизирующий ему. И если все это — мечта, так уж наверное последняя. И то она одна в чистом поле, ничего нет, ничего нет кругом… так, кой-где былинка… Дети — это естественная близость: ей нельзя не быть; общие интересы — тоже, и это наполняет ужасно много; не прибавляя к этому ничего, можно просуществовать на свете, но я испытала боль-

ше: я отдавалась дружбе от всей души, и кто же этого не знает, что, отдавая, берешь вдвое больше, — и все это исчезло, испарилось, и как грубо, как неблагородно разбудили и показали, что все это *мне* снилось… Разбудить надо было: горькое, реальное всегда лучше всякого бреда — это не естественная пища человеку, и рано иль поздно он пострадает от нее, — но не так бы *бесчеловечно* разбудить; меня оскорбляет только манера — в ней было даже что-то пошлое, а мне хотелось бы, чтоб память моего идеала осталась чиста и свята.

13. О великая Санд, так глубоко проникнуть человеческую натуру, так смело провести *живую душу* сквозь падения и разврат и вывести ее невредимую из этого всепожирающего пламени. — Еще четыре года тому назад Боткин смешно выразился об ней, что она Христос женского рода, но в этом правды много. Что бы сделали без нее с бедной Lucrezia Floriani, у которой в 25 лет было четверо детей от разных отцов, которых она забыла и не хотела знать, где они?.. Слышать об ней считали б за великий грех, а она становит ее перед вами, и вы готовы преклонить колена перед этой женщиной. И тут же рядом вы смотрите с сожаленьем на выученную добродетель

короля, на его узкую, корыстолюбивую любовь. О! если б не нашлось другого пути, да падет моя дочь тысячу раз — я приму ее с такой же любовью, с таким же уваженьем, лишь бы осталась жива ее душа; тогда все перегорит, и все сгорит нечистое; останется одно золото.

Дочитала роман, конец неудовлетворителен.

1847-го января 10-е. Уезжаем 16-го. Опять все симпатично и тепло… всех люблю, вижу, что и они любят нас; с большою радостью уезжаю, чувствую, что с радостью буду возвращаться. Настоящее хорошо, отдаюсь ему безотчетно.

Часть пятая
Париж – Италия – Париж
(1847–1852)

Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, *подстрочных* к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение — *тогдашняя* истина пропадет. «Былое и думы» — не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах: все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками.

Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои «Письма из Франции и Италии»; я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько

перепечатывать, что я не решился.

Многое, не взошедшее в «Полярную звезду», взошло в это издание — но всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня…

Женева, 29 июля 1866.

Перед революцией и после нее

Глава XXXIV
Путь

Потерянный пасс. – Кенигсберг. – Собственноручный нос. – Приехали! – И уезжаем.

…В Лауцагене прусские жандармы просили меня взойти в кордегардию. Старый сержант взял пассы, надел очки и с чрезвычайной отчетливостью стал вслух читать все, что не нужно: «Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten… allen und jeden denen daran gelegen etc, etc…

Unterzeichner Peroffski, Minister der Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir… Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit»[411]…

Этот сержант, любивший чтение, напоминает мне другого. Между Террачино и Неаполем неаполитанский карабинер четыре раза подходил к дилижансу, всякий раз требуя наши визы. Я показал ему неаполитанскую визу, ему этого и полкарлина было мало, он понес пассы в канцелярию и воротился минут через двадцать с требованием, чтоб я и мой товарищ шли к бригадиру. Бригадир, старый и пьяный унтерофицер, довольно грубо спросил:

— Как ваша фамилия, откуда?

— Да это все тут написано.

— Нельзя прочесть.

Мы догадались, что грамота не была сильною стороной бригадира.

— По какому закону, — сказал мой товарищ, — обязаны мы вам читать наши пассы? Мы обязаны их иметь и показывать, а не диктовать: мало ли

---

[411] Сноски: 411

«По указу е. и. в. Николая Первого… всем и каждому, кому ведать надлежит и т. д., и т. д.… Подписал Перовский, министр внутренних дел, камергер, сенатор и кавалер ордена св. Владимира… имеющий золотое оружие с надписью за храбрость» (*нем.*).

что я сам продиктую.

— Accidenti! — пробормотал старик, — va ben, va ben![412] — и отдал наши виды, не записывая.

Ученый жандарм в Лауцагене был не того разбора; прочитав три раза в трех пассах все ордена Перовского, до пряжки за беспорочную службу, он спросил меня:

— Вы-то, Euer Hochwohlgeboren[413], кто такое?

Я вытаращил глаза, не понимая, что он хочет от меня.

— Fräulein Maria E<rn>, Fräulein Maria K<orsch>, Frau H<aag>[414], — всё женщины, тут нет ни одного мужского вида.

Посмотрел я: действительно, тут были только пассы моей матери и двух наших знакомых, ехавших с нами, — у меня мороз пробежал по коже.

— Меня без вида не пропустили бы в Таурогене.

— Bereits so[415], только дальше-то ехать нель-

---

[412] Сноски: 412
Черт возьми! Ладно уж, ладно! (*ит.*)

[413] Сноски: 413
Ваше высокоблагородие (*нем.*).

[414] Сноски: 414
Барышня Мария Э<рн>, барышня Мария К<орш>, госпожа Г<ааг> (*нем.*).

[415] Сноски: 415
Так-то так (*нем.*).

зя.

— Что же мне делать?

— Вероятно, вы забыли в кордегардии, я вам велю заложить санки, съездите сами, а ваши пока погреются у нас. — Heh! Kerl, laß er mal den Braunen anspannen[416].

Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился от него. Потеря этого паспорта, о котором я несколько лет мечтал, о котором два года хлопотал, в минуту переезда за границу, поразила меня. Я был уверен, что я его положил в карман, стало, я его выронил, — где же искать? Его занесло снегом… надобно просить новый, писать в Ригу, может, ехать самому; а тут сделают доклад, догадаются, что я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал себя в Петербурге, образы Кокошкина и Сахтынского, Дубельта и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры… опять увижу я министерских чиновников, квартальных и всяких других надзирателей, городовых с двумя блестящими пуговицами на спине, которыми они смотрят

[416] Сноски: 416
Эй, малый, заложи-ка гнедого (*нем.*).

назад… и прежде всего увижу опять небольшого сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь… Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге», как она говорила.

Между тем заложили большую печальную и угловатую лошадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шинели и ботфортах; почтальон классически хлопнул классическим бичом — как вдруг ученый сержант выбежал в сени в одних панталонах и закричал:

— Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Paß[417], — и он его держал развернутым в руках.

Спазматический смех овладел мною.

— Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?

— Посмотрите, — сказал он, — ваш русский сержант положил лист в лист, кто же его там знал, я не догадался повернуть листа…

А ведь прочитал три раза: «Es ergehet deshalb an alle hohe Mächte, und an alle und jeden, welchen Standes und welcher Würde sie auch sein

---

[417] Сноски: 417
Стой! стой! Вот проклятый паспорт (*нем.*).

mögen»...[418]

...«В Кенигсберг я приехал усталый от дороги, от забот, от многого. Выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город; на дворе был теплый зимний день»[419]; хозяин гостиницы предложил проехаться в санях, лошади были с бубенчиками и колокольчиками, с страусовыми перьями на голове... И мы были веселы, тяжелая плита была снята с груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения — отлетели. В окне книжной лавки были выставлены карикатуры на Николая, я тотчас бросился купить целый запас. Вечером я был в небольшом, грязном и плохом театре, но я и оттуда возвратился взволнованным не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работников и молодых людей; в антрактах все говорили громко и свободно, все надевали шляпы (чрезвычайно важная вещь, столько же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этот элемент более ясный и живой поражает русского при переезде за границу. Петербургское

---

[418] Сноски: 418

«Того ради надлежит всем высоким державам и всем и каждому, какого чина и звания они ни были бы» (*нем.)*

[419] Сноски: 419

«Письма из Франции и Италии». — Письмо I.

правительство еще до того грубо и не обтерлось, до того — только деспотизм, что любит наводить страх, хочет, чтоб перед ним все дрожало, словом, хочет не только власти, но сценической постановки ее. Идеал общественного порядка для петербургских царей — передняя и казармы.

...Когда мы поехали в Берлин, я сел в кабриолет; возле меня уселся какой-то закутанный господин; дело было вечером, я не мог его путем разглядеть. Узнав, что я русский, он начал меня расспрашивать о строгости полиции, о паспортах — я, разумеется, рассказал ему все, что знал. Потом зашла речь о Пруссии, он восхвалял бескорыстие прусских чиновников, превосходство администрации, хвалил короля и, в заключение, сильно напал на познанских поляков за то, что они нехорошие немцы. Меня это удивило, я ему возражал, сказал прямо, что я совсем не делю его мнения, и потом замолчал.

Между тем рассвело; тут только я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мере, недоставало самой видной части. Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извине-

ния, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива — но вторая очень подробна: ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос, рука была привязана шесть недель к лицу; «Majestät»[420] приезжал в больницу посмотреть, высочайше удивился и одобрил.

Le roi de Prusse, en le voyant,
A dit: c'est vraiment étonnant[421].

По-видимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос был наименьшим из его недостатков.

Переезд наш из Кенигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены, — это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор; горы, съезды —

---

[420] Сноски: 420
его величество (*нем.*).

[421] Сноски: 421
Король прусский, заметив его, сказал: это в самом деле удивительно (*фр.*).

все равно. Теперь, благодаря железным дорогам, вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых нет ничего на свете, разве одни немецкие почтальоны.

Дорога от Кенигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мест в дилижансе и отправились. На первой станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целость вещей он не отвечает. Я ему заметил, что в Кенигсберге я спрашивал и мне сказали, что места останутся; кондуктор ссылался на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях; против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью, в мокром снегу. На следующей станции та же история, и кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа. Так мы проехали с полдороги; тут он объявил нам очень просто, что «нам дадут *только пять мест*».

— Как пять? вот мой билет.

— Мест больше нет.

Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую

семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращаясь ко мне, дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:

— Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.

После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл «Herr Major»[422] и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.

Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлин записку.

— Вы почтовый чиновник? — спросил я.

— Нет, — отвечал он, еще больше в нос, — но это все равно… я… видите… как это здесь называет-

---

[422] Сноски: 422
«господин майор» (*нем.*).

ся — служу в центральной полиции.

Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.

Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний.

…Берлин, Кельн, Бельгия, — все это быстро прояеяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и *доехали*, наконец.

…Я отворил старинное, тяжелое окно в hôtel du Rhin[423]; передо мной стояла колонна –

…с куклою чугунной,
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix[424].

В *Париже* — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где

---

[423] Сноски: 423
Рейнской гостинице (*фр.*).

[424] Сноски: 424
улица Мира (*фр.*).

Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: «à la Bastille!»[425]

Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря… искать Бакунина, Сазонова… Вот rue St.-Honoré, Елисейские Поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин…

Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.

Я был вне себя от радости!

На ней я здесь и остановлюсь.

Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнию, торжественная прогулка по Италии, вспрянувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 феврале — все это рассказано в моих «Письмах из Франции и Италии». Мне не передать теперь с прежней живостью впе-

---

[425] Сноски: 425
«к Бастилии!» (*фр.*)

чатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих «Записок», — что же, вообще, письма, как не *записки* о коротком времени?

Глава XXXV
Медовый месяц республики

Англичанин в меховой куртке. – Герцог де Ноаль. – Свобода и ее бюст в Марсели. – Аббат Сибур и Всемирная республика в Авиньоне.

…«Завтра мы едем в Париж, я оставляю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана сильна — но что бы ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе — и совершенно всего не сдует же реакция».

Вот что я писал в конце апреля 1848 года, сидя у окна на via del Corso и глядя на «Народную» площадь, на которой я так много видел и так

много чувствовал.

Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей; а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова «République Française»[426] — я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу!

Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное: тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно начиная, поднялся страшный весенний ветер: он гнал пароход с неимоверной быстротою и с невыносимой качкой; через два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады и меня. Каюты были тоже

[426] Сноски: 426
«Французская республика» (*фр.*).

наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтоб заболеть; мы трое ночью сидели посередине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями и рельверагами, под завыванье ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал: в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию. Случилось, что мы обедали только двое; он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный марсалой и видя, что и я, с своей стороны, не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что «сигары свои он сам привез из Гаваны». Потом мы разговорились с ним; он был в Южной Америке, в Калифорнии и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и в Москву, но не поедет, пока не будет *правильного* сообщения и прямого — между Лондоном и Петербургом[427].

— Вы в Рим? — спросил я его, подъезжая к Чивите.

— Не знаю, — отвечал он.

Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный; но он тотчас добавил:

---

[427] Сноски: 427
Теперь оно есть.

— Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. — А вы остаетесь здесь?

— Да. Пароход пойдет завтра.

Я тогда еще очень мало знал англичан и потому едва мог скрыть смех — и совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой куртке, с портфелью, зрительной трубкой, маленьким несессерчиком, шествующего перед слугой, навьюченным чемоданом и всяким добром.

— Я в Неаполь, — сказал он, поравнявшись.

— Что же климат, не понравился?

— Скверный.

Я забыл сказать, что, в первый проезд, он лежал в каюте на койке, которая была непосредственно над моей; в продолжение ночи он раза три чуть не убил меня — то страхом, то ногами: в каюте была смертная жара, он несколько раз ходил пить коньяк с водой и всякий раз, сходя или входя, наступал на меня и громко кричал, испугавшись:

— Oh — beg pardon[428] — j'ai avais soif[429].

---

[428] Сноски: 428
О, простите (*англ.*).

[429] Сноски: 429
мне хотелось пить (*искаж. фр.*).

— Pas de mal[430].

С ним, стало, в этот путь мы встретились, как старые знакомые; он с величайшей похвалой отозвался о том, что я не подвержен морской болезни, и подал мне свои гаванские сигары. Совершенно естественно, что через минуту разговор зашел о февральской революции. Англичанин, разумеется, смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, как на источник новых и любопытных наблюдений и ощущений и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике.

Француз принимал иное участие в этих делах… с ним через пять минут у меня завязался спор; он отвечал уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвычайной учтивостью. Я защищал республику и революцию. Старик, не нападая прямо на нее, стоял за исторические формы, как единственно прочные, народные и способные удовлетворить и справедливому прогрессу, и необходимой оседлости.

— Вы не можете себе представить, — сказал я ему шутя, — какое оригинальное наслаждение вы доставляете мне вашими недомолвками. Я

---

[430] Сноски: 430
Ничего (*фр.*).

лет пятнадцать говорил так о монархии, как вы говорите о республике. Роли переменились: я, защищая республику, — консерватор, а вы, защищая легитимистскую монархию, — perturbateur de L'ordre publique[431].

Старик и англичанин расхохотались. К нам подошел еще один тощий, высокий господин, которого нос обессмертил «Шаривари» и Филиппон, — граф д'Аргу («Шаривари» говорил, что его дочь потому не выходит замуж, чтоб не подписываться: «такая-то, née d'Argout»[432]). Он вступил в разговор, с уважением обращался со стариком, но на меня смотрел с некоторым удивлением, близким к отвращению; я заметил это и стал говорить на четыре градуса *краснее*.

— Это презамечательная вещь — сказал мне седой старик. — Вы не первый русский, которого я встречаю с таким образом мыслей. Вы, русские, или совершеннейшие рабы царские, или — passez-moi le mot[433] — анархисты. А из этого следствие то, что вы еще долго не будете

---

[431] Сноски: 431
возмутитель общественного порядка (*фр.*).

[432] Сноски: 432
урожденная д'Аргу; игра слов: née — урожденная, nez — нос (*фр.*).

[433] Сноски: 433
простите за выражение (*фр.*).

свободными[434].

В этом роде продолжался наш политический разговор.

Когда мы подъезжали к Марсели и все стали суетиться о пожитках, я подошел к старику и, подавая ему свою карточку, сказал, что мне приятно думать, что спор наш под морскую качку не оставил неприятных следов. Старик очень мило простился со мной, поострил еще что-то насчет республиканцев, которых я, наконец, увижу поближе, и подал мне свою карточку. Это был герцог де Ноаль, родственник Бурбонов и один из главных советников Генриха V.

Случай этот, весьма неважный, я рассказал для пользы и поучения наших *герцогов* первых трех классов. Будь на месте Ноаля какой-нибудь сенатор или тайный советник, он просто принял бы мои слова за дерзость по службе и послал бы за капитаном корабля.

Один русский министр[435] в 1850 г. с своей семьей сидел на пароходе в карете, чтоб не быть в соприкосновении с пассажирами из обыкновенных смертных. Можете ли вы себе

---

[434] Сноски: 434
Суждение это я слышал потом раз десять.

[435] Сноски: 435
Знаменитый Виктор Панин.

представить что-нибудь смешнее, как сидеть в отложенной карете… да еще на море, да еще имея двойной рост?

Надменность наших сановников происходит вовсе не из аристократизма, — барство выводится; это — чувство ливрейных, пудреных слуг в больших домах, чрезвычайно подлых в одну сторону, чрезвычайно дерзких в другую. Аристократ — лицо, а наши — верные слуги престола — вовсе не имеют личности; они похожи на павловские медали с надписью: «Не нам, не нам, а имени твоему». К этому ведет целое воспитание: солдат думает, что его *только* потому нельзя бить палками, что у него аннинский крест, станционный смотритель ставит между ладонью путешественника и своей щекой офицерское звание, обиженный чиновник указывает на Станислава или Владимира — «не собой, не собой… а чином своим!».

Выходя из парохода в Марсели, я встретил большую процессию Национальной гвардии, которая несла в Hôtel de Ville бюст свободы, т. е. женщину с огромными кудрями в фригийской шапке. С криком «Vive la République!»[436] шли

---

[436] Сноски: 436
«Да здравствует республика!» (*фр.*)

тысячи вооруженных граждан, и в том числе работники в блузах, взошедшие в состав Национальной гвардии после 24 февраля. Разумеется, что и я пошел за ними. Когда процессия подошла к Hôtel de Ville, генерал, мэр и комиссар Временного правительства, Демостен Оливье, вышли в сени. Демостен, как следовало ожидать по его имени, приготовился произнести речь. Около него сделали большой круг: толпа, разумеется, двигалась вперед, Национальная гвардия ее осаживала назад, толпа не слушалась; это оскорбило вооруженных блузников, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящих впереди; граждане «единой и нераздельной республики» попятились…

Дело это тем больше удивило меня, что я еще весь был под влиянием итальянских и в особенности римских нравов, где гордое чувство личного достоинства и *телесной* неприкосновенности развито в каждом человеке, не только в факино[437], в почтальоне, но и в нищем, который протягивает руку. В Романье на эту дерзость отвечали бы двадцатью «колтелатами»[438]. Фран-

[437] Сноски: 437
носильщике (*um.* facchino).

[438] Сноски: 438
ударами ножа (*um.* coltellata).

цузы попятились — может, у них были мозоли?

Случай этот неприятно подействовал на меня: к тому же, пришедши в hôtel, я прочел в газетах руанскую историю. Что же это значит, неужели герцог Ноаль прав?

Но когда человек хочет верить, его веру трудно искоренить, и, не доезжая до Авиньона, я забыл марсельские приклады и руанские штыки.

В дилижансе с нами сел дородный, осанистый аббат, средних лет и приятной наружности. Сначала он ради приличия принялся за молитвенник, но вскоре, чтоб не дремать, он положил его в карман и начал мило и умно разговаривать, с классической правильностью языка Порройяля и Сорбонны, с цитатами и целомудренными остротами.

Действительно, одни французы умеют разговаривать. Немцы признаются в любви, поверяют тайны, поучают или ругаются. В Англии оттого и любят рауты, что тут не до разговора… толпа, нет места, все толкутся и толкаются, никто никого не знает; если же соберется маленькое общество, сейчас скверная музыка, фальшивое пение, скучные маленькие игры, или гости и хозяева с необычайной тягостью волочат разговор, останавливаясь, задыхаясь и напоминая несчаст-

ных лошадей, которые, выбившись из сил, тянут против течения по бечевнику нагруженную барку.

Мне хотелось подразнить аббата республикой, и не удалось. Он был доволен свободой *без излишеств*, главное — без крови и войны, и считал Ламартина великим человеком, чем-то вроде Перикла.

— И Сафо, — добавил я, не вступая, впрочем, в спор и благодарный за то, что он не говорил ни слова о религии. Так, болтая, доехали мы до Авиньона, часов в одиннадцать вечера.

— Позвольте мне, — сказал я аббату, наливая ему за ужином вино, — предложить довольно редкий тост: За республику et pour les hommes de L'Eglise qui sont républicains![439]

Аббат встал и заключил несколько цицероновских фраз словами: «A la République future en Russie!»[440]

«A la République universelle!»[441] — закричал кондуктор дилижанса и человека три, сидевших

---

[439] Сноски: 439
и за духовных лиц-республиканцев! (*фр.*)

[440] Сноски: 440
«За будущую республику в России!» (*фр.*)

[441] Сноски: 441
«За всемирную республику!» (*фр.*)

за столом. Мы чокнулись.

Католический поп, два-три сидельца, кондуктор и русские — как же не всеобщая республика?

А ведь весело было!

— Куда вы? — спросил я аббата, усаживаясь снова в дилижанс и попросив его пастырского благословения на курение сигары.

— В Париж, — отвечал он, — я избран в Национальное собрание; я буду очень рад видеть вас у себя — вот мой адрес.

Это был аббат Сибур, doyen[442] чего-то, брат парижского архиерея.

…Через две недели наступало 15 мая, этот грозный ритурнель, за которым шли страшные Июньские дни. Тут все принадлежит не моей биографии — а биографии рода человеческого…

Об этих днях я много писал.

Я мог бы тут кончить, как старый капитан в старой песне:

Te souviens-tu?… mais ici se m'arrête,
Ici finit tout noble souvenir[443].

---

[442] Сноски: 442
настоятель (*фр.*).

[443] Сноски: 443
Помнишь ли? Однако — умолкаю. На этом кончаются возвышенные воспоминания (*фр.*).

Но с этих-то *проклятых* дней и начинается последняя часть моей жизни.

Западные арабески
Тетрадь первая
I. Сон

Помните ли, друзья, как хорош был тот зимний день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троек провожали нас до Черной Грязи, когда мы там в последний раз сдвинули стаканы и, рыдая, расстались?

...Был уже вечер, возок заскрипел по снегу, вы смотрели печально вслед и не догадывались, что это были похороны и вечная разлука. Все было налицо, одного только недоставало — *ближайшего из близких,* он один был далек и как будто своим отсутствием омыл руки в моем отъезде.

Это было 21 января 1847 года.

С тех пор прошли семь лет[444], и *какие семь лет*! В их числе 1848 и 1852.

Чего и чего не было в это время, и все рухнуло — общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное сча-

---

[444] Сноски: 444
Писано в конце 1853 года.

стие.

Камня на камне не осталось от прежней жизни. *Тогда* я был во всей силе развития, моя предшествовавшая жизнь дала мне залоги. Я смело шел от вас с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная речь, я искал независимой арены, мне хотелось попробовать свои силы на воле…

Теперь я уже и не жду ничего, ничто после виденного и испытанного мною не удивит меня особенно и не обрадует глубоко: удивление и радость обузданы воспоминаниями былого, страхом будущего. Почти все стало мне безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себе конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало.

А ведь я нашел все, чего искал, даже признание со стороны старого, себядовольного мира — да рядом с этим утрату всех верований, всех благ, предательство, коварные удары из-за угла и, вообще, такое нравственное растление, о котором вы не имеете и понятия.

Трудно, очень трудно мне начать эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить.

С половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие ошибки — ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там смерть переехала дорогу…

…Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли, с отроческого обручения на Воробьевых горах.

Испуганный Парижем 1847 года, я было раньше раскрыл глаза, но снова увлекся событиями, кипевшими возле меня. Вся Италия «просыпалась» на моих глазах! Я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви, — вихрь, поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла одр свой и пошла — в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение. Когда я

пришел в себя, все исчезло — la sonnambula[445], испуганная полицией, упала с крыши, друзья рассеялись или с ожесточением добивали друг друга… И я очутился один-одинехонек, между гробов и колыбелей — сторожем, защитником, мстителем — и ничего не сумел сделать, потому что хотел сделать больше обыкновенного.

И теперь я сижу в Лондоне, куда меня случайно забросило, и остаюсь здесь, потому что не знаю, что из себя делать. Чужая порода людей кишит, мятется около меня, объятая тяжелым дыханьем океана, — мир, распускающийся в хаос, теряющийся в тумане, в котором очертания смутились, в котором огонь делает только тусклые пятна.

…А *та* страна, обмытая темно-синим морем, накрытая темно-синим небом… Она одна осталась светлой полосой — по ту сторону кладбища.

О Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю я день за день время, в которое я был пьян тобою!

…Темная ночь. Корсо покрыто народом, кое-где факелы. В Париже уже с месяц провозглашена республика. Новости пришли из Милана — там дерутся, народ требует войны, носится слух, что

---

[445] Сноски: 445
лунатичка (*ит.*).

Карл-Альберт идет с войском. Говор недовольной толпы похож на перемежающийся рев волны, которая то приливает с шумом, то тихо переводит дух.

Толпы строятся, они идут к пиэмонтскому послу узнать, объявлена ли война.

— В ряды, в ряды с нами! — кричат десятки голосов.

— Мы иностранцы.

— Тем лучше, Santo dio[446], вы наши гости!

Пошли и мы.

— Вперед гостей, вперед дам, вперед le donne forestiere![447]

И толпа с страстным криком одобрения расступилась. Чичероваккио и с ним молодой римлянин, поэт народных песен, продираются с знаменем, трибун жмет руки дамам и становится с ними во главе десяти, двенадцати тысяч человек — и все двинулось в том величавом и стройном порядке, который свойственен только одному римскому народу.

Передовые взошли в Палаццо, и, через несколько минут, двери залы растворились на балкон.

---

[446] Сноски: 446
святый Боже (*ит.*).

[447] Сноски: 447
приезжих дам (*ит.*).

Посол явился успокоить народ и подтвердить весть о войне, слова его приняты с исступленной радостью. Чичероваккио был на балконе, сильно освещенный факелами и канделябрами, а возле него — осененные знаменем Италии четыре молодые женщины, все *четыре русские* — не странно ли? Я как теперь их вижу на этой каменной трибуне и внизу колыхающийся бесчисленный народ, мешавший с криками войны и проклятиями иезуитам громкое «Evviva le donne forestiere»[448].

В Англии их и нас освистали бы, осыпали бы грубостями, а может, и каменьями; во Франции приняли бы за подкупных агентов. А здесь аристократический пролетарий, потомок Мария и древних трибунов, горячо и искренно приветствовал нас. Мы им были приняты в европейскую борьбу… и с одной Италией не прервалась еще связь любви, по крайней мере сердечной памяти.

И будто все это было… опьянение, горячка? Может — но я не завидую тем, которые не увлеклись тогда изящным сновидением. Долго спать все же нельзя было; неумолимый Макбет дей-

[448] Сноски: 448
«Да здравствуют иностранки» (*ит.*).

ствительной жизни заносил уже свою руку, чтоб убить «сон»... и

> My dream was past – it has no further change![449]

II. В грозу

...Вечером 24 июня, возвращаясь с Place Maubert, я взошел в кафе на набережной Orçay. Через несколько минут раздался нестройный крик и слышался все ближе и ближе; я подошел к окну: уродливая, комическая banlieue[450] шла из окрестностей на помощь порядку; неуклюжие, плюгавые полумужики и полулавочники, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах, шли быстрым, но беспорядочным шагом с криком: «Да здравствует Людовик-Наполеон!»

Этот зловещий крик я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поравнялись, закричал изо всех сил: «Да здравствует

---

[449] Сноски: 449
Мой сон исчез — и новым не сменился (*англ.*).

[450] Сноски: 450
предместье (*фр.*).

республика!» Ближние к окну показали мне кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался их приветственный крик человеку, шедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику, наказать собою Францию, забывшую в своей кичливости другие народы и свой собственный пролетариат.

Двадцать пятого или шестого июня, в 8 часов утра, мы пошли с А<нненковым> на Елисейские Поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временам только трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла Национальная гвардия. На Place de la Concorde был отряд мобили; около них стояло несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из ближних домов; у всех лица были мрачны и поражены ужасом. Мальчик лет 17, опираясь на ружье, что-то рассказывал; подошли и мы. Он и все его товарищи, такие же мальчики, были полупьяны, с лицами, запачканными порохом, с глазами, воспаленными от неспанных ночей и водки; многие дремали, упирая подбородок на ружейное дуло.

— Ну, уж тут что было, этого и описать нель-

зя. — Замолчав, он продолжал: — Да, и они-таки хорошо дрались, ну только и мы за наших товарищей заплатили! Сколько их попадало! Я сам до дула всадил штык пяти или шести человекам — припомнят! — добавил он, желая себя выдать за закоснелого злодея.

Женщины были бледны и молчали, какой-то дворник заметил: «По делам мерзавцам!»... но дикое замечание не нашло ни малейшего отзыва. Это было слишком низкое общество, чтоб сочувствовать резне и несчастному мальчишке, из которого сделали убийцу.

Мы молча и печально пошли к Мадлене. Тут нас остановил кордон Национальной гвардии. Сначала пошарили в карманах, спросили, куда мы идем, и пропустили; но следующий кордон, за Мадленой, отказал в пропуске и отослал нас назад; когда мы возвратились к первому, нас снова остановили.

— Да ведь вы видели, что мы сейчас тут шли?

— Не пропускайте! — закричал офицер.

— Что вы, смеетесь над нами, что ли? — спросил я его.

— Тут нечего толковать, — грубо ответил лавочник в мундире. — Берите их — и в полицию: одного я знаю (он указал на меня), я его не раз

видел на сходках, другой должен быть такой же, они оба не французы, я отвечаю за все — вперед!

Два солдата с ружьями впереди, два за нами, по солдату с каждой стороны, — повели нас. Первый встретившийся человек был представитель народа, с глупой воронкой в петлице — это был Токвиль, писавший об Америке. Я обратился к нему и рассказал, в чем дело; шутить было нечего: они без всякого суда держали людей в тюрьме, бросали в тюльерийские подвалы, расстреливали. Токвиль даже не спросил, кто мы; он весьма учтиво раскланялся и отпустил нижеследующую пошлость: «Законодательная власть не имеет никакого права вступать в распоряжения исполнительной». Как же ему было не быть министром при Бонапарте?

«Исполнительная власть» повела нас по бульвару, в улицу Шоссе д'Антен, к комиссару полиции. Кстати, не мешает заметить, что ни при аресте, ни при обыске, ни во время пути я не видал ни одного полицейского; все делали мещане-воины. Бульвар был совершенно пуст, все лавки заперты, жители бросались к окнам и дверям, слыша наши шаги, и спрашивали, что

мы за люди. «Des émeutiers étrangers»[451] — отвечал наш конвой, и добрые мещане смотрели на нас со скрежетом зубов.

Из полиции нас отослали в Hôtel des Capucines; там помещалось министерство иностранных дел, но на это время — какая-то временная полицейская комиссия. Мы с конвоем взошли в обширный кабинет. Плешивый старик в очках и весь в черном сидел один за столом; он снова спросил нас все то, что спрашивал комиссар:

— Где ваши виды?

— Мы их никогда не носим, ходя гулять…

Он взял какую-то тетрадь, долго просматривал ее, по-видимому, ничего не нашел и спросил провожатого:

— Почему вы захватили их?

— Офицер велел; он говорит, что это очень подозрительные люди.

— Хорошо, — сказал старик, — я разберу дело, вы можете идти.

Когда наши провожатые ушли, старик просил нас объяснить причину нашего ареста. Я ему изложил дело, прибавил, что офицер, может, видел меня 15 мая у Собранья, и рассказал случай, быв-

---

[451] Сноски: 451
«Иностранные бунтовщики» (*фр.*).

ший со мной вчера. Я сидел в кафе «Комартин», вдруг сделалась фальшивая тревога, эскадрон драгун пронесся во весь опор, Национальная гвардия стала строиться, я и человек пять, бывших в кафе, подошли к окну; национальный гвардеец, стоявший внизу, грубо закричал:

— Слышали, что ли, чтоб окна были затворены?

Тон его дал мне право думать, что он не со мной говорит, и я не обратил ни малейшего внимания на его слова; к тому же я был не один, а случайно стоял впереди. Тогда защитник порядка поднял ружье и, так как это происходило в rez-de-chaussée[452], хотел пырнуть штыком, но я заметил его движение, отступил и сказал другим:

— Господа, вы свидетели, что я ему ничего не сделал, — или это такой обычай у Национальной гвардии колоть иностранцев?

— Mais c'est indigne, mais cela n'a pas de nom![453] — подхватили мои соседи.

Испуганный трактирщик бросился закрывать окна, сержант с подлой наружностью явился

---

[452] Сноски: 452
нижнем этаже (*фр.*).

[453] Сноски: 453
Но это подло, этому нет названия! (*фр.*)

с приказом гнать всех из кофейной; мне казалось, что это был тот самый господин, который велел нас остановить; к тому же кафе «Комартин» в двух шагах от Мадлены.

— Вот то-то, господа, видите, что значит неосторожность, зачем в такое время выходить со двора? Умы раздражены, кровь течет…

В это время национальный гвардеец привел какую-то служанку, говоря, что офицер ее схватил в то самое время, как она хотела бросить в ящик письмо, адресованное в Берлин. Старик взял пакет и велел солдату идти.

— Вы можете отправляться домой, — сказал он нам, — только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который вас схватил. Да, постойте, я вам дам провожатого, он вас выведет на Елисейские Поля, там можете пройти.

— Ну и вы, — заметил он служанке, отдавая письмо, до которого не дотронулся, — бросьте ваше письмо в другой ящик, где-нибудь подальше.

Итак, полиция защищала от вооруженных мещан!

Ночью, с 26 на 27 июня, рассказывает Пьер Леру, он был у Сенара, прося его распорядиться насчет пленных, которые задыхались в подвалах

Тюльери. Сенар, человек, известный своим отчаянным консерватизмом, сказал Пьеру Леру:

— А кто будет отвечать за их жизнь на дороге? Их перебьет Национальная гвардия. Если б вы пришли часом раньше, вы застали бы здесь двух полковников, я насилу их унял и кончил тем, что сказал им, что если эти ужасы будут продолжаться, то я, вместо президентского стула в Собрании, займу место за баррикадой.

Часа через два, по возвращении домой, явился дворник, незнакомый человек во фраке и человека четыре в блузах, дурно скрывавших муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомец расстегнул фрак и жилет и, с достоинством указывая на трехцветный шарф, сказал, что он комиссар полиции Барле (тот самый, который в Народном собрании второго декабря взял за шиворот человека, взявшего, в свою очередь, Рим — генерала Удино) и что ему велено сделать у меня обыск. Я подал ему ключи, и он принялся за дело совершенно так, как в 1834 году полицмейстер Миллер.

Взошла моя жена; комиссар, как некогда жандармский офицер, приезжавший от Дубельта, стал извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда он, в заключение

речи, просил быть снисходительной:

— Это было бы жестокостью с моей стороны не взойти в ваше положение: вы уже довольно наказаны обязанностью делать то, что вы делаете.

Комиссар покраснел, но не сказал ни слова. Порывшись в бумагах и отложив целый ворох, он вдруг подошел к камину, понюхал, потрогал золу и, важно обращаясь ко мне, спросил:

— С какой целью жгли вы бумаги?

— Я не жег бумаг.

— Помилуйте, зола еще теплая.

— Нет, она не теплая.

— Monsieur, vous parlez à un magistrat![454]

— А зола все же холодная, — сказал я, вспыхнув и подняв голос.

— Что же, я лгу?

— Почему же вы имеете право сомневаться в моих словах?.. Вот с вами какие-то *честные работники*, пусть попробуют. Ну, да если б я и жег бумагу? Во-первых, я вправе жечь, а во-вторых, что же вы сделаете?

— Больше у вас нет бумаг?

— Нет.

---

[454] Сноски: 454
Сударь, вы говорите с должностным лицом! (*фр.*)

— У меня есть еще несколько писем, и презанимательных, пойдемте ко мне, — сказала моя жена.

— Помилуйте, ваши письма…

— Пожалуйста, не церемоньтесь… ведь вы исполняете ваш долг, пойдемте.

Комиссар пошел, слегка взглянул на письма, большей частию из Италии, и хотел выйти…

— А вот вы и не видали, что тут внизу письмо из Консьержри, от арестанта — видите? Не хотите ли взять с собой?

— Помилуйте, сударыня, — отвечал квартальный республики, — вы так предубеждены, мне этого письма вовсе не нужно.

— Что вы намерены сделать с русскими бумагами? — спросил я.

— Их переведут.

— Вот в том-то и дело, откуда вы возьмете переводчика? Если из русского посольства, то это равняется доносу; вы погубите пять, шесть человек. Вы меня искренно обяжете, если упомянете в procès verbal[455], что я настоятельно прошу взять переводчика из польской эмиграции.

— Я думаю, что это можно.

---

[455] Сноски: 455
протоколе (*фр.*).

— Благодарю вас; да вот еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?

— Немного.

— Я вам покажу два письма; в них слово «Франция» не упомянуто, писавший их в руках сардинской полиции; вы увидите по содержанию, что ему плохо будет, если письма дойдут до нее.

— Mais ah ça![456] — заметил комиссар, начинавший входить в человеческое достоинство. — Вы, кажется, думаете, что мы в связи со всеми *деспотическими* полициями. Нам дела нет до чужих. Поневоле мы должны брать меры у себя, когда на улицах льется кровь и когда иностранцы мешаются в наши дела.

— Очень хорошо, стало, вы письма можете оставить.

Комиссар не солгал: он действительно *не много* знал по-итальянски и потому, повертевши письма, положил их в карман, обещаясь возвратить.

Тем его визит и кончился. Письма итальянца он отдал на другой день, но мои бумаги канули в воду. Прошел месяц, я написал письмо к Каваньяку, спрашивая его, отчего полиция не возвращает моих бумаг и не говорит о том, что нашла

---

[456] Сноски: 456
Ну, что вы! (*фр.*)

в них, — вещь, может, очень неважная для нее, но чрезвычайно важная для моей чести.

Последнее было вот на чем основано. Несколько знакомых вступились за меня, находя безобразным визит комиссара и задерживание бумаг.

— Мы желали удостовериться, — сказал Ламорисьер, — *не агент ли он русского правительства.*

Это гнусное подозрение я услышал тут в первый раз; для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла так публично, так открыто, как в хрустальном улье, и вдруг сальное обвинение и от кого? — от республиканского правительства!

Через неделю меня потребовали в префектуру; Барле был со мною; нас принял в кабинете Дюку молодой чиновник, очень похожий на петербургского начальника отделения, из развязных.

— Генерал Каваньяк, — сказал он мне, — поручил префекту возвратить ваши бумаги без малейшего разбора. Сведения, собранные о вас, делают его совершенно излишним, на вас не падает никакого подозрения; вот ваша портфель, не угодно ли вам подписать предварительно эту бумагу?

Это была расписка в том, что «бумаги *все* сполн-

на мне возвращены».

Я приостановился и спросил, не будет ли правильнее, если я пересмотрю бумаги.

— До них не дотрогивались. Впрочем, вот печать.

— Печать цела, — заметил успокоительно Барле.

— Моей печати тут нет. Да ее и не прикладывали.

— Это моя печать, да ведь у вас был ключик.

Не желая отвечать грубостью, я улыбнулся. Это взбесило обоих; начальник отделения сделался начальником департамента, схватил ножик и, взрезывая печать, сказал довольно грубым тоном:

— Пожалуй, смотрите, коли не верите, только у меня нет столько свободного времени, — и он вышел, кланяясь с важностью.

То, что они рассердились, убедило меня, что бумаг действительно не смотрели, и потому, едва бросив взгляд, я дал расписку и отправился домой.

Глава XXXVI

«La Tribune des Peuples». – Мицкевич и Рамон де-ла-Сагра. – Хористы революции 13 июня 1849. – Холера в Париже. – Отъезд.

Я оставил Париж осенью 1847 года, не завязавши никаких связей; литературные и политические кружки оставались мне совершенно чуждыми. Причин на это было много. Прямого случая не представлялось — искать я не хотел. Ходить, только чтобы смотреть знаменитости, я считал неприличным. К тому же мне очень мало нравился тон снисходительного превосходства французов с русскими: они одобряют, поощряют нас, хвалят наше произношение и наше богатство; мы выносим все это и являемся к ним как просители, даже отчасти как виноватые, радуясь, когда они из учтивости принимают нас за французов. Французы забрасывают нас словами — мы за ними не поспеваем, думаем об ответе, а им дела нет до него; нам совестно показать, что мы замечаем их ошибки, их невежество, — они пользуются всем этим с безнадежным доволь-

ством собой.

Чтобы стать с ними на другую ногу, надобно *импонировать*; на это необходимы разные права, которых у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовался, когда они случились под рукой.

Не должно, сверх того, забывать, что нет людей, с которыми было бы легче завести шапочное знакомство, как с французами, — и нет людей, с которыми было бы труднее в самом деле сойтиться. Француз любит жить на людях, чтобы себя показать, чтобы иметь слушателей, и в этом он так же противоположен англичанину, как и во всем остальном. Англичанин смотрит на людей от скуки, смотрит, как из партера, употребляет людей для развлечения, для получения сведений; англичанин постоянно спрашивает, а француз постоянно отвечает. Англичанин все недоумевает, все обдумывает — француз все знает положительно, он кончен и готов, он дальше не пойдет; он любит проповедовать, рассказывать, поучать — чему? кого? — все равно. Потребности личного сближения у него нет, кафе его вполне удовлетворяет, он, как Репетилов, не замечает, что, вместо Чацкого, стоит Скалозуб, вместо Скалозуба — Загорецкий, и продолжает

толковать о Камере, присяжных, о Байроне (которого называет «Бирон») и о материях важных.

Возвратившись из Италии, еще не остывший от февральской революции, я натолкнулся на 15 мая, потом пострадал Июньские дни и осадное положение. Тогда я еще глубже вгляделся в вольтеровского tigre-singe[457], — и у меня прошло даже желание знакомиться с сильными республики сей.

Раз представлялась было возможность общего труда, которая могла привести в сношение со многими лицами, — да и та не удалась. Граф Ксаверий Браницкий дал семьдесят тысяч франков на основание журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и в особенности польским вопросом. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французские газеты занимаются мало и плохо тем, что делается вне Франции; во время республики они думали, что достаточно подчас ободрить все языцы словом solidarité des peuples[458], обещанием, как только дома обдосужатся, завести всемирную

---

[457] Сноски: 457
тигра-обезьяну (*фр.*).

[458] Сноски: 458
солидарность народов (*фр.*).

республику, основанную на всеобщем братстве. При средствах, которые имел новый журнал, названный «Народной трибуной», из него можно было сделать международный «Монитер» движения и прогресса. Его успех был тем вернее, что всеобщих газет вовсе нет — в «Теймсе» и «Journal des Débats» бывают превосходные статьи о специальных вопросах, но без связи, случайно, отрывочно. Редакция «Аугсбургской газеты» была бы действительно самая всеобщая, если б от ее *черно-желтого* направления не так грубо рябило в глазах.

Но, видно, всем добрым начинаниям 1848 года было на роду написано родиться на седьмом месяце и умереть прежде первого зуба. Журнал пошел плохо, вяло — и умер при избиении невинных листов после 14 июня 1849.

Когда все было готово и начеку: дом был нанят и устроен с большими столами, покрытыми сукном, и маленькими косыми конторками, тощий французский литератор был приставлен смотреть за международными орфографическими ошибками, при редакции учрежден совет из бывших польских нунциев и сенаторов, а главным заведователем назначен Мицкевич, в помощники которому дан Хоецкий, — оставалось

торжественно начать, и когда же лучше, как не в годовщину 24 февраля, и чем же приличнее, как не ужином?

Ужин был назначен у Хоецкого. Приехав, я застал уже довольно много гостей, в числе которых не было почти ни одного француза, зато другие нации, от Сицилии до кроатов, были хорошо представлены. Меня, собственно, интересовало одно лицо — Адам Мицкевич; я его никогда прежде не видал. Он стоял у камина, опершись локтем о мраморную доску. Кто видел его портрет, приложенный к французскому изданию и снятый, кажется, с медальона Давида д'Анже, тот мог бы тотчас узнать его, несмотря на большую перемену, внесенную летами. Много дум и страданий сквозили в его лице, скорее литовском, чем польском. Общее впечатление его фигуры, головы с пышными седыми волосами и усталым взглядом выражало пережитое несчастие, знакомство с внутреннею болью, экзальтацию горести — это был пластический образ *судеб Польши.* Подобное впечатление делало на меня потом лицо Ворцеля; впрочем, черты его, еще более болезненные, были живее и приветливее, чем у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, рассеивало; это *что-то* был его странный мисти-

цизм, в который он заступал дальше и дальше.

Я подошел к нему, он меня стал расспрашивать о России; сведения его были отрывочны, литературное движение после Пушкина он мало знал, остановившись на том времени, на котором покинул Россию. Несмотря на свою основную мысль о братственном союзе всех славянских народов, — мысль, которую он один из первых стал развивать, в нем оставалось что-то неприязненное к России. Да и как могло быть иначе после всех ужасов, сделанных царем и царскими сатрапами; притом мы говорили во время пущего разгара николаевского террора.

Первое, что меня как-то неприятно удивило, было обращение с ним поляков его партии: они подходили к нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговея; иные целовали его в плечо. Должно быть, он привык к этим знакам подчиненной любви, потому что принимал их с большим laisser-aller[459]. Быть признанным людьми одного образа мнения, иметь на них влияние, видеть их любовь — желает каждый, отдавшийся душою и телом своим убеждениям, живший ими; но наружных знаков симпатии

---

[459] Сноски: 459
непринужденностью (*фр.*).

и уважения я не желал бы принимать: они разрушают равенство и, следовательно, свободу; да, сверх того, в этом отношении нам никак не догнать ни архиереев, ни начальников департаментов, ни полковых командиров.

Хоецкий сказал мне, что за ужином он предложит тост «в память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевич будет ему отвечать речью, в которой изложит свое воззрение и дух будущего журнала; он желал, чтоб я, как русский, отвечал Мицкевичу. Не имея привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонил его предложение, но обещал предложить тост «за Мицкевича» и прибавить несколько слов к нему о том, как я пил за него в первый раз, в Москве, на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году. Хомяков поднял бокал с словами «за великого отсутствующего славянского поэта!». Имени (которое не смели произнести) не было нужно: все встали, все подняли бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкий был доволен; подтасовавши таким образом наше extempore[460], мы сели за стол. В конце ужина Хоецкий предложил свой тост,

---

[460] Сноски: 460
экспромт (*лат.*).

Мицкевич встал и начал говорить. Речь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т. е. Барбес и Людовик-Наполеон могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить от нее. По мере того, как он развивал свою мысль, я начинал чувствовать что-то болезненно тяжкое и ждал одного слова, одного *имени*, чтоб не осталось ни малейшего сомнения; оно не замедлило явиться!

Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она *снова* ринется на освобождение всех притесненных народов, под теми же орлами, под теми же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народом династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед.

Когда он кончил, кроме двух-трех одобрительных восклицаний его приверженных, молчание было общее. Хоецкий заметил очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорее загладить действие речи, подошел с бутылкой и, наливая бокал, шепнул мне:

— Что же вы?

— Я не скажу ни слова, после этой речи.

— Пожалуйста, что-нибудь.

— Ни под каким видом.

Пауза продолжалась, некоторые опустили глаза в тарелку, другие пристально рассматривали бокал, третьи заводили частный разговор с соседом. Мицкевич переменился в лице, он хотел еще что-то сказать, но громкое «Je demande la parole»[461] положило конец затруднительному положению. Все обернулись к вставшему. Невысокий старик, лет семидесяти, весь седой, с славной, энергической наружностью, стоял с бокалом в дрожащей руке; в его больших черных глазах, в его взволнованном лице были видны гнев и негодование. Это был Рамон де-ла-Сагра.

— За 24 февраля, — сказал он, — таков был тост, предложенный нашим хозяином. Да, за 24 февраля и на погибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался, королевским или императорским, бурбонским или бонапартовским. Я не могу делить воззрения нашего друга Мицкевича; он смотреть может на дела как поэт и по-своему прав, но я не хочу, чтоб его слова в таком собрании прошли без протестации… — И пошел,

---

[461] Сноски: 461
«Прошу слова» (*фр.*).

и пошел, со всею страстью испанца, со всеми правами семидесяти лет.

Когда он кончил, двадцать рук, в том числе и моя, протянулись к нему с бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевич хотел поправиться, сказал несколько слов в объяснение, они не удались. Де-ла-Сагра не сдавался. Все встали из-за стола, и Мицкевич уехал.

Хуже предзнаменования для нового журнала не могло быть, — он просуществовал кое-как до 13 июня и исчез так незаметно, как существовал. Единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, usé par la gloire[462], другие не смели развертывать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию, я не послал ни разу ни одной строчки. Если б наполеоновская полиция была умнее, никогда «Tribune des Peuples» не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июне. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтой о вооруженной демократии, во главе которой наполеониды, этот

---

[462] Сноски: 462
истрепанного славою (*фр.*).

журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела.

Католицизм, так мало свойственный славянскому гению, действует на него разрушительно: когда у богемцев не стало больше силы обороняться от католицизма, они сломились; у поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном. Если они не находятся под прямым влиянием иезуитов, то, вместо освобождения, или выдумывают себе кумир, или попадаются под влияние какого-нибудь визионера[463]. Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу. Поклонение Наполеону принадлежит на первом плане к этому безумию; Наполеон ничего не сделал для них, он не любил Польши, а любил поляков, проливавших за него кровь с тем поэтически колоссальным мужеством, с которым они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сиерра. В 1812 году Наполеон говорил Нарбону: «Я хочу в Польше лагерь, а не форум. Я равно не позволю ни в Варшаве, ни в Москве открыть

---

[463] Сноски: 463
духовидца (*фр.* visionnaire).

клуб для демагогов», — и из него-то поляки сделали военное воплощение Бога, поставили рядом с Вишну и Христом.

Раз вечером поздно, зимой 1848, шел я с одним поляком из Мицкевичевых приверженцев по Вандомской площади. Когда мы поравнялись с колонной, поляк снял фуражку. «Неужели?..» — подумал я, не смея верить в такую глупость, и смиренно спросил его, что за причина, что он снял фуражку. Поляк показал мне пальцем на бронзового императора. Как же после этого не теснить и не угнетать людей, когда это приобретает столько любви!

В домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посещенное Богом». Жена его долгое время была поврежденной. Товянский заговаривал ее и будто помог, это особенно поразило Мицкевича, но следы болезни остались… Дела их шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великого поэта, пережившего себя. Он угас в Турции, замешавшись в нелепое дело устройства казацкого легиона, которому Турция запретила называться польским. Перед смертию он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона.

После этой неудачной попытки участвовать

в журнале я еще больше удалился в небольшой круг знакомых, увеличивавшийся появлением новых эмигрантов. Прежде я хаживал иногда в клубы, участвовал в трех-четырех банкетах, т. е. ел холодную баранину и пил кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая «Марсельезу». Теперь и это надоело. С глубоко скорбным чувством следил я и помечал успехи разложения, падения республики, Франции, Европы. Из России — ни дальней зарницы, ни вести хорошей, ни дружеского привета; писать ко мне перестали; личные, ближайшие, родные связи приостановились. Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками. Она вступала тогда в то страшное пятилетие, из которого выходит теперь[464], наконец, вслед за гробом Николая.

Это пятилетие и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нет ни столько богатств на потерю, ни столько верований на уничтожение…

…Холера свирепствовала в Париже, тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску;

---

[464] Сноски: 464
Писано в 1856 г.

вид испуганного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки, — все это соответствовало событиям.

Жертвы заразы падали возле, рядом. Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу; вечером, когда они возвращались, дама чувствовала себя несколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утром, часов в семь, пришли мне сказать, что у нее холера; я пошел к ней и обомлел, — ни одной черты не осталось по-прежнему — она была хороша собой, но все мышцы лица опустились, съежились, темные тени легли под глазами. Насилу отыскал я Райе в институте и привез его. Взглянув на больную, Райе шепнул мне:

— Вы сами видите, что тут делать, — прописал что-то и уехал.

Больная подозвала меня и спросила:

— Что вам сказал доктор? Он вам что-то сказал?

— Послать за лекарством.

Она взяла меня за руку — и рука ее удивила меня больше лица: она исхудала и сделалась угловатой, как будто месяц тяжкой болезни прошел с тех пор, как она занемогла, — и, останавливая

на мне взгляд, исполненный страдания и ужаса, проговорила:

— Скажите, Бога ради, что он сказал… что, умираю я?.. Да вы меня не боитесь? — прибавила она.

Мне ее было ужасно жаль в эту минуту; это страшное сознание не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивал ее жизнь, должно было быть безмерно мучительно. К утру она умерла.

И. Т<ургене>в собирался ехать из Парижа, срок его квартиры окончился; он пришел ко мне переночевать. После обеда он жаловался на духоту; я сказал ему, что купался утром, — вечером пошел и он купаться. Возвратившись, он чувствовал себя нехорошо, выпил содовой воды с вином и сахаром и пошел спать. Ночью он разбудил меня.

— Я потерянный человек, — сказал он мне, — холера.

У него действительно были тошнота и спазмы; по счастью, он отделался десятью днями болезни.

Моя мать, схоронив свою знакомую, переехала в Ville d'Avray. Когда занемог И. Т<ургене>в, я отправил туда Natalie и детей и остался один

с ним, а когда ему стало гораздо легче, переехал и я туда.

Туда-то утром, 12 июня, явился ко мне Сазонов. Он был в величайшем одушевлении, говорил о готовящемся движении, о неминуемости успеха, о славе, которая ждет участников, и настоятельно звал меня на это жнитво лавр. Я говорил ему, что он знает мое мнение о настоящем положении дел, что мне кажется глупо идти без веры с людьми, с которыми не имеешь почти ничего общего.

На это восторженный агитатор заметил, что оно, конечно, покойнее и безопаснее писать у себя дома скептические статейки в то время, как другие отстаивают на площади свободу мира, солидарность народов и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многих привело и приведет к большим ошибкам и даже к преступлениям, заговорило во мне.

— Да с чего же ты вообразил, что я не пойду?

— Я так заключил из твоих слов.

— Нет, я сказал, что это глупо, но ведь не говорил, что я никогда не делаю глупостей.

— Вот этого-то я и хотел. Вот таким-то я тебя люблю! Ну, так нечего терять времени, едем в Париж. Сегодня вечером немцы и другие рефюжье собираются в девять часов, пойдем сначала

к ним.

— Где же они собираются? — спросил я его в вагоне.

— В café Lamblin, в Palais-Royal'e.

Это было мое первое удивление.

— Как в café Lamblin?

— Там обыкновенно собираются «красные».

— Именно потому-то, мне кажется, и следовало бы сегодня собраться в другом месте.

— Да уже они все там привыкли.

— Пиво, верно, очень хорошо!

В кафе, за десятком маленьких столиков, важно заседали разные habitués[465] революции, значительно и мрачно посматривавшие из-под поярковых шляп с большими полями, из-под фуражек с крошечными козырьками. Это были те вечные женихи революционной Пенелопы, те неизбежные лица всех политических демонстраций, составляющие их *табло*[466], их *фон*, грозные издали, как драконы из бумаги, которыми китайцы хотели застращать англичан.

В смутные времена общественных пересозданий, бурь, в которые государства надолго

---

[465] Сноски: 465
завсегдатаи (*фр.*).

[466] Сноски: 466
картину (*фр.* tableau).

выходят из обыкновенных пазов своих, нарождается новое поколение людей, которых можно назвать хористами революции; выращенное на подвижной и вулканической почве, воспитанное в тревоге и перерыве всяких дел, оно с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Как для Николая *шагистика* была главным в военном деле, так для них все эти банкеты, демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции.

В их числе есть люди добрые, храбрые, искренно преданные и готовые стать под пулю, но большей частию очень недальние и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всем революционном, они останавливаются на какой-нибудь программе и не идут вперед.

Толкуя всю жизнь о небольшом числе политических мыслей, они об них знают, так сказать, их риторическую сторону, их священническое облачение, т. е. те общие места, которые последовательно появляются одни и те же, à tour de rôle[467], как уточки в известной детской игруш-

[467] Сноски: 467
по очереди (*фр.*).

ке, в газетных статьях, в банкетных речах и в парламентских выходках.

Сверх людей наивных, революционных доктринеров, в эту среду естественно втекают непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившие курса, но окончившие ученье, адвокаты без процессов, артисты без таланта, люди с большим самолюбием, но с малыми способностями, с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд. Внешнее руководство, которое гуртом пасет в обыкновенные времена стада человеческие, слабеет во времена переворотов, люди, оставленные сами на себя, не знают, что им делать. Легкость, с которой, и то только по видимому, всплывают знаменитости в революционные времена, поражает молодое поколение, и оно бросается в пустую агитацию; она приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы. Жизнь в кофейных и клубах увлекательна, полна движения, льстит самолюбию и вовсе не стесняет. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сделано сегодня, можно сделать завтра, можно и вовсе не делать.

Хористы революции, подобно хору греческих трагедий, делятся еще на полухоры; к ним идет

ботаническая классификация: одни из них могут назваться *тайнобрачными*, другие — *явнобрачными.* Одни из них делаются вечными заговорщиками, меняют по нескольку раз квартиру и форму бороды. Они таинственно приглашают на какие-то необыкновенно важные свидания, если можно, ночью или в каком-нибудь неудобном месте. Встречаясь публично с своими друзьями, они не любят кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрывают свой адрес, не сообщают день отъезда, не сказывают, куда едут, пишут шифрами и химическими чернилами новости, напечатанные просто голландской сажей в газетах.

При Людвиге-Филиппе, рассказывал мне один француз, Э., замешанный в какое-то политическое дело, скрывался в Париже; при всех своих прелестях такая жизнь становится à la longue[468] утомительна и скучна. Делессер, bon vivant[469] и богатый человек, был тогда префектом; он служил по полиции не из нужды, а из страсти и любил иногда весело пообедать. У него и у Э. было много общих приятелей; раз, между «грушей

---

[468] Сноски: 468
в конце концов (*фр.*).

[469] Сноски: 469
кутила (*фр.*).

и сыром», как говорят французы, один из них сказал ему:

— Какая досада, что вы так преследуете бедного Э.? Мы лишены славного собеседника, и он должен скрываться, как преступник.

— Помилуйте, — сказал Делессер, — об его деле помину нет. Зачем он прячется? — Знакомые его иронически улыбались. — Я его постараюсь уверить, что он делает вздор, и вас с тем вместе.

Приехавши домой, он позвал одного из главных шпионов и спросил его:

— Что Э., в Париже?

— В Париже, — отвечал шпион.

— Прячется? — спросил Делессер.

— Прячется, — отвечал шпион.

— Где? — спросил Делессер.

Шпион вынул книжку, порылся в ней и прочел его адрес.

— Хорошо, так ступайте к нему завтра утром рано и скажите, что он напрасно беспокоится, что мы его не ищем и что он может спокойно жить на своей квартире.

Шпион в точности исполнил приказание, а через два часа после его визита Э. таинственно извещал своих близких и друзей, что он уезжает из Парижа и будет скрываться в одном из даль-

них городов, потому-де, что префект открыл место, где он прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завесой таинственности и красноречивым молчанием свою тайну, столько явнобрачные стараются обличить и разболтать все, что есть за душой.

Это бессменные трибуны кофейных и клубов; они постоянно недовольны всем и хлопочут обо всем, все сообщают, даже то, чего не было, а то, что было, является у них, как горы в рельефных картах, возведенное в квадрат и куб. Глаз до того к ним привыкает, что невольно ищет их при всяком уличном шуме, при всякой демонстрации, на всяком банкете.

…Для меня зрелище в café Lamblin было еще ново, я мало был знаком тогда с задним двором революции. Правда, я ходил в Риме и в caffè delle Belle Arti и на площадь, бывал в Circolo Romano и в Circolo Popolare, но тогдашнее римское движение не имело еще того характера политической махровости, который особенно развился после неудач 1848 года. Чичероваккио и его друзья имели свои наивности, свою южную мимику, которая нам кажется фразой, и свои итальянские фразы, которые мы принимаем за декламацию;

но они были в периоде юного увлечения, они еще не пришли в себя после трехвекового сна; il popolano[470] Чичероваккио вовсе не был политическим агитатором по ремеслу, он ничего лучше не просил бы, как снова удалиться с миром в свой небольшой дом Strada Ripetta[471] и торговать лесом и дровами в кругу своей семьи, как pater familias[472] и свободный civis romanus[473].

В людях, его окружавших, не могло быть той печати пошлого, изболтавшегося псевдореволюционизма, того характера taré[474], который так печально распространился во Франции.

Само собою разумеется, что, говоря о кофейных агитаторах и о революционных лаццарони, я вовсе не думал о тех сильных работниках человеческого освобождения, о тех огненных проповедниках независимости, о тех мучениках любви к ближнему, которым ни тюрьма, ни ссыл-

---

[470] Сноски: 470
сын народа (*ит.*).

[471] Сноски: 471
на улице Рипетта (*ит.*).

[472] Сноски: 472
отец семейства (*лат.*).

[473] Сноски: 473
римский гражданин (*лат.*).

[474] Сноски: 474
с изъяном (*фр.*).

ка, ни изгнание, ни бедность не перерезала речи, о тех делателях и двигателях событий, кровью, слезами и речами которых водворяется новый порядок в истории. У нас речь шла о той накипевшей закраине, покрытой праздным пустоцветом, для которого сама агитация — цель и награда, которым процесс народных восстаний нравится, как процесс чтения нравился Петрушке Чичикова или как шагистика — Николаю.

Реакции радоваться нечему — не такими репейниками и мухоморами поросла она и не на закраинах, а повсюду. В ней целые населения чиновников, дрожащих перед начальниками, шныряющих шпионов, вольнонаемных убийц, готовых драться с той и другой стороны, офицеров во всех отвратительных видах, от прусского юнкертума до хищных французских алжирцев, от гвардейцев до «камер-пажей». И тут мы еще только коснулись светской реакции, не трогая ни нищенствующую братию, ни интригующих иезуитов, ни полицействующих попов, ни прочих членов ангельского и архангельского чина.

Если в реакции есть что-нибудь похожее на наших дилетантов революции, то это придворные — люди, употребляемые для церемоний, люди выходов и входов, люди, бросающиеся

в глаза на крестинах и бракосочетаниях, на коронациях и похоронах, люди для мундира, для шитья, представляющие лучи власти, ее аромат.

В café Lamblin, где отчаянные граждане сидели за птиверами[475] и большими стаканами, я узнал, что нет никакого плана, нет никакого настоящего центра движения, никакой программы. Вдохновение должно было сойти, как некогда святой дух на голову апостолов. Только в одном пункте все были согласны — *в том, чтоб явиться на место сбора без оружия.* После пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтоб завтра в восемь часов утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle, против Château d'Eau, мы отправились в редакцию «Истинной республики».

Издателя не было дома: он поехал «к горцам» за инструкциями. В большой, почернелой, слабо освещенной и еще слабее меблированной зале, служившей редакции для сбора и совещаний, было человек двадцать, большей частью поляки и немцы. Сазонов взял лист бумаги и принялся что-то писать; написавши, он нам прочел: это была протестация от имени эмигрантов всех стран против занятия Рима и заявление готовности

---

[475] Сноски: 475
рюмками (*фр.* petit verre).

их принять участие в движении. Тем, кто хотел обессмертить свое имя, связывая его с славным завтра, он предлагал подписаться. Почти все хотели обессмертить свое имя и подписались. Вошел издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что он много знает, но должен молчать; я был уверен, что он ничего не знает.

— Citoyens, — сказал Торе, — la Montagne est en permanence[476].

Ну что же сомневаться в успехе — en permanence! Сазонов передал издателю протестацию европейской демократии. Издатель перечитал и сказал:

— Это прекрасно, это прекрасно! Франция вас благодарит, граждане; но зачем же подписи? Их так немного, что, в случае неудачи, на вас обрушится вся злоба наших врагов.

Сазонов настаивал, чтобы имена остались; многие были согласны с ним.

— Я не беру этого на мою ответственность, — возразил издатель, — простите меня, я лучше вас знаю, с кем мы имеем дело.

При этом он оторвал подписи и предал имена дюжины кандидатов на бессмертие всесожже-

---

[476] Сноски: 476
Граждане, Гора заседает непрерывно (*фр.*).

нию на свече, а текст послал набирать в типографию.

Когда мы вышли из редакции, рассветало; толпы оборванных мальчишек и несчастных, убого одетых женщин стояли, сидели, лежали по тротуарам, возле разных редакций, ожидая кипы журналов — одни, чтоб их складывать, другие, чтоб бежать с ними во все концы Парижа. Мы вышли на бульвар, тишина была совершенная, изредка попадались патрули Национальной гвардии, прогуливались и лукаво посматривавшие городовые сержанты.

— Как беззаботно спит этот город, — сказал мой товарищ, — не предчувствуя, какая гроза его разбудит завтра!

— Вот кто не спит за нас за всех, — сказал я ему, указывая наверх, т. е. на освещенное окно в Maison d'Or. — Это очень кстати, зайдем выпить абсинту; у меня что-то на желудке нехорошо.

— А у меня пусто, к тому же оно и недурно поужинать; как едят в Капитолии, я не знаю, ну, а в Консьержри кормят отвратительно.

По костям холодной индейки, оставшимся от трапезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирепствовала в Париже, ни того, что мы идем через два часа менять судьбы Евро-

пы. Мы ели в Maison d'Or так, как Наполеон спал под Аустерлицем.

Часу в девятом, когда мы пришли на бульвар Bonne Nouvelle, на нем уже стояли многочисленные кучки людей, с видимым нетерпением ожидавших, что делать; на лицах было написано недоумение, но с тем вместе по особенной физиономии групп видно было большое озлобление. Найди себе эти люди настоящих вожатаев, день не кончился бы фарсом.

Была минута, в которую мне показалось, что сейчас завяжется дело. Какой-то господин довольно тихо ехал верхом по бульварам. В нем узнали одного из министров (Лакруа), который, вероятно, не для одного чистого воздуха прогуливался верхом так рано. Его окружили с криком, стащили с лошади, изодрали ему фрак и потом отпустили, т. е. другая группа отбила его и эскортировала куда-то. Толпа росла, часам к десяти могло быть до двадцати пяти тысяч человек. Кого мы ни спрашивали, к кому мы ни обращались, никто ничего не знал. Керсози, времен минувших карбонаро, уверял нас, что банльё[477] входит в Arc de Triomphe с криком: «Vive la République!»

---

[477] Сноски: 477
предместье (*фр.* banlieue).

— Пуще всего, — опять повторяли все старейшины демократии, — будьте без оружия, а то вы испортите характер дела. Самодержавный народ должен мирно и торжественно заявить Собранию свою волю, чтоб не дать врагам никакого повода к клевете.

Наконец, колонны состроились. Из нас, иностранцев, составили почетную фалангу за самыми вожатаями, в числе которых были Э. Араго, в полковничьем мундире, бывший министр Бастид и другие знаменитости 1848 года. С разными криками и с «Марсельезой» двинулись мы по бульвару. Кто не слыхал «Марсельезы», петой тысячами голосов в том нервном раздражении и в том раздумье, которое необходимо является перед известной борьбой, тот вряд ли поймет потрясающее действие революционного псалма.

В эту минуту демонстрация получила величавый характер. По мере того как мы тихо двигались по бульварам, все окна отворялись; дамы, дети толкались у них и выходили на балконы; мрачные и встревоженные лица их мужей, отцов-проприетеров выглядывали из-за них, не замечая, что в четвертых этажах и мансардах высовывались другие головки, бедных швей и работниц; они махали нам платками, кланялись

и приветствовали руками. Время от времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домов известных лиц.

Так дошли мы до того места, где rue de la Paix входит в бульвары; она была заперта взводом венсенских стрелков, и, когда наша колонна поравнялась с ними, стрелки вдруг расступились, как декорация в театре, — и Шангарнье, верхом на небольшой лошади, скакал перед эскадроном драгунов. Без всяких соммаций[478], без барабанного боя и прочих законом предписанных форм, он, смяв передовые ряды, отрезал их от прочих и, развернув драгунов на две стороны, велел им скорым шагом расчистить улицу. Драгуны с каким-то упоением пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малейшем сопротивлении. Я едва успел сообразить, что случилось, как очутился нос с носом с лошадью, которая фыркала мне в лицо, и с драгуном, который, ругаясь, также не за глаза, грозился вытянуть меня фухтелем, если я не пойду в сторону. Я подался направо и, в одно мгновение, был увлечен толпой и прижат к решетке rue Basse des Remparts. Из нашего ряда остался возле меня

---

[478] Сноски: 478
требований разойтись (*фр.* sommation).

один М<юллер> Стрюбинг; между тем драгуны жали передовых людей лошадьми, а они нас людьми, которым некуда было деться. Э. Араго соскочил в улицу Basse des Remparts, поскользнулся и вывихнул себе ногу; вслед за ним соскочил и я с Стрюбингом; мы взглянули друг на друга с каким-то бешенством негодованья, Стрюбинг обернулся и громко закричал: «Aux armes! Aux armes!»[479] Человек в блузе схватил его за воротник и, толкая в другую сторону, сказал:

— Что вы, с ума сошли, что ли. смотрите сюда.

По улице — должно быть, Chaussée d'Antin — двигалась густая щетина штыков.

— Ступайте, пока вас не слыхали да пока не отрезали дороги. Все пропало! все! — прибавил он, сжимая кулак, и, напевая песню, будто ничего не было, удалился скорыми шагами.

Мы пошли на площадь Согласия. На Елисейских Полях не было ни одного взвода из банльё, ведь и Керсози знал, что не было; это была дипломатическая ложь к спасению, а может, она была бы и к гибели тех, которые поверили бы.

Наглость нападения на безоружных людей возбудила большую злобу. Будь в самом деле

---

[479] Сноски: 479
«К оружию! К оружию!» (*фр.*)

что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, как начать настоящий бой. «Гора», вместо того, чтоб явиться во весь рост, услышав о том, как смешно разогнали лошадьми самодержавный народ, скрылась за облаком. Ледрю-Роллен вел переговоры с Гинаром. Гинар, начальник артиллерии Национальной гвардии, хотел сам пристать к движению, хотел дать людей, соглашался дать пушки, но ни под каким видом не хотел *давать зарядов*; он как-то хотел действовать *моральной стороной пушек*; то же делал со своим легионом Форестье. Много ли им помогло это — мы видели по версальскому процессу. Всем чего-то хотелось — но никто не дерзал; всего предусмотрительнее оказались несколько молодых людей: с надеждой на новый порядок — они заказали себе префектские мундиры, которых, после неудачи движения, не взяли, и портной принужден был вывесить их на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось в Arts et Métiers[480], работники, походивши по улицам с вопрошающим взглядом и не находя ни совета, ни призыва, отправились

---

[480] Сноски: 480
Училище искусств и ремесел (*фр.*).

домой, еще раз убедившись в несостоятельности горных отцов отечества, может быть, глотая слезы, как блузник, говоривший нам: «Все погибло! все!», а может, и смеясь исподтишка тому, что «Гора» опростоволосилась.

Но нерасторопность Ледрю-Роллена, формализм Гинара — все это внешние причины неудачи и являются с тем же *кстати*, как резкие характеры и счастливые обстоятельства, когда их нужно. Внутренняя причина состояла в бедности той республиканской идеи, из которой шло движение. Идеи, пережившие свое время, могут долго ходить с клюкой, могут даже, как Христос, еще раз, два показаться после смерти своим адептам — но трудно для них снова завладеть жизнью и вести ее. Они не увлекают всего человека или увлекают только неполных людей. Если б «Гора» одолела 13 июня, что бы она сделала? Нового у нее за душой ничего не было. Опять бесцветная фотография яркой и мрачной рембрандтовской, сальватор-розовской картины 1793 года, без якобинцев, без войны, даже без наивной гильотины…

Вслед за 13 июнем и опытом лионского восстания начались аресты; мэр с полицией приходил к нам в Ville d'Avray искать К. Блинда и А. Руге;

часть знакомых была захвачена. Консьержри была набита битком: в небольшом зале было до шестидесяти человек; посреди него стоял ушат для нечистот, раз в сутки его выносили — и все это в образованном Париже, во время свирепейшей холеры. Не имея ни малейшей охоты прожить месяца два в этом комфорте, на гнилых бобах и тухлой говядине, я взял пасс у одного молдо-валаха и уехал в Женеву[481].

Тогда еще возили Францию Lafitte и Caillard; дилижансы ставили на железную дорогу, потом снимали, помнится, в Шалоне и опять где-то ставили. Со мной в купе сел худощавый мужчина, загорелый, с подстриженными усами, довольно неприятной наружности и подозрительно посматривавший на меня; с ним был небольшой сак и шпага, завернутая в клеенку. Очевидно, что это был переодетый городской сержант. Он тщательно осмотрел меня с ног до головы, потом уткнулся в угол и не произнес ни одного слова. На первой станции он подозвал кондуктора и сказал ему, что забыл превосходную карту, что

[481] Сноски: 481

Как справедливы были мои опасения, доказал полицейский обыск, сделанный дня три после моего отъезда в доме моей матери, в Ville d'Avray. У нее захватили все бумаги, даже переписку ее горничной с моим поваром. Рассказ о 13 июне я не счел своевременным печатать тогда.

он его обяжет, давши клочок бумаги и конверт. Кондуктор заметил, что до звонка остается всего минуты три; сержант выпрыгнул и, возвратившись, стал еще подозрительнее осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчание, даже позволение курить он спросил у меня молча; я отвечал также головой и глазами и вынул сам сигару. Когда стало смеркаться, он спросил меня:

— Вы в Женеву?

— Нет, в Лион, — отвечал я.

— А! — Тем разговор и кончился.

Через несколько времени отворилась дверь и кондуктор с трудом всунул плешивую фигуру в пространном гороховом пальто, в цветном жилете, с толстой тростью, мешком, зонтиком и огромным животом. Когда этот тип добродетельного дяди уселся между мной и сержантом, я его спросил, не давши ему прийти в себя от одышки:

— Monsieur, vous n'avez pas d'objection?[482]

Кашляя, отирая пот и повязывая фуляром голову, он отвечал мне:

— Сделайте одолжение; помилуйте, мой сын, который теперь в Алжире, всегда курит, il fume

---

[482] Сноски: 482
Сударь, вы не возражаете? (*фр.*)

toujours[483], — и потом, с легкой руки, пошел рассказывать и болтать; через полчаса он уже допросил меня, откуда я и куда еду, и, услыхав, что я из Валахии, с свойственной французу учтивостью прибавил: «Ah! c'est un beau pays»[484], хотя он и не знал наверно, в Турции она или в Венгрии.

Сосед мой отвечал на его вопросы очень лаконически.

— Monsieur est militaire?

— Oui, monsieur.

— Monsieur a été en Algérie?

— Oui, monsieur[485].

— Мой старший сын тоже, он и теперь там. Вы, верно, в Оран?

— Non, monsieur[486].

— А в ваших странах есть дилижансы?

— Между Яссами и Бухарестом, — отвечал я с неподражаемой самоуверенностью. — Только

---

[483] Сноски: 483
он вечно дымит (*фр.*).

[484] Сноски: 484
«А! это прекрасная страна» (*фр.*).

[485] Сноски: 485
Вы — военный? — Да. — Вы были в Алжире? — Да. (*фр.*)

[486] Сноски: 486
Нет (*фр.*).

у нас дилижансы ходят на волах.

Это привело в крайнее удивление моего соседа, и он наверно присягнул бы, что я валах; после этой счастливой подробности даже сержант смягчился и стал разговорчивее.

В Лионе я взял свой чемодан и тотчас поехал в другую контору дилижансов, вскарабкался на империал и через пять минут скакал уже по женевской дороге. В последнем большом городе, на площадке перед полицейским домом, сидел комиссар полиции с писарем, около стояли жандармы: тут свидетельствовали предварительно пассы. Приметы не совсем шли ко мне, а потому, слезая с империала, я сказал жандарму:

— Mon brave[487], пожалуйста, где бы на скорую руку выпить стакан вина с вами? Укажите, мочи нет, какой жар.

— Да вот тут, два шага, кафе моей родной сестры.

— А как же быть с пассом?

— Давайте сюда, я отдам моему товарищу, он принесет его нам.

Через минуту мы осушали с жандармом бутылку Бон в кафе его родной сестры, а через пять

---

[487] Сноски: 487
Почтеннейший (*фр.*).

его приятель принес пасс, я ему поднес стакан, он приложил руку к шляпе, и мы отправились друзьями к дилижансу. Первый раз сошло хорошо с рук. Приезжаем на границу — река, на реке мост, за мостом пиэмонтская таможня. Французские жандармы на берегу таскаются во всех направлениях, ищут Ледрю-Роллена, который давно проехал, или по крайней мере Феликса Пиа, который все-таки проедет и, так же, как я, с валахским пассом.

Кондуктор заметил нам, что здесь окончательно смотрят бумаги, что это продолжается довольно долго, с полчаса, в силу чего советовал поесть в почтовом трактире. Мы вошли и только что уселись, прикатил другой лионский дилижанс; входят пассажиры, и первый — мой сержант. Фу, пропасть какая, я ведь ему сказал, что еду в Лион. Мы с ним сухо поклонились, он также, кажется, удивился, однако не сказал ни слова.

Пришел жандарм, роздал пассы, дилижансы были уже на той стороне.

— Извольте, господа, отправляться пешком через мост.

Вот тут-то, думаю, и пойдет история. Вышли мы… Вот и на мосту — истории нет, вот и за мостом — истории нет.

— Ха, ха, ха! — сказал, нервно смеясь, сержант, — переехали-таки, фу, как будто какая-нибудь тяжесть свалилась.

— Как, — сказал я, — и вы?

— Да ведь и вы, кажется?

— Помилуйте, — отвечал я, смеясь от души, — прямо из Бухареста, чуть не на волах.

— Ваше счастье, — сказал мне кондуктор, грозя пальцем, — а вперед будьте осторожнее. Зачем вы дали два франка на водку мальчику, который привел вас в контору? Хорошо, что он тоже *наш*, он мне тотчас сказал: «Должно быть, красный, ни минуты не остался в Лионе и так обрадовался месту, что дал мне два франка на водку». — «Ну, молчи, не твое дело, — сказал я ему, — а то услышит бестия какая-нибудь полицейская и, пожалуй, остановит».

На другой день мы приехали в Женеву, эту старинную гавань гонимых… «Во время смерти короля сто пятьдесят семейств, — говорит Мишле в своей истории XVI столетия, — бежали в Женеву; спустя некоторое время еще тысяча четыреста. Выходцы французские и выходцы из Италии основали истинную Женеву, это удивительное убежище между тремя нациями; без всякой опоры, боясь самих швейцарцев, оно

держалось одной нравственной силой».

Швейцария была тогда сборным местом, куда сходились со всех сторон уцелевшие остатки европейских движений. Представители всех неудавшихся революций кочевали между Женевой и Базелем, толпы ополченцев переходили Рейн, другие спускались с С.-Готарда или шли из-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смело открыто их гнать, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убежища.

Точно на смотру, церемониальным маршем проходили по Женеве, останавливались, отдыхали и шли дальше все эти люди, которыми была полна молва, которых я любил заочно и к которым теперь торопился навстречу…

Глава XXXVII

Вавилонское столпотворение. – Немецкие Umwälzungsmänner'ы[488]*. – Французские*

[488] Сноски: 488
делатели переворотов (*нем.*).

красные горцы. – Итальянские fiorusciti[489] *в Женеве. – Маццини, Гарибальди, Орсини… – Романская и германская традиция. – Прогулка на «Князе Радецком».*

Было время, когда, в порыве раздражения и горького смеха, я собирался, на манер гранвилевской иллюстрации, написать памфлет: «Les réfugiés peints par eux-mêmes»[490]. Я рад, что не сделал этого. Теперь я смотрю покойнее, меньше смеюсь и меньше негодую. К тому же и эмиграция продолжается слишком долго и слишком тяжко гнетет людей…

Тем не меньше я и теперь скажу, что эмиграции, предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой деятельности в призрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти

---

[489] Сноски: 489
изгнанники (*ит.*).

[490] Сноски: 490
«Эмигранты в их собственном изображении» (*фр.*).

из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание. Люди вообще, но пуще всего люди в исключительном положении, имеют такое пристрастие к формализму, к цеховому духу, к профессиональной наружности, что тотчас принимают свой ремесленнический, доктринерный тип.

Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен.

Эмигранты 1849 не верили еще в продолжительность победы своих врагов, хмель недавних успехов еще не проходил у них, песни ликующего народа и его рукоплескания еще раздавались в их ушах. Они твердо верили, что их поражение — минутная неудача, и не перекладывали платья из чемодана в комод. Между тем Париж был под надзором полиции, Рим пал под ударами французов, в Бадене свирепствовал брат короля

прусского, а Паскевич по-русски, взятками и посулами, надул Гёргея в Венгрии. Женева была битком набита выходцами, она делалась Кобленцем революции 1848 г. Итальянцы всех стран, французы, ушедшие от Бошарова следствия, от версальского процесса, баденские ополченцы, вступившие в Женеву правильным строем, с своими офицерами и с Густавом Струве, участники венского восстания, богемцы, познанские и галицийские поляки — все это толпилось между отель де Берг и почтовым кафе. Умнейшие из них стали догадываться, что эта эмиграция не минутна, поговаривали об Америке и уезжали. Большинство, совсем напротив, и в особенности французы, верные своей натуре, ждали всякий день смерти Наполеона и нарождения республики: демократической и социальной — одни, другие — демократической, но отнюдь не социальной.

Через несколько дней после моего приезда, гуляя в Паки, я встретил какого-то пожилого господина с видом русского сельского священника, в низкой шляпе с большими полями, в *черном* белом сертуке, прогуливавшегося с каким-то иерейским помазанием; возле него шел человек страшных размеров, небрежно собранный

из огромных частей людского тела. Со мной был молодой литератор Ф. Капп.

— Вы не знаете их? — спросил он меня.

— Нет, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лот, прогуливающийся с Адамом, который, вместо фиговых листьев, надел не по мерке сшитое пальто.

— Это Струве и Гейнцен, — ответил он, смеясь. — Хотите познакомиться?

— Очень.

Он подвел меня.

Разговор был ничтожен; Струве возвращался домой и просил зайти; мы пошли с ним. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середь их сидела высокая и издали очень красивая женщина, с богатой шевелюрой, оригинальным образом разбросанной, — это была известная Амалия Струве, его жена.

Лицо Струве с самого начала сделало на меня странное впечатление: оно выражало тот нравственный столбняк, который изуверство придает святошам и раскольникам. Глядя на этот крепкий, сжатый лоб, на покойное выражение глаз, на нечесаную бороду, на волосы с проседью и на всю его фигуру, мне казалось, что это или какой-нибудь фанатический пастор из войска

Густава-Адольфа, забывший умереть, или какой-нибудь таборит, проповедующий покаяние и причастие в двух видах. Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито поглядывал исподлобья и был не речист. Он впоследствии писал, что достаточно *избить два миллиона* человек на земном шаре — и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивится, что он это писал.

Не могу не рассказать о чрезвычайно смешном анекдоте, который со мной случился по поводу этой каннибальской выходки. В Женеве жил, да и теперь живет, добрейший в мире доктор Р., один из самых платонических и самых постоянных любовников революции, друг всех выходцев; он на свой счет лечил, кормил и поил их. Бывало, как рано ни придешь в café de la Poste, а доктор уже там и уже читает третью или четвертую газету, зовет таинственно пальцем и сообщает на ухо:

— Я думаю, что сегодня в Париже горячий день.

— Отчего же?

— Я вам не могу сказать, от кого я слышал, но только от близкого человека Ледрю-Роллена,

он был здесь проездом…

— Да ведь вы и вчера и третьего дня ждали чего-то, любезнейший доктор?

— Ну так что ж, Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut[491].

Вот к нему-то как к другу Гейнцена, в том же самом кафе, я и обратился, когда Гейнцен напечатал свою филантропическую программу.

— Зачем же, — сказал я ему, — ваш приятель пишет такой вредный вздор? Реакция кричит, да и имеет право — что за Мара, переложенный на немецкие нравы, да и как требовать два миллиона голов?

Р. сконфузился, но друга выдать не хотел.

— Послушайте, — сказал он наконец, — вы, может, одно выпустили из виду: Гейнцен говорит обо всем роде человеческом, в этом числе, по крайней мере, *двести тысяч китайцев.*

— Ну, вот это другое дело, чего их жалеть, — ответил я, и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину.

Дня через два после моей встречи в Паки гарсон hôtel des Bergues, где я стоял, прибежал ко мне в комнату и с важной миной возвестил:

---

[491] Сноски: 491
не в один день был выстроен Рим (*нем.*).

— Генерал Струве с своими адъютантами.

Я подумал, или что мальчика кто-нибудь подослал шутя, или что он что-нибудь переврал; но дверь отворилась,

Mit bedächtigem Schritt
Густав Струве tritt…[492]

и с ним четыре господина; двое были в военном костюме, как их тогда носили фрейшерлеры[493], и вдобавок с большими красными брасарами[494], украшенными разными эмблемами. Струве представил мне свою свиту, демократически называя ее «братьями в ссылке». Я с удовольствием узнал, что один из них, молодой человек лет двадцати, с видом бурша, недавно вышедшего из фуксов[495], успешно занимал уже должность министра внутренних дел per interim[496].

Струве тотчас начал меня поучать своей теории

---

[492] Сноски: 492
осторожным шагом выступает Густав Струве (*нем.*).

[493] Сноски: 493
добровольцы (*нем.* Freischärler).

[494] Сноски: 494
нарукавными повязками (*фр.* brassard).

[495] Сноски: 495
студентов 1-го курса (*нем.* Fuchs).

[496] Сноски: 496
временно (*лат.*).

о семи бичах, der sieben Geißeln: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д. — и о водворении какой-то новой демократической и революционной религии. Я заметил ему, что если уже это зависит от нашей воли, заводить или нет новую религию, то лучше не заводить никакой, а предоставить это воле Божией, оно же и по сущности дела относится более до нее. Мы поспорили. Струве что-то отпустил о Weltseele[497], я ему заметил, что, несмотря на то, что Шеллинг так ясно определил мировую душу, называя ее das Schwebende[498], мне она порядком не дается. Он вскочил со стула и, подошедши ко мне как нельзя ближе со словами «извините, позвольте», принялся играть пальцами по моей голове, нажимая ими, как будто череп у меня был составлен из клавишей фицгармоники.

— Действительно, — прибавил он, обращаясь к четырем братьям в ссылке, — Bürger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Veneration[499].

---

[497] Сноски: 497
мировой душе (*нем.*).

[498] Сноски: 498
витающее (*нем.*).

[499] Сноски: 499
гражданин Герцен не имеет никакого, решительно никакого бугра почтительности (*нем.*).

Все были довольны отсутствием у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этом он объявил мне, что он глубокий френолог и не только писал книгу о Галлевой системе, но даже выбрал по ней свою Амалию, потрогавши предварительно ее череп. Он уверял, что у нее бугра страстей совсем почти не существует и что задняя часть черепа, обиталище их, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причине он женился на ней.

Струве был большой чудак, ел одно постное с прибавкой молока, не пил вина, и на такой же диете держал свою Амалию. Ему казалось и этого мало, и он всякий день ходил купаться с нею в Арву, где вода середь лета едва достигает 8 градусов, не успевая нагреться, — так быстро стекает она с гор.

Впоследствии мне случалось говорить с ним о растительной пище. Я возражал ему, как обыкновенно возражают: устройством зубов, большей потерей сил на претворение растительного фибрина, указывал на меньшее развитие мозга у травоядных животных. Он слушал кротко, не сердился, но стоял на своем. В заключение он, видимо, желая меня поразить, сказал мне:

— Знаете ли вы, что человек, всегда питающий-

ся растительной пищей, до того очищает свое тело, что оно совсем не пахнет после смерти?

— Это очень приятно, — возразил я ему, — но мне-то от этого какая же польза? я не буду нюхать сам себя после смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказал мне с спокойным убеждением:

— Вы еще будете иначе говорить!

— Когда вырастет бугор почтительности, — прибавил я.

В конце 1849 Струве прислал мне свой, вновь изобретенный *для вольной* Германии, календарь. Дни, месяцы — все было переведено на какое-то древнегерманское и трудно понятное наречие: вместо святых, каждый день был посвящен воспоминанию двух знаменитостей, например, Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался в память врагов рода человеческого, например, Николая и Меттерниха. Праздниками были те дни, когда воспоминание падало на особенно великих людей, на Лютера, Колумба и проч. В этом календаре Струве галантно заменил 25 декабря, Рождество Христово, праздником *Амалии*!

Как-то, встретившись со мной на улице, он, между прочим, сказал, что надобно было бы изда-

вать в Женеве журнал, общий всем эмиграциям, на трех языках, который мог бы бороться против «семи бичей» и поддерживать «священный огонь» народов, раздавленных теперь реакцией. Я ему отвечал, что, разумеется, это было бы хорошо.

Издание журналов было тогда повальной болезнию: каждые две-три недели возникали проекты, являлись спесимены[500], рассылались программы, потом нумера два-три — и все исчезало бесследно. Люди, ни на что не способные, всё еще считали себя способными на издание журнала, сколачивали сто-двести франков и употребляли их на первый и последний лист. Поэтому намерение Струве меня нисколько не удивило; но удивило, и очень, его появление ко мне на другое утро, часов в семь. Я думал, что случилось какое-нибудь несчастие, но Струве, спокойно усевшись, вынул из кармана какую-то бумагу и, приготовляясь читать, сказал:

— Бюргер, так как мы вчера согласились с вами в необходимости издавать журнал, то я и пришел прочесть вам его программу.

Прочитавши, он объявил, что пойдет к Мац-

---

[500] Сноски: 500
пробные номера (*англ.* specimen).

цини и многим другим и пригласит собраться для совещания у Гейнцена. Пошел и я к Гейнцену. Он свирепо сидел на стуле за столом, держа в огромной ручище тетрадь, другую он протянул мне, густо пробормотавши: «Бюргер, плац!»[501]

Человек восемь немцев и французов были налицо. Какой-то экс-народный представитель французского законодательного собрания делал смету расходов и писал что-то кривыми строчками. Когда вошел Маццини, Струве предложил прочесть программу, писанную Гейнценом. Гейнцен прочистил голос и начал читать *по-немецки*, несмотря на то, что общий всем язык был один французский.

Так как у них не было тени новой идеи, то программа была тысячной вариацией тех демократических разглагольствований, которые составляют такую же риторику на революционные тексты, как церковные проповеди на библейские. Косвенно предупреждая обвинение в социализме, Гейнцен говорил, что демократическая республика сама по себе уладит экономический вопрос к общему удовольствию. Человек, не содрогнувшийся перед требованием

---

[501] Сноски: 501
Садитесь, гражданин! (*нем.* Bürger, Platz)

двух миллионов голов, боялся, что их орган сочтут коммунистическим.

Я что-то возразил ему на это после чтения, но по его отрывистым ответам, по вмешательству Струве и по жестам французского представителя догадался, что мы были приглашены на совет, чтоб принять программу Гейнцена и Струве, а совсем не для того, чтоб ее обсуживать; это было, впрочем, совершенно согласно с теорией Эльпидифора Антиоховича Зурова, новгородского военного губернатора[502].

Маццини, хотя и печально слушал, однако согласился и чуть ли не первый подписал на две-три акции. «Si omnes consentiunt, ego non dissentio»[503], — подумал я à la Шуфтерле в шиллеровских «Разбойниках», и тоже подписался.

Однако ж акционеров оказалось мало; как представитель ни считал и ни прикидывал, подписанной суммы было недостаточно.

— Господа, — сказал Маццини, — я нашел средство победить это затруднение: издавайте сначала журнал только по-французски и по-немецки, что же касается итальянского перевода,

---

[502] Сноски: 502
«Былое и думы». Том II.

[503] Сноски: 503
«Если все согласны, я не возражаю» (*лат.*).

я буду помещать все *замечательные* статьи в моей «Italia del Popolo», — вот вам одной третью расходов и меньше.

— В самом деле! Чего же лучше!

Предложение Маццини было принято всеми. Он повеселел. Мне было ужасно смешно и смертельно хотелось показать ему, что я видел, как он передернул карту. Я подошел к нему и, высмотрев минуту, когда никого не было возле, сказал:

— Вы славно отделались от журнала.

— Послушайте, — заметил он, — ведь итальянская часть в самом деле *лишняя.*

— Так, как и две остальные! — добавил я. Улыбка скользнула по его лицу и так быстро исчезла, как будто ее и не было никогда.

Я тут видел Маццини во второй раз. Маццини, знавший о моей римской жизни, хотел со мной познакомиться. Одним утром мы отправились к нему в Паки с Л. Спини.

Когда мы вошли, Маццини сидел пригорюнившись за столом и слушал рассказ довольно высокого, стройного и прекрасного собой молодого человека с белокурыми волосами. Это был отважный сподвижник Гарибальди, защитник Vascello, предводитель римских легионеров Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая

никакого внимания на происходившее, сидел другой молодой человек, с печально рассеянным выражением — это был товарищ Маццини по триумвирату, Марк Аврелий Саффи.

Маццини встал и, глядя мне прямо в лицо своими проницательными глазами, протянул дружески обе руки. В самой Италии редко можно встретить такую изящную в своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выражение его лица было жестко сурово, но оно тотчас смягчалось и прояснивалось. Деятельная, сосредоточенная мысль сверкала в его печальных глазах; в них и в морщинах на лбу — бездна воли и упрямства. Во всех чертах были видны следы долголетних забот, неспанных ночей, пройденных бурь, сильных страстей, или, лучше, *одной* сильной страсти, да еще что-то фанатическое — может, аскетическое.

Маццини очень прост, очень любезен в обращении, но привычка властвовать видна, особенно в споре; он едва может скрыть досаду при противоречии, а иногда и не скрывает ее. Силу свою он знает и откровенно пренебрегает всеми наружными знаками диктаториальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. В своей маленькой комнатке, с вечной сигарой во рту,

Маццини в Женеве, как некогда папа в Авиньоне, сосредоточивал в своей руке нити психического телеграфа, приводившие его в живое сообщение со всем полуостровом. Он знал каждое биение сердца своей партии, чувствовал малейшее сотрясение, немедленно отвечал на каждое и давал общее направление всему и всем с поразительной неутомимостью.

Фанатик и в то же время организатор, он покрыл Италию сетью тайных обществ, связанных между собой и шедших к одной цели. Общества эти ветвились неуловимыми артериями, дробились, мельчали и исчезали в Апеннинах и в Альпах, в царственных pallazzi[504] аристократов и в темных переулках итальянских городов, в которые никакая полиция не может проникнуть. Сельские попы, кондукторы дилижансов, ломбардские принчипе[505], контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты — всё шло на дело, все были звенья цепи, примыкавшей к нему и повиновавшейся ему.

Последовательно, со времен Менотти и братьев Бандьера, ряд за рядом, выходят восторженные

---

[504] Сноски: 504
дворцах (*um.*).

[505] Сноски: 505
князья (*um.* principe).

юноши, энергические плебеи, энергические аристократы, иногда старые старики… и идут по указаниям Маццини, рукоположенного старцем Бонарроти, товарищем и другом Гракха Бабёфа, — идут на неровный бой, пренебрегая цепями и плахой и примешивая иной раз к предсмертному крику «Viva l'Italia!» — «Evviva Mazzini!»[506].

Такой революционной организации никогда не бывало нигде, да и вряд ли она возможна где-нибудь, кроме Италии, — разве в Испании. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилетним мученичеством, она изошла кровью и истомой ожидания, ее мысль состарелась, да и тут еще какие порывы, какие примеры:

Пианори, Орсини, Пизакане!

Я не думаю, чтобы смертью одного человека можно было поднять страну из такого падения, в каком теперь Франция.

Я не оправдываю плана, вследствие которого Пизакане сделал свою высадку; она мне казалась так же несовременна, как два предпоследние

---

[506] Сноски: 506
«Да здравствует Италия!» — «Да здравствует Маццини!» (*ит.*)

опыта в Милане; но речь не о том, я здесь хочу только сказать о самом исполнении. Люди эти подавляют величием своей мрачной поэзии, своей страшной силы и останавливают всякий суд и всякое осуждение. Я не знаю примеров большего героизма ни у греков, ни у римлян, ни у мучеников христианства и Реформы!

Кучка энергических людей приплывает к несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовом, примером, живым свидетельством, что еще не все умерло в народе. Вождь, молодой, прекрасный, падает первый со знаменем в руке — а за ним падают остальные или, хуже, попадают в когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшных громовых удара в душную ночь. Романская Европа вздрогнула — дикий вепрь, испуганный, отступил в Казерту и спрятался в своей берлоге. Бледный от ужаса, траурный кучер, мчащий Францию на кладбище, покачнулся на козлах.

Недаром высадка Пизакане так поэтически отозвалась в народе.

Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra,
Ma s'inchinaron per baciar la terra:

Ad uno, ad uno li guardai nel viso,
Tutti avean una lagrima e un sorriso,
Li disser ladri, usciti dalle tane,
Ma non portaron via nemmeno un pane;
E li sentii mandare un solo grido:
Siam venuti a morir per nostro lido –
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!
Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e prèso'l per la mano,
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?
Guardommi e mi rispose – O mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella!
Io mi sentii tremare tutto il core;
Nè potei dirgli: V'aiuti il signore,
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!
L. Mercantini

«La Spigolatrice di Sapri»[507]

В 1849 году Маццини был властью, правительства недаром боялись его; звезда его тогда была в полном блеске — но это был блеск заката. Она еще долго продержалась бы на своем месте, бледнея мало-помалу, но после повторенных неудач и натянутых опытов она стала быстро склоняться.

Одни из друзей Маццини сблизились с Пиэмонтом, другие с Наполеоном. Манин пошел своим революционным проселком, составил расколы, федеральный характер итальянцев поднял голову.

Сам Гарибальди, скрепя сердце, произнес строгий суд над Маццини и, увлекаемый его врагами, дал гласность письму, в котором косвенно об-

---

[507] Сноски: 507

Вот бедный прозаический перевод этих удивительных строк, перешедших в народную легенду:

«Они сошли с оружием в руках, но они не воевал с нами; они бросились на землю и целовали ее; я взглянула на каждого из них, на каждого — у всех дрожала слеза на глазах, и у всех была улыбка. Нам говорили, что это разбойники, вышедшие из своих вертепов; но они ничего не взяли, ни даже куска хлеба, и мы только слышали от них одно восклицание: “Мы пришли умереть за наш край!”

Их было триста, они были молоды и сильны… и все погибли!

Перед ними шел молодой золотовласый вождь с голубыми глазами… Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: “Куда идешь ты, прекрасный вождь?” Он посмотрел на меня и сказал: “Сестра моя, иду умирать за родину”. И сильно заныло мое сердце, и я не в силах была вымолвить: “Бог тебе в помочь!”

Их было триста, они были молоды и сильны… и все погибли!»

И я знал bel capitano <прекрасного вождя> и не раз беседовал с ним о судьбах его печальной родины…

винял его…

Вот от этого Маццини поседел, состарелся; от этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобления, прибавилась в его лице, в его взгляде. Но такие люди не сдаются, не уступают: чем хуже дела их, тем выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы, становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет новых друзей, отказывает себе во всем, даже во сне и пище, обдумывает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает их, бросается снова в бой и, снова разбитый, опять принимается за дело с судорожной горячностью.

В этом непреклонном постоянстве, в этой вере, идущей наперекор фактам, в этой неутомимой деятельности, которую неудача только вызывает и подзадоривает, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумия и обусловливает успех: она действует на нервы народа, увлекает его. Великий человек, действующий непосредственно, должен быть великим маньяком, особенно с таким восторженным народом, как итальянцы, к тому же — защищая религиозную мысль национальности. Одни последствия могут показать, потерял ли Маццини

излишними и неудачными опытами магнетическую силу свою на итальянские массы. Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть.

Выходцы итальянские не были выше других ни талантами, ни образованием: большая часть их даже ничего не знала, кроме своих поэтов, кроме своей истории; но они не имели ни битого, стереотипного чекана французских строевых демократов, которые рассуждают, декламируют, восторгаются, чувствуют стадами одно и то же и одинаким образом выражают свои чувства, ни того неотесанного, грубого, харчевенно-бурсацкого характера, которым отличались немецкие выходцы. Французский дюжинный демократ — буржуа in spe[508], немецкий революционер, так же, как немецкий бурш, — тот же филистер, но в другом периоде развития. Итальянцы — самобытнее, *индивидуальнее.*

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну прекращения личностей — оно, совершенно во французском духе, устроило общественное воспитание, т. е. воспи-

[508] Сноски: 508
в будущем (*лат.*).

тание вообще, потому что домашнего воспитания во Франции нет. Во всех городах империи преподают в тот же день и в тот же час, по тем же книгам — одно и то же. На всех экзаменах задаются одни и те же вопросы, одни и те же примеры; учителя, отклоняющиеся от текста или меняющие программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитания только привела в обязательную, наследственную форму то, что прежде бродило в умах. Это формально демократический уровень, приложенный к умственному развитию. Ничего подобного в Италии. Федералист и художник по натуре, итальянец с ужасом бежит от всего казарменного, однообразного, геометрически правильного. Француз — природный солдат: он любит строй, команду, мундир, любит задать страху. Итальянец, если на то пошло, — скорее бандит, чем солдат, и этим я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о нем. Он предпочитает, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанию, чем убивать по приказу, но зато без всякой ответственности посторонних. Он любит лучше скудно жить в горах и скрывать контрабандистов, чем открывать их и почетно служить в жандармах.

Образованный итальянец выработывался,

как наш брат, сам собой, жизнию, страстями, книгами, которые случались под рукой, и пробрался до такого или иного понимания. Оттого у него и у нас есть пробелы, неспетости. Он и мы во многом уступаем специальной оконченности французов и теоретической учености немцев, но зато у нас и у итальянцев ярче цвета.

У нас с ними есть даже общие недостатки. Итальянец имеет ту же наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа — наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь, ее недосуг. Промышленность в Италии почти столько же отстала, как у нас; у них, как у нас, лежат под ногами клады, и они их не выкапывают. Нравы в Италии не изменились новомещанским направлением до такой степени, как во Франции и Англии.

История итальянского мещанства совсем не похожа на развитие буржуазии во Франции и Англии. Богатые мещане, потомки del popolo grasso[509], не раз счастливо соперничали с феодальной аристократией, были властелинами городов, и оттого они стали не дальше,

[509] Сноски: 509
разжиревшего класса (*ит.*).

а ближе к плебею и *контадину*[510], чем наскоро обогатевшая чернь других стран. Мещанство в французском смысле, собственно, представляется в Италии особой средой, образовавшейся со времени первой революции и которую можно назвать, как это делается в геологии, *пиэмонтским* слоем. Он отличается в Италии, так же, как во всем материке Европы, тем, что во *многих* вопросах постоянно либерален и во *всех* — боится народа и слишком нескромных толков о труде и заплате, да еще тем, что он всегда уступает врагам сверху, не уступая никогда *своим* снизу.

Личности, составлявшие итальянскую эмиграцию, были выхвачены из всевозможных слоев общества. Чего и чего не находилось около Маццини, между старыми именами из летописей Гвичардини и Муратори, к которым народное ухо привыкло веками, как Литты, Борромеи, Дель-Верме, Бельжиойозо, Нани, Висконти, и каким-нибудь полудиким ускоком Ромео из Абруцц, с его темным, до оливкового цвета, лицом и неукротимой отвагой! Тут были и духовные, как Сиртори, — поп-герой, который, при первом выстреле в Венеции, подвязал свою сутану и все

[510] Сноски: 510
крестьянину (*um.* contadino).

время осады и защиты Маргеры, с ружьем в руке, дрался под градом пуль, в передовых рядах; тут был и блестящий военный штаб неаполитанских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццакапо; тут были и трастеверинские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в беде, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди, целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Феличе Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвав их, нельзя не приостановиться.

С Гарибальди я, собственно, познакомился в 1854 году, когда он приплыл из Южной Америки, капитаном корабля, и стал в Вест-индских доках; я отправился к нему с одним из его товарищей по римской войне и с Орсини. Гарибальди, в толстом светлом пальто, с ярко-цветным шарфом на шее и фуражкой на голове, казался мне больше истым моряком, чем тем славным предводителем римского ополчения, статуэтки которого в фантастическом костюме продавались во всем свете. Добродушная простота его обращения,

отсутствие всякой претензии, радушие, с которым он принимал, располагали в его пользу. Экипаж его почти весь состоял из итальянцев, он был глава и власть, и, я уверен, власть строгая, но все весело и с любовью смотрели на него: они гордились своим капитаном. Гарибальди угощал нас завтраком в своей каюте, особенно приготовленными устрицами из Южной Америки, сушеными плодами, портвейном, — вдруг он вскочил, говоря:

— Постойте! С вами мы выпьем другого вина, — и побежал наверх; вслед за тем матрос принес какую-то бутылку; Гарибальди посмотрел на нее с улыбкой и налил нам по рюмке… Чего нельзя было ожидать от человека, приехавшего из-за океана? Это был просто-напросто *белет* из его родины, Ниццы, который он привез с собой в Лондон из Америки.

Между тем в простых и бесцеремонных разговорах его мало-помалу становилось чувствительно присутствие силы; без фраз, без общих мест, народный вождь, удивлявший своей храбростью старых солдат, обличался, и в капитане корабля легко уже было узнать того уязвленного льва, который, огрызаясь на каждом шагу, отступил после взятия Рима и, растеряв своих сподвижников,

снова сзывал в Сан-Марино, в Равенне, в Ломбардии, в Тироле, в Тессино солдат, мужиков, бандитов, кого попало, чтоб только снова ударить на врага, и это возле тела своей подруги, не вынесшей всех трудностей и лишений похода.

Мнения его в 1854 году уже значительно расходились с Маццини, хотя он и был с ним в хороших отношениях. Он при мне говорил ему, что Пиэмонт дразнить не надобно, что главная цель теперь — освободиться от австрийского ига, и очень сомневался, чтоб Италия так была готова к единству и республике, как думал Маццини. Он был совершенно против всех попыток и опытов восстания.

Когда он отплывал за углем в Ньюкестль-на-Тейне и оттуда отправлялся в Средиземное море, я сказал ему, что мне ужасно нравится его морская жизнь, что он из всех эмигрантов избрал благую часть.

— А кто им не велит сделать то же, — возразил он с жаром. — Это была моя любимая мечта; смейтесь над ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня в Америке знают; я мог бы иметь под моим начальством три, четыре таких корабля. На них я взял бы всю эмиграцию: матросы, лейтенанты, работники, повара — все были бы

эмигранты. Что теперь делать в Европе? Привыкать к рабству, изменять себе или в Англии ходить по миру. Поселиться в Америке еще хуже: это конец, это страна «забвения родины», это новое отечество, там другие интересы, все другое; люди, остающиеся в Америке, выпадают из рядов. Что же лучше моей мысли (и лицо его просветлело), что же лучше, как собраться в кучку, около нескольких мачт, и носиться по океану, закаляя себя в суровой жизни моряков, в борьбе с стихиями, с опасностью! Пловучая революция, готовая пристать к тому или другому берегу, независимая и недосягаемая!

В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из «Энеиды»... о котором — живи он в иной век — сложилась бы своя легенда, свое «Arma virumque cano!»[511].

Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года, в rue Lepelletier[512]; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатишестилетнюю голову под нож гильотины. Я познакомился с Орсини в Ницце,

---

[511] Сноски: 511
«Пою оружие и мужа!» (*лат.*)

[512] Сноски: 512
улице Лепельтье (*фр.*).

в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались, наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрели друг на друга.

Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите — только не пошлые будничные мещане. Такие личности ярко вырезываются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских «отцов отечества» и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные

на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнию, но не дорожат также и жизнию ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой — весь римский героизм лишений и смерти.

Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной — а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из казематов Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект *гранат*, потом, лицом к лицу с опасностью, бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, сто́ящий осколка гранаты…

Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV: он был судим за участие в романском движении и, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия

IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, с bravi[513], с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.

Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движениям и бархатным прыжкам барса. Они дети, но дети злые. Не только Дантов ад «вымощен» ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини — как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого «искателя морских приключений» Колумба, ни величайшего «бандита» новейших веков Наполеона Бонапарта.

Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно

---

[513] Сноски: 513
наемными убийцами (*ит.*).

обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа[514]. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то, останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и пойдет далее без раскаяния и сомнения.

Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз,

[514] Сноски: 514

Отсеченную голову Орсини, писали газеты, Наполеон велел обмакнуть в селитряную кислоту, чтоб нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде!

и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: «Ну, слава Богу, наконец-то получил я ответ — все очень хорошо». Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.

И что же сделал *он* с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьвером? Пизакане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона — толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта. O divina Commedia![515] — или просто Commedia, в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!

…С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии

---

[515] Сноски: 515
Божественная комедия! (*ит.*)

очень сблизился, особенно с Саффи.

Медичи — ломбард. В начальной юности, томимый безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину, после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв, по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.

Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами, Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, — в нем все было изящно и нравилось.

Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вехи, знаки фарватера были потеряны; не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих «Записках», но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро», — там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.

В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей, Пизакане, Мордини, Козенц…

— Отчего, — сказал я шутя, — наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне

скорее каких-то фандейковских рыцарей, чем итальянца?

— Это натурально, — прибавил, продолжая шутить, Пизакане. — Джакомо — ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.

— Fratelli[516], — сказал Медичи, — немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!

— Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты, — продолжал тот.

— Извольте, — сказал Медичи. — Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!

Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не-русскими. Западные люди часто бывают недальние и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан — простота от нерасторопности ума, оттого, что они всё как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью.

---

[516] Сноски: 516
Братья (*ит.*).

Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнию из-за актерства, и жертва их все-таки была *ложь*. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.

Вот почему становится так отрадно, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственностей с притязаниями и талантов с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце, после утреннего спектакля, и, вместо картонных магнолий и пальм из парусины, видишь настоящие липы и дышишь свежим, здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи. Маццини, старик Армеллини и он были триумвирами во время Римской республики. Саффи заведовал министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане; а на первом плане значило тогда — под ядрами и пулями.

Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины, эту жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтоб не огорчить одних, чтоб своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в двадцать четыре часа расстреляли бы, если б он попался; и задача его не состояла только в том, чтоб скрываться, — ему надобно было действовать, приготовлять движение, ожидая новостей из Милана. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни. Но я о ней слышал, и очень много, от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно поколебались. Орсини его сопровождал через Апеннины: *он* рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор; в виду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта… Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге.

В Лондоне, у Мацциии или у его друзей, Саффи большей частию молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять

утихал. Его не понимали, это было для меня ясно, il ne savait pas se faire valoir…[517] Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Маццини, не слыхал ни одного, ни малейшего слова против Саффи.

Раз, вечером, зашел спор между мной и Маццини о Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье.

Леопарди была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Natalie…

Людям деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Маццини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал; но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно; разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II мог сердиться…

---

[517] Сноски: 517
он не умел поставить себя (*фр.*).

я не знаю… ну, на Моцарта, например, зачем он не годился в драбанты[518]. Это — возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям, кадрам, точно историческое развитие — барщина, на которую сотские гонят, не спрашивая воли, слабого и крепкого, желающего и нежелающего.

Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказал ему:

— Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в римской революции, а ведь он имеет важную извинительную причину; вы всё ее забываете!

— Какую?

— Да то, что он умер в 1836 году.

Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал: он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем *думает.*

Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что, в сущности, *им* не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних, — это своего рода бегство от сомнений; она

---

[518] Сноски: 518
телохранители (*польск.* drabant).

жаждет только деятельности прикладной — это своего рода лень. Другому дорога объективная истина, у него мысль работает; сверх того, для художественной натуры искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности.

Оставив Маццини, мы еще долго толковали о Леопарди, — он у меня был в кармане; мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом — очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях.

Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо — *Лавирона*; с ним я недолго был знаком, он промелькнул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции, между 24 февралем и 15 мая (он тогда был капитаном Национальной гвардии); в его жилах текла, без всякой примеси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностых годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, рас-

чищая место для праздника федерации.

Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в Hôtel de Ville, когда недравшиеся выбирали диктаторов. Когда прибыло новое правительство, как Deus ex machina, в Ратушу, он громко протестовал против его избрания и, вместе с несколькими энергическими людьми, спрашивал: откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское собрание и, с обнаженной шпагой в руке, заставил президента допустить на трибуну народных ораторов. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был судим и осужден par contumace[519]. Реакция пьянела, она чувствовала себя сильной для борьбы и, вскоре, сильной для победы, — тут Июньские дни, потом проскрипции, ссылки, *синий* террор. В это самое время, однажды вечером, сидел я на бульваре перед Тортони, в толпе всякой всячины, и, как в Париже всегда бывает — в умеренную и неумеренную монархию, в республику и импе-

[519] Сноски: 519
заочно (*фр.*).

рию — все это общество впересыпку с шпионами. Вдруг подходит ко мне — не верю глазам — Лавирон.

— Здравствуйте! — говорит он.

— Что за сумасшествие? — отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони. — Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?

— Если бы вы знали, что за скука сидеть взаперти и прятаться, просто с ума сойдешь… я думал, думал, да и пошел гулять.

— Зачем же на бульвар?

— Это ничего не значит, здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены, и кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду…

— Куда?

— В Женеву, — так тяжко и так все надоело; мы идем навстречу страшным несчастиям. Падение, падение, мелкость во всех, во всем. Ну, прощайте — прощайте, и да будет наша встреча повеселее.

В Женеве Лавирон занимался архитектурой, что-то строил. Вдруг объявлена война «за папу» против Рима. Французы сделали свою вероломную высадку в Чивита-Веккии и приближались

к Риму. Лавирон бросил циркуль и поскакал в Рим. «Надобно вам инженера, артиллериста, солдата?.. Я француз, я стыжусь за Францию и иду драться с моими соотечественниками», — говорил он триумвирам и пошел жертвой искупления в ряды римлян. С мрачной отвагой шел он вперед, — когда все было потеряно, он еще дрался и пал в воротах Рима, сраженный французским ядром.

Французские газеты похоронили его рядом ругательств, указывая суд Божий над преступным изменником отечества!

...Когда человек, долго глядя на черные кудри и черные глаза, вдруг обращается к белокурой женщине с светлыми бровями, нервной и бледной, взгляд его всякий раз удивляется и не может сразу прийти в себя. Разница, о которой он не думал, которую забыл, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же делается при быстром переходе от итальянской эмиграции к немецкой.

Немец теоретически развит, без сомнения, больше, чем все народы, но проку в этом нет до сих пор. Из католического фанатизма он перешел в протестантский пиетизм трансцендентальной философии и поэтизм филологии, а теперь

понемногу перебирается в положительную науку — он «во всех классах учится прилежно», и в этом вся его история; на Страшном суде ему сочтут баллы. Народ Германии, менее учившийся, много страдал; он купил право на протестантизм Тридцатилетней войной, право на независимое существование, т. е. на бледное существование под надзором России, — борьбой с Наполеоном. Его освобождение в 1814–1815 году было совершеннейшей реакцией, и когда на место Жерома Бонапарта явился der Landesvater[520], в пудреном парике и залежавшемся мундире старого покроя, и объявил, что на другой день назначается, по порядку, положим, 45-й *парад* (сорок четвертый был до революции), — тогда всем освобожденным показалось, что они вдруг потеряли современность и воротились к другому времени, каждый щупал, не выросла ли у него коса с бантом на затылке. Народ принимал это с простодушной глупостью и пел Кернеровы песни. Науки шли вперед. Греческие трагедии давались в Берлине, драматические торжества для Гёте — в Веймаре.

Самые радикальные люди между немцами в частной жизни остаются филистерами. Смелые

---

[520] Сноски: 520
отец своих подданных (*нем.*).

в логике, они освобождают себя от практической последовательности и впадают в вопиющие противоречия. Германский ум в революции, как во всем, берет общую идею, разумеется, в ее безусловном, т. е. недействительном, значении и довольствуется идеальным построением ее, воображая, что вещь сделана, если она понята, и что факт так же легко кладется под мысль, как смысл факта переходит в сознание.

Англичанин и француз исполнены предрассудков, немец их не имеет; но и тот и другой в своей жизни последовательнее: то, чему они покоряются, может быть, и нелепо, но признано ими. Немец не признает ничего, кроме разума и логики, но покоряется многому *из видов*, — это кривление душой за взятки.

Француз не свободен нравственно: богатый инициативой в деятельности, он беден в мышлении. Он думает принятыми понятиями, в принятых формах, он пошлым идеям дает модный покрой и доволен этим. Ему трудно дается новое, даром что он бросается на него. Француз теснит свою семью и верит, что это его обязанность, так как верит в «почетный легион», в приговоры суда. Немец ни во что не верит, но пользуется на выбор общественными пред-

рассудками. Он привык к мелкому довольству, к Wohlbehagen[521], к покою и, переходя из своего кабинета в Prunkzimmer[522] или спальню, жертвует халату, покою и кухне свободную мысль свою. Немец большой сибарит; этого в нем не замечают, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь неказисты; но эскимос, который пожертвует всем для рыбьего жира, — такой же эпикуреец, как Лукулл. К тому же немец, лимфатический от природы, скоро тяжелеет и пускает тысячи корней в известный образ жизни; все, что может его вывести из его привычки, ужасает его филистерскую натуру.

Все немецкие революционеры — большие космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität[523], и все исполнены самого раздражительного, самого упорного патриотизма. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы между государствами, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии. Венские студенты не побрезгали отправиться

---

[521] Сноски: 521
благоденствию (*нем.*).

[522] Сноски: 522
парадную комнату (*нем.*).

[523] Сноски: 523
они преодолели точку зрения национальности (*нем.*).

под начальство Радецкого в Ломбардию, они даже, под предводительством какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инсбруку.

При этом заносчивом и воинственном патриотизме Германия, со времени первой революции и поднесь, смотрит с ужасом направо, с ужасом налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит Рейн — там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять миллионов голов чувствует себя круглой сиротой, бранится от страха, ненавидит от страха и теоретически, по источникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Франции есть уже небытие, а бытие России не есть еще бытие.

«Воинственный» конвент, собиравшийся в павловской церкви во Франкфурте и состоявший из добрых sehr ausgezeichneten in ihrem Fache[524] профессоров, лекарей, теологов, фармацевтов и филологов, рукоплескал австрийским солдатам в Ломбардии, теснил поляков в Познани. Самый вопрос о Шлезвиг-Гольштейне (Stammverwandt![525]) брал за живое только с точ-

---

[524] Сноски: 524
весьма видных в своей области (*нем.*).

[525] Сноски: 525
одноплеменном (*нем.*).

ки зрения «Тейтчтума»[526]. Первое свободное слово, сказанное, после веков молчания, представителями освобождающейся Германии, было против притесненных, слабых народностей; эта неспособность к свободе, эти неловко обличаемые поползновения удержать неправое стяжание вызывают иронию: человек прощает дерзкие притязания только за энергические действия, а их не было.

Революция 1848 года имела везде характер опрометчивости, невыдержки, но не имела ни во Франции, ни в Италии почти ничего смешного; в Германии, кроме Вены, она была исполнена комизма несравненно больше юмористического, чем комизм прегадкой гётевской комедии «Der Bürgergeneral»[527].

Не было города, «пятна» в Германии, в котором при восстании не являлась бы попытка «Комитета общественного спасения», со всеми главными деятелями, с холодным юношей *Сен-Жюстом*, с мрачными террористами и военным гением, представлявшим Карно. Двух-трех Робеспьеров я лично знал; они надевали всегда чистую ру-

---

[526] Сноски: 526
германизма (*ст. — нем.* Teutschtum).

[527] Сноски: 527
«Генерал-гражданин» (*нем.*).

башку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Колло д'Эрбуа, а если в клубе находился человек, любивший еще больше пиво, чем другие, и волочившийся еще открытее за штубенмедхенами[528], — это был Дантон, eine schwelgende Natur![529]

Французские слабости и недостатки долею улетучиваются при их легком и быстром характере. У немца те же недостатки получают какое-то прочное и основательное развитие и бросаются в глаза. Надобно самому видеть эти немецкие опыты, представить so einen burschikosen Kamin de Paris[530] в политике, чтобы оценить их. Мне они всегда напоминали резвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейным добродушием, разыграется, заветреничает на лугу и с пресерьезной миной побрыкает обеими задними ногами или пробежит косым галопом, погоняя себя хвостом.

После дрезденского дела я встретил в Женеве одного из тамошних агитаторов и начал

---

[528] Сноски: 528
горничными (*нем.* Stubenmädchen).

[529] Сноски: 529
широкая натура (*нем.*).

[530] Сноски: 530
такого задорного парижского мальчишку (*нем.* и *искаж. фр.*).

его тотчас расспрашивать о Бакунине. Он его превозносил и стал рассказывать, как он сам начальствовал баррикадой под его распоряжениями. Воспламенившись своим рассказом, он продолжал:

— Революция — гроза, — тут нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться с обыкновенной справедливостью… надобно самому побывать в этих обстоятельствах, чтоб вполне понять «Гору» 1794 года. Представьте себе, вдруг мы замечаем глухое движение в королевской партии; намеренно распускаются ложные слухи, показываются люди с подозрительными лицами. Я подумал-подумал и решился *терроризовать* мою улицу. «Männer![531] — говорю я моему отряду. — Под опасением военного суда, который при осадном положении может *сейчас лишить вас жизни* в случае ослушания, приказываю вам, чтоб всякий, без различия пола, возраста и звания, кто захотел бы перейти баррикаду, был захвачен и под строгим прикрытием приведен ко мне». Так продолжалось более суток. Если бюргер, которого ко мне приводили, был хороший патриот, я его пропускал, но если это было

---

[531] Сноски: 531
Ребята! (*нем.*)

подозрительное лицо, то я давал знак страже…

— И, — сказал я с ужасом, — и она?

— И она их отводила домой, — прибавил гордо и самодовольно террорист.

К характеристике немецких освободителей прибавлю еще анекдот.

Исправлявший должность министра внутренних дел — юноша, о котором я помянул, рассказывая о визите Густава Струве, написал мне через несколько дней записку, в которой просил найти ему какую-нибудь работу. Я предложил ему переписать для печати рукопись «Vom andern Ufer», писанную рукой Каппа, которому я диктовал по-немецки с русского оригинала. Молодой человек принял предложение. Через несколько дней он сказал мне, что он так дурно помещен с разными фрейшерлерами, что у него нет ни места, ни тишины, чтоб заниматься, и просил позволение переписывать в комнате Каппа. И тут работа не пошла. Министр per interim приходил в одиннадцать часов утра, лежал на диване, курил сигары, пил пиво… и уходил вечером на совещания и собрания к Струве. Капп, деликатнейший в мире человек, стыдился за него; так прошло с неделю. Капп и я — мы молчали, но экс-министр прервал молчание: он попросил у меня запиской

сто франков вперед за работу. Я написал ему, что он так медленно работает, что такой суммы я ему вперед дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франков, несмотря на то что он не переписал еще и на десять.

Вечером министр явился на сходку к Струве и донес о моем антицивическом поступке и о злоупотреблении капиталом. Добрый министр считал, что социализм состоит не в общественной организации, а в бессмысленном дележе бессмысленно полученного достояния.

Несмотря на удивительный хаос, царивший в голове Струве, он, как честный человек, рассудил, что я не совсем виноват и что, может, *бюргеру*[532] и *брудеру*[533] лучше было бы переписывать больше, а денег вперед просить меньше. Он уговаривал его не делать из истории шума.

—

Ну, так я отошлю ему деньги mit Verachtung[534], — сказал министр.

— Что за вздор! — закричал один фрейшер-

---

[532] Сноски: 532
гражданину (*нем.* Bürger).

[533] Сноски: 533
брату (*нем.* Bruder).

[534] Сноски: 534
с презрением (*нем.*).

лер. — Если брудер и бюргер не хочет их брать, то я предлагаю сейчас на все послать за пивом и выпить на гибель der Besitzenden[535]. Согласны?

— Да, да, согласны, браво!

— Выпьем, — кричал оратор, — и дадим слово не кланяться русскому аристократу, который обидел брудера.

— Да, да, не надобно кланяться.

Действительно, пиво выпили и кланяться мне перестали.

Все эти смешные недостатки, вместе с особенной Plumpheit[536] немцев, оскорбляют южную натуру итальянцев и возбуждают в них зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона немцев, т. е. сторона философского образования, итальянцу равнодушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая постоянно колет глаза. Итальянец часто ведет самую пустую и праздную жизнь, но с каким-то артистическим, грациозным ритмом, и именно потому он всего меньше может вынести медвежью шутку и фамильярное прикосновение

---

[535] Сноски: 535
имущих (*нем.*).

[536] Сноски: 536
неуклюжестью (*нем.*).

жовиального[537] немца.

Англо-германская порода гораздо грубее франко-романской. С этим делать нечего, это ее физиологический признак, сердиться на него смешно. Пора понять раз навсегда, что разные породы людей, как разные породы зверей, имеют разные характеры и не виноваты в этом. Никто не сердится на быка за то, что он не имеет ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекает лошадь за то, что ее филейные мяса не так вкусны, как у быка; все, чего мы можем требовать от них, во имя животного братства, — это чтоб они мирно паслись на одном и том же поле, не бодаясь и не лягаясь. В природе все достигает посильно чего может, складывается как случится, и потом принимает родовое pli[538]; воспитание идет до известной степени, исправляет одно, прививает другое, но требовать от лошади бифстекса и от быков иноходи — все же нелепость.

Чтоб наглазно понять разницу двух противуположных традиций европейских пород, стоит взглянуть в Париже и в Лондоне на уличных мальчишек; я беру именно их потому, что они

---

[537] Сноски: 537
резвящегося (*фр.* jovial).

[538] Сноски: 538
склад (*фр.*).

неподдельны в своей грубости.

Посмотрите, как парижские гамены смеются над каким-нибудь английским чудаком и как лондонские мальчишки издеваются над французом; в этом маленьком примере резко высказываются два противоположные типа двух европейских пород. Парижский гамен нагл и привязчив, он может быть несносен, но, во-первых, он остер, его шалость ограничивается шутками, и он столько же смешит, сколько сердит; во-вторых, есть слова, от которых он краснеет и сейчас отстает; есть слова, которых он никогда не употребляет, — грубостью его остановить трудно, если же пациент поднимет палку, то я не отвечаю за последствия. Еще надобно заметить, что французских мальчиков нужно чем-нибудь поразить: красным жилетом с синими полосками, кирпичным полуфраком, необычайным кашне, лакеем, который несет попугая, собаку, — вещами, делаемыми одними англичанами и, заметьте, только вне Англии. Быть просто иностранцем недостаточно, чтоб обратить гонение или смех.

Острота лондонских мальчишек проще, она начинается с ржания при виде иностранца[539],

[539] Сноски: 539
Все это очень переменилось после Крымской войны (1866).

лишь бы он имел усы, бороду или шляпу с широкими полями; потом они кричат раз двадцать: French pig! French dog![540] Если иностранец обратится к ним с каким-нибудь ответом, ржание и блеяние удвоивается; если он идет прочь, мальчишки бегут за ним, — тогда остается ultima ratio[541]: поднять палку, а иногда и опустить ее на первого попавшегося. После этого мальчишки бегут сломя голову прочь, осыпая ругательствами, а иной раз пуская издали грязью или камнем.

Во Франции взрослый работник, сиделец или торговка никогда не участвуют с gamins[542] в их проделках против иностранца; в Лондоне все грязные бабы, все взрослые сидельцы хрюкают и помогают мальчишкам.

Во Франции есть щит, который тотчас останавливает самого задорного мальчика, — это бедность. Страна, которая не знает слова более оскорбительного, как слово beggar[543], тем боль-

---

[540] Сноски: 540
Французская свинья! Французская собака! (*англ.*)

[541] Сноски: 541
последний довод (*лат.*).

[542] Сноски: 542
мальчишками (*фр.*).

[543] Сноски: 543
нищий (*англ.*).

ше преследует иностранца, чем он беззащитнее и беднее.

Один итальянский рефюжье[544], бывший прежде офицером в австрийской кавалерии и, без всяких средств, оставивший отечество после войны, ходил, когда пришла зимняя пора, в военной офицерской шинели. Это производило такой фурор на рынке, по которому он должен был проходить всякий день, что крики «кто ваш портной?», хохот и, наконец, подергивание за воротник дошли до того, что итальянец бросил свою шинель и ходил, дрогнув до костей, в одном сертуке.

Эта грубость в уличной шутке, этот недостаток деликатности, такта в народе, с своей стороны, объясняет, отчего женщин нигде не бьют так часто и так больно, как в Англии[545], отчего отец готов бесчестить дочь, муж — жену, юридически преследовать их.

Уличные грубости сильно оскорбляют сначала французов и итальянцев. Немец, напротив,

---

[544] Сноски: 544

эмигрант (*фр.* réfugié).

[545] Сноски: 545

«Теймс» как-то, года два тому назад, считал, что средним числом в каждой части Лондона (их десять) ежегодно бывает до двухсот процессов о побоях женщин и детей. А сколько побоев проходит без процессов?

принимает их с хохотом, отвечает таким же ругательством, перебранка продолжается, и он остается очень доволен. Обоим это кажется любезностью, милой шуткой. «Bloody dog!»[546] — кричит ему, хрюкая, гордый британец. — «Стерва Джон Буль!» — отвечает немец, и каждый идет своей дорогой.

Это обращение не ограничивается улицей — стоит только посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, Руге et consorts[547], которая с 1849 года не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана. Глаз наш не привык видеть в печати такие выражения, такие обвинения: ничего не пощажено — ни личная честь, ни семейные дела, ни поверенные тайны.

У англичан грубость пропадает, поднимаясь на высоту таланта или аристократического воспитания, у немцев — никогда. Величайшие поэты Германии (за исключением Шиллера) впадают в самую неотесанную вульгарность.

Одна из причин дурного тона немцев происходит оттого, что в Германии вовсе не существует воспитания в нашем смысле слова. Немцев учат,

---

[546] Сноски: 546
Кровавая собака! (*англ.*)

[547] Сноски: 547
и компании (*фр.*).

и учат много, но совсем не воспитывают, даже в аристократии, в которой преобладают казарменные, юнкерские нравы. У них в житейских делах отсутствует эстетический орган. Французы его утратили, точно так, как они утратили изящество своего языка; нынешний француз редко умеет написать письмо без конторских или адвокатских выражений — прилавок и казармы исказили их нравы.

В заключение этого сравнения я расскажу один случай, в котором я наглазно и лицом к лицу видел всю пропасть, делящую итальянцев от тедесков[548] и в которую сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь.

Отправляясь с Тесье-дю-Моте в 1852 году из Генуи в Лугано, мы приехали ночью в Арону, спросили, когда идет пароход, узнали, что на другой день утром в восемь часов, и легли спать. В половине восьмого портье пришел взять наши чемоданы, и когда мы вышли на берег, они уже были на палубе. Но, несмотря на то, вместо того, чтоб идти на пароход, мы глядели с некоторым недоумением друг другу в глаза.

---

[548] Сноски: 548
немцев (*um.* tedeschi).

Над шипевшим и покачивавшимся пароходом развевался огромный белый флаг с двуглавым орлом, а на корме красовалась надпись: «Fürst Radetzky»[549]. Мы забыли с вечера спросить, какой пароход отходит, австрийский или сардинский. Тесье, по версальскому суду, был осужден in contumaciam[550] на депортацию[551]. Хотя Австрии до этого и не было дела, но как не воспользоваться случаем, ну хоть за справками, месяцев шесть продержать в тюрьме? Пример Бакунина показывал, что они могут сделать со мной. По договору с Пиэмонтом австрийцы не имели права требовать паспортов у тех, которые, не высаживаясь на ломбардский берег, ехали в Магадино, принадлежащий Швейцарии, — но я думаю, что они не побрезгали бы, если б можно было, таким простым средством, чтоб схватить Маццини или Кошута.

— Что же, — сказал Тесье, — ведь идти назад смешно!

— Ну, так вперед! — и мы взошли на палубу.

---

[549] Сноски: 549
«Князь Радецкий» (*нем.*).

[550] Сноски: 550
заочно (*лат.*).

[551] Сноски: 551
ссылку (*фр.* déportation).

Когда канат был взят, пассажиров окружили взводом солдат с ружьями. Зачем? — не знаю. На пароходе стояли две небольшие пушки, особым образом прикрепленные. Когда пароход пошел, солдат распустили. В каюте, на стене, висели правила: в них было подтверждено, что едущие не в Ломбардию не обязаны предъявлять паспортов, но было добавлено, что если кто-нибудь из этих лиц сделает какой-либо проступок против К.-К. (kaiserlich-königlichen)[552] полицейских уставов, тот имеет быть судим по австрийским законам. Or donc[553] носить калабрийскую шляпу или трехцветную кокарду было уже австрийское преступление. Только тогда я вполне оценил, в каких мы когтях. Однако я далек от того, чтоб раскаиваться в моей поездке: все время нашего пути ничего не произошло особого, но я сделал богатый штудиум[554].

На палубе сидело несколько итальянцев; мрачно, молча курили они сигары, с затаенной ненавистью посматривая на суетившихся

---

[552] Сноски: 552
императорско-королевских (*нем.*).

[553] Сноски: 553
Ну, а (*фр.*).

[554] Сноски: 554
Здесь: опыт (*нем.* Studium).

во все стороны и без всякой нужды белобрысых и одетых в белые сертуки офицеров. Надобно заметить, что в их числе были мальчишки лет двадцати и, вообще, они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвратительный австрийский акцент в немецком языке. Повторяю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту манеру стоять повернувшись спиной возле самого носа, ломаться и показывать «мы, де, победители — наша взяла» следовало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, что был бы рад, если б это случилось, и охотно помог бы.

Кто дал бы себе труд счетом пять минут посмотреть на тех и других, тот непременно понял бы, что тут и речи быть не может о примирении, что в крови у этих людей лежит ненависть друг к другу, которую распустить, смягчить, привесть к безобидному племенному различию надобно века времени.

После полудня часть пассажиров сошла в каюту, другие спросили себе завтрак на палубу. Тут физическая разница еще резче выразилась. Я смотрел с удивлением — ни одного общего приема. Итальянцы ели мало, с той врожденной,

натуральной грацией, с которой они все делают. Офицеры рвали куски, жевали вслух, бросали кости, толкали тарелки; одни, наклонясь к самому столику, с особенной ловкостью и необыкновенной скоростью *плескали* с ложки суп в рот, другие ели *с ножа*, без хлеба и без соли, масло. Я посмотрел на этих артистов и, глядя на итальянца, улыбнулся — он тотчас понял меня и, симпатически отвечая мне улыбкой, показал полнейший вид отвращения. Еще замечание: в то время как итальянцы с улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый раз благодаря головой или взглядом человека, австрийцы обращались возмутительно с прислугой, так, как русские отставные корнеты и прапорщики обращаются с крепостными при чужих.

Для закуски молодой, долговязый, с светло-желтыми волосами офицерик позвал солдата лет пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и начал его ругать за какую-то оплошность. Старик стоял как следует, навытяжке, и, когда офицер кончил, хотел было что-то ему сказать; но лишь только он произнес:

— Ваше благородие…

— Молчать! — закричал раздавленным голосом светло-желтый и — «марш!».

Потом, обращаясь к товарищам как ни в чем не бывало, он принялся снова за пиво. Зачем же все это было делать при нас? Да уже не было ли это нарочно сделано для нас?

Когда мы вышли на землю у Магадино, натерпевшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись к пароходу, который еще стоял, прокричали: «Viva la Republica!»[555], а один итальянец, качая головой, повторял: «O, brutissimi, brutissimi!»[556]

Не рано ли так опрометчиво толковать о солидарности народов, о братстве, и не будет ли всякое насильственное прикрытие вражды одним лицемерным перемирием? Я верю, что национальные особенности настолько потеряют свой оскорбительный характер, насколько он теперь потерян в образованном обществе; но ведь для того, чтоб это воспитание проникло во всю глубину народных масс, надобно много времени. Когда же я посмотрю на Фокстон и Булонь, на Дувр и Кале, тогда мне становится страшно и хочется сказать: много веков.

---

[555] Сноски: 555
«Да здравствует республика!» (*ит.*)

[556] Сноски: 556
«О, скоты, скоты!» (*ит.*)

Глава XXXVIII

Швейцария. – Джемс Фази и рефюжье. – Monte-Rosa.

Волнение Европы еще так сильно качало в 1849 году, что трудно было установить, живши в Женеве, внимание на одной Швейцарии. К тому же политические партии довольно похожи на русское правительство в искусстве отводить глаза путешественнику. Попадая под их влияние, он все видит, но видит не просто, а под известным углом; он не может выйти из заколдованного круга. Его первое впечатление — подтасовано, закуплено, не ему принадлежит. Пристрастный взгляд партии застает его врасплох, неприготовленного, равнодушного, обезоруженного, так сказать, и, прежде чем он спохватится, делается его взглядом.

В 1849 году я знал одну радикальную Швейцарию, ту, которая сделала демократический переворот, ту, которая в 1847 году подавила Зондербунд. Потом, окруженный больше и больше выходцами, я делил их негодование на малодуш-

ное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло перед реакционными соседями.

Больше и лучше узнал я Швейцарию в следующие поездки, и всего больше в Лондоне. В томном досуге 53 и 54 годов я многому научился и на многое, из прошедшего и виденного прежде, иначе взглянул.

Швейцария прошла трудным искусом. Между развалинами целого мира свободных учреждений, между обломками цивилизаций, шедших ко дну, перетирая друг друга, середь гибели всех человеческих условий жизни, всех государственных форм в пользу грубого деспотизма две страны остались как были. Одна за своим морем, другая за своими горами, обе — средневековые республики, обе — прочно вросшие в землю вековыми нравами.

Но какая разница в силе и положении между Англией и Швейцарией! Если Швейцария и представляет сама остров за своими горами, то ее промежуточное положение и дух народный обязывают ее, с одной стороны, к трудному лавированию, с другой — к сложному поведению. В Англии собственно народ покоен, он века на три отстал. Деятельная часть Англии принад-

лежит известной среде; большинство народа вне движения; ее едва колеблет чартизм, и то исключительно между городскими работниками. Англия стоит в стороне, выбрасывает за океан горючие вещества, по мере их накопления, и там они торжественно взрастают. Идеи не теснятся в нее с материка, а входят тихо, переложенные на ее нравы и переведенные на ее язык.

Совсем другое дело в Швейцарии: в ней нет каст, даже нет ярких пределов между горожанами и сельскими жителями. Патриархальные патриции кантонов оказались несостоятельными при первом напоре демократических идей. Через Швейцарию идут взад и вперед все учения, все идеи, и все оставляют следы; она говорит на трех языках. В ней проповедовал Кальвин, в ней проповедовал портной Вейтлинг, в ней смеялся Вольтер, в ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, от пахаря и работника, к самоуправлению, задавленная большими соседями, без постоянной армии, без бюрократии и диктатуры, является, после бурь революции и сатурналий реакций, той же вольной, республиканской конфедерацией, как и прежде.

Желательно было бы знать, как консерваторы объясняют, что единственные покойные

земли в Европе — те, в которых личная свобода и свобода речи всего меньше стеснены. В то время как австрийская империя, например, поддерживается рядом coups d'Etat[557] с мошусом гальванических потрясений и административных революций, а французский трон держится одним террором и уничтожением всякой законности — в Швейцарии и Англии сохраняются даже нелепые и устарелые формы, сросшиеся с их свободой и твердые под ее могучей сенью.

Поведение федерального совета в отношении к политическим выходцам, которых они выбрасывали по первому требованию Австрии или Франции, было позорно. Но ответственность за него падает исключительно на правительство: вопросы внешней политики совсем не так близки к сердцу народа, как вопросы внутренние. В сущности, все народы занимаются только своими делами, остальное составляет или дальнее желание, или просто риторическое упражнение, иногда откровенное, но и тогда редко дельное. Народ, составивший себе репутацию своим общечеловеческим участием ко всем и всему, наименее знает географию и всего больше

---

[557] Сноски: 557
государственных переворотов (*фр.*).

заражен нестерпимо раздражительным патриотизмом. К тому же швейцарец самою природой не увлекается вдаль: он сведен горами на свою родную долину, как житель приморский на свой берег, и, пока его не трогают на ней, он молчит.

Право, присвоенное себе федеральным правительством, распоряжаться выходцами, вовсе не *швейцарское*, по нем вопрос об эмигрантах — вопрос кантональный. Швейцарские радикалы, увлекаемые французскими теориями, старались усилить сводное правительство в Берне и сделали большую ошибку. По счастию, попытки централизации, кроме тех случаев, где практическая польза их очевидна, как в устройстве почт, дорог, единства монет, вовсе не народны в Швейцарии. Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она несовместна с свободой, — ею легко народы доходят до положения хорошо береженого стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим.

Оттого-то американцы и англичане столько же ненавидят ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числом, нецентрализованная Швейцария — гидра, Бриарей, ее не пришибешь одним ударом. Где ее голова? где ее сердце? Сверх того,

без столицы нельзя себе представить короля. Король в Швейцарии — такая же нелепость, как табель о рангах в Нью-Йорке. Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей, так же резко разграниченный, как их почва, горами и так же соединенный ими, как она.

Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов, с своими знаменами, в своих костюмах и с карабином за плечами. Гордые своей особенностью и своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга и федеральный стяг (остающийся в *том* городе, где был последний тир), нисколько не смешиваясь.

В этих празднествах вольного народа, в его военной забаве, без оскорбительного étalage'а[558] монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии, есть что-то торжественное и могучее. Везде произносятся речи, льется домашнее вино, раздаются крики, песни, музыка, и все чувствуют, что на их плечах нет свинцовой плиты, гнетущей власти…

---

[558] Сноски: 558
показной стороны (*фр.*).

В Женеве, вскоре после моего приезда, давали обед ученикам всех школ перед наступающими вакациями. Джемс Фази (президент кантона) пригласил меня на этот пир. На поле, в Каруже, был разбит большой шатер. Совет и все кантональные знаменитости были налицо и обедали вместе с детьми. Часть граждан, состоявших на очереди, была созвана в мундирах и с ружьями, для почетной стражи. Фази произнес речь, совершенно радикальную, поздравил получивших награды и предложил тост «За будущих граждан!» при громе музыки и пушечных выстрелах. После этого дети, по два в ряд, отправились за ним в поле, где были приготовлены разные забавы, воздушные шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, т. е. отцы, дяди, старшие братья учеников, составили шпалеры, и, по мере того как глава колонны проходила, они делали «на караул»… да! «на караул» перед сыновьями-мальчиками, перед сиротами, воспитывающимися на счет кантона… Дети были почетные гости города — его «будущие граждане». Странно все это нашему брату, бывавшему на институтских и иных торжественных актах.

Странно и то, что каждый работник, каждый взрослый крестьянин, половые в трактирах и их

хозяева, жители гор и жители болот знают хорошо дела кантона, принимают в них участие, принадлежат к партиям. Язык их, степень образования очень меняются, и если женевский работник напоминает иногда лионского клубиста, в то время как простой житель гор похож еще до сих пор на лица, окружающие шиллеровского Телля, то это нисколько не мешает тому и другому горячо заниматься общественными делами. Во Франции идут по городам отпрыски и разветвления политических и социальных обществ, члены их занимаются *революционным* вопросом и по дороге знают кое-что из настоящего управления. Но зато стоящие вне ассоциации, а в особенности крестьяне, ничего не знают и вовсе не интересуются ни делами Франции, ни делами департамента.

Наконец, и нам и французам бросается в глаза отсутствие всяких риз и облачений, всей оперной обстановки правительства. Президент кантона, президент федерального собрания, статс-секретари (т. е. министры), федеральные полковники ходят, как все простые смертные, в кафе, обедают за общим столом, рассуждают о делах, спорят с работниками, спорят при них между собой, и все это запивают вместе с другими иворнским

вином да киршем.

С начала нашего знакомства с Джемсом Фази эта демократическая простота поражала меня, и я только впоследствии, вглядываясь ближе, увидел, что во всех законных случаях правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствие гардеробной важности, лампасов, плюмажей, швейцаров с булавой, вахмистров с усами и прочих шалостей и ненужностей монархической mise en scène[559].

Осенью 1849 началось гонение выходцев, искавших убежища в Швейцарии; правительство было в слабых руках доктринеров, федеральные министры потеряли голову. Застращенная конфедерация, отказавшая некогда Людовику-Филиппу в высылке Людовика-Наполеона, высылала теперь, по приказу последнего, людей, искавших убежища, и делала ту же любезность для Австрии и Пруссии. Конечно, федеральное правительство имело дело не с старым, толстым королем, не любившим крайних мер, а с людьми, у которых на руках еще не обсохла кровь и которые были в самом разгаре дикого преследования. Но чего же боялось федеральное собрание? Ес-

---

[559] Сноски: 559
постановки (*фр.*).

ли б оно умело смотреть дальше своих гор, тогда оно поняло бы, какую долю внутреннего страха покрывали нахальствами и угрозами соседние правительства. Ни одно из них в 1849 году не имело достаточной оседлости и нравственного сознания своей силы, чтоб начать войну. Стоило конфедерации показать зубы — и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагородное гонение людей, которым некуда было деться.

Долго некоторые кантоны, и в том числе Женевский, противодействовали федеральному собранию, но наконец и Фази был увлечен, volens-nolens[560], в преследование выходцев.

Положение его было очень неприятно. Переход человека из заговорщиков в правительство, как бы он естествен ни был, имеет свои комические и досадные стороны. В сущности, надобно сказать, что не Фази перешел в правительство, а правительство перешло к Фази, тем не менее прежний конспиратор не всегда ладил с президентом кантона. Ему приходилось бить по своим или иногда явно не слушаться федеральных приказов, принимать такие меры, против которых

---

[560] Сноски: 560
волей-неволей (*лат.*).

он лет десять кряду ораторствовал. Он делал то и другое по капризу и этим возбуждал против себя обе стороны.

Фази — человек большой энергии и больших государственных талантов, но слишком француз, чтобы не любить крутые меры, централизацию, власть. Он всю жизнь провел в политической борьбе. Молодым человеком мы его встречаем на парижских баррикадах 1830 года, а потом в Отель-де-Виль, в числе той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирам, требовала провозглашения республики. Перье и Лаффит нашли, что «лучшая республика» — герцог Орлеанский; он сделался королем, а Фази бросился в крайнюю республиканскую оппозицию. Тут он действует с Годфруа Каваньяком и Маррастом, с обществом des droits de l'homme[561] и с карбонарами, замешивается в савойскую экспедицию Маццини, издает журнал, который на французский манер задавили пенями…

Убедившись наконец, что во Франции нечего делать, он вспоминает свою родину и переносит всю свою энергию, всю приобретенную ловкость политического деятеля, публициста и конспи-

---

[561] Сноски: 561
прав человека (*фр.*).

ратора на развитие своих идей в Женевском кантоне.

Он задумал радикальный переворот в нем и исполнил его. Женева восстала на свое старое правительство; прения, нападки и отпоры перешли из камер и журналов на площадь, и Фази явился главою возмутившейся части города. Пока он распоряжался и устанавливал своих вооруженных друзей, седой старик смотрел из окна и, военный по профессии, не мог вытерпеть, чтоб не дать совета, как следует поставить пушку или отряд. Фази послушался. Совет был дельный, — но кто же этот военный? Граф Остерман-Толстой, главнокомандующий союзными армиями под Кульмом, уехавший из России при воцарении Николая и живший потом почти всегда в Женеве.

Во время этого переворота Фази показал, что он вполне обладает не только тактом и верностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сен-Жюст считал необходимой для революционера. Разбивши почти без кровопролития консерваторов, он явился в Большой совет и объявил ему, что он распущен. Члены хотели арестовать его и с негодованием спрашивали: «Во имя кого он осмеливается так говорить?»

— Во имя женевского народа, которому надоело дурное управление ваше и который со мной, — при этом Фази отдернул сукно в дверях Совета. Толпа вооруженных людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрелить. Старые «патриции» и мирные кальвинисты смутились.

— Ступайте вон, пока есть время, — заметил Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сел за стол и написал декрет или плебисцит, объявлявший, что народ женевский, уничтожив прежнее правительство, собирается для новых выборов и для принятия нового демократического уложения, в ожидании чего народ вверяет исполнительную власть *Джемсу Фази.* Это 18 брюмера — в пользу демократии и народа. Хотя он и выбрал сам себя диктатором, но выбор бесспорно был очень удачен.

С тех пор, т. е. с 1846 года, он управляет Женевой. Так как по конституции президент избирается на два года и не может быть избран два раза кряду, то через два года женевцы назначают когонибудь из бледных поклонников Фази, и таким образом de facto[562] он остается президентом,

---

[562] Сноски: 562
фактически (*лат.*).

к великой горести консерваторов и пиетистов, постоянно остающихся в меньшинстве.

Фази показал новые способности во время своего диктаторства. Администрация, финансы — все двинулось быстро вперед; твердое проведение радикальных начал привязало к нему народ: Фази явился таким же энергическим организатором, каким был разрушителем. Женева расцвела при нем. Это мне говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонние, между прочими и знаменитый победитель под Кульмом Остерман-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и без терпимости в характере, Фази всегда имел в себе деспотически-республиканские замашки; привыкнув к власти — деспотическое pli стало иной раз брать верх; к тому же события и идеи после 1848 застали Фази врасплох, он был смущен с одной стороны, обойден — с другой. Ну, вот она, эта республика, о которой он мечтал с Годфруа Каваньяком и Арман Каррелем… а что-то неладно. Бывший его товарищ Марраст, президент Национального собрания, замечает ему, что он неосторожно отозвался о католицизме «за завтраком, в присутствии секретаря», и говорит, что религию надобно беречь, чтобы не рассердить

попов; когда экс-редактор «Насионаля» в президентском доме проходил из комнаты в комнату, двое часовых отдавали ему честь. Другой приятель и протеже Фази пошел еще дальше: сделался сам президентом республики, но он уже не хочет знаться с старым товарищем и идет в Наполеоны. «Республика в опасности!» — а работники и передовые люди не занимаются ею, они всё толкуют о социализме. Так вот виноватый — и Фази с упрямством и озлоблением опрокинулся на социализм. Это значило, что он достиг своего предела, своего Kulminationspunkt'a[563], как говорят немцы, и пошел вниз.

Он и Маццини, бывши социалистами прежде социализма, сделались его врагами, когда он стал переходить из общих стремлений в новую революционную силу. Много поломал я копий с обоими и с удивлением увидел, как мало можно взять логикой, когда человек *не хочет* убедиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачем же было горячиться, зачем так хорошо играть свою роль, даже в частной беседе? Нет, тут был какой-то зуб на новое учение, сложившееся *вне* их круга;

[563] Сноски: 563
кульминационного пункта (*нем.*).

тут была даже злоба к имени. Я раз предлагал Фази называть социализм в наших разговорах «Клеопатрой», чтоб это слово не сердило его и не мешало своим звуком пониманию. Брошюры Маццини против социализма впоследствии принесли больше вреда знаменитому агитатору, чем Радецкий, — но об этом не здесь.

Раз, пришедши домой, я нашел записку Струве, — он меня извещал, что Фази изгоняет его, и очень круто. Федеральное правительство давным-давно предписало выслать Струве и Гейнцена; Фази ограничился тем, что сообщил им это. Что же случилось нового?

Фази не хотел, чтоб Струве издавал в Женеве свой «интернациональный» журнал; он боялся и, может, был прав, что они вдвоем с Гейнценом напечатают такой опасный вздор, что снова навлекут угрозы Франции, вопль Пруссии и скрежет зубов Австрии. Как практический человек мог думать, что этот журнал состоится, я не знаю; довольно того, что он предложил Струве отказаться от журнала или ехать вон из Женевы. Отказаться в ту минуту, когда Струве фанатически мечтал, что он своим журналом окончательно побьет «семь бичей рода человеческого», было выше сил баденского революционера. Тогда Фази послал

к нему квартального с приказом, чтоб он сейчас оставил кантон. Струве сухо принял полицейского и объявил, что он еще не готов к отъезду. Фази обиделся за квартального и велел полиции сбыть Струве с рук. Войти в дом без судебного приговора было невозможно; мера, принятая в Берне, была полицейская, а не судебная (то, что французы называют mesure de salut public[564]). Полицейский знал это, но, желая услужить Фази и, вероятно, расплатиться за дурной прием, приготовил карету и сел с товарищем где-то под липой, неподалеку от дома Струве.

Струве, втайне довольный вновь начинающейся эрой гонений и мученичества и вперед уверенный, что важного ничего с ним не сделают, разослал всем своим знакомым записки о случившемся. В ожидании их пламенного участия и горячего негодования он не вытерпел, чтоб не сходить к другу Гейнцену, который, с своей стороны, получил такую же любезную цидулку от Фази. Так как Гейнцен жил недалеко, то Струве ganz gemütlich[565] отправился к нему, одетый по-домашнему и в туфлях. Лишь только

[564] Сноски: 564
мерой по охране общественного порядка (*фр.*).

[565] Сноски: 565
совершенно благодушно (*нем.*).

он поравнялся с липой, за которой прятался лукавый сын Кальвина, как тот перерезал ему дорогу и, показав приказ федерального совета, требовал, чтоб он следовал за ним. Убедительность его приглашения поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его к числу «семи бичей», сел в карету и покатился с полицейскими в Ваадский кантон.

Со времени диктаторства Фази еще ничего подобного не было в Женеве. Во всем этом было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадой, возвращался я домой часу в двенадцатом вечера; у Pont des Bergues я встретил Фази, он весело шел с несколькими итальянскими выходцами.

— А, здравствуйте, что нового? — сказал он, увидав меня.

— Много, — отвечал я с изысканной сухостью.

— Что же такое?

— Да вот, например, в Женеве, точно в Париже, людей хватают на улице, насильно увозят, il n'y a plus de sécurité dans les rues[566], — я боюсь ходить…

— А, это вы говорите насчет Струве… — отвечал

---

[566] Сноски: 566
стало небезопасно ходить по улицам (*фр.*).

Фази, успевший рассердиться до того, что голос его стал перерываться. — Что же прикажете делать с этими взбалмошными людьми? Я, наконец, устал, я покажу этим господам, что значит пренебрегать законами, явно не слушаться распоряжений федерального совета…

— Право, — сказал я, улыбаясь, — которое вы предоставляете одному себе.

— Что же мне из-за всякого вырвавшегося из Бедлама подвергать опасности кантон, самого себя, и это при теперешних обстоятельствах? Да мало еще, вместо спасибо они грубят. Представьте себе, господа, я посылаю к нему комиссара полиции, а он только что не вытолкал его — это из рук вон! Не понимают, что чиновник (magistrat), приходящий во имя закона, должен быть уважаем. Не правда ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

— Я не согласен, — сказал я ему, — и совсем не вижу причины уважать человека за то, что он полицейский, и за то, что он пришел объявлять какой-нибудь вздор, написанный Фурером или Друэ в Берне. Можно быть не грубым, но для чего расточаться в учтивостях перед человеком, который является ко мне как враг, да еще

как враг, поддерживаемый силой?

— Я отроду не слыхивал таких вещей, — заметил Фази, подымая плечи и бросая на меня молнии своих взоров.

— Вам это ново, потому что вы никогда не думали об этом. Представлять себе чиновников какими-то священнодействующими лицами — вещь совершенно монархическая…

— Вы оттого не хотите понять разницы между уважением к закону и раболепием, что у вас царь и закон — одно и то же, c'est parfaitement russe![567]

— Да где же это понять, когда у вас уважение к закону значит уважение к квартальному или к городовому сержанту?

— А знаете ли вы, милостивый государь, что комиссар полиции, которого я посылал, не только честнейший человек, но и один из преданнейших патриотов? Я его видел на деле…

— И прекрасный отец семейства, — продолжал я, — да только ни мне, ни Струве дела нет до этого; мы с ним не знакомы, и явился он к Струве вовсе не как образцовый гражданин, а как исполнитель притеснительной власти…

---

[567] Сноски: 567
это совершенно по-русски (*фр.*).

— Да помилуйте, — заметил все больше и больше сердившийся Фази, — что вам дался этот Струве? Да не вчера ли вы сами над ним хохотали...

— Не смеяться же мне сегодня, если вы будете его вешать.

— Знаете, что я думаю? — он приостановился. — Я полагаю, что он просто русский агент.

— Господи, какой вздор! — сказал я, расхохотавшись.

— Как *вздор*? — закричал Фази еще громче. — Я вам говорю это серьезно!

Зная необузданно вспыльчивый нрав моего женевского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, он, в сущности, был во сто раз лучше своих слов и человек не злой, я, может, пропустил бы ему это поднятие голоса; но тут были свидетели, к тому же он был президент кантона, а я такой же беспаспортный бродяга, как и Струве, и потому я стенторовским голосом отвечал ему:

— Вы воображаете, что вы президент, так вам и достаточно что-нибудь сказать, чтоб все поверили?

Крик мой подействовал, Фази сбавил голос, но зато, беспощадно разбивая свой кулак о пери-

лы моста, он заметил:

— Да его дядя, Густав Струве, — русский поверенный в делах в Гамбурге.

— Это уж из «Волка и овцы». Я лучше пойду домой. Прощайте!

— В самом деле, лучше идти спать, чем спорить, а то еще мы поссоримся, — заметил Фази, принужденно улыбаясь.

Я пошел в hôtel des Bergues, Фази с итальянцами — через мост. Мы так усердно кричали, что несколько окон в отеле растворились и публика, состоявшая из гарсонов и туристов, слушала наше прение.

Между тем квартальный и честнейший гражданин, который повез Струве, возвратился, и не один, а с тем же Струве. В первом городке Ваадского кантона, близ Коппета, где жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префект полиции, горячий республиканец, услышав, как Струве был схвачен, объявил, что женевская полиция поступила беззаконно, и не только отказался послать его далее, но воротил назад.

Можно себе представить бешенство Фази, когда он, на закуску нашего разговора, узнал о благополучном возвращении Струве. Побранившись

с «тираном» письменно и словесно, Струве уехал с Гейнценом в Англию; там-то Гейнцен потребовал два миллиона голов и мирно уплыл с своим Пиладом в Америку, сначала с целью завести *училище для молодых девиц*, потом чтоб издавать в С.-Луисе «Пионера», журнал, который и пожилым мужчинам не всегда можно читать.

Дней пять после разговора у моста я встретился с Фази в café de la Poste.

— Что это вас не видать давно? — спросил он. — Неужели все сердитесь? Ну, уже эти мне дела о выходцах, признаюсь, такая обуза, что с ума можно сойти! Федеральный совет бомбардирует одной нотой за другой, а тут проклятый жекский супрефект нарочно живет, чтоб смотреть, интернированы ли французы. Я стараюсь все уладить, и за все за это свои же сердятся. Вот теперь новое дело, и прескверное; я уже знаю, что меня будут бранить, а что мне делать?

Он сел за мой столик и, понижая голос, продолжал:

— Это уже не фразы, не социализм, а просто воровство.

Он подал мне письмо. Какой-то немецкий владетельный герцог жаловался, что во время занятия фрейшерлерами его городишка были ими

похищены драгоценные вещи и между прочим редкой работы старинный потир, что он находится у бывшего начальника легиона Бленкера, а так как до сведения его светлости дошло, что Бленкер живет в Женеве, то он и просит содействия Фази в отыскании вещей.

— Что скажете? — спросил торжествующим голосом Фази.

— Ничего. Мало ли что бывает в военное время.

— Что же, по-вашему, делать?

— Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе не сыщик его в Женеве. Что вам за дело до его посуды? Он должен радоваться, что Бленкер не повесил его, а тут он еще ищет пожитки.

— Вы — преопасный софист, — сказал Фази, — да только вы не подумали, что такие проделки бросают тень на нашу партию… этого так оставить невозможно.

— Не знаю, зачем вы это принимаете к сердцу. Такие ли делаются ужасы на белом свете. Что касается партии и ее чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софист, — подумайте сами, неужели, давши ход этому делу, вы ей сделаете пользу? Оставьте без внимания донос герцога — его при-

мут за клевету; а вот как к слуху о нем прибавят, что вы посылали делать обыск, да еще, на беду, что-нибудь найдут, тогда трудно будет оправдываться Бленкеру и всей партии.

Фази откровенно удивлялся русскому беспорядку моих мнений.

Дело Бленкера кончилось как нельзя лучше. Его не было в Женеве; жена его, при появлении следственного судьи и полиции, показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда они, и, услышав о сосуде, сама отыскала его, — это был весьма простой серебряный потир. Его взяли молодые люди, бывшие в ополчении, и поднесли в память победы своему полковнику.

Фази впоследствии извинялся перед Бленкером, *соглашаясь*, что поторопился в этом деле. Неумеренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей в делах уголовных, преследовать с ожесточением виноватых, сбивать их — все это *чисто французские* недостатки; судопроизводство для них — кровожадная игра, вроде травли для испанцев. Прокурор, как ловкий тореадор, унижен и оскорблен, ежели травимый зверь уцелеет. В Англии нет ничего подобного: судья смотрит хладнокровно на подсудимого, не усердствует и почти доволен, когда присяж-

ные не дают обвинительного приговора.

С своей стороны, рефюжье дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно, и к этому нельзя быть слишком строгим. Страсти, распахнувшиеся во время революционных движений, не угомонились от неудачи и, не имея другого выхода, выражались в строптивом беспокойстве духа. Людям этим смертельно хотелось говорить именно в то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй план, стереться, сосредоточиться, а они, совсем напротив, старались не сходить со сцены и заявляли всеми средствами свое существование; они писали брошюры, писали в журналах, говорили на сходках, говорили в кафе, распространяли ложные новости и стращали глупые правительства близким восстанием. Большая часть из них принадлежала к числу самых безопасных хористов революций, но устрашенные правительства с обратным безумием верили их силе и, непривычные к свободной и смелой речи, кричали о неминуемой опасности, о гибели религии, трона, семьи и требовали, чтоб федеральный совет изгнал этих страшных людей мятежа и разрушений.

Одна из первых мер, принятых швейцарским правительством, состояла в удалении от фран-

цузской границы тех из рефюжье, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту меру было очень противно для Фази: он почти со всеми был лично знаком. Объяснив им приказ оставить Женеву, он старался *не знать*, кто уехал, кто нет. Неуехавшим еще надобно было отказаться от главных кафе, от Pont des Bergues — этого-то они и не хотели уступить. Отсюда выходили смешные пансионские сцены, в которых участвовали бывшие народные представители, люди с седыми волосами, за сорок лет, известные писатели, с одной стороны, и с другой — президент свободного кантона да полицейские агенты рабских соседей Швейцарии.

Раз при мне жекский супрефект спросил ироническим тоном у Фази:

— M. le président, а что, такой-то в Женеве?

— Давным-давно нет, — отвечал отрывисто Фази.

— Я очень рад, — заметил супрефект и пошел своей дорогой. А Фази, неистово схватив меня за руку и судорожно указывая на человека, спокойно курившего сигару, сказал мне:

— Вот он! вот он! Пойдемте в другую сторону, чтоб не встретить этого разбойника. Это ад да и только!

Я не мог удержаться от смеха. Разумеется, это был высланный рефюжье, и он-то прогуливался по Pont des Bergues, который в Женеве — то, что у нас Тверской бульвар.

Я прожил в Женеве до половины декабря. Гонения, начавшиеся втихомолку против меня русским правительством, заставили меня покинуть ее для того, чтоб ехать в Цюрих спасать именье моей матери, в которое запустил царственные когти «незабвенный» император.

Страшное это время было в моей жизни. Штиль между двух ударов грома, штиль давящий, тяжелый, но неказистый… Приметы грозили пальцем, но я и тут еще отворачивался от них. Жизнь шла неровно, нестройно, но в ней были светлые дни; за них я обязан величественной швейцарской природе.

Даль от людей и изящная природа имеют удивительно целебное влияние. Я по опыту писал в «Поврежденном»: «Когда душа носит в себе великую печаль, когда человек не настолько сладил с собою, чтобы примириться с прошедшим, чтобы успокоиться на понимании, ему нужны даль и горы, море и теплый, кроткий воздух. Нужны для того, чтобы грусть не превращалась в ожесточение, в отчаяние, чтоб он не зачерст-

вел…»

От многого хотелось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные в средоточии политических смут и распрей, в постоянном раздражении, в виду кровавых зрелищ, страшных падений и мелких измен, осадили много горечи, тоски и устали на дне души. Ирония принимала другой характер. Грановский писал мне, прочитав «С того берега», писанное именно в то время: «Книга твоя дошла до нас, я читал ее с радостью и с гордым чувством… но при всем том в ней есть что-то усталое, ты стоишь слишком одиноко и, может, сделаешься великим писателем; но то, что было в России живого и симпатического для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чужой почве…» Сазонов, перечитав перед моим отъездом из Парижа, в 1849 году, начало моей повести «Долг прежде всего», писанной за два года, сказал мне:

— Ты этой повести не кончишь, да и ничего подобного больше не напишешь. У тебя прошел светлый смех и добродушная шутка.

Но мог ли человек пройти искусом 1848 и 1849 года и остаться тем же? Я сам чувствовал эту перемену. Только дома, без посторонних, находили иногда прежние минуты не «светлого смеха», а *светлой грусти*; вспоминая былое,

наших друзей, вспоминая недавние картины римской жизни, возле кроватки спящих детей, или глядя на их игру, душа настраивалась, как прежде, как некогда, — на нее веяло свежестью, молодой поэзией, полной кроткой гармонии, на сердце становилось хорошо, тихо, и под влиянием такого вечера легче жилось день, другой!

Минуты эти были не часты; дурное, невеселое рассеяние мешало им — число посторонних росло около нас, и к вечеру маленькая гостиная наша на Елисейских Полях была полна чужими. Большею частью это были вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком… и зачем я был близок с ним!..

Я с радостию покидал Париж, но в Женеве мы очутились в том же обществе, только лица были другие и размеры теснее. В Швейцарии все тогда было ринуто в политику, все делилось на партии: tables d'hôte'ы и кофейные, часовщики и женщины. Исключительно политическое направление, особенно в том тяжелом затишье, которое всегда следует за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляет бесплодной сухостью и однообразным попреканием прошедшему. Оно

похоже на летнее время в больших городах, где все запылено, жарко, без воздуха, где, сквозь бледные деревья просвечивают стены, отражающие солнце и теплые камни мостовой. Живой человек рвется на воздух, которым еще не дышала тьма тем, в котором не пахнет обглодками жизни и не слышно нестройного дребезжания, сального, гнилого запаха и беспрерывного стука.

Иногда мы в самом деле вырывались из Женевы, ездили по берегам Лемана, уезжали к подножию Монблана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тенями всю суету суетствий, освежая душу и тело холодным веянием своих вечных ледников.

Не знаю, желал ли бы я навсегда остаться в Швейцарии; нашему брату, жителю долин и лугов, горы через некоторое время мешают: они слишком громадны, близки, теснят, ограничивают, но иной раз хорошо пожить под их тенью. К тому же по горам живет чистое и доброе племя, — племя бедное, но не несчастное, с малыми потребностями, привычное к жизни самобытной и независимой. Накипь цивилизации, ее ярь-медянка не осела на этих людях; исторические перемены, словно облака, ходят

под ними, мало задевая их. Римский мир еще продолжается в Граубюндене, время крестьянских войн едва прошло где-нибудь в Аппенцеле. Может, в Пиренеях или других горах, в Тироле, найдется такой же здоровый кряж населения — но, вообще, его в Европе давно нет.

На нашем северо-востоке видел я, впрочем, что-то подобнее. В Перми и Вятке мне удавалось встречать людей такого же закала, как на Альпах.

Утомленные беспрерывным, долгим подниманием шаг за шаг по горе, чтоб дать отдохнуть клячам, я и товарищ, ехавший со мной в Церматт, мы вошли в небольшой постоялый двор, помнится, повыше св. Николы. Хозяйка, худая, но мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуясь на бедность своих запасов, пошарив там-сям, принесла бутылку кирша[568], сухой, как камень, хлеб (хлеб в горах — вещь не простая, его привозят на ослах с долин), копченую баранину, тоже сухую, сыру, козьего молока и потом пошла стряпать какую-то сладкую яичницу, которой я есть не мог; но баранина, сыр и кирш были

[568] Сноски: 568
вишневой наливки (*нем.* Kirsch).

хороши. Хозяйка угощала нас, как званых гостей, с добродушным видом подкладывала кусочки и все извинялась. Проводники наши тоже поели и допили кирш. Уезжая, я спросил, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже прошлась в другую комнату, чтобы сообразить, и потом, сделав предисловие о дороговизне, трудном подвозе, она рискнула сказать *пять франков.*

— Как, — заметил я, — и с лошадьми? — Она не поняла меня и поторопилась прибавить:

— Ну, и четырех будет довольно.

Когда меня везли из Перми в Вятку, я попросил в одной деревне, где меняли лошадей, квасу у женщины, сидевшей на бревне возле избы.

— Больно кисел, — отвечала она, — а вот я тебе вынесу браги, от праздника, видишь, осталась.

Через минуту она принесла глиняный кувшин, заткнутый тряпкой, и ковш. Мы с жандармом напились вдоволь; отдавая ковш старухе, я подал ей гривенник или пятиалтынный, но она не взяла, приговаривая:

— Господь с тобой, что это с дорожного человека-то брать, да и едешь ты того, — она посмотрела на жандарма.

— Да за что же, тетушка, мы твою бражку-то даром пили? Возьми детушкам на пряники.

— Нет, кормилец, ты в этом не сомневайся, а есть лишние деньги, подай их нищему али Богу поставь свечку.

Другой подобный случай был со мной на Великой-реке, близ Вятки. Я ездил смотреть туда оригинальную процессию — как икону Николая Хлыновского носят туда в гости. На обратном пути я зашел с ямщиком в избу, где он брал овес: хозяева и человека три богомольцев собирались обедать; сильно пахло щами, попросил и я себе. Молодая женщина принесла деревянную чашку щей, ломоть хлеба и огромную солонку с высокой спинкой. Поевши, я дал хозяину четвертак. Он посмотрел на меня, почесал затылок и сказал:

— Оно, видишь, неладно… Что же, ты наел гроша на два, а даешь четвертак… Оно мне взять-то и не приходится: и перед Богом грешно, и перед людьми совестно.

Помнится, я где-то упоминал об обычае пермских мужиков выставлять на ночь за окно кусок хлеба, квас или молоко, на тот случай, что если *несчастный*, т. е. сосланный, проберется из Сибири да побоится постучать, так чтоб подкрепился, не делая шума. Подобное я нашел на горах Швейцарии; только тут это делается, за неимением возле Сибири, просто для путников. На довольно

больших высотах, там, где уже жизнь редеет, где гранит уже выказывается, как череп у человека, начинающего плешиветь, и резкий, холодный ветер подувает на сухую, аптекарскую растительность, — там попадались мне хижины пустые, но с незапертыми дверями, чтобы путник, сбившийся с дороги или загнанный непогодой, мог найти приют и без хозяина. Разная крестьянская утварь стояла тут, а на столе — сыр, хлеб или козье молоко. Иные, поевши, кладут на стол какую-нибудь копейку, другие ничего, но, видно, никто не крадет. Конечно, посторонних прохожих бывает очень мало, но тем не менее эти отпертые двери удивляют городской глаз.

Разговорившись о горах и вершинах, доскажу мое путешествие на Монте-Розу. Как же лучше и кончить главу о Швейцарии, как не на высоте семи тысяч футов?

От старушки, которая совестилась взять пять франков за корм четырех человек и двух лошадей, со включением целой бутылки кирша, мы до самого вечера поднимались по узкой нарезке, местами не шире метра, до Церматта; привычные лошади шли шагом и осторожно, выбирая место, куда поставить копыто по скалистой, неровной тропинке. Проводники беспрестанно

напоминали нам, чтоб не править, а пускать лошадь идти, как она знает. С одной стороны был крутой обрыв тысячи в три футов и больше. Внизу, на его дне, шумел и несся Весп с какой-то безумной поспешностию, стараясь найти больше открытое русло и вырваться из сжатой каменной постели. Его пенящаяся, клубящаяся поверхность была местами видна; по гористым берегам росли целые сосновые леса, казавшиеся мохом с высоты, по которой мы двигались. С другой стороны — голая, скалистая высь, местами нависшая над головами. Часы целые едешь, едешь… стучат подковы о камень, срывается нога лошади, ревет Весп, и все такие же скалы с одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающийся обрыв — с другой; это наводит тоску, раздражительную усталь… Я не хотел бы часто повторять этого пути.

Церматт — последнее местечко, где живут несколько семей вместе; оно стоит, как в котле, — громады гор окружают его. Один из домохозяев принимает у себя редких путешественников; мы застали у него шотландца, геолога. Пока нам собирали ужин, сделалось совершенно темно; близость гор удвоивала мрак. Часу в одиннадцатом хозяйка, прислушиваясь у окна, сказала нам:

— Ведь это копыта, да и крик проводников слышен… Охота же в ночную пору ехать по такой дороге.

Стук копыт медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла с ним в сени, я пошел за ней. Что-то стало отделяться из черной мглы, какие-то фигуры показались на полосе фонарного света, и, наконец, два всадника подъехали к сеням. На одной лошади сидела высокая, средних лет женщина, на другой — мальчик, лет четырнадцати. Дама покойно сошла с лошади, будто она воротилась с прогулки в Гайд-парке, и вошла в общую комнату. Шотландца она уже где-то встретила и потому тотчас стала с ним говорить. Спросив себе поесть, она послала сына узнать от проводников, сколько времени лошадям нужно отдыхать. Они сказали, что двух часов довольно.

— Неужели вы едете, не дождавшись дня? — спросил шотландец. — Зги не видать, и притом же вам теперь придется спускаться по новой дороге.

— Я уже так разочла время.

Через два часа англичанка с сыном стала спускаться на итальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На рассвете мы взяли третьего проводника, гербариста[569], который знал все тропинки и удивительно насвистывал альпийские мотивы, и стали взбираться на одну из ближних высот, поднимаясь к ледяному морю и Мон-Сервину.

Сначала седой туман закрывал все и мочил нас мелким дождем; мы поднимались, он понижался; вскоре сделалось как-то резко светло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго где-то описывает, «что слышно на горе»; не высока, должно быть, была его гора; меня поразило, совсем напротив, совершенное отсутствие звука: решительно ничего не слыхать, кроме легкого, перемежающегося грохота от перекатывающихся лавин, и то изредка… Вообще же тишина мертвая, *прозрачная*, — я нарочно употребляю это слово, — и необычайная разреженность воздуха делают *видимой, звучной* эту совершенную немоту, этот беспробудный, минеральный, стихийный сон[570] допотопных времен.

Шумит жизнь — но все живое внизу и покрыто

---

[569] Сноски: 569

торговца лекарственными травами (*фр.* herboriste).

[570] Сноски: 570

Вот я и оправдал знаменитое «я слышу молчание!» московского полицмейстера.

облаками; тут уж нет и растений, один мох седой, жесткий попадается кое-где на камнях. Еще вверх — еще свежее стало, начинается нетающий иней; тут рубеж, тут ничего не бывает, дальше ходит только любопытнейший из всех *зверей*, чтоб на минуту заглянуть в эти степи пустоты, посмотреть на эти пограничные, выдавшиеся пределы планеты, и скорее спуститься в свою среду, исполненную сует, но где он дома.

Мы остановились перед ледяным снежным морем, расстилавшимся между нами и Мон-Сервином; окаймленное грядою гор, облитых солнцем, оно само, белое до ослепительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантского Колизея. Местами изрытое ветрами, волнистое, оно будто застыло в самую минуту движения; изгибы валов замерзли, не успев выправиться.

Я сошел с лошади и прилег на глыбу гранита, причаленную снежными волнами к берегу… Немая, неподвижная белизна, без всякого предела… легкий ветер приподнимал небольшую белую пыль, уносил ее, вертел… она падала, и все снова приходило в покой, да раза два лавины, оторвавшись с глухим раскатом, скатывались вдали, цепляясь за утесы, разбиваясь о них и оставляя

по себе облако снега…

Странно чувствует себя человек в этой раме — гостем, лишним, посторонним — и, с другой стороны, свободнее дышит и, будто под цвет окружающему, становится бел и чист внутри… серьезен и полон какого-то благочестия!

Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси и считавших друг друга близкими друзьями, один обдумывал черную измену?..

Да, жизнь иногда имеет свои мелодраматические выходки, свои coups de théâtre[571], очень натянутые.

Западные арабески
Тетрадь вторая
I. Il pianto[572]

После Июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в *побежденных*,

---

[571] Сноски: 571
театральные эффекты (*фр.*).

[572] Сноски: 572
Плач (*ит.*).

в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть. В Женеве я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она *должна была быть* побежденной.

У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами.

Не реакция победила революцию. Реакция везде оказалась тупой, трусливой, выжившей из ума, она везде позорно отступила за угол перед напором народной волны и воровски выжидала времени в Париже и в Неаполе, в Вене и Берлине. Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания; героизма, юношеского самоотвержения было больше, чем разумения, и чистые, благородные жертвы пали, не зная за что. Судьба остальных вряд не была ли еще печальнее. Они, в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то что *невеста* обманула.

Несчастия, праздность и нужда внесли нетер-

пимость, упрямство, раздражение… Эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала. Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительное, замкнутое общество начало выражаться в речах и мыслях, в приемах и одежде; новый цех — *цех выходцев* — складывался и костенел рядом с другими. И как некогда Василий Великий писал Григорию Назианзину, что он «утопает в посте и наслаждается лишениями», так теперь явились добровольные мученики, страдавшие по званию, несчастные по ремеслу, и в их числе добросовестнейшие люди; да и Василий Великий откровенно писал своему другу об оргиях плотоумерщвления и о неге гонения. При всем этом сознание не двигалось ни на шаг, мысль дремала… Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули.

Сердце изнывало от этих тяжелых истин; трудную страницу воспитания приходилось переживать.

…Печально сидел я раз в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери; это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день

в Париж; день был холодный, снежный, два-три полена нехотя, дымясь и треща, горели в камине, все были заняты укладкой; я сидел один-одинехонек, женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал *проклятие — мой «Эпилог к 1849»*.

«Разочарование, усталь, Blasiertheit!»[573] — сказали об этих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталь!.. Разочарование — слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязание на все, силы — ни на что. Давно надоели нам все эти высшие, неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия, — в жизни и в романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и в пошлый маскарад.

---

[573] Сноски: 573
равнодушие (*нем.*).

Поэт, нашедший слово и голос для этой боли, был слишком горд, чтоб притворяться, чтоб страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеха. Разочарование Байрона больше, нежели каприз, больше, нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух розных возрастов, двух розных воспитаний, и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся.

Разрыв этот существовал и прежде, но в наш век он пришел к сознанию, в наш век больше и больше обличается невозможность посредства каких-нибудь верований. За римским разрывом шло христианство, за христианством — вера в цивилизацию, в человечество. *Либерализм составляет последнюю религию*, но его церковь не другого мира, а этого, его теодицея — политическое учение; он стоит на земле и не имеет мистических примирений, ему надобно мириться в самом деле. Торжествующий и потом побитый либерализм раскрыл разрыв во всей наготе; болезненное сознание этого выражается

иронией современного человека, его скептицизмом, которым он метет осколки разбитых кумиров.

Иронией высказывается досада, что истина логическая — не одно и то же с истиной исторической, что, сверх диалектического развития, она имеет свое страстное и случайное развитие, что, сверх своего разума, она имеет свой роман.

Разочарованья[574], в нашем смысле слова, до революции не знали; XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. Я уже не говорю о великомученике С.-Жюсте или об апостоле Жан-Жаке; но разве папа-Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя Бога и свободы, не был пиетист своей человеческой религией?

Скептицизм провозглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде светского духовенства, готового па-

---

[574] Сноски: 574

Вообще «наш» скептицизм не был известен в прошлом веке, один Дидро и Англия делают исключение. В Англии скептицизм был с давних времен дома, и Байрон естественно идет за Шекспиром, Гоббсом и Юмом.

сти стада людские. Они представляли *высшую* мысль своего времени, его *высшее*, но не *общее* сознание, не *мысль всех.*

У нового духовенства не было понудительных средств, ни фантастических, ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было одно орудие — убеждение, но для убеждения недостаточно *правоты,* в этом вся ошибка, а необходимо еще одно — *мозговое равенство!*

Пока длилась отчаянная борьба, при звуках святой песни гугенотов и святой «Марсельезы», пока костры горели и кровь лилась, этого неравенства не замечали; но, наконец, тяжелое здание феодальной монархии рухнулось, долго ломали стены, отбивали замки… еще удар — еще пролом сделан, храбрые вперед, вороты отперты — и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий populus romanus. Davus sum, non Aedipus![575] Неотразимая волна грязи залила все. В терроре 93, 94 года выразился внутренний ужас якобинцев: они увидели страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили голов, все-таки склонили

---

[575] Сноски: 575
римский народ. Я — Дав, не Эдип! (*лат.*)

свою собственную перед силою восходящего общественного слоя. Все ему покорилось, он пересилил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство; Сийэс был больше прав, чем думал, говоря, что *мещане* — «всё».

Мещане не были произведены революцией, они были готовы с своими преданиями и нравами, чуждыми *на другой лад* революционной идеи. Их держала аристократия в черном теле и на третьем плане; освобожденные, они прошли по трупам освободителей и ввели свой порядок. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось в мещанство.

Несколько человек каждого поколения оставались, вопреки событиям, упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а может, астеки, несут несправедливую казнь за монополь исключительного развития, за мозговое превосходство сытых каст, — каст досужих, имевших время работать не одними мышцами.

Нас сердит, выводит из себя нелепость, несправедливость этого факта. Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти как по маслу.

Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития; пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль на конце — это заключение; все начинается тупостью новорожденного; возможность и стремление лежат в нем, но прежде чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внешних и внутренних влияний, отклонений, остановок. У одного вода размягчит мозг, другой, падая, сплюснет его, оба останутся идиотами, третий не упадет, не умрет скарлатиной и сделается поэтом, военачальником, бандитом, судьей. Мы вообще в природе, в истории и в жизни всего больше знаем удачи и успехи; мы теперь только начинаем чувствовать, что не все так хорошо подтасовано, как казалось, потому что мы сами — неудача, *проигранная карта.*

Сознание бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Нового рода манихеизм овладевает нами, мы готовы, par dépit[576], верить в разумное (т. е. намеренное) зло, как верили в разумное добро, — это последняя дань, которую мы платим

---

[576] Сноски: 576
с досады (*фр.*).

идеализму.

Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется; ее почти нет в *Новом* свете Соединенных Штатов. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Там, сверх того, нет и двух образований. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются, они подымаются, опускаются с итогом credit и debet каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно; если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода. *Кто может* совлечь с себя старого европейского Адама и переродиться в нового Ионатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас — там наверно ему будет лучше, чем в европейском разложении.

Те, которые *не могут*, те останутся доживать свой век, как образчики прекрасного сна, которым дремало человечество. Они слишком жили

фантазией и идеалами, чтоб войти в разумный американский возраст.

Большой беды в этом нет: нас немного, и мы скоро вымрем!

Но как люди так развиваются вон из своей среды?..

Представьте себе оранжерейного юношу, хоть того, который описал себя в «The Dream»; представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, с самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни, неловко спаянным из двух животных: одного дряхлого, другого по колена в топком болоте, раздавленного, как Кариатида, постоянно натянутые мышцы которой не дают ни капли крови мозгу. Если б он умел приладиться к той жизни, он, вместо того чтоб умереть за тридцать лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Росселем. Но так как он не мог, то ничего нет удивительного, что он с своим Гарольдом говорит кораблю: «Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины».

Но что же ждало его в этой дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих Лазарей после 1814 года; от них нельзя было спастись

ни в Равенне, ни в Диодати. Байрон не мог удовлетвориться по-немецки теориями sub specie aeternitatis[577], ни по-французски политической болтовней, и он сломился, но сломился, как грозный Титан, бросая людям в глаза свое презрение, не золотя пилюли.

Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830 к 1848 году и гнусного с 48 до сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда преклонить голову.

Реалист Гёте, так же как романтик Шиллер, этой разорванности не знали. Один был слишком религиозен, другой слишком философ. Оба могли примиряться в отвлеченных сферах. Когда «дух отрицанья» является таким шутником, как Мефистофель, тогда разрыв еще не страшен; насмешливая и вечно противоречащая натура его еще расплывается в высшей гармонии и в свое время прозвучит всему — sie ist gerettet[578]. Не таков Люцифер в «Каине»; это печальный ангел тьмы, на его лбу тускло мерцает звезда

---

[577] Сноски: 577
с точки зрения вечности (*лат.*).

[578] Сноски: 578
она спасена (*нем.*).

горькой думы, полного внутреннего распадения, концы которого не сведешь. Он не острит отрицанием, не смешит дерзостью неверия, не манит чувственностью, не достает ни наивных девочек, ни вина, ни брильянтов, а спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступленью той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем, ничего не обещая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти.

Ни Каин, ни Манфред, ни Дон-Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого «нравоучения». Может, с точки зрения драматического искусства это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпилог Байрона, его последнее слово, если вы хотите, это — «The Darkness»; вот результат жизни, начавшейся со «Сна». Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодом, умерли, их съели какие-нибудь ракообразные животные… корабль догнивает — смоленый канат качается себе по мутным волнам в темноте, холод страшный, звери вымирают, история уже умерла, и место расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится в четвертую формацию, т. е. если новый мир дойдет до того, что сумеет

считать до четырех.

Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родов. Если роды кончатся хорошо, все пойдет на пользу; но мы не должны забывать, что по дороге может умереть ребенок или мать, а может, и оба, и тогда — ну, тогда история с своим мормонизмом начнет новую беременность… E sempre bene[579], господа!

Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов — ей все равно, она продолжает свое или так продолжает, что попало: десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили *прогрессу* рифа.

Чему-нибудь послужим и мы. Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Пла-

---

[579] Сноски: 579
Ну, и ладно (*ит.*).

тонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная мысль западная войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место, так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие — что же с этим делать?

Теперь я привык к этим мыслям, они уже не пугают меня. Но в конце 1849 года я был ошеломлен ими, и, несмотря на то, что каждое событие, каждая встреча, каждое столкновение, лицо — наперерыв обрывали последние зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искал *выхода.*

Оттого-то я теперь и ценю так высоко мужественную мысль Байрона. Он видел, что *выхода нет*, и гордо высказал это.

Я был несчастен и смущен, когда эти мысли начали посещать меня; я всячески хотел бежать от них… я стучался, как путник, потерявший дорогу, как нищий, во все двери, останавливал встречных и расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному результату — к *смирению перед истиной*, к самоотверженному принятию ее.

…Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно

шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достояние. Мгла стлалась около меня, я дичал в тупом отчаянии, но не тешил себя надеждами, не предал своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свидании за гробом.

Так уж с общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

II. Post scriptum

Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, *хотим* другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна.

Мы вообще знаем Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаем ее, а судим à livre ouvert[580], по книжкам и картинкам, так, как дети судят по «Orbis pictus» о настоящем мире, воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами и что

---

[580] Сноски: 580
Здесь: поверхностно (*фр.*).

где есть голый негр, там непременно, в пяти шагах от него, стоит лев с растрепанной гривой или тигр с злыми глазами.

Наше *классическое* незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения.

Во-первых, нам известен только один верхний, *образованный* слой Европы, который накрывает собой тяжелый фундамент народной жизни, сложившийся веками, выведенный инстинктом, по законам, мало известным в самой Европе. Западное образование не проникает в эти циклопические работы, которыми история приросла к земле и граничит с геологией. Европейские государства спаяны из двух народов, особенности которых поддерживаются совершенно розными воспитаниями. Восточного единства, вследствие которого турок, подающий чубук, и турок великий визирь похожи друг на друга, здесь нет. Массы сельского населения, после религиозных войн и крестьянских восстаний, не принимали никакого действительного участия в событиях; они ими увлекались направо или налево, как нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком,

с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его.

В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или не существующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов — все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, *мещанских.* Они составляют целое, т. е. замкнутое, оконченное в себе, воззрение на жизнь, с своими преданиями и правилами, с своим добром и злом, с своими приемами и с своей нравственностью *низшего порядка.*

Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира: господа заменились *хозяевами.* Купец сам по себе — лицо стертое, промежуточное; посредник между одним, который производит, и другим, который потребляет, он представляет нечто вроде

дороги, повозки, средства.

Рыцарь был больше *он сам,* больше *лицо* и берег, как понимал, свое достоинство, оттого-то он, в сущности, и не зависел ни от богатства, ни от места; его личность была главное; в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное — товар, дело, вещь, главное — *собственность.*

Рыцарь был страшная невежда, драчун, бретер, разбойник и монах, пьяница и пиетист, но он был во всем открыт и откровенен; к тому же он всегда готов был лечь костьми за то, что считал правым; у него было свое нравственное уложение, свой кодекс чести, очень произвольный, но от которого он не отступал без утраты собственного уважения или уважения равных.

Купец — человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый в нападении; расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в поединок, только мерится с ним — *хитростью.* Его предки, средневековые горожане, спасаясь от насилий и грабежа, принуждены были лукавить: они покупали покой и достояние уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки,

держа шляпу и кланяясь в пояс, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они соседям о своей бедности, а между тем потихоньку зарывали деньги в землю. Все это естественно перешло в кровь и мозг потомства и сделалось физиологическим признаком особого вида людского, называемого *средним состоянием.*

Пока оно было в несчастном положении и соединялось с светлой закраиной аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав, оно было исполнено величия и поэзии. Но этого стало ненадолго, и Санчо-Панса, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его натуры взяла верх.

Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для *всех* (т. е. для всех, имеющих деньги).

Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были потрясены, но нового сознания *настоящих* от-

ношений между людьми не было раскрыто. Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и дурных сторон мещанства, под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания.

Разберите моральные правила, которые в ходу с полвека, — чего тут нет? Римские понятия о государстве с готическим разделением властей, протестантизм и политическая экономия, salus populi[581] и chacun pour soi[582], Брут и Фома Кемпийский, Евангелие и Бентам, приходо-расходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. С таким сумбуром в голове и с магнитом, вечно притягиваемым к золоту, в груди не трудно было дойти до тех нелепостей, до которых дошли передовые страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий — хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную

---

[581] Сноски: 581
народное благо (*лат.*).

[582] Сноски: 582
каждый за себя (*фр.*).

борьбу из-за денег.

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего состояния. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки: редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую англиканскую церковь — Old Shop[583].

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главные стана: с одной стороны мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие *мещане,* которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, т. е. с одной стороны *скупость*, с другой — *зависть.* Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места,

[583] Сноски: 583
старая лавка (*англ.*).

и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений, — она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Парламентское правление, не так, как оно истекает из народных основ англосаксонского Common law[584], а так, как оно сложилось в государственный закон, — самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента?

Но в этом-то сохранении вида и главное дело.

Во всем современноевропейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны лицемерие и скрытность, с другой — выставка и étalage[585]. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, *казаться*, вместо того чтоб *быть*, вести себя *прилично*,

---

[584] Сноски: 584
обычного права (*англ.*).

[585] Сноски: 585
хвастовство (*фр.*).

вместо того чтоб вести себя *хорошо*, хранить внешний Respectabilität[586] вместо внутреннего достоинства.

В этом мире все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования. Кто из нас не останавливался, краснея за неведение западного общества (я здесь не говорю об ученых, а о людях, составляющих то, что называется обществом)? Образования теоретического, серьезного быть не может: оно требует слишком много времени, слишком отвлекает от *дела.* Так как все, лежащее вне торговых оборотов и «эксплуатации» своего общественного положения, не *существенно* в мещанском обществе, то их образование и должно быть ограничено. Оттого происходит та нелепость и тяжесть ума, которую мы видим в мещанах всякий раз, как им приходится съезжать с битой и торной дороги. Вообще, хитрость и лицемерие далеко не так умны и дальновидны, как воображают; их диаметр беден и плаванье мелко.

Англичане это знают и потому не оставляют битые колеи и выносят не только тяжелые, но, ху-

---

[586] Сноски: 586
благопристойность (*нем.*).

же того, смешные неудобства своего готизма[587], боясь всякой перемены.

Французские мещане не были так осторожны и со всем своим лукавством и двоедушием оборвались в империю.

Уверенные в победе, они провозгласили основой нового государственного порядка *всеобщую подачу голосов.* Это арифметическое знамя было им симпатично, истина определялась сложением и вычитанием, ее можно было прокидывать на счетах и метить булавками.

И что же они подвергнули суду *всех голосов* при современном состоянии общества? Вопрос о существовании республики. Они хотели ее убить народом, сделать из нее пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважает истину, пойдет ли тот спрашивать мнение встречного, поперечного? Что, если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение земли на голоса?

Хитро было придумано, а в последствиях добряки обочлись.

Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала линючим ковром ламартиновского красноречия, делалась больше

---

[587] Сноски: 587
Здесь: косности (*англ.* Goth).

и больше; июньская кровь ее размыла, и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон, забравший все в руки, т. е. и мещан, которые воображали по старой памяти, что он будет *царствовать*, а они — *править*.

То, что вы видите на большой сцене государственных событий, то микроскопически повторяется у каждого очага. Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонно на людях, как буржуазия.

Дворянство обязывало. Разумеется, так как его права были долею фантастические, то и обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными. Католицизм обязывал с своей стороны еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были

ложью, а скорей их идеалом.

Нам теперь дела нет до содержания этого идеала. Их процесс решен и давно проигран. Мы хотим только указать, что мещанство, напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если только есть охотники, т. е. обязывает per fas et nefas[588], иметь собственность. Его Евангелие коротко: «Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память».

Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, т. е. людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон-Гуттен, и дворяне, как Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гёте. Мещанство воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма

---

[588] Сноски: 588
правдою и неправдою (*лат.*).

охраняющего их правительства.

Из протестантизма они сделали *свою* религию, — религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика, — религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее, ее оставил. В Англии *чернь* всего менее ходит в церковь.

Из революции они хотели сделать *свою* республику, но она ускользнула из-под их пальца, так, как античная цивилизация ускользнула от варваров, т. е. без места в настоящем, но с надеждой на instaurationem magnam[589].

Реформация и революция были сами до того испуганы пустотою мира, в который они входили, что они искали спасения в двух монашествах: в холодном, скучном ханжестве пуританизма и в сухом, натянутом цивизме республиканского формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были основаны на страхе, что их почва не тверда; они видели, что им надобны были сильные средства, чтобы уверить одних, что это церковь, других — что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современ-

---

[589] Сноски: 589
великое восстановление (*лат.*).

ное западное состояние наибольше развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, *образованнее*, т. е. промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции… И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария — единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром.

_____

Эти отрывки, напечатанные в IV кн. «Полярной звезды», оканчивались следующим посвящением, писанным до *приезда Огарева в Лондон* и до *смерти Грановского*:

…Прими сей череп – он
Принадлежит тебе по праву.
А. Пушкин

На этом пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой останется непонятным, усеченным, может, ненужным, во всяком случае будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после…

Теперь расстанемтесь, и на прощанье одно слово к вам, друзья юности.

Когда все было схоронено, когда даже шум,

долею вызванный мною, долею сам накликавшийся, улегся около меня и люди разошлись по домам, я приподнял голову и посмотрел вокруг: живого, родного не было ничего, кроме детей. Побродивши между посторонних, еще присмотревшись к ним, я перестал в них искать *своих* и отучился — не от людей, а от близости с ними.

Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, по крайней мере отрады слушающему, и становится жаль, зачем все это должно заглохнуть и пропасть в душе, как взгляд рассевается и пропадает в пустой дали… но и это — скорее догорающее зарево, отражение уходящего прошедшего.

К нему-то я и обернулся. Я оставил чужой мне мир и воротился к вам; и вот мы с вами живем второй год как бывало, видаемся каждый день, и ничего не переменилось, никто не отошел, не состарелся, никто не умер, и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой почвы, кроме нашей, другого призвания, кроме того, на которое я себя обрекал с детских лет.

Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб — но вы, друзья, примите его радушно; этот труд

помог мне пережить страшную эпоху, он меня вывел из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам. С ним я вхожу *не весело, но спокойно* (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму:

«Lieta no… ma sicura!»[590] — говорит Леопарди о смерти в своем «Ruysch e le sue mummie».

Так, без вашей воли, без вашего ведома вы выручили меня — *примите же сей череп — он вам принадлежит по праву.*

Isle of Wight, Ventnor[591], 1 октября 1855.

Глава XXXIX

Деньги и полиция. – Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов. – Полиция и деньги.

В декабре 1849 года я узнал, что доверенность на залог моего именья, посланная из Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капитал моей матери

---

[590] Сноски: 590
Не радостная… но уверенная в безопасности (*ит.*).

[591] Сноски: 591
Остров Уайт, Вентнор (*англ.*).

наложено запрещение. Терять времени было нечего, я, как уже сказал в прошлой главе, бросил тотчас Женеву и поехал к моей матери.

Глупо или притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги — независимость, сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно и было неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений. Поэтому я считал справедливым и необходимым принять все меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства.

Я и то чуть не потерял всего. Когда я ехал из России, у меня не было никакого определенного плана, я хотел только остаться донельзя за границей. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот, прежде чем я что-нибудь сделал для спасения моего состояния. Добрые люди винили меня за то, что я замешался очертя голову в политические движения и предоставил на волю Божью будущность семьи, — может, оно и было не совсем осторожно; но если б, живши в Риме в 1848 году, я сидел дома и придумывал средства, как спасти свое именье в то время,

как вспрянувшая Италия кипела пред моими окнами, тогда я, вероятно, не остался бы в чужих краях, а поехал бы в Петербург, снова вступил бы на службу, мог бы быть «вице-губернатором», за «обер-прокурорским столом» и говорил бы своему секретарю «ты», а своему министру «ваше высокопревосходительство!»

Столько воздержности и благоразумия у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Беднее было бы сердце и память, если б я пропустил те светлые мгновения веры и восторженности! Чем было бы выкуплено для меня лишение их? да и что для *меня* — чем было бы выкуплено для *той*, сломленная жизнь которой была потом одним страданием, окончившимся могилой? Как горько упрекала бы меня совесть, что я из предусмотрительности украл у нее чуть ли не последние минуты невозмутимого счастия! А потом, ведь главное я все же сделал — спас почти все достояние, за исключением костромского имения.

После Июньских дней мое положение становилось опаснее. Я познакомился с Ротшильдом и предложил ему разменять мне два билета московской сохранной казны. Дела тогда, разумеется, не шли, курс был прескверный; условия его

были невыгодны, но я тотчас согласился и имел удовольствие видеть легкую улыбку сожаления на губах Ротшильда — он меня принял за бессчетного prince russe[592], задолжавшего в Париже, и потому стал называть «monsieur le comte»[593].

По первым билетам деньги немедленно были уплачены; по следующим, на гораздо значительнейшую сумму, уплата хотя и была сделана, но корреспондент Ротшильда извещал его, что на мой капитал наложено запрещение, — по счастию, его не было больше.

Таким образом, я очутился в Париже с большой суммой денег, середь самого смутного времени, без опытности и знания, что с ними делать. И между тем все уладилось довольно хорошо. Вообще, чем меньше страстности в финансовых делах, беспокойствия и тревоги, тем они легче удаются. Состояния рушатся так же часто у жадных стяжателей и финансовых трусов, как у мотов.

По совету Ротшильда я купил себе американских бумаг, несколько французских и небольшой дом на улице Амстердам, занимаемый Гаврской

---

[592] Сноски: 592
русского князя (*фр.*).

[593] Сноски: 593
«графом» (*фр.*).

гостиницей.

Один из первых революционных шагов моих, развязавших меня с Россией, погрузил меня в почтенное сословие консервативных тунеядцев, познакомил с банкирами и нотариусами, приучил заглядывать в биржевой курс, словом, сделал меня западным rentier[594]. Разрыв современного человека со средой, в которой он живет, вносит страшный сумбур в частное поведение. Мы в самой середине двух, мешающих друг другу, потоков; нас бросает, и будет еще долго бросать, то в ту, то в другую сторону до тех пор, пока тот или другой окончательно не сломит, и поток, еще беспокойный и бурный, но уже текущий в одну сторону, не облегчит пловца, т. е. не унесет его с собой.

Счастлив тот, кто до этого умеет так лавировать, что, уступая волнам и качаясь, все же плывет в *свою* сторону!

При покупке дома я имел случай поближе взглянуть в деловой и буржуазный мир Франции. Бюрократический формализм при совершении купчей не уступит нашему. Старик нотариус прочел мне несколько тетрадей, акт о прочтении их,

---

[594] Сноски: 594
рантье (*фр.*).

mainlevée[595], потом настоящий акт — из всего составилась целая книга in folio[596]. В последний торг наш о цене и расходах хозяин дома сказал, что он сделает уступку и возьмет на себя весьма значительные расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понял его, потому что с самого начала объявил, что покупаю на чистые деньги. Нотариус объяснил мне, что деньги должны остаться у него по крайней мере три месяца, в продолжение которых сделается публикация и вызовутся все кредиторы, имеющие какие-нибудь права на дом. Дом был заложен в семьдесят тысяч, но он мог быть еще заложен и в другие руки. Через три месяца, по собрании справок, выдается покупщику purge hypothécaire[597], а прежнему хозяину вручаются деньги.

Хозяин уверял, что у него нет других долгов. Нотариус подтверждал это.

— Честное слово, — сказал я ему, — и вашу руку — у вас других долгов нет, которые каса-

---

[595] Сноски: 595
снятие запрещения (*фр.*).

[596] Сноски: 596
в лист (*лат.*).

[597] Сноски: 597
свидетельство об освобождении недвижимости от закладных (*фр.*).

лись бы дома?

— Охотно даю его.

— В таком случае я согласен и явлюсь сюда завтра с чеком Ротшильда.

Когда я на другой день приехал к Ротшильду, его секретарь всплеснул руками:

— Они вас надуют! как это возможно! Мы остановим, если хотите, продажу. Это неслыханное дело — покупать у незнакомого на таких условиях.

— Хотите, я пошлю с вами кого-нибудь рассмотреть это дело? — спросил сам барон Джемс.

Такую роль недоросля мне не хотелось играть, я сказал, что дал слово, и взял чек на всю сумму. Когда я приехал к нотариусу, там, сверх свидетелей, был еще кредитор, приехавший получить свои семьдесят тысяч франков. Купчую перечитали, мы подписались, нотариус поздравил меня парижским домохозяином, — оставалось вручить чек.

— Какая досада, — сказал хозяин, взявши его из моих рук, — я забыл вас попросить привезти два чека, как я теперь отделю семьдесят тысяч?

— Нет ничего легче: съездите к Ротшильду, вам дадут два, или, еще проще, съездите в банк.

— Пожалуй, я съезжу, — сказал кредитор.

Хозяин поморщился и ответил, что это его дело, что он поедет.

Кредитор нахмурился. Нотариус добродушно предложил им ехать вместе.

Едва удерживаясь от смеха, я им сказал:

— Вот ваша записка, отдайте мне чек, я съезжу и разменяю его.

— Вы нас бесконечно обяжете, — сказали они, вздохнув от радости; и я поехал.

Через четыре месяца purge hypothécaire была мне прислана, и я выиграл тысяч десять франков за мое опрометчивое доверие.

После 13 июня 1849 года префект полиции Ребильо что-то донес на меня; вероятно, вследствие его доноса и были взяты петербургским правительством странные меры против моего именья. Они-то, как я сказал, заставили меня ехать с моей матерью в Париж.

Мы отправились через Невшатель и Безансон. Путешествие наше началось с того, что в Берне я забыл на почтовом дворе свою шинель; так как на мне был теплый пальто и теплые калоши, то я и не воротился за ней. До гор все шло хорошо, но в горах нас встретил снег по колено, градусов восемь мороза и проклятая швейцар-

ская биза[598]. Дилижанс не мог идти, пассажиров рассажали по два, по три в небольшие пошевни. Я не помню, чтоб я когда-нибудь страдал столько от холода, как в эту ночь. Ногам было просто больно, я зарыл их в солому, потом почтальон дал мне какой-то воротник, но и это мало помогло. На третьей станции я купил у крестьянки ее шаль франков за 15 и завернулся в нее; но это было уже на съезде, и с каждой милей становилось теплее.

Дорога эта великолепно хороша с французской стороны; обширный амфитеатр громадных и совершенно непохожих друг на друга очертаниями гор провожает до самого Безансона; кое-где на скалах виднеются остатки укрепленных рыцарских замков. В этой природе есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на нее-то глядя, рос и складывался крестьянский мальчик, потомок старого сельского рода, Пьер-Жозеф Прудон. И действительно, о нем можно сказать, только в другом смысле, сказанное поэтом о флорентийцах:

[598] Сноски: 598
северный ветер (*фр.* bise).

tiene ancora del monte et del macigno![599]

Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд велел Гассеру потребовать аудиенции у Нессельроде и спросить его, в чем дело. Нессельроде отвечал, что хотя в билетах никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но что государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным.

Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. Глаз невольно искал под таким актом тавро Алариха или печать Чингисхана. Такой шутки Ротшильд не ждал даже и от такого известного деспотических дел мастера, как Николай.

— Для меня, — сказал я ему, — мало удивительного в том, что Николай, в наказание мне, хочет стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку; но я не мог себе представить, чтоб ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей матери; подписыва-

[599] Сноски: 599
Сохранилось нечто от горы и от каменных глыб (*ит.*).

ясь на них, она их передала предъявителю (au porteur), но с тех пор, как вы расписались на них, этот porteur — *вы*[600], и вам-то нагло отвечают: «Деньги ваши, но барин платить не велел».

Речь моя удалась. Ротшильд стал сердиться и, ходя по комнате, говорил:

— Нет, я с собой шутить не позволю, я сделаю процесс ломбарду, я потребую категорического ответа у министра финансов!

«Ну, — подумал я, — этого уже Вронченко не поймет. Хорошо еще “конфиденциального”, а то “категорического”».

— Вот вам образчик, как самодержавие, на которое так надеется реакция, фамильярно и sans gêne[601] распоряжается с собственностью. Казацкий коммунизм чуть ли не опаснее луи-блановского.

— Я подумаю, — сказал Ротшильд, — что делать. Так нельзя оставить этого.

Дни через три после этого разговора я встретил Ротшильда на бульваре.

---

[600] Сноски: 600

Подпись эта, endossement <передаточная подпись (*фр.*)>, делается для пересылки, чтоб не посылать анонимный билет, по которому всякий может получить деньги.

[601] Сноски: 601

бесцеремонно (*фр.*).

— Кстати, — сказал он мне, останавливая меня, — я вчера говорил о вашем деле с Киселевым[602]. Я вам должен сказать, вы меня извините, он очень невыгодного мнения о вас и вряд ли сделает что-нибудь в вашу пользу.

— Вы с ним часто видаетесь?

— Иногда, на вечерах.

— Сделайте одолжение, скажите ему, что вы сегодня виделись со мной и что я самого дурного мнения о нем, но что с тем вместе никак не думаю, чтоб за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильд расхохотался; он, кажется, с этих пор стал догадываться, что я не prince russe, и уже называл меня *бароном*; но это, я думаю, он для того поднимал меня, чтоб сделать достойным разговаривать с ним.

На другой день он прислал за мной; я тотчас отправился. Он подал мне неподписанное письмо к Гассеру и прибавил:

— Вот наш проект письма; садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы им; если хотите что прибавить или изменить, мы

---

[602] Сноски: 602

Это не П. Д. Киселев, бывший впоследствии в Париже, очень порядочный человек и известный министр государственных имуществ, а другой, переведенный в Рим.

сейчас сделаем. А мне позвольте продолжать мои занятия.

Сначала я осмотрелся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входил один биржевой агент за другим, громко говоря цифру; Ротшильд, продолжая читать, бормотал, не подымая глаз: «да, — нет, — хорошо, — пожалуй, — довольно», и цифра уходила. В комнате были разные господа, рядовые капиталисты, члены Народного собрания, два-три истощенных туриста с молодыми усами на старых щеках — эти вечные лица, пьющие на водах вино, представляющиеся ко дворам, слабые и лимфатические отпрыски, которыми иссякают аристократические роды и которые туда же, суются от карточной игры к биржевой. Все они говорили между собой вполголоса. Царь иудейский сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно, всё миллионы или по крайней мере сотни тысяч.

— Ну, что, — сказал он, обращаясь ко мне, — довольны?

— Совершенно, — отвечал я.

Письмо было превосходно: резко, настойчиво, как следует, когда власть говорит с властью. Он писал Гассеру, чтоб тот немедленно требовал

аудиенции у Нессельроде и у министра финансов, чтоб он им сказал, что Ротшильд знать не хочет, кому принадлежали билеты, что он их купил и требует уплаты или ясного законного изложения, почему уплата остановлена; что, в случае отказа, он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключал тем, что, в случае дальнейших проволочек, он должен будет дать гласность этому делу через журналы, для предупреждения других капиталистов. Письмо это он рекомендовал Гассеру показать Нессельроду.

— Очень рад… но, — сказал он, держа перо в руке и с каким-то простодушием глядя прямо мне в глаза, — но, любезный барон, неужели вы думаете, что я подпишу это письмо, которое au bout du compte[603] может меня поссорить с Россией, — за полпроцента комиссии?

Я молчал.

— Во-первых, — продолжал он, — у Гассера будут расходы, у вас даром ничего не делают, —

---

[603] Сноски: 603
в конечном счете (*фр.*).

это, разумеется, должно пасть на ваш счет; сверх того… сколько предлагаете вы?

— Мне кажется, — сказал я, — что вам бы следовало предложить, а мне согласиться.

— Ну, пять, что ли? Это не много.

— Позвольте подумать…

Мне хотелось просто рассчитать.

— Сколько хотите… Впрочем, — прибавил он с мефистофелевской иронией в лице, — вы можете это дело обделать даром — права вашей матушки неоспоримы, она виртембергская подданная, адресуйтесь в Штутгарт — министр иностранных дел обязан заступиться за нее и выхлопотать уплату. Я, по правде сказать, буду очень рад свалить с своих плеч это неприятное дело.

Нас прервали. Я вышел в бюро, пораженный всю античной простотой его взгляда и его вопроса. Если б он спросил 10, 15 процентов, то я и тогда бы согласился. Его помощь была мне необходима, он это так хорошо знал, что даже подтрунил насчет обруселого Виртемберга. Но, снова руководствуясь той отечественной политической экономией, что за какое бы пространство извозчик ни спросил двугривенный — все же попробовать предложить ему пятиалтынный, я,

без всякого достаточного основания, сказал Шомбургу, что полагаю, что один процент можно сбавить. Ш<омбург> обещал сказать и просил зайти через полчаса.

Когда через полчаса я входил на лестницу Зимнего дворца финансов в rue Lafitte, с нее сходил соперник Николая.

— Мне Шомбург говорил, — сказало его величество, милостиво улыбаясь и высочайше протягивая собственную августейшую руку свою, — письмо подписано и послано. Вы увидите, как они повернутся; я им покажу, как со мной шутить.

«Только не за полпроцента», — подумал я и хотел стать на колени и принести, сверх благодарности, верноподданническую присягу, но ограничился тем, что сказал:

— Если вы совершенно уверены, велите мне открыть кредит хоть на половину всей суммы.

— С удовольствием, — отвечал государь император и проследовал в улицу Лафит.

Я откланялся его величеству и, пользуясь близостию, пошел в Maison d'Or.

Через месяц или полтора тугой на уплату петербургский 1-й гильдии купец Николай Романов, устрашенный конкурсом и опубликованием

в ведомостях, уплатил, по высочайшему повелению Ротшильда, незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению.

С тех пор мы были с Ротшильдом в наилучших отношениях; он любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая, я был для него нечто вроде Маренго или Аустерлица, и он несколько раз рассказывал при мне подробности дела, слегка улыбаясь, но великодушно щадя побитого противника.

В продолжение моего процесса я жил в Отель Мирабо, rue de la Paix. Хлопоты по этому делу заняли около полугода. В апреле месяце, одним утром, говорят мне, что какой-то господин дожидается меня в зале и хочет непременно видеть. Я вышел; в зале стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

— Комиссар полиции Тюльерийского квартала, такой-то.

— Очень рад.

— Позвольте мне прочесть вам декрет министра внутренних дел, сообщенный мне префектом полиции и касающийся вас.

— Сделайте одолжение, вот стул.

«Мы, префект полиции[604]:

Взяв в соображение 7 пункт закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 г., дающий министру внутренних дел право высылать (expulser) из Франции всякого иностранца, присутствие которого во Франции может возмутить порядок и быть опасным общественному спокойствию, и основываясь на министерском циркуляре 3 января 1850 г.,

решаем, что следует:

Называемый (le N-é, т. е. nommé, но это не значит "вышеупомянутый", потому что прежде обо мне не говорится, это только безграмотная попытка как можно грубее обозначить человека) Герцен, Александр, 40 лет (два года прибавили), русский подданный, живущий там-то, обязан оставить немедленно Париж, по объявлении сего, и в наискорейшем времени выехать из пределов Франции.

Воспрещается ему впредь возвращаться, под опасением наказаний, положенных 8 пунктом того же закона (тюремное заключение

---

[604] Сноски: 604
Перевожу слово в слово.

от одного месяца до шести и денежный штраф).

Все меры будут приняты для удостоверения в исполнении сих распоряжений.

Сделано (Fait) в Париже 16 апреля 1850.

Префект полиции П. Карлье.

Скрепил общий секретарь префектуры Клемен Рейр.

На боку: Читал и одобрил 19 апреля 1850 г. Министр внутренних дел Ж. Барош.

Лета тысяча восемьсот пятидесятого, апреля двадцать четвертого.

Мы, Емилий Буллей, комиссар полиции города Парижа и *в особенности* Тюльерийского отделения, во исполнение приказаний господина префекта полиции от 23 апреля:

Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, как сказано в оригинале».

Тут следует весь текст опять. В том роде, как дети говорят сказку о белом быке, повторяя всякий раз с прибавкой одной фразы: «Сказать ли вам сказку о белом быке?»

Далее: «Мы пригласили поименованного (le dit) Герцена явиться в продолжение двадцати четырех часов в префектуру для получения паспорта и для назначения границы, через которую он

выедет из Франции.

А чтоб сказанный сударь Герцен не отозвался неведением (n'en prétende cause d'ignorance — каков язык!), мы ему оставили *эту* копию сказанного решения в начале сего настоящего нашего протокола объявления. — Nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en tête de cette présente de notre procès-verbal de notification».

Где мои вятские товарищи по канцелярии Тюфяева, где Ардашов, писавший за присест по десяти листов, Вепрёв, Штин и мой пьяненький столоначальник? Как сердце их должно возрадоваться, что в Париже, после Вольтера, после Бомарше, после Ж. Санд и Гюго, пишут так бумаги! Да и не один Вепрёв и Штин должны радоваться — а и земский моего отца Василий Епифанов, который, из глубоких соображений учтивости, писал своему помещику: «Повеление ваше по сей настоящей прошедшей почте получил и по оной же имею честь доложить…»

Можно ли оставить камень на камне этого глупого, пошлого здания des us et coutumes[605], годного только для слепой и выжившей из ума старухи, как Фемида?

---

[605] Сноски: 605
обычаев (*фр.*).

Чтение не произвело ожидаемого действия. Парижанин думает, что высылка из Парижа равняется изгнанию Адама из рая, да и то еще без Евы — мне, напротив, было все равно и жизнь парижская уже начинала надоедать.

— Когда должен я явиться в префектуру? — спросил я, придавая себе любезный вид, несмотря на злобу, разбиравшую меня.

— Я советую завтра, часов в десять утра.

— С удовольствием.

— Как нынешний год весна рано начинается, — заметил комиссар города Парижа и в особенности Тюльерийский.

— Чрезвычайно.

— Это старинный отель, здесь обедывал Мирабо, оттого он так и называется; вы, верно, были им очень довольны?

— Очень. Вообразите же, каково с ним расстаться так круто!

— Это действительно неприятно… хозяйка умная и прекрасная женщина — M-lle Кузен — была большой приятельницей знаменитой Lenormand.

— Представьте себе! Как досадно, что я этого не знал! Может, она унаследовала у нее искусство

гадать и могла бы мне предсказать billet doux[606] Карлье.

— Ха, ха… мое дело вы знаете, позвольте пожелать.

— Помилуйте, всякое бывает, честь имею вам кланяться.

На другой день я явился в знаменитую, больше чем сама Ленорман, улицу Jérusalem. Сначала меня принял какой-то шпионствующий юноша, с бородкой, усиками и со всеми приемами недоношенного фельетониста и неудавшегося демократа; лицо его, взгляд носили печать того утонченного растления души, того завистливого голода наслаждений, власти, приобретений, которые я очень хорошо научился читать на западных лицах и которого вовсе нет у англичан. Должно быть, он еще недавно поступил на свое место: он еще наслаждался им и потому говорил несколько свысока. Он объявил мне, что я должен ехать через три дни и что без особенно важных причин отсрочить нельзя. Его дерзкое лицо, его произношение и мимика были таковы, что, не вступая с ним в дальнейшие рассуждения, я поклонился ему и потом спросил, надев сперва

---

[606] Сноски: 606
любовную записочку (*фр.*).

шляпу, когда можно видеть префекта.

— Префект принимает только тех, кто у него письменно просит аудиенции.

— Позвольте мне написать сейчас.

Он позвонил, вошел старик huissier[607], с цепью на груди; сказав ему с важным видом: «Бумаги и перо этому господину», юноша кивнул мне головой.

Huissier повел меня в другую комнату. Там я написал Карлье, что желаю его видеть, чтоб объяснить ему, почему мне надобно отсрочить мой отъезд.

В тот же день вечером я получил из префектуры лаконический ответ: «Г. префект готов принять такого-то завтра, в два часа».

Тот же самый противный юноша встретил меня и на другой день; у него была особая комната, из чего я и заключил, что он нечто вроде начальника отделения. Начавши так рано и с таким успехом карьеру, он далеко уйдет, если Бог продлит его живот.

На сей раз он привел меня в большой кабинет; там, за огромным столом, на больших покойных креслах, сидел толстый, высокий, румяный

---

[607] Сноски: 607
пристав (*фр.*).

господин из тех, которым всегда бывает жарко, с белыми, откормленными, но рыхлыми мясами, с толстыми, но тщательно выхоленными руками, с шейным платком, сведенным на минимум, с бесцветными глазами, с жовиальным[608] выражением, которое обыкновенно принадлежит людям, совершенно потонувшим в любви к своему благосостоянию и которые могут подняться холодно и без больших усилий до чрезвычайных злодейств.

— Вы желали видеть префекта, — сказал он мне, — но он извиняется перед вами: очень нужное дело заставило его выехать, — если я могу сделать вам чем-нибудь что-нибудь приятное, я ничего лучшего не прошу. Вот кресло, не угодно ли?

Все это высказал он плавно, очень учтиво, несколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. «Ну, этот давно служит», — подумал я.

— Вы, верно, знаете, зачем я пришел.

Он сделал головою то тихое движение, которое делает всякий, начиная плавать, и не отвечал ничего.

---

[608] Сноски: 608
Здесь: благодушным (*фр.* jovial).

— Мне объявлен приказ ехать через три дня. Так как я знаю, что министр у вас имеет право высылать, не говоря причины и не делая следствия, то я и не стану ни спрашивать, почему меня высылают, ни защищаться; но у меня есть, сверх собственного дома…

— Где ваш дом?

— 14, rue Amsterdam… очень серьезные дела в Париже, мне трудно их оставить сразу.

— Позвольте узнать, какие у вас дела: по дому или…?

— Дела мои у Ротшильда, мне приходится получить тысяч четыреста франков.

— Как-с?

— С небольшим сто тысяч roubles argent[609].

— Это значительная сумма!

— C'est une somme ronde[610].

— Сколько времени вам нужно для окончания вашего дела? — спросил он, глядя на меня еще кротче, так, как глядят на выставленные в окнах фазаны с трюфлями.

— От месяца до шести недель.

— Это ужасно много.

---

[609] Сноски: 609
рублей серебром (*фр.*).

[610] Сноски: 610
Это кругленькая сумма (*фр.*).

— Процесс мой в России. Чуть ли не по его милости я и оставляю Францию.

— Как так?

— С неделю тому назад Ротшильд мне говорил, что Киселев дурно обо мне отзывался. Вероятно, петербургскому правительству хочется замять дело, чтоб о нем не говорили; чай, посол попросил по дружбе выслать меня вон.

— D'abord[611], — заметил, принимая важный и проникнутый сильным убеждением вид, обиженный патриот префектуры, — Франция не позволит ни одному правительству мешаться в ее внутренние дела. Я удивляюсь, как вам могла прийти такая мысль в голову. Потом, что может быть естественнее, как право, которое взяло себе правительство, старающееся всеми силами возвратить порядок страждущему народу, удалять из страны, в которой столько горючих веществ, иностранцев, употребляющих во зло то гостеприимство, которое она им дает?

Я решился его добивать деньгами. Это было так же верно, как в споре с католиком употреблять тексты из Евангелия, а потому, улыбнувшись, я возразил ему:

---

[611] Сноски: 611
Прежде всего (*фр.*).

— За гостеприимство Парижа я заплатил сто тысяч франков и потому считал себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чем моя «somme ronde». Он сконфузился и, сказав после небольшой паузы:

— Что нам делать? Мы в необходимости, — взял со стола мой досье. Это был второй том романа, первую часть которого я видел когда-то в руках Дубельта. Поглаживая листы, как добрых коней, своей пухлой рукой:

— Видите ли, — приговаривал он, — ваши связи, участие в неблагонамеренных журналах (почти слово в слово то же, что мне говорил Сахтынский в 1840), наконец, значительные subventions[612], которые вы давали самым вредным предприятиям, заставили нас прибегнуть к мере очень неприятной, но необходимой. Мера эта удивлять вас не может. Вы даже в своем отечестве навлекли на себя политические гонения. Одинакие причины ведут к одинаким последствиям.

— Я уверен, — сказал я, — что сам император Николай не подозревает этой солидарности;

---

[612] Сноски: 612
субсидии (*фр.*).

не можете же вы в самом деле находить хорошим его управление.

— Un bon citoyen[613] уважает законы страны, какие бы они ни были…[614]

— Вероятно, это по тому знаменитому правилу, что все же лучше, чтоб была дурная погода, чем чтоб совсем погоды не было.

— Но, чтоб вам доказать, что русское правительство совершенно вне игры, я вам обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на один месяц. Вы, верно, не найдете странным, если мы справимся у Ротшильда о вашем деле; тут не столько сомнение…

— Да сделайте одолжение, отчего же не справиться; мы в войне, и если б мне было полезно употребить военную хитрость, чтоб остаться, неужели вы думаете, что я не употребил бы ее?..

Но светский и милый alter ego[615] префекта не остался в долгу:

— Люди, которые так говорят, никогда не гово-

---

[613] Сноски: 613

Хороший гражданин (*фр.*).

[614] Сноски: 614

Впоследствии профессор Чичерин проповедовал что-то подобное в Московском университете.

[615] Сноски: 615

другое я (*лат.*).

рят неправды.

Через месяц дело еще не было окончено; к нам ездил старик доктор Пальмье, который всякую неделю имел удовольствие делать в префектуре инспекторский смотр интересному классу парижанок. Давая такое количество свидетельств прекрасному полу в здоровье, я думал, что он не откажется написать мне свидетельство в болезни. Пальмье, разумеется, был знаком со всеми в префектуре; он обещал мне лично передать Х. историю моего недуга. К крайнему удивлению, Пальмье приехал без удовлетворительного ответа. Черта эта потому драгоценна, что в ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократией. Х. не давал ответа и вилял, обидевшись, что я не явился *лично* известить его о том, что я болен, в постеле и не могу встать. Делать было нечего, я отправился на другой день в префектуру, пышущий здоровьем.

Х. с большим участием спросил меня о моей болезни. Так как я не полюбопытствовал прочитать, что написал доктор, то мне и пришлось выдумать болезнь. По счастию, я вспомнил Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимом аппетите, жаловался на аневризм, — я сказал Х., что у меня болезнь в сердце

и что дорога может мне быть очень вредна.

Х. пожалел, советовал беречься, потом отправился в соседнюю комнату и через минуту вышел, говоря:

— Вы можете остаться еще месяц. Префект поручил мне вместе с тем сказать вам, что он надеется и желает, чтоб ваше здоровье поправилось в продолжение этого времени; ему было бы очень неприятно, если б это было не так, потому что в третий раз он отсрочить не может.

Я понял это и приготовился выехать из Парижа около 20 июня.

Имя Х. встретилось мне еще раз через год. Патриот этот и bon citoyen бесшумно удалился из Франции, забывши отдать отчет тысячам небогатых и бедных людей, вкладчиков в какую-то калифорнскую лотерею, действовавшую под покровительством префектуры! Когда добрый гражданин увидел, что, при всем уважении к законам своей родины, он может попасть на галеры за faux[616], тогда он предпочел им пароход и уехал в Геную. Это была натура цельная, не терявшаяся от неудач. Он воспользовался известностью, приобретенною историей кали-

---

[616] Сноски: 616
подлог (*фр.*).

форнской лотереи, и тотчас предложил свои услуги обществу акционеров, составлявшемуся около того времени в Турине для постройки железных дорог; видя столь надежного человека, общество поспешило принять его услуги.

Последние два месяца, проведенные в Париже, были невыносимы. Я был буквально gardé à vue[617], письма приходили нагло подпечатанные и днем позже. Куда бы я ни шел, издали следовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазом другому.

Не надобно забывать, что это было время пущего полицейского бешенства. Тупые консерваторы и революционеры алжирски-ламартиновского толка помогали плутам и пройдохам, окружавшим Наполеона, и ему самому в приготовлении сетей шпионства и надзора, чтоб, растянувши их на всю Францию, в данную минуту поймать и задушить по телеграфу, из министерства внутренних дел и Elysée[618], все деятельные силы страны. Наполеон ловко воспользовался против них самих врученным ему орудием. Второе декабря — возведение полиции на степень госу-

---

[617] Сноски: 617
под явным надзором (*фр.*).

[618] Сноски: 618
Елисейского дворца (*фр.*).

дарственной власти.

Никогда нигде не было такой политической полиции, ни в Австрии, ни в России, как во Франции со времен Конвента. На это, сверх особенного *национального* влечения к полиции, есть много причин. Кроме Англии, где полиция не имеет ничего общего с континентальным шпионством, полиция везде окружена враждебными элементами и, следственно, оставлена на свои силы. Во Франции, напротив, полиция — самое народное учреждение; какое бы правительство ни захватило власть в руки, *полиция у него готова*, часть народонаселения будет ему помогать с фанатизмом и увлечением, который надобно умерять, а не усиливать, и помогать притом всеми страшными средствами частных людей, которые для полиции невозможны. Куда скрыться от лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестриного мужа, братниной жены, особенно в Париже, где живут не особняком, как в Лондоне, а в каких-то полипниках или ульях, с общей лестницей, с общим двором и дворником?

Кондорсе ускользает от якобинской полиции и счастливо пробирается до какой-то деревни близ границы; усталый и измученный, он входит

в харчевню, садится перед огнем, греет себе руки и просит кусок курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, рассуждает так: «Он в пыли, стало, пришел *издалека*; он спросил курицы, стало, у него есть *деньги*; руки у него белые, стало, он *аристократ».* Поставив курицу в печь, она идет в другой кабак; там заседают патриоты: какой-нибудь гражданин — Муций Сцевола, ликворист[619] и гражданин — Брут, Тимолеон — портной. Тем того и надобно, и через десять минут один из умнейших деятелей французской революции — в тюрьме и выдан полиции свободы, равенства и братства!

Наполеон, имевший в высшей степени полицейский талант, сделал из своих генералов лазутчиков и доносчиков; палач Лиона Фуше основал целую теорию, систему, науку шпионства — через префектов, помимо префектов — через развратных женщин и беспорочных лавочниц, через слуг и кучеров, через лекарей и парикмахеров. Наполеон пал, но оружие осталось, и не только оружие, но и оруженосец: Фуше перешел к Бурбонам; сила шпионства ничего не потеряла, напротив, увеличилась монахами, попами.

---

[619] Сноски: 619
ликерщик (*фр*. liqueur).

При Людовике-Филиппе, при котором подкуп и нажива сделались одной из нравственных сил правительства, половина мещанства сделалась его лазутчиками, полицейским хором, к чему особенно способствовала их служба, сама по себе полицейская, в Национальной гвардии.

Во время Февральской республики образовались три или четыре действительно тайные полиции и несколько явно тайных. Была полиция Ледрю-Роллена и полиция Косидьера, была полиция Марраста и полиция Временного правительства, была полиция порядка и полиция беспорядка, полиция Бонапарта и орлеанская полиция. Все подсматривали, следили друг за другом и доносили; положим, что доносы делались с убеждением, с наилучшими целями, безденежно, но все же это были доносы… Эта пагубная привычка, встретившись, с одной стороны, с печальными неудачами, а с другой — с болезненной, необузданной жаждой денег и наслаждений, растлила целое поколение.

Не надобно забывать и то нравственное равнодушие, ту шаткость мнений, которые остались осадком от перемежающихся революций и реставраций. Люди привыкли считать сегодня то за героизм и добродетель, за что завтра посылают

в каторжную работу; лавровый венок и клеймо палача менялись несколько раз на одной и той же голове. Когда к этому привыкли, нация шпионов была готова.

Все последние открытия тайных обществ, заговоров, все доносы на выходцев сделаны фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, *сближавшимися* с целью предательства.

Везде бывали примеры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губят друзей, открывают тайны, — так, слабодушный товарищ погубил Конарского. Но ни у нас, ни в Австрии нет этого легиона молодых людей, образованных, говорящих *нашим* языком, произносящих вдохновенные речи в клубах, пишущих революционные статейки и служащих шпионами…

К тому же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтоб пользоваться доносчиками всех партий. Оно представляет революцию и реакцию, войну и мир, 89 год и католицизм, падение Бурбонов и 4½ %. Ему служит и Фаллу-иезуит, и Бильо-социалист, и Ларошжакелин-легитимист, и бездна людей, облагодетельствованных Людовиком-Филиппом. Растленное всех партий и оттенков естественно стекает и бродит в тю-

льерийском дворце.

Глава XL

Европейский комитет. – Русский генеральный консул в Ницце. – Письмо к А. Ф. Орлову. – Преследование ребенка. – Фогты. – Перечисление из надворных советников в тягловые крестьяне. – Прием в Шателе.

(1850–1851)

С год после нашего приезда в Ниццу из Парижа я писал: «Напрасно радовался я моему тихому удалению, напрасно чертил у дверей моих пентаграмм: я не нашел ни желанного мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищают от нечистых духов – от нечистых людей не спасет никакой многоугольник, разве только квадрат селлюлярной тюрьмы.

Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станцией 1848 года и станцией 1852 – нового ничего, разве какое личное несчастие доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется».

«Письма из Франции и Италии»
(1 июня 1851)

Действительно, перебирая то время, становится больно, как бывает при воспоминании похорон, мучительных болезней, операций. Не касаясь еще здесь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темные тучи, довольно было общих происшествий и газетных новостей, чтоб бежать куда-нибудь в степь. Франция неслась с быстротой падающей звезды к 2 декабря. Германия лежала у ног Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрия. Полицейские кондотьеры съезжались на свои вселенские соборы и тайно совещались об общих мерах международного шпионства. Революционеры продолжали пустую агитацию. Люди, стоявшие во главе движения, обманутые в своих надеждах, теряли голову. Кошут возвращался из Америки, утратив долю своей народности, Маццини

заводил в Лондоне с Ледрю-Ролленом и Руге *центральный европейский комитет*... а реакция свирепела больше и больше.

После нашей встречи в Женеве, потом в Лозанне, я виделся с Мацини в Париже в 1850 году. Он был во Франции тайно, остановился в каком-то аристократическом доме и присылал за мной одного из своих приближенных. Тут он говорил мне о проекте международной юнты[620] в Лондоне и спрашивал, желал ли бы я участвовать в ней *как русский*; я отклонил разговор. Год спустя, в Ницце, явился ко мне Орсини, отдал программу, разные прокламации европейского центрального комитета и письмо от Мацини с новым предложением. Участвовать в комитете я и не думал: какой же элемент русской жизни я мог представить тогда, совершенно отрезанный от всего русского? Но это не была единственная причина, по которой европейский комитет мне был не по душе. Мне казалось, что в основе его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движения*, которую комитет пред-

---

[620] Сноски: 620
хунты, союза (*исп.* junta).

ставлял, т. е. восстановление угнетенных национальностей, не была так сильна в 1851 году, чтоб иметь *явно* свою юнту. Существование такого комитета доказывало только терпимость английского законодательства и отчасти то, что министерство не верило в его силу, иначе оно прихлопнуло бы его или alien-биллем[621], или предложением приостановить habeas corpus.

Европейский комитет, напугавший все правительства, ничего не делал, не догадываясь об этом. Самые серьезные люди ужасно легко увлекаются формализмом и уверяют себя, что они делают *что-нибудь*, имея периодические собрания, кипы бумаг, протоколы, совещания, подавая голоса, принимая решения, печатая прокламации, professions de foi[622] и проч. Революционная бюрократия точно так же распускает дела в слова и формы, как наша канцелярская. В Англии пропасть разных ассоциаций, имеющих торжественные собрания, на которые являются герцоги

[621] Сноски: 621
законом об иностранцах (*англ.*).

[622] Сноски: 622
исповедания веры (*фр.*).

и лорды, клержимены[623] и секретари. Казначеи собирают деньги, литераторы пишут статьи, и все вместе решительно ничего не делают. Собрания эти, большей частию филантропические и религиозные, с одной стороны, служат развлечением, а с другой — примиряют христианскую совесть людей, преданных светским интересам. Но такого кроткого и мирного характера не мог представлять в Лондоне революционный сенат en permanence[624]. Это был гласный заговор, заговор с открытыми дверями, т. е. невозможный.

Заговор должен быть тайной. Время *тайных обществ* миновало только в Англии и Америке. Везде, где есть меньшинство, предварившее понимание масс и желающее осуществить ими понятую идею, если нет ни свободы речи, ни права собрания, — будут составляться тайные общества. Я говорю об этом совершенно объективно; после юношеских попыток, окончившихся моей ссылкой в 1835 году, я не участвовал *никогда ни в каком тайном обществе*, но совсем не потому, что я считаю расточение сил на индивидуальные попытки за лучшее. Я не участвовал потому,

---

[623] Сноски: 623
священнослужители (*англ.* clergyman).

[624] Сноски: 624
непрерывно заседающий (*фр.*).

что мне не случилось встретить общества, которое соответствовало бы моим стремлениям, в котором я мог бы что-нибудь делать. Если б я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеется, я бросился бы в него с головою.

Другая ошибка или другое несчастие комитета состояло в отсутствии единства. Это собрание в один фокус разнородных стремлений могло только в действительном единстве развить составную силу. Если б каждый, входя в комитет, вносил только свою исключительную национальность, это не мешало бы еще: у них было бы единство ненависти к одному главному врагу — к Священному союзу. Но воззрения их, согласные в двух отрицательных принципах, в отрицании царской власти и социализма, в остальном были различны; для их единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляют одностороннюю силу каждого, подвязывая именно те струны для общего аккорда, которые звучат всего резче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонию.

Прочитав бумаги, которые привез Орсини, я написал к Маццини следующее письмо:

«Ницца, 13 сентября 1850.

Любезный Маццини! Я вас уважаю искренно

и потому не боюсь откровенно высказать вам мое мнение. Во всяком случае, вы меня выслушаете терпеливо и снисходительно.

Вы чуть ли не один из главных *политических* деятелей последнего времени, имя которого осталось окружено сочувствием и уважением. Можно не соглашаться с вами в мнениях, в образе действия, но не уважать вас нельзя. Ваше прошедшее, Рим 1848 и 1849 годов, обязывают вас гордо нести великое вдовство до тех пор, пока события снова позовут предупредившего их бойца. Потому-то мне и больно видеть имя ваше вместе с именами людей неспособных, испортивших все дело, — с именами, которые нам только напоминают бедствия, обрушенные ими на нас.

Какая тут может быть организация? — Это одно смешение.

Ни вам, ни истории эти люди не нужны; все, что для них можно сделать, — это отпустить им их прегрешения. Вы их хотите покрыть вашим именем, вы хотите разделить с ними ваше влияние, ваше прошедшее; они разделят с вами свою непопулярность, свое прошедшее.

Что *нового* в прокламациях, что в “Proscrit”? где следы грозных уроков после 24 февраля? Это продолжение прежнего либерализма, а не начало

новой свободы — это эпилог, а не пролог. Почему нет в Лондоне той организации, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основании неопределенных стремлений, а только на глубокой и общей мысли. Но где же она?

Первая публикация, делаемая при таких условиях, как присланная вами прокламация, должна была быть исполнена искренности; ну, а кто же может прочесть без улыбки имя Арнольда Руге под прокламацией, говорящей во имя божественного провидения? Руге проповедовал с 1838 года философский атеизм, для него (если голова его устроена логически) идея провидения должна представлять в зародыше все реакции. Это уступка, дипломация, политика, оружие наших врагов. К тому же все это не нужно. Богословская часть прокламации — чистая роскошь, она ничего не прибавляет ни к разумению, ни к популярности. Народ имеет положительную религию и церковь. Деизм — религия рационалистов, представительная система, приложенная к вере, религия, окруженная атеистическими учреждениями.

Я, с своей стороны, проповедую полный разрыв с неполными революционерами: от них на двести шагов веет реакцией. Нагрузив себе на плечи

тысячи ошибок, они их до сих пор оправдывают; лучшее доказательство, что они их повторят.

В “Nouveau Mond” тот же vacuum horrendum[625], — печальное пережевывание пищи, вместе зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.

Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтоб отклонять от дела. Нет, я не сижу сложа руки. У меня еще слишком много крови в жилах и энергии в характере, чтоб удовлетвориться ролью страдательного зрителя. С тринадцати лет я служил одной идее и был под одним знаменем — войны против всякой втесняемой власти, против всякой неволи во имя безусловной независимости лица. Мне хотелось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну — настоящим казаком… auf eigene Faust[626], как говорят немцы, при большой революционной армии, не вступая в правильные кадры ее, пока они совсем не преобразуются.

В ожидании этого — я пишу. Может, это ожидание продолжится долго, не от меня зависит изменение капризного людского развития;

---

[625] Сноски: 625
ужасающая пустота (*лат.*).

[626] Сноски: 626
на свой собственный риск (*нем.*).

но говорить, обращать, убеждать зависит от меня — и я это делаю от всей души и от всего помышления.

Простите мне, любезный Мацини, и откровенность и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человеком, преданным вашему делу, — но тоже преданным и своим убеждениям».

На это письмо Мацини отвечал несколькими дружескими строками, в которых, не касаясь сущности, говорил о необходимости соединения всех сил в одно единое действие, грустил о разномыслии их и пр.

В ту же осень, в которую меня вспомнил Мацини и европейский комитет, вспомнил меня, наконец, и противуевропейский комитет Николая Павловича.

Одним утром горничная наша, с несколько озабоченным видом, сказала мне, что русский консул внизу и спрашивает, могу ли я его принять. Я до того уже считал покончеными мои отношения с русским правительством, что сам удивился такой чести и не мог догадаться, что ему от меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура *второго* порядка.

— Я имею вам сделать сообщение.

— Несмотря на то, — отвечал я, — что я не знаю вовсе, какого рода, я почти уверен, что оно будет неприятное. Прошу садиться.

Консул покраснел, несколько смешался, потом сел на диван, вынул из кармана бумагу, развернул и, прочитавши: «Генерал-адъютант граф Орлов сообщил графу Нессельроде, что его им…» — снова встал.

Тут, по счастью, я вспомнил, что в Париже, в нашем посольстве, объявляя Сазонову приказ государя возвратиться в Россию, секретарь встал, и Сазонов, ничего не подозревая, тоже встал, а секретарь это делал из глубокого чувства долга, требующего, чтоб верноподданный держал спину на ногах и несколько согбенную голову, внимая монаршую волю. А потому, по мере того как консул вставал, я глубже и покойнее усаживался в креслах и, желая, чтоб он это заметил, сказал ему, кивая головой:

— Сделайте одолжение, я слушаю.

— «…ператорское величество, — продолжал он, снова садясь, — изволили приказать, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему объявить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его отъезд, и не

давая ему ни в каком случае отсрочки».

Он замолчал. Я продолжал не говорить ни слова.

— Что же мне отвечать? — спросил он, складывая бумагу.

— Что я не поеду.

— Как не поедете?

— Так-таки, просто не поеду.

— Вы обдумали ли, что такой шаг…

— Обдумал.

— Да как же это… Позвольте, что же я напишу? по какой причине?..

— Вам не велено принимать никаких причин.

— Как же я скажу, ведь это — ослушание воли его императорского величества?

— Так и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмелюсь написать это, — и он еще больше покраснел. — Право, лучше было бы вам изменить ваше решение, пока все это еще *келейно.* (Консул, верно, думал, что III отделение — монастырь.)

Как я ни человеколюбив, но для облегчения переписки генерального консула в Ницце не хотел ехать в петропавловские кельи отца Леонтия или в Нерчинск, не имея даже в виду Евпатории в легких Николая Павловича.

— Неужели, — сказал я ему, — когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поеду? Забудьте, что вы консул, и рассудите сами. Именье мое секвестровано, капитал моей матери был задержан, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я после этого ехать, не сойдя с ума?

Он мялся, постоянно краснел и, наконец, попал на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, — сказал он, — вступать... я понимаю затруднительное положение, с другой стороны — милосердие! — Я посмотрел на него, он опять покраснел. — Сверх того, зачем же вам отрезывать себе все пути? Вы напишите мне, что вы очень больны, я отошлю к графу.

— Это уж слишком старо, да и на что же без нужды говорить неправду.

— Ну, так уж потрудитесь написать мне письменный ответ.

— Пожалуй. Вы мне не оставите ли копии с бумаги, которую читали?

— У нас этого не делается.

— Жаль. Я собираю коллекцию.

Как ни был прост мой письменный ответ, консул все же перепугался: ему казалось, что его переведут за него, не знаю, куда-нибудь в Бейрут

или в Триполи; он решительно объявил мне, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмелится. Как я его ни убеждал, что на него не может пасть никакой ответственности, он не соглашался и просил меня написать другое письмо.

— Это невозможно, — возразил я ему, — я не шучу этим шагом и вздорных причин писать не стану; вот вам письмо и делайте с ним что хотите.

— Позвольте, — говорил самый кроткий консул из всех, бывших после Юния Брута и Калпурния Бестии, — вы письмо это напишите не ко мне, а к графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дело не трудное: стоит поставить «M. le comte»[627] вместо «M. le consul»[628]; на это я согласен.

Переписывая мое письмо, мне пришло в голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. По-русски кантонист какой-нибудь в его канцелярии или в канцелярии III отделения может его прочесть, его могут послать в сенат, и молодой обер-секретарь покажет его писцам; зачем же их лишать этого удовольствия? А потому я перевел

---

[627] Сноски: 627
«Граф» (*фр.*).

[628] Сноски: 628
«Господин консул» (*фр.*).

письмо. Вот оно:

«М. Г.

Граф Алексей Федорович!

Императорский консул в Ницце сообщил мне высочайшую волю о моем возвращении в Россию. При всем желании, я нахожусь в невозможности исполнить ее, не приведя в ясность моего положения.

Прежде всякого вызова, более года тому назад, положено было запрещение на мое именье, отобраны деловые бумаги, находившиеся в частных руках, наконец, захвачены деньги, 10 000 фр., высланные мне из Москвы. Такие строгие и чрезвычайные меры против меня показывают, что я не только в чем-то обвиняем, но что, прежде всякого вопроса, всякого суда, признан виновным и наказан — лишением части моих средств.

Я не могу надеяться, чтоб одно возвращение мое могло меня спасти от печальных последствий политического процесса. Мне легко объяснить каждое из моих действий, но в процессах этого рода судят мнения, теории, на них основывают приговоры. Могу ли я, должен ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу…

В. с. оцените простоту и откровенность моего ответа и повергнете на высочайшее рассмотрение причины, заставляющие меня остаться в чужих краях, несмотря на мое искреннее и глубокое желание возвратиться на родину.

Ницца, 23 сентября 1850».

Я действительно не знаю, возможно ли было скромнее и проще отвечать; но у нас так велика привычка к рабскому молчанию, что и это письмо консул в Ницце счел чудовищно дерзким, да, вероятно, и сам Орлов также.

Молчать, не смеяться, да и не плакать, а отвечать по данной форме, без похвалы и осуждения, без веселья, да и без печали, — это идеал, до которого деспотизм хочет довести подданных и довел солдат; но какими средствами? А вот я вам расскажу.

Николай раз на смотру, увидав молодца фланговой солдата с крестом, спросил его: «Где получил крест?» По несчастью, солдат этот был из каких-то исшалившихся семинаристов и, желая воспользоваться таким случаем, чтоб блеснуть красноречием, отвечал: «Под победоносными орлами вашего величества». Николай сурово взглянул на него, на генерала, надулся и прошел. А генерал, шедший за ним, когда поравнялся

с солдатом, бледный от бешенства, поднял кулак к его лицу и сказал: «В гроб заколочу Демосфена!»

Мудрено ли, что красноречие не цветет при таких поощрениях!

Отделавшись от императора и консула, мне захотелось выйти из категории беспаспортных.

Будущее было темно, печально… Я мог умереть, и мысль, что тот же краснеющий консул явится распоряжаться в доме, захватит бумаги, заставляла меня думать о получении где-нибудь прав гражданства. Само собою разумеется, что я выбрал Швейцарию, несмотря на то, что именно около этого времени в Швейцарии сделали мне полицейскую шалость.

С год после рождения моего второго сына мы с ужасом заметили, что он совершенно глух. Разные консультации и опыты скоро доказали, что возбудить слух было невозможно. Но тут явился вопрос: следовало ли его оставить, как это всегда делают, немым? Школы, которые я видел в Москве, далеко не удовлетворяли меня. Разговор пальцами и знаками не есть разговор, говорить надобно ртом и губами. По книгам я знал, что в Германии и в Швейцарии делали опыты учить глухонемых говорить, как мы говорим,

и слушать, смотря на губы. В Берлине я видел в первый раз оральное[629] преподавание глухонемым и слышал, как они декламировали стихи. Это огромный шаг вперед от методы аббата Лепе. В Цюрихе это учение доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, решилась поселиться с ним на несколько лет в Цюрихе, чтобы посылать его в школу.

Ребенок этот был одарен необыкновенными способностями: вечная тишина вокруг него, сосредоточивая его живой, порывистый характер, славно помогала его развитию и вместе с тем изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горели умом и вниманием; пяти лет он умел дразнить намеренно карикатурно всех приходивших к нам, с таким комическим тактом, что нельзя было не смеяться.

В полгода он сделал в школе большие успехи. Его голос был voilé[630], он мало обозначал ударения, но уже говорил очень порядочно по-немецки и понимал все, что ему говорили с расстановкой; все шло как нельзя лучше. Проезжая через Цю-

---

[629] Сноски: 629
Здесь: по губам (*фр.* oral).

[630] Сноски: 630
приглушенный (*фр.*).

рих, я благодарил директора и совет, делал им разные любезности, они — мне.

Но после моего отъезда старейшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русский граф, а русский эмигрант и к тому же приятель с радикальной партией, которую они терпеть не могли, да еще и с социалистами, которых они ненавидели, и, что хуже всего этого вместе, что я человек нерелигиозный и открыто признаюсь в этом. Последнее они вычитали в ужасной книжке «Vom andern Ufer», вышедшей как на смех у них под носом, из лучшей цюрихской типографии. Узнав это, им стало совестно, что они дают воспитание сыну человека, не верящего ни по Лютеру, ни по Лойоле, и они принялись искать средств, чтоб сбыть его с рук. Так как провидение в этом вопросе было заинтересовано, то оно им тотчас и указало путь. Городская полиция вдруг потребовала *паспорт ребенка; я* отвечал из Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля действительно — мой сын, что он означен на моем паспорте, но что особого вида я не могу взять из русского посольства, находясь с ним не в самых лучших сношениях. Полиция не удовлетворилась и грозила выслать ребенка из школы и из города. Я рассказал это в Париже, кто-то

из моих знакомых напечатал об этом в «Насионале». Устыдившись гласности, полиция сказала, что она не требует высылки, а только какую-то ничтожную сумму денег в обеспечение (caution), что ребенок не кто-нибудь другой, а он сам. Какое же обеспечение — несколько сот франков? А с другой стороны, если б у моей матери и у меня не было их, так ребенка выслали бы (я спрашивал их об этом через «Насиональ»)? И это могло быть в XIX столетии, в свободной Швейцарии! После случившегося мне было противно оставлять ребенка в этой ослиной пещере.

Но что же было делать? Лучший учитель в заведении, молодой человек, отдавшийся с увлечением педагогии глухонемых, человек с основательным университетским образованием, по счастию, не делил мнений полицейского синхедриона и был большой почитатель именно той книги, за которую рассвирепели благочестивые квартальные Цюрихского кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти в дом моей матери, с тем чтобы ехать с ней в Италию. Он, разумеется, согласился. Институт взбесился, но делать было нечего. Мать моя с Колей и Шпильманом отправилась в Ниццу. Перед отъездом она послала за своим залогом; ей его

не выдали, под предлогом, что Коля еще в Швейцарии. Я написал из Ниццы. Цюрихская полиция потребовала сведений, имеет ли Коля законное право жить в Пиэмонте.

Это было уже слишком, и я написал следующее письмо к президенту Цюрихского кантона:

«Г. Президент!

В 1849 году я поместил моего сына, пяти лет от роду, в цюрихский институт глухонемых. Через несколько месяцев цюрихская полиция потребовала у моей матери его паспорт. Так как у нас не спрашивают ни у новорожденных, ни у детей, ходящих в школу, паспортов, то сын мой и не имел отдельного вида, а был помещен на моем. Это объяснение не удовлетворило цюрихскую полицию. Она потребовала залог. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшего на себя столько опасливого подозрения со стороны цюрихской полиции, вышлют, внесла его.

В августе 1850 года, желая оставить Швейцарию, моя мать потребовала залог, но цюрихская полиция его не отдала; она хотела прежде узнать о действительном отъезде ребенка из кантона. Приехав в Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, причем она приложила свидетельство о том, что мы, и, глав-

ное, шестилетний и подозрительный сын мой, находимся в Ницце, а не в Цюрихе. Цюрихская полиция, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидетельства, в котором здешняя полиция должна была засвидетельствовать, что сыну моему “официально позволяется жить в Пиэмонте” (que l’enfant est officiellement toléré). Г-н Шултгес сообщил это г. Авигдору.

Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиции, я отказался от предложения г. Авигдора послать новое свидетельство, которое он очень любезно предложил мне сам взять. Я не хотел доставить этого удовольствия цюрихской полиции, потому что она, при всей важности своего положения, все же не имеет права ставить себя полицией международной, и потому еще, что требование ее не только обидно для меня, но и для Пиэмонта.

Сардинское правительство, господин Президент, — правительство образованное и свободное. Как же возможно, чтоб оно не дозволило жить (ne tolérât pas) в Пиэмонте больному ребенку шести лет? Я действительно не знаю, как мне считать этот запрос цюрихской полиции — за странную шутку или за следствие пристрастия к залогам вообще.

Представляя на ваше рассмотрение, г. Президент, это дело, я буду вас просить, как особенного одолжения, в случае нового отказа, объяснить мне это происшествие, которое слишком любопытно и интересно, чтоб я считал себя вправе скрыть его от общего сведения.

Я снова писал к г. Шултгесу о получении денег и могу вас смело уверить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенок не имеем ни малейшего желания, после всех полицейских неприятностей, возвращаться в Цюрих. С этой стороны нет ни тени опасности.

Ницца, 9 сентября 1850».

Само собою разумеется, что после этого полиция города Цюриха, несмотря на вселенские притязания, выплатила залог…

…Кроме швейцарской натурализации, я не принял бы в Европе никакой, ни даже английской: поступить добровольно в подданство чье бы то ни было было мне противно. Не скверного барина на хорошего хотел переменить я, а выйти из крепостного состояния в свободные хлебопашцы. Для этого предстояли две страны: Америка и Швейцария.

Америка — я ее очень уважаю; верю, что она призвана к великому будущему, знаю, что она

теперь вдвое ближе к Европе, чем была, но американская жизнь мне антипатична. Весьма вероятно, что из угловатых, грубых, сухих элементов ее сложится иной быт. Америка не приняла оседлости, она недостроена, в ней работники и мастеровые в будничном платье таскают бревна, таскают каменья, пилят, рубят, приколачивают… зачем же постороннему обживать ее сырое здание?

Сверх того, Америка, как сказал Гарибальди, — «страна забвения родины»; пусть же в нее едут те, которые не имеют веры в свое отечество: они должны ехать с своих кладбищ; совсем напротив, по мере того как я утрачивал все надежды на романо-германскую Европу, вера в Россию снова возрождалась — но думать о возвращении при Николае было бы безумием.

Итак, оставалось вступить в союз с свободными людьми Гельветической конфедерации.

Фази, еще в 1849 году, обещал меня натурализировать в Женеве, но все оттягивал дело; может, ему просто не хотелось прибавить мною число социалистов в своем кантоне. Мне это надоело, приходилось переживать черное время, последние стены покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до беды… Карл Фогт пред-

ложил мне списаться о моей натурализации с Ю. Шаллером, который был тогда президентом Фрибургского кантона и главою тамошней радикальной партии.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о нем самом.

В однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встречаются иногда, как бы на выкуп ей, здоровые, коренастые семьи, исполненные силы, упорства, талантов. Одно поколение даровитых людей сменяется другим, многочисленнейшим, сохраняя из рода в род дюжесть ума и тела. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры дом в узком, темном переулке, трудно представить себе, сколько в продолжение ста лет сошло по стоптанным каменным ступенькам его лестницы молодых парней с котомкой за плечами, с всевозможными сувенирами из волос и сорванных цветов в котомке, благославляемых на путь слезами матери и сестер… и пошли в мир, оставленные на одни свои силы, и сделались известными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домик, крытый черепицей, в их отсутствие опять наполнялся новым поколением студентов, рвущихся грудью вперед в неизвест-

ную будущность.

За неимением другого, тут есть наследство примера, наследство фибрина. Каждый начинает сам и знает, что придет время и его выпроводит старушка бабушка по стоптанной каменной лестнице, — бабушка, принявшая своими руками в жизнь три поколения, мывшая их в маленькой ванне и отпускавшая их с полною надеждой; он знает, что гордая старушка уверена и в нем, уверена, что и из него выйдет что-нибудь… и выйдет непременно!

Dann und wann[631], через много лет, все это рассеянное население побывает в старом домике, все эти состарившиеся оригиналы портретов, висящих в маленькой гостиной, где они представлены в студенческих беретах, завернутые в плащи, с рембрандтовским притязанием со стороны живописца, — в доме тогда становится суетливее, два поколения знакомятся, сближаются… и потом опять все идет на труд. Разумеется, что при этом кто-нибудь непременно в кого-нибудь хронически влюблен, разумеется, что дело не обходится без сентиментальности, слез, сюрпризов и сладких пирожков с вареньем, но все

[631] Сноски: 631
От времени до времени (*нем.*).

это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзией с мышцами и силой, которую я редко встречал в выродившихся, рахитических детях аристократии и еще менее у мещанства, строго соразмеряющего число детей с приходо-расходной книгой.

Вот к этим-то благословенным семьям древнегерманским принадлежит родительский дом Фогта.

Отец Фогта — чрезвычайно даровитый профессор медицины в Берне; мать — из рода Фолленов, из этой эксцентрической, некогда наделавшей большого шума швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами *юной* Германии в эпоху тугендбундов[632] и буршеншафтов[633], Карла Занда и политического Schwärmerei[634] 17 и 18 годов. Один Фоллен был брошен в тюрьму за Вартбургский праздник в память Лютера: он произнес действительно зажигательную речь, вслед за которою сжег на костре иезуитские и реакционные книги, всякие символы само-

---

[632] Сноски: 632
союзов добродетели (*нем.* Tugendbund).

[633] Сноски: 633
студенческих союзов (*нем.* Burschenschaft).

[634] Сноски: 634
мечтательства (*нем.*).

державия и папской власти. Студенты мечтали сделать его императором единой и нераздельной Германии. Его внук, Карл Фогт, в самом деле был одним *из викариев империи* в 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь в жилах сына бернского профессора, внука Фолленов. А ведь, au bout du compte[635], все зависит от химического соединения да от качества элементов. Не Карл Фогт станет со мной спорить об этом.

В 1851 году я был проездом в Берне. Прямо из почтовой кареты я отправился к Фогтову отцу с письмом сына. Он был в университете. Меня встретила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла как друга своего сына и тотчас повела показывать его портрет. Мужа она не ждала ранее 6 часов; мне его очень хотелось видеть, я возвратился, но он уже уехал на какую-то консультацию к больному. Второй раз старушка встретила меня уже как старого знакомого и повела в столовую, желая, чтоб я выпил рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большим круглым столом, неподвижно прикрепленным к полу; об этом столе я уже давно слышал от Фог-

---

[635] Сноски: 635
в конечном счете (*фр.*).

та и потому очень рад был лично познакомиться с ним. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофей, вино и все нужное для еды, тарелки, горчицу, соль, так что, не беспокоя никого и без прислуги, каждый привертывал к себе, что хотел, — ветчину или варенье. Только не надобно было задумываться или много говорить, а то вместо горчицы можно было попасть ложкой в сахар… если кто-нибудь повертывал диск. В этом населении братьев и сестер, коротких знакомых и родных, где все были заняты розно, срочно, общий обед вечером было трудно устроить. Кто приходил и кому хотелось есть, тот садился за стол, вертел его направо, вертел его налево и управлялся как нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у них я не мог: ко мне вечером хотели приехать Фази и Шаллер, бывшие тогда в Берне; я обещал, если пробуду еще полдня, зайти к Фогтам и, пригласивши меньшего брата, юриста, к себе ужинать, пошел домой. Звать старика так поздно и после такого дня я не счел возможным. Но около двенадцати часов гарсон, почтительно отворяя двери перед кем-то, возвестил нам:

Der Herr Professor Vogt[636], — я встал из-за стола и пошел к нему навстречу.

Вошел старик довольно высокого роста, с умным, выразительным лицом, превосходно сохранившийся.

— Ваше посещение, — сказал я ему, — мне вдвойне дорого, я не смел вас звать так поздно, после ваших трудов.

— А я не хотел вас пропустить через Берн, не увидавшись с вами. Услышав, что вы были у нас два раза и что вы пригласили Густава, я пригласил сам себя. Очень, очень рад, что вижу вас, то, что Карл о вас пишет, да и без комплиментов, я хотел познакомиться с автором «С того берега».

— Душевно благодарю вас; вот место, садитесь с нами, у нас ужин во всем разгаре, что вам угодно?

— Я не буду есть, но рюмку вина выпью с удовольствием.

В его виде, словах, движениях было столько непринужденности, вместе — не с тем добродушием, которое имеют люди вялые, пресные и чувствительные, а именно с добродушием людей сильных и уверенных в себе. Его появление

---

[636] Сноски: 636
господин профессор Фогт (*нем.*).

нисколько не стеснило нас, напротив, все пошло живее.

Разговор переходил от предмета к предмету, везде, во всем он был дома, умен, éveillé[637], оригинален. Речь зашла как-то о федеральном концерте, который давался утром в бернском соборе и на котором были все, кроме Фогта. Концерт был гигантский, со всей Швейцарии съехались музыканты, певцы и певицы для участия в нем. Музыка, разумеется, была духовная. С талантом и пониманием исполнили они знаменитое творение Гайдена. Публика была внимательна, но холодна, она шла из собора, как идут от обедни; не знаю, насколько было благочестия, но увлечения не было. Я то же испытал на самом себе. В припадке откровенности я сказал это знакомым, с которыми выходил; по несчастию, это были правоверные, ученые, горячие музыканты; они напали на меня, объявили меня профаном, не умеющим слушать музыку глубокую, серьезную. «Вам только нравятся мазурки Шопена», — говорили они. В этом еще нет беды, думал я, но, считая себя все же несостоятельным судьей, замолчал.

---

[637] Сноски: 637
смышлен (*фр.*).

Надобно иметь много храбрости, чтоб признаваться в таких впечатлениях, которые противоречат общепринятому предрассудку или мнению. Я долго не решался при посторонних сказать, что «Освобожденный Иерусалим» скучен, что «Новую Элоизу» я не мог дочитать до конца, что «Герман и Доротея» — произведение мастерское, но утомляющее до противности. Я сказал что-то в этом роде Фогту, рассказывая ему мое замечание о концерте.

— А что, — спросил он, — Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, без всяких границ.

— Я знал это, потому что я вполне вам сочувствую. Как же это возможно, чтоб живой, современный человек мог себя так искусственно натянуть на религиозное настроение, чтоб наслаждение его было естественно и полно? Для нас так же нет пиетистической музыки, как нет духовной литературы, — она для нас имеет смысл исторический. У Моцарта, напротив, звучит нам знакомая жизнь, он поет от избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда «Don Giovanni», когда «Nozze di Figaro»[638] были новостию, что это был за восторг, что

[638] Сноски: 638
«Дон Жуан»… «Свадьба Фигаро» (*ит.*).

за откровение нового источника наслаждений! Моцартова музыка сделала эпоху, переворот в умах, как Гётев «Фауст», как 1789 год. Мы видели в его произведениях, как светская мысль XVIII столетия с своей секуляризацией жизни вторгалась в музыку; с Моцартом революция и новый век вошли в искусство. Ну, как же нам после «Фауста» читать Клопштока и без веры слушать эти литургии в музыке?..

Долго и необыкновенно занимательно говорил старик, он одушевился; я налил еще раза два вина в его бокал, он не отказывался и не торопился пить. Наконец, он посмотрел на часы.

— Ба! уж два часа, прощайте, мне в девять надобно быть у больного.

Я с истинной дружбой проводил его.

Два года спустя он доказал, как много энергии в его седой голове и как его теории — *правда,* т. е. как они близки к практике. Венский рефюжье, доктор Кудлих, посватался за одну из дочерей Фогта; отец был согласен, но вдруг протестантская консистория потребовала метрические свидетельства жениха. Разумеется, ему, как изгнаннику, ничего нельзя было достать из Австрии, и он представил приговор, по которому был осужден заочно; одного свидетельства Фогта и его доз-

воления было бы достаточно для консистории, но бернские пиетисты, по инстинкту ненавидевшие Фогта и всех изгнанников, уперлись. Тогда Фогт собрал всех своих друзей, профессоров и разные бернские знаменитости, рассказал им дело, потом позвал свою дочь и Кудлиха, взял их руки, соединил и сказал присутствовавшим:

— Вас, друзья, беру в свидетели, что я как отец благословляю этот брак и отдаю мою дочь, по ее желанию, за такого-то.

Поступок этот ошеломил пиетистическое общество в Швейцарии; оно с негодованием и ужасом взглянуло на этот антецедент, сделанный не горячим юношей, не бездомным изгнанником, а старцем безукоризненным и уважаемым всеми.

Теперь от отца перейдемте к его старшему сыну.

Я с ним познакомился в 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы в два года нашей жизни в Ницце. Это не только светлый ум, но и самый светлый нрав из всех виденных мною. Я счел бы его за очень счастливого человека, если б знал, что он недолго проживет; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сих пор, донимая только одними мигренями. Его нату-

ра — реальная, живая, всему раскрытая — имеет многое, чтоб наслаждаться, все, чтоб никогда не скучать, и почти ничего, чтобы мучиться внутренне, разъедать себя недовольной мыслию, страдать теоретически сомнением и практически тоской по несбывшимся мечтам. Страстный поклонник красот природы, неутомимый работник в науке, он все делал необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художник в своем деле, он им наслаждался; радикал по темпераменту, реалист по организации и гуманный человек по ясному и добродушно-ироническому взгляду, он жил именно в той жизненной среде, к которой единственно идут дантовские слова: «Qui è l'uomo felice»[639].

Он прожил жизнь деятельно и беззаботно, нигде не отставая, везде в первом ряду; не боясь горьких истин, он так же пристально всматривался в людей, как в полипы и медузы, ничего не требуя ни от тех, ни от других, кроме того, что они могут дать. Он не поверхностно изучал, но не чувствовал потребности переходить известную глубину, за которой и оканчивается все светлое и которая, в сущности, представляет своего рода

---

[639] Сноски: 639
«Здесь человек счастлив» (*ит.*).

выход из действительности. Его не манило в те нервные омуты, в которых люди упиваются страданиями. Простое и ясное отношение к жизни исключало из его здорового взгляда ту поэзию печальных восторгов и болезненного юмора, которую мы любим, как все потрясающее и едкое. Его ирония, как я заметил, была добродушна, его насмешка весела; он смеялся первый и от души своим шуткам, которыми отравлял чернила и пиво педантов-профессоров и своих товарищей по парламенту in der Paul's Kirche[640].

В этом жизненном реализме было то общее, симпатическое, что нас связывало, хотя жизнь и развитие наше были так розны, что мы во многом расходились.

Во мне не было и не могло быть той спетости и того единства, как у Фогта. Воспитание его шло так же правильно, как мое — бессистемно; ни семейная связь, ни теоретический рост никогда не обрывались у него, он продолжал традицию семьи. Отец стоял возле примером и помощником; глядя на него, он стал заниматься естественными науками. У нас обыкновенно поколение с поколением расчленено; общей,

[640] Сноски: 640
в церкви св. Павла (*нем.*).

нравственной связи у нас нет. Я с ранних лет должен был бороться с воззрением всего окружавшего меня, я делал оппозицию в детской, потому что старшие наши, наши деды были не Фоллены, а помещики и сенаторы. Выходя из нее, я с той же запальчивостью бросился в другой бой, и, только что кончил университетский курс, был уже в тюрьме, потом в ссылке. Наука на этом переломилась, тут представилось иное изучение — изучение мира несчастного с одной стороны, грязного — с другой.

Наскучив этой патологией, я бросился с жадностью на философию, от которой Фогт чувствовал непреодолимое отвращение. Окончив курс медицины и получив диплом доктора, он не решился лечить, говоря, что недостаточно верит в врачебную каббалистику, и снова весь отдался физиологии. Труд его очень скоро обратил на себя внимание не только немецких ученых, но и парижской академии наук. Он уже был профессором сравнительной анатомии в Гиссене, товарищем Либиха (с которым вел потом озлобленную химико-теологическую полемику), когда революционный шквал 1848 года оторвал его от микроскопа и бросил в франкфуртский парламент.

Разумеется, что он стал в самый радикальный ряд, говорил исполненные остроты и отваги речи, выводил из терпения умеренных прогрессистов, а иногда и неумеренного короля прусского. Вовсе не будучи политическим человеком, он по удельному весу сделался одним из «лидеров» оппозиции, и когда эрцгерцог Иоанн, бывший каким-то викарием империи, окончательно сбросил с себя маску добродушия и популярности, заслуженной тем, что он женился когда-то на дочери станционного смотрителя и иногда ходил во фраке, Фогт с четырьмя товарищами были выбраны на его место. Тут дела немецкой революции пошли быстро под гору: правительства достигли цели, выиграли нужное время (по совету Меттерниха) — щадить парламент им было бесполезно. Изгнанный из Франкфурта, парламент мелькнул какой-то тенью в Стутгардте, под печальным названием Nachparlament[641], там его реакция и придушила. Оставалось викариям подобру да поздорову уехать от верной тюрьмы и каторжной работы… Переехав швейцарские горы, Фогт стряхнул с себя пыль франкфуртского собора и, расписавшись в книге путешественников «К.

[641] Сноски: 641
охвостье парламента (*нем.*).

Фогт — викарий Германской империи в бегах», снова принялся с той же невозмутимой ясностью, веселым расположением духа и неутомимым трудолюбием за естественные науки. С целью изучения морских зоофитов он поехал в Ниццу в 1850.

Несмотря на то, что мы шли с разных сторон и разными путями, мы встретились на *трезвом совершеннолетии в науке.*

Был ли я так последователен, как Фогт, и *в жизни*? трезво ли я на нее смотрел? Теперь мне кажется, что нет. Да я не знаю, впрочем, хорошо ли начинать с трезвости; она не только *предупреждает* много бедствий, но и лучшие минуты жизни. Вопрос трудный, который, по счастию, для каждого разрешается не рассуждениями и волей, а организацией и событиями. Теоретически освобожденный, я не то что хранил разные непоследовательные верования, *а они сами остались*; романтизм революции я пережил; мистическое верование в прогресс, в человечество оставалось дольше других теологических догматов; а когда я и их пережил, у меня еще оставалась религия личностей, вера в двух, трех, уверенность в себя, в волю человеческую. Тут были, разумеется, противуречия; внутренние противуречия ведут

к несчастиям, тем более прискорбным, обидным, что у них вперед отнято последнее человеческое утешение — оправдание себя в своих собственных глазах…

В Ницце Фогт принялся с необыкновенной ревностью за дело… Покойные, теплые заливы Средиземного моря представляют богатую колыбель всем frutti di mare[642], вода просто полна ими. Ночью бразды их фосфорного огня тянутся, мерцая, за лодкой, тянутся за веслом, салпы можно брать рукой, всяким сосудом. Стало быть, в материале не было недостатка. С раннего утра сидел Фогт за микроскопом, наблюдал, рисовал, писал, читал и часов в пять бросался, иногда со мной, в море (плавал он, как рыба); потом он приходил к нам обедать и, вечно веселый, был готов на ученый спор и на всякие пустяки, пел за фортепьяно уморительные песни или рассказывал детям сказки с таким мастерством, что они, не вставая, слушали его целые часы.

Фогт обладает огромным талантом преподавания. Он, полушутя, читал у нас несколько лекций физиологии для дам. Все у него выходило так живо, так просто и так пластически выразитель-

---

[642] Сноски: 642
морским съедобным моллюскам (*ит.*).

но, что дальний путь, которым он достиг этой ясности, не был заметен. В этом-то и состоит вся задача педагогии — сделать науку до того понятной и усвоенной, чтоб заставить ее говорить простым, *обыкновенным* языком.

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, т. е. непереваримые. Ученый язык — язык условный, под титлами, язык стенографированный, временный, пригодный ученикам; содержание спрятано в его алгебраических формулах для того, чтоб, раскрывая закон, не повторять сто раз одного и того же. Переходя рядом схоластических приемов, содержание науки обрастает всей этой школьной дрянью, а доктринеры до того привыкают к уродливому языку, что другого не употребляют, им он кажется понятен, — в стары годы им этот язык был даже дорог, как трудовая копейка, как отличие от языка вульгарного. По мере того как мы из учеников переходим к действительному знанию, стропилы и подмостки становятся противны — мы ищем простоты. Кто не заметил, что учащиеся вообще употребляют гораздо больше трудных терминов, чем выучившиеся?

Вторая причина темноты в науке происходит от недобросовестности преподавателей,

старающихся скрыть долю истины, отделаться от опасных вопросов. Наука, имеющая какую-нибудь цель, вместо истинного знания, — не наука. Она должна иметь смелость прямой, открытой речи. В недостатке откровенности, в робких уступках никто не обвинит Фогта. Скорее «нежные души» упрекнут его в том, что он слишком прямо и слишком просто высказывает свою правду, находящуюся в прямом противоречии с общепринятой ложью. Христианское воззрение приучило к дуализму и идеальным образам так сильно, что нас неприятно поражает все естественно здоровое; наш ум, свихнутый веками, гнушается голой красотой, дневным светом и требует сумерек и покрывала.

Читая Фогта, многим обидно, что ему ничего не стоит принимать самые резкие последствия, что ему жертвовать так легко, что он не делает усилий, не мучится, желая примирить теодицею с биологией — ему до первой как будто дела нет.

Действительно, натура Фогта такова, что он никогда иначе не думал и *не мог* иначе думать, в этом-то и состоит его непосредственный реализм. Теологические возражения могли ему представлять только исторический интерес; нелепость дуализма до того ясна его простому

взгляду, что он не может вступать в серьезный спор с ним, так, как его противники — химические богословы и святые отцы физиологии — в свою очередь не могут серьезно опровергать магию или астрологию. Фогт отшучивается от их нападок — а этого, по несчастию, мало.

Вздор, которым ему возражают, — вздор всемирный и поэтому очень важный. Детство человеческого мозга таково, что он не берет простой истины; для сбитых с толку, рассеянных, смутных умов только то и понятно, чего понять нельзя, что невозможно или нелепо.

Тут нечего ссылаться на толпу; литература, образованные круги, судебные места, учебные заведения, правительства и революционеры поддерживают наперерыв родовое безумие человечества. И как семьдесят лет тому назад сухой деист Робеспьер казнил Анахарсиса Клоца, так какие-нибудь Вагнеры отдали бы сегодня Фогта в руки палача.

Бой невозможен: сила с их стороны. Против горсти ученых, натуралистов, медиков, двух-трех мыслителей, поэтов — весь мир, от Пия IX «с незапятнанным зачатием» до Маццини с «республи-

канским iddio»[643]; от московских православных кликуш славянизма до генерал-лейтенанта Радовица, который, умирая, завещал профессору физиологии Вагнеру то, чего еще никому не приходило в голову завещать — *бессмертие души* и ее защиту; от американских заклинателей, вызывающих покойников, до английских полковников-миссионеров, проповедующих верхом перед фронтом слово Божие индийцам. Людям свободным остается одно сознание своей правоты и надежда на будущие поколения…

…А если докажут, что это безумие, эта религиозная мания — единственное условие гражданского общества, что для того, чтоб человек спокойно жил возле человека, надобно обоих свести с ума и запугать, что эта мания — единственная уловка, в силу которой творится история?

Я помню французскую карикатуру, сделанную когда-то против фурьеристов, с их attraction passionnée[644]: на ней представлен осел, у которого на спине прикреплен шест, а на шесте повешено сено так, чтоб он мог его видеть. Осел, думая достать сено, должен идти вперед, — двига-

---

[643] Сноски: 643
Богом (*ит.*).

[644] Сноски: 644
страстным влечением (*фр.*).

лось, разумеется, и сено — он шел за ним. Может, доброе животное и прошло бы далее так, но ведь все-таки *оно осталось бы в дураках*!

Перехожу теперь к тому, как одна страна радушно приняла меня в то самое время, как другая без всякого повода вытолкнула.

Шаллер обещал Фогту похлопотать о моей натурализации, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня, и потом поддержать дело в Большом совете. В Швейцарии для натурализации необходимо, чтоб предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятие нового согражданина, что совершенно согласно с самозаконностью каждого кантона и каждого местечка в свою очередь. Деревенька Шатель, близ Мора (Муртен), соглашалась за небольшой взнос денег в пользу сельского общества принять мою семью в число своих крестьянских семей. Деревенька эта недалеко от Муртенского озера, возле которого был разбит и убит Карл Смелый, несчастная смерть и имя которого так ловко послужили австрийской цензуре (а потом и петербургской) для замены имени Вильгельма Телля в россиниевской опере.

Когда дело поступило в Большой совет, два

иезуитствующие депутата подняли голос против меня, но ничего не сделали. Один из них говорил, что надобно было бы знать, почему я был в ссылке и чем навлек гнев Николая.

— Да это само по себе рекомендация! — отвечал ему кто-то, и все засмеялись.

Другой, из видов предупредительной осторожности, требовал новых обеспечений, чтоб, в случае моей смерти, воспитание и содержание моих детей не пало на бедную коммуну. Удовлетворился и этот сын во Иисусе ответом Шаллера. Мои права гражданства были признаны огромным большинством, и я сделался из русских надворных советников тягловым крестьянином сельца Шателя, что под Муртеном, «originaire de Châtel près Morat»[645], как расписался фрибургский писарь на моем паспорте.

Натурализация нисколько не мешает, впрочем, карьере дома — я имею два блестящих примера перед глазами: Людовик Бонапарт — гражданин Турговии, и Александр Николаевич — бюргер дармштадтский, сделались, после их натурализации, императорами. Так далеко я и не иду.

Получив весть об утверждении моих прав, мне

---

[645] Сноски: 645

«уроженцем Шателя, близ Мора» (*фр.*).

было почти необходимо съездить поблагодарить новых сограждан и познакомиться с ними. К тому же у меня именно в это время была сильная потребность побыть одному, всмотреться в себя, сверить прошлое, разглядеть что-нибудь в тумане будущего, и я был рад внешнему толчку.

Накануне моего отъезда из Ниццы я получил приглашение от начальника полиции de la sicurezza pubblica[646]. Он мне объявил приказ министра внутренних дел — выехать немедленно из сардинских владений. Эта странная мера со стороны ручного и уклончивого сардинского правительства удивила меня гораздо больше, чем высылка из Парижа в 1850. К тому же и не было никакого повода.

Говорят, будто я обязан этим усердию двух-трех верноподданных русских, живших в Ницце, и в числе их мне приятно назвать министра юстиции Панина; он не мог вынести, что человек, навлекший на себя высочайший гнев Николая Павловича, не только покойно живет, и даже в одном городе с ним, но еще пишет статейки, зная, что государь император этого не жалует. Приехав в Турин, юстиция, говорят, попросил,

---

[646] Сноски: 646
общественной безопасности (*ит.*).

так, по доброму знакомству, министра Азелио выслать меня. Сердце Азелио чуяло, верно, что я в Крутицких казармах, учась по-итальянски, читал его «La Disfida di Barletta» — роман «и не классический и не старинный», хотя тоже скучный, — и ничего не сделал. А может, и потому он не решился меня *выслать*, что, прежде таких дружеских вниманий, надобно было *прислать* посланника, а Николай все еще дулся за мятежные мысли Карла-Альберта.

Зато ниццкий интендант и министры в Турине воспользовались рекомендацией при первом же случае. Несколько дней до моей высылки в Ницце было «народное волнение», в котором лодочники и лавочники, увлекаемые красноречием банкира Авигдора, протестовали, и притом довольно дерзко, говоря о независимости ниццкого графства, о его неотъемлемых правах, — против уничтожения свободного порта. Общее легкое таможенное положение для всего королевства уменьшало их привилегии без уважения «к независимости ниццкого графства» и к его правам, «начертанным на скрижалях истории».

Авигдора, этого О'Коннеля Пальоне (так называется *сухая* река, текущая в Ницце), посадили в тюрьму; ночью ходили патрули, и народ хо-

дил; те и другие пели песни, и притом одни и те же, — вот и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой из иностранцев не участвовал в этом семейном деле тарифов и таможен? Тем не менее интендант указал на несколько человек из рефюжье как на зачинщиков, и в том числе на меня. Министерство, желая показать пример целебной строгости, велело меня прогнать вместе с другими.

Я пошел к интенданту (из иезуитов) и, заметив ему, что это совершеннейшая роскошь — высылать человека, который сам едет и у которого визированный пасс в кармане, спросил его, в чем дело. Он уверял, что сам так же удивлен, как я, что мера взята министром внутренних дел, даже без предварительного сношения с ним. При этом он был до того учтив, что у меня не осталось никакого сомнения, что все это напакостил он. Я написал разговор мой с ним известному депутату оппозиции Лоренцо Валерио и уехал в Париж.

Валерио свирепо напал на министра в своей интерпелляции и требовал отчета, почему меня выслали. Министр мялся, отклонял всякое влияние русской дипломации, свалил все на доносы интенданта и смиренно заключил, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то

оно с удовольствием изменит свое решение.

Оппозиция аплодировала. Следственно, de facto запрещение было снято, но, несмотря на мое письмо к министру, он мне не отвечал. Речь Валерио и ответ на нее я прочитал в газетах и решился ехать просто-напросто в Турин, на возвратном пути из Фрибурга. Чтоб не иметь отказа в визе, я поехал без визы; на пиэмонтской границе со стороны Швейцарии пассы осматривают без свирепого ожесточения французских жандармов. В Турине я пошел к министру внутренних дел; вместо его меня принял его товарищ, заведовавший верховной полицией, граф Понс де ла Мартино, человек известный в тех краях, умный, хитрый и преданный католической партии.

Прием его меня удивил. Он мне сказал все то, что я ему хотел сказать; что-то подобное было со мной в одно из свиданий с Дубельтом, но граф Понс перещеголял.

Он был очень пожилых лет, болезненный, худой, с отталкивающей наружностию, с злыми и лукавыми чертами, с несколько клерикальным видом и жесткими седыми волосами на голове. Прежде чем я успел сказать десять слов о причине, почему я просил аудиенции у министра, он перебил меня словами:

— Да помилуйте, где же тут может быть сомнение?.. Отправляйтесь в Ниццу, отправляйтесь в Геную, оставайтесь здесь, — только без малейшей rancune[647], мы очень рады… Это все наделал интендант… Видите, мы еще ученики, не привыкли к законности, к конституционному порядку. Если бы вы сделали что-нибудь противное законам, на то есть суд, вам нечего тогда было бы пенять на несправедливость, не правда ли?

— Совершенно согласен с вами.

— А то *берут* меры, которые раздражают… заставляют кричать, и без всякой нужды!

После этой речи против *самого себя* он проворно схватил лист бумаги с министерским заголовком и написал: «Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo credera conveniente. Per il ministro S. Martino». 12 luglio 1851[648].

— Вот вам на всякий случай; впрочем, будьте уверены, до этой бумаги дело не дойдет. Я очень, очень рад, что мы покончили с вами это дело.

---

[647] Сноски: 647

злопамятства (*фр.*).

[648] Сноски: 648

Сим разрешается г. А. Г. возвратиться в Ниццу и оставаться там сколько времени он найдет нужным. За министра С. Мартино. 12 июля 1851 (*ит.*).

Так как это значило vulgariter[649] «ступайте с Богом», то я и оставил моего Понса, улыбаясь вперед лицу, которое сделает интендант в Ницце; но этого лица Бог мне не привел видеть: его сменили.

Но возвращаюсь к Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проехавши по знаменитому мосту, как все смертные, бывшие в Фрибурге, мы отправились с добрым старичком, канцлером Фрибургского кантона, в Шатель. В Муртене префект полиции, человек энергический и радикальный, просил нас подождать у него, говоря, что староста поручил ему предупредить его о нашем приезде, потому что ему и прочим домохозяевам было бы очень неприятно, если б я приехал невзначай, когда все в поле на работе. Погулявши часа два по Мора или Муртену, мы отправились, и префект с нами.

Возле дома старосты ждали нас несколько пожилых крестьян и впереди их сам староста, почтенный, высокого роста, седой и хотя несколько сгорбившийся, но мускулистый старик. Он выступил вперед, снял шляпу, протянул мне широкую,

---

[649] Сноски: 649
попросту (*лат.*).

сильную руку и, сказав: «Lieber Mitbürger…[650]», произнес приветственную речь на таком германо-швейцарском наречии, что я ничего не понял. Приблизительно можно было догадаться, что он мог мне сказать, а потому, да еще взяв в соображение, что если я скрыл, что не понимаю его, то и он скроет, что не понимает меня, я смело отвечал на его речь:

— Любезный гражданин староста и любезные шательские сограждане! Я прихожу благодарить вас за то, что вы в вашей общине дали приют мне и моим детям и положили предел моему бездомному скитанию. Я, любезные граждане, не за тем оставил родину, чтоб искать себе другой: я всем сердцем люблю народ русский, а Россию оставил потому, что не мог быть немым и праздным свидетелем ее угнетения; я оставил ее после ссылки, преследуемый свирепым самовластием Николая. Рука его, достававшая меня везде, где есть король или господин, не так длинна, чтоб достать меня в общине вашей! Я спокойно прихожу под защиту и кров ваш, как в гавань, в которой я всегда могу найти покой. Вы, граждане Шателя, вы, эти несколько человек, вы могли, принимая

---

[650] Сноски: 650
«дорогой согражданин…» (*нем.*)

меня в вашу среду, остановить занесенную руку русского императора, вооруженную миллионом штыков. *Вы сильнее его*! Но сильны вы только вашими свободными вековыми республиканскими учреждениями! С гордостью вступаю я в ваш союз! И да здравствует Гельветическая республика!

— Dem neuen Bürger hoch!.. Es lebe der neue Bürger![651] — отвечали старики и крепко жали мою руку; я сам был несколько взволнован!

Староста пригласил нас к себе.

Мы вошли и сели за длинный стол, на скамьях; на столе был хлеб и сыр. Двое крестьян втащили страшной величины бутыль, больше тех классических бутылей, которые преют целые зимы в старинных наших домах, в углу на лежанке, наполненные наливками и настойками. Бутыль эта была в плетеной корзине и наполнена белым вином. Староста сказал нам, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутыль он помнит лет за тридцать и что вино это употребляется только при чрезвычайных случаях. Все крестьяне сели с нами за стол, кроме двух, хлопотавших около кафедральной бутыли.

---

[651] Сноски: 651

Новому гражданину ура! Да здравствует новый гражданин! (*нем.*)

Они из нее наливали вино в большую кружку, а староста наливал из кружки в стаканы; перед каждым крестьянином был стакан, но мне он принес нарядный хрустальный кубок, причем он заметил канцлеру и префекту:

— Вы на этот раз извините, почетный-то кубок уж нынче мы подадим нашему новому согражданину; с вами мы свои люди.

Пока староста наливал вино в стаканы, я заметил, что один из присутствующих, одетый не совсем по-крестьянски, был очень беспокоен, обтирал пот, краснел — ему нездоровилось: когда же староста провозгласил мой тост, он с какой-то отчаянной отвагой вскочил и, обращаясь ко мне, начал речь.

— Это, — шепнул мне на ухо староста с значительным видом, — гражданин учитель в нашей школе.

Я встал.

Учитель говорил не по-швейцарски, а по-немецки, да и не просто, а по образцам из нарочито известных ораторов и писателей: он помянул и о Вильгельме Телле, и о Карле Смелом (как тут поступила бы австрийско-александринская театральная ценсура — разве назвала бы Вильгельма Смелым, а Карла — Теллем?) и при этом не за-

был не столько новое, сколько выразительное сравнение неволи с позлащенной клеткой, из которой птица все же рвется; Николаю Павловичу досталось от него порядком: он его ставил рядом с очень облихованными людьми из римской истории. Я чуть не перервал его на этом, чтоб сказать: «Не обижайте покойников!», но, как будто предвидя, что и Николай скоро будет в их числе, промолчал.

Крестьяне слушали его, вытянув загорелую, сморщившуюся шею и прикладывая, в виде глазного зонтика, руку к ушам; канцлер немного вздремнул и, чтоб скрыть это, первый похвалил оратора.

Между тем староста сидел не сложа руки, а усердно наливал вино, провозглашая, как самый привычный к делу цереме́ниймейстер, тосты:

— За конфедерацию! За Фрибург и его радикальное правительство! За президента Шаллера!

— За моих любезных сограждан в Шателе! — предложил я, наконец, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкус, далеко не слабо. Все встали… Староста говорил:

— Нет, нет, lieber Mitbürger, полный кубок, как мы пили за вас, полный! — Старички мои

расходились, вино подогрело их…

— Привезите ваших детей, — говорил один.

— Да, да, — подхватили другие, — пусть они посмотрят, как мы живем; мы люди простые, дурному не научим, да и мы их посмотрим.

— Непременно, — отвечал я, — непременно.

Тут староста уж пошел извиняться в дурном приеме, говоря, что во всем виноват канцлер, что ему следовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное — что тогда встретили бы меня и проводили ружейным залпом. Я чуть не сказал ему à la Louis-Philippe[652]: «Помилуйте… да что же случилось? Одним крестьянином только больше в Шателе!»

Мы расстались большими друзьями. Меня несколько удивило, что я не видел ни одной женщины, ни старухи, ни девочки, да и ни одного молодого человека. Впрочем, это было в рабочую пору. Замечательно и то, что на таком редком для них празднике не был приглашен пастор.

Я им это поставил в большую заслугу. Пастор непременно испортил бы все, сказал бы глупую проповедь и с своим чинным благочестием по-

---

[652] Сноски: 652
в духе Луи-Филиппа (*фр.*).

хож был бы на муху в стакане с вином, которую непременно надобно вынуть, чтоб пить с удовольствием.

Наконец мы снова уселись в небольшую коляску, или, вернее, линейку канцлера, завезли префекта в Мора и покатились в Фрибург. Небо было покрыто тучами, меня клонил сон, и кружилось в голове. Я усиливался не спать. «Неужели это их вино?» — думал я с некоторым презрением к самому себе… Канцлер лукаво улыбался, а потом сам задремал; дождь стал накрапывать, я покрылся пальто, стал было засыпать… потом проснулся от прикосновения холодной воды… дождь лил как из ведра, черные тучи словно высекали огонь из скалистых вершин, дальние раскаты грома пересыпались по горам. Канцлер стоял в сенях и громко смеялся, говоря с хозяином Zöhringerhof'a.

— Что, — спрашивал меня хозяин, — видно, наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

— Да неужели мы приехали? — спрашивал я, выходя весь мокрый из линейки.

— Это не так мудрено, — заметил канцлер, — а вот что мудрено — что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слы-

хали?

— Ничего.

Потом я узнал, что простые швейцарские вина, вовсе не крепкие на вкус, получают с летами большую силу и особенно действуют на непривычных. Канцлер нарочно мне не сказал этого. К тому же, если б он и сказал, я не стал бы отказываться от добродушного угощения крестьян, от их тостов и еще менее не стал бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступил, доказывается тем, что через год, проездом из Берна в Женеву, я встретил на одной станции моратского префекта.

— Знаете ли вы, — сказал он мне, — чем вы заслужили особенную популярность наших шатальцев?

— Нет.

— Они до сих пор рассказывают с гордым самодовольствием, как новый согражданин, выпивши их вина, проспал грозу и доехал, не зная как, от Мора до Фрибурга, под проливным дождем.

Итак, вот каким образом я сделался свободным гражданином Швейцарской конфедерации и на-

пился пьян шательским вином![653]

Глава XLI

П. Ж. Прудон. – Издание «La Voix du Peuple». – Переписка. – Значение Прудона. – Прибавление.

Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне приподнялся мрачной тенью судьи, проклял герцога Альбу Июньских дней — Каваньяка и его товарищей и мрачно сказал народу: «А ты молчи, ты слишком беден, чтобы иметь право на слово!»

Когда первый страх осадного положения миновал и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридиче-

---

[653] Сноски: 653

Не могу не прибавить, что именно этот лист мне пришлось поправлять в Фрибурге, и в том же Zöhringerhof'е. И хозяин все тот же, с видом действительного хозяина, и столовая, где я сидел с Сазоновым в 1851 году, — та же, и комната, в которой через год я писал свое завещание, делая исполнителем его Карла Фогта, и этот лист, напомнивший столько подробностей.

Пятнадцать лет!

Невольно, безотчетно берет страх…

14 октября 1866.

ских кляуз и судейских уловок. Началась старая травля, par force[654], редакторов, — травля, в которой отличались министры Людовика-Филиппа. Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежной пенею. Пеня берется из залога; пока залог не дополнен, нельзя издавать журнал, как он пополнится — новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством.

Ледрю-Роллен сначала, потом полковник Франполи как представитель мацциниевской партии заплатили большие деньги, но не спасли «Реформу». Все резкие органы социализма и республики были убиты этим средством. В том числе, и в самом начале, Прудонов «Le Représentant du Peuple», потом его же «Le Peuple». Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой.

Одного из редакторов, помнится, Дюшена, приводили раза три из тюрьмы в ассизы[655] по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний

---

[654] Сноски: 654
Здесь: травля с собаками (*фр.*).

[655] Сноски: 655
суд присяжных (*фр.* assises).

раз, перед гибелью журнала, было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал: «L'addition, s'il vous plaît!»[656] — ему в самом деле накопилось лет десять тюрьмы и тысяч пятьдесят штрафу.

Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня. Национальная гвардия ворвалась в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластия.

Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик не хотел положить оружия и тотчас затеял издавать новый журнал: «La Voix du Peuple». Надобно было достать двадцать четыре тысячи франков для залога. Э. Жирарден был не прочь их дать, но Прудону не хотелось быть в зависимости от него, и Сазонов предложил мне внести залог.

Я был многим обязан Прудону в моем развитии и, подумавши несколько, согласился, хотя и знал, что залога ненадолго станет.

Чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый

---

[656] Сноски: 656
«Счет, пожалуйста!» (*фр.*)

прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон по преимуществу диалектик, контроверзист социальных вопросов. Французы в нем ищут экспериментализта и, не находя ни сметы фаланстера, ни икарийской управы благочиния, пожимают плечами и кладут книгу в сторону.

Прудон, конечно, виноват, поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «destruo et aedificabo»[657]; сила его не в создании, а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все, ломавшие старое: человеку одно разрушение противно; когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену.

В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недосягаемы в настоящем, или сводятся на какое-нибудь односторонное решение, а то, что, достигая до них, становится *вопросом.* Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней

[657] Сноски: 657
разрушу и воздвигну (*лат.*).

науки; не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мещанского экономического устройства как с своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству.

В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта — страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель, с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнут в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий.

Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. Они привыкли играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге к знакомым местам. Прудон часто ло-

мится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить что попадется, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм… Оттого он и остается одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой.

Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро… даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания, ни характера — для него это орудия, которыми он пытает свой предмет, и орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтоб чему-нибудь покориться, чтоб дать себя заарканить.

— Мне очень нравится ваша система, — сказал Прудону один английский турист.

— Да у меня нет никакой системы, — отвечал с неудовольствием Прудон, и был прав.

Это-то именно и сбивает его соотечественников, привыкших к нравоучениям на конце басни, к систематическим формулам, оглавлениям, к отвлеченным обязательным рецептам.

Прудон сидит у кровати больного и говорит, что он очень плох потому и потому. Умирающему не поможешь, строя идеальную теорию о том, как он мог бы быть здоров, не будь он болен, или предлагая ему лекарства, превосходные сами по себе, но которых он принять не может или которых совсем нет налицо.

Наружные признаки и явления финансового мира служат для него, так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей, по которой он спускается в тайники общественной жизни, — он по ним изучает силы, влекущие больное тело к разложению. Если он после каждого наблюдения провозглашает новую победу смерти, разве это его вина? Тут нет родных, которых страшно испугать, — мы сами умираем этой смертью. Толпа с негодованием кричит: «Лекарства! лекарства! Или молчи о болезни!» Да зачем же молчать? Только в самовластных правлениях запрещают говорить о неурожаях, заразах и о числе побитых

на войне. Лекарство, видно, не легко находится; мало ли какие опыты делали во Франции со времени неумеренных кровопусканий 1793: ее лечили победами и усиленными моционами, заставляя ходить в Египет, в Россию, ее лечили парламентаризмом и ажиотажем, маленькой республикой и маленьким Наполеоном — что же, лучше, что ли, стало? Сам Прудон попробовал было раз свою патологию и срезался *на Народном банке* несмотря на то, что, сама по себе взятая, идея его верна. По несчастию, он в заговаривание не верит, а то и он причитывал бы ко всему: «Союз народов! Союз народов! Всеобщая республика! Всемирное братство! Grande armée de la démocratie!»[658] Он не употребляет этих фраз, не щадит революционных староверов, и за то французы его считают эгоистом, индивидуалистом, чуть не ренегатом и изменником.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «Биржевого руководства»; многое изменилось в его мыслях — еще бы, прожить такую эпоху, как наша, и свистать тот же дуэт a moll-ный, как Платон Михайлович в «Горе от ума». В этих переменах именно и бро-

---

[658] Сноски: 658
Великая армия демократии! (*фр.*)

сается в глаза внутреннее единство, связующее их от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии, до недавно вышедшего carmen horrendum[659] биржевого распутства; тот же порядок мыслей, развиваясь, видоизменяясь, отражая события, идет и через «Противоречия» политической экономии, и через его «Исповедь», и через его «журнал».

Косность мысли принадлежит религии и доктринаризму; они предполагают упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особняком или в своем тесном круге, отвергающем все, что жизнь вносит нового… или по крайней мере не заботясь о том. Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верною себе, иначе она не была бы *живой истиной*, а истиной вечной, успокоившейся от треволнений мира сего — в мертвой тишине святого застоя[660].

Где и в каком случае, случалось мне спрашивать, Прудон изменил органическим основам

---

[659] Сноски: 659
ужасающей песни (*лат.*).

[660] Сноски: 660
В новом сочинении Стюарта Милля «On Liberty» он приводит превосходное выражение об этих раз навсегда решенных истинах: «the deap slumber of a decided opinion» <«глубокий сон бесспорного мнения» (*англ.*)>.

своего воззрения? Мне всякий раз отвечали его политическими ошибками, его промахами в революционной дипломации. За политические ошибки он как журналист, конечно, повинен ответом, но и тут он виноват не перед собой; напротив, часть его ошибок происходила от того, что он верил своим началам больше, чем партии, к которой он поневоле принадлежал и с которой он не имел ничего общего, а был, собственно, соединен только ненавистью к общему врагу.

Политическая деятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую он облекал во все доспехи своей диалектики. Совсем напротив, везде ясно видно, что политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны. В подобном отношении к религиозному вопросу стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании

и церкви не могу; я вследствие этого наделаю, вероятно, ошибок и уступок, которых избежит всякий самый пошлый бакалавр богословия или приходский поп.

Без сомнения, не место было Прудона в Народном собрании, так, как оно было составлено, и личность его терялась в этом мещанском вертепе. Прудон в своей «Исповеди революционера» говорит, что он не умел найтиться в Собрании. Да что же мог там делать человек, который Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов, сказал: «Я подаю голос против вашей конституции не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституция».

Парламентская чернь отвечала на одну из его речей: «Речь — в “Монитер”, оратора — в сумасшедший дом!» Я не думаю, чтоб в людской памяти было много подобных парламентских анекдотов, с тех пор как александрийский архиерей возил с собой на вселенские соборы каких-то послушников, вооруженных во имя Богородицы дубинами, и до вашингтонских сенаторов, доказывающих друг другу палкой пользу рабства.

Но даже и тут Прудону удавалось становиться во весь рост и оставлять середь перебранок яр-

кий след.

Тьер, отвергая финансовый проект Прудона, сделал какой-то намек о нравственном растлении людей, распространяющих такие учения. Прудон взошел на трибуну и, с своим грозным и сутуловатым видом коренастого жителя полей, сказал улыбающемуся старичишке:

— Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я — я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся). Нет, мне мало вашей смерти, этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом; каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!

Глаза всех обратились на Тьера: он сидел нахмуренный, и улыбки совсем не было, да и ответа тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудон, глядя с презрением на защитников религии и семьи, сошел с трибуны. Вот где его сила — в этих словах резко слышится язык нового мира, идущего с своим судом и со своими казнями.

С февральской революции Прудон предска-

зывал то, к чему Франция пришла; на тысячу ладов повторял он: берегитесь, не шутите, «это не Катилина у ворот ваших, а смерть». Французы пожимали плечами. Обнаженных челюстей, косы, клепсидры — всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затмение, послеобеденный сон великого народа!». Наконец разглядели многие, что дело плохо. Прудон унывал менее других, пугался менее, потому что предвидел; тогда его обвинили не только в бесчувственности, но и в том, что он накликал беду. Говорят, что китайский император таскает ежегодно за хохол придворного звездочета, когда тот ему докладывает, что дни начинают убывать.

Гений Прудона действительно антипатичен французским риторам, его язык оскорбляет их. Революция развила свой пуританизм, узкий, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патриоты отвергают написанное не по форме точно так, как русские судьи. Их критика останавливается перед их символическими книгами вроде «Contrat social»[661], «Объявления прав человека». Люди веры, они ненавидят ана-

[661] Сноски: 661
«Общественный договор» (*фр.*).

лиз и сомнения; люди заговоров, они все делают сообща и из всего делают интерес партии. Независимый ум им ненавистен, как мятежник; они даже в прошедшем не любят самобытных мыслей. Луи Блан почти досадует на эксцентрический гений Монтеня[662]. На этом галльском чувстве, стремящемся снять личность стадом, основано их пристрастие к *приравниванию*, к единству военного строя, к централизации, т. е. к деспотизму.

Кощунство француза и резкость суждений — больше шалость, баловство, удовольствие подразнить, чем потребность разбора, чем сосущий душу скептицизм. У него бездна маленьких предрассудков, крошечных религий — за них он стоит с запальчивостью Дон-Кихота, с упрямством раскольника. Оттого-то они и не могут простить ни Монтеню, ни Прудону их *вольнодумство и непочтительность* к общепринятым кумирам. Они, как петербургская цензура, позволяют шутить над титулярным советником, но тайного — не тронь. В 1850 году Э. Жирарден напечатал в «Прессе» смелую и новую мысль, что основы права не вечны, а идут, изменяясь с исто-

---

[662] Сноски: 662
«Histoire de la Révolution française».

рическим развитием. Что за шум возбудила эта статья! Брань, крик, обвинения в безнравственности продолжались, с легкой руки «Gazette de France», месяцы.

Участвовать в восстановлении такого органа, как «Peuple», стоило пожертвований, — я написал Сазонову и Хоецкому, что готов внести залог.

До того времени мои сношения с Прудоном были ничтожны: я встречал его раза два у Бакунина, с которым он был очень близок. Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля — философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем: им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes[663]; его удивил, несмотря на ранний

[663] Сноски: 663
Ботаническому саду (*фр.*).

час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь — Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор.

Боясь сначала смиренной роли наших соотечественников и патронажа великих людей, я не старался сближаться даже с самим Прудоном и, кажется, был не совершенно неправ. Письмо Прудона ко мне, в ответ на мое, было учтиво, но холодно и с некоторой сдержанностью.

Мне хотелось с самого начала показать ему, что он не имеет дела ни с сумасшедшим prince russe, который из революционного дилетантизма, а вдвое того из хвастовства дает деньги, ни с правоверным поклонником французских публицистов, глубоко благодарным за то, что у него берут двадцать четыре тысячи франков, ни, наконец, с каким-нибудь тупоумным bailleur de fonds[664], который соображает, что внести залог за такой журнал, как «Voix du Peuple», — *серьезное* помещение денег. Мне хотелось показать ему, что я очень знаю, *что делаю*, что имею свою положительную цель, а потому хочу иметь положительное влияние на журнал; приняв-

[664] Сноски: 664
негласным пайщиком (*фр.*).

ши безусловно все то, что он писал о деньгах, я требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведовать всею иностранною частию, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и пр., требовать для последних плату за помещенные статьи. Это может показаться странным, но я могу уверить, что «National» и «Реформа» открыли бы огромные глаза, если б кто-нибудь из иностранцев смел спросить денег за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помешательство, как будто иностранцу видеть себя в печати в *парижском* журнале не есть:

Lohn, der reichlich lohnet[665].

Прудон согласился на мои требования, но все же они покоробили его. Вот что он писал мне 29 августа 1849 года в Женеву: «Итак, дело решено: под моей общей дирекцией вы имеете участие в издании журнала, ваши статьи должны быть принимаемы *без всякого контроля*, кроме того, к которому редакцию обязывает уважение *к своим мнениям* и страх судебной ответственности. Согласные в идеях, мы можем только

[665] Сноски: 665
Плата, богато вознаграждающая (*нем.*).

расходиться в выводах, что же касается до обсуживания заграничных событий, мы их совсем предоставляем вам. Вы и мы миссионеры одной мысли. Вы увидите наш путь по общей полемике, и вам надобно будет держаться его; я уверен, что мне никогда не придется *поправлять ваши мнения*; я это счел бы величайшим несчастием; скажу откровенно — весь успех журнала зависит от нашего согласия. Надобно вопрос демократический и социальный поднять на высоту предприятия европейской лиги. *Предположить*, что мы не будем согласны друг с другом, значит предположить, что у нас недостает необходимых условий для издания журнала и *что нам было бы лучше молчать*».

На эту строгую депешу я отвечал высылкою 24 000 фр. и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым; я говорил, насколько я теоретически согласен с ним, прибавив, что я, как настоящий скиф, с радостию вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание — возвещать ему его близкую кончину. «*Ваши соотечественники далеки от того, чтобы разделять эти идеи.* Я знаю одного свободного француза — это вас. Ваши революционеры — консерваторы. Они христиане, не зная

того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопрос негации[666] и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франции, что нет спасения внутри разваливающегося здания, что и спасать из него нечего, что самые его понятия о свободе и революции проникнуты консерватизмом и реакцией. Действительно политические республиканцы составляют не больше как одну из вариаций на ту же конституционную тему, на которую играют свои вариации Гизо, Одилон Барро и другие. Вот этот взгляд следовало бы проводить в разборе последних европейских событий, преследовать реакцию, католицизм, монархизм не в ряду наших врагов — это чрезвычайно легко, — но в собственном нашем стане. Надобно обличить круговую поруку демократов и власти. Если мы не боимся затрогивать победителей, то не будем бояться из ложной сентиментальности затрогивать и побежденных.

Я глубоко убежден, что, если инквизиция республики не убьет наш журнал, это будет лучший журнал в Европе».

Я и теперь в этом убежден. Но как же мы с Пру-

---

[666] Сноски: 666
отрицания (*фр.* négation).

доном могли думать, что вовсе не церемонное правительство Бонапарта допустит такой журнал? Это трудно объяснить.

Прудон был доволен моим письмом и 15 сентября писал мне из Консьержри:

«Я очень рад, что встретился с вами на одном или на одинаковом труде, я тоже написал нечто вроде философии революции[667] под заглавием «Исповедь революционера». Вы в ней, может, не найдете вашего варварского задора (verve barbare), к которому вас приучила немецкая философия. Не забывайте, что я пишу для французов, которые со всем своим революционным пылом, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Как бы ограничен ни был мой взгляд, все же он на сто тысяч туазов выше самых высоких вершин нашего журнального, академического и литературного мира; меня еще станет на десять лет, чтобы быть великаном между ними.

Я совершенно разделяю ваше мнение насчет так называемых республиканцев; разумеется, это один вид общей породы доктринеров. Что касается этих вопросов, нам не в чем убеждать друг друга. Во мне и в моих сотрудниках вы найдете

---

[667] Сноски: 667
Я тогда печатал «Vom andern Ufer».

людей, которые пойдут с вами рука в руку…

Я также думаю, что методический, мирный шаг незаметными переходами, как того хотят экономические науки и философия истории, невозможен больше для революции; нам надобно делать страшные скачки. Но, в качестве публицистов, возвещая грядущую катастрофу, нам не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то нас возненавидят и будут гнать, а нам надобно *жить*»…

Журнал пошел удивительно. Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздражения, которое тюрьма раздувает.

«Кто вы такой, г. президент? — пишет он в одной статье, говоря о Наполеоне, — скажите: мужчина, женщина, гермафродит, зверь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журнал может держаться!

Подписчиков было не много, но уличная продажа были велика: в день продавалось от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч экземпляров. Расход особенно замечательных номеров, например, тех, в которых помещались статьи Прудона, был еще больше; редакция печатала их от пятидесяти

тысяч до шестидесяти тысяч, и часто на другой день экземпляры продавались *по франку* вместо одного су[668].

Но со всем этим к 1 марту, т. е. через полгода, не только в кассе не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафов. Гибель была неминуема. Прудон значительно ускорил ее. Это случилось так. Раз я застал у него в С.-Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов. Д'Альтон-Ше — тот пэр Франции, который скандализовал Пакье и испугал всех пэров, отвечая с трибуны на вопрос:

— Да разве вы не католик?

— Нет, но еще больше: я вовсе не христианин, да и не знаю, деист ли.

Он говорил Прудону, что последние нумера «Voix du Peuple» слабы; Прудон рассматривал их и становился все угрюмее, потом, совершенно рассерженный, обратился к редакторам:

— Что же это значит? Пользуясь тем, что я в тюрьме, вы спите там в редакции. Нет, господа, эдак я откажусь от всякого участия и напеча-

---

[668] Сноски: 668

Мой ответ на речь Донозо Кортеса, отпечатанный тысяч в 50 экземпляров, вышел весь, и, когда я попросил через два-три дня себе несколько экземпляров, редакция принуждена была скупить их по книжным лавкам.

таю мой отказ; я не хочу, чтоб мое имя таскали в грязи; у вас надобно стоять за спиной, смотреть за каждой строкой. Публика принимает это за мой журнал. Нет, этому надобно положить конец. Завтра я пришлю статью, чтоб загладить дурное действие вашего маранья, и покажу, как я разумею дух, в котором должен быть наш орган.

Видя его раздражение, можно было ожидать, что статья будет не из самых умеренных, но он превзошел наши ожидания: его «Vive l'Empereur!» был дифирамб иронии, — иронии ядовитой, страшной.

Сверх нового процесса, правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели в скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, в ней забрали окно до половины досками, чтоб нельзя было ничего видеть, кроме неба, не велели к нему пускать никого, к дверям поставили особого часового. И эти средства, неприличные для исправления шестнадцатилетнего шалуна, употребляли семь лет тому назад с одним из величайших мыслителей нашего века! Не поумнели люди со времени Сократа, не поумнели со времени Галилея, только стали мельче. Это неуважение к гению, впрочем, явление новое, возобновленное в последнее десятилетие. Со времени

Возрождения талант становится до некоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали в темную комнату, не ставили в угол; таких людей иногда преследуют и убивают, но не унижают мелочами; их посылают на эшафот, но не в рабочий дом.

Буржуазно-императорская Франция любит равенство.

Гонимый Прудон еще рванулся в своих цепях, еще сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен. Мой залог был схвачен до копейки. Пришлось замолчать единственному человеку во Франции, которому было еще что сказать.

Последний раз я виделся с Прудоном в С.-Пелажи; меня высылали из Франции, ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы с ним, не было ни тени близкой надежды. Прудон сосредоточенно молчал, досада кипела во мне; у обоих было много дум в голове, но говорить не хотелось.

Я много слышал о его жесткости, rudesse[669], нетерпимости — на себе я ничего подобного не испытал. То, что *мягкие* люди называют его

---

[669] Сноски: 669
крутом нраве (*фр.*).

жесткостью, были упругие мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли; в гневе он напоминал сердящегося Лютера или Кромвеля, смеющегося над Крупионом. Он знал, что я его понимаю, знал и то, как немногие его понимают, и ценил это. Он знал, что его считали за человека мало экспансивного, и, услышав от Мишле о несчастии, постигшем мою мать и Колю, он написал мне из С.-Пелажи между прочим: «Неужели судьба еще и с этой стороны должна добивать нас? Я не могу прийти в себя от этого ужасного происшествия. Я вас люблю и *глубоко ношу вас здесь*, в этой груди, которую так *многие считают каменной*».

С тех пор я не видал его[670]; в 1851 году, когда я, по милости Леона Фоше, приезжал в Париж на несколько дней, он был отослан в какую-то центральную тюрьму. Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне.

У Прудона есть отшибленный угол, и тут он неисправим, тут предел его личности, и, как всегда бывает, за ним он консерватор и человек предания. Я говорю о его воззрении на семейную

---

[670] Сноски: 670
После писанного я виделся с ним в Брюсселе.

жизнь и на значение женщины вообще.

— Как счастлив наш N., — говаривал Прудон шутя, — у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot-au-feu[671], и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья.

В этой шутке Прудон, смеясь, выразил серьезную основу своего воззрения на женщину. Понятия его о семейных отношениях грубы и реакционны, но и в них выражается не мещанский элемент горожанина, а скорее упорное чувство сельского pater familias'а[672], гордо считающего женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение «*О справедливости в церкви и в революции*».

Книгу эту, за которую одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы, прочитал я внимательно и закрыл третий том, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое… тяжкое время!.. Разлагающий воздух его одуряет сильнейших…

---

[671] Сноски: 671
супа (*фр.*).

[672] Сноски: 672
отца семейства (*лат.*).

И этот «ярый боец» не выдержал, надломился; в его последнем труде я вижу ту же мощную диалектику, тот же размах, но она приводит уже его к прежде задуманным результатам; она уже не свободна в последнем слове. Я под конец книги следил за Прудоном, как Кент следил за королем Лиром, ожидая, когда он образумится, но он заговаривался больше и больше, — такие же припадки нетерпимости, необузданной речи, как у Лира, и так же «Every inch»[673] обличает талант, но… талант «тронутый». И он бежит с трупом — только не дочери, а матери, которую считает живой!..[674]

Романская мысль, религиозная в самом отрицании, суеверная в сомнении, отвергающая одни авторитеты во имя других, редко погружалась далее, глубже in medias res[675] действительности, редко так диалектически смело и верно снимала с себя все путы, как в этой книге. Она отрешилась в ней не только от грубого дуализма религии, но и от ухищренного дуализма философии; она

---

[673] Сноски: 673
Каждый дюйм (*англ.*).

[674] Сноски: 674
Я долею изменил мое мнение об этом сочинении Прудона (1866).

[675] Сноски: 675
в самую сущность (*лат.*).

освободилась не только от небесных привидений, но и от земных; она перешагнула через сентиментальную апотеозу человечества, через фатализм прогресса, у ней нет тех неизменяемых литий о братстве, демократии и прогрессе, которые так жалко утомляют среди раздора и насилия. Прудон пожертвовал пониманью революции ее идолами, ее языком и перенес нравственность на единственную реальную почву — грудь человеческую, признающую один разум и никаких кумиров, «разве его».

И после всего этого великий иконоборец испугался освобожденной личности человека, потому что, освободив ее отвлеченно, он впал снова в метафизику, придал ей *небывалую волю*, не сладил с нею и повел на заклание Богу бесчеловечному, холодному Богу *справедливости*, Богу равновесия, тишины, покоя, Богу браминов, ищущих потерять все личное и распуститься, опочить в бесконечном мире ничтожества.

На пустом алтаре поставлены *весы.* Это будут новые каудинские фуркулы для человечества.

«Справедливость», к которой он стремится, даже не художественная гармония Платоновой республики, не *изящное* уравновешивание страстей и жертв. Галльский трибун ничего не берет

из «анархической и легкомысленной Греции», он стоически попирает ногами личные чувства, а не ищет согласовать их с требой семьи и общины. «Свободная» личность у него часовой и работник без выслуги, она несет службу и должна стоять на карауле до смены смертью, она должна морить в себе все лично-страстное, все внешнее долгу, потому что *она — не она,* ее смысл, ее сущность вне ее; она — орган справедливости, она *предназначена*, как дева Мария, носить в мучениях идею и водворить ее на свет для спасения государства.

Семья, первая ячейка общества, первые ясли справедливости, осуждена на вечную, безвыходную работу; она должна служить жертвенником очищения от личного, в ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья в современной мастерской — идеал Прудона. Христианство слишком изнежило семейную жизнь, оно предпочло Марию — Марфе, мечтательницу — хозяйке, оно простило согрешившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а в Прудоновой семье именно надобно мало любить. И это не все: христианство гораздо выше ставит личность, чем семейные отношения ее. Оно сказало сыну: «Брось отца и мать

и иди за мной», — сыну, которого следует, во имя *воплощения справедливости*, снова заковать в колодки безусловной отцовской власти, — сыну, который не может иметь воли при отце, пуще всего в выборе жены. Он должен закалиться в рабстве, чтоб в свою очередь сделаться тираном детей, рожденных без любви, по долгу, для продолжения семьи. В этой семье брак будет нерасторгаем, но зато холодный, как лед; брак, собственно, победа над любовью: чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше. И эти старые, изношенные пугала из гегелизма правой стороны пришлось-то мне еще раз увидеть под пером Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд современного пролетария, — труд, от которого по крайней мере была свободна аристократическая семья древнего Рима, основанная на рабстве; нет больше ни поэзии церкви, ни бреда веры, ни упованья рая, даже и стихов к тем порам «не будут больше писать», по уверению Прудона, зато работа будет «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность действия, за независимость можно пожертвовать религиозным убаюкиванием, но пожертвовать всем для вопло-

щения идеи справедливости — что это за вздор!

Человек осужден на работу, он должен работать до тех пор, пока опустится рука; сын вынет из холодных пальцев отца струг или молот и будет продолжать вечную работу. Ну, а как в ряду сыновей найдется один поумнее, который положит долото и спросит:

— Да из чего же мы это выбиваемся из сил?

— Для торжества справедливости, — скажет ему Прудон.

А новый Каин ответит ему:

— Да кто же мне поручил торжество справедливости?

— Как кто? Разве все призвание твое, вся твоя жизнь не есть воплощение справедливости?

— Кто же поставил эту цель? — скажет на это Каин. — Это слишком старо, Бога нет, а заповеди остались. Справедливость не есть мое призвание, работать — не долг, а необходимость, для меня семья совсем не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развития. Вы хотите держать меня в рабстве, а я бунтую против вас, против вашего безмена, так, как вы всю вашу жизнь бунтовали против капитала, штыков, церкви, так, как все французские революционеры бунтовали против феодальной и католической

традиции. Или вы думаете, что после взятия Бастилии, после террора, после войны и голода, после короля-мещанина и мещанской республики, я поверю вам, что Ромео не имел прав любить Джульетту за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вековую ссору, и что я ни в тридцать, ни в сорок лет не могу выбрать себе подруги без позволения отца, что изменившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете с вашей юстицией?

А мы, с своей диалектической стороны, на подмогу Каину прибавили бы, что все понятие о *цели* у Прудона совершенно непоследовательно. Телеология — это тоже теология, это Февральская республика, т. е. та же Июльская монархия, но без Людовика-Филиппа. Какая же разница между предопределенной целесообразностию и промыслом?[676]

Прудон, через край освободивши личность, испугался, взглянув на своих современников, и, чтоб эти каторжные, ticket of leave[677], не надела-

---

[676] Сноски: 676

Сам Прудон сказал: «Rien ne ressemble plus à la préméditation, que la logique des faits». <«Ничто так не похоже на преднамеренность, как логика фактов» (*фр.*)>.

[677] Сноски: 677

Здесь: досрочно освобожденные (*англ.*).

ли бед, он ловит их в капкан римской семьи.

В растворенные двери реставрированного атриума, без лар и пенат, видится уже не *анархия*, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за наказание; все старые римские грехи выглядывают с ними из щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведет естественно за собой античное отечество с своим ревнивым патриотизмом, этой свирепой добродетелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чем все пороки вместе.

Человек, прикрепленный к семье, делается снова крепок земле. Его движения очерчены, он пустил корни в свое поле, он только на нем то, что он есть; «француз, живущий в России, — говорит Прудон, — русский, а не француз». Нет больше ни колоний, ни заграничных факторий, живи каждый у себя…

«Голландия не погибнет, — сказал Вильгельм Оранский в страшную годину, — она сядет на корабли и уедет куда-нибудь в Азию, а здесь мы спустим плотины». Вот какие народы бывают свободны.

Так и англичане: как только их начинают теснить, они плывут за океан и там заводят юную и более свободную Англию. А уже, конечно, нельзя сказать об англичанах, чтоб они или не любили своего отечества, или чтоб они были не национальны. Расплывающаяся во все стороны Англия заселила полмира, в то время как скудная соками Франция одни колонии потеряла, а с другими не знает, что делать. Они ей и не нужны: Франция довольна собой и лепится все больше и больше к своему средоточию, а средоточие — к своему господину. Какая же независимость может быть в такой стране?

А с другой стороны, как же бросить Францию, la belle France?[678] «Разве она и теперь не самая свободная страна в мире, разве ее язык — не лучший язык, ее литература — не лучшая литература, разве ее силлабический стих не звучнее греческого гексаметра?» К тому же ее всемирный гений усвоивает себе и мысль и творение всех времен и стран: «Шекспир и Кант, Гёте и Гегель разве не сделались своими во Франции?» И еще больше: Прудон забыл, что она их исправила и одела, как помещики одевают мужиков, когда

---

[678] Сноски: 678
прекрасную Францию (*фр.*).

их берут во двор.

Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм; ему стоило только расстричь несколько церковных фраз и прикрыть их, вместо клобука, фригийской шапкой, чтоб молитва «бизантинских»[679] архиереев как раз пришлась архиерею социализма!

Что за хаос! Прудон, освобождаясь от всего, кроме *разума*, хотел остаться не только мужем вроде Синей Бороды, но и французским националистом с литературным шовинизмом и безграничной родительской властью, а потому вслед за крепкой, полной сил мыслию свободного человека слышится голос свирепого старика, диктующего свое завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь.

Не любит романский мир свободы, он любит только домогаться ее; силы на *освобождение* он иногда находит, на *свободу* — никогда. Не печально ли видеть таких людей, как Огюст Конт, как Прудон, которые последним словом ставят: один — какую-то мандаринскую иерархию, другой — свою каторжную семью и апотеозу бес-

---

[679] Сноски: 679
византийских (*фр.* byzantin).

человечного «Pereat mundus — fiat justitia!»[680]

Раздумье по поводу затронутых вопросов
I

...С одной стороны, безответно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный брак, нераздельность отцовской власти, — семья, в которой для *общественной* цели лица гибнут, *кроме одного*, свирепый брак, в котором признана неизменяемость чувств, кабала обету, с другой — возникающие ученья, в которых брак и семья развязаны, признана неотразимая власть страстей, необязательность былого и независимость лиц.

С одной стороны, женщина, чуть не побиваемая каменьями за измену, с другой — самая ревность, поставленная hors la loi[681], как болезненное, искаженное чувство эгоизма, проприетаризма и романтического ниспровержения здоровых и естественных понятий.

---

[680] Сноски: 680
«Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие!» (*лат.*)

[681] Сноски: 681
вне закона (*фр.*).

Где истина… где диагональ? Двадцать три года тому назад я уже искал выхода из этого леса противоречий[682].

Мы смелы в отрицании и всегда готовы толкнуть всякого перуна в воду, но перуны домашней и семейной жизни как-то water-proof[683], они все «выдыбаются». Может, в них и не осталось смысла — но жизнь осталась; видно, орудия, употребляемые против них, только скользнули по их змеиной чешуе, уронили их, оглушили… но не убили.

Ревность… Верность… Измена… Чистота… Темные силы, грозные слова, по милости которых текли реки слез, реки крови, — слова, заставляющие содрогаться нас, как воспоминание об инквизиции, пытке, чуме… и притом слова, под которыми, как под Дамокловым мечом, жила и живет семья.

Их не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицанием. Они остаются *за углом* и дремлют, готовые при малейшем поводе все губить: близкое и дальнее, губить нас самих…

---

[682] Сноски: 682
«Былое и думы», т. III. «По поводу одной драмы».

[683] Сноски: 683
непромокаемы (*англ.*).

Видно, надобно оставить благое намерение тушить дотла такие тлеющие пожары и скромно ограничиться только тем, чтоб разрушительный огонь человечески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, так, как судом нельзя их оправдать. Страсти — факты, а не догматы.

Ревность, сверх того, состояла на особых правах. Сама по себе сильная и *совершенно естественная* страсть, она до сих пор, вместо обуздания, укрощения, была только подстрекаема. Христианское учение, ставящее, из ненависти к телу, все плотское на необыкновенную высоту, аристократическое поклонение своей крови, чистоте породы развило до нелепости понятие несмываемого пятна, смертельной обиды. Ревность получила jus gladii[684], право суда и мести. Она сделалась *долгом чести*, чуть не добродетелью. Все это не выдерживает ни малейшей критики, но затем все же на дне души остается очень *реальное* и несокрушимое чувство *боли, несчастия*, называемое ревностью, — чувство элементарное, как само чувство любви, противостоящее всякому отрицанию, — чувство «ирредуктибель-

---

[684] Сноски: 684
право меча (*лат.*).

ное»[685].

...Тут опять те вечные грани, те кавдинские фуркулы, под которые нас гонит история. С обеих сторон *правда*, с обеих — *ложь*. Бойким entweder — oder[686] и тут ничего не возьмешь. В минуту полного отрицания *одного* из терминов *он* возвращается, так, как за последней четвертью месяца является с другой стороны первая.

Гегель *снимал* эти пограничные столбы человеческого разума, подымаясь в *безусловный дух*; в нем они не исчезали, а *преображались*, *исполнялись*, как выражалась немецкая теологическая наука, — это мистицизм, философская теодицея, аллегория и самое дело, намеренно смешанные. Все религиозные примирения непримиримого делаются *искуплениями*, т. е. священным преобразованием, священным обманом, таким разрешением, которое не разрешает, а дается на веру. Что может быть противоположное *личной воли* и *необходимости*, а верой и они легко примиряются. Человек безропотно в одно и то же время принимает справедливость наказания за поступок, который был предопределен.

---

[685] Сноски: 685
неизменяемое (*фр.* irréductible).

[686] Сноски: 686
или — или (*нем.*).

Сам Прудон поступил, в другом порядке вопросов, гораздо человечественнее немецкой науки. Он выходит из экономических противоречий тем, что признает обе стороны под обузданием высшего начала. Собственность-*право* и собственность-*кража* становятся рядом, в вечном колебании, в вечном восполнении, под постоянно растущим миродержавием *справедливости.* Ясно, что противоречия и спор переносятся в другую сферу и что к отчету требовать приходится понятие справедливости больше, чем право собственности.

Чем высшее начало проще, менее мистично и менее односторонно, чем оно реальнее и прилагаемее, тем полнее оно сводит термины противоречащие на их наименьшее выражение.

Безусловный, «перехватывающий» дух Гегеля заменен у Прудона грозною идеей Справедливости.

Но и ею вряд ли разрешатся вопросы страстей. Страсть сама по себе несправедлива. Справедливость отвлекается от личностей, она междулична — страсть только индивидуальна.

Тут выход не в суде, а в человеческом развитии личностей, в выводе их из лирической замкнутости на белый свет, в *развитии общих интересов.*

Радикально уничтожить ревность значит уничтожить *любовь к лицу*, заменяя ее любовью к женщине или к мужчине, вообще — любовью к полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и дает колорит, tonus, страстность всей нашей жизни. «Наш лиризм — *личный*, наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризм со всей своей логикой так же мало утешает в личном горе, как и римские консоляции[687] с своей риторикой. Ни слез о потере, ни слез ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтоб *они лились человечески*... и чтоб в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля уязвленного собственника[688].

---

[687] Сноски: 687

утешительные речи (*лат.* consolatio).

[688] Сноски: 688

Читая корректурный лист, мне попалась французская газета, в которой рассказан чрезвычайно характеристический случай. Возле Парижа какой-то студент завел связь с девушкой, связь эта открылась. Отец ее отправился к студенту и умолял его со слезами, *на коленях, восстановить* честь дочери и жениться на ней; студент с дерзостью отказался. Коленопреклоненный отец дал ему пощечину, студент его вызвал, они стрелялись; во время дуэли старика хватил паралич, изуродовавший его. Студент сконфузился и «решился жениться», а невеста огорчилась и решилась выйти замуж. Газета прибавляет, что такая *счастливая* развязка, верно, будет много способствовать к выздоровлению старика. Неужели все это не сумасшедший дом? Неужели Китай, Индия, над юродствами и уродствами которых мы столько издеваемся, представляют что-нибудь безобразнее, глупее этой истории? Я уже не говорю — безнравственнее. Парижский роман в сто

раз преступнее всех поджариваемых вдов и зарываемых весталок. Там *вера*, снимающая всякую ответственность, а здесь одни условные, призрачные понятия о внешней чести, о внешней репутации… Не явно ли из дела, что за человек студент? За что же судьбу девушки сковали с ним à perpétuité <навеки (*фр.*)>? За что же ее сгубили для спасения имени? О, Бедлам! (1866).

II

Свести отношения мужчины и женщины на случайную половую встречу так же невозможно, как поднять и свинтить их до гробовой доски в неразрывном браке. И то и другое может встретиться на закраинах половых и брачных отношений как частный случай, как исключение, но не как общее правило. Половое отношение перервется или будет постоянно стремиться к более тесному и прочному соединению, так, как нерасторгаемый брак — к освобождению от внешней цепи.

Люди постоянно протестовали против обеих крайностей. Нерасторгаемый брак был принимаем ими лицемерно или сгоряча. Случайная близость никогда не имела полной инвеституры, ее всегда скрывали, так, как хвастались браком. Все попытки официальной регламентации публичных домов, несмотря на то, что они имеют в виду их стеснение, оскорбляют общественный, нравственный смысл. Он в устройстве видит признание. Проект, сделанный одним господином в Париже, во время Директории, о заведении привилегированных публичных домов с своей

иерархией и пр., был даже в те времена принят свистом и пал под громом смеха и пренебрежения.

Здоровая жизнь человека равно бежит от монастыря и от скотного двора, от бесполья инока, поставленного церковью выше брака, и от бездетного удовлетворения страстей…

Брак для христианства — уступка, непоследовательность, слабость. Христианство смотрит на брак так, как общество на конкубинат.

Монах и католический поп приговорены к вечному безбрачью в награду за глупую победу свою над человеческой природой.

Вообще, христианский брак мрачен и несправедлив, он восстановляет неравенство, против которого проповедует Евангелие, и отдает жену в рабство мужу. Жена пожертвована, любовь (ненавистная церкви) пожертвована; выходя из церкви, она становится излишней и заменяется долгом и обязанностью. Из самого светлого, радостного чувства христианство сделало боль, истому и грех. Роду человеческому приходилось или вымереть, или быть непоследовательным. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаянием и угрызением совести,

а сочувствием, реабилитацией. Протест начался в самый разгар католичества и рыцарства.

Грозный муж, Рауль Синяя Борода, в латах, с мечом, своевольный, ревнивый и беспощадный, босой монах, угрюмый, безумный, изувер, готовый мстить за свои лишения, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики… и где-нибудь в башне или подвале рыдающая женщина, юноша паж в цепях, за которых никто не вступится. Все мрачно, дико, везде кровь, ограниченность, насилие и латинская молитва в нос.

Но за спиной монаха, исповедника и тюремщика… стоящих на страже брака с грозным мужем, отцом, братом, слагается в тиши *народная легенда*, раздается песня, ходит из места в место, из замка в замок, с трубадуром и миннезингером, — она поет *за* несчастную женщину. Суд разит — песня отпускает. Церковь предает анафеме любовь вне брака — песня проклинает брак без любви. Она защищает влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь не рассуждением, а сочувствием, жалостью, плачем. Песня для народа — его светская молитва, его *другой* выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы.

В праздничные дни литании Богородице сме-

нялись печальными звуками des complaintes[689], которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и ставили перед всех скорбящей Девой, прося ее заступы и прощенья.

Из песен и легенд протест растет в роман и драму. В драме он становится силой. Обиженная любовь, мрачные тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный суд. Процесс их потрясал тысячи сердец, вырывая слезы и крики негодования против кабального брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и лож произносили постоянно свое оправдание лицам и осуждение институтам.

Между тем в эпоху политических перестроек и светского направления умов одна из двух крепких ножек брака стала подламываться. Переставая все более и более быть таинством, т. е. теряя последнюю основу свою, он тем больше опирался на полицию. Только мистическим вмешательством высшей силы и может быть оправдан христианский брак. Тут есть своя логика, безумная, но логика. Квартальный, надевающий на себя трехцветный шарф и венчающий с гражданским кодексом в руке, гораздо

---

[689] Сноски: 689
жалобных песен (*фр.*).

нелепее священника в ризе, окруженного дымом ладана, образами, чудесами. Сам первый консул Наполеон, самый буржуазно-прозаический человек в деле любви и семьи, догадался, что брак на съезжей больно плох, и уговаривал Камбасереса прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *верной* мужу (о нем ни слова) и слушаться его.

Как скоро брак выходит из сфер мистицизма, он делается expédient[690], внешней мерой. Ее ввели испуганные «Синие Бороды», обрившиеся и сделавшиеся «синими подбородками», Раули в судейских париках, академических фраках, народные представители и либералы, попы кодекса. Гражданский брак — мера государственного хозяйства, освобождение государства от воспитания детей и вящее прикрепление людей к собственности. Брак без вмешательства церкви сделался кабальным контрактом на пожизненное отдание своего тела друг другу. До веры, до мистических бредней законодателю дела нет, лишь бы контракт был исполнен; а не будет исполнен, он найдет средства наказать

[690] Сноски: 690
средством для достижения определенной цели (*фр.*).

и добить. Да отчего же и не наказать? В Англии, в классической стране юридического развития, подвергают же страшнейшим истязаниям шестнадцатилетнего мальчика, которого старый казарменный сводник, с лентами на шляпе, напоит элем и джином и завербует в полк. Отчего же не наказывать позором, разорением, выдачей головой девочку, которая, не давая себе отчета в том, что делает, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra[691], забывая, что season ticket[692] не передается.

Но и на «синий подбородок» нашлись свои труверы и романисты. Против контрактового брака водрузился догмат психиатрический, физиологический, догмат *абсолютной непреложности страстей и человеческой несостоятельности бороться с ними.*

Вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против нее сил нет.

Затем стирается всякий разумный контроль, всякая ответственность, всякое самообуздание. Покорение человека неотразимым и не подчиненным ему силам — дело совершенно

---

[691] Сноски: 691
Здесь: лишнее (*лат.*).

[692] Сноски: 692
сезонный билет (*англ.*).

противоположное тому освобождению в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стремятся, разными путями, все социальные учения.

Мнимые силы, если люди их принимают за действительные, точно так же мощны, как и действительные, и это потому, что материал, даваемый человеком, *тот же* — какая бы сила ни была. Человек, который боится духов, и человек, который боится бешеных собак, боится одинаким образом и может умереть от страха. Разница в том, что в одном случае человеку можно доказать, что он боится вздора, а в другом нельзя.

Я отрицаю то царственное место, которое дают *любви* в жизни, я отрицаю ее самодержавную власть и протестую против слабодушного оправдания увлечением.

Неужели мы освободились от всего на свете: от Бога и диавола, от римского и уголовного права — и провозгласили разум единственным путеводителем и регулятором для того, чтоб скромно, как Геркулес, лечь у ног Омфалы или уснуть на коленях Далилы? Неужели женщина искала своего освобождения от ига семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав

на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон-Леони вместо одного?

Да, женщину в этом вопросе мне всего больше жаль: ее безвозвратное точит и губит всепожирающий Молох любви. Она больше верует в него, больше страдает. Она больше сосредоточена на одном половом отношении, больше *загнана в любовь*... Она больше сведена с ума и меньше нас доведена до него.

Мне ее жаль.

III

Разве кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предрассудки в женском воспитании? Их разбивает опыт, и оттого-то ломится не предрассудок, а жизнь.

Люди обходят вопросы, нас занимающие, как старухи и дети обходят кладбище или места, на которых совершилось злодейство. Одни боятся нечистых духов, другие чистой правды и остаются при фантастическом неустройстве и неисследованной тьме. Серьезного единства во взгляде на половые отношения так же мало,

как во всех практических сферах. Все еще мерещится возможность соединить христианскую нравственность, идущую от попрания плоти на *тот свет*, с земной, реальной нравственностью *этого* света. С досады, что не ладится, и чтоб недолго мучить себя над разрешением вопросов, люди оставляют по выбору и по вкусу то, что им нравится из церковного учения, и бросают то, что не нравится, на том самом основании, на котором, не соблюдая постов, усердно едят блины, и, не оставляя веселых религиозных обычаев, устраняются от скучных. А кажется, давно пора внести больше спетости и мужества в поведение. Пусть уважающий закон остается подзаконным и не нарушает его, а не принимающий — свободным от него открыто и сознательно.

Трезвый взгляд на людские отношения гораздо труднее для женщины, чем для нас, в этом нет сомнения; они больше обмануты воспитанием, меньше знают жизнь и оттого чаще оступаются и ломают голову и сердце, чем освобождаются, всегда бунтуют и остаются в рабстве, стремятся к перевороту и пуще всего поддерживают существующее.

С детских лет девушка испугана половым отношением, какой-то *страшной, нечистой тайной*,

от которой ее предостерегают, отстращивают, как будто этот грех имеет какую-то чарующую силу. И потом то же чудовище, то же magnum ignotum[693], пятнающее неизгладимым пятном, дальнейший намек на которое заставляет краснеть и позорит, ставится целью ее жизни. Мальчику, едва умеющему ходить, дают жестяную саблю, приучая его к убийству, ему пророчат гусарский мундир и эполеты; девочку убаюкивают надеждой богатого, красивого жениха, и она мечтает об эполетах, но не на своих плечах, а на плечах суженого.

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'à l'âge de quinze ans,
A quinze ans faut te réveiller,
A quinze ans faut te marier[694].

Надобно дивиться хорошей человеческой натуре, не поддающейся такому воспитанию; следовало бы ожидать, что все девочки, так убаюканные, с пятнадцати лет пустятся на ускоренную замену убитых мальчиками, приученными с детства

[693] Сноски: 693
великое неизвестное (*лат.*).

[694] Сноски: 694
Спи, спи, дитя мое, до пятнадцати лет. В пятнадцать лет придется проснуться, в пятнадцать лет придется выйти замуж (*фр.*).

к смертоносным оружиям.

Христианское учение вселяет ужас перед «плотью», прежде чем организм сознает свой пол; оно будит в ребенке опасный вопрос, бросает тревогу в отроческую душу, и, когда приходит время ответа, *другое* учение возводит, как мы сказали, для девушки половое назначение в искомый идеал; ученица становится *невестой*, и та же тайна, тот же грех, но *очищенный*, является венцом воспитанья, желанием всех родных, стремлением всех усилий, чуть не общественным долгом. Искусства и науки, образование, ум, красота, богатство, грация — все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь *к официальному* падению… к тому же греху, мысль о котором считалась преступлением, но которое изменило свою сущность тем чудом, которым папа, взалкавши на дороге, благословил *скоромное блюдо в постное.*

Словом, отрицательно и положительно все воспитание женщины остается воспитанием половых отношений, около них вертится вся ее последующая жизнь… *от них* она бежит, *к ним* она бежит, *ими* опозорена, *ими* гордится… Сегодня хранит отрицательную святость непорочности, сегодня, ближайшей подруге, краснея,

шепотом говорит о любви; завтра, при блеске и шуме, при толпе, зажженных люстрах и громе музыки, бросается в объятия мужчины.

Невеста, жена, мать, женщина едва под старость, *бабушкой*, освобождается от половой жизни и становится самобытным существом, особенно если *дедушка* умер. Женщина, помеченная любовью, не скоро ускользает от нее… беременность, кормление, воспитание, развитие той же тайны, того же акта любви; в женщине он продолжается не в одной памяти, а в крови и в теле, в ней он бродит и зреет и, разрываясь, не разрывается.

На это физиологически крепкое и глубокое отношение христианство дунуло своим лихорадочным, монашеским аскетизмом, своими романтическими бреднями и раздуло его в безумное и разрушительное пламя — ревности, мести, кары, обиды.

Выпутаться женщине из этого хаоса — геройский подвиг, его совершают одни редкие, исключительные натуры; остальные женщины мучатся и если не сходят с ума, то только благодаря легкомыслию, с которым мы все живем до грозных столкновений и ударов, не мудрствуя лукаво и бессмысленно переходя с дня на день

от случайности к случайности и от противоречия к противоречию.

Какую ширину, какое человечески сильное и человечески прекрасное развитие надобно иметь женщине, чтоб перешагнуть все палисады, все частоколы, в которых она поймана!

Я видел одну борьбу и одну победу…

Глава XLII

Coup d'Etat. – Прокурор покойной республики. – Глас коровий в пустыне. – Высылка прокурора. – Порядок и цивилизация торжествуют.

«Vive la mort[695]*, друзья! И с Новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наши убеждения.*

---

[695] Сноски: 695
Да здравствует смерть (*фр.*).

Мы давно видели приближающуюся смерть; мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив, нам надобно ее поднять, – мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды, нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании, а мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением устрашенных событиями в Париже».

(«Письма из Франции и Италии», письмо XIV, Ницца, 31 дек. 1851)

Утром, помнится, 4 декабря, вошел ко мне наш повар Pasquale Rocca и с довольным видом объявил, что в городе продают афиши с извещением о том, что «Бонапарт разогнал Собрание и назначил *красное* правительство». Кто так усердно служил Наполеону и распространял, даже вне Франции (тогда Ницца была итальянской), такие слухи в народе — не знаю, но каково должно быть число всякого рода агентов, полити-

ческих кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хватило?

Через час явились Фогт, Орсини, Хоецкий, Матьё и другие — все были удивлены… Матьё, типическое лицо из французских революционеров, был вне себя.

Лысый, с черепом в виде грецкого ореха, т. е. с черепом чисто галльским, непоместительным, но упрямым, с большой, темной и нечесаной бородой, с довольно добрым выражением и маленькими глазами, Матьё походил на пророка, на юродивого, на авгура и на его птицу. Он был юрист и в счастливые дни Февральской республики был где-то прокурором или за прокурора. Революционер он был до конца ногтей — он отдался революции, так, как отдаются религии: с полной верой, никогда не дерзал ни понимать, ни сомневаться, ни мудрствовать лукаво, а любил и верил, называл Ледрю-Роллена — «Ледрррю» и Луи-Блана — Бланом просто, говорил, когда мог, «citoyen» и постоянно конспирировал.

Получивши весть о 2 декабре, он исчез и возвратился через два дня с глубоким убеждением, что Франция поднялась, que cela chauffe[696],

[696] Сноски: 696
недовольство разгорается (*фр.*).

и особенно на юге, в Варском департаменте, около Драгиньяна. Главное дело состояло в том, чтоб войти в сношения с представителями восстания… кой-кого он видел и с ними решил ночью, перейдя Вар на известном месте, собрать на совещание людей важных и надежных… Но, чтоб жандармы не могли догадаться, было положено с обеих сторон подавать сигналы «коровьим мычанием». Если дело пойдет на лад, Орсини хотел привести всех своих друзей и, не совсем доверяя верному взгляду Матьё, сам отправился вместе с ним через границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, верный своей революционной и немного кондотьерской натуре, стал приготовлять своих товарищей и оружие. Матьё пропал.

Через сутки ночью меня будит Рокка, часа в четыре

— Два господина, прямо с дороги, им очень нужно, говорят они, вас видеть. Один из них дал эту записку: «Гражданин, Бога ради, как можно скорее, вручите подателю триста или четыреста франков, крайне нужно. *Матьё*».

Я захватил деньги и сошел вниз: в полумраке сидели у окна две замечательные личности; привычный ко всем мундирам революции, я

все-таки был поражен посетителями. Они были покрыты грязью и глиной с колен до пяток; на одном был красный шарф, шерстяной и толстый, на обоих — затасканные пальто, по жилету пояс, за поясом большие пистолеты, остальное как следует: всклокоченные волосы, большие бороды и крошечные трубки. Один из них, сказав «citoyen», произнес речь, в которой коснулся до моих цивических добродетелей и до денег, которые ждет Матьё. Я отдал деньги.

— Он в безопасности? — спросил я.

— Да, — отвечал его посол, — мы сейчас идем к нему за Вар. Он покупает лодку.

— Лодку? зачем?

— Гражданин Матьё имеет целый план высадки, — гнусный трус лодочник не хотел дать внаем лодку…

— Как, высадку во Франции… с одной лодкой?..

— Пока, гражданин, это тайна.

— Comme de raison[697].

— Прикажете расписку?

— Помилуйте, зачем?

На другой день явился сам Матьё, точно так же по уши в грязи… и усталый до изнеможения; он

---

[697] Сноски: 697
Как и следует (*фр.*).

всю ночь мычал коровой, несколько раз, казалось, слышал ответ, шел на сигнал и находил действительного быка или корову. Орсини, прождав его где-то часов десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и, как всегда, со вкусом и чисто одетый, походил на человека, вышедшего из своей спальной, а Матьё носил на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать.

Началась история лодки. Долго ли до греха, — сгубил бы он полдюжины своих да полдюжины итальянцев. Остановить, убедить его было невозможно. С ним показались и военачальники, приходившие ко мне ночью; можно было быть уверенным, что он компрометирует не только всех французов, но и нас всех в Ницце. Хоецкий взялся его угомонить и сделал это артистом.

Окно Хоецкого, с небольшим балконом, выходило прямо на взморье. Утром он увидел Матьё, бродящего с таинственным видом по берегу моря… Хоецкий стал ему делать знаки; Матьё увидел и показал, что сейчас придет к нему, но Хоецкий выразил страшнейший ужас — телеграфировал ему руками неминуемую опасность и требовал, чтоб он подошел к балкону. Матьё, оглядываясь и на цыпочках, подкрался.

— Вы не знаете? — спросил его Хоецкий.

— Что?

— В Ницце взвод французских жандармов.

— Что вы?

— Ш-ш-ш-ш… Ищут вас и ваших друзей, хотят делать у нас домовый обыск — вас сейчас схватят, не выходите на улицу.

— Violation du territoire…[698] я буду протестовать.

— Непременно, только теперь спасайтесь.

— Я в St.-Hélène, к Герцену.

— С ума вы сошли! Прямо себя отдать в руки, дача его на границе, с огромным садом: и не проведают, как возьмут, — да и Рокка видел уже вчера двух жандармов у ворот.

Матьё задумался.

— Идите морем к Фогту, спрячьтесь у него покаместь, он, кстати, всего лучше вам даст совет.

Матьё берегом моря, т. е. вдвое дальше, пошел к Фогту и начал с того, что рассказал ему от доски до доски разговор с Хоецким. Фогт в ту же минуту понял, в чем дело, и заметил ему:

— Главное, любезный Матьё, не теряйте ни минуты времени. Вам через два часа надобно ехать

---

[698] Сноски: 698
Нарушение территориальной целостности (*фр.*).

в Турин; за горой проходит дилижанс, я возьму место и проведу вас тропинкой.

— Я сбегаю домой за пожитками… — и прокурор республики несколько замялся.

— Это еще хуже, чем идти к Герцену. Что вы, в своем ли уме? За вами следят жандармы, агенты, шпионы… а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой, экой Селадон! Дворник! — закричал Фогт (дворник его дома был крошечный немец, уморительный, похожий на давно не мытый кофейник и очень преданный Фогту). — Пишите скорее, что вам нужна рубашка, платок, платье, он принесет и, если хотите, приведет сюда вашу Дульцинею, целуйтесь и плачьте сколько хотите.

Матьё от избытка чувств обнял Фогта.

Пришел Хоецкий.

— Торопитесь, торопитесь! — говорил он с зловещим видом.

Между тем воротился дворник, пришла и Дульцинея — осталось ждать, когда дилижанс покажется за горой. Место было взято.

— Вы, верно, опять режете гнилых собак или кроликов? — спросил Хоецкий у Фогта. —

Quel chien de métier![699]

— Нет.

— Помилуйте, у вас такой запах в комнате, как в катакомбах в Неаполе.

— Я и сам чувствую, но не могу понять, это из угла... верно, мертвая крыса под полом — страшная вонь... — И он снял шинель Матьё, лежавшую на стуле. Оказалось, что запах идет из шинели.

— Что за чума у вас в шинели? — спросил его Фогт.

— Ничего нет.

— Ах, это, верно, я, — заметила, краснея, Дульцинея, — я ему положила на дорогу фунт лимбургского сыра в карман, un peu trop fait[700].

— Поздравляю ваших соседей в дилижансе, — кричал Фогт, хохоча, как он один в свете умеет хохотать. — Ну, однако пора. Марш!

И Хоецкий с Фогтом выпроводили агитатора в Турин.

В Турине Матьё явился к министру внутренних дел с протестом. Тот его принял с досадой и смехом.

---

[699] Сноски: 699
Что за собачье ремесло! (*фр.*)

[700] Сноски: 700
немного передержанного (*фр.*).

— Как же вы могли думать, чтоб французские жандармы ловили людей в Сардинском королевстве? — Вы нездоровы.

Матьё сослался на Фогта и Хоецкого.

— Ваши друзья, — сказал министр, — над вами пошутили.

Матьё написал Фогту; тот нагородил ему не знаю какой вздор в ответ. Но Матьё надулся, особенно на Хоецкого, и через несколько недель написал мне письмо, в котором между прочим писал: «Вы один, гражданин, из этих господ не участвовали в коварном поступке против меня»…

К характеристическим странностям этого дела принадлежит, без сомнения, то, что восстание в Варе было очень сильное, что народные массы действительно поднялись и были усмирены оружием, с обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матьё и телохранители его, при всем усердии и мычании, не знали, где к ним примкнуть? Никто не подозревает ни его, ни его товарищей, что они намеренно ходили пачкаться в грязи и глине и не хотели идти туда, где была опасность, — совсем нет. Это вовсе не в духе французов, о которых Дельфина Ге говорила, что «они всего боятся, за исключением

ружейных выстрелов», и еще больше не в духе de la démocratie militante[701] и красной республики… Отчего же Матьё шел направо, когда восставшие крестьяне были налево?

Несколько дней спустя, как желтый лист, гонимый вихрем, стали падать на Ниццу несчастные жертвы подавленного восстания. Их было так много, что пиэмонтское правительство, до поры до времени, дозволило им остановиться какими-то биваками или цыганским табором возле города. Сколько бедствий и несчастий видели мы на этих кочевьях, — это та страшная, закулисная часть внутренних войн, которая обыкновенно остается за большой рамой и пестрой декорацией вторых декабрей.

Тут были простые земледельцы, мрачно тосковавшие о доме, о своей землице и наивно говорившие: «Мы вовсе не возмутители и не partageux[702]; мы хотели защищать порядок, как добрые граждане; ce sont ces coquins[703], которые нас вызвали (т. е. чиновники, мэры,

---

[701] Сноски: 701
воинствующей демократии (*фр.*).

[702] Сноски: 702
сторонники раздела земель (*фр.*).

[703] Сноски: 703
а эти негодяи (*фр.*).

жандармы), они изменили присяге и долгу — а мы теперь должны умирать с голоду в чужом крае или идти под военный суд?.. Какая же тут справедливость?» — И действительно, coup d'Etat вроде второго декабря убивает больше, чем людей: он убивает всякую нравственность, всякое понятие о добре и зле у целого населения; это такой урок разврата, который не может пройти даром. В числе их были и солдаты, troupiers[704], которые не могли сами надивиться, как они, вопреки дисциплины и приказаний капитана, очутились не с той стороны, с которой полк и знамя. Их число, впрочем, не было велико.

Тут были простые, небогатые буржуа, которые на меня не делают того омерзительного впечатления, как не простые: жалкие, ограниченные люди, они кой-как, с трудом, между обмериванием и обвешиванием усвоивая себе две-три мысли и полумысли об обязанностях, восстали за них, когда увидели, что их святыня попрана. «Это победа эгоизма, — говорили они, — да, да, эгоизма, а уж где эгоизм, тут порок; надобно, чтоб каждый исполнял долг свой без эгоизма».

Тут были, разумеется, и городские работники,

---

[704] Сноски: 704
рядовые (*фр.*).

этот искренний и настоящий элемент революции, стремящейся декретировать la sociale[705] и в ту же меру воздать буржуа и aristo[706], в какую они им воздают.

Наконец, тут были раненые, и страшно раненые. Я помню двоих крестьян средних лет, доползших, оставляя кровавый след, от границы до предместья, в котором жители подняли их полумертвыми. За ними гнался жандарм; видя, что граница недалеко, он выстрелил в одного и раздробил ему плечо… Раненый продолжал бежать… жандарм выстрелил еще раз, раненый упал; тогда он поскакал за другим и нагнал его сначала пулей, а потом сам. Второй раненый сдался, жандарм второпях привязал его к лошади и вдруг хватился первого… Тот дополз до перелеска и пустился бежать… Догнать его верхом было трудно, особенно с другим раненым, оставить лошадь невозможно… *Жандарм выстрелил à bout portant*[707] *пленному в голову, сверху вниз*, тот упал замертво: пуля раздробила ему всю правую

---

[705] Сноски: 705
социальное устройство общества (*фр.*).

[706] Сноски: 706
Аристократам (иронич. сокращ. от *фр.* aristocrate).

[707] Сноски: 707
в упор (*фр.*).

сторону лица, все кости. Когда он пришел в себя, никого не было… Он добрался по знакомым тропинкам, протоптанным контрабандистами до Вара, и перешел его, исходя кровью; тут он нашел совершенно истощенного товарища и с ним *дожил* до первых домов St.-Hélène. Там, как я сказал, их спасли жители. Первый раненый говорил, что после выстрела он зарылся в какие-то кусты, что он потом слышал голоса, что охотник-жандарм, верно, настиг других и поэтому удалился.

Каково усердие французской полиции!

За ним следовало усердие мэров, их помощников, прокуроров *республики* и префектов; оно показалось при подаче и счете голосов. Все это истории чисто французские, известные всему миру. Скажу только, что в отдаленных местах меры для достижения огромного большинства при вотировании были взяты с сельской простотой. По ту сторону Вара в первом местечке мэр и жандармский brigadier[708] сидели возле урны и смотрели, какой бюльтень кто кладет, тут же говоря, что они свернут потом в бараний рог всякого *бунтовщика.* Казенные бюльтени были печатаны на особой бумаге, — ну, так и вышло,

[708] Сноски: 708
унтер-офицер (*фр.*).

что во всем местечке нашлось, не знаю, пять или десять смельчаков беспардонных, вотировавших против плебисцита; остальные, и с ними вся Франция, вотировали империю in spe.

Былое и думы. Том II

Часть пятая
(окончание)
<Рассказ о семейной драме>
I

1848

«Так много понимать (писала Natalie к Огареву в конце 1846 года) и не иметь силы сладить, не иметь твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться на *первом* — жалко! И это все я понимаю как нельзя больше и все-таки не могу выработать себе не только наслаждения, но и снисхождения. Хорошее я понимаю вне себя, отдаю ему справедливость, а в душе отражается одно мрачное и мучит меня. Дай мне твою руку и скажи со мною вместе, что тебя ничто не удовлетворяет, что ты многим недоволен, а потом научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться, — у меня все есть для этого, лишь развей эту способность».

Эти строки и остатки журнала, относящегося к тому времени и приложенного в другом

месте[709], писаны под влиянием московских размолвок.

Темная сторона снова брала верх — отдаление Грановских испугало Natalie, ей казалось, что весь круг распадается и что мы остаемся одни с Огаревым. Женщина, едва вышедшая из ребячества, которую она любила, как меньшую сестру, ушла далее других. Вырваться во что б ни стало из этого круга сделалось тогда страстной idée fixe[710] Natalie.

Мы уехали.

Сначала новость — Париж, — потом просыпавшаяся Италия и революционная Франция захватили всю душу. Личное раздумье было побеждено историей. Так дожили мы <до> Июньских дней.

…Еще прежде этих страшных, кровавых дней пятнадцатое мая провело косой по вторым всходам надежды… «Трех полных месяцев не прошло еще после 24 февраля, башмаков не успели износить, в которых строили баррикады, а уж усталая

---

[709] Сноски: 709

В «Арабесках» (*здесь и далее, за исключением перевода слов, прим. А. И. Герцена*).

[710] Сноски: 710

навязчивой идеей (*фр.*).

Франция напрашивалась на усмирение»[711]. Капли крови не пролилось в этот день — это был тот сухой удар грома при чистом небе, вслед за которым чуется страшная гроза. В этот день я с каким-то ясновидением заглянул в душу буржуа, в душу работника и ужаснулся. Я видел свирепое желание крови с обеих сторон — сосредоточенную ненависть со стороны работников и плотоядное, свирепое самосохранение со стороны мещан. Такие два стана не могли стоять друг возле друга, толкаясь ежедневно в совершенной чересполосице — в доме, на улице, в мастерской, на рынке. Страшный, кровавый бой, не предсказывавший ничего доброго, был за плечами. Этого никто не видел, кроме консерваторов, накликавших его; ближайшие знакомые говорили с улыбкой о моем раздражительном пессимизме. Им легче было схватить ружье и идти умирать на баррикаду, чем смело взглянуть в глаза событиям; им вообще хотелось не пониманье дела, а торжество над противниками, им хотелось поставить на своем.

Я становился дальше и дальше от всех. Пустота грозила и тут, — но вдруг барабанный

[711] Сноски: 711
«Письма из Франции и Италии».

бой — утром рано дребезжавший по улицам *сбор* возвестил начало катастрофы.

Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны, они положили черту в моей жизни. Повторю несколько строк, писанных мною через месяц[712].

«Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать — не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить о них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще *раздаются* выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St. Denis, на Елисейских Полях и мрачное ночное “Sentinelle, prenez garde à vous!.. ”[713] Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

---

[712] Сноски: 712
«Письма из Франции и Италии».

[713] Сноски: 713
«Часовой, берегись!» (*фр.*)

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, — от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся; я оправляюсь после Июньских дней, как после тяжкой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре, перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по разным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont-Neuf, сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи, барабан раздавался со всех сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался;

я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после Июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки на всех переулках строились баррикады. Я как теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил знамя и запел тихим, печальным голосом "Марсельезу"; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу… Набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию…

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы "Насионаля" дали им исполнителей.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы "Насионаля" над Парижем, правильные залпы, с небольшими расстановками… Мы все взгля-

нули друг на друга, у всех лица были зеленые… “Ведь это расстреливают”, — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты*!

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж; надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили ходили по бульварам, распевая “Mourir pour la patrie”[714]; мальчишки 16, 17 лет хвастали кровью своих братий, запекшейся на их руках, в них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтобы приветствовать победителей. Каваньяк возил с собой в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная ме-

[714] Сноски: 714
«Умереть за отечество» (*фр.*).

бель тлела, куски разбитых зеркал мерцали… А где же хозяева, жильцы? — об них никто и не думал… местами посыпали песком, кровь все-таки выступала… К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских Полей; на place de la Concorde везде было сено, кирасирские латы, седла, в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и <в> 1814 году.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя… одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы: кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки: клинок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе

нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого».

Natalie писала около того же времени в Москву: «Я смотрю на детей и плачу, мне становится страшно, я не смею больше желать, *чтоб они были живы*, может, и их ждет такая же ужасная доля».

В этих словах отголосок всего пережитого — в них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательствами, и бедный, глухонемой мальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот — за то, что не слышал «Passez au large!»[715].

И как же иначе могло это отразиться на душе женщины, так несчастно, глубоко понимавшей все печальное… Тут и светлые характеры стали мрачны, исполнены желчи — какая-то злая боль ныла внутри и какой-то родовой стыд — делал неловким жизнь.

Не фантастическое горе по идеалам, не воспоминанья девичьих слез и христианского романтизма всплыли еще раз надо всем в душе Natalie — а скорбь истинная, тяжелая, не по жен-

---

[715] Сноски: 715
«Проходи!» (*фр.*)

ским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел, напротив, он сделался *живою болью.* Это было сокрушенье сестры, материнский плач на печальном поле только что миновавшей битвы. Она была *в самом деле* то, что Рашель лгала своей «Марсельезой».

Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упования и надежды; ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодование, выступающее через край, — это был выход.

У нее не было его. Утром дети, вечером наши раздраженные, злые споры, — споры прозекторов с плохими лекарями. Она страдала — а я вместо врачеванья подавал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б за ее больной душой я вполовину так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом… я не допустил бы побегам от разъедающего корня проникнуть во все стороны. Я сам их укрепил и вырастил, не изведая, может ли она вынести их, сладить с ними.

Самая жизнь наша устроилась странно. Редко бывали тихие вечера интимной беседы, мир-

ного покоя. Мы не умели еще запирать дверей от посторонних. К концу года начали отовсюду являться гонимые из всех стран — бездомные скитальцы; они искали от скуки, от одиночества какого-нибудь дружеского крова и теплого привета.

Вот как она писала об этом: «Мне надоели китайские тени, я не знаю, зачем и кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей; всё хорошие люди, *иногда*, мне кажется, я была бы с ними с удовольствием, а так слишком часто, жизнь так похожа на капель весною — кап, кап, кап — все утро забота о Саше, о Наташе, и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, рассеянна так, что мне становится иногда страшно и больно; приходит вечер, дети укладываются, — ну, кажется, отдохну — нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого пуще тяжело, что хорошие люди; иначе я была бы совсем одна, а тут я не одна, и присутствие их *не чувствую*, будто дым кругом бродит, глаза ест, дышать тяжело, а уйдут — ничего не остается… Настает завтра — все то же, настает другое завтра — все то же. Никому другому я бы не сказала этого, — примут за жалобу, подумают, что недовольна жизнию. Ты понимаешь меня, ты

знаешь, что я ни с кем в свете не променялась бы; это минутное негодование, усталь… Струя свежего воздуха — и я воскресаю во всей силе…» (21 ноября 1848).

«Если б все говорить, что проходит по голове, мне иногда так страшно становится, глядя на детей… Что за смелость, что за дерзость *заставить* жить новое существо и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою — это страшно, иногда я кажусь себе преступницей; легче отнять жизнь, нежели дать, если б это делалось с сознанием. Я еще не встречала никого, про кого могла бы сказать: “Вот, если б мой ребенок был такой”, т. е. если б его жизнь была такая… Мой взгляд упрощается больше и больше. Вскоре после рождения Саши я желала, чтоб он был великий человек, позже — чтоб он был тем, другим… наконец, я хочу, чтоб…»

Тут письмо перервано тифоидной горячкой Таты, вполне развившейся, но 15 дек<абря> добавлено: «Ну так я хотела сказать тогда, что теперь я ничего не хочу сделать из детей, лишь бы им жилось весело и хорошо — а остальное все пустяки…»

24 янв<аря> 1849. «Как бы я хотела иногда тоже бегать по-мышиному и чтоб эта беготня

меня интересовала, а то быть так праздной, так праздной среди этой суеты, среди этих необходимостей — а заняться тем, чем бы я хотела, нельзя; как мучительно чувствовать себя всегда в такой дисгармонии с окружающими — я не говорю о самом тесном круге — да, если б можно было в нем заключиться, — нельзя. Хочется далее, вон — но хорошо было идти вон, когда мы были в Италии. А теперь — что же это? Тридцать лет — и те же стремления, та же жажда, та же неудовлетворенность, — да, я это говорю громко. А Наташа подошла на этом слове и так крепко меня расцеловала… Неудовлетворенность? — я слишком счастлива, la vie déborde[716]… Но

Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Только с тобой я так могу говорить, ты меня поймешь, оттого, что ты так же слаба, как я, но с другими, кто сильнее и слабее, я бы не хотела *так* говорить, не хотела, чтоб они *слышали*, как и говорю. Для них я найду другое. Потом меня пуга-

---

[716] Сноски: 716
жизнь бьет через край (*фр.*).

ет мое равнодушие; так немногое, так немногие меня интересуют… Природа, — только не в кухне, история, — только не в Камере, — потом семья, потом еще двое-трое — вот и всё. А ведь какие все добрые — занимаются моим здоровьем, глухотой Коли…»

27 января. «Наконец, сил недостает смотреть на предсмертные судороги, они слишком продолжительны, а жизнь так коротка; мною овладел эгоизм, оттого что самоотвержением ничего не поможешь, разве только доказать пословицу: “На людях и смерть красна”. Но довольно умирать, хотелось бы пожить, я бы бежала в Америку… Чему мы поверили, что приняли за осуществление, то было пророчество, и пророчество очень раннее. Как тяжело, как безотрадно, — мне хочется плакать, как ребенку. Что личное счастье?.. Общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух наполнен только предсмертным заразительным дыханием».

1 февраля. «N… N., если б ты знала, друг мой, как темно, как безотрадно за порогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, забыть все, кроме этого тесного круга…

Невыносимо брожение, которого результат

будет через несколько веков; существо мое слишком слабо, чтоб всплыть из этого брожения и смотреть так вдаль, — оно сжимается, уничтожается».

Это письмо заключается словами: «Я желаю иметь так мало сил, чтоб не чувствовать своего существования, когда я его чувствую, я чувствую всю дисгармонию всего существующего».

Приметы

Реакция торжествовала; сквозь бледно-синюю республику виднелись черты претендентов; Национальная гвардия ходила на охоту по блузам, префект полиции делал облавы по рощам и катакомбам, отыскивая скрывавшихся. Люди менее воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке: Т<учковы> жили в том же доме, М<ария> Ф<едоровна> у нас, А<нненко>в и Т<ургенев> приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж, вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необходимости, вероятно, думая спастись от внутренней тягости, от Июньских дней, взошедших

в кровь и которые они везли с собой.

Зачем не уехал и я? Многое было бы спасено, и мне не пришлось бы принесть столько человеческих жертв и столько самого себя на заклание Богу жестокому и беспощадному.

День нашей разлуки с Т<учковы>ми и с М<арией> Ф<едоровной> как-то особо каркнул вороном в моей жизни; я и этот сторожевой крик пропустил без внимания, как сотни других.

Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они последствия, начальные воплощения готового вступить в жизнь, обличения тайно бродящего и уже существующего. Мы не замечаем эти психические *приметы*, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своей жизнию.

Накануне отъезда наших друзей они и еще человека три-четыре близких знакомых собрались у нас. Путешественники должны были быть на железной дороге в 7 часов утра; ложиться

спать не стоило труда, всем хотелось лучше вместе провести последние часы. Сначала все шло живо, с тем нервным раздражением, которое всегда бывает при разлуке, но мало-помалу темное облако стало заволакивать всех… разговор не клеился, всем сделалось не по себе, налитое вино выдыхалось, натянутые шутки не веселили. Кто-то, увидя рассвет, отдернул занавесь, и лица осветились синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.

Все были печальны; я задыхался от грусти.

Жена моя сидела на небольшом диване, перед ней на коленях и скрывая лицо на ее груди стояла младшая дочь Т<учкова> «Consuelo di sua alma»[717], как она ее звала. Она любила страстно мою жену и ехала от нее поневоле в глушь деревенской жизни; ее сестра грустно стояла возле. Консуэла шептала что-то сквозь слез, а в двух шагах молча и мрачно сидела М. Ф.; она давно свыклась с покорностью судьбе, она знала жизнь, и в ее глазах было просто «Прощайте», в то время как сквозь слезы молодых девушек все-таки просвечивало «До свиданья».

Потом мы поехали их провожать. В высоком,

---

[717] Сноски: 717
«Утешение моей души» (*ит.*).

пустом каменном амбаркадере было пронзительно холодно, двери хлопали неистово и сквозной ветер дул со всех сторон. Мы уселись в углу на лавке; Т<учков> пошел хлопотать с чемоданами. Вдруг дверь отворилась, и два пьяных старика шумно взошли в залу. Платья их были замараны, лица искажены, от них несло диким развратом. Они взошли ругаясь, один хотел ударить другого, тот посторонился и, размахнувшись что есть силы, ударил его самого в лицо; пьяный старик полетел со всех ног. Голова его с каким-то дребезжащим, пронзительным звуком щелкнулась о каменный пол; он вскрикнул, приподнял голову, кровь лилась ручьями по седым волосам и камням. Полиция и пассажиры с неистовством бросились на другого старика.

С вечера раздраженные, взволнованные, в натянутом состоянии, мы крепились, но страшное эхо, раздавшееся в огромной зале от костяного звука ударившегося черепа, произвело во всех что-то истерическое. Наш дом и весь наш круг был во все времена чист и свободен от «трагинервических явлений», но это было сверх сил; я чувствовал дрожь во всем теле, жена моя была близка к обмороку, а тут звонок — пора, пора! — и мы остались вдруг за решеткой — одни.

Ничего нет грубее и оскорбительнее для расстающегося, как полицейские меры во Франции на железных дорогах; они крадут у остающегося последние две-три минуты… *Они* еще тут, машина не свистнула еще, поезд не отошел, но между вами загородка, стена и рука полицейского, — а вам хочется видеть, как сядут, как тронутся с места, потом следить за отдалением, за пылью, дымом, точкой, следить, когда уж ничего не видать…

…Молча приехали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэло; по временам, завертываясь в шаль, она спрашивала меня: «Помнишь этот звук? он у меня в ушах».

Дома я уговорил ее прилечь, а сам сел читать газеты; читал, читал и premiers-Paris[718], и фельетоны, и смесь, взглянул на часы — еще не было двенадцати… Вот день! Я пошел к А<нненкову>, он тоже ехал на днях; с ним отправились мы гулять, улицы были скучнее чтения, такая тоска… точно угрызения совести томили меня. «Пойдемте ко мне обедать», — сказал я, и мы пошли. Жена моя была решительно больна.

Вечер был бессвязен, глуп.

---

[718] Сноски: 718
передовые статьи парижских газет (*фр.*).

— Итак, решено, — спросил я А<нненкова> прощаясь, — вы едете в конце недели?

— Решено.

— Жутко будет вам в России.

— Что делать, мне ехать необходимо, в Петербурге я не останусь, уеду в деревню. Ведь и здесь теперь не Бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаяться, что остаетесь.

Я тогда еще мог возвратиться, корабли не были сожжены, Ребильо и Карлье не писали еще своих доносов, но внутри дело было решено. Слова А<нненкова> между тем все-таки неприятно коснулись моих обнаженных нерв, я подумал и отвечал:

— Нет, для меня выбора нет, я должен остаться и если раскаюсь, то скорее в том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой, на place Maubert.

Много раз в минуты отчаяния и слабости, когда горечь переполняла меру, когда вся моя жизнь казалась мне одной продолжительной ошибкой, когда я сомневался в самом себе, в *последнем*, в *остальном*, приходили мне в голову эти слова: «Зачем не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой?» Невзначай сраженный пулей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования

И опять потянулось время… день за день… серое, скучное… Мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. К зиме стали являться изгнанники других стран, спасшиеся матросы других кораблекрушений; полные самоуверенности, надежд, они принимали реакцию, подымавшуюся во всей Европе, за мимолетный ветер, за легкую неудачу, они ждали завтра, через неделю свой черед…

Я чувствовал, что они ошибаются, но мне нравилась их ошибка, я старался быть непоследовательным, боролся с собой и жил в каком-то тревожном раздражении. Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день… Я метался от тоски туда, сюда, искал рассеяний… в книгах, в шуме, в домашнем отшельничестве, на людях, но все чего-то недоставало, смех не веселил, тяжело пьянило вино, музыка резала по сердцу, и веселая беседа оканчивалась почти всегда мрачным молчанием.

Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противуречия, хаос; снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта превращались опять в вопросы; факты сурово подымались со всех сторон и опровергали их. Сомнение заносило свою

тяжелую ногу на последние достояния; оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена… из общих идей оно пробиралось в жизнь. Пропасть лежит между теоретическим отрицанием и сомнением, переходящим в поведение; мысль смела, язык дерзок, он легко произносит слова, которых сердце боится; в груди еще тлеют верования и надежды, тогда когда забежавший ум качает головой. Сердце отстает, потому что любит, и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощается.

Может, в юности, когда все кипит и несется, когда так много будущего, когда потеря одних верований расчищает место другим; может, в старости, когда все становится безразлично от устали, — эти переломы делаются легче; но nel mezzo del cammino di nostra vita[719] они достаются не даром.

Что ж, наконец, все это — шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, история обманула, обманула в свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшие и дела нет, что с ними будет, когда они придут в себя; она их употребила, — пусть

---

[719] Сноски: 719
в средине жизненного пути (*ит.*).

доживают свой век в инвалидном доме. Стыд, досада! А тут возле простосердечные друзья жмут плечами, удивляются вашему малодушию, вашему нетерпению, ждут завтрашнего дня и, вечно озабоченные, вечно занятые одним и тем же, ничего не понимают, не останавливаются ни перед чем, вечно идут — и всё ни с места… Они вас судят, утешают, журят, — какая скука, какое наказанье!

«Люди веры, люди любви», как они называют себя в противуположность нам, людям «сомненья и отрицанья», не знают, что такое полоть с корнем упования, взлелеянные целой жизнию, они не знают *болезни истины*, они не отдавали никакого сокровища с тем «громким воплем», о котором говорит поэт:

> *Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen,*
> *Und weinte laut und gab sie hin*[720].

Счастливые безумцы, никогда не трезвеющие, — им незнакома внутренняя борьба, они страдают от внешних причин, от злых людей и случайностей; внутри все цело, совесть по-

---

[720] Сноски: 720

Я вырвал ее, истекая кровью, из израненого сердца и громко заплакал и отдал ее (*нем.*).

койна, они довольны. Оттого-то червь, точащий других, им кажется капризом, эпикуреизмом сытого ума, праздной иронией. Они видят, что раненый смеется над своей деревяшкой, и заключают, что ему операция ничего не стоила; им в голову не приходит, отчего он состарился не по летам и как ноет отнятая нога при перемене погоды, при дуновении ветра.

Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших «С того берега». Я в себе преследовал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман; я не над ближним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным, но тут и запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя.

Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться… от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи: «Omnia mea mecum porto»[721].

---

[721] Сноски: 721
Все свое несу с собой (*лат.*).

Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте общих интересов, обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма без юности, без веры. С этим faro da me[722] моя лодка должна была разбиться о подводные камни, и разбилась. Правда, я уцелел, *но без всего…*

Тифоидная горячка

Зимой 1848 была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, потом сделалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла; Райе, известный доктор, советовал ее прокатить, несмотря на зимний день. Погода была прекрасная, но не теплая. Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила есть и, не дождавшись бульона, уснула возле нас на диване; прошло несколько часов, сон продолжался. Фогт, брат натуралиста, студент медицины, случился у нас. «Посмотрите, — сказал он, — на ребенка, ведь это вовсе не естественный сон». Мертвая, слегка синеватая бледность лица испугала меня, я положил руку на лоб — лоб был

[722] Сноски: 722
С этой ставкой на самого себя (*ит.*).

совершенно холодный. Я бросился сам к Райе, по счастью застал его дома и привез с собой. Малютка не просыпалась, Райе приподнял ее, сильно потрес и заставил меня громко звать ее по имени… она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тем же сном, тяжелым, мертвым, дыхание едва-едва было заметно; она в этом состоянии, с небольшими переменами, оставалась несколько дней без пищи и почти без питья; губы почернели, ногти сделались синие, на теле показались пятны, — это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не делал, ждал, следил за болезнью и не слишком обнадеживал.

Вид ребенка был страшен, я ждал с часа на час кончины. Бледная и молчащая, сидела моя жена день и ночь у кроватки; глаза ее покрылись тем жемчужным отливом, которым высказывается усталь, страдание, истощение сил и неестественное напряжение нерв. Раз, часу во втором ночи, мне показалось, что Тата не дышит; я смотрел на нее, скрывая ужас; жена моя догадалась.

— У меня кружится в голове, — сказала она мне, — дай воды.

Когда я подал стакан, она была без чувств. И. Т<ургенев>, приходивший делить мрачные часы

наши, побежал в аптеку за аммониаком[723], я стоял неподвижно между двумя обмершими телами, смотрел на них и ничего не делал. Горничная терла руки, мочила виски моей жене. Через несколько минут она пришла в себя.

— Что? — спросила она.

— Кажется, Тата открывала глаза, — сказала наша добрая, милая Луиза.

Я посмотрел — будто просыпается; я назвал ее шепотом по имени, она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. С этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злее, мучительнее разлагают человека, нежели детские болезни, я их знаю, но *тупого* яда, берущего истомой, обессиливающего в тиши, оскорбляющего страшной ролей праздного свидетеля, хуже нет.

Тот, кто раз на своих руках держал младенца и чувствовал, как он холодел, тяжелел, становился каменным; кто слышал последний стон, которым тщедушный организм умоляет о пощаде, о спасении, просится остаться на свете; кто видел на своем столе красивый гробик, оби-

---

[723] Сноски: 723
нашатырным спиртом (*фр.* ammoniac).

тый розовым атласом, и беленькое платьице с кружевами, так отличающееся от желтого личика, — тот при каждой детской болезни будет думать: «Отчего же не быть и другому гробику — вот на этом столе?»

Несчастие — самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкается с страшными мыслями, наконец, он боится несчастий, т. е. боится снова перечувствовать ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, которых память не разносится с тучами.

Стон больного ребенка наводит на меня такой внутренний ужас, обдает таким холодом, что я должен делать большие усилия, чтоб победить эту чисто *нервную* память.

На другое утро той же ночи я в первый раз пошел пройтиться; на дворе было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеем, но, несмотря ни на холод, ни на ранний час, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки с криком продавали бюльтени: с лишком пять миллионов

голосов клали связанную Францию к ногам Людовика-Наполеона.

Осиротевшая передняя, наконец, нашла своего барина!

…В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу личность, внесшая собою иной ряд несчастий, сгубивший в *частном* быте еще больше, чем черные Июньские дни — в *общем.* Личность эта быстро подошла к нам, втесняет себя, не давая образумиться… В обыкновенное время я скоро знакомлюсь и туго сближаюсь с людьми, но время-то тогда, скажу еще раз, не было обыкновенное.

Все нервы были открыты и болели, ничтожные встречи, неважные напоминовенья потрясали весь организм. Помню я, например, как дня три после канонады я бродил по предместью св. Антония; все еще носило свежие следы свирепого боя: развалившиеся стены, неснятые баррикады, испуганные, бледные, чего-то искавшие женщины, дети, рывшиеся в мусоре… Я сел на стул перед небольшим кафе и смотрел с щемящимся сердцем на страшную картину. Прошло с четверть часа. Кто-то тихо положил мне руку на плечо, — это был Довиат, молодой энтузиаст,

проповедовавший в Германии à la Ruge какой-то своего рода неокатолицизм и уехавший в 1847 в Америку.

Он был бледен, черты его расстроены, длинные волосы в беспорядке; на нем было дорожное платье.

— Боже мой! — сказал он, — *как* мы с вами встречаемся.

— Когда вы приехали?

— Сегодня. Узнав в New-York'е о февральской революции, о всем, что делается в Европе, я на скорую руку продал все, что мог, собрал деньги и бросился на пароход, полный надежд и с веселым сердцем. Вчера в Гавре я узнал о последних событиях, но моего воображения недоставало, чтоб представить себе *это*.

Мы оба еще раз посмотрели, и у обоих глаза были полны слез.

— Ни дня, ни одного дня в проклятом городе! — сказал взволнованный Довиат и был в самом деле похож на юного пророчествующего левита. — Вон отсюда! Вон! Прощайте — еду в Германию!

Он уехал — и попался в прусскую тюрьму, где просидел лет шесть.

Помню еще представление «Катилины», которого ставил тогда на своем историческом театре

крепконервный Дюма. Форты были набиты колодниками, излишек отправляли стадами в Шато д'Иф, в депортацию, родные бродили из полиции в полицию, как тени, умоляя, чтоб им сказали, кто убит и кто остался, кто расстрелян, а А. Дюма уже выводил Июньские дни в римской латиклаве на сцену. Я пошел взглянуть. Сначала ничего. Ледрю-Роллен — Катилина и Марк Туллий — Ламартин, классические сентенции с риторической опухолью. Восстание побеждено, Ламартин прошел по сцене со своим «Vixerunt»[724], — декорации меняются. Площадь покрыта трупами, издали зарево, умирающие в судорогах смерти лежат между мертвыми, умершие покрыты окровавленными рубищами… У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых молодых жил?.. Я бросился вон в каком-то истерическом припадке, проклиная бешено аплодировавших мещан…

В такие судорожные дни, когда человек из кабака и театра, из своего дома и из кабинета чтения выходит в лихорадке, с воспаленным мозгом,

---

[724] Сноски: 724
«Отжили» (*лат.*).

задавленным внутри, глубоко оскорбленный и готовый оскорбить первого встречного, — в эти времена каждое слово симпатии, каждая слеза того же горя, каждая брань той же ненависти имеют страшную силу.

Одинакими ранами быстро сродняются больные места.

…В первые времена моей юности меня поразил один французский роман, которого я впоследствии не встречал, — роман этот назывался «Arminius». Может, он и не имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал и долго бродил в голове моей. Я помню главные черты его до сих пор.

Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного — старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого — дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, т. е. знаем *официальную*, газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в которых без видимого

шума ломались жизни и гибли в столкновениях. Кровь заменялась слезами, опустошенные города — разрушенными семьями, поля сражений — забытыми могилами. Автор «Арминия» (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб.

Всемирная история, распускаясь в сказании, становится ближе к нам, соизмеримее, живее. Я был так увлечен «Арминием», что сам принялся писать около 1833 ряд исторических сцен в том же роде и их в 1834 критически разбирал обер-полицеймейстер Цынский. Но, конечно, писавши их, мне не приходило в мысль, что и я попаду в такое же столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колей истории.

Что там ни толкуют, а есть сходные стороны в наших отношениях к европейцам. Наша цивилизация накожна, разврат груб, у нас из-под пудры колет щетина и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных, уклончивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги — но мы далеко отстали от наследственной, летучей тонкости западного растления. У нас

умственное развитие[725] служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не переходило.

На Западе это не так. И вот почему мы легко отдаемся человеку, касающемуся наших святынь, *понимающему* наши заветные мысли, смело говорящему то, о чем мы привыкли молчать или говорить шепотом на ухо другу. Мы не берем в расчет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами; мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современного человека, принадлежащего к этой выжившей цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосягаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которыми падает всякое отношение, всякое чувство, — ему нужна роля, позы на сцене, ему нужно во что бы ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям. Наш брат, степняк, получив удар, другой, часто не видя откуда, оглушенный им,

---

[725] Сноски: 725
Писано в 1857 году.

долго не приходит в себя, а потом бросается, как раненый медведь, и ломает кругом деревья, и ревет и взметает землю, — но поздно, — и его противник его же указывает пальцем… Много еще разовьется ненависти и прольется крови из-за этих двух разных возрастов и воспитаний.

…Было время, я строго и страстно судил человека, разбившего мою жизнь, было время, когда я искренно желал *убить* этого человека… С тех пор прошло семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное воззрение долгим, беспрерывным разбором. В эти *семь лет* я узнал и свой собственный предел, и предел многих — и вместо ножа — у меня в руках скальпель и вместо брани и проклятий — принимаюсь за рассказ из психической патологии.

II

За несколько дней до 23 июня 1848, возвращаясь вечером домой, я нашел в своей комнате какое-то незнакомое лицо, грустно и сконфуженно шедшее мне навстречу.

— Да это вы? — сказал я наконец, смеясь и протягивая ему руки. — Можно ли это?.. Узнать вас

нельзя…

Это был Гервег, обритый, остриженный, без усов, без бороды.

Для него карта быстро перевернулась. Два месяца тому назад, окруженный поклонниками, сопровождаемый своей супругой, он отправлялся в покойном дормезе из Парижа в баденский поход, на провозглашение германской республики. Теперь он возвращался с поля битвы, преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняемый своими. Разом изменилось все, рухнулось все, и сквозь растреснувшиеся декорации, в довершение всего, виднелось разорение.

Когда я ехал из России, Огарев дал мне письмо к Г<ервегу>. Он его знал во время его пущей славы. Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными, особенно художники. Я застал Г<ервега> в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым и скоро познакомился больше фамильярно, чем близко. Осенью 1847 я уехал в Италию. Возвратившись в Париж, я не застал его, — о его несчастиях я читал в газетах. Почти накануне Июньских дней приехал он в Париж и, встретив у меня первый дружеский прием после баденской ошибки,

стал чаще и чаще ходить к нам.

Многое мешало мне сначала сблизиться с этим человеком. В нем не было той простой, откровенной натуры, того полного abandon[726], который так идет всему талантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью. Он был скрытен, лукав, боялся других, он любил наслаждаться украдкой, у него была какая-то не мужская изнеженность, жалкая зависимость от мелочей, от удобств жизни и эгоизм без всяких границ, rücksichtslos[727], доходивший до наивности цинизма. Во всем этом я вполовину винил не его самого.

Судьба поставила возле него женщину, которая своей мозговой любовью, своим преувеличенным ухаживанием раздувала его эгоистические наклонности и поддерживала его слабости, охорашивая их в его собственных глазах. До женитьбы он был беден, — она принесла ему богатство, окружила его роскошью, сделалась его нянькой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью низшего порядка. Поверженная в прахе,

---

[726] Сноски: 726
непосредственности (*фр.*).

[727] Сноски: 727
ни с чем не считающийся (*нем.*).

в каком-то вечном поклонении, Huldigung[728] перед поэтом, «шедшим на замену Гёте и Гейне», она в то же время задушила его талант в пуховиках мещанского сибаритизма.

Досадно мне было, что он так охотно принимал свое положение мужа *на содержании*, и, признаюсь, я не без удовольствия видел разорение, к которому они неминуемо шли, и довольно хладнокровно смотрел на плачущую Эмму, когда ей приходилось сдать свою квартиру «с золотым обрезом», как мы ее называли, и распродать поодиночке и за полцены своих «Амуров и Купидонов», по счастию, не крепостных, а бронзовых.

Я приостановлюсь здесь, чтоб сказать несколько слов об их прежней жизни и о самом браке их, носящем удивительно резкую печать — современного германизма.

У немцев, а еще больше у немок, бездна мозговых страстей, т. е. страстей выдуманных, призрачных, натянутых, литературных, — это какая-то Überspanntheit[729], книжная восторженность, мнимая, холодная экзальтация, всегда готовая без меры удивляться или умиляться

---

[728] Сноски: 728
почитании (*нем.*).

[729] Сноски: 729
мания преувеличения (*нем.*).

без достаточной причины — не притворство, а ложная правда, психическая невоздержность, эстетическая истерика, ничего не стоящая, но приносящая много слез, радости и печали, много развлечений, ощущений, Wonne![730] Умная женщина, как Беттина Арним, не могла отделаться во всю свою жизнь от этой немецкой болезни. Жанры могут изменяться, содержание — быть иным, но, так сказать, психическое обработывание материала — одно и то же. Все сводится на разные вариации, разные нюансы сладострастного пантеизма, т. е. религиозно-полового и теоретически влюбленного отношения к природе и людям, что вовсе не исключает романтического целомудрия и теоретического сладострастья ни у светских жриц Космоса, ни у монашествующих невест Христа, богоблудствующих в молитве. Те и другие порываются быть нареченными сестрами грешниц в самом деле. Делают они это из любопытства и сочувствия к *падениям*, на которые сами никогда не решатся, и всякий раз отпускают им грехи, даже тогда, когда те не просят об этом. Самые восторженные из них проходят весь курс страстей без приложе-

---

[730] Сноски: 730
наслаждения (*нем.*).

ния и искушаются всеми грехами как-то заочно, per contumaciam[731], по книжкам других и собственным тетрадкам.

Одна из самых общих черт всех восторженных немок — это идолопоклонство гениям и великим людям; религия эта идет из Веймара со времен Виланда, Шиллера и Гёте. Но так как гении редки и Гейне жил в Париже, а Гумбольдт был слишком стар и слишком реалист, они бросились с каким-то голодным отчаянием на хороших музыкантов, на недурных живописцев. Образ Ф. Листа, как электрическая искра, прошел через сердца всех немок, выжигая в них высокий лоб и длинные, назад отчесанные волосы.

За неимением, наконец, общегерманских великих людей, они брали, так сказать, удельных гениев, чем бы то ни было отличившихся; все женщины влюблялись в него, все девушки schwärmten für ihn[732], все шили ему на канве подтяжки и туфли и посылали разные сувениры — секретно, без имени.

В сороковых годах умы в Германии были сильно возбуждены. Можно было ожидать, что народ

---

[731] Сноски: 731
упрямо (*лат.*).

[732] Сноски: 732
мечтали о нем (*нем.*).

этот, поседевший за книгой, как Фауст, захочет, наконец, как он, выйти на площадь посмотреть на белый свет. Мы знаем теперь, что это были *ложные потуги*, что новый Фауст из Ауэрбахова погребка возвратился вспять в штудирцимер[733]. Тогда казалось иначе, особенно немцам, а потому всякое проявление революционного духа находило горячее признание. В самый разгар этого времени показались политические песни Г<ервега>. Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Г<ервега> с Гейне могла только его жена. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему настроению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гёте и не Вольтеры, а Беранжеровы песни и «Марсельеза», переложенные на зарейнские нравы. Стихотворения Г<ервега> оканчивались иной раз in crudo[734] французским криком: «Vive la République!», и это приводило в восторг в 42 году — в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно.

Г<ервег>, поэт-лавреат демократии, проехал с банкета на банкет всю Германию и, наконец,

---

[733] Сноски: 733
кабинет (*нем.* Studierzimmer).

[734] Сноски: 734
в «сыром виде» (*лат.*).

явился в Берлин. Всё бросилось приглашать его, для него давали обеды и вечера, все хотели его видеть, даже у самого короля явилось такое желание поговорить с ним, что его доктор Шенлейн счел нужным представить Г<ервега> королю.

В нескольких шагах от дворца в Берлине жил банкир. Дочь этого банкира была уже давно влюблена в Г<ервега>. Она его никогда не видала и не имела об нем никакого понятия, но она, читая его стихи, почувствовала в себе *призвание* сделать его счастливым и в его лавровый венок вплести розу семейного блаженства. Когда же она увидела его в первый раз, на вечере, который давал ее отец, она окончательно убедилась, что *это он*, и он в самом деле сделался ее *он.*

Предприимчивая и решительная девушка повела стремительно свою атаку. Сначала двадцатичетырехлетний поэт отпрянул назад от мысли о браке, и притом о браке с особой очень некрасивой, с несколько юнкерскими манерами и громким голосом: будущность открывала перед ним обе половины парадных дверей, — какой же тут семейный покой, какая жена!.. Но дочь банкира открывала, с своей стороны, в *настоящем* мешки червонцев, путешествие по Италии, Париж, страсбургские пироги и Clos de Vougeot…

Поэт был беден, как Ир. Жить у Фолена нельзя было вечно, — поколебался он, поколебался и… принял предложение, забыв старику Фолену (деду Фогта) сказать спасибо.

Эмма сама мне рассказывала, как подробно и отчетливо поэт вел переговоры о приданом. Он даже прислал из Цюриха рисунки мебели, гардин и т. п. и требовал, чтоб все это было выслано *прежде* свадьбы, — так он требовал. О любви нечего было и думать; ее надобно было чем-нибудь заменить. Эмма поняла это и решилась упрочить свою власть иными средствами. Проведя несколько времени в Цюрихе, она повезла мужа в Италию и потом поселилась с ним в Париже. Там она отделала своему «шацу»[735] кабинет с мягкими диванами, тяжелыми бархатными занавесками, дорогими коврами, бронзовыми статуэтками и устроила целую жизнь пустой праздности; ему это было ново и нравилось, а между тем талант его туск, производительность исчезала; она сердилась за это, подстрекала его и в то же время утягивала его больше и больше

[735] Сноски: 735
сокровищу (*нем.* Schatz).

в буржуазный эпикуреизм[736].

Она была по-своему не глупа и имела гораздо больше силы и энергии, чем он. Развитие ее было чисто немецкое, она бездну читала — но не то, что нужно, училась всякой всячине — не доходя ни в чем до зенита. Отсутствие женственной грации неприятно поражало в ней. От резкого голоса до угловатых движений и угловатых черт лица, от холодных глаз до охотного низведения разговора на двусмысленные предметы — у ней все было мужское. Она открыто при всех волочилась за своим мужем, так, как пожилые мужчины волочатся за молоденькими девочками; она смотрела ему в глаза, указывала на него взглядом, поправляла ему шейный платок, волосы и как-то возмутительно нескромно хвалила его. При посторонних он конфузился, но в своем круге не обращал на это никакого внимания, так, как занятый делом хозяин не замечает усердия, с которым собака лижет ему сапоги и ласкается к нему. У них бывали и сцены иногда из-за этого,

[736] Сноски: 736

Вот до чего шла ее предусмотрительность. Раз в Италии Г<ервег> был недоволен одеколонью. Сейчас жена пишет к Jean Marie Farina, чтоб прислать ящик чистейшей одеколони в Рим. Между тем они из Рима уехали, оставляя приказ переслать письма и посылки в Неаполь, — так точно они уехали из Неаполя. Несколько месяцев спустя ящик с одеколонью явился к ним в Париж с неимоверным счетом своих путевых издержек.

после ухода гостей; но на другой день влюбленная Эмма снова начинала ту же травлю любовью, и он снова выносил ее из-за удобств жизни и из-за ее обо всем пекущейся опеки.

До чего она избаловала своего миньона[737], всего лучше покажет следующий анекдот.

Раз после обеда заходит к ним Ив. Тургенев. Он застает Г<ервега> лежащего на диване. Эмма терла ему ногу и остановилась.

— Что ж ты перестала — продолжай, — сказал устало поэт.

— Вы больны? — спросил Тургенев.

— Нет, нисколько, но это очень приятно... Ну, что нового?

Они продолжали разговаривать — Эмма потирать ноги.

Уверенная в том, что все удивляются мужу, она беспрестанно болтала о нем, не замечая ни того, что это очень было скучно, ни того, что она ему вредила анекдотами об его слабонервности и капризной требовательности. Для нее все это казалось бесконечно милым и достойным запечатлеться на веки веков в людской памяти — других это возмущало.

---

[737] Сноски: 737
любимчика (*фр.* mignon).

— Георг у меня страшный эгоист и баловень (zu verwöhnt), — говаривала она, — но кто ж и имеет больше прав на баловство? Все великие поэты были вечно капризными детьми, и их всех баловали… На днях он купил мне превосходную камелию; дома ему так стало жаль ее отдать, что он даже не показал мне ее и спрятал в свой шкап и держал там, пока она совсем завяла, — so kindisch!..[738]

Это слово в слово ее разговор.

Этим идолопоклонством Эмма довела своего Георга до края бездны, он и упал в нее и если не погиб, все же покрыл себя стыдом и позором.

Шум февральской революции разбудил Германию. Говор, ропот, биение сердца слышались с разных концов единого и разделенного на тридцать девять частей германского отечества. В Париже немецкие работники составили клуб и обдумывали, что сделать. Временное правительство ободряло их — не на восстание, а на удаление из Франции: им что-то и от французских работников не спалось. После напутственного благословения Флокона и крепкого словца о тиранах и деспотах Косидьера, — конечно,

---

[738] Сноски: 738
так по-детски (*нем.*).

могло случиться — этих бедняков и расстреляют, и повесят, их бросят лет на двадцать в казематы, — это было не их дело.

Баденская экспедиция была решена — но кому же быть освободителем, кому вести эту новую armée du Rhin[739], состоящую из несколько сот мирных работников и подмастерий? Кому же, думала Эмма, как не великому поэту: лиру за спину и меч в руки, на «боевом коне», о котором он мечтал в своих стихах… Он будет петь после битв и побеждать после песен; его выберут диктатором, он будет в сонме царей и им продиктует волю *своей* Германии; в Берлине, Unter den Linden, поставят его статую, и ее будет видно из дому старого банкира; века будут воспевать его и — в этих песнопениях… быть может, не забудут добрую, самоотверженную Эмму, которая оруженосцем, пажом, денщиком провожала его, берегла его in der Schwertfahrt!..[740] И она заказала себе у Юмана, rue neuve des Petits Champs, военную амазонку из трех национальных цветов: черного, красного и золотого — и купила себе черный бархатный берет с кокардой тех же

---

[739] Сноски: 739
рейнскую армию (*фр.*).

[740] Сноски: 740
в походе (*нем.*).

цветов.

Через приятелей Эмма указала работникам на поэта; не имея никого в виду и вспоминая песни Гервега, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальником. Эмма уговорила его принять это звание.

На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которое дает лицу власть над ними, то быстрое соображение, то ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом? Где у этого расслабленного была сила одну часть нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности? В ней самой была и решимость и самообладание, — тем непростительнее, что она не вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как он падал духом от малейшей физической боли и терялся перед всякой опасностью. Зачем же она вела его на страшный искус, в котором притворяться нельзя, в котором не спасешься ни прозой, ни стихами, где, с одной стороны, лавровый венок веял могилой, а с дру-

гой — бегство и позорный столб?

У нее был совсем иной расчет, — его она, не думая, сама рассказала в последующих разговорах и письмах. Республика в Париже провозгласилась почти без боя, революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены — ясно говорили, что и эти троны покачнулись; трудно себе было представить, что баденский герцог или виртембергский король могли бы устоять против потока революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ примет инсургентов с распростертыми объятиями: *поэт* провозгласил бы республику, республика провозгласила бы *поэта* диктатором — разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии с своей черно-красно-золотой Эммой в берете, чтоб покрыться военной и гражданской славой…

На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, по врожденному холопству, любит их и слепо слушается своих штаб- и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох, осво-

бодители сунулись без серьезного плана, ничего не приготовив. Тут и храбрые люди, как Геккер, как Виллих, ничего не могли сделать, — они тоже были побиты, но не побежали с поля сражения, и, по счастию… возле них не было влюбленной немки.

При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю и где-нибудь спрятаться, — и окончательно погубила его. Она стала перед ним, *под выстрелами*, и звала товарищей на спасенье поэта. Солдаты одолевали… Эмма, прикрывая бегство своего мужа, подвергалась быть раненой, убитой или схваченной в плен, т. е. посаженной лет на двадцать в Шпандау или Раштадт, да еще предварительно высеченной.

Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат; наконец позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой, подвергая свой дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме. Солдаты явились, крестьянин не выдал, а дал знать

Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переоделась, села на козлы и увезла его за границу.

— Как же имя вашего спасителя? — спросили его мы.

— Я забыл его спросить, — отвечал спокойно Г<ервег>.

Раздраженные товарищи его бросились теперь с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом и то, что он разбогател, и то, что квартира его была «с золотым обрезом», и аристократическую изнеженность, и пр. Его жена до такой степени не понимала portée[741] того, что делала, что месяца через четыре напечатала в защиту мужа брошюру, в которой рассказывает свои подвиги, забывая, какую тень один этот рассказ должен был бросить на него.

Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. Я думаю, что деньги не были присвоены им, но также уверен и в том, что они беспорядочно бросались, и долею на ненужные прихоти *воинственной четы.* П. А<нненков> был свидетелем, как закупались начиненные трюфлями

---

[741] Сноски: 741
значенья (*фр.*).

индейки, пастеты у Шеве и укладывались вины и пр. в путевую карету *генерала.* Деньги были даны Флоконом, по распоряжению Временного правительства, в самой сумме их престранные варьяции: французы говорили о 30 000 фран<ков> — Гер<вег> уверял, что он не получал и половины, но что правительство заплатило за проезд по железной дороге. К этому обвинению возвратившиеся инсургенты прибавляли, что в Страсбурге, куда они добрались оборванные, голодные и без гроша денег, после поражения, они обратились к Гер<вегу> за помощью — и получили отказ, Эмма даже не допустила их до него — в то время как он жил в богатом отеле… «и носил *желтые* сафьянные туфли». Почему они именно это считали признаком роскоши — не знаю. Но о желтых туфлях я слышал десять раз.

Все это случилось, как во сне. В начале марта освободители *in spe* еще пировали в Париже; в половине мая они, разбитые, переходили французскую границу. Г<ервег>, образумившись в Париже, увидел, что прежняя садовая дорожка к славе засыпана… действительность сурово напомнила ему о его границе; он понял, что его положение поэта своей жены и бежавшего с поля диктатора было неловко… Ему приходилось пере-

родиться или идти ко дну. Мне казалось (и вот где худшая ошибка моя), что мелкая сторона его характера переработается. Мне казалось, что я могу ему помочь в этом — больше, чем кто-нибудь.

И мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил (впоследствии писал): «…Я знаю жалкую слабость моего характера, — твой характер яснее моего и сильнее, — поддержи меня, будь мне *старшим братом, отцом…* У меня нет близких людей — я на тебе сосредоточиваю все симпатии; любовью, дружбой из меня можно сделать все, будь же не строг, а добр и снисходителен, не отнимай руки твоей… да я и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя… В одном я не только не уступлю тебе, но, может, сильнее тебя: в безграничной любви к близким моему сердцу».

Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало. Ведь и в баденское восстание он шел не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя, — но, видя опасность, бежал.

Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилия, ни жертвы — все может идти превосходно — целые годы, целая жизнь — но не попадайся ничего на дороге — иначе быть беде — преступлению или стыду.

Зачем я не знал этого тогда!

К концу 1848 года Г<ерве>г стал у нас бывать почти всякий вечер — дома ему было скучно. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она воротилась из баденской экспедиции тою же, как поехала; внутреннего раздумья о случившемся у нее не было; она была по-прежнему влюблена, довольна, болтлива — как будто они возвратились после победы — по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно — недостаток денег и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция, которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами чело поэта — но разорила вконец старика банкира, ее отца.

Она постоянно старалась рассеять мрачные мысли мужа, ей и в голову не приходило, что он только этими грустными мыслями и может спастись.

Внешней, подвижной Эмме не было потребности на эту внутреннюю, глубокую и, по-видимому, приносящую одну боль работу. Она принадлежала к тем несложным натурам в два темпа, которые рубят своим entweder–oder всякий гордиев узел — с правой или с левой стороны, все равно, — лишь бы как-нибудь от-

делаться и снова торопиться — куда? этого-то они и сами не знают. Она врывалась середь речи или с анекдотом или с дельным замечанием, но дельность которого была низшего порядка. Уверенная, что между нами никто не был одарен таким практическим смыслом, как она, и вместо того, чтоб из кокетства скрывать свою деловую смышленость, она кокетничала ею. Притом надобно сказать, что она серьезного практического смысла нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках, о мебели и материях — очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании; она постоянно жила sur le qui vive[742], смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные необходимости жизни и даже здоровья и воспитания детей его капризам.

Г<ервег>, естественно, рвался из дома и искал у нас гармоничного покоя. Он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонялся, детям столько же, сколько нам. Он мечтал о том, как бы уехать с нами куда-нибудь вдаль — и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской трагедии.

---

[742] Сноски: 742
настороже (*фр.*).

И при всем этом, кроме одинакового или очень близкого пониманья общих дел, в нас мало было сходного.

Г<ервег> как-то сводил все на свете на себя, он отдавался своекорыстно, искал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время был уверен в своем превосходстве. Все это вместе заставляло его кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным. Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб вместе (именно такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упреки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать с улыбкой и покорностью что прикажут.

И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий, и вызывал их, но этой женски-кошачьей игры в dépit[743] и объяснения, этой вечной жажды вниманья, холенья никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность, излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, laisser-aller[744] — про-

[743] Сноски: 743
досаду (*фр.*).

[744] Сноски: 744
непринужденность (*фр.*).

исходило тоже от самолюбия, может быть, я им накликал беды на свою голову, но оно так. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе. С крепкими мышцами и нервами я стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку — но сам не просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры.

При такой противуположности нельзя себе представить, чтобы между мной и Гер<вегом> не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной был гораздо осторожнее, чем с другими; во-вторых, он меня совершенно обезоруживал грустным сознанием, что он виноват. Он не оправдывался, но во имя дружбы просил снисхождения к слабой натуре, которую он сам знал и осуждал. Я играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, которым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме — она ревниво подтрунивала над этим.

Наступил 1849 год.

III

Кружение сердца

Мало-помалу в 1849 я стал замечать в Г<ервеге> разные перемены. Его неровный нрав сделался еще больше неровным. На него находили припадки невыносимой грусти и бессилия. Отец его жены окончательно потерял состояние; спасенные остатки были нужны другим членам семейства — бедность грубее стучалась в двери поэта… он не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества. Эмма выбивалась из сил — занимала направо и налево, забирала в долг, продавала вещи… и все это для того, чтоб он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не только себе в вещах необходимых — но не шила детям белья — для того чтоб он обедал у «Провансальских братий» и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги, не зная, откуда они, и не желая знать. Я с ней бранился за это, я говорил, что она губит его, намекал ему — он упорно не понимал, а она сердилась, и все шло по-старому.

Хоть он и боялся бедности до смешного, тем не меньше причина его тоски была не тут.

В его плаче о себе постоянно возвращалась одна нота, которая наконец стала мне надоедать;

я с досадой слушал вечное повторение жалоб Г<ервега> на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть; что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и «даже от ее громкого голоса». Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне… В этом лихорадочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувство, испугавшее меня — за него столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает больше страстный характер… Мне было нечего делать, я молчал и с грустью начинал предвидеть, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей жизни что-нибудь да разобьется… Разбилось все.

Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове, зависимость от него — и плач, плач — все это сильно действовало на женщину, едва вышедшую из трудно приобретенной гармонии и страдавшую от глубоко трагической среды, в которой мы жили.

— У тебя есть отшибленный уголок, — говорила мне Natalie, — и к твоему характеру это

очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Г<ервега>. Я его понимаю, потому что сама это чувствую… Он большой ребенок — а ты совершеннолетний, его можно безделицей разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить… зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие…

Неужели?.. Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с нею… и я свято хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мной не говорит…

Можно беречь тайну, не вверяя ее никому, но только *никому.* Если он говорил о своей любви, он не мог молчать с человеком, с которым жил в такой душевной близости, и тайну, так близко касающуюся до него — стало, он не говорил. Я забыл на это время старый роман под заглавием «Арминий»!

…В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж, хлопотать о деньгах моей матери, остановленных русским правительством. С Г<ервегом> мы расстались, уезжая из Женевы. На пути я зашел к нему в Берне.

Я его застал читающего по корректурным

листкам отрывки из «Vom andern Ufer» Симону Триерскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я ехал вечером в тот же день — он не отходил от меня ни на одну минуту, снова и снова повторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел силы прямо и открыто рассказать мне свою исповедь?.. Я был мягко настроен тогда, все бы пошло человечественно.

Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы… Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека… Думая всю ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы: «Несчастие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?»

Мать моя вскоре уехала из Парижа, я останавливался у Эммы, но, в сущности, был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо, мне надобно было одному вдуматься, что делать. Письмо от Natalie, в котором она говорила о своем сочувствии к Г<ервегу>, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое было печально, но спокойно; я ее просил тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной

с собой и со мной; я ей напоминал, что мы слишком связаны всем былым и всею жизнию, чтоб что-нибудь не договаривать.

«От тебя письмо от 9, — писала Natalie (это письмо осталось, почти все остальные сожжены во время coup d'Etat), — и я тоже сижу и думаю только: "Зачем это?" И плачу, и плачу. Может, я виновата во всем, может, недостойна жить — но я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, не в ней — так и негде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира — куда же? — надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна, из нее я опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый, я не знаю богаче внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший мое существо, его потребности, — в этой полноте бывали минуты, и они бывали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой глубине души что-то, как волосок тончайший, мутило душу, а потом опять все становилось светло».

«Эта неудовлетворенность, что-то оставшееся

незанятым, заброшенным, — пишет Natalie в другом письме, — искало иной симпатии и нашло ее в дружбе к Г<ервегу>».

Мне было этого мало, и я писал ей: «Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота — он все же утянет тебя. В твоих письмах есть струна новая, незнакомая мне — не струна грусти, а другая… Теперь всё еще в наших руках… будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, *Г<ервег> взойдет фальшивой нотой в наш аккорд — или я. Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим,* что и как… Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; *здесь* мне будет еще тяжелее — и я не вынесу».

На это письмо она отвечала криком ужаса, мысль разлуки со мной ей никогда не представлялась. «Что ты!.. Что ты!.. Я — и разлучиться с тобой — как будто это возможно. Нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас — я буду укладываться и через несколько дней я с детьми в Париже!»

В день выезда из Цюриха она еще писала: «Точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей ду-

ши похоже было на то, в котором я нахожусь! Я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнию сведены, — я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! — я благодарна им, они объяснили мне многое, а сами они пройдут и рассеются, как тучи».

Встреча наша в Париже была не радостна, но проникнута чувством искреннего и глубокого сознанья, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что нас разъединить нелегко.

В длинных разговорах того времени одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Г<ервегу> Natalie словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его, она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, и она искала во мне оплота и защиту.

Ничего не зная о мой переписке с Natalie, Г<ервег> понял что-то недоброе в моих письмах. Я действительно, помимо другого, был очень недоволен им. Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги, — он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще

и еще денег. Письма его ко мне, сохранившиеся у меня, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности, он умоляет не покидать его, он не может жить без меня, без прежнего, полного, безоблачного сочувствия, он проклинает недоразумения и вмешательство «безумной женщины» (т. е. Эммы). Он жаждет начать новую жизнь, — жизнь вдали, жизнь с нами, — и снова называет меня отцом, братом, близнецом.

На все это я писал ему на разные лады: «Подумай, можешь ли ты начать новую жизнь, можешь ли стряхнуть с себя… порчу, растленную цивилизацию», — и раза два напомнил Алеко, которому старый цыган говорит: «Оставь нас, гордый человек, ты для одного себя хочешь свободы!»

Он отвечал на это упреками и слезами, но не проговорился. Его письма 1850 и первые разговоры в Ницце служат страшным, обличительным документом… чего? Обмана, коварства, лжи?.. Нет; да это было бы и не ново, — а той слабодушной двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека. Перебирая часто все подробности печальной драмы нашей, я

всегда останавливался с изумлением — как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением души не обличил себя. Каким образом, чувствуя невозможность быть со мною откровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в разговоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только полная и взаимная откровенность?

С той минуты, с которой он угадал мое сомнение и не только промолчал, но больше и больше уверял меня в своей дружбе — и *в то же время* своим отчаянием еще сильнее действовал на женщину, которой сердце было потрясено, — с той минуты, с которой он начал со мною отрицательную ложь молчанием и умолял ее (как я после узнал) не отнимать у него моей дружбы неосторожным словом, — с той минуты начинается преступление.

Преступление!.. Да… и все последующие бедствия идут как простые неминуемые последствия его, — идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь раскаяньем, потому что они — не *наказание*, а последствие… идут за поколенье — по страшной несокрушимости совершившегося. Казнь искупает, примиряет

человека с собой, с другими, раскаяние искупает его, но последствия идут своим страшным чередом. Для бегства от них религия выдумала рай и его сени — монастырь.

…Меня выслали из Парижа, и почти в то же время выслали и Эмму. Мы собирались прожить год-два в Ницце, — тогда это была Италия, — и Эмма ехала туда же. Через некоторое время, т. е. к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с нею Г<ервег>.

Зачем же я-то с N<atalie> именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову и другим, но, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что куда бы я ни поехал, Г<ервег> мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами?

Недели через две-три после своего приезда Г<ервег> принял вид Вертера в последней степени отчаяния, и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший проездом в Ницце, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его являлась с заплаканными глазами, — он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату N<atalie>, и обе были уверены, что он не нынче — завтра бросится

в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид N<atalie> и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри.

Еще не было сказано ни слова, но уже сквозь наружную тишину просвечивало ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно пропадающие и опять являющиеся две сверкающие точки на опушке леса и свидетельствующие о близости зверя. Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги.

IV
Еще год

(1851)

Перед Новым годом Natalie принесла мне показать акварель, который она заказывала живописцу Guyot. Картина представляла нашу террасу, часть дома и двор, на дворе играли дети, лежала Татина коза, вдали на террасе была сама Natalie. Я думал, что акварель назначена мне, но N<atalie> сказала, что она ее хочет подарить в Новый год Г<ервегу>.

Мне было досадно.

— Нравится тебе? — спросила N<atalie>.

— Акварель мне так нравится, — сказал я, — что, если Г<ервег> позволит, я велю сделать для себя копию…

По моей бледности и по голосу Natalie поняла, что эти слова были и вызов, и свидетельство сильной внутренней бури. Она взглянула на меня, слезы были у нее на глазах.

— Возьми ее себе! — сказала она.

— Ни под каким видом, что за шалости.

Больше мы не говорили.

Новый, 1851, год мы праздновали у моей матери. Я был в сильно раздраженном состоянии, сел возле Фогта и, наливая ему и себе стакан вина за стаканом, сыпал остротами и колкостями; Фогт катался со смеху, Г<ервег> печально смотрел исподлобья. Наконец-то он понял. После тоста за Новый год он поднял свой бокал и сказал, что он одного желает: *чтоб наступающий год был не хуже прошедшего*, что он желает этого всем сердцем, но не надеется, напротив, чует, что *все*, все распадается и гибнет.

Я промолчал.

На другое утро я взял свою старую повесть «Кто виноват?» и перечитал журнал Любеньки и последние главы. Неужели это было проро-

чество моей судьбы — так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?.. Но внутренний голос говорил мне: «Какой ты Круциферский — да и он что за Бельтов — где в нем благородная искренность, где во мне слезливое самоотвержение?» И середь уверенности в минутном увлечении Natalie я был еще больше уверен, что мы померимся с ним, что он меня не вытеснит из ее сердца.

…Случилось то, чего я ожидал: Natalie сама вызвала объяснение. После истории с акварелью и праздника у моей матери откладывать его было невозможно.

Разговор был тяжел. *Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад.* Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда, хотела сама ехать на год в Россию и боялась ехать. Я видел колебанье и видел, что он своим эгоизмом сгубит ее — а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть за молчание.

— Еще раз, — повторял я, — я отдаю судьбу свою в твои руки. Еще раз умоляю все взвесить, все оценить. Я еще готов принять всякое решенье, готов ждать день, неделю, но только *чтоб решенье было окончательное.* Я чувствую, — говорил я, — что стою на пределе моих сил: я еще

могу хорошо поступить, но чувствую также, что надолго меня не станет.

— Ты не уедешь, ты не уедешь! — говорила, она, заливаясь, — этого я не переживу. — На ее языке такие слова были не шуткой. — Он должен ехать.

— Natalie, не торопись, не торопись брать последнего решенья, потому что оно последнее… думай сколько хочешь, но скажи мне окончательный ответ. Эти приливы и отливы сверх моих сил… я от них глупею, становлюсь мелок, схожу с ума… требуй от меня все, что хочешь, но только сразу…

Тут заехала моя мать с Колей, звать нас в Ментоне. Когда мы вышли садиться, оказалось, что одного места недоставало. Я указал рукою место Г<ервегу>. Г<ервег>, вовсе не отличавшийся такой деликатностью, не хотел садиться. Я посмотрел на него, затворил дверцы коляски и сказал кучеру: «Ступайте!»

Мы остались вдвоем перед домом — на берегу моря. У меня на душе была плита, он молчал, был бледен, как полотно, и избегал моего взгляда. Зачем я не начал прямо разговора или не столкнул его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность остановила меня. Он сказал мне что-то

о страданиях поэта и что жизнь так скверно устроена, что поэт вносит всюду несчастие. Сам страдает и заставляет страдать все ему близкое… Я спросил его, читал ли он «Ораса» Ж. Санд. Он не помнил, я советовал ему перечитать.

Он пошел за книгой к Висконти. *Больше мы с ним не виделись*!

Когда часу в седьмом все собрались к обеду, его не было. Взошла его жена с глазами, опухнувшими от слез. Она объявила, что муж болен, — все переглянулись; я чувствовал, что был в состоянии воткнуть в нее нож, который был в руках.

Он заперся в своих комнатах наверху. Этим étalage[745] он покончил себя, с ним я был свободен. Наконец, посторонние ушли, дети улеглись спать, — *мы остались вдвоем.* Natalie сидела у окна и плакала, я ходил по комнате, кровь стучала в виски, я не мог дышать.

— Он едет! — сказала она, наконец.

— Кажется, это совсем не нужно — ехать надобно мне.

— Бога ради…

— Я уеду…

— Александр, Александр, как бы ты не рас-

---

[745] Сноски: 745
Здесь: кокетничанием (*фр.*).

каялся. Послушай меня — спаси всех. Ты один можешь это сделать. Он убит, он совершенно пал духом, — ты знаешь сам, что ты был для него; его безумная любовь, его безумная дружба и сознание, что он нанес тебе огорчение… и хуже… Он хочет ехать, исчезнуть… но для этого ничего не надобно усложнять, иначе *он на один шаг от самоубийства.*

— Ты веришь?

— Я уверена.

— И он сам это говорил?

— Сам и Эмма. Он вычистил пистолет.

Я расхохотался и спросил:

— Не баденский ли? Его надобно почистить: он, верно, валялся в грязи. Впрочем, скажи Эмме, — я отвечаю за его жизнь, я ее страхую в какую угодно сумму.

— Смотри, как бы тебе не пожалеть, что смеешься, — сказала N<atalie>, мрачно качая головой.

— Хочешь, я пойду его уговаривать.

— Что еще выйдет из всего этого?

— Следствия, — сказал я, — трудно предвидеть и еще труднее отстранить.

— Боже мой! Боже мой! Дети — бедные дети — что с ними будет?

— Об них, — сказал я, — надобно было прежде

думать!

И это, конечно, самые жестокие слова из всех сказанных мною. Я был слишком раздражен, чтобы человечески понимать смысл слов, я чувствовал что-то судорожное в груди и голове и был, может, способен не только к жестоким словам, но к кровавым действиям.

Она была уничтожена — наступило молчание.

Прошло с полчаса[746]; я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопросов — она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным; дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия пьянили меня. Какой процесс, какая виселица могли устрашить — жизнь свою я уже не ставил ни в грош, — это одно из первых условий для дел страшных и безумных. Я ни слова не говорил — я стоял перед большим столом в гостиной сложа руки на груди — лицо мое было, вероятно, совсем искажено.

Молчание продолжалось — вдруг я взглянул и испугался: лицо ее покрывала смертная бледность, — бледность с синим отливом, губы были белые, рот судорожно полураскрыт, не говоря ни слова, она смотрела на меня мутным, по-

---

[746] Сноски: 746
Частию из письма Гаугу, писанного в марте 1852.

мешанным взглядом. Этот вид бесконечного страдания, немой боли вдруг осадил бродившие страсти; мне ее стало жаль, слезы текли по щекам моим, я готов был броситься к ее ногам — просить прощенья. Я сел возле нее на диван, взял ее руку, положил голову на плечо и стал ее утешать тихим, кротким голосом.

Меня угрызала совесть — я чувствовал себя инквизитором, палачом… То ли надобно было — это ли помощь друга — это ли участие; и так, со всем развитием, со всей гуманностью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог представлять какого-то Рауля Синюю Бороду.

Несколько минут прошли прежде, чем она сказала что-нибудь, могла что-нибудь сказать, и потом вдруг, рыдая, бросилась мне на шею; я ее опустил на диван, совершенно изнуренную; она только могла сказать: «Не бойся, друг мой, это хорошие слезы, слезы умиления — нет, нет, я никогда не расстанусь с тобой!»

От волнения, от спазматического рыдания она закрыла глаза — она была в обмороке. Я лил ей на голову одеколонь, мочил виски — она успокоилась, открыла глаза, пожала мою руку и впала в какое-то забытье, продолжавшееся больше

часу; я простоял возле на коленях. Когда она раскрыла глаза, она встретилась с моим печальным и покойным взглядом, — слезы еще катились по щекам, она улыбнулась мне…

Это был кризис. С этой минуты тяжелые чары ослабли — яд действовал меньше.

— Александр, — говорила она, несколько оправившись, — доверши свое дело; поклянись мне, — мне это нужно, я без этого жить не могу, — поклянись, что все кончится без крови, подумай о детях — о том, что будет с ними без тебя и без меня…

— Даю тебе слово, что я сделаю все, что возможно, отстраню всякую коллизию, пожертвую многим, но для этого мне необходимо одно — чтоб он завтра уехал, ну хоть в Геную.

— Это как ты хочешь. А мы начнем новую жизнь, и пусть все прошедшее будет прошедшее.

Я крепко обнял ее.

На другой день утром явилась ко мне Эмма. Она была растрепана, с заплаканными глазами, очень безобразна, в блузе, подпоясанной шнурком. Она трагически медленно подошла ко мне. В другое время я бы расхохотался над этой немецкой декламацией. Теперь было не до смеха. Я

принял ее стоя и вовсе не скрывая, что мне ее посещение неприятно.

— Что вам надобно? — спросил я.

— Я пришла от *него* к вам.

— Ваш муж, — сказал я, — мог бы сам прийти, если ему нужно, или он уже застрелился?

Она скрестила руки на груди.

— И это *вы* говорите, вы его друг — я вас не узнаю. Неужели вы не понимаете трагедию, совершающуюся перед вашими глазами?.. Его нежная организация не вынесет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами. Да, да, с вами!.. Он плачет о горе, которое он нанес вам, — он велел вам сказать, что жизнь его в ваших руках, он просит, чтоб вы убили его.

— Что это за комедия, — сказал я, перерывая ее речь, — ну кто же приглашает людей таким образом, да еще через свою жену, на убийство? Это продолжение пошлых мелодраматических выходок, отвратительных для меня, — я не немец…

— Herr H<erzen>…

— Madame H<erwegh>, зачем вы беретесь за такие трудные комиссии? Вы могли ожидать, что вы не услышите от меня ничего приятного.

— Это роковое несчастие, — сказала она, помолчав, — оно равно поразило вас и меня…

но посмотрите, какая разница в вашем раздражении и в моей преданности.

— Сударыня, — сказал я, — наши роли были не одинакие. Прошу не сравнивать их, а то как бы вам не пришлось покраснеть.

— Никогда! — сказала она запальчиво. — Вы не знаете, что говорите, — и потом прибавила: — Я увезу его, в этом положении он не может остаться, ваша воля исполнится. Но вы больше не тот в моих глазах, которого я так много уважала и которого считала лучшим другом Георга. Нет, если б вы были тот человек, вы расстались бы с Natalie, — пусть она едет, пусть он едет, — я осталась бы с вами и с детьми здесь.

Я громко захохотал.

Она вспыхнула в лице и голосом, дрожащим от досады и негодования, спросила меня:

— Что это значит?

— Зачем же, — сказал я ей, — вы шутите в серьезных материях? Однако довольно, вот вам мой ultimatum: идите сейчас к Natalie сами, одни, переговорите с ней, — если она хочет ехать — пусть едет, я ничему и никому не буду препятствовать *кроме того* (извините меня), кроме того, чтоб вы здесь остались, уж я как-нибудь с хозяйством сам справлюсь. Но слушайте: если она не хочет

ехать, то это последняя ночь, которую я провожу под одной кровлей с вашим мужем, — *живыми* здесь еще раз ночевать мы не будем!

Через час времени Эмма возвратилась и мрачно возвестила мне — таким тоном, как будто хотела сказать — «вот плоды твоих злодеяний!»:

— Natalie не едет; она погубила великое существование, из самолюбия, — я спасу его!

— Итак?

— Итак, мы на днях едем.

— Как на днях? Что вы это… Завтра утром — вы забыли, что ли, альтернативу?

(Повторяя это, я нисколько не изменял этим слову, данному Natalie: я был совершенно уверен, что она его увезет.)

— Я вас не узнаю — как горько я ошиблась в вас, — заметила сумасбродная женщина и снова вышла.

Дипломатическое поручение на этот раз было легко, — она возвратилась минут через двадцать, говоря, что он на все согласен: и на отъезд, и на дуэль, но с тем вместе он велел мне сказать, *что он дал клятву не поднимать пистолета на мою грудь* — а готов принять смерть из моих рук.

— Вы видите, он все у нас шутит… Ведь и короля французского казнил просто палач, а не близкий

приятель. Итак, вы завтра отправляетесь?

— Право, не знаю, как это сделать. У нас ничего не готово.

— За ночь все можно приготовить.

— Надобно паспорт визировать.

Я позвонил, взошел Рокка, я сказал ему, что M-me Emma просит его сейчас визировать их пасс в Геную.

— Да у нас денег нет на дорогу.

— Много ли вам надобно до Генуи?

— Франков *шестьсот.*

— Позвольте мне вам их вручить.

— Мы здесь должны по лавочкам.

— Примерно?

— Франков 500.

— Не беспокойтесь — и счастливый путь.

Этого тона она выдержать не могла. Самолюбие чуть ли не было в ней главной страстью.

— За что, — говорила она, — за что это обращение *со мной — меня* вы не имеете права ни ненавидеть, ни презирать.

— Стало, *не вас* имею?

— Нет, — сказала она, захлебываясь слезами, — нет, я только хотела сказать, что я вас любила искренно, как сестра, я не хочу вас оставить, не пожав вам руки, я уважаю вас, вы, может, пра-

вы — но вы жестокий человек. Если б вы знали, что я вынесла…

— А зачем вы были всю вашу жизнь рабой? — сказал я ей, подавая руку; на ту минуту я не был способен к состраданию. — Вы заслужили вашу судьбу.

Она вышла вон, закрывая лицо.

На другой день утром, в десять часов, в извозчичьей карете, на которую нагрузили всякие коробки и чемоданы, отправился поэт mit Weib und Kind[747] в Геную. Я стоял у открытого окна, — он как-то юркнул в карету, так быстро, что я и не приметил. Она протянула руку повару и горничной и села возле него. Унижения больше этого буржуазного отъезда я не могу себе представить.

Natalie была расстроена — мы поехали вдвоем за город, прогулка была печальна, из живых, свежих ран струилась кровь. Воротившись домой, первое лицо, встретившее нас, был сын Гер<вега>, Горас, мальчик лет девяти, шалун и воришка.

— Откуда ты?

— Из Ментоне.

— Что случилось?

— Вот от maman записка к вам.

---

[747] Сноски: 747
с женой и детьми (*нем.*).

«Lieber[748] H<erzen>, — писала она, как будто между нами ничего не было, — мы остановились дня на два в Ментоне, комната в гостинице небольшая, — Горас мешает Георгу, — позвольте оставить его у вас на несколько дней».

Это отсутствие такта поразило меня. Вместе с тем Эмма писала К. Фогту, чтоб он приехал *на совещание* — и так чужие люди будут замешаны! Я просил Фогта взять Гораса и сказать, что места нет.

«Однако, — велела она мне сказать через Фогта, — квартира еще за нами целых три месяца, и я могу ею располагать».

Это было совершенно справедливо — только деньги за квартиру *заплатил я.*

Да, в этой трагедии, как у Шекспира, рядом со звуками, раздирающими сердце, с стоном, с которым исходит жизнь, мрет последняя искра, тухнет мысль, — площадная брань, грубый смех и рыночное мошенничество.

У Эммы была горничная Жаннета, француженка из Прованса, красивая собой и очень благородная; она оставалась дня на два и должна была с их вещами ехать на пароходе в Геную.

---

[748] Сноски: 748
Дорогой (*нем.*).

На другой день утром Жаннета тихо отворила дверь и спросила меня, может ли она взойти и поговорить со мной наедине. Этого никогда не бывало; я думал, что она хочет попросить денег, и готов был дать.

Краснея до ушей и со слезами на глазах, добрая провансалка подала мне разные счеты Эммы, не заплоченные по лавочкам, и прибавила:

— Madame приказывала мне, да я никак не могу этого сделать, не спросившись вас, — она, видите, приказывала, чтоб я забрала в лавках разных разностей и приписала бы их в эти счеты — я не могла этого сделать, не сказавши вам.

— Вы прекрасно поступили. Что же она поручила вам купить?

— Вот записка.

На записке было написано *несколько кусков полотна, несколько дюжин носовых платков и целый запас детского белья.*

Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время, а тут какое обилие сил — вздумать об экономическом приобретении полотна и о детских чулках, когда рушится семейство и люди касаются холодного лезвия Сатурновой косы. Немцы — славный народ!

V

Мы опять были одни, но это было не прежнее время, — все носило следы бури. Вера и сомнение, усталь и раздражение, чувство досады и негодования мучили. А пуще всего мучила какая-то оборванная нить жизни, не было больше той святой беспечности, с которой жилось так легко, не оставалось ничего заветного. Если все то было, что было, — нет ничего невозможного. Воспоминания пугали в будущем. Сколько раз мы сходили вечером обедать одни и, никто не притрогиваясь ни к чему и не произнося слова, вставали, отирая слезы, из-за стола и видя, как добрый Рокка с сердитым видом качал головой, унося блюда. Праздные дни — ночи без сна — тоска, тоска. Я пил что попало — скидам, коньяк, старый белет, пил ночью один и днем с Энгельсоном, — и это в ниццком климате. Русская слабость пить с горя — совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы, и головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натощак.

Г<ервег> прислал мне письмо — я его, не читая, бросил. Он стал писать к N<atalie> письмо

за письмом. Он писал раз ко мне — я отослал назад письмо. Печально смотрел я на это. Это время должно было быть временем глубокого искуса, покоя и свободы от внешних влияний. Какой же покой, какая свобода могла быть при письмах человека, прикидывающегося бешеным и грозящего не только самоубийством, но и страшнейшими преступлениями? Так, например, он писал, что на него находят такие минуты исступления, что *он хочет перерезать своих детей, выбросить их трупы за окно* и явиться к нам в их крови. В другом письме — что он придет зарезаться при мне и сказать: «Вот до чего ты довел человека, который тебя так любил». Рядом с этим он умолял Natalie *помирить* его со мною, *принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше.*

Десять раз писал он о заряженном пистолете, и Natalie все еще верила. Он требовал только ее благословения на смерть; я уговорил ее написать ему, что она, наконец, согласна, что она убедилась, что выхода нет, кроме смерти. Он отвечал, что ее строки пришли *слишком поздно, что он теперь не в том расположении* и не чувствует достаточно сил, чтобы исполнить, но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет. Письмо это нанесло ему страшный удар в глазах Natalie.

Вслед за тем приехал из Генуи Орсини — он рассказывал, смеясь, о попытке самоубийства мужа и жены. Узнав, что Г<ерве>ги в Генуе, Орсини пошел к ним и встретил Г<ервега> гуляющего по мраморной набережной. От него он узнал, что жена его дома, и отправился к ней. Она тотчас объяснила ему, что *они решились уморить себя голодом*, что этот род смерти избран им для себя, но что она хочет разделить его судьбу, — она просила его не оставить Гораса и Адду.

Орсини обомлел от удивления.

— Мы не ели тридцать часов, — продолжала Эмма, — уговорите его съесть что-нибудь, спасите человечеству великого поэта! — и она рыдала.

Орсини вышел на террасу и тотчас возвратился с радостной вестью, что Г<ервег> стоит на углу и ест салами. Обрадованная Эмма позвонила и велела подать миску супа. В это время мрачно возвратился муж, и ни слова о салами, — но обличительная миска стояла тут.

— Георг, — сказала Эмма, — я так была рада, услышав от Орсини, что ты ел, что и сама решилась спросить супу.

— Я взял от тошноты кусочек салами, — впрочем, это вздор: голодная смерть самая мучительная, — я отравлюсь! — и он принялся есть суп.

Жена подняла глаза к небу и взглянула на Орсини, как бы говоря: «Вы видите — его спасти нельзя».

Орсини умер, но есть несколько свидетелей его рассказа в живых, например, К. Фогт, Мордини, Charles Edmond.

Не легко было Natalie от этих проделок. Она была *унижена в нем,* я был унижен в нем — и она это мучительно чувствовала.

Весной Г<ервег> уехал в Цюрих и прислал жену в Ниццу (новая дерзкая неделикатность). Мне хотелось после всего бывшего отдохнуть. Я придрался к моей швейцарской натурализации и поехал в Париж и Швейцарию с Энгельсоном. Письма Natalie были покойны, на душе будто становилось легче.

На обратном пути я встретил в Женеве Сазонова. Он за бутылкой вина и с совершеннейшим равнодушием спросил меня, как идут мои семейные дела.

— Как всегда.

— Ведь я знаю всю историю и спрашиваю тебя из дружеского участия.

Я с испугом и дрожью смотрел на него — он не заметил ничего. Что же это такое? Я считал, что все это тайна, и вдруг человек за стаканом

вина говорит со мной — как будто это самое обыкновенное, обыденное дело.

— Что ты слышал и от кого?

— Я слышал всю историю от самого Г<ервега>. И скажу тебе откровенно: я тебя вовсе не оправдываю. Зачем ты *не пускаешь* жену твою ехать или зачем не оставишь ее сам — помилуй, что за слабость — ты начал бы новую, свежую жизнь.

— Да с чего же ты вообразил, что она хочет ехать — неужели ты веришь, что я могу пускать или не пускать?

— Ты принуждаешь, — разумеется не физически, а *морально.* Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо покойнее, чем ожидал, и не хочу быть с тобой вполовину откровенным. Г<ервег> уехал из вашего дома, во-первых, потому, что он трус и боится тебя, как огня, а во-вторых — потому, что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься, приехать в Швейцарию.

— Это гнуснейшая клевета! — вскрикнул я.

– *Это его слова*, и в этом я даю тебе честнейшее слово.

Пришедши домой в отель, я бросился, больной и уничтоженный, на постель, не раздеваясь, в положении, близком к помешательству или смер-

ти. Верил я или нет? Не знаю, но не могу сказать, чтоб я *вовсе не верил* словам Сазонова.

«Итак, — повторял я сам себе, — вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь, — обманом и, по дороге, европейской сплетней. Ха, ха, ха!.. Меня жалеют, меня берегут из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату, которого перестают сечь и отдают в больницу, когда пульс слабо бьется, — и усердно лечат — для того чтоб додать, когда оправится, вторую половину». Я был обижен, оскорблен, унижен.

В этом расположении я написал ночью письмо; письмо мое должно было носить следы бешенства, отчаяния и недоверия. Каюсь, глубоко каюсь в этом заглазном оскорблении, в этом дурном письме.

Natalie отвечала строками черной печали.

«Лучше мне умереть, — говорила она, — вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я плачу и плачу!»

Г<ервег> солгал.

Следующие письма были кротко печальны: ей было жаль меня, ей хотелось уврачевать мои раны, а что сама-то она должна была вынести…

Зачем нашелся человек, повторивший мне эту

клевету, и зачем не было другого, который бы остановил мое письмо, писанное в припадке преступной горячки?

VI
Oceano nox[749]
(1851)
I[750]

...Ночью, с 7 на 8 июля, часу во втором, я сидел на ступеньке Кариньянского дворца в Турине; площадь была совершенно пуста, поодаль от меня дремал нищий, часовой тихо ходил взад и вперед, насвистывая песню из какой-то оперы и побрякивая ружьем... Ночь была горячая, теплая, пропитанная *запахом* широкко.

Мне было необычайно хорошо, так, как не бывало давно; я опять почувствовал, что я еще молод и силен силами в груди, что у меня есть

---

[749] Сноски: 749

Ночь на океане (*лат.*).

[750] Сноски: 750

Этот отрывок (никогда еще не печатавшийся) принадлежит к той части «Былого и дум», которая будет издана гораздо позже и для которой я писал все остальные. Несколько строк о страшном происшествии, бывшем 16 ноября 1851 — в «Записках» Орсини, принимавшего самое горячее участие в несчастии, поразившем меня, были поводом, что я напечатал второй отрывок в «Полярной звезде» 1859.

друзья и верования, что я полон любовью — как тринадцать лет перед тем. Сердце билось так, как я отвык чувствовать в последнее время. Оно билось, как в тот мартовский день 1838, когда я, завернувшись в плащ, ждал Кетчера у фонарного столба, на Поварской.

Я и теперь ждал свиданья, — свиданья с *той же* женщиной, и ждал, может, еще с большей любовью, хотя к ней и примешивались грустные, черные ноты; но в эту ночь их было мало слышно. После безумного кризиса горести, отчаяния, набежавшего на меня при моем проезде через Женеву, мне стало лучше. Кроткие письма Natalie, исполненные грусти, слез, боли, любви, довершили мое выздоровление. Она писала, что едет из Ниццы в Турин мне навстречу, что ей хотелось бы пробыть несколько дней в Турине. Она была права: нам надобно было еще раз одним всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы и, наконец, узнать окончательно, *есть ли* для нас общее счастие — и все это наедине, даже без детей, и притом *в другом* месте, не при той обстановке, где мебель, стены могли не вовремя что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово…

Почтовая карета должна была во втором часу

прийти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждал у сумрачного Кариньянского дворца: недалеко от него она должна была заворачивать.

Я приехал в этот же день утром из Парижа, через Mont-Cenis; в hôtel Feder мне дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мне нравился этот праздничный вид, он был кстати. Я велел приготовить небольшой ужин и пошел бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъезжала к почтовому дому, Natalie узнала меня.

— Ты тут! — сказала она, кланяясь в окно. Я отворил дверцы, и она бросилась ко мне на шею с такой восторженной радостью, с таким выражением любви и благодарности, что у меня в памяти мелькнули, как молния, слова из ее письма: «Я возвращаюсь, как корабль, в свою родную гавань после бурь, кораблекрушений и несчастий — сломанный, но спасенный».

Одного взгляда, двух-трех слов было за глаза довольно… все было понято и объяснено; я взял ее небольшой дорожный мешок, перебросил его на трости за спину, подал ей руку, и мы весело пошли по пустым улицам в отель. Там все спали, кроме швейцара. На накрытом столе стояли две незажженные свечи, хлеб, фрукты и графин

вина; я никого не хотел будить, мы зажгли свечи и, севши за пустой стол, взглянули друг на друга и разом вспомнили владимирское житье.

На ней было белое кисейное платье, или блуза, надетая на дорогу от палящего жара; и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также вся в белом, и венчальное платье было белое. Даже лицо ее, носившее резкие следы глубоких потрясений, забот, дум и страданий, напоминало выражением черты того времени.

И мы сами были те же, только теперь мы подавали друг другу руку не как заносчивые юноши, самонадеянные и гордые верой в себя, верой друг в друга и в какую-то исключительность нашей судьбы, а как ветераны, закаленные в бою жизни, испытавшие не только свою силу, но и свою слабость… едва уцелевшие от тяжелых ударов и неисправимых ошибок. Вновь отправляясь в путь, мы, не считаясь, разделили печальную ношу былого. С этой ношей приходилось идти более скромным шагом, но внутри наболевших душ сохранилось все для возмужалого, отстоявшегося счастия. По ужасу и тупой боли еще яснее разглядели мы, как мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, детьми.

В эту встречу все было кончено, оборванные концы срослись, не без рубца, но крепче прежнего, — так срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшие на глазах, соединяли нас еще новой связью — чувством глубокого сострадания друг к другу. Я видел ее борьбу, ее мученье, я видел, как она изнемогала. Она видела меня слабым, несчастным, оскорбленным, оскорбляющим, готовым на жертву и на преступление.

Мы слишком большой платой заплатили друг за друга, чтоб не понимать, чего мы стоим и как дорого мы обошлись друг другу. «В Турине, — писал я в начале 1852, — было наше второе венчание; его смысл, может быть, глубже и знаменательнее первого; он совершился, с полным сознанием всей ответственности, которую мы вновь брали в отношении друг к другу, он совершился в виду страшных событий…»

Любовь каким-то чудом пережила удар, который должен был ее разрушить.

Последние темные облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы… точно после разлуки в несколько лет; день давно сквозил яркими полосами в опущенные жалузи, когда мы встали из-за пустого стола…

Дня через три мы поехали вместе домой, в Ниццу, по Ривьере. Мелькнула Генуя, мелькнул Ментоне, где мы так часто бывали и в таком розном настроении духа, мелькнуло Монако, врезывающееся в море бархатной травой и бархатным песком; все встречало нас весело, как старые друзья после размолвки, а тут виноградники, рощи роз, померанцевых деревьев и море, стелющееся перед домом, и дети, играющие на берегу… вот они узнали, бросились навстречу. *Мы дома.*

Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними, — ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вечная язычница, увенчала обреченных на жертву пышным венком осенних цветов… и усыпала хоть на время своим маком и благоуханием!

Пропасти, делившие нас, изчезли, берега сдвинулись. Разве это не та же рука, которая через всю жизнь была в моей руке, и разве это не тот же взгляд? — только иногда он мутится от слез. «Успокойся же, сестра, друг, товарищ, ведь все прошло — и мы те же, как в юные, святые, светлые годы!»

«…После страданий, которых, может, ты знаешь меру, иные минуты полны блаженства; все верования детства, юности не только соверши-

лись, но прошли сквозь страшные испытания, не утратив ни свежести, ни аромата, и расцвели с новым блеском и новой силой. Я никогда не была так счастлива, как теперь», — писала она своему другу в Россию.

Разумеется, от прошедшего остался осадок, до которого нельзя было касаться безнаказанно, — что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющий испуг и боль.

Прошедшее — не корректурный лист, а нож гильотины, после его падения многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, как бронза. Люди вообще забывают только то, чего не стоит помнить или чего они не понимают. Дайте иному забыть два-три случая, такие-то черты, такой-то день, такое-то слово, — и он будет юн, смел, силен, — а с ними он идет, как ключ, ко дну. Не надобно быть Макбетом, чтоб встречаться с тенью Банко; тени — не уголовные судьи, не угрызения совести, *а несокрушимые события памяти.*

Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имеет свои права, оно факт, с ним надобно *сладить*, а не забыть его — и мы шли к этому дружными шагами.

…Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая-нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я в то же мгновение встречал испуганный взгляд, смотревший на меня с бесконечной мукой и говоривший: «Да, ты прав, иначе и быть не может, но…», и я старался разгонять набежавшие тучи.

Святое время примиренья — я вспоминаю о нем сквозь слезы…

…Нет, не *примиренья*, это слово не идет. Слова, как гуртовые платья, впору до «известной степени» *всем* людям одинакого роста и плохо одевают каждого *отдельно.*

Нам нельзя было мириться: мы никогда не ссорились — мы страдали друг о друге, но не расходились. В самые мрачные минуты какое-то неразрывное единство, бессомненное для обоих, и глубокое уважение друг к другу были присущи. Мы походили скорее на людей, оправляющихся после тяжкой горячки, чем на помирившихся: бред прошел, мы узнали друг друга взглядом, несколько слабым и мутным. Боль вынесенная была памятна, утомление ощутительно, но ведь мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

…Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом, жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцелели. По ним можно судить о том, что пропало… Читая их, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающего и теплого сердца, чувствуешь шепот этих беззвучных тайн, вечно скрытых, едва просыпающихся в сознании. В этих строках можно было уловить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль — в мысль. Если б этот труд не был грубо прерван, он составил бы великий антецедент в замену уклончивого молчания женщины и надменного покровительства ее мужчиной; но самый бессмысленный удар разразился над нашей головой и окончательно все разбил.

II

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, Sous l’aveugle océan à jamais

enfouis...[751]

V. Hugo

Так оканчивалось лето 1851. Мы были почти совсем одни. Моя мать с Колей и с Шпильманом уехали погостить в Париже к М. К. Тихо проводили мы время с детьми. Казалось, все бури были назади.

В ноябре мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает, потом другое из Марселя, в котором она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароход и едут к нам. Во время ее отсутствия мы переехали в другой дом, также на берегу моря, в предместье С.-Елен. В доме этом с большим садом было помещение для моей матери; мы убрали ее комнату цветами, наш повар достал с Сашей китайских фонарей и развесил их по стенам и деревьям. Все было готово — дети часов с трех не сходили с террасы; наконец, в шестом часу на горизонте отделилась от моря темная струйка дыма, а через несколько минут показался и пароход, стоявший неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у нас, Франсуа пустился на пристань, я сел в ко-

---

[751] Сноски: 751

В бездонном море, в безлунную ночь, навсегда погребенные под водами слепого океана (*фр.*).

ляску и поехал туда же.

Когда я приехал на пристань, пароход уже вошел, лодки ждали кругом разрешения sanita[752] сходить пассажирам. Одна из них подъезжала к дебаркадеру, на ней стоял Франсуа.

— Как, — спросил я, — вы уже назад едете?

Он мне не отвечал; я взглянул на него и обмер: он был зеленого цвета и дрожал всем телом.

— Что это? — спросил я, — вы больны?

— Нет, — отвечал он, минуя мой взгляд, — только наши не приехали.

— Как не приехали?

— Там что-то с пароходом случилось, так не все пассажиры приехали.

Я бросился в лодку и велел скорее отчаливать.

На пароходе меня встретили с каким-то зловещим почетом и с совершенным молчанием. Сам капитан дожидался меня; все это совсем не в обычаях, и я ждал чего-нибудь ужасного. Капитан сказал мне, что между островом Иером и материком пароход, на котором была моя мать, столкнулся с другим и пошел ко дну, что большая часть пассажиров взяты им и другим пароходом, шедшим мимо.

---

[752] Сноски: 752
санитарного надзора (*ит.*).

— У меня, — сказал он, — только две молодые девушки из ваших, — и повел меня на переднюю палубу — все расступились с тем же мрачным молчанием. Я шел бессмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нее, высокая, стройная девушка, лежала на палубе с растрепанными и мокрыми волосами; возле нее — горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая девушка хотела приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась в другую сторону.

— Что же это, наконец? Где они? — спросил я, болезненно схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаем, — отвечала она, — пароход потонул, нас замертво вытащили из воды. Какая-то англичанка дала нам свои платья, чтоб переодеться.

Капитан грустно посмотрел на меня, потрес мою руку и сказал:

— Отчаиваться не надо; съездите в Иер, быть может, и найдете кого-нибудь из них.

Поручив Энгельсону и Франсуа больных, я поехал домой в каком-то ошеломлении; все в голове было смутно и дрожало внутри; я желал, чтоб дом наш был за тысячу верст. Но вот блеснуло что-то между деревьев, еще и еще; это были фонарики,

зажженные детьми. У ворот стояли наши люди, Тата и Natalie с Олею на руках.

— Как, ты один? — спросила меня спокойно Natalie. — Да ты хоть бы Колю привез.

— Их нет, — сказал я, — с их пароходом что-то случилось, надобно было перейти на другой, тот не всех взял. Луиза здесь.

– *Их нет*! — вскрикнула Natalie. — Я теперь только разглядела твое лицо: у тебя глаза мутны, все черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я еду их искать в Иер.

Она покачала головой и прибавила:

— Их нет! их нет! — потом молча приложила лоб к моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова; я привел ее в столовую; проходя, я шепнул Рокке:

— Бога ради, фонари.

Он понял меня и бросился их тушить.

В столовой все было готово: бутылка вина стояла во льду, перед местом моей матери — букет цветов, перед местом Коли — новые игрушки.

Страшная весть быстро разнеслась по городу, и дом наш стал наполняться близкими знакомыми, как Фогт, Тесье, Хоецкий, Орсини, и даже совсем посторонними: одни хотели узнать, что случилось, другие — показать участие, третьи —

советовать всякую всячину, большей частью вздор. Но не буду неблагодарен: участие, которое мне тогда оказали в Ницце, меня глубоко тронуло. Перед такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуют свою связь.

Я решился в ту же ночь ехать в Иер. Natalie хотела ехать со мной, я уговорил ее остаться; к тому же погода круто переменилась: подул мистраль, холодный, как лед, и с сильным дождем. Надобно было достать пропуск во Францию, через Варский мост; я поехал к Леону Пиле, французскому консулу; он был в опере; я отправился к нему в ложу с Хоецким; Пиле, уже прежде что-то слышавший о случившемся, сказал мне:

— Я не имею права дать вам позволение, но есть обстоятельства, в которых отказ был бы преступлением. Я вам дам на свою ответственность билет для пропуска через границу, приходите за ним через полчаса в консулат.

У входа в театр меня ждали человек десять из тех, которые были у нас. Я им сказал, что Леон Пиле дает билет.

— Поезжайте домой и не хлопочите ни о чем, — говорили мне со всех сторон, — остальное будет сделано — мы возьмем билет, визируем его в интендантстве, закажем почтовых лошадей.

Хозяин моего дома, бывший тут, побежал доставать карету; содержатель гостиницы предложил безденежно свою.

В одиннадцать часов вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы ветра были иной раз до того сильны, что лошади останавливались; море, в котором так недавно были похоронены, едва видное в темноте, билось и ревело. Мы поднимались на Эстрель, дождь заменился снегом, лошади спотыкались и чуть не падали от гололедицы. Несколько раз почтальон, выбившись из сил, принимался греться; я ему подавал мою фляжку с коньяком и, обещая двойные прогоны, упрашивал торопиться.

Зачем? Верил ли я в возможность, что найду кого-нибудь из них, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это после всего слышанного, но поискать, взглянуть на самое место, найти вещь, тряпку, увидеть очевидца, наконец… была потребность убедиться, что нет надежды, и потребность что-нибудь делать, не быть дома, прийти в себя.

Пока на Эстреле меняли лошадей, я вышел из кареты; сердце мое сжалось, и я чуть не зарыдал, осмотревшись: это было возле той самой

таверны, в которой мы провели ночь в 1847 году. Я вспомнил огромные деревья, осенявшие ее; тот же вид стлался перед нею, только тогда он был освещен восходящим солнцем, а теперь скрывался за серыми не итальянскими тучами и местами белел от снега.

Живо представилось мне то время, со всеми мельчайшими подробностями: я вспомнил, как хозяйка нас потчевала зайцем, тухлость которого была заморена страшным количеством чеснока, как в спальной летали летучие мыши, как я их гонял с нашей Луизой полотенцем и как на нас веяло в первый раз теплым южным воздухом…

Тогда я писал: «С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжественной радости — юнеешь, хочется петь, плясать, плакать, все так ярко, светло, весело, роскошно. После Авиньона нам надобно было переезжать Приморские Альпы. В лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца орумянил ослепительные снежные вершины; кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огром-

ные деревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительностью; воздух был упоителен, необычайно прозрачен, освежающ и звонок; наши слова, пенье птиц раздавались громче обыкновенного, и вдруг на небольшом изгибе дороги блеснуло каймой около гор и задрожало серебряным огнем Средиземное море»[753].

И вот через четыре года я снова на том же месте!..

Прежде ночи мы не могли приехать в Иер; я тотчас отправился к комиссару полиции; с ним и с жандармским бригадиром пошли мы сначала к морскому комиссару. У него были разные спасенные вещи; я ничего в них не нашел. Потом мы пошли в больницу. Один из утопавших отходил, другие сообщили мне, что они видели пожилую женщину, ребенка лет пяти и с ним молодого человека, с белокурой, окладистой бородой... что они видели их в самую последнюю минуту, и что, стало быть, они так же пошли ко дну, как и все. Но тут-то снова и являлся вопрос: ведь рассказывавшие были же живы, хотя и они, как Луиза и горничная, порядком не помнили, как спаслись.

---

[753] Сноски: 753
«Письма из Франции и Италии».

Найденные тела лежали в крипте монастыря; мы пошли туда из больницы; сестры милосердия встретили нас и повели, освещая нам дорогу церковными свечами. В крипте стоял ряд вновь сколоченных ящиков, в каждом ящике было одно тело. Комиссар велел их раскрыть; оказалось, что ящики заколочены. Бригадир послал жандарма за долотом и велел ему потом взламывать одну крышку за другой.

Этот осмотр тел был нечеловечески тяжел. Комиссар держал в руке книжку и каким-то официальным тоном спрашивал при вскрытии каждого ящика: «Вы свидетельствуете, в присутствии нашем, что тело это вам незнакомо?» Я кивал головой, комиссар метил карандашом и, обращаясь к жандарму, приказывал снова закрыть. Мы переходили к другому. Жандарм приподнимал крышу, я с каким-то ужасом бросал взгляд на покойника, и словно было легче, когда встречал незнакомые черты, а в сущности еще страшнее было думать, что все трое пропали так бесследно, так заброшенно лежат на дне моря, носятся волнами. Тело без гроба, без могилы страшнее всяких похорон, а тут не было и самих покойников.

Я никого не нашел. Одно тело поразило меня:

женщина лет двадцати, красавица, в нарядном провансальском костюме; ее грудь была обнажена (с нею был ребенок, разумеется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лицо ее нисколько не изменилось, смуглый загар придавал ей совершенно живой вид.

Бригадир не вытерпел и заметил: «Экая прелесть какая!» Комиссар ничего не прибавил, жандарм, накрывши ее, заметил бригадиру: «Я знал ее, она из здешних подгородных крестьянок, ехала к мужу в Грас. Пусть подождет!»

Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не осталось от них; между спасенными вещами не было ни лоскутка, им принадлежащего, — сомнение в их гибели было невозможно. Все спасшиеся были или в Иере, или на том же пароходе, который привез Луизу. Капитан выдумал для моего успокоения какую-то сказку.

В Иере мне рассказывали еще о пожилом человеке, потерявшем всю семью, который не хотел оставаться в больнице и ушел куда-то пешком без денег, в состоянии, близком к помешательству, и о двух англичанках, отправившихся к английскому консулу: они лишились матери,

отца и брата!

Дело шло к рассвету, я велел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил меня на часть берега, выдавшуюся в море, и оттуда показывал место кораблекрушения. Море еще кипело и волновалось, седое и мутное от вчерашней бури; вдали, на одном месте, качалось какое-то особенное пятно, словно более густая, прозрачная влага.

— Пароход вез груз масла; видите, оно отстоялось, — вот тут и было несчастие.

Это всплывшее пятно было *все.*

— А глубоко тут?

— Метров сто восемьдесят будет.

Я постоял; утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера, дул, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!.. Сто восемьдесят метров глубины и носящееся пятно масла!..

Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues;

Vous roulerez à travers les sombres étendues,

Heurtant

de vos fronts des écueils inconnus…[754]

С страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. С дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью, она говорила мне, как бы прося моей помощи:

— Коля, Коля не оставляет меня, бедный Коля, как он, чай, испугался, как ему было холодно, а тут рыбы, омары!

Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной, и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы я в первый раз усомнился, спасу ли я ее… В мучительной неуверенности тянулись дни, что-то вроде существования людей между приговором и казнию, когда человек разом надеется и наверно знает, что он от топора не уйдет!

---

[754] Сноски: 754

Никто не знает вашей участи, бедные, погибшие головы; вы будете катиться в мрачных пространствах, касаясь лбами неведомых скал (*фр.*).

VII

1852

Снова наступал Новый год. Мы его встретили около постели Natalie: наконец организм не вынес, она слегла.

Энгельсоны, Фогт, человека два близких знакомых были у нас. Все были печальны. Парижское *второе декабря* лежало плитой на груди. Общее, частное — все неслось куда-то в пропасть и уж так далеко ушло под гору, что ни остановить, ни изменить ничего нельзя было — приходилось ждать тупо, страдательно, когда все сорвавшееся с рельсов полетит в тьму.

Подали обычный бокал в двенадцать часов — мы улыбнулись натянуто, внутри была смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться.

Болезнь определилась — сделалась плерези[755] в левой стороне.

Пятнадцать страшных дней провела она между

---

[755] Сноски: 755
плеврит (*фр.* pleurésie).

жизнию и смертью, но на этот раз жизнь победила. В одну из самых тяжких минут я спросил доктора Бонфиса: переживет ли больная ночь?

— Наверное, — сказал Бонфис.

— Вы правду говорите? Пожалуйста, не обманывайте!

— Даю вам честное слово — я ручаюсь… — Он приостановился. — Я ручаюсь *за три дня*, спросите Фогта, если мне не верите.

Хорошо было это обратное on en plantera[756] Гудсон Лова.

Наступило медленное выздоровление, и с ним последний луч надежды бледно осветил тревожную жизнь нашу. Силы ее духа возвратились прежде… Были минуты удивительные — последние аккорды навеки умолкающей музыки…

Несколько дней после перелома болезни я както утром рано пришел к себе в кабинет и заснул на диване. Вероятно, я крепко спал, потому что не слыхал, как входил человек. Проснувшись, я нашел на столе письмо. Почерк Гервега. С какой стати он пишет, и как после всего, что было, осмеливается он писать ко мне? Повода я не подавал никакого. Я взял письмо с тем, чтобы его отпра-

---

[756] Сноски: 756
Здесь: выздоровление (*фр.*).

вить назад, но, увидавши на обороте надпись: «Дело честного вызова», я открыл письмо.

Письмо было отвратительно, гнусно. Он говорил, что я моими *клеветами* на него сбил Natalie с толку, что я воспользовался ее слабостью и моим влиянием на нее, что она *изменила* ему. В заключение он *доносил на нее* и говорил, что *судьба* решает между мной и им, что «она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу семью. Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно кончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения»[757].

Письмо это была *первая обида, нанесенная мне* со дня рождения. Я вскочил, как уязвленный зверь, с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого негодяя в Ницце? Зачем через коридор лежала умирающая женщина!

Обливши два-три раза голову холодной водой… я сошел к Энгельсону (он занимал после кончины моей матери ее комнаты) и, выждав, когда его жена ушла, сказал ему, что получил письмо от Г<ервега>.

— Так вы в самом деле получили его? — спро-

---

[757] Сноски: 757

Я никогда не перечитывал этого письма и раз только развертывал его потом. В 1853, в годовщину, рожденья Natalie, 23 октября ст. ст., я, не читая, его сжег.

сил Энгельсон.

— Да разве вы знали, ожидали его?

— Да, — сказал он, — вчера я слышал об этом.

— От кого?

— От К. Фогта.

Я щупал себе голову, мне казалось, что я сошел с ума. Молчание наше было до того безусловно, что ни моя мать, ни М<ария> К<аспаровна> ни разу не заговаривали со мной о случившемся. С Энгельсоном я был ближе, чем с другими, но и с ним я говорил раз, коротко отвечая ему на вопрос, сделанный, гуляя в окрестностях Парижа, о причине моего разрыва с Г<ервегом>. Я был поражен в Женеве, услышав от Сазонова о болтовне этого негодяя, но мог ли я думать, что около нас, возле, за дверью все знают, все говорят о том, что я считал тайной, погребенной между несколькими лицами… что знают даже о письмах, которых я еще не получал?

Мы пошли к Фогту. Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне *страшное письмо*, что он сбросит меня с высоты, на которую меня поставила Natalie, что он покроет нас «*позором,* хоть бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас

всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде».

Наконец, он писал своей жене (и она все это показывала Фогту, Шарлю Эдмонду и Орсини!): «Ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим», т. е. стало быть, перерезать нас.

Были люди, говорившие, что он сошел с ума от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия, — это вздор. Человек этот не сделал ни одного *поступка* опасного или неосторожного, сумасшествие было только *на словах*, он выходил из себя *литературно.* Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тягостнее всякого скандала, возвратившаяся тишина нашей жизни не давала ему покоя. Мещанин, как Орас Ж. Санда, он болтал в отомщенье женщине, которую любил, и человеку, которого называл братом и отцом, и — мещанин-немец, он грозился мелодраматическими фразами, сочиненными на псевдошиллеровский лад.

В то время, когда он писал свое письмо ко мне и ряд сумасшедших писем к своей жене, в то самое время он *жил на содержании* у старой, покинутой любовницы Людовика-Наполеона, разгульной женщины, известной всему Цюриху,

с ней проводил дни и ночи, на ее счет роскошничал, ездил с нею в ее экипаже, кутил в больших отелях… нет, это не сумасшествие.

— Что вы намерены делать? — спросил меня наконец Энгельсон.

— Ехать и убить его, как собаку. Что он величайший трус, это вы знаете и все знают… шансы все с моей стороны.

— Да как же вам ехать?..

— В этом-то все и дело. Напишите ему покаместь, что не ему у меня требовать удовлетворения, а мне его *наказывать*, что я сам выберу средства и время его наказать, что для этого не оставлю больной женщины, а на его грубости плюю.

В том же смысле я писал Сазонову и спрашивал, хочет ли он в этом деле мне помочь. Энгельсон, Сазонов и Фогт приняли с горячностью мое предложение. Письмо мое было большой ошибкой и дало ему повод сказать впоследствии, что я принял дуэль, что только потом отказался от нее.

Отказаться от дуэли — дело трудное и требует или много твердости духа или много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо в новом обществе, обличая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дво-

рянской честью и военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол и принять на себя нареканье в трусости.

Доказывать нелепость дуэли не стоит — в теории его никто не оправдывает, исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтованья, но в практике все подчиняются ему для того, чтоб доказать, чорт знает кому, свою храбрость. Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его *почетной* смертью, или тем, что делает из него *почетного* убийцу. Человека обвиняют в том, что он передергивает карты, — он лезет на дуэль, как будто нельзя передергивать карты и не бояться пистолета. И что за позорное равенство шулера и его обвинителя!

Дуэль иногда можно принять за средство не попасть на виселицу или на гильотину, но и тут логика не ясна, и я все же не понимаю, отчего человек обязан под опасением общего презренья не бояться шпаги противника, а может бояться топора гильотины.

Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти, но не может отнять права обличить

мертвого или живого врага… В дуэли остается все шито и крыто — это институт, принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать — служебной обязанностью.

Пока миром будут управлять военные, дуэли не переведутся; но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого не верим, и когда явиться во весь рост свободным человеком и, после борьбы с Богом и властями, осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе.

…Сколько людей прошли с гордым и торжествующим лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом, инквизициями и не знаю чем — и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя.

Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека, должна быть в нем, в его разуме; у кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих. Я не принимал и не отказывался от дуэля. Казнь Г<ервега> была для меня нравственной необходимостью, физиологиче-

ской необходимостью, — я искал в голове верного средства мести и притом такого, которое не могло бы его поднять. А уж дуэлем или просто ножом достигну я ее — мне было все равно.

Он сам надоумил. Он писал своей жене, а та, по обычаю, показывала знакомым, что, несмотря на все, я «головой выше окружающей меня сволочи», что меня «сбивают люди, как Фогт, Энгельсон, Головин», что если б он «мог увидеться на одну минуту со мной, то все бы объяснилось», «он (т. е. я) один может понять меня», — и это было *писано после письма ко мне*! «А посему, — заключал поэт, — я всего больше желал бы, чтоб Г<ерцен> принял дуэль *без свидетелей.* Я уверен, что с первого слова мы пали бы друг другу на грудь и все было бы забыто». Итак, дуэль предлагалась как средство драматического примирения.

Если б я мог тогда отлучиться на пять дней, на неделю, я непременно отправился бы в Цюрих и явился бы к нему, исполняя его желание, один — и жив бы он не остался.

Через несколько дней после письма, часов в девять, утром взошел ко мне Орсини. Орсини, по какой-то физиологической нелепости, имел страстную привязанность к Эмме; что было обще-

го между этим огненным, чисто южным молодым красавцем и безобразной, лимфатической немкой, я никогда не мог понять. Ранний приход его удивил меня. Он очень просто, без фраз, сказал мне, что весть о письме Г<ервега> возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить jury d'honneur[758]. При этом он стал защищать Эмму, говоря, что она ни в чем не виновата, кроме в безумной любви к мужу и в рабском повиновении; что он был свидетелем, чего ей все это стоило. «Вам, — говорил он, — следует ей протянуть руку, вы должны наказать виновного, но должны также *восстановить* невинную женщину».

Я решительно, безусловно отказался. Орсини был слишком проницателен, чтоб не понять, что я мнения не переменю, а потому не настаивал.

Между прочим, говоря о jury d'honneur[759], он мне сказал, что уже писал обо всей истории к Маццини и спрашивал его мнения. Не странно ли опять: делают партии, составляют пригово-

---

[758] Сноски: 758
суд чести (*фр.*).

[759] Сноски: 759
Jury никакого не было, но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г<ервегу>, подписанное дорогими мне именами и, между прочим, героем-мучеником Пизакане, Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Меццакаппо, Козенц.

ры, пишут к Маццини — и все это помимо меня, и все это по поводу событий, о которых неделю тому назад никто при мне не смел заикнуться?

Проводивши Орсини, я взял лист бумаги и начал письмо к Маццини. Мне тут открывался своего рода *вемический* суд — и суд, который сам напрашивался. Я написал ему, что Орсини мне говорил о своем письме и что, боясь, что он не совершенно верно передавал дело, о котором он от меня никогда не слыхал ни слова, хочу и рассказать ему дело и посоветоваться с ним.

Маццини тотчас отвечал. «Лучше было бы, — писал он, — покрыть все молчанием, но вряд ли теперь возможно это для вас, а потому явитесь смело обвинителем и предоставьте нам суд».

Что я верил в возможность этого суда — в этом была, может, последняя моя мечта. Я ошибался и дорого заплатил за ошибку.

Вместе с письмом Маццини получил я письмо от Гауга, которому Маццини (зная, что он со мной хорошо знаком) сообщил письмо Орсини и мое. Гауг после нашей первой встречи в Париже служил у Гарибальди и отлично дрался под Римом. В этом человеке было много хорошего и бездна неспетого и нелепого. Он спал непробудным казарменным сном австрийского лейтенанта,

как вдруг его разбудила тревога венгерского восстания и венских баррикад. Он схватился за оружие, но не с тем, чтоб бить народ, а с тем, чтоб стать в его ряды. Переход был слишком крут и оставил кой-какие угловатости и недоделки. Мечтатель и несколько опрометчивый человек, благородный до преданности и самолюбивый до дерзости, бурш, кадет, студент и лейтенант, он искренно любил меня.

Гауг писал, что он едет в Ниццу, и умолял ничего не предпринимать без него. «Вы покинули родину и пришли к нам как брат; не думайте, чтоб мы позволили кому-нибудь из наших заключить безнаказанно ряд измен клеветой и потом покрыть все это дерзким вызовом. Нет, мы иначе понимаем нашу круговую поруку. Довольно, что русский поэт пал от пули западного искателя приключений, — русский революционер не падет!»

В ответ я написал Гаугу длинное письмо. Это была моя первая исповедь — я ему рассказал все, что было, и принялся его ждать.

...А между тем в спальной догорала, слабо мерцая, великая жизнь, в отчаянной борьбе с недугом тела и страшными предчувствиями. Я проводил день и ночь возле кровати больной — она любила, чтоб именно я давал ей лекарства,

чтоб я приготовлял оранжад[760]. Ночью я топил камин, и когда она засыпала покойно, у меня опять являлась надежда ее спасти.

Но бывали минуты тяжести невыносимой… Я чувствую ее худую, лихорадочную руку, я вижу мрачный, тоскливый взгляд, остановленный на мне с мольбой, с упованьем… и страшные слова: «Дети останутся одни — осиротеют, все погибнет, ты только и ждешь… Во имя детей оставь все, не защищайся от грязи, дай же мне, мне защитить тебя, — ты выйдешь чистым, лишь бы мне немного окрепнуть физически… Но нет, нет, силы не приходят. Не оставь же детей!» — и я сотни раз повторял мое обещанье.

В один из подобных разговоров Natalie вдруг мне сказала:

— Он писал к тебе?[761]

— Писал.

— Покажи мне письмо.

— Зачем?

— Мне хочется видеть, что он мог тебе сказать.

---

[760] Сноски: 760

апельсиновый напиток (*фр.* orangeade).

[761] Сноски: 761

Слухи о всем, что делалось, достигали до нее, и я полагаю, что это не было *случайно*. Насчет его письма был намек в письме М<арии> К<аспаровны>, слышавшей все это в *Париже* от Н. А. Мельгунова.

Я почти был рад, что она заговорила о письме, мне страстно хотелось знать, была ли доля истины в одном из его доносов. Я никогда не решился бы спросить, но тут она сама заговорила о письме, я не мог переломить себя, меня ужасала мысль, что сомнение все же останется, а может, и вырастет, когда уста ее будут сомкнуты.

— Письма я тебе не покажу, а скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..

— Как ты можешь думать?

— Он пишет это.

— Это почти невероятно… он пишет это своей рукой?

Я отогнул в письме то место и показал ей — она взглянула, помолчала и печально сказала потом: — Подлец!

С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, и никогда ни одним словом, ни одним намеком *она не простила его* и не пожалела об нем.

Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо.

«Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить, и притом при свидетеле, то, что я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было вели-

ко, слепо, но ваш характер, вероломный, низко еврейский, ваш необузданный эгоизм открылись во всей безобразной наготе своей во время вашего отъезда и после, в то самое время, как достоинство и преданность А<лександра> росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталом, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедестал вы хотели забросать грязью. Но вам ничего не удастся сделать против нашего союза, неразрывного, непотрясаемого теперь больше, чем когда-нибудь. Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют А<лександру> одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью. Куда делись вечные протестации в вашем религиозном уважении моей воли, вашей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нанести минуту горести Алекс<андру>? Разве я не всегда говорила вам, что я дня не переживу разлуки с ним, что, если б он меня оставил, даже умер бы, — я останусь одна до конца жизни?.. Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами, — действительно, я его сделала — я вас жалела тогда, я хотела человечески проститься с вами, — вы сделали невозможным исполнение этого обещания.

С самого отъезда вашего вы начали пытать меня, требуя то такого обещания, то другого. Вы хотели исчезнуть на годы, уехать в Египет, лишь бы взять с собою самую слабую надежду. Когда вы увидели, что это вам не удалось, вы предлагали ряд нелепостей, несбыточных, смешных, и кончили тем, что стали грозить *публичностью*, хотели меня поссорить окончательно с Алекс<андром>, хотели его заставить убить вас, драться с вами, наконец, грозили наделать страшнейших преступлений! Угрозы эти не действовали больше на меня — вы их слишком часто повторяли.

Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем: “Я остаюсь в моей семье, моя семья — Алекс<андр> и мои дети”, и, если я не могу в ней остаться как мать, как жена, я останусь как нянька, как служанка. “Между мной и вами нет моста”. Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее.

Н. Г.
18 февраля 1852.
Ницца».

Через несколько дней возвратилось письмо из Цюриха, Г<ервег> возвратил его назад нераспечатанным, письмо было послано страховое, с тремя печатями и возвратилось назад с надпи-

сью на том же пакете.

«Если так, — заметила Natalie, — *ему прочтут его*».

Она позвала к себе Гауга, Тесье, Энгельсона, Орсини и Фогта и сказала им:

— Вы знаете, как мне хотелось оправдать Алек<сандра>, но что я могу сделать прикованная к постели? Я, может, не переживу этой болезни — дайте мне спокойно умереть, веря, что вы исполните мое завещанье. Человек этот отослал мне назад письмо — пусть кто-нибудь из вас прочтет его ему при свидетелях.

Гауг взял ее руку и сказал:

— Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено.

Это простое, энергическое действие потрясло всех, и скептик Фогт вышел взволнованным, как фанатик Орсини. Орсини сохранил горячее уважение к ней до конца своих дней. Последний раз, когда я его видел перед его отъездом в Париж, в конце 1857, он с умилением вспоминал о Natalie, а может, и с затаенным упреком. Из нас двоих, конечно, не на Орсини падет обвинение в нравственной несостоятельности, в дуализме дела и слова…

…Раз поздно вечером или, лучше, ночью мы

долго и печально рассуждали с Энгельсоном. Наконец он пошел к себе — а я наверх. Natalie спала покойно; я посидел несколько минут в спальной и вышел в сад. Окно Э<нгельсона> было открыто; он, пригорюнившись, курил у окна сигару.

— Видно, такая судьба! — сказал он и сошел ко мне.

— Зачем вы не спите, зачем вы пришли? — спрашивал он, и голос его нервно дрожал. Потом он схватил меня за руку и продолжал: — Верите вы в мою беспредельную любовь к вам, верите, что у меня нет в мире человека ближе вас, — отдайте мне Г<ервега> — не нужно ни суда, ни Гауга — Гауг немец. Подарите мне право отмстить за вас, я *русский*... Я обдумал целый план, мне надобно ваше доверие — ваше рукоположение.

Бледный стоял он передо мной, скрестив руки, освещенный занимавшейся зарей. Я был сильно тронут и готов был броситься со слезами ему на шею.

— Верите вы или нет, что я скорее погибну, сгину с лица земли, чем компрометирую дело, в котором замешано для меня столько святого — без вашего доверия я связан. Скажите откровенно: да или нет. Если *нет* — прощайте, и к чорту всё, к чорту и вас и меня! Я завтра уеду,

и вы обо мне больше не услышите.

— В вашу дружбу, в вашу искренность я верю, но боюсь вашего воображенья, ваших нерв и не очень верю в ваш практический смысл. Вы мне ближе всех здесь, но, признаюсь вам, мне кажется, что вы наделаете бед и погубите себя.

— Так, по-вашему, у генерала Гауга практический гений?..

— Я этого не говорил, но думаю, что Гауг — больше практический человек, так, как думаю, что Орсини практичнее Гауга.

Энгельсон больше ничего не слушал — он плясал на одной ноге, пел и, наконец успокоившись немного, сказал мне:

— Попались, попались, как кур во щи!

Он положил мне руку на плечо и прибавил вполслуха:

— С Орсини-то я и обдумал весь план, с самым практическим человеком в мире. Ну, благословляйте, отче!

— А даете ли вы мне слово, что вы ничего не предпримете, не сказавши мне?

— Даю.

— Рассказывайте ваш план.

— Этого я не могу, по крайней мере теперь не могу…

Сделалось молчание. Что он хотел, понять было не трудно…

— Прощайте, — сказал я, — дайте мне подумать, — и невольно прибавил: — Зачем же вы мне об этом говорили?

Э<нгельсон> понял меня.

— Проклятая слабость! Впрочем, никто никогда не узнает, что я вам говорил.

– *Да я-то знаю*, — сказал я ему в ответ, и мы разошлись.

Страх за Энгельсона и ужас перед какой-нибудь катастрофой, которая должна была гибельно потрясти больной организм, заставили меня *остановить* исполнение его проекта. Качая головой и с жалостью смотрел на это Орсини… Итак, вместо казни, я *спас Г<ервег>а*, но уж, конечно, *не для него и не для себя*! Тут не было ни сентиментальности, ни великодушия…

Да и какое великодушие или сострадание было возможно с этим героем *в обратную сторону*. Эмма, чего-то перепугавшаяся, рассорилась с Фогтом за то, что он дерзко отзывался об ее Георге, и упросила Шар<ля> Эд<монда> написать к нему письмо, в котором бы он ему посоветовал спокойно сидеть в Цюрихе и оставить всякого рода провокации, а то худо будет. Не знаю, что писал

Шар<ль> Э<дмонд>, — задача была нелегкая, — но ответ Г<ервега> был *замечателен.* Сначала он говорил, что не Фогтам и не Шар<лям> Эд<мондам> его судить, потом — что связь между им и мной порвал я, а потому да падет все на мою голову. Перебравши все и защищаясь даже в своей двуличной роли, он заключал так: «Я даже не знаю, есть ли тут измена? Толкуют еще эти шалопаи о деньгах, — чтоб окончить навсегда с этим дрянным обвинением, я скажу откровенно, что Гер<цен> не слишком дорого купил своими несколькими тысячами франков те минуты рассеяния и наслаждения, которые мы провели вместе в тяжкое время!» — «C'est grand, c'est sublime! — говорил Ch. Ed<mond>, — mais c'est niederträchtig»[762].

На это Хоецк<ий> отвечал, что на подобные письма отвечают палкой, что он и сделает при первом свидании.

Г<ервег> умолк.

VIII

С наступлением весны больной сделалось

---

[762] Сноски: 762

Это — величественно, это — возвышенно, но это подло (*фр.* и *нем.*).

лучше. Она уже большую часть дня сидела в креслах, могла разобрать свои волосы, не чесанные в продолжение болезни, наконец, без утомления могла слушать, когда я ей читал вслух. Мы собирались, как только ей будет еще получше, ехать в Севилью или Кадикс. Ей хотелось выздороветь, хотелось жить, хотелось в Испанию.

После возвращения письма все замолкло, точно будто совесть жены и мужа почувствовала, что они дошли до той границы, до которой редко ходит человек, перешли ее и устали.

Вниз Natalie еще не сходила и не торопилась, она собиралась сойти в первый раз 25 марта, в мое рождение. Для этого дня она приготовила себе белую мериносовую блузу, а я выписал из Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Natalie сама написала или продиктовала мне, кого она хочет звать — сверх Энгельсонов — Орсини, Фогта, Мордини и Пачелли с женой.

За два дня до дня моего рождения у Ольги сделался насморк с кашлем. В городе была influenza. Ночью Natalie два раза вставала и ходила через комнату в детскую. Ночь была теплая, но бурная. Утром она проснулась сама с сильнейшей influenza, — сделался мучительный кашель, а к вечеру лихорадка.

О том, чтоб встать на другой день, нечего было и думать: после лихорадочной ночи ужасная прострация, болезнь росла. Все вновь ожившие, бледные, но цепкие надежды были прибиты. Неестественный звук кашля грозил чем-то зловещим.

Natalie слышать не хотела, чтоб гостям отказали. Печально и тревожно сели мы часа в два за стол без нее.

Пачелли привезла с собой какую-то арию, сочиненную ее мужем для меня. M-me Пачелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина. Словно горе какое-нибудь лежало на ней; проклятие ли бедности тяготило ее или, быть может, жизнь сулила ей что-нибудь больше, чем вечные уроки музыки и преданность человека слабого, бледного и чувствовавшего свое подчинение ей.

В нашем доме она встречала больше простоты и теплого привета, чем у других *практик*[763], и полюбила Natalie с южной экзальтацией.

После завтрака она посидела у больной и вышла от нее бледная, как полотно. Гости просили ее спеть привезенную арию. Она села за фортепьяно, взяла несколько аккордов, запела и вдруг,

---

[763] Сноски: 763
людей, с которыми занималась (*фр.* pratique).

испуганно взглянув на меня, залилась слезами — склонила голову на инструмент и спазматически зарыдала. Это покончило праздник — гости разошлись, почти не говоря ни слова, — задавленный какой-то каменной плитой, пошел я наверх. Тот же страшный кашель продолжался.

Это было начало похорон!

И притом двух!

Через два месяца после моего рождения схоронили и M-me Пачелли. Она поехала в Ментоне или Роккабрун на осле. Ослы в Италии привыкли ночью взбираться на горы не оступаясь. Тут белым днем осел спотыкнулся, несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тут же умерла в ужаснейших страданиях…

Я был в Лугано, когда получил эту весть. И ее с костей долой. Nur zu[764] — какая-то следующая нелепость?

…Далее все заволакивается — настает мрачная, тупая и неясная в памяти ночь, — тут и описывать нечего или нельзя — время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха, нравственного ничтожества и страшной телесной силы.

---

[764] Сноски: 764
Да ну же, смелей! (*нем.*)

Все в доме осунулось. Особенного рода неустройство и беспорядок, суета, сбитые с ног слуги, и рядом с наступающей смертью — новые сплетни, новые гадости. Судьба не золотила мне больше пилюли, не пожалели меня и люди: благо, мол, крепки плечи, пускай себе!

Дни за три до кончины ее Орсини мне принес записочку от Эммы к Natalie. Она умоляла ее «простить за все сделанное против нее, простить *всех*». Я сказал Орсини, что записочку отдать больной невозможно, но что я вполне ценю чувство, заставившее написать ее эти строки, и принимаю их.

Я сделал больше, и в одну из последних спокойных минут я тихо сказал Natalie:

— Эмма просит у тебя прощения.

Она улыбнулась иронически и не отвечала ни слова. Она лучше меня знала эту женщину.

Вечером я слышу громкий разговор в бильярдной, — туда обыкновенно приходили близкие знакомые. Я сошел туда и застал горячий разговор. Фогт кричал, Орсини что-то толковал и был бледнее обыкновенного. При мне спор остановился.

— Что у вас? — спросил я, уверенный, что вышла какая-нибудь новая гадость.

— Да вот что, — подхватил Энгельсон. — Какие тут секреты, это такая прелесть, такой немецкий цветок, что я бы на голове ходил, если б это случилось в другое время... Рыцарственная Эмма поручила Орсини вам передать, что так как вы ее прощаете, то в доказательство она просит, чтоб вы возвратили ей *вексель в десять тысяч франков*, который она вам дала, когда вы их выкупили от кредиторов... Stupendisch teuer, stupendisch teuer![765]

Сконфуженный Орсини добавил:

— Я думаю, она сошла с ума.

Я вынул ее записку и, подавая Орсини, сказал ему:

— Скажите этой женщине, что она слишком дорого запрашивает; что если я и оценил ее чувство раскаяния, то не в десять тысяч франков!

Записки Орсини не взял.

Вот по какой грязи мне пришлось идти на похороны. Что это: безумие или порок, разврат или тупость?..

Это так же трудно решить, как вопрос: откуда вырвалась эта семья — из сумасшедшего дома или из смирительного?

---

[765] Сноски: 765
Безумно дорого, безумно дорого! (*нем.*)

Вечером 29 апреля приехала Мар<ия> Каспаровна. Natalie ожидала ее с дня на день, она звала ее несколько раз, боясь, чтобы M-me Engels<on> не захватила в руки воспитание детей. Она ждала ее с часу на час, и, когда мы получили письмо, она послала Гауга и Сашу навстречу к ней на Варский мост. Но, несмотря на это, свиданье с Мар<ией> Касп<аровной> нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее слабый крик, похожий на стон, с которым она сказала: «Маша!» и не могла ничего больше прибавить.

Болезнь застала Natalie в половине беременности. Бонфис и Фогт думали, что это исключительное положение помогло к выздоровлению от плерези. Приезд Мар<ии> Касп<аровны> ускорил роды. Роды были лучше, чем ожидали, младенец родился живой — но силы истощились — наступила страшная слабость.

Младенец родился к утру — к вечеру она велела подать себе новорожденного и позвать детей. Доктор предписал наисовершеннейший покой. Я просил ее не делать этого.

— И ты, Ал<ександр>, слушаешься их? — сказала она. — Смотри, как бы тебе не было потом очень жаль, что ты у меня отнимаешь эту минуту — мне теперь полегче, я хочу сама представить

малютку детям.

Я позвал детей. Не имея силы держать новорожденного, она его положила возле себя и с светлым, радостным лицом сказала Саше и Тате:

— Вот вам еще маленький брат — любите его.

Дети весело бросились целовать ее и малютку. Мне вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на детей:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть…

Оглушенный горем, смотрел я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дети ушли, я умолял ее не говорить и отдохнуть; она хотела отдохнуть — но не могла — слезы катились из глаз.

— Помни твое обещание… Ах, как страшно думать, что они останутся одни, совсем одни… и в чужой стороне. Да неужели нет спасенья?..

И она останавливала на мне какой-то взгляд просьбы и отчаяния…

Эти переходы от страшной безнадежности к упованью невыразимо раздирали сердце в последнее время… В те минуты, когда я всего меньше верил, она брала мою руку и говорила мне:

— Нет, Александр, это не может быть, это слишком глупо — мы поживем еще, лишь бы слабость

прошла.

Скользнув лучи надежды они меркли сами собой — и заменялись невыразимо печальным, тихим отчаянием[766].

— Когда меня не будет, — говорила она, — и все устроится; теперь я не могу себе вообразить, как вы будете жить без меня: кажется, я так нужна детям, подумаешь — а и без меня они так же будут расти, и все пойдет своим путем. Как будто и всегда так было.

Еще несколько слов прибавила она о детях, о здоровье Саши, она радовалась, что он стал крепче в Ницце, что в этом согласен и Фогт.

— Береги Тату, с ней нужно быть очень осторожну, это натура глубокая и несообщительная. Ах, — добавила она, — если б мне дожить до приезда моей Natalie… А что дети — спят? — спросила она, несколько погодя.

— Спят, — сказал я.

Издали послышался детский голос.

— Это Оленька, — сказала она и улыбнулась (в последний раз). — Посмотри, что она.

К ночи ей овладело сильное беспокойство, она молча указывала, что подушки не хорошо лежат,

---

[766] Сноски: 766
Тетрадь эта писана года три тому назад.

но как я ни поправлял, ей все казалось беспокойно, и она с тоской и даже с неудовольствием меняла положение головы. Потом наступил тяжелый сон.

Середь ночи она сделала движение рукой, как будто хотела пить; я ей подал с ложечки апельсинный сок с сахаром и водой, но зубы были совершенно стиснуты, она была без сознания — я оцепенел от ужаса; рассветало, я отдернул занавесь и с каким-то безумным чувством отчаяния разглядел, что не только губы, но и зубы почернели в несколько часов.

За что же еще это? Зачем это ужасное беспамятство, зачем этот черный цвет!

Доктор Бонфис и К. Фогт сидели всю ночь в гостиной. Я сошел и сказал Фогту, что я заметил, он миновал мой взгляд и, не отвечая, пошел наверх. Ответа было не нужно: пульс больной едва бился.

Около полудня она пришла в себя — опять позвала детей, но не говорила ни слова. Она находила, что в комнате было темно. Это случилось во второй раз за день, она спросила меня, зачем нет свечей (две свечи горели на столе), я зажег еще свечу — но она, не замечая ее, говорила, что темно.

— Ах, друг мой, как тяжело голове, — сказала она, и еще два-три слова.

Она взяла мою руку — рука ее уже не была похожа на живую — и покрыла ею свое лицо. Я что-то сказал ей, она отвечала невнятно, — сознание было снова потеряно и не возвращалось…

Еще одно слово — одно слово — или уж конец бы всему. В этом положении она осталась до следующего утра. С полдня или с часа 1 мая до 7 часов утра 2 мая. Какие нечеловечески страшные 19 часов!

Минутами она приходила в полусознание, явственно говорила, что хочет снять фланель, кофту, спрашивала платье — но ничего больше.

Я несколько раз начинал говорить; мне казалось, что она слышит, но не может выговорить слова, будто выражение горькой боли пробегало по лицу ее. Раза два она пожала мне руку, не судорожно, а намеренно — в этом я совершенно уверен. Часов в шесть утра я спросил доктора, сколько остается времени — «Не больше часа».

Я вышел в сад позвать Сашу. Я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти последние минуты его матери. Всходя с ним на лестницу, я сказал ему, какое несчастие нас ожидает, — он не подозревал всей опасности. Бледный и близкий

к обмороку, взошел он со мной в комнату.

— Станем рядом здесь на коленях, — сказал я, указывая на ковер у изголовья.

Предсмертный пот покрывал ее лицо, рука спазматически касалась до кофты, как будто желая ее снять. Несколько стенаний, несколько звуков, напомнивших мне агонию Вадима, — и те замолкли. Доктор взял руку и опустил ее, она упала, как вещь.

Мальчик рыдал — я хорошенько не помню, что было в первые минуты. Я бросился вон — в зал — встретил Ch. Edmond, хотел ему сказать что-то, но, вместо слов, из моей груди вырвался какой-то чужой мне звук… Я стоял перед окном и смотрел, оглушенный и без ясного пониманья, на бессмысленно двигавшееся, мерцавшее море.

Потом мне вспомнились слова «береги Тату!». Мне сделалось страшно, что ребенка испугают. Говорить ей я запретил прежде, но как же можно было положиться? Я велел ее позвать и, запершись с нею в кабинете, посадил к себе на колени и, мало-помалу приготовив ее, сказал наконец, что «мама» умерла. Она дрожала всем телом, пятны вышли на лице, слезы навернулись…

Я ее повел наверх. Там уж все изменилось. Покойница, как живая, лежала на убранной

цветами постели возле малютки, скончавшейся в ту же ночь. Комната была обита белым, усыпана цветами; изящный во всем вкус итальянцев умеет внести что-то кроткое в раздирающую печаль смерти.

Испуганное дитя было поражено изящной обстановкой.

— Мамаша вот! — сказала она, но когда я ее поднял и она коснулась губами холодного лица, она истерически заплакала; дольше я не мог вынести и вышел.

Часа через полтора я сидел один опять у того же окна и опять бессмысленно смотрел на море, на небо. Дверь отворилась, и взошла Тата, одна. Она подошла ко мне и, ласкаясь, как-то испуганно шептала мне:

— Папа, я умно себя вела, я не много плакала.

С глубокой горестью посмотрел я на сироту. — «Да тебе и надо быть *умной.* Не знать тебе материнской ласки, материнской любви. Их ничто не заменит; у тебя будет пробел в сердце. Ты не испытаешь лучшей, чистейшей, единой бескорыстной привязанности на свете. Ты ее, может, будешь иметь, но к тебе ее никто не будет иметь; что же любовь отца в сравнении с материнской *болью* любви!»

Она лежала вся в цветах — сторы были опущены — я сидел на стуле, на том же обычном стуле возле кровати — кругом было тихо — только море шипело под окном — флер, казалось, приподнимался от слабого, очень слабого дыхания… Кротко застыли скорби и тревога — словно страданье окончилось бесследно, их стерла беззаботная ясность памятника, не знающего, что он представляет. И я все смотрел — смотрел всю ночь — ну, а как в самом деле она проснется? Она не проснулась. Это не сон — это смерть.

Итак, это правда!..

…На полу, по лестнице было наброшено множество красно-желтого гераниума. Запах этот и теперь потрясает меня, как гальванический удар… и я вспоминаю все подробности, каждую минуту — и вижу комнату, обтянутую белым, с завешенными зеркалами; возле *нее*, также в цветах, желтое тело младенца, уснувшего не просыпаясь, и ее холодный, страшно холодный лоб… Я иду — скорыми шагами без мысли и намерения — в сад — наш Франсуа лежит на траве и рыдает, как дитя, я хочу ему что-то сказать и совсем нет голоса — я бегу назад, *туда.* Незнакомая дама, вся в черном, и с нею двое детей, потихоньку отворяет дверь, — она просит

позволение прочесть католическую молитву, — я сам готов молиться с нею. Она становится на колени перед кроватью, и дети становятся на колени — она шепчет латинскую молитву, дети тихо повторяют за ней. Потом она говорит мне:

— И они не имеют матери, а отец их далеко… Вы хоронили их бабушку…

Это были дети Гарибальди.

…Толпы изгнанников собрались через сутки на дворе, в саду, они пришли проводить ее. Фогт и я — мы положили ее в гроб — гроб вынесли — я твердо шел за ним, держа Сашу за руку, и думал: «Вот так-то люди глядят на толпу, когда их ведут на виселицу».

Какие-то два француза — одного из них помню — граф Воге — на улице с ненавистью и смехом указали, что нет священника. Тесье было прикрикнул на них. Я испугался и сделал ему знак рукой — тишина была необходима.

Огромный венок из небольших алых роз лежал на гробе; мы все сорвали по розе — точно на каждого капнула капля крови. Когда мы входили на гору, поднялся месяц, сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве. На пригорке, выступающем в него, в виду *Эстрели*, с одной стороны,

и *Корниче* — с другой, схоронили мы ее. Кругом сад — эта обстановка продолжала роль цветов на постеле.

Недели через две Гауг напомнил о последней воле ее, о данном слове; он и Тесье собирались ехать в Цюрих. Марии Каспаровне было пора в Париж. Все настаивали, чтоб я отправил Тату и Ольгу с ней, а сам с Сашей ехал бы в Геную. Больно мне было расставаться, но я не доверял себе; может, думалось мне, и в самом деле так лучше, ну, а лучше — пусть так и будет. Я только просил не увозить детей до 9/21 мая: я хотел провести с ними четырнадцатую годовщину нашей свадьбы.

На другой день после нее я проводил их на Варский мост. Гауг поехал с ними до Парижа. Мы посмотрели, как таможенные пристава, жандармы и всякая полиция тормошила пассажиров; Гауг потерял свою трость, подаренную мною, искал ее и сердился, Тата плакала. Кондуктор, в мундирной куртке, сел возле кучера, дилижанс поехал по драгиньянской дороге, — а мы, Тесье, Саша и я, пошли назад через мост, сели в коляску и поехали *туда, где я жил.*

Дома у меня больше не было. С отъездом детей

последняя печать *семейной* жизни отлетела — все приняло холостой вид. Энгель<сон> с женой уехал дня через два — половина комнат были заперты. Тесье и Ed<mond> переехали ко мне. Женский элемент был исключен. Один Саша напоминал возрастом, чертами, что тут было что-то другое… напоминал кого-то отсутствующего!

Post scriptum

…Дней через пять после похорон Гервег писал своей жене: «Весть эта глубоко огорчила меня; я полон мрачных мыслей — пришли мне по первой почте “I Sepolcri” — Уго Фосколо».

И в следующем письме[767]: «Теперь настало время примирения с Г<ерценом>, *причина нашего раздора не существует больше*… Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаз — он один в состоянии *понять меня*!»

И понял!

Прибавление

---

[767] Сноски: 767
Оба письма ходили по рукам в Ницце.

Гауг

Гауг и Тесье явились одним утром в Цюрих, в отель, где жил Г<ервег>. Они спросили, дома ли он, и на ответ кельнера, что дома, они велели себя прямо вести к нему, без доклада.

При их виде Г<ервег>, бледный, как полотно, дрожащий, встал и молча оперся на стул.

«Он был страшен, — до того выражение ужаса исказило его черты», — говорил мне Тесье.

— Мы пришли к вам, — сказал ему Гауг, — исполнить волю покойницы: она на ложе предсмертной болезни писала вам, вы отослали письмо нераспечатанным под предлогом, что оно подложное — вынужденное. Покойница сама поручила мне и Тесье дю Моте засвидетельствовать, что она письмо это писала сама по доброй воле, и потом вам его прочесть.

— Я не хочу… не хочу…

— Садитесь и слушайте! — сказал Гауг, поднимая голос.

Он сел.

Гауг распечатал письмо и вынул из него *записку, написанную рукою Г<ервега>.*

Когда письмо, нарочно страхованное, было отослано назад, я отдал его на хранение Энгельсона.

Энгельсон заметил мне, что две печати были подпечатаны.

— Будьте уверены, — говорил он, — что этот негодяй читал письмо и именно потому его отослал назад.

Он поднял письмо к свечке и показал мне, что в нем лежала не одна, а две бумаги.

— Кто печатал письмо?

— Я.

— Кроме письма, ничего не было?

— Ничего.

Тогда Энгельсон взял такую же бумагу, такой же пакет, положил три печати и побежал в аптеку; там он взвесил оба письма, присланное имело полтора веса. Он возвратился домой с пляской и пением и кричал мне: «Отгадал! отгадал!»

Гауг, вынув записку, прочитал письмо, потом, взглянув на записку, которая начиналась бранью и упреками, передал ее Тесье и спросил Гервега:

— Это ваша рука?

— Да, это я писал.

— Стало, вы письмо подпечатали.

— Я не обязан вам давать отчета.

Гауг изорвал его записку и, бросив ему в лицо, прибавил:

— Какой же вы мерзавец!

Испуганный Г<ервег> схватился за шнурок и стал звонить изо всей силы.

— Что вы, с ума сошли? — спросил Гауг и схватил его за руку.

Г<ервег>, рванувшись от него, бросился к двери, растворил ее и закричал:

— Режут! Режут! (Mord! Mord!)

На неистовый звон, на этот крик всё бросилось по лестнице к его комнате: гарсоны, путешественники, жившие в том же коридоре.

— Жандармов! Жандармов! Режут! — кричал уже в коридоре Г<ервег>.

Гауг подошел к нему и, сильно ударив его рукой в щеку, сказал ему:

— Вот тебе, негодяй (Schuft), за жандармов!

Тесье в это время взошел опять в комнату и написал имена и адрес и молча подал их ему. На лестнице собралась толпа зрителей. Гауг извинился перед хозяином и ушел с Тесье.

Г<ервег> бросился к комиссару полиции, прося его взять его под *защиту законов* против подосланных убийц и спрашивал, не начать ли ему процесс за пощечину.

Комиссар — при содержателе отеля — расспросив о разных подробностях, изъявил сомнение в том, чтоб люди, таким образом приходившие

белым днем в отель, не скрывая <имен> и места жительства, были подосланные убийцы. Что касается до процесса, он полагал, что его начать очень легко, и наверное думал, что Гауг будет приговорен к небольшой пене и к непродолжительной тюрьме. «Но в вашем деле вот в чем неудобство, — прибавил он, — для того, чтоб осудили этого господина, вам надобно публично *доказать, что он вам действительно дал пощечину*... Мне кажется, что для вашей пользы лучше дело оставить, оно же Бог знает к каким ревеляциям[768] поведет».

Логика комиссара победила.

Я тогда был в Лугано. Обдумав дело, на меня нашел страх: я был уверен, что Гер<вег> не вызовет Гауга или Тесье, но чтоб Гауг умел *на этом остановиться* и покойно уехать из Цюриха — в этом я не был уверен. Вызов со стороны Гауга[769] был бы явным образом против характера, который я хотел дать делу. Сам Тесье, на благородный ум которого я мог совершенно надеяться, во всем был слишком француз.

Гауг был упрям до капризности и раздражите-

---

[768] Сноски: 768
разоблачениям (*фр.* révélation).

[769] Сноски: 769
Гауг действительно его сделал, — разумеется, Г<ервег> не пошел.

лен до детства. У него постоянно были контры и пики то с Хоецким, то с Энгельсоном, то с Орсини и итальянцами, которых он наконец действительно восстановил против себя, — и Орсини, улыбаясь по-своему и слегка покачивая головой, говаривал пресмешно:

— Oh, il generale, il generale Aug![770]

На Гауга имел влияние один Карл Фогт с своим светлым практическим взглядом; он поступал агрессивно: осыпал его насмешками, кричал — и Гауг его слушался.

— Какой секрет открыли вы, — спросил я раз Фогта, — усмирять нашего бенгальского *генерала*?

— Vous l'avez dit[771], — отвечал Фогт, — вы пальцем дотронулись до секрета. Я его усмиряю потому, что *он генерал и верит в это.* Генерал знает дисциплину, он против начальства идти не может — вы забываете, что я *викарий* империи.

Фогт был совершенно прав. Несколько дней спустя Энгельсон, нисколько не думая о том, что он говорит и при ком, сказал:

---

[770] Сноски: 770
Ох, генерал, генерал Гауг! (*ит.*)

[771] Сноски: 771
Здесь: Вы его сами открыли (*фр.*).

— На такую мерзость способен только немец.

Гауг обиделся. Эн<гельсон> уверял его, что он не спохватился, что у него сорвалась эта глупость нечаянно с языка. Гауг заметил, что важность не в том, что он сказал при нем, а в том, что он имеет такое мнение о немцах, — и вышел вон.

На другой день рано утром он отправился к Фогту, застал его в постеле, разбудил и рассказал ему нанесенную обиду Германии, прося его быть свидетелем и снести Энгельсону картель.

— Что же, вы считаете, что я так же сошел с ума, как вы? — спросил его Фогт.

— Я не привык сносить обиды.

— Он вас не обижал. Мало ли что сорвется с языка, — он же извинялся.

— Он обидел Германию… и увидит, что при мне нельзя безнаказанно оскорблять великую нацию.

— Да вы что же за исключительный представитель Германии? — закричал на него Фогт. — Разве я не немец? Разве я не имею права вступаться так же, как вы, больше, чем вы?

— Без сомнения, и, если вы берете это дело на себя, я вам уступаю.

— Хорошо, но, вверивши мне, надеюсь, что вы не станете мешать. Сидите же здесь спокойно, а я

схожу и узнаю, точно ли такое мнение у Энгельсона или это так, случайно сказанная фраза, — ну, а картель ваш покаместь мы изорвем.

Через полчаса явился Фогт ко мне, я ничего не знал о вчерашнем событии. Фогт взошел, по обычаю, громко смеясь, и сказал мне:

— Что у вас Энгельсон — на воле ходит или нет? Я запер нашего генерала у себя. Представьте, что он за поганых немцев, о которых Э<нгельсон> дурно отозвался, хотел с ним драться, я его убедил, что расправа принадлежит мне. Половина дела сделана. Усмирите вы теперь Энгельсона, если он не в белой горячке.

Энгельсон и не подозревал, что Гауг до такой степени рассердился; сначала хотел лично с ним объясниться, готов был принять картель, потом сдался, и мы послали за Гаугом. Викарий на это утро бросил медуз и салпов, до тех пор сидел, пока Гауг и Энгельсон совершенно дружески рассуждали за бутылкой вина и котлетами à la milanaise[772].

В Люцерне, куда я отправился из Лугано, мне предстояла новая задача. В самый день моего приезда Тесье рассказал мне, что Гауг написал

---

[772] Сноски: 772
по-милански (*фр.*).

мемуар по поводу пощечины, в котором изложил все дело, что эту записку он хочет напечатать, и что Тесье его только остановил тем, что все же без моего согласия такой вещи печатать невозможно. Гауг, нисколько не сомневаясь в моем согласии, решился ждать меня.

— Употребите все усилия, чтобы этот несчастный factum[773], — говорил мне Тесье, — не был напечатан, он испортит все дело — он сделает вас, память, вам дорогую, и нас всех — посмешищем на веки веков.

Вечером Гауг отдал мне тетрадь. Тесье был прав. От такого удара воскреснуть нельзя бы было. Все было изложено с пламенной, восторженной дружбой ко мне и к покойной — и все было смешно, *смешно для меня* — в это время слез и отчаяния. Вся статья была писана слогом Дон-Карлоса — в прозе. Человек, который мог написать такую вещь, должен был свое сочинение высоко поставить и, конечно, не мог его уступить без боя. Не легка была моя роль. Писано все это было для меня, из дружбы, добросовестно, честно, искренно, — и я-то должен был, вместо благодарности, отравить ему мысль, которая

[773] Сноски: 773
записка с изложением обстоятельств дела (*лат.*).

сильно засела в его голове и нравилась ему.

Уступки я сделать не мог. Долго думая, я решился к нему написать длинное послание, благодарил его за дружбу, но умолял его мемуара не печатать. «Если надобно в самом деле что-нибудь напечатать из этой страшной истории, то это печальное право принадлежит мне одному».

Письмо это, запечатавши, я послал Гаугу часов в 7 утра. Гауг отвечал мне: «Я с вами не согласен, я вам и ей ставил памятник, я вас поднимал на недосягаемую высоту, и, если б кто осмелился бы заикнуться, того я заставил бы замолчать. Но в вашем деле вам принадлежит право решать, и я, само собой разумеется, если вы хотите писать, уступлю».

Он был день целый мрачен и отрывист. К вечеру мне пришла страшная мысль: *умри я — ведь он памятник-то поставит*, — и потому, прощаясь, я ему сказал, обнявши его:

— Гауг, не сердитесь на меня, в таком деле действительно нет лучшего судьи, как я.

— Да я и не сержусь, мне только больно.

— Ну, а если не сердитесь, оставьте у меня вашу тетрадь, подарите ее мне.

— С величайшим удовольствием.

Замечательно, что у Гауга с тех пор остался

литературный зуб против меня, и впоследствии, в Лондоне, на мое замечание, что он к Гумбольдту и Мурчисону пишет слишком вычурно и фигурно, Гауг, улыбаясь, говорил:

— Я знаю, вы диалектик, у вас слог резкого разума, но чувство и поэзия имеют другой язык.

И я еще раз благословил судьбу, что не только взял у него его тетрадь, но, уезжая в Англию, ее сжег.

Новость о пощечине разнеслась, и вдруг в «Цюрихской газете» появилась статья Герв<ега> с его подписью. «*Знаменитая* пощечина», — говорил он, — никогда не была дана, а что, напротив, он «оттолкнул от себя Гауга так, что Гауг замарал себе спину об стену», что, сверх всего остального, особенно было вероятно для тех, которые знали мускульного и расторопного Гауга и неловкого, тщедушного баденского военачальника. Далее он говорил, что все это — далеко ветвящаяся интрига, затеянная *бароном Герценом* на *русское золото*, и что люди, приходившие к нему, у меня на жалованье.

Гауг и Тесье тотчас поместили в той же газете серьезный, сжатый, сдержанный и благородный рассказ дела.

К их объяснению я прибавил, что у меня на жа-

лованье никогда никого не было, кроме слуг и Г<ервега>, который жил последние два года на мой счет и один из всех моих знакомых в Европе должен мне значительную сумму. Это *чуждое мне оружие* я употребил в защиту оклеветанных друзей.

На это Г<ервег> возразил в том же журнале, что он никогда *не находился в необходимости занимать у меня деньги и не должен мне ни копейки* (занимала для него его жена). С тем вместе какой-то доктор из Цюриха писал мне, что Г<ервег> поручил ему вызвать меня.

Я отвечал через Гауга, что как прежде, так и теперь я Г<ервега> не считаю человеком, заслуживающим удовлетворения; что казнь его началась, и я пойду своим путем. При этом нельзя не заметить, что два человека (кроме Эммы), принявшие сторону Гер<вега> — этот доктор и Рихард Вагнер, музыкант *будущего*, — оба не имели никакого уважения к характеру Гер<вега>. Доктор, посылая вызов, прибавлял: «Что же касается до сущности самого дела, я его не знаю и желаю быть совершенно в стороне». А в Цюрихе он говорил своим друзьям: «Я боюсь, что он не будет стреляться и хочет разыграть какую-нибудь сцену, — только я не позволю над собой

смеяться и делать из меня шута. Я ему сказал, что у меня будет другой заряженный пистолет в кармане — и этот для него!»

Что касается до Р. Вагнера, то он письменно жаловался мне, что Гауг слишком бесцеремонен, и говорил, что он не может произнести строгого приговора над человеком, «которого он любит и жалеет». «К нему надобно снисхождение — может, он еще и воскреснет из ничтожной, женоподобной жизни своей, соберет свои силы из <эксцентричной> распущенности и иначе проявит себя».

Как ни гадко было поднимать — рядом со всеми ужасами — денежную историю, но я понял, что ею я ему нанесу удар, который поймет и примет к сердцу весь буржуазный мир, т. е. все общественное мнение в Швейцарии и Германии.

Вексель в 10 000 фран<ков>, который мне дала m-me Her<wegh> и хотела потом выменять на несколько слов позднего раскаянья, был со мной. Я его отдал нотариусу.

С газетой в руке и с векселем в другой явился нотариус к Г<ервегу>, прося объясненья.

— Вы видите, — сказал он, — что это не моя подпись.

Тогда нотариус подал ему письмо его жены,

в котором она писала, что берет деньги для него и с его ведома.

— Я совсем этого дела не знаю и никогда ей не поручал; впрочем, адресуйтесь к моей жене в Ниццу — мне до этого дела нет.

— Итак, вы решительно не помните, чтоб сами уполномочили вашу супругу?

— Не помню.

— Очень жаль; простой денежный иск этот получает через это совсем иной характер, и ваш противник может преследовать вашу супругу за мошеннический поступок, escroquerie[774].

На этот раз поэт не испугался и храбро отвечал, что это не его дело. Ответ его нотариус предъявил Эмме. Я не продолжал дела. Денег, разумеется, они не платили…

— Теперь, — говорил Гауг, — теперь в Лондон!.. Этого негодяя так нельзя оставить…

И мы через несколько дней смотрели на лондонский туман из четвертого этажа Morley's House.

---

[774] Сноски: 774
мошенничество (*фр.*).

Переездом в Лондон осенью 1852 замыкается самая ужасная часть моей жизни, — на нем я прерываю рассказ.

(Окончено в 1858).

…Сегодня второе мая 1863 года… Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стояли возле гроба? Никого нет возле… иных вовсе нет, другие очень далеко — и не только *географически*!

Голова Орсини, окровавленная, скатилась с эшафота…

Тело Энгельсона, умершего врагом мне, покоится на острове Ламанша.

Тесье дю Моте, химик, натуралист, остался тот же кроткий и добродушный, но сзывает духов… и вертит столы.

Charles Edmond — друг принца Наполеона — библиотекарем в Люксембургском дворце.

Ровнее всех, вернее всех себе остался К. Фогт.

Гауга я видел год тому назад. Из-за пустяков он поссорился со мной в 1854 году, уехал из Лондона не простившись и перервал все сношения. Случайно узнал я, что он в Лондоне — я велел ему передать, что «настает десятилетие после похорон, что стыдно сердиться без серьезного повода, что нас связывают святые воспоминания и что если он забыл, то я помню, с какой готовностью

он протянул мне дружескую руку».

Зная его характер, я сделал первый шаг и пошел к нему. Он был рад, тронут, и при всем эта встреча была печальнее всех разлук.

Сначала мы говорили о лицах, событиях, вспоминали подробности — потом сделалась пауза. Нам очевидно нечего было сказать друг другу, мы стали совершенно чужие. Я делал усилия поддержать разговор, Гауг выбивался из сил; разные инциденты его поездки в Малую Азию выручили. Кончились и они, — опять стало тяжело.

— Ах, Боже мой! — сказал я вдруг, вынимая часы, — пять часов, а у меня назначен rendez-vous[775] — я должен оставить вас.

Я солгал — никакого rendez-vous у меня не было. С Гауга тоже точно камень с плеч свалился.

— Неужели пять часов? — Я сам еду обедать сегодня в Clapham.

— Туда час езды, не стану вас задерживать. Прощайте.

И, выйдя на улицу, я был готов… «захохотать»? — нет, заплакать.

Через два дня он приехал завтракать ко мне. То же самое. На другой день хотел он ехать,

---

[775] Сноски: 775
свидание (*фр.*).

как говорил, остался дольше, но нам было довольно, и мы не старались увидеться еще раз.

Теддингтон. Перед отъездом

Август 1863.

Бывало, О<гарев>, в новогородские времена, певал: «Cari luoghi, io vi ritrovai»[776]; найду и я их снова, и мне страшно, что я их увижу.

Поеду той же дорогой через Эстрель на Ниццу. Там ехали мы в 1847, спускаясь оттуда в первый раз в Италию. Там ехал в 1851 в Иер отыскивать следы моей матери, сына — и ничего не нашел.

Туго стареющая природа осталась та же, а человек изменился, и было от чего. Жизни, наслажденья искал я, переезжая в первый раз Приморские Альпы… Были сзади небольшие тучки, печальная синева носилась над родным краем… и ни одного облака впереди. Тридцати пяти лет я был молод и жил в каком-то беззаботном сознании силы.

Во второй раз я ехал тут в каком-то тумане, ошеломленный, я искал тела, потонувший корабль — и не только сзади гнались страшные тени, но и впереди все было мрачно.

---

[776] Сноски: 776
Дорогие места, я опять вас увидел (*ит.*).

В третий раз… еду к детям, еду к могиле, — желанья стали скромны: ищу немного досуга мысли, немного гармонии вокруг, ищу покоя, этого noli me tangere[777] устали и старости.

После приезда

21 сентября был я на могиле. Все тихо: то же море, только ветер подымал столб пыли по всей дороге. Каменное молчание и легкий шелест кипарисов мне были страшны, чужды. *Она не тут*; здесь ее нет — она жива во мне.

Я пошел с кладбища в оба дома, — дом Сю и дом Дуйса. Оба стояли пустыми. Зачем я вызвал опять этих немых свидетелей charge?[778] Вот терраса, по которой я между роз и виноградников ходил задавленный болью и глядел в пустую даль с каким-то безумным и слабодушным желаньем облегченья, помощи и, не находя их в людях, искал в вине.

Диван, покрытый теперь пылью и какими-то рамками, — диван, на котором *она* изнемогла

---

[777] Сноски: 777
Здесь: оставь меня в покое (*лат.*).

[778] Сноски: 778
обвинения (*фр.*).

и лишилась чувств в страшную ночь объяснений.

Я отворил ставень в спальной дома Дуйса — вот он, старознакомый вид… я обернулся — кровать, тюфяки сняты и лежат на полу, словно на днях был вынос… Сколько потухло, исчезло в этой комнате!.. Бедная страдалица — и сколько я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве!

Русские тени
I
Н. И. Сазонов

Сазонов, Бакунин, Париж. — Имена эти, люди эти, город этот так и тянут назад… назад — в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспираций, во времена философского культа и революционного идолопоклонства[779].

Мне слишком дороги наши *две юности*, чтоб опять не приостановиться на них… С Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Риензи; с Бакуниным, десять лет спустя, в поте мозга завоевывал Гегеля.

---

[779] Сноски: 779
Этот очерк принадлежит к XXXIV главе.

О Бакунине я говорил, и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление, везде — в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он исчез за страшными стенами Алексеевского равелина, — делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история.

В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, иересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только в *крайний край*, — анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахарсиса Клоца, другом Гракха Бабёфа, — и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов, –

Но здесь, под гнетом власти царской,

Колумб без Америки и корабля, он, послужив против воли года два в артиллерии да года два в московском гегелизме, торопился оста-

вить край, в котором мысль преследовалась, как дурное намерение, и независимое слово — как оскорбление общественной нравственности.

Вырвавшись в 1840 году из России, он в нее не возвращался до тех пор, пока пикет австрийских драгунов не сдал его русскому жандармскому офицеру в 1849 году.

Поклонники целесообразности, милые фаталисты рационализма все еще дивятся премудрому à propos[780], с которым являются таланты и деятели, как только на них есть потребность, забывая, сколько зародышей мрет, глохнет, не видавши света, сколько способностей, готовностей вянут, потому что их не нужно.

Пример Сазонова еще резче. Сазонов прошел бесследно, и смерть его так же никто не заметил, как всю его жизнь. Он умер, не исполнив ни одной надежды из тех, которые клали на него его друзья. Легко сказать, что он виноват в своей судьбе; но как оценить и взвесить долю, падающую на человека, и ту, которая падает на среду?

Николаевское время было временем нравственного душегубства, оно убивало не одними рудниками и белыми ремнями, а своей удуша-

---

[780] Сноски: 780
кстати (*фр.*).

ющей, понижающей атмосферой, своими, так сказать, отрицательными ударами.

Хоронить затянувшиеся существования того времени, выбившиеся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко врезавшуюся в песок барку нашу, — моя специальность. Я — их Домажиров, теперь всеми забытый, а некогда всем в Москве известный старик, отставной ординарец Прозоровского. Пудреный, в светло-зеленом павловском мундире, являлся он на все выносы, на которых бывал архиерей, становился вперед процессии и вел ее, воображая, что делает дело.

...На второй год университетского курса, т. е. осенью 1831, мы встретили, в числе новых товарищей, в физико-математической аудитории, двоих, с которыми особенно сблизились.

Наши сближения, симпатии и антипатии шли из одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии: наука, искусство, связи, родительский дом, общественное положение. Там, где открывалась возможность обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней

основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым и тотчас подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента.

Сазонов имел резкие дарования и резкое самолюбие. Ему было лет восьмнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили. Друг его, красивый собой и нежный, как девушка, совсем напротив, искал, к кому бы приютиться; полный любви и преданности, едва вышедший из-под материнского крыла, с благородными стремлениями и полудетскими мечтами, ему хотелось теплоты, нежности, он жался к нам и отдавался весь и нам и нашей идее, — это была натура Владимира Ленского, натура Веневитинова.

…День, в который мы сели рядом на одной из лавок амфитеатра и взглянули друг на друга с сознанием нашего обречения, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, на-

шей веры в святость дела — и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству, был великим днем в нашей жизни. Мы подали друг другу руку и à la lettre[781] пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой «вселенной»[782], как четыре диакона, идущие в светлый праздник с четырьмя евангелиями в руках.

Проповедовали мы везде, всегда… Что мы собственно проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сен-симонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу.

Общества, в сущности, никогда не составлялось; но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены.

---

[781] Сноски: 781
буквально (*фр.*).

[782] Сноски: 782
Universitas.

С тех пор наша пропаганда не перемежалась через всю жизнь нашу, от университетской аудитории до лондонской типографии. Вся наша жизнь была посильным исполнением отроческой программы. Проследить нитку не трудно по затронутым вопросам, по возбужденным интересам, в журналах, на лекциях, в литературных кругах… Видоизменяясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась верной себе и вносила свой *индивидуальный* характер во все окружающее. Казна подняла нас и сделала нам на свой счет пьедестал *тюрьмой* и *ссылкой.* Мы возвратились в Москву «авторитетами» в двадцать пять лет. К нам примкнули Белинский, Грановский и Бакунин, а статьями в «Отечественных записках» мы сами примкнули к петербургскому движению лицеистов и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, как декабристы — старшими.

Умалчивать о значении нашего круга оттого, что я принадлежал к нему, было бы лицемерно или глупо. Совсем напротив, встречаясь в моих рассказах с теми временами, с старыми друзьями тридцатых и сороковых годов, я нарочно останавливаюсь и говорю, не боясь повторений, лишь бы ближе познакомить с ними молодое

поколение. Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их как отсталых, как лишних и праздных людей, фантастов и мечтателей, забывая, что оценка прошлых *лиц*, их значение и «проба» меньше зависят от сравнения *суммы* знания и образа постановления задач прежнего времени и нового, чем от энергии и силы, которую вносили они в свои решения. Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам-Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков.

Смело и с полным сознанием скажу еще раз про наше товарищество того времени, что «это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливых, чистых, развитых, умных и преданных я не встречал», а скитался довольно по белому и по *красному* свету. Я не только говорю о нашем, близком круге, но то же и в той же силе должен сказать о круге Станкевича и о славянофилах. Молодые люди, испуганные ужасной действительностью, середь тьмы и давящей

тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всем, до чего добиваются другие: общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья, — из-за своих убеждений и остались верными им. Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть.

Их преследуют, отдают под суд, отдают под надзор, ссылают, таскают, обижают, унижают, — они остаются те же; проходит десять лет — они те же, проходит двадцать, тридцать — они те же.

Я требую признания им и справедливости.

Против этого простого требования я слышал странное возражение, и притом не один раз:

— Вы, и еще больше декабристы, были дилетанты революционных идей; для вас ваше участие в деле была роскошь, поэзия; сами же вы говорите, что вы все *жертвовали* общественным положением, имели средства; для вас, стало быть, переворот не был вопросом куска хлеба и человеческого существования, вопросом на жизнь и смерть…

— Я полагаю, — отвечал я раз, — что для казненных *да*…

— По крайней мере не были роковыми, неизбежными вопросами. Вам нравилось быть

революционерами, и это, разумеется, лучше, чем если б вам нравилось быть сенаторами и губернаторами; для нас же борьба с существующим порядком — не выбор, это — *наше* общественное положение. Между нами и вами та разница, которая между человеком, упавшим в воду, и купающимся: обоим надобно плыть, но одному по необходимости, а другому из удовольствия.

Не признавать людей, потому что они делали из внутреннего влечения то, что другие *будут* делать из нужды, сильно сбивается на монашеский аскетизм, который высоко ценит только те обязанности, исполнение которых очень противно.

Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен.

Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, *до чура* и переходим его, не сбиваясь с диалектической

ноги, а только *с истины;* не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями… это — halte[783] меры, истины, красоты, это — вечно уравновешиваемое колебание организма.

Олигархическое притязание неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественного страдания так же несправедливо, как все исключительности и монополи. Ни с евангельским милосердием, ни с демократической завистью дальше милостыни и насильственной сполиации[784], дальше раздачи именья и общего нищенства не уйдешь. В церкви оно осталось риторической темой и сентиментальным упражнением в сострадании; в ультрадемократизме, как заметил Прудон, чувством зависти и ненависти — не переходя ни там, ни тут ни к какой построяющей мысли, ни к какой практике.

Чем же виноваты люди, понявшие боль страждущих прежде их самих и указавшие им не только ее, но и путь к выходу? Потомок Карла

---

[783] Сноски: 783
предел, граница (*фр.*).

[784] Сноски: 784
грабежа (*фр.* spoliation).

Великого — Сен-Симон, так же как фабрикант Роберт Оуэн, не от голодной смерти сделались апостолами социализма.

Взгляд этот не продержится, в нем недостает теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянул об нем, если б в его проскрипционные листы, вместе с нами, не вошли и те ранние сеятели всего, что взошло и всходит, — декабристы, которых мы так глубоко уважаем.

Отступление это здесь почти некстати.

Сазонов был действительно праздный человек и сгубил в себе бездну сил; затертый разными разностями на чужбине, он пропал, как солдат, взятый в плен на первом сражении и никогда не возвращавшийся домой.

Когда нас арестовали в 1834 году и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию. Участь его, разрозненная с нами, положила, может, начало последующей жизни его, — жизни какой-то блуждающей и бесследно падающей звезды.

Через год он возвратился в Москву; это был

один из самых удушливых и тяжелых периодов прошлого царствования. В Москве его встретил мертвый calme plat[785], нигде ни тени сочувствия, ни живого слова. Мы в *резервах* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились с грубой реальностью провинциального быта.

В Москве все Сазонову напоминало наше отсутствие. Из старых друзей один Кетчер был налицо — человек, с которым Сазонов, чопорный и аристократ по манерам, всего меньше мог идти рука в руку. Кетчер, как мы говорили, был сознательный дикарь — *из образованных*, куперовский пионер, с премедитацией[786] возвращавшийся в первобытное состояние людского рода, грубый по принципу, неряха по теории, студент лет тридцати пяти в роли шиллеровского юноши.

Сазонов побился, побился в Москве, — скука одолела его, ничто не звало на труд, на деятельность. Он попробовал переехать в Петербург — еще хуже; не выдержал он à la longue и уехал в Париж без определенного плана. Это было еще то время, когда Париж и Франция имели на нас

---

[785] Сноски: 785
штиль (*фр.*).

[786] Сноски: 786
заранее обдуманным намерением (*фр.* préméditation).

всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ее шероховатой стороны, и были в восторге от всего: от либеральных речей, от песней Беранже и карикатур Филипона. Так было и с Сазоновым. Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут — чужой всем и всему. Другой длинный ряд годов бесцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренной работе, не ожидая толчка извне, он не мог, это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд — но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов; не находя такой работы, он бросился в парижский разгул.

…А горели и его глаза и наполнялись слезой при памяти о наших университетских мечтах… Внутри его глубоко уязвленного самолюбия все еще хранилась вера в *близкий* переворот России и в то, что он призван играть в нем большую

роль. Казалось, он и кутил только *покаместь*, в скучном ожидании предстоящего огромного дела, и был уверен, что одним добрым вечером его вызовут из-за стола café Anglais и повезут управлять Россией… Он пристально присматривался к тому, что делается, и с нетерпением ждал минуты, когда нужно будет принять серьезное участие и сказать последнее, завершающее слово…

…После первых шумных дней в Париже начались больше серьезные разговоры, причем сейчас обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазонов и Бакунин были недовольны (так, как впоследствии Высоцкий и члены польской Централизации), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельд-

маршалами и двух Филаретов митрополитами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов, они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали.

Разница наших взглядов чуть не довела нас до размолвки. Это случилось так: накануне отъезда Белинского из Парижа мы проводили его вечером домой и пошли гулять на Елисейские Поля. Страшно ясно видел я, что для Белинского все кончено, что я ему в последний раз жал руку. Сильный, страстный боец сжег себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на исстрадавшемся лице его. Он был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной, «злой» любви к России. Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча, когда возобновился несчастный спор, раз десять являвшийся sur le tapis[787].

— Жаль, — заметил Сазонов, — что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что он

---

[787] Сноски: 787
предметом обсуждения (*фр.*).

мало сделал, — отвечал я.

— Ну, с такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы…

Мне было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну, вы, живущие без цензуры, вы, полные веры в себя, полные сил и талантов, что же вы сделали? Или что вы делаете? Неужели вы воображаете, что ходить с утра из одной части Парижа в другую, чтоб еще раз переговорить с Служальским или Хоткевичем о границах Польши и России, — дело? Или что ваши беседы в кафе и дома, где пять дураков слушают вас и ничего не понимают, а другие пять ничего не понимают и говорят, — дело?

— Постой, постой, — говорил Сазонов, уже очень неравнодушно, — ты забываешь наше положение.

— Какое положение? Вы живете здесь годы, на воле, без гнетущей крайности, чего же вам еще? Положения создаются, силы заставляют себя признать, втесняют себя. Полноте, господа, одна критическая статья Белинского полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и в государственных людей. Вы живете в каком-то бреду и лунатизме, в вечном оптическом

обмане, которым сами себе отводите глаза…

Меня особенно сердили тогда две меры, которые прилагали не только Сазонов, но и вообще русские к оценке людей. Строгость, обращенная на своих, превращалась в культ и поклонение перед французскими знаменитостями. Досадно было видеть, как наши *пасовали* перед этими матадорами краснобайства, забрасывавшими их словами, фразами и общими местами, сказанными с vitesse accélérée[788]. И чем смиреннее держали себя русские, чем больше они краснели и старались скрывать *их* невежество (как делают нежные родители и самолюбивые мужья), тем больше те ломались и важничали перед гиперборейскими Анахарсисами.

Сазонов, любивший еще в России студентом окружать себя *двором* разных посредственностей, слушавших и слушавшихся его, был и здесь окружен всякими скудными умом и телом лаццарони литературной Киайи, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетонов, вроде тощего Жюльвекура, полуповрежденного Тардифа-де-Мело, неизвестного, но великого поэта Буэ; в его хоре были и ограниченнейшие поляки

---

[788] Сноски: 788
возрастающею быстротой (*фр.*).

из товянщизны и тупоумнейшие немцы из атеизма. Как он не скучал с ними — это его секрет; он даже ко мне ходил почти всегда с одним или с двумя понятыми из хора, несмотря на то, что я с ними всегда скучал и не скрывал этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что он сам становился в положение Жюльвекура в отношении к Маррастам, Риберолям и даже к меньшим знаменитостям.

Все это не совсем понятно для современных посетителей Парижа. Никак не надобно забывать, что настоящий Париж — *не настоящий, а новый.*

Сделавшись каким-то *сводным* городом всего света, Париж перестал быть городом по преимуществу французским. Прежде в нем была вся Франция, и «ничего разве ее»; теперь в нем вся Европа да еще две Америки, но *его самого* меньше; он расплылся в своем звании мирового отеля, караван-сарая и потерял свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уважение без границ и отвращение без пределов.

Само собою разумеется, что отношение иностранцев к новому Парижу изменилось. Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution, знали, что они взяли *чужой* город.

Кочующий турист считает Париж своим, он его покупает, жуирует им и очень хорошо знает, что он нужен Парижу и что старый Вавилон обстроился, окрасился, побелился не для себя, а для него.

В 1847 году я еще застал *прежний* Париж, к тому же Париж с поднятым пульсом, допевавший Беранжеровы песни с припевом: «Vive la réforme»[789], невзначай переменявшимся в «Vive la République!». Русские продолжали тогда жить в Париже с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению (и исправному взысканию оброков), *что они живут в нем*, что они гуляют в Palais Royal'е и ходят aux Français[790]. Они откровенно поклонялись львам и львицам всех родов — знаменитым докторам и танцовщицам, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему «Мапа» и всем литературным шарлатанам и политическим фокусникам.

Я ненавижу систему дерзости préméditée[791], которая у нас в моде. Я в ней узнаю все родовые

---

[789] Сноски: 789
«Да здравствует реформа!» (*фр.*).

[790] Сноски: 790
во «Французскую комедию» (*фр.*).

[791] Сноски: 791
преднамеренной (*фр.*).

черты прежнего, офицерского, помещичьего дантизма, ухарства, переложенные на нравы Васильевского острова и линий его. Но не надобно забывать, что и клиентизм наш перед западными авторитетами шел из той же казармы, из той же канцелярии, из той же передней — только в другие двери, а именно обращенные к барину, начальнику и командиру. В нашей бедности поклонения чему б то ни было, кроме грубой силы и ее знамений — звезд и чинов, потребность иметь нравственную *табель о рангах* очень понятна, но зато перед кем и кем не стояли в умилении лучшие из наших соотечественников? Даже перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. От *немцев* можно сделать заключение, что делалось перед французами, перед людьми действительно замечательными, перед Пьером Леру, например, или перед *самой* Жорж Санд…

Каюсь, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком «Десяти лет» или у Бакунина с Прудоном — некоторым образом чин, повышение; но у меня все опыты идолопоклонства и кумиров не держатся и очень скоро уступают место полнейшему отрицанию.

Месяца через три после моего приезда в Париж

я начал крепко нападать на это *чинопочитание*, и именно в пущий разгар моей оппозиции случился спор по поводу Белинского. Бакунин, с обыкновенным добродушием своим, сам вполовину соглашался и хохотал, но Сазонов надулся и продолжал меня считать профаном в практически-политических вопросах. Вскоре я его убедил еще больше в этом.

Февральская революция была для него полнейшим торжеством: знакомые фельетонисты заняли правительственные места, троны качались, их поддерживали поэты и доктора. Немецкие князьки спрашивали совета и помощи у вчера гонимых журналистов и профессоров. Либералы учили их, как крепче нахлобучить узенькие коронки, чтоб их не снесло поднявшейся вьюгой. Сазонов писал ко мне в Рим письмо за письмом и звал *домой*, в Париж, в единую и нераздельную республику.

Возвращаясь из Италии, я застал Сазонова озабоченным. Бакунина не было, он уже уехал *поднимать* западных славян.

— Неужели, — сказал мне Сазонов при первом свидании, — ты не видишь, что наше *время пришло?*

— То есть как?

— Русское правительство в impass'e[792].

— Что же случилось, не провозглашена ли республика в Петропавловской крепости?

— Entendons nous[793]. Я не думаю, чтоб у нас завтра было 24 февраля. Нет, но общественное мнение, но наплыв либеральных идей, разбитая на части Австрия, Пруссия с конституцией заставят подумать людей, окружающих Зимний дворец. Меньше нельзя сделать, как *октроировать*[794] какую-нибудь конституцию, un simulacre de charte[795], ну, и при этом, — прибавил он с некоторой торжественностью, — при этом необходимо либеральное, образованное, умеющее говорить современным языком министерство. Думал ли ты об этом?

— Нет.

— Чудак, где же они возьмут образованных министров?

— Как не найти, если б было нужно; но мне

---

[792] Сноски: 792
в тупике (*фр.*).

[793] Сноски: 793
Постараемся понять друг друга (*фр.*).

[794] Сноски: 794
даровать (*фр.* octroyer).

[795] Сноски: 795
подобие конституции (*фр.*).

кажется, они их искать не будут.

— Теперь этот скептицизм неуместен, *история совершается*, и притом очень быстро. Подумай — правительство поневоле обратится *к нам.*

Я посмотрел на него, желая знать, что он — шутит или нет. У него лицо было серьезно, несколько поднято в цвете и нервно от волнения.

— Так-таки просто *к нам?*

— Ну, т. е. *лично* ли к нам или к нашему кругу, все равно. Да ты подумай еще раз, к кому же они сунутся?

— Ты какую берешь портфель?

— Напрасно смеешься. Это наше несчастие, что мы не умеем ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir[796]; ты все думаешь о статейках; статейки хорошее дело, но теперь другое время, и один день во власти важнее целого тома.

Сазонов с сожалением смотрел на мою *непрактичность* и наконец нашел людей меньше скептических, уверовавших в близкое пришествие его министерства. В конце 1848 года два-три немца-рефюжье очень постоянно посещали небольшие вечера, устроенные Сазоновым у себя. В их числе был австрийский лейтенант, отличив-

---

[796] Сноски: 796
ни заставить ценить себя (*фр.*).

шийся как начальник штаба при Месенгаузере. Раз, выходя часа в два ночи по проливному дождю и вспомнив, что от rue Blanche до quartier Latin[797] не то чтоб было чересчур близко, офицер роптал на свою судьбу.

— Какая же вам неволя была в такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно, не неволя, да, знаете, Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мне кажется, что с ним надобно нам поддерживать хорошие отношения. Вы лучше меня знаете, что он с своим талантом и умом… с тем местом, которое он занимает в своей партии, что он далеко пойдет при предстоящем перевороте в России…

— Ну, Сазонов, — сказал я ему на другой день, — Архимедову точку ты нашел: есть человек, который верит в твою будущую портфель, и этот человек — лейтенант такой-то.

Время шло, переворота в России не было, и послов за нами никто не присылал. Прошли и грозные Июньские дни; Сазонов принялся за «передовую статью» — не журнала, а *эпохи.* Долго работал он за ней, читал небольшие отрывки, поправлял, менял и едва окончил к зиме. Ему

---

[797] Сноски: 797
от Белой улицы до Латинского квартала (*фр.*).

казалось необходимым «объяснить последнюю революцию России». «Не ждите, — говорил он в начале, — чтоб я вам стал описывать события, — другие это сделают лучше меня. Я вам передам мысль, идею совершившегося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, он всякий раз, когда брал его, хотел сделать что-нибудь необыкновенное, громовое, — «Письмо» Чаадаева постоянно носилось в его уме. Статья поехала в Петербург, была прочтена в дружеских кругах и не сделала никакого впечатления.

Еще летом 1848 завел Сазонов международный клуб. Туда он привел всех своих Тардифов, немцев и мессианистов. С сияющим лицом ходил он в синем фраке по пустой зале. Он открыл международный клуб речью, обращенной к пяти-шести слушателям, в числе которых был я[798] в роли публики, остальная кучка была на платформе в качестве бюро. Вслед за Сазоновым предстал растрепанный, с видом заспанного человека, Тардиф-де-Мело, и грянул стихотворение в честь клуба.

Сазонов поморщился, но остановить поэта было поздно.

---

[798] Сноски: 798

Я был тогда, как выражаются поляки, «паспортовый» и не отрезал еще путей возвращения в Россию.

Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard

Et vous tous…[799] –

кричал с каким-то восторженным остервенением Тардиф-де-Мело, не замечая смеха.

На другой или третий день Сазонов мне прислал экземпляров *тысячу* программы открытия клуба, тем клуб и кончился. Только впоследствии мы услышали, что один из представителей человечества, и именно представлявший на этом конгрессе Испанию и говоривший речь, в которой называл исполнительную власть potence exécutive[800], воображая, что это по-французски, чуть не попал в Англии на настоящую виселицу и был приговорен к каторжной работе за подделку какого-то акта.

За неудавшимся министерством и лопнувшим клубом следовали больше скромные, но и гораздо больше возможные попытки сделаться журналистом. Когда устроилась «La Tribune des Peuples», под главным заведованием Мицкевича, Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал

---

[799] Сноски: 799
Ворцель, Сазонов, Голынский, дель Бальцо, Леонар и все вы… (*фр.*)

[800] Сноски: 800
исполнительная виселица (*фр.*).

две-три очень хорошие статьи… и замолк; а перед падением «Трибуны», т. е. перед 13 июнем 1849, был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, il se sentait dérogé[801], досадовал за это, ничего не оканчивал, запускал начатое и бросал вполовину сделанное.

В 1849 году я предложил Прудону передать иностранную часть редакции «Voix du Peuple» Сазонову. С его знанием четырех языков, литературы, политики, истории всех европейских народов, с его знанием партий он мог из этой части журнала сделать чудо для французов. Во внутренний распорядок иностранных новостей Прудон не входил, она была в моих руках, но я из Женевы ничего не мог сделать. Сазонов через месяц передал редакцию Хоецкому и расстался с журналом. «Я Прудона глубоко уважаю, — писал он мне в Женеву, — но двум таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале».

Через год Сазонов пристроился к воскрешенной тогда мацциниcтами «Реформе». Главной редакцией заведовал Ламенне. И тут не было места двум великим людям. Сазонов поработал

---

[801] Сноски: 801
он чувствовал себя униженным (*фр.*).

месяца три и бросил «Реформу». С Прудоном он, по счастью, расстался мирно, с Ламенне — в ссоре. Сазонов обвинял скупого старика в корыстном употреблении редакционных денег. Ламенне, вспомнив привычки клерикальной юности своей, прибегнул к ultima ratio[802] на Западе и пустил насчет Сазонова вопрос, не агент ли он русского правительства.

В последний раз я Сазонова видел в Швейцарии в 1851. Он был выслан из Франции и жил в Женеве. Это было самое серое, подавляющее время, грубая реакция торжествовала везде. Поколебалась вера Сазонова во Францию и в близкую перемену министерства в Петербурге. Праздная жизнь ему надоела, мучила его, работа не спорилась, он хватался за все, без выдержки, сердился и пил. К тому же жизнь мелких тревог, вечной войны с кредиторами, добывание денег, талант их бросать и неуменье распоряжаться вносили много раздражения и печальной прозы в ежедневное существование Сазонова; он и кутил уже невесело, по привычке, а кутить он некогда был мастер.

Кстати несколько слов о его домашней жизни

---

[802] Сноски: 802
крайнему доводу (*лат.*).

и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутеж и не была лишена колорита.

В первые годы своей парижской жизни Сазонов встретился с одной богатой вдовой, с нею он еще больше втянулся в пышную жизнь. Она уехала в Россию, оставив ему на воспитание их дочь и большие деньги. Вдова не успела доехать до Петрополя, как уже ее заменила дебелая итальянка, с голосом, перед которым еще раз пали бы стены иерихонские.

Года через два-три вдова вздумала совершенно неожиданно посетить друга и дочь. Итальянка поразила ее.

— Это что за особа? — спросила она, оглядывая ее с головы до ног.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну как она научит ее говорить по-французски с таким акцентом?.. Это беда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère…

— Mais, mon cher…[803] — и вдова взяла дочь.

Это был не только чувствительный, но и финансовый кризис. Сазонов был далеко не беден.

---

[803] Сноски: 803
Но, моя дорогая… Но, мой дорогой… (*фр.*)

Сестры посылали ему тысяч двадцать франков в год дохода с его именья. Но, тратя безумно, он и теперь не думал уменьшать свой train[804], а бросился на займы. Занимал он направо и налево, брал у сестер из России что мог, брал у друзей и врагов, брал у ростовщиков, у дураков, у русских и нерусских… Долго держался он и лавировал таким образом, но наконец все-таки оборвался и попал в Клиши, как я уже упомянул.

В продолжение этого времени старшая сестра его овдовела. Услышав, что он в тюрьме, обе сестры поехали его выручать. Как всегда бывает, они ничего не знали о житье-бытье Николеньки. Обе сестры были без ума от него, считали его за гения и ждали с нетерпением, когда он явится во всей силе и славе.

Их встретили разные разочарования, они их тем больше удивили, чем меньше они ожидали. На другой день утром они, взявши с собой графа Хоткевича, приятеля Сазонова, поехали его выкупать сюрпризом. Хоткевич оставил их в карете и ушел, обещавши через минуту явиться с братом. Час шел за часом, Николенька не являлся… Верно, такие длинные формальности,

---

[804] Сноски: 804
образ жизни (*фр.*).

думали дамы, скучая в фиакре… Прибежал наконец Хоткевич один, с красным лицом и сильным винным запахом. Он возвестил, что Сазонов сейчас будет, что он на прощанье с товарищами угощает их вином и закусывает с ними, что это уж так заведено. Кольнуло это немножко нежное сердце путешественниц… но… но вот и толстый, потный, плотный Николенька бросился в их объятия, и они отправились, довольные и счастливые, домой.

Они слышали что-то… об какой-то итальянке… Пламенная дочь Италии, не устоявшая перед северным гением, и гиперборей, плененный южным голосом, огнем очей… Они, краснея и стыдясь, изъявили робкое желание с ней познакомиться. Он согласился на все и отправился домой. Дня через два сестры вздумали сделать второй сюрприз брату, который еще меньше удался первого.

Часов в одиннадцать утра, в жаркий день, отправились сестры взглянуть на Франческу да Римини и ее житье-бытье с Николенькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась… В небольшой гостиной, покрытой коврами, сидел на полу в глубоком неглиже Сазонов и с ним толстая signora P., едва прикрытая легкой блу-

зой. Signora хохотала во всю мочь итальянских легких… рассказу Николеньки. Возле них стояло ведро со льдом и в нем, склоняясь набок, бутылка шампанского.

Что было дальше и как, я не знаю, но эффект был сильный и продолжительный. Меньшая сестра приезжала ко мне совещаться об этом событии, о котором она говорила с спазмами и слезами. Я ее утешал тем, что первые дни после Клиши не составляют норму.

За всем этим следовала проза переезда на меньшую квартиру… Камердинер, который мастерски подавал галстук из непрободаемой шелковой материи, в которую изловчился вонзать булавку с жемчужиной, был отпущен, да и сама булавка вслед за ним явилась в окне какого-то магазина.

Так прошло еще лет пять. Сазонов возвратился в Париж из Швейцарии, потом опять уехал из Парижа в Швейцарию. Чтоб отделаться от дебелой итальянки, он изобрел самое оригинальное средство — он женился на ней, потом расстался.

Между нами пробежала кошка: он не откровенно поступил со мной в одном деле, очень дорогом мне. Я не мог перешагнуть через это.

Между тем началась новая эпоха для России; Сазонов рвался принять участие в ней, писал

статьи неудававшиеся, хотел возвратиться — и не возвращался[805] и оставил наконец Париж. Долго об нем не было ничего слышно.

…Вдруг какой-то русский, приехавший недавно из Швейцарии в Лондон, сказал мне:

— Накануне моего отъезда из Женевы хоронили старого знакомого вашего.

— Кого это?

— Сазонова, и представьте: ни одного русского не было на похоронах.

И стукнуло сердце — будто раскаяньем, что я его так надолго оставил…

(Писано в 1863).

II
Энгельсоны

Они оба умерли. Он не старше тридцати пяти лет, она моложе его.

Он умер лет около десяти тому назад в Жерсее; за его гробом шла вдова, ребенок и коренастый, растрепанный старик с крупными, резкими, запущенными чертами — в его лице были зря пе-

[805] Сноски: 805

Его статья «О месте России на всемирной выставке» напечатана в II кн. «Полярной звезды».

ремешаны гений и безумие, фанатизм и ирония, озлобление ветхозаветного пророка и якобинца 1793 года. Старик этот был *Пьер Леру*.

Она умерла в начале 1865 года в Испании. О ее смерти я узнал несколько месяцев спустя.

Где ребенок, я не слыхал.

Человек, о котором идет речь, был мне близок, был мне дорог, он первый обтер глубокие раны, когда они были свежи, он был моим братом, моей сестрой. *Она*, вряд зная ли, что делает, отдалила его от меня. Он стал моим врагом…

Весть о ее смерти опять вызвала их в памяти…

Я взял тетрадь, писанную мною об них в 1859 году, и, вместо псалтыря, прочел ее над покойниками.

Долго думал я, печатать ее или нет, и недавно решил, что *да*. Намерение мое чисто, рассказ истинен. Не упрек хочу я бросить в их могилу, а вместе с читателем еще и еще раз проследить по новым субъектам всю сложную, болезненную сломанность людей последнего николаевского поколения.

Château Boissière, 31 декабря 1865.

I

В конце 1850 года в Ниццу приехал один русский с женой. Мне их указали на прогулке. Оба они принадлежали к чающим движения воды; он — худой, бледный, чахоточный, рыжевато-белокурый, она — быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, живший у одной русской дамы, сказал мне, что белокурый господин — лицеист, что он читает «Vom andern Ufer», что он был замешан в деле Петрашевского и по всему тому желает со мной познакомиться. Я отвечал, что всегда рад хорошему русскому, тем больше лицеисту, да еще участвовавшему в деле, мало мне известном, но которое для меня было маслиной, принесенной голубем в Ноев ковчег.

Прошло несколько дней, я не видал ни лекаря, ни нового русского. Вдруг как-то часу в десятом вечера мне подали карточку — это был он. Мы сидели с Карлом Фогтом в столовой; я велел гостя просить наверх в гостиную и прежде других пошел туда. Там я застал его, бледного, дрожащего, в каком-то лихорадочном состоянии. Он едва мог сказать свою фамилию; успокоившись немного,

он вскочил со стула, бросился ко мне, расцеловал меня и прежде чем я в свою очередь успел прийти в себя, он, со словами: «Так наконец-то я в самом деле вижу вас!» — поцеловал мою руку. — «Что с вами? Помилуйте!» — говорил я ему, но он уже плакал в это время.

Я смотрел на него с недоумением: что это — нервная распущенность или просто помешательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, он с необыкновенной быстротой и сильной мимикой рассказал мне, что я ему спас жизнь и именно вот каким образом. Пропадая с тоски в Петербурге, выключенный из лицея за какой-то вздор, гнушаясь службой, которую должен был принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, он решился отравиться и, за несколько часов до исполнения своего намерения, пошел бродить без определенной цели по улицам, зашел к Излеру и взял книжку «Отечественных записок». В ней была моя статья «По поводу одной драмы». Чтение мало-помалу захватило его внимание, ему стало легче, ему стало стыдно, что он так подчиняется горю и отчаянию, когда общие интересы растут со всех сторон и зовут все молодое, все имеющее силы, и Энгельсон

вместо яда спросил полбутылки мадеры, еще раз перечитал статью и с тех пор сделался горячим поклонником моим.

Он просидел до поздней ночи и ушел, прося позволенья скоро возвратиться. Сквозь его спутанную речь, перерываемую отступлениями и эпизодами, можно было видеть сильно устроенную голову, резкую диалектическую способность и еще яснее — сломанность, бросавшую его из одной крайности в другую: от негодованья, обиженного горем и удрученного печалью, до иронического гаерства, от слез до кривляния.

Он оставил меня под странным впечатлением. Сначала я ему не доверял, потом уставал от него, — он как-то слишком сильно действовал на нервы, — но мало-помалу я привык к его странностям и был рад оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовым большинством западных людей.

Энгельсон бездну читал и бездну учился, был лингвист, филолог и вносил во все знакомый нам скептицизм, который так много берет за боль, оставляемую им. Встарь об нем сказали бы, что он зачитался. Через край возбужденная умственная деятельность была не по силам хилого организма. Вино, которым он побеждал

усталь и возбуждал себя, раздувало его фантазию и мысли в длинные и яркие пасмы огня, быстро сожигая его больное тело.

Беспорядок и вино, всегдашняя, раздражительная деятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная бесплодность, полнейшая праздность, крайность страстей и крайность апатии, несмотря на большую разницу с нашим прежним московским складом, живо напоминали мне былое. Опять услышались звуки не только родного языка, но родной мысли. Он был свидетелем петербургского террора после 1848 и знал литературные круги. Совершенно отрезанный тогда от России, я с жадностью слушал его рассказы.

Мы стали видаться часто, потом всякий вечер.

Жена его тоже была странное существо. Ее лицо, от натуры прекрасное, было искажено невралгиями и каким-то тревожным беспокойством. Она была обруселая норвеженка и говорила по-русски с легким акцентом, который ей шел. Вообще она была молчаливее и скрытнее его. Домашняя жизнь их шла не светло; у них было как-то нервно unheimlich[806], натянуто, чего-то

---

[806] Сноски: 806
неуютно (*нем.*).

недоставало в их жизни, что-то было лишнее в ней, и это постоянно чувствовалось, как невидимое, грозное, электрическое в воздухе.

Часто заставал я их в большой комнате, бывшей их спальней и приемной в отеле, в совершеннейшей прострации. Ее, с заплаканными глазами, обессиленную, в одном углу; его, бледного как мертвец, с белыми губами, растерянного, молчащего — в другом… Так сидели они иногда часы целые, дни целые, и это в нескольких шагах от синего Средиземного моря, от померанцевых рощей, куда звало все — и яхонтовое небо, и яркое, шумное веселье южной жизни. Они, собственно, не ссорились, тут не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины… Он вдруг вставал, подходил к ней, становился на колени и иногда с рыданьем повторял: «Сгубил я тебя, мое дитя, сгубил!» И она плакала и верила, что он ее сгубил. «Когда же я, наконец, умру и оставлю его на свободе?» — говорила она мне.

Все это было для меня ново, и мне их было до того жаль, что хотелось с ними плакать и пуще всего сказать им: «Да полноте, полноте, вы вовсе не так несчастны и не так дурны, вы оба славные люди, возьмемте лодку и размыкаем

горе по синему морю». Я это и делал иногда, и мне удавалось их увозить от самих себя. Но за ночь пароксизм возвращался… Они как-то надразнили друг друга и стояли в таком раздражительном импассе[807], что пустейшее слово нарушало согласие и снова вызывало каких-то фурий со дна их сердца.

Иной раз мне казалось, что, беспрерывно растравляя свои раны, они в этой боли находят какое-то жгучее наслаждение, что это взаимное разъеданье сделалось им необходимо, как водка или пикули. Но, по несчастью, организм у обоих начал явно уставать, они быстро неслись в дом умалишенных или в могилу.

Натура ее, вовсе не бездарная, но невыработанная и в то же время испорченная, была гораздо сложнее и в некотором смысле гораздо выносливее и сильнее его. К тому же в ней не было ни тени единства, последовательности, той несчастной последовательности, которая у него оставалась в самых вопиющих крайностях и в самых крутых противуречиях. В ней рядом с отчаянием, с желанием умереть, с привычкой ныть и изнывать была и жажда светских наслаждений

---

[807] Сноски: 807
тупике (*фр.* impasse).

и затаенное кокетство, любовь к нарядам и роскоши, отвергаемая как-то преднамеренно, назло себе. Она всегда была одета к лицу и со вкусом.

Ей хотелось быть женщиной свободной, по тогдашним понятиям, и огромным, оригинальным психическим несчастием, в смысле героинь Ж. Санд… но ее, как гиря, стягивала прежняя, привычная, традициональная жизнь совсем в иную сферу.

То, что составляло поэзию Энгельсона и много выкупало его недостатков, то, что ему самому служило выходом, того она не понимала. Она не могла следовать за его скачущей мыслию, за его быстрыми переходами от отчаяния к остротам и хохоту, от откровенного смеха к откровенным слезам. Она отставала, теряла связь, терялась… Для нее были непонятны карикатурные профили печальных мыслей его.

Когда Энгельсон, после целого запаса каламбуров и шалостей, передразниваний, больше и больше монтируясь, делал целые драматические представления, от которых нельзя было не хохотать до упаду, она уходила с озлоблением из комнаты, ее оскорбляло «неприличное поведение его при посторонних». Он обыкновенно примечал это, и так как его нельзя было ничем

остановить, когда он закусывал удила, то он вдвое дурачился и потом вальсировал к ней и спрашивал ее с горящими щеками и покрытый потом: «Ach, mein lieber Gott, Alexandra Christianovna, war es denn nicht respektabel?»[808] Она плакала вдвое, он вдруг менялся, делался мрачен и morose[809], пил рюмку за рюмкой коньяк и уходил домой или просто засыпал на диване.

На другой день мне приходилось мирить, улаживать… и он так от души целовал ее руки и так смешно просил отпущение греха, что она сама иногда не могла удержаться и смеялась вместе с нами.

Надобно объяснить, в чем состояли эти представления, наносившие столько печали бедной Александре Христиановне. Комический талант Энгельсона был несомненен, огромен; до такой *едкости* никогда не доходил Левассор, разве Грассо в лучших своих созданиях да Горбунов в некоторых рассказах. К тому же половина была импровизирована, он добавлял, изменял, придерживаясь одной рамы. Если б он хотел

---

[808] Сноски: 808

Ах, Боже мой, Александра Христиановна, разве это не было прилично? (*нем.*)

[809] Сноски: 809

угрюм (*фр.*).

развить в себе эту способность и привести ее в порядок, он наверное занял бы одно из первых мест в ряду *злых* комиков, но Энгельсон ничего не развил в себе и ничего не привел в порядок. Дикие и полные сил побеги талантов росли и глохли в неустоявшейся душе его и от домашних тревог, отнимавших половину времени, и от хватанья за все на свете, от филологии и химии до политической экономии и философии. В этом смысле Энгельсон был чисто русский человек, несмотря на то, что отец его был финляндского происхождения.

Представлял он все на свете: чиновников и барынь, попов и квартальных, но лучшие его представления относились к Николаю, которого он глубоко, задушевно, деятельно ненавидел. Он брал стул à la Napoléon, садился на него верхом и сурово подъезжал к выстроенному корпусу… Кругом трясутся эполеты, шляпы, каски… это Николай на смотру; он сердится и, поворачивая лошадь, говорит корпусному командиру: «Скверно». Корпусный с благоговением выслушивает, глядит вслед Николаю и потом, понижая голос и задыхаясь от бешенства, шепчет дивизионному генералу: «Вы, ваше превосходительство, кажется, заняты чем-то другим, а не службой; что

за подлая дивизия, что за полковые командиры!! Я им покажу!!!»

Дивизионный генерал краснеет, краснеет и бросается на первого попавшегося полковника… Так от одного чина до другого, с неуловимо верными нюансами императорское «скверно» доходит до вахмистра, которого эскадронный командир ругает по-площадному и который, ничего не говоря, эфесом сабли тычет из всей силы в бок флангового солдата, ничего не сделавшего.

Энгельсон представлял с поразительной верностью не только характеристику каждого чина, но все движения всадника, дергающего из бешенства свою лошадь и сердящегося на нее за то, что она не смирно стоит.

Другое представление было более мирного рода. Император Николай танцует французскую кадриль. Vis-à-vis[810] с ним иностранный дипломат, по одну сторону фрунтовик генерал, по другую — сановник из штатских. Это было своего рода оконченный chef d'œuvre. Для представления Энгельсон брал кого-нибудь из нас за даму. Цвет всего был Николай, *самодержавно царствующий* кадриль: сознательная твердость

---

[810] Сноски: 810
напротив (*фр.*).

каждого шага, доблесть каждого движения, притом прощающий и милосердый взгляд на даму, который тотчас превращается в приказ генералу и в совет не забываться сановнику. Передать это словами невозможно. Генерал, который, вытянувшись и немножко скругля локти, с натянутым вниманием идет по темпам на приступ фигуры, под строгим наблюдением государя императора, и растерянный сановник с подкашивающимися от страха ногами, с улыбкой и почти со слезою на глазах — все это было представлено так, что человек, никогда не видавший Николая, мог совершенно основательно узнать, в чем состояла пытка царской кадрили и опасность высочайшего vis-à-vis. Я забыл сказать, что дипломат один танцевал с изученной небрежностью и с большим fini[811], скрывая то неловкое чувство беспокойства, которое ощущает самый храбрый человек с зажженной сигарой возле бочки с порохом.

Но из того, что это ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не следует, чтоб в ней самой было больше спетости и гармонии; совсем напротив, у нее в голове был действи-

---

[811] Сноски: 811
совершенством (*фр.*).

тельный беспорядок, разрушавший всякий строй, всякую последовательность и делавший ее неуловимой. Я на ней на первой изучил, как мало можно взять логикой в споре с женщиной, особенно когда спор в практических сферах. В Энгельсоне неустройство напоминало беспорядок после пожара, после похорон, пожалуй, после преступления, а в ней — неприбранную комнату, в которой все разбросано зря: детские куклы, венчальное платье, молитвенник, роман Ж. Санд, туфли, цветы, тарелки. В ее полусознанных мыслях и полуподорванных верованиях, в притязаниях на невозможную свободу и в зависимости от привычных внешних цепей было что-то восьмилетнее, восьмнадцатилетнее, восьмидесятилетнее. Много раз говорил я это ей самой; и, странное дело, даже лицо ее преждевременно завяло, казалось старым от отсутствия части зубов и в то же время сохраняло какое-то ребяческое выражение.

Во внутреннем хаосе ее был кругом виноват Энгельсон.

Его жена была избалованным ребенком своей матери, которая не чаяла в ней души; за нее посватался, когда ей было лет восьмнадцать, пожилой, флегматический чиновник из шведов.

В минуту досады и ребяческого каприза на мать она согласилась выйти за него. Ей хотелось сесть хозяйкой и быть своей госпожой.

Когда медовый месяц воли, визитов, нарядов прошел, новобрачной стало невыносимо скучно; муж, несмотря на то, что тщательно сохранял респектабельность, возил ее в театр и делал *чайные* вечера, ей опротивел; она побилась с ним года три-четыре, устала и уехала к матери. Они развелись. Мать умерла, и она осталась одна, с здоровьем, преждевременно разрушенным в борьбе с нелепым браком, с пустотой, с голодом в сердце, с праздным умом, страдающая, печальная.

В это время Энгельсон был исключен из лицея. Нервный, раздражительный, с страстной потребностью любви, с болезненным недоверием к себе, снедаемый самолюбием… Он познакомился с ней еще при жизни матери и сблизился после ее смерти. Мудрено было бы, если б он не влюбился в нее. Надолго ли или нет, но он должен был полюбить ее сильно. К этому вело все… и то, что она была женщина без мужа, вдова и не вдова, невеста и не невеста, и то, что она томилась чем-то, была влюблена в другого и мучилась своей любовью. Этот другой был энергический моло-

дой человек, офицер и литератор, но отчаянный игрок. Они поссорились за эту неистовую страсть к игре — он впоследствии застрелился.

Энгельсон не отходил от нее, он утешал ее, смешил, занимал. Это была первая и последняя любовь его. Ей хотелось учиться или, лучше, знать не учась; он взялся быть ее ментором, — она просила книг.

Первая книга, которую Энгельсон ей дал, была «Das Wesen des Christentums»[812] Фейербаха. Себя он сделал комментатором и ежедневно из-под ног своей Элоизы, не умевшей ступить на землю от китайских башмаков старого христианского воспитания, выдергивал скамейку, на которой она кой-как могла не потерять равновесия…

Освобождение от традиционной морали, сказал Гёте, никогда не ведет к добру *без укрепившейся мысли*; действительно, *один разум* достоин сменять *религию долга.*

Энгельсон попробовал женщину, спавшую непробудным сном нравственной беспечности, убаюканную традициями и грезившую все, что грезит слегка христианская, слегка романтическая, слегка моральная, патриархальная душа,

---

[812] Сноски: 812
«Сущность христианства» (*нем.*).

воспитать сразу, по методе английских нянек, которые кричащему от боли в животе ребенку наливают в рот рюмку водки. В ее незрелые, детские понятия он бросил разъедающий фермент, с которым мужчины редко умеют справиться, с которым он сам *не справился*, а только понял его.

Ошеломленная ниспровержением всех нравственных понятий, всех религиозных верований и находя у самого Энгельсона одно сомнение, одно отрицанье прежнего и одну иронию, она потеряла последний компас, последний руль и пошла, как пущенная в море лодка, без кормила, вертясь и блуждая. Баланс, выработанный самой жизнью, держащийся, как в маятнике противуположными пластинками, нелепостями, исключающими друг друга и держащимися на этом, был нарушен.

Она бросилась на чтение с яростью, понимала, не понимая и примешивая к философии нянюшек философию Гегеля, к экономическим понятиям чопорного хозяйства — сентиментальный социализм. При всем этом здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили; она чахла, томилась, смертельно хотела ехать за границу и боялась каких-то преследований и врагов.

После долгой борьбы, собравши все силы, Энгельсон сказал ей:

— Вы хотите путешествовать, как вы поедете одни?.. Вам наделают бездну неприятностей, вы потеряетесь без друга, без защитника, который имел бы право вас защищать. Вы знаете, что за вас я отдам мою жизнь… Отдайте мне вашу руку — я вас буду беречь, покоить, сторожить… я буду ваша мать, ваш отец, ваша нянька и муж только перед законом. Я буду с вами — близко вас…

Так говорил человек моложе тридцати лет, страстно любивший. Она была тронута и приняла его мужем безусловно. Через некоторое время они уехали в чужие края.

Таково было прошедшее моих новых знакомых. Когда Энгельсон все это рассказал мне, когда он горько жаловался, что брак этот загубил их обоих, и я сам видел, как они изнывали в каком-то нравственном угаре, который они преднамеренно вздували, я убедился, что несчастье их состоит в том, что они слишком мало знали друг друга прежде, слишком тесно придвинулись теперь, слишком свели всю жизнь на личный лиризм, слишком верят, что они муж и жена. Если б они могли разъехаться… каждый вздохнул бы

на свободе, успокоился бы, а может, и вновь расцвел бы. Время показало бы, в самом ли деле они так нужны друг для друга; во всяком случае горячка была бы прервана без катастрофы. Я не скрывал моего мнения от Энгельсона; он соглашался со мной, но все это был мираж; в сущности, у него не было силы ее оставить, у нее — броситься в море… они тайно *хотели* остаться при кануне этих решений, не приводя их в исполнение.

Мнение мое было слишком просто и здорово, чтоб быть верным в отношении к таким сложно-патологическим субъектам и к таким больным нервам.

II

Тип, к которому принадлежал Энгельсон, был тогда для меня довольно нов. В начале сороковых годов я видел только его зачатки. Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их

числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, это явления совсем другого времени — но в них было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смело на деятельность и удивили всю Россию «Словарем иностранных слов». Наследники сильно возбужденной умственной деятельности сороковых годов, они прямо из немецкой философии шли в фалангу Фурье, в последователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг, или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда безмерное самолюбие; не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы, но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеянное до дерзости и в то же время не уверенное в себе.

Между их *запросом* и оценкой ближних несо-

размерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее, а требует готовую работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков за то, что у них закормы были полны. «Обидное непризнание общества» их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и Fratzenhaftigkeit[813].

На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же *видовым, болезненным надломом* по всем суставам.

Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели. Кто не знает знаменитую инструкцию учителям кадетских корпусов? В лицее было лучше, но ненависть Николая в последнее время налегла и на него. Вся система казенного воспитания состояла в внушении религии сле-

---

[813] Сноски: 813
дурачества (*нем.*).

пого повиновения, ведущей к власти как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее… Вместе с жгучим самолюбием прививалась какая-то обескураженность, сознание бессилия, усталь перед работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. Мне впоследствии случалось часто иметь на духу не только мужчин, но и женщин, принадлежавших к той же категории. Вглядываясь с участием в их покаяния, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, я, наконец, убедился потом, что все это одна из форм того же самолюбия. Стоило вместо возраженья и сострадань согласиться с кающимся, чтоб увидеть, как легко уязвляемы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обоих полов. Вы перед ними, как христианский священник перед сильными

мира сего, имеете только право торжественно отпускать грехи и молчать.

У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, с своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились — страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Необузданность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это психологическая задача.

В прежних студентских кружках бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но в самой пущей брани *кой-что* оставалось вне битвы… Для наших нервных людей энгельсоновского поколения этого заветного места не существовало, они не считали нужным себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они, начиная с самого Энгельсона, бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор *и плакали потом.* С переменой нервного тока

начинаются раскаяния, вымаливание прощенья у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили.

Раскаяния их бывали искренны, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна — с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.

Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслажденья, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под руку, вино льется наземь, и с запальчивостью отброшенная чаша валяется в грязи.

III

Энгельсоны вскоре уехали в Рим и Неаполь, они хотели остаться там месяцев шесть и возвратились через шесть недель. Ничего не видавши, они таскали свою скуку по Италии, мыкали свое горе в Риме, грустили в Неаполе и наконец решились ехать обратно в Ниццу, «к вам на леченье» — писал он мне из Генуи.

Мрачное расположение их выросло во время их отсутствия. К нервному расстройству прибавились размолвки, принимавшие все больше и больше озлобленный, желчевой характер. Энгельсон был виноват в необузданности слов, в жестких выражениях, но вызывала их всегда она, вызывала преднамеренно, с затаенной колкостью и с особенным успехом в самые добродушные минуты его; забыться он не мог ни на минуту.

Молчать Энгельсон вовсе не умел, говорить со мною облегчало его, и потому он мне рассказывал все, даже больше, чем нужно; мне было неловко, я чувствовал, что не могу быть с ними так откровенен, как они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокоивала высказан-

ная жалоба — меня нет.

Раз, сидя со мной в небольшой таверне, Энгельсон сказал, что он обессилился в ежедневной борьбе, что выхода из нее нет, что снова мысль о прекращении своего существования ему представляется последним спасением… При его нервной необузданности можно было ждать, что если наконец ему попадется пистолет или склянка яда, то он когда-нибудь и попробует то или другое…

Мне было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужем за человеком светлого нрава, который умел бы ее тихо развивать, *весело веселиться* и в случае нужды действовать не только убеждением, но и авторитетом, — авторитетом серьезным, без иронии. Есть несовершеннолетние натуры, которые не могут себя вести сами, так, как есть лимфатические сложения, которым необходим корсет, чтобы позвоночный столб не гнулся.

Пока я думал об этом, Энгельсон, продолжая свой рассказ, сам пришел к тому же заключению. «Женщина эта меня не любит, — говорил он, — да и не может любить; то, что она понимает во мне и ищет, скверно, а что во мне есть хорошего — для нее китайская грамота; она испорчена буржуазностью, с своим внешним

Respektäbilität'ом, с мелким фамилизмом[814]; мы замучим друг друга, это для меня ясно».

Мне казалось, что если мужчина может таким образом говорить о близкой женщине, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно с глубоким участием следя за их жизнью, часто задавал себе вопрос, зачем они живут вместе.

— У вашей жены тоска по Петербургу, по братьям, по старой нянюшке; отчего вы не устроите, чтоб она ехала домой, а вы бы остались здесь?

— Тысячу раз думал я об этом, я только этого и хочу, но, во-первых, ей не с кем ехать, а во-вторых, она в Петербурге пропадет с тоски.

— Да ведь она и здесь пропадает с тоски. Что не с кем послать, это воспоминания наших барских затей; вы можете проводить вашу жену до парохода в Штеттин, а пароход сам дорогу найдет. Если у вас нет денег, я вам дам взаймы.

— Вы правы, и я это сделаю непременно. Мне больно, мне жаль ее; все, что было во мне любви, положил я на ее голову; я в ней искал не только жены, но существо, которое я хотел развивать, воспитывать по своей фантазии, я думал, что она

---

[814] Сноски: 814
семейственностью (*фр*. famille).

будет моим ребенком, — задача была не по силам; да и кто же знал, сколько противудействий я найду, сколько упрямства? — Он помолчал и потом добавил: — Сказать вам всю мою мысль? Ей надобно другого мужа… Если б нашелся человек, достойный ее, которого бы она полюбила, я сдал бы ее с рук на руки, и мы оба выздоровели бы — это важнее Петербурга.

Я все это принимал au pied de la lettre[815]. Что он был искренен, в этом нет сомнения; тут-то и лежит загвоздка этих подвижных, не владеющих собой организаций; они могут, как хорошие актеры, выграться в разные роли и до того с ними сродниться, что картонный кинжал им кажется настоящим и они льют истинные слезы о «Гекубе».

Мы тогда жили вместе в С.-Елен. Дни два спустя после моего разговора с Энгельсоном, поздно вечером вошла M-me Энгельсон в гостиную, со свечой в руке и с заплаканным лицом, поставила свечу на стол и сказала, что желает поговорить со мной. Мы сели… После небольшой и неясной прелюдии о судьбе, которая ее преследует, о несчастном характере Энгельсона и ее

---

[815] Сноски: 815
буквально (*фр.*).

самой, она объявила, что решилась возвратиться в Петербург и не знает, как это сделать. «Вы одни имеете на него влияние; уговорите его меня *в самом деле* отпустить; я знаю, что он в минуты досады на словах готов меня сей час посадить в почтовую карету, но все это *на словах.* Уговорите его, спасите нас обоих и дайте слово первое время походить за ним, похолить его… ему будет тяжело, он больной, нервный человек», — и она, снова рыдая, покрыла лицо платком.

В глубину горести ее я не верил, но очень хорошо понял, какого я дал маху, говоря откровенно с Энгельсоном: для меня было ясно, что он передал ей наш разговор.

Выбора мне не оставалось, я повторил свои слова, смягчивши их в форме. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поедет, то бросится в море, что она вечером сожгла многие бумаги и желает мне поручить какие-то другие в запечатанном пакете. Мне стало ясно, что и она вовсе не так страстно хочет ехать, а хочет, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверх того, я увидел, что если она колеблется без всякого решения, то он и не колеблется, а вовсе не хочет, чтоб она ехала. Она над ним имела большую власть, она

знала это и, основываясь на ней, дозволяла ему беситься, покрывать пеной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй он как хочешь, дело пойдет *не по его воле, а по ее.*

Совета моего она мне никогда не прощала, она боялась моего влияния, хотя и имела явное доказательство моего бессилия.

Дней десять не было речи об отъезде. Потом пошли периодические схватки. В неделю раз или два она являлась с заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будет собираться в Петербург или на дно морское. Энгельсон выходил из своей комнаты с зеленым лицом, с судорожным подергиванием и дрожащими руками, он исчезал часов на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпивший, носил визировать пасс или брать пропуск в Геную, потом все утихало и приходило в обыкновенное русло.

Наружно M-me Энгельсон со мною совершенно примирилась, но с этого времени у ней началось слагаться что-то вроде ненависти ко мне. Прежде она спорила со мной, сердилась не скрывая… теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядел, что я не умилялся перед ее трагической судьбой, не принимал

ее за несчастную жертву, а глядел на нее как на капризную больную, что я не только не сделался платоническим соплакальщиком ее, а сомневался, не наслаждение ли вместо горести доставляют ей слезы, душераздирательные сцены, объяснения в несколько часов и пр., и пр.

Время шло, и исподволь многое изменилось. Она с быстротою, которая только встречается у нервных больных, поздоровела, сделалась веселее, стала еще внимательнее к туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили к прежним сценам между нею и Энгельсоном, к прощанью Сократа перед цикутой и к готовности идти по следам Сафо в пучину морскую, но в сумме дела шли лучше. Вечно полулежащая от слабости, вечно утомленная женщина выпрямилась, как Сикст V, стала полнеть, и до того, что раз бедный Коля, сидя за обедом и глядя на ее полную грудь, сказал, покачивая головой: «Sehr viel Milch!»[816]

Видно было, что новый интерес занял ее жизнь, что что-то разбудило ее от болезненной летаргии. С тех пор как мы объяснились с ней, она начала упорную игру, обдумывая всякий ход, не хуже

---

[816] Сноски: 816
«Очень много молока!» (*нем.*)

игроков du café Régent, и терпеливо поправляя ошибки. Иногда она изменяла себе, делала промахи, увлекалась в ту или другую сторону, но с постоянством возвращалась к прежнему плану. План этот шел уже дальше закрепления в свою власть Энгельсона, дальше отместки мне; он состоял в том, чтоб завладеть всеми нами, всем домом и, пользуясь усиливающейся болезнью Natalie, взять в свои руки воспитанье, всю жизнь, si non, non[817], т. е. в противном случае разорвать во что б ни стало мою связь с Энгельсоном.

Но прежде чем она достигла последнего результата, игра представляла много ходов, очень трудных, тяжелых уступок, кошачьей тактики и большого выжидания; многое она сделала, но не все. Бесконечная болтовня Энгельсона мешала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергию, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замысел… но личности и самолюбия пьянят и, вступая в темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что-нибудь разглядеть. Обыкновенно

---

[817] Сноски: 817
если нет, нет (*лат.*).

свет вносится в комнату на шум уже совершившегося преступления, т. е. когда с одной стороны неисправимая беда, с другой — угрызение совести.

IV

…О несчастиях, обрушившихся на меня в 1851 и 1852 годах, я говорю в другом месте. Энгельсон много облегчения внес в мою печальную жизнь. Мы с ним долго прожили бы возле кладбищ, но беспокойное самолюбие его жены не пощадило и траура.

Несколько недель после похорон Энгельсон, печальный, встревоженный, видимо, нехотя и, видимо, не от себя, спросил меня, не думаю ли я поручить его жене воспитание моих детей.

Я отвечал, что дети, кроме моего сына, поедут в Париж с Марьей Каспаровной и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенья принять не могу.

Ответ мой огорчил его; огорчать его мне было больно.

— Скажите мне, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать детей?

— Нет, — отвечал в свою очередь Энгельсон, — но… но, может, это — planche de salut[818] *для нее*; она все-таки страдает, как прежде, а тут ваше доверие, новый долг.

— Ну, а как опыт не удастся?

— Вы правы, не будем говорить об этом… а тяжело!

Энгельсон был, действительно, согласен со мной и замолчал. Но она не ожидала такого простого ответа; уступить на этом вопросе я не мог, она не хотела и, вне себя от досады, тотчас решилась увезти Энгельсона из Ниццы. Дня через три он объявил мне, что едет в Геную.

— Что с вами? — спросил я, — и *за что же* так скоро?

— Да что, вы видите сами: жена не ладит ни с вами, ни с вашими друзьями, я уж решился… да оно, может, и лучше.

И через день они уехали.

А потом уехал я из Ниццы. В Генуе, проездом, мы встретились мирно. Окруженная нашими друзьями, в числе которых были Медичи, Пизакане, Козенц, Мордини, она казалась спокойнее и здоровее. Но тем не меньше она не могла про-

---

[818] Сноски: 818
якорь спасения (*фр.*).

пустить ни одного случая, чтоб не кольнуть меня самым злым образом. Я отходил, молчал, это не помогало. Даже когда я уехал в Лугано, она продолжала свои отравленные petits points[819], и это в редких приписках к письмам мужа, как будто с его «визой».

Наконец булавочные уколы в такое время, когда я весь был задавлен болью и горем, вывели меня из терпенья. Я их ничем не заслужил, ничем не вызвал. На одну из злых приписок, в которой говорилось о том, как дорого еще Энгельсон поплатится за то, что беззаветно отдается друзьям, не зная, что они для него ничего не сделают, — я написал Энгельсону, что пора положить этому предел.

«Я не понимаю, — писал я, — за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдал ей моих детей, то вряд ли она права». Я напомнил ему наш последний разговор и прибавил: «Мы знаем, что Сатурн ел своих детей, но чтоб кто-нибудь *благодарил своих друзей за их участие* детским воспитанием, это неслыханно».

Этой выходки она мне не простила, но, что гораздо удивительнее, и он не простил, хотя сна-

---

[819] Сноски: 819
уколы (*фр.*).

чала не показал вовсе вида… а попрекнул меня этими словами через годы…

Я уехал в Лондон, Энгельсон поселился на зиму в Женеве, потом перебрался в Париж[820].

V

Пословицу «Кто на море не бывал, тот богу не молился» можно так переделать: женщина, у которой детей не бывало, не знает бескорыстной преданности, и это особенно относится к замужним женщинам; бездетность у них развивает почти всегда грубый эгоизм, разумеется, если по дороге не спасет какой-нибудь общий интерес. Старая дева имеет какие-то поседевшие стремления, мягчащие ее, она все еще ищет и все надеется; но женщина без детей и с мужем — в гавани, она благополучно приехала, сначала инстинктивно погрустила о том, что детей нет, потом успокоилась и живет в свое удовольствие, а если и оно не удается, в *свое горе* или в чье-нибудь неудовольствие, в чье-нибудь горе, хоть горничной. Рождение ребенка может ее спасти.

---

[820] Сноски: 820

К этому времени относится ряд очень замечательных его писем, из которых значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.

Ребенок приучает мать к жертве, к подчинению воли, к страстной трате времени *не на себя* и отучает от всякой внешней награды, признания, спасиба. Мать с ребенком не считается, она ничего не требует от него, кроме здоровья, аппетита, сна и — и его улыбки. Ребенок, не выводя женщины из дому, превращает ее в гражданское лицо.

Совсем не то, когда бездетной женщине в дом попадется почему бы то ни было чужой ребенок, да еще по какой-нибудь необходимости. Она будет, пожалуй, наряжать его, играть с ним, но когда ей *хочется;* она будет баловать его, но по-своему; во всех других случаях ребенок будет напрасно стучаться в окоченелое или ожиревшее сердце. Словом, ребенок может наверное рассчитывать на все льготы и холенья, которые делают шпицу, канарейке, — но не больше.

У одного из наших близких знакомых была дочь, родившаяся от одной молодой вдовы. В видах *замужества* матери ребенка хотели увести и украли во время отсутствия отца. После долгих розысков девочку нашли; но отец, изгнанный из Франции, не мог за ней приехать в Париж, да и к тому же не имел денег. Не зная, куда деть ее, он попросил Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсон согласился, но очень скоро раскаялся.

Девочка шалила и, вероятно, очень много, взяв в расчет ее неправильное воспитание; но все же она шалила, как пятилетний ребенок, и не с гуманным пониманьем Энгельсона можно было опрокинуться на девочку за шалости. Да и беда была не в том, что она шалила: *она мешала*, и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не делавшей. Энгельсон с каким-то ожесточением жаловался мне письменно на ребенка!

Между прочим, насчет ее отца Энгельсон писал мне: «Не странно ли, что Х<оецкий>, соглашавшийся когда-то с вами, что жена моя *не способна воспитывать ваших детей, поручил ей свою собственную дочь*?»

Энгельсон знал очень хорошо, что отец девочки *не выбрал* его жену воспитательницей, а был приведен материальной нуждой в необходимость прибегнуть к ее помощи. В этом замечании было столько жесткого, невеликодушного, что у меня перевернулось сердце. Я не мог привыкнуть к этому недостатку пощады, к этой *смелости* языка, не останавливающегося ни перед чем! Глубоко язвящие намеки, которые могут в минуту раздражения прийти каждому в голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятся людьми, к которым принадлежал

Энгельсон, с легкостью и наслаждением при малейшей размолвке.

Дав волю своему раздражению, Энгельсон в письме своем по дороге оборвал и Тесье и других приятелей, даже самого Прудона, которого очень уважал. Вместе с письмом Энгельсона пришло из Парижа письмо Тесье, он дружески шутил о «гневах и шалостях» Энгельсона, не подозревая, что он писал об нем. Мне была противна роль какого-то отрицательного предательства, и я написал Энгельсону, что стыдно так бранить людей, с которыми жизнь нас свела, что, несмотря на их недостатки, все же они люди хорошие, как он сам знает. В заключение я говорил, что стыдно так преувеличивать всякое дело и ахать, и охать, и приходить в отчаяние от шалостей пятилетнего ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, друг, целовавший в порыве энтузиазма мою руку, приходивший ко мне делить всякую печаль и предлагавший мне кровь свою и свою жизнь, не на словах, *а в самом деле*... этот человек, связанный со мной своею исповедью и моими несчастиями, которых был свидетелем, гробом, за которым мы шли вместе, — все забыл. Его самолюбие было затронуто... ему надобно было отомстить — он и отомстил. Через *четыре дня я* получил от него следующий ответ:

«2 февраля 1853.

Слухи носятся, что вы решились ехать сюда; здоровье Марии Каспаровны, кажется, восстанавливается (по крайней мере на прошедшей неделе она стала пободрее духом, встает с постели минут на пять, имеет аппетит); о поручении, данном вами мне к Т., имею только то сказать, что вещи, которые генерал просит его приготовить, не у Т., а оставлены им у Фогта в Женеве, что мадам Т. находит «peu gracieux»[821] ваше молчание и прибавляет, что переписка с вами не могла бы причинить им неприятностей.

Словом, до вашего приезда я мог бы и не писать

---

[821] Сноски: 821
невежливым (*фр.*).

вам, если б мне не пришло на ум, что молчание часто может быть принято за знак согласия. Я не хочу вводить или продержать вас в заблуждении насчет меня: я не согласен с тем, что сказано в последнем вашем письме ко мне (от 28 января).

Вот ваши слова: “Ну скажите, стоило ли так расходиться — и биби — и младенец — и уж ай, ай, ай, и уж Боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это вас. И что нового! Вы людей знали и видели. Я становлюсь с каждым днем снисходительнее и дальше от людей”.

На это отвечаю, не вдаваясь нынешний раз в диссертацию о респектабельности вообще и даже не поздравляя вас с вашим довольством самим собою, что, разумеется, смешон человек, который, облепленный комарами или клопами, впадает в ярость и бешенство, но что еще смешнее тот, который, страдая от нападений таких насекомых, усиливается придать себе вид равнодушия стоического.

Вы, может быть, с этим не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего.* Не сердитесь! Погодите! Дайте договорить. В первой главе вашего “Vom andern Ufer”, в русском и немецком текстах, следующие ваши слова: “Человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо,

благородно, предполагает несчастие; страдание отвлекает, утешает… да, да, утешает”. — Как я уже в Ницце вам говорил, я сначала принял было это ваше изречение за обмолвку, хотя и нехорошую. Тогда вы мне возразили, что вы не помните этих слов.

Нисколько не относя исключительно к вам эти слова, т. е. не полагая, чтоб вы о людях вообще судили в этом случае по самому себе, я до сих пор думал, что это ваше изречение, как большая часть des “Réflexions” de La Rochefoucauld, на которые оно очень похоже, как мастерски однажды сделанная Белинским характеристика талантливых людей нашего времени, — “ипербола, шутка”. И потому, когда я узнал, что Х. в Швейцарии вознегодовал на генерала за его образ действия в вашем деле, я принял это его негодование не за роль, а за чувство и написал вам: “Да, я вижу, Х. — мне брат”. — Когда Т. (при свидетеле) объявлял, что он осужден “на вечность + два года”, я также поверил этому и даже пересказал это некоторым людям. Вчера мне г-жа Т. сказала, что ее муж никогда не был осужден. Ergo[822], я в глазах тех, кому я пересказал его ложь, та-

[822] Сноски: 822
Следовательно (*лат.*).

кой же благер[823], как он. Это мне неприятно. Кто виноват? Разумеется, я, потому что я был “молод, легковерен”; но и они виноваты, потому что они лгали. Нет, таких благеров, как я увидел в Ницце, я ни на Руси, ни инде еще не видал. В письме моем к вам от 19 января я сказал вам, что я хочу без эскландра[824] удалиться от этих людей, они бо мне антипатичны. Написал же я вам это потому, что с вами я хочу играть в открытую. *Но, погруженный в себя*, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вероятно, не дали бы мне и самого пустого поручения к Т. — Вы тоже говорили, что вы удаляетесь от людей, но вместе с тем просите их вам писать. Я не умею таким образом удаляться.

Полагая, что в серьезных делах откровенность есть необходимое условие честности, я имею еще следующее сказать вам, не теряя времени: вы пишете мне, что, отправив генерала в Австралию и дав бессрочный отпуск всем, вы останетесь при мне и при врагах и что если б к тому же я поустоялся и меньше зависел от своих и не своих нервных тревог и капризцев, то вы со мною сде-

---

[823] Сноски: 823
враль (*фр.* blagueur).

[824] Сноски: 824
скандала (*фр.* esclandre).

лали бы un bout de chemin[825]. Я должен на это вам ответить, что, не чувствуя в себе ни охоты, ни таланта к ролям, и особенно трагическим, я готов, если вам угодно, служить вам моим советом, но не делом»…

Конечно, я не предполагал, чтоб человек, который слезами, рыданием вызвал меня на трудно произносимые доверия, — человек, так близко подошедший ко мне и на которого я опирался, как на брата, в минуты слабости и бессилья, когда боль переходила человеческую емкость, что очевидец, свидетель всего, что было, примет мои несчастия за котурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтоб играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, он заискивал в ней камни и откладывал их за пазуху, чтоб при случае пустить в меня. Ему мало было оборвать настоящее, он грязнил, опошлял прошедшее; разрываясь со мной, он не почтил его унылым чувством молчания, а покрыл его безжалостной бранью и ироническим шпыняньем.

Больно мне было это письмо, очень больно.

Я отвечал ему грустно, сквозь затаенные слезы, я прощался с ним и просил его прекратить

---

[825] Сноски: 825
часть пути (*фр.*).

переписку.

Затем наступило между нами совершеннейшее молчание…

С Энгельсоном еще раз что-то оторвалось внутри, я становился еще беднее, еще разобщеннее; холод кругом, ничего близкого… Иногда будто теплее протягивалась рука; какой-нибудь фанатик без пониманья, не разобравший сначала, что мы не одной религии, быстро подходил и так же быстро отворачивался. Впрочем, я и сам не искал большой близости с людьми; я привыкал к встречным и проходящим, к разным анонимам, от которых ничего не требовал и которым ничего не давал, кроме сигар, вина и иногда денег. Одно спасение было в работе: я писал «Былое и думы» и устроивал русскую типографию в Лондоне.

VI

Прошел год. Типография была в полном ходу, ее заметили в Лондоне и боялись в России. Весною 1854 года я получил от Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писал Энгельсон. Я тотчас напечатал ее.

Потом пришло от него письмо, в котором он просил окончить несчастную размолвку и соеди-

ниться на общее дело. Разумеется, я ему протянул обе руки. Вместо ответа он явился сам в Лондон на несколько дней и остановился у меня. Рыдая и смеясь, просил он забвения прошлого… осыпал меня словами дружбы и снова схватил мою руку и прижал ее к своим губам. Я обнял его, глубоко тронутый и в твердой уверенности, что ссора не возобновится.

Но уже через несколько дней показались облака, мало предвещавшие хорошего. Оттенок фатализма, бонапартизма, который проглядывал в его письмах из Женевы, вырос. Из ненависти к Николаю и хористам французской революции 1848 года он переходил arme et bagage[826] в враждебный стан. Мы поспорили, он был упорен. Зная, как он бросается в крайности и как быстро возвращается, я ждал отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсон возился тогда с удивительным проектом, в который был страстно влюблен.

Он выдумал воздушную батарею, т. е. шар, начиненный горючими веществами и вместе с тем печатными воззваниями. Дело было при начале Крымской кампании. Энгельсон предлагал

---

[826] Сноски: 826
со всею амуницией (*фр.*).

пускать такие шары с кораблей на балтийские берега. Проект этот мне очень не нравился: что за пропаганда с прожектилями, что за смысл нам, русским, жечь финские деревни, помогать Наполеону и Англии? К тому же Энгельсон не открыл никакого нового средства направлять воздушные шары. Я мало возражал на его план, воображая, что он сам бросит эти бредни.

Не тут-то было. Он отправился с своим проектом к Маццини, к Ворцелю. Маццини сказал, что он такого рода делами не занимается, а готов переслать через своих друзей его проект военному министру. Из министерства ответили уклончиво и без отказа проект оставили в стороне. Он просил меня собрать двух-трех военных из рефюжье и предложить им вопрос о шаре. Все были против, и я еще и еще раз говорил ему, что и я против, что наше *дело*, наша *сила* — пропаганда и пропаганда, что мы падем нравственно, становясь на одну сторону с Наполеоном, и погубим себя в глазах России, faisant cause commune[827] с врагами ее. Энгельсон сердился, выходил из себя. Он ехал в Лондон на верное торжество и, встретивши оппозицию даже во мне, незаметно

---

[827] Сноски: 827
будучи заодно (*фр.*).

возвращался к неприязни.

Вскоре он отправился за женой и привез ее в мае месяце в Лондон. В их отношениях сделалась совершенная перемена: она была беременна, он — в восторге от будущего ребенка. Ссоры, размолвки, объяснения — все прошло. Она с каким-то лунатическим мистицизмом и полупомешательством вертела столы и занималась спиритизмом. Духи ей предсказывали многое и между прочим скорую смерть мою. Он читал Шопенгауэра и, улыбаясь, говорил мне, что всеми силами мирволит мистическому направлению ее, что эта вера и экзальтация вносит мир и покой в ее душу.

Со мной она обошлась дружески, — может, в ожидании близкой смерти, — приходила ко мне с работой и заставляла меня читать главы из «Былого и думы» и новые статьи. Когда через месяц начались опять размолвки из-за бонапартизма и воздушных шаров, *она являлась примирительницей* — приходила ко мне, прося пощады *больному* и уверяя, что всегда весной на Энгельсона находит ипохондрическое расположение, в котором он сам не знает, что делает.

Ее покойная кротость была кротость победителя, милосердие полного торжества. Энгельсон,

воображавший, что он ее держит в руках вертящимися столами, упустил одно из виду: что она вертела не столько столами, но и им, и что он больше, чем столы, всегда отвечал то, что она хотела.

Одним вечером Энгельсон снова заспорил о своих шарах с одним французом, наговорил ему разных колкостей, тот отделался иронией и, разумеется, взбесил Энгельсона еще больше. Он схватил шляпу и убежал. Поутру я пошел к нему, чтоб объясниться по этому поводу.

Я его застал за письменным столом, с лицом, совершенно искаженным вчерашней злобой, с безумным выражением глаз. Он сказал мне, что француз (рефюжье, которого я знал давно и знаю теперь) — *шпион*, что он его разоблачит, убьет, и подал мне письмо, только что написанное и адресованное какому-то доктору медицины в Париже; в письме он припутал людей, живущих в Париже, и клеветал на выходцев в Лондоне. Я остолбенел.

— И вы это письмо намерены послать?

— Сейчас.

— По почте?

— По почте.

— Это *донос,* — сказал я и бросил на стол его

маранье. — Если вы пошлете это письмо…

— Так что? — закричал он, перерывая меня голосом сиплым, диким, — вы хотите грозить мне, чем? Не боюсь я ни вас, ни подлых друзей ваших! — при этом он вскочил, раскрыл большой нож и, махая им, кричал, задыхаясь: — Ну, ну, покажите-ка прыть… Покажу и я вам, не угодно ли попробовать?.. милости просим!

Я обернулся к его жене и, сказавши:

— Что это он у вас, совсем с ума сошел? Вы бы убрали его куда-нибудь, — вышел вон.

И на этот раз M-me Энгельсон явилась примирительницей. Она пришла ко мне утром, прося забыть, что было вчера. Письмо он изодрал — был болен, печален. Она принимала все это за несчастие, за физическое расстройство, боялась, что он сильно занеможет, плакала. Я уступил ей.

Затем мы переехали в Ричмонд, и Энгельсон тоже. Рождение сына и первые месяцы хлопот об нем оживили Энгельсона; он потерял голову от радости, в минуту рождения малютки он обнял и расцеловал сначала горничную, потом старуху, хозяйку дома… Страх о здоровье маленького, новость отцовского чувства, новость самого младенца заняли Энгельсона на несколько месяцев, и все шло опять ладно.

Вдруг получаю от него большой пакет при записочке, чтоб я прочел вложенную бумагу и сказал откровенно мое мнение. Это было письмо к французскому министру военных дел. В нем он снова предлагал шары, бомбы и статьи. Я нашел все дурным, от пути, к которому он обращался, до слога, мало сохранившего достоинство, и высказал это.

Энгельсон отвечал дерзкой запиской и начал дуться.

Вслед за тем он мне дал другую рукопись для напечатания. Я не скрыл от него, что действие ее на русских будет прескверное и что я не советую печатать. Энгельсон упрекнул меня в желании завести цензуру и говорил, что я, вероятно, устроил типографию исключительно для печати моих «бессмертных творений». Я напечатал рукопись, но чутье мое оправдалось: она возбудила в России общее негодование.

Все это показывало, что новый разрыв не далек. Признаюсь, на этот раз я не много об этом жалел. Перемежающаяся лихорадка с пароксизмами дружбы и ненависти, целованья рук и нравственных заушений мне надоели. Энгельсон перешел за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминания, ни благодарность. Я его меньше и меньше любил и хладнокровнее

ждал, что будет.

Тут случилось событие, которое своей важностью покрыло на время все споры и раздоры одним чувством радости и ожиданья.

Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, развертываю «Теймс», читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: «The death of the emperor of Russia»[828].

Не помня себя, бросился я с «Теймсом» в руке в столовую; я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету… Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал. Остаться дома было невозможно. Тогда в Ричмонде жил Энгельсон; я наскоро оделся и хотел идти к нему, но он предупредил меня и был уже в передней, мы бросились друг другу на шею и не могли ничего сказать, кроме слов: «Ну, наконец-то, он умер!» Энгельсон, по своему обыкновению, прыгал, перецеловал всех в доме, пел, плясал, и мы еще не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего

---

[828] Сноски: 828

«Смерть русского императора» (*англ.*).

подъезда и кто-то неистово дернул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнем, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.

Я велел подать шампанского, — никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии.

В воскресенье дом мой был полон с утра; французские, польские рефюжье, немцы, итальянцы, даже английские знакомые приходили, уходили с сияющим лицом. День был ясный, теплый; после обеда мы вышли в сад.

На берегу Темзы играли мальчишки; я подозвал их к решетке и сказал им, что мы празднуем смерть их и нашего врага, бросил им на пиво и конфеты целую горсть мелкого серебра. «Уре! Уре! — кричали мальчишки, — Impernikel is dead! Impernikel is dead!»[829] Гости стали им тоже

---

[829] Сноски: 829
«Имперникель <император Николай> умер!» (*англ.*)

бросать сикспенсы и трипенсы; мальчишки принесли элю, пирогов, кексов, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнеме, мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапку и кричали: «Impernikel is dead! Уре!»

Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом «Письмо к императору Александру» и решился издавать «Полярную звезду».

«“Да здравствует разум!” — невольно сорвалось с языка в начале программы, — “*Полярная звезда*” скрылась за тучами николаевского царствования; Николай прошел, и “Полярная звезда” явится снова в день нашей великой пятницы, в тот день, в который пять виселиц сделались для нас пятью распятиями».

…Толчок был силен, живителен, работа закипела вдвое. Я объявил, что издаю «Полярную звезду». Энгельсон принялся, наконец, за свою статью о социализме, о которой еще говорил в Италии. Можно было думать, что мы проработаем года два или больше… но раздражительное самолюбие его делало всякую работу с ним невыносимой. Жена его поддерживала в нем его опьянение собой.

— Статья моего мужа, — говорила она, — будет считаться *новой эпохой* в истории русской мысли. Если он ничего больше не напишет, то место его в истории упрочено.

Статья «Что такое государство?»[830] была хороша, но успех ее не оправдал семейных ожиданий. К тому же она попалась не вовремя. Проснувшаяся Россия требовала, именно тогда, практических советов, а не философских трактатов по Прудону и Шопенгауэру.

Статья еще не была до конца напечатана, как новая ссора, иного характера, чем все предыдущие, почти окончательно прервала все сношения между нами.

Раз, сидя у него, я шутил над тем, что они послали в третий раз за доктором для маленького, у которого был насморк и легкая простуда.

— Неужели оттого, что мы бедны, — сказала M-me Энгельсон, и вся прежняя ненависть, удесятеренная, злая, вспыхнула на ее лице, — наш малютка должен умереть без медицинской помощи? И это говорите вы, социалист, друг моего мужа, *отказавший ему в пятидесяти фунтах и эксплуатирующий его уроками.*

---

[830] Сноски: 830
«Полярная звезда», книжка 1.

Я слушал с удивлением и спросил Энгельсона, делит он это мнение или нет. Он был сконфужен, пятны выступили у него на лице, он умолял ее замолчать… она продолжала. Я встал и, перерывая ее, сказал:

— Вы больны и сами кормите, я отвечать вам не стану, но не стану и слушать… Вероятно, вам не покажется странным, что нога моя не будет больше в вашем доме.

Энгельсон, печальный и растерянный, схватил шляпу и вышел со мной на улицу.

— Не принимайте необузданные слова женщины с расстроенными нервами au pied de la lettre… — Он путался в объяснениях. — Завтра я приду давать урок, — сказал он.

Я пожал ему руку и молча пошел домой.

…Все это требует объяснений, и притом самых тяжелых, касающихся не мнений и общих сфер, а кухни и приходо-расходных книг. Тем не меньше я сделаю опыт раскрыть и эту сторону. Для патологических исследований брезгливость, этот *романтизм чистоплотности*, не идет.

Энгельсоны вряд имели ли право себя включать в категорию бедных людей. Они получали из России десять тысяч франков в год, и пять он легко мог выработать — переводами, обозрени-

ями, учебными книгами; Энгельсон занимался лингвистикой. Книгопродавец Трюбнер требовал от него лексикон русского корнесловия и грамматику; он мог давать уроки, как Пьер Леру, как Кинкель, как Эскирос. Но в качестве русского он брался за все: и за корнесловие, и за переводы, и за уроки, ничего не кончал, ничем не стеснялся и не выработывал ни одной копейки.

Ни муж, ни жена не были расчетливы и не умели устроить своих дел. Постоянная лихорадка, в которой они жили, не позволяла им думать о хозяйстве. Он из России уехал без определенного плана и остался в Европе без всякой цели. Он не взял никаких мер, чтоб спасти свое именье, и un beau jour[831], испугавшись, сделал наскоро какое-то распоряжение, в силу которого ограничил свой доход на десять тысяч франков, которые получал не совсем аккуратно, но получал.

Что Энгельсон не вывернется с своими десятью тысячами, было очевидно; что он не сумеет, с другой стороны, ограничить себя, и это было ясно, — ему оставалось работать или занимать. Сначала, после приезда в Лондон, он взял у меня около сорока фунтов… через некоторое время

---

[831] Сноски: 831
в один прекрасный день (*фр.*).

попросил опять… Я имел с ним серьезный дружеский разговор об этом и сказал ему, что готов ссужать его, но решительно больше десяти фунтов в месяц ему взаймы не дам. Нахмурился Энгельсон, однако раза два взял по десятифунтовой бумажке и вдруг написал мне, что ему нужны пятьдесят фунтов и если я не хочу ему их дать или не верю, то просит меня занять их под заклад каких-то брильянтов. Все это очень походило на шутку; если он в самом деле хотел заложить брильянты, то их следовало бы снести к какому-нибудь pawnbroker'y[832], а не ко мне… Зная его и жалея, я написал ему, что брильянты заложу в пятьдесят фунтов, если дадут, и деньги пришлю. На другой день я послал ему чек, а брильянты, которые он непременно бы продал или заложил, спрятал, чтоб их сохранить ему. Он не обратил внимания на то, что пятьдесят фунтов были без процентов, и поверил, что я брильянты заложил.

Второй пункт, относящийся к урокам, еще проще. В Лондоне С<авич> давал у меня уроки русского языка и брал четыре шиллинга за час. В Ричмонде Энгельсон предложил заменить

---

[832] Сноски: 832
ростовщику (*англ.*).

С<авича>. Я спросил его о цене; он ответил, что ему со мной считаться мудрено, но так как у него нет денег, то он возьмет то же, что брал С<авич>.

Пришедши домой, я написал Энгельсону письмо, напомнил ему, что цену за уроки он назначил сам, но что я прошу его принять за все прошлые уроки вдвое. Затем я написал ему, что заставило меня удержать его брильянты, и отослал ему их.

Он отвечал конфузно, благодарил, досадовал, а вечером пришел сам и стал ходить по-прежнему. С ней я не видался больше.

VII

С месяц спустя обедал у меня Зено Свентославский и с ним Линтон, английский республиканец. К концу обеда пришел Энгельсон. Свентославский, чистейший и добрейший человек, фанатик, сохранивший за пятьдесят лет безрассудный польский пыл и запальчивость мальчика пятнадцати лет, проповедовал о необходимости возвращаться в Россию и начать там живую и печатную пропаганду. Он брал на себя перевезти буквы и прочее.

Слушая его, я полушутя сказал Энгельсону:

— А что, ведь нас примут за трусов, если он

пойдет один (on nous accusera de lâcheté).

Энгельсон сделал гримасу и ушел.

На другой день я ездил в Лондон и возвратился вечером; мой сын, лежавший в лихорадке, рассказал мне, и притом в большом волнении, что без меня приходил Энгельсон, что он меня страшно бранил, говорил, что он мне отомстит, что он больше не хочет выносить моего авторитета и что я ему теперь не нужен, *после напечатания его статьи.* Я не знал, что думать, — Саша ли бредил от лихорадки, или Энгельсон приходил мертвецки пьяный.

От Мальвиды М<ейзенбуг> я узнал еще больше. Она с ужасом рассказывала о его неистовствах. «Герцен, — кричал он нервным, задыхающимся голосом, — меня назвал вчера lâche[833] в присутствии двух посторонних». М. его перебила, говоря, что речь шла совсем не о нем, что я сказал «on nous taxera de lâcheté»[834], говоря об нас вообще. «Если Г. чувствует, что он делает подлости, пусть говорит о самом себе, но я ему не позволю говорить так обо мне, да еще при двух мерзавцах…»

---

[833] Сноски: 833
трусом (*фр.*).

[834] Сноски: 834
нас обвинят в трусости (*фр.*).

На его крик прибежала моя старшая дочь, которой тогда было десять лет. Энгельсон продолжал: «Нет, конечно, довольно! Я не привык к этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я!» — и он выхватил из кармана револьвер и продолжал кричать: «Заряжен, заряжен… я дождусь его…»

М. встала и сказала ему, что она требует, чтоб он ее оставил, что она не обязана слушать его дикий бред, что она только объясняет болезнию его поведение.

— Я уйду, — сказал он, — не хлопочите, но прежде хочу попросить вас отдать Герцену это письмо.

Он развернул его и начал читать; письмо было ругательное.

М. отказалась от поручения, спрашивая его, почему он думает, что она должна служить посредницей в доставлении такого письма?

— Найду путь и без вас, — заметил Энгельсон и ушел; письма не присылал, а через день написал мне записку; *в ней, не упоминая* ни одним словом о прошедшем, он писал, что у него открылся геморрой, что он ходить ко мне не может, а просит посылать детей к нему.

Я сказал, что ответа не будет, и снова все дипломатические сношения были прерваны…

оставались военные. Энгельсон и не преминул их употребить в дело.

Из Ричмонда я осенью 1855 переехал в St. John's Wood. Энгельсон был забыт на несколько месяцев.

Вдруг получаю я весной 1856 от Орсини, которого видел дни два тому назад, записку, пахнущую картелью…

Холодно и учтиво просил он меня разъяснить ему, правда ли, что я *и Саффи* распространяем слух, что он австрийский шпион? Он просил меня или дать полный démenti[835] или указать, от кого я слышал такую гнусную клевету.

Орсини был прав, я поступил бы так же. Может, он должен был бы иметь побольше доверия к Саффи и ко мне, но обида была велика.

Тот, кто сколько-нибудь знал характер Орсини, мог понять, что такой человек, задетый в самой святейшей святыне своей чести, не мог остановиться на полдороге. Дело могло только разрешиться *совершенной* чистотой нашей или чьей-нибудь смертью.

С первой минуты мне было ясно, что удар шел от Энгельсона. Он *верно* считал на одну сторону

---

[835] Сноски: 835
опровержение (*фр.*).

орсиниевского характера, но, по счастию, забыл другую: Орсини соединял с неукротимыми страстями страшное самообуздание, он середь опасностей был расчетлив, обдумывал каждый шаг и не решался сбрызгу, потому что, однажды решившись, он не тратил время на критику, на перерешения, на сомнения, а исполнял. Мы видели это в улице Лепелетье. Так он поступил и теперь: он, не торопясь, хотел исследовать дело, узнать виновного и потом, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Энгельсона состояла в том, что он без всякой нужды замешал Саффи.

Дело было вот в чем. *Месяцев шесть* до нашего разрыва с Энгельсоном я был как-то утром у M-me Мильнер-Гибсон (жены министра); там я застал Саффи и Пьянчани, они что-то говорили с ней об Орсини. Выходя, я спросил Саффи, о чем была речь.

— Представьте, — отвечал он, — что г-же Мильнер-Гибсон рассказывали в Женеве, что Орсини подкуплен Австрией…

Возвратившись в Ричмонд, я передал это Энгельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини.

— Чорт с ним совсем! — заметил Энгельсон,

и больше об этом речи не было.

Когда Орсини удивительным образом спасся из Мантуи, мы вспомнили в своем тесном кругу об обвинении, слышанном Мильнер-Гибсон. Появление самого Орсини, его рассказ, его раненая нога бесследно стерли нелепое подозрение.

Я попросил у Орсини назначить свиданье. Он звал вечером на другой день. Утром я пошел к Саффи и показал ему записку Орсини. Он тотчас, как я и ждал, предложил мне идти вместе со мною к нему. Огарев, только что приехавший в Лондон, был свидетелем этого свиданья.

Саффи рассказал разговор у Мильнер-Гибсон с той простотой и чистотой, которая составляет особенность его характера. Я дополнил остальное. Орсини подумал и потом сказал:

— Что, у Мильнер-Гибсон могу я спросить об этом?

— Без сомнения, — отвечал Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но, — спросил он меня, — скажите, зачем же вы говорили с посторонними, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонний*, с которым я говорил, был тогда не посторонний; вы лучше многих знаете, что он был для меня.

— Я никого не называл…

— Дайте кончить. Что же, вы думаете, легко человеку передавать такие вещи? Если б эти слухи распространялись, может, вас и следовало бы предупредить — но кто же теперь об этом говорит? Что же касается до того, что вы никого не называли, вы очень дурно делаете; сведите меня лицом к лицу с обвинителем, тогда еще яснее будет, кто какую роль играл в этих сплетнях.

Орсини улыбнулся, встал, подошел ко мне, обнял меня, обнял Саффи и сказал:

— Amici[836], кончим это дело, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другом.

— Все это хорошо, и требовать от меня объяснение вы были вправе, но зачем же вы не называете обвинителя? Во-первых, скрыть его нельзя… Вам сказал Энгельсон.

— Даете вы слово, что оставите дело?

— Даю, при двух свидетелях.

— Ну, отгадали.

Это ожидаемое подтверждение все же сделало какую-то боль, — точно я еще сомневался.

— Помните обещанное, — прибавил, помолчавши, Орсини.

---

[836] Сноски: 836
Друзья (*ит.*).

— Об этом не беспокойтесь. А вы вот утешьте меня да и Саффи: расскажите, как было дело, ведь главное мы знаем.

Орсини засмеялся.

— Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на днях пришел он ко мне, я был в столовой (Орсини жил в boarding-house[837]) и обедал один. Он уже обедал; я велел подать графинчик хересу, он выпил его и тут стал жаловаться на вас, что вы его обидели, что вы перервали с ним все сношения, и после всякой болтовни спросил меня, как вы меня приняли после возвращения. Я отвечал, что вы меня приняли очень дружески, что я обедал у вас и был вечером… Энгельсон вдруг закричал: «Вот они… знаю я этих молодцов! Давно ли он и его друг и почитатель Саффи говорили, что вы австрийский агент! А вот теперь вы опять в славе, в моде — и он ваш друг!» — «Энгельсон, — заметил я ему, — вполне ли вы понимаете важность того, что вы сказали?» — «Вполне, вполне», — повторял он. — «Вы готовы будете во всех случаях подтвердить ваши слова?» — «Во всех!» Когда он ушел, я взял бумагу и написал вам письмо. Вот и все.

---

[837] Сноски: 837
пансионе (*англ.*).

Мы вышли все на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мне, сказал, как бы в утешение:

— Он поврежденный.

Орсини вскоре уехал в Париж, и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помосте гильотины.

Первая весть об Энгельсоне была весть о его смерти в Жерсее.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетело до меня…

(1858)

…P. S. В 1864 я получил из Неаполя странное письмо. В нем говорилось о появлении духа моей жены, о том, что она звала меня к обращению, к очищению себя религией, к тому, чтобы я оставил светские заботы…

Писавшая говорила, что все писано под диктант духа; тон письма был дружеский, теплый, восторженный.

Письмо было без подписи; я узнал почерк: оно было от M-me Энгельсон.

Часть шестая
Англия
(1852–1864)
Глава I
Лондонские туманы

Когда на рассвете 25 августа 1852 я переходил по мокрой доске на английский берег и смотрел на его замаранно-белые выступы, я был очень далек от мысли, что пройдут годы, прежде чем я покину меловые утесы его.

Весь под влиянием мыслей, с которыми я оставил Италию, болезненно ошеломленный, сбитый с толку рядом ударов, так скоро и так грубо следовавших друг за другом, я не мог ясно взглянуть на то, что делал. Мне будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомых истин для того, чтоб снова поверить тому, что я давно знал или должен был знать.

Я изменил своей логике и забыл, как розен современный человек в мнениях и делах, как громко начинает он и как скромно выполняет свои программы, как добры его желания и как слабы мышцы.

Месяца два продолжались ненужные встречи, бесплодное искание, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидал… чего-то ожидал. Но моя реальная натура не могла остаться долго в этом призрачном мире, я стал мало-помалу разглядывать, что здание, которое я выводил, не имеет грунта, что оно непременно рухнет.

Я был унижен, мое самолюбие было оскорблено, я сердился на самого себя. Совесть угрызала за святотатственную порчу горести, за год суеты, и я чувствовал страшную, невыразимую усталь… Как мне была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения мою исповедь, была бы несчастна моим несчастием; но кругом стлалась больше и больше пустыня, никого близкого… ни одного человека… А может, это было и к лучшему.

Я не думал прожить в Лондоне дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества я нигде не мог найти, как в Лондоне.

Решившись остаться, я начал с того, что нашел себе дом в одной из самых дальних частей города, за Режент-парком, близ Примроз-Гилля.

Дети оставались в Париже, один Саша был со мною. Дом на здешний манер был разделен на три этажа. Весь средний этаж состоял из огромного, неудобного, холодного drawing-room[838]. Я его превратил в кабинет. Хозяин дома был скульптор и загромоздил всю эту комнату разными статуэтками и моделями… Бюст Лолы Монтес стоял у меня пред глазами вместе с Викторией.

Когда на второй или третий день после нашего переезда, разобравшись и устроившись, я взошел утром в эту комнату, сел на большие кресла и просидел часа два в совершеннейшей тишине, никем не тормошимый, я почувствовал себя как-то свободным, — в первый раз после долгого, долгого времени. Мне было не легко от этой свободы, но все же я с приветом смотрел из окна на мрачные деревья парка, едва сквозившие из-за дымчатого тумана, благодаря их за покой.

По целым утрам сиживал я теперь один-одинехонек, часто ничего не делая, даже не читая; иногда прибегал Саша, но не мешал одиночеству. Г<ауг>, живший со мной, без крайности никогда не входил до обеда; обедали мы в седьмом часу. В этом досуге разбирал я факт за фактом все

---

[838] Сноски: 838
гостиной (*англ.*).

бывшее: слова и письма, людей и себя. Ошибки направо, ошибки налево, слабость, шаткость, раздумье, мешающее делу, увлеченье другими. И в продолжение этого разбора внутри исподволь совершался переворот… были тяжелые минуты, и не раз слеза скатывалась по щеке; но были и другие, не радостные, но мужественные; я чувствовал в себе силу, я не надеялся ни на кого больше, но надежда на себя крепчала, я становился независимее от всех.

Пустота кругом окрепила меня, дала время собраться, я отвыкал от людей, т. е. не искал с ними истинного сближения; я и не избегал никого, но лица мне сделались равнодушны. Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. Я был чужой между посторонними, сочувствовал больше одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен. Оно и прежде так было, но я не замечал этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарад кончился, домино были сняты, венки попадали с голов, маски с лиц, и я увидел другие черты, не те, которые я предполагал. Что же мне было делать? Я не мог не показывать, что я многих меньше люблю, т. е. больше знаю; но не чувствовать этого я не мог, и, как я сказал, эти открытия не отняли у меня

мужества, но, скорее, укрепили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Его образ жизни, расстояния, климат, самые массы народонаселения, в которых личность пропадает, — все это способствовало к тому вместе с отсутствием континентальных развлечений. Кто умеет *жить один,* тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точно так же как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя, ищущему привет, участие, внимание; нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продымленного тумана кислород. Масса спасается завоевыванием себе насущного хлеба, купцы — недосугом стяжания, все — суетой дел; но нервные, романтические натуры, любящие жить на людях, умственно тянуться и праздно млеть, пропадают здесь со скуки, впадают в отчаяние.

Одиноко бродя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими

тенями, я много прожил.

Обыкновенно вечером, когда мой сын ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни к кому не заходил; читал газеты, всматривался в тавернах в незнакомое племя, останавливался на мостах через Темзу.

С одной стороны прорезываются и готовы исчезнуть сталактиты парламента, с другой — опрокинутая миска св. Павла… и фонари… фонари без конца в обе стороны. Один город, сытый, заснул; другой, голодный, еще не проснулся — пусто, только слышна мерная поступь полисмена с своим фонариком. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душе сделается тише и мирнее. И вот за все за это я полюбил этот страшный муравейник, где сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову, и полиция нередко находит детей и женщин, умерших с голода, возле отелей, в которых нельзя обедать, не истративши двух фунтов.

Но такого рода переломы, как бы быстро ни приходили, не делаются разом, особенно в сорок лет. Много времени прошло, пока я сладил с новыми мыслями. Решившись на труд, я долго ничего не делал или делал не то, что хотел.

Мысль, с которой я приехал в Лондон — искать

суда своих, — была верна и справедлива. Я это и теперь повторяю с полным и обдуманным сознанием. К кому же, в самом деле, нам обращаться за судом, за восстановлением истины, за обличением *лжи*?

Не идти же нам тягаться перед судом наших врагов, судящих по другим началам, по законам, которых мы не признаем.

Можно разведаться самому, можно, без сомнения. Самоуправство вырывает силой взятое силой и тем самым приводит к равновесию; месть — такое же простое и верное человеческое чувство, как благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняют. Может же случиться, что человеку в объяснении — главное дело, может быть ему *восстановление правды* дороже мести.

Ошибка была не в *главном положении* — она была в прилагательном: для того чтоб был суд своих, надобно было прежде всего иметь *своих.* Где же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то в России. Но я так вполне был отрезан на чужбине… Надобно было, во что б ни стало, снова завести речь с своими, хотелось им рассказать, что́ тяжело лежало на сердце. Писем не пропускают — книги сами

пройдут; писать нельзя — буду печатать, и я принялся мало-помалу за «Былое и думы» и за *устройство русской типографии.*

Глава II
Горные вершины

Центральный европейский комитет. – Маццини. – Ледрю-Роллен. – Кошут.

Издавая прошлую «Полярную звезду», я долго думал, что́ следует печатать из лондонских воспоминаний и что́ лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложил, теперь я печатаю из нее несколько отрывков.

Что же изменилось? 59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партии уяснились, одни окрепли, другие улетучились. С напряженным вниманием, останавливая не только всякое суждение, но самое биение сердца, следили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырезывались из него с такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымом. *На сию минуту* он рассеялся, и на сердце легче, все дорогие головы

целы!

А еще дальше за этим дымом, в тени, без шума битв, без ликований торжества, без лавровых венков одна личность достигла колоссальных размеров.

Осыпаемый проклятиями всех партий: обманутым плебеем, диким попом, трусом-буржуа и пиэмонтской дрянью, оклеветанный всеми органами всех реакций, от папского и императорского «Монитера» до либеральных кастратов Кавура и великого евнуха лондонских менял «Теймса» (который не может назвать имени Маццини, не прибавив площадной брани), — он остался не только… «неколебим пред общим заблужденьем»… но благословляющим с радостью и восторгом врагов и друзей, исполнявших *его* мысль, *его* план. Указывая на него, как на какого-то Абадонну –

> *Народ, таинственно спасаемый тобою,*
> *Ругался над твоей священной сединою…*

…Но возле него стоял не Кутузов, а Гарибальди. В лице своего героя, своего освободителя Италия не разрывалась с Маццини. Как же Гарибальди не отдал ему полвенка своего? Зачем

не признался, что идет с ним рука в руку? Зачем оставленный триумвир римский не предъявил своих прав? Зачем он сам просил не поминать его, и зачем народный вождь, чистый, как отрок, молчал и лгал разрыв?

Обоим было что-то дороже их личностей, их имени, их славы — *Италия!*

И пошлая современность их не поняла. У ней не хватило емкости на столько величия; бухгалтерской книги их недостало до того, чтоб подвести итог таких credit и debet!

Гарибальди сделался еще больше «лицом из Корнелия Непота»[839]; он так антично велик в своем хуторе, так простодушно, так чисто велик, как описание Гомера, как греческая статуя. Нигде ни риторики, ни декораций, ни дипломаций — в эпопее они были не нужны; когда она кончилась и началось продолжение календаря, тогда король отпустил его, как отпускают довезшего ямщика, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перещеголял Австрию колоссальной неблагодарностью; а Гарибальди и не рассердился, — он, улыбаясь, с пятидесятью скудами в кармане, вышел из дворцов стран,

---

[839] Сноски: 839

V «Поляр<ная> звезда».

покоренных им, предоставляя дворовым усчитывать его расходы и рассуждать о том, что он испортил шкуру медведя. Пускай себе тешатся — половина великого дела сделана, лишь бы Италию сколотить в одно и прогнать белых кретинов.

Были минуты тяжелые для Гарибальди. Он увлекается людьми; как он увлекся А. Дюма, так увлекается Виктором-Эммануилом; неделикатность короля огорчает его; король это знает и, чтоб задобрить его, посылает фазанов, собственноручно убитых, цветы из своего сада и любовные записки, подписанные: «Sempre il tuo amico Vittorio»[840].

Для Маццини люди не существуют, для него существует *дело,* и притом *одно дело;* он сам существует, «живет и движется» только в нем. Сколько ни посылай ему король фазанов и цветов, он его не тронет. Но он сейчас соединится не только с ним, которого он считает за доброго, но пустого человека, но с его маленьким Талейраном, которого он вовсе не считает ни за доброго, ни за порядочного человека. Маццини — аскет, Кальвин, Прочида итальянского

---

[840] Сноски: 840
«Всегда твой друг Виктор» (*ит.*).

освобождения. Односторонний, вечно занятый одной идеей, вечно на страже и готовый, Маццини с тем упорством и терпением, с которым он создал из разбросанных людей и неясных стремлений плотную партию и, после десяти неудач, вызвал Гарибальди и его войско, полсвободной Италии и живую, непреложную надежду на ее единство, — Маццини не спит. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая, Гарибальди и его сподвижники видят худую, печальную руку Маццини, указывающую на Рим, — и они еще пойдут туда!

Я дурно сделал, что выпустил в напечатанном отрывке несколько страниц об Маццини; его усеченная фигура вышла не так ясно, я остановился именно на его размолвке с Гарибальди в 1854 и на моем разномыслии с ним. Сделано было это мною из деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О таких людях нечего умалчивать, *их щадить нечего!*

После своего возвращения из Неаполя он написал мне записку; я поспешил к нему. Сердце щемило, когда я его увидел; я все же ждал найти его грустным, оскорбленным в своей любви; положение его было в высшей степени трагическое; я действительно его нашел телесно состарив-

шимся и помолоделым душой; он бросился ко мне, по обыкновению протягивая обе руки, со словами: «Итак, наконец-то, сбывается!..» В его глазах был восторг, и голос дрожал.

Он весь вечер рассказывал мне о времени, предшествовавшем экспедиции в Сицилию, о своих сношениях с Виктором-Эммануилом, потом о Неаполе. В увлечении, в любви, с которыми он говорил о победах, о подвигах Гарибальди, было столько же дружбы к нему, как в его брани за его доверчивость и за неуменье распознавать людей.

Слушая его, я хотел поймать одну ноту, один звук обиженного самолюбия — и не поймал: ему грустно, но грустно, как матери, оставленной на время возлюбленным сыном, — она знает, что сын воротится, и знает больше этого — что сын счастлив; это покрывает все для нее!

Маццини исполнен надежд, с Гарибальди он ближе, чем когда-нибудь. Он с улыбкой рассказывал, как толпы неаполитанцев, подбитые агентами Кавура, окружили его дом с криками: «Смерть Маццини!» Их, между прочим, уверили, что Маццини — «бурбонский республиканец». «У меня в это время было несколько человек наших и один молодой русский; он удивлялся, что

мы продолжали прежний разговор. “Вы не опасайтесь, — сказал я ему в успокоение, — *они меня не убьют, они только кричат!”»*

Нет, таких людей нечего щадить!

31 января 1861.

В Лондоне я спешил увидеть Маццини не только потому, что он принял самое теплое и деятельное участие в несчастиях, которые пали на мою семью, но еще и потому, что я имел к нему особое поручение от его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапо, Козенц, Бертани и другие были недовольны направлением, которое давалось из Лондона; они говорили, что Маццини плохо знает новое положение, жаловались на революционных царедворцев, которые, чтоб подслужиться, поддерживали в нем мысль, что все готово для восстания и ждет только сигнала. Они хотели внутренних преобразований, им казалось необходимым ввести гораздо больше военного элемента и иметь во главе стратегов вместо адвокатов и журналистов. Для этого они желали, чтоб Маццини сблизился с талантливыми генералами вроде Уллоа, стоявшего возле старика Пепе в каком-то недовольном отдалении.

Они поручили мне рассказать все это Маццини

долею потому, что они знали, что он имел ко мне доверие, а долею и потому, что мое положение, независимое от итальянских партий, развязывало мне руки.

Маццини меня принял как старого приятеля. Наконец речь дошла до порученного мне от его друзей. Он меня сначала слушал очень внимательно, хотя и не скрывал, что ему не совсем нравится оппозиция; но когда из общих мест я дошел до частностей и личных вопросов, тогда он вдруг прервал мою речь:

— Это совершенно не так, тут нет ни слова дельного!

— Однако, — заметил я, — нет полутора месяца, как я оставил Геную, и в Италии был два года без выезда, и могу сам подтвердить многое из того, что говорил ему от имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были в Генуе. Что такое Генуя? Что вы могли там слышать? Мнение одной части эмиграции. Я знаю, что она так думает, я и то знаю, что она ошибается. Генуя — очень важный центр, но это одна точка, а я знаю всю Италию; я знаю потребность каждого местечка от Абруцц до Форалберга. Друзья наши в Генуе разобщены со всем полуостровом, они не могут судить об его потребностях, об обще-

ственном настроении.

Я сделал еще два-три опыта, но он уже был en garde[841], начинал сердиться, нетерпеливо отвечал… Я замолчал с чувством грусти; такой нетерпимости я прежде в нем не замечал.

— Я вам очень благодарен, — сказал он, подумав. — Я должен знать мнение наших друзей; я готов взвесить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нет — это другое дело; на мне лежит большая ответственность не только перед совестью и Богом, но перед народом итальянским.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывал свое 3 февраля 1853 года; дело для него было решенное, а друзья его не были с ним согласны.

— Знакомы вы с Ледрю-Ролленом и Кошутом?

— Нет.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вам надобно с ними повидаться, я вам напишу к обоим несколько слов. Расскажите им, что́ вы видели, как оставили наших. Ледрю-Роллен, — продолжал он, взяв перо и начав запис-

---

[841] Сноски: 841
настороже (*фр.*).

ку, — самый милый человек в свете, но француз jusqu'au bout des ongles[842]: он твердо верует, что без революции во Франции Европа не двинется, — le peuple initiateur!..[843] А где французская инициатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшие Францию, шли из Италии или из Англии. Вы увидите, что новую эру революции начнет Италия! Как вы думаете?

— Признаюсь вам, что я этого не думаю.

— Что же, — сказал он, улыбаясь, — славянский мир?

— Я этого не говорил; не знаю, на чем Ледрю-Роллен основывает свои верования, но весьма вероятно, что ни одна революция не удастся в Европе, пока Франция в том состоянии прострации, в которой мы ее видим.

— Так и вы еще находитесь под prestige'ем Франции?

— Под престижем ее географического положения, ее страшного войска и ее естественной опоры на Россию, Австрию и Пруссию[844].

---

[842] Сноски: 842
до кончика ногтей (*фр.*).

[843] Сноски: 843
народ-инициатор! (*фр.*)

[844] Сноски: 844
Этот разговор был осенью 1852.

— Франция спит, мы ее разбудим.

Мне оставалось сказать: «Дай Бог, вашими устами мед пить!»

Кто из нас был прав на ту минуту, доказал Гарибальди. В другом месте я говорил о моей встрече с ним в вест-индских доках, на его американском корабле «Common Wealth».

Там за завтраком у него, в присутствии Орсини, Гауга и меня, Гарибальди, говоря с большой дружбой о Маццини, высказывал открыто свое мнение о 3 феврале 1853 (это было весной 1854) и тут же говорил о необходимости соединения всех партий в одну военную.

В тот же день, вечером, мы встретились в одном доме; Гарибальди был не весел, Маццини вынул из кармана лист «Italia del Popolo» и показал ему какую-то статью. Гарибальди прочитал ее и сказал:

— Да, написано бойко, а статья превредная; я скажу откровенно: за такую статью стоит журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всеми силами раздор между нами и Пиэмонтом в то время, когда мы только имеем одно войско — войско сардинского короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступления.

Маццини отстаивал журнал; Гарибальди сделался еще скучнее.

Когда он собирался ехать с корабля, он говорил, что ночью будет поздно возвращаться в доки и что он поедет спать в отель: я предложил, вместо отеля, ехать спать ко мне, Гарибальди согласился.

После этого разговора, осажденный со всех сторон неустрашимым легионом дам, Гарибальди ловкими маршами и контрмаршами выпутался из хоровода и, подойдя ко мне, шепнул мне на ухо:

— Вы до которого часа останетесь?

— Поедемте хоть сейчас.

— Сделайте одолжение.

Мы поехали; на дороге он сказал мне:

— Как мне жаль, как мне бесконечно жаль, что Перро[845] так увлекается и с благороднейшим, чистейшим намерением делает ошибки. Я не мог вытерпеть давеча: тешится тем, что выучил своих учеников дразнить Пиэмонт. Ну что же, если король бросится совсем в реакцию, свободное слово итальянское смолкнет в Италии и последняя опора пропадет? Республика, республика! Я

---

[845] Сноски: 845
Уменьшительное от Джузеппе.

всегда был республиканец, всю жизнь, да дело теперь не в республике. Массы итальянские я знаю лучше Маццини, я жил с ними, их жизнию. Маццини знает Италию образованную и владеет ее умами; но войска, чтоб выгнать австрийцев и папу, из них не составишь; для массы, для народа итальянского одно знамя и есть — *единство и изгнание иноземцев!* А как же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственно сильное королевство в Италии, которое, из каких бы причин ни было, хочет стать за Италию и боится? Вместо того чтоб его звать к себе, его толкают прочь и обижают. В тот день, в который *молодой человек* поверит, что он ближе к эрцгерцогам, чем к нам, судьбы Италии затормозятся на поколение или на два.

На другой день было воскресенье, он ушел гулять с моим сыном, сделал у Калдези его дагерротип и принес мне его в подарок, а потом остался обедать.

Середь обеда меня вызывает один итальянец, посланный от Маццини, — он с утра отыскивал Гарибальди; я просил его сесть с нами за стол.

Итальянец, кажется, хотел говорить с ним наедине, — я предложил им идти ко мне в кабинет.

— У меня никаких секретов нет, да и чужих

здесь нет, говорите, — заметил Гарибальди.

В продолжение разговора Гарибальди еще раз повторил, и притом раза два, то же, что мне говорил, когда мы ехали домой.

Он внутренно был совершенно согласен с Маццини, но расходился с ним в исполнении, в средствах. Что Гарибальди лучше знал массы, в этом я совершенно убежден. Маццини, как средневековый монах, глубоко знал одну сторону жизни, но другие *создавал;* он много жил мыслью и страстью, но не на дневном свете; он с молодых лет до седых волос жил в карбонарских юнтах, в кругу гонимых республиканцев, либеральных писателей; он был в сношениях с греческими гетериями и с испанскими exaltados[846], он конспирировал с *настоящим* Каваньяком и поддельным Ромарино, с швейцарцем Джемсом Фази, с польской демократией, с молдо-валахами… Из его кабинета вышел благословленный им восторженный Конарский, пошел в Россию и погибнул. Все это так, но с народом, но с этим solo interprete della legge divina[847], но с этой густой толщей, идущей до грунта, т. е. до полей и плуга,

---

[846] Сноски: 846
радикалами (*исп.*).

[847] Сноски: 847
единственным истолкователем Божественного Закона (*ит.*).

до диких калабрийских пастухов, до факинов и лодочников, он никогда не был в сношениях; а Гарибальди не только в Италии, но везде жил с ними, знал их силу и слабость, горе и радость; он их знал на поле битвы и середь бурного океана и умел, как Бем, сделаться легендой: в него верили больше, чем в его патрона Сан-Джузеппе.

Один Маццини не верил ему.

И Гарибальди, уезжая, сказал:

— Я еду с тяжелым сердцем: я на него не имею влияния, и он опять предпримет что-нибудь до срока!

Гарибальди угадал: не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки; Орсини был схвачен пиэмонтскими жандармами, на пиэмонтской земле, чуть не с оружием в руках; в Риме открыли один из центров движения, и та удивительная организация, о которой я говорил[848], разрушилась. Испуганные правительства усилили полицию; свирепый трус, король неаполитанский, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпел и напечатал свое известное письмо: «В этих несчастных восстаниях могут участвовать или сумасшедшие,

---

[848] Сноски: 848

«Пол<ярная> зв<езда>». V.

или враги итальянского дела».

Может, письма этого и не следовало печатать. Маццини был побит и несчастен, Гарибальди наносил ему удар… Но что его письмо совершенно последовательно с тем, что он мне говорил и при мне, в этом нет сомнения.

На другой день я отправился к Ледрю-Роллену. Он меня принял очень приветливо. Колоссальная импозантная фигура его, которой не надобно разбирать en détail[849], общим впечатлением располагала в его пользу. Должно быть, он был и bon enfant[850] и bon vivant[851]. Морщины на лбу и проседь показывали, что заботы и ему не совсем даром прошли. Он потратил на революцию свою жизнь и свое состояние — а общественное мнение ему изменило. Его странная, непрямая роль в апреле и мае, слабая в Июньские дни отдалила от него часть красных, не сблизив с синими. Имя его, служившее символом и произносимое

---

[849] Сноски: 849
по мелочам (*фр.*).

[850] Сноски: 850
добрый малый (*фр.*).

[851] Сноски: 851
любитель хорошо пожить (*фр.*).

иной раз с ошибкой[852] мужиками, но все же произносимое, реже было слышно. Самая партия его в Лондоне таяла больше и больше, особенно, когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне.

Усевшись покойно на кушетке, Ледрю-Роллен начал меня *гарангировать*[853].

— Революция, — говорил он, — только и может лучиться (rayonner) из Франции. Ясно, что, к какой бы стране вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать нам для вашего собственного дела. Революция только может выйти из Парижа. Я очень хорошо знаю, что наш друг Маццини не того мнения, — *он увлекается своим патриотизмом.* Что может сделать Италия с Австрией на шее и с Наполеоновыми солдатами в Риме? Нам, надобно Париж; Париж — это Рим, Варшава, Венгрия, Сицилия, и, по счастью, Париж совершенно готов — не ошибайтесь — совершенно готов! Революция сделана — la révolution est

[852] Сноски: 852

Мужички дальних краев любили Le duc Rollin'a <герцога Роллена (*фр.*)> и жалели только, что им руководствует женщина, с которой он связался, — La Martine. Что она-то дюка и сбивает, а что он сам pour le populaire <за народ (*фр.*)>.

[853] Сноски: 853

обратился с торжественной речью (*фр.* haranguer).

faite: c'est clair comme bonjour[854]. Я об этом и не думаю, я думаю о последствиях, о том, как избегнуть прежних ошибок…

Таким образом он продолжал с полчаса и вдруг, спохватившись, что он и не один и не перед аудиторией, добродушнейшим образом сказал мне:

— Вы видите, мы с вами совершенно одинакого мнения.

Я не раскрывал рта. Ледрю-Роллен продолжал:

— Что касается до материального факта революции, он задержан нашим безденежьем, средства наши истощились в этой борьбе, которая идет годы и годы. Будь теперь, сейчас в моем распоряжении *сто тысяч* франков — да, мизерабельных сто тысяч франков, — и послезавтра, через три дня революция в Париже.

— Да как же это, — заметил я наконец, — такая богатая нация, совершенно готовая на восстание, не находит ста тысяч, полмиллиона франков?

Ледрю-Роллен немного покраснел, но не запинаясь отвечал:

— Pardon, pardon. Вы говорите о *теоретических предположениях,* в то время как я вам говорю о фактах, о простых фактах.

---

[854] Сноски: 854
революция сделана, это ясно, как день (*фр.*).

Этого я не понял.

Когда я уходил, Ледрю-Роллен, по английскому обычаю, проводил меня до лестницы и, еще раз подавая мне свою огромную, богатырскую руку, сказал:

— Надеюсь, это не в последний раз, я буду всегда рад… Итак, au revoir.

— В Париже, — ответил я.

— Как в Париже?

— Вы так убедили меня, что революция за плечами, что я, право, не знаю, успею ли я побывать у вас здесь.

Он смотрел на меня с недоумением, и потому я поторопился прибавить:

— По крайней мере я этого искренно желаю; в этом, думаю, вы не сомневаетесь.

— Иначе вы не были бы здесь, — заметил хозяин, и мы расстались.

Кошута в первый раз я видел, собственно, во *второй* раз. Это случилось так. Когда я приехал к нему, меня встретил в парлоре[855] военный господин, в полувенгерском военном костюме, с извещением, что *г. губернатор* не принимает.

— Вот письмо от Маццини.

---

[855] Сноски: 855
гостиной (*англ.* parlour).

— Я сейчас передам. Сделайте одолженье. — Он указал мне на трубку и потом на стул. Через две-три минуты он возвратился.

– *Г. губернатор* чрезвычайно жалеет, что не может вас видеть сейчас: он оканчивает *американскую почту;* впрочем, если вам угодно подождать, то он будет очень рад вас принять.

— А скоро он кончит почту?

— К пяти часам непременно.

Я взглянул на часы — половина второго.

— Ну, трех часов с половиной я ждать не стану.

— Да вы не приедете ли после?

— Я живу не меньше трех миль от Ноттинг-Гилля. Впрочем, — прибавил я, — у меня никакого спешного дела к г. губернатору нет.

— Но г. губернатор будет очень жалеть.

— Так вот мой адрес.

Прошло с неделю. Вечером является длинный господин с длинными усами — венгерский полковник, с которым я летом встретился в Лугано.

— Я к вам от г. губернатора, он очень беспокоится, что вы у него не были.

— Ах, какая досада. Я ведь, впрочем, оставил адрес. Если б я знал время, то непременно поехал бы к Кошуту сегодня — или… — прибавил я вопросительно, — как надобно говорить: к г.

губернатору?

— Zu dem Olten, zu dem Olten[856], — заметил, улыбаясь, гонвед. — Мы его между собой всё называем der Olte. Вот увидите человека… такой головы в мире нет, не было и… — полковник внутренно и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра в два часа приеду.

— Это невозможно, завтра середа, завтра утром старик принимает одних наших, одних венгерцев.

Я не выдержал, засмеялся, и полковник засмеялся.

— Когда же ваш старик пьет чай?

— В восемь часов вечера.

— Скажите ему, что я приеду завтра в восемь часов, но, если нельзя, вы мне напишите.

— Он будет очень рад. Я вас жду в приемной.

На этот раз, как только я позвонил, длинный полковник меня встретил, а короткий полковник тотчас повел в кабинет Кошута.

Я застал Кошута работающего за большим столом; он был в черной бархатной венгерке и в черной шапочке. Кошут гораздо лучше всех своих портретов и бюстов; в первую молодость

---

[856] Сноски: 856

К старику, к старику (*южно-нем.*).

он был, вероятно, красавцем и должен был иметь страшное влияние на женщин особенным романически задумчивым характером лица. Черты его не имеют античной строгости, как у Маццини, Саффи, Орсини, но (и, может, именно поэтому он был роднее нам, жителям севера) в печально-кротком взгляде его сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и несколько восторженная речь окончательно располагали в его пользу. Говорит он чрезвычайно хорошо, хотя и с резким акцентом, равно остающимся в его французском языке, немецком и английском. Он не отделывается фразами, не опирается на битые места; он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль почти всегда оригинально, потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии. Может, в его манере доводов и возражений виден адвокат, но то, что он говорит, серьезно и обдуманно.

Кошут много занимался до 1848 года практическими делами своего края; это дало ему своего рода верность взгляда. Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон; что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут лавируя, заплетаясь эпициклами, сры-

ваясь по касательным. И вот причина, между прочим, почему Кошут уступает Маццини в огненной деятельности и почему, с другой стороны, Маццини делает беспрерывные опыты, натягивает попытки, а Кошут их не делает вовсе.

Маццини глядит на итальянскую революцию, как фанатик; он верует в свою мысль об ней; он ее не подвергает критике и стремится ora e sempre[857], как стрела, пущенная из лука. Чем меньше обстоятельств он берет в расчет, тем прочнее и проще его действие, тем чище его идея.

Революционный идеализм Ледрю-Роллена тоже несложен, его можно весь прочесть в речах Конвента и в мерах Комитета общественного спасения. Кошут принес с собою из Венгрии не общее достояние революционной традиции, не апокалиптические формулы социального доктринаризма, а протест своего края, который он глубоко изучил, — края нового, неизвестного ни в отношении к его потребностям, ни в отношении к его дико свободным учреждениям, ни в отношении к его средневековым формам. В сравнении с своими товарищами Кошут был специалист.

---

[857] Сноски: 857
теперь и всегда (*um.*).

Французские рефюжье[858], с своей несчастной привычкой рубить сплеча и все мерить на свою мерку, сильно упрекали Кошута за то, что он в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям, а в речи, которую произнес в Лондоне с балкона Mansion House, с глубоким уважением говорил о парламентаризме.

Кошут был совершенно прав. Это было во время его путешествия из Константинополя, т. е. во время самого торжественно-эпического эпизода темных лет, шедших за 1848 годом. Североамериканский корабль, вырвавший его из занесенных когтей Австрии и России, с гордостию плыл с изгнанником в республику и остановился у берегов другой. В этой республике ждал уже приказ полицейского диктатора Франции, чтоб изгнанник не смел ступить на землю будущей империи. Теперь это прошло бы так, но тогда еще не все были окончательно надломлены; толпы работников бросились на лодках к кораблю приветствовать Кошута, и Кошут говорил с ними, очень натурально, о социализме. Картина меняется. По дороге одна свободная сторона выпросила у другой изгнанника к себе в гости. Кошут, всенародно

---

[858] Сноски: 858
эмигранты (*фр.* réfugié).

благодаря англичан за прием, не скрыл своего уважения к государственному быту, который его сделал возможным. Он был в обоих случаях совершенно искренен; он не представлял вовсе такой-то партии; он мог, сочувствуя с французским работником, сочувствовать с английской конституцией, не сделавшись орлеанистом и не предав республики. Кошут это знал и отрицательно превосходно понял свое положение в Англии относительно революционных партий; он не сделался ни глюкистом, ни пиччинистом, он держал себя равно вдалеке от Ледрю-Роллена и от Луи Блана. С Мацциии и Ворцелем у него был общий terrain[859], смежность границ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; с ними он и сошелся с первыми.

Но Мацциии и Ворцель давным-давно были, по испанскому выражению, afrancesados[860]. Кошут, упираясь, туго поддавался им, и очень замечательно, что он уступал по той мере, по которой надежды на восстание в Венгрии становились бледнее и бледнее.

Из моего разговора с Мацциии и Ледрю-Ролле-

---

[859] Сноски: 859
почва, основа (*фр.*).

[860] Сноски: 860
офранцужены (*исп.*).

ном видно, что Маццини ждал революционный толчок из Италии и вообще был очень недоволен Францией, но из этого не следует, чтоб я был неправ, назвав и его afrancesado. Тут, с одной стороны, в нем говорил патриотизм, не совсем согласный с идеей братства народов и всеобщей республики, с другой — личное негодование на Францию за то, что в 1848 она ничего не сделала для Италии, а в 1849 — все, чтоб погубить ее. Но быть раздраженным против современной Франции не значит быть *вне ее духа;* французский революционаризм имеет свой общий мундир, свой ритуал, свой символ веры; в их пределах можно быть специально политическим либералом или отчаянным демократом; можно, не любя Франции, любить свою родину на французский манер; все это будут вариации, частные случаи, но алгебраическое уравнение останется то же.

Разговор Кошута со мной тотчас принял серьезный оборот: в его взгляде и в его словах было больше грустного, нежели светлого; наверное, он не ждал революции завтра. Сведения его об юго-востоке Европы были огромны, он удивлял меня, цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой.

— Какой страшный вред вы сделали нам во вре-

мя нашего восстания, — сказал он, — и какой страшный вред вы сделали самим себе. Какая узкая и *противуславянская* политика — поддерживать Австрию. Разумеется, Австрия и спасибо не скажет за спасение, разве вы думаете, что она не понимает, что Николай не ей помогал, а вообще деспотической власти?

Социальное состояние России ему было гораздо меньше известно, чем политическое и военное. Оно и не удивительно: многие ли из наших государственных людей знают что-нибудь о нем, кроме общих мест и частных, случайных, ни с чем не связанных замечаний. Он думал, что казенные крестьяне отправляют барщиной свою подать, расспрашивал о сельской общине, о помещичьей власти; я рассказал ему что знал.

Оставив Кошута, я спрашивал себя: да что же общего у него, кроме любви к независимости своего народа, с его товарищами? Маццини мечтал Италией освободить человечество, Ледрю-Роллен хотел его освободить в Париже и потом строжайше предписать свободу всему миру. Кошут вряд заботился ли обо всем человечестве и был, казалось, довольно равнодушен к тому, скоро ли провозгласят республику в Лиссабоне, или дей Триполи будет называться простым гражда-

нином одного и нераздельного триполийского братства.

Различие это, бросившееся мне в глаза с первого взгляда, обличилось потом рядом действий. Маццини и Ледрю-Роллен, как люди, независимые от практических условий, каждые два-три месяца усиливались делать революционные опыты: Маццини восстаниями, Ледрю-Роллен посылкою агентов. Мацциньевские друзья гибли в австрийских и папских тюрьмах, ледрю-ролленовские посланцы гибли в Ламбессе или Кайенне, но они с фанатизмом слепо верующих продолжали отправлять своих Исааков на заклание. Кошут не делал опытов; Лебени, ткнувший ножом австрийского императора, не имел никаких сношений с ним.

Без сомнения, Кошут приехал в Лондон с более сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было от чего закружиться в голове. Вспомните опять эту постоянную овацию, это царственное шествие через моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему навстречу и вести в свои стены. Двумиллионный гордый Лондон ждал его на ногах у железной дороги, карета лорд-мэра стояла приготовленная для него; алдермены, шерифы, члены парламен-

та провожали его морем волнующегося народа, приветствовавшего его криками и бросаньем шляп вверх. И когда он вышел с лордом-мэром на балкон Меншен гауза, его приветствовало то громогласное «ура!», которого Николай не мог в Лондоне добиться ни протекцией Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанством каким-то лошадям на скачках.

Надменная английская аристократия, уезжавшая в свои поместья, когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре и бражничал с мещанами в Сити, толпилась, забыв свое достоинство, в колясках и каретах, чтоб увидеть знаменитого агитатора; высшие чины представлялись ему, изгнаннику. «Теймс» нахмурил было брови, но до того испугался перед криком общественного мнения, что стал ругать Наполеона, чтоб загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошут воротился из Америки полный упований? Но, проживши в Лондоне год-другой и видя, куда и как идет история на материке и как в самой Англии остывал энтузиазм, Кошут понял, что восстание невозможно и что Англия — плохая союзница революции.

Раз, еще один раз, он исполнился надеждами и снова стал адвокатом за прежнее дело перед

народом английским, это было в начале Крымской войны.

Он оставил свое уединение и явился рука об руку с Ворцелем, т. е. с демократической Польшей, которая просила у союзников одного *воззвания*, одного согласия, чтоб рискнуть восстание. Без сомнения, это было для Польши великое мгновение — oggi o mai[861]. Если б восстановление Польши было признано, чего же было бы ждать Венгрии? Вот почему Кошут является на польском митинге 29 ноября 1854 года и требует слова. Вот почему он вслед за тем отправляется с Ворцелем в главнейшие города Англии, проповедуя агитацию в пользу Польши. Речи Кошута, произнесенные тогда, чрезвычайно замечательны и по содержанию и по форме. Но Англии на этот раз он не увлек; народ толпами собирался на митинги, рукоплескал великому дару слова, готов был делать складчины; но вдаль движение не шло, но речи не вызывали тот отзвук в других кругах, в массах, который бы мог иметь влияние на парламент или заставить правительство изменить свой путь. Прошел 1854 год, настал 1855, умер Николай, Польша не двигалась, война огра-

[861] Сноски: 861
теперь или никогда *(ит.)*.

ничивалась берегом Крыма; о восстановлении польской национальности нечего было и думать; Австрия стояла костью в горле союзников; все хотели к тому же мира, главное было достигнуто — *статский* Наполеон покрылся военной славой.

Кошут снова сошел со сцены. Его статьи в «Атласе» и лекции о конкордате, которые он читал в Эдинбурге, Манчестере, скорее должно считать частным делом. Кошут не спас ни своего достояния, ни достояния своей жены. Привыкнувший к широкой роскоши венгерских магнатов, ему на чужбине пришлось вырабатывать себе средства; он это делает, нисколько не скрывая.

Во всей семье его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тут прошли великие события и что они подняли диапазон всех. Кошут еще до сих пор окружен несколькими верными сподвижниками; сперва они составляли его двор, теперь они — просто его друзья.

Не легко прошли ему события; он сильно состарелся в последнее время, и тяжко становится на сердце от его покоя.

Первые два года мы редко видались; потом случай нас свел на одной из изящнейших точек не только Англии, но и Европы — на Isle

of Wight[862]. Мы жили в одно время с ним месяц времени в Вентноре; это было в 1855 году.

Перед его отъездом мы были на детском празднике. Оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцевали вместе с моими детьми… Кошут стоял у дверей и как-то печально смотрел на них, потом, указывая с улыбкой на моего сына, сказал мне:

— Вот уже и юное поколение совсем готово нам на смену.

— Увидят ли они?

— Я именно об этом и думал. А пока пусть попляшут, — прибавил он и еще грустнее стал смотреть.

Кажется, что и на этот раз мы думали одно и то же.

А увидят ли отцы? И что увидят? Та революционная эра, к которой стремились мы, освещенные догорающим заревом девяностых годов, к которой стремилась либеральная Франция, юная Италия, Маццини, Ледрю-Роллен, не принадлежит ли уже прошедшему? Эти люди не делаются ли печальными представителями былого, около которых закипают иные вопросы, другая

---

[862] Сноски: 862
острове Уайт (*англ.*).

жизнь? Их религия, их язык, их движение, их цель — все это и родственно нам, и с тем вместе чужое… Звуки церковного колокола тихим утром праздничного дня, литургическое пение и теперь потрясают душу, но веры все же в ней нет!

Есть печальные истины; трудно, тяжко прямо смотреть на многое, трудно и высказывать иногда что видишь. Да вряд и нужно ли? Ведь это тоже своего рода страсть или болезнь. «Истина, голая истина, одна истина!» Все это так, да сообразно ли ведение ее с нашей жизнию? Не разъедает ли она ее, как слишком крепкая кислота разъедает стенки сосуда? Не есть ли страсть к ней страшный недуг, горько казнящий того, кто воспитывает ее в груди своей?

Раз, год тому назад, в день, памятный для меня, мысль эта особенно поразила меня.

В день кончины Ворцеля я ждал скульптора в бедной комнатке, где домучился этот страдалец. Старая служанка стояла с оплывшим, желтым огарком в руке, освещая исхудалый труп, прикрытый одной простыней. Он, несчастный, как Иов, заснул с улыбкой на губах, вера замерла в его потухающих глазах, закрытых таким же фанатиком, как он, — Мацини.

Я этого старика грустно любил и ни разу не ска-

зал ему *всей правды,* бывшей у меня на уме. Я не хотел тревожить потухающий дух его: он и без того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то он был так рад, когда Мацини его умирающему уху шептал обеты и слова веры!

Глава III
Эмиграции в Лондоне

Немцы, французы. – Партии. – В. Гюго. – Феликс Пиа. – Луи Блан и Арман Барбес. – On liberty.

Сидехом и плакахом на брегах вавилонских…

Псалтырь

Если б кто-нибудь вздумал написать со стороны внутренную историю политических выходцев и изгнанников с 1848 года в Лондоне, какую печальную страницу прибавил бы он к сказаниям о современном человеке. Сколько страданий, сколько лишений, слез… и сколько пустоты, сколько узкости, какая бедность умственных сил,

запасов, понимания, какое упорство в раздоре и мелкость в самолюбии…

С одной стороны, люди простые, инстинктом и сердцем понявшие дело революции и приносящие ему наибольшую жертву, которую человек может принести, — добровольную нищету, составляют небольшую кучку праведников. С другой — эти худо прикрытые, затаенные самолюбия, для которых революция была служба, position sociale[863] и которые сорвались в эмиграцию, не достигнув места; потом всякие фанатики, мономаны всех мономаний, сумасшедшие всех сумасшествий; в силу этого нервного, натянутого, раздраженного состояния верчение столов наделало в эмиграции страшное количество жертв. Кто не вертел столов, от Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который пошел дальше… и узнавал все, что человек делал лет тысячу тому назад!

Притом ни шагу вперед. Они, как придворные версальские часы, показывают один час — час, в который умер король… и их, как версальские часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывают одно событие, одну

---

[863] Сноски: 863
общественное положение (*фр.*).

кончину какого-нибудь события. Об нем они говорят, об нем думают, к нему возвращаются. Встречая тех же людей, те же группы месяцев через пять-шесть, года через два-три, становится страшно: те же споры продолжаются, те же личности и упреки, только морщин, нарезанных нищетою, лишениями, больше; сертуки, пальто вытерлись, больше седых волос, и все вместе старее, костлявее, сумрачнее… А речи все те же и те же!

Революция у них остается, как в девяностых годах, метафизикой общественного быта, но тогдашней наивной страсти к борьбе, которая давала резкий колорит самым тощим всеобщностям и тело сухим линиям их политического сруба, у них нет и не может быть; всеобщности и отвлеченные понятия тогда были радостной новостью, откровением. В конце XVIII столетия люди в первый раз не в книге, а на самом деле начали освобождаться от рокового, таинственно тяготевшего мира теологической истории и пытались весь гражданский быт, выросший помимо сознания и воли, основать на сознательном понимании. В попытке *разумного* государства, как в попытке религии *разума*, была в 1793 могучая, титаническая поэзия, которая принесла

свое, но с тем вместе выветрилась и оскудела в последние шестьдесят лет. Наши наследники титанов этого не замечают. Они, как монахи Афонской горы, которые занимаются своим, ведут те же речи, которые вели во время Златоуста, и продолжают жизнь, давно задвинутую турецким владычеством, которое само уж приходит к концу… собираясь в известные дни поминать известные события, в том же порядке, с теми же молитвами.

Другой тормоз, останавливающий эмиграции, состоит в отстаивании себя друг против друга; это страшно убивает внутренную работу и всякий добросовестный труд. Объективной цели у них нет, все партии упрямо консервативны, движение вперед им кажется слабостью, чуть не бегством; стал под знамя, так стой под ним, хотя бы со временем и разглядел, что цвета не совсем такие, как казались.

Так идут годы — исподволь все меняется около них. Там, где были сугробы снега, растет трава, вместо кустарника — лес, вместо леса — одни пни… они ничего не замечают. Некоторые выходы совсем обвалились и засыпались — они в них-то и стучат; новые щели открылись, свет из них так и врывается полосами, но они смотрят

в другую сторону.

Отношения, сложившиеся между разными эмиграциями и англичанами, могли бы сами по себе дать удивительные факты о химическом сродстве разных народностей.

Английская жизнь сначала ослепляет немцев, подавляет их, потом поглощает или, лучше сказать, распускает их в плохих англичан. Немец по большей части, если предпринимает какое-нибудь дело, тотчас бреется, поднимает воротнички рубашки до ушей, говорит «yes», вместо «ja», и «well»[864], там где ничего не надобно говорить. Года через два он пишет по-английски письма и записки и живет совершенно в английском кругу. С англичанами немцы никогда не обходятся как с равными, а как наши мещане с чиновниками и наши чиновники с столбовыми дворянами.

Входя в английскую жизнь, немцы не в самом деле делаются англичанами, но притворяются ими и долею перестают быть немцами. Англичане в своих сношениях с иностранцами — такие же капризники, как во всем другом; они бросаются на приезжего, как на комеди-

---

[864] Сноски: 864
хорошо, ладно (*англ.*).

анта или акробата, не дают ему покоя, но едва скрывают чувство своего превосходства и даже некоторого отвращения к нему. Если приезжий удерживает свой костюм, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанин шпыняет над ним, но мало-помалу привыкает в нем видеть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранец начинает подлаживаться под его манеры, он не уважает его и снисходительно трактует его с высоты своей британской надменности. Тут и с большим тактом трудно найтиться иной раз, чтоб не согрешить по минусу или по плюсу, — можно же себе представить, что делают немцы, лишенные всякого такта, фамильярные и подобострастные, слишком вычурные и слишком простые, сентиментальные без причины и грубые без вызова.

Но если немцы смотрят на англичан как на высшее племя того же рода и чувствуют себя ниже их, то из этого не следует никак, чтоб отношение французов, и преимущественно французских рефюжье, было умнее. Так, как немец все без разбору уважает в Англии, француз протестует против всего и ненавидит все английское. Это доходит, само собой разумеется, до уродливости самой комической.

Француз, во-первых, не может простить англичанам, что они не говорят по-французски; во-вторых — что они не понимают, когда он Чаринг Крос называет *Шаран'кро* или Лестер-сквер — *Лесестер-скуар.* Далее, его желудок не может переварить, что в Англии обед состоит из двух огромных кусков мяса и рыбы, а не из пяти маленьких порций всяких рагу, фритюр, салми и пр. Затем, он не может примириться с «рабством», по которому трактиры заперты в воскресенье и весь народ *скучает Богу,* хотя вся Франция семь дней в неделю *скучает Бонапарту.* Затем, весь habitus[865], все хорошее и дурное в англичанине ненавистно французу. Англичанин плотит ему той же монетой, но с завистию смотрит на покрой его одежды и карикатурно старается подражать ему.

Все это очень замечательно для изучения сравнительной физиологии, и я совсем не для смеха рассказываю это. Немец, как мы заметили, сознает себя, по крайней мере в гражданском отношении, низшим видом той же породы, к которой принадлежит англичанин, и подчиняется ему. Француз, принадлежащий к другой

---

[865] Сноски: 865
облик (*лат.*).

породе, не настолько различной, чтоб быть равнодушным, как турок к китайцу, ненавидит англичанина, особенно потому, что оба народа слепо убеждены каждый о себе, что они представляют первый народ в мире. И немец внутри себя в этом уверен, особенно auf dem theoretischen Gebiete[866], но стыдится признаться.

Француз действительно во всем противуположен англичанину; англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное, француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно параллельные развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет — в лавку надо.

Два краеугольных камня всего английского быта: личная независимость и родовая традиция — для француза почти не существуют. Грубость английских нравов выводит француза из себя, и она действительно противна и отравляет лондонскую жизнь, но за ней он не видит

---

[866] Сноски: 866
в области теории (*нем.*).

той суровой мощи, которою народ этот отстоял свои права, того упрямства, вследствие которого из англичанина можно все сделать, льстя его страстям, но не раба, веселящегося галунами своей ливреи, восхищающегося своими цепями, обвитыми лаврами.

Французу так дик, так непонятен мир самоуправления, децентрализации, своеобычно, капризно разросшийся, что он, как долго ни живет в Англии, ее политической и гражданской жизни, ее прав и судопроизводства не знает. Он теряется в неспетом разноначалии английских законов, как в темном бору, и совсем не замечает, какие огромные и величавые дубы составляют его и сколько прелести, поэзии, смысла в самом разнообразии. То ли дело маленький кодекс с посыпанными дорожками, с подстриженными деревцами и с полицейскими садовниками на каждой аллее.

Опять — Шекспир и Расин.

Видит ли француз пьяных, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящего с спокойствием постороннего и любопытством человека, следящего за петушиным боем, — он приходит в неистовство, зачем полисмен не выходит из себя, зачем

не ведет кого-нибудь au violon[867]. Он и не думает о том, что личная свобода только и возможна, когда полицейский не имеет власти отца и матери и когда его вмешательство сводится на страдательную готовность — до тех пор, пока его позовут. Уверенность, которую чувствует каждый бедняк, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, изменяет взгляд человека. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами иногда прячется преступник, — пускай себе. Гораздо лучше, чтоб ловкий вор остался без наказания, нежели чтоб каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. До моего приезда в Англию всякое появление полицейского в доме, в котором я жил, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde против врага. В Англии полицейский у дверей и в дверях только прибавляет какое-то чувство безопасности.

В 1855, когда жерсейский губернатор, пользуясь особым *бесправием* своего острова, поднял гонение на журнал «L'Homme» за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим рефюжье,

[867] Сноски: 867
в кутузку (*фр.*).

протестовавшим в пользу журнала, оставить Жерсей, — здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власти, что им следует остаться и сделать процесс ему. «Daily News» обещал с другими журналами взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и как — «будто возможно выиграть процесс против правительства». Они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории — и гордо отступили в Гернсей.

Расскажу один пример французского понимания английских нравов. Однажды вечером прибегает ко мне один рефюжье и после целого ряда ругательств против Англии и англичан рассказывает мне следующую «чудовищную» историю.

Французская эмиграция в то утро хоронила одного из своих собратьев. Надо сказать, что в томной и скучной жизни изгнания похороны товарища почти принимаются за праздник, — случай сказать речь, пронести свои знамена, собраться вместе, пройтись по улицам, отметить, кто был и кто не был, — а потому демократическая эмиграция отправилась au grand complet[868].

---

[868] Сноски: 868
в полном сборе (*фр.*).

На кладбище явился английский пастор с молитвенником. Приятель мой заметил ему, что покойник не был христианин и что, в силу этого, ему не нужна его молитва. Пастор, педант и лицемер, как все английские пасторы, с притворным смирением и национальной флегмой, отвечал, что «может, покойнику и не нужна его молитва», но что «ему по долгу необходимо сопровождать каждого умершего молитвой на последнее жилище его». Завязался спор, и, так как французы стали горячиться и кричать, упрямый пастор позвал полицейских.

— Allons donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée liberté![869] — прибавил главный актер этой сцены после покойника и пастора.

— Ну, что же сделала, — спросил я, — la force brutale au service du noir fanatisme?[870]

— Пришли четыре полицейских, et le chef de la bande[871] спрашивает: «Кто говорил с пастором?» Я прямо вышел вперед, — и, рассказывая,

---

[869] Сноски: 869

Ну вот, а вы еще говорите об этой отвратительной стране с ее проклятой свободой (*фр.*).

[870] Сноски: 870

грубая сила, состоящая на службе у черного фанатизма? (*фр.*)

[871] Сноски: 871

и предводитель шайки (*фр.*).

мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами, — c'est moi «monsieur», — car je m'en garde bien de dire «citoyen»[872] à ces gueux-là[873] — Тогда le chef des sbires[874] с величайшей дерзостью сказал мне: «Переведите другим, чтоб они не шумели, хороните вашего товарища и ступайте по домам. А если вы будете шуметь, я вас всех велю отсюда вывести». — Я посмотрел на него, снял с себя шляпу и громко, что есть силы, прокричал: «Vive la république démocratique et sociale!»[875]

Едва удерживая смех, я спросил его:

— Что же сделал «начальник сбиров»?

— Ничего, — с самодовольной гордостью заметил француз. — Он переглянулся с товарищами,

---

[872] Сноски: 872

В пояснение того, что мой красный приятель употреблял в разговоре с полисменом слово «Monsieur» <«сударь» (*фр.*)>, чтобы не употреблять во зло слово «Citoyen» <«гражданин» (*фр.*)>, надо вот что рассказать. В одной из темных, бедных и нечистых улиц, лежащих между Сого и Лестер-сквером, где обыкновенно кочует недостаточная часть эмиграции, завел какой-то красный ликворист <продавец ликеров, настоек (*фр.* liquoriste)> небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашел к нему взять седативной воды. За прилавком сидел он сам, высокий, с грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большим носом и ртом несколько на сторону, — настоящий уездный террорист 94 года, к тому же и бритый. — «Распалевой воды на шесть пенсов, monsieur», — сказал я. Он отвешивал какую-то траву, за которой пришла девочка, не обращая никакого внимания на мой вопрос; я мог досыта налюбоваться этим Collot d'Herbois, пока он, наконец, припечатал сургучом уголки бумажного пакета, надписал и потом

довольно строго обратился ко мне с «plaît-il?» <что прикажете? (*фр.*)>. — «Распалевой воды на шесть пенсов, — повторил я, — monsieur». Он посмотрел на меня с каким-то свирепым выражением и, оглядев с головы до ног, важным и густым голосом сказал мне: «Citoyen, s'il vous plaît» <«Гражданин, пожалуйста» (*фр.*)>.

[873] Сноски: 873

это я, «сударь», ибо я, конечно, не называю такую сволочь гражданином (*фр.*).

[874] Сноски: 874

начальник полицейских (*фр.*).

[875] Сноски: 875

«Да здравствует демократическая и социальная республика!» (*фр.*)

прибавил: «Ну, делайте, делайте ваше дело!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имеют дело не с английской чернью… у них тонкий нос!

Что-то происходило в душе серьезного, плотного и, вероятно, выпившего констабля во время этой выходки? Приятель и не подумал о том, что он мог себе доставить удовольствие прокричать то же самое перед окнами королевы у решетки Букингамского дворца без малейшего неудобства. Но еще замечательнее, что ни мой приятель, ни все прочие французы при таком происшествии и не думают, что за подобную проделку во Франции они бы пошли в Кайенну или Ламбессу. Если же им это напомнишь, то ответ их готов: «Ah bas! C'est une halte dans la boue… ce n'est pas normal!»[876]

А когда же у них свобода была нормальна?

Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое *право убежища* не для ищущих его, а из уважения к себе, раздражала нервы.

---

[876] Сноски: 876

«Ну! Это остановка в грязи… это ненормально!» (*фр.*)

А тут оторванность от людей и привычек, невозможность передвижения, разлука с своими, бедность вносили горечь, нетерпимость и озлобление во все отношения. Столкновения стали злее, упреки в прошедших ошибках — беспощаднее. Оттенки партий расходились до того, что старые знакомые перерывали все сношения, не кланялись…

Были действительные, теоретические и всяческие раздоры… но рядом с идеями стояли лица, рядом со знаменами — собственные имена, рядом с фанатизмом — зависть и с откровенным увлеченьем — наивное самолюбие.

Антагонизм, некогда выражавшийся *возможным* Мартином Лютером и *последовательным* Томасом Мюнцером, лежит, как семенные доли, при каждом зерне; логическое развитие, расчленение всякой партии непременно дойдет до обнаружения его. Мы его равно находим в *трех* невозможных Гракхах, т. е. считая тут же и Гракха Бабёфа, и в слишком возможных Суллах и Сулуках всех цветов. Возможна одна диагональ, возможен компромисс, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословию, богатству, пониманью. Из Лиги и гугенотов делается Генрих IV, из Стюартов и Кром-

веля — Вильгельм Оранский, из революции и легитимизма — Людовик-Филипп. После него антагонизм стал между возможной республикой и последовательной; возможную назвали *демократической,* последовательную — *социальной;* из их столкновения вышла империя, но партии остались.

Несговорчивые крайности очутились в Кайенне, Ламбессе, Бель-Иле и долею за французской границей, преимущественно в Англии.

Как только они в Лондоне перевели дух и глаз их привык различать предметы в тумане, старый спор возобновился с особенной нетерпимостью эмиграции, с мрачным характером лондонского климата.

Председатель Люксембургской комиссии был de jure[877] главное лицо между социалистами в лондонской эмиграции. Представитель организации работ и эгалитарных[878] работничьих обществ, он был любим работниками; строгий по жизни, неукоризненной чистоты в мнениях,

---

[877] Сноски: 877
по праву (*лат.*).

[878] Сноски: 878
уравнительных (*фр.* égalitaire).

вечно работающий сам, sobre[879], мастер говорить, популярный без фамильярности, смелый и вместе осторожный, он имел все средства, чтоб действовать на массу.

С другой стороны, Ледрю-Роллен представлял религиозную традицию 93 года; для него слова *республика* и *демократия* обнимали все: насыщение голодных, право на работу, освобождение Польши, сокрушение Николая, братство народов, падение папы. Работников было меньше около него, его хор состоял из capacités[880], т. е. из адвокатов, журналистов, учителей, клубистов и пр.

Двойство этих партий ясно, и именно поэтому я никогда не умел понять, как Маццини и Луи Блан объясняли свое окончательное распадение частными столкновениями; разрыв лежал в самой глубине их воззрения, в задаче их. Им вместе нельзя было идти, но, может, не нужно было и ссориться публично.

Дело социализма и итальянское дело различались, так сказать, чередом или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического

---

[879] Сноски: 879
скромный (*фр.*).

[880] Сноски: 880
Здесь: людей свободных профессий (*фр.*).

устройства в Италии. То же мы видели в Польше 1831, в Венгрии 1848. Но тут нет места полемике, это скорее вопрос о хронологическом разделении труда, чем о взаимном уничтожении. Социальные теории мешали прямому, сосредоточенному действию Маццини, мешали военной организации, которая для Италии была необходима; за это он сердился, не соображая, что для французов такая организация только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, он напал на социалистов, и в особенности на Луи Блана, в небольшой брошюрке, оскорбительной и ненужной. По дороге зацепил он и других; так, например, называет Прудона «демоном»… Прудон хотел ему отвечать, но ограничился только тем, что в следующей брошюре назвал Маццини «архангелом». Я раза два говорил, шутя, Маццини:

— Ne réveillez pas le chat qui dort[881], а то с такими бойцами трудно выйти без сильных рубцов.

Лондонские социалисты отвечали ему тоже желчно, с ненужными личностями и дерзкими выражениями.

Другого рода вражда, и вражда больше ос-

---

[881] Сноски: 881

Не будите спящего кота, т. е. не играйте с огнем (*фр.*).

новательная, была между французами двух революционных толков. Все опыты соглашения формального республиканизма с социализмом были неудачны и делали только очевиднее неоткровенность уступок и непримиримый раздор; через ров, их разделявший, ловкий акробат бросил свою доску и провозгласил себя на ней императором.

Провозглашение империи было гальваническим ударом; судорожно вздрогнули сердца эмигрантов и ослабли.

Это был печальный, тоскливый взгляд больного, убедившегося, что ему не встать без костылей. Усталь, скрытная безнадежность стала овладевать теми и другими. Серьезная полемика начинала бледнеть, сводиться на личности, на упреки, обвинения.

Еще года два оба французские стана продержались в агрессивной готовности: один, празднуя 24 февраля, другой — июльские дни. Но к началу Крымской войны и к торжественной прогулке Наполеона с королевой Викторией по Лондону бессилие эмиграции стало очевидно. Сам начальник лондонской Metropolitan Police[882]

[882] Сноски: 882
столичной полиции (*англ.*).

Роберт Мен засвидетельствовал это. Когда консерваторы благодарили его, после посещения Наполеона, за ловкие меры, которыми он предупредил всякую демонстрацию со стороны эмигрантов, он отвечал: *«Эта благодарность мною вовсе не заслужена, благодарите Ледрю-Роллена и Луи Блана».*

Признак, еще больше намекавший на близкую кончину, обнаружился около того же времени в подразделениях партий во имя лиц или личностей, без серьезных причин.

Партии эти составлялись так, как у нас выдумывают министерства или главные управления для помещения какого-нибудь лишнего сановника, так, как иногда компонисты придумывают в операх партии для Гризи и Лаблаша не потому, чтоб эти партии были необходимы, а потому, что Гризи или Лаблаша надобно было употребить…

Года через полтора после coup d'Etat[883] приехал в Лондон Феликс Пиа из Швейцарии. Бойкий фельетонист, он был известен процессом, который имел, скучной комедией «Диоген», понравившейся французам своими сухими и тощими сентенциями, наконец, успехом «Ветошника»

---

[883] Сноски: 883
государственного переворота (*фр.*).

на сцене Porte Saint-Martin. Об этой пьесе я когда-то писал целую статью[884]. Ф. Пиа был членом последнего законодательного собрания, сидел на «Горе», *подрался* как-то в палате с Прудоном, замешался в протест 13 июня 1849 и, вследствие этого, должен был оставить Францию тайком. Уехал он, как я, с молдавским видом и ходил в Женеве в костюме какого-то мавра, вероятно, для того, чтоб его все узнали. В Лозанне, куда он переехал, составил Ф. Пиа небольшой круг почитателей из французских изгнанников, живших манною его острых слов и крупицами его мыслей. Горько ему было из кантональных вождей перейти в какую-нибудь из лондонских партий. Для лишнего кандидата на великого человека не было партии — приятели и поклонники его выручили из беды: они выделились из всех прочих партий и назвались *лондонской революционной коммуной.*

La commune révolutionnaire[885] должна была

---

[884] Сноски: 884

— Зачем вы испортили вашего «Chiffonnier», навязав ему в конце счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы и ее артистическое единство? — спросил я раз Пиа. — Затем, — отвечал он, — что если б я огорчил парижан мрачной судьбой старика и девушки, на другое представление никто бы не пошел.

[885] Сноски: 885

Революционная коммуна (*фр.*).

представлять самую красную сторону демократии и самую коммунистическую — социализма. Она *считала себя* вечно начеку, в самых тесных связях с «Марьянной» и с тем вместе вернейшей представительницей *Бланки* in partibus infidelium[886].

Мрачный Бланки, суровый педант и доктринер своего дела, аскет, исхудавший в тюрьмах, расправил в образе Ф. Пиа свои морщины, подкрасил в алый цвет свои черные мысли и стал морить со смеху парижскую коммуну в Лондоне. Выходки Ф. Пиа в его письмах к королеве, к Валевскому, которого он назвал ex-réfugié и ex-Polonais[887], к принцам и пр. были очень забавны; но в чем сходство с Бланки, я никак не мог добраться; да и вообще в чем состояла отличительная черта, делившая его от Луи Блана, например, простым глазом видеть было трудно.

То же должно сказать о жерсейской партии Виктора Гюго.

Виктор Гюго никогда не был в настоящем смысле слова политическим деятелем. Он слишком поэт, слишком под влиянием своей фантазии,

---

[886] Сноски: 886
в стране неверных (*лат.*).

[887] Сноски: 887
бывшим эмигрантом и бывшим поляком (*фр.*).

чтоб быть им. И, конечно, я это говорю не в порицание ему. Социалист-художник, он вместе с тем был поклонник военной славы, республиканского разгрома, средневекового романтизма и белых лилий, — виконт и гражданин, пэр орлеанской Франции и агитатор 2 декабря; это пышная, великая личность, но не глава партии, несмотря на решительное влияние, которое он имел на два поколенья. Кого не заставил задуматься над вопросом смертной казни «Последний день осужденного» и в ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести резкие, страшно и странно освещенные, на манер Турнера, картины общественных язв, бедности и рокового порока?

Февральская революция застала Гюго врасплох; он не понял ее, удивился, отстал, наделал бездну ошибок и был до тех пор реакционером, пока реакция в свою очередь не опередила его. Приведенный в негодование цензурой театральных пьес и римскими делами, он явился на трибуне конституирующего Собрания с речами, раздавшимися по всей Франции. Успех и рукоплескания увлекли его дальше и дальше. Наконец, 2 декабря 1851 он стал во весь рост. Он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию, под пулями протестовал против

coup d'Etat и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать. Раздраженным львом отступил он в Жерсей; оттуда, едва переводя дух, он бросил в императора своего «Napoléon le Petit», потом свои «Châtiments». Как ни старались бонапартистские агенты примирить старого поэта с новым двором — не могли. «Если останутся хоть десять французов в изгнании — я останусь с ними; если три — я буду в их числе; если останется один, то этот изгнанник буду я. Я не возвращусь иначе, как в свободную Францию».

Отъезд Гюго из Жерсея в Гернсей, кажется, убедил еще больше его друзей и его самого в политическом значении, в то время как отъезд этот мог только убедить в противном. Дело было так. Когда Ф. Пиа написал свое письмо к королеве Виктории, после ее посещения к Наполеону, он, прочитав его на митинге, отослал его в редакцию «L'Homme». Свентославский, печатавший «L'Homme» на свой счет в Жерсее, был тогда в Лондоне. Он вместе с Ф. Пиа приезжал ко мне и, уходя, отвел меня в сторону и сказал, что ему знакомый его lawyer[888] сообщил, что за это письмо легко можно преследовать журнал в Жерсее,

---

[888] Сноски: 888
юрист (*англ.*).

состоящем на положении колонии, а Пиа хочет непременно в «L'Homme». Свентославский сомневался и хотел знать мое мнение.

— Не печатайте.

— Да я и сам думаю так, только вот что скверно: он подумает, что я *испугался.*

— Как же не бояться при теперешних обстоятельствах потерять несколько тысяч франков?

— Вы правы — этого я не могу, не должен делать.

Свентославский, так премудро рассуждавший, уехал в Жерсей и письмо напечатал.

Слухи носились, что министерство хотело что-то сделать. Англичане были обижены за тон, с которым Пиа обращался к квине[889]. Первым результатом этих слухов было то, что Ф. Пиа перестал ночевать у себя дома: он *боялся в Англии* visite domiciliaire[890] и ночного ареста за напечатанную статью! Преследовать судом правительство и не думало; министры подмигнули жерсейскому губернатору, или как там он у них называется, и тот, пользуясь беззаконными правами, которые существуют в колониях,

---

[889] Сноски: 889
королеве (*англ.* queen).

[890] Сноски: 890
домашнего обыска (*фр.*).

велел Свентославскому выехать с острова. Свентославский протестовал, и с ним человек десять французов, в том числе В. Гюго. Тогда полицейский Наполеон Жерсея велел выехать всем протестовавшим. Им следовало не слушаться донельзя; пусть бы полиция схватила кого-нибудь за шиворот и выбросила бы с острова; тогда можно было бы поставить вопрос о высылке перед суд. Это и предлагали французам англичане. Процессы в Англии безобразно дороги, но издатели «Daily News» и других либеральных листов обещали собрать какую надобно сумму, найти способных защитников. Французам путь легальности показался скучен и долог, противен, и они с гордостью оставили Жерсей, увлекая с собой Свентославского и С. Телеки.

Объявление полицейского приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейский чиновник взошел к нему, чтоб прочесть приказ, Гюго позвал своих сыновей, сел, указал на стул чиновнику и, когда все уселись, — как в России перед отъездом, — он встал и сказал: «Г. комиссар, мы делаем теперь страницу истории. (Nous faisons maintenant une page de l'histoire.) Читайте вашу бумагу». Полицейский, ожидавший, что его выбросят за двери, был удивлен легостью побе-

ды, обязал Гюго подпиской, что он едет, и ушел, отдавая справедливость учтивости французов, давших даже ему стул. Гюго уехал, и другие с ним вместе оставили Жерсей. Большая часть поехали не дальше Гернсея; другие отправились в Лондон; дело было проиграно, и право высылать осталось непочатым.

Серьезных партий, как мы сказали, было только две, т. е. партия формальной республики и насильственного социализма — Ледрю-Роллена и Луи Блана. Об нем я еще не говорил, а знал его почти больше, чем всех французских изгнанников.

Нельзя сказать, чтоб воззрение Луи Блана было неопределенно, — оно во все стороны обрезано, как ножом. Луи Блан в изгнании приобрел много фактических сведений (по своей части, т. е. по части изучения первой французской революции), несколько устоялся и успокоился, но в сущности своего воззрения не подвинулся ни на один шаг с того времени, как писал «Историю десяти лет» и «Организацию труда». Осевшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.

В маленьком тельце Луи Блана живет бодрый

и круто сложившийся дух, très éveillé[891], с сильным характером, с своей определенно вываянной особностью, и притом совершенно французской. Быстрые глаза, скорые движения придают ему какой-то вместе подвижный и точеный вид, не лишенный грации. Он похож на сосредоточенного человека, сведенного на наименьшую величину, в то время как колоссальность его противника Ледрю-Роллена похожа на разбухнувшего ребенка, на карлу в огромных размерах или под увеличительным стеклом. Они оба могли бы чудесно играть в Гулливеровом путешествии.

Луи Блан — и это большая сила и очень редкое свойство — мастерски владеет собой, в нем много выдержки, и он в самом пылу разговора, не только публично, но и в приятельской беседе, никогда не забывает самые сложные отношения, никогда не выходит из себя в споре, не перестает весело улыбаться… и никогда не соглашается с противником. Он мастер рассказывать и, несмотря на то, что много говорит как француз, никогда не скажет лишнего слова как корсиканец.

Он занимается только Францией, знает только

---

[891] Сноски: 891
всегда оживленный (*фр.*).

Францию и ничего не знает «разве ее». События мира, открытия науки, землетрясения и наводнения занимают его по той мере, по которой они касаются Франции. Говоря с ним, слушая его тонкие замечания, его занимательные рассказы, легко изучить характер французского ума, и тем легче, что мягкие, образованные формы его не имеют в себе ничего, вызывающего раздражительную колкость или ироническое молчание тем самодовольным, иногда простодушным, нахальством, которое делает так несносным сношения с современными французами.

Когда я ближе познакомился с Луи Бланом, меня поразил внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второстепенных, прикладных. Свои счеты он свел: er war im Klaren mit sich[892]; ему было нравственно свободно, как человеку, который знает, что он прав. В частных ошибках своих, в промахах друзей он сознавался добродушно; теоретических угрызений совести у него не было. Он был доволен собой после разрушения республики 1848, как Моисеев Бог после создания мира. Подвижной ум его

---

[892] Сноски: 892
он все уяснил для себя (*нем.*).

в ежедневных делах и подробностях был японски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уверенность в основах, однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком, прочно держалась на нравственных подпорочках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения[893].

Я иногда, шутя, останавливал его на общих местах, которые он, вероятно, повторял годы, не думая, чтоб можно было возражать на такие почтенные истины, и сам не возражая:

— Жизнь человека — великий социальный

---

[893] Сноски: 893

Все это, за исключением некоторых добавок и поправок, писано лет десять тому назад. Я должен признаться, что последние события заставили меня отчасти изменить мое мнение о Луи Блане. Он действительно сделал *шаг вперед* — и, как следовало ожидать от якобинских старообрядцев, он ему не прошел даром.

— Что делать, — говорил еще мне в разгар мехиканской войны Луи Блан, — честь нашего знамени компрометирована.

Мнение чисто французское и совершенно противучеловеческое. Видно, оно сильно мучило Луи Блана. Через год, за обедом, который давал в Брюсселе В. Гюго после издания «Les Misérables», Луи Блан в своей речи сказал: «Горе народу, когда его понятие о чести вообще не совпадает с понятием военной чести». Тут был целый переворот. Он-то и обличился при начале последней войны. Энергические, полные меткости и истины статьи Луи Блана, помещаемые в «Le Temps»,

возбудили грозу «Siècle'я» и «Opinion National»; они чуть не выдали Луи Блана за австрийского агента — и выдали бы совсем, если б он не пользовался действительно заслуженной репутацией чистоты.
Не даром достается французам прогресс.

долг, человек *должен* постоянно приносить себя на жертву обществу…

— Зачем же? — спросил я вдруг.

— Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица — благосостояние общества.

— Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто не будет наслаждаться.

— Это игра слов.

— Варварская сбивчивость понятий, — говорил я, смеясь.

— Мне никак не дается материалистическое понятие о духе, — говорил он раз, — все же дух и материя разное, — тесно связанное, так тесно, что они и не являются врозь, но все же они не одно и то же… — И, видя, что как-то доказательство идет плохо, он вдруг прибавил: — Ну вот, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата, вижу его черты, слышу его голос — где же материальное существование этого образа?

Я сначала думал, что он шутит, но, видя, что он говорит совершенно серьезно, я заметил ему, что образ его брата на сию минуту в фотографическом заведении, называемом мозгом, и что вряд есть ли портрет Шарля Блана отдельно от фотографического снаряда…

— Это совсем другое дело, материально в моем

мозгу нет изображения моего брата.

— Почем вы знаете?

— А вы почем?

— По наведению.

— Кстати — это напоминает мне преуморительный анекдот…

И тут, как всегда, рассказ о Дидро или M-me Tencin, очень милый, но вовсе не идущий к делу.

В качестве преемника Максимилиана Робеспьера Луи Блан — поклонник Руссо и в холодных отношениях с Вольтером. В своей «Истории» он по-библейски разделил всех деятелей на два стана. Одесную — агнцы братства; ошуйю — козлы ячности и эгоизма. Эгоистам вроде Монтеня пощады нет, и ему досталось порядком. Луи Блан в этой сортировке ни на чем не останавливается и, встретив финансиста Лау, смело зачислил его по братству, чего, конечно, отважный шотландец никогда не ожидал.

В 1856 году приезжал в Лондон из Гааги Барбес. Луи Блан привел его ко мне. С умилением смотрел я на страдальца, который провел почти всю жизнь в тюрьме. Я прежде видел его один раз — и где? В окне Hôtel de Ville 15 мая 1848, за несколько минут перед тем, как ворвавшаяся

Национальная гвардия схватила его[894].

Я звал их на другой день обедать; они пришли, и мы просидели до поздней ночи.

Они просидели до поздней ночи, вспоминая о 1848 годе; когда я проводил их на улицу и возвратился один в мою комнату, мною овладела бесконечная грусть; я сел за свой письменный стол и готов был плакать…

Я чувствовал то, что должен ощущать сын, возвращаясь после долгой разлуки в родительский дом. Он видит, как в нем все почернело, покривилось, отец его постарел, не замечая того; сын очень замечает, и ему тесно, он чувствует близость гроба, скрывает это, но свиданье не оживляет его, не радует, а утомляет.

Барбес, Луи Блан! Ведь это всё старые друзья, почетные друзья кипучей юности. «Histoire de Dix ans», процесс Барбеса перед Камерой пэров — все это так давно обжилось в голове, в сердце, со всем с этим мы так сроднились — и вот они налицо.

Самые злые враги их никогда не осмеливались

---

[894] Сноски: 894

До чего доходило остервенение хранителей порядка в этот день, можно измерить тем, что Национальная гвардия схватила на бульваре Луи Блана, которого вовсе не следовало арестовать и которого полиция тотчас велела освободить. Видя это, национальный гвардеец, державший его, *схватил его за палец, врезал в него свои ногти и повернул последний сустав.*

заподозреть неподкупную честность Луи Блана или набросить тень на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоих все видели, знали во всех положениях, у них не было частной жизни, не было закрытых дверей. Одного из них мы видели членом правительства, другого за полчаса до гильотины. В ночь перед казнию Барбес не спал, а спросил бумаги и стал писать; строки эти сохранились, я их читал. В них есть французский идеализм, религиозные мечты, но ни тени слабости; его дух не смутился, не уныл; с ясным сознанием приготовлялся он положить голову на плаху и покойно писал, когда рука тюремщика сильно стукнула в дверь. «Это было на рассвете, я (и это он мне рассказывал сам) ждал исполнителей», — но вместо палачей взошла его сестра и бросилась к нему на шею. Она выпросила, без его ведома, у Людвика-Филиппа перемену наказания и скакала на почтовых всю ночь, чтоб успеть.

Колодник Людвика-Филиппа через несколько лет является наверху цивического[895] торжества: цепи сняты ликующим народом, его везут в триумфе по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось; он явился первым обвинителем

---

[895] Сноски: 895
гражданского (*фр. civique*).

Временного правительства за руанские убийства. Реакция росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой, и Барбес 15 мая сделал то, чего не делали ни Ледрю-Роллен, ни Луи Блан, чего испугался Косидьер! Coup d'Etat не удался, и Барбес, колодник республики, снова перед судом. Он в Бурже так же, как в Камере пэров, говорит законникам мещанского мира, как говорил грешному старцу Пакье: «Я вас не признаю за судей, вы враги мои, я ваш военнопленный, делайте со мною что хотите, но судьями я вас не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за ним.

Случайно, против своей воли, вышел он из тюрьмы; Наполеон его вытолкнул из нее почти в насмешку, прочитав во время Крымской войны письмо Барбеса, в котором он, в припадке галльского шовинизма, говорит о военной славе Франции. Барбес удалился было в Испанию; перепуганное и тупое правительство выслало его. Он уехал в Голландию и там нашел покойное, глухое убежище.

И вот этот-то герой и мученик вместе с одним из главных деятелей Февральской республики, с первым государственным человеком социализ-

ма вспоминали и обсуживали прошедшие дни славы и невзгодья!

А меня давила тяжелая тоска; я с несчастной ясностью видел, что они тоже принадлежат истории *другого десятилетия*, которая окончена до последнего листа, до переплета!

Окончена не для них лично, а для всей эмиграции, и для всех теперечных политических партий. Живые и шумные десять, даже пять лет тому назад, они вышли из русла и теряются в песке, воображая, что всё текут в океан. У них нет больше ни тех слов, которые, как слово «республика», пробуждали целые народы, ни тех песен, как «Марсельеза», которые заставляли содрогаться каждое сердце. У них и враги не той же величины и не той же пробы; нет ни седых феодальных привилегий короны, с которыми бы было трудно сражаться, ни королевской головы, которая бы, скатываясь с эшафота, уносила с собой целую государственную организацию. Казните Наполеона — из этого не будет 21 января; разберите по камням Мазас — из этого не выйдет взятия Бастилии! *Тогда*, в этих громах и молниях раскрывалось новое откровение — откровение государства, основанного на разуме, новое искупление из средневекового мрачно-

го рабства. С тех пор искупление революцией обличилось несостоятельным, на разуме государство не устроилось. Политическая реформация выродилась, как и религиозная, в риторическое пустословие, охраняемое слабостью одних и лицемерием других. «Марсельеза» остается святым гимном, но гимном прошедшего, как «Gottes feste Burg», звуки той и другой песни вызывают и теперь ряд величественных образов, как в макбетовском процессе теней — всё цари, но всё мертвые.

Последний едва еще виден в спину, а об новом только слухи. Мы в *междуцарствии;* пока, до наследника, полиция все захватила во имя наружного порядка. Тут не может быть и речи о правах, это временные необходимости, это Lynch law[896] в истории, экзекуция, оцепление, карантинная мера. Новый порядок, совместивший все тяжкое монархии и все свирепое якобинизма, огражден не идеями, не предрассудками, а страхами и неизвестностями. Пока одни боялись, другие ставили штыки и занимали места. Первый, кто прорвет их цепь, пожалуй, и займет главное место, занятое полицией, — только он и сам сде-

[896] Сноски: 896
закон Линча (*англ.*).

лается сейчас квартальным.

Это напоминает нам, как Косидьер вечером 24 февраля пришел в префектуру с ружьем в руке, сел в кресла только что бежавшего Делессера, позвал секретаря, сказал ему, что он назначен префектом, и велел подать бумаги. Секретарь так же почтительно улыбнулся, как Делессеру, так же почтительно поклонился и пошел за бумагами, и бумаги пошли своим чередом; ничего не переменилось, только ужин Делессера съел Косидьер.

Многие узнали пароль префектуры, но лозунга истории не знают. Они, когда было время, поступили точно так, как Александр I: они хотели, чтоб старому порядку был нанесен удар, но не смертельный; а Бенигсена или Зубова у них не было.

И вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся *людской неблагодарности,* и пусть останутся при этой мысли, пусть думают, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многих других.

А еще лучше им вовсе не ходить туда; пусть они нам и нашим детям повествуют о своих великих делах. Сердиться за этот совет нечего: живое меняется, неизменное становится памятником. Они оставили свою бразду так, как свою оставят

за ними идущие, и их обгонит в свою очередь свежая волна, а потом все — бразды… живое и памятники — все покроется всеобщей амнистией вечного забвения!

На меня сердятся многие за то, что я высказываю эти вещи. «В ваших словах, — говорил мне очень почтенный человек, — так и слышится *посторонний зритель».*

А ведь я не посторонним пришел в Европу. Посторонним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, из сил.

Я пять лет не видал светлого лица, не слыхал простого смеха, понимающего взгляда. Всё фельдшеры были возле да прозекторы. Фельдшеры всё пробовали лечить, прозекторы всё указывали им по трупу, что они ошиблись, — ну, и я, наконец, схватил скальпель; может, резнул слишком глубоко с непривычки.

Говорил я не как посторонний, не для упрека, — говорил оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило из терпения. Что я раньше отрезвел — это мне ничего не облегчило. Это и из фельдшеров только самые плохие самодовольно улыбаются, глядя на умирающего. «Вот, мол, я сказал, что он к вечеру протянет ноги, он и протянул».

Так зачем же я вынес?

В 1856 году лучший из всей немецкой эмиграции человек, *Карл Шурц,* приезжал из Висконсина в Европу. Возвращаясь из Германии, он говорил мне, что его поразило нравственное запустение материка. Я перевел ему, читая, мои «Западные арабески», он оборонялся от моих заключений, как от привидения, в которое человек не хочет верить, но которого боится.

— Человек, — сказал он мне, — который так понимает современную Европу, как вы, должен бросить ее.

— Вы так и поступили, — заметил я.

— Отчего же вы этого не делаете?

— Очень просто: я могу вам сказать так, как один честный немец прежде меня отвечал в гордом припадке самобытности — «у меня в Швабии есть свой король», — *у меня в России есть свой народ!*

Сходя с вершин в средние слои эмиграции, мы увидим, что большая часть была увлечена в изгнание благородным порывом и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова, т. е. за их музыку, не давая себе никогда ясного отчета в смысле их. Они их любили горячо и верили в них, как католики любили и верили в латинские молитвы,

не зная по-латыни. «La fraternité universelle comme base de la république universelle»[897] — это кончено и принято! «Point de salaries, et la solidarité des peuples!»[898] — и, покраснейте, этого иному достаточно, чтоб идти на баррикаду, а уж коли француз пойдет, он с нее не побежит.

«Pour moi, voyez-vous, la république n'est pas une forme gouvernementale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera»[899], — говорил мне один участник всех восстаний со времени ламарковских похорон. «Et lorsque la religion sera une république»[900], — добавил я. «Précisément!»[901] — отвечал он, довольный тем, что я вывернул наизнанку его фразу.

Массы эмиграции представляют своего рода вечно открытое угрызение совести перед глазами

---

[897] Сноски: 897

«Всемирное братство как основа всемирной республики» (*фр.*).

[898] Сноски: 898

«Долой наемный труд, и да здравствует солидарность народов!» (*фр.*)

[899] Сноски: 899

«Для меня, видите ли, республика не форма правления, это религия, и она тогда только будет истинной республикой, когда будет религией» (*фр.*).

[900] Сноски: 900

«И когда религия станет республикой» (*фр.*).

[901] Сноски: 901

«Именно так!» (*фр.*)

вождей. В них все их недостатки являются в том преувеличенном и смешном виде, в котором парижские моды являются где-нибудь в русском уездном городе.

И во всем этом есть бездна наивного. За декламацией на первом плане — la mise en scène[902].

Античные драпри и торжественная постановка Конвента так поразила французский ум своей грозной поэзией, что, например, с именем республики ее энтузиасты представляют не внутреннюю перемену, а праздник федерализации, барабанный бой и заунывные звуки tocsin[903]. Отечество возвещается в опасности, народ встает массой на его защиту в то время, как около деревьев свободы празднуется торжество цивизма; девушки в белых платьях пляшут под напев патриотических гимнов, и Франция в фригийской шапке посылает громадные армии для освобождения народов и низвержения царей!

Главный балласт всех эмиграций, особенно французской, принадлежит буржуазии; этим характер их уже обозначен. Марка или штемпель мещанства так же трудно стирается, как печать

---

[902] Сноски: 902
театральный эффект (*фр.*).

[903] Сноски: 903
набата (*фр.*).

дара Духа Святого, которую прикладывают наши семинарии своим ученикам. Собственно купцов, лавочников, хозяев в эмиграции мало, и те попали в нее как-то невзначай, вытолкнутые большей частью из Франции после 2 декабря за то, что не догадались, что на них лежит священная обязанность изменить конституцию. Их тем больше жаль, что положение их совершенно комическое: они потеряны в красной обстановке, которой дома не знали, а только боялись; в силу национальной слабости им хочется себя выдавать за гораздо больших радикалов, чем они в самом деле; но, не привыкнув к революционному jargon, они, к ужасу новых товарищей, беспрестанно впадают в орлеанизм. Разумеется, они были бы все рады возвратиться, если б point d'honneur[904], единственная крепкая, нравственная сила современного француза, не воспрещал просить дозволения.

Над ними стоящий слой составляет лейб-компанейскую роту эмиграции: адвокаты, журналисты, литераторы и несколько военных.

Большая часть из них искали в революции общественного положения, но при быстром

---

[904] Сноски: 904
вопрос чести (*фр.*).

отливе они очутились на английской отмели. Другие бескорыстно увлеклись клубной жизнию и агитациями; риторика довела их до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. В их числе много чистых и благородных людей, но мало способных; они попали в революцию по темпераменту, по отваге человека, который бросается, слыша крик, в реку, забывая об ее глубине и о своем неумении плавать.

За этими детьми, у которых, по несчастию, поседели узкие бородки и несколько очистился от волос остроконечный галльский череп, стояли разные кучки работников, гораздо более серьезных, не столько связанные в одно наружностию, сколько духом и общим интересом.

Их революционерами поставила сама судьба; нужда и развитие сделали их практическими социалистами; оттого-то их дума реальнее, решимость тверже. Эти люди вынесли много лишений, много унижений, и притом молча, — это дает большую крепость; они переплыли Ламанш не с фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положение спасло их от буржуазного suffisance[905], они знают, что им некогда

---

[905] Сноски: 905
самодовольства (*фр.*).

было образоваться; они хотят учиться, в то время как буржуа не больше их учился, но совершенно доволен знанием.

Оскорбленные с детства, они ненавидят общественную неправду, которая их столько давила. Тлетворное влияние городской жизни и всеобщей страсти стяжания превратило у многих эту ненависть в зависть; они, не давая себе отчета, тянутся в буржуазию и терпеть ее не могут, так, как мы не можем терпеть счастливого соперника, страстно желая занять его место или отомстить ему его наслаждения.

Но ненависть ли или зависть, желание ли у одних блага, у других мести — и те и другие будут страшны в будущем западном движении. Они будут на первом плане. Перед их рабочими мышцами, мрачной отвагой и накипевшим желанием мести что сделают консерваторы и риторы? Да что сделают и прочие горожане, когда на зов работника поднимется саранча полей и деревень? Крестьянские войны забыты; последние эмигранты из земледельцев относятся ко временам ревокации Нантского эдикта: Вандея исчезла за пороховым дымом. Но мы обязаны 2 декабрю тем, что своими глазами вновь увидели эмигрантов в деревянных башмаках.

Сельское население на юге Франции, от Пиреней до Альп, приподняло голову после coup d'Etat, как бы спрашивая: «Не пришла ли наша пора?» Восстание было задавлено в самом начале массами солдат; за ними явились военно-судные комиссии; стая гончих жандармов и полицейских ищеек рассыпались по проселочным дорогам и деревушкам. Очаг крестьянина, его семья, эти святыни его, были обесчещены полициею; она требовала показания жены на мужа, сына на отца и по двусмысленному слову родственника, по одному доносу garde champêtre[906] вели в тюрьму отцов семейства, седых, как лунь, стариков, юношей, женщин; судили их кой-как, гуртом, и потом случайно кого выпустили, кого послали в Ламбессу, в Кайенну, другие сами бежали в Испанию, в Савойю, за Варский мост[907].

Крестьян я мало знаю. Видел я в Лондоне

---

[906] Сноски: 906

сельского стражника (*фр.*).

[907] Сноски: 907

Я был в Ницце во время варского и драгиньянского восстания. Двое крестьян, замешанных в дело, пробрались до реки Вара, составляющей границу. Тут они были настигнуты жандармом. Жандарм выстрелил в одного из них и ранил в ногу — тот свалился; в это время другой пустился бежать. Жандарм хотел раненого привязать к лошади, но, боясь упустить того, он выстрелил в голову à bout portant <в упор (*фр.*)> раненому; уверенный, что убил его, он поскакал за другим. Изуродованный крестьянин остался жив.

несколько человек, спасшихся *на лодке* из Кайенны; одна дерзость, безумие этого предприятия лучше целого тома характеризуют их. Они были почти все с Пиренеев. Совсем другая порода, широкоплечая, рослая, с крупными чертами, вовсе не шифонированными[908], как у поджарых французских горожан, с их скудной кровью и бедной бородкой. Разорение их домов и Кайенна воспитали их.

— Мы воротимся еще когда-нибудь, — говорил мне сорокалетний геркулес, большей частью молчавший (все они были не очень разговорчивы), — и посчитаемся!

На других эмигрантов, на их сходки и речи они что-то смотрели чужими… и недели через три они пришли ко мне проститься. «Не хотим даром жить, да и здесь скучно, едем в Испанию, в Сантандр, там обещают поместить нас дровосеками». Взглянул я еще раз на сурово мужественный вид и на мускулярную руку будущих дровосеков и подумал: «Хорошо, если топор их только будет рубить каштановые деревья и дубы».

Дикую, разъедающую силу, накипевшую в гру-

---

[908] Сноски: 908
помятыми (*фр.* chiffonner).

ди городского работника, я видел ближе[909].

Прежде чем мы перейдем к этой дикой, стихийной силе, которая мрачно содрогается, скованная людским насилием и собственным невежеством, и подчас прорывается в щели и трещины разрушительным огнем, наводящим ужас и смятение, — остановимся еще раз на последних *тамплиерах* и классиках французской революции — на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбоннской, демократической буржуазии, которая участвовала лет десять в борьбе с Людвигом-Филиппом, увлеклась событиями 1848 года и осталась им верной и дома и в изгнании.

В их рядах есть люди умные, острые, люди очень добрые, с горячей религией и с готовностью ей пожертвовать всем, — но понимающих людей, — людей, которые бы исследовали свое положение, свои вопросы так, как естествоиспытатель исследует явление или патолог — болезнь, почти вовсе нет. Скорее полное отчаяние, презрение к лицам и делу, скорее праздность упреков и попреков, стоицизм, героизм, все лишения, чем

---

[909] Сноски: 909

В след<ующей> главе: два процесса работника Бартелеми.

исследование… Или такая же полная вера в успех, без взвешивания средств, без уяснения практической цели. Вместо ее удовлетворялись знаменем, заголовком, общим местом… Право на работу… уничтожение пролетариата… Республика и порядок!.. братство и солидарность всех народов… Да как же все это устроить, осуществить? Это — последнее дело. Лишь бы быть во власти, остальное сделается декретами, плебисцитами. А не будут слушаться — «Grenadiers, en avant, aux armes! Pas de charge… baïonnettes»[910]. И религия террора, coup d'Etat, централизации, военного вмешательства сквозит в дыры карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерский протест нескольких аттических умов орлеанской партии, пахнущих Англией на ружейный выстрел.

Террор был величествен в своей грозной неожиданности, в своей неприготовленной, колоссальной мести; но останавливаться на нем с любовью, но звать его без необходимости — странная ошибка, которой мы обязаны реакции. На меня Комитет общественного спасения производит постоянно то впечатление, которое я испытывал в магазине Charrière, Rue de l'Ecole de

---

[910] Сноски: 910

«Гренадеры, вперед, к оружию! Быстрым шагом… в штыки!» (*фр.*)

Médicine[911]: со всех сторон блестят зловещим блеском стали кривые, прямые лезвия, ножницы, пилы… оружия вероятного спасения, но верной боли. Операции оправдываются успехом. Террор и этим похвастаться не может. Он всей своей хирургией не спас республики. К чему была сделана *дантонотомия,* к чему *эбертотомия?* Они ускорили лихорадку Термидора, — а в ней республика и зачахла; люди все так же и еще больше бредили спартанскими добродетелями, латинскими сентенциями и латиклавами à la David, бредили до того, что «Salus populi»[912] одним добрым днем перевели на «Salvum fac imperatorem»[913] и пропели его «соборне» во всем архиерейском орнате[914], в нотрдамском соборе.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, резкие образы их глубоко вываялись в пятом действии XVIII века и останутся в истории до тех пор, пока у рода человеческого не зашибет па-

---

[911] Сноски: 911
Шаррьера на улице Медицинской школы (*фр.*).

[912] Сноски: 912
«Благо народа» (*лат.*).

[913] Сноски: 913
«Храни императора» (*лат.*).

[914] Сноски: 914
полном облачении (*лат.* ornatum).

мяти; но нынешние французы-республиканцы на них смотрят не так, — они в них видят образцы и стараются быть кровожадными в теории и *в надежде приложения.*

Повторяя à la Saint-Just натянутые сентенции из хрестоматий и латинских классов, восхищаясь холодным, риторическим красноречием Робеспьера, они не допускают, чтоб их героев судили, как прочих смертных. Человек, который бы стал говорить о них, освобождаясь от обязательных титулов, которые стоят всех наших «в бозе почивших», был бы обвинен в ренегатстве, в измене, в шпионстве.

Изредка встречал я, впрочем, людей эксцентричных, сорвавшихся с своей торной, гуртовой дороги.

Зато уж французы в этих случаях, закусывая удила и усвоивая себе какую-нибудь мысль, не принадлежащую к сумме *оборотных* мыслей и идей, неслись до того через край, что человек, подавший им эту мысль, сам с ужасом отпрядывал от нее.

В 1854 доктор Cœurderoy, посылая мне из Испании свою брошюру, написал ко мне письмо.

Такого озлобленного крика против современной Франции и ее последних революционеров

мне редко удавалось слышать. Это был ответ Франции на легко перенесенный coup d'Etat. Он сомневался в уме, в силе, в «крови» своей расы, он звал казаков для «поправления выродившегося народонаселения». Он писал ко мне, потому что нашел в моих статьях «то же воззрение». Я отвечал ему, что до исправительной трансфузии[915] крови не иду, и послал ему «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».

Cœurderoy не остался в долгу; он ответил мне, что возлагает всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить дотла, без пощады и сожаления, цивилизацию, обветшавшую, испорченную и которая не имеет сил ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцелевшее письмо его прилагаю:

M-r. A. Herzen

Santander, 27 mai

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les Idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

---

[915] Сноски: 915
переливания (*фр.* transfusion).

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacune des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout, qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg St. Antoine*.

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez-moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un *Philistin* d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré, — mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant les négations et les affirmations les plus hardies du 19e siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

...Sur le point particulier de la Rénovation

ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions ne soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but: *la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale*. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'Absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes:

1) que la Force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme;

2) qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainct que la Force prépare toujours la Révolution que l'Idée a démontrée nécessaire;

3) que l'Idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction;

4) que le Despotisme, au point de vue de la Rapidité, de la Sûreté, de la possibilité d'exécution, est plus apte que la Démocratie à bouleverser un monde;

5) que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave;

6) qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, glaive, épée, et exécuter l'Occident, et trancher le nœud gordien;

etc. etc. etc.

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre, sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation occidentale*. Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre Ier, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un semblable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler

des peuples conquérants, voyez-vous à l'Orient? Avant que la démocratie slave ait trouvé son mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir, qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen; seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi, j'aime mieux voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens: ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds (ou muets) de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand'peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de Liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est si séduisant de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins. Comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes, etc, etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beaucoup plus hypocrites. Ils portent des faux cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribuns que les peuples admirent!

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement. Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos

aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politesse banale.

Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots: la Force et la Destruction de demain — par le tzar, la Pensée et l'ordre d'après-demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mes sympathies.

Ernest Cœurderoy.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq. que le journal *L'Homme* a données à ses lecteurs. Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff? Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire.

La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié *Mes jours d'Exil*.

<ПЕРЕВОД:

«Г-ну А. Герцену

Сантандер, 27 мая

Милостивый государь!

Прежде всего я должен поблагодарить Вас за то, что Вы прислали мне Вашу работу о революци-

онных идеях и их развитии в России. Я уже читал эту книгу, но не мог ее оставить у себя, к великому моему сожалению.

Этим я хочу лишь показать Вам, как я ценю ее по существу и по форме и сколь полезной ее считаю для того, чтобы пробудить сознание в каждой из действующих сил мировой революции, особенно у французов, которые полагают, что революция возможна лишь по *инициативе С.-Антуанского предместья.*

Поскольку Вы оказали мне дружеское внимание, прислав свое произведение, разрешите мне, милостивый государь, выразить Вам мою благодарность, высказав то, что я о нем думаю, — не потому, что я придаю значение своему мнению, но чтобы доказать Вам, что я прочитал Вашу книгу внимательно.

Это великолепное исследование, цельное и оригинальное, в нем есть подлинная мощь, серьезный труд, неприкрытые истины, глубоко волнующие места. Это молодо и сильно, как славянская раса; отлично чувствуешь, что не парижанин, не какой-нибудь кабинетный ученый, не немецкий *филистер* писал эти пламенные строки; не конституционный республиканец, не умеренный социалист-теократ, — но казак

(Вас не пугает это слово, не правда ли, крайний анархист, утопист и поэт, приемлющий самые дерзновенные отрицания и утверждения XIX века. Немногие французские революционеры отваживаются на это.

Что касается, в частности, будущего этнографического обновления, то я нашел в Вашей книге (особенно во введении) много мест, которые, как мне кажется, приближаются к моим взглядам. Хотя Ваши заключения не очень точно сформулированы в этом пункте, я полагаю, что для успеха революции Вы рассчитываете на образование демократической федерации славянских народов, которые дадут Европе общий толчок. Разумеется, между нами нет расхождений в отношении цели: *воскрешение европейского континента в демократической и социальной форме.* Но я считаю, что цивилизация будет уничтожена абсолютизмом. В этом я усматриваю все различие между нами.

Да, я утвердился в этих взглядах, которые иные называют несчастными заблуждениями, и я настаиваю на них, потому что каждодневно все более убеждаюсь в справедливости того:

1) что сила имеет немалое значение в делах нашего микрокосма;

2) что, изучая ход революционных событий во времени и в пространстве, убеждаешься в том, что сила всегда подготовляет революцию, необходимость которой доказана идеей;

3) что идея не может вершить дело крови и разрушения;

4) что деспотизм, с точки зрения быстроты, верности, возможности исполнения, более способен разрушить целый мир, нежели демократия;

5) что русская монархическая армия будет приведена в действие скорее, чем славянская демократическая фаланга;

6) что в Европе только лишь Россия, еще достаточно сплоченная под властью самодержавия, еще довольно мало раздираемая интересами собственников и партий, способна образовать массив, клин, дубину, меч, шпагу, привести в исполнение смертный приговор над Западом и рассечь гордиев узел; и т. д., и т. д., и т. д.

Пусть мне укажут другую силу, способную выполнить подобную задачу; пусть мне покажут где-нибудь демократическую армию в полной готовности, исполненную решимости напасть на народы, на своих братьев, проливать кровь, жечь, разить без оглядки, без колебаний. Тогда я изменю свое мнение.

С Вами я желал бы лишь уточнить вопрос и ограничить его одним-единственным пунктом о *способах полного уничтожения западной цивилизации.* Мне нет необходимости говорить Вам, что наши оценки прошедшего и будущего совпадают. Мы расходимся только относительно настоящего. Вы, так правильно оценивший революционную роль Петра I, почему Вы не допускаете, что кому-либо другому, Николаю или одному из его преемников, предстоит сыграть такую же роль? Чью еще руку, более могущественную, более объемистую, более способную собрать воедино силы народов-завоевателей, видите Вы на Востоке? Прежде чем славянская демократия найдет свой лозунг и выразит смутную тайну своих чаяний, царь перевернет Европу. Судьба цивилизованных наций в его руках, если он того пожелает. Разве мир не трепещет, оттого что он заговорил чуть громче обычного? Признаюсь Вам, сила эта так поражает меня, что я не могу постигнуть, как можно рассчитывать найти другую. Революционеры тоже настолько ощущают необходимость диктатуры для разрушения, что сами желали бы установить ее в случае успеха какой-нибудь новой революции. По-моему, они не заблуждаются относительно необходимости

этого средства, но только оно не соответствует ни их роли, ни их принципам, ни тем силам, которыми они располагают. Что до меня, то я предпочитаю, чтоб эту отвратительную роль могильщика взял на себя деспотизм.

Это письмо и так уже слишком длинно. Я хотел лишь уточнить с Вами этот спорный пункт. Я хорошо чувствую, что нам сейчас необходимо: личная беседа, один час которой дал бы нам больше, чем тысячи писем. Я не оставляю этой надежды и день, когда она осуществится, будет для меня желанным днем. Я думаю, что всегда найду общий язык с революционером, тружеником, ученым, человеком большой отваги.

Что же касается глухих (или немых) революционной традиции 93 года, то я очень опасаюсь, что Вы никогда не превратите их в международных революционеров и свободных людей. Еще в меньшей мере Вы сделаете их сторонниками собственности, права на труд, обмена и договора. Ведь так соблазнительно помечтать о должности комиссара при войсках или в полиции, или же о синекуре представителя народа, опоясанного красивым красным шарфом. Как говорил Рабле, красивые букеты, красивые ленты, нарядный камзол, щегольские гульфики и т. д. и т. д. Боль-

шинство наших революционеров так думает!

Взрослые ничуть не умнее детей, но значительно лицемернее их. Они носят пристежные воротнички и ордена и считают себя знаменитостями. Дети серьезнее играют в солдаты, чем великие монархи и величественные трибуны, которыми восхищаются народы.

Вы, конечно, простите меня за то, что я написал Вам, не имея чести быть лично знаком.

В особенности прошу прощения за то, что я высказал о Ваших произведениях мнение, единственным достоинством которого является его искренность. Я полагаю, по своим собственным впечатлениям, что это наиболее действенное выражение благодарности за подарок, доставивший большое удовольствие. Впрочем, наше положение изгнанников и наши общие стремления, как мне кажется, должны избавить нас обоих от необходимости прибегать к пустым формулам банальной вежливости.

Я кончаю, подытоживая свое мнение в двух словах: завтрашние насилие и разрушение — дело царя, послезавтрашние мысль и порядок — дело международных социалистов, славянских в такой же мере, как германо-латинских.

Примите, милостивый государь, уверение в моем глубоком уважении и симпатии.

Эрнест Кёрдеруа.

Я надеюсь, что Вы опубликуете отдельным томом Ваши письма к эсквайру Линтону, с которыми газета «L'Homme» познакомила своих читателей. Не могли ли бы Вы сообщить мне, существуют ли французские переводы Пушкина, Лермонтова и в особенности Кольцова? То, что Вы о них говорите, возбуждает во мне безграничное желание прочитать их.

Лицо, которое передаст Вам это письмо, — мой друг Л. Шарр, как и мы, изгнанник; ему я посвятил «Мои дни изгнания» (*фр.*)>.

Прибавление

Джон-Стюарт Милль и его книга «On Liberty»

Много я принял горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, без страха и сожаления, высказываю это. С того времени, как я печатал в «Современнике» мои «Письма из Avenue Marigny», часть друзей и недругов показывали знаки нетерпения, негодования, возражали… а тут, как назло, с каждым событием становилось на Западе темнее, угарнее, и ни умные статьи Па-

радоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталамбера, ни замена прусского короля прусским принцем не могли отвести глаз, искавших истины. У нас не хотят этого знать и, натурально, сердятся на нескромного обличителя.

Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надобно выдумать. Разве наивные вольнодумы XVIII века, и в их числе Вольтер и Робеспьер, не говорили, что если и нет бессмертия души, то его надобно проповедовать для того, чтоб держать людей в страхе и добродетели? Или разве мы не видим в истории, как иногда вельможи скрывали тяжкую болезнь или скоропостижную смерть царя и управляли именем трупа или сумасшедшего, как это недавно было в Пруссии?

Ложь ко спасению — дело, может, хорошее, но не все способны к ней.

Я не унывал, впрочем, от порицаний и утешал себя тем, что и здесь мною высказанные мысли принимались не лучше, да еще тем, что они объективно истинны, т. е. независимы от личных мнений и даже добрых целей воспитания, исправления нравов и т. д. Все само по себе истинное рано или поздно взойдет и обличится,

«kommt an die Sonnen»[916], как говорит Гёте.

Одна из причин неудовольствия, собственно, против *моих* мнений антропологически понятна: сверх докучного беспокойства, приносимого разрушением оконченных мнений и окаменелых идеалов, на меня досадовали за то, что я, *свой человек*, с чего же, в самом деле, вдруг вздумал судить и рядить, да еще старших, и каких?

В нашем новом поколении есть странный кряж; в нем спаяны, как в маятниках, самые противуположные элементы: с одной стороны, оно толкается каким-то жестяным, костлявым, неукладчивым самолюбием, заносчивой самонадеянностью, щепетильной обидчивостью; с другой — в нем поражает обескураженная подавленность, недоверие к России, преждевременное старчество. Это естественный результат тридцатилетнего рабства; в нем в иной форме сохранилась наглость начальника, дерзость барина — с подавленностью подчиненного, с отчаянием ревизской души, отпускаемой в услужение.

Пока меня побранивали наши начальники литературных отделений, время шло себе да

---

[916] Сноски: 916
«выйдет на свет Божий», обнаружится (*нем.*).

шло, и наконец прошло целых десять лет. Многое из того, что было ново в 1849, стало в 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасбродным парадоксом — перешло в общественное мнение, и много *вечных и незыблемых* истин прошли с тогдашним покроем платья.

Серьезные умы в Европе стали смотреть серьезно. Их очень немного, — это только подтверждает мое мнение о Западе, но они далеко идут, и я очень помню, как Т. Карлейль и добродушный Олсоп (тот, который был замешан в дело Орсини) улыбались над остатками моей веры в английские формы. Но вот является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant, qui ante nos nostra dixerunt[917], и спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудоном, ни даже Пьером Леру или другим социалистом-изгнанником, раздраженным, — совсем нет: она писана одним из известнейших политических экономов, одним из недавних членов индийского борда, которому три месяца тому назад лорд

---

[917] Сноски: 917

Да погибнут те, кто раньше нас высказал сказанное нами (*лат.*).

Стенли предлагал место в правительстве. Человек этот пользуется огромным, заслуженным авторитетом: в Англии его нехотя читают тори и со злобой — виги, его читают на материке те несколько человек (исключая специалистов), которые вообще читают что-нибудь, кроме газет и памфлетов.

Человек этот Джон-Стюарт Милль.

Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту *свободы мысли, речи и лица; я* говорю «странную», потому что неужели не странно, что там, где за два века Мильтон писал о том же, явилась необходимость снова поднять речь on Liberty[918]. А ведь такие люди, как С. Милль, не могут писать из удовольствия; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Он потому заговорил, что зло стало хуже. Мильтон защищал свободу речи против нападений власти, против насилия, и все энергическое и благородное было с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной: он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против *общества,* против *нравов,* против мертвящей силы равно-

[918] Сноски: 918
о Свободе (*англ.*).

душия, против мелкой нетерпимости, против «посредственности».

Это не негодующий старик-царедворец Екатерины, который брюзжит, обойденный кавалерией, над юным поколением и колет глаза Зимнему дворцу Грановитой палатой. Нет, это человек, полный сил, давно живущий в государственных делах и глубоко продуманных теориях, привыкнувший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель, и он-то, наконец, не вытерпел и, подвергаясь гневу невских регистраторов цивилизации и москворецких книжников западного образования, закричал: «Мы тонем!»

Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его; он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, «добропорядочнее», но пошлее. Он видит в Англии (то, что Токвиль заметил во Франции), что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: «Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — *душа убывает».*

Но зачем же будит он спящих, какой путь, ка-

кой выход он придумал для них? Он, как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и зовет на покаяние. Вряд второй раз подвинешь ли этим отрицательным рычагом людей. Стюарт Милль стыдит своих современников, как стыдил своих Тацит; он их этим не остановит, как не остановил Тацит. Не только несколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу,* но, может, никакой плотиной в мире.

«Люди иного закала, — говорит он, — сделали из Англии то, что *она была,* и только люди другого закала могут ее предупредить от *падения».*

Но это понижение личностей, этот недостаток закала — только патологический факт, и признать его — очень важный шаг для выхода, но не выход. Стюарт Милль корит больного, указывая ему на здоровых праотцев, — странное лечение и едва ли великодушное.

Ну, что же, начать теперь корить ящерицу допотопным ихтиосавром — виновата ли она, что она маленькая, а тот большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, закричал со страстей и с горя, как богатыри в наших сказках: «Есть ли в поле жив человек?»

Зачем же он его звал? Затем, чтоб сказать ему,

что он выродившийся потомок сильных праотцев и, следственно, должен сделаться таким же, как они.

Для чего? — Молчание.

И Роберт Оуэн звал людей лет семьдесят сряду и тоже без всякой пользы; но он звал их *на что-нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопия, фантазия, или истина — нам теперь до этого дела нет; нам важно то, что он звал с целью; а С. Милль, подавляя современников суровыми рембрандтовскими тенями времен Кромвеля и пуритан, хочет, чтоб вечно обвешивающие, вечно обмеривающие лавочники сделались из какой-то поэтической потребности, из какой-то душевной гимнастики — героями!

Мы можем также вызвать монументальные, грозные личности французского Конвента и поставить их рядом с бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и épiciers[919] и начать речь вроде Гамлета:

> *Look here, upon this picture and on this…*
> *Hyperion's curis, the front of Jove himself;*
> *An eye like Mars…*

---

[919] Сноски: 919
лавочниками (*фр.*).

Look you now, what follows,
Here is your husband…[920]

Это будет очень справедливо и еще больше обидно, но неужели от этого кто-нибудь оставит свой пошлый, но удобный быт, и все это для того, чтоб величаво скучать, как Кромвель, или стоически нести голову на плаху, как Дантон?

Тем было легко так поступать, потому что они были под господством страстного убеждения, d'une idée fixe[921].

Такая idée fixe был католицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху Возрождения, революция в XVIII столетии.

Где же эта святая мономания, этот magnum ignotum[922], этот сфинксовский вопрос нашей цивилизации? Где та могущая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, как сталь, довести душу до того судорожного ожесточения, которое не чувствует

---

[920] Сноски: 920

Смотрите сюда, на этот портрет и на тот… Кудри Гипериона, чело самого Юпитера; взгляд, как у Марса… Посмотрите теперь на другой, вот ваш супруг (*англ.*).

[921] Сноски: 921

навязчивой идеи (*фр.*).

[922] Сноски: 922

великое неизвестное (*лат.*).

ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер?

Посмотрите кругом — что в состоянии одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религия ли папы с его незапятнанным рождением Богородицы или религия без папы с ее догматом воздержания от пива в субботний день? Арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов или идолопоклонство монархии? Суеверие ли в республику или суеверие в парламентские реформы?.. Нет и нет; все это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы.

Только на беду их нет у наших почерневших кумиров, по крайней мере С. Милль не указывает их.

Знает он их или нет — это сказать трудно.

С одной стороны, английскому гению противно отвлеченное обобщение и смелая логическая последовательность; он своим скептицизмом чует, что логическая крайность, как законы чистой математики, неприлагаемы без ввода жизненных условий. С другой стороны, он привык физически и нравственно застегивать пальто на все пугови-

цы и поднимать воротник, это его предостерегает от сырого ветра и от суровой нетерпимости. В той же книге С. Милля мы видим пример этому. Двумя-тремя ударами необычайной ловкости он опрокинул немного падшую на ноги христианскую мораль и во всей книге ничего не сказал о христианстве[923].

С. Милль, вместо всякого выхода, вдруг замечает: «В развитии народов, кажется, есть предел, после которого он останавливается и *делается Китаем».*

Когда же это бывает?

Тогда, отвечает он, когда личности начинают стираться, пропадать в массах, когда все подчиняется принятым обычаям, когда понятие добра и зла смешивается с понятием сообразности или несообразности с принятым. Гнет обычая

---

[923] Сноски: 923

«Христианская нравственность имеет весь характер реакции, это большей частию один протест против язычества. Ее идеал скорее отрицательный, чем положительный, страдательный — чем деятельный. Она больше проповедует воздержание от зла, чем делание добра. Ужас от чувственности доведен до аскетизма. Награды на небе и наказания в аду придают самым лучшим поступкам чисто эгоистический характер, и в этом отношении христианское воззрение гораздо ниже античного. Лучшая часть в наших смутных понятиях об общественных обязанностях взята из греческих и римских источников. Все доблестное, благородное, самое понятие чести передано нам светским воспитанием нашим, а не духовным, проповедующим слепое повиновение как высшую добродетель». J.-S. Mill.

останавливает развитие: развитие, собственно, и состоит из стремления к *лучшему* от обычного. Вся история состоит из этой борьбы, и если большая часть человечества не имеет истории, то это потому, что жизнь ее совершенно подчинена обычаю.

Теперь следует взглянуть, как наш автор рассматривает современное состояние образованного мира. Он говорит, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все идет к *посредственности,* лица теряются в толпе. Эта collective mediocrity[924] ненавидит все резкое, самобытное, выступающее; она проводит над всем общий уровень. А так как в среднем разрезе у людей не много ума и не много желаний, то сборная посредственность, как топкое болото, понимает, с одной стороны, все желающее вынырнуть, а с другой — предупреждает беспорядок эксцентричных личностей воспитанием новых поколений в такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведения состоит преимущественно в том, чтоб жить, как другие. «Горе мужчине, а особливо женщине, которые вздумают делать то, *чего никто не делает;* но горе

[924] Сноски: 924
коллективная посредственность (*англ.*).

и тем, которые не делают *того, что делают все».* Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли; люди занимаются своими *делами и* иной раз для развлечения шалят в филантропию (philantropic hobby[925]) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то среде принадлежит сила и власть; самое правительство по той мере мощно, по какой оно служит органом господствующей среды и понимает ее инстинкт.

Какая же это державная среда? «В Америке к ней принадлежат все белые, в Англии господствующий слой составляет *среднее состояние»*[926].

С. Милль находит одно различие между мертвой неподвижностью восточных народов и современным мещанским государством. И в нем-то, мне кажется, находится самая горькая капля из всего кубка полыни, поданного им. Вместо азиатского, косного покоя, современные европейцы живут, говорит он, в пустом беспокойстве, в бессмысленных переменах: «Отвергая особности, мы

---

[925] Сноски: 925

филантропическая забава (*англ.*).

[926] Сноски: 926

Пусть читатели вспомнят, что было сказано об этом в «Западных арабесках», «Полярная звезда» на 1857 год.

не отвергаем перемен, лишь бы они были всякий раз сделаны *всеми.* Мы бросили своеобычную одежду наших отцов и готовы менять два-три раза в год покрой нашего платья, но с тем, чтоб все меняли его, и это делается не из видов красоты или удобства, а для самой перемены!»

Если личности не высвободятся от этого утягивающего омута, от замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, *сделается Китаем».*

Вот мы и возвратились и стоим перед тем же вопросом. На каком основании будить спящего? Во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая в мелочь вдохновится, сделается недовольна своей теперешней жизнию с железными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изделиями?

Личности не выступают оттого, что нет достаточного повода. За кого, за что или против кого им выступать? Отсутствие сильных деятелей — не причина, а последствие.

Точка, линия, после которой борьба между желанием *лучшего* и сохранением *существующего* оканчивается в пользу сохранения, наступает (кажется нам) тогда, когда господствующая, деятельная, *историческая* часть народа близко подходит к такой форме жизни, которая соответ-

ствует ему; это своего рода насыщение, сатурация; все приходит в равновесие, успокоивается, продолжает вечное одно и то же до катаклизма, обновления или разрушения. Semper idem[927] не требует ни огромных усилий, ни грозных бойцов; в каком бы роде они ни были, они будут лишние: середь мира не нужно полководцев.

Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которая наибольше отстоялась, — на страну, которой Европа начинает седеть, — на Голландию: где ее великие государственные люди, где ее великие живописцы, где тонкие богословы, где смелые мореплаватели? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятется, не бушует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои смеющиеся деревни на обсушенных болотах, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: «Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели завещали мне это богатство, мои великие художники украсили мои стены и церкви, мне хорошо, — чего же вы от меня хотите? Резкой борьбы с правительством? Да разве оно теснит?

---

[927] Сноски: 927
Всегда то же самое (*лат.*).

У нас и теперь свободы больше, нежели во Франции когда-либо бывало».

Да что же из этой жизни?

Что выйдет? Да вообще, *что* из жизни выходит? А потом — разве в Голландии нет частных романов, коллизий, сплетней? Разве в Голландии люди не любятся, не плачут, не хохочут, не поют песни, не пьют скидама, не пляшут в каждой деревне до утра? К тому же не следует забывать, что, с одной стороны, они пользуются всеми плодами образования, наук и художеств, а с другой — им бездна дела: гранпасьянс торговли, меледа хозяйства, воспитание детей по образу и подобию своему; не успеет голландец оглянуться, обдосужиться, а уж его несут на «Божью ниву» в щегольски отлакированном гробе, в то время как сын уж запряжен в торговое колесо, которое необходимо следует беспрестанно вертеть, а то дела остановятся.

Так можно прожить тысячу лет, если не помешает какое-нибудь второе пришествие Бонапартова брата.

От старших братий я прошу позволение отступить к меньшим.

Мы не имеем достаточно фактов, но можем предположить, что животные породы, так,

как они установились, представляют последний результат долгого колебанья разных видоизменений, ряда совершенствований и достижений. Эта история делалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нерв.

Допотопные животные представляют какую-то героическую эпоху этой *Книги Бытия;* это титаны и богатыри; они мельчают, уравновешиваются с новой средой и, как только достигают довольно ловкого и прочного типа, начинают типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака в «Одиссее» похожа, как две капли воды, на всех наших собак. И это не все: кто сказал, что животные политические или общественные, живущие не только стадом, но и с некоторой организацией, как муравьи и пчелы, что они так сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Миллионы поколений легли и погибли прежде, чем они устроились и упрочили свои *китайские* муравейники.

Я желал бы уяснить этим, что если какой-нибудь народ дойдет до этого состояния соответственности внешнего общественного устройства с своими потребностями, то ему нет никакой внутренней необходимости до перемены потребностей идти вперед, воевать, бунтовать,

производить эксцентрические личности.

Покойное поглощение в стаде, в улье — одно из первых условий сохранения достигнутого.

До этого полного покоя мир, о котором говорит С. Милль, не дошел. Он после всех своих революций и потрясений не может ни устояться, ни отстояться: бездна дряни наверху, все мутно, нет ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной белизны. В нем множество неспетого, уродливого, даже болезненного, и в этом отношении ему предстоит, действительно, на его собственном пути еще шаг вперед. Ему надобно приобрести не энергические личности, не эксцентрические страсти, а честную мораль своего положения. Англичанин перестанет обвешивать, француз — помогать всякой полиции, этого требует не только respectability, но и прочность быта.

Тогда Англия может, по словам С. Милля, превратиться в Китай (и, конечно, в усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е. облегчая его по мере возрастания обязательного обычая, который лучше всех судов и наказаний заморит волю. А Франция может в это время взойти в красивое военное русло персидской

жизни, расширенное всем, что образованная централизация дает в руки власти, вознаграждая себе за потерю всех человеческих прав блестящими набегами на соседей и приковывая другие народы к судьбам централизованной деспотии… Черты зуавов уже теперь больше принадлежат азиатскому типу, чем европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятия, я тороплюсь сказать, что здесь речь идет ни о моих желаниях, ни даже о моих мнениях. Труд мой чисто логический, я хотел *развернуть скобки* формулы, в которой выражен результат С. Милля, я хотел от его личностей-дифференциалов взять исторический интеграл.

Стало быть, вопрос не может быть в том, учтиво ли пророчить Англии судьбы Китая (это же сделал не я, а он сам) и деликатно ли предсказывать Франции, что она будет Персией. Хотя, по справедливости, я и не знаю, отчего же Китай и Персию можно безнаказанно оскорблять. Вопрос действительно важный, до которого С. Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подседы и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшуюся траву? А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ,

чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество и проголодь, позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на десять тысяч, в пример, ободрение и усмирение прочим, разбогатеть и сделаться из снедаемого обедающим.

Вопрос этот разрешат события, — теоретически его не разрешишь.

Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы.

Но если народ сломит, неминуем *социальный переворот!*

Не это ли и есть *идея,* которая может быть произведена в idée fixe, несмотря на пожимание плеч аристократии, ни на скрежет зубов мещан?

Народ это чует и очень; прежней детской веры в законность или по крайней мере в справедливость того, что делается, нет; есть страх перед силой и неуменье возвести в общее правило частную боль, но слепого доверия нет. Во Франции народ грозно заявил свой протест в то самое время, когда среднее состояние в упоении от власти и силы венчало себя на царство под именем республики, и, развалясь с Маррастом на креслах Людовика XV в Версале, диктовало законы;

народ восстал с отчаяния, видя, что он опять остался за дверями и без куска хлеба; он восстал варварски, не имея никакого решения, без плана, без вождей, без средств, но в энергических личностях у него недостатка не было, и еще больше — он, с другой стороны, вызвал этих хищных, кровожадных коршунов вроде Каваньяка.

Народ побили наголову. Вероятности Персии *поднялись* и с тех пор всё идут в гору.

Как английский работник поставит свой социальный вопрос, мы не знаем, но воловья упорность его велика. С его стороны числовое большинство, но сила не с его стороны. Число ничего не доказывает. Три-четыре линейных казака да два-три гарнизонных солдата водят из Москвы в Сибирь по пятисот колодников.

Если народ и в Англии будет побит, как в Германии во время крестьянских войн, как во Франции в Июньские дни, — тогда Китай, пророчимый Стюартом Миллем, не далек. Переход в него сделается незаметно, не утратится, как мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкие, люди чувствительные говорят, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу,

как согласиться с ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоит именно в том, что та идея, которая может спасти народ и устремить Европу к новым судьбам, *невыгодна* господствующему классу, что ему, если б он был последователен и смел, *выгодно* только государство с американским невольничеством![928]

<Глава IV>
Два процесса

Rule, Britannia![929]

1. Дуэль[930]

В 1853 году известный коммунист Виллих познакомил меня с парижским работником *Бартелеми.* Имя его я знал прежде по июньскому процессу, по приговору и, наконец, по его бегству

---

[928] Сноски: 928

Этот разбор книги Д.-С. Милля мы берем из V книжки «Полярной звезды», которая выйдет к 1 маю.

[929] Сноски: 929

Правь, Британия! (*англ.*)

[930] Сноски: 930

Рассказ этот относится к отрывку, помещенному в VI кн. «Полярной звезды».

из Бель-Иля.

Он был молод, невысокого роста, но мускульно сильного сложения; черные, как смоль, и курчавые волосы придавали ему что-то южное; лицо его, слегка отмеченное оспой, было красиво и резко. Постоянная борьба воспитала в нем непреклонную волю и уменье управлять ею. Бартелеми был один из самых цельных характеров, которых мне случилось видеть. Школьного, книжного образования он не имел, кроме по своей части: он был отличным механиком. Заметим мимоходом, что из числа механиков, машинистов, инженеров, работников на железных дорогах вышли самые решительные бойцы июньских баррикад.

Жизненная мысль его, страсть всего его существования была неутолимая, спартаковская жажда восстания рабочего класса против среднего сословия. Мысль эта у него была неразрывна с свирепым желанием истребления буржуазии.

Какой комментарий дал мне этот человек к ужасам 93 и 94 года, к сентябрьским дням, к той ненависти, с которой ближайшие партии уничтожали друг друга! В нем я наглазно видел, как человек может соединять желание крови с гуманностью в других отношениях, даже с нежностью и как человек может быть правым перед

совестью, посылая, как Сен-Жюст, десятки людей на гильотину.

«Чтоб революция в десятый раз не была украдена из наших рук, — говорил Бартелеми, — надобно *дома, в нашей семье* сломить голову злейшему врагу. За прилавком, за конторкой мы его всегда найдем — в *своем стане* следует его побить!» В его листы проскрипции входила почти вся эмиграция: Виктор Гюго, Маццини, Виктор Шельшер и Кошут. Он исключал очень немногих и в том числе, я помню, Луи Блана.

Особым, задушевным предметом его ненависти был Ледрю-Роллен. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лицо Бартелеми судорожно подергивалось, когда он говорил об «этом диктаторе буржуазии».

А говорил он мастерски, этот талант становится реже и реже. Публичных говорунов в Париже, и особенно в Англии, бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевых карандашей, наемные светские и духовные ораторы в парках — все они имеют удивительную способность *проповедовать,* но говорить *для комнаты* умеют немногие.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная в одну точку, действовала,

как пламя паяльной трубки. Он говорил плавно, не возвышая голоса, не махая руками; его фразы и выбор слов были правильны, чисты и совершенно свободны от трех проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Откуда же взял этот работник, воспитанный в душных мастерских, где ковали и тянули железо для машин, в душных парижских закоулках, между питейным домом и наковальнею, в тюрьме и на каторжной работе, верное понятие меры и красоты, такта и грации, — понятие, утраченное буржуазной Францией? Как он умел сохранить естественность языка середь вычурных риторов, гасконцев революционной фразы?

Это действительно задача.

Видно, около мастерских веет воздух посвежее. Впрочем, вот его жизнь.

Ему не было двадцати лет, когда он замешался в какую-то эмёту[931] при Людвиге-Филиппе. Жандарм остановил его, и так как он стал ему что-то говорить, то жандарм хватил его кулаком в лицо. Бартелеми, которого держал муниципал,

---

[931] Сноски: 931
мятеж (*фр.* émeute).

рванулся, но не мог ничего сделать. Удар этот пробудил тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работник, встал на другой день переродившимся.

Надобно заметить, что арестованного Бартелеми полиция отпустила, найдя его невиноватым. Об обиде, причиненной ему, никто и говорить не хотел. «Зачем ходить по улицам во время эмёты! Да и как найти теперь жандарма!»

Вот как. Бартелеми купил пистолет, зарядил его и пошел бродить около тех мест; побродил день-другой — вдруг на углу стоит жандарм. Бартелеми отвернулся и взвел курок.

— Вы меня узнали? — спросил он полицейского.

— Еще бы нет.

— Так вы помните, как вы?

— Ну, ступайте, ступайте своей дорогой, — сказал жандарм.

— Счастливого и вам пути, — отвечал Бартелеми и спустил курок.

Жандарм повалился, а Бартелеми пошел. Жандарм был смертельно ранен, но не умер.

Бартелеми судили как простого убийцу. Никто не взял в расчет величину обиды, особенно по понятиям французов, невозможность работ-

ника послать ему вызов, невозможность сделать процесс. Бартелеми был осужден на *каторжную работу*. Это был третий пансион, в котором он воспитывался после кузницы и тюрьмы. При переборе дел министром юстиции Кремье, после Февральской революции, Бартелеми выпустили.

Пришли Июньские дни. Бартелеми, принадлежавший к горячим последователям Бланки, явился тут во весь рост.

Он был схвачен, геройски защищая баррикаду, и сведен в форты. Одних победители расстреливали, другими набивали тюльерийские подвалы, третьих отсылали в форты и там иногда расстреливали, случайно, больше, чтоб очистить место.

Бартелеми уцелел; в суде он и не думал оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимого, чтоб из нее сделать трибуну для обвинения Национальной гвардии. Ему мы обязаны многими подробностями о каннибальских подвигах защитников порядка, сделанных втихомолку, некоторым образом семейно. Несколько раз президент приказывал ему молчать и, наконец, перервал его речь приговором на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лет (у меня нет перед глазами июньского процесса).

Бартелеми был с другими отправлен в Belle-Ile.

Года через два он бежал оттуда и явился в Лондон с предложением ехать назад и устроить бегство шести заключенных. Небольшая сумма денег, которую он просил (тысяч 6–7 фр.), была ему обещана, и он, одевшись аббатом, с молитвенником в руке отправился в Париж, в Бель-Иль, все устроил и возвратился в Лондон за деньгами. Говорят, что дело не состоялось за спором, освобождать ли Бланки или нет. Сторонники Барбеса и других лучше желали оставить несколько человек друзей в тюрьме, чем освободить одного врага.

Бартелеми уехал в Швейцарию. Он разошелся со всеми партиями и отстал от них; с ледрю-ролленистами он был заклятый враг, но он не был другом и с своими; он был слишком резок и угловат, крайние мнения его были неприятны запевалам и отпугивали слабых. В Швейцарии он особенно занялся ружейным мастерством. Он изобрел особенного устройства ружье, которое заряжалось по мере выстрелов и таким образом давало возможность пустить ряд пулей в одну точку, друг за другом. Этим ружьем он думал убить Наполеона, но дикие страсти Бартелеми два раза спасли Бонапарта от человека, в котором решимости было не меньше, чем у Орсини.

В партии Ледрю-Роллена находился лихой человек, бретер, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежал к особому типу людей, который часто встречается между польскими панами и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими в деревне, к ним принадлежал Денис Давыдов и его «собутыльник» Бурцов, Гагарин — Адамова Головка и секундант Ленского Зарецкий. В вульгарной форме они встречаются между прусскими «юнкерами» и австрийским казарменным брудерством[932]. В Англии их совсем нет, во Франции они дома, как рыба в воде, но рыба с почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безрассудства и очень недальние. Они всю жизнь живут воспоминанием двух-трех случаев, в которых они прошли сквозь огонь и воду, кому-нибудь обрубили уши, простояли под градом пуль. Случается, что они сперва наклеплют на себя отважный поступок, а потом действительно его сделают, чтоб подтвердить свои слова. Они смутно понимают, что этот задор — их сила, единственный интерес, которым они могут похвастаться, — а хвастать-

[932] Сноски: 932
Братством (*нем.* Bruder).

ся им хочется смертельно. При этом они часто хорошие товарищи, особенно в веселой беседе и до первой размолвки, за своих стоят грудью и вообще имеют больше военной отваги, чем гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки в картах и в жизни, ланскене всякого отчаянного предприятия, особенно если притом можно надеть мундир с генеральским шитьем, схватить денег, крестов и потом снова успокоиться на несколько лет в бильярдной или кофейной. А уж помогая Наполеону ли в Страсбурге, герцогине ли Беррийской в Блуа или красной республике в предместии св. Антона — все равно. Храбрость и удача для них и для всей Франции покрывают все.

Курне начал свою карьеру во флоте во время ссоры Франции с Португалией. Он с несколькими товарищами влез на португальский фрегат, овладел экипажем и взял фрегат. Случай этот определил и окончил дальнейшую жизнь Курне. Вся Франция говорила о молодом мичмане; далее он не пошел и так же кончил свою карьеру абордажем, которым начал ее, как если б он на нем был убит наповал. Из флота он был впоследствии исключен. В Европе царил глухой мир; Курне поскучал, поскучал и стал воевать на свой сал-

тык. Он говорил, что у него было до двадцати дуэлей; положим, что их было десять, — и этого за глаза довольно, чтоб его не считать серьезным человеком.

Как он попал в красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли он во французской эмиграции не играл. Рассказывали об нем разные анекдоты, как он в Бельгии поколотил полицейского, который хотел его арестовать, и ушел от него, и другие проделки в том же роде. Он считал себя «одной из первых шпаг во Франции».

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненного, по-своему, необузданнейшим самолюбием, столкнувшись с надменной храбростью Курне, должна была привести к бедствиям. Они ревновали друг друга. Но, принадлежа к разным кругам, к враждебным партиям, они могли всю жизнь не встречаться. Добрые люди братски помогли делу.

Бартелеми имел на Курне какой-то зуб за письма, посланные ему через Курне из Франции, которые до него не дошли. Очень вероятно, что в этом деле он не был виноват; вскоре к этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился в Швейцарии с одной актрисой, итальянкой, и был с нею в связи. «Какая жалость, — говорил

Курне, — что этот социалист из социалистов пошел на содержание к актрисе». Приятели Бартелеми тотчас написали ему это. Получив письмо, Бартелеми бросил свой проект ружья и свою актрису и прискакал в Лондон.

Мы уже сказали, что он был знаком с Виллихом. Виллих был человек с чистым сердцем и очень добрый прусский артиллерийский офицер; он перешел на сторону революции и сделался коммунистом. Дрался в Бадене за народ, начальствуя орудиями во время Геккерова восстания, и когда все было побито, уехал в Англию. В Лондон он явился без гроша денег, попробовал давать уроки математики, немецкого языка — ему не повезло. Он бросил учебные книги и, забывая бывшие эполеты, геройски стал работником. С несколькими товарищами они завели мастерскую щеточных изделий; их не поддержали. Виллих не терял надежды ни на восстание Германии, ни на поправку своих дел; однако дела не поправлялись, и он надежду на тевтонскую республику увез с собою в Нью-Йорк, где получил от правительства место землемера.

Виллих понял, что дело с Курне примет очень дурной оборот, и сам себя предложил в посредники. Бартелеми вполне верил Виллиху и поручил

ему дело. Виллих отправился к Курне; твердый, спокойный тон Виллиха подействовал на «первую шпагу»; он объяснил историю писем; после, на вопрос Виллиха «уверен ли он, что Бартелеми жил на содержании у актрисы?», Курне сказал ему, что «он повторил слух и что жалеет об этом».

— Этого, — сказал Виллих, — совершенно достаточно, — напишите что вы сказали на бумаге, отдайте мне, и я с искренной радостию пойду домой.

— Пожалуй, — сказал Курне и взял перо.

— Так это вы будете извиняться перед каким-нибудь Бартелеми? — заметил другой рефюжье, взошедший в конце разговора.

— Как извиняться? И вы принимаете это за извинение?

— За действие, — сказал Виллих, — честного человека, который, повторивши клевету, жалеет об этом.

— Нет, — сказал Курне, бросая перо, — этого я не могу.

— Не сейчас же ли вы говорили?

— Нет, нет, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, что я «сказал это потому, что хотел сказать».

— Брависсимо! — воскликнул другой рефюжье.

— На вас, м. г., падет ответственность за будущие несчастья, — сказал ему Виллих и вышел вон.

Это было вечером. Он зашел ко мне, не видавшись еще с Бартелеми; печально ходил он по комнате, говоря: «Теперь дуэль неотвратима! Экое несчастие, что этот рефюжье был налицо».

«Тут не поможешь, — думал я. — Ум молчит перед диким разгаром страстей, а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерий[933] и разных хористов в амфитеатре!..»

Через день, утром, я шел по Пель-Мелю; Виллих скорыми шагами торопился куда-то, я остановил его; бледный и встревоженный, обернулся он ко мне:

— Что?

— Убит наповал.

— Кто?

— Курне, я бегу к Луи Блану за советом, что делать.

— Где Бартелеми?

— И он, и его секундант, и секунданты Курне в тюрьме; один из секундантов только не взят;

---

[933] Сноски: 933
партий, кружков (*фр.* coterie).

по английским законам Бартелеми можно повесить.

Виллих сел на омнибус и уехал. Я остался на улице, постоял, постоял, повернулся и пошел опять домой.

Часа через два пришел Виллих. Луи Блан принял, разумеется, деятельное участие, хотел посоветоваться с известными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дело так, чтоб следователи не знали, кто стрелял и кто был свидетелем. Для этого надобно было, чтоб обе стороны говорили одно и то же. В том, что английский суд не захочет в деле дуэли употреблять полицейские уловки — в этом все были уверены.

Надобно было передать это приятелям Курне, но никто из знакомых Виллиха не ездил ни к ним, ни к Ледрю-Роллену, — Виллих поэтому отправил меня к Маццини.

Я его застал сильно раздраженным.

— Вы, верно, приехали, — сказал он, — по делу этого убийцы?

Я посмотрел на него, намеренно помолчал и сказал:

— По делу *Бартелеми.*

— Вы с ним знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю…

У Курне, у несчастного Курне, были тоже приятели и друзья…

— Которые, вероятно, не называли его разбойником за то, что он был на двадцати дуэлях, на которых, кажется, *не он* был убит.

— Теперь ли поминать об этом.

— Я отвечаю.

— Что же, теперь спасать *его* из петли?

— Я полагаю, что особенного удовольствия никому не будет, если повесят человека, который себя так вел, как Бартелеми на июньских баррикадах. Впрочем, речь идет не о нем одном, а и о секундантах Курне.

— Его не повесят.

— Почем знать, — заметил хладнокровно молодой английский радикал, причесанный à la Jésus, молчавший все время и подтверждавший слова Маццини головой, дымом сигары и какими-то неуловимыми *полифтонгами,* в которых пять-шесть гласных, сплюснутых вместе, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имеете против этого?

— Мы любим и уважаем закон.

— Не оттого ли, — заметил я, придавая добродушный вид моим словам, — все народы больше уважают Англию, чем любят англичан.

— Оеуэ? — спросил радикал, а может, и отвечал.

— В чем дело? — перебил Маццини.

Я рассказал ему.

— Они уже сами думали об этом и пришли к тому же результату.

Процесс Бартелеми имеет чрезвычайный интерес. Редко английский и французский характер обличались с такой резкостью, в такой тесной и удобоизмеримой раме.

Начиная с места поединка, все было нелепо. Они дрались близ Виндзора. Для этого надобно было по железной дороге (которая *только* идет в Виндзор) отъехать несколько десятков миль *от границы внутрь* королевства, в то время как вообще люди дерутся на границе, близ кораблей, лодок и пр. Выбор Виндзора, сверх того, сам по себе был никуда не годен: королевский дворец, любимая резиденция Виктории, разумеется, в полицейском отношении находится под двойным надзором. Я полагаю, что место это было выбрано очень просто, потому что французы из всех окрестностей Лондона только и знают *Ришмон и Вансор.*

Секунданты взяли *на всякий случай* рапиры с отточенными концами, хотя и знали, что про-

тивники будут стреляться. Когда Курне пал, все, за исключением одного секунданта, который уехал особо и вследствие того спокойно пробрался в Бельгию, поехали вместе, *не забыв с собою взять* рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцию в Лондоне, телеграф уже давно известил полицию. Полиции искать было нечего: «четыре человека, с бородами и усами, в фуражках, говорящие по-французски и с завернутыми рапирами», были взяты выходя из вагонов.

Как же все это могло случиться? Не нам, кажется, учить французов прятаться от полиции. Злее, расторопнее, безнравственнее и неутомимее в своем усердии нет полиции в мире, как французская. Во время Людвика-Филиппа *ищущий* и *искомый* играли мастерски свою партию, каждый ход был рассчитан (теперь это не нужно: полиция по-русски, вперед говорит *шах и мат),* но ведь время Людвика-Филиппа не за горами. Каким же образом такой умный человек, как Бартелеми, и такие бывалые люди, как секунданты Курне, наделали столько промахов?

Причина одна и та же: совершенное незнание Англии и английских законов. Они слыхали,

что никого арестовать нельзя без «ууаранд»[934]; они слыхали о каком-то «абеас корпюс», по которому следует выпустить человека по требованию адвоката, и полагали, что они доедут домой, переоденутся и будут в Бельгии, когда утром за ними придет одураченный констабль, *непременно* с палочкой (как их описывают во французских романах), и скажет, увидя, что их нет: «Goddamn!»[935], — несмотря на то, что ни констабли палочек не носят, ни англичане не говорят «goddamn!».

Арестованных посадили в Surrey'скую тюрьму. Начались посещения, поехали дамы, поехали приятели убитого Курне. Полиция, разумеется, тотчас догадалась, в чем дело и как оно было; впрочем, этого нельзя ей поставить в заслугу: приятели и неприятели Бартелеми и Курне кричали в трактирах и public-гаузах[936] о всех подробностях дуэли, разумеется, прибавляя и такие, которых вовсе не было и совершенно не могло быть. Но официально полиция *не хотела* знать,

---

[934] Сноски: 934
приказа, ордера (*англ.* warrant).

[935] Сноски: 935
«Черт побери!» (*англ.*)

[936] Сноски: 936
пивных (*англ. public-house*).

и потому, когда одни посетители спрашивали позволение видеть секунданта «Бароне», другие секунданта Бартелеми, полицейский офицер решился им сказать: «Гг., мы вовсе не знаем, кто из них секундант, кто виноватый, следствие еще не открыло всех обстоятельств дела, называйте, пожалуйста, знакомых ваших по именам». Первый урок!

Наконец, судебный круг дошел до Surrey, назначен был день, в который lord-chief-justice[937] Кембель будет судить дело о неизвестно кем убитом французе Курне и прикосновенных к его убийству лицах.

Я тогда жил возле Primrose-Hill; часов в семь холодно-туманного февральского утра вышел я в Режент-парк, чтоб, пройдя его, отправиться на железную дорогу.

День этот остался очень рельефно в моей памяти. От тумана, покрывавшего парк и белых лебедей, сонно плывших по воде, подернутой искрасно-желтым дымом, до той минуты, когда, далеко за полночь, я сидел с одним lawyer'ом у Верри на Режент-стрите и пил шампанское за здоровье Англии. Все — как на блюдечке.

---

[937] Сноски: 937
лорд верховный судья (*англ.*).

Я английского суда не видал прежде; комизм средневековой mise en scène[938] будит в нас больше воспоминаний оперы-буффы, чем почтенной традиции, но это можно забыть в этот день.

Около десяти часов перед гостиницею, где стоял лорд Кембель, явились первые маски, герольды с двумя трубачами, возвестившие, что лорд Кембель в открытом суде будет в 10 часов судить такое-то дело. Мы бросились к дверям судебной залы, которая была в нескольких шагах; между тем через площадь двигался и лорд Кембель в золоченой карете, в парике, который только уступал в величине и красоте парику его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пешком человек двадцать атторнеев, солиситоров, подобрав мантии, без шляп и в шерстяных париках, намеренно сделанных как можно меньше похожими на человеческие волосы. В дверях я чуть было, вместо суда чиф-джюстиса[939] Кембеля над Бартелеми, не попал на суд, который Бог держал над Курне.

В самых дверях масса народа, вытесняемая полицейскими из залы, и нечеловеческий напор

---

[938] Сноски: 938
постановки (*фр.*).

[939] Сноски: 939
верховного судьи (*англ.* chief-justice).

сзади произвели остановку, — вперед нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейским надоело работать по мелочи, они схватились за руки и разом, дружно пошли на приступ; передний ряд меня так прижал, что дыхание сперлось… Еще и еще храбрый напор осаждающих — и мы вдруг очутились вытесненными, выжатыми, выброшенными на десять шагов далее двери на улицу.

Если б не знакомый адвокат, мы бы совсем не попали: зала была набита; он нас провел особыми дверями, и мы, наконец, уселись, отирая пот и справляясь, целы ли часы, деньги и пр.

Замечательная вещь, что нигде толпа не бывает многочисленнее, плотнее, страшнее, как в Лондоне, а делать «кё»[940] ни в коем случае не умеет; англичане всегда берут своим национальным упорством, давят два часа — что-нибудь да продавят. Меня это много раз дивило при входе в театры: если б люди шли друг за другом, они наверное вошли бы в полчаса, но так как они прут всей массой, то множество передних прибиваются по правой и левой стороне дверей, тут ими овладевает какое-то сосредоточенное

---

[940] Сноски: 940
становиться в очередь (*фр.* faire la queue).

ожесточение, и они начинают давить с боков медленно двигающуюся среднюю струю без всякой пользы для себя, но как бы вымещая на их боках их счастье.

Стучат в двери. Какой-то господин, тоже в маскарадном платье, кричит: «Кто там?» — «Суд», — отвечают с той стороны; отворяются двери, и является Кембель в шубе и в каком-то женском шлафроке; он поклонился на все четыре стороны и объявил, что суд открыт.

Мнение о деле Бартелеми, составленное судом, т. е. Кембелем, было ясно с начала до конца, и он его выдержал, несмотря на все усилия французов сбить его с дороги и ухудшить. Была дуэль. Один убит. Оба — французы, рефюжье, имеющие иные понятия о чести, чем мы; кто из них прав, кто виноват, разобрать трудно. Один сошел с баррикад, другой бретер. Нам нельзя оставить это безнаказанным, но не следует всею силой английских законов побивать иностранцев, тем больше что все они люди чистые и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому — кто убийца, мы не будем добиваться; всё вероятие, что убийца — тот из них, который бежал в Бельгию; подсудимых мы обвиним в участии и спросим

присяжных, виноваты ли они в manslaughter[941] или нет? Обвиненные присяжными, они в наших руках; мы приговорим их к одному из наименьших наказаний и покончим дело. Оправдают их присяжные — Бог с ними совсем, пусть идут на все четыре стороны.

Все это французам обеих партий было нож острый!

Сторонники Курне хотели воспользоваться случаем, чтоб потерять в мнении суда Бартелеми и, не называя его прямо, указать на него как на убийцу Курне.

Несколько человек друзей Бартелеми и сам он домогались покрыть презрением и стыдом Бароне и компанию странной подробностью, которая открылась в полицейском следствии. Пистолеты были взяты у ружейника, после дуэли ему их прислали. Один пистолет был заряжен. Когда началось дело, ружейник явился с пистолетом и с показанием, что под пулей и порохом лежала небольшая тряпочка, так что выстрел был невозможен.

Дуэль шла так: Курне выстрелил в Бартелеми и не попал. У Бартелеми капсуль исправно

---

[941] Сноски: 941
человекоубийстве (*англ.*).

щелкнул, но выстрела не было; ему дали другой капсуль — та же история. Тогда Бартелеми бросил пистолет и предложил Курне драться на рапирах. Курне не согласился; решились еще раз стрелять, но Бартелеми потребовал другой пистолет, на что Курне тотчас согласился. Пистолет был подан, раздался выстрел, и Курне упал мертвый.

Стало быть, пистолет, возвратившийся к ружейнику заряженным, был тот самый, который был в руках Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты достал приятель Курне Пардигон, некогда участвовавший в «Voix du Peuple» и страшно изуродованный в Июньские дни[942].

Если б можно было доказать, что тряпка была положена с целью, т. е. что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы

[942] Сноски: 942

Пардигон, схваченный в Июньские дни, был брошен в тюльерийский подвал; там находилось тысяч до пяти человек. Тут были холерные, раненые, умиравшие. Когда правительство прислало Корменена освидетельствовать положение их, то, отворивши двери, он и доктора отпрянули от удушающей заразительной вони. К окошечкам soupirail <отдушины (*фр.*)> было запрещено подходить. Пардигон, изнемогая от духоты, поднял голову, чтоб подышать; это заметил часовой из Национальной гвардии и сказал ему, чтоб он отошел или он выстрелит. Пардигон медлил; тогда почтенный буржуа опустил дуло и выстрелил в него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть; он упал. Вечером часть арестантов повели в форты, в том числе подняли раненого Пардигона, связали ему руки и повели. Тут известная тревога на Карусельской площади, в которой Национальная гвардия со страха стреляла друг в друга; раненый Пардигон выбился из сил и упал; его бросили на пол в полицейскую кордегардию, и он

остался с связанными руками, лежа на спине и *захлебываясь* своей кровью из раны. Так его застал какой-то политехник, разругавший этих каннибалов и заставивший их снести больного в больницу. Помнится, я этот случай рассказал в «Письмах из Италии и Франции»… но это не мешает протверживать, чтоб не забывать, что такое образованная парижская буржуазия.

покрыты позором и погублены на веки веков.

За такой приятный результат Бартелеми охотно пошел бы на десять лет в каторжную работу или в депортацию.

По следствию оказалось, что лоскуток, вынутый из пистолета, действительно принадлежал Пардигону: он был вырван из тряпки, которой он обтирал лаковые сапоги. Пардигон говорил, что он чистил дуло, надев тряпочку на карандаш, и что, может, вертевши ею, отрезал лоскуток; но друзья Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нету городков от складок…

С своей стороны противники Бартелеми приготовили фалангу свидетелей à décharge[943] в пользу Бароне и его товарищей.

Политика их состояла в том, что атторней со стороны Бароне будет их спрашивать об антецедентах Курне и прочих. Они превознесут их и будут молчать о Бартелеми и его секундантах. Такое единодушное умалчивание со стороны соотечественников и «корелижионеров»[944] должно было, по их мнению, сильно поднять

---

[943] Сноски: 943
защиты (*фр.*).

[944] Сноски: 944
единоверцев (*фр.* coreligionnaire).

в глазах Кембеля и публики одних и сильно уронить других. Призыв свидетелей стоит денег, да и, сверх того, у Бартелеми не было целой ширинги друзей, которым он мог бы отдать приказание говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при следствии, умели красноречиво молчать.

Одного из арестованных свидетелей, Бароне, следопроизводитель спросил, знает ли он, кто убил Курне, или кого он подозревает. Бароне отвечал, что никакие угрозы, никакие наказания не заставят его назвать человека, лишившего жизни Курне, несмотря на то, что покойник был лучший друг его. «Если бы я должен был десяток лет влачить цепи в душной тюрьме, то я и тогда не сказал бы.

Солиситор перебил его хладнокровным замечанием: «Да это ваше право; впрочем, вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете».

И после всего этого они хотели перехитрить — кого же? — *лорда Кембеля?* Я желал бы приложить его портрет для того, чтоб показать всю меру нелепости этой попытки. Старика лорда Кембеля, поседевшего и сморщившегося на своем судейском кресле, читая равнодушным голосом, с шот-

ландским акцентом, страшнейшие evidences[945] и распутывая самые сложные дела с осязательной ясностью, — его хотела перехитрить кучка парижских клубистов… Лорда Кембеля, который никогда не поднимает голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяет себе в самых смешных или сильных минутах высморкаться… Лорда Кембеля, с лицом ворчуньи-старухи, в котором, вглядываясь, вы ясно видите известную метаморфозу, так неприятно удивившую девочку *красную шапочку*, что это вовсе не бабушка, а волк в парике, женском роброне и кацавейке, обшитой мехом.

Зато его лордшипство не осталось в долгу.

После долгих дискуций о тряпочке и после показаний Пардигона защитники Бароне начали вызывать свидетелей.

Во-первых, явился старик рефюжье, товарищ Барбеса и Бланки. Он сначала с некоторым отвращением принял Библию, потом сделал движение рукой, — «была, мол, не была», — присягнул и вытянул шею.

— Давно ли вы, — спросил один из атторнеев, — знакомы с Курне?

---

[945] Сноски: 945
свидетельские показания (*англ.*).

— Граждане, — сказал рефюжье по-французски, — с молодых лет моих преданный одному делу, я посвятил жизнь свою священному делу свободы и равенства… — и пошел было в этом роде.

Но атторней остановил его и, обращаясь к переводчику, заметил: «Свидетель, кажется, не понял вопроса, переведите его на французский».

За ним следовал другой. Пять-шесть французов, с бородами, идущими в рюмочку, и плешивых, с огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконец с волосами, падающими на плечи, и в красных шейных платках, явились один за другим, чтоб сказать вариации на следующую тему: «Курне был человек, которого достоинства превышали добродетели, а добродетели равнялись достоинствам, он был украшение эмиграции, честь партии, жена его неутешна, а друзья утешаются только тем, что остались в живых такие люди, как Бароне и его товарищи».

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, он французский рефюжье… Видал, но не знаю ничего об нем. — При этом свидетель чмокал по-французски ртом.

— Свидетеля такого-то… — сказал атторней.

— Позвольте, — заметила бабушка Кембель голосом мягкого участия, — не беспокойте их больше, это множество свидетелей *в пользу* покойного Курне и подсудимого Бароне нам кажется излишним и вредным, мы не считаем ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы их честность и порядочное поведений следовало доказывать с таким упорством. Сверх того, Курне умер, и нам вовсе не нужно ничего знать о нем, мы призваны судить одно дело о его убиении; все идущее к этому преступлению для нас важно, а события прошлой жизни подсудимых, которых мы равно считаем весьма порядочными джентльменами, нам не нужно знать. Я, с своей стороны, не имею никаких подозрений насчет г. Бароне.

— «А на что у тебя, бабушка, такие хитрые да смеющиеся глаза?»

— «На то, что ртом я, по моему сану, не могу смеяться над вами, милые внучаты, а потому посмеюсь глазами».

Разумеется, что после этого свидетелей с прической внизу и с прической наверху, с военным видом и с кашне всех семи цветов призмы, отпустили не слушавши.

Затем дело пошло быстро.

Один из защитников, представляя присяжным, что подсудимые — иностранцы, совершенно не знающие английских законов, заслуживают всякого снисхождения, прибавил:

— Представьте себе, гг. присяжные, г. Бароне так мало знал Англию, что на вопрос: «Знаете ли вы, кто убил Курне?» отвечал, что если б его в цепях посадили лет на десять в тюремные склепы, то он и тогда бы не сказал имени. Вы видите, что г. Бароне еще имел об Англии какие-то средневековые понятия: он мог думать, что за его умалчивание его можно ковать в цепи, бросить на десять лет в тюрьму. Надеюсь, — сказал он, не удерживая смеха, — что несчастное событие, по которому г. Бароне был несколько месяцев лишен свободы, убедило его, что тюрьмы в Англии несколько улучшились с средних веков и вряд ли хуже тюрем в некоторых других странах. Докажемте же подсудимым, что и суд наш также человечествен и справедлив, и пр.

Присяжные, составленные наполовину из иностранцев, нашли подсудимых «виновными».

Тогда Кембель обратился к подсудимым, напомнил им строгость английских законов, напомнил, что иностранец, ступая на английскую землю, пользуется всеми правами англичанина и за это

должен нести и равную ответственность перед законом. Потом перешел к разнице нравов и сказал, наконец, что он не считал бы справедливым наказать их по всей строгости законов, а потому приговаривает их *к двухмесячному тюремному заключению.*

Публика, народ, адвокаты и мы все были довольны: ждали резкого наказания, но не смели думать о меньшем minimum'е, как три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошел к Бартелеми; он мрачно сжал мне руку и сказал:

— Пардигон-то остался чист, Бароне… — и он пожал плечами.

Когда я выходил из залы, я встретил моего знакомого, lawyer'а: он стоял с Бароне.

— Лучше бы меня, — говорил последний, — на год посадили, чем смешать с этим злодеем Бартелеми.

Суд кончился часов около десяти вечером. Когда мы пришли на железную дорогу, мы застали в амбаркадере толпы французов и англичан, громко и шумно рассуждавших о деле. Большинство французов было довольно приговором,

хотя и чувствовало, что победа не по ту сторону Ламанша. В вагонах французы затянули «Марсельезу».

— Господа, — сказал я, — справедливость прежде всего; на этот раз споемте-ка «Rule, Britannia!».

И «Rule, Britannia» запели!

Бартелеми

Прошло два года… Бартелеми снова стоял перед лордом Кембелем, и на этот раз угрюмый старик, накрывшись черным клобуком, произнес над ним иной приговор.

В 1854 году Бартелеми еще больше отдалился от всех; вечно чем-то занятой, он мало показывался, готовил что-то в тиши; люди, жившие с ним вместе, знали не больше других. Я его видел изредка; он всегда мне показывал большое сочувствие и доверие, но ничего особенного не говорил.

Вдруг разнесся слух о двойном убийстве: Бартелеми убил какого-то мелкого, неизвестного английского купца и потом полицейского агента, который хотел его арестовать. Объяснения, ключа — никакого. Бартелеми молчал перед судьями, молчал в Ньюгете. Он с самого начала признался

в убийстве полицейского; за это его можно было приговорить к смертной казни, а потому он остановился на признании, защищая, так сказать, *свое право* быть повешенным за последнее преступление, не говоря о первом.

Вот что мы узнали мало-помалу. Бартелеми собрался ехать в Голландию. В дорожном платье, с визированным пассом в кармане, с револьвером в другом, в сопровождении женщины, с которой он жил, Бартелеми отправился в девять часов вечером к англичанину, фабриканту содовой воды. Когда он постучался, горничная отворила ему дверь; хозяин пригласил их в парлор и вслед за тем пошел с Бартелеми в свою комнату.

Горничная слышала, как разговор становился крупнее, как он перешел в брань; вслед за тем ее господин отворил дверь и пихнул Бартелеми; тогда Бартелеми вынул из кармана пистолет и выстрелил в него. Купец упал мертвый. Бартелеми бросился вон; испуганная француженка скрылась прежде него и была счастливее. Полицейский агент, слышавший выстрел, остановил Бартелеми на улице; он грозил ему пистолетом, полицейский не пускал. Бартелеми выстрелил… На этот раз больше чем вероятно, что он не хотел

убить агента, а только постращать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолет, в таком близком расстоянии, он его смертельно ранил. Бартелеми пустился бежать, но уже полицейские его заметили, и он был схвачен.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это был просто акт разбоя, что Бартелеми хотел ограбить англичанина. Но англичанин вовсе не был богат. Без полного помешательства трудно предположить, чтоб человек пошел на открытый разбой в Лондоне, в одном из населеннейших кварталов, в знакомый дом, часов в девять вечером, с женщиной, — и все это, чтоб украсть каких-нибудь сто ливров (что-то такое было найдено в комоде убитого).

Бартелеми за несколько месяцев до этого завел какую-то мастерскую крашеных стекол с узорами, арабесками и надписями по особому способу. Он на привилегию истратил фунтов до 60, фунтов 15 недостало, он попросил у меня взаймы и очень аккуратно отдал. Ясно, что тут было что-то важнее простого воровства… Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, его мономания остались. Что он ехал в Голландию только для того, чтобы оттуда пробраться в Париж, — это знали многие.

Едва три-четыре человека остановились в раз-

думье перед этим кровавым делом; остальные все испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повешенным в Англии не респектабельно; иметь связи с человеком, судимым за убийство, — shocking[946]; ближайшие друзья его отшарахнулись…

Я тогда жил в Твикнеме. Прихожу раз домой вечером, меня ждут два рефюжье.

— Мы к вам, — говорят они, — приехали, чтоб вас удостоверить, что мы ни малейшего участия не имели в страшном деле Бартелеми; у нас была общая работа, мало ли с кем приходится работать. Теперь скажут… подумают…

— Да неужели вы за этим приехали из Лондона в Твикнем? — спросил я.

— Ваше мнение нам очень дорого.

— Помилуйте, господа; да я сам был знаком с Бартелеми, и хуже вас, потому что никакой общей работы не имел, но не отрекаюсь от него. Я не знаю дела, суд и осуждение предоставляю лорду Кембелю, а сам плачу о том, что такая молодая и богатая сила, такой талант так воспитался горькой борьбой и средой, в которой жил, что в пущем цвете лет его жизнь потухнет

---

[946] Сноски: 946
скандально (*англ.*).

под рукою палача.

Поведение его в тюрьме поразило англичан: ровное, покойное, печальное без отчаяния, твердое без jactance[947]. Он знал, что для него все кончено, и с тем же непоколебимым спокойствием выслушал приговор, с которым некогда стоял под градом пуль на баррикаде.

Он писал к своему отцу и к девушке, которую любил. Письмо к отцу я читал, — ни одной фразы, величайшая простота; он кротко утешает старика, как будто речь не о нем самом.

Католический священник, который ex officio[948] ходил к нему в тюрьму, человек умный и добрый, принял в нем большое участие и даже просил Палмерстона о перемене наказания, но Палмерстон отказал. Разговоры его с Бартелеми были тихи и исполнены гуманности с обеих сторон. Бартелеми писал ему: «Много, много благодарен я вам за ваши добрые слова, за ваши утешения. Если б я мог обратиться в верующего, то, конечно, одни вы могли бы обратить меня, но что же делать… у меня нет веры!» После его смерти священник писал одной знакомой мне

---

[947] Сноски: 947
самохвальства (*фр.*).

[948] Сноски: 948
по должности (*лат.*).

даме: «Какой человек был этот несчастный Бартелеми! Если б он дольше прожил, может, его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душе!»

Тем больше останавливаюсь я на этом случае, что «Times» со злобой рассказал насмешку Бартелеми над шерифом.

За несколько часов до казни один из шерифов, узнав, что Бартелеми отказался от духовной помощи, счел себя обязанным обратить его на путь спасения и начал ему пороть ту пиетистическую дичь, которую печатают в английских грошовых трактатах, раздаваемых даром на перекрестках. Бартелеми надоело увещание шерифа. Апостол с золотой цепью заметил это и, приняв торжественный вид, сказал ему:

— Подумайте, молодой человек, через несколько часов вы будете не мне отвечать, а Богу.

— А как вы думаете, — спросил его Бартелеми, — Бог говорит по-французски или нет? Иначе я ему не могу отвечать.

Шериф побледнел от негодования, и бледность и негодование дошли до парадного ложа всех шерифских, мэрских, алдерманских вздохов и улыбок, — до огромных листов «Теймса».

Но не один апостольствующий шериф мешал

Бартелеми умереть в том серьезном и нервно поднятом состоянии, которого он искал, которое так естественно искать в последние часы жизни.

Приговор был прочтен. Бартелеми заметил кому-то из друзей, что, уж если нужно умереть, он предпочел бы тихо, без свидетелей потухнуть в тюрьме, чем всенародно, на площади, погибнуть от руки палача. «Ничего нет легче: завтра, послезавтра я тебе принесу стрихнину». Мало одного — двое взялись за дело. Он тогда уже содержался, как осужденный, т. е. очень строго; тем не меньше через несколько дней друзья достали стрихнин и передали ему в белье. Оставалось убедиться, что он нашел. Убедились и в этом…

Боясь ответственности, один из них, на которого могло пасть подозрение, хотел на время покинуть Англию. Он попросил у меня несколько фунтов на дорогу; я был согласен их дать. Что, кажется, проще этого? Но я расскажу это ничтожное дело для того, чтоб показать, каким образом все тайные заговоры французов открываются, каким образом у них во всяком деле компрометирована любовью к роскошной mise en scène бездна посторонних лиц.

Вечером в воскресенье у меня были, по обыкновению, несколько человек польских, итальян-

ских и других рефюжье. В этот день были и дамы. Мы очень поздно сели обедать, часов в восемь. Часов в девять взошел один близкий знакомый. Он ходил ко мне часто, и потому его появление не могло броситься в глаза; но он так ясно выразил всем лицом: «Я умалчиваю!», что гости переглянулись.

— Не хотите ли чего-нибудь съесть или рюмку вина? — спросил я.

— Нет, — сказал, опускаясь на стул, сосуд, отягощенный от тайны.

После обеда он при всех вызвал меня в другую комнату и, сказавши, что Бартелеми достал яд (новость, которую я уже слышал), передал мне просьбу о ссуде деньгами отъезжающего.

— С большим удовольствием. Теперь? — спросил я. — Я сейчас принесу.

— Нет, я ночую в Твикнеме и завтра утром еще увижусь с вами. Мне не нужно вам говорить, вас просить, чтоб ни один человек…

Я улыбнулся.

Когда я взошел опять в столовую, одна молодая девушка спросила меня: «Верно, он говорил о Бартелеми?»

На другой день, часов в восемь утра, взошел Франсуа и сказал, что какой-то француз, которого

он прежде не видел, требует непременно меня видеть.

Это был тот самый приятель Бартелеми, который хотел *незаметно* уехать. Я набросил на себя пальто и вышел в сад, где он меня дожидался. Там я встретил болезненного, ужасно исхудалого черноволосого француза (я после узнал, что он годы сидел в Бель-Иле и потом à la lettre[949] умирал с голоду в Лондоне). На нем был потертый пальто, на который бы никто не обратил внимания, но дорожный картуз и большой дорожный шарф, обмотанный круг шеи, невольно остановили бы на себе глаза в Москве, в Париже, в Неаполе.

— Что случилось?

— Был у вас такой-то?

— Он и теперь здесь.

— Говорил о деньгах?

— Это все кончено — деньги готовы.

— Я, право, очень благодарен.

— Когда вы едете?

— Сегодня… или завтра.

К концу разговора подоспел и наш общий знакомый. Когда путешественник ушел –

— Скажите, пожалуйста, зачем он приезжал? —

---

[949] Сноски: 949
буквально (*фр.*).

спросил я его, оставшись с ним наедине.

— За деньгами.

— Да ведь вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотелось с вами познакомиться; он спрашивал меня, приятно ли вам будет, что же мне было сказать?

— Без сомнения, очень. Но только я не знаю, хорошо ли он выбрал время.

— А разве он вам помешал?

— Нет, а как бы полиция ему не помешала выехать...

По счастью, этого не случилось. В то время как он уезжал, его товарищ усомнился в яде, который они доставили, подумал-подумал и дал остаток его собаке. Прошел день — собака жива, прошел другой — жива. Тогда, испуганный, он бросился в Ньюгет, добился свиданья с Бартелеми через решетку и, улучив минуту, шепнул ему:

— У тебя?

— Да, да!

— Вот видишь, у меня большое сомнение. Ты лучше не принимай: я пробовал над собакой, — никакого действия не было!

Бартелеми опустил голову и потом, поднявши ее и с глазами, полными слез, сказал:

— Что же вы это надо мной делаете!

— Мы достанем другого.

— Не надобно, — ответил Бартелеми, — пусть совершится судьба.

И с той минуты стал готовиться к смерти, не думал об яде и писал *какой-то мемуар, который не выдали* после его смерти другу, которому он его завещал (тому самому, который уезжал).

Девятнадцатого января в субботу мы узнали о посещении священником Палмерстона и его отказе.

Тяжелое воскресенье следовало за этим днем… Мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался один. Лег спать, уснул и тотчас проснулся. Итак, через семь-шесть-пять часов его, исполненного силы, молодости, страстей, совершенно здорового, выведут на площадь и убьют, безжалостно убьют, без удовольствия и озлобления, а еще с каким-то фарисейским состраданием!.. На церковной башне начало бить семь часов. *Теперь* двинулось шествие, и Калкрофт налицо… Послужили ли бедному Бартелеми его стальные нервы? У меня стучал зуб об зуб.

В 11 утра взошел Д<оманже>.

— Кончено? — спросил я.

— Кончено.

— Вы были?

— Был.

Остальное досказал «Times»[950].

Когда все было готово, рассказывает «Times», он попросил письмо той девушки, к которой писал, и, помнится, локон ее волос или какой-то сувенир; он сжал их в руке, когда палач подошел к нему… Их, сжатыми в его окоченелых пальцах, нашли помощники палача, пришедшие снять его тело с виселицы. «Человеческая справедливость, — как говорит «Теймс», — была удовлетворена!»

Я думаю, — да это и дьявольской не показалось бы мало!

Тут бы и остановиться. Но пусть же в моем рассказе, как было в самой жизни, равно останутся следы богатырской поступи… и возле ступня… ослиных и свиных копыт.

Когда Бартелеми был схвачен, у него не было достаточно денег, чтоб платить солиситору; да ему и не хотелось нанимать его. Явился какой-то неизвестный адвокат Геринг, предложивший ему защищать его, — явным образом, чтоб сделать себя известным. Защищал он слабо, но и не надобно забывать, задача была необыкновен-

---

[950] Сноски: 950

Против статьи «Теймса» аббат Roux напечатал:

но трудна: Бартелеми молчал и не хотел, чтоб Геринг говорил о главном деле. Как бы то ни было, Геринг возился, терял время, хлопотал. Когда казнь была назначена, Геринг пришел в тюрьму проститься. Бартелеми был тронут, благодарил его и, между прочим, сказал ему:

— У меня ничего нет, я не могу вознаградить ваш труд ничем, кроме моей благодарности. Хотел бы я вам по крайней мере оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нет, что б я мог вам предложить. Разве мое пальто?

— Я вам буду очень, очень благодарен, я хотел его у вас просить.

— С величайшим удовольствием, — сказал Бартелеми, — но он плох…

— О, я его не буду носить… признаюсь вам откровенно, я уж запродал его, и очень хорошо.

— Как запродали? — спросил удивленный Бартелеми.

— Да, madame Тюссо, для ее… особой галереи.

Бартелеми содрогнулся.

Когда его вели на казнь, он вдруг вспомнил и сказал шерифу:

— Ах, я совсем было забыл попросить, чтоб мое пальто никак не отдавали Герингу!

<Глава V>
«Not guilty»[951]

«…Вчера арестовали на собственной квартире доктора Симона Бернара по делу Орсини…»

Надобно несколько лет прожить в Англии, чтоб понять, как подобная новость удивляет… как ей не сразу веришь… как *континентально* становится на душе!..

На Англию находят, и довольно часто, периодические страхи, и в это время оторопелости не попадайся ей ничего на дороге. Страх вообще безжалостен, беспощаден, но имеет ту выгоду за собой, что он скоро проходит. Страх не злопамятен, он старается, чтоб его поскорее забыли.

Не надобно думать, чтоб трусливое чувство осторожности и тревожного самосохранения лежало в самом английском характере. Это следствие отучнения от богатства и воспитания всех помыслов и страстей на стяжание. Робость в английской крови внесена капиталистами и мещанством; они передают болезненную тревожность свою официальному миру, который

---

[951] Сноски: 951
«Не виновен» (*англ.*).

в представительной стране постоянно подделывается под нравы, голос и деньги имущих. Составляя господствующую среду, они при всякой неожиданной случайности теряют голову и, не имея нужды стесняться, являются во всей беспомощной, неуклюжей трусости своей, не прикрытой пестрым и линялым фуляром французской риторики.

Надобно уметь переждать; как только капитал придет в себя, успокоится за проценты, все опять пойдет своим чередом.

Взятием Бернара думали отделаться от гнева кесарева за то, что Орсини на английской почве обдумывал свои гранаты. Слабодушные уступки обыкновенно раздражают, и вместо спасиба грозные ноты сделались еще грознее, военные статьи в французских газетах запахли еще сильнее порохом. Капитал побледнел, в глазах его помутилось, он уж видел, чуял винтовые пароходы, красные штаны, красные ядра, красное зарево, банк, превращенный в Мабиль с исторической надписью: «Ici l'on danse!»[952] Что же делать? — Не только выдать и уничтожить доктора Симона Бернара, но, пожалуй, срыть гору Сен-Бернар и ее

---

[952] Сноски: 952
«Здесь танцуют!» (*фр.*)

уничтожить, лишь бы проклятый призрак красных штанов и черных бородок исчез, лишь бы сменить гнев союзника на милость.

Лучший метеорологический снаряд в Англии, Палмерстон, показывающий очень верно состояние температуры средних слоев, перевел «очень страшно» на Conspiracy Bill. По этому закону, если бы он прошел, с некоторой старательностью и усердием к службе, каждое посольство могло бы усадить в тюрьму, а в иных случаях и на корабль, любого из врагов своих правительств.

Но, по счастью, температура острова не во всех слоях одинакая, и мы сейчас увидим премудрость английского распределения богатств, освобождающую значительную часть англичан от заботы о капитале. Будь в Англии все до единого капиталисты, Conspiracy Bill был бы принят, а Симон Бернар был бы повешен… или отправлен в Кайенну.

При слухе о Conspiracy Bill и о почти несомненной возможности, что он пройдет, старое англосаксонское чувство независимости встрепенулось; ему стало жаль своего древнего *права убежища,* которым кто и кто не пользовался, от гугенотов до католиков в 1793, от Вольтера и Паоли до Карла X и Людвика-Филиппа? Англи-

чанин не имеет особой любви к иностранцам, еще меньше — к изгнанникам, которых считает бедняками, — а этого порока он не прощает, — но *за право убежища* он держится; безнаказанно касаться его он не позволяет, так точно, как касаться до права митингов, до свободы книгопечатания.

Предлагая Conspiracy Bill, Палмерстон считал, и очень верно, на упадок британского духа; он думал об одной среде, очень мощной, но забыл о другой, очень многочисленной.

За несколько дней до вотирования билля Лондон покрылся афишами: комитет, составившийся для противудействия новому закону, приглашал на митинг в следующее воскресение в Hyde Park; там комитет хотел предложить адрес королеве. В этом адресе требовалось объявление Палмерстона и его товарищей изменниками отечества, их подсудимость и просьба в том случае, если закон пройдет, чтоб королева, в силу ей предоставленного права, отвергла его. Количество народа, которое ожидали в парке, было так велико, что комитет объявил о невозможности говорить речи; параграфы адреса комитет распорядился предлагать на суждение телеграфическими знаками.

Разнесся слух, что к субботе собираются работники, молодые люди со всех концов Англии, что железные дороги привезут десятки тысяч людей, сильно раздраженных. Можно было надеяться на митинг в двести тысяч человек. Что могла сделать полиция с ними? Употребить войско против митинга законного и безоружного, собирающегося для адреса королеве, было невозможно, да и на это необходим был Mutiny Bill; следовало предупредить митинг. И вот в пятницу Милнер-Гибсон явился с своею речью против Палмерстонова закона. Палмерстон был до того уверен в своем торжестве, что улыбаясь ждал счета голосов. Под влиянием будущего митинга часть Палмерстоновых клиентов вотировала против него, и когда большинство, больше 30 голосов, было со стороны Милнер-Гибсона, он думал, что считавший обмолвился, переспросил, потребовал речи, ничего не сказал, а, растерянный, произнес несколько бессвязных слов, сопровождая их натянутой улыбкой, и потом опустился на стул, оглушаемый враждебным рукоплесканием.

Митинг сделался невозможен, не было больше причины ехать из Манчестера, Бристоля, Ньюкастля-на-Тейне… Conspiracy Bill пал, и с ним — Палмерстон с своими товарищами.

Классически-велеречивое и чопорно-консервативное министерство Дерби, с своими еврейскими мелодиями Дизраели и дипломатическими тонкостями времен Кастелри, сменило их.

В воскресенье, часу в третьем, я пошел с визитом и именно к г-же Милнер-Гибсон; мне хотелось ее поздравить; она жила возле Гайд-парка. Афиши были сняты, и носильщики ходили с печатными объявлениями на груди и спине, что по случаю падения закона и министров митинга не будет. Тем не меньше, пригласивши тысяч двести гостей, нельзя было ожидать, чтоб парк остался пуст. Везде стояли густые группы народа, ораторы, взгромоздившись на стулья, на столы, говорили речи, и толпы были возбуждены больше обыкновенного. Несколько полицейских ходили с девичьей скромностью, ватаги мальчишек распевали во все горло: «Pop, goes the weasel!»[953] Вдруг кто-то, указывая на поджарую фигуру француза с усиками, в потертой шляпе, закричал: «A French spy!..»[954] В ту же минуту мальчишки бросились за ним. Перепуганный шпион хотел дать стречка, но,

---

[953] Сноски: 953
«Хлоп! Вот идет ласка!» (*англ.*)

[954] Сноски: 954
«Французский шпион!..» (*англ.*)

брошенный на землю, он уже пошел не пешком: его потащили волоком с торжеством и криком: «French spy, в Серпентину его!», привели к берегу, помокнули его (это было в феврале), вынули и положили на берег с хохотом и свистом. Мокрый, дрожащий француз барахтался на песке, выкликая *в парке:* «Кабман! Кабман!»[955]

Вот как повторилось через пятьдесят лет в Гайд-парке знаменитое тургеневское «французя топим».

Этот пролог à la Pristnitz к бернаровскому процессу показал, как далеко распространилось негодование. Народ английский был действительно рассержен и спас свою родину от пятна, которым conglomerated mediocrity[956] Ст. Милля непременно опозорила бы ее.

Англия велика и сносна *только* при полнейшем сохранении своих прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневековые платья и пуританские кафтаны, но допустивших жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической уверенности в законной почве.

То, что понял инстинктом народ английский,

---

[955] Сноски: 955
«Извозчик! Извозчик!» (*англ.* cabman)

[956] Сноски: 956
сплоченная посредственность (*англ.*).

Дерби так же мало оценил, как и Палмерстон. Забота Дерби состояла в том, чтоб успокоить капитал и сделать всевозможные уступки для рассерженного союзника; ему он хотел доказать, что и без Conspiracy Bill он наделает чудеса. В излишнем рвении он сделал две ошибки.

Министерство Палмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его в misdemeanour, т. е. в дурном поведении, в бездельничестве, словом, в преступлении, которое не влекло за собою *большего* наказания, как трехлетнее тюремное заключение. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика не приняли бы особенного участия в деле, и оно, вероятно, кончилось бы против Бернара. Дерби потребовал судить Бернара за felony, за уголовное преступление, дающее судье право, в случае обвинительного вердикта, приговорить его к виселице. Это нельзя было так пропустить; сверх того, увеличивать виновность, пока виноватый под судом, совершенно противно юридическому смыслу англичан.

Палмерстон в самых острых припадках страха, после аттентата[957] Орсини, поймал безвреднейшую книжонку какого-то Адамса, рассуждавшего

---

[957] Сноски: 957
покушения (*фр.* attentat).

о том, когда tyrannicide[958] позволено и когда нет, и отдал под суд ее издателя Трулова.

Вся независимая пресса с негодованием взглянула на эту континентальную замашку. Преследование брошюры было совершенно бессмысленно: в Англии тиранов нет, во Франции никто не узнал бы о брошюре, писанной на английском языке, да и такие ли вещи печатаются в Англии ежедневно.

Дерби, с своими привычками тори и скачек, захотел нагнать, а если можно, обскакать Палмерстона. Феликс Пиа написал от имени революционной коммуны какой-то манифест, оправдывавший Орсини; никто не хотел издавать его; польский изгнанник Тхоржевский поставил имя своей книжной лавки на послании Пиа. Дерби велел схватить экземпляр и отдать под суд Тхоржевского.

Вся англосаксонская кровь, в которой железо не было заменено золотом, от этого нового оскорбления бросилась в голову, все органы Шотландии, Ирландии и, разумеется, Англии (кроме двух-трех журналов *на содержании)* приняли за преступное посягательство на свободу

---

[958] Сноски: 958
тираноубийство (*фр.*).

книгопечатания эти опыты урезывания слов и спрашивали, в полном ли рассудке поступает так правительство или оно сошло с ума?

При этом благоприятном настроении в пользу правительственных преследований начался в Old Bailey процесс Бернара, это «юридическое Ватерлоо» Англии, как мы сказали тогда в «Колоколе».

Процесс Бернара я проследил от доски до доски, я был все заседания в Old Bailey (раз только часа два опоздал) и не раскаиваюсь в этом. Первый процесс Бартелеми и процесс Бернара доказали мне очевидно, насколько Англия совершеннолетнее Франции в юридическом отношении.

Чтоб обвинить Бернара, французское правительство и английское министерство взяло колоссальные меры, процесс этот стоил обоим правительствам до 30 000 ф<унтов> стер<лингов>, т. е. до 750 000 фр<анков>. Ватага французских агентов жила в Лондоне, ездила в Париж и возвращалась для того, чтоб сказать одно слово, для того, чтоб быть в готовности *на случай* надобности; семьи были выписаны, доктора медицины, жокеи, начальники тюрем, женщины, дети… и все это жило в дорогих гостиницах, получая фунт (25 фр<анков>) в день на содержание.

Цезарь был испуган. Карфагены были испуганы! И все-то это понял насупившись неповоротливый англичанин и в продолжение следствия преследовал мальчиками, свистом и грязью на Геймаркете и Ковентри французских шпионов; английская полиция должна была не раз их спасать.

На этой ненависти к политическим шпионам и к бесцеремонному вторжению их в Лондон основал Эдвин Джемс свою защиту. Что он делал с английскими агентами, трудно себе вообразить. Я не знаю, какие средства нашел Scotland Yard или французское правительство, чтоб вознаградить за пытку, которую заставлял их выносить Э. Джемс.

Некто Рожерс свидетельствует, что Бернар в клубе на Лестер-сквере говорил то-то и то-то о предстоящей гибели Наполеона.

— Вы были там? — спрашивает Э. Джемс.

— Был.

— Вы, стало, занимаетесь политикой?

— Нет.

— Зачем же вы ходите по политическим клубам?

– *По обязанностям службы.*

— Не понимаю, какая же это служба?

— Я служу у сэра Ричарда Мена[959].

— А… Что же, вам дается инструкция?

— Да.

— Какая?

— Велено слушать, что говорится, и сообщать об этом по начальству.

— И вы получаете за это жалованье?

— Получаю.

— В таком случае *вы шпион,* а spy? Вы давно бы сказали.

Королевский атторней Фицрой Келли встает и, обращаясь к лорду Кембелю, одному из четырех судей, призванных судить Бернара, просит его защитить *свидетеля* от дерзких наименований адвоката. Кембель, с всегдашним бесстрастием своим, советует Э. Джемсу не обижать свидетеля. Джемс протестует: он и намерения не имел его обижать; слово «spy», говорит он, — plain English word[960] и есть название его должности; Кембель уверяет, что лучше называть *иначе;* адвокат отыскивает какой-то фолиант и читает определение слова «шпион». «Шпион — лицо, употребляемое за плату полицией для подслушивания и пр.»,

---

[959] Сноски: 959
Начальник Metropolitan Police.

[960] Сноски: 960
вполне английское слово (*англ.*).

а Рожерс, прибавляет он, сейчас сказал, что он за деньги, получаемые от сэра Ричарда Мена (причем он указывает на самого Ричарда Мена головой), ходит слушать в клубы и доносит, что там делается. А потому он просит у лорда извинения, но иначе не может его называть, и потом, обращаясь к негодяю, на которого обращены все глаза и который второй раз обтирает пот, выступивший на лице, спрашивает:

— Шпион Рожерс, вы, может, тоже и от французского правительства получали жалованье?

Пытаемый Рожерс бесится и отвечает, что он никогда не служил никакому деспотизму.

Эдвин Джемс обращается к публике и середь гомерического смеха говорит:

— Наш spy Rogers за представительное правительство.

Допрашивая агента, взявшего бумаги Бернара, он спросил его: с кем он приходил? (горничная показала, что он был не один).

— С моим дядей.

— А чем ваш дядюшка занимается?

— Он кондуктором омнибуса.

— Зачем же он приходил с вами?

— Он меня просил взять его с собой, так как он никогда не видал, как арестуют или забирают

бумаги.

— Экой любопытный у вас дядюшка. Да кстати, вы у доктора Бернара нашли письмо от Орсини; письмо это было на итальянском языке, а доставили вы его в переводе; не дядюшка ли ваш переводил?

— Нет, письмо это переводил Убичини[961].

— Англичанин?

— Англичанин.

— Никогда не случалось мне слышать такой английской фамилии. Что же, г. Убичини занимается литературой?

— Он переводит по обязанности.

— Так ваш приятель, может, как шпион Рожерс, служит у сэра Ричарда Мена (снова кивая на сэра Ричарда головой)?

— Точно так.

— Давно б вы сказали.

С французскими шпионами он до этой степени не доходил, хотя доставалось и им.

Всего больше мне понравилось то, что, вызвав на эстраду свидетеля, какого-то содержателя трактира, француза или белга, за весьма неважным вопросом, он вдруг остановился и, обращаясь

---

[961] Сноски: 961
Кажется, так.

к лорду Кембелю, сказал:

— Вопрос, который я хочу предложить свидетелю, такого рода, что он может его затруднить в присутствии французских агентов. Я прошу вас их на время выслать.

— Huissier[962], выведите французских агентов, — сказал Кембель.

И huissier, в шелковой мантилье, с палочкой в руках, повел дюжину шпионов, с бородками и удивительными усами, с золотыми цепочками, перстнями, через залу, набитую битком. Чего стоило одно такое путешествие, сопровождаемое едва сдержимым хохотом?

Процесс известен. Я не буду его рассказывать.

Когда свидетелей переспросили, обвинитель и защитник произнесли свои речи, Кембель холодно субсуммировал дело, прочитав всю evidence.

Кембель читал часа два.

— Как это у него достает груди и легких?.. — сказал я полицейскому.

Полицейский посмотрел на меня с чувством гордости и, поднося мне табатерку, заметил:

— Что это для него! Когда Пальмера судили, он

---

[962] Сноски: 962
Пристав (*фр.*).

шесть с половиной часов читал, и то ничего — вот он какой!

Страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок — это задача. У нас понятья не имеют о такой деятельности и о такой работе, особенно в *первых трех* классах. Кембель, например, приезжал в Old Bailey ровно в 10 часов, до 2 он безостановочно вел процесс. В 2 судьи выходили на четверть часа или минут на двадцать и потом снова оставались до 5 и 5½. Кембель писал всю evidence своей рукой. Вечером того же дня он являлся в палату лордов и произносил длинные речи как следует, с ненужными латинскими цитатами, произнесенными так, что сам Гораций не понял бы своего стиха.

Гладстон между двумя управлениями финансов, имея полтора года времени, написал комментарии к Гомеру.

А *вечно юный* Палмерстон, скачущий верхом, являющийся на вечерах и обедах, везде любезный, везде болтливый и неистощимый, бросающий ученую пыль в глаза на экзаменах и раздачах премий — и пыль либерализма, национальной гордости и благородных симпатий в застольных речах, — Палмерстон, заведующий

своим министерством и отчасти всеми другими, исправляющий парламент!

Эта прочность сил и страстная привычка работы — тайна английского организма, воспитанья, климата. Англичанин учится медленно, мало и поздно, с ранних лет пьет порт и шери, объедается и приобретает каменное здоровье; не делая школьной гимнастики, немецких Turner-Übungen[963], он скачет верхом через плетни и загородки, правит всякой лошадью, гребет во всякой лодке и умеет в кулачном бою поставить самый разноцветный фонарь. При этом жизнь введена в наезженную колею и правильно идет от *известного* рождения *известными* аллеями к *известным* похоронам; страсти слабо ее волнуют. Англичанин теряет свое состояние с меньшим шумом, чем француз приобретает свое; он проще застреливается, чем француз переезжает в Женеву или Брюссель.

— Vous voyez, vous mangez votre veau froid chaudement, — говорил один старый англичанин, желавший объяснить французу разницу английского характера от французского, — et

[963] Сноски: 963
гимнастических упражнений (*нем.*).

nous mangeons notre *beef* chaud froidement[964]. — Оттого-то их и становится лет на восемьдесят…

…Прежде чем я возвращусь к процессу, мне остается объяснить, почему полицейский потчевал меня табаком. В первый день суда я сидел на лавочках стенографов; когда ввели Бернара на помост подсудимых, он провел взглядом по зале, донельзя набитой народом, — ни одного знакомого лица; он опустил глаза, взглянул около и, встретив мой взгляд, слегка кивнул мне головой, как бы спрашивая, желаю ли я признаться в знакомстве или нет; я встал и дружески поклонился ему. Это было в самом начале, т. е. в одну из тех минут безусловной тишины, в которые каждый шорох слышен, каждое движение замечено. Сандерс, один из начальников detective police[965], пошептался с кем-то из своих и велел наблюдать за мной, т. е. он очень просто указал на меня пальцем какому-то детективу, и с той минуты он постоянно был вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряжение. Уходил ли я на четверть часа,

[964] Сноски: 964

«Вот видите, вы с жаром едите вашу холодную телятину, а мы хладнокровно съедаем наш горячий *бифштекс*» (*фр.*).

[965] Сноски: 965

сыскной полиции (*англ.*).

во время отдыха судей, в таверну выпить стакан элю и, приходя, не находил места, полицейский кивал мне головой и указывал, где сесть. Останавливал ли меня в дверях другой полицейский, тот давал ему знак — и полицейский пропускал. Наконец, я раз поставил шляпу на окно, забыл об ней и напором массы был совершенно оттерт от него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти; я приподнялся, чтоб взглянуть, нет ли какой щели, но полицейский меня успокоил:

— Вы, верно, шляпу ищете? Я ее прибрал.

После этого не трудно понять, почему его товарищ потчевал меня шотландским, рыженьким кавендишем.

Приятное знакомство с детективом послужило мне на пользу даже впоследствии. Раз, взявши каких-то книг у Трюбнера, я сел в омнибус и забыл их там; на дороге хватился — омнибус уехал. Отправился я в Сити на станцию омнибусов; идет мой детектив, поклонился мне.

— Очень рад; вот научите-ка, как скорее достать книги.

— А как называется омнибус?

— Так-то.

— В котором часу?

— Сейчас.

— Это пустяки, пойдемте, — и через четверть часа книги были у меня.

Фицрой Келли прочел свой обвинительный акт с примесью желчи, сухой, cassant[966]; Кембель прочел evidence, и присяжных увели.

Я подошел к лавке адвокатов и спросил знакомого solicitor'a, как он думает?

— Плохо, — сказал он, — я почти уверен, что приговор присяжных будет против него.

— Скверно. И неужели его…?

— Нет, не думаю, — перебил солиситор, — ну, а в депортацию попадет; все будет зависеть от судей.

В зале был страшный шум, хохот, разговор, кашлянье. Какой-то алдермен снял с себя свою золотую цепь и показывал ее дамам; толстая цепь ходила из рук в руки. «Неужели ее никто не украдет?» — думал я. Часа через два раздался колокольчик; взошел снова Кембель, взошел Поллок — дряхлый, худой старик, некогда адвокат королевы Шарлотты, и два другие собрата-судьи. Huissier возвестил им, что присяжные согласны.

— Введите присяжных! — сказал Кембель.

---

[966] Сноски: 966
резкий (*фр.*).

Водворилась мертвая тишина; я смотрел кругом: лица изменились, стали бледнее, серьезнее, глаза зажглись, дамы дрожали. В этой тишине, при этой толпе обычный ритуал вопросов, присяги был необыкновенно торжественен. Скрестив руки на груди, спокойно стоял Бернар, несколько бледнее обыкновенного (во весь процесс он держал себя превосходно).

Тихим, но внятным голосом спросил Кембель:

— Согласны ли присяжные, избрали ли они из среды своей старшего, и кто он?

Они избрали какого-то небогатого портного из Сити.

Когда он присягнул и Кембель, вставши, сказал ему, что суд ждет решения присяжных, сердце замерло, дыхание сперлось.

«…Перед Богом и подсудимым на помосте… объявляем мы, что доктор Симон Бернар, обвиняемый в участии аттентата 12 января, сделанного против Наполеона, и в убийстве, — он усилил голос и громко прибавил: — not guilty!»

Несколько секунд молчанья, потом пробежал какой-то нестройный вздох, и вслед за тем безумный крик, треск рукоплесканий, гром радости… Дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мужчины с раскрасневшимся

лицом, с слезами, струившимися на щеках, судорожно кричали: «Уре! Уре!» Прошли минуты две; судьи, недовольные неуважением, велели huissiers восстановить тишину; две-три жалкие фигуры с палками махали, шевелили губами; шум не переставал и не делался слабее. Кембель вышел, и товарищи его вышли. Никто не обращал на это внимания; шум и крик продолжались. Присяжные торжествовали.

Я подошел к эстраде, поздравил Бернара и хотел пожать ему руку, но, как он ни наклонялся и я ни вытягивался, руки его я не достал. Вдруг два адвоката, незнакомые, в мантиях и париках, говорят мне: «Постойте, погодите», и, не ожидая ответа, схватывают меня и подсаживают, чтоб я мог достать его руку.

Только что крик стал утихать, и вдруг какое-то море ударилось в стены и ворвалось с глухим плеском во все окна и двери здания; это был крик на лестнице в сенях; он уходил, приближался и разливался все больше и больше и наконец слился в общий гул: это был голос народа.

Кембель взошел и объявил, что Бернар по этому делу от суда освобожден, и вышел с своими «братьями-судьями». Вышел и я. Это была одна из тех редких минут, когда человек смотрит

на толпу с любовью, когда ему легко с людьми… Много грехов Англии будут отпущены ей и за этот вердикт и за эту радость!

Я вышел вон; улица была запружена народом.

Из бокового переулка выехал угольщик, посмотрел на толпу народа и спросил:

— Кончилось?

— Да.

— Чем?

— Not guilty.

Угольщик положил вожжи, снял свою кожаную шапку с огромным козырьком сзади, бросил ее вверх и неистовым голосом принялся кричать: «Уре! Уре!», и толпа опять принялась кричать: «Уре!»

В это время из дверей Old Bailey вышли под прикрытием полиции присяжные. Народ их встретил с *непокрытой головой* и с бесконечными криками одобрения. Дороги им не приходилось расчищать полицейским — толпа сама расступилась; присяжные пошли в таверну на Флитстрит, народ пошел их провожать, новые толпы по мере того, как они проходили, кричали им ура и бросали шляпы вверх.

Это было часу в шестом; в семь часов в Манчестере, Ньюкастле, Ливерпуле и пр. работники

бегали по улицам с факелами, возвещая жителям освобождение Бернара. Весть эту сообщили по телеграфу их знакомые; с четырех часов толпы стояли у телеграфических контор.

Вот как Англия отпраздновала новое торжество своей свободы!

После палмерстоновского поражения за Conspiracy Bill и неудачу дербитов в деле Бернара процессы, затеянные правительством против двух брошюр, становились невозможными. Если б Бернар был обвинен, повешен или послан лет на двадцать в депортацию и общественное мнение осталось бы равнодушным, тогда было бы легко принести на заклание, для полноты жертвы, двух-трех Исааков книгопечатания. Французские агенты уже точили зубы на другие брошюры и в том числе на «Письмо» Мацини.

Но Бернар был от суда освобожден, и это не все. Овация присяжным, восторженный шум в Old Bailey, радость во всей Англии не предсказывали успеха. Дело брошюр перенесли в Queen's Bench.

Это был последний опыт обвинить подсудимых. Присяжные Old Bailey казались ненадежными, жители Сити, строго держащиеся своих прав и несколько оппозиционные по традиции,

не внушали доверия, присяжные Queen's Bench из Вест-Энда — большей частью богатые торговцы, строго придерживающиеся религии порядка и традиции наживы. Но и на это jury[967] трудно было считать после вердикта портного.

К тому же вся пресса в Лондоне и во всем королевстве, за исключением нескольких заведомо подкупленных листов, восстала, без различия партий, против посягательства на свободу книгопечатания. Сбирались митинги, составлялись комитеты, делались складки для уплаты штрафов и проторей, если бы правительству удалось осудить издателей; писались адресы и петиции.

Дело становилось труднее и нелепее со всяким днем. Франция в широких шароварах, couleur garance[968], в кепи несколько набок, с зловещим видом смотрела из-за Ламанша, чем кончится дело, предпринятое в защиту ее господина. Освобождение Бернара ее глубоко обидело, и она вынимала из ножен свой тесак, ругаясь, как капрал.

Пуще сердце замирает,

---

[967] Сноски: 967
суд присяжных (*англ.*).

[968] Сноски: 968
красного цвета (*фр.*).

Тяжелей тоска...

С серебряной бледностью смотрел капитал на правительство — зеркальное правительство отразило его испуг. Но до этого нет никакого дела Кембелю и судебной власти *не от мира сего.* Она знала одно: что процесс против свободы книгопечатания противен духу всей нации и строгий приговор лишит их всей популярности и вызовет грозный протест. Им оставалось приговорить к ничтожному наказанию, к фардингу королеве — к одному дню тюрьмы... А Франция-то, с кепи набекрень, приняла бы такое решение за личную обиду.

Еще хуже бы было, если б присяжные оправдали Трулова и Тхоржевского; тогда вся вина пала бы на правительство, почему оно не велело лондонскому префекту или лорду-мэру назначить присяжных из service de sûreté[969], по крайней мере, из *друзей порядка...* Ну, и вслед за тем:

Tambourgi! Tambourgi! they larum

---

[969] Сноски: 969
тайной полиции (*фр.*).

afar…[970]

Это безвыходное положение очень хорошо понимали министры королевы и ее атторней; может бы, и они что-нибудь сделали, если б в Англии вообще можно было делать то, что англичане называют *коуп дете,* а французы — coup d'Etat, а пример к тому же извертливого, двужильного, неуловимого молодого-старого Палмерстона был так свеж…

Что за комиссия, Создатель,
Быть взрослой нации царем!

Пришел день суда.

Накануне наш Б<откин> отправился в Queen's Bench и вручил какому-то полицейскому пять шил<лингов>, чтоб он его завтра провел. Б<откин> смеялся и потирал руки; он был уверен, что мы останемся без места или что нас не пропустят в дверях. Он одного не взял в расчет — что именно дверей-то в залу Queen's Bench'а и нет, а есть большая арка. Я пришел за час до Кембеля, народу было немного, и я уселся превосходно. Смотрю, минут через двадцать является Б<откин>, глядит по сторонам, ищет, беспокоится.

---

[970] Сноски: 970
Барабанщики! Барабанщики! тревогу бьют они вдали… (*англ.*)

— Что тебе надобно?

— Ищу, братец, моего полицейского.

— Зачем тебе его?

— Да он обещал место дать.

— Помилуй, тут сто мест к твоим услугам.

— Надул полицейский, — сказал Б<откин>, смеясь.

— Чем же он надул, ведь место есть.

Полицейский, разумеется, не показывался.

Между Тхоржевским и Труловым шел горячий разговор; в нем участвовали и их солиситоры; наконец Тхоржевский обратился ко мне и сказал, подавая письмо:

— Как вы думаете об этом письме?

Письмо было от Трулова к его адвокату: он жаловался в нем на то, что его арестовали, и говорил, что, печатая брошюру, он вовсе не думал о Наполеоне, что он и впредь не намерен издавать подобных книг; письмо было подписано. Трулов стоял возле.

Советовать Трулову мне было нечего, я отделался какой-то пустой фразой, но Тхоржевский сказал мне:

— Они хотят, чтоб и я подписал такое письмо, этого не будет, я лучше пойду в тюрьму, а такого письма не подпишу.

«Сайленс!»[971] — закричал huissier; явился лорд Кембель. Когда все формальности были окончены, присяжные приведены к присяге, Фицрой Келли встал и объявил Кембелю, что он имеет сообщение от правительства. «Правительство, — сказал он, — имея в виду письмо Трулова, в котором он объясняет то-то и то-то, и приняв в расчет то-то и то-то, с своей стороны от преследования *отказывается*».

Кембель, обратившись к присяжным, сказал на это, что «виновность издателя брошюры о tyrannicide'е несомненна, что английский закон, давая всевозможную свободу печати, тем не менее имеет полные средства наказывать вызов на такое ужасное преступление и пр. Но так как правительство по таким-то соображениям от преследования отказывается, то и он готов, если присяжные согласны, суд прекратить; впрочем, если они этого не хотят, он будет продолжать».

Присяжные хотели завтракать, идти по своим делам и потому, не выходя вон, обернулись спиной и, переговоривши, отвечали, как и следовало ожидать, что они тоже согласны на прекращение

---

[971] Сноски: 971
«Тише!» (*англ.* silence.)

суда.

Кембель возвестил Трулову, что он от суда и следствия свободен. Тут не было даже рукоплескания, а только хохот.

Наступил антракт. В это время Б<откин> вспомнил, что он еще не пил чаю, и пошел в ближнюю таверну. Черту эту я особенно отмечаю как совершенно русскую. Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец пьет тоже пиво да еще пиво за все прочее; но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой полной зависимости от желудочных привычек, как русский. Это связывает их по рукам и ногам. Остаться без обеда… как можно… лучше днем опоздать, лучше того-то совсем не видать. Б<откин> заплатил за свой чай, сверх двух шиллингов, следующей превосходной сценой.

Когда черед дошел до Тхоржевского, Фицрой Келли встал и снова объявил, что он имеет сообщение от правительства. Я натянул уши. Какую же причину он выдумал? Тхоржевский письма не писал.

«Подсудимый, — начал Ф. Келли, — Stanislas Trouj… Torj… Toush…», и он остановился, доба-

вив: «That is impossible! The foreign gentleman at the bar…[972], хотя и действительно виноват в издании и продаже брошюры Ф. Пиа, но правительство, взяв в расчет, что он иностранец и английских законов по этой части не знал, на первый случай отказывается от преследования».

И та же комедия. Кембель спросил присяжных. Присяжные в ту же минуту акитировали[973] Тхоржевского.

Французы и тут были недовольны. Им хотелось пышную mise en scène, им хотелось громить тиранов и защитить la cause des peuples…[974]; может, по дороге Трулова и Тхоржевского приговорили бы к штрафу, к тюрьме; но что значит тюрьма, десять лет тюрьмы… перед всенародным повторением великих начал, ставящих вне закона тиранов и их сеидов… — незыблемых начал 1789 года, на которых так твердо стоит свобода Франции… в ссылке!

---

[972] Сноски: 972
«Это невозможно! Господин иностранец, привлеченный к суду…» (*англ.*)

[973] Сноски: 973
оправдали (*фр.* acquitter).

[974] Сноски: 974
дело народов (*фр.*).

Правительство, испуганное соседом, ударилось второй раз об гранитный утес английской свободы и смиренно отступило. Какого же больше торжества свободной печати?

<Глава VI>

В начале будущего года думаем мы издать IV и V томы «Былого и думы». Найдут ли они тот прием, полный сочувствия, как отрывки из них, напечатанные в «Полярной звезде», и три первые части? Покаместь мы решились, когда есть место, помещать в «Колоколе» отрывки из ненапечатанных глав и на первый случай берем рассказ *о польских выходцах в Лондоне.*

Глава эта (IV в V томе) начата в 1857 году и, помнится, дописана в 1858. Она бедна и недостаточна. Я сделал, перечитывая ее, несколько внешних поправок; переделывать существенное в записках не идет: помеченные воспоминания так же принадлежат былому, как и события. Между ею и настоящим прошли 63 и 64 годы, совершились страшные несчастья, раскрылись страшные правды.

Не дружеский букет на гробе доброго старика в Париже, не плач на Гайгетской могиле нужны

теперь, — не человек хоронится, а целый народ толкают в могилу. Его судьбе прилична одна горесть — горесть пониманья и, может, с нашей стороны один дар — дар молчания. Последние события в Польше вдохновят еще не одного поэта, не одного художника, они долго будут, как тень Гамлетова отца, звать на месть, не щадя самого Гамлета… Мы еще слишком близки к событиям. Рукам, по которым текла кровь раненых, не идет ни кисть, ни резец: они еще слишком дрожат.

Я назвал тогда главу эту «Польские выходцы»; справедливее было бы назвать ее «Легендой о Ворцеле», но, с другой стороны, в его чертах, в его житии так поэтично воплощается польский эмигрант, что его можно принять за высший тип. Это была натура цельная, чистая, фанатическая, святая, полная той *полной* преданности, той несокрушимой страсти, той великой мономании, для которой нет больше жертв, счета службы, жизни вне своего дела. Ворцель принадлежал к великой семье мучеников и апостолов, пропагандистов и поборников своего дела, всегда являвшихся около всякого креста, около всякого освобождения…

Мне пришлось совершенно случайно перечитать мой рассказ о Ворцеле в Лугано. Там живет

один из крепких старцев той удивительной семьи, о которой идет речь, и мы с ним вспомнили покойного Ворцеля. Ему за семьдесят, он сильно состарелся с тех пор, как я его не видал, но это тот же неутомимый работник итальянского дела, тот же фанатический друг Маццини, которого я знал десять лет тому назад. Вендетта за альпийскими скалами, сам поседевшая скала итальянского освобождения, он дожил в борьбе не только до исполнения половины своих надежд, но и до новых черных дней, готовый опять, как прежде, на бой, на гибель и не уступивший никогда никому ни в чем ни одной йоты своего credo. Как Ворцель, он беден и, как Ворцель, не думает об этом. Большинство этих людей гибнет на полдороге, насильственной или своей смертью, но все, что делается, делается *ими.* Мы расчищаем дорогу, мы ставим вопросы, мы подпиливаем старые столбы, мы бросаем дрожжи в душу; они ведут массы на приступ, они падают или побеждают… Таков на первом плане Гарибальди: и не мыслитель, и не политик, а любовь, вера и надежда.

Судьба Ворцеля самая трагическая из всех. Ее пятое действие продолжалось и заключилось после его смерти; об нем нельзя сказать того,

что говорится о большей части падших на дороге к обетованной земле: «Зачем он не дожил!» Смерть его скосила вовремя, что было бы с ним, если бы он дожил до 1865 года?

Я рад, что память об Ворцеле так ярко воскресла в Лугано: мне дорог этот угол с своим теплым озером, обнесенным горами, с своим вечно электрическим воздухом… Там я жил после страшных ударов 1852 года… Там есть каменная женщина, опершаяся на обе руки, в безвыходном горе глядящая перед собой и вечно плачущая… Это была *Италия,* когда резец Велы[975] создал ее, не *Польша ли* она теперь?

Тун, 17 августа 1865.

Польские выходцы

Алоизий Бернацкий. – Станислав Ворцель. – Агитация 1854–56 года. – Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati![976]

---

[975] Сноски: 975

Превосходная статуя Велы в саду Чиани. Пусть русские, особенно женщины, сходят взглянуть на нее.

[976] Сноски: 976

Новые мучения и новые мученики! (*ит.*)

Другие несчастия, другие страдальцы ждут нас. Мы живем на поле вчерашней битвы: кругом лазареты, раненые, пленные, умирающие. Польская эмиграция, старшая всем, истощилась больше других, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки, вопреки Дантону, взяли с собой свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свету. Европа расступилась с уважением перед торжественным шествием отважных бойцов. Народы выходили к ним на поклон, цари сторонились и отворачивались, чтоб дать им пройти, не замечая их. Европа проснулась на минуту от их шагов, нашла слезы и участие, нашла деньги и силу их дать[977]. Печальный образ польского выходца,

[977] Сноски: 977

Д-р П. Дараш рассказывал мне случай, бывший с ним самим. Он студентом медицины участвовал в восстании 1831. После взятия Варшавы отряд, в котором он был, перешел границу и небольшими кучками стал пробираться во Францию. Везде по городам и деревням мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанников к себе, предлагая свои комнаты, часто — свои кровати. В одном небольшом городке хозяйка заметила, что у него изорван (помнится) кисет, и взяла его починить. На другой день на пути Дараш, ощупав в кисете что-то постороннее, нашел в нем тщательно зашитыми два золотых. Дараш, у которого не было ни гроша, бросился назад, чтоб отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знает, потом принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тут надобно вспомнить, что в маленьком немецком городке для небогатой женщины значат *два золотых;* они составляли, вероятно, плод откладывания в Sparbüchse <копилку (*нем.*)> разных крейцеров, пфеннигов, *хороших*

и *дурных* грошей в продолжение нескольких лет… Прощай все мечты об шелковом платье, о цветной мантилии, о яркой шали. Перед такими подвигами я на коленях!

этого рыцаря народной независимости, остался в памяти народной. Двадцать лет на чужбине вера его не ослабла, и на всякой роковой перекличке в дни опасности и борьбы за волю поляки первые отвечали: *«Здесь!»* — как сказал Ворцель или старший Дараш Временному правительству в 1848 году.

Но правительство, в котором сидел Ламартин, в них не нуждалось и вовсе об них не думало. Самые истые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтоб ее употребить не откровенным криком восстания и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазия (у которой Польша была капризом, как у английской — Италия) стала с тех пор дуться. В Париже не говорили больше с прежней риторикой о Varsovie échevelée[978], и только в народе оставалась, рядом с всякими бонапартовскими воспоминаниями, легенда о *Понятуски*, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовский тонет верхом в своей chapska.

С 1849 начинается для польской эмиграции самое удручительное время. Томно длится оно до Крымской войны и смерти Николая. Ни одной

---

[978] Сноски: 978
истерзанной Варшаве (*фр.*).

истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провиденное Красинским, казалось, наступало. Отрезанная от страны, эмиграция осталась на другом берегу и, как дерево без новых соков, вяла, сохла, делалась чужой для родины, не переставая быть чужой для стран, в которых жила. Они до некоторой степени ей сочувствовали, но их несчастие продолжалось слишком долго, а в душе человека нет доброго чувства, которое бы не изнашивалось. К тому же вопрос польский прежде всего был вопрос национальный и только формально революционный, т. е. по отношению к чужеземному игу.

Эмиграция смотрела столько же назад, сколько вперед; она стремилась восстановлять, как будто в прошедшем что-нибудь достойное восстановления, кроме независимости, — а одна независимость ничего не говорит: это — понятье отрицательное. Разве можно быть независимее России? В сложную, туго вырабатывающуюся формулу будущего общественного устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другим в справедливой надежде на взаимность. Борьба за независимость всегда вызывает горячее сочувствие, но она не может стать *своим* делом

для чужих. Только те интересы принадлежат всем, которые по сущности своей *не национальны*, как, например, интересы католицизма и протестантизма, революции и реакции, экономизма и социализма.

…В 1847 году познакомился я с польской демократической Централизацией. Тогда она жила в Версале и, сколько мне казалось, самый деятельный член ее был Высоцкий. Особенного сближения не могло быть. Эмигрантам хотелось слышать от меня подтверждение своим желаниям, своим предположениям, а не то, что я знал. Они желали иметь сведения о каком-то заговоре, подкапывающем все государственное здание в России, и спрашивали, участвует ли в нем Ермолов… А я им мог рассказывать о радикальном направлении тогдашней молодежи, о пропаганде Грановского, об огромном влиянии Белинского, о социальном оттенке в обеих партиях, бившихся тогда в литературе и в обществе, у западников и славянофилов. Им казалось это неважным.

У них было богатое прошедшее, у нас — большая надежда; у них грудь была покрыта рубцами, у нас только крепли для них мышцы. Мы казались ополченцами перед ними, ветеранами. Поляки — мистики, мы — реалисты. Их влечет

в таинственный полусвет, в котором стираются очертания, носятся образы, в котором можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могут жить в этом полусне, без анализа, без *холодного* исследования, без сосущего сомнения. В глубине их души, как человек в военном стане, есть чуждый нам отблеск средних веков и распятие, перед которым в минуты тяжести и устали они могут молиться. В поэзии Красинского «Stabat Mater» заглушает народные гимны и влечет нас не к торжеству жизни, а к торжеству смерти, к дню Великого Суда… Мы или *глупее* верим или *умнее* сомневаемся.

Мистическое направление развернулось во всей силе после наполеоновской эпохи. Мицкевич, Товянский, даже математик Вронский — все способствовали мессианизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиков. Старики, получившие образование еще в XVIII веке, были свободны от теософических фантазий. Классический закал, который давал людям великий век, как дамаск, не стирался. Мне еще удалось видеть два-три типа старых панов-энциклопедистов.

В Париже, и притом в rue de la Chaussée d'Antin,

жил с 1831 года гр. Алоизий Бернацкий, нунций польской диеты, министр финансов во время революции, маршал дворянства какой-то губернии, представлявший свое сословие императору Александру I, когда он либеральничал, в 1814 г.

Совершенно разоренный конфискацией, он поселился с 1831 года в Париже, и притом на той маленькой квартире в Шоссе d'Antin, которую я упомянул; оттуда-то он выходил всякое утро в темно-коричневом сертуке на прогулку и чтение журналов и всякий вечер — в синем фраке с золотыми пуговицами — к кому-нибудь провести вечер; там в 1847 году я познакомился с ним. Дом состарелся, хозяйка хотела его перестроить. Бернацкий написал к ней письмо, которое до того тронуло француженку (что очень не легкая вещь, когда замешаны финансы!), что она пустилась с ним в переговоры и просила его только на время переехать. Отделав квартиру, она снова отдала ее Бернацкому за ту же цену. С горестью увидел он новую красивую лестницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбе.

Во всем умеренный, безусловно чистый и благородный старик был поклонник Вашингтона и приятель О'Коннеля. Настоящий энциклопе-

дист, он проповедовал эгоизм bien entendu[979] и провел всю жизнь в самоотвержении и пожертвовал всем, от семьи и богатства до родины и общественного положения, никогда не показывая особенного сожаления и никогда не падая до ропота.

Французская полиция оставляла его в покое и даже уважала его, зная, что он был министр и *нунций;* префектура пресерьезно думала, что нунций польской диеты был что-то вроде папского нунция. В эмиграции это знали, и потому товарищи и соотечественники беспрестанно посылали его об них хлопотать. Бернацкий шел беспрекословно и до тех пор говорил правильные комплименты и надоедал, что префектура часто делала уступки, чтоб отвязаться от него. После совершенного покорения Февральской революции тон переменился: ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни седой головой ничего нельзя было взять, а тут как назло приехала в Париж жена польского генерала, участвовавшего в венгерской войне, в большой крайности. Бернацкий просил помощи для нее у префектуры; префектура, несмотря на громкий адрес «à son

---

[979] Сноски: 979
разумный (*фр.*).

excellence monsieur le Nonce»[980], отказала наотрез. Старик отправился сам к Карлье; Карлье, чтоб отвязаться от него и с тем вместе унизить, заметил ему, что пособия только дают выходцам 1831 года. «Вот, — прибавил он, — если вы принимаете такое участие в этой даме, подайте просьбу, чтоб вам по бедности назначили пособие; мы вам положим франков двадцать в месяц, а вы их отдавайте кому хотите!»

Карлье был пойман. Бернацкий самым простодушным образом принял предложение префекта и тотчас согласился, рассыпаясь в благодарности. С тех пор всякий месяц старик являлся в префектуру, ждал в передней час-другой, получал двадцать франков и относил их к вдове.

Бернацкому было далеко за семьдесят лет, но он удивительно сохранился, любил обедать с друзьями, посидеть вечером часов до двух, иногда выпить бокал-другой вина. Раз как-то, поздно, часа в три, возвращались мы с ним домой; дорога наша шла по улице Лепелетье. Опера горела в огне; пьерро и дебардеры[981], едва прикрытые шалями, драгуны и полицейские толпились

---

[980] Сноски: 980
«его превосходительству господину нунцию» (*фр.*).

[981] Сноски: 981
грузчики (*фр.* débardeur).

в сенях. Шутя и уверенный, что он откажется, я сказал Бернацкому:

— Quelle chance[982], не зайти ли?

— С величайшим удовольствием, — отвечал он, — я лет пятнадцать не видал маскарада.

— Бернацкий, — сказал я ему, шутя и входя в сени, — когда же вы начнете стареть?

— Un homme comme il faut, — отвечал он, смеясь, — acquiert des années, mais ne vieillit jamais![983]

Он выдержал характер до конца и, как благовоспитанный человек, расстался с жизнью тихо и в хороших отношениях: утром ему нездоровилось, к вечеру он умер.

Во время смерти Бернацкого я был уже в Лондоне. Там вскоре после моего приезда сблизился я с человеком, которого память мне дорога и которого гроб я помог снести на Гайгетское кладбище, — я говорю о Ворцеле. Из всех поляков, с которыми я сблизился тогда, он был наиболее симпатичный и, может, наименее исключительный в своей нелюбви к нам. Он не то чтоб

---

[982] Сноски: 982

Какая удача (*фр.*).

[983] Сноски: 983

Благовоспитанный человек становится старше, но никогда не стареет! (*фр.*)

любил русских, но он понимал вещи гуманно и потому далек был от гуловых проклятий и ограниченной ненависти. С ним с первым говорил я об устройстве русской типографии. Выслушав меня, больной встрепенулся, схватил бумагу и карандаш, начал делать расчеты, вычислять, сколько нужно букв и пр. Он сделал главные заказы, он познакомил меня с Чернецким, с которым мы столько работали потом.

— Боже мой, Боже мой, — говорил он, держа в руке первый корректурный лист, — Вольная русская типография в Лондоне!.. Сколько дурных воспоминаний стирает с моей души этот клочок бумаги, замаранный голландской сажей![984]

— Нам надобно идти вместе, — повторял он часто потом, — нам одна дорога и одно дело… — и он клал исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщине 29 ноября 1853 года я сказал речь в Гановер-Руме; Ворцель председательствовал. Когда я кончил, Ворцель, при громе рукоплесканий, обнял меня и со слезами на глазах поцеловал.

— Ворцель и вы, — заметил мне, выходя, один итальянец (граф Нани), — вы меня поразили

---

[984] Сноски: 984

«Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне», сборник Л. Чернецкого, стр. VIII.

давеча на платформе; мне казалось, что этот увядающий, благородный, покрытый сединами старец, обнимающий вашу здоровую, плотную фигуру, представляли типически Польшу и Россию.

— Добавьте только, — прибавил я ему, — Ворцель, подавая мне руку и заключая в свои объятия, *именем Польши прощал Россию.*

Действительно, мы могли идти вместе. Это не удалось.

Ворцель был *не один*... Но прежде об нем одном.

Когда родился Ворцель, его отец, один из богатых польских аристократов в Литве, родственник Эстергази, Потоцким и не знаю кому, выписал из пяти поместий старост и с ними молодых женщин, чтоб они присутствовали при крещении графа Станислава и помнили бы до конца жизни об панском угощенье по поводу такой радости. Это было в 1800 году. Граф дал своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитание; Ворцель был математик, лингвист, знакомый с пятью-шестью литературами; с ранних лет приобрел он огромную эрудицию и притом был светским человеком и принадлежал к высшему польскому обществу в одну из самых блестящих

эпох его заката, между 1815–1830 годами; Ворцель рано женился и только что начал «практическую» жизнь, как вспыхнуло восстание 1831 года. Ворцель бросил все и пристал душой и телом к движению. Восстание было подавлено, Варшава взята. Граф Станислав перешел, как и другие, границу, оставляя за собой семью и состояние.

Жена его не только не поехала за ним, но прервала с ним все сношения и за то получила обратно какую-то часть имения. У них было двое детей, сын и дочь; как она их воспитала, мы увидим; на первый случай она их выучила забыть отца.

Ворцель между тем пробрался через Австрию в Париж и тут сразу очутился в вечной ссылке и без малейших средств. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Он, как Бернацкий, свел свою жизнь на какой-то монашеский пост и ревностно начал свое апостольство, которое прекратилось через двадцать пять лет с его последним дыханием в сыром углу нижнего этажа убогой квартиры, в темной Hunter street.

Реорганизовать польскую партию движения, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграционные силы, приготовить новое восстание и для этого проповедовать с утра до ночи, для этого

жить — такова была тема всей жизни Ворцеля, от которой он не отступал ни на шаг и которой подчинил все. С этой целью он сблизился со всеми людьми движения во Франции, от Годфруа Каваньяка до Ледрю-Роллена; с этой целью был масоном, был в близких сношениях с сторонниками Мацини и с самим Мацини впоследствии. Ворцель твердо и открыто поставил революционное знамя Польши против партии Чарторижских. Он был уверен, что аристократия погубила восстание, он в старых панах видел врагов своему делу и собирал новую Польшу, чисто демократическую.

Ворцель был прав.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему делу, шла во многом вразрез с стремлениями нашего времени; перед ее глазами постоянно носился образ прежней Польши, не новой, а восстановленной, ее идеал был столько же в воспоминании, сколько в упованиях. Польше достаточно было и одного католического ядра на ногах, чтоб отставать, — рыцарские доспехи совсем остановили бы ее. Соединяясь с Мацини, Ворцель хотел привенчать польское дело к общеевропейскому, республиканскому и демократическому движению. Ясно, что он

должен был искать почвы в незнатной шляхте, в городских жителях и в работниках. Начаться восстание могло только в этой среде. Аристократия пристала бы к движению, крестьян можно было бы увлечь, инициативы они никогда бы сами не взяли.

Можно обвинять Ворцеля за то, что он вступил в ту же колею, в которой уже вязла и грузла западная революция, что он в этом пути видел единственный путь спасения; но, однажды приняв его, он был последователен. Обстоятельства его вполне оправдали. Где же в Польше была действительно революционная среда, как не в том слое, к которому постоянно обращался Ворцель и который сложился, вырос и окреп между 1831 годом и шестидесятыми годами?

Как бы мы розно ни смотрели на революцию и ее средства, но нельзя отвергнуть, что все приобретенное революцией приобретено средним слоем общества и городскими работниками. Что сделал бы Маццини, что Гарибальди без *городского* патриотизма, а ведь польский вопрос был вопрос чисто патриотический; у самого Ворцеля интерес национальной независимости все же был ближе к сердцу, чем социальный переворот.

Года за полтора до Февральской революции

по дремавшей Европе пробежала какая-то дрожь пробуждения: краковское дело, процесс Мирославского, потом война Зондербунда и итальянское risorgimento[985]. Австрия отвечала восстанию имперской пугачевщиной, Николай подарил ей не принадлежавший ему Краков, но тишина не возвратилась. Людвиг-Филипп пал в феврале 1848 года, поляк возил его трон на сожжение. Ворцель во главе польской демократии явился напомнить Временному правительству о Польше. Ламартин принял его холодной риторикой. Республика была больше мир, чем империя.

Был миг, в который можно было надеяться; этот миг пропустила Польша, пропустила вся Западная Европа, и Паскевич донес Николаю, *что Венгрия у его ног.*

С падением Венгрии ждать было нечего, и Ворцель, вынужденный оставить Париж, переселился в Лондон.

В Лондоне я его застал в конце 1852 членом Европейского комитета[986]. Он стучался во все двери, писал письма, статьи в журналах, он

---

[985] Сноски: 985
возрождение (*ит.*).

[986] Сноски: 986
Маццини, Кошут, Ледрю-Роллен, Арнольд Руге, Братиано и Ворцель.

работал и надеялся, убеждал и просил, — а так как при всем остальном надо было есть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черчения и даже французского языка; кашляя и задыхаясь от астма, ходил он с конца Лондона на другой, чтоб заработать два шиллинга, много — полкроны. И тут он еще долю выработанного отдавал своим товарищам.

Дух его не унывал, но тело отстало. Лондонский воздух — сырой, копченый, не согретый солнцем — был не по слабой груди. Ворцель таял, но держался. Так он дожил до Крымской войны; ее он не мог, я готов сказать, не должен был пережить. «Если Польша *теперь* ничего не сделает, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мне лучше закрыть глаза», — говорил Ворцель мне, отправляясь по Англии с Кошутом. Во всех главных городах собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встречали громом рукоплесканий, делали небольшие денежные сборы — *и только.* Парламент и правительство очень хорошо знают, когда народная волна просто шумит и когда она в самом деле напирает. Твердо стоявшее министерство, предложившее Conspiracy Bill, пало *в ожидании* народного схода в Гайд-парке. В митингах, собираемых Кошутом

и Ворцелем для того, чтоб вызвать со стороны парламента и правительства признание польских прав, заявление симпатии к польскому делу, ничего не было определенного, не было силы. Страшный ответ консерваторов был неотразим: «В Польше все покойно». Правительству приходилось не признать совершившийся факт, а вызвать его, взять революционную инициативу, разбудить Польшу. Так далеко в Англии общественное мнение не идет. К тому же in petto[987] все желали окончания войны, только что начавшейся, дорогой и, в сущности, бесполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался в Лондон. Он был слишком умен, чтоб не понять неудачу; он старился наглазно, был угрюм и раздражителен, и с той лихорадочной деятельностью, с которой умирающие принимаются тревожно за всякое лечение, с зловещей боязнию в груди и с упорной надеждой ездил он опять в Бирмингам или Ливерпуль с трибуны поднимать свой плач о Польше. Я смотрел на него с глубокой горестью. Но как же он мог думать, что Англия поднимет Польшу, что Франция Наполеона вызовет революцию? Как он мог на-

---

[987] Сноски: 987
в душе (*ит.*).

деяться на ту Европу, которая допустила Россию в Венгрию, французов в Рим? Разве самое присутствие Мацини и Кошута в Лондоне не громко ему напоминало о ее падении?

…Около того же времени давно накипавшее неудовольствие против Централизации в молодой части эмиграции подняло голос. Ворцель обомлел — этого удара он не ждал, а он пришел совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавших Ворцеля, далеко не имела одного уровня с ним. Ворцель понимал это, но, привыкнув к своему хору, был под его влиянием. Он воображал, что он ведет, в то время как хор, стоя сзади, направлял его куда хотел. Только Ворцель подымался на ту высь, в которой ему было свободно дышать, в которой ему было естественно, — хор, исполняя должность мещанской родни, стягивал его в низменную сферу эмиграционных дрязг и мелочных расчетов. Преждевременный старик задыхался в этой среде от духовного астма столько же, как и от физического.

Люди эти не поняли серьезного смысла того союза, который я предлагал. Они в нем видели средство придать новый колорит делу; вечная таутология общих мест, патриотические фразы,

казенные воспоминания — все это приелось, наскучило. Соединение с русским давало новый интерес. К тому же они думали поправить свои дела, очень расстроенные, на счет русской пропаганды.

С самого начала между мной и членами Централизации не было настоящего пониманья. Недоверчивые ко всему русскому, они хотели, чтоб я написал и напечатал нечто вроде profession de foi[988]. Я написал «Поляки прощают нас». Они просили изменить кой-какие выражения. Я это сделал, хотя далеко не был согласен с ними. В ответ на мою статью Л. Зенкович написал воззвание к русским и прислал мне его в рукописи. Ни тени новой мысли; те же фразы, те же воспоминания и притом католические выходки. Прежде чем переводить на русский язык, я показал Ворцелю нелепости редакции. Ворцель был согласен и пригласил меня вечером объяснить дело членам Централизации.

Тут произошла вечная сцена Трисотина и Вадиуса: именно те места, на которые я указывал, они-то и были *необходимы* для того, чтоб Польша не сгиняла. Насчет католических фраз они

---

[988] Сноски: 988
исповедания веры (*фр.*).

сказали, что каковы бы ни были их личные верования, но что они хотят быть с народом, а народ горячо любит свою гонимую мать — латинскую церковь…

Ворцель поддерживал меня. Но, как только он начинал говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлял от табачного дыма и ничего не мог сделать. Он обещал мне переговорить с ними потом и настоять на главных поправках. Через неделю вышел «Демократ польский». В воззвании не было переменено *ни одной йоты;* я отказался от перевода. Ворцель говорил мне, что и он был удивлен этой проделкой. «Этого мало, что вы удивились, зачем вы не остановили?» — заметил я ему.

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопрос станет для Ворцеля так: разорваться с тогдашними членами Централизации и остаться в близком отношении со мной или разорваться со мной и остаться по-прежнему с своими революционными недорослями. Ворцель выбрал последнее — я был огорчен этим, но никогда не сетовал на него и не сердился.

Здесь я должен буду взойти в печальные подробности. Когда я завел типографию, у нас было решено так: все расходы книгопечатания (бума-

га, набор, наем места, работа etc.) падали на мой счет. Централизация брала на свой счет пересылку русских листов и брошюр теми путями, которыми они пересылали польские брошюры. Все, что они брали для пересылки, я им давал безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша, но вышло, что и она была мала.

Для своих дел, и преимущественно для собрания денег, Централизация решилась послать в Польшу эмиссара. Хотели даже, чтоб он пробрался в Киев, а если можно — в Москву, для русской пропаганды, и просили от меня писем. Я отказал боясь наделать бед. Дни за три до его отправления, вечером, встретил я на улице Зенковича, который тотчас меня спросил:

— Вы сколько даете на посылку эмиссара — с своей стороны?

Вопрос показался мне странным; но, зная их стесненное положение, я сказал, что, пожалуй, дам фунтов десять (250 фр.).

— Да что вы, шутите, что ли? — спросил, морщась, Зенкович. — Ему надобно по меньшей мере шестьдесят фунтов, а у нас *ливров сорок* недостает. Этого так оставить нельзя, я поговорю с нашими и приду к вам.

Действительно, на другой день он пришел

с Ворцелем и двумя членами Централизации. На этот раз Зенкович меня просто обвинил в том, что я не хочу дать достаточно денег на посылку эмиссара, а согласен ему дать русские печатные листы.

— Помилуйте, — отвечал я, — вы решились послать эмиссара, вы находите это необходимым, — трата падает на вас. Ворцель налицо, пусть он вам напомнит условия.

— Что тут толковать *о вздоре!* Разве вы не знали, что у нас теперь гроша нет?

Тон этот мне, наконец, надоел.

— Вы, — сказал я, — кажется, не читали «Мертвых душ», а то бы я вам напомнил Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего именья, заметил, что и с той и с другой стороны земля его. Это очень сбивает на наш дележ: мы делили работу нашу и тягу пополам на том условии, чтоб обе половины лежали на моих плечах.

Маленький желчевой литвин начал выходить из себя, кричать о гоноре и заключил нелепую и невежливую речь вопросом:

— Чего же вы хотите?

— Того, чтоб вы меня не принимали ни за

bailleur de fonds[989], ни за демократического банкира, как меня назвал один немец в своей брошюре. Вы слишком оценили мои средства, и, кажется, слишком мало меня… вы ошиблись…

— Да позвольте, да позвольте… — горячился бледный от ярости литвин.

— Я не могу дозволить продолжение этого разговора! — сказал, наконец, Ворцель, мрачно сидевший в углу и вставая. — Или продолжайте его без меня. Cher Herzen[990], вы правы, но подумайте об нашем положении: эмиссара послать необходимо, а средств нет.

Я остановил его.

— В таком случае можно было меня спросить, могу ли я что-нибудь сделать, но нельзя было требовать; а требовать в этой грубой форме просто гадко. — Деньги я дам; делаю это единственно для вас и — и даю вам честное слово, господа, в последний раз.

Я вручил Ворцелю деньги, и все мрачно разошлись.

Как вообще делались финансовые операции в нашем мире, я покажу еще на одном примере.

---

[989] Сноски: 989
негласного пайщика (*фр.*).

[990] Сноски: 990
Дорогой Герцен (*фр.*).

После моего приезда в Лондон в 1852, говоря о плохом состоянии итальянской кассы с Маццини, я сообщил ему, что в Генуе я предлагал его друзьям завести свою income-tax[991] и платить бессемейным процентов десять, семейным меньше.

— Примут все, — заметил Маццини, — а заплотят весьма немногие.

— Стыдно будет, заплотят. Я давно хотел внести свою лепту в итальянское дело; мне оно близко, как родное — я дам десять процентов с дохода, единовременно. Это составит около двухсот фунтов. Вот сто сорок фунтов, а шестьдесят останутся за мной.

В начале 1853 Маццини исчез. Вскоре после его отъезда явились ко мне два породистых рефюжье — один в шинели с меховым воротником, потому что он десять лет тому назад был в Петербурге, другой без воротника, но с седыми усами и военной бородкой. Они пришли с поручением от Ледрю-Роллена: он хотел знать, не намерен ли я прислать какую-нибудь сумму денег в Европейский комитет. Я признался, что *не имею.*

Несколько дней спустя тот же вопрос был мне

---

[991] Сноски: 991
подоходный налог (*англ.*).

сделан Ворцелем.

— С чего это взял Ледрю-Роллен?

— Да ведь дали же вы Маццини.

— Это скорее резон не давать никому другому.

— Кажется, за вами осталось шестьдесят фунтов?

— Обещанные Маццини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

...Прошла неделя; я получил письмо от Маццолени, в котором он уведомлял меня, что до его сведения дошло, что *я не знаю,* кому доставить шестьдесят фунтов, оставшиеся за мной, в силу чего он просит переслать их ему, как *представителю Маццини* в Лондоне.

Маццолени этот действительно был секретарем Маццини. Чиновник, бюрократ по натуре, он нас смешил своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о восстании в Милане 3 февраля 1853 была напечатана в журналах, я поехал к Маццолени узнать, не имеет ли он каких вестей. Маццолени просил меня подождать; потом вышел озабоченный, доблестный, с какими-то бумагами и с Братиано, с которым был в важном разговоре.

— Я к вам приехал узнать, нет ли каких вестей.

— Нет, я сам узнал из «Теймса»; жду с часу на час депешу.

Подошли еще человека два. Маццолени был доволен и потому морщился и жаловался на недосуг. Разговорившись, он начал полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете? — спросил я его.

— Это… это, разумеется, мои соображения, — заметил, несколько смешавшись, Маццолени.

— Завтра утром я к вам приеду…

— А если сегодня будет что-нибудь, я извещу вас.

— Вы меня одолжите; от семи до девяти я буду у Вери.

Маццолени не забыл. Часу в восьмом я обедал у Вери. Взошел итальянец, которого я раза два видал; он подошел ко мне, осмотрелся, выждал, когда гарсон пошел за чем-то, и, сказав мне, что Маццолени поручил ему передать, что никакой телеграммы не было, ушел.

…Получив письмо от этого статс-секретаря по революции, я ему отвечал шутя, что он напрасно меня представляет в каком-то беспомощном состоянии, стоящего середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесят ливров; что я

без письма Маццини вовсе не намерен их кому б то ни было отдавать.

Маццолени написал мне длинную и несколько гневную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшего, быть колкой для получающего, не выходя, впрочем, из пределов парламентской вежливости.

Не прошло недели после этих искушений, как утром рано приехала ко мне Эмилия Г., одна из преданнейших женщин Маццини и близкий его друг. Она мне сообщила о том, что восстание в Ломбардии не удалось и что Маццини еще скрывается там и просит немедленно выслать денег, а денег нет.

— Вот вам, — сказал я ей, — знаменитые шестьдесят фунтов; не забудьте только сказать тайному советнику Маццолени да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не так-то дурно сделал, не бросив в омут Европейского комитета эти полторы тысячи франков.

Предупреждая наш русский национальный вывод из моего рассказа, я должен сказать, что деньгами, так собираемыми, никогда ни-

кто не пользовался[992]; у нас их кто-нибудь украл бы, — здесь они исчезали в том роде, если б кто-нибудь, не записывая нумеров, жег бы на свече ассигнации.

Эмиссар поехал и приехал назад, ничего не сделавши. Война приближалась… началась. Эмиграция была недовольна; молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля в неспособности, лени, в желании устроить свои делишки вместо польских дел, в апатии. Неудовольствие их дошло до явного ропота; они поговаривали об отчете, который хотели требовать от членов Централизации, об открытом заявлении недоверия. Их останавливало и удерживало одно — уважение и любовь к Ворцелю. Сколько мог, я, через Чернецкого, поддерживал это; но ошибка за ошибкой

---

[992] Сноски: 992

Итальянская эмиграция выше всякого подозрения. В французской был один забавный случай. Бароне, о котором была речь в рассказе о дуэли Бартелеми, собрал, по поручению Ледрю-Роллена, какие-то деньги и прожил их. После этого желание возвратиться в Лондон сильно уменьшилось, и он стал просить разрешения остаться в Марсели. Билью отвечал, что Бароне как политический человек так безопасен, что мог бы остаться, но что бесчестный поступок его с своей собственной партией показывает, что он ненадежный человек, в силу чего он ему отказывает.

Своего рода пальма и тут принадлежит немцам. Они сколотили сборами в Америке и Манчестере, помнится, тысяч двадцать франков. Деньги эти, назначенные для агитации, пропаганды, поддержания процессов и пр., они положили в один из лондонских банков и избрали распорядителями: Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха — трех

непримиримых врагов. Те тотчас догадались, какой богатый источник неприятностей друг другу им дан в руки, а потому и поспешили написать в условиях взноса, чтоб банк не выдавал никакой суммы без всех трех подписей. Стоило одному или двум даже подписаться — третий не соглашался. Что ни делало немецкое эмиграционное общество, — одной подписи недоставало. Так и лежит сумма, не тронутая и поднесь, в банке — вероятно, приданым будущей тевтонской республики.

Централизации должны были, наконец, вывести из терпения хоть кого.

В ноябре 1854 был снова польский митинг, но уже совсем в другом духе, чем в прошлом году. Председателем был избран член парламента Жозуа Вомслей — поляки ставили свое дело под английский патронаж. В предупреждение слишком красных речей Ворцель написал кой к кому записки вроде полученной мною: «Вы знаете, что 29 у нас митинг; не можем пригласить вас и в этот год, как в прошлый, сказать нам несколько сочувствующих слов: война и необходимость сближения с англичанами заставляет нас дать митингу иной цвет. Не Герцен, не Ледрю-Роллен и Пьянчани будут говорить, а большей частью англичане, из наших же один Кошут возьмет речь, чтоб изложить положение дел и пр.». Я отвечал, что «приглашение *не говорить* на митинге я получил, и с тем большей охотой его принимаю, что оно очень легко».

Сближение с англичанами не состоялось, уступки были сделаны напрасно — даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказал, что он готов дать денег, но не хочет подписать своего имени, не желая, как член парламента, официально участвовать в сборе, цель которого не признана

правительством.

Все это и, между прочим, мое отдаление от митинга довело раздражение молодых людей до крайней степени; у них уже ходил по рукам обвинительный акт. Как нарочно в то же время я должен был перевести русскую типографию в другое место. Зенкович, нанимавший на свое имя дом, в котором помещалась она вместе с польской типографией, был кругом в долгах, два раза уже являлись брокеры[993] — всякий день можно было ждать, что типографию захватят вместе с другой мебелью. Я поручил Чернецкому ее перевести; Зенк<ович> упирался, не хотел выдать букв и принадлежностей; я написал ему холодную записку.

В ответ на нее на другой день приехал больной и расстроенный Ворцель ко мне в Твикнем.

— Вы нам наносите le coup de grâce[994]; в то самое время, как у нас идет такая усобица, вы переводите типографию.

— Уверяю вас, что тут никаких нет политических причин, ни ссор, ни демонстраций, а очень просто: я боюсь, что опишут все у Зенк<ови-

---

[993] Сноски: 993
судебные исполнители (*англ.* broker).

[994] Сноски: 994
смертельный удар (*фр.*).

ча>. Отвечаете ли вы мне, что этого не будет? Я на *ваше* честное слово положусь и типографию оставлю.

— Дела его очень запутаны, это правда.

— Как же вы хотите, чтоб я рисковал моим единственным орудием? Если даже я потом и выкуплю, чего будет стоить одна потеря времени? Вы знаете, как это здесь делается…

Ворцель молчал.

— Вот что я могу сделать для вас: я напишу письмо, в котором скажу, что хозяйственные распоряжения заставляют меня перевести типографию, но что это не только не значит, что мы расходимся, но, напротив — что у нас вместо одной будут две типографии. Письмо это вы можете напечатать, если желаете, или показать кому угодно.

Действительно, я в этом смысле и написал письмо на имя Жабицкого, забитого члена Централизации, заведовавшего ее материальной частью.

Ворцель остался обедать; после обеда я уговорил его переночевать в Твикнеме; вечером мы сидели с ним вдвоем перед камином. Он был очень печален, ясно понимая, каких ошибок он наделал, как все уступки не повели ни к чему,

кроме к внутреннему распадению, наконец — как агитация, которую он делал с Кошутом, пропадала бесследно; а фондом[995] всей черной картины — убийственный покой Польши.

<..... >

П. Тейлор велел хозяйке дома всякую неделю посылать к нему счет за квартиру, стол и прачку — этот счет он платил, но «на руки» ему не давал ни одного фунта.

Осенью 1856 Ворцелю советовали ехать в Ниццу и сначала пожить на теплых закраинах Женевского озера. Услышав это, я ему предложил деньги, нужные на путь. Он принял, и это нас снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирался он в путь тихо; лондонская зима, сырая, с продымленным, давящим туманом, вечной сыростью и страшными северно-восточными ветрами, начиналась. Я торопил его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страх от перемены, от движения, он боялся одиночества. Я ему предлагал взять с собою кого-нибудь до Женевы; там я его передал бы Карлу Фогту... Он все принимал, со всем соглашался, но ничего

---

[995] Сноски: 995
фоном (*фр.* fond).

не делал. Жил он *ниже* rez-de-chaussée[996]; у него в комнате почти никогда не было светло — там-то, в астме, без воздуха, дыша каменным углем, он потухал.

Ехать он решительно опоздал; я ему предложил нанять для него хорошую комнату в Brompton consumption hospital[997].

— Да это было бы хорошо… но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну так что же?

— Жабицкий живет здесь, и все дела наши здесь, а он *должен каждое утро приходить ко мне с дневным отчетом!..*

Тут самоотвержение граничило с сумасшествием.

<…… >

— Вы, верно, слышали, — спросил меня Ворцель, — что против нас готовится обвинительный акт?

— Слышал.

— Вот что я заслужил под старость… вот до чего дожил… — и он грустно качал седой головой своей.

---

[996] Сноски: 996
первого этажа (*фр.*).

[997] Сноски: 997
бромптомском туберкулезном санатории (*англ.*).

— Вряд правы ли вы, Ворцель. Вас так привыкли любить и уважать, что если этому делу не давали хода, то это только из боязни вас огорчить. Вы знаете — зуб не на вас, пусть ваши товарищи идут своей дорогой.

— Никогда, никогда! Мы всё делали вместе, на нас лежит общая ответственность.

— Вы их не спасете…

— А что вы говорили полчаса тому назад по поводу того, что Россель предал своих товарищей?

Это было вечером. Я стоял поодаль от камина, Ворцель сидел у самого огня, обернувшись лицом к камину; его болезненное лицо, на котором дрожал красный отсвет, показалось мне еще больше истомленным и страдальческим. Слеза, старая слеза скатывалась по исхудалой щеке его… Прошли несколько минут невыносимо тяжелого молчания… Он встал, я проводил его в его спальню; большие деревья шумели в саду. Ворцель отворил окно и сказал:

— Я здесь с моей несчастной грудью прожил бы вдвое.

Я схватил его за обе руки.

— Ворцель, — говорил я ему, — останьтесь у меня; я вам дам еще комнату; вам никто мешать не будет, делайте что хотите, завтракайте одни,

обедайте одни, если хотите; вы отдохнете месяца два… вас не будут беспрерывно тормошить, вы освежитесь. Я вас прошу как друга, как ваш меньшой брат!

— Благодарю, благодарю вас от всего сердца; я сейчас бы принял ваше предложение, но при теперешних обстоятельствах это просто невозможно… С одной стороны война, с другой — наши это примут за то, что я их оставил. Нет, каждый должен нести крест свой до конца.

— Ну, так усните по крайней мере спокойно, — сказал я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

…Война оканчивалась, умер Николай, началась новая Россия. Дожили мы до Парижского мира и до того, что «Полярная звезда» и все напечатанное нами в Лондоне покупалось *на корню.* Мы стали издавать «Колокол», и он пошел… Мы с Ворцелем видались редко, он радовался нашим успехам с той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, с которой мать, потерявшая сына, следит за развитием чужого отрока… Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелем в его oggi o mai, наступало, и он гаснул…

За три дня до его кончины Чернецкий прислал за мною. Ворцель меня спрашивал — он был

очень плох, ждали его кончины. Когда я приехал к нему, он был в забытьи, близком к обмороку; бледный, восковой, лежал он на диване… щеки его совершенно ввалились. Такие припадки с ним повторялись в последние дни, он привыкал быть мертвым. Через четверть часа Ворцель стал приходить в себя, слабо говорить, потом узнал меня, привстал и лег полусидя на диване.

— Читали вы газеты? — спросил он меня.

— Читал.

— Расскажите, как идет невшательский вопрос, я не могу ничего читать.

Я ему рассказал, он все слышал и все понял.

— Ах, как спать хочется. Оставьте меня теперь, я не усну при вас, а мне от сна будет легче.

На другой день ему было получше. Ему хотелось мне что-то сказать… Он раза два начинал и останавливался… и, только оставшись со мной наедине, умирающий подозвал меня к себе и, слабо взяв меня за руку, сказал:

— Как вы были правы… Вы не знаете, как вы были правы… У меня лежало это на душе вам сказать.

— Не будем больше говорить об них.

— Идите вашей дорогой… — он поднял на меня свой умирающий, но светлый, лучезарный

взгляд. Больше он говорить не мог. Я поцеловал его в губы — и хорошо сделал: мы простились надолго. Вечером он встал, вышел в другую комнату, хлебнул теплой воды с джином у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религиозно уважавшей в Ворцеле какое-то высшее явление, взошел опять к себе и уснул. На другой день, утром, Жабицкий и хозяйка спросили, не надобно ли ему чего больше. Он просил сделать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сделали. Ворцель не просыпался.

Я уже не застал его. Худое-худое лицо его и тело было покрыто белой простыней; я посмотрел на него, простился и пошел за работником скульптора, чтоб снять маску.

Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказал в другом месте[998]. Прибавлю к ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорил о своей семье. Раз как-то он искал для меня какое-то письмо; порывшись на столе, он открыл ящик. Там лежала фотография какого-то сытого молодого человека с офицерскими усами.

— Наверное, поляк и патриот? — сказал я, боль-

---

[998] Сноски: 998
«Сборник типографии», стр. 163–164.

ше шутя, чем спрашивая.

— Это, — сказал Ворцель, глядя в сторону и поспешно взяв у меня из рук портрет, — это… мой сын.

Я узнал впоследствии, что он был русским чиновником в Варшаве.

Дочь его вышла замуж за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины он диктовал Маццини свое завещание — совет Польше, поклон ей, привет друзьям…

— Теперь все, — сказал умирающий. Маццини не покидал пера.

— Подумайте, — говорил он, — не хотите ли вы в эту минуту…

Ворцель молчал.

— Нет ли еще лиц, которым бы вы имели что-нибудь сказать?

Ворцель понял; лицо его подернулось тучей, и он ответил.

– *Мне им нечего сказать.*

Я не знаю проклятия, которое ужаснее звучало бы и тяжелей бы ложилось этих простых слов.

С смертью Ворцеля демократическая партия польской эмиграции в Лондоне обмельчала. Им,

его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партия распалась на мелкие партии, почти враждебные. Годичные митинги вразбивку стали бедны числом и интересом: вечная панихида, перечень старых и новых потерь и, как всегда в панихидах, чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века, чаяние во второе пришествие Бонапарта и в преображение Речи Посполитой.

Два-три благородных старца остались величественными и скорбными памятниками; как те длиннобородые, седые израильтяне, которые плачут у стен иерусалимских, они не как вожди указывают путь вперед, а как иноки — могилу; они останавливают нас своим Sta, viator! Herois sepulcrum…[999]

Между ними — лучший из лучших, сохранивший в дряхлом теле молодое сердце и юный, кроткий, детски чистый, голубой взгляд, — одна нога его уже в гробе, — скоро уйдет он, скоро и противник его, Адам Чарторижский.

Уж не в самом ли деле это finis Poloniae?[1000]

…Прежде чем мы совсем оставим трогательную

---

[999] Сноски: 999
Стой, путник! Могила героя… (*лат.*)

[1000] Сноски: 1000
конец Польше? (*лат.*)

и симпатичную личность Ворцеля на холодном Гайгетском кладбище, я хочу рассказать несколько мелочей о нем. Так люди, идущие с похорон, приостанавливая скорбь, рассказывают разные подробности о покойном.

Ворцель был очень рассеян в маленьких житейских делах; после него всегда оставались очки, их чехол, платок, табатерка; зато, если близко него лежал не его платок, он его клал в карман; он приходил иногда с тремя перчатками, иногда с одной.

Прежде чем он переехал в Hunter street, он жил возле, в полукруге небольших домов Burton crescent, 43, недалеко от Нью-Рода. На английский манер все домы полукруга были одинакие. Дом, в котором жил Ворцель, был пятый с края — и он всякий раз, зная свою рассеянность, считал двери. Возвращаясь как-то с противуположной стороны полулунья, Ворцель постучал и, когда ему отперли, взошел в свою комнатку. Из нее вышла какая-то девушка, вероятно, хозяйская дочь. Ворцель сел отдохнуть к потухавшему камину. За ним кто-то раза два кашлянул: на креслах сидел незнакомый человек.

— Извините, — сказал Ворцель, — вы, верно, меня ждали?

— Позвольте, — заметил англичанин, — прежде чем я отвечу, узнать, с кем я имею честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имею удовольствия знать, что же вам угодно?

Тут вдруг Ворцеля поразила мысль, что он не туда попал; оглядевшись, он увидел, что мебель и все прочее не его. Он рассказал англичанину свою беду и, извиняясь, отправился в пятый дом с другой стороны. По счастью, англичанин был очень учтивый человек, что не очень обыкновенный плод в Лондоне.

Месяца через три та же история. На этот раз, когда он постучал, горничная, отворившая дверь, видя почтенного старика, просила его взойти прямо в парлор; там англичанин ужинал с своей женой. Увидя входящего Ворцеля, он весело протянул ему руку и сказал:

— Это не здесь, вы живете в 43 №.

При этой рассеянности Ворцель сохранил до конца жизни необыкновенную память; я в нем справлялся, как в лексиконе или энциклопедии. Он читал все на свете, занимался всем: механикой и астрономией, естественными науками и историей. Не имея никаких католических пред-

рассудков, он, по странному pli[1001] польского ума, верил в какой-то духовный мир, неопределенный, ненужный, невозможный, но отдельный от мира материального. Это не религия Моисея, Авраама и Исаака, а религия Жан-Жака, Жорж Санд, Пьера Леру, Маццини и пр. Но Ворцель имел меньше их всех прав на нее.

Когда его астм не очень мучил и на душе было не очень темно, Ворцель был очень любезен в обществе. Он превосходно рассказывал, и особенно воспоминания из старого панского быта; этими рассказами я заслушивался. Мир пана Тадеуша, мир Мурделио проходил перед глазами, — мир, о кончине которого не жалеешь, напротив, радуешься, но которому невозможно отказать в какой-то яркой, необузданной поэзии, вовсе недостающей нашему барскому быту. Нам, в сущности, так не свойственна западная аристократия, что все рассказы о наших тузах сводятся на дикую роскошь, на пиры на целый город, на бесчисленные дворни, на тиранство крестьян и мелких соседей, с рабским подобострастием перед императором и двором. Шереметевы и Голицыны, со всеми их дворцами и поместьями,

---

[1001] Сноски: 1001
складу (*фр.*).

ничем не отличались от своих крестьян, кроме немецкого кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Все они беспрерывно подтверждали изречение Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди — это те, с которыми он говорит и пока говорит… Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что может быть жалче et moins aristocratique[1002], как последний представитель русского барства и вельможничества, виденный мною, князь Сергий Михайлович Голицын, и что отвратительнее какого-нибудь Измайлова.

Замашки польских панов были скверны, дики, почти непонятны теперь; но диаметр другой, но другой закал личности и ни тени холопства.

— Знаете вы, — спросил меня раз Ворцель, — отчего называется Passage Radzivill в Пале-Рояле?

— Нет.

— Вы помните знаменитого Радзивилла, приятеля регента, который проехал на своих из Варшавы в Париж и для всякого ночлега покупал дом? Регент был без ума от него; количество вина, которое выпивал Радзивилл, покорило ему расслабленного хозяина; герцог так привык

[1002] Сноски: 1002
и менее аристократично (*фр.*).

к нему, что, видаясь всякий день, посылал еще по утрам к нему записки. Занадобилось как-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Он послал хлопа к нему с письмом. Хлопец искал, искал, не нашел и принес повинную голову. «Дурак, — сказал ему пан, — поди сюда. Смотри в окно: видишь этот большой дом?» (Пале-Рояль). — «Вижу» — «Ну, там живет первый здешний пан, каждый тебе укажет». Пошел хлопец, искал, искал — не может найти. Дело было в том, что домы отгораживали дворец и надобно было сделать обход по St.-Honoré… — «Фу, какая скука! — сказал пан. — Велите моему поверенному скупить дома между моим дворцом и Пале-Роялем, да и сделайте улицу, чтоб дурак этот не плутал, когда я опять его пошлю к регенту».

<Глава VII>
Немцы в эмиграции

Руге, Кинкель. – Schwefelbande[1003]. – Американский обед. – «The Leader». – Народный сход в St.-Martin's Hall. <–D-r Müller.>

[1003] Сноски: 1003
Шайка поджигателей, «серная шайка» (*нем.*).

Немецкая эмиграция отличалась от других своим тяжелым, скучным и сварливым характером. В ней не было энтузиастов, как в итальянской, не было ни горячих голов, ни горячих языков, как между французами.

Другие эмиграции мало сближались с нею; разница в манере, в habitus'е удерживала их на некотором расстоянии; французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью. Отсутствие общепринятой светскости, тяжелый школьный доктринаризм, излишняя фамильярность, излишнее простодушие немцев затрудняли с ними сношения непривыкших людей. Они и сами не очень сближались… считая себя, с одной стороны, гораздо выше прочих по научному развитию и, с другой — чувствуя перед другими неприятную неловкость провинциала в столичном салоне и чиновника в аристократическом кругу.

Внутри немецкая эмиграция представляла такую же рассыпчатость, как и ее родина. Общего плана у немцев не было, единство их поддерживалось взаимной ненавистью и злым преследованием друг друга. Лучшие из немецких изгнанников чувствовали это. Люди энергические, люди чистые, люди умные, как К. Шурц,

как А. Виллих, как Рейхенбах, уезжали в Америку. Люди кроткие по нраву прятались за делами, за лондонской далью, как Фрейлигрaт. Остальные, исключая двух-трех вожаков, раздирали друг друга на части с неутомимым остервенением, не щадя ни семейных тайн, ни самых уголовных обвинений.

Вскоре после моего приезда в Лондон поехал я в Брейтон к Арнольду Руге. Руге был коротко знаком московскому университетскому кругу сороковых годов: он издавал знаменитые «Hallische Jahrbücher», мы в них черпали философский радикализм. Встретился я с ним в 1849 в Париже, на не остывшей еще, вулканической почве. В те времена было не до изучения личностей. Он приезжал одним из поверенных баденского инсуррекционного[1004] правительства звать Мерославского, не умевшего по-немецки, начальствовать армией фрейшерлеров и переговаривать с французским правительством, которое вовсе не хотело признавать революционный Баден. С ним был К. Блинд. После 13 июня ему и мне пришлось бежать из Франции. К. Блинд опоздал несколькими часами и был посажен в Консьер-

[1004] Сноски: 1004
повстанческого (*фр.* insurrection).

жри. С тех пор я не видал Руге до осени 1852.

В Брейтоне я нашел его брюзгливым стариком, озлобленным и злоречивым. Оставленный прежними друзьями, забытый в Германии, без влияния на дела и перессорившийся с эмиграцией, Руге был поглощен сплетнями и пересудами. В постоянной связи с ним были два-три бездарнейших газетных корреспондента, грошовых фельетониста, этих мелких мародеров гласности, которых никогда не видать во время сражения и всегда — после, майских жуков политического и литературного мира, каждый вечер с наслаждением и усердием копающихся в выброшенных остатках дня. С ними Руге составлял статейки, подзадоривал их, давал им материал и сплетничал на несколько журналов в Германии и Америке.

Я обедал у него и провел весь вечер. В продолжение всего времени он жаловался на эмигрантов и сплетничал на них.

— Вы не слыхали, — говорил он, — как идут дела нашего сорокапятилетнего Вертера с баронессой? Говорят, что, открываясь ей в любви, хотел ее увлечь химической перспективой гениального ребенка, который должен родиться от аристократки и коммуниста? Барон, не охот-

ник до физиологических опытов, говорят, прогнал его в три шеи. Правда это?

— Как же вы можете верить таким нелепостям?

— Да я и в самом деле не очень верю. Живу здесь в захолустье и слышу только о том, что делается в Лондоне, от немцев; все они, а особенно эмигранты, врут Бог знает что, все между собой в ссоре, клевещут друг на друга. Я думаю, это К<инкель> распустил такой слух в знак благодарности за то, что баронесса его выкупила из тюрьмы. Ведь он бы и сам за ней поволочился, да воли-то нет: жена не дает ему баловаться. «Ты, говорит, меня от первого мужа отбил, так уж теперь довольно…»

Вот образчик философской беседы Арнольда Руге.

Один раз он изменил своему диапазону и стал с дружеским участием говорить о Бакунине, но на полдороге спохватился и добавил:

— А впрочем, в последнее время он как-то стал опускаться, бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом.

Я уехал от него с тяжелым сердцем и с твердым намерением никогда не возвращаться.

Через год он читал в Лондоне несколько лекций

о философском движении в Германии. Лекции были плохи, берлински-английский акцент неприятно поражал ухо; к тому же он все греческие и римские имена произносил на немецкий манер, так что англичане не могли догадаться, кто эти Иофис[1005], Юно[1006]… На вторую лекцию пришли десять человек; на третью — человек пять — да я с Ворцелем. Руге, проходя по пустой зале мимо нас, сильно сжал мне руку и прибавил:

— Польша и Россия пришли, а Италии нет; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новом восстании народов.

Когда он ушел, разгневанный и грозящий, я посмотрел на сардоническую улыбку Ворцеля и сказал ему:

— Россия зовет Польшу к себе отобедать.

— C'en est fait de l'Italie[1007], — заметил Ворцель, качая головой, и мы пошли.

Кинкель был один из замечательнейших немецких эмигрантов в Лондоне. Человек без-

---

[1005] Сноски: 1005
Юпитер (*лат.* Jovis).

[1006] Сноски: 1006
Юнона (*лат.* Juno).

[1007] Сноски: 1007
Вот и покончено с Италией (*фр.*).

укоризненного поведения, работавший в поте лица своего, что, как ни странно может это показаться, почти вовсе не встречалось в эмиграциях, *Кинкель* был заклятый враг Руге. Почему? Это так же трудно объяснить, как то, что проповедник атеизма Руге был другом неокатолика Ронге. Готфрид Кинкель был один из глав сорока сороков лондонских немецких расколов.

Глядя на него, я всегда дивился, как величественная, зевсовская голова попала на плечи немецкого профессора и как немецкий профессор попал сначала на поле сражения, потом, раненый, в прусскую тюрьму; а может, мудренее всего этого то, что все это *плюс* Лондон его нисколько не изменили и он остался немецким профессором. Высокий ростом, с седыми волосами и бородой с проседью, он сам по себе имел величавый и внушающий уважение вид; но он к нему прибавлял какое-то официальное помазание, Salbung[1008], что-то судейское и архиерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттенок этот в разных вариациях встречается у модных пасторов, у дамских врачей, особенно у магнетизеров, адвокатов,

---

[1008] Сноски: 1008
елейность (*нем.*).

специально защищающих нравственность, у главных waiter'ов[1009] аристократических отелей в Англии. Кинкель в молодости много занимался богословием; освободившись от него, он остался священником в приемах. Это не удивительно: сам Ламенне, подрубая так глубоко корни католицизма, сохранил до старости вид аббата. Обдуманная и плавная речь Кинкеля, правильная и избегающая крайностей, шла какой-то назидательной беседой; он с изученным снисхождением выслушивал другого и с искренним удовольствием — самого себя.

Он был профессором в Сомерсет гаузе и в нескольких высших заведениях, читал публичные лекции об эстетике в Лондоне и Манчестере — этого ему не могли простить голодно- и праздношатающиеся в Лондоне освободители тридцати четырех немецких отечеств. Кинкель был постоянно обругиваем в американских газетах, сделавшихся главным стоком немецких сплетен, и на тощих митингах, ежегодно держимых в память Роберта Блума, первого баденского Schilderhebung'а[1010], первого австрийского

[1009] Сноски: 1009
официантов (*англ.*).

[1010] Сноски: 1010
поднятия щитов (*нем.*).

Schwertfahrt'a[1011] и пр. Ругали его все его соотечественники, не имевшие никогда уроков, всегда просящие денег взаймы, никогда не отдающие занятого и постоянно готовые выдать человека за шпиона и вора в случае отказа. Кинкель не отвечал… Писаки лаяли, лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изредка какая-нибудь нечесаная и шершавая шавка выбежит из нижнего этажа германской демократии куда-нибудь в фельетон никем не читаемого журнала и зальется злейшим лаем, который так и напомнит счастливые времена братских восстаний в разных Тюбингенах, Дармштадтах и Брауншвейг-Волфенбюттелях.

В доме Кинкеля, на его лекциях, в его разговоре все было хорошо и умно — но недоставало какого-то масла в колесах, и оттого все вертелось туго, без скрыпа, но тяжело. Он говорил всегда интересные вещи; жена его, известная пианистка, играла прекрасные вещи, а скука была смертная. Одни дети, прыгая, вносили какой-то больше светлый элемент; их светленькие глазенки и звонкие голоса обещали меньше достоинства, но… больше масла в колеса.

[1011] Сноски: 1011
бряцания мечей (*нем.*).

«Ich bin ein Mensch der Möglichkeit»[1012], — говорил мне Кинкель не раз, чтоб характеризовать свое положение между крайними партиями; он думает, что он возможен как будущий министр в будущей Германии; я не думаю этого, зато Иоганна, его супруга, не сомневается.

Кстати, слово об их отношениях. Кинкель постоянно хранил достоинство, она постоянно удивлялась ему. Между собой они об самых будничных вещах говорят слогом благонравных комедий (светской haute comédie[1013] в Германии!) и нравственных романов.

— Beste Johanna, — говорит он звучно и не торопясь, — du bist, mein Engel, so gut, schenke mir noch eine Tasse von dem vortrefflichen Thee, den du so gut machst ein!

— Es ist zu himmlisch, liebster Gottfried, daß er dir geschmeckt hat. Tue, mein Bester, für mich einige Tropfen Schmand hinein![1014]

[1012] Сноски: 1012

«Я — человек возможностей» (*нем.*).

[1013] Сноски: 1013

высокой комедии (*фр.*).

[1014] Сноски: 1014

— Дражайшая Иоганна, ты, ангел мой, так добра; налей мне еще одну чашку превосходного чая, который ты так хорошо приготовляешь!
— Это слишком божественно, дорогой Готфрид, что чай пришелся тебе по вкусу. Налей мне, дражайший, несколько капель сливок! (*нем.*)

И он каплет сливки, глядя на нее с умилением, и она глядит на него с благодарностью.

Johanna ожесточенно преследовала своего мужа беспрерывными, неумолимыми попечениями о нем: давала ему револьвер во время тумана в каком-то особом поясе, умоляла беречь себя от ветра, от злых людей, от вредных кушаний и in petto от женских глаз — вреднее всех ветров и пате de foie gras[1015]... Словом, она отравляла его жизнь острой ревностью и неумолимой, вечно возбужденной любовью. В замену она поддерживала его в мысли, что он гений, по крайней мере не хуже Лессинга, что Германии в нем готовится будущий Штейн; Кинкель знал, что это правда, и кротко останавливал Иоганну при посторонних, когда похвалы хватали слишком через край.

— Иоганна, слышали ли вы об Гейне? — спрашивает ее раз расстроенно взбежавшая Шарлотта.

— Нет, — отвечает Иоганна.

— Умер... вчера в ночь...

— В самом деле?

[1015] Сноски: 1015
паштета из гусиной печенки (*фр.* pâté de foie gras).

— Zu wahr![1016]

— Ах, как я рада: я все боялась, что он напишет какую-нибудь едкую эпиграмму на Готфрида, — у него был такой ядовитый язык. Вы меня так удивили, — прибавила она, спохватившись, — какая потеря для Германии[1017].

<..... >

отвращения, является горькое чувство зависти.

Источник этих ненавистей долею лежит в сознании политической второстепенности *германского отечества* и в притязании играть первую роль. Смешно национальное фанфаронство и у французов, но все же они могут сказать, что «некоторым образом за человечество кровь проливали»... в то время как ученые германцы проливали одни чернилы. Притязание на какое-то огромное национальное значение, идущее рядом с доктринерским космополитизмом, тем смешнее, что оно не предъявляет другого права, кроме неуверенности в уважении других, в же-

---

[1016] Сноски: 1016

абсолютно верно! (*нем.*)

[1017] Сноски: 1017

В свою очередь, и мне жаль, что я написал эти строки. Вскоре потом бедная женщина бросилась из окна четвертого этажа на каменный ярд; ревность и болезнь в сердце довели ее до этой страшной смерти.

лании sich geltend machen[1018].

— За что нас поляки не любят? — говорил серьезно в обществе гелертеров один немец.

Тут случился журналист, умный человек, давно поселившийся в Англии.

— Ну, это еще не так мудрено понять, — отвечал он. — Вы лучше скажите, кто нас любит? или за что нас все ненавидят?

— Как все ненавидят? — спросил удивленный профессор.

— По крайней мере все пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русские, славяне.

— Позвольте, Herr Doktor, есть же исключения, — возразил обеспокоенный и несколько сконфуженный гелертер.

— Без малейшего сомнения, и какое исключение: Франция и Англия.

Ученый начал расцветать.

— И знаете отчего? Франция нас не боится, а Англия презирает.

Положение немца действительно печальное, но печаль его не интересна. Все знают, что они справиться могут с внутренним и внешним врагом, но не умеют. Отчего, например,

---

[1018] Сноски: 1018
показать себя (*нем.*).

единоплеменные ей народы — Англия, Голландия, Швеция — свободны, а немцы нет? Неспособность тоже обязывает, как дворянство, кой к чему, и всего больше к скромности. Немцы чувствуют это и прибегают к отчаянным средствам, чтоб иметь верх: выдают Англию и Северо-Американские Штаты за представителей германизма в сфере государственной Praxis[1019]. Руге, разгневавшись на Эдгара Бауэра за его пустую брошюру о России, кажется, под заглавием «Kirche und Staat», и подозревая, что я Э. Бауэра ввел в искушение, писал мне (а потом то же самое напечатал в «Жерсейском альманахе»), что Россия — один грубый материал, дикий и неустроенный, которого сила, слава и красота только от того и происходят, что германский гений ей придал свой образ и подобие.

Каждый русский, являющийся на сцену, встречает то озлобленное удивление немцев, которое не так давно находили от них же наши ученые, желавшие сделаться профессорами русских университетов и русской академии. Выписным «коллегам» казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватом чужого места.

[1019] Сноски: 1019
практики (*нем.*).

Маркс, очень хорошо знавший Бакунина, который чуть не сложил свою голову за немцев под топором саксонского палача, *выдал его за русского шпиона.* Он рассказал в своей газете целую историю, как Ж. Санд слышала от Ледрю-Роллена, что, когда он был министром внутренних дел, видел какую-то его компрометирующую переписку. Бакунин тогда сидел, ожидая приговора, в тюрьме и ничего не подозревал. Клевета толкала его на эшафот и порывала последнее общение любви между мучеником и сочувствующей в тиши массой. Друг Бакунина А. Рейхель написал в Nohant к Ж. Санд и спросил ее, в чем дело. Она тотчас отвечала Рейхелю и прислала письмо в редакцию Марксова журнала, отзываясь с величайшей дружбой о Бакунине; она прибавляла, что вообще *никогда не говорила* с Ледрю-Ролленом о Бакунине, в силу чего не могла повторить и сказанного в газете. Маркс нашелся ловко и поместил письмо Ж. Санд с примечанием, что статейка о Бакунине была помещена «во время его отсутствия».

Финал совершенно немецкий, — он невозможен не только во Франции, где point d'honneur так щепетилен и где издатель зарыл бы всю нечистоту дела под кучей фраз, слов, околично-

словий, нравственных сентенций, покрыл бы ее отчаянием qu'on avait surpris sa religion[1020], но даже английский издатель, несравненно менее церемонный, не смел бы свалить дела на сотрудников[1021].

Через год после моего приезда в Лондон Марксова партия еще раз возвратилась на гнусную клевету против Бакунина, тогда погребенного в Алексеевском равелине.

В Англии, в этом стародавнем отечестве поврежденных, одно из самых оригинальных мест между ними занимает *Давид Уркуард;* человек с талантом и энергией, эксцентрический радикал из консерватизма, он помешался на двух идеях: во-первых, что Турция — превосходная страна, имеющая большую будущность, в силу

[1020] Сноски: 1020

что злоупотребили его доверием (*фр.*).

[1021] Сноски: 1021

Несмотря на то, что они себе позволяют ужасно много. Для их характеристики расскажу один случай, бывший с Луи Бланом. «Теймс» напечатал, что Луи Блан, бывши членом Временного правительства, истратил «миллиона полтора фр. казенных денег» на составление себе партии между работниками. Луи Блан отвечал редакции, что она имеет неверные сведения о нем, что, при пущем желании, он не мог ни украсть, ни истратить полтора миллиона фр., потому что во все время его заведования люксембургской комиссией у него не было в распоряжении более 30 000 фр. «Теймс» не поместил его ответа. Луи Блан отправился в редакцию сам и потребовал свидания с главным издателем. Ему отвечали, что главного издателя *вовсе нет*, что «Теймс» издается как-то артелью. Луи Блан требовал ответственного артель-

щика — ему отвечали, что никто лично ни за что не отвечает.

— К кому же, наконец, я должен обратиться, у кого требовать отчет в том, что мое письмо в деле, касающемся до моего доброго имени, не было помещено?

— Здесь, — сказал ему один из чиновников при «Теймсе», — не так, как во Франции; у нас нет ни gérant responsable <ответственного редактора (*фр.*)>, ни законного обязательства помещать ответы.

— Решительно нет ответственного редактора? — спросил Луи Блан.

— Нету.

— Очень, очень жаль, — заметил Луи Блан, зло улыбаясь, — что нет главного редактора, а то я непременно надавал бы ему пощечин. Прощайте, господа.

— Good day, Sir, good day. God bless you! <Добрый день, сударь, добрый день. Да благословит вас Господь! (*англ.*)> – повторил чиновник при «Теймсе», учтиво и спокойно отворяя двери.

чего он завел себе турецкую кухню, турецкую баню, турецкие диваны… во-вторых, что русская дипломация, самая хитрая и ловкая во всей Европе, подкупает и надувает всех государственных людей во всех государствах мира сего, и преимущественно в Англии. Уркуард работал годы, чтоб отыскать доказательства того, что Палмерстон на откупу петербургского кабинета. Он об этом печатал статьи и брошюры, делал предложения в парламенте, проповедовал на митингах. Сначала на него сердились, отвечали ему, бранили его, потом привыкли. Обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращали внимания… наконец разразились общим хохотом.

На одном митинге в одном из больших центров Уркуард до того увлекся своей idée fixe, что, представляя Кошута человеком неверным, он прибавил, что если Кошут и не подкуплен Россией, то находится под влиянием человека, явным образом работающего в пользу России… *и этот человек — Маццини!* Уркуард, как дантовская Франческа, не продолжал больше своего чтения в этот день. При имени Маццини поднялся такой гомерический смех, что сам Давид заметил, что итальянского Голиафа он не сбил своей пращой, а себе свихнул руку.

Человек, думавший и открыто говоривший, что от Гизо и Дерби до Эспартеро, Кобдена и Маццини всё — русские агенты, был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины — Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule[1022] клеветы и заподозревания всех людей, выступавших на сцену с бóльшим успехом, чем они сами. Им недоставало честного имени. Уркуард его дал.

Д. Уркуард имел тогда большое влияние на «Morning Advertiser» — один из журналов, самым странным образом поставленных. Журнала этого нет ни в клубах, ни у больших стешионеров[1023], ни на столе у порядочных людей — а он имеет бóльшую циркуляцию, чем «Daily News», и только в последнее время дешевые листы, вроде «Daily Telegraph», «Morning и Evening Star», отодвинули «M. Advertiser» на второй план. Явление чисто английское: «M. Advertiser» — журнал питейных домов, и нет кабака, в котором бы его не было.

[1022] Сноски: 1022
высшую школу (*нем.*).

[1023] Сноски: 1023
торговцев писчебумажными товарами, газетами (*англ.* stationer).

С Уркуардом и публикой питейных домов взошли в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья. «Где пиво, там и немцы».

Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунин русский агент или нет?» Само собою разумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакунине.

Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным (об этом субъекте будет особая глава), но выбора не было. Я пригласил Ворцеля и Мацини присоединиться к нашему протесту — они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя польской демократической Централизации и такого человека, как Мацини, все кончено. Но немцы не остановились на этом. Они затянули скучнейшую полемику с Головиным, который с своей стороны поддерживал ее для того, чтоб собою занимать публику лондонских кабаков.

Мой протест, то, что я писал к Мацини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнев Маркса. Вообще это было время, в которое немцы спохватились и стали меня окружать

такою же грубой неприязнью, как окружали прежде грубым ухаживанием. Они уже не писали мне панегириков, как во время выхода «V<om> andern Ufer» и «Писем из Италии», а отзывались обо мне как «о дерзком варваре, осмеливающемся смотреть на Германию сверху вниз»[1024]. Один из марксовских гезеллей[1025] написал целую книжку против меня и отослал Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда он напечатал (что я узнал гораздо позже) ту статейку в «Лидере», о которой шла речь. Имя его я не припомню.

К марксидам присоединился вскоре рыцарь с опущенным забралом, *Карл Блинд,* тогда famulus[1026] Маркса, теперь его враг. В его корреспонденции в нью-йоркские журналы было сказано по поводу обеда, который давал нам американский консул в Лондоне: «На этом обеде был русский, именно А. Г., *выдающий себя* за социали-

---

[1024] Сноски: 1024

Это печатал некто *Колачек* в одном американском журнале по поводу второго французского издания «Du développement des idées révolutionnaires en Russie». *Пикантное* этого состоит в том, что *весь текст* этой книги был прежде напечатан по-немецки в «Deutsche Jahrbücher», издаваемых… тем же самым *Колачеком!*

[1025] Сноски: 1025

подмастерьев (*нем.* Gesell).

[1026] Сноски: 1026

подручный (*лат.*).

ста и республиканца. Г. живет в близких отношениях с Маццини, Кошутом и Саффи… Со стороны людей, стоящих во главе движения, чрезвычайно неосторожно, что они допускают русского в свою близость. Желаем, чтоб им не пришлось слишком поздно раскаяться в этом».

Сам ли Блинд это писал или кто из его помощников, я не знаю: текста у меня перед глазами нет, но за смысл я отвечаю.

При этом надобно заметить, что как со стороны К. Блинда, так и со стороны Маркса, которого я совсем не знал, вся эта ненависть была чисто платоническая, так сказать, безличная: меня приносили в жертву фатерланду из патриотизма. В американском обеде, между прочим, их бесило отсутствие немца — за это они наказали русского[1027].

Обед этот, наделавший много шуму по ту и другую сторону Атлантики, случился таким образом.

[1027] Сноски: 1027

Отсутствие немца на обеде напоминает мне похороны матери Гарибальди. Она умерла в Ницце в 1851 году. Друзья ее сына пригласили изгнанников разных стран нести покойницу; в том числе был приглашен и я. Когда мы собрались у сеней дома, оказалось, что приглашенные были: два римлянина (один из них был Орсини), два ломбарда, два неаполитанца, два француза, Хоецкий — поляк и я — русский. «Господа, — сказал Хоецкий, — заметьте, L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand» <Европа представлена полностью, нет даже ни одного немца (*фр.*)>.

Президент Пирс будировал старые европейские правительства и делал всякие школьничества. Долею для того, чтоб приобрести больше популярности дома, долею — чтоб отвести глаза всех радикальных партий в Европе от главного алмаза, на котором ходила вся его политика, — от незаметного упрочения и распространения невольничества.

Это было время посольства *Суле* в Испанию и сына Р. Оуэна в Неаполь, вскоре после дуэля Суле с Тюрго и его настоятельного требования проехать, вопреки приказа Наполеона, через Францию в Брюссель, в котором император французов отказать не решился. «Мы посылаем послов, — говорили американцы, — не к царям, а к народам». Отсюда — идея дать дипломатический обед врагам всех существующих правительств.

Я не имел понятия о готовящемся обеде. Получаю вдруг приглашение от Соундерса, американского консула; в приглашении лежала небольшая записочка от Маццини: он просил меня, чтоб я не отказывался, что обед этот делается с целью кой-кого подразнить и показать симпатию кой-кому другому.

На обеде были: Маццини, Кошут, Ледрю-Ролен, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульский

и я, из англичан — один радикальный член парламента, Жозуа Вомслей, потом посол Бюханан и все посольские чиновники.

Надобно заметить, что одна из целей *красного* обеда, данного защитником *черного* рабства, состояла в сближении Кошута с Ледрю-Ролленом. Дело было не в том, чтоб их примирить, — они никогда не ссорились, — а чтоб их официально познакомить. Их незнакомство случилось так. Ледрю-Роллен был уже в Лондоне, когда Кошут приехал из Турции. Возник вопрос, кому первому ехать с визитом: Ледрю-Роллену к Кошуту или Кошуту к Ледрю-Роллену? Вопрос этот сильно занимал их друзей, сподвижников, их двор, гвардию и чернь. Pro и contra[1028] были значительные. Один был диктатор Венгрии; другой не был диктатор, но зато *француз.* Один был почетный гость Англии, лев первой величины, на вершине своей садящейся славы; другой был в Англии как дома, а визиты делаются вновь приезжающими… Словом, вопрос этот, как квадратура круга, perpetuum mobile, был найден обоими дворами неразрешимым… а потому и решили тем, чтоб не ездить ни тому, ни дру-

---

[1028] Сноски: 1028
За и против (*лат.*).

гому, предоставляя дело встречи воле Божией и случаю… Года три или четыре Ледрю-Роллен и Кошут, живши в одном городе, имея общих друзей, общие интересы и одно дело, должны были игнорировать друг друга, а случая никакого не было. Маццини решился помочь судьбе.

Перед обедом, после того как Бюханан уже пережал нам всем руки, изъявляя каждому свое полное удовольствие, что познакомился лично, Маццини взял Ледрю-Роллена под руку, и в то же самое время Бюханан сделал такой же маневр с Кошутом, и, кротко подвигая виновников, привели их почти к столкновению и назвали их друг другу. Новые знакомые не остались в долгу и осыпали друг друга комплиментами — с восточным, цветистым оттенком со стороны великого мадьяра и с сильным колоритом речей Конвента со стороны великого галла…

Я стоял во время всей этой сцены у окна с Орсини… взглянув на него, я был до смерти рад, видя легкую улыбку — больше в его глазах, чем на губах.

— Послушайте, — сказал я ему, — какой мне вздор пришел в голову: в 1847 году я видел в Париже, в Историческом театре, какую-то глупейшую военную пьесу, в которой главную роль играли

дым и стрельба, а вторую — лошади, пушки и барабаны. В одном из действий полководцы обеих армий выходят для переговоров с противуположных сторон сцены, храбро идут против друг друга, и, подойдя, один снимает шляпу и говорит: «Souvaroff — Masséna!» На что другой ему отвечает, тоже без шляпы: «Masséna — Souvaroff!»

— Я сам едва удержался от смеха, — сказал мне Орсини с совершенно серьезным лицом.

Хитрый старик Бюханан, мечтавший тогда уже, несмотря на семидесятилетний возраст, о президентстве и потому говоривший постоянно о счастии покоя, об идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничал с нами так, как любезничал в Зимнем дворце с Орловым и Бенкендорфом, когда был послом при Николае. С Кошутом и Маццини он был прежде знаком; другим он говорил очень хорошо отделанные комплименты, напоминавшие гораздо больше тертого дипломата, чем сурового гражданина демократической республики. Мне он ничего не сказал, кроме того, что он долго был в России и вывез убеждение, что она имеет великую будущность. Я ему на это, разумеется, ничего не сказал, а заметил, что помню его еще со времен коронации Николая. «Я был мальчиком,

но вы были так заметны, в вашем простом черном фраке и в круглой шляпе, в толпе шитой, золоченой, ливрейной знати»[1029].

Гарибальди он заметил: «У вас такая же слава в Америке, как в Европе, только что в Америке еще прибавляется новый титул: там вас знают — там вас знают за отличного моряка».

За десертом, когда M-me Saunders уже вышла и нам подали сигары с еще большим количеством вина, Бюханан, сидевший против Ледрю-Роллена, сказал ему, что у него «был знакомый в Нью-Йорке, говоривший, что он готов бы был съездить из Америки во Францию только для того, чтоб познакомиться с ним».

По несчастию, Бюханан как-то шамшил, а Ледрю-Роллен плохо понимал по-английски. В силу чего вышло презабавное qui pro quo[1030] — Ледрю-Роллен думал, что Бюханан говорит это от себя, и с французским effusion de reconnaissance[1031] стал его благодарить и протянул ему через стол свою

[1029] Сноски: 1029

Я ни слова тогда не говорил по-английски. Бюханан плохо понимал по-французски. Ворцель ему передал мои слова.

[1030] Сноски: 1030

недоразумение (*лат.*).

[1031] Сноски: 1031

манерой изливаться в благодарностях (*фр.*).

огромную руку. Бюханан принял благодарность и руку и с тем невозмущаемым спокойствием в трудных обстоятельствах, с которыми англичане и американцы тонут с кораблем или теряют полсостояния, заметил ему: «I think — it is a mistake[1032], это не я так думал, это один из моих хороших приятелей в New-York'е».

Праздник кончился тем, что вечером поздно, когда Бюханан уехал, а вслед за ним не счел более возможным остаться и Кошут и отправился с своим министром без портфеля, консул стал умолять нас снова сойти в столовую, где он хотел сам приготовить какой-то американский пунш из старого кентуккийского виски. К тому же Соундерсу там хотелось вознаградить себя за отсутствие сильных тостов за будущую всемирную (белую) республику и т. д., которых, должно быть, осторожный Бюханан не допускал. За обедом пили тосты двух-трех гостей и его, без речей.

Пока он жег какой-то алкоголь и приправлял его всякой всячиной, он предложил хором *отслужить* «Марсельезу». Оказалось, что музыку ее порядком знал один Ворцель, зато у него было

[1032] Сноски: 1032
«Я думаю, это ошибка» (*англ.*).

extinction[1033] голоса, да кой-как Мацини, — и пришлось звать американку Соундерс, которая сыграла «Марсельезу» на гитаре.

Между тем ее супруг, окончив свою стряпню, попробовал, остался доволен и разлил нам в большие чайные чашки. Не опасаясь ничего, я сильно хлебнул и в первую минуту не мог перевести духа. Когда я пришел в себя и увидел, что Ледрю-Роллен собирался также усердно хлебнуть, я остановил его словами:

— Если вам дорога жизнь, то вы осторожнее обращайтесь с кентуккийским прохладительным; я русский, да и то опалил себе нёбо, горло и весь пищеприемный канал — что же будет с вами. Должно быть, у них в Кентукки пунш делается из красного перца, настоянного на купоросном масле.

Американец радовался, иронически улыбаясь, слабости европейцев. Подражатель Митридата с молодых лет, я один подал пустую чашку и попросил еще. Это химическое сродство с алкоголем ужасно подняло меня в глазах консула.

— Да, да, — говорил он, — только в Америке и в России люди и умеют пить.

[1033] Сноски: 1033
Здесь: потеря (*англ.*).

«Да есть и еще больше лестное сходство, — подумал я, — только в Америке и в России умеют крепостных засекать до смерти».

Пуншем в 70° окончился этот обед, испортивший больше крови немецким фолликулярим[1034], чем желудок обедавшим.

За трансатлантическим обедом следовала попытка *международного комитета* — последнее усилие чартистов и изгнанников соединенными силами заявить свою жизнь и свой союз. Мысль этого комитета принадлежала Эрнсту Джонсу. Он хотел оживить дряхлевший не по летам чартизм, сближая английских работников с французскими социалистами. Общественным актом этой entente cordiale[1035] назначен был митинг в воспоминание 24 февр<аля> 1848.

Международный комитет избрал между десятком других и меня своим членом, прося меня сказать речь о России, — я поблагодарил их письмом, речи говорить не хотел; тем бы и заключил, если б Маркс и Головин не вынудили меня явиться назло им на трибуне St.-Martin's Hall.

Сначала Джонс получил письмо от какого-то

[1034] Сноски: 1034
газетным писакам (*фр.* folliculaire).

[1035] Сноски: 1035
сердечного согласия (*фр.*).

немца, протестовавшего против моего избрания. Он писал, что я известный панславист, что я писал о необходимости завоевания Вены, которую назвал славянской столицей, что я проповедую русское крепостное состояние как идеал для земледельческого населения. Во всем этом он ссылался на мои письма к Линтону («La Russie et le vieux monde»). Джонс бросил без внимания патриотическую клевету.

Но это письмо было только авангардным рекогносцированием. В следующее заседание комитета Маркс объявил, что он считает мой выбор несовместным с целью комитета, и предлагал выбор уничтожить. Джонс заметил, что это не так легко, как он думает; что комитет, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желания быть членом, и сообщивши ему официально избрание, не может изменить решения по желанию одного члена; что пусть Маркс формулирует свои обвинения, и он их предложит теперь же на обсуживание комитета.

На это Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский, и притом *русский, который во всем, что писал, поддерживает Россию;* что, наконец, если комитет

не исключит меня, то он, Маркс, со всеми своими будет принужден выйти.

Эрнст Джонс, французы, поляки, итальянцы, человека два-три немцев и англичане вотировали за меня. Маркс остался в страшном меньшинстве. Он встал и с своими приспными оставил комитет и не возвращался более.

Побитые в комитете, марксиды отретировались в свою твердыню — в «Morning Advertiser». Герст и Блакет издали английский перевод одного тома «Былого и дум», включив в него «Тюрьму и ссылку». Чтоб товар продать лицом, они, не обинуясь, поставили: «My exile *in Siberia*»[1036] на заглавном листе. «Express» первый заметил это фанфаронство. Я написал к издателю письмо и другое — в «Express». Герст и Блакет объявили, что заглавие было сделано ими, что в оригинале его нет, но что Гофман и Кампе поставили в немецком переводе тоже в «Сибирь». «Express» все это напечатал. Казалось, дело было кончено. Но «Morning Advertiser» начал меня шпиговать в неделю раза два-три. Он говорил, что я слово *«Сибирь»* употребил для лучшего сбыта книги, что я протестовал *через пять дней* после выхода

[1036] Сноски: 1036
«Моя ссылка *в Сибирь*» (*англ.*).

книги, т. е. давши время сбыть издание. Я отвечал; они сделали рубрику: «Case of M. H.»[1037], как помещают дополнения к убийствам или уголовным процессам… Адвертейзеровские немцы не только сомневались в Сибири, приписанной книгопродавцем… но и в самой ссылке. «В Вятке и Новгороде г. Г. был на *императорской* службе — где же и когда он был в ссылке?»

Наконец интерес иссяк… и «Morning Advertiser» забыл меня.

Прошло четыре года. Началась итальянская война. Красный Маркс избрал самый черно-желтый журнал в Германии, «Аугсбургскую газету», и в ней стал выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона, Кошута, С. Телеки, Пульского и пр. — как продавшихся Бонапарту. Вслед за тем он напечатал: «Г., по самым верным источникам, получает большие деньги от Наполеона. Его близкие сношения с Palais-Royal'ем были и прежде не тайной»…

Я не отвечал, он зато был почти обрадован, когда тощий лондонский журнал «Herrman» поместил статейку, в которой говорится, несмотря на то что я десять раз отвечал, что я этого никогда

[1037] Сноски: 1037
«Дело г. Г<ерцена» (*англ.*).

не писал, что я «рекомендую России завоевать Вену и считаю ее столицей славянского мира».

Мы сидели за обедом — человек десять; кто-то рассказывал из газет о злодействах, сделанных Урбаном с своими пандурами возле Комо. Кавур обнародовал их. Что касается до Урбана, в нем сомневаться было грешно. Кондотьер, без роду и племени, он родился где-то на биваках и вырос в каких-то казармах; fille du régiment[1038] мужского пола и по всему, par droit de conquête et par droit de naissance[1039] свирепый солдат, пандур и грабитель.

Дело было как-то около Маженты и Солферино. Немецкий патриотизм был тогда в периоде злейшей ярости; классическая любовь к Италии, патриотическая ненависть к Австрии — все исчезло перед *патосом* национальной гордости, хотевшей во что б ни стало удержать чужой «квадрилатер»[1040]. Баварцы собирались идти, несмотря на то что их никто не посылал, никто не звал, никто не пускал… Гремя ржавыми саб-

---

[1038] Сноски: 1038
дочь полка (*фр.*).

[1039] Сноски: 1039
по праву завоевания и по праву рождения (*фр.*).

[1040] Сноски: 1040
четырехугольник крепостей (*фр.* quadrilatère).

лями бефрейюнгскрига, они запаивали пивом и засыпали цветами всяких кроатов и далматов, шедших бить итальянцев за Австрию и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанник Бухер и какой-то, должно быть, побочный потомок Барбароссы Родбартус протестовали против всякого притязания иностранцев (т. е. итальянцев) на Венецию…

При этих неблагоприятных обстоятельствах и был, между супом и рыбой, поднят несчастный вопрос об злодействах Урбана.

— Ну, а если это неправда? — заметил несколько побледневши D-r Мюллер-Стрюбинг из Мекленбурга по телесному и Берлина по духовному рождению.

— Однако ж нота Кавура…

— Ничего не доказывает.

— В таком случае, — заметил я, — может, под Мажентой австрийцы разбили наголову французов: ведь никто из нас не был там.

— Это другое дело… там тысячи свидетелей, а тут какие-то итальянские мужики.

— Да что за охота защищать австрийских генералов… Разве мы и их и прусских генералов, офицеров не знаем по 1848 году? Эти проклятые юнкеры, с дерзким лицом и надменным видом…

— Господа, — заметил Мюллер, — прусских офицеров не следует оскорблять и ставить наряду с австрийскими.

— Таких тонкостей мы не знаем; все они несносны, противны. Мне кажется, что все они, да и вдобавок наши лейб-гвардейцы, такие же…

— Кто обижает прусских офицеров, обижает прусский народ: они с ним неразрывны, — и Мюллер, совсем бледный, отставил в первый раз отроду дрожащей рукой стакан налитого пива.

— Наш друг Мюллер — величайший патриот Германии, — сказал я, все еще полушутя, — он на алтарь отечества приносит больше чем жизнь, больше чем обожженную руку: он жертвует здравым смыслом.

— И нога его не будет в доме, где обижают германский народ! — с этими словами мой доктор философии встал, бросил на стол салфетку как материальный знак разрыва и мрачно вышел… С тех пор мы не виделись.

А ведь мы с ним пили на «Du»[1041] у Стеели, Gendarmenplatz в Берлине, в 1847 году, и он был самый лучший и самый счастливый немецкий

[1041] Сноски: 1041
«ты» (*нем.*).

Bummler[1042] из всех виденных мною. Не въезжая в Россию, он как-то всю жизнь прожил с русскими, и биография его не лишена для нас интереса.

Как все немцы, не работающие руками, Мюллер учился древним языкам очень долго и подробно, знал их очень хорошо и много. Его образование было до того упорно классическое, что не имел времени никогда заглянуть ни в какую книгу об естествоведении, хотя естественные науки уважал, зная, что Гумбольдт ими занимался всю жизнь. Мюллер, как все филологи, умер бы от стыда, если б он не знал какую-нибудь книжонку — средневековую или классическую дрянь, и не обинуясь признавался, например, в совершенном неведении физики, химии и пр. Страстный музыкант без Anschlag'а[1043] и голоса, платонический эстетик, не умевший карандаша в руки взять и изучавший картины и статуи *в Берлине,* Мюллер начал свою карьеру глубокомысленными статьями об игре талантливых, но все неизвестных берлинских актеров в «Шпееровой газете» и был страстным любителем

[1042] Сноски: 1042
гуляка (*нем.*).

[1043] Сноски: 1043
туше (*нем.*).

спектакля. Театр, впрочем, не мешал ему любить вообще все зрелища, от зверинцев с пожилыми львами и умывающимися белыми медведями и фокусников до панорам, косморам, акробатов, телят с двумя головами, восковых фигур, ученых собак и пр.

В жизнь мою я не видывал такого *деятельного лентяя*, такого вечно занятого праздношатающегося. Утомленный, в поту, в пыли, измятый, затасканный, приходил он в одиннадцатом часу вечера и бросался на диван. Вы думаете, у себя в комнате? Совсем нет — в учено-литературной биркнейпе[1044] у Стеели, и принимался за пиво… Выпивал он его нечеловеческое количество, беспрестанно стучал крышкой кружки, и Jungfer[1045] уже знала без слов и просьбы, что следует нести другую. Здесь, окруженный отставными актерами и еще не принятыми в литературу писателями, проповедовал Мюллер часы о Каулбахе и Корнелиусе, о том, как пел в этот вечер Лабочета (!) в Королевской опере, о том, как мысль губит стихотворение и портит картину, убивая ее непосредственность, и вдруг

[1044] Сноски: 1044
пивной (*нем.* Bierkneip).

[1045] Сноски: 1045
Здесь: служанка (*нем.*).

вскакивал, вспомнив, что он должен завтра, в восемь часов утра, бежать к Пассаланье, в египетский музей, смотреть новую мумию, и это непременно в восемь часов, потому что в половину десятого один приятель обещал ему сводить его в конюшню английского посланника показать, как англичане отлично содержат лошадей. Схваченный таким воспоминанием, Мюллер, извиняясь, наскоро выпивал кружку, забывая то очки, то платок, то крошечную табакерку, бежал в какой-то переулок за Шпре, подымался в четвертый этаж и торопился выспаться, чтоб не заставить дожидаться мумию, три-четыре тысячи лет покоившуюся, не нуждаясь ни в Пассаланье, ни в D-r Мюллере.

Без гроша денег и тратя последние на cerealia и circenses[1046], Мюллер жил на антониевой пище, храня внутри сердца непреодолимую любовь к кухонным редкостям и столовым лакомствам. Зато, когда фортуна ему улыбалась и его несчастная любовь могла перейти в реальную, он торжественно доказывал, что он не только уважал категорию качества, но столько же отдавал справедливость категории количества.

[1046] Сноски: 1046
хлеб и зрелища (*лат.*).

Судьба, редко балующая немцев, особенно идущих по филологической части, сильно баловала Мюллера. Он случайно попал в пассатное русское общество, и притом молодых и образованных русских. Оно завертело его, закормило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, Genußjahre!..[1047] Лица менялись, пир продолжался, бессменным был один Мюллер. Кого и кого, с 1840 года, не водил он по музеям, кому не объяснял Каулбаха, кого не водил в университет? Тогда была эпоха поклонения Германии в пущем разгаре; русский останавливался с почтением в Берлине и, тронутый, что попирает философскую землю, которую Гегель попирал, поминал его и учеников его с Мюллером языческими возлияниями и страсбургскими пирогами.

Эти события могли расстроить все миросозерцание какого угодно немца. Немец не может одним синтезисом обнять страсбургские пироги и шампанское с изучением Гегеля, идущим даже до брошюр Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шаллера, Розенкранца и всех в жизни усопших знаменитостей сороковых годов. У них все еще

[1047] Сноски: 1047
годы наслаждения! (*нем.*)

если страсбургский пирог — то банкир, если Champagner[1048] — то юнкер.

Мюллер, довольный, что нашел такое вкусное сочетание науки с жизнию, сбился с ног — покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь в почтовую карету (или потом в вагон), чтоб ехать в Париж, перебрасывала его, как ракету волана, к русской семье, подъезжавшей из Кенигсберга или Штеттина. С провод он торопился на встречу, и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладким пивом нового знакомства. Виргилий философского чистилища, он вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens[1049]. Чистые душою соотечественники наши оставляли с увлечением прибранные комнаты и порядочное вино отелей, чтоб бежать с Мюллером в душную полпивную. Они все были вне себя от буршикозной[1050] жизни, и скверный табачный дым Германии им сладок и приятен был.

[1048] Сноски: 1048
шампанское (*нем.*).

[1049] Сноски: 1049
чистого мышления и немецких попоек (*нем.*).

[1050] Сноски: 1050
студенческой (*нем.* burschikos).

В 1847 году и я делил эти увлечения, и мне казалось, что я как-то выше становлюсь в общественном значении оттого, что по вечерам встречал в полпивной Ауэрбаха, читавшего карикатурно Шиллерову «Bürgschaft» и рассказывавшего смешные анекдоты вроде того, как русский генерал покупал для двора какие-то картины в Дюссельдорфе. Генерал был не совсем доволен величиной картины и думал, что живописец хочет его обмерить. «Гут, — говорит он, — абер клейн[1051]. Кейзер liebt grosse Bilder, Кейзер sehr klug; Gott klüger, aber Кейзер noch jung»[1052] и т. п. Сверх Ауэрбаха, там бывали два-три *берлинских* (что было в этом звуке для русского уха сороковых годов!) профессора, один из них в каком-то сертуке на *военный* манер, и какой-то спившийся актер, который был недоволен современным сценическим искусством и считал себя неузнанным гением. Этого неоцененного Талму заставляли всякий вечер петь куплеты «о покушении Фиески на Людвига-Филиппа» и, немного потише, о выстреле Чеха в прусского короля.

[1051] Сноски: 1051

Хороша, но мала (*нем.* Gut, aber klein).

[1052] Сноски: 1052

Кейзер любит большие картины, Кейзер очень умен; Бог умнее, но кейзер еще молод (*нем.*).

Hatte keiner je so Pech
Wie der Bürgermeister Tschech,
Denn er schoß der Landesmutter,
Durch den Rock ins Unterfutter[1053].

Вот она, свободная-то Европа!.. Вот они, Афины на Шпре! И как мне было жаль друзей на Тверском бульваре и на Невском проспекте!

Зачем износились все эти чувства непочатости, северной свежести и неведения, удивленья, поклоненья… Все это — оптический обман. Что же за беда… разве мы в театр ходим не из-за оптического обмана? Только тут мы сами в заговоре с обманщиком, а там обман если и есть, то нет обманщика. Потом всякий увидит свои ошибки… улыбнется, немного посовестится, солжет, что этого никогда не было… а веселые-то минуты *были-таки.*

Зачем видеть сразу всю подноготную? Мне просто хотелось бы воротиться к прежним декорациям и взглянуть на них с лицевой стороны: «Луиза… обмани меня — солги, Луиза!»

Но Луиза (тоже Мюллер), отворачиваясь от старика, говорит, надувши губки: «Ach, um

[1053] Сноски: 1053

Никто никогда не терпел такой неудачи, как бургомистр Чех, ведь он прострелил подкладку мундира матери страны (*нем.*).

Himmelsgnaden, lassen Sie doch ihre Torheiten und gehen Sie mit ihren Weg…»[1054], и бреди себе по мостовой из булыжнику, в пыли, шуме, треске, в безотрадных, ненужных, мелькающих встречах, ничем не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь к выходу — зачем? Затем, что его миновать нельзя.

Возвращаясь к Мюллеру, я должен сказать, что не все же он жил бабочкой, перелетая от Кронгартена — Под-Липы. Нет, и его молодость имела свою героическую главу. Он высидел целых *пять лет* в тюрьме… и никогда порядком не знал за что, так же как и философское правительство, которое его засадило; тогда преследовали отголоски гамбахского праздника, студентских речей, брудершафтских тостов, буршентумских идей и тугендбундских воспоминаний. Вероятно, и Мюллер что-нибудь вспомнил — его и посадили. Конечно, во всех Пруссиях, с Вестфалией и Рейнскими провинциями, не было субъекта меньше опасного для правительства, как Мюллер. Мюллер родился зрителем, шафером, публикой. Во время берлинской революции 1848 он отнесся к ней точно так же — он бегал с улицы

[1054] Сноски: 1054

«Ах, ради неба, оставьте свои глупости и ступайте своей дорогой…» (*нем.*)

на улицу, подвергаясь то пуле, то аресту, для того чтоб посмотреть, что там делается и что тут.

После революции отеческое управление короля-богослова и философа стало тяжело, и Мюллер, походивши еще с полгода к Стеели и Пассаланье, начал скучать. Звезда его стояла высоко — спасенье было возле. Полина Гарсия-Виардо пригласила его к себе в Париж. Она была так покрыта нашими подснежными венками, так окружена северной любовью нашей, что сама состояла на правах русской и имела, стало быть, в свою очередь неотъемлемое право на чичеронство Мюллера в Берлине.

Виардо звала его погостить у них. Быть в доме у умной, блестящей, образованной Виардо значило разом перешагнуть пропасть, которая делит всякого туриста от парижского и лондонского общества, всякого немца без *особенных примет* от французов. Быть у нее в доме значило быть в кругу артистов и либералов маррастовского цвета, литераторов, Ж. Санд и пр. Кто не позавидовал бы Мюллеру и его дебютам в Париже?

На другой день после своего приезда он прибежал ко мне, совершенно запаленный от устали и суеты, и, не имея времени сказать двух слов, выпил бутылку вина, разбил стакан, взял мою

трубочку и побежал в театр. В театре он трубочку потерял и, проведя целую ночь по разным полицейским домам, явился ко мне с повинной головой. Я отпустил ему грех бинокля за удовольствие, которое мне он доставлял своим медовым месяцем в Париже. Тут только он показал всю ширь своих способностей, он вырос ненасытностью всего на свете: картин, дворцов, звуков, видов, потрясений, еды и питья. Проглотив три-четыре дюжины устриц, он принимался за три других, потом за омара, потом за целый обед; окончив бутылку шампанского, он наливал с таким же наслаждением стакан пива; сходя с лестницы Вандомской колонны, он шел на купол Пантеона, и там и тут удивляясь громким и наивным удивлением немца, этого провинциала по натуре. Между волком и собакой[1055] забегал он ко мне, выпивал галон пива, ел что попало, и когда волк брал верх над собакой, Мюллер уж сидел в райке какого-нибудь театра, заливаясь громким гутуральным[1056] хохотом и пóтом, струившимся со всего лица его.

Не успел еще Мюллер досмотреть Париж и дога-

[1055] Сноски: 1055
т. е. в сумерки (*фр. поговорка* entre chien et loup).

[1056] Сноски: 1056
гортанным (*фр.* guttural).

даться, что он становится невыносимо противен, как Ж. Санд его увезла к себе в Nohant. Для элегантной Виардо Мюллер à la longue[1057] был слишком грузен; с ним случались в ее гостиной разные несчастия. Раз как-то он с неосторожной скоростью уничтожил целую корзиночку каких-то особенных чудес, приготовленных к чаю для десяти человек, так что, когда Виардо их предложила, в корзинке были одни крошки, и не в одной корзинке, а и на усах Мюллера[1058].

Виардо передала его Ж. Санд. Ж. Санд, наскучив Парижем, ехала на покойное помещичье житье… Ж. Санд сделала с Мюллером чудеса. Она как-то вычистила, прибрала, привела его в порядок; исчез темный табак, покрывавший верхнюю часть его белокурых усов, и доля немецких кнейповых песен заменилась французскими, вроде: «Pricadier — répontit Pantore»[1059]. Мюллер вставил в Nohant двойную рамку лорнета в глаз

[1057] Сноски: 1057

все-таки (*фр.*).

[1058] Сноски: 1058

И. Тургенев говорил о Мюллере, что, садясь за закуску, он с опытностью искусного полководца осматривал позицию и, если находил слабое место, что недостает вина или мяса, он тотчас нападал на него и брал себе двойную порцию.

[1059] Сноски: 1059

«Бригадир, — ответила Пандора» (*искаж. фр.*: «Brigadier, répondit Pandore»).

и помолодел. Когда он приехал в Париж в отпуск, я его едва узнал. Зачем он не утонул, купаясь в Nohant? Зачем не зашибла его где-нибудь железная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамере с буфетами, плошками и музыкой.

После 13 июня 1849 я уехал из Парижа; геройство Мюллера, кричавшего «Au armes!»[1060] на Chaussée d'Antin, я рассказал в другом месте. Возвратившись в 1850 году в Париж, я Мюллера не видел: он был у Ж. Санд. Меня выслали из Франции. Года через два я был в Лондоне и шел по Трафальгарской площади. Какой-то господин пристально смотрел в вставленный лорнет на Нельсона; досмотревши его с лицевой стороны, он занялся правой.

«Да это он? Кажется, он».

Между тем господин занялся спиной адмирала.

— Мюллер! — закричал я ему.

Он не тотчас пришел в себя — так его заняла плохая статуя скверного человека; но потом с криком «Potz Tausend!»[1061] бросился ко мне.

[1060] Сноски: 1060
«К оружию!» (*искаж. фр.*: «Aux armes!»)

[1061] Сноски: 1061
«Черт возьми!» *(нем.)*

Он переехал на житье в Лондон, — счастливая звезда его померкла. Да и трудно сказать, зачем он приехал именно в Лондон. Буммлеру[1062], когда у него есть деньги, нельзя не побывать в Лондоне: в нем будет пробел, раскаяние, неудовлетворенное желание; но жить в Лондоне ему нельзя и с деньгами, а без денег и думать нечего.

В Лондоне надобно работать *в самом деле,* работать безостановочно, как локомотив, правильно, как машина. Если человек отошел на день, на его месте стоят двое других; если человек занемог, его считают мертвым все, от кого ему надобно получать работу, и здоровым все, кому надобно получать от него деньги.

Мюллер, Мюллер!.. Куда ты попал из должности Виргилия в Берлине, из салонов Виардо, из помещичьей неги Ж. Санд! Прощай, ноганские пресале[1063] и пулярды; прощай, русские завтраки, продолжающиеся до вечера, и русские обеды, оканчивающиеся на другой день; да прощай и русские: в Лондон русские ездили на скорую руку, сконфуженные, потерянные — им было не до Мюллера. Да, кстати, прощай и солнце, которое

[1062] Сноски: 1062
Гуляке (*нем.* Bummler).

[1063] Сноски: 1063
бараньи котлетки (*фр.* présalé).

так хорошо греет и весело светит, когда нет денег на внутренное топливо… Туман, дым и вечная борьба работы, бой из-за работы!

Года через три Мюллер стал заметно стареть; морщины прорезывались глубже и глубже — он опускался. Уроки не шли (несмотря на то, что он на немецкий лад был очень основательно учен). Зачем он не ехал в Германию? Трудно сказать, но вообще у немцев, даже у таких неистовых патриотов, как Мюллер, делается, поживши несколько лет вне Германии, непреодолимое отвращение от родины, что-то вроде обратного Heimweh[1064]. В Лондоне он не мог свести концов. Длинная Масленица, длившаяся около десяти лет, кончилась, и суровый пост захватил добродушного буммлера; потерянный, вечно ищущий захватить денег, кругом в маленьких долгах, он был жалок и становился диккенсовским лицом, все еще доканчивал «Эрика», все еще мечтал, что продаст его и заслужит разом талеры и лавры, — но «Эрик» был упорен и не оканчивался, и Мюллер, чтоб освежиться, дозволял себе, сверх пива, одну роскошь — plaisirtrain[1065] в вос-

[1064] Сноски: 1064
тоски по родине (*нем.*).

[1065] Сноски: 1065
Здесь: поездку в удешевленном праздничном поезде (*фр.*).

кресенье. Он платил очень дешево за большие пространства и ничего не видал.

— Я еду на Isle of Wight взад и вперед (помнится, 4 шиллинга), и завтра утром рано буду опять в Лондоне.

— Что же ты увидишь там?

— Да, но зато четыре шиллинга!

Бедный Мюллер, бедный буммлер!

А впрочем, пусть он ездит в Рейд, не видавши его; лишь бы также не видал будущего: в его гороскопе не осталось ни одной светлой точки, ни одного шанса. Он, бедняга, безотрадно и бесследно исчезнет в лондонском тумане.

<Глава VIII>

Отрывок этот идет *за* описанием «горных вершин» эмиграции, от их вечно красных утесов до низменных болот и «серных копей»[1066]. Я прошу читателя не забывать, что в этой главе мы опускаемся с ним ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистым дном его, так, как оно было после февральского шквала.

Почти все описанное здесь изменилось, исчез-

[1066] Сноски: 1066
Die Schwefelbande.

ло; политические подонки пятидесятых годов занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притих, вымер этот низменный мир волнений и гонений, отстой его успокоился и занял свое место в слойке. Оставшиеся личности становятся редкостью, и я уж люблю с ними встречаться.

Печально уродливы, печально смешны некоторые из образов, которые я хочу вывести, но они все писаны с натуры — бесследно исчезнуть и они не должны.

Лондонская вольница шестидесятых годов[1067]

Простые несчастья и несчастья политические. – Учители и комиссионеры. – Ходебщики и хожалые. – Ораторы и эпистолаторы. – Ничего не делающие фактотумы и вечно занятые трутни. – Русские. – Воры. – Шпионы.

(Писано в 1856–1857)

[1067] Сноски: 1067
Из V тома «Былое и думы».

…От *серной шайки,* как сами немцы называют марксидов, естественно и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуще всего в Лондоне.

Можно себе представить, сколько противуположного снадобья захватывают с собой с материка и оставляют в Англии приливы и отливы революций и реакций, истощающих, как перемежающаяся лихорадка, европейский организм, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродят по сырому, топкому лондонскому дну. Каков должен быть хаос понятий, воззрений у этих образцов всех нравственных формаций и реформаций, всех протестов, всех утопий, всех отчаяний, всех надежд, встречающихся в закоулках, харчевнях и питейных домах Лестер-сквера и его *проселочных* переулков. «Там, где, по выражению “Теймса”, обитает жалкое население чужеземцев, носящих шляпы, каких никто не носит, и волосы там, где их не надобно, население несчастное, убогое, загнанное и которого трепещут все сильные монархи Европы, кроме английской королевы». Да, там действительно по public-hous’ам и харчевням сидят эти

чужие, эти гости, за джином с горячей водой, с холодной водой и совсем без воды, с горьким портером в кружке и с еще больше горькими словами на губах, поджидая революции, к которой они больше не способны, и денег от родных, которых никогда не получат.

Каких оригиналов, каких чудаков я не нагляделся между ними! Тут рядом с коммунистом старого толка, ненавидящим всякого собственника во имя общего братства, старый карлист, пристреливавший своих родных братьев во имя любви к отечеству, из преданности к Монтемолино или Дон-Хуану, о которых ничего не знал и не знает. Там рядом с венгерцем, рассказывающим, как он с пятью гонведами опрокинул эскадрон австрийской кавалерии, и застегивающим венгерку до самого горла, чтобы иметь еще больше военный вид, — венгерку, размеры которой показывают, что ее юность принадлежала другому, — немец, дающий уроки музыки, латыни, всех литератур и всех искусств из насущного пива, атеист, космополит, презирающий все нации, кроме Кур-Гессена или Гессен-Касселя, смотря по тому, в котором из Гессенов родился, поляк прежнего покроя, католически любящий независимость, и итальянец, полагающий неза-

висимость в ненависти к католицизму.

Возле эмигрантов-революционеров эмигранты-*консерваторы.* Какой-нибудь негоциант или нотариус, sans adieu[1068] удалившийся от родины, кредиторов и доверителей, считающий себя тоже *несправедливо гонимым,* какой-нибудь *честный* банкрут, уверенный, что он скоро очистится, приобретет кредит и капитал, так, как его сосед справа достоверно знает, что на днях la rouge[1069] будет провозглашена лично самой «Марьянной», а сосед слева — что орлеанская фамилия укладывается в Клермоне и принцессы шьют отличные платья для торжественного въезда в Париж.

К *консервативной* среде «виноватых, но не осужденных окончательно *за отсутствием* подсудимого», принадлежат и больше радикальные лица, чем банкруты и нотариусы с горячим воображением; это люди, имевшие на родине *большие несчастия* и желающие всеми силами выдать *свои простые несчастия* за несчастия *политические.* Эта особая номенклатура требует пояснения.

Один наш приятель явился шутя в агентство

[1068] Сноски: 1068
не простившись (*фр.*).

[1069] Сноски: 1069
красная (*фр.*).

сватовства. С него взяли десять франков и принялись расспрашивать, какую ему нужно невесту, в сколько приданого, белокурую или смуглую и пр.; затем записывавший гладенький старичок, оговорившись и извиняясь, стал спрашивать о его происхождении, очень обрадовался, узнав, что оно дворянское, потом, усугубив извинения, спросил его, заметив притом, что молчание гроба — их закон и сила:

— Не имели ли вы *несчастий?*

— Я поляк и в изгнании, т. е. без родины, без прав, без состояния.

— Последнее плохо, но позвольте, по какой причине оставили вы вашу belle patrie?[1070]

— По причине последнего восстания (дело было в 1848 году).

— Это ничего не значит, *политические несчастия мы не считаем;* оно скорее выгодно, c'est une attraction[1071]. Но позвольте, вы меня заверяете, что у вас не было *других несчастий?*

— Мало ли было… Ну, отец с матерью у меня умерли.

— О, нет, нет…

[1070] Сноски: 1070
прекрасную отчизну (*фр.*).

[1071] Сноски: 1071
это привлекает внимание (*фр.*).

— Что же вы разумеете под словом *другого несчастия?*

— Видите, если б вы оставили ваше прекрасное отечество по *частным* причинам, а не по политическим. Иногда в молодости неосторожность, дурные примеры, искушение больших городов, знаете, эдак… необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись как-нибудь…

— Понимаю, понимаю, — сказал, расхохотавшись, <Хоецкий>, — нет, уверяю вас, я не был судим ни за кражу, ни за подлог.

…В 1855 году один француз exilé de sa patrie[1072] ходил по товарищам несчастия с предложением помочь ему в издании его поэмы, вроде Бальзаковой «Comédie du diable», писанной стихами и прозой, с новой орфографией и вновь изобретенным синтаксисом. Тут были действующими лицами: Людовик-Филипп, Иисус Христос, Робеспьер, маршал Бюжо и сам Бог.

Между прочим, явился он с той же просьбой к Ш<ельхеру>, честнейшему и чопорнейшему из смертных.

— Вы давно ли в эмиграции? — спросил его

[1072] Сноски: 1072
изгнанный из своего отечества (*фр.*).

защитник черных.

— С 1847 года.

— С 1847 года? И вы приехали сюда?

— Из Бреста, из каторжной работы.

— Какое же это было дело? Я совсем не помню.

— О, как же, тогда это дело было очень известно. Конечно, это дело больше частное.

— Однако ж. — спросил несколько обеспокоенный Ш<ельхер>.

— Ah bas, si vous y tenez[1073], я по-своему протестовал против права собственности, j'ai protesté à ma manière[1074].

— И вы… вы были в Бресте?

— Parbleu oui![1075] семь лет каторжной работы *за воровство со взломом* (vol avec effraction).

И Ш<ельхер> голосом целомудренной Сусанны, гнавшей нескромных стариков, просил самобытного протестанта выйти вон.

Люди, которых несчастия, по счастию, были *общие* и протесты коллективные, оставленные нами в закопченных public-hous'ах и черных

[1073] Сноски: 1073
А, если вы настаиваете (*фр.*).

[1074] Сноски: 1074
я протестовал по-своему (*фр.*).

[1075] Сноски: 1075
Еще бы, черт возьми! (*фр.*)

тавернах, за некрашеными столами с джинуатером[1076] и портером, настрадались вдоволь и, что всего больнее, не зная совсем за что.

Время шло с ужасной медленностью, но шло; революции нигде не было в виду, кроме в их воображении, а нужда действительная, беспощадная подкашивала все ближе и ближе подножный корм, и вся эта масса людей, большею частью хороших, голодала больше и больше. Привычки у них не было к работе, — ум, обращенный на политическую арену, не мог сосредоточиться на деле. Они хватались за все, но с озлоблением, с досадой, с нетерпением, без выдержки, и все падало у них из рук. Те, у которых была сила и мужество труда, те незаметно выделялись и выплывали из тины, а остальные?

И какая бездна была этих остальных! С тех пор многих унесла французская амнистия и амнистия смерти, но в начале пятидесятых годов я застал еще the great tide[1077].

Немецкие изгнанники, особенно неработники, много бедствовали, не меньше французов. Удач им было мало. Доктора медицины, хорошо

[1076] Сноски: 1076
водкой (*англ.* gin-water).

[1077] Сноски: 1077
великую волну прилива (*англ.*).

учившиеся и, во всяком случае, во сто раз лучше знавшие дело, чем английские цирюльники, называемые surgeon[1078], не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели, с чистыми и платоническими мечтами об искусстве и священнодейственном служении ему, но без производительного таланта, без ожесточения, настойчивости работы, без меткого чутья, гибли в толпе соревнующих соперников. В простой жизни своего маленького городка, на дешевом немецком корму они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое девственное поклонение идеалам и веру в свое жреческое призвание. Там они остались бы и умерли в подозрении таланта. Вырванные французской бурей из родных палисадников, они потерялись в Беловежской пуще лондонской жизни.

В Лондоне, чтоб не быть затертым, задавленным, надобно работать много, резко, сейчас и что попало, что потребовали. Надобно остановить рассеянное внимание ко всему приглядевшейся толпы силой, наглостью, множеством, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шитья, арабески, модели, снимки, слепки, портреты, рамки,

---

[1078] Сноски: 1078
хирург (*англ.*).

акварели, кронштейны, цветы — лишь бы скорее, лишь бы кстати и в большом количестве. Жюльен, le grand Julien[1079], *через сутки* после получения вести об индийской победе Гевлока написал концерт с криком африканских птиц и топотом слонов, с индийскими напевами и пушечной пальбой, так что Лондон разом читал в газетах и слушал в концерте реляцию. За этот концерт он выручил громадные суммы, повторяя его месяц. А зарейнские мечтатели падали средь дороги на этой бесчеловечной скачке за деньгами и успехами; изнеможенные, с отчаянием складывали они руки или, хуже, подымали их на себя, чтобы окончить неровный и оскорбительный бой.

Кстати к концертам, — музыкантам из немцев вообще было легче; количество их, потребляемое ежедневно Лондоном с его субурбами[1080], колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мещан и нескромные в Argyl-руме, в Креморне, в Casino, cafés-chantants с танцами, cafés-chantants с трико в античных позах,

---

[1079] Сноски: 1079
великий Жюльен (*фр.*).

[1080] Сноски: 1080
пригородами (*англ.* suburb).

Her Majesty's[1081], Ковен-гарден, Эксетер-галль, Кристаль-палас, С. Джемс наверху и углы всех больших улиц внизу занимают и содержат целое народонаселение двух-трех немецких герцогств. Мечтай себе о музыке будущего и о Россини, коленопреклоненном перед Вагнером, читай себе дома à livre ouvert[1082], без инструмента, «Тангейсера» и исполняй, за штатским тамбурмажором и гаером с слоновой палкой, часа четыре кряду какую-нибудь Mary-Ann[1083] польку или Flower and butterfly's[1084] redova — и дадут бедняку от двух до четырех с половиной шиллингов за вечер, и пойдет он в темную ночь по дождю в полпивную, в которую преимущественно ходят немцы, и застанет там моих бывших друзей Краута и Мюллера, — Краута, шестой год работающего над бюстом, который становится все хуже; Мюллера, двадцать шестой год дописывающего трагедию «Эрик», которую он мне читал десять

[1081] Сноски: 1081
ее величества (*англ.*).

[1082] Сноски: 1082
с листа (*фр.*).

[1083] Сноски: 1083
«Мэри-Энн» (*англ.*).

[1084] Сноски: 1084
«Цветка и бабочки» (*англ.*).

лет тому назад, пять лет тому назад и теперь бы еще читал, если б мы не поссорились с ним.

А поссорились мы с ним за генерала Урбана, но об этом в другой раз…

…И чего ни делали немцы, чтоб заслужить благосклонное внимание англичан, все безуспешно.

Люди, всю жизнь курившие во всех углах своего жилья, за обедом и чаем, в постели и за работой, не курят в Лондоне в своем закопченном, продымленном от угля drawing-room'е и не дозволяют курить гостю. Люди, всю жизнь ходившие в биркнейпы своей родины выпить «шоп»[1085], посидеть там за трубкой в хорошем обществе, идут, не глядя, мимо public-hous'ов и посылают туда за пивом горничную с кружкой или молочником.

Мне случилось в присутствии одного немецкого выходца отправлять к англичанке письмо.

— Что вы делаете? — вскрикнул он в каком-то азарте. Я вздрогнул и невольно бросил пакет, полагая по крайней мере, что в нем скорпион.

— В Англии, — сказал он, — письмо складывают вообще *втрое, а не вчетверо,* а вы еще пишете к даме, и к какой!

[1085] Сноски: 1085
кружку (*фр.* chope).

С начала моего приезда в Лондон я пошел отыскивать одного знакомого немецкого доктора. Я не застал его дома и написал на бумаге, лежавшей на столе, что-то вроде: «Cher docteur[1086], я в Лондоне и очень желал бы вас видеть; не придете ли вечером в такую-то таверну выпить по-старому бутылку вина и потолковать о всякой всячине?» Доктор не пришел, а на другой день я получил от него записку в таком роде: «Monsieur H., мне очень жаль, что я не мог воспользоваться вашим любезным приглашением: мои занятия не оставляют мне столько свободного времени. Постараюсь, впрочем, на днях посетить вас» и пр.

— А что, у доктора, видно, практика, того?.. — спросил я освободителя Германии, которому был обязан знанием, что англичане письма складывают втрое.

— Никакой нет, der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominös[1087].

— Так что же он делает? — и я передал ему записку.

Он улыбнулся, однако заметил, что и мне вряд

[1086] Сноски: 1086
Дорогой доктор (*фр.*).

[1087] Сноски: 1087
малому не повезло в Лондоне, ему приходится очень плохо (*нем.*).

следовало ли оставлять на столе доктора медицины открытую записку, в которой я его приглашаю выпить бутылку вина.

— Да и зачем же в такой таверне, где всегда народ? Здесь пьют дома.

— Жаль, — заметил я, — наука всегда приходит поздно; теперь я знаю, как доктора звать и куда, но наверно не позову.

Затем воротимся к нашим чающим движения народного, присылки денег от родных и работы без труда.

Неработнику начать работу не так легко, как кажется; многие думают: пришла нужда, есть работа, есть молот и долот — и работник готов. Работа требует не только своего рода воспитания, навыка, но и самоотвержения. Изгнанники большей частью люди из мелкой литературной и «паркетной»[1088] среды, журнальные поденщики, начинавшие адвокаты, от своего труда в Англии они жить не могли, другой им был дик, да и не стоило начинать его: они все прислушивались, не раздастся ли набат. Прошло десять лет, прошло пятнадцать лет — нет набата.

В отчаянии, в досаде, без платья, без обес-

[1088] Сноски: 1088
судейской (*фр*. parquet).

печения на завтрашний день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрыв глаза, на аферы, выдумывают спекуляции. Аферы не удаются, спекуляции лопают, и потому, что они выдумывают вздор, и потому, что они вносят, вместо капитала, какую-то беспомощную неловкость в деле, чрезвычайную раздражительность, неуменье найтиться в самом простом положении и опять-таки неспособность к выдержанному труду и усеянному терниями началу. При неудаче они утешаются недостатком денег: «Будь сто-двести фунтов, и все пошло бы как по маслу!» Действительно, недостаток капитала мешает, но это общая судьба работников. Чего и чего не выдумывалось, от общества на акциях для выписывания из Гавра куриных яиц до изобретения особых чернил для фабричных марок и каких-то эссенций, которыми можно было превращать сквернейшие водки в превосходнейшие ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на все эти чудеса, надобно было есть и несколько прикрываться от северо-восточного ветра и от застенчивых взоров дщерей Альбиона.

Для этого предпринимались два паллиативные средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но с большими раз-

влечениями. Люди мирные, с Sitzfleisch'ем[1089], принимались за уроки, несмотря на то что они не только прежде не давали уроков, да и сомнительно, чтоб когда-нибудь их брали. Конкуренция страшно понизила цены.

Вот образчик объявлений одного семидесятилетнего старика, который, мне кажется, принадлежал скорее к числу *самобытных протестантов,* чем коллективных:

> MONSI EUR N. N.
> *Teaches the French language*
> on a new and easy system of rapid proficiency,
> has attended Members of the British Parliament and many other
> persons of respectability, as vouchers certify,
> translates and interprets that universal continental
> language, and english,
> IN A MASTERLY MANNER
> TERMS MODERATE:

Namely,

[1089] Сноски: 1089
усидчивостью (*нем.*).

Three Lessons per Week for Six Shillings[1090].

Давать уроки у англичан не составляет особенного удовольствия: кому англичанин платит, с тем он не церемонится.

Один из моих старых приятелей получает письмо от какого-то англичанина, предлагающего ему давать уроки французского языка его дочери. Он отправился к нему в назначенное время для переговора. Отец спал после обеда, его встретила дочь, и довольно учтиво, потом вышел старик, осмотрел с головы до ног Б<оке> и спросил: «Vous être le french teacher?»[1091] Б<оке> подтвердил. «Vous pas convenir à moa»[1092]. При этом британский осел указал на усы и бороду.

— Что же вы ему не дали тумака? — спрашивал я Б<оке>.

— Я, право, думал об этом, но когда бык поворотился, дочь со слезами на глазах молча просила

[1090] Сноски: 1090

Господин N. N. Учит французскому языку по новой и легкой методе быстрого усвоения, занимался с членами британского парламента и со многими уважаемыми лицами, как удостоверяют свидетельства, переводит и объясняет этот всемирный язык, и по-английски, удивительным образом. Цены умеренные: Именно, Три Урока в Неделю — Шесть Шиллингов (*искаж. англ.*).

[1091] Сноски: 1091

«Вы учитель французского языка?» (*искаж. фр.*)

[1092] Сноски: 1092

«Вы мне не подходите» (*искаж. фр.*).

у меня прощенья.

Другое средство проще и не так скучно: оно состоит в судорожном и артистическом комиссионерстве, в предложении разных разностей без внимания на запрос. Французы по большей части *работали* в винах и водках. Один легист[1093] предлагал своим знакомым и *корелижионерам*[1094] коньяк, доставшийся ему чрезвычайным образом, по связям, о которых в теперешнем положении Франции он не мог и не должен был рассказывать, и притом через капитана корабля, которого компрометировать было бы calamité publique[1095]. Коньяк был так себе и стоил шесть пенсов дороже, чем в лавке. Легист, привыкнувший «пледировать»[1096] с декламацией, прибавлял к насилию оскорбление: он брал рюмку двумя пальцами за донышко, описывал ею медленные круги, плескал несколько капель, нюхал их на воздухе и всякий раз был

[1093] Сноски: 1093
законовед (*фр.* légiste).

[1094] Сноски: 1094
единомышленникам (*фр.* coreligionnaire).

[1095] Сноски: 1095
общественным бедствием (*фр.*).

[1096] Сноски: 1096
произносить защитительные речи (*фр.* plaider).

изумлен замечательно превосходным запахом коньяка.

Другой товарищ изгнания, некогда провинциальный профессор словесности, увлекал вином. Вино он получал *прямо* из Кот д'Ора, Бургоньи, от прежних учеников и с необыкновенным выбором.

«Гражданин, — писал он ко мне, — спросите ваше братское сердце (votre cœur fraternel), и оно вам скажет, что вы должны мне уступить приятное преимущество снабжать вас французским вином. И тут сердце ваше будет заодно со вкусом и экономией: употребляя превосходное вино по самой дешевой цене, вы будете иметь наслаждение в мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человека, который делу родины и свободы пожертвовал все.

Salut et fraternité![1097]

P. S. Я взял на себя смелость вместе с тем отправить к вам несколько проб».

Образчики эти были в полубутылках, на которых он собственноручно надписывал не только имя вина, но и разные обстоятельства из его

[1097] Сноски: 1097
Привет и братство! (*фр.*)

биографии: «Chambertin (Gr. vin et très rare!). Côterôtie (Comète). Pommard (1823!). Nuits (provision Aguado!)…»[1098]

Недели через две-три профессор словесности снова присылал образчики. Обыкновенно через день или два после присылки он являлся сам и сидел час, два, три, до тех пор, пока я оставлял почти все пробы и платил за них. Так как он был неумолим и это повторялось несколько раз, то впоследствии, только что он отворял дверь, я хвалил часть образчиков, отдавал деньги и остальное вино.

— Я не хочу, гражданин, у вас красть ваше драгоценное время, — говорил он мне и освобождал меня недели на две от кислого бургонского, рожденного под кометой, и пряного Кот-роти из подвалов Aguado.

Немцы, венгерцы работали в других отраслях.

Как-то в Ричмонде я лежал в одном из страшных припадков головной боли. Взошел Франсуа с визитной карточкой, говоря, что какой-то господин имеет крайность меня видеть, что он венгерец, adjutante del generale *(все* венгерцы-изгнанники, не имеющие никакого занятия,

[1098] Сноски: 1098

«Шамбертен (из лучших вин и очень редкое!). Кот-роти (Комета). Помар (1823!). Нюи (из погребов Агвадо!)…» (*фр.*)

никакой честной профессии, называли себя *адъютантами Кошута).* Я взглянул на карточку — совершенно незнакомая фамилия, украшенная капитанским чином.

— Зачем вы его пустили? Сколько тысяч раз я вам говорил?

— Он приходит сегодня в третий раз.

— Ну, зовите в залу. — Я вышел разъяренным львом, вооружившись склянкой распалевой седативной[1099] воды.

— Позвольте рекомендоваться, капитан такой-то. Я долгое время находился у русских в плену, у Ридигера после Вилагоша. С нами русские превосходно обращались. Я был особенно обласкан генералом Глазенапом и полковником… как, бишь, его… русские фамилии очень мудрены… *ич… ич…*

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я ни одного полковника не знаю… Очень рад, что вам было хорошо. Не угодно ли сесть?

— Очень, очень хорошо… мы с офицерами всякий день эдак, штос, банк… прекрасные люди и австрийцев терпеть не могут. Я даже помню несколько слов по-русски: «глеба», «шевердак» —

[1099] Сноски: 1099
болеутоляющей (*фр.* sédatif).

une pièce de 25 sous[1100].

— Позвольте вас спросить, что мне доставляет…

— Вы меня должны извинить, *барон*… Я гулял в Ричмонде… прекрасная погода, жаль только, что дождь идет… я столько наслышался об вас от *самого старика* и от графа Сандора — Сандора Телеки, даже от графини Терезы Пульской… Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, hors ligne[1101]. — Молчание.

— Да-с, и Сандор… мы с ним вместе были в гонведах… Я, собственно, желал бы показать вам… — и он вытащил откуда-то из-за стула портфель, развязал его и вынул портреты безрукого Раглана, отвратительную рожу С.-Арно, Омер-паши в феске. — Сходство, барон, удивительное. Я сам был в Турции, в Кутаисе, в 1849 году, — прибавил он, как будто в удостоверение сходства, несмотря на то что в 1849 году ни Раглана, ни С.-Арно там не было. — Вы прежде видели эту коллекцию?

— Как не видать, — отвечаю я, смачивая голову распалевой водой. — Эти портреты вывешены

[1100] Сноски: 1100
монета в 25 су (*фр.*).

[1101] Сноски: 1101
из ряда вон выходящая (*фр.*).

везде, на Чипсайде, по Странду, в Вест-Энде.

— Да-с, вы правы, но у меня вся коллекция, и те не на китайской бумаге. В лавках вы заплатите гинею, а я могу вам уступить за пятнадцать шиллингов.

— Я, право, очень благодарен, но скажите, капитан, на что же мне портреты С.-Арно и всей этой сволочи?

— Барон, я буду откровенен, я солдат, а не меттерниховский дипломат. Потеряв мои владения близ Темешвара, я нахожусь во временно стесненном положении, а потому беру на комиссию артистические вещи (а также сигары, гаванские сигары и турецкий табак — уж в нем-то русские и мы знаем толк!); это доставляет мне скудную копейку, на которую я покупаю «горький хлеб изгнанья», wie der Schiller sagt[1102].

— Капитан, будьте вполне откровенны и скажите, что вам придется с каждой тетради? — спрашиваю я (хотя и сомневаюсь, что Шиллер сказал этот дантовский стих).

— Полкроны.

— Позвольте нам вот как покончить дело: я вам предложу *целую крону*, но с тем, чтоб не покупать

[1102] Сноски: 1102
как говорит Шиллер (*нем.*).

портретов.

— Право, барон, мне совестно, но мое положение… впрочем, вы всё знаете, чувствуете… я вас так давно привык уважать… графиня Пульская и граф Сандор… Сандор Телеки.

— Вы меня извините, капитан, я едва сижу от головной боли.

— У нашего губернатора (т. е. у Кошута), у старика, тоже часто болит голова, — замечает мне гонвед как бы в ободрение и утешение, потом наскоро завязывает портфель и берет вместе с удивительно похожими портретами Раглана и компании довольно сходное изображение королевы Виктории на монете.

Между этими *ходебщиками* эмиграции, предлагающими выгодные покупки, и эмигрантами, останавливающими всех не бреющих бороду на улицах и скверах, требуя *десятый год* недостающих двух шиллингов для отъезда в Америку и шести пенсов для покупки гробика ребенку, умершему от скарлатины, — находятся эмигранты, пишущие письма, иногда пользуясь знакомством, иногда пользуясь незнакомством, о всякого рода чрезвычайных нуждах и единовременных денежных затруднениях, часто представляя в дальней перспективе обогащение,

и всегда с оригинальным эпистолярным искусством,

Таких писем у меня тетрадь; сообщу два-три особенно характеристических.

«Herr *Graf!*[1103] Я был австрийским лейтенантом, но дрался за свободу мадьяров, должен был бежать и совершенно обносился. Если у вас найдутся поношенные панталоны, вы неизреченно меня обяжете.

P. S. Завтра в девять часов я наведаюсь у вашего *курьера».*

Это род наивный, но есть письма классические по языку и лапидарности, напр.:

«Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquid per me facere potes, gaudeo, gaudebit cor meum.

Mercuris dies 1859»[1104].

Другие письма, не имея ни лаконизма, ни ан-

[1103] Сноски: 1103

Граф! (*нем.*)

[1104] Сноски: 1104

«Господин, я галл, изгнанный из своего отечества за дело свободы народа. Мне нечего есть; если можешь что-нибудь для меня сделать, я радуюсь; сердце мое возрадуется. Среда (15 мая) 1859». (*лат.*)

тичной формы, отличаются особенным счетоводством:

«Гражданин, вы были так добры, что прислали мне прошлого февраля (вы, может, не помните, но *я* помню) *три* ливра. Давно хотел я вам их отдать, но не получал вовсе денег от родных; на днях я получу довольно значительную сумму. Если б мне не было совестно, я бы попросил вас прислать еще два ливра и отдал бы вам *круглым счетом пять* ливров».

Я предпочел остаться при трехугольном. Охотник до круглых счетов начал поговаривать, что я в связях с русским посольством.

Затем идут письма деловые и письма ораторские; и те и другие очень много теряют в русском переводе.

«Mon cher Monsieur![1105] Вы, *верно,* знаете мое открытие, оно доставило бы нашему веку честь, а мне кусок хлеба. И открытие это останется неизвестным, оттого что у меня нет кредита на каких-нибудь двести фунтов и вместо того, чтоб заниматься моим делом, мне приходится за вздорную плату courir le cachet[1106]. Всякий

[1105] Сноски: 1105
Дорогой сударь! (*фр.*)

[1106] Сноски: 1106
бегать по урокам (*фр.*).

раз, когда мне представляется работа продолжительная и выгодная, насмешливая судьба дует на нее *(я перевожу слово в слово),* она летит прочь — я за ней, настойчивая дерзость ее берет верх (son opiniâtre insolence bafoue mes projets), вновь стегает мои надежды, и я бегу туда-туда. Бегу и теперь. Поймаю ли? Почти уверен, если вы, имея доверие к моему таланту, захотите пустить в волны ваше доверие с моими надеждами по капризному ветру моей судьбы (embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle <un> peu aventureux de mon destin)». Далее объясняется, что восемьдесят фунтов есть в виду, даже восемьдесят пять; остальные сто пятнадцать изобретатель ищет занять, обещая тринадцать, almeno[1107] одиннадцать процентов в случае удачи. «Можно ли лучше, вернее поместить капитал в наше время, когда фонды всего мира колеблются и государства так нетвердо стоят, опираясь на штыки наших врагов?»

Я ста пятнадцати не даю. Изобретатель начинает соглашаться, что в моем поведении не все ясно, il y a du louche[1108], и что не мешает со мною

[1107] Сноски: 1107
в крайнем случае (*ит.*).

[1108] Сноски: 1108
есть что-то подозрительное (*фр.*).

быть осторожным.

В заключение вот письмо чисто ораторское:

«Великодушный согражданин будущей всемирной республики! Сколько раз вы помогали мне и ваш знаменитый друг Луи Блан, и опять-таки я пишу к вам и пишу к гражданину Блану, чтоб попросить несколько шиллингов. Удручающее положение мое не улучшается вдали от Лар и Пенат, на негостеприимном острове эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы в одном из сочинений ваших (я постоянно их перечитываю), что “талант гаснет без денег, как лампа без масла”», и пр.

Само собой разумеется, что я этой пошлости никогда не писал и что согражданин по будущей республике, future et universelle[1109], ни разу не развертывал моих сочинений.

За ораторами на письме идут ораторы на словах, «делающие тротуар и переулок». Большею частью они только прикидываются изгнанниками, а в сущности — спившиеся с круга не английские мастеровые или люди, имевшие дома *несчастия.* Пользуясь необъятной величиной Лондона, они проделывают одну часть за другой

[1109] Сноски: 1109
будущей и всемирной (*фр.*).

и потом снова возвращаются на Via sacra[1110], т. е. на Режент-стрит с Геймаркетом и Лестер-сквером.

Лет пять тому назад молодой человек, довольно чисто одетый и с сентиментальной наружностью, несколько раз подходил ко мне в сумерках с вопросом на французском языке с немецким акцентом:

— Не можете ли вы мне сказать, где такая-то часть города? — и он подавал какой-то адрес верст за десять от Вест-Энда, где-нибудь в Головее, Гекнее. Каждый, так, как и я, принимался ему толковать. Его обдавал ужас.

— Теперь девять часов вечера, я еще не ел… когда же я приду? Ни гроша на омнибус… этого я не ждал. Не смею просить вас, но если б вы меня выручили… Мне одного шиллинга за глаза довольно.

Я его встречал еще раза два, наконец он исчез, и я не без удовольствия его встретил, несколько месяцев спустя, на старом месте, с измененной бородой и в другой фуражке. С чувством приподымая ее, спросил он меня:

— Вы, верно, знаете по-французски?

[1110] Сноски: 1110
священную дорогу (*лат.*).

— Знаю, — отвечал я, — да сверх того знаю, что у вас есть адрес, вам придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ели, на омнибус денег нет, вам нужен шиллинг… но на этот раз я вам дам сикспенс[1111], потому что не вы мне, а я вам рассказал все это.

— Что делать, — отвечал он мне улыбаясь, без малейшей злобы, — ведь вот вы опять не поверите, а я еду в Америку, прибавьте на дорогу.

Я не выдержал и додал сикспенс.

В числе этих господ были и русские, например, бывший кавказский офицер Стремоухов, просивший на бедность в Париже еще в 1847 году, рассказывая очень плавно историю какой-то дуэли, бегства и прочее и забирая, к сильному озлоблению прислуги, все на свете: старые платья и туфли, фуфайки летом и зимой, панталоны из парусины, детские платья, дамские ненужности. Русские собрали для него денег и отправили в Алжир в иностранный легион. Он выслужил пять лет, привез аттестат и снова отправился из дома в дом рассказывать о дуэли и побеге, прибавляя к ним разные арабские похождения. Стремоухов становился стар — и жаль

[1111] Сноски: 1111
шесть пенсов (*англ.* sixpence).

его было, и надоедал он страшно. Русский священник при лондонской миссии сделал для него коллекту[1112], чтоб отправить его в Австралию. Ему дали в Мелборн рекомендацию и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проезд. Стремоухов приходил к нам прощаться. Мы его совсем снарядили: я ему дал теплое пальто, Г<ауг> — рубашек и пр. Стремоухов, прощаясь, заплакал и сказал:

— Как хотите, господа, а ехать в такую даль не легкая вещь. Вдруг разорваться со всеми привычками, но это надобно…

И он целовал нас и благодарил с горячностью.

Я думал, что Стремоухов давным-давно где-нибудь на берегах Виктории-Ривер, как вдруг читаю в «Теймсе», что какой-то Russian officer Stremoouchoff[1113] за буянство, драку в кабаке, вследствие каких-то взаимных обвинений в воровстве и прочем, присуждается на три месяца тюрьмы. Месяца через четыре после этого я шел по Оксфорд-стрит; пошел сильный дождь, со мной не было зонтика — я под вороты. В то самое время, как я остановился, какая-то длин-

---

[1112] Сноски: 1112
сбор пожертвований (*фр.* collecte).

[1113] Сноски: 1113
русский офицер Стремоухов (*англ.*).

ная фигура, закрываясь дряхлым зонтиком, торопливо шмыгнула под другие вороты. Я узнал Стремоухова.

— Как, вы воротились из Австралии? — спросил я его, прямо глядя ему в глаза.

— Ах, это вы, а я и не признал вас, — отвечал он слабым и умирающим голосом. — Нет-с, не из Австралии, а из больницы, где пролежал месяца три между жизнию и смертью… и не знаю, зачем выздоровел.

— В какой же вы были больнице, в St. George's Hospital[1114]?

— Нет, не здесь, в Соутамтоне.

— Как же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и как же вы не уехали?

— Опоздал на первый train[1115], приезжаю со вторым — пароход-с ушел. Я постоял на берегу, постоял и чуть не бросился в пучину морскую. Иду к reverend'у[1116], к которому наш батюшка меня рекомендовал. «Капитан, говорит, уехал, часу ждать не хотел».

[1114] Сноски: 1114
госпитале св. Георгия? (*англ.*)

[1115] Сноски: 1115
поезд (*фр.).*

[1116] Сноски: 1116
его преподобию (*англ.*).

— А деньги?

— Деньги он оставил у reverend'а.

— Вы, разумеется, их взяли?

— Взял-с, но проку не вышло, во время болезни все утащили из-под подушки, такой народ! Если можете чем помочь…

— А вот здесь, во время вашего отсутствия, какого-то другого Стремоухова запекли в тюрьму, и тоже на три месяца, за драку с курьером. Вы не слыхали?

— Где же слышать между жизнию и смертию. Кажется, дождь перестает. Желаю счастливо оставаться.

— Берегитесь выходить в сырую погоду, а то опять попадетесь в *больницу.*

После Крымской войны несколько пленных матросов и солдат остались, сами не зная зачем, в Лондоне. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Некоторые из них просили посольство заступиться за них, исходатайствовать прощение, aber was macht es denn dem Herrn Baron von Brunnov![1117]

Они представляли чрезвычайно печальное зрелище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то

[1117] Сноски: 1117
но какое дело до этого барону фон Бруннову! (*нем.*)

с дерзостью (довольно неприятною в узких улицах после десяти часов вечера) требовали денег.

В 1853 г. бежало несколько матросов с военного корабля в Портсмуте; часть их была возвращена, в силу нелепого закона, под который подходят исключительно одни матросы. Несколько человек спаслись и пришли пешком из *Порчмы* в Лондон. Один из них, молодой человек лет двадцати двух, с добрым и открытым лицом, был башмачником, умел тачать, как он называл, «шлиперы». Я купил ему инструмент и дал денег, но работа не пошла.

В это время Гарибальди отплывал с своим «Common Wealth» в Геную, я попросил его взять с собой молодого человека. Гарибальди принял его с жалованьем *фунта* в месяц и с обещанием, если будет хорошо себя вести, давать через год два фунта. Матрос, разумеется, согласился, взял у Гарибальди два фунта вперед и принес свои пожитки на корабль.

На другой день после отъезда Гарибальди матрос пришел ко мне красный, заспанный, вспухнувший.

— Что случилось? — спрашиваю я его.

— Несчастие, ваше благородие, опоздал на корабль.

— Как опоздал?

Матрос бросился на колени и неестественно хныкал. Дело было исправимо. Корабль пошел за углем в Newcastle-upon-Tyne.

— Я тебя пошлю по железной дороге туда, — сказал я ему, — но если ты и на этот раз опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сделаю, хоть умри с голоду. А так как дорога в Newcastle стоит больше фунта, а я тебе не доверю шиллинга, то я пошлю за знакомым и ему поручу продержать тебя всю ночь и посадить в вагон.

— Всю жизнь буду молить Бога за в<аше> в<ысокородие>!

Знакомый, взявшийся за отправку, пришел ко мне с рапортом, что матроса выпроводил.

Представьте же мое удивление, когда дня через три матрос явился с каким-то поляком.

— Что это значит? — закричал я на него, в самом деле дрожа от бешенства.

Но прежде чем матрос открыл рот, его товарищ принялся его защищать на ломаном русском языке, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и пива.

— Кто вы такой?

— Польский *дворянин.*

— В Польше все дворяне. Почему вы пришли ко мне с этим мошенником?

Дворянин расхорохорился. Я сухо заметил ему, что я с ним не знаком и что его присутствие в моей комнате до того странно, что я могу его велеть вывести, позвав полисмена.

Я посмотрел на матроса. В три дня аристократического общества с дворянином его много воспитали. Он не плакал и пьяно-дерзко смотрел на меня.

— Оченно занемог, в<аше> б<лагородие>. Думал Богу душу отдать; полегчало, когда машина ушла.

— Где же это тебя схватило?

— На самой т. е. железной дороге.

— Что ж не поехал с следующей машиной?

— Невдомек-с, да и так как языку не способен…

— Где билет?

— Да билета нет.

— Как нет?

— Уступил тут одному человечку.

— Ну, теперь ищи себе других человечков, только в одном будь уверен: я тебе не помогу ни в каком случае.

— Однако позвольте… — вступил в речь «вольный шляхтич».

— М<илостивый> г<осударь>, я не имею ничего вам сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился он с своим Телемаком, вероятно, до первого кабака.

Еще ступеньку вниз…

Может, многие с недоумением спросят, какая же это еще ступенька вниз?.. А *есть*, и довольно *большая* — только тут уж темно, идите осторожно. Я не имею pruderie[1118] Ш<ельхе>ра, и мне автор поэмы, в которой Христос разговаривает с маршалом Бюжо, показался еще забавнее после геройского pour un vol avec effraction[1119]. Если он и украл что-нибудь из-под замка, зато подвергался Бог знает чему и потом работал несколько лет, может, с ядром на ногах. Он имел против себя не только того, которого обокрал, но все государство и общество, церковь, войско, полицию, суд, всех честных людей, которым красть не нужно, и всех бесчестных, но не уличенных по суду. Есть воры другого рода: награждаемые правительством, отогреваемые начальством, благословляемые церковью, защищаемые войском и не преследуемые полицией, потому что они сами к ней принадлежат. Это

[1118] Сноски: 1118
ложной стыдливости (*фр.*).

[1119] Сноски: 1119
за кражу со взломом (*фр.*).

люди, ворующие не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпионы — шпионы в квадрате… Ими оканчивается порок и разврат; дальше, как за Луцифером у Данта, ничего нет, — там уж опять пойдет вверх.

Французы — большие артисты этого дела. Они умеют ловко сочетать образованные формы, горячие фразы, aplomb человека, которого совесть чиста и point d'honneur раздражителен, с должностью шпиона. Заподозрите его — он вызовет вас на дуэль, он будет драться, и *храбро* драться.

«Записки» де ла Года, Шеню, Шнепфа — клад для изучения грязи, в которую цивилизация завела своих блудных детей. Де ла Год наивно печатает, что он, предавая своих друзей, должен был с ними хитрить так, «как хитрит охотник с дичью».

Де ла Год — это Алкивиад шпионства.

Молодой человек с литературным образованием и радикальным образом мыслей, он из провинции явился в Париж, бедный, как Ир, и просил работы в редакции «Реформы». Ему дали какую-то работу, он ее сделал хорошо; мало-помалу с ним сблизились. Он вступил в политические круги, знал многое из того, что делалось в республиканской партии, и продолжал работать

несколько лет, оставаясь в самых дружеских отношениях к сотрудникам.

Когда, после Февральской революции, Косидьер разобрал бумаги в префектуре, он нашел, что де ла Год все время преправильно доносил полиции о том, что делалось в редакции «Реформы». Косидьер позвал де ла Года к Альберу, — там ждали свидетели. Де ла Год явился, ничего не подозревая, попробовал запираться, но потом, видя невозможность, признался, что письма к префекту писал он. Возник вопрос: что с ним делать? Одни думали, и были совершенно правы, застрелить его тут же, как собаку. Альбер восстал пуще всех и не хотел, чтобы в *его квартире* убили человека. Косидьер предложил ему заряженный пистолет с тем, чтоб он застрелился. Де ла Год отказался. Кто-то спросил его, не хочет ли он яду? Он и от яду отказался, а, отправляясь в тюрьму, как благоразумный человек, *спросил кружку пива,* — это факт, переданный мне сопровождавшим его помощником мэра XII округа.

Когда реакция стала брать верх, де ла Года выпустили из тюрьмы, он уехал в Англию, но когда реакция еще окончательнее восторжествовала, он возвратился в Париж и совался вперед в театрах и других публичных собраниях, как лев

особой породы; вслед за тем издал он свои «Записки».

Шпионы постоянно трутся во всех эмиграциях; их узнают, открывают, колотят, а они свое дело делают с полнейшим успехом. В Париже полиция знает все лондонские тайны. День тайного приезда Делеклюза, потом Буашо во Францию были так хорошо известны, что они были схвачены в Кале, лишь только вышли из корабля. В коммунистическом процессе в Кельне читали документы и письма, «купленные в Лондоне», как наивно признался в суде прусский комиссар полиции.

В 1849 году я познакомился с изгнанным австрийским журналистом Энглендером. Он был очень умен, очень колок и впоследствии помещал в колачековских ярбухах[1120] ряд живых статей об историческом развитии социализма. Энглендер этот попался в тюрьму в Париже по делу, названному «Делом корреспондентов». Ходили разные слухи об нем; наконец он сам явился в Лондон. Здесь другой австрийский изгнанник, доктор Гефнер, очень уважаемый своими, говорил, что Энглендер в Париже был на жалованье у префекта и что его сажали в тюрьму за измену

[1120] Сноски: 1120
ежегодниках (*нем.* Jahrbuch).

брачной верности французской полиции, приревновавшей его к австрийскому посольству, у которого он тоже был на жалованье. Энглендер жил разгульно, на это надобно много денег — одного префекта, видно, не хватало.

Немецкая эмиграция потолковала-потолковала и позвала Энглендера к ответу. Энглендер хотел отшутиться, но Гефнер был беспощаден. Тогда муж двух полиций вдруг вскочил с раскрасневшимся лицом, со слезами на глазах и сказал: «Ну да, я во многом виноват, но не ему меня обвинять»; и он бросил на стол письмо префекта, из которого ясно было, что и Гефнер получал от него деньги.

В Париже проживал некий Н<идергубе>р, тоже австрийский рефюжье; я познакомился с ним в конце 1848 года. Товарищи его рассказывали об нем необыкновенно храбрый поступок во время революции в Вене. У инсургентов недоставало пороха, Н<идергубе>р вызвался привезти по *железной дороге* и привез. Женатый и с детьми, он бедствовал в Париже. В 1853 г. я его нашел в Лондоне в большой крайности, он занимал с семьею две небольшие комнатки в одном из самых бедных переулков Соо. Все не спорилось в его руках. Завел он было прачечную, в которой

его жена и еще один эмигрант стирали белье, а Н<идергубе>р развозил его, но товарищ уехал в Америку — и прачечная остановилась.

Ему хотелось поместиться в купеческую контору; очень неглупый человек и с образованием, он мог заработать хорошие деньги, но — reference, reference[1121], без reference в Англии ни шагу. Я ему дал свою; по поводу этой рекомендации один немецкий рефюжье, О<ппенгейм>, заметил мне, что напрасно я хлопочу, что человек этот не пользуется хорошей репутацией, что он будто бы в связях с французской полицией.

В это время Р<ейхель> привез в Лондон моих детей. Он принимал в Н<идергубе>ре большое участие. Я сообщил ему, что об нем говорят.

Р<ейхель> расхохотался; он ручался за Н<идергубе>ра, как за самого себя, и указывал на его бедность как на лучшее опровержение. Последнее убеждало отчасти и меня. Вечером Р<ейхель> ушел гулять, возвратился поздно, встревоженный и бледный. Он взошел на минуту ко мне и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрел на него и сказал:

[1121] Сноски: 1121
рекомендация, рекомендация (*англ.*).

— У вас есть что-то на душе, heraus damit![1122]

— Да, вы отгадали… но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

— Пожалуй, но что за шалости. Предоставьте моей совести.

— Я не мог успокоиться, услышавши от вас об Н<идергубе>ре, и, несмотря на обещание, данное вам, я решился его спросить и был у него. Жена его на днях родит, нужда страшная… Чего мне стоило начать разговор. Я вызвал его на улицу и наконец, собрав все силы, сказал ему: «Знаете ли, что Г. предупреждали в том-то и том-то; я уверен, что это клевета, поручите мне разъяснить дело». — «Благодарю вас, — отвечал он мне мрачно, — но это не нужно; я знаю, откуда это идет. В минуту отчаяния, умирая с голода, я предложил префекту в Париже мои услуги, чтобы держать его au courant[1123] эмиграционных новостей. Он мне прислал триста франков, и я никогда ему не писал потом».

Р<ейхель> чуть не плакал.

— Послушайте, пока жена его не родит и не оправится, даю вам слово молчать; пусть идет

[1122] Сноски: 1122
выкладывайте! (*нем.*)

[1123] Сноски: 1123
в курсе (*фр.*).

в конторщики и оставит политические круги. Но, если я услышу новые доказательства и он все-таки будет в сношениях с эмиграцией, я его выдам. Черт с ним!

Р<ейхель> уехал. Дней через десять, во время обеда, взошел ко мне Н<идергубе>р, бледный, расстроенный.

— Вы можете понять, — говорил он, — чего мне стоит этот шаг; но, куда ни смотрю, кроме вас, спасенья нет. Жена родит через несколько часов, в доме ни угля, ни чая, ни чашки молока, денег ни гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушером.

И он, действительно изнеможенный, бросился на стул и, покрыв лицо руками, сказал:

— Остается пулю в лоб, по крайней мере не увижу этого ужаса.

Я тотчас послал за добрым Павлом Дарашем, дал денег Н<идергубе>ру и, сколько мог, успокоил его. На другой день Дараш заехал сказать, что роды сошли с рук хорошо.

Между тем весть, пущенная, вероятно, по личной вражде, о связях с французской полицией Н<идергубе>ра ходила больше и больше, и наконец Т<аузенау>, известный венский клубист и агитатор, после речи которого народ повесил

Латура, уверял направо и налево, что он сам читал письмо от префекта, писанное при присылке денег. Обвинение Н<идергубе>ра, видно, было дорого для Т<аузенау>: он сам зашел ко мне, чтобы подтвердить его.

Положение мое становилось трудно. Гауг жил у меня; до того я ему не говорил ни слова, но теперь это становилось неделикатно и опасно. Я рассказал ему, не упоминая о Р<ейхеле>, которого не хотел путать в драму, имевшую все шансы на то, что V акт ее будет представляться в полицейском суде или в Олд-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: «вскипел бульон»; я едва мог усмирить Гауга и удержать его от нашествия на чердак Н<идергубе>ра. Я знал, что Н<идергубе>р должен был прийти к нам с переписанными тетрадями, и советовал подождать его. Гауг согласился и как-то утром вбежал ко мне, бледный от ярости, и объявил, что Н<идергубе>р внизу. Я бросил поскорее бумаги в стол и сошел. Перестрелка шла уж сильная. Гауг кричал, и Н<идергубе>р кричал. Калибер крепких слов становился все крупнее. Выражение лица Н<идергубе>ра, искаженного злобой и стыдом, было дурно. Гауг был в азарте и путался. Этим путем можно было скорее дойти до раскрытия черепа, чем дела.

— Господа, — сказал я вдруг середь речи, — позвольте вас остановить на минуту.

Они остановились.

— Мне кажется, что вы портите дело горячностью; прежде чем браниться, надобно поставить совершенно ясно вопрос.

— Что я *шпион или нет?* — кричал Н<идергубе>р. — Я ни одному человеку не позволю ставить такой вопрос.

— Нет, не в этом вопрос, который я хотел предложить; вас обвиняет *один человек,* да и не он один, что вы получали деньги от парижского префекта полиции.

— Кто этот человек?

— Т<аузенау>.

— Мерзавец!

— Это к делу не идет; вы деньги получали или нет?

– *Получал,* — сказал Н<идергубе>р с натянутым спокойствием, глядя мне и Гаугу в глаза. Гауг судорожно кривлялся и как-то стонал от нетерпения снова обругать Н<идергубе>ра; я взял Гауга за руку и сказал:

— Ну, только нам и надобно.

– *Нет, не только,* — отвечал Н<идергубе>р. — Вы должны знать, что никогда ни одной строкой

я не компрометировал никого.

— Дело это может решить только ваш корреспондент Пиетри, а мы с ним не знакомы.

— Да что я у вас — подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я должен перед вами оправдываться? Я слишком высоко ценю свое достоинство, чтобы зависеть от мнения какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будет в этом доме! — прибавил Н<идергубер>, гордо надел шляпу и отворил дверь.

— В этом вы можете быть уверены, — сказал я ему вслед.

Он хлопнул дверью и ушел. Гауг порывался за ним, но я, смеясь, остановил его, перефразируя слова Сиэса: «Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier — déjeunons!»[1124]

Н<идергубе>р отправился прямо к Т<аузенау>. Тучный, лоснящийся Силен, о котором Маццини как-то сказал: «Мне все кажется, что его поджарили на оливковом масле и не обтерли», еще не покидал своего ложа. Дверь отворилась, и перед его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Н<идергубе>ра.

— Ты сказал Г., что я получал деньги от пре-

[1124] Сноски: 1124

«Сегодня мы те же, что были вчера, — пойдем завтракать!» (*фр.*)

фекта?

— Я.

— Зачем?

— Затем, что ты получал.

— Хотя и знал, что я не доносил. Вот же тебе за это! — При этих словах Н<идергубе>р плюнул Т<аузенау> в лицо и пошел вон… Разъяренный Силен не хотел остаться в долгу; он вскочил с постели, схватил горшок и, пользуясь тем, что Н<идергубе>р спускался по лестнице, вылил ему весь запас на голову, приговаривая: «А это ты возьми себе».

Эпилог этот утешил меня несказанно.

— Видите, как хорошо я сделал, — говорил я Гаугу, — что вас остановил. Ну, что бы подобного вы могли сделать над главой несчастного корреспондента Пиетри? Ведь он до второго пришествия не просохнет.

Казалось бы, дело должно было окончиться этой немецкой вендеттой, но у эпилога есть еще небольшой финал. Какой-то господин, говорят, добрый и честный, старик В<интергальтер>, стал защищать Н<идергубера>. Он созвал комитет немцев и пригласил меня *как одного из обвинителей.* Я написал ему, что в комитет не пойду, что все мне известное ограничивается тем, что

Н<идергубер> в моем присутствии сознался Гаугу, что он деньги *от префекта получал.* В<интергальте>ру это не понравилось, он написал мне, что Н<идергубер> *фактически* виноват, но *морально* чист, и приложил письмо Н<идергубера> к нему. Н<идергубер> обращал, между прочим, внимание его на *странность* моего поведения. «Г., — говорил он, — гораздо прежде знал от г. Р<ейхеля> об этих деньгах и не только молчал до обвинения Т<аузенау>, но после того еще дал мне два фунта и прислал на свой счет доктора во время болезни жены!»

Sehr gut![1125]

<Глава IX>
Роберт Оуэн
Посвящено К<авелин>у

Ты все поймешь, ты все оценишь!
Shut up the world at large, let Bedlam out,
And you will be perhaps surprised to find All
things pursue exactly the same route, As now
with those of «soi-disant» sound mind,

[1125] Сноски: 1125
Очень хорошо! (*нем.*)

This I could prove beyond a single doubt
Were there a jot of sense among mankind,
But till that point d'appui is found alas, Like
Archimedes, I leave earth as't was[1126].

Byron, «Don Juan», C. XIV – 84

I

…Вскоре после моего приезда в Лондон, в 1852 г. я получил приглашение от одной дамы; она звала меня на несколько дней к себе на дачу в Seven Oaks. Я с ней познакомился в Ницце, в 50 году, через Маццини. Она еще застала дом мой светлым и так оставила его. Мне захотелось ее видеть; я поехал.

Встреча наша была неловка. Слишком много черного было со мною с тех пор, как мы не видались. Если человек не хвастает своими бедствиями, то он их стыдится, и это чувство стыда всплывает при всякой встрече с прежними знакомыми.

[1126] Сноски: 1126

Заприте весь мир, но откройте Бедлам, и вы, возможно, удивитесь, найдя, что все идет тем же самым путем, что и при «soi-disant» <так называемых (*фр.*)> нормальных людях; это я безусловно мог *бы доказать*, будь у человечества хоть капля здравого смысла, *но до того времени, пока этот point d'appui* <точка опоры (*фр.*)> *найдется*, увы, я, как Архимед, оставляю землю такой, как она есть (*англ.*).

Не легко было и ей. Она подала мне руку и повела меня в парк. Это был первый старинный английский парк, который я видел, и один из великолепнейших. До него со времен Елисаветы не дотрогивалась рука человеческая; тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократически-монастырском удалении от мира. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворец был пуст; несмотря на то, что в нем жила одинокая старуха-барыня, никого не было видно; только седой привратник, сидевший у ворот, с некоторой важностью замечал входящим в парк, чтобы в обеденное время не ходить мимо замка. В парке было так тихо, что лани гурьбой перебегали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявши морду. Нигде не раздавался никакой посторонний звук, и вороны каркали, точно как в старом саду у нас в Васильевском. Так бы, кажется, лег где-нибудь под дерево и представил бы себе тринадцатилетний возраст… мы вчера только что из Москвы, тут где-нибудь неподалеку старик садовник троит мятную воду… На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют моря и гор.

Мы говорили об Италии, о поездке в Ментоне;

говорили о Медичи, с которым она была коротко знакома, об Орсини, и не говорили о том, что тогда меня и ее, вероятно, занимало больше всего.

Ее искреннее участие я видел в ее глазах и молча благодарил ее… Что я мог ей сказать нового?

Стал перепадать дождь; он мог сделаться сильным и продолжительным, — мы воротились домой.

В гостиной был маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом, — с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты[1127].

Дочери хозяйки дома бросились к седому дедушке; видно было, что они приятели.

Я остановился в дверях сада.

— Вот кстати как нельзя больше, — сказала их мать, протягивая старику руку, — сегодня у меня есть чем вас угостить. Позвольте вам представить нашего русского друга. Я думаю, — прибавила она, обращаясь ко мне, — вам приятно будет познакомиться с одним из *ваших патриархов.*

— Robert Owen, — сказал, добродушно улыба-

[1127] Сноски: 1127

При этом не могу не вспомнить тот же голубой взгляд детства под седыми бровями Лелевеля.

ясь, старик, — очень, очень рад.

Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения; если б я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки.

Так вот отчего у него добрый, светлый взгляд, вот отчего его любят дети... Это тот, *один* трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре), который осмелился произнести not guilty человечеству, not guilty преступнику. Это тот второй чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем и который, не потонувши, прошел если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращение Оуэна было очень просто; но и в нем, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он власть имущий. В его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой; вообще, он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебея и социалиста.

Я тогда совсем не говорил по-английски; Оу-

эн не знал по-французски и был заметно глух. Старшая дочь хозяйки предложила нам себя в драгоманы: Оуэн привык так говорить с иностранцами.

— Я жду великого от вашей родины, — сказал мне Оуэн, — у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели… а сил-то… а сил-то! Если б император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей.

Улыбаясь, просил я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем.

— А ведь он был у меня в Ленарке.

— И, верно, ничего не понял?

— Он был тогда молод и, — Оуэн засмеялся, — и очень жалел, что мой старший сын такого *высокого роста и не идет в военную службу.* А впрочем, он меня приглашал в Россию.

— Теперь он стар, но так же ничего не понимает и, наверное, еще больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы в самом деле надеетесь?

— Пока человек жив, не надобно в нем отчаиваться. Мало ли какое событие может раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подействует, и он бросит его, что ж за беда, я сделал свое. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живет, сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть.

Итак, этот старец свое всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая! Мне на минуту сделалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболезненный бред о духах?

Когда я встретил Оуэна, ему был восемьдесят второй год (род. 1771). Он *шестьдесят лет* не сходил с арены.

Года три спустя после Seven Oaks'а я еще раз мельком видел Оуэна. Тело отжило, ум туск и иногда бродил, разнуздавшись, по мистическим областям призраков и теней. А энергия была та же, и тот же голубой взгляд детской доброты, и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, он старые счеты забыл, он был тот же молодой энтузиаст, учредитель New Lanark'а, худо слышавший, седой, слабый,

но так же проповедовавший уничтожение казней и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну, на которой *некогда* его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории и на которой пожелтелые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял, не сердясь, и просил кротко, с любовью час времени. Казалось, можно бы было дать ему этот час за шестидесятипятилетнюю беспорочную службу; но ему в нем отказывали, он надоел, он повторял одно и то же, а главное — он глубоко обидел толпу: он хотел отнять у нее право болтаться на виселице и смотреть, как другие на ней болтаются; он хотел у них отнять подлое колесо, которое сзади подгоняет, и отворить селлюлярную клетку, эту бесчеловечную mater dolorosa[1128] для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна каменьями, но и она сделалась *человеколюбивее:* камни вышли из моды; им предпочитают

[1128] Сноски: 1128
скорбящую мать (*лат.*).

грязь, свист и журнальные статейки.

Другой старик, такой же фанатик, был счастливее Оуэна, когда слабыми, столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе и только лепетал: «Дети! любите друг друга!» Простые люди и нищие не хохотали над ним, не говорили, что его заповедь — нелепость; между этими плебеями не было золотой посредственности мещанского мира — больше лицемерного, чем невежественного, больше *ограниченного,* чем глупого. Принужденный оставить свой New-Lanark в Англии, Оуэн десять раз переплывал океан, думая, что семена его учения лучше взойдут на *новом грунте,* забывая, что его расчистили квекеры и пуритане, и, наверно, не предвидя, что пять лет после его смерти джефферсоновская республика, первая провозгласившая права человека, распадется во имя права сечь негров. Не успев и там, Оуэн снова является на старой почве, стучится ста руками во все двери, у дворцов и хижин, заводит базары, которые послужат типом рочдельского общества и кооперативных ассосиаций, издает книги, издает журналы, пишет послания, собирает митинги, произносит речи, пользуется всяким случаем. Правительства посылают со всего мира

делегатов на «всемирную выставку» — Оуэн уже между ними, просит их взять с собой оливовую ветку, весть призыва к разумной жизни и согласию, — а те не слушают его, думают о будущих крестах и табатерках. Оуэн не унывает.

Одним туманным октябрьским днем 1858 лорд Брум, очень хорошо знающий, что в ветхой общественной барке течь все сильнее, но чающий еще, что ее можно так проконопатить, что на наш век хватит, совещался о *пакле и смоле* в Ливерпуле, на втором сходе Social science association[1129].

Вдруг делается какое-то движение: тихо несут на носилках бледного, больного Оуэна на платформу. Он через силу нарочно приехал из Лондона, чтоб повторить свою благую весть о возможности сытого и одетого общества, о возможности общества без палача. С уважением принял лорд Брум старца — они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэн и слабым голосом сказал о приближении другого времени… нового согласия, new harmony[1130], и речь его остановилась, силы оставили… Брум докончил фразу и подал знак — тело старца склонилось, он был

[1129] Сноски: 1129
Ассоциации общественной науки (*англ.*).

[1130] Сноски: 1130
новой гармонии (*англ.*).

без чувств; тихо положили его на носилки и в мертвой тишине пронесли толпой, пораженной на этот раз каким-то благоговением; она будто чувствовала, что тут начинаются какие-то не совсем обыкновенные похороны и тухнет что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло несколько дней, Оуэн немного оправился и одним утром сказал своему другу и помощнику Ригби, чтоб он укладывался, что он хочет ехать.

— Опять в Лондон? — спросил Ригби.

— Нет, свезите меня теперь на место моего рождения, я там сложу мои кости.

И Ригби повез старца в Монгомеришир, в Ньютоун, где за восемьдесят восемь лет тому назад родился этот странный человек, апостол между фабрикантами…

«Дыханье его прекратилось так тихо, — пишет его старший сын, один успевший еще приехать в Ньютоун до кончины Оуэна, — что я, державший его руку, едва заметил: не было ни малейшей борьбы, ни одного судорожного движения». Ни Англия, ни весь мир точно так же не заметили, как этот свидетель à décharge[1131]

[1131] Сноски: 1131
защиты (*фр.*).

в уголовном процессе человечества перестал дышать.

Английский поп втеснил его праху отпевание вопреки желанию небольшой кучки друзей, приехавших похоронить его; друзья разошлись, Томас Олсоп[1132] протестовал смело, благородно — and all was over[1133].

Хотелось мне сказать несколько слов об нем, но, унесенный общим Wirbelwind'ом[1134], я ничего не сделал; трагическая тень его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за резкими событиями и ежедневной пылью; вдруг на днях я вспомнил Оуэна и мое намерение написать о нем что-нибудь.

Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашел статью о нем и прочитал ее всю, внимательно. Статью эту писал не враг Оуэна, человек солидный, рассудительный, умеющий отдавать должное заслугам и заслуженное недостаткам, а между тем я положил книгу с странным чувством боли, оскорбления, чего-то душного, —

[1132] Сноски: 1132
Известный по делу Орсини.

[1133] Сноски: 1133
и все было кончено (*англ.*).

[1134] Сноски: 1134
вихрем (*нем.*).

с чувством, близким к ненависти за вынесенное.

Может, я был болен, в дурном расположении, не понял?.. Я взял опять книжку, перечитал тамсям — все то же действие.

«Больше чем двадцать последних лет жизни Оуэна не имеют никакого интереса для публики.

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod[1135].

Он сзывал митинги, но почти никто не шел на них, потому что он повторял свои старые начала, давно всеми забытые. Те, которые хотели узнать от него *что-нибудь полезное для себя,* должны были опять слушать о том, что весь общественный быт зиждется на ложных основаниях… Вскоре к этому помешательству (dotage[1136]) присовокупилась вера в постукивающие духи… старик толковал о своих беседах с герцогом Кентом, Байроном, Шелли и проч….

Нет ни малейшей опасности, чтоб учение Оуэна было практически принято. Это такие *слабые* цепи, которые не могут *держать* целого народа. Задолго до его смерти начала его уже были

[1135] Сноски: 1135
Бесполезная жизнь — это ранняя смерть (*нем.*).

[1136] Сноски: 1136
старческому слабоумию (*англ.*).

опровергнуты, забыты, а он все еще воображал себя благодетелем рода человеческого, каким-то *атеистическим мессией.*

Его обращение к постукивающим духам нисколько не удивительно. Люди, *не получившие воспитания,* постоянно переходят с чрезвычайной легкостью от крайнего скептицизма к крайнему суеверию. Они хотят определить каждый вопрос одним *природным* светом. Изучение, рассуждение и осторожность в суждениях им неизвестны.

Мы в предшествующих страницах, — прибавляет автор в конце статьи, — больше занимались жизнью Оуэна, чем его учениями; мы хотели *выразить наше сочувствие* к практическому добру, сделанному им, и с тем вместе заявить наше совершенное несогласие с его теориями. Его биография интереснее его сочинений. В то время как первая может быть полезна и занимательна (amusé), вторые могут только сбить с толку и надоесть читателю. Но и тут мы чувствуем, что он *слишком долго жил:* слишком долго для себя, слишком долго для своих друзей и еще дольше для своих биографов!»

Тень кроткого старца носилась передо мной; на глазах его были горькие слезы, и он, грустно

качая своей старой-старой головой, как будто хотел сказать: «Неужели я заслужил это?» — и не мог, а рыдая упал на колени, и будто лорд Брум торопился опять покрыть его и делал знак Ригби, чтоб его снесли как можно скорее назад на кладбище, пока испуганная толпа не успеет образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было так дорого и свято, и даже за то, что он так долго жил, заедал чужую жизнь, занимал лишнее место у очага. В самом деле, Оуэн, чай, был ровесником Веллингтона, этой величественнейшей *неспособности* во время мира.

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его падение, Оуэн *заслуживает наше признание».* — Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь оксфордского, винчестерского или чичестерского архиерея, проклинающего Оуэна, легче для нас, чем это воздаяние по заслугам? Оттого, что там страсть, обиженная вера, а тут узенькое *беспристрастие,* — беспристрастие не просто человека, а судьи низшей инстанции. В управе благочиния очень хорошо могут обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, как Мирабо или Фокс. Складным футом легко мерить с большой точностью холст, но очень

неудобно прикидывать на него сидеральные[1137] пространства.

Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической поверке, *пристрастие* нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем.

Дайте школьному педанту, если он только не наделен от природы эстетическим пониманьем, — дайте ему на разбор что хотите — Фауста, Гамлета, — и вы увидите, как исхудает «жирный датский принц», помятый каким-нибудь гимназистом-доктринером. С цинизмом Ноева сына покажет он наготу и недостатки драм, которыми восхищается поколение за поколением.

В мире ничего нет великого, поэтического, что бы могло выдержать *не глупый, да и не умный взгляд*, — взгляд обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили так метко пословицей, что «для камердинера — нет великого человека».

«Попадись нищему лошадь, как говорит народ и повторяет критик “Вестминстерского

[1137] Сноски: 1137
звездные (*фр.* sidéral).

обозрения", он на ней и ускачет к черту... An ex-linen-draper[1138] (это выражение употреблено несколько раз)[1139], который вдруг сделался (заметьте, после двадцати лет неусыпного труда и колоссальных успехов) важным лицом, на дружеской ноге с герцогами и министрами, натурально, должен был зазнаться и сделаться *смешным, не имея ни большой умеренности, ни большого благоразумия».* Ex-linen-draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотелось перестроить свет; с этими притязаниями он разорился, ни в чем не успел и покрыл себя *смехом.*

И это не все. Если б Оуэн только проповедовал свой экономический переворот, это безумие простили бы ему на первый случай в *классической* стране сумасшествия. Доказательством этому служит то, что министры и архиереи, парламентские комитеты и съезды фабрикантов совещались с ним. Успех New Lanark'а увлек всех: ни один государственный человек, ни один

[1138] Сноски: 1138

Один экс-торговец холстом (*англ.*).

[1139] Сноски: 1139

Фурье начал с того, что был сидельцем в суконной лавке своего отца; Прудон — сын безансонского крестьянина. Какое *подлое* начало социализма! От таких ли полубогов и полуразбойников ведут начало династии?

ученый не уезжал из Англии, не сделавши поездки к Оуэну; даже (как мы видели) сам Николай Павлович был у него и хотел сманить его в Россию, а сына его в военную службу. Толпы народа наполняли коридоры и сени зал, где Оуэн читал свои речи. Но Оуэн своей дерзостью разом, в четверть часа, уничтожил эту колоссальную популярность, основанную на колоссальном непонимании того, что он говорил; видя это, он поставил точку на i, и притом на самое опасное i.

Это случилось 21 августа 1817 года. Протестантские святоши, самые неотвязчивые и клейко скучные, давно надоедали ему. Оуэн, сколько мог, отклонял прения с ними, но они не давали ему покоя. Какой-то инквизитор и бумажных дел фабрикант Филипс дошел в своем церквобесии до того, что в комитете парламента вдруг, ни к селу ни к городу, середь дельных прений, пристал к Оуэну с допросом, во что он верит и во что не верит.

Вместо того чтоб отвечать бумажных дел фабриканту какими-нибудь тонкостями, как Фауст отвечает Гретхен, ex-linen-draper Оуэн предпочел отвечать с высоты трибуны, перед огромнейшим стечением народа, на публичном митинге *в Англии, в Лондоне, в Сити, в London Tavern!* Он

по сю сторону Темпль-Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится старый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и светской кафедральной синагоги банка, — объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — *Религия.* «Нелепости изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу или лицемера. С существующими религиозными понятиями, заключил Оуэн, не только не устроишь предполагаемых им общинных деревень, но с ними рай недолго устоял бы раем!»

Оуэн был до того уверен, что этот акт «безумия» был актом *честности и апостольства,* необходимым последствием его учения, что обнародовать свое мнение заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что через *тридцать пять лет* он писал: «Это величайший день в моей жизни, я исполнил свой долг!»

Нераскаянный грешник был этот Оуэн! За то ему и досталось!

«Оуэна, — говорит “Westminster Review”, — не разорвали на части за это: время физической мести в делах религии прошло. Но никто даже и ныне *не может безнаказанно оскорблять до-*

рогие нам предрассудки!»

Английские попы в самом деле не употребляют больше хирургических средств, хотя другими, более духовными, не брезгают. «С этой минуты, — говорит автор статьи, — Оуэн опрокинул на себя страшную ненависть духовенства, и с этого митинга начинается *длинная перечень его неудач, сделавшая смешными сорок последних лет его жизни.* He was not a martyr, but he was an outlaw!»[1140]

Я думаю, довольно. «Westminster Review» можно положить на место; я ему очень благодарен, он мне так живо напомнил не только святого старца, но и среду, в которой он жил. Обратимся к делу, т. е. к самому Оуэну и его учению.

Одно прибавлю я, прощаясь с неумытным критиком и с другим биографом Оуэна, тоже неумытным, менее строгим, но не менее солидным, — что, не будучи вовсе завистливым человеком, я завидую им от всей души. Я дал бы дорого за их невозмущаемое сознание своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своим пониманием, за их иногда уступчивую, всегда справедливую, а подчас слегка

[1140] Сноски: 1140
Он не был мучеником, но отверженным! (*англ.*)

проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная уверенность и в своем знании, и в том, что они и умнее, и практичнее Оуэна, что, будь у них его энергия и его деньги, они бы не наделали таких глупостей, а были бы богаты, как Ротшильд, и министры, как Палмерстон!

II

Р. Оуэн назвал одну из статей, в которых он излагал свою систему, «An attempt to change this *lunatic asylum* into a rational world»[1141].

Один из биографов Оуэна по этому случаю рассказывает, как какой-то безумный, содержавшийся в больнице, говорил: «Весь свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же; беда моя в том, что *большинство* со стороны всего света».

Это пополняет заглавие Оуэна и бросает яркий свет на все. Мы уверены, что биограф не рассудил, *насколько берет и как далеко бьет* его сравнение. Он только хотел намекнуть на то, что Оуэн был

[1141] Сноски: 1141

«Опыт изменить сумасшедший дом общественного устройства в рациональный».

сумасшедший, и мы спорить об этом не станем… но с чего же он *весь свет-то считает умным* — этого мы не понимаем.

Оуэн если был сумасшедшим, то вовсе не потому, что его свет считал таким и он ему платил той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живет в доме умалишенных и окружен больными, он *шестьдесят лет* говорил с ними как с здоровыми.

Число больных тут ничего не значит, ум имеет свое оправдание не в большинстве голосов, а в своей логической самозаконности. И если вся Англия будет убеждена, что такой-то medium призывает духи умерших, а один Фаредей скажет, что это вздор, то истина и ум будут с его стороны, а не со стороны всего английского населения. Еще больше, если и Фаредей не будет этого говорить, тогда истина об этом предмете совсем существовать не будет как сознанная, но тем не меньше единогласно принятая целым народом нелепость все же будет нелепость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, в лжи или в истине, а потому, что оно сильно, и потому, что ключи от Бедлама у него в руках.

Сила не заключает в своем понятии сознательности как необходимого условия; напротив, она тем непреодолимее, чем безумнее, тем страшнее, чем бессознательнее. От поврежденного человека можно спастись, от стада бешеных волков труднее, а перед бессмысленной стихией человеку остается сложить руки и погибнуть.

Поступок Оуэна, поразивший ужасом Англию 1817 года, не удивил бы в 1617 родину Ванини и Джордано Бруно, не скандализировал бы в 1717 ни Германию, ни Францию, а Англия не может через полвека вспомнить об нем без раздражения. Может быть, где-нибудь в Испании монахи взбунтовали бы против него дикую чернь или инквизиционные алгвазилы посадили бы его в тюрьму, сожгли бы на костре, но очеловеченная часть общества была бы за него…

Разве Гёте и Фихте, Кант и Шиллер, наконец, Гумбольдт в наше время и Лессинг сто лет тому назад скрывали свой образ мыслей или имели бессовестность проповедовать шесть дней в неделю в академиях и книгах свою философию, а на седьмой фарисейски слушать предику и морочить толпу, la plèbe, своим благочестивым христианством?

Во Франции то же самое: ни Вольтер, ни Руссо,

ни Дидро, ни все энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лаплас, ни Конт не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно перед «дорогими предрассудками», и это ни на одну йоту не унизило, не умалило их значения.

Политически порабощенный материк нравственно свободнее Англии; масса идей и сомнений, находящихся в обороте, гораздо обширнее; к ней привыкли, общество не трепещет ни страхом, ни негодованием перед свободным человеком –

Wenn er die Kette bricht[1142].

Люди материка беспомощны перед властью, выносят цепи, но не уважают их. Свобода англичанина больше в учреждениях, чем в нем, чем в его совести; его свобода в common law[1143], в Habeas corpus, а не в нравах, не в образе мыслей. Перед общественным предрассудком гордый бритт склоняется без ропота, с видом уважения. Само собою разумеется, что везде, где есть

[1142] Сноски: 1142
Когда он разбивает цепь (*нем.*).

[1143] Сноски: 1143
обычном праве (*англ.*).

люди, там лгут и притворяются, но не считают откровенности пороком, не смешивают смело высказанное убеждение мыслителя с неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своим падением, но не подымают лицемерия на степень общественной и притом обязательной добродетели[1144].

Конечно, ни Давид Юм, ни Гиббон не лгали на себя мистических верований. Но Англия, слушавшая Оуэна в 1817 году, была не та, во времени и *в глубине.* Ценс пониманья расширился и не был больше ограничен отборным венком образованных аристократов и литераторов. С другой стороны, она лет пятнадцать просидела в селлюлярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном, и, с одной стороны, выдвинулась из потока идей, а с другой — жизнь вдвинула вперед огромное большинство мещанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. В новой Англии люди, как Байрон и Шеллей, бродят иностранцами;

[1144] Сноски: 1144

В нынешнем году мирный судья Темпль не принял показания одной женщины из Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной форме, говоря, что не верит в наказания на том свете. Трелоне (сын известного приятеля Байрона и Шеллея) спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел, какие меры он предполагает взять в отстранение таких отводов. Министр отвечал, *что никаких.* Подобные случаи повторялись много раз, например, с известным публицистом Голиоком. Лгать присягой делается необходимостью.

один просит у ветра нести его куда-нибудь, только не на родину; у другого судьи, с помощью обезумевшей от изуверства семьи, обирают детей, потому что он не верит в Бога.

Итак, нетерпимость против Оуэна не дает никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его учения; она только дает меру безумия, т. е. нравственной несвободы Англии, и в особенности того слоя, который ходит по митингам и пишет журнальные статейки.

Ум количественно всегда должен будет уступить, он *на вес* всегда окажется слабейшим; он, как северное сияние, светит далеко, но едва существует. Ум — последнее усилие, вершина, до которой развитие не часто доходит; оттого-то он мощен, но не устоит против кулака. Ум как сознание может вовсе не быть на земном шаре; он едва родился в сравнении с маститыми альпийскими старцами, свидетелями и участниками геологических революций. В дочеловеческой, в околочеловеческой природе нет ни ума, ни глупости, а — необходимость условий, отношений и последствий. Ум мутно глядит в первый раз молочным взглядом животного, он медленно мужает, вырастает из своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнию рода человеческо-

го. Стремление пробиться к уму из инстинкта постоянно является вслед за сытостью и безопасностью, так что в какую бы минуту мы ни остановили людское сожитие, мы поймаем его на этих усилиях достигнуть ума из-под власти безумия. Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать; история, как поэма Ариоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, с тем тревожным беспокойством, которое уже бесцельно волнует обезьяну и которого почти совсем нет у низших зверей, этих довольных животного царства.

Слово lunatic asylum[1145] Оуэн, само собою разумеется, употребил comme une manière de dire[1146]. Государства — не домы сошедших с ума, а домы не *взошедших в ум.* Практически, впрочем, он мог употребить это выражение… не делая ошибки. Яд или огонь в руках трехлетнего ребенка так же страшен, как в руках тридцатилетнего сумасшедшего. Разница в том, что безумие одного — состояние патологическое, другого — степень развития, состояние эмбриогеническое. Устрица представляет ту степень развития ор-

[1145] Сноски: 1145
сумасшедший дом (*англ.*).

[1146] Сноски: 1146
как «красное словцо» (*фр.*).

ганизма, на которой животное *еще не имеет* ног, она фактически *безногая,* но вовсе не так, как зверь, у которого ноги отняты. Мы знаем (но устрица этого не знает), что при хороших обстоятельствах органические попытки дойдут до ног и до крыльев, и смотрим на неразвитые формы моллюска как на одну из растущих, прибывающих волн прилива, в то время как форма искаженная возвращается с отливом в стихийный океан и составляет частный случай смерти или агоний.

Оуэн, убедившись, что организму в тысячу раз удобнее иметь ноги, руки, крылья, чем постоянно дремать в раковине, понимая, что из тех же самых бедных, но уже *существующих* частей организма есть возможность развить эти оконечности, до того увлекся, что вдруг стал проповедовать устрицам, чтоб они взяли свои раковины и пошли за ним. Устрицы обиделись и сочли его *антимоллюском,* т. е. безнравственным в смысле раковинной жизни, и прокляли его.

«…Характер человека существенно определяется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество может легко* так устроить, чтоб они способствовали наилучшему развитию умственных и практических

способностей, сохраняя притом все бесконечное разнообразие личностей и соображаясь с многоразличием физической и умственной натуры».

Все это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна. Да на него, заметьте, никто и не возражает. Возражение большинством — не ответ, а насилие; возражение, что это безнравственно или несогласно с такой-то традиционной религией или с иной, тоже не опровержение. В худшем случае такие ответы могут только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вред правды.* Истина не подлежит этому суду, ее критериум не тут.

Ахиллова пята Оуэна не в ясных и простых основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая так, он впал в святую ошибку любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов от Иисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сен-Симона и Фурье.

Хроническое *недоумие* в том и состоит, что люди, под влиянием исторического преломления лучей и разных нравственных параллаксов, всего меньше понимают *простое,* а готовы верить, и еще больше *верить, что понимают* вещи очень

сложные и совершенно непонятные, но традиционные, привычные и соответствующие детской фантазии… Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухом положительно проще дышать, чем водой, но для этого надобно иметь легкие; а где же им развиться у рыб, которым нужен сложный дыхательный снаряд, чтоб достать немного кислорода из воды. Среда им не позволяет, их не вызывает на развитие легких, она слишком густа и иначе составлена, чем воздух. Нравственная густота и состав, в котором выросли слушатели Оуэна, обусловила у них свои *духовные* жабры, дышать более чистой и редкой средой должно было произвести боль и отвращение.

Не думайте, что тут только внешнее сравнение, — тут истинная аналогия одинаких явлений в разных возрастах и разных слоях.

Легко понять… легко исправить! Помилуйте — кому? Той толпе, которая наполняет до давки колоссальный трансепт Кристального дворца, слушая с жадностью и рукоплесканием проповеди какого-то плоского средневекового бакалавра, попавшего не знаю как в наш век и обещающего толпе кары небесные и бедствия земные на вульгарном языке шиллеровского капуцина

в «Wallenstein's Lager»?

Для них не легко!

Люди отдают долю своего достояния и своей воли, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы тунеядцев, строят суды, тюрьмы и стращают виселицей, строят церкви и стращают адом. Словом, делают все так, чтоб, куда человек ни обернулся, перед его глазами был бы или палач земной, или палач небесный — один с веревкой, готовый все кончить, другой с огнем, готовый жечь всю вечность. Цель всего этого — сохранить общественную безопасность от диких страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни необузданные покушения вырваться из него.

А тут является чудак, который прямо и просто говорит, да еще с какой-то обидной наивностью, *что все это вздор,* что человек вовсе не преступник par le droit de naissance[1147], что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит, *а воспитанию — очень.* И это не все: он перед лицом судей и попов, имеющих единственным основанием,

[1147] Сноски: 1147
по праву рождения (*фр.*).

единственной достаточной причиной своего существования грехопадение, наказание и отпущение, всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, *а лицо.*

И Оуэн воображал, что это *легко* понять?

Разве он не знал, что нам легче себе вообразить кошку, повешенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетным ошейником за оказанное усердие при поимке укрывшегося зайца, чем ребенка, не наказанного за детскую шалость, не говоря уже о преступнике. Примириться с тем, что мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо, что целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно, ужасно трудно, не по нашим жабрам! Резко!

В боязливом упорстве массы, в тупом отстаивании старого, в консервативной цепкости ее есть своего рода темное воспоминание, что виселица

и покаяние, смертная казнь и бессмертие души, страх Божий и страх власти, уголовная палата и Страшный суд, царь и жрец — что все это были некогда огромные шаги вперед, огромные ступени вверх, великие Errungenschaften[1148], подмостки, по которым люди, выбиваясь из сил, взбирались к покойной жизни, комяги, на которых подплывали, сами не зная дороги, к гавани, где бы можно было отдохнуть от тяжелой борьбы со стихиями, от земляной и кровавой работы, можно было бы найти бестревожный досуг и святую праздность — этих первых условий прогресса, свободы, искусства и сознания!

Чтоб сберечь этот дорого доставшийся покой, люди обставили свои гавани всякого рода пугалами и дали своему царю в руки палку, чтоб погонять и защищать, а жрецу — власть проклинать и благословлять.

Одолевшее племя, естественно, кабалило себе племя покоренное и на его рабстве основывало свой досуг, т. е. свое развитие. Рабством собственно началось государство, образование, человеческая свобода. Инстинкт самосохранения навел на свирепые законы, необузданная

[1148] Сноски: 1148
завоевания, достижения (*нем.*).

фантазия доделала остальное. Предания, переходя из рода в род, покрывали больше и больше цветными туманами начала, и подавляющий владыка, так же как подавленный раб, склонялся с ужасом перед заповедями и верил, что при блеске молнии и треске грома их диктовал Иегова на Синае или что они были внушены человеку избранному каким-нибудь паразитным духом, живущим в его мозгу.

Если свести все разнообразные основы этих краеугольных камней, на которых выводились государства, на главные начала, освобождая их от фантастического, детского, принадлежащего к возрасту, то мы увидим, что они постоянно одни и те же, соприсносущи всякой церкви и всякому государству; декорации и формы меняются, но начала те же.

Дикая расправа царя-зверолова в Африке, который собственноручно прирезывает преступника, совсем не так далека от расправы судьи, доверяющего другому убийство. Дело в том, что ни судья в шубе, в белом парике, с пером за ухом, ни голый африканский царь, с пером в носу и совершенно черный, не сомневаются, что они это делают для спасения общества и не только имеют право в иных случаях убивать, но и священный долг.

Нескладная бессмыслица, произносимая каким-нибудь лесным заклинателем, и складный вздор, произносимый каким-нибудь архиереем или первосвященником, также похожи друг на друга. Существенное не в том, как кто ворожит и каких духов призывает, а в том, допускают ли они или нет какой-то заграничный мир, которого никто не видал, — мир, действующий без тела, рассуждающий без мозга, чувствующий без нерв и имеющий влияние на нас не только после нашего перехода в эфирное состояние, но и при теперешнем податном состоянии. Если допускают, остальное — оттенки и подробности: египетские боги с собачьей мордой и греческие с очень красивым лицом, бог Авраама, бог Иакова, бог Иосифа Маццини, бог Пьера Леру — это все тот же бог, так ясно определенный в Алкоране: «Бог есть Бог».

Чем развитее народ, тем развитее его религия, но, с тем вместе, чем религия дальше от фетишизма, тем она глубже и тоньше проникает в душу людей. Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм; а религия без откровения, без церкви и с притязанием на логику почти неискоренима из головы поверхностных умов, равно

не имеющих ни довольно сердца, чтоб верить, ни довольно мозга, чтоб рассуждать[1149].

То же самое и в юридической церкви. Царь звероловов, исполняющий бердышом или топором свой приговор, близок к тому, что виновный или подсудимый, если у него бердыш длиннее, предупредит его. Сверх того, юрист с пером в носу, вероятно, будет казнить зря, по пристрастию, толпа будет роптать и наконец взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и без веры, как подчиняется человек чуме или наводнению. Но там, где нет лицеприятия, где суд честен, т. е. верен своим началам, что вовсе не мешает началам быть неверными, там он становится вдвое незыблемее и никто не сомневается в нем, не исключая самого пациента, который печально

[1149] Сноски: 1149

Нет той логической абстракции, нет того собирательного имени, нет того неизвестного начала или неисследованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божеством или святыней. Иконоборцы рационализма, сильно ратующие против кумиров, с удивлением видят, что по мере того как они сбрасывают одних с пьедесталей, на них являются другие. А по большей части они и не удивляются, потому ли, что вовсе не замечают, или сами их принимают за истинных богов.

Естествоиспытатели, хвастающиеся своим материализмом, толкуют о каких-то вперед задуманных планах природы, о ее целях и ловком избрании средств; ничего не поймешь, как будто natura sic voluit <так захотела природа *(лат.)*> яснее fiat lux <да будет свет *(лат.)*>? Это фатализм в *третьей* степени, в кубе; на первой кипит кровь Января, на второй орошаются поля дождем по молитве, на третьей — открыва-

ются тайные замыслы химического процесса, хвалятся экономические способности жизненной силы, заготовляющей желтки для зародышей, и т. п. Как ни смешны *протестантские* статьи, издевающиеся над кипением крови св. Януария, помещаемые рядом с молитвами архиереев о снабжении такой-то страны дождем или засухой, — как будто кипятить кровь в католической склянке труднее для Бога, чем мочить и сушить по надобности протестантские поля, — но тут иной раз проглядывает наивная глупость, и потому они ничего не значат в сравнении с благочестивой риторикой, которую мы беспрестанно находим в физиологических или геологических лекциях и трактатах, в которых естествоиспытатель с умилением толкует о благости провидения, снабдившего птиц крыльями, без которых бедняжки бы попадали и расшиблись в прах, и проч.

отправляется на виселицу, уверенный, что так и надобно, что они дело делают, вешая его.

Сверх страха воли, — того страха, который дети чувствуют, начиная ходить без помочей, сверх привычки к этим поручням, облитым пóтом и кровью, к этим ладьям, сделавшимся ковчегами опасения, в которых народы пережили не один черный день, — есть еще сильные контрфорсы, поддерживающие ветхое здание. Неразвитость масс, не умеющих понимать, с одной стороны, и корыстный страх — с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок. Образованные сословия, противно своим убеждениям, готовы сами ходить на веревке, лишь бы не спускали с нее толпу.

Оно и в самом деле не совсем безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разве XV, да и то не в самом в низу, — там уж готтентоты и кафры различных цветов, пород и климатов.

Если в самом деле подумать об этой цивилизации, которая оседает лаццаронами и лондонской чернью, людьми, свернувшими с полдороги и возвращающимися к состоянию лемуров и обезьян, в то время как на вершинах ее цветут

бездарные Меровинги всех династий и тщедушные астеки всех аристократий, — действительно голова закружится. Вообразите себе этот зверинец на воле, без церкви, без инквизиции и суда, без попа, царя и палача!

Оуэн считал ложью, т. е. отжившей правдой, вековые твердыни теологии и юриспруденции, и это понятно; но когда он под этим предлогом требовал, чтоб они сдались, он забыл храбрый гарнизон, защищающий крепость. Ничего в мире нет упорнее трупа: его можно убить, разбить на части, но убедить нельзя. К тому же на нашем Олимпе сидят уж не сговорчивые, не разгульные боги Греции, которым, по словам Лукиана, пока они придумывали меры против атеизма, пришли доложить, что дело их проиграно и что в Афинах доказали, что *их нет*, а они побледнели, улетучились и исчезли. Греки, люди и боги, были проще. Греки верили вздору, играли в мраморные куклы из детской артистической потребности, а мы из *процентов*, из барышей поддерживаем иезуитов и old shop[1150], в обуздание народа и обеспечение эксплуатации его. Какая же логика тут возьмет?

[1150] Сноски: 1150
старую лавку (*англ.*).

Это приводит нас к вопросу не о том, прав или не прав Р. Оуэн, а о том, *совместны ли вообще разумное сознание и нравственная независимость с государственным бытом.*

История свидетельствует, что общества постоянно достигают разумной аутономии, но свидетельствуют также, что они остаются в нравственной неволе. Разрешимы эти вопросы или нет, сказать трудно; их не решишь сплеча, особенно одной любовью к людям и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всех сферах жизни мы наталкиваемся на неразрешимые антиномии, на эти асимптоты, вечно стремящиеся к своим гиперболам, никогда не совпадая с ними. Это крайние грани, между которыми колеблется жизнь, движется и утекает, касаясь то того берега, то другого.

Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести, — не новость; они являлись обличителями и пророками во всех сколько-нибудь назревших цивилизациях, особенно когда они старели. Это высший предел, *перехватывающая личность*, явление исключительное и редкое, как гений, как красота, как необыкновенный голос. Опыт не доказывает, чтоб их утопии были осуществляемы.

У нас перед глазами страшный пример. С тех пор как род человеческий запомнит себя, не встречалось никогда такого стечения счастливых обстоятельств для разумного и свободного развития государственного, как в Северной Америке; все мешающее на истощенной, исторической почве или на почве, вовсе невозделанной, отсутствовало. Учение великих мыслителей и революционеров XVIII века, без французской военщины, английский common law[1151] без каст, легли в основу их государственного быта. Чего же больше? Все, о чем мечтала старая Европа: республика, демократия, федерация, самозаконность каждого клочка и едва связывающий общий правительственный пояс с слабым узлом в середине.

Что же вышло из всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; сам народ исполняет должность Николая Павловича, III отделения и палача; народ, объявивший восемьдесят лет тому назад «права человека», распадается из-за «права сечь». Преследования и гонения в Южных штатах, поставивших на своем знамени

[1151] Сноски: 1151
обычное право (*англ.*).

слово *Рабство,* так, как некогда Николай ставил на своем слово *Самодержавие,* за образ мыслей и слова не уступают в гнусности тому, что делал неаполитанский король и венский император.

В Северных штатах «рабство» не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтоб заниматься вертящимися столами, постукивающими духами, — в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квекеров!

В формах более мягких мы то же встречаем в Англии и в Швеции. Чем страна свободнее от правительственного вмешательства, чем больше признаны ее права на слово, на независимость совести, тем нетерпимее делается толпа, общественное мнение становится застенком; ваш сосед, ваш мясник, ваш портной, семья, клуб, приход держат вас под надзором и исправляют должность квартального. Неужели только народ, не способный к *внутренней* свободе, может достигнуть свободных учреждений? Или не значит ли это, наконец, что государство развивает постоянно потребности и идеалы, достижение которых исполняют деятельностью лучшие умы, но которых осуществление несовместимо с госу-

дарственной жизнью?

Мы не знаем решения этого вопроса, но считать его решенным не имеем права. История до сих пор его решает одним образом, некоторые мыслители, и в том числе Р. Оуэн, — иначе. Оуэн *верит* несокрушимой верой мыслителей XVIII столетия (прозванного веком безверия), что человечество накануне своего торжественного облечения в вирильную тогу. А нам кажется, что все опекуны и пастухи, дядьки и мамки могут спокойно есть и спать на счет недоросля. Какой бы вздор народы ни потребовали, *на нашем веку* они не потребуют право совершеннолетия. Человечество еще долго проходит с отложными воротничками à l'enfant[1152].

Причин на это бездна. Для того чтоб человеку образумиться и прийти в себя, надобно быть гигантом; да, наконец, и никакие колоссальные силы не помогут пробиться, если быт общественный так хорошо и прочно сложился, как в Японии или Китае. С той минуты, когда младенец, улыбаясь, открывает глаза у груди своей матери, до тех пор, пока, примирившись с совестью и Богом, он так же спокойно закрывает глаза, уверенный,

---

[1152] Сноски: 1152
по-детски (*фр.*).

что, пока он соснет, его перевезут в обитель, где нет ни плача, ни воздыхания, — все так улажено, чтоб он не развил ни одного простого понятия, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Он с молоком матери сосет дурман; никакое чувство не остается не искаженным, не сбитым с естественного пути. Школьное воспитание продолжает то, что сделано дома, оно обобщает оптический обман, книжно упрочивает его, теоретически узаконивает традиционный хлам и приучает детей к тому, чтоб они *знали не понимая* и принимали бы *названия за определения.*

Сбитый в понятиях, запутанный словами, человек теряет чутье истины, вкус природы. Какую же надобно иметь силу мышления, чтоб заподозрить этот нравственный чад и уже с кружением головы броситься из него на чистый воздух, которым вдобавок стращают все вокруг! На это Оуэн отвечал бы, что он именно потому и начинал свое социальное перерождение людей не с фаланстера, не с Икарии, а со школы, — со школы, в которую он брал детей с двухлетнего возраста и меньше.

Оуэн был прав, и еще больше — он практически доказал, что *он был прав:* перед New Lanark'ом

противники Оуэна молчат. Этот проклятый New Lanark вообще костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике. «Что сделал Консидеран с Брейсбеном, что монастырь Сито, что портные в Клиши и Banque du peuple[1153] Прудона?» Но против блестящего успеха New Lanark'а сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды — все выходило с удивлением и благоговением из школы. Доктор герцога Кентского, скептик, говорил о Lanark'е с улыбкой. Герцог, друг Оуэна, советовал ему съездить самому в New Lanark. Вечером доктор пишет герцогу: «Отчет я оставляю до завтра; я так взволнован и тронут тем, что видел, что не могу еще писать; у меня несколько раз навертывались слезы на глазах». На этом торжественном признании я и жду моего старика. Итак, он доказал свою мысль на деле — он был прав. Пойдемте далее.

New Lanark был на вершине своего благосостояния. Неутомимый Оуэн, несмотря ни на лондонские поездки, ни на митинги, ни на беспрерывные посещения всех знаменитостей

[1153] Сноски: 1153
Народный банк (*фр.*).

Европы, даже, как мы сказали, самого Николая Павловича, с той же деятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостоянием работников, между которыми развивал общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, он обанкротился? Учители перессорились, дети избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу взошли какие-то два черных шута, в низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых сертуках: это были двое квекеров, такие же собственники New Lanark'a, как и сам Оуэн. Насупили они брови, видя веселых детей, нисколько не горюющих о грехопадении; ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавание какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов. Ревность о Господе успокоилась на время: так греховная цифра была велика. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни *светскому* пению, а раскольничьему катехизису непременно.

Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции

и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения; квекеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квекеров на этом не остановится. «В таком случае, — сказал он им, — управляйте сами, я отказываюсь». Он не мог иначе поступить.

«Квекеры, — говорит биограф Оуэна, — вступив в управление New Lanark'ом, начали с того, что *уменьшили плату и увеличили число часов работы».*

New Lanark пал!

Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишенный образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противудействует нововведениям, и то из недоверия; но как только он убеждается в том, что перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью.

Среда, служащая тормозом, — не тут.

Гейнц, литературный холоп Меттерниха,

за обедом во Франкфурте сказал Роберту Оуэну:

— Положим, что вы бы успели, — что же бы из этого вышло?

— Очень просто, — отвечал Оуэн, — вышло бы то, что каждый был бы сыт, хорошо одет и получил бы дельное воспитание.

— Да ведь этого-то именно мы и не хотим, — заметил Цицерон Венского конгресса. Гейнц, чего нет другого, был откровенен.

С той минуты, как попы, лавочники догадались, что *потешные* роты работников и учеников — дело очень серьезное, гибель New Lanark'а была неминуема.

И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки с фабрикой и школой имеет значение исторического несчастия. Развалины оуэнского New Lanark'а наводят на нашу душу не меньше грустных дум, как некогда другие развалины наводили на душу Мария, — с той разницей, что римский изгнанник сидел на гробе старца и думал о суете суетствий, а мы то же думаем, сидя у свежей могилы младенца, много обещавшего и убитого дурным уходом и страхом, *что он потребует наследства!*

III

Итак, Р. Оуэн был прав перед разумом; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Им только недоставало *пониманья* со стороны слушавших его.

— Это дело времени, когда-нибудь люди поймут.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтоб люди никогда не дошли до пониманья своих собственных выгод.

Однако до сих пор было так; этот недостаток пониманья восполнялся церковью и государством, т. е. двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтоб люди освободились, — и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна; но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твердость их основана не *на разуме, а на недостатке его,* и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса, скалы. История развивалась нелепостями; люди постоянно стремились за бреднями, а достигали очень действительных

последствий. Наяву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небе, то небо на земле, а по дороге пели свои вечные песни, украшали храмы своими вечными изваяниями, построили Рим и Афины, Париж и Лондон. Одно сновидение уступает другому; сон становится *иногда* тоньше, но никогда не проходит. Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать; но они с ужасом отпрядывают, когда между двумя религиями в раскрытую щель, в которую проходит дневной свет, дунет на них свежий ветер разума и критики. Если б, например, Р. Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квекерам и не знаю кому. Перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принесть их еще больше — это все можно, и тысячи пойдут за реформатором; но Оуэн хотел вести *вон* из церкви — тут sta, viator![1154] — тут рубеж. До границы легко идти, труднейшее во всякой стране — это перейти ее, особенно, когда сам народ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки

[1154] Сноски: 1154
стой, путник! (*лат.*)

эти были; несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до разумного пониманья. Но этим не разрешается наш вопрос: может ли это исключительное развитие сделаться общим? Наведение, которое нам дает прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту; железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческие отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет; но, принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность *здравого смысла.* Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю Исторического бреда ей станет надолго; им же превосходно продолжается пластичность

природы, истощенной в других сферах.

Люди, которые поняли, что это сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающий, не позволяет им проснуться. Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают с самоотвержением, из вздора идут на смерть, из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьет их совершенно случайно, сам попадает в них, стягивает других и, если не должен спасаться от голодной смерти каторжной, нескончаемой работой, то начинает ожесточенное преследование жены, детей, родных или сам преследуется ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумиться? Разве по другую сторону семьи, за ее гробом, когда человек все потерял, и энергию, и свежесть мыс-

ли, — когда он ищет одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы целого муравейника или одного муравья отдельно; вникните в его домогательства и цели, в его радости и горе, в его понятия о добре и зле, о *чести и позоре* — во все, что он делает в продолжение всей жизни, с утра до ночи; взгляните, на что он посвящает последние дни и чему жертвует лучшими мгновениями своей жизни, — вас обдаст детской, с ее лошадками на колесах, с блестками и фольгой, с куклами, поставленными в угол, и с розгами, поставленными в другой. В ребячьем лепете слышится иной раз проблеск дела, но он теряется в детской рассеянности. Остановиться, обдуматься нельзя — дела расстроишь, отстанешь, будешь затерт; все слишком компрометировались, и все слишком быстро несутся, чтоб можно было остановиться, особенно перед горстью людей, без пушек, без денег, без власти, *протестующих во имя разума,* не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильду или Монтефиоре *надобно с* утра в бюро, чтоб начать капитализацию сотого миллиона; в Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается — все идет прекрасно; а тут ему говорят о безответственности человека и о

ином распределении богатств — разумеется, он не слушает. Мак-Магон дни, ночи обдумывал, как вернее, в самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны; истребил их больше, чем думал; все его поздравляют, даже ирландцы, которые, в качестве папистов, побиты им, — а ему говорят, что война не только отвратительная нелепость, но и преступление. Разумеется, вместо того чтоб слушать, он станет любоваться мечом, поднесенным Ирландией.

В Италии я был знаком с одним стариком, главою богатого банкирского дома. Раз, поздно ночью, мне не спалось, я пошел гулять и возвращался, часу в пятом утра, мимо его дома. Работники выкатывали из подвалов бочонки с оливовым маслом для отправки морем. Старик банкир, в теплом сертуке, стоял с бумагой в руке, отмечая каждый бочонок. Утро было свежо, он зябнул.

— Вы уже встали? — сказал я ему.

— Я здесь больше часа, — отвечал он, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, как в России.

— Что делать, стар становлюсь, силы отказыва-

ют. Приятели-то ваши (т. е. его сыновья) спят еще, небось, — и пусть поспят, пока старик еще жив. А без собственного надзора нельзя. Я прежнего покроя человек, много нагляделся; пять революций, amico mio[1155], видел, возле прошли; а я за своей работой все так же: отпущу масло, пойду в контору. Я и кофей там пью, — прибавил он.

— И так до самого обеда?

— До самого обеда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочем, скажу вам откровенно, тут много делает привычка. *Мне скучно без дела.*

«Не нынче-завтра он умрет. Кто же будет масло отпускать, как пойдет дом? — думал я, оставив его. — Разве к тем порам старший сын тоже сделается человеком прежнего покроя и тоже будет скучать без дела и вставать в четыре часа. Так и пойдет одна тысяча золотых к другой до тех пор, пока кто-нибудь из династов, и, наверное, самый лучший, проиграет все в карты или поднесет лоретке». — «Родители-то какие были! — скажут добрые люди. — Они отказывали во всем себе и другим тоже и все копили про детей. А вот блудный сын!..»

[1155] Сноски: 1155
друг мой (*ит.*).

Ну, где ж тут скоро добраться, сквозь эту толщу нелепости, до живого мяса?

Этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, Р. Оуэн проповедовал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает.

Биограф Р. Оуэна очень верно судил, говоря, что он разрушил свое влияние, отрекаясь от религии. Действительно, стукнувшись о церковную ограду, ему следовало остановиться, а он перелез на другую сторону и остался там один-одинехонек, провожаемый благочестивым ругательством. Но нам кажется, что рано или поздно он точно так же остался бы и за *другим черепком* раковины — один и outlaw.

Толпа только потому не освирепела на него с самого начала, что государство и суд не так популярны, как церковь и алтарь. Но за право наказания вступились бы, à la longue[1156], люди получше подкованные, чем богобеснующиеся

[1156] Сноски: 1156
в конце концов (*фр.*).

квекеры и фельетонные святоши.

О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная вперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатие Девы Марии или уверять, что геологические исследования Моисея сходны с исследованиями Мурчисона. Светские церкви *гражданского и уголовного суда* и догматы юридического катехизиса стоят гораздо тверже и пользуются, *впредь до рассмотрения,* правами *доказанных* истин и незыблемых аксиом.

Люди, опрокинувшие алтари, не дерзали коснуться до зерцала. Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие Бога по имени — Разумом, были так же уверены во всех salus populi[1157] и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости жечь колдунов.

Давно ли один из сильнейших, из самых смелых мыслителей нашего века, для того чтоб нанести церкве последний удар, секуляризовал ее в трибунал и, вырывая из рук жрецов Исаака, приготовляемого на заклание Богу, отдал его

[1157] Сноски: 1157
общественных благах (*лат.*).

под суд, т. е. на заклание справедливости?

Вековой спор — спор тысячелетний о *воле и предопределении* — не кончен. Не один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и у врачей и, что всего важнее, у всех занимающихся статистикой преступлений. Во всяком случае спор не решен, *но о том, что преступника наказывать справедливо, и притом по мере преступления, об этом и спору нет,* это всякий сам знает!

С которой же стороны lunatic asylum?

«Наказание есть неотъемлемое право преступника», — сказал сам Платон.

Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы не обязаны с Аддисоновым «Катоном» приговаривать ко всему: «Ты прав, Платон, ты прав», даже и тогда, когда он говорит, что «наш дух не умирает».

Если быть выпоронному или повешенному составляет *право* преступника, пусть же он сам и предъявляет его, если оно нарушено. Права втеснять не надобно.

Бентам называет преступника дурным счетчиком; понятно, что кто обчелся, тот должен

нести последствия ошибки, но ведь это не право его. Никто не говорит, что если вы стукнулись лбом, то вы имеете право на синее пятно, и нет особого чиновника, который бы посылал фельдшера сделать это пятно, если его нет. Спиноза еще проще говорит о могущей быть необходимости убить человека, мешающего жить другим, «так, как убивают бешеную собаку». Это понятно. Но юристы или так неоткровенны, или так забили свой ум, что они казнь вовсе не хотят признать обороной или местью, а каким-то нравственным вознаграждением, «восстановлением равновесия». На войне дела идут прямее: убивая неприятеля, солдат не ищет *его* вины, не говорит даже, что это справедливо, а кто кого сможет, тот того и повалит.

— Но с этими понятиями придется затворить все суды.

— Зачем? Делали же из базилик приходские церкви, не попробовать ли теперь их отдать под приходские школы?

— С этими понятиями о безнаказанности не устоит ни одно правительство.

— Оуэн мог бы, как первый *исторический брат*, на это отвечать: «Разве мне было поручено упрочивать правительства?»

— Он в отношении правительств был очень уклончив и умел ладить с коронованными головами, с министрами-тори и с президентом американской республики.

— А разве он был дурен с католиками или протестантами?

— Что ж, вы думаете, Оуэн был республиканец?

— Я думаю, что Роберт Оуэн предпочитал ту *форму правительства,* которая наибольше соответствует принимаемой им церкве.

— Помилуйте, у него никакой нет церкви.

— Ну, вот видите.

— Однако нельзя быть без правительства.

— Без сомнения; хоть какое-нибудь дрянное, да надобно. Гегель рассказывает о доброй старухе, говорившей: «Ну, что ж, что дурная погода? Все лучше чтоб была дурная, чем если б совсем погоды не было!»

— Хорошо, смейтесь, да ведь государство погибнет без правительства.

— А мне что за дело!

IV

Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением *сильной правительственной* власти.

Декреты приготовлявшегося правительства уцелели с своим заголовком:

Egalité Liberté
Bonheur Commun[1158],

к которому иногда прибавляется в виде пояснения: «Ou la mort!»[1159]

Декреты, как и следует ожидать, начинаются с *декрета полиции.*

§ 1. Лица, ничего не делающие *для отечества,* не имеют никаких политических прав, это *иностранцы,* которым *республика* дает гостеприимство.

§ 2. Ничего не делают *для отечества* те, которые не *служат ему* полезным трудом.

§ 3. *Закон* считает полезными трудами:

[1158] Сноски: 1158
Равенство. Свобода. Всеобщее благосостояние (*фр.*).

[1159] Сноски: 1159
«Или смерть!» (*фр.*)

Земледелие, скотоводство, рыбную ловлю, мореплавание.

Механические и ручные работы.

Мелкую торговлю (la vente en détail).

Извоз и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподавание.

§ 4. Впрочем, *науки* и *преподавание* не будут считаться полезными, если *лица,* занимающиеся ими, не представят в данное время свидетельство цивизма, *написанное по определенной форме.*

§ 6. *Иностранцам* воспрещается вход в публичные собрания.

§ 7. Иностранцы находятся под прямым надзором высшей администрации, которой предоставляется право высылать их с места жительства и отправлять в исправительные места.

В декрете о «работах» все расписано и распределено: в какое время, когда что делать, сколько часов работать; старшины дают «пример усердия и деятельности», другие доносят обо всем, делающемся в мастерских, начальству. Работников *посылают* из одного места в другое (так, как гоняют мужиков на шоссейную работу у нас) по мере надобности рук и труда.

§ 11. Высшая администрация посылает на ка-

торжную работу (travaux forcés), под надзор ею назначенных общин, лица обоего пола, которых *инцивизм* (incivisme[1160]), лень, роскошь и *дурное поведение* дают обществу дурной пример. Их имущество будет конфисковано.

§ 14. Особенные чиновники заботятся о содержании и приплоде скота, об одежде, переездах и облегчениях работающих граждан.

Декрет о распределении имущества.

§ 1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника (magistrat).

§ 2. Народная община с самого начала дает своим членам квартиру, платья, стирку, освещение, отопление, достаточное количество хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла, вина и других напитков.

§ 3. В каждой коммуне, в определенные эпохи, будут общие трапезы, на которых члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякий член, взявший плату за работу или хранящий у себя деньги, *наказывается.*

Декрет о торговле.

§ 1. Заграничная торговля частным лицам *за-*

[1160] Сноски: 1160
отсутствие гражданских добродетелей (*фр.*).

прещена. Товар будет конфискован, преступник наказан.

Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не велено ввозить. Республика не выдает денег; внутренние частные долги уничтожаются, внешние уплачиваются; а если кто обманет или сделает подлог, то наказывается *вечным рабством* (esclavage perpétuel).

За этим так и ждешь *«Питер* в Сарском Селе» или «граф *Аракчеев* в Грузине», — а подписал не Петр I, а первый социалист французский *Гракх Бабёф!*

Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте недоставало правительства; обо всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок. Даже воспроизведение животных не предоставляется их собственным слабостям и кокетству, а регламентировано высшим начальством.

И для чего, вы думаете, все это? Для чего кормят «курами и рыбой, обмывают, одевают и *утешают»*[1161] этих *крепостных* благосостояния, этих приписанных к равенству арестантов? Не просто

[1161] Сноски: 1161

«Каждый гражданин будет от администрации logé, nourri, habillé et amusé» <укрыт, накормлен, одет и утешен (*фр.*)>.

для них: декрет именно говорит, что все это будет делаться médiocrement[1162]. «Одна Республика должна быть богата, великолепна и всемогуща».

Это сильно напоминает нашу Иверскую Божию Матерь: sie hat Perlen und Diamanten[1163], карету и лошадей, иеромонахов для прислуги, кучеров с незамерзаемой головой, словом, у нее все есть — да ее только нет, она владеет всем добром in effigie[1164].

Противуположность Роберта Оуэна с Гракхом Бабёфом очень замечательна. Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим *двум коренным зубам* можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что в сущности эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели и из тех же побуждений, — тем ярче их различие.

Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение *федералистов* и демократический террор,

---

[1162] Сноски: 1162
Здесь: скудным образом (*фр.*).

[1163] Сноски: 1163
у нее есть жемчуга и бриллианты (*нем.*).

[1164] Сноски: 1164
в изображении (*лат.*).

народ остался ни при чем. Другой — что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин и усиленной производительности, «веселая Англия» делается все больше Англией скучной и Англия обжорливая — все больше Англией голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они (и многие другие) почти в одно и то же время попали на этот порядок идей — понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньше благоприятных обстоятельствах.

Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противуположные стороны.

Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию, последнее *достижение,* последнюю победу тяжелого, сложного исторического похода; он приветствует зарю *нового* дня, никогда не бывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пеленки, помочи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего и, как путешественник,

доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бранит ни станционных смотрителей, ни кляч.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Гракх Бабёф. Она декретировала *восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных.* Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников — попов и аристократов. Их следует казнить как врагов отечества, достояние их возвратить законному *государю,* которому теперь есть нечего и который называется поэтому *санкюлотом.* Пора восстановить его старые *неотъемлемые* права… Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими?.. А! Вы сомневаетесь, — вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мешать практике *акушера* Оуэна.

Бабёф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжание. Для этого он сделал заговор; если б ему удалось

овладеть Парижем, комитет insurrecteur[1165] *приказал бы* Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис; он втеснил бы французам свое *рабство общего благосостояния* и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы, бросив миру *великую мысль в нелепой форме,* — мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство *довольных.*

Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны он так же последовательно, как Бабёф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая; его микроскоп, его лаборатория был New Lanark; его учение росло и мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, что главный путь водворения нового порядка — *воспитание.*

Заговор для Оуэна был ненужен, восстание могло только повредить ему. Он не только мог ужиться с лучшим в мире правительством,

---

[1165] Сноски: 1165
повстанческий (*фр.*).

с английским, но со всяким другим. Он в правительстве видел устарелый, исторический факт, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойников, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительство, он не домогался нисколько и *поправлять его.* Если б святые лавочники не мешали ему, в Англии и Америке были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony[1166], в них втекали бы свежие силы рабочего народонаселения, они исподволь отвели бы лучшие жизненные соки от отживших государственных цистерн. Что же ему было бороться с умирающими? Он мог их предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенец, которого приносят в его школы, c'est autant de pris[1167] над церковью и правительством!

Бабёф был казнен. Во время процесса он вырастает в одну из тех великих личностей, мучеников

[1166] Сноски: 1166

С легкой руки Оуэна начали в Англии развиваться *кооперативные работничьи ассосиации;* их считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бедно 15 лет тому назад, с капиталом 28 ливров, строит теперь на общественные деньги фабрику с двумя машинами, каждая в шестьдесят сил, и которая им стоит за 30 000 фунтов. Кооперативные общества печатают журнал «The Co-operator», который издается исключительно работниками.

[1167] Сноски: 1167

это новая победа (*фр.*).

и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек. Он угас, а на его могиле росло больше и больше всепоглощающее чудовище *Централизации.* Перед нею особенность стерлась, завянула, побледнела личность и исчезла. Никогда на европейской почве, со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны и от нее до исхода Французской революции, человек не был так пойман правительственной паутиной, так опутан сетями администрации, как в новейшее время во Франции.

Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог, говорил, пока его голос доходил. Ил пожимал плечами, качал головой; неотразимая волна мещанства росла, Оуэн старелся и все глубже уходил в трясину; мало-помалу его усилия, его слова, его учение — все исчезло в болоте. Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только *либералов:* аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает.

— Зато будущее их!..

— Как случится!

— Помилуйте, к чему же после этого вся история?

— Да и все-то на свете к чему? Что касается

до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю. Я, как «сестра Анна» в «Синей Бороде», смотрю для вас на дорогу и говорю что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... Вот едут... едут, кажется, они; нет, это не братья наши, это бараны, много баранов! Наконец-то приближаются два гиганта, разными дорогами. Ну уж не тот, так другой потреплет Рауля за синюю бороду. Не тут-то было! Грозных указов Бабёфа Рауль не слушается, в школу Р. Оуэна не идет, — одного послал на гильотину, другого утопил в болоте. Я этого вовсе не хвалю, мне Рауль не родной, я только констатирую факт, *и больше ничего!*

V

...Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Бабёфа и Дорте, Оуэн жил на одной квартире с другим непризнанным гением и бедняком, Фультоном, и отдавал ему последние свои шиллинги, чтоб тот делал модели машин, которыми он обогатил и облагодетельствовал род человеческий. Случилось, что один молодой офицер показывал дамам свою батарею. Чтоб быть вполне любезным, он без всякой

нужды пустил несколько ядер (это рассказывает он сам), неприятель отвечал тем же — несколько человек пали, другие были изранены; дамы остались очень довольны нервным потрясением. Офицера немножко угрызала совесть: «Люди эти, говорит, погибли совершенно бесполезно»... но дело военное, это скоро прошло. Cela promettait[1168], и впоследствии молодой человек пролил крови больше, чем все революции вместе, потребил одной конскрипцией больше солдат, чем надобно было Оуэну учеников, чтоб пересоздать весь свет.

Системы у него не было никакой, добра людям он не желал и не обещал. Он добра желал себе одному, а под добром разумел власть. Теперь и посмотрите, как слабы перед ним Бабёф и Оуэн! Его имя тридцать лет после его смерти было достаточно, чтоб его племянника признали императором.

Какой же у него был секрет?

Бабёф хотел людям *приказать благосостояние* и коммунистическую республику.

Оуэн хотел их *воспитать* в другой экономический быт, несравненно больше выгодный

[1168] Сноски: 1168
Это обещало много (*фр.*).

для них.

Наполеон не хотел ни того, ни другого; он понял, что французы не в самом деле желают питаться спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего, что они не очень удовлетворятся тем, что по большим праздникам «граждане будут сходиться рассуждать о законах[1169] и обучать детей цивическим добродетелям». Вот, дело другое — подраться и похвастаться храбростью они точно любят.

Вместо того чтоб им мешать и дразнить, проповедуя вечный мир, лакедемонский стол, римские добродетели и миртовые венки, Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту. Его винить не за что: французы и без него были бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упреком, он ее не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добродетелями, он не представлял ей возвышенный, преображенный идеал; он не являлся ни карающим пророком, ни поучающим гением, *он сам принадлежал толпе* и показал ей *ее самоё,*

[1169] Сноски: 1169

Не из наших ли законов взял Гракх Бабёф это развлечение? Когда в коллегии нет дела, члены должны *читать законы!*

с ее недостатками и симпатиями, с ее страстями и влечениями, возведенную в *гения* и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет.

Если и он пал, то вовсе не от того, чтоб толпа его оставила, что она разглядела пустоту его замыслов, что она устала отдавать последнего сына и без причины лить кровь человеческую. Он додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своих господ. Христианская нравственность была удовлетворена — нельзя было с большим остервенением защищать своих врагов!

На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно… Эта спокойная, британская, не обещающая ничего светлого фигура — и этот седой, свирепо-добродушный немецкий кондотьер. Ирландец на английской службе, человек без отечества — и пруссак, у которого отечество в казармах, приветствуют

радостно друг друга; и как им не радоваться? Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, — в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат… Дело на рассвете… Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились. И отчего?.. Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал! Сколько несчастий и слез стоила народам эта победа! А сколько несчастий и крови стоила бы народам победа противной стороны?

… — Да какой же вывод из всего этого?

— Что вы называете вывод? Нравоучение вроде fais ce que doit, advienne ce que pourra[1170] или сентенцию вроде

И прежде кровь лилась рекою,

И прежде плакал человек?

Понимание дела — вот и вывод, освобождение от лжи — вот и нравоучение.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбие, и особенно теперь, когда все кричат о безнравственности взяток? «Истина — религия, — толкует старик Оуэн, — не требуйте от нее ничего больше, как ее самоё».

[1170] Сноски: 1170
делай то, что должно, а будет то, что будет (*фр.*).

За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения — по крайней мере разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас… Это страшно много! Детский хлам, который мы утрачиваем, не занимает больше, он нам дорог только по привычке. Чего тут жалеть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотом веке сзади или о бесконечном прогрессе впереди, чудотворную склянку св. Януария или метеорологическую молитву о дожде, тайный умысел химических заговорщиков или natura sic voluit?[1171]

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокруг все колеблется, несется; стой или ступай куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства… Вероятно, и море пугало сначала беспорядком, но как только человек понял его бесцельную суету, он взял дорогу с собой и в какой-то скорлупе переплыл океаны.

Ни природа, ни история *никуда не идут* и потому готовы идти *всюду,* куда им укажут, *если это возможно, т. е.* если ничего не мешает. Они сла-

---

[1171] Сноски: 1171
природа так захотела (*лат.*).

гаются à fur et à mesure[1172] бездной друг на друга действующих, друг с другом встречающихся, друг друга останавливающих и увлекающих частностей; но человек вовсе не теряется от этого, как песчинка в горе, не больше подчиняется стихиям, не круче связывается необходимостью, а вырастает тем, что понял свое положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путем сообщения.

Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в нее свой стих, и, если он звучен, он останется *его* стихом, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будет бродить в ее крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу. Стоит тронуть наукой скалу, чтоб из нее текла вода, — да что вода! Подумайте о том, что сделал сгнетенный пар, что делает электричество с тех пор, как человек, а не Юпитер взял их в руки. Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творчество. Стихиям, веществу

[1172] Сноски: 1172
постепенно (*фр.*).

все равно, они могут дремать тысячелетия и вовсе не просыпаться, но человек шлет их на свою работу, и они идут. Солнце давно ходит по небу: вдруг человек перехватил его луч, задержал его след, и солнце стало ему делать портреты.

Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклеп на нее; она не настолько умна, чтоб бороться, ей все равно: «По той мере, по которой человек ее знает, по той мере он может ею управлять», — сказал Бэкон и был совершенно прав. Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она, продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения — тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: «Общее благосостояние или смерть!», чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом *лодка, волна и кормчий.* Хоть бы

карта была!

— А будь карта у Колумба, не он открыл бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта… чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делаются чем-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса. Если события подтасованы, если вся история — развитие какого-то доисторического *заговора* и она сводится на одно выполнение, на одну его mise en scène — возьмемте по крайней мере и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слезы для представления провиденциальной шарады? С предопределенным планом история сводится на вставку чисел в алгебраическую формулу, будущее отдано в кабалу до рождения.

Люди, с ужасом говорящие о том, что Р. Оуэн лишает человека воли и нравственной доблести, мирят предопределение не только с свободой, но и с палачом! Разве только на основании текста, что «Сын человеческий *должен быть* предан,

но горе тому, кто его предаст»[1173].

В мистическом воззрении все это на месте, и там это имеет свою художественную сторону, которой в доктринаризме нет. В религии развертывается целая драма; тут борьба, возмущение и его усмирение; вечная Мессиада, Титаны, Люцифер, Абадонна, изгоняемый Адам, прикованный Прометей, караемые Богом и искупаемые Спасителем. Это роман, потрясающий душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализм, переходя из церкви в школу, утратил весь свой смысл, даже тот смысл правдоподобия, который мы требуем в сказке. Из яркого, пахучего, опьяняющего азиатского цветка доктринеры высушили бледное сено для гербариума. Отталкивая фантастические образы, они остались

[1173] Сноски: 1173

Теологи отважнее доктринеров вообще; они прямо говорят, что без воли Божией не падет волос с головы, а ответственность за каждое действие, даже за помысел, оставляют на человеке. Ученый фатализм утверждает, что у них и речи нет о личностях, о *случайных* носителях идеи… (т. е. речи нет о нашем брате, обыкновенном человеке, а что касается до таких личностей, как Александр Македонский или Петр I, — нам уши прожужжали их всемирно историческим призванием). Доктринеры, видите, как большие господа: хозяйством истории распоряжаются en gros <в общих чертах (*фр.*)>, гуртом… но где граница стада и личностей, где несколько зерен-то, как спрашивали мои милые афинские софисты, становятся кучей?

Само собою разумеется, что мы никогда не смешивали предопределений с теорией вероятностей; мы вправе наведением делать посылки от прошедшего к будущему. Делая индукцию, мы знаем, что

делаем, основываясь на постоянстве некоторых законов и явлений, но допуская также и нарушения. Мы видим человека тридцати лет и имеем полное право предполагать, что через другие тридцать лет он будет сед или плешив, несколько сгорбится и пр. Это не значит, что его назначение седеть, плешиветь, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри он тридцати пяти лет, он не будет седеть, а пойдет «на замазку», как говорит Гамлет, или на салат.

при голой логической ошибке, при нелепости пред исторической arrière-pensée[1174], воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами своих целей. Зачем, если она существует, она еще раз осуществляется? Если же ее нет и она только *становится и отстаивается* событиями, то что же за новый иммакулатный[1175] процесс зачатия зародил во временном преждесущую идею, которая, выходя из чрева истории, возвещает тотчас, что она была прежде и будет после? Это новое сводное бессмертие души, идущее в обе стороны, не личное, не чье-нибудь, а родовое… *Бессмертная душа* всего человечества… Это стоит мертвых душ! Нет ли бессмертной березы всех берез?

Мудрено ли, что с таким освещением самые простейшие, обыденные предметы сделались при схоластическом объяснении совершенно непонятными. Может ли, например, быть факт доступнее всякому, как наблюдение, что чем человек больше живет, тем имеет больше случая нажиться; чем дольше глядит на один предмет,

---

[1174] Сноски: 1174
тайной мыслью (*фр.*).

[1175] Сноски: 1175
непорочный (*фр.* immaculé).

тем больше разглядывает его, если ничего не помешает или он не ослепнет? И из этого факта ухитрились сделать кумир *прогресса,* какого-то беспрерывно растущего и обещающего расти в бесконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человек живет не для *совершения судеб,* не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился *для* (как ни дурно это слово)… для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо; они никак не хотят обратить внимание на то, что все великое значение наше, при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и состоит, что пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, *мы все-таки сами,* а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории… Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это не цель наша, не назначенье, не заданный урок, а последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами

и началами, причинами и действиями.

И это не все: мы можем *переменить узор ковра.* Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть.

— Но если, с одной стороны, вы отдаете судьбу человека на его произвол, а с другой — снимаете с него ответственность, то с вашим учением он сложит руки и просто ничего не будет делать.

Уж не перестанут ли люди есть и пить, любить и производить детей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнают, что едят и слушают, любят и наслаждаются для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для *скорейшего* достижения *бесконечного* развития совершенства?

Если религия, с своим подавляющим фатализмом, и доктринаризм, с своим безотрадным и холодным, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтоб это сделало воззрение, освобождающее их от этих плит. Одного чутья жизни и непоследовательности было достаточно, чтоб спасти европейские народы от религиозных проказ вроде аскетизма, квиетизма, которые

постоянно были только на словах и никогда на деле, — неужели разум и сознание окажутся слабее?

К тому же в реальном воззрении есть свой секрет; тот, кто от него сложит руки, тот не поймет его и не примет; он еще принадлежит к иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры: с одной стороны дьявол с черным хвостом, с другой — ангел с белой лилией.

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладает ли с ними человек или в ином месте собьется с дороги, а в другом наделает вздору — это другой вопрос. Говоря, что у человека никогда не пропадет голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые.

Есть люди, удовлетворяющиеся малым, с бедными потребностями, с узким взглядом и ограниченными желаниями. Есть и народы с небольшим горизонтом, с странным воззрением, удовлетворяющиеся бедно, ложно, а иногда

даже пошло. Китайцы и японцы, без сомнения, два народа, нашедшие наиболее соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они так неизменно одни и те же.

Европа, кажется нам, тоже близка к «насыщению» и стремится, усталая, осесть, скристаллизоваться, найдя свое прочное общественное положение *в мещанском устройстве.* Ей мешают покойно сложиться монархическо-феодальные остатки и завоевательное начало. Мещанское устройство представляет огромный успех в сравнении с олигархически-военным — в этом нет сомнения, но для Европы, и в особенности для англо-германской, оно представляет не только огромный успех, *но и успех достаточный.* Голландия опередила, она первая успокоилась до прекращения истории. Прекращение роста — начало совершеннолетия. Жизнь студента полнее событий и идет гораздо бурнее, чем трезвая и работящая жизнь отца семейства. Если б над Англией не тяготел свинцовый щит феодального землевладения и она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду, если б она, как Голландия, могла достигнуть для всех благосостояния мелких лавочников и небогатых хозяев средней руки, она

успокоилась бы на мещанстве. А с тем вместе уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизились, и жизнь без событий, развлекаемая иногда внешними толчками, свелась бы на однообразный круговорот, на слегка видоизменяющийся semper idem. Собирался бы парламент, представлялся бы бюджет, говорились бы дельные речи, улучшались бы формы… и на будущий год то же, и через десять лет то же; это была бы покойная колея взрослого человека, его деловые будни. Мы и в естественных явлениях видим, как начала эксцентричны, а устоявшееся продолжение идет потихоньку: не буйной кометой, описывающей с распущенной косой свои неведомые пути, а тихой планетой, плывущей с своими сателлитами, вроде фонариков, битым и перебитым путем; небольшие отступления выставляют еще больше общий порядок… Весна помокрее, весна посуше, но после всякой — лето, но перед всякой — зима.

— Так это, пожалуй, все человечество дойдет до мещанства да на нем и застрянет?

— Не думаю, чтобы все, а некоторые части наверно. Слово «человечество» препротивное: оно не выражает ничего определенного, а только к смутности всех остальных понятий подбавляет

еще какого-то пегого полубога. Какое единство разумеется под словом «человечество»? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым названием, вроде икры и т. п. Кто в мире осмелится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинаким образом ирокезов и ирландцев, арабов и мадьяр, кафров и славян? Мы можем сказать одно, что некоторым народам мещанское устройство противно, а другие в нем как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов; общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать мещанство. Но из этого никак не следует, что они *достигнут* этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. Одно стремление ничего не обеспечивает, на разницу возможного и неминуемого мы ужасно напираем. Недостаточно знать, что такое-то устройство нам противно, а надобно знать, какого мы хотим и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди: народы буржуазные могут взять совсем иной полет, народы самые поэтические — сделаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнет,

стремлений авортирует[1176], развитий отклоняется. Что может быть очевиднее, осязаемее тех не только возможностей, а начал личной жизни, мысли, энергии, которые умирают в каждом ребенке? Заметьте, что и эта ранняя смерть детей тоже не имеет в себе ничего неминуемого; жизнь девяти десятых наверное могла бы сохраниться, если б доктора знали медицину и медицина была бы в самом деле наукой. На это *влияние человека и науки* мы обращаем особенное внимание, оно чрезвычайно важно.

Заметьте еще посягательство обезьян (например, шимпанзе) на дальнейшее умственное развитие. Оно видно в их беспокойно озабоченном взгляде, в тоскливо грустном присматривании ко всему, что делается, в недоверчивой и суетливой тревожности и любопытстве, которое, с другой стороны, не дает мысли сосредоточиться и постоянно ее рассевает. Ряды и ряды поколений вновь и вновь стремятся к какому-то разумению, заменяются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умирают, — и так прошли десятки тысяч лет и пройдут еще десятки.

Люди имеют большой шаг перед обезьянами;

[1176] Сноски: 1176
не дозревает, не имеет успеха (*фр*. avorter).

их стремления не пропадают бесследно, они облекаются словом, воплощаются в образ, остаются в предании и передаются из века в век. Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана — всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу и нет ее «разве него», а с нею мы можем быть властью.

Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; перед каждым открытые двери. *Есть что* сказать человеку — пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение — пусть проповедует. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой, — ни она не самобытна, ни мы не независимы от общего *фонда* картины, от одинаких предшествовавших влияний; связь общая есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

– Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!

<Глава X>
Camicia rossa[1177]

Шекспиров день превратился в день Гарибальди. Сближение это вытянуто за волосы историей; такие натяжки удаются ей одной.

Народ, собравшись на Примроз-Гилль, чтоб посадить дерево в память threecentenary[1178], остался там, чтоб поговорить о *скоропостижном* отъезде Гарибальди. Полиция разогнала народ. Пятьдесят тысяч человек (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейских и, из глубокого уважения к законности, вполовину сгубили великое право сходов под чистым небом и, во всяком случае, поддержали беззаконное вмешательство власти.

…Действительно, какая-то шекспировская фантазия пронеслась перед нашими глазами на сером фоне Англии, с чисто шекспировской

[1177] Сноски: 1177

Статья эта назначена была для «Полярной звезды», но «Полярная звезда» не выйдет в нынешнем году; а в «Колоколе», благодаря террору, наложившему печать молчания на большую часть наших корреспондентов, довольно места для нее и еще для двух-трех статей.

[1178] Сноски: 1178

трехсотлетия (*англ.*).

близостью великого и отвратительного, раздирающего душу и скрипящего по тарелке. Святая простота человека, наивная простота масс и тайные скопы за стеной, интриги, ложь. Знакомые тени мелькают в других образах — от Гамлета до короля Лира, от Гонериль и Корделий до *честного* Яго. Яго — всё крошечные, но зато какое количество и какая у них честность!

Пролог. Трубы. Является идол масс, единственная, великая, народная личность нашего века, выработавшаяся с 1848 года, — является во всех лучах славы. Все склоняется перед ней, все ее празднуют, это — очью совершающееся hero-worship[1179] Карлейля. Пушечные выстрелы, колокольный звон, вымпела на кораблях — и только потому нет музыки, что *гость Англии* приехал в воскресенье, а воскресенье здесь постный день… Лондон ждет приезжего часов семь на ногах; овации растут с каждым днем; появление человека в *красной рубашке* на улице делает взрыв восторга, толпы провожают его ночью, в час, из оперы, толпы встречают его утром, в семь часов, перед Стаффорд гаузом.

[1179] Сноски: 1179
поклонение героям (*англ.*).

Работники и дюки[1180], швеи и лорды, банкиры и High Church, феодальная развалина Дерби и осколок Февральской революции, республиканец 1848 года, старший сын королевы Виктории и босой sweeper[1181], родившийся без родителей, ищут наперерыв его руки, взгляда, слова. Шотландия, Ньюкастль-он-Тейн, Глазгов, Манчестер трепещут от ожидания, а он исчезает в непроницаемом тумане, в синеве океана.

Как тень Гамлетова отца, гость попал на какую-то министерскую дощечку и исчез. Где он? Сейчас был тут и тут, а теперь нет… Остается одна точка, какой-то парус, готовый отплыть.

Народ английский одурачен. «Великий, глупый народ», — как сказал о нем поэт. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джон-Буль — и жаль его, и смешно! Бык с львиными замашками только что было тряхнул гривой и порасправился, чтоб встретить гостя так, как он никогда не встречал ни одного ни на службе состоящего, ни отрешенного

[1180] Сноски: 1180

Я прошу позволение дюков называть дюками, а не герцогами. Во-первых, оно правильнее, а во-вторых, одним немецким словом меньше в русском языке. Autant de pris sur le Teutschtum <Все-таки победа над германизмом (*фр.*)>.

[1181] Сноски: 1181

трубочист (*англ.*).

от должности монарха, — а у него его и отняли. Лев-бык бьет двойным копытом, царапает землю, сердится… но сторожа знают хитрости замков и засовов *свободы,* которыми он заперт, болтают ему какой-то вздор и держат ключ в кармане… а точка исчезает в океане.

Бедный лев-бык, ступай на свой hard labour[1182], тащи плуг, подымай молот. Разве три министра, один неминистр, один дюк, один профессор хирургии и один лорд пиетизма не засвидетельствовали всенародно в камере пэров и в низшей камере, в журналах и гостиных, что здоровый человек, которого ты видел вчера, *болен,* и болен так, что его надобно послать на яхте вдоль Атлантического океана и поперек Средиземного моря?.. «Кому же ты больше веришь: моему ослу или мне?» — говорил обиженный мельник, в старой басне, скептическому другу своему, который сомневался, слыша рев, что осла нет дома…

Или разве *они* не друзья народа? Больше, чем друзья: они его опекуны, его отцы с матерью…

…Газеты подробно рассказали о пирах и яствах, речах и мечах, адресах и кантатах, Чизике и Гильдголле. Балет и декорации, пантомимы

[1182] Сноски: 1182
каторжный труд (*англ.*).

и арлекины этого «сновидения в весеннюю ночь» описаны довольно. Я не намерен вступать с ними в соревнование, а просто хочу передать из моего небольшого фотографического снаряда несколько картинок, взятых с того скромного угла, из которого я смотрел. В них, как всегда бывает в фотографиях, захватилось и осталось много случайного, неловкие складки, неловкие позы, слишком выступившие мелочи, рядом с нерукотворенными чертами событий и неподслащенными чертами лиц.

Рассказ этот дарю я вам, отсутствующие дети (отчасти он для вас и писан), и еще раз очень, очень жалею, что вас здесь не было с нами 17 апреля.

I. В Брук гаузе

Третьего апреля к вечеру Гарибальди приехал в Соутамтон. Мне хотелось видеть его прежде, чем его завертят, опутают, утомят.

Хотелось мне этого по многому. Во-первых, просто потому, что я его люблю и не видал около десяти лет. С 1848 я следил шаг за шагом за его великой карьерой; он уже был для меня в 1854 году лицо, взятое целиком из Корнелия Непота

или Плутарха…[1183] С тех пор он перерос половину их, сделался «невенчанным царем» народов, их упованием, их живой легендой, их святым человеком и это от Украйны и Сербии до Андалузии и Шотландии, от Южной Америки до Северных Штатов. С тех пор он с горстью людей победил армию, освободил целую страну и был отпущен из нее, как отпускают ямщика, когда он довез до станции. С тех пор он был обманут и побит, и так, как ничего не выиграл победой, не только ничего не проиграл поражением, но удвоил им свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими,* кровью спаяла его с народом. К величию героя прибавился венец мученика. Мне хотелось видеть, тот ли же это добродушный моряк, приведший «Common Wealth» из Бостона в Indian Docks, мечтавший о плавучей эмиграции, носящейся по океану[1184], и угощавший меня ниццким белетом, привезенным из Америки.

Хотелось мне, во-вторых, поговорить с ним о здешних интригах и нелепостях, о добрых людях, строивших одной рукой пьедестал ему и другой привязывавших Маццини к позор-

[1183] Сноски: 1183
«Полярная звезда», кн. V, «Былое и думы».

[1184] Сноски: 1184
Там же.

ному столбу. Хотелось ему рассказать об охоте по Стансфильду и о тех нищих разумом либералах, которые вторили лаю готических свор, не понимая, что те имели по крайней мере цель — сковырнуть на Стансфильде пегое и бесхарактерное министерство и заменить его своей подагрой, своей ветошью и своим линялым тряпьем с гербами.

…В Соутамтоне я Гарибальди не застал. Он только что уехал на остров Вайт. На улицах были видны остатки торжества: знамена, группы народа, бездна иностранцев…

Не останавливаясь в Соутамтоне, я отправился в Коус. На пароходе, в отелях все говорило о Гарибальди, о его приеме. Рассказывали отдельные анекдоты, как он вышел на палубу, опираясь на дюка Сутерландского, как, сходя в Коусе с парохода, когда матросы выстроились, чтоб проводить его, Гарибальди пошел было, поклонившись, но вдруг остановился, подошел к матросам и каждому подал руку, вместо того чтоб подать на водку.

В Коус я приехал часов в девять вечера; узнал, что Брук гауз очень не близок, заказал на другое утро коляску и пошел по взморью. Это был первый теплый вечер 1864. Море, совершенно

покойное, лениво шаля, колыхалось; кой-где сверкал, исчезая, фосфорический свет; я с наслаждением вдыхал влажно-йодистый запах морских испарений, который люблю, как запах сена; издали раздавалась бальная музыка из какого-то клуба или казино, все было светло и празднично.

Зато на другой день, когда я часов в шесть утра отворил окно, Англия напомнила о себе: вместо моря и неба, земли и дали, была одна сплошная масса неровного серого цвета, из которой лился частый, мелкий дождь, с той британской настойчивостью, которая вперед говорит: «Если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». В семь часов поехал я под этой душей в Брук гауз.

Не желая долго толковать с тугой на пониманье и скупой на учтивость английской прислугой, я послал записку к секретарю Гарибальди — Гверцони. Гверцони провел меня в свою комнату и пошел сказать Гарибальди. Вслед за тем я услышал постукивание трости и голос: «Где он, где он?» Я вышел в коридор. Гарибальди стоял передо мной и прямо, ясно, кротко смотрел мне в глаза, потом протянул обе руки и, сказав: «Очень, очень рад, вы полны силы и здоровья, вы еще

поработаете!» — обнял меня. — «Куда вы хотите? Это комната Гверцони; хотите ко мне, хотите остаться здесь?» — спросил он и сел.

Теперь была моя очередь смотреть на него.

Одет он был так, как вы знаете по бесчисленным фотографиям, картинкам, статуэткам: на нем была красная шерстяная рубашка и сверху плащ, особым образом застегнутый на груди; не на шее, а на плечах был платок, так, как его носят матросы: узлом завязанный на груди. Все это к нему необыкновенно шло, особенно его плащ.

Он гораздо меньше изменился в эти десять лет, чем я ожидал. Все портреты, все фотографии его никуда не годятся: на всех он старше, чернее, и, главное, выражение лица нигде не схвачено. А *в нем-то* и высказывается *весь секрет* не только его лица, но его самого, его силы, — той притяжательной и отдающейся силы, которой он постоянно покорял все окружавшее его… какое бы оно ни было, без различия диаметра: кучку рыбаков в Ницце, экипаж матросов на океане, drappello[1185] гверильясов в Монтевидео, войско ополченцев в Италии, народные массы всех стран, целые части земного шара.

[1185] Сноски: 1185
отряд (*ит.*).

Каждая черта его лица, вовсе неправильного и скорее напоминающего славянский тип, чем итальянский, оживлена, проникнута беспредельной добротой, любовью и тем, что называется bienveillance (я употребляю французское слово, потому что наше «благоволение» затаскалось до того по передним и канцеляриям, что его смысл исказился и оподлел). То же в его взгляде, то же в его голосе, и все это так просто, так от души, что если человек не имеет задней мысли, жалованья от какого-нибудь правительства и вообще не остережется, то он непременно его полюбит.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характер, ни выражение его лица; рядом с его добродушием и увлекаемостью чувствуется несокрушимая нравственная твердость и какой-то возврат на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты, меланхолической, печальной, я прежде не замечал в нем.

Минутами разговор обрывается; по его лицу, как тучи по морю, пробегают какие-то мысли. Ужас ли то перед судьбами, лежащими на его плечах, перед тем народным *помазанием,* от которого он уже не может отказаться? Сомнение ли после того, как он видел столько измен, столько

падений, столько слабых людей? Искушение ли величия? Последнего не думаю — его личность давно исчезла в его деле…

Я уверен, что подобная черта страданья перед призванием была и на лице девы Орлеанской, и на лице Иоанна Лейденского — они принадлежали народу: стихийные чувства, или, лучше, предчувствия, заморенные в нас, сильнее в народе. В их вере был фатализм, а фатализм сам по себе бесконечно грустен. «Да совершится воля твоя», — говорит всеми чертами лица Сикстинская Мадонна. «Да совершится воля твоя», — говорит ее сын-плебей и Спаситель, грустно молясь на Масличной горе.

…Гарибальди вспомнил разные подробности о 1854 годе, когда он был в Лондоне, как он ночевал у меня, опоздавши в Indian Docks; я напомнил ему, как он в этот день пошел гулять с моим сыном и сделал для меня его фотографию у Кальдези, об обеде у американского консула с Бюхананом, который некогда наделал бездну шума и, в сущности, не имел смысла[1186].

— Я должен вам покаяться, что я поторопился к вам приехать не без цели, — сказал я, нако-

---

[1186] Сноски: 1186

В ненапечатанной части «Былое и думы» обед этот рассказан.

нец, ему. — Я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишком английская, т. е. туманная, для того, чтоб ясно видеть закулисную механику одной пьесы, которая с успехом разыгрывается теперь в парламенте… Чем вы дальше поедете, тем гуще будет туман. Хотите вы меня выслушать?

— Говорите, говорите, мы старые друзья.

Я рассказал ему дебаты, журнальный вопль, нелепость выходок против Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда.

— Заметьте, — добавил я, — что в Стансфильде тори и их сообщники преследуют не только революцию, которую они смешивают с Маццини, не только министерство Палмерстона, но, сверх того, человека, своим личным достоинством, своим трудом, умом достигнувшего в довольно молодых летах места лорда в адмиралтействе, человека без рода и связей в аристократии. На вас прямо они не смеют нападать на сию минуту, но посмотрите, как они бесцеремонно вас трактуют. Вчера в Коусе я купил последний лист «Standard'a»; ехавши к вам, я его прочитал, посмотрите. «Мы уверены, что Гарибальди поймет настолько обязанности, возлагаемые на него гостеприимством Англии, что не будет иметь

сношений с прежним товарищем своим и найдет настолько такта, чтоб не ездить в 35, Thurloe square»[1187]. Затем выговор par anticipation[1188], если вы этого не исполните.

— Я слышал кое-что, — сказал Гарибальди, — об этой интриге. *Разумеется, один из первых визитов моих будет к Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что вам делать, я хотел вам только показать без тумана безобразные линии этой интриги.

Гарибальди встал; я думал, что он хочет окончить свидание, и стал прощаться.

— Нет, нет, пойдемте теперь ко мне, — сказал он, и мы пошли.

Прихрамывает он сильно, но вообще его организм вышел торжественно из всякого рода моральных и хирургических сондирований, операций и пр.

Костюм его, скажу еще раз, необыкновенно идет к нему и необыкновенно изящен, в нем нет ничего профессионно-солдатского и ничего буржуазного, он очень прост и очень удобен. Непринужденность, отсутствие всякой аффектации

[1187] Сноски: 1187
Квартира Стансфильда.

[1188] Сноски: 1188
заранее (*фр.*).

в том, как он носит его, остановили салонные пересуды и тонкие насмешки. Вряд существует ли европеец, которому бы сошла с рук *красная рубашка* в дворцах и палатах Англии.

Притом костюм его чрезвычайно важен: в *красной рубашке* народ узнает себя и своего. Аристократия думает, что, схвативши его коня под уздцы, она его поведет куда хочет и, главное, отведет от народа; но народ смотрит на *красную рубашку* и рад, что дюки, маркизы и лорды пошли в конюхи и официанты к революционному вождю, взяли на себя должности мажордомов, пажей и скороходов при великом плебее в плебейском платье.

Консервативные газеты заметили беду и, чтоб смягчить безнравственность и бесчиние гарибальдиевского костюма, выдумали, что он носит *мундир* монтевидейского волонтера. Да ведь Гарибальди с тех пор был пожалован генералом королем, которому он пожаловал два королевства; отчего же он носит мундир монтевидейского волонтера?

Да и почему то, что он носит, — мундир?

К мундиру принадлежит какое-нибудь смертоносное оружие, какой-нибудь знак власти или кровавых воспоминаний. Гарибальди хо-

дит без оружия, он не боится никого и никого не стращает; в Гарибальди так же мало военного, как мало аристократического и мещанского. «Я не солдат, — говорил он в Кристаль-паласе итальянцам, подносившим ему меч, — и не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтоб их выгнать». «Я работник, происхожу от работников и горжусь этим», — сказал он в другом месте.

При этом нельзя не заметить, что у Гарибальди нет также ни на йоту плебейской грубости, ни изученного демократизма. Его обращение мягко до женственности. Итальянец и человек, он на вершине общественного мира представляет не только плебея, верного своему началу, но итальянца, верного эстетичности своей расы.

Его мантия, застегнутая на груди, — не столько военный плащ, сколько риза воина-первосвященника, profeta-re[1189]. Когда он поднимает руку, от него ждут благословения и привета, а не военного приказа.

Гарибальди заговорил о польских делах. Он дивился отваге поляков.

[1189] Сноски: 1189
пророка-царя (*ит.*).

— Без организации, без оружия, без людей, без открытой границы, без всякой опоры выступить против сильной военной державы и продержаться с лишком год — такого примера нет в истории… Хорошо, если б другие народы переняли. Столько геройства не должно, не может погибнуть; я полагаю, что Галиция готова к восстанию?

Я промолчал.

— Так же, как и Венгрия, — вы не верите?

— Нет, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движения в России?

— Никакого. С тех пор как я вам писал письмо, в ноябре месяце, ничего не переменилось. Правительство, чувствующее поддержку во всех злодействах в Польше, идет очертя голову, ни в грош не ставит Европу, общество падает глубже и глубже. Народ молчит. Польское дело — не его дело, у нас враг один, общий, но вопрос розно поставлен. К тому же у нас много времени впереди, а у них его нет.

Так продолжался разговор еще несколько минут; начались в дверях показываться архианглийские физиономии, шурстеть дамские платья… Я встал.

— Куда вы торопитесь? — сказал Гарибальди.

— Я не хочу вас больше красть у Англии.

— До свиданья в Лондоне — не правда ли?

— Я непременно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландского?

— Да, — сказал Гарибальди и прибавил, будто извиняясь: — Не мог отказаться.

— Так я явлюсь к вам напудрившись, для того чтоб лакеи в Стаффорд гаузе подумали, что у меня пудреный слуга.

В это время явился поэт *лавреат* Теннисон с женой — это было слишком много лавров, и я по тому же беспрерывному дождю отправился в Коус.

Перемена декорации, но продолжение той же пьесы. Пароход из Коуса в Соутамтон только что ушел, а другой отправлялся через три часа, в силу чего я пошел в ближайший ресторан, заказал себе обед и принялся читать «Теймс». С первых строк я был ошеломлен. Семидесятипятилетний Авраам, судившийся месяца два тому назад за какие-то шашни с новой Агарью, принес окончательно на жертву своего галифаксского Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это в самое то время, когда Гарибальди начинал свое торжественное шествие в Англии. Говоря с Гарибальди,

я этого даже не предполагал.

Что Стансфильд подал во второй раз в отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему с самого начала следовало стать во весь рост и бросить свое лордшипство. Стансфильд сделал свое дело. Но что сделал Палмерстон с товарищами? И что он лепетал потом в своей речи?.. С какой подобострастной лестью отзывался он о великодушном союзнике, о претрепетном желании ему долговечья и всякого блага навеки нерушимого. Как будто кто-нибудь брал au serieux эту полицейскую фарсу Greco, Trabucco et C°.

Это была *Мажента.*

Я спросил бумаги и написал письмо к Гверцони; написал я его со всей свежестью досады и просил его прочесть «Теймс» Гарибальди; я ему писал о безобразии этой апотеозы Гарибальди рядом с оскорблениями Маццини.

«Мне 52 года, — говорил я, — но признаюсь, что слезы негодования навертываются на глазах при мысли об этой несправедливости», и проч.

За несколько дней до моей поездки я был у Маццини. Человек этот многое вынес, многое умеет выносить, это старый боец, которого ни утомить, ни низложить нельзя; но тут я его застал силь-

но огорченным именно тем, что его выбрали средством для того, чтобы выбить из стремян его друга. Когда я писал письмо к Гверцони, образ исхудалого, благородного старца с сверкающими глазами носился предо мной.

Когда я кончил и человек подал обед, я заметил, что я не один: небольшого роста белокурый молодой человек с усиками и в синей пальто-куртке, которую носят моряки, сидел у камина, à l'américaine[1190], хитро утвердивши ноги в уровень с ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинциальный акцент, делавший для меня его речь непонятной, убедили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующий на берегу мичман, и я перестал им заниматься, — говорил он не со мной, а с слугой. Знакомство окончилось было тем, что я ему подвинул соль, а он за то тряхнул головой.

Вскоре к нему присоединился пожилых лет черноватенький господин, весь в черном и весь до невозможности застегнутый, с тем особенным видом помешательства, которое дает людям близкое знакомство с небом и натянутая религиозная экзальтация, делающаяся натуральной

[1190] Сноски: 1190
по-американски (*фр.*).

от долгого употребления.

Казалось, что он хорошо знал мичмана и пришел, чтоб с ним повидаться. После трех-четырех слов он перестал *говорить* и начал *проповедовать*. «Видел я, — говорил он, — Маккавея, Гедеона… орудие в руках Промысла, его меч, его пращ… и чем более я смотрел на него, тем сильнее был тронут и со слезами твердил: меч Господень! меч Господень! Слабого Давида избрал он побить Голиафа. Оттого-то народ английский, народ избранный, идет ему на сретение, как к невесте ливанской… Сердце народа в руках Божиих; оно сказало ему, что это меч Господень, орудие Промысла, Гедеон!»

…Отворились настежь двери, и вошла не невеста ливанская, а разом человек десять важных бриттов, и в их числе лорд Шефсбюри, Линдзей. Все они уселись за стол и потребовали что-нибудь перекусить объявляя, что сейчас едут в Brook House. Это была официальная депутация от Лондона с приглашением к Гарибальди. Проповедник умолк; но мичман поднялся в моих глазах: он с таким недвусмысленным чувством отвращения смотрел на взошедшую депутацию, что мне пришло в голову, вспоминая проповедь его приятеля, что он принимает этих людей если

не за мечи и кортики Сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросил его, как следует надписать письмо в Brook House: достаточно ли назвать дом, или надобно прибавить ближний город. Он сказал, что не нужно ничего прибавлять.

Один из депутации, седой, толстый старик, спросил меня, к кому я посылаю письмо в Brook House?

— К Гверцони.

— Он, кажется, секретарем при Гарибальди?

— Да.

— Чего же вам хлопотать? Мы сейчас едем, я охотно свезу письмо.

Я вынул мою карточку и отдал ее с письмом. Может ли что-нибудь подобное случиться на континенте? Представьте себе, если б во Франции кто-нибудь спросил бы вас в гостинице, к кому вы пишете, и, узнавши, что это к секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано, и я на другой день имел ответ в Лондоне.

Редактор иностранной части «Morning Star'a» узнал меня. Начались вопросы о том, как я нашел Гарибальди, о его здоровье. Поговоривши несколько минут с ним, я ушел в smoking-

room[1191]. Там сидели за пель-элем[1192] и трубками мой белокурый моряк и его черномазый теолог.

— Что, — сказал он мне, — нагляделись вы на эти лица?.. А ведь это неподражаемо хорошо: лорд Шефсбюри, Линдзей едут депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедия! Знают ли они, кто такое Гарибальди?

— Орудие Промысла, меч в руках Господних, его пращ… потому-то он и вознес его и оставил его в святой простоте его…

— Это все очень хорошо, да зачем едут эти господа? Спросил бы я кой у кого из них, сколько у них денег в Алабаме?.. Дайте-ка Гарибальди приехать в Ньюкастль-он-Тейн да в Глазгов, — там он увидит народ поближе, там ему не будут мешать лорды и дюки.

Это был не мичман, а корабельный постройщик. Он долго жил в Америке, знал хорошо дела Юга и Севера, говорил о безвыходности тамошней войны, на что утешительный теолог заметил:

— Если Господь раздвоил народ этот и напра-

[1191] Сноски: 1191
курительную комнату (*англ.*).

[1192] Сноски: 1192
Здесь: за кружкой пива (*англ.* pale-ale).

вил брата на брата, он имеет свои виды, и если мы их не понимаем, то должны покоряться провидению даже тогда, когда оно карает.

Вот где и в какой форме мне пришлось слышать в последний раз комментарий на знаменитый гегелевский мотто[1193]: «Все, что действительно, то разумно».

Дружески пожав руку моряку и его каплану, я отправился в Соутамтон.

На пароходе я встретил радикального публициста Голиока; он виделся с Гарибальди позже меня; Гарибальди через него приглашал Маццини; он ему уже телеграфировал, чтоб он ехал в Соутамтон, где Голиок намерен был его ждать с Менотти Гарибальди и его братом. Голиоку очень хотелось доставить еще в тот же вечер два письма в Лондон (по почте они прийти не могли до утра). Я предложил мои услуги.

В 11 часов вечера приехал я в Лондон, заказал в York Hôtel'e, возле Ватерлооской станции, комнату и поехал с письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успел перестать. В час или в начале второго приехал я в гостиницу — заперто. Я стучался, стучался… Какой-то пьяный, оканчи-

---

[1193] Сноски: 1193
изречение (*um*. motto).

вавший свой вечер возле решетки кабака, сказал: «Не тут стучите, в переулке есть night-bell»[1194]. Пошел я искать night-bell, нашел и стал звонить. Не отворяя дверей, из какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая, чего мне?

— Комнаты.

— Ни одной нет.

— Я в 11 часов сам заказал.

— Говорят, что нет ни одной! — и он захлопнул дверь преисподней, не дождавшись даже, чтоб я его обругал, что я и сделал платонически, потому что он слышать не мог.

Дело было неприятное: найти в Лондоне в два часа ночи комнату, особенно в такой части города, не легко. Я вспомнил об небольшом французском ресторане и отправился туда.

— Есть комната? — спросил я хозяина.

— Есть, да не очень хороша.

— Показывайте.

Действительно, он сказал правду: комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было; я отворил окно и сошел на минуту в залу. Там все еще пили, кричали, играли

[1194] Сноски: 1194
ночной звонок (*англ.*).

в карты и домино какие-то французы. Немец колоссального роста, которого я видал, подошел ко мне и спросил, имею ли я время с ним поговорить наедине, что ему нужно мне сообщить что-то особенно важное.

— Разумеется, имею; пойдемте в другую залу, там никого нет.

Немец сел против меня и трагически начал мне рассказывать, как его патрон-француз надул, как он три года эксплуатировал его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что он его примет в товарищи, и вдруг, не говоря худого слова, уехал в Париж и там нашел товарища. В силу этого немец сказал ему, что он оставляет место, а патрон не возвращается…

— Да зачем же вы верили ему без всякого условия?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin[1195].

— Ну, это другое дело.

— Я хочу запечатать заведение и уйти.

— Смотрите, он вам сделает процесс; знаете ли вы здешние законы?

Немец покачал головой.

— Хотелось бы мне насолить ему… А вы, верно,

[1195] Сноски: 1195
Потому что я глупый немец (*нем.*).

были у Гарибальди?

— Был.

— Ну, что он? Ein famoser Kerl!..[1196] Да ведь если б он мне не обещал целые три года, я бы иначе вел дела... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется, ничего.

— Эдакая бестия, все скрыл и в последний день говорит: у меня уж есть товарищ-associé... Я вам, кажется, надоел?

— Совсем нет, только я немного устал, хочу спать: я встал в 6 часов, а теперь два с хвостиком.

— Да что же мне делать? Я ужасно обрадовался, когда вы взошли, ich habe so bei mir gedacht, der wird Rat schaffen[1197]. Так не запечатывать заведения?

— Нет. А так как ему полюбилось в Париже, так вы ему завтра же напишете: «Заведение запечатано, когда вам угодно принимать его?» Вы увидите эффект; он бросит жену и игру на бирже, прискачет сюда и... и увидит, что заведение не заперто.

[1196] Сноски: 1196
Великолепный малый! (*нем.*)

[1197] Сноски: 1197
я подумал про себя: этот что-нибудь посоветует (*нем.*).

— Sapperlot! das ist eine Idee — ausgezeichnet[1198]; я пойду писать письмо.

— А я — спать. Gute Nacht[1199].

— Schlafen sie wohl[1200].

Я спрашиваю свечку. Хозяин подает ее собственноручно и объясняет, что ему нужно переговорить со мной. Словно я сделался духовником.

— Что вам надобно? Оно немного поздно, но я готов.

— Несколько слов. Я вас хотел спросить, как вы думаете, если я завтра выставлю бюст Гарибальди, знаете, с цветами, с лавровым венком, ведь это будет очень хорошо? Я уж и о надписи думал… трехцветными буквами «Garibaldi — libérateur!»[1201]

— Отчего же, можно! Только французское посольство запретит ходить в ваш ресторан французам, а они у вас с утра до ночи.

— Оно так… Но, знаете, сколько денег заши-

[1198] Сноски: 1198
Черт возьми! Вот это идея — прямо великолепно (*нем.*).

[1199] Сноски: 1199
Доброй ночи (*нем.*).

[1200] Сноски: 1200
Спите спокойно (*нем.*).

[1201] Сноски: 1201
«Гарибальди-освободитель!» (*фр.*)

бешь, выставивши бюст… а потом забудут…

— Смотрите, — заметил я, решительно вставая, чтоб идти, — не говорите никому: у вас украдут эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я надеюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомневайтесь, — и я отправился в нечистую спальню его.

Сим оканчивается мое первое свиданье с Гарибальди в 1864 году.

II. В Стаффорд гаузе

В день приезда Гарибальди в Лондон я его не видал, а видел море народа, реки народа, запруженные им улицы в несколько верст, наводненные площади; везде, где был карниз, балкон, окно, выступили люди, и все это ждало в иных местах *шесть часов*… Гарибальди приехал в половине третьего на станцию Нейн-Эльмс и только в половине девятого подъехал к Стаффорд гаузу, у подъезда которого ждал его дюк Сутерланд с женой.

Английская толпа груба, многочисленные сборища ее не обходятся без драк, без пьяных,

без всякого рода отвратительных сцен и, главное, без организованного на огромную скалу воровства. На этот раз порядок был удивительный; народ понял, что это *его* праздник, что он чествует одного из *своих*, что он больше, чем свидетель. И посмотрите в полицейском отделе газет, сколько было покраж в день въезда невесты Вельского и сколько[1202] при проезде Гарибальди, а полиции было несравненно меньше. Куда же делись пикпокеты?[1203]

У Вестминстерского моста, близ парламента, народ так плотно сжался, что коляска, ехавшая шагом, остановилась и процессия, тянувшаяся на версту, ушла вперед с своими знаменами, музыкой и пр. С криками *ура* народ облепил коляску; все, что могло продраться, жало руку, целовало края плаща Гарибальди, кричало: «Welcome!»[1204] С каким-то упоеньем любуясь на великого плебея, народ хотел отложить лошадей и везти на себе, но его уговорили. Дюков и лордов, окружавших его, никто не замечал —

[1202] Сноски: 1202
Я помню один процесс кражи часов и две-три драки с ирландцами.

[1203] Сноски: 1203
карманные воришки (*англ.* pickpocket).

[1204] Сноски: 1204
«Добро пожаловать!» (*англ.*)

они сошли на скромное место гайдуков и официантов. Эта овация продолжалась около часа; одна народная волна передавала гостя другой, причем коляска двигалась несколько шагов и снова останавливалась.

Злоба и остервенение континентальных консерваторов совершенно понятны. Прием Гарибальди не только обиден для табели о рангах, для ливреи, но он чрезвычайно опасен как пример. Зато бешенство листов, состоящих на службе трех императоров и одного «imperial»[1205] -торизма, вышло из всех границ, начиная с границ учтивости. У них помутилось в глазах, зашумело в ушах… Англия дворцов, Англия сундуков, забыв всякое приличие, идет вместе с Англией мастерских на сретение какого-то «aventurier»[1206] — мятежника, который был бы повешен, если б ему не удалось освободить Сицилии. «Отчего, — говорит опростоволосившаяся «La France», — отчего Лондон никогда так не встречал маршала Пелисье, которого слава так чиста?», и даже несмотря на то, забыла она прибавить, что он выжигал сотнями арабов с детьми и женами так, как у нас

[1205] Сноски: 1205
«императорского» (*фр.*).

[1206] Сноски: 1206
«авантюриста» (*фр.*)

выжигают тараканов.

Жаль, что Гарибальди принял гостеприимство дюка Сутерландского. Неважное значение и политическая стертость «пожарного» дюка до некоторой степени делали Стаффорд гауз гостиницей Гарибальди… Но все же обстановка не шла, и интрига, затеянная *до въезда* его в Лондон, расцвела удобно на дворцовом грунте. Цель ее состояла в том, чтоб удалить Гарибальди от народа, т. е. от работников, и отрезать его от тех из друзей и знакомых, которые остались верными прежнему знамени, и, разумеется, пуще всего от Мацини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этих ширм, но другая половина осталась — именно невозможность говорить с ним без свидетелей. Если б Гарибальди не вставал в 5 часов утра и не принимал в 6, она удалась бы совсем: по счастию, усердие интриги раньше половины девятого не шло; только в день его отъезда дамы начали вторжение в его спальню часом раньше. Раз как-то Мордини, не успев сказать ни слова с Гарибальди в продолжение часа, смеясь, заметил мне:

— В мире нет человека, которого бы было легче видеть, как Гарибальди, но зато нет человека, с которым бы было труднее говорить.

Гостеприимство дюка было далеко лишено того широкого характера, которое некогда мирило с аристократической роскошью. Он дал только комнату для Гарибальди и для молодого человека, который перевязывал его ногу, а другим, т. е. сыновьям Гарибальди, Гверцони и Базилио, хотел нанять комнаты. Они, разумеется, отказались и поместились на свой счет в Bath Hôtel. Чтоб оценить эту странность, надо знать, что такое Стаффорд гауз: в нем можно поместить, не стесняя хозяев, все семьи крестьян, пущенных по миру отцом дюка, — а их очень много.

Англичане — дурные актеры, и это им делает величайшую честь. В первый раз как я был у Гарибальди в Стаффорд гаузе, придворная интрига около него бросилась мне в глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали беспрерывно. Какой-то итальянец сделался полицмейстером, церемониймейстером, экзекутором, дворецким, бутафором, суфлером. Да и как не сделаться за честь заседать с дюками и лордами, вместе с ними предпринимать меры для предупреждения и пресечения всех сближений между народом и Гарибальди, и вместе с дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянского вождя и которую хромой

генерал рвал ежедневно, не замечая ее.

Гарибальди, например, едет к Маццини. Что делать? Как скрыть? Сейчас на сцену бутафоры, фактотумы — средство найдено. На другое утро весь Лондон читает: «Вчера, в таком-то часу, Гарибальди посетил в Онсло-террас *Джон Френса».* Вы думаете, что это вымышленное имя? Нет, это имя хозяина, содержащего квартиру.

Гарибальди не думал отрекаться от Маццини, но он мог уехать из этого водоворота, не встречаясь с ним при людях и не заявив этого публично. Маццини отказался от посещений к Гарибальди, пока он будет в Стаффорд гаузе. Они могли бы легко встретиться при небольшом числе, но никто не брал инициативы. Подумав об этом, я написал к Маццини записку и спросил его, примет ли Гарибальди приглашение в такую даль, как Теддингтон; если нет, то я его не буду звать, тем дело и кончится, если же поедет, то я очень желал бы их обоих пригласить. Маццини написал мне на другой день, что Гарибальди очень рад и что если ему ничего не помешает, то они приедут в воскресение, в час. Маццини в заключение прибавил, что Гарибальди очень бы желал видеть у меня Ледрю-Роллена.

В субботу утром я поехал к Гарибальди и,

не застав его дома, остался с Саффи, Гверцони и другими его ждать. Когда он возвратился, толпа посетителей, дожидавшихся в сенях и коридоре, бросилась на него; один храбрый бритт вырвал у него палку, всунул ему в руку другую и с каким-то азартом повторял:

— Генерал, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше.

— Да зачем же? — спросил Гарибальди, улыбаясь, — я к моей палке привык.

Но видя, что англичанин без боя палки не отдаст, пожал слегка плечами и пошел дальше.

В зале, за мною, шел крупный разговор. Я не обратил бы на него никакого вниманья, если б не услышал громко повторенные слова:

— Capite[1207], Теддингтон в двух шагах от Гамптон Корта. Помилуйте, да это невозможно, материально невозможно… в двух шагах от Гамптон Корта, это 16–18 миль.

Я обернулся и, видя совершенно мне незнакомого человека, принимавшего так к сердцу расстояние от Лондона до Теддингтона, я ему сказал:

— Двенадцать или тринадцать миль.

[1207] Сноски: 1207
Поймите (*ит.*).

Споривший тотчас обратился ко мне:

— И тринадцать милей — страшное дело. Генерал должен быть в три часа в Лондоне… Во всяком случае Теддингтон надо отложить.

Гверцони повторял ему, что Гарибальди хочет ехать и поедет.

К итальянскому опекуну прибавился англичанин, находивший, что принять приглашение в такую даль сделает гибельный антецедент… Желая им напомнить неделикатность дебатировать этот вопрос при мне, я заметил им:

— Господа, позвольте мне покончить ваш спор, — и тут же, подойдя к Гарибальди, сказал ему: — Мне ваше посещение бесконечно дорого, и теперь больше, чем когда-нибудь; в эту черную полосу для России ваше посещение будет иметь особое значение: вы посетите не одного меня, но друзей наших, заточенных в тюрьмы, сосланных на каторгу. Зная, как вы заняты, я боялся вас звать. По одному слову общего друга, вы велели мне передать, что приедете. Это вдвое дороже для меня. Я верю, что вы хотите приехать, но я не настаиваю (je n'insiste pas), если это сопряжено с такими непреоборимыми препятствиями, как говорит этот господин, которого я не знаю. — Я указал его пальцем.

— В чем же препятствия? — спросил Гарибальди.

Impressario подбежал и скороговоркой представил ему все резоны, что ехать завтра в 11 часов в Теддингтон и приехать к трем невозможно.

— Это очень просто, — сказал Гарибальди, — значит, надо ехать не в 11, а в 10; кажется, ясно?

Импрезарио исчез.

— В таком случае, чтоб не было ни потери времени, ни искания, ни новых затруднений, — сказал я, — позвольте мне приехать к вам в десятом часу и поедемте вместе.

— Очень рад, я вас буду ждать.

От Гарибальди я отправился к Ледрю-Роллену. В последние два года я его не видал. Не потому, чтоб между нами были какие-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общего. К тому же лондонская жизнь, и в особенности в его предместьях, разводит людей как-то незаметно. Он держал себя в последнее время одиноко и тихо, хотя и верил с тем же ожесточением, с которым верил 14 июня 1849, в близкую революцию во Франции. Я не верил в нее почти так же долго и тоже оставался при моем неверии.

Ледрю-Роллен, с большой вежливостию ко мне, отказался от приглашения. Он говорил, что

душевно был бы рад опять встретиться с Гарибальди и, разумеется, готов бы был ехать ко мне, но что он, как представитель французской республики, как пострадавший за Рим (13 июня 1849 года), не может Гарибальди видеть в первый раз иначе, как у себя.

— Если, — говорил он, — политические виды Гарибальди не дозволяют ему официально показать свою симпатию французской республике в моем ли лице, в лице Луи Блана или кого-нибудь из нас, все равно я не буду сетовать. Но отклоню свиданье с ним, где бы оно ни было. Как частный человек, я желаю его видеть, но мне нет особенного дела до него; французская республика — не куртизана, чтоб ей назначать свиданье полутайком. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете к себе, и скажите откровенно, согласны вы с моим рассуждением или нет?

— Я полагаю, что вы правы, и надеюсь, что вы не имеете ничего против того, чтоб я передал наш разговор Гарибальди?

— Совсем напротив.

Затем разговор переменился. Февральская революция и 1848 год вышли из могилы и снова стали передо мной в том же образе тогдашнего трибуна, с несколькими морщинами и сединами

больше. Тот же слог, те же мысли, те же обороты, а главное — та же надежда.

— Дела идут превосходно. Империя не знает, что делать. Elle est débordée[1208]. Сегодня еще я имел вести: невероятный успех в общественном мнении. Да и довольно; кто мог думать, что такая нелепость продержится до 1864.

Я не противоречил, и мы расстались довольные друг другом.

На другой день, приехавши в Лондон, я начал с того, что взял карету с парой сильных лошадей и отправился в Стаффорд гауз.

Когда я взошел в комнату Гарибальди, его в ней не было. А ярый итальянец уже с отчаянием проповедовал о совершенной невозможности ехать в Теддингтон.

— Неужели вы думаете, — говорил он Гверцони, — что лошади дюка вынесут 12 или 13 миль взад и вперед? Да их просто не дадут на такую поездку.

— Их не нужно, у меня есть карета.

— Да какие же лошади повезут назад, всё те же?

— Не заботьтесь: если лошади устанут, впрягут

[1208] Сноски: 1208
Ее захлестнуло (*фр.*).

других.

Гверцони с бешенством сказал мне:

— Когда это кончится эта каторга! Всякая дрянь распоряжается, интригует.

— Да вы не обо мне ли говорите? — кричал бледный от злобы итальянец. — Я, милостивый государь, не позволю с собой обращаться, как с каким-нибудь лакеем! — и он схватил на столе карандаш, сломал его и бросил. — Да если так, я все брошу, я сейчас уйду!

— Об этом-то вас просят.

Ярый итальянец направился быстрым шагом к двери, но в дверях показался Гарибальди. Покойно посмотрел он на них, на меня и потом сказал:

— Не пора ли? Я в ваших распоряжениях, только доставьте меня, пожалуйста, в Лондон к 2½ или 3 часам, а теперь позвольте мне принять старого друга, который только что приехал; да вы, может, его знаете — Мордини.

— Больше чем знаю, мы с ним приятели. Если вы не имеете ничего против, я его приглашу.

— Возьмем его с собой.

Взошел Мордини; я отошел с Саффи к окну. Вдруг фактотум, изменивший свое намерение, подбежал ко мне и храбро спросил меня:

— Позвольте, я ничего не понимаю. У вас карета, а едете, — вы сосчитайте: генерал, вы, Менотти, Гверцони, Саффи и Мордини… Где вы сядете?

— Если нужно, будет еще карета, две…

— А время-то их достать…

Я посмотрел на него и, обращаясь к Мордини, сказал ему:

— Мордини, я к вам и к Саффи с просьбой: возьмите энзам[1209] и поезжайте сейчас на Ватерлооскую станцию, вы застанете train, а то вот этот господин заботится, что нам негде сесть и нет времени послать за другой каретой. Если б я вчера знал, что будут такие затруднения, я пригласил бы Гарибальди ехать по железной дороге; теперь это потому нельзя, что я не отвечаю, найдем ли мы карету или коляску у теддингтонской станции. А пешком идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы едем сейчас, — отвечали Саффи и Мордини.

— Поедемте и мы, — сказал Гарибальди, вставая.

Мы вышли; толпа уже густо покрывала место

[1209] Сноски: 1209
пролётку (*англ.* hansom).

перед Стаффорд гаузом. Громкое, продолжительное *ура* встретило и проводило нашу карету.

Менотти не мог ехать с нами: он с братом отправлялся в Виндзор. Говорят, что королева, которой хотелось видеть Гарибальди, но которая одна во всей Великобритании не имела на то права, желала *нечаянно* встретиться с его сыновьями. В этом дележе львиная часть досталась не королеве…

III. У нас

День этот удался необыкновенно и был одним из самых светлых, безоблачных и прекрасных дней последних пятнадцати лет. В нем была удивительная ясность и полнота, в нем была эстетическая мера и законченность, очень редко случающиеся. *Одним* днем позже — и праздник наш не имел бы того характера. Одним неитальянцем больше — и тон был бы другой, по крайней мере была бы боязнь, что он исказится. Такие дни представляют вершины… Дальше, выше, в сторону — ничего, как в пропетых звуках, как в распустившихся цветах.

С той минуты, как исчез подъезд Стаффорд гауза с фактотумами, лакеями и швейцаром су-

терландского дюка и толпа приняла Гарибальди своим *ура,* на душе стало легко, все настроилось на свободный человеческий диапазон, и так осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова теснимый, сжимаемый народом, целуемый в плечо и в полы, сел в карету и уехал в Лондон.

На дороге говорили об разных разностях. Гарибальди дивился, что немцы не понимают, что в Дании побеждает не их свобода, не их единство, а две армии двух деспотических государств, с которыми они после не сладят[1210].

— Если б Дания была поддержана в ее борьбе, — говорил он, — силы Австрии и Пруссии были бы отвлечены, нам открылась бы линия действий на противоположном береге.

Я заметил ему, что немцы страшные националисты, что на них наклепали космополитизм, потому что их знали по книгам. Они патриоты не меньше французов, но французы спокойнее, зная, что их боятся. Немцы знают невыгодное мнение о себе других народов и выходят из себя, чтоб поддержать свою репутацию.

— Неужели вы думаете, — прибавил я, — что есть немцы, которые хотят отдать Венецию

[1210] Сноски: 1210

Не странно ли, что Гарибальди в оценке своей шлезвиг-гольштинского вопроса встретился с К. Фогтом?

и квадрилатер? Может, еще Венецию, — вопрос этот слишком на виду, неправда этого дела очевидна, аристократическое имя действует на них, а вы поговорите о Триесте, который им нужен для торговли, и о Галиции или Познани, которые им нужны для того, чтоб их *цивилизовать.*

Между прочим я передал Гарибальди наш разговор с Ледрю-Ролленом и прибавил, что, по моему мнению, Ледрю-Роллен прав.

— Без сомнения, — сказал Гарибальди, — совершенно прав. Я не подумал об этом. Завтра поеду к нему и к Луи Блану. Да нельзя ли заехать теперь? — прибавил он.

Мы были на Вондсвортском шоссе, а Ледрю-Роллен живет в Сен Джонс Вуд-парке, т. е. за восемь миль. Пришлось и мне à l'impressario[1211] сказать, что это материально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчал, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминал. Он глядел вдаль, словно искал чего-то на горизонте. Я не прерывал его, а смотрел и думал: «Меч ли он в руках провидения» или нет, но наверное не полководец по ремеслу, не *генерал.* Он сказал

[1211] Сноски: 1211
на манер импрессарио (*фр.*).

святую истину, говоря, что он не солдат, а просто человек, вооружившийся, чтоб защитить поруганный очаг свой. Апостол-воин, готовый проповедовать крестовый поход и идти во главе его, готовый отдать за свой народ свою душу, своих детей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, рассеять его прах… и, позабывши потом победу, бросить окровавленный меч свой вместе с ножнами в глубину морскую…

Все это, и *именно это,* поняли народы, поняли массы, поняла чернь — тем ясновидением, тем откровением, которым некогда римские рабы поняли непонятную тайну пришествия Христова и толпы страждущих и обремененных, женщин и старцев молились кресту казненного. Понять — значит для них уверовать, уверовать — значит чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейский Теддингтон и толпился у решетки нашего дома, с утра поджидая Гарибальди. Когда мы подъехали, толпа в каком-то исступлении бросилась его приветствовать, жала ему руки, кричала: «God bless you, Garibaldi!»[1212]; женщины хватали руку его и целовали, целовали край его плаща — я это видел

[1212] Сноски: 1212

«Господь да благословит вас, Гарибальди!» (*англ.*)

своими глазами, — подымали детей своих к нему, плакали… Он, как в своей семье, улыбаясь, жал им руки, кланялся и едва мог пройти до сеней. Когда он взошел, крик удвоился; Гарибальди вышел опять и, положа обе руки на грудь, кланялся во все стороны. Народ затих, но остался и простоял все время, пока Гарибальди уехал.

Трудно людям, не видавшим ничего подобного, — людям, выросшим в канцеляриях, казармах и передней, понять подобные явления: «флибустьер», сын моряка из Ниццы, матрос, *повстанец…* и этот царский прием! Что он сделал для английского народа?.. И добрые люди ищут, ищут в голове объяснения, ищут тайную пружину: «В Англии удивительно с каким плутовством умеет *начальство* устроивать демонстрации… Нас не проведешь — wir wissen, was wir wissen[1213] — мы сами Гнейста читали!»

— Чего доброго, может, и лодочник в Неаполе, который рассказывал[1214], что медальон Гарибальди и медальон Богородицы предохраняют во время бури, был подкуплен партией Сиккарди и министерством Веносты!

[1213] Сноски: 1213
мы знаем, что знаем (*нем.*).

[1214] Сноски: 1214
«Колокол», № 177 (1864).

Хотя оно и сомнительно, чтоб журнальные Видоки, особенно наши москворецкие, так уж ясно могли отгадывать игру таких мастеров, как Палмерстон, Гладстон и К°, но все же иной раз они ее скорее поймут, по сочувствию крошечного паука с огромным тарантулом, чем секрет гарибальдиевского приема. И это превосходно для них, — пойми они *эту тайну*, им придется повеситься на ближней осине. Клопы на том только основании и могут жить счастливо, что они не догадываются о своем запахе. Горе клопу, у которого раскроется *человеческое* обоняние…

…Маццини приехал тотчас после Гарибальди, мы все вышли его встречать к воротам. Народ, услышав, кто это, громко приветствовал; народ вообще ничего не имеет против него. Старушечий страх перед конспиратором, агитатором начинается с лавочников, мелких собственников и проч.

Несколько слов, которые сказали Маццини и Гарибальди, известны читателям «Колокола», мы не считаем нужным их повторять.

…Все были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини, тем искренним голосом, которым они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало в них, той торжественностью,

которую они приобретали от ряда предшествовавших событий, что никто не отвечал, один Маццини протянул руку и два раза повторил: «Это слишком». Я не видал ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида recueilli[1215] и не было бы взволновано сознанием, что тут пали великие слова, что эта минута вносилась в историю.

…Я подошел к Гарибальди с бокалом, когда он говорил о России, и сказал, что его тост дойдет до друзей наших в казематах и рудниках, что я благодарю его за них.

Мы перешли в другую комнату. В коридоре понабрались разные лица; вдруг продирается старик-итальянец, стародавний эмигрант, бедняк, делавший мороженое; он схватил Гарибальди за полу, остановил его и, заливаясь слезами, сказал:

— Ну, теперь я могу умереть; я его видел, я его видел!

Гарибальди обнял и поцеловал старика. Тогда старик, перебиваясь и путаясь, с страшной быстротой народного итальянского языка, начал рассказывать Гарибальди свои похождения

[1215] Сноски: 1215
сосредоточенного (*фр.*).

и заключил свою речь удивительным цветком южного красноречия:

— Я теперь умру покойно, а вы — да благословит вас Бог — живите долго, живите для нашей родины, живите для нас, живите, пока я воскресну из мертвых!

Он схватил его руку, покрыл ее поцелуями и, рыдая, ушел вон.

Как ни привык Гарибальди ко всему этому, но, явным образом взволнованный, он сел на небольшой диван, дамы окружили его, я стал возле дивана — и на него налетело облако тяжелых дум; но на этот раз он не вытерпел и сказал:

— Мне иногда бывает страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову… слишком много хорошего. Я помню, когда изгнанником я возвращался из Америки в Ниццу, когда я опять увидал родительский дом, нашел свою семью, родных, знакомые места, знакомых людей, я был удручен счастием… Вы знаете, — прибавил он, обращаясь ко мне, — что и что было потом, какой ряд бедствий. Прием народа английского превзошел мои ожидания… Что же дальше? Что впереди?

Я не имел ни одного слова успокоения, я внутренно дрожал перед вопросом: *что дальше, что впереди?*

…Пора было ехать. Гарибальди встал, крепко обнял меня, дружески простился со всеми; снова крики, снова *ура,* снова два толстых полицейских, и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу; снова «God bless you, Garibaldi, for ever»[1216]… и карета умчалась.

Все остались в каком-то поднятом, тихо торжественном настроении. Точно после праздничного богослужения, после крестин или отъезда невесты, у всех было полно на душе, все перебирали подробности и примыкали к грозному, безответному «а что дальше?».

Князь П. В. Долгорукий первый догадался взять лист бумаги и записать оба тоста. Он записал верно, другие пополнили. Мы показали Маццини и другим и составили тот текст (с легкими и несущественными переменами), который, как электрическая искра, облетел Европу, вызывая крик восторга и рев негодования…

Потом уехал Маццини, уехали гости. Мы остались одни с двумя-тремя близкими, и тихо настали сумерки.

Как искренно и глубоко жалел я, дети, что вас не было с нами в этот день: такие дни хорошо

[1216] Сноски: 1216

«Бог да благословит вас, Гарибальди, навсегда» (*англ.*).

помнить долгие годы, от них свежеет душа и примиряется с изнанкой жизни. Их очень мало…

IV. 26, Prince's Gate

«Что-то будет?»… Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Как в старых эпопеях, в то время как герой спокойно отдыхает на лаврах, пирует или спит, Раздор, Месть, Зависть в своем парадном костюме съезжаются в каких-нибудь тучах; Месть с Завистью варят яд, куют кинжалы, а Раздор раздувает меха и оттачивает острия. Так случилось и теперь, в приличном переложении на наши мирно-кроткие нравы. В наш век все это делается просто людьми, а не аллегориями; они собираются в светлых залах, а не во «тьме ночной», без растрепанных фурий, а с пудреными лакеями; декорации и ужасы классических поэм и детских пантомим заменены простой мирной *игрой* — в крапленые карты, колдовство — обыденными коммерческими проделками, в которых *честный* лавочник клянется, продавая какую-то смородинную ваксу с водкой, что это «порт»[1217] и притом

[1217] Сноски: 1217
портвейн (*англ.* port).

«олдпорт»[1218], зная, что ему никто не верит, но и процесса не сделает, а если сделает, то сам же и будет в дураках.

В то самое время, как Гарибальди называл Маццини своим «другом и учителем», называл его тем ранним, бдящим сеятелем, который одиноко стоял на поле, когда все спало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указал его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, из которого вышел вождь народа итальянского; в то время как, окруженный друзьями, он смотрел на плакавшего бедняка-изгнанника, повторявшего свое «ныне отпущаеши», и сам чуть не плакал; в то время, когда он поверял нам свой тайный ужас перед будущим, — какие-то *заговорщики* решили отделаться во что б ни стало от неловкого гостя и, несмотря на то что в *заговоре* участвовали люди, состарившиеся в дипломациях и интригах, поседевшие и падшие на ноги в каверзах и лицемерии, они сыграли свою игру вовсе не хуже честного лавочника, продающего на свое *честное* слово смородинную ваксу за old port.

Английское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди; это все вздор,

---

[1218] Сноски: 1218
старый портвейн, «три звездочки» (*англ.* old port).

выдуманный глубокомысленными журналистами на континенте. Англичане, приглашавшие Гарибальди, не имеют ничего общего с министерством. Предположение правительственного плана так же нелепо, как тонкое замечание наших кретинов о том, что Палмерстон дал Стансфильду место в адмиралтействе *именно потому*, что он друг Маццини. Заметьте, что в самых яростных нападках на Стансфильда и Палмерстона об этом не было речи ни в парламенте, ни в английских журналах, подобная пошлость возбудила бы такой же смех, как обвинение Уркуарда, что Палмерстон берет деньги с России. Чамберс и другие спрашивали Палмерстона, не будет ли приезд Гарибальди неприятен правительству. Он отвечал то, что ему следовало отвечать: правительству не может быть неприятно, чтоб генерал Гарибальди приехал в Англию; оно с своей стороны не отклоняет его приезда и не приглашает его.

Гарибальди согласился приехать с целью снова выдвинуть в Англии итальянский вопрос, собрать настолько денег, чтоб начать поход в Адриатике и совершившимся фактом увлечь Виктора-Эммануила.

Вот и все.

Что Гарибальди будут овации, знали очень

хорошо приглашавшие его и все желавшие его приезда. Но оборота, который приняло дело в народе, они не ждали.

Английский народ при вести, что человек «красной рубашки», что *раненный итальянской пулей* едет к нему в гости, встрепенулся и взмахнул своими крыльями, отвыкнувшими от полета и потерявшими гибкость от тяжелой и беспрерывной работы. В этом взмахе была не одна радость и не одна любовь — в нем была жалоба, был ропот, был стон: в апотеозе одного было порицание другим.

Вспомните мою встречу с корабельщиком из Ньюкастля. Вспомните, что лондонские работники были первые, которые в своем адресе преднамеренно поставили имя Маццини рядом с Гарибальди.

Английская аристократия на сию минуту от своего могучего и забитого недоросля ничего не боится; сверх того, ее Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революции. Но все же ей был крайне неприятен характер, который принимало дело. Главное, что коробило народных пастырей в мирной агитации работников, — это то, что она выводила их из достодолжного строя, отвлекала их от доброй, нравственной

и притом безвыходной заботы о хлебе насущном, от пожизненного hard labour, на который не они его приговорили, а наш общий фабрикант, our Maker[1219], бог Шефсбюри, бог Дерби, бог Сутерландов и Девонширов — в неисповедимой премудрости своей и нескончаемой благости.

Настоящей английской аристократии, разумеется, и в голову не приходило изгонять Гарибальди; напротив, она хотела утянуть его в себя, закрыть его от народа золотым облаком, как закрывалась волоокая Гера, забавляясь с Зевсом. Она собиралась заласкать его, закормить, запоить его, не дать ему прийти в себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочет денег — много ли могут ему собрать осужденные благостью нашего «фабриканта», фабриканта Шефсбюри, Дерби, Девоншира, на тихую и благословенную бедность? Мы ему наброса-ем полмиллиона, миллион франков, полпари за лошадь на эпсомской скачке, мы ему купим –

Деревню, дачу, дом,
Сто тысяч чистым серебром.

Мы ему купим остальную часть Капреры, мы

[1219] Сноски: 1219
наш создатель (*англ.*).

ему купим удивительную яхту — он так любит кататься по морю; а чтоб он не бросил на вздор деньги (под вздором разумеется освобождение Италии), мы сделаем майорат, мы предоставим ему пользоваться рентой[1220].

Все эти планы приводились в исполнение с самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди — точно месяц в ненастную ночь: как облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались, выходил светлый, ясный и светил к нам вниз.

Аристократия начала несколько конфузиться. На выручку ей явились *дельцы.* Их интересы слишком скоротечны, чтоб думать о нравственных последствиях агитации, им надобно владеть минутой — кажется, один Цезарь поморщился, кажется, другой насупился — как бы этим не воспользовались тори… и то Стансфильдова история вот где сидит.

По счастью, в самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать в Тюльери. Нужда была небольшая, он тотчас возвратился.

[1220] Сноски: 1220

Как будто Гарибальди просил денег для себя. Разумеется, он отказался от приданого английской аристократии, данного на таких нелепых условиях, к крайнему огорчению полицейских журналов, рассчитавших грош в грош, сколько он увезет на Капреру.

Наполеон говорил с ним о Гарибальди и изъявил свое удовольствие, что английский народ чтит великих людей, Дрюэн де Люис говорил, т. е. он ничего не говорил, а если б он заикнулся –

Я близ Кавказа рождена.
Civis romanus sum![1221]

Австрийский посол даже и не радовался приему *умвельцунгс-генерала*[1222]. Все обстояло благополучно. А на душе-то кошки… кошки.

Не спится министерству; шепчется «первый» с вторым, «второй» — с другом Гарибальди, друг Гарибальди — с родственником Палмерстона, с лордом Шефсбюри и с еще большим его другом Сили. Сили шепчется с оператором Фергуссоном… Испугался Фергуссон, ничего не боявшийся, за ближнего и пишет письмо за письмом о болезни Гарибальди. Прочитавши их, еще больше хирурга испугался Гладстон. Кто мог думать, какая пропасть любви и сострадания лежит иной раз под портфелем министра финансов?..

…На другой день после нашего праздника поехал я в Лондон. Беру на железной дороге

[1221] Сноски: 1221
Я — римский гражданин! (*лат.*)

[1222] Сноски: 1222
генерала от переворота (*нем.* Umwälzungsgeneral).

вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болезнь генерала Гарибальди», потом весть, что он на днях едет в Капреру, *не заезжая ни в один город.* Не будучи ни так нервно чувствителен, как Шефсбюри, ни так тревожлив за здоровье друзей, как Гладстон, я нисколько не обеспокоился газетной вестью о болезни человека, которого вчера видел совершенно здоровым, — конечно, бывают болезни очень быстрые, император Павел, например, хирел недолго, — но от *апоплексического* удара Гарибальди был далек, а если б с ним что и случилось, кто-нибудь из общих друзей дал бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté.

Ехать к Гарибальди было поздно. Я отправился к Маццини и не застал его, потом к одной даме, от которой узнал главные черты министерского сострадания к болезни великого человека. Туда пришел и Маццини. Таким я его еще не видал: в его чертах, в его голосе были слезы.

Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гилле Шеном, можно знать en gros[1223], как было дело. «Заговорщики» были

[1223] Сноски: 1223
в общем (*фр.*).

им названы и обстоятельства описаны довольно верно. Шефсбюри приезжал советоваться с Сили; Сили, как деловой человек, тотчас сказал, что необходимо письмо Фергуссона; Фергуссон — слишком учтивый человек, чтоб отказать в письме. С ним-то в воскресенье вечером, 17 апреля, явились заговорщики в Стаффорд гауз и возле комнаты, где Гарибальди спокойно сидел, не зная ни того, что он так болен, ни того, что он едет, ел виноград, — сговаривались, что делать. Наконец храбрый Гладстон взял на себя трудную роль и пошел в сопровождении Шефсбюри и Сили в комнату Гарибальди. Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации — мудрено ли было заговорить Гарибальди, к тому же он речь вел на итальянском языке, и хорошо сделал, потому что вчетвером говорил без свидетелей. Гарибальди ему отвечал сначала, что он здоров; но министр финансов не мог принять случайный факт его здоровья за оправдание и доказывал по Фергуссону, что он болен, и это с документом в руке. Наконец Гарибальди, догадавшись, что нежное участие прикрывает что-то другое, спросил Гладстона, «значит ли все это, что они желают, чтоб он ехал?». Гладстон не скрыл от него, что присут-

ствие Гарибальди во многом усложняет трудное без того положение.

— В таком случае я еду.

Смягченный Гладстон испугался слишком *заметного* успеха и предложил ему ехать в два-три города и потом отправиться в Капреру.

— Выбирать между городами я не умею, — отвечал оскорбленный Гарибальди, — и даю слово, что через два дня уеду.

...В понедельник была интерпелляция в парламенте. Ветреный старичок Палмерстон в одной и быстрый пилигрим Кларендон в другой палате всё объясняли по чистой совести. Кларендон удостоверил пэров, что Наполеон вовсе не требовал высылки Гарибальди. Палмерстон, с своей стороны, вовсе не желал его удаления, он только беспокоился о его здоровье... и тут он вступил во все подробности, в которые вступает любящая жена или врач, присланный от страхового общества, — о часах сна и обеда, о последствиях раны, о диете, о волнении, о летах. Заседание парламента сделалось консультацией лекарей. Министр ссылался не на Чатама и Кембеля, а на лечебники и Фергуссона, помогавшего ему в этой трудной операции.

Законодательное собрание решило, что Гари-

бальди болен. Города и села, графства и банки управляются в Англии по собственному крайнему разумению. Правительство, ревниво отталкивающее от себя всякое подозрение в вмешательстве, дозволяющее ежедневно умирать людям с голоду, боясь ограничить самоуправление рабочих домов, позволяющее морить на работе и кретинизировать целые населения, вдруг делается больничной сиделкой, дядькой. Государственные люди бросают кормило великого корабля и шушукаются о здоровье человека, не просящего их о том, прописывают ему без его спроса Атлантический океан и сутерландскую «Ундину», министр финансов забывает баланс, income-tax, debet и credit и едет на консилиум. Министр министров докладывает этот патологический казус парламенту. Да неужели самоуправление желудком и ногами меньше свято, чем произвол богоугодных заведений, служащих введением в кладбище?

Давно ли Стансфильд пострадал за то, что, служа королеве, не счел обязанностью поссориться с Мацциии? А теперь самые *местные* министры пишут не адресы, а рецепты и хлопочут из всех сил о сохранении дней такого же революционера, как Мацциии.

Гарибальди *должен был* усомниться в желании правительства, изъявленном ему слишком горячими друзьями его, и остаться. Разве кто-нибудь мог сомневаться в истине слов первого министра, сказанных представителям Англии, — ему это советовали все друзья.

— Слова Палмерстона не могут развязать моего честного слова, — отвечал Гарибальди и велел укладываться.

— Это — Солферино!

Белинский давно заметил, что секрет успеха дипломатов состоит в том, что они с нами поступают как с дипломатами, а мы — с *дипломатами* как с людьми.

Теперь вы понимаете, *что одним днем позже* — и наш праздник и речь Гарибальди, его слова о Маццини не имели бы того значения.

...На другой день я поехал в Стаффорд гауз и узнал, что Гарибальди переехал к Сили, 26, Prince's gate, возле Кензинтонского сада. Я отправился в Prince's gate; говорить с Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали с глаз; человек двадцать гостей ходило, сидело, молчало, говорило в зале, в кабинете.

— Вы едете? — сказал я и взял его за руку.

Гарибальди пожал мою руку и отвечал печаль-

ным голосом:

— Я покоряюсь необходимостям (je me plie aux nécessités).

Он куда-то ехал; я оставил его и пошел вниз; там застал я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона; все были вне себя от отъезда Гарибальди. Взошла M-me Сили и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась с чрезвычайным красноречием к хозяйке дома, говоря о счастье познакомиться с такой personne distinguée[1224]. M-me Сили обратилась к Стансфильду, прося его перевести, в чем дело. Француженка продолжала:

— Ах, Боже мой, как я рада! Это, верно, ваш сын? Позвольте мне ему представиться.

Стансфильд разуверил француженку, не заметившую, что m-me Сили одних с ним лет, и просил ее сказать, что ей угодно. Она бросила взгляд на меня (Саффи и другие ушли) и сказала:

— Мы не одни.

Стансфильд назвал меня. Она тотчас обратилась с *речью ко* мне и просила остаться, но я предпочел ее оставить в tête-à-tête[1225] со Станс-

---

[1224] Сноски: 1224
выдающейся личностью (*фр.*).

[1225] Сноски: 1225
наедине (*фр.*).

фильдом и опять ушел наверх. Через минуту пришел Стансфильд с каким-то крюком или рванью. Муж француженки изобрел его, и она хотела одобрения Гарибальди.

Последние два дня были смутны и печальны. Гарибальди избегал говорить о своем отъезде и ничего не говорил о своем здоровье… во всех близких он встречал печальный упрек. Дурно было у него на душе, но он молчал.

Накануне отъезда, часа в два, я сидел у него, когда пришли сказать, что в приемной уже тесно. В этот день представлялись ему члены парламента с семействами и разная nobility и gentry[1226], всего, по «Теймсу», до двух тысяч человек, — это было grande levée, царский выход, да еще такой, что не только король виртембергский, но и прусский вряд натянет ли без профессоров и унтер-офицеров.

Гарибальди встал и спросил:

— Неужели пора?

Стансфильд, который случился тут, посмотрел на часы и сказал:

— Еще минут пять есть до назначенного времени.

[1226] Сноски: 1226
знать и дворянство (*англ.*).

Гарибальди вздохнул и весело сел на свое место. Но тут прибежал фактотум и стал распоряжаться, где поставить диван, в какую дверь входить, в какую выходить.

— Я уйду, — сказал я Гарибальди.

— Зачем, оставайтесь.

— Что же я буду делать?

— Могу же я, — сказал он, улыбаясь, — оставить одного знакомого, когда принимаю столько незнакомых.

Отворились двери; в дверях стал импровизированный цереможиймейстер с листом бумаги и начал громко читать какой-то адрес-календарь: The right honourable so and so — honourable — esquire — lady — esquire — lordship — miss — esquire[1227] — М. Р. — М. Р. — М. Р.[1228] без конца. При каждом имени врывались в дверь и потом покойно плыли старые и молодые кринолины, аэростаты, седые головы и головы без волос, крошечные и толстенькие старички-крепыши и какие-то худые жирафы без задних ног, которые

[1227] Сноски: 1227

Достопочтенный такой-то и такой-то… почтенный… эсквайр… леди… эсквайр… его светлость… мисс… эсквайр (*англ.*).

[1228] Сноски: 1228

Член парламента, член парламента, член парламента (*англ.* Member of Parliament).

до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что как-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы… Каждый имел три, четыре, пять дам, и это было очень хорошо, потому что они занимали место пятидесяти человек и таким образом спасали от давки. Все подходили по очереди к Гарибальди; мужчины трясли ему руку с той силой, с которой это делает человек, попавши пальцем в кипяток; иные при этом что-то говорили; большая часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрели так страстно и долго на Гарибальди, что в нынешнем году наверное в Лондоне будет урожай детей с его чертами, а так как детей и теперь уж водят в таких же красных рубашках, как у него, то дело станет только за плащом.

Откланявшиеся плыли в противуположную дверь, открывавшуюся в залу, и спускались по лестнице; более смелые не торопились, а старались побыть в комнате.

Гарибальди сначала стоял, потом садился и вставал, наконец просто сел. Нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать… кареты все подъезжали… церемониймейстер все читал памятцы.

Грянула музыка horse-guards'ов[1229], я постоял, постоял и вышел сначала в залу, а потом вместе с потоком кринолинных волн достиг до каскады и с нею очутился у дверей комнаты, где обыкновенно сидели Саффи и Мордини. В ней никого не было; на душе было смутно и гадко; что все это за фарса, эта высылка с позолотой и рядом эта комедия царского приема? Усталый, бросился я на диван; музыка играла из «Лукреции», и очень хорошо; я стал слушать. — Да, да, «Non curiamo l'incerto domani»[1230].

В окно был виден ряд карет; эти еще не подъехали; вот двинулась одна и за ней вторая, третья; опять остановка… И мне представилось, как Гарибальди, с раненой *рукой,* усталый, печальный, сидит, у него по лицу идет туча, этого никто не замечает, и всё плывут кринолины, и всё идут right honourable'и[1231], — седые, плешивые, скулы, жирафы…

…Музыка гремит, кареты подъезжают… Не знаю, как это случилось, но я заснул; кто-то

[1229] Сноски: 1229
конногвардейцев (*англ.*).

[1230] Сноски: 1230
«Мы не заботимся о неизвестном завтрашнем дне» (*ит.*).

[1231] Сноски: 1231
достопочтенные (*англ.*).

отворил дверь и разбудил меня… Музыка гремит, кареты подъезжают, конца не видать… Они в самом деле его убьют!

Я пошел домой.

На другой день, т. е. в день отъезда, я отправился к Гарибальди в семь часов утра, и нарочно для этого ночевал в Лондоне. Он был мрачен, отрывист; тут только можно было догадаться, что он привык к начальству, что он был железным вождем на поле битвы и на море.

Его поймал какой-то господин, который привел сапожника, изобретателя обуви с железным снарядом для Гарибальди. Гарибальди сел самоотверженно на кресло, сапожник в поте лица надел на него свою колодку, потом заставил его потопать и походить; все оказалось хорошо.

— Что ему надобно заплатить? — спросил Гарибальди.

— Помилуйте, — отвечал господин, — вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

— На днях это будет на вывеске, — заметил кто-то, а Гарибальди с умоляющим видом сказал молодому человеку, который ходил за ним:

— Бога ради, избавьте меня от этого снаряда, мочи нет, больно.

Это было ужасно смешно.

Затем явились аристократические дамы, менее важные толпой ожидали в зале.

Я и Огарев — мы подошли к нему,

— Прощайте, — сказал я. — Прощайте и до свиданья в Капрере.

Он обнял меня, сел, протянул нам обе руки и голосом, который так и резнул по сердцу, сказал:

— Простите меня, простите меня; у меня голова кругом идет, приезжайте в Капреру.

И он еще раз обнял нас.

Гарибальди после приема собирался ехать на свидание с дюком Вельским в Стаффорд гауз.

Мы вышли из ворот и разошлись. Огарев пошел к Маццини, я к Ротшильду. У Ротшильда в конторе еще не было никого. Я взошел в таверну св. Павла, и там не было никого… Я спросил себе ромстек и, сидя совершенно один, перебирал подробности этого «сновидения в весеннюю ночь»…

Ступай, великое дитя, великая сила, великий юродивый и великая *простота!* Ступай на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир! — Гонериль тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, она не разлюбит тебя и не умрет!

Четвертое действие кончилось…

Что-то будет в пятом?
15 мая 1864.

Часть седьмая
<Вольная русская типография и «Колокол»>
<Глава I>
Апогей и перигей
(1858–1862)
I

…Часов в десять утра я слышу снизу густой и недовольный голос:

– *Ме дит комса — колонель рюс вё вуар.*

— Monsieur ne reçoit jamais le matin et…

– *Же пар демен.*

— Et votre nom, monsieur…

— Mais *ву дире колонель рюс*[1232], — и полковник прибавил голосу.

Жюль был в великом затруднении. Я спросил сверху, подошедши к лестнице:

— Qu'est ce qu'il y a?

– *Се ву?* — спросил полковник.

[1232] Сноски: 1232

— Скажите просто: русский полковник желает видеть. — Господин никогда не принимает по утрам и… — Завтра я уезжаю. — Ваше имя, сударь? — Да вы скажите: русский полковник *(фр.).*

— Oui, c’est moi[1233].

— Велите, батюшка, пустить. Ваш слуга не пускает.

— Сделайте одолжение, взойдите.

Несколько рассерженный вид полковника прояснился, и он, вступая вместе со мной в кабинет, вдруг как-то приосанился и сказал:

— Полковник такой-то; находясь проездом в Лондоне, поставил за обязанность явиться.

Я тотчас почувствовал себя генералом и, указывая на стул, прибавил:

— Садитесь.

Полковник сел.

— Надолго здесь?

— До завтрашнего числа-с.

— И давно приехали?

— Трое суток-с.

— Что же так мало погостили?

— Видите, здесь без языка-с, оно дико, точно в лесу. Душевно желал вас лично увидеть, благодарить от себя и от многих товарищей. Публикации ваши очень полезны: и правды много, и иногда животы надорвешь.

— Чрезвычайно вам благодарен, это единствен-

[1233] Сноски: 1233

— В чем дело? — Это вы? — Да, это я *(фр.)*.

ная награда на чужбине. И много получают у вас наших изданий?

— Много-с… Да ведь сколько и лист-то каждый читают: до дыр-с, до клочий читают и зачитывают; есть охотники — даже переписывают. Соберемся так иногда читать, ну и критикуем-с… Вы, надеюсь, позволите с откровенностью военного и искренно уважающего человека?

— Сделайте одолжение, нам-то уж не приходится восставать против свободы слова.

— Мы так между собою часто говорим: польза большая в ваших обличениях; сами знаете, что́ скажешь у нас о Сухозанете, примерно, — держи язык за зубами; или вот об Адлерберге? Но, видите, вы давно оставили Россию, вы *слишком* ее забыли, и нам все кажется, что больно много напираете на крестьянский вопрос… не созрел…

— Будто?

— Ей-ей-с… Я совершенно согласен с вами; помилуйте, та же душа, образ, подобие Божие… и все это, поверьте, теперь видят многие, но торопиться нельзя, *преждевременно.*

— Вы думаете?

— Полагаю-с… Ведь наш мужик страшный лентяй… Он, пожалуй, и добрый малый, но пьяница и лентяй… Освободи его сразу — работать пере-

станет, полей не засеет, просто с голоду умрет.

— Да вам-то что же за забота? Ведь вам, полковник, никто не поручал продовольствие народа русского…

Из всех возможных и невозможных возражений полковник наименьше ждал того, которое я ему сделал.

— Оно конечно-с, с одной стороны…

— Да вы не бойтесь *с другой;* ведь не в самом деле он умрет с голоду оттого, что хлеб сеять будет не для барина, а для себя?

— Вы меня извините, я счел долгом сказать… Мне кажется, впрочем, я слишком много отнимаю у вас вашего драгоценного времени… Позвольте откланяться.

— Покорнейше благодарю за посещение.

— Помилуйте, не беспокойтесь. У *е мон каб?*[1234] Далеконько живете-с.

— Не близко.

Я хотел этой великолепной сценой начать эпоху нашего цветения и преуспеяния. Такие и подобные сцены повторялись беспрерывно; ни страшная даль, в которой я жил от Вест-Энда — в Путнее, Фуламе… ни постоянно запертые

[1234] Сноски: 1234
Где мой экипаж? (*фр.)*

двери по утрам — ничего не помогало. Мы были в моде.

Кого и кого мы ни видали тогда!.. Как многие дорого заплатили бы теперь, чтоб стереть из памяти, если не своей, то людской, свой визит… Но тогда, повторяю, *мы были в моде,* и в каком-то гиде туристов я был отмечен между достопримечательностями Путнея.

Так было от 1857 до 1863, но прежде было не так. По мере того как росла после 1848 и утверждалась реакция в Европе, а Николай свирепел не по дням, а по часам, русские начали избегать меня и побаиваться… К тому же в 1851 стало известно, что я официально отказался ехать в Россию. Путешественников тогда было очень мало. Изредка являлся кто-нибудь из старых знакомых, рассказывал страшные, уму непостижимые вещи, с ужасом говорил о возвращении и исчезал, осматриваясь, нет ли соотечественника. Когда в Ницце ко мне приехал в карете и с лон-лакеем А. И. Сабуров, я сам смотрел на это как на геройский подвиг. Проезжая тайком Францию в 1852, я в Париже встретил кой-кого из русских — это были последние. В Лондоне не было никого. Проходили недели, месяцы…

Ни звука русского, ни русского лица[1235].

Писем ко мне никто не писал. М. С. Щепкин был первый сколько-нибудь близкий человек *из дома,* с которым я увидался в Лондоне. О свидании с ним я рассказывал в другом месте[1236]. Его приезд был для меня чем-то вроде родительской субботы; мы справляли с ним поминки всему московскому, и самое настроение обоих было какое-то похоронное. Настоящим голубем ковчега с маслиной во рту был не он, а доктор В–ский.

Он был первый русский, приехавший к нам после смерти Николая в Чомле-Лодж в Ричмонде, постоянно удивляясь, что она называется так, а пишется Cholmondeley Lodge[1237]. Вести, привезенные Щепкиным, были мрачны; он сам был в печальном настроении. В–ский смеялся с утра

[1235] Сноски: 1235

Я, разумеется, не говорю о двух-трех эмигрантах.

[1236] Сноски: 1236

«Колокол» 1863 год.

[1237] Сноски: 1237

Милый В–ский попадал в удивительные просаки с английским языком. — Отсюда, — говорил он моему сыну, — судя по карте, недалек Кев? — Я не слыхивал такого места. — Помилуйте, там огромный ботанический сад и первая оранжерея в Европе. — Спросим у садовника. — Спросили, и он не знает. В–ский развернул план. — Да вот он возле самого Ришмон! — Это был *Кью.*

до вечера, показывая свои белейшие зубы; вести его были полны той надежды, того «сангвинизма», как говорят англичане, который овладел Россией после смерти Николая и сделал светлую полосу на суровом фонде петербургского императорства. Правда, он же привез плохие новости о здоровье Грановского и Огарева, но и это терялось в яркой картине проснувшегося общества, которого он сам был образчиком.

С какой жадностью слушал я его рассказы, переспрашивал, добивался подробностей… Я не знаю, знал ли он тогда или оценил ли после то безмерное добро, которое он мне сделал.

Три года лондонской жизни утомили меня. Работать, не видя близкого плода, тяжело; к тому же я слишком разобщенно стоял со всякой родственной средой. Печатая с Чернецким лист за листом и ссыпая груды отпечатанных брошюр и книг в подвалы Трюбнера, я почти не имел возможности переслать что-нибудь за русскую границу. Не продолжать я не мог: русский станок был для меня делом жизни, доской из отчего дома, которую переносили с собой древние германы; с ним я жил в русской атмосфере, с ним был готов и вооружен. Но при всем том глухо пропадавший труд утомлял, руки опускались.

Вера слабела минутами и искала знамений, и не только их не было, но не было *ни одного* слова сочувствия из дома.

С Крымской войной, с смертью Николая, настает другое время; из-за сплошного мрака выступали новые массы, новые горизонты, чуялось какое-то движение; разглядеть издали было трудно — очевидец был необходим. Он-то и явился в лице В–ского, подтвердившего, что эти горизонты — не мираж, а быль, что барка тронулась, что она на ходу. Стоило взглянуть на светлое лицо его… чтоб ему поверить. — Таких лиц вовсе не было в последнее время в России…

Удрученный непривычным для русского чувством, я вспомнил Канта, снявшего бархатную шапочку при вести о провозглашении республики 1792 года и повторившего «ныне отпущаеши» Симеона-богоприимца. Да, хорошо уснуть на заре… после длинной ненастной ночи, с полной верой, что настает чудесный день!

Так умер Грановский…

…Действительно, наставало *утро* того дня, к которому стремился я с тринадцати лет — мальчиком в камлотовой куртке, сидя с таким же «злоумышленником» (только годом моложе) в маленькой комнате «старого дома», в универ-

ситетской аудитории, — окруженный горячим братством; в тюрьме и ссылке; на чужбине, проходя разгромом революций и реакций; на верху семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу с моим печатным *монологом.* Солнце, садившееся, освещая Москву под Воробьевыми горами[1238], и уносившее с собой отроческую клятву… выходило после двадцатилетней ночи.

Какой же тут покой и сон… *За дело!* И за дело я принялся с удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала в глухом пространстве: громкие рукоплескания и горячие сочувствия неслись из России. «Полярная звезда» читалась нарасхват. Непривычное ухо русское примирялось с свободной речью, с жадностью искало ее мужественную твердость, ее бесстрашную откровенность.

Весной 1856 приехал Огарев, год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист «Колокола». Без довольно близкой периодичности нет настоящей связи между органом и средой. Книга остается, журнал исчезает, но книга остается в библиотеке, а журнал исчезает в мозгу читателя и до того

[1238] Сноски: 1238
«Былое и думы», часть I.

усвоивается им повторениями, что кажется ему его собственной мыслию. Если же читатель начнет забывать ее, новый лист журнала, никогда не боящийся повторений, подскажет и подновит ее.

Действительно, влияние «Колокола» в один год далеко переросло «Полярную звезду». «Колокол» в России был принят ответом на потребность органа, не искаженного цензурой. Горячо приветствовало нас молодое поколение; были письма, от которых слезы навертывались на глазах… Но и не одно молодое поколение поддержало нас…

«“Колокол” — власть», — говорил мне в Лондоне, horribile dictu[1239], *Катков* и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу… И прежде его повторяли то же и Т<ургенев>, и А<ксаков>, и С<амарин>, и К<авелин>, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой; сам В. П., постоянный, как подсолнечник, в своем поклонении всякой силе, умильно смотрел на «Колокол», как будто он был начинен трюфлями… Недоставало только

[1239] Сноски: 1239
страшно вымолвить *(лат.)*.

для полного торжества искреннего врага. Мы были в веме[1240], и долго ждать его не пришлось. Не прошел 1858 год, как явилось «обвинительное письмо» Ч<ичерина>. С высокомерным холодом несгибающегося доктринера, с roideur[1241] судии неумытного позвал он меня к ответу и, как Бирон, вылил мне в декабре месяце ушат холодной воды на голову. Приемы этого Сен-Жюста бюрократизма удивили меня. А теперь… через семь лет[1242] письмо Ч. мне кажется цветом учтивости после крепких слов и крепкого патриотизма *михайловского* времени. Да и общество было тогда иначе настроено; «обвинительный акт» возбудил взрыв негодования, нам пришлось унимать раздраженных друзей. Мы получали десятками письма, статьи, протесты. Самому обвинителю писали его прежние приятели поодиночке и коллективно письма, полные упреков, одно из них было подписано общими друзьями нашими (из них три четверти ближе теперь к Ч., чем к нам); он сам с античной доблестью прислал это письмо

[1240] Сноски: 1240
судилище (*старонем. Vehme*).

[1241] Сноски: 1241
непреклонностью *(фр.)*.

[1242] Сноски: 1242
Писано в 1864.

для хранения в нашей оружейной палате.

Во дворце «Колокол» получил свое гражданство еще прежде. По статьям его государь велел пересмотреть дело «стрелка Кочубея», подстрелившего своего управляющего. Императрица плакала над письмом к ней о воспитании ее детей, и говорят, что сам отважный статс-секретарь Б<утко>в в припадке заносчивой самостоятельности повторял, что он ничего не боится, «жалуйтесь государю, делайте что хотите, пожалуй, пишите себе в “Колокол” мне все равно». Какой-то офицер, обойденный в повышении, серьезно просил нас напечатать об этом с особенным внушением государю. Анекдот Щепкина с Гедеоновым передан мною в другом месте, — таких анекдотов мог бы я рассказать десяток…[1243]

…Горчаков с удивлением показывал напечатанный в «Колоколе» отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу. «Кто же, — говорил он, — мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствовавших?»

Совет обеспокоился и как-то между «Бутковым и государем» келейно потолковал, как бы унять

[1243] Сноски: 1243
Оставляются до полного издания.

«Колокол». *Бескорыстный* Муравьев советовал подкупить меня; жираф в андреевской ленте, Панин, предпочитал сманить на службу. Горчаков, игравший между этими «мертвыми душами» роль Мижуева, усомнился в моей продажности и спросил Панина:

— Какое же место вы предложите ему?

— Помощника статс-секретаря.

— Ну, в помощники статс-секретаря он не пойдет, — отвечал Горчаков, и судьбы «Колокола» были предоставлены воле Божией.

А воля Божия ясно обнаружилась в ливне писем и корреспонденции из всех частей России. Всякий писал, что попало: один — чтобы сорвать сердце, другой — чтобы себя уверить, что он опасный человек… но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей. Такие письма выкупали десятки «упражнений», так, как иное посещение платило за всех «колонель рюс».

Вообще *балласт* писем можно было разделить на письма без фактов, но с большим обилием души и красноречия, на письма с начальническим одобрением или с начальническими выговорами и, наконец, на письма с важными сообщениями из провинции.

Важные сообщения, обыкновенно писанные изящным канцелярским почерком, имели почти всегда еще более изящное предисловие, исполненное возвышенных чувств и неотразимой лести. «Вы открыли новую эру российского слова и, так сказать, мысли; вы первый с высоты лондонского амвона стали гласно клеймить людей, тиранствующих над нашим добрым народом, ибо народ наш *добрый*, вы недаром его любите. Вы не знаете, сколько сердец бьются любовью и благодарностью к вам в дальней дали нашего отечества…

От знойныя Колхиды до льдов…

…скромной Оки, Клязьмы или *такой-то* губернии. Мы на вас смотрим как на единственного защитника. Кто может, кроме вас, обличить изверга, по званию и месту стоящего выше закона, — изверга вроде нашего председателя (казенной, уголовной, удельной палаты… имя, отчество, фамилья, чин)? Человек, не получивший образованья, доползший из низменных сфер канцелярского служения до почестей, он сохранил всю грубость старинного крючкотвора, не отказываясь вовсе от благодарности, подписанной князем Хованским (как говорят у нас

старики). Грубость этого сатрапа известна во всех окольных губерниях; чиновники бегут казенной палаты, как окаянного места; он дерзок не только *с нами,* но и с столоначальниками. Жену свою он оставил и держит на содержании к общему соблазну вдову (имя, отчество, фамилья, чин покойного супруга), которую мы прозвали губернской Миной Ивановной, потому что ее руками все делается в палате. Пусть же звучный голос "Колокола" разбудит и испугает этого пашу среди оргий его, в преступных объятиях сорокалетней Иродиады. Если вы напечатаете об нем, мы готовы вам доставлять обильные сведения: у нас довольно "свиней в ермолках", как выразился бессмертный автор гениального "Ревизора".

P. S. С тем неподражаемым резцом, которым вы умеете писать ваши едкие сатиры, не забудьте черкнуть, что подполковник внутренней стражи 6 декабря, на бале у дворянского предводителя, куда приехал от градского головы подшофе, к концу ужина так нализался, что при сановитых дамах и их дочерях начал произносить слова, более свойственные торговой бане и площади, чем салону предводителя образованнейшего сословия в обществе».

Рядом с письмами, сообщавшими тайны по-

ведения председателя и председателевой жены и явное пьянство подполковника, приходили письма чисто поэтические, бескорыстные и бессмысленные. Многие из них я уничтожил и раздарил друзьям, но некоторые остались; я ими непременно поделюсь с читателями в конце этой части.

Одно из лучших было (по-видимому) от молодого офицера, в самой первой эманциповке; оно начиналось с общих мест и с слов «Милостивый государь», очень скромно и лестно… Мало-помалу пульс подымался, пошли советы, потом увещания… Жар возрастает. На четвертой странице (большого формата) дружба наша дошла до того, что незнакомец говорил мне: «Милый мой и мон шер». «Оттого, — заключал храбрый офицер, — я и пишу *тебе* так откровенно, что люблю тебя от души». Читая это письмо, я так и вижу молодого человека, садящегося, поужинавши, за письмо и за бутылку чего-нибудь очень неслабого… По мере того как бутылка пустеет, сердце наполняется, дружба растет, и с последним глотком добрый офицер меня любит и исправляет, любит и хочет меня поцеловать… Офицер, офицер, оботрите только губы, и я не буду иметь ничего против нашей быстрой дружбы

in contumaciam[1244].

Впрочем, говоря об офицерах, я должен сказать, что самые симпатичные и здоровые духом люди из посещавших нас — *офицеры.* Молодые люди из невоенных были по большей части непросты, нервны, очень поглощены делами своих литературных кружков и не выходили из них. Военные были скромнее и проще, они чувствовали за собой недостаточное воспитание кадетских корпусов и, как бы зная свою дурную репутацию, рвались вперед и старались чему-нибудь научиться. В сущности, они вовсе не были хуже приготовлены, чем другие, и, по великому закону нравственных противудействий, под гнетом деспотизма корпусов, воспитали в себе сильную любовь к независимости. В офицерском мире после Крымской войны начиналось серьезное движение; оно равно доказывается и казненными, как Сливицкий, Аргольдт… и убитыми, как Потебня, и сосланными на каторгу, как Красовский, Обручев и пр.

Конечно, многие и многие поворотили с тех пор оглобли и взошли в разум и в военный артикул, все это — дело обыкновенное.

[1244] Сноски: 1244
заочной *(лат.).*

Кстати, к ренегатам. Один молодой энтузиаст из офицеров, бывший у меня в одно время с благороднейшим и чистейшим Сераковским и двумя другими товарищами, прощаясь, вывел меня в сад и, крепко обнимая, сказал:

— Если вам занадобится когда-нибудь зачем-нибудь человек, преданный вам безусловно, вспомните обо мне…

— Сохраните себя и в своей груди те чувства, которыми вы полны, и пусть никогда вас не будет в рядах идущих против народа.

Он выпрямился. «Это невозможно!.. Но… если вы услышите когда-нибудь что-нибудь такое обо мне, не щадите меня, пишите ко мне, пишите открыто и напомните этот вечер…»

…Сераковский был уже раненый вздернут на виселицу; часть молодых людей, бывших в то же время в Лондоне, вышла в отставку, рассеялась… Одно имя встречалось мне только *своими повышениями,* — имя моего энтузиаста. Недавно он *на водах* встретил одного старого знакомого — бранил Польшу, хвалил правительство, и, видя, что разговор не вяжется, *генерал,* спохватившись, сказал:

— А вы, кажется, все еще не забыли наших глупых фантазий в Лондоне… Помните беседы

в Alpha road? Что за ребячество и что за безумие!..

Я не писал ему. Зачем?

II

...Между моряками были тоже отличные, прекрасные люди, и не только те славные юноши, о которых мне писал Ф. Капп из Нью-Йорка, но вообще между молодыми штурманами и гардемаринами веяло новой, свежей силой. Пример Трувеллера дополнит лучше всяких комментарий нашу мысль[1245].

...У меня с *морским ведомством* было замечательное столкновение. Один капитан парохода бывал у меня с своим капитан-лейтенантом

[1245] Сноски: 1245

Историю Трувеллера изложить стоит. В 1861 явился к нам молодой моряк; лет за десять перед тем я знал его мать в Ницце и помнил его мальчиком. Как его воспитывали, можно судить по тому, что лет восьми или девяти он говорил, что после Бога и отца с матерью он никого не любит больше Николая Павловича.

— За что же вы его так любите? — спрашивал я его шутя.

— Он мой законный государь...

Дух такой в воспитанье, может, развили после 1848, — прежде ничего подобного у нас не было и дети воспитывались равно без православия и самодержавия.

Жизнь излечила молодого человека. Он приехал к нам очень грустный и озабоченный. У него умер отец, и умер под судом, обвиняемый в разных злоупотреблениях по делу московской железной дороги. Он был новгородский помещик и взял какие-то подряды. Сын был уверен

в невинности отца и решился во что б ни стало восстановить доброе имя его. Все, что он пробовал в России, не удалось ему, и он явился к нам с портфелем бумаг, контрактов, сенатских записок, экстрактов. Разобрать их и составить из них записку для «Колокола» было дело не шуточное. По счастью, оказалось, что Трувеллер — товарищ по университету Кельсиева, ему-то и поручили мы ее составление.

В Трувеллере поражало что-то твердое, печальное и детское вместе. Сильно работало в его груди, буравило его; в «законного государя» он не верил больше и с глубоким негодованием говорил о скверном обращении с матросами. В самое то время у нас шла забавная переписка с частью офицеров «Великого адмирала». Командир его, помнится — Андреев, beau parleur ‹краснобай *(фр.)*›, константиновский либерал и тогда в фавёре у великого князя, тоже мучил людей и бранил офицеров, как и нелибералы. Помнится, у него был лейтенант Стофреген, который не только зверски наказывал, но защищал в теории (как впоследствии князь Витгенштейн) военное палачество.

Мы поместили как-то в «Колоколе» несколько слов об этом. Вдруг получаем из Пирея ответ от *имени большинства офицеров,* что это неправда… *от имени, но без имени.* И как писанное письмо было без подписи, оттого мы и не поместили десятой доли того, что в нем было, — помещенную же нами часть мы знали от десяти других офицеров. Поэтому мы коллективного письма не напечатали. Спустя несколько месяцев приехал Трувеллер во второй раз; я ему показал письмо офицеров, защищавших, не поднимая забрала, своего командира. Трувеллер вспыхнул — он был уверен, что это интрига, и в доказательство привел несколько фактов. Я записал их на всякий случай и прочел Трувеллеру в другое посещение. Он нахмурился… Ну, думаю я, испугался.

— Позвольте вашу записку.

— Извольте.

Он ее прочитал, взял перо и подписал.

— Что вы делаете? — спросил я.

— А то, чтоб мои показания не были также безыменны.

Уплывая из Лондона, он накупил целую кипу «Что нужно народу?», «Колокола» и других вещей. Я об этом ничего не знал, — он простился и отправился в Россию. В Портсмуте он имел неосторожность раздать экземпляры, накупленные им, матросам. Кто-то донес, и началось дело, которое сгубило его. Вот его ответы и письмо к матери.

Это была героическая натура, и он, конечно, не скажет, что мы погубили его, как нас винят многие.

и другими офицерами и даже звал на свой пароход пировать какие-то именины. Дни за два до этого пира узнал я, что на его пароходе дали какому-то матросу сто линьков за тайком выпитое вино, другого матроса они приготовлялись истязать за побег. Я написал капитану следующее письмо и послал его по почте на борт парохода:

«Милостивый государь,

вы были у меня, и я посещение ваше принял за знак сочувствия вашего к нашему труду, к нашим началам; я и теперь не перестал так думать, а потому решился с вами откровенно объясниться насчет одного обстоятельства, сильно огорчившего нас и заставившего сомневаться в том, чтоб мы понимали друг друга.

На днях, говоря с г. Тхоржевским, я узнал от него, что на пароходе, находящемся под вашим начальством, матросы сильно наказываются линьками. Причем я слышал историю несчастного моряка, хотевшего бежать и схваченного английской полицией (по гнусному закону, делающему из матроса раба).

Здесь невольно возникает вопрос — неужели закон обязывает вас к исполнению свирепых его распоряжений, и какая ответственность лежала бы на вас, если б вы не исполнили требований,

естественно противных всякому человеческому чувству? При всей дикой нелепости наших военных и морских постановлений я не помню, чтоб они под строгой ответственностью вменяли в обязанность телесно наказывать *без суда;* напротив, они стараются *ограничить* произвол начальнических наказаний, ограничивая число ударов. Остается предположить, что вы делаете эти истязания по *убеждению, что они справедливы;* но тогда подумайте, что же общего между нами, открытыми врагами всякого деспотизма, насилья и на первом плане телесных наказаний, и вами?

Если это так, как я должен объяснить ваше посещение?

Вам может показаться странным мое письмо — та нравственная сила, которую мы представляем, мало известна в России, но к ней надобно приучиться. *Гласность* будет стоять возле всех злоупотребляющих властью, и если их совесть долго не проснется, наш "Колокол" будет служить будильником.

Дайте нам право надеяться, что вы не приведете нас к жесткой необходимости повторить наш совет печатно, и примите уверение, что Огарев и я — мы душевно были бы рады снова протянуть

вам руку, но не можем этого сделать, пока она не бросит линька.

Park House, Fulham».

На это письмо капитан парохода отвечал:

М. г. Ал. Ив.,

я получил ваше письмо и сознаюсь, что оно было для меня неприятно не потому, чтоб я боялся встретить свое имя в «Колоколе», а собственно потому, что человек, которого я вполне почитаю, мог быть обо мне дурного мнения, которого я нисколько не заслуживаю.

Если б вы знали сущность дела, о котором вы так горячо пишете, то, верно, не написали бы мне столько упреков. Я объясню вам все и представлю доказательства, которым вы поверите, если назначите мне время, когда и где могу вас увидеть.

Примите и пр.

Green Drey Dock, Блакволь.

Вот мой ответ:

«М. г.,

поверьте, что мне очень больно, что я должен был писать к вам о предмете, неприятном для вас, но вспомните, что вопрос об уничтожении телесных наказаний для нас имеет чрезвычайную

важность.

Русский солдат, русский мужик только тогда вздохнут свободно и разовьются во всю ширь своей силы, когда их перестанут бить. Телесное наказание равно растлевает наказуемого и наказывающего, отнимая у одного чувство человеческого достоинства, у другого чувство человеческого сожаления. Посмотрите на результат помещичьего права и полицейски-военных экзекуций. У нас образовалась целая каста палачей, целые семьи палачей — женщины, дети, девушки розгами и палками, кулаками и башмаками бьют дворовых людей.

Великие деятели 14 декабря так поняли важность этого, что члены общества обязывались не терпеть дома телесных наказаний и вывели их в полках, которыми начальствовали. Фонвизин писал полковым командирам, под влиянием Пестеля, приказ о постепенном выводе телесных наказаний.

Зло это так вкоренилось у нас, что его последовательно не выведешь, его надобно разом уничтожить, как крепостное состояние. Надобно, чтоб люди, поставленные, как вы, отдельными начальниками, взяли благородную инициативу. Это, может, будет трудно — что же из этого?

Тем больше славы. Если б я мог надеяться, что наша переписка приведет к этому результату, я благословил бы ее, это была бы для меня одна из высших наград — моя андреевская лента.

Еще слово. Вы говорите, что могли бы показать обстоятельства дела, т. е. доказать, что наказание было справедливо. Это все равно. Мы не имеем права сомневаться в вашей справедливости. Да и что же бы было писать к вам, если б у вас матросы наказывались *несправедливо?* Телесные наказания и тогда надобно уничтожить, когда они по смыслу татарски-немецкого законодательства совершенно справедливы.

Позвольте мне быть уверенным, что вы видите всю чистоту моих намерений и почему я адресовался к вам. Мне кажется, что вы можете сделать эту перемену у вас, другие последуют, — это будет великое дело. Вы покажете пример русским, что древнеславянская кровь больше сочувствует народным страданиям, чем Петербург.

Я сказал все, что было на сердце; дайте мне надежду, что слова мои сколько-нибудь западут в душу, и примите уверение в желании всего благого».

…На праздник я не поехал. Многие находили, что я очень хорошо сделал и что, несмотря на все

доблести капитана и его лейтенанта, не надобно было класть пальца в рот. Я этому не верю и никогда не верил. После 1862, конечно, я не поставил бы ноги на палубу русского корабля, но тогда еще не наставал период Муравьево-Катковский.

Праздник не удался. Переписка наша все испортила. Говорят, что капитан не был главным виновником наказаний, а капитан-лейтенант. Поздней ночью, после попойки, он мрачно сказал: «Такая судьба: другие и не так дерут матросов, да все с рук сходит, а я в кои-то веки употребил меру построже *да тотчас и попал в беду…*»

…Так дошли мы до конца 1862 года.

В дальних горизонтах стали показываться дурные знамения и черные тучи… Да и вблизи совершилось великое несчастье, чуть ли не единственное политическое несчастье во всей нашей жизни.

III
1862

…Бьет тоже десять часов утра, и я также слышу посторонний голос, уж не воинственный, густой и строгий, а женский, раздраженный, нерв-

ный и немного со слезами: «Мне непременно, непременно нужно его видеть… Я не уйду, пока не увижу».

И затем входит молодая русская девушка или барышня, которую я прежде видел раза два.

Она останавливается передо мной, пристально смотрит мне в глаза; черты ее печальны, щеки горят; она наскоро извиняется и потом:

— Я только что воротилась из России, из Москвы; ваши друзья, люди, любящие вас, поручили мне сказать вам, спросить вас… — Она приостанавливается, голос ей изменяет.

Я ничего не понимаю.

— Неужели вы, — вы, которого мы любили так горячо, *вы?..*

— Да в чем же дело?

— Скажите, Бога ради, *да или нет,* — вы участвовали в петербургском пожаре?

— Я?

— Да, да, вы; вас обвиняют… по крайней мере говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.

— Что за безумие! И вы это можете принимать так серьезно?

— Все говорят!

— Кто это все? Какой-нибудь Николай Филип-

пович Павлов? (Мое воображение в те времена дальше не шло!)

— Нет, люди близкие вам, люди, страстно любящие вас, вы для них должны оправдаться; они страдают, они ждут…

— А вы сами верите?

– *Не знаю.* Я затем и пришла, что не знаю; я жду от вас объяснения…

— Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы вам сказал это, так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить… Лучше скажите, где, во всем писанном мною, есть что-нибудь, одно слово, которое бы могло оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтоб рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!

— Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? — заметила она, и в глазах ее было видно раздумье и сомнение. — Заклеймите печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними, или…

— Или что? Ну, полноте, — сказал я ей, улыбаясь, — играть роль Шарлотты Корде; у вас нет кинжала, и я сижу не в ванне. Вам стыдно, и на-

шим друзьям вдвое, верить такому вздору, а нам стыдно в нем оправдываться, да еще по дороге стараясь утопить и разобидеть каких-то нам совершенно незнакомых людей, которые теперь в руках тайной полиции и которые, очень может быть, столько же участвовали в пожарах, сколько и мы с вами.

— Так вы решительно не будете оправдываться?

— Нет.

— Что же я напишу туда?

— Да вот то, что мы с вами говорили.

Она вынула из кармана последний «Колокол» и прочла: «Что за огненная чаша страданий идет мимо нас? Огонь ли это безумного разрушения, кара ли, очищающая пламенем? Что довело людей до этого средства, и что эти люди? Какие тяжелые минуты для отсутствующего, когда, обращаясь туда, где вся любовь его, все, чем живет человек, он видит одно немое зарево?»

— Страшные, темные строки, ничего не говорящие против вас и *ничего за вас.* Верьте мне, оправдывайтесь — или вспомните мои слова: *друзья ваши и сторонники ваши вас оставят.*

…Так, как колонель рюс был тамбурмажором нашего успеха, так мирная Шарлотта Корде

явилась провозвестницей нашего распаденья с общественным мнением, и притом в обе стороны. В то время как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами, как с отсталыми на дороге. Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали, как суровые волны жизни сгубят уплывших далеко, и только часть причалит назад к берегам.

Клевета росла и вскоре, подхваченная печатью, разошлась по всей России. Тогда только что начинался фискальный период нашей журналистики. Я живо помню удивление людей простых, честных, вовсе не революционеров перед печатными доносами — это было совершенно ново для них. Обличительная литература круто повернула оружие и сразу перегнулась в литературу полицейских обысков и шпионских наушничаний.

В самом обществе произошел переворот. Освобождение крестьян отрезвило одних, другие просто устали от политической агитации; им захотелось прежнего покоя — сытость одолела ими перед обедом, который доставался с такими хлопотами.

Нечего сказать, коротко у нас дыхание и длинна выносливость!

Семь лет либерализма истощили весь запас радикальных стремлений. Все накопившееся и сжатое в уме с 1825 года потратилось на восторги и радости, на предвкушение будущих благ. После усеченного освобождения крестьян слабым нервам казалось, что Россия далеко зашла, что она идет слишком быстро.

В то же время *радикальная* партия, юная и по тому самому теоретическая, начинала резче и резче высказываться, пугая без того испуганное общество. Она показывала казовым концом своим такие крайние последствия, от которых либералы и люди постепенного развития, крестясь и отплевываясь, бежали зажимая уши и прятались под старое, грязное, но привычное одеяло полиции. Студентская опрометчивость и помещичья непривычка выслушивать других не могли не довести их до драки.

Едва призванная к жизни сила общественного мнения обличилась в диком консерватизме; она заявила свое участие в общем деле, толкая правительство во все тяжкие террора и преследования.

Наше положение становилось труднее и труднее. Стоять на грязи реакции мы не могли, вне ее у нас пропадала почва. Точно потерянные витя-

зи в сказках, мы ждали на перепутье. Пойдешь направо — потеряешь коня, но сам цел будешь; пойдешь налево — конь будет цел, но сам погибнешь; пойдешь вперед — все тебя оставят; пойдешь назад — этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынник, который бы снял с нас тяжесть раздумья…

По воскресеньям вечером собирались у нас знакомые, и преимущественно русские. В 1862 число последних очень увеличилось — на выставку приезжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всех вообще отделений и третьего в особенности. Делать строгий выбор было невозможно; коротких знакомых мы предупреждали, чтоб они приходили в другой день. Благочестивая скука лондонского воскресенья побеждала осторожность.

Отчасти эти воскресенья и привели к беде… Но прежде чем я ее передам, я должен познакомить с двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися в скромной зале Orset House'a. Наша галерея живых редкостей из России была, без всякого сомнения, замечательнее и занимательнее русского отдела

на Great Exhibition[1246].

…В 1860 получаю я из одного отеля на Геймаркете русское письмо, в котором какие-то люди извещали меня, что они, русские, находятся в услужении князя Юрия Николаевича Голицына, тайно оставившего Россию: «Сам князь поехал на Константинополь, а нас отправил по другой дороге. Князь велел дождаться его и дал нам денег на несколько дней. Прошло больше двух недель — о князе ни слуха, деньги вышли, хозяин гостиницы сердится. Мы не знаем, что делать; по-английски никто не говорит». Находясь в таком беспомощном состоянии, они просили, чтоб я их выручил.

Я поехал к ним и уладил дело. Хозяин отеля знал меня и согласился подождать еще неделю.

Дней через пять после моей поездки подъехала к крыльцу богатая коляска, запряженная парой серых лошадей в яблоках. Сколько я ни объяснял моей прислуге, что, как бы человек ни приезжал, хоть цугом, и как бы ни назывался, хоть дюком, все же утром не принимать, — уважения к аристократическому экипажу и титулу я не мог победить. На этот раз встретились оба

[1246] Сноски: 1246
Большой выставке *(англ.)*.

искусительные условия, и потому через минуту огромный мужчина, толстый, с красивым лицом ассирийского бога-вола, обнял меня, благодаря за мое посещение к его людям.

Это был князь Юрий Николаевич Голицын. Такого крупного, характеристического обломка всея России, такого specimen'а[1247] нашей родины я давно не видал.

Он мне сразу рассказал какую-то неправдоподобную историю, которая вся оказалась справедливой: как он давал кантонисту переписывать статью в «Колокол», и как он разошелся с своей женой; как кантонист донес на него, а жена не присылает денег; как государь его услал на безвыездное житье в Козлов, вследствие чего он решился бежать за границу и поэтому увез с собой какую-то барышню, гувернанту, управляющего, регента, горничную через молдавскую границу. В Галаце он захватил еще какого-то лакея, говорившего ломаным языком на пяти языках и показавшегося ему шпионом… Тут же объявил он мне, что он страстный музыкант и будет давать концерты в Лондоне, а потому хочет познакомиться с Огаревым.

[1247] Сноски: 1247
образчика (*англ.*).

— Дорого у вас здесь в Англии б-берут на таможне, — сказал он, слегка заикаясь, окончив курс своей всеобщей истории.

— За товары, может, — заметил я, — а к путешественникам custom-house[1248] очень снисходителен.

— Не скажу — я заплатил шиллингов 15 за крокодила.

— Да это что такое?

— Как что? Да просто крок-кодил.

Я сделал большие глаза и спросил его:

— Да вы, князь, что же это: возите с собой крокодила вместо паспорта — стращать жандармов на границах?

— Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабчонок продает крокодила. Понравился, я и купил.

— Ну, а арабчонка купили?

— Ха, ха! Нет.

Через неделю князь был уже инсталирован[1249] в Porchester terrace, т. е. в очень дорогой части города, в большом доме. Он начал с того, что велел на веки вечные, вопреки английскому обычаю,

---

[1248] Сноски: 1248
таможня (*англ.*).

[1249] Сноски: 1249
водворен (*фр.* installer).

открыть настежь вороты и поставил в вечном ожидании у подъезду пару серых лошадей в яблоках. Он зажил в Лондоне, как в Козлове, как в Тамбове.

Денег у него, разумеется, не было, т. е. были несколько тысяч франков на *афишу и заглавный лист* лондонской жизни, — их он тотчас истратил, но пыль в глаза бросил и успел на несколько месяцев обеспечиться благодаря английской тупоумной доверчивости, от которой иностранцы всего континента не могут еще поднесь отучить их.

Но князь шел на всех парах… Начались концерты. Лондон был удивлен княжеским титулом на афише, и во второй концерт зала была полна (St. James's Hall, Piccadilly). Концерт был великолепный. Как Голицын успел так подготовить хор и оркестр — это его тайна, но концерт был совершенно из ряду вон. Русские песни и молитвы, «Камаринская» и обедня, отрывки из оперы Глинки и из Евангелья («Отче наш») — все шло прекрасно.

Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красивого ассирийского бога, величественно и грациозно поднимавшего и опускавшего свой скипетр из слоновой кости. Старушки

вспоминали атлетические формы императора Николая, победившего лондонских дам всего больше своими обтянутыми лосинными, белыми, как русский снег, кавалергардскими collants[1250].

Голицын нашел средство и из этого успеха сделать себе убыток. Упоенный рукоплесканиями, он послал в конце первой части концерта за корзиной букетов (не забывайте лондонские цены) и перед началом второй части явился на сцену; два ливрейных лакея несли корзину, князь, благодаря певиц и хористок, каждой поднес по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громом рукоплесканий. Вырос, расцвел мой князь и, как только окончился концерт, пригласил *всех* музыкантов на ужин.

Тут, сверх лондонских цен, надобно знать и лондонские обычаи — в одиннадцать часов вечера, не предупредивши с утра, нигде нельзя найти ужин человек на пятьдесят.

Ассирийский вождь храбро пошел пешком по Regent street с музыкальным войском своим, стучась в двери разных ресторанов, и достучался наконец: смекнувший дело хозяин выехал на холодных мясах и на горячих винах.

[1250] Сноски: 1250
рейтузами *(фр.)*.

Затем начались концерты его с всевозможными штуками, даже с политическими тенденциями. Всякий раз гремел Herzens Walzer[1251], гремела Ogarefs Quadrille[1252] и потом «Emancipation Symphony»[1253]… пьесы, которыми и теперь, может, чарует князь москвичей и которые, вероятно, ничего не потеряли при переезде из Альбиона, кроме собственных имен: они могли легко перейти на Potapoffs Walzer, Mina-Walzer[1254], а потом и в Komissaroffs Partitur[1255].

При всем этом шуме денег не было; платить было нечем. Поставщики начали роптать, и дома начиналось исподволь спартаковское восстание рабов…

…Одним утром явился ко мне factotum[1256] князя, его управляющий, переименовавший себя

[1251] Сноски: 1251
«Вальс Герцена» *(нем.).*

[1252] Сноски: 1252
«Кадриль Огарева» *(англ.).*

[1253] Сноски: 1253
«Симфония освобождения» *(англ.).*

[1254] Сноски: 1254
«Вальс Потапова», «Вальс Мины» *(нем.).*

[1255] Сноски: 1255
«Партитуру Комиссарова» *(нем.).*

[1256] Сноски: 1256
«правая рука» *(лат.).*

в секретаря, с «регентом», т. е. не с отцом Филиппа Орлеанского, а с белокурым и кудрявым русским малым лет двадцати двух, управлявшим певцами.

— Мы, А<лександр> И<ванович>, к вам-с.

— Что случилось?

— Да уж Юрий Николаевич очень обижает; хотим ехать в Россию и требуем расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Так меня и обдало отечественным паром — словно на каменку поддали…

— Почему же вы обращаетесь с этой просьбой ко мне? Если вы имеете серьезные причины жаловаться на князя, — на это есть здесь для всякого суд, и суд, который не покривит ни в пользу князя, ни в пользу графа.

— Мы точно слышали об этом, *да что ж ходить до суда.* Вы уж лучше разберите.

— Какая же польза будет вам от моего разбора? Князь скажет мне, что я мешаюсь в чужие дела, я и поеду с носом. Не хотите в суд — пойдите к послу; не мне, а ему препоручены русские в Лондоне…

— Это уж где же-с? Коль скоро русские господа сидят, какой же может быть разбор с князем; а вы ведь за народ: так мы так и пришли к вам — уж

разберите дело, сделайте милость.

— Экие ведь какие; да князь не примет моего разбора — что же вы выиграете?

— Позвольте доложить-с, — с живостью возразил секретарь, — этого они не посмеют-с, так как они очень уважают вас, да и боятся-с сверх того: в «Колокол»-то попасть им не весело — амбиция-с.

— Ну, слушайте, чтоб не терять нам попусту время, — вот мое решенье: если князь согласен принять мое посредничество, я разберу ваше дело, если нет — идите в суд; а так как вы не знаете ни языка, ни здешнего хожденья по делам, то я, если вас в самом деле князь обижает, дам человека, который знает то и другое и по-русски говорит.

— Позвольте… — заметил секретарь.

— Нет, не позволяю, любезнейший. Прощайте.

Пока они ходят к князю, скажу об них несколько слов. Регент ничем не отличался, кроме музыкальных способностей; это был откормленный, крупичатый, туповато-красивый, румяный малый из дворовых; его манера говорить прикартавливая, несколько заспанные глаза напоминали мне целый ряд — как в зеркале, когда гадаешь, — Сашек, Сенек, Алешек,

Мирошек. И секретарь был тоже чисто русский продукт, но более резкий представитель своего типа. Человек лет за сорок, с небритым подбородком, испитым лицом, в засаленном сертуке, весь — снаружи и внутри — нечистый и замаранный, с небольшими плутовскими глазами и с тем особенным запахом русских пьяниц, составленным из вечно поддерживаемого перегорелого сивушного букета с оттенком лука и гвоздики для прикрытия. Все черты его лица ободряли, внушали доверие всякому скверному предложению: в его сердце оно нашло бы наверное отголосок и оценку, а если выгодно — и помощь. Это был первообраз русского чиновника, мироеда, подьячего, коштана. Когда я его спросил, доволен ли он готовившимся освобождением крестьян, он отвечал мне:

— Как же-с, без сомненья, — и, вздохнувши, прибавил: — Господи, что тяжеб-то будет-с, разбирательств! А князь завез меня сюда, как на смех, именно в такое время-с.

До приезда Голицына он мне с видом задушевности говорил:

— Вы не верьте, что вам о князе будут говорить насчет притеснения крестьян или как он хотел их без земли на волю выпустить за большой вы-

куп. Все это враги распускают. Ну, правда, мот он и щеголь, но зато сердце доброе и для крестьян отец был.

Как только он поссорился, он, жалуясь на него, проклинал свою судьбу, что «доверился такому прощелыге… ведь он всю жизнь беспутничал и крестьян разорил, ведь это он теперь прикидывается при вас таким, а то ведь зверь… грабитель…»

— Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили? — спросил я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился, я повернулся и ушел. Родись этот человек не в людской князей Голицыных, не сыном какого-нибудь «земского», давно был бы, при его способностях, министром — Валуевым, не знаю чем.

Через час явился регент и его ментор с запиской Голицына; он, извиняясь, просил меня, если могу, приехать к нему, чтоб покончить эти дрязги. Князь вперед обещал принять без спору мое решение.

Делать было нечего, я отправился. Все в доме показывало необыкновенное волнение. Француз слуга, Пико, поспешно мне отворил дверь и с той торжественной суетливостью, с которой прово-

жают доктора на консультацию к умирающему, провел в залу. Там была вторая жена Голицына, встревоженная и раздраженная, сам Голицын ходил огромными шагами по комнате, без галстуха, богатырская грудь наголо. Он был взбешен и оттого вдвое заикался; на всем лице его было видно страдание от внутрь взошедших, т. е. не вышедших в действительный мир, зуботычин, пинков, треухов, которыми бы он отвечал инсургентам в Тамбовской губернии.

— Вы Б-б-бога ради простите меня, что я в-вас беспокою из-за этих м-м-мошенников…

— В чем дело?

— Вы уж, п-пожалуйста, сами спросите — я только буду слушать.

Он позвал регента, и у нас пошел следующий разговор:

— Вы недовольны чем-то?

— Оченно недоволен… и оттого именно беспременно хочу ехать в Россию.

Князь, у которого голос лаблашевской силы, испустил львиный стон — еще пять зуботычин возвратились сердцу.

— Князь вас удержать не может так вы скажите, чем недовольны-то вы?

— Всем-с, А<лександр> И<ванович>.

— Да вы уж говорите потолковитее.

— Как же чем-с? Я с тех пор, как из России приехал, с ног сбит работой, а жалованья получил только два фунта да третий раз вечером князь дали больше в подарок.

— А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-с…

— Есть же у вас определенный оклад.

— Никак нет-с. Князь, когда *изволили бежать* за границу (это без злого умысла), сказали мне: «Вот хочешь ехать со мной, я, мол, устрою твою судьбу и, если мне повезет, дам большое жалованье, а не то и малым довольствуйся». Ну, я так и поехал.

Это он из Тамбова-то в Лондон поехал на таком условии… О Русь!

— Ну, а как, по-вашему, *везет* князю или нет?

— Какой везет-с… Оно, конечно, можно бы всё…

— Это другой вопрос. Если ему не везет, стало, вы должны довольствоваться малым жалованьем.

— Да князь сами говорили, что по моей службе, т. е. и способности, по здешним деньгам меньше нельзя, как фунта четыре в месяц.

— Князь, вы желаете заплатить ему по четыре

фунта за месяц?

— С о-охотой-с…

— Дело идет прекрасно, что же дальше?

— Князь-с обещал, что если я захочу возвратиться, то пожалует мне на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнул головой и прибавил:

— Да, но в том случае, если я им буду доволен!

— Чем же вы недовольны им?

Теперь плотину прорвало. Князь вскочил; трагическим басом, которому еще больше придавало веса дребезжание некоторых букв и маленькие паузы между согласными, произнес он следующую речь:

— Мне им быть д-довольным, этим м-молокососом, этим щ-щенком?! Меня бесит гнусная неблагодарность этого разбойника! Я его взял к себе во двор из самобеднейшего семейства крестьян, вшами заеденного, босого; я его сам учил, негодяя, я из него сделал ч-человека, музыканта, регента; голос каналье выработал такой, что в России в сезон возьмет рублей сто в месяц жалованья.

— Все это так, Юрий Николаевич, но я не могу разделять вашего взгляда. Ни он, ни его семья вас не просили делать из него Ронкони, стало,

и особенной благодарности с его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, как учат соловьев, и хорошо сделали, но тем и конец. К тому же это и к делу не идет…

— Вы правы… но я хотел сказать: каково мне выносить это? Ведь я его… к-каналью…

— Так вы согласны ему дать на дорогу?

— Черт с ним — для вас… только для вас даю.

— Ну, вот дело и слажено; а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

— Говорят, фунтов двадцать.

— Нет, это много, отсюда до Петербурга сто целковых за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расчел на бумажке и передал Голицыну; тот взглянул на итог — выходило, помнится, с чем-то 30 фунтов. Он тут же мне их и вручил.

— Вы, разумеется, грамоте знаете? — спросил я регента.

— Как же-с…

Я написал ему расписку в таком роде: «Я получил с кн. Ю. Н. Голицына должные мне за жалованье и на проезд из Лондона в Петербург тридцать с тем-то фунтов (на русские деньги столько-то). Затем остаюсь доволен и никаких других требований на него не имею».

— Прочтите сами и подпишитесь…

Регент прочел, но не делал никаких приготовлений, чтоб подписаться.

— За чем дело?

— Не могу-с.

— Как не можете?

— Я недоволен…

Львиный сдержанный рев, — да уж и я сам готов был прикрикнуть.

— Что за дьявольщина! Вы сами сказали, в чем ваше требование. Князь заплатил все до копейки — чем же вы недовольны?

— Помилуйте-с — а сколько нужды натерпелся с тех пор, как здесь…

Ясно было, что легость, с которой он получил деньги, разлакомила его.

— Например-с, мне следует еще за переписку нот.

— Врешь! — закричал Голицын так, как и Лаблаш никогда не кричал… робко ответили ему своим эхо рояли, и бледная голова Пико показалась в щель и исчезла с быстротой испуганной ящерицы. — Разве переписывание нот не входило в прямую твою обязанность?.. Да и что же бы ты делал все время, когда концертов не было?

Князь был прав, хотя и не нужно было пугать

Пико гласом контрбомбардосным.

Регент, привыкнувший к всяким звукам, не сдался и, оставя в стороне переписывание нот, обратился ко мне с следующей нелепостью:

— Да вот-с еще и насчет одежды: я совсем обносился.

— Да неужели, давая вам в год около 50 фун<тов> жалованья, Юр<ий> Ник<олаевич> еще обязался одевать вас?

— Нет-с, но прежде князь все иногда давали, а теперь, стыдно сказать, до того дошел, что без носков хожу.

— Я сам хожу без н-н-носков!.. — прогремел князь и, сложа на груди руки, гордо и с презрением смотрел на регента. Этой выходки я никак не ждал и с удивлением смотрел ему в глаза. Но, видя, что он продолжать не собирается, а что регент непременно будет продолжать, я очень серьезно сказал соколу-певцу:

— Вы приходили ко мне сегодня утром просить меня в посредники, стало, вы верили мне?

— Мы вас оченно довольно знаем, в вас мы нисколько не сомневаемся, вы уж в обиду не дадите…

— Прекрасно, ну, так я вот как решаю дело: подписывайте сейчас бумагу или отдайте деньги;

я их передам князю и с тем вместе отказываюсь от всякого вмешательства.

Регент не захотел вручить бумажки князю, подписался и поблагодарил меня. Избавляю от рассказа, как он переводил счет на целковые; я ему никак не мог вдолбить, что по курсу целковый стоит теперь не то, что стоил тогда, когда он выезжал из России.

— Если вы думаете, что я вас хочу надуть фунта на полтора, так вы вот что сделайте: сходите к нашему попу да и попросите вам сделать расчет. — Он согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не так грозно и бурно вздымалась… но судьба хотела, чтоб и финал так же бы напомнил родину, как начало.

Регент помялся, помялся, и вдруг, как будто между ними ничего не было, обратился к Голицыну с словами:

— Ваше сиятельство, так как пароход из Гулля-с идет только через пять дней, явите милость — позвольте остаться покамест у вас.

«Задаст ему, — подумал я, — мой Лаблаш», самоотверженно приготовляясь к боли от крика.

— Куда ты к черту пойдешь. Разумеется, оставайся.

Регент разблагодарил князя и ушел. Голицын в виде пояснения сказал мне:

— Ведь он предобрый малый; это его этот мошенник, этот в-вор… этот поганый юс подбил…

Поди тут Савиньи и Миттермайер, пусть схватят формулами и обобщат в нормы юридические понятия, развившиеся в православном отечестве нашем между конюшней, в которой драли дворовых, и бариновым кабинетом, в котором обирали мужиков.

Вторая cause célèbre[1257], именно с «юсом», не удалась. Голицын вышел и вдруг так закричал, и секретарь так закричал, что оставалось затем катать друг друга «под никитки», причем князь, конечно, зашиб бы гунявого подьячего. Но как все в этом доме совершалось по законам особой логики, то подрались не князь с секретарем, а секретарь с дверью. Набравшись злобы и освежившись еще шкаликом джину, он, выходя, треснул кулаком в большое стекло, вставленное в дверь, *и расшиб его.* Стекла эти бывают в палец толщины.

— Полицию! — кричал Голицын. — Разбой! полицию! — и, взошедши в залу, бросился изне-

---

[1257] Сноски: 1257
славная операция *(фр.).*

моженный на диван. Когда он немного отошел, он пояснил мне, между прочим, в чем состоит *неблагодарность* секретаря. Человек этот был поверенным у его брата и, не помню, смошенничал что-то и должен был непременно идти под суд. Голицыну стало жаль его — он до того взошел в его положение, что заложил последние часы, чтобы выкупить его из беды. И потом, имея полные доказательства, что он плут, взял его к себе управляющим!

Что он на всяком шагу надувал Голицына, в этом не может быть никакого сомнения.

Я уехал: человек, который мог кулаком пробить зеркальное стекло, может сам себе найти суд и расправу. К тому же он мне рассказывал потом, прося меня достать ему паспорт, чтоб ехать в Россию, что он гордо предложил Голицыну пистолет и жеребий, кому стрелять.

Если это было, то пистолет наверное не был заряжен.

Последние деньги князя пошли на усмирение спартаковского восстания, и он все-таки наконец попал, как и следовало ожидать, в тюрьму за долги. Другого посадили бы и дело в шляпе — с Голицыным и это не могло сойти просто с рук.

Полисмен привозил его ежедневно в Cremorn

garden, часу в восьмом; там он дирижировал, для удовольствия лореток всего Лондона, концерт, и с последним взмахом скипетра из слоновой кости незаметный полицейский вырастал из-под земли и не покидал князя до кеба, который вез узника в черном фраке и белых перчатках в тюрьму. Прощаясь со мной в саду, у него были слезы на глазах. Бедный князь! Другой смеялся бы над этим, но он брал к сердцу свое в неволю заключенье. Родные как-то выкупили его. Потом правительство позволило ему возвратиться в Россию — и отправили его сначала на житье в Ярославль, где он мог дирижировать духовные концерты вместе с Фелинским, варшавским архиереем. Правительство для него было добрее его отца: тертый калач не меньше сына, он ему советовал *идти в монастырь*... Хорошо знал сына отец — а ведь сам был до того музыкант, что Бетговен посвятил ему одну из симфоний.

За пышной фигурой ассирийского бога, тучного Аполлона-вола, не должно забывать ряд других русских странностей.

Я не говорю о мелькающих тенях, как «колонель рюс», но о тех, которые, причаленные разными превратностями судьбы, приостанавливались надолго в Лондоне, вроде того чиновника

военного интендантства, который, запутавшись в делах и долгах, бросился в Неву, утонул… и всплыл в Лондоне *изгнанником,* в шубе и меховом картузе, которые не покидал, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы. Вроде моего друга Ивана Ивановича Савича, которого англичане звали *Севидж,* который весь, целиком, с своими антецедентами и будущностью, с какой-то мездрой вместе волос на голове, так и просится в мою галерею русских редкостей.

Лейб-гвардии Павловского полка офицер в отставке, он жил себе да жил в странах заморских и дожил до Февральской революции; тут он испугался и стал на себя смотреть как на преступника; не то, чтоб его мучила совесть, но мучила мысль о жандармах, которые его встретят на границе, казематах, тройке, снеге… и решился отложить возвращение. Вдруг весть о том, что его брата взяли по делу Шевченки. Сделалось в самом деле что-то опасно, и он тотчас решился ехать. В это время я с ним познакомился в Ницце. Отправился Савич, купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переезжая границу, хотел как-то укрепить в дупле пустого зуба и раскусить в случае ареста.

По мере приближения к родине страх все воз-

растал и в Берлине дошел до удушающей боли; однако Савич переломил себя и сел в вагон. Станций на пять его стало — далее он не мог. Машина брала воду; он под совершенно другим предлогом вышел из вагона… Машина свистнула, поезд двинулся без Савича; того-то ему и было надобно. Оставив чемодан свой на произвол судьбы, он с первым обратным поездом возвратился в Берлин. Оттуда телеграфировал о чемодане и пошел визировать свой пасс в Гамбург. «Вчера ехали в Россию, сегодня в Гамбург», — заметил полицейский, вовсе не отказывая в визе. Перепуганный Савич сказал ему: «Письма — я получил письма», и, вероятно, у него был такой вид, что со стороны прусского чиновника просто упущение по службе, что он его не арестовал. Затем Савич, спасаясь никем не преследуемый, как Людвиг-Филипп, приехал в Лондон. В Лондоне для него началась, как для тысячи и тысячи других, тяжелая жизнь, — он годы честно и твердо боролся с нуждой. Но и ему судьба определила комический бортик ко всем трагическим событиям. Он решился давать уроки математики, черчению и даже французскому языку *(для англичан).* Посоветовавшись с тем и другим, он увидел, что без объявления или карточек не обойдется.

— Но вот беда: как взглянет на это русское правительство… Думал я, думал, да и напечатал *анонимные* карточки.

Долго я не мог нарадоваться на это великое изобретение — мне в голову не приходила возможность визитной карточки без имени.

С своими анонимными карточками, с большой настойчивостью труда и страшной бережливостью (он живал дни целые картофелем и хлебом) он сдвинул-таки свою барку с мели, стал заниматься торговым комиссионерством, и дела его пошли успешно.

И это именно в то время, когда дела другого лейб-гвардии павловского офицера пошли отвратительно. Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный, шеф Павловского полка отошел в вечность. Пошли льготы, амнистии. Захотелось и Савичу воспользоваться царскими милостями, и вот он пишет к Бруннову письмо и спрашивает, подходит ли он под амнистию. Через месяц времени приглашают Савича в посольство. «Дело-то, — думал он, — не так просто — месяц думали».

— Мы получили ответ, — говорит ему старший секретарь. — Вы нехотя поставили министерство в затруднение: ничего об вас нет. Оно сносилось

с министром внутренних дел, и у него не могут найти никакого дела об вас. Скажите нам просто, что с вами было, не может же быть ничего важного!..

— Да в 49 году мой брат был арестован и потом сослан.

— Ну?

— Больше ничего.

«Нет, — подумал Николаи, — шалит» — и сказал Савичу, что, если так, министерство снова наведет справки. Прошли месяца два. Я воображаю, что было в эти два месяца в Петербурге… отношения, сообщения, конфиденциальные справки, секретные запросы из министерства в III отделение, из III отделения в министерство, справки *у* харьковского генерал-губернатора… выговоры, замечания… а дела о Савиче найти не могли. Так министерство и сообщило в Лондон.

Посылает за Савичем сам Бруннов.

— Вот, — говорит, — смотрите ответ: нигде ничего об вас. Скажите, по какому вы делу замешаны?

— Мой брат…

— Все это я слышал, да вы-то сами по какому делу?

— Больше ничего не было.

Бруннов, от рождения ничему не удивлявшийся, удивился.

— Так отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сделали…

— Я думал, что все же лучше…

— Стало, просто-напросто, вам не амнистия нужна, а паспорт.

И Бруннов велел выдать пасс.

На радостях Савич прискакал к нам.

Рассказав подробно всю историю о том, как он добился амнистии, он взял Огар<ева> под руку и увел в сад.

— Дайте мне, Бога ради, совет, — сказал он ему. — А. И. все смеется надо мной… такой уж нрав у него; но у вас сердце доброе. Скажите мне откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ехать Веной?

Огарев не поддержал доброго мнения и расхохотался. Да что Огар<ев>, — я воображаю, как Бруннов и Николаи минуты на две расправили морщины от тяжелых государственных забот и осклабились, когда амнистированный Савич вышел из кабинета.

Но при всех своих оригинальностях Савич был честный человек. Другие русские, неизвестно

откуда всплывавшие, бродившие месяц-другой по Лондону, являвшиеся к нам с собственными рекомендательными письмами и исчезавшие неизвестно куда, были далеко не так безопасны.

Печальное дело, о котором я хочу рассказать, было летом 1862. Реакция была тогда в инкубации и из внутреннего, скрытого гниения еще вылазила наружу. Никто не боялся к нам ездить, никто не боялся брать с собой «Колокол» и другие наши издания, многие хвастались, как они мастерски провозят. Когда мы советовали быть осторожными, над нами смеялись. Писем мы почти никогда не писали в Россию: старым знакомым нам нечего было сказать — мы с ними стояли всё дальше и дальше, с новыми незнакомцами мы переписывались через «Колокол».

Весной возвратился из Москвы и Петербурга Кельсиев. Его поездка, без сомнения, принадлежит к самым замечательным эпизодам того времени. Человек, ходивший мимо носа полиции, едва скрывавшийся, бывавший на раскольничьих беседах и товарищеских попойках, с глупейшим турецким пассом в кармане, и возвратившийся sain et sauf[1258] в Лондон, немного закусил удила.

[1258] Сноски: 1258
здравым и невредимым *(фр.)*.

Он вздумал сделать пирушку в нашу честь в день пятилетия «Колокола», по подписке, в ресторане Кюна. Я просил его отложить праздник до другого, больше веселого времени. Он не хотел. Праздник не удался: не было entrain[1259], и не могло быть — в числе участников были люди слишком посторонние.

Говоря о том и сем, между тостами и анекдотами, говорили, как о самопростейшей вещи, что приятель Кельсиева Ветошников едет в Петербург и готов с собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многие сказали, что будут в воскресенье у нас. Собралась действительно целая толпа, в числе которой были очень мало знакомые нам лица и, по несчастию, сам Ветошников; он подошел ко мне и сказал, что завтра утром едет, спрашивая меня, нет ли писем, поручений. Бакунин уже ему дал два-три письма. Огарев пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу; к ним я приписал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского (к которому я никогда не писал) на наше предложение в «Колоколе» «печатать на свой счет “Современник” в Лондоне». Гости

[1259] Сноски: 1259
воодушевления (*фр.*).

стали расходиться часов около 12; двое-трое оставались. Ветошников взошел в мой кабинет и взял письмо. Очень может быть, что и это осталось бы незамеченным. Но вот что случилось. Чтоб поблагодарить участников обеда, я просил их принять в память от меня по выбору что-нибудь из наших изданий или большую фотографию мою Левицкого. Ветошников взял фотографию; я ему советовал обрезать края и свернуть в трубочку; он не хотел и говорил, что положит ее на дно чемодана, и потому завернул ее в лист «Теймса» и так отправился. Этого нельзя было не заметить.

Прощаясь с ним с последним, я спокойно отправился спать — так иногда сильно бывает ослепленье — и уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне.

Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени… Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить в субботу. Зачем он не приходил утром? Да и вообще зачем он приходил сам?.. Да и зачем мы писали?

Говорят, что один из гостей телеграфировал тотчас в Петербург.

Ветошникова схватили на пароходе; остальное известно.

В заключенье этого печального сказанья скажу о человеке, вскользь упомянутом мною и которого пройти мимо не следует. Я говорю о Кельсиеве.

В 1859 году получил я первое письмо от него.

<Глава II>
В. И. Кельсиев

Имя В. Кельсиева приобрело в последнее время печальную известность: быстрота внутренней и скорость внешней перемены, удачность раскаяния, неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной в кающемся и прощенном развязностью — все это, при непривычке нашего общества к крутым и гласным превращениям, вооружило против него лучшую часть нашей журналистики. Кельсиеву хотелось во что бы ни стало занимать собою публику; он и накупился на видное место мишени, в которую каждый бросает камень, не жалея. Я далек от того, чтоб порицать нетерпимость, которую показала в этом

случае наша дремлющая литература. Негодование это свидетельствует о том, что много свежих, неиспорченных сил уцелели у нас, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодование, опрокинувшееся на Кельсиева, — то самое, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения и отвернулось от Гоголя за его «Переписку с друзьями».

Бросать в Кельсиева камнем лишнее: в него и так брошена целая мостовая. Я хочу передать другим и напомнить ему, каким он явился к нам в Лондон и каким уехал во второй раз в Турцию.

Пусть он сравнит самые тяжелые минуты тогдашней жизни с лучшими своей теперичной карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я в них ничего не переменил и добавил только отрывки из писем. В моем беглом очерке Кельсиев представлен так, как он остался в памяти до его появления на лодке в Скулянскую таможню в качестве запрещенного товара, просящего конфискации и поступления по законам.

Письмо от Кельсиева было из Плимута. Он туда приплыл на пароходе Североамерикан-

ской компании и отправился куда-то, в Ситку или Уналашку, на службу. Поживши в Плимуте, ему расхотелось ехать на Алеутские острова, и он писал ко мне, спрашивая, можно ли ему найти пропитание в Лондоне. Он успел уже в Плимуте познакомиться с какими-то теологами и сообщал мне, что они обратили его внимание на замечательные истолкования пророчеств. Я предостерег его от английских клержименов[1260] и звал в Лондон, если он действительно хочет работать.

Недели через две он явился. Молодой, довольно высокий, худой, болезненный, с четвероугольным черепом, с шапкой волос на голове, он мне напоминал (не волосами — тот был плешив), а всем существом своим Энгельсона — и действительно он очень многим был похож на него. С первого взгляда можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей, но еще не приписался ни к какому делу и обществу — цеха не имел. Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей ширинге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки:

[1260] Сноски: 1260
служителей культа (*англ.* clergyman*).*

учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодно голову. От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведенья[1261].

Особенно оригинально было то, что в скептическом ощупывании Кельсиева сохранилась какая-то примесь мистических фантазий: он был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре. Церковный оттенок, наречие и образность остались у него в форме, в языке, в слоге и придавали всей его жизни особый характер и особое единство, основанное на спайке противуположных металлов.

У Кельсиева шел тот знакомый нам перебор, который делает почти всегда в самом деле проснувшийся русский внутри себя и о котором вовсе не думает за недосугом и заботами западный человек. Втянутые своими специальностями в другие дела, *старшие братья* наши не проверяют задов, и оттого у них сменяются поколенья, строя и разрушая, награждая и наказуя, надевая

[1261] Сноски: 1261

Петрашевцами заключается у нас фаланга сильно занимавшихся юношей — их можно назвать последним классом нашего учебно-исторического развития.

венки и кандалы, — твердо уверенные, что так и надобно, что они делают дело. Кельсиев, напротив, сомневался во всем и не принимал на слово ни добро — добра, ни зло — зла. Кобенящийся дух этот, отрешающийся от вперед идущей нравственности и готовых истин, накипел всего больше в mi-carême нашего николаевского поста и резко стал высказываться, когда гиря, давившая наш мозг, приподнялась на одну линию. На этот-то, полный жизни и отваги, анализ и накинулась Бог весть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробуждения под звуки севастопольских пушек, с чужих слов многие из наших умников начали повторять, что западный консерватизм у нас — факт прививной, что нас наскоро подогнали к европейскому образованию не для того, чтоб делиться с ним наследственными болезнями и застарелыми предрассудками, а для «сравнения со старшими», для того, чтоб была возможность с ними идти ровным шагом вперед… Но как только мы видим на самом деле, что у проснувшейся мысли, что у возмужалого слова нет ничего твердого, «ничего святого», а есть вопросы и задачи, что мысль ищет, что слово отрицает, что дурное раскачивается вме-

сте с «заведомо» хорошим и что дух пытанья и сомненья влечет все — все без разбора — в пропасть… лишенную перил, — тогда крик ужаса и исступленья вырывается из груди и пассажиры первых классов закрывают глаза, чтоб не видать, когда вагоны сорвутся с рельсов… а кондукторы тормозят и останавливают всякое движенье.

Разумеется, бояться причины нет. Возникающая *сила* слишком слаба материально, чтоб сдвинуть шестидесятимиллионный поезд с рельсов. Но в ней была программа, может быть, пророчество.

Кельсиев развился под первым влиянием времени, о котором мы говорили. Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и очертя голову пустился в широкое море. Равно подозрительно и с недоверием относился он к вере и к неверью, к русским порядкам и к порядкам западным. Одно, что пустило корни в его грудь, было сознание — страстное и глубокое — экономической неправды современного государственного строя и в силу этого ненависть к нему и темное стремление к социальным теориям, в которых

он видел выход.

На это сознание неправды и на эту ненависть сверх пониманья он имел неотъемлемое право.

В Лондоне он поселился в одной из отдаленнейших частей города, в глухом переулке Фулама, населенном матовыми, подернутыми чем-то пепельным, ирландцами и всякими исхудалыми работниками. В этих сырых каменных коридорах без крыши страшно тихо, звуков почти нет никаких, ни света, ни цвета; люди, платья, дома — все полиняло и осунулось, дым и сажа обвели все линии траурным ободком. По ним не трещат тележки лавочников, развозящих съестные припасы, не ездят извозчичьи кареты, не кричат разносчики, не лают собаки — последним решительно нечем питаться… Изредка только выходит какая-нибудь худая, взъерошенная и покрытая углем кошка, проберется по крыше и подойдет к трубе погреться, выгибая спину и обличая видом, что внутри дома она передрогла.

Когда я в первый раз посетил Кельсиева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, с заплаканными глазами, сидела у тюфяка, постланного на полу, на котором, весь в лихорадке и жаре, метался, страдал, умирал ребенок, году или по-

лутора. Я посмотрел на его лицо и вспомнил предсмертные черты другого ребенка — это было *то же* выражение. Через несколько дней он умер — другой родился.

Бедность была всесовершеннейшая. Молодая тщедушная женщина, или, лучше, замужняя девочка, выносила ее геройски и с необычайной простотой. Думать нельзя было, глядя на ее болезненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала в этом хилом теле. Она могла служить горьким уроком нашим заплечным романистам. Она была, хотела быть тем, что впоследствии назвали *нигилисткой:* странно чесала волосы, небрежно одевалась, много курила, не боялась ни смелых мыслей, ни смелых слов; она не умилялась перед семейными добродетелями, не говорила о священном долге, о сладости жертвы, которую совершает ежедневно, и о легости креста, давившего ее молодые плечи. Она не кокетничала своей борьбой с нуждой, а делала *все:* шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердым товарищем была она мужу и великой страдалицей сложила голову свою на дальнем Востоке, следуя за блуждающим, беспокойным бегом своего мужа и потеряв разом

двух последних малюток.

…Поборолся я сначала с Кельсиевым, стараясь его убедить, чтоб он не отрезывал себе с самого начала, не изведавши жизни изгнанника, пути к возвращению. Я ему говорил, что надобно прежде узнать нужду на чужбине, нужду в Англии, особенно в Лондоне; я ему говорил, что в России теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здесь делать? — спрашивал я его. Кельсиев собирался всему учиться и обо всем писать; пуще всего хотел он писать о женском вопросе — о семейном устройстве.

— Пишите прежде, — говорил я ему, — об освобождении крестьян с землей. Это первый вопрос, стоящий на дороге.

Но симпатии Кельсиева были не туда обращены. Он действительно принес мне статью о женском вопросе. Она была безмерно плоха. Кельсиев посердился, что я ее не напечатал, и сам благодарил меня за это года два спустя.

Возвращаться он не хотел.

Во что бы ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологические эксцентричности его нам помогли. Мы достали ему корректуру Св. Писания, издаваемого по-русски Лондонским библейским обществом.

Затем передали ему кипу бумаг, полученных нами в разное время, по части старообрядцев. За издание их и приведение в порядок Кельсиев принялся со страстью. То, о чем он догадывался и мечтал, то раскрывалось перед ним фактически: грубо наивный социализм в евангельской ризе сквозил ему в расколе. Это было лучшее время в жизни Кельсиева; он с увлечением работал и прибегал иногда вечером ко мне указать какую-нибудь социальную мысль духоборцев, молокан, какое-нибудь чисто коммунистическое учение федосеевцев; он был в восторге от их скитанья по лесам, ставил идеалом своей жизни скитаться между ними и сделаться учителем социально-христианского раскола в Белокринице или России.

И действительно, Кельсиев был в душе «бегуном», — бегуном нравственным и практическим: его мучила тоска, неустоявшиеся мысли. На одном месте он оставаться не мог. Он нашел работу, занятие, безбедное пропитание, но не нашел *дела*, которое бы поглотило совсем его беспокойный темперамент; он был готов покинуть все, чтоб искать его, готов был не только идти на край света, но сделаться монахом, приняв священство без веры.

Настоящий русский человек, Кельсиев всякий месяц делал новую программу занятий, придумывал проекты и брался за новую работу, не кончив старой. Работал он запоем и запоем ничего не делал. Он схватывал вещи легко, но тотчас удовлетворялся до пресыщения, из всего тянул он сразу жилы до последнего вывода, а иногда и подальше.

Сборник о раскольниках шел успешно; он издал *шесть* частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародование сведений о старообрядцах. То же случилось с переводом Библии. Перевод с еврейского не удался. Кельсиев попробовал сделать un tour de force[1262] и перевести «слово в слово» несмотря на то, что грамматические формы семитических языков вовсе не совпадают со славянскими. Тем не меньше выпущенные ливрезоны[1263] разошлись мгновенно, и Святейший синод, испугавшись заграничного издания, *благословил* печатание старого завета на русском языке. Эти обратные победы никогда никем не были поставлены

[1262] Сноски: 1262
Здесь: невозможное *(фр.)*.

[1263] Сноски: 1263
тетради, выпуски (*фр*. livraison*)*.

в crédit[1264] нашего станка.

В конце 1861 Кельсиев отправился в Москву с целью завести прочные связи с раскольниками. Поездку эту он когда-нибудь должен сам рассказать. Она невероятна, невозможна, а на деле действительно была. В этой поездке отвага граничит с безумием; в ней опрометчивость почти преступная, но уж, конечно, не я буду его винить в ней. Неосторожная болтовня за границей могла сделать много бед. Но к делу и оценке самой поездки это не идет.

Возвратясь в Лондон, он принялся, по требованию Трюбнера, за составление русской грамматики для англичан и за перевод какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого он не кончил: путешествие сгубило его последний Sitzfleisch. Он тяготился работой, впадал в ипохондрию, унывал, а работа была нужна: денег опять не было ни гроша. К тому же и новый червь начинал точить его. Успех поездки, бесспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, победа над опасностями раздули и в его груди без того сильную струю самолюбья; обратно Цезарю, Дон Карлосу и Вадиму Пассеку Кельсиев,

---

[1264] Сноски: 1264
счет (*фр.*).

запуская руки в свои густые волосы, говорил, покачивая грустно головой:

— Еще нету тридцати лет, и уже такая ответственность взята мною на плечи.

Из всего этого легко можно было понять, что грамматики он не кончит, а уйдет. Он и ушел. Ушел он в Турцию с твердым намерением еще больше сблизиться с раскольниками, составить новые связи и, если возможно, остаться там и начать проповедь вольной церкви и общинного житья. Я писал ему длинное письмо, убеждая его не ездить, а продолжать работу. Но страсть к скитанью, желание подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнее, и он уехал.

Он и Мартьянов исчезают почти в одно время. Один — чтоб, после ряда несчастий и испытаний, хоронить своих и потеряться между Яссами и Галацом, другой — чтоб схоронить себя на каторжной работе, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящих помещиков-сенаторов.

После них являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имея большой глубины и захватывая очень тонкий слой, быстро изменяет и изнашивает формы и цветы.

Между Энгельсоном и Кельсиевым уже целая формация, как между нами и Энгельсоном. Энгельсон был человек сломленный, оскорбленный; зло, сделанное ему всей средой, миазмы, которыми он дышал с детства, изуродовали его. Луч света скользнул по нем и отогрел его года за три до его смерти, когда уже неостанавливаемый недуг грыз его грудь. Кельсиев, тоже помятый и попорченный средой, явился однако без отчаяния и устали; оставаясь за границей, он не просто шел на покой, не просто бежал без оглядки от тяжести — он шел *куда-то.* Куда — этого *он не знал* (и тут всего ярче выразился видовой оттенок его пласта), определенной цели он не имел; он ее искал и покаместь осматривался и приводил в порядок, а пожалуй, и в беспорядок, всю массу идей, захваченных в школе, книгах и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существенным вопросом, которым он жил, выжидая или такого дела, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы он отдался.

Теперь воротимся к Кельсиеву. Потаскавшись в Турции, Кельсиев решился поселиться в Тульче; там он хотел учредить средоточие своей пропаганды между раскольниками, школу

для казацких детей и сделать опыт общинной жизни, в которой прибыль и убыль должна была падать на всех, чистая и нечистая, легкая и трудная работа — обделываться всеми. Дешевизна помещенья и съестных припасов делали опыт возможным. Он сблизился с старым атаманом некрасовцев, с Гончаром, и вначале превозносил его до небес. Летом 1863 подъехал к нему его меньшой брат Иван, прекрасный даровитый юноша. Он был по студентскому делу выслан из Москвы в Пермь; там попался к негодяю губернатору, который его теснил. Потом его опять вызвали в Москву для каких-то показаний — ему грозила ссылка далее Перми. Он бежал из частного дома и пробрался через Константинополь в Тульчу. Старший брат был чрезвычайно рад ему; он искал товарищей и наконец звал жену, которая рвалась к нему и жила на нашем попеченье в Теддингтоне. Пока мы ее снаряжали, явился в Лондон и сам Гончар.

Хитрый старик, почуявший смуты и войны, вышел из своей берлоги понюхать воздух и посмотреть, чего откуда можно ждать, т. е. с кем идти и против кого. Не зная ни одного слова, кроме по-русски и турецки, он отправился в Марсель и оттуда в Париж. В Париже он виделся

с Чарторижским и Замойским, говорят даже, что его возили к Наполеону, — от него я этого не слыхал. Переговоры ни к чему не привели, и седой казак, качая головой и щуря лукавыми глазами, написал каракульками семнадцатого столетия ко мне письмо, в котором, называя меня «графом», спрашивал, может ли приехать к нам и как нас найти.

Мы жили тогда в Теддингтоне; без языка не легко было добраться до нас, и я поехал в Лондон на железную дорогу встретить его. Выходит из вагона старый русский мужик, из зажиточных, в сером кафтане, с русской бородой, скорее худощавый, но крепкий, мускулистый, довольно высокий и загорелый, несет узелок в цветном платке.

— Вы Осип Семенович? — спрашиваю я.

— Я, батюшка, я… — Он подал мне руку. Кафтан распахнулся, и я увидел на поддевке большую звезду — разумеется, турецкую: *русских* звезд мужикам не дают. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой — этого я в России не видал.

— Я такой-то, приехал вас встретить да проводить к нам.

— Что же ты это, ваше сиятельство, сам беспо-

коился… того?.. Ты бы того, кого-нибудь…

— Это уж оттого, видно, что я не сиятельство. С чего же, Осип Семенович, вы выдумали меня называть графом?

— А Христос тебя знает, как величать, — ты, небось, в своем деле во главе стоишь. Ну, а я того, человек темный… ну и говорю: граф, т. е. сиятельный, т. е. голова.

Не только оборот речи, но и произношение у Гончара было великорусское, крестьянское. Как у них в захолустье, окруженном иноплеменниками, так славно сохранился язык — трудно было б понять без старообрядческого мирщенья. Раскол их выделил так строго, что никакое чужое влияние не переходило за их частокол.

Гончар прожил у нас три дня. Первые дни он ничего не ел, кроме сухого хлеба, который привез с собой, и пил одну воду. На третий день было воскресенье — он разрешил себе стакан молока, рыбу вареную в воде и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себе на уме, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человека, привыкшего с детских лет к полному бесправию и к соседству сильных, к врагам, долгая жизнь, проведенная в борьбе, в настойчивом

труде, в опасностях, — все это так и сквозило из-за мнимо простых черт и простых слов седого казака. Он постоянно оговаривался, употреблял уклончивые фразы, тексты из Священного Писания, делал скромный вид, очень сознательно рассказывая о своих успехах, и если иногда увлекался в рассказах о прошлом и говорил много, то наверное никогда не проговорился о том, о чем хотел молчать.

Этот закал людей на Западе почти не существует. Он не нужен, как не нужна дамаскирная сталь для лезвия… В Европе все делается гуртом, массой; человеку одиночно не нужно столько силы и осторожности.

В успех польского дела он уже не верил и говорил о своих парижских переговорах, покачивая головой.

— Нам, конечно, где же сообразить: люди маленькие, темные, а они вон поди как, — ну, вельможи, как следует; только эдак нрав-то легкой… Ты, мол, Гончар, не сумлевайся: вот как справимся, мы и то и то сделаем для тебя, например. Понимаешь?.. Ну, все будет в удовольствие. Оно точно, люди добрые, да поди вот, *когда справятся…* с такой Палестиной.

Ему хотелось разузнать, какие у нас связи

с раскольниками и какие опоры в крае; ему хотелось осязать, может ли быть практическая польза в связи старообрядцев с нами. В сущности для него было все равно: он пошел бы равно с Польшей и Австрией, с нами и с греками, с Россией или Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев. Он и от нас уехал, качая головой. Написал потом два-три письма, в которых, между прочим, жаловался на Кельсиева, и подал, вопреки нашего мнения, адрес государю.

В начале 1864 поехали в Тульчу два русских офицера, оба эмигранты, Краснопевцев и В<асильев>(?). Маленькая колония сначала дружно принялась за работу. Они учили детей и солили огурцы, чинили свои платья и копались в огороде. Жена Кельсиева варила обед и обшивала их. Кельсиев был доволен началом, доволен казаками и раскольниками, товарищами и турками[1265].

Кельсиев писал еще нам свои юмористические рассказы о их водворении, а уже черная рука судьбы была занесена над маленькой кучкой

[1265] Сноски: 1265

И вот эта ужасная «Тульчинская агенция», имевшая сношения со всемирной революцией, поджигавшая русские деревни на деньги из мацциниевских касс, грозно действовавшая года через два после того, как перестала существовать… и теперь еще поминаемая в литературе сыщиков и в «Полицейских ведомостях» Каткова.

тульчинских общинников. В июне месяце 1864, ровно через год после своего приезда, умер двадцати трех лет, на руках своего брата, в злейшем тифе, Иван Кельсиев. Смерть его была для брата страшным ударом; он сам занемог, но как-то отходился. Письма его того времени ужасны. Дух, поддерживавший отшельников, упал… угрюмая скука овладевала ими… начались препинания и ссоры. Гончар писал, что Кельсиев сильно пьет. Краснопевцев застрелился; В<асильев> ушел. Дольше не мог вытерпеть Кельсиев; он взял свою жену и своих детей (у него еще родился ребенок) и без средств, без цели отправился сначала в Константинополь, потом в дунайские княжества. Совершенно отрезанный от всех, отрезанный на время даже от нас, он в это время разошелся с польской эмиграцией в Турции. Напрасно искал он заработать кусок хлеба, с отчаянием смотрел он на изнурение бедной женщины и детей. Деньги, которые мы посылали иногда, не могли быть достаточны. «Случалось, что у нас вовсе не было хлеба», — писала незадолго до своей смерти его жена. Наконец, после долгих усилий, Кельсиев нашел в Галаце место «надзирателя за шоссейными работами». Скука томила, грызла его… он не мог не винить себя в положении семьи.

Невежество диковосточного мира оскорбляло его, он в нем чахнул и рвался вон. Веру в раскольников он утратил, веру в поляков утратил… вера в людей, в науку, в революцию колебалась сильней и сильнее, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется… Он только и мечтал, чтоб во что б ни стало вырваться опять на свет, приехать к нам, и с ужасом видел, что ему покинуть семью нельзя. «Если б я был один, — писал он несколько раз, — я с дагерротипом или органом ушел бы куда глаза глядят и, потаскавшись по миру, пешком явился бы в Женеву».

Помощь была близка.

«Милуша» — так звали старшую дочь — легла здоровая спать… проснулась ночью больная; к утру умерла холерой… Через несколько дней умерла вторая дочь… мать свезли в больницу. У ней открылась острая чахотка.

— Помнишь ли, ты когда-то мне обещал сказать, когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?

— Смерть, друг мой, смерть.

И она еще раз улыбнулась, впала в забытье и умерла.

<Глава III>
<Молодая эмиграция>

Едва Кельсиев ушел за порог, новые люди, вытесненные суровым холодом 1863, стучались у наших дверей. Они шли не из готовален наступающего переворота, а с обрушившейся сцены, на которой они уже выступали актерами. Они укрывались от внешней бури и ничего не искали внутри; им нужен был временный приют, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти в бой. Люди эти, очень молодые, покончили с идеями, с образованьем; теоретические вопросы их не занимали отчасти оттого, что они у них еще не возникали, отчасти оттого, что у них дело шло о приложении. Они были побиты материально, но дали доказательства своей отваги. Свернувши знамя, им приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тон, cassant, raide[1266], резкий и несколько поднятый, отсюда военное, нетерпеливое отвращение от долгого обсуживания, критики, несколько изысканное пренебрежение ко всем умственным роскошам,

---

[1266] Сноски: 1266
надменный, непреклонный *(фр.)*.

в числе которых ставились на первом плане искусства… Какая тут музыка, какая поэзия! «Отечество в опасности, aux armes, citoyens!»[1267] В некоторых случаях они были отвлеченно правы, но сложного и запутанного процесса уравновешения идеала с существующим они не брали в расчет и, само собой разумеется, свои мнения и воззрения принимали за воззрения и мнения целой России. Винить за это наших молодых штурманов будущей бури было бы несправедливо. Это — общеюношеская черта. Год тому назад один француз, поклонник Конта, уверял меня, что католицизм во Франции *не существует,* a complètement perdu le terrain[1268], и между прочим ссылался на медицинский факультет — на профессоров и студентов, которые не только <не> католики, но и <не> деисты.

— Ну, а та часть Франции, — заметил я, — которая не читает и не слушает медицинских лекций?

— Она, конечно, держится за религию и обряды… но больше по привычке и по невежеству.

— Очень верю, но что же вы сделаете с нею?

[1267] Сноски: 1267
к оружию, граждане! *(фр.)*

[1268] Сноски: 1268
совершенно потерял почву *(фр.).*

— А что сделал 1792 год?

— Немного: революция <1нрзб.> сначала заперла церкви, а потом отперла. Вы помните ответ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордат: «Нравится ли тебе церемония?» — спросил консул, выходя из Нотр-Дам, якобинца-генерала. — «Очень, — отвечал он, — жаль только, что недостает двухсот тысяч человек, которые легли костьми, чтоб уничтожить подобные церемонии». — «Ah bas!.. мы стали умнее и не отопрем церковных дверей или, лучше, не запрем их вовсе и отдадим капище суеверий под школы».

— L'infâme sera écrasée[1269], — докончил я, смеясь.

— Да, без сомнения… это верно!

— Но мы-то с вами не увидим этого — это вернее.

В этом взгляде на окружающий мир сквозь подкрашенную личным сочувствием призму лежит половина всех революционных неуспехов. Жизнь молодых людей, вообще идущая в своего рода шумном и замкнутом затворничестве, вдали от будничной и валовой борьбы из-за личных интересов, резко схватывая общие истины, почти

[1269] Сноски: 1269
Гадина будет раздавлена *(фр.)*.

всегда срезывается на ложном понимании их приложения к нуждам дня.

…Сначала новые гости оживили нас рассказами о петербургском движении, о диких выходках оперившейся реакции, о процессах и преследованиях, об университетских и литературных партиях… потом, когда все это было передано с той скоростью, с которой в этих случаях торопятся всё сообщить, наступили паузы, гиатузы[1270]… беседы наши сделались скучны, однообразны…

«Неужели, — думал я, — это в самом деле старость, разводящая два поколенья? Холод, вносимый летами, усталью, испытаньями?»

Как бы то ни было, я чувствовал, что с появлением новых людей горизонт наш не расширился… а сузился, диаметр разговоров стал короче; нам иной раз нечего было друг другу сказать. Их занимали подробности их кругов, за границей которых их ничего не занимало. Однажды передавши все интересное об них, приходилось повторять, и они повторяли. Наукой или делами они занимались мало — даже мало читали и не следили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаниями и ожиданиями, они не любили

[1270] Сноски: 1270
перерывы, пропуски (*фр*. hiatus*).*

выходить в другие области; а нам недоставало воздуха в этой спертой атмосфере. Мы, избаловавшись другими размерами, задыхались!

К тому же, если они и знали известный слой Петербурга, то России вовсе не знали и, искренно желая сблизиться с народом, сближались с ним книжно и теоретически.

Общее между нами было слишком *обще.* Вместе идти, *служить,* по французскому выражению, вместе что-нибудь делать мы могли, но вместе стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезном влиянии и думать было нечего. Болезненное и очень бесцеремонное самолюбие давно закусило удила[1271]. Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но при всей искренности это было не в самом деле. Они ждали, чтоб мы формулировали их собственное мнение, и только в том случае соглашались, когда высказанное нами нисколько не противуречило ему. На нас они смотрели как на почтенных инвалидов, как на прошедшее и наивно дивились, что мы

[1271] Сноски: 1271

Самолюбие их не было так велико, как задорно и раздражительно, а главное — невоздержно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильного требования чинопочитанья по рангу, им присвоенному. При этом сами они смотрели на все свысока и постоянно трунили друг над другом, отчего их дружбы никогда не продолжались дольше месяца.

еще не очень отстали от них.

Я всегда и во всем боялся «пуще всех печалей» *мезальянсов,* всегда их допускал долею по гуманности, долею по небрежности и всегда страдал от них.

Предвидеть было немудрено, что новые связи долго не продержатся, что рано или поздно они разорвутся и что этот разрыв — взяв в расчет шероховатый характер новых приятелей — не обойдется без дурных последствий.

Вопрос, на котором покачнулись шаткие отношения, был именно тот старый вопрос, на котором обыкновенно разрываются знакомства, сшитые гнилыми нитками. — Я говорю о деньгах. Не зная вовсе ни моих средств, ни моих жертв, они делали на меня требования, которые удовлетворять я не считал справедливым. Если я мог через все невзгоды, без малейшей поддержки, провести лет пятнадцать русскую пропаганду, то я мог это сделать, налагая меру и границу на другие траты. Новые знакомые находили, что все делаемое мною мало, и с негодованием смотрели на человека, прикидывающегося социалистом и не раздающего своего достояния на дуван людям неработающим, но желающим деньги. Очевидно, они стояли еще на непрактической

точке зрения христианской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практический социализм.

Опыты собрания «Общего фонда» не дали важных результатов. Русские не любят давать денег на общее дело, если при нем нет сооружения церкви, обеда, попойки и высшего одобряющего начальства.

В самый разгар эмигрантского безденежья разнесся слух, что у меня есть какая-то сумма денег, врученная мне для пропаганды.

Молодым людям казалось справедливым ее у меня отобрать.

Для того чтоб понять это, следует рассказать об одном странном случае, бывшем в 1858 году.

Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого русского; он писал мне, что имеет «необходимость меня видеть», и просил назначить время. Я в это время шел в Лондон, а потому, вместо всякого ответа, зашел сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все молчал; видно было, что

у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать что.

Я ушел, пригласивши его дни через два-три обедать. Прежде этого я его встретил на улице.

— Можно с вами идти? — спросил он.

— Конечно, — не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик…

— Я не боюсь, — и тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию… нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию…

— Помилуйте, вы так молоды?

— Я Россию люблю, очень люблю; но там люди… там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизовы острова.

Я смотрел на него с немым удивлением.

— Да… да. Это дело решенное — я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос?

— Сколько хотите.

— Имеете вы выгоду от ваших публикаций?

— Какая же выгода? Хорошо, что теперь печать

окупается.

— Ну, а если не будет окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели?

Я расхохотался.

— Ну, да как же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима… Вы меня простите, я не из любопытства спрашиваю: у меня была мысль — оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее, я и решился… да только прежде хотел знать от вас самих насчет дел… Да-с, так я и решился оставить у вас немного денег. На случай, если вашей типографии нужно или для русской пропаганды вообще, так вы бы и распорядились.

Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением.

— Ни типография, ни пропаганда, ни я — в деньгах мы не нуждаемся; напротив, дело идет в гору, зачем же я возьму ваши деньги? Но, отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за доброе намеренье.

— Нет-с, это дело решенное. У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.

— Куда же я их дену?

— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, подумавши, — делайте что хотите, но… но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сделайте одолжение, в банк и к Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умею по-английски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и ехать.

— Извольте, я деньги принимаю, но вот на каких основаниях: я вам дам расписку…

— Никакой расписки мне не нужно…

— Да, но мне нужно дать, и без этого ваших денег не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах и у вас явится тоска по родине (он покачал головой)… почем знаешь, чего не знаешь… то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует, а мы скажем, что… деньги эти отдаются в полное распоряжение мое и Огарева;

буде же мы иного распоряжения не сделаем, то купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством, в 5 % или около. Затем, даю вам слово, что без явной крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем; вы на них можете считать во всех случаях, кроме банкрутства в Англии.

— Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их… а завтра едем за деньгами.

Следующий день был необыкновенно смешон и суетлив. Началось с банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнациями. Б<ахметев> возымел сначала благое намерение разменять их на *испанское* золото или серебро. Конторщики Рот<шильда> смотрели на него с изумлением, но когда вдруг, как спросонья, он сказал совершенно ломаным франко-русским языком: «Ну, так летр креди иль Маркиз»[1272], тогда Кестнер, директор бюро, обернул на меня испуганный и тоскливый взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли» К тому же никто еще никогда в доме у Ротшильда не требовал кредитива на Маркизские острова.

[1272] Сноски: 1272
аккредитив на Маркизские острова *(искаж. фр.).*

Решились тридцать тысяч взять золотом и ехать домой; по дороге заехали в кафе, — я написал расписку; Б<ахметев>, с своей стороны, написал мне, что отдает в полное распоряжение мое и Огар<ева> восемьсот фунтов. Потом он ушел зачем-то домой, а я отправился его ждать в книжную лавку; через четверть часа он пришел бледный, как полотно, и объявил, что у него из 30 000 недостает 250 фр., т. е. 10 liv. Он был совершенно сконфужен. Как потеря 250 фр. могла так перевернуть человека, отдававшего без всякой серьезной гарантии 20 т., — опять психологическая загадка натуры человеческой.

— Нет ли лишней бумажки у вас?

— Со мной денег нет, я отдал Rothsch<ild'y>, и вот расписка: ровно 800 фунтов получено.

Б<ахметев>, разменявший без всякой нужды на фунты свои ассигнации, рассыпал на конторке Тх<оржевского> 30 000; считал, пересчитывал, — нету 10 фунтов, да и только. Видя его отчаянье, я сказал Тхор<жевскому>:

— Я как-нибудь на себя возьму эти проклятые десять фунтов, а то он же сделал доброе дело, да он же и наказан.

— Горевать и толковать тут не поможет, — прибавил я ему, — я предлагаю ехать сейчас

к Ротшильду.

Мы поехали. Было уже позже четырех, и касса заперта. Я взошел с сконфуженным Б<ахметевым>. Кестнер посмотрел на него и, улыбаясь, взял со стола десятифунтовую ассигнацию и подал ее мне.

— Это каким образом?

— Ваш друг, меняя деньги, дал вместо двух 5-фунтовых две десятифунтовые ассигнации, а я сначала не заметил.

Б<ахметев> смотрел, смотрел и прибавил:

— Как глупо: одного цвета и 10 фунтов и 5 фунтов, — кто же догадается? Видите, как хорошо, что я разменял деньги на золото.

Успокоившись, он поехал ко мне обедать, а на другой день я обещался прийти к нему проститься. Он был совсем готов. Маленький кадетский или студентский, вытертый, распертый чемоданчик, шинель, перевязанная ремнем, и… и *тридцать тысяч франков золотом, завязанные* в толстом фуляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов.

Так ехал этот человек в Маркизские острова.

— Помилуйте, — говорил я ему, — да вас убьют и ограбят, прежде чем вы отчалите от берега. Положите лучше в чемоданчик деньги.

— Он полон.

— Я вам сак достану.

Ни под каким видом.

Так и уехал. Я первые дни думал: «Чего доброго, его укокошат, а на меня падет подозрение, что подослал его убить».

С тех пор об нем не было ни слуху ни духу. Деньги его я положил в фонды с твердым намерением не касаться до них без крайней нужды типографии или пропаганды.

В России долгое время никто не знал об этом, потом ходили смутные слухи… чему мы обязаны двум-трем нашим приятелям, давшим слово не говорить об этом. Наконец узнали, что деньги действительно есть и хранятся у меня.

Весть эта пала каким-то яблоком искушенья, каким-то хроническим возбуждением и ферментом. Оказалось, что деньги эти нужны всем, а я их не давал. Мне не могли простить, что я не потерял всего своего состояния, а тут у меня депо[1273], данный для пропаганды; а кто же пропаганда, как не они? Сумма вскоре выросла из скромных франков *в рубли серебром* и дразнила еще больше желавших сгубить ее *частно*

[1273] Сноски: 1273
вклад (*фр*. dépôt*).*

на общее дело. Негодовали на Б<ахметева>, что он мне деньги вверил, а не кому-нибудь другому; самые смелые утверждали, что это с его стороны была ошибка, что он *действительно хотел* отдать их не мне, а одному петербургскому кругу и что, не зная, как это сделать, отдал в Лондоне мне. Отважность в этих суждениях была тем замечательнее, что о фамилии Б<ахметева> так же никто не знал, как и о его существовании, и что он о своем предположении ни с кем не говорил до своего отъезда, а после его отъезда с ним никто не говорил.

Одним деньги эти нужны были для посылки эмиссаров, другим для образования центров на Волге, третьим для издания журнала. «Колоколом» они были недовольны и на наше приглашение работать в нем что-то поддавались туго.

Я решительно денег не давал, и пусть требовавшие их сами скажут, где они были бы, если б я дал.

— Б<ахметев>, — говорил я, — может воротиться без гроша; трудно сделать аферу, заводя социалистическую колонию на Маркизских островах.

— Он, наверное, умер.

— А как, назло вам, жив?

— Да ведь он деньги эти дал на пропаганду.

— Пока мне на нее не нужно.

— Да нам нужно.

— На что именно?

— Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь в Одессу.

— Не думаю, чтоб очень нужно было

— Так вы не верите в необходимость послать?

— Не верю.

«Стареет и становится скуп», — говорили обо мне на разные тоны самые решительные и свирепые. «Да что на него смотреть — взять у него эти деньги да и баста», — прибавляли еще больше решительные и свирепые. «А будет упираться, мы его так продернем в журналах, что будет помнить, как задерживать чужие деньги».

Денег я не дал.

В журналах они не продергивали. Ругательства в печати являются гораздо позже, но тоже из-за денег.

…Эти *более свирепые, о* которых я сказал, были те ультра, те угловатые и шершавые представители «нового поколения», которых можно назвать *Собакевичами и Ноздревыми нигилизма.*

Как ни излишне делать оговорку, но я ее сде-

лаю, зная логику и манеру наших противников. В моих словах нет ни малейшего желания бросить камень ни в молодое поколение, ни в нигилизм. О последнем я писал много раз. Наши Собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения их, а представляют их чересчурную крайность[1274]. Кто же станет христианство судить по Оригеновым хлыстам и революцию по сентябрьским мясникам и робеспьеровским чулочницам?

Заносчивые юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они выражают временной *mun,* очень определенно вышедший, очень часто повторявшийся, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя.

Большей частью они не имели той выправки, которую дает воспитание, и той выдержки, которая приобретается научными занятиями. Они торопились в первом задоре освобожденья сбросить с себя все условные формы и оттолкнуть все каучуковые подушки, мешающие жестким

[1274] Сноски: 1274

В то самое время в Петербурге и Москве, даже в Казани и Харькове образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшие себя изучению науки, особенно между медиками. Честно и добросовестно трудились они, но, устраненные от бойкого участия в вопросах дня, они не были вынуждены покидать России, и мы их почти вовсе не знали.

столкновениям. Это затруднило все простейшие отношения с ними.

Снимая все до последнего клочка, наши enfants terribles[1275] гордо являлись как *мать родила,* а родила-то она их плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наследниками дурной и нездоровой жизни низших петербургских слоев. Вместо атлетических мышц и юной наготы обнаружились печальные следы наследственного худосочья, следы застарелых язв и разного рода колодок и ошейников. Из народа было мало выходцев между ними. Передняя, казарма, семинария, мелкопоместная господская усадьба, перегнувшись в противуположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих. На это, сколько мне известно, не обращали должного внимания.

С одной стороны, реакция против старого, узкого, давившего мира должна была бросить молодое поколение в антагонизм и всяческое отрицание враждебной среды — тут нечего искать ни меры, ни справедливости. Напротив, тут делается назло, тут делается в отместку. «Вы лицемеры — мы будем циниками; вы были нравственны на сло-

---

[1275] Сноски: 1275
сорванцы *(фр.).*

вах — мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими — мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, — мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести — мы за честь себе поставим попрание всех приличий и презрение всех points d'honneur'ов».

Но, с другой стороны, эта отрешенная от обыкновенных форм общежительства личность была полна своих наследственных недугов и уродств. Сбрасывая с себя, как мы сказали, все покровы, самые отчаянные стали щеголять в костюме гоголевского Петуха, и притом не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома. Народ их так же мало счел за своих, как славянофилов в мурмолках. Для него они остались чужим, низшим слоем враждебного стана, исхудалыми баричами, строкулистами без места, немцами из русских.

Для полной свободы им надобно забыть свое освобождение и то, из чего освободились, бросить привычки среды, из которой выросли. Пока этого не сделано, мы невольно узнаем переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову.

Бить в рожу по первому возражению, если не кулаком, то ругательным словом, называть Ст. Милля *ракальей*, забывая всю службу его, — разве это не барская замашка, которая «старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус и рыло»? Разве в этой и подобных выходках вы не узнаете квартального, исправника, станового, таскающего за седую бороду бурмистра? Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины, и в людях, говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, — внучат Скалозуба, получивших воспитание в доме дедушки, хотевшего «дать фельдфебеля в Вольтеры»?

Самая проказа взяток уцелела в домогательстве денег нахрапом, с пристрастием и угрозами, под предлогом общих дел, в поползновении кормиться на счет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ.

Все это переработается и перемелется; но нель-

зя не сознаться — странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизация в нашем «темном царстве». Почву, в которой многообещающие всходы проросли, с одной стороны, поклонниками Муравьевых и Катковых, с другой — *дантистами* нигилизма и базаровской беспардонной вольницы.

Много дренажа требуют наши черноземы!

<Глава IV>
М. Бакунин и польское дело

В конце ноября мы получили от Бакунина следующее письмо:

«15 октября 1861. С.-Франсиско. Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско.

Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по *польско-славянскому* вопросу, который был моей idée fixe с 1846 и моей *практической специальностью* в 48 и 49 годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не гово-

рю — делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является *славная* вольная *славянская* федерация, единственный исход для России, Украйны, Польши и вообще для славянских народов…»

О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде.

К Новому году явилась и собственная пышная фигура Бакунина в наших объятиях.

В нашу работу, в наш замкнутый двойной союз взошел новый элемент, или, пожалуй, элемент старый, воскресшая тень сороковых годов и всего больше 1848 года. Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время «всенощных» споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro

и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революций, среди разгрома и грозной обстановки[1276]. Он и теперь, как в статьях Жюль Элизара, повторял: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust»[1277]. Фантазии и идеалы, с которыми его заперли в Кенигштейне в 1849, он сберег и привез их через Японию и Калифорнию в 1861 году во всей целости. Даже язык его напоминал лучшие статьи «Реформы» и «Vraie République», резкие речи de la Constituante[1278] и клуба Бланки. Тогдашний дух партий, их исключительность, их симпатии и антипатии к лицам и пуще всего их вера в близость второго пришествия революции — все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят; они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем они лишились сознания. Декабристы возвратились из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая

[1276] Сноски: 1276
О Бакунине в IV «Былого и дум», в главе «Сазонов».

[1277] Сноски: 1277
«Страсть к разрушению — страсть созидающая» *(нем.).*

[1278] Сноски: 1278
Учредительного собрания *(фр.).*

их встретила. В то время как два поколенья французов несколько раз менялись, краснели и бледнели, поднимаемые приливами и уносимые назад отливами, Барбес и Бланки остались бессменными маяками, напоминавшими из-за тюремных решеток, из-за чужой дали прежние идеалы во всей чистоте.

«Польско-славянский вопрос… разрушение Австрийской империи… вольная славянская и *славная* федерация…» И все это сейчас, как только он приедет в Лондон… и пишется из С.-Франсиско — одна нога в корабле!

Европейская реакция не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы от 1848 до 1858 — они ему были известны вкратце, издалека, слегка. Он их *прочел* в Сибири — так, как читал в Кайданове о Пунических войнах и о падении Римской империи. Как человек, возвратившийся после мора, он слышал, кто умер, и вздохнул об них обо всех; но он не сидел у изголовья умирающих, не надеялся на их спасение, не шел за их гробом. Совсем напротив, события 1848 были возле, близки к сердцу, подробные и живые… разговоры с Косидьером, речи славян на Пражском съезде, споры с Араго или Руге — все это было для Бакунина вчера, звенело в ушах,

мелькало перед глазами.

Впрочем, оно и, сверх тюрьмы, немудрено.

Первые дни после Февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речь на польской годовщине 29 ноября 1847, он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними… и проповедовал… все проповедовал: коммунизм et l'égalité du salaire[1279], нивелирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революцию en permanence[1280], войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший «порядок из беспорядка», Косидьер не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом отправить его в самом деле к славянам с братской акколадой[1281] и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать

[1279] Сноски: 1279
и равенство заработной платы *(фр.)*.

[1280] Сноски: 1280
непрерывную *(фр.)*.

[1281] Сноски: 1281
объятием (*фр.* accolade).

не будет. «Quel homme! Quel homme![1282], — говорил Косидьер о Бакунине. — В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять»[1283].

Когда я приехал в Париж из Рима, в начале мая 1848, Бакунин уже витийствовал в Богемии, окруженный староверческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витийствовал до тех пор, пока князь Виндишгрец не положил пушками предел красноречия (и не воспользовался хорошим случаем, чтоб по сей верной оказии не подстрелить невзначай своей жены). Исчезнув из Праги, Бакунин является военным начальником Дрездена; бывший артиллерийский офицер учит военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов… советует им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо поставить на городские стены и ими защищаться

[1282] Сноски: 1282

«Что за человек! Что за человек!» *(фр.)*

[1283] Сноски: 1283

— Скажите Косидьеру, — говорил я шутя его приятелям, — что тем-то Бакунин и отличается от него, что и Косидьер славный человек, но что его лучше бы расстрелять накануне революции. Впоследствии, в Лондоне в 1854 году, я ему помянул об этом. Префект в изгнании только ударял огромным кулаком своим в молодецкую грудь с той силой, с которой вбивают сваи в землю, и говорил: «Здесь ношу Бакунина… здесь!»

от пруссаков, которые zu klassisch gebildet[1284], чтоб осмелились стрелять по Рафаэлю.

Артиллерия ему вообще помогала. По дороге из Парижа в Прагу он наткнулся где-то в Германии на возмущение крестьян, — они шумели и кричали перед замком, не умея ничего сделать. Бакунин вышел из повозки и, не имея времени узнать в чем дело, построил крестьян и так ловко научил их, что, когда пошел садиться в повозку, чтоб продолжать путь, замок пылал с четырех сторон.

Бакунин когда-нибудь переломит свою лень и сдержит обещание: он когда-нибудь расскажет длинный мартиролог, начавшийся для него после взятия Дрездена. Напомню здесь главные черты. Бакунин был приговорен к эшафоту. Король саксонский заменил топор вечной тюрьмой, потом, без всякого основания, передал его в Австрию. Австрийская полиция думала от него узнать что-нибудь о славянских замыслах. Бакунина посадили в Градчин и, ничего не добившись, отослали его в Ольмюц. Бакунина, скованного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который <сел> с ним в повозку, зарядил при нем

[1284] Сноски: 1284
образованы в слишком классическом духе *(нем.)*.

пистолет.

— Это для чего же? — спросил Бакунин. — Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?

— Нет, но вас могут отбить ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае…

— Что же?

— Мне приказано посадить вам пулю в лоб.

И товарищи поскакали.

В Ольмюце Бакунина *приковали к стене* и в этом положении он пробыл *полгода.* Австрии наконец наскучило даром кормить чужого преступника; она предложила России его выдать; Николаю вовсе не нужно было Бакунина, но отказаться он не имел сил. На русской границе с Бакунина сняли цепи — об этом акте милосердия я слышал много раз; действительно, цепи с него сняли, но рассказчики забыли прибавить, что зато надели другие, гораздо тяжеле. Офицер австрийский, сдавший арестанта, потребовал цепи как казенную к.-к.[1285] собственность.

Николай похвалил храброе поведение Бакунина в Дрездене и посадил его в Алексеевский раве-

---

[1285] Сноски: 1285
императорско-королевскую (*нем.* kaiserlich-königliche*).*

лин. Туда он прислал к нему Орлова и велел ему сказать, что он желает от него записку о немецком и славянском движении (монарх не знал, что все подробности его были напечатаны в газетах). Записку эту он «требовал не как царь, а как духовник». Бакунин спросил Орлова, как понимает государь слово «духовник»: в том ли смысле, что все сказанное на духу должно быть святой тайной? Орлов не знал, что сказать, — эти люди вообще больше привыкли спрашивать, чем отвечать. Бакунин написал журнальный leading article[1286]. Николай и этим был доволен. «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать назаперти», и *три целых года* после этого высочайшего одобрения Бакунин был схоронен в Алексеевском равелине. Содержание, должно быть, было хорошо, когда и этот гигант изнемогал до того, что хотел лишить себя жизни. В 1854 Бакунина перевели в Шлюссельбург. Николай боялся, что Чарльз Непир его освободит, но Чарльз Непир и C-nie освободили не Бакунина от равелина, а Россию от Николая. Александр II, несмотря на припадок милостей и великодуший, оставил Бакунина в крепости

[1286] Сноски: 1286
передовую статью.

до 1857 года, потом послал его на житье в Восточную Сибирь. В Иркутске он очутился на воле после девятилетнего заключения. Начальником края был там, на его счастье, оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михайлы Бакунина и Михайлы Муравьева и сам Муравьев, тогда еще не Амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возможность человечески жить, читать журналы и газеты, и сам мечтал с ним… о будущих переворотах и войнах. В благодарность Муравьеву Бакунин в голове назначил его главнокомандующим будущей земской армией, назначаемой им, в свою очередь, на уничтожение Австрии и учреждение славянского союзничества.

В 1860 году мать Бакунина просила государя о возвращении сына в Россию; государь сказал, что «при жизни его Бакунина из Сибири не переведут», но, чтоб и она не осталась без утешенья и царской милости, он разрешил ему *вступить в службу писцом.*

Тогда Бакунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст императора, решился бежать; я его в этом совершенно оправдываю. Последние годы лучше всего доказывают, что ему нечего в Сибири было ждать. Девяти лет каземата

и нескольких лет ссылки было за глаза довольно. Не от его побега, как говорили, стало хуже политическим сосланным, а от того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое влияние имел побег Бакунина на гнусное преследование, добивание Михайлова? А что какой-нибудь Корсаков получил выговор… об этом не стоит и говорить. Жаль, что не два.

Бегство Бакунина замечательно пространствами, это самое длинное бегство в географическом смысле. Пробравшись на Амур под предлогом торговых дел, он уговорил какого-то американского шкипера взять его с собой к японскому берегу. В Гакодади (?) другой американский капитан взялся его довести до С.-Франсиско. Бакунин отправился к нему на корабль и застал моряка, сильно хлопотавшего об обеде; он ждал какого-то почетного гостя и пригласил Бакунина. Бакунин принял приглашение и, только когда гость приехал, узнал, что это генеральный русский консул.

Скрываться было поздно, опасно, смешно… он прямо вступил с ним в разговор, сказал, что отпросился сделать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла в море и собиралась плыть к Николаеву.

— Вы не с нашими ли возвращаетесь? — спро-

сил консул.

— Я только что приехал, — отвечал Бакунин, — и хочу еще посмотреть край.

Вместе покушавши, они разошлись en bons amis[1287]. Через день он проплыл на американском пароходе мимо русской эскадры… Кроме океана, опасности больше не было.

Как только Бакунин огляделся и учредился в Лондоне, т. е. перезнакомился со всеми поляками и русскими, которые были налицо, он принялся за дело. С страстью проповедования, агитации… пожалуй, демагогии, с беспрерывными усилиями учреждать, устроивать комплоты, переговоры, заводить сношения и придавать им огромное значение у Бакунина прибавляется готовность первому идти на исполнение, готовность погибнуть, отвага принять все последствия. Это натура героическая, оставленная историей не у дел. Он тратил свои силы иногда на вздор, так, как лев тратит шаги в клетке, все думая, что выйдет из нее. Но он не ритор, боящийся исполнения своих слов или уклоняющийся от осуществления своих общих теорий…

Бакунин имел много недостатков. Но недостат-

[1287] Сноски: 1287
добрыми друзьями *(фр.)*.

ки его были мелки, а сильные качества — крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни?

Говорят, будто И. Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине… но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой Бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина.

В Лондоне он, во-первых, стал *революционировать* «Колокол» и говорил в 1862 против нас почти то, что говорил в 1847 про Белинского. *Мало было* пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организация в крае, — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени

поставит нас на путь истинный. В ожидании нашего обращения Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи, от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке — Иоанович, Данилович, Петрович; были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным *еско* на конце; наконец, был болгар, лекарь в турецкой армии, и поляки всех епархий… бонапартовской, мерославской, чарторижской… демократы без социальных идей, но с офицерским оттенком; социалисты-католики, анархисты-аристократы и просто солдаты, хотевшие где-нибудь подраться, в Северной или Южной Америке… и преимущественно в Польше.

Отдохнул с ними Бакунин за девятилетнее молчание и одиночество. Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, остававшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы и принимался писать — пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию

и Белокриницу. Середь письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата… и, не кончивши своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой.

В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный bohème с rue de Bourgogne[1288]; без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам <готов> отдать всякому последние деньги, отделив от них что следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил, он родился быть великим бродягой, великим бездомовником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал

[1288] Сноски: 1288
богема с Бургундской улицы *(фр.)*.

Лаланд Наполеону о Боге: «Sire, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве!»

В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан[1289].

Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи *родины,* т. е. студентской жизни в Москве, — груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая… с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятую сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянского освобождения.

[1289] Сноски: 1289

Когда в споре Бакунин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Бакунину прощали, и я первый. Мартьянов, бывало, говаривал: «Это, Олександр Иванович, — большая Лиза, как же на нее сердиться — дитя!»

Долго после отъезда Бакунина из Лондона — № 10 Paddington green — рассказывали об его житье-бытье, ниспровергнувшем все упроченные английскими мещанами понятия и религиозно принятые ими размеры и формы. Заметьте при этом, что горничная и хозяйка без ума любили его.

— Вчера, — говорит Бакунину один из его друзей, — приехал такой-то из России; прекраснейший человек, бывший офицер.

— Я слыхал об нем, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непременно, да что привести! Где он? Сейчас!

— Он, кажется, несколько конституционалист.

— Может быть, но…

— Но, я знаю, рыцарски отважный и благородный человек.

— И верный?

— Его очень уважают в Orsett House'е.

— Идем.

— Куда же? Ведь он хотел к вам прийти, мы так сговорились — я его приведу.

Бакунин бросается писать; пишет, кой-что перемарывает, переписывает и надписывает в Яссы, запечатывает пакет и в беспокойстве ожидания

начинает ходить по комнате ступней, от которой и весь дом 10 № Paddington green ходит ходнем с ним вместе.

Является офицер — скромно и тихо. Бакунин le met à l'aise[1290], говорит, как товарищ, как молодой человек, увлекает, журит за конституционализм и вдруг спрашивает:

— Вы, наверно, не откажетесь сделать что-нибудь для общего дела?..

— Без сомнения…

— Вас здесь ничего не удерживает?..

— Ничего; я только что приехал… я…

— Можете вы ехать завтра, послезавтра с этим письмом в Яссы?

Этого не случалось с офицером ни в действующей армии во время войны, ни в генеральном штабе во время мира, однако, привыкнувший к военному послушанию, он, помолчавши, говорит не совсем своим голосом:

— О, да!

— Я так и знал. Вот письмо, совсем готовое.

— Да я хоть сейчас… только… — офицер конфузится, — …я никак не рассчитывал на эту поездку.

[1290] Сноски: 1290
усаживает его поудобнее *(фр.)*.

— Что? Денег нет? Ну, так и говорите. Это ничего не значит. Я возьму для вас у Герцена — вы ему потом отдадите. Что тут… всего… всего какие-нибудь 20 liv. Я сейчас напишу ему. В Яссах вы деньги найдете. Оттуда проберитесь на Кавказ. Там нам особенно нужен верный человек…

Пораженный, удивленный офицер и его сопутник, пораженный и удивленный, как и он, уходят. Маленькая девочка, бывшая у Бакунина на больших дипломатических посылках, летит ко мне по дождю и слякоти с запиской. Я для нее нарочно завел шоколад en losange[1291], чтоб чем-нибудь утешить ее в климате ее отечества, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

— Скажите высокому gentleman'у, что я лично с ним переговорю.

Действительно, переписка оказывается излишней: к обеду, т. е. через час, является Бакунин.

— Зачем двадцать фунтов для **?

— Не для него, для *дела*… а что, брат, ** — прекраснейший человек!

— Я его знаю несколько лет — он бывал прежде в Лондоне.

— Это такой случай… пропустить его грешно,

[1291] Сноски: 1291
в ромбиках *(фр.).*

я его посылаю в Яссы. Да потом он осмотрит Кавказ.

— В Яссы?.. И оттуда на Кавказ?

— Ты пойдешь сейчас острить… Каламбурами ничего не докажешь…

— Да ведь тебе ничего не нужно в Яссах.

— Ты почем знаешь?

— Знаю потому, во-первых, что никому ничего не нужно в Яссах, а во-вторых, если б нужно было, ты неделю бы постоянно мне говорил об этом. Тебе попался человек… молодой, застенчивый, хотящий доказать свою преданность, — ты и придумал послать его в Яссы. Он хочет видеть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка, зачем?

— Какой любопытный. Ты в эти дела со мной не входишь — какое же ты имеешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этот секрет ты скроешь ото всех… ну, а только денег давать на гонцов в Яссы и Букарест я нисколько не намерен.

— Ведь он отдаст — у него деньги будут.

— Так пусть умнее употребит их; полно, полно — письмо пошлешь с каким-нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдем есть.

И Бакунин, сам смеясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за труд обеда, после которого всякий раз говорил: «Теперь настала счастливая минута» — и закуривал папироску.

Бакунин принимал всех, всегда, во всякое время. Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели, которая хрустела, а уж два-три славянина с отчаянной торопливостью курили в его комнате; он тяжело вставал, обливался водой и в ту же минуту принимался их поучать; никогда не скучал он, не тяготился ими; он мог не уставая говорить со свежей головой с самым умным и самым глупым человеком. От этой неразборчивости выходили иногда пресмешные вещи.

Бакунин вставал поздно — нельзя было иначе и сделать, употребляя ночь на беседу и чай.

Раз, часу в одиннадцатом, слышит он, кто-то копошится в его комнате. Постель его стояла в большом алькове, задернутом занавесью.

— Кто там? — кричит Бакунин, просыпаясь.

— Русский.

— Ваша фамилия?

— Такой-то.

— Очень рад.

— Что вы это так поздно встаете — а еще де-

мократ…

…Молчание… слышен плеск воды… каскады.

— Михаил Александрович!

— Что?

— Я вас хотел спросить: вы венчались в церкви?

— Да.

— Нехорошо сделали. Что за образец непоследовательности — вот и Тургенев свою дочь прочит замуж. Вы, старики, должны нас учить… примером.

— Что вы за вздор несете…

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вам что за дело?

— У нас был слух, что вы женились оттого, что невеста ваша была богата[1292].

— Что вы это — допрашивать меня пришли. Ступайте к черту!

— Ну, вот вы и рассердились — а я, право, от чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.

— Хорошо, хорошо — только будьте умнее.

…Между тем польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на несколько дней в Лондоне Потебня. Грустный, чистый,

---

[1292] Сноски: 1292

Бакунин ничего не взял за невестой.

беззаветно отдавшийся урагану, он приезжал поговорить с нами от себя и от товарищей и — все-таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки из края: их язык был определеннее и резче, они шли к взрыву — прямо и сознательно. Мне с ужасом мерещилось, что они идут в неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потебню и его товарищей, — говорил я Бакунину, — и тем больше, что вряд по дороге ли им с поляками…

— По дороге, по дороге, — возражал Бакунин. — Не сидеть же нам вечно сложа руки и рефлектируя. Историю надобно принимать как представляется, не то всякий раз будешь зауряд то позади, то впереди.

Бакунин помолодел — он был в своем элементе. Он любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады — он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь конспирации, консультаций, неспаных ночей, переговоров, договоров, ректификаций[1293], шифров, химических чернил и условных знаков. Кто из участников не знает, что репетиции

[1293] Сноски: 1293
исправлений (*фр.* rectification).

к домашнему спектаклю и приготовление елки составляют одну из лучших и изящных частей. Но как он ни увлекался приготовлениями *елки,* у меня на сердце скреблись кошки — я постоянно спорил с ним и нехотя делал не то, что хотел.

Здесь я останавливаюсь на грустном вопросе. Каким образом, откуда взялась во мне эта уступчивость с ропотом, эта слабость с мятежом и протестом? С одной стороны, достоверность, что поступать надобно так; с другой — готовность поступать совсем иначе. Эта шаткость, эта неспетость, dieses Zögernde[1294] наделали в моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утеху в сознании ошибки невольной, несознанной; я делал промахи à contre-cœur[1295] — вся отрицательная сторона была у меня перед глазами. Я рассказывал в одной из предыдущих частей мое участие в 13 июне 1849. Это тип того, о чем я говорю. Ни на одну минуту я не верил в успех 13 июня, я видел нелепость движенья и его бессилие, народное равнодушие, освирепелость реакции и мелкий уровень революционеров; я писал об этом и все же пошел на площадь, сме-

---

[1294] Сноски: 1294
эта нерешительность *(нем.).*

[1295] Сноски: 1295
поневоле *(фр.).*

ясь над людьми, которые шли.

Сколькими несчастиями было бы меньше в моей жизни… сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слушаться самого себя… Меня упрекали в увлекающемся характере… Увлекался и я, но это не составляет главного. Отдаваясь по удобовпечатлительности, я тотчас останавливался — мысль, рефлекция и наблюдательность всегда почти брали верх в теории, но не в практике. Тут и лежит вся трудность задачи, почему я давал себя вести nolens-volens[1296]… Причиной быстрой сговорчивости был ложный стыд, а иногда и лучшие побуждения — любви, дружбы, снисхождения… но почему же все это побеждало логику?..

…После похорон Ворцеля, 5 февраля 1857, когда все провожавшие разбрелись по домам, и я, воротившись в свою комнату, сел грустно за свой письменный стол, мне пришел в голову печальный вопрос: не опустили ли мы в землю вместе с этим праведником и не схоронили ли с ним все наши отношения с польской эмиграцией?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющим началом при беспрерывно возникав-

---

[1296] Сноски: 1296
волей-неволей *(лат.).*

ших недоразумениях, исчезла, а недоразумения остались. Частно, лично мы могли любить того, другого из поляков, быть с ними близкими, но вообще одинакового пониманья между нами было мало, и оттого отношения наши были натянуты, *добросовестно* неоткровенны, мы делали друг другу уступки, т. е. ослабляли сами себя, уменьшали друг в друге чуть ли не лучшие силы.

Договориться до одинакого пониманья было невозможно. Мы шли с разных точек — и пути наши только пересекались в общей ненависти к петербургскому самовластью. Идеал поляков был *за ними:* они шли к своему прошедшему, насильственно срезанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У них была бездна мощей, а у нас — пустые колыбели. Во всех их действиях и во всей поэзии столько же отчаянья, сколько яркой веры.

Они ищут воскресения мертвых — мы хотим поскорее схоронить своих. Формы нашего мышленья, упованья не те, весь гений наш, весь склад не имеет ничего сходного. Наше соединение с ними казалось им то mésalliance'ом, то рассудочным браком. С нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины — мы сознавали свою косвенную вину, мы любили их отвагу и уважали

их несокрушимый протест. Что они могли в нас любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь с нами, они делали для нескольких русских почетное исключение.

В острожной темноте николаевского царствования, сидя назаперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали друг другу, чем знали. Но когда окно немного приотворилось, мы догадались, что нас привели по разным дорогам и что мы разойдемся по разным. После Крымской кампании мы радостно вздохнули — а их наша радость оскорбила: новый воздух в России им напомнил их утраты, а не надежды. У нас новое время началось с заносчивых требований, мы рвались вперед, готовые все ломать… у них — с панихид и упокойных молитв.

Но правительство второй раз нас спаяло с ними. Перед выстрелами по попам и детям, по распятьям и детям, перед выстрелами по гимнам и молитвам замолкли все вопросы, стерлись все разницы… Со слезами и плачем написал я тогда ряд статей, глубоко тронувших поляков.

Старик Адам Чарторижский со смертного одра прислал мне с сыном теплое слово, в Париже депутация поляков поднесла мне адрес, подписанный четырьмястами изгнанников,

к которому присылались подписи отовсюду, даже от польских выходцев, живших в Алжире и Америке. Казалось, во многом мы были близки, но шаг глубже — и рознь, резкая рознь бросалась в глаза.

…Раз у меня сидели Ксаверий Браницкий, Хоецкий и еще кто-то из поляков — все они были проездом в Лондоне и заехали пожать мне руку за статьи. Зашла речь о выстреле в Константина.

— Выстрел этот, — сказал я, — страшно повредит вам. Может, правительство и уступило бы кое-что — теперь оно ничего не уступит и сделается вдвое свирепее.

— Да мы только этого и хотим! — заметил с жаром Ш.-Э. — Для нас нет хуже несчастья, как уступки… мы хотим разрыва… открытой борьбы!

— Желаю от души, чтоб вы не раскаялись.

Ш.-Э. иронически улыбнулся, и никто не прибавил ни слова. Это было летом 1861. А через полтора года говорил то же Падлевский, отправляясь *через Петербург* в Польшу.

Кости были брошены!..

Бакунин верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы, да *верило и само правительство* — как ока-

залось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм.

Бакунин, не слишком останавливаясь на взвешивании всех обстоятельств, смотрел на одну дальнюю цель и принял второй месяц беременности за девятый. Он увлекал не доводами, а желанием. Он *хотел* верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украйна восстанут, как один человек, услышав о Варшаве; он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтоб узаконить раскол.

В том, что между офицерами войск, расположенных в Польше и Литве, общество, к которому принадлежал Потебня, росло и крепло, — в этом сомнения не могло быть; но оно далеко не имело той силы, которую ему преднамеренно придавали поляки и наивно Бакунин…

Как-то в конце сентября пришел ко мне Бакунин особенно озабоченный и несколько торжественный.

— Варшавский Центральный комитет, — сказал он, — прислал двух членов, чтоб переговорить с нами. Одного из них ты знаешь — это Падлев-

ский; другой — Гиллер, закаленный боец, — он из Польши прогулялся в кандалах до рудников и, только что возвратился, снова принялся за дело. Сегодня вечером я их приведу к вам, а завтра соберемся у меня — надобно *окончательно определить наши отношения.*

Тогда набирался мой ответ офицерам[1297].

— Моя программа готова — я им прочту мое письмо.

— Я согласен с твоим письмом, ты это знаешь… но не знаю, все ли понравится им; во всяком случае, я думаю, что этого им будет мало.

Вечером Бакунин пришел с тремя гостями вместо двух. Я прочел мое письмо. Во время разговора и чтения Бакунин сидел встревоженный, как бывает с родственниками на экзамене или с адвокатами, трепещущими, чтоб их клиент не проврался бы и не испортил бы всей *игры защиты,* хорошо налаженной, если не по всей правде, то к успешному концу.

Я видел по лицам, что Бакунин угадал и что чтение не то чтоб особенно понравилось.

— Прежде всего, — заметил Гиллер, — мы прочтем письмо к вам от Центрального комитета.

[1297] Сноски: 1297
«Колокол», 1862.

Читал М<илович>; документ этот, известный читателям «Колокола», *был написан по-русски* — не совсем правильным языком, но ясно. Говорили, что я его перевел с французского и переиначил, — *это неправда.* Все трое говорили хорошо по-русски.

Смысл акта состоял в том, чтоб через нас сказать русским, что слагающееся польское правительство согласно с нами и кладет в основание своих действий *«признание <права> крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякого народа располагать своей судьбой».* Это заявление, говорил М., обязывало меня смягчить вопросительную и «сомневающуюся» форму в моем письме. Я согласился на некоторые перемены и предложил им с своей стороны посильнее оттенить и яснее высказать мысль об самозаконности провинций — они согласились. Этот спор из-за слов показывал, что сочувствие наше к одним и тем же вопросам не было *одинаково.*

На другой день утром Бакунин уже сидел у меня. Он был недоволен мной, находил, что я слишком холоден, как будто не доверяю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не делали таких уступок. — Они выражаются другими словами, принятыми у них, как катехи-

зис; нельзя же им, подымая национальное знамя, на первом шаге оскорбить раздражительное народное чувство…

— Мне все кажется, что им до крестьянской земли в сущности мало дела, а до провинций слишком много.

— Любезный друг, у тебя в руках будет документ, поправленный тобой, подписанный при всех нас, чего же тебе еще?

— Есть-таки кое-что.

— Как для тебя труден каждый шаг — ты вовсе не практический человек.

— Это уже прежде тебя говорил Сазонов.

Бакунин махнул рукой и пошел в комнату к Огареву. Я печально смотрел ему вслед; я видел, что он запил свой революционный запой и что с ним не столкуешь теперь. Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколенья. За восстанием в Варшаве он уже видел свою «славную и славянскую» федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением… он уже видел красное знамя «Земли и воли» развевающимся на Урале и Волге, на Украйне и Кавказе, пожалуй, на Зимнем дворце и Петропавловской крепости — и *торопился* сгладить *как-нибудь* затруднения, затушевать

противуречия, не выполнить овраги, а бросить через них *чертов мост.*

— Ты точно дипломат на Венском конгрессе, — повторял мне с досадой Бакунин, когда мы потом толковали у него с представителями жонда, — придираешься к словам и выражениям. Это — не журнальная статья, не литература.

— С моей стороны, — заметил Гиллер, — я из-за слов спорить не стану; меняйте, как хотите, лишь бы главный смысл остался тот же.

— Браво, Гиллер! — радостно воскликнул Бакунин.

«Ну, этот, — подумал я, — *приехал подкованный и по-летнему и на шипы,* он ничего не уступит на деле и оттого так легко уступает все на словах».

Акт поправили, члены жонда подписались; я его послал в типографию.

Гиллер и его товарищи были убеждены, что мы представляли заграничное средоточие целой организации, зависящей от нас и которая по нашему приказу примкнет к ним или нет. Для них действительно дело было *не в словах* и не в теоретическом согласии, свое profession de foi они всегда могли оттенить толкованиями — так, что его яркие цвета пропали бы, полиняли

и изменились.

Что в России клались первые ячейки *организации,* в этом не было сомнения — первые волокны, нити были заметны простому глазу; из этих нитей, узлов *могла* образоваться при тишине и времени обширная ткань — все это так, *но ее не было,* и каждый сильный удар грозил сгубить работу на целое поколение и разорвать начальные кружева паутины.

Вот это-то я и сказал, отправив печатать письмо Комитета, Гиллеру и его товарищам, говоря им о несвоевременности их восстания. Падлевский слишком хорошо знал Петербург, чтоб удивиться моим словам, хотя и *уверял меня,* что сила и разветвления общества «Земли и воли» идут гораздо дальше, чем мы думаем; но Гиллер призадумался.

— Вы думали, — сказал я ему, улыбаясь, — что мы сильнее… Да, Гиллер, вы не ошиблись: сила у нас есть большая и деятельная, но сила эта вся утверждается на общественном мнении, т. е. она может сейчас улетучиться; мы сильны *сочувствием* к нам, унисоном с своими. Организации, которой бы мы сказали: «Иди направо или налево», — *нет.*

— Да, любезный друг… однако же… — начал

Бакунин, ходивший в волнении по комнате.

— Что же, разве *есть?* — спросил я его и остановился.

— Ну, это как ты хочешь назвать; конечно, если взять внешнюю форму… это совсем не в русском характере… Да видишь…

— Позволь же мне кончить — я хочу пояснить Гиллеру, почему я так настаивал на слова. Если в России на вашем знамени не увидят *надел земли и волю провинциям,* то наше сочувствие *вам не принесет никакой пользы, а нас погубит…* потому что вся наша сила в одинаковом биении сердца; у нас оно, может, бьется посильнее и потому ушло секундой вперед, чем у друзей наших, но они связаны с нами сочувствием, а не службой!

— Вы будете нами довольны, — говорили Гиллер и Падлевский.

Через день двое из них отправились в Варшаву, третий уехал в Париж.

Наступило затишье перед грозой. Время томное, тяжелое, в которое все казалось, что туча пройдет, а она все приближалась; тут явился указ о «подтасованном» наборе — это была последняя капля; люди, еще останавливавшиеся перед

решительным и невозвратным шагом, рвались на бой. Теперь и *белые* стали переходить на сторону движенья.

Приехал опять Падлевский. Подождали дни два. Набор не отменялся. Падлевский уехал в Польшу.

Бакунин собирался в Стокгольм (совершенно независимо от экспедиции Лапинского, о которой тогда никто не думал). Мельком <явился> Потебня и исчез вслед за Бакуниным.

В то же время, как Потебня, приехал через Варшаву из Петербурга уполномоченный от «Земли и воли». Он с негодованием рассказывал, как поляки, пригласившие его в Варшаву, ничего не сделали. Он был первый русский, видевший начало восстания. Он рассказал об убийстве солдат, о раненом офицере, который был членом общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали с ожесточеньем бить поляков. Падлевский — главный начальник в Ковно — рвал волосы… но боялся явно выступить против своих.

Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться *агентами* общества «Земли и воли». Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина,

но и Огарева… Я сказал, что мне не нравится это битое французское название. Уполномоченный трактовал нас так, как комиссары Конвента 1793 трактовали генералов в дальних армиях. Мне и это не понравилось.

— А много вас? — спросил я.

— Это трудно сказать… несколько сот человек в Петербурге и *тысячи три* в провинциях.

— Ты веришь? — спросил я потом Огарева.

Он промолчал.

— Ты веришь? — спросил я Бакунина.

— Конечно, *он* прибавил… ну, *нет теперь столько, так будут потом!* — *И* он расхохотался.

— Это другое дело.

— В том-то все и состоит, чтоб поддержать слабые начинания; если б они были крепки, они и не нуждались бы в нас… — заметил Огарев, в этих случаях всегда недовольный моим скептицизмом.

— Они так и должны бы были явиться перед нами, откровенно слабыми… желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость… — прибавил Бакунин и уехал в Швецию.

А вслед за ним уехал и Потебня. Удручительно

горестно я простился с ним — я ни одной секунды не сомневался, что он прямо идет на гибель.

———

…За несколько дней до отъезда Бакунина пришел Мартьянов, бледнее обыкновенного, печальнее обыкновенного; он сел в углу и молчал. Он страдал по России и носился с мыслью о возвращении домой. Шел спор о восстании. Мартьянов слушал молча, потом встал, собрался идти и вдруг, остановившись передо мной, мрачно сказал мне:

— Вы не сердитесь на меня, Олександр Иванович, — так ли, иначе ли, а «Колокол»-то вы порешили. Что вам за дело мешаться в польские дела… Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское — не ваше. Не пожалели вы нас, Бог с вами, Олександр Иванович. Попомните, что я говорил. Я-то сам не увижу — я ворочусь домой. Здесь мне нечего делать.

— Ни вы не поедете в Россию, ни «Колокол» не погиб, — ответил я ему.

Он молча ушел, оставляя меня под тяжелым гнетом второго пророчества и какого-то темного сознания, что что-то ошибочное сделано.

Мартьянов, как сказал, так и сделал: он воротился весной 1863 и пошел умирать на каторгу,

сосланный своим «земским царем» за любовь к России, за веру в него.

К концу 1863 года расход «Колокола» с 2500, 2000 сошел на 500 и ни разу не подымался далее 1000 экземпляров.

Шарлотта Корде из Орла и Даниил из крестьян *были правы!*

(Пис<ано> в конце 1865 в Montreux и Лозанне)

<Приложение Обращения к комитету русских офицеров в Польше>

Друзья,

С глубокой любовью и глубокой печалью провожаем мы к вам вашего товарища; только тайная надежда, что *это* восстание будет отложено, сколько-нибудь успокаивает и за вашу участь и за судьбу *всего дела.*

Мы понимаем, что вам нельзя не примкнуть к польскому восстанию, какое бы оно ни было; вы искупите собой грех русского императорства; да сверх того, оставить Польшу на побиение, без всякого протеста со стороны русского войска, также имело бы свою вредную сторону безмолв-

но-покорного, безнравственного участия Руси в петербургском палачестве.

Тем не менее ваше положение трагично и безвыходно. Шанса на успех мы никакого не видим. Даже если б Варшава на один месяц была свободна, то оказалось бы только, что вы заплатили долг своим участием в движении *национальной независимости,* но что воздвигнуть русского, социального знамени *Земли и воли* — Польше не дано, а вы слишком малочисленны.

При теперешнем преждевременном восстании Польша, очевидно, погибнет, а русское дело надолго потонет в чувстве народной ненависти, идущей в связь с преданностью царю, — и воскреснет только после, долго после, когда ваш подвиг перейдет в такое же преданье, как 14 декабря, и взволнует умы поколения, теперь еще не зачатого.

Вывод отсюда ясен: отклоните восстание до лучшего времени *соединения сил,* отклоните его всем вашим влиянием на польский комитет и влиянием на само правительство, которое со страха еще может отложить несчастный набор, отклоните всеми средствами, от вас зависящими.

Если ваши усилия останутся бесплодными, тут больше делать нечего, как покориться судьбе

и принять неизбежное мученичество, хотя бы его последствием был застой России на десятки лет. По крайней мере сберегите, по возможности, людей и силы, чтоб из несчастного, проигранного боя оставались элементы для будущей отдаленной победы.

Если же вы успеете и восстание будет отложено, тогда вы должны начертить себе твердую линию поведения и не уклоняться от нее.

Тогда вам надо иметь одно в виду — делать общее русское дело, а не исключительно польское. Составить целую неразрывную цепь тайного союза во всех войсках, во имя *Земли и воли* и Земского собора, как сказано в вашем письме к русским офицерам. Для этого надо, чтоб русский офицерский комитет стал самобытно; поэтому центр его должен быть вне Польши. Вы должны вне себя организовать центр, которому сами подчинитесь; тогда вы будете командовать положением и поведете стройно организацию, которая придет к восстанию не во имя исключительно польской национальности, а во имя *Земли и воли,* и которая придет к восстанию не вследствие минутных потребностей и тогда, когда все силы рассчитаны и успех несомнителен.

Для нас этот план так ясен, что вы не можете

не сознавать того, что́ надо делать.

Добейтесь его, каких бы трудов оно ни стоило.

Н. Огарев.

Друзья и братья. — Строки, писанные другом нашим, Николаем Платоновичем Огаревым, проникнуты искреннею и бесконечною преданностью к великому делу нашего народного да общеславянского освобождения. Нельзя не согласиться с ним, что общему мерному ходу славянского и в особенности русского поступательного движения преждевременное и частное восстание Польши грозит перерывом. Признаться надо, что, при настоящем настроении России и целой Европы, надежд на успех такого восстания слишком мало — и что поражение партии движения в Польше будет иметь непременным последствием временное торжество царского деспотизма в России. — Но, с другой стороны, положение поляков до того невыносимо, что вряд ли у них станет надолго терпения. Само правительство гнусными мерами систематического и жестокого притеснения вызывает их, кажется, на восстание, отложить которое было бы по этому самому столько же нужно для Польши, как и необходимо для России. — Отложение его до более дальнего срока было бы без всякого сомнения и для

них и для нас спасительно. К этому вы должны устремить все усилия свои, не оскорбляя однако ни их священного права, ни их национального достоинства. Уговаривайте их сколько можете и доколь обстоятельства позволяют, но вместе с тем не теряйте времени, пропагандируйте и организуйтесь, дабы быть готовыми к решительной минуте, — и когда выведенные из последней меры и возможности терпения наши несчастные польские братья встанут, встаньте и вы не против них, а за них, — встаньте во имя русской чести, во имя славянского долга, во имя русского народного дела с кликом: «*Земля и воля*». — И если вам суждено погибнуть, сама погибель ваша послужит общему делу. А Бог знает! Может быть, геройский подвиг ваш, в противность всем расчетам холодного рассудка, неожиданно увенчается и успехом?..

Что ж до меня касается, что бы вас ни ожидало, успех или гибель, я надеюсь, что мне будет дано разделить вашу участь. — Прощайте, и может быть, до скорого свидания.

М. Бакунин.

<Глава V>
Пароход «Ward Jackson» R. Weatherley & Co
I

Вот что случилось месяца за два до польского восстания. Один поляк, приезжавший ненадолго из Парижа в Лондон, Иосиф Сверцекевич, по приезде в Париж был схвачен и арестован вместе с Хмелинским и Миловичем, о котором я упомянул при свиданье с членами жонда.

Во всей арестации было много странного. Хмелинский приехал в десятом часу вечера, он никого не знал в Париже и прямо отправился на квартиру Миловича. Около одиннадцати явилась полиция.

— Ваш пасс, — спросил комиссар Хмелинского.

— Вот он, — и Хмелинский подал исправно визированный пасс на другое имя.

— Так, так — сказал комиссар, — я знал, что вы под этим именем. Теперь вашу портфель? — спросил он Сверцекевича.

Она лежала на столе — он вынул бумаги, посмотрел и, передавая своему товарищу неболь-

шое письмо с надписью Е. А., прибавил:

— Вот оно!

Всех трех арестовали, забрали у них бумаги, потом выпустили. Дольше других задержали Хмелинского — для полицейского изящества им хотелось, чтоб он назвался своим именем. Он им не сделал этого удовольствия — выпустили и его через неделю

Когда год или больше спустя прусское правительство делало нелепейший познанский процесс, прокурор в числе обвинительных документов представил бумаги, присланные из русской полиции и принадлежавшие Сверцек<евичу>. На возникший вопрос, каким образом бумаги эти очутились в России, прокурор спокойно объяснил, что, когда Сверц<екевич> был под арестом, некоторые из его бумаг были сообщены французской полицией русскому посольству.

Выпущенным полякам велено было оставить Францию — они поехали в Лондон. В Лондоне он сам рассказывал мне подробности ареста и, по справедливости, всего больше дивился тому, что комиссар знал, что у него есть письмо с надписью Е. А. Письмо это из рук в руки ему дал Маццини и просил его вручить Этьенну Араго.

— Говорили ли вы кому-нибудь о письме? —

спросил я.

— Никому, решительно никому, — отвечал Св<ерцекевич>.

— Это какое-то колдовство — не может же пасть подозрение ни на вас, ни на Мацини. Подумайте-ка хорошенько.

Св<ерцекевич> подумал.

— Одно знаю я, — заметил он, — что я выходил на короткое время со двора и, помнится, портфель оставил в незапертом ящике.

— Clewd! Clewd![1298] Теперь позвольте, где вы жили?

— Там-то, в furnished apartements[1299].

— Хозяин англичанин?

— Нет, поляк.

— Еще лучше. А имя его?

— Тур — он занимается агрономией.

— И многим другим, коли отдает меблированные квартиры. Тура этого я немного знаю. Слыхали вы когда-нибудь историю о некоем Михаловском?

— Так, мельком.

— Ну, я вам расскажу ее. Осенью 57 года я

[1298] Сноски: 1298
Найдено! Найдено! *(англ.)*

[1299] Сноски: 1299
в меблированных комнатах *(англ.)*.

получил через Брюссель письмо из Петербурга. Незнакомая особа извещала меня со всеми подробностями о том, что один из сидельцев у Трюбнера, Михаловский, предложил свои услуги III отделению шпионить за нами, требуя за труд 200 фунтов, что в доказательство того, что он достоин и способен, он представлял список лиц, бывших у нас в последнее время, и обещал доставить образчики рукописей из типографии. Прежде чем я хорошенько обдумал, что делать, я получил *второе письмо* того же содержания через дом Ротшильда.

В истине сведения я не имел ни малейшего сомнения. Михаловский, поляк из Галиции, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говоривший на четырех языках, имел все права на звание шпиона и ждал только случая pour se faire valoir[1300].

Я решился ехать с Огар<евым> к Трюбнеру и уличить его, сбить на словах и во всяком случае прогнать от Трюбнера. Для большей торжественности я пригласил с собой Пианчиани и двух поляков. Он был нагл, гадок, запирался, говорил, что шпион — Наполеон Шестаковский, *который*

[1300] Сноски: 1300
Здесь: выдвинуться *(фр.).*

жил с ним на одной квартире… Вполовину я готов был ему верить, т. е. что и приятель его шпион. Трюбнеру я сказал, что я требую немедленной высылки его из книжной лавки… Негодяй путался, был гадок и противен и не умел ничего серьезного привести в свое оправдание.

— Это все зависть, — говорил он, — у кого из наших заведется хорошее пальто, сейчас другие кричат: «Шпион!»

— Отчего же, — спросил его Зено Свентославский, — у тебя никогда не было хорошего пальто, а тебя всегда считали шпионом?

Все захохотали.

— Да обидьтесь же, наконец, — сказал Чернецкий.

— Не первый, — сказал философ, — имею дело с такими безумными.

— Привыкли, — заметил Чернецкий.

Мошенник вышел вон.

Все порядочные поляки оставили его, за исключением совсем спившихся игроков и совсем проигравшихся пьяниц. С этим Михаловским в дружеских отношениях остался один человек, и этот человек — ваш хозяин Тур.

— Да, это подозрительно. Я сейчас…

— Что сейчас?.. Дело теперь не поправите,

а имейте этого человека в виду. Какие у вас доказательства?

Вскоре после этого Свер<цекевич> был назначен жондом в свои дипломатические агенты в Лондон. Приезд в Париж ему был позволен — в это время Наполеон чувствовал то пламенное участие к судьбам Польши, которое ей стоило целое поколение и, может, всего будущего.

Бакунин был уже в Швеции, знакомясь со всеми, открывая пути в «Землю и волю» через Финляндию, слаживая посылку «Колокола» и книг и видаясь с представителями всех польских партий. Принятый министрами и братом короля, он всех уверил в неминуемом восстании крестьян и в сильном волнении умов в России. Уверил тем больше, что сам *искренно верил* — если не в таких размерах, то верил в растущую силу. Об экспедиции Лапинского тогда никто не думал. Цель Бакунина состояла в том, чтоб, устроивши все в Швеции, пробраться в Польшу и Литву и стать во главе крестьян.

Свер<цекевич> возвратился из Парижа с Домантовичем. В Париже они и их друзья придумали снарядить экспедицию на балтийские берега. Они искали парохода, искали дельного начальника и за тем приехали в Лондон. Вот как шла

тайная негоциация дела.

…Как-то получаю я записочку от Свер<цекевича>: он просил меня зайти к нему на минуту, говорил, что очень нужно и что сам он распростудился и лежит в злой мигрени. Я пошел. Действительно застал больным и в постели. В другой комнате сидел Тхоржевский. Зная, что Сверцекевич писал ко мне и что у него есть дело, Тхоржевский хотел выйти, но Сверцекевич остановил его, и я очень рад, что есть живой свидетель нашего разговора.

Сверцекевич просил меня, оставя все личные отношения и консидерации[1301], сказать ему по чистой совести и, само собой разумеется, в глубочайшей тайне об одном польском эмигранте, рекомендованном ему Маццини и Бакуниным, но к которому он полной веры не имеет.

— Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дело идет первой важности, жду от вас истины, всей истины…

— Вы говорите о Б<улевском>? — спросил я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовал, что могу повредить человеку, о котором все-таки не знаю ничего

[1301] Сноски: 1301
соображения (*фр*. considération*).*

особенно дурного, и, с другой стороны, понимал, какой вред принесу общему делу, споря против совершенно верной антипатии Сверцекевича.

— Извольте, я вам скажу откровенно и все. Что касается до рекомендации Мацини и Бакунина, я ее совершенно отвожу. Вы знаете, как я люблю Мацини; но он так привык из всякого дерева рубить и из всякой глины лепить агентов и так умеет их в итальянском деле ловко держать в руках, что на его мнение трудно положиться. К тому же, употребляя все, что попалось, Мацини знает, *до какой степени* и что поручить. Рекомендация Бакунина еще хуже: это большой ребенок, «большая Лиза», как его называл Мартьянов, которому все нравятся. «Ловец человеков», он так радуется, когда ему попадается «красный» да притом славянин, что он далее не идет. Вы помянули о моих личных отношениях к Бул<евскому>; следует же сказать и об этом. Л. З<енкович> и Б<улевский> хотели меня эксплуатировать, инициатива дела принадлежала не ему, а З<енковичу>. Им не удалось, они рассердились, и я все это давно бы забыл, но они стали между Ворцелем и мной — и этого я им не прощаю. Ворцеля я очень любил, но, слабый здоровьем, он подчинился им и только спохва-

тился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, он шептал мне на ухо: «Да, вы были правы» (но свидетелей не было, а на мертвых ссылаться легко). Затем вот вам мое мнение: перебирая все, я не нахожу *ни одного поступка, ни одного слуха даже,* который бы заставлял подозревать политическую честность Б<улевского>, но я бы не замешал его ни в какую серьезную тайну. В моих глазах он избалованный фразер, безмерно высокомерный и желающий во что бы то ни было играть роль; если же она ему не выпадет, он все сделает, чтоб испортить пьесу.

Сверц<екевич> привстал. Он был бледен и озабочен.

— Да, вы у меня сняли камень с груди… *если не поздно* теперь… я все сделаю.

Взволнованный Свер<цекевич> стал ходить по комнате. Я ушел вскоре с Тхоржевским.

— Слышали вы весь разговор? — спросил я у него, идучи.

— Слышал.

— Я очень рад, не забывайте его — может, придет время, когда я сошлюсь на вас. А знаете что, мне кажется — он ему *все сказал* да потом и догадался проверить свою антипатию.

— Без всякого сомнения. — И мы чуть не расхохотались, несмотря на то что на душе было вовсе не смешно.

1-е нравоучение

…Недели через две Сверцекевич вступил в переговоры с Blackwood — компанией пароходства — о найме парохода для экспедиции на Балтику.

— Зачем же, — спрашивали мы, — вы адресовались именно к той компании, которая десятки лет исполняет все комиссии по части судоходства для петербургского адмиралтейства?

— Это мне самому не так нравится, но компания так хорошо знает Балтийское море; к тому же она слишком заинтересована, чтоб выдать нас, да и это не в английских нравах.

— Все так, да как вам в голову пришло обратиться именно к ней?

— Это сделал наш комиссионер.

— То есть?

— Тур.

— Как, тот Тур?

— О, насчет его можно быть покойным. Его самым лучшим образом нам рекомендовал Б<улевский>.

У меня на минуту вся кровь бросилась в голову. Я смешался от чувства негодования, бешенства, оскорбленья, да, да, личного оскорбленья… А делегат Речи Посполитой, ничего не замечавший, продолжал:

— Он превосходно знает по-английски — и язык, и законодательство.

— В этом я не сомневаюсь. Тур как-то сидел в тюрьме в Лондоне за какие-то не совсем ясные дела и употреблялся присяжным переводчиком в суде.

— Как так?

— Вы спросите у Б<улевского> или у Михаловского. Вы не знакомы с ним?

— Нет.

— Каков Тур! Занимался земледельем, а теперь занимается вододельем.

Но общее внимание обратил на себя взошедший начальник экспедиции полковник Лапинский.

II

Lapinski-colonel. Polles-aide de camp[1302]

В начале 1863 года я получил письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстом «Sinite venire parvulos»[1303]. В самых изысканно льстивых, стелющихся выражениях просил у меня parvulus[1304], называвшийся Polles, позволенья приехать ко мне. Письмо мне очень не понравилось. Он сам — еще меньше. Низкопоклонный, тихий, вкрадчивый, бритый, напомаженный, он мне рассказал, что был в Петербурге в театральной школе и получил какой-то пансион, прикидывался сильно поляком и, просидевши четверть часа, сообщил мне, что он из Франции, что в Париже тоска и что там узел всем бедам, а узел узлов — Наполеон.

— Знаете ли, что мне приходило часто в голову, и я больше и больше убеждаюсь в верности этой мысли? Надобно решиться и убить Наполеона.

[1302] Сноски: 1302
Лапинский-полковник. Поллес-адъютант *(фр.)*.

[1303] Сноски: 1303
«Позвольте детям приходить» *(лат.)*.

[1304] Сноски: 1304
дитя *(лат.)*.

— За чем же дело стало?

— Да вы как об этом думаете? — спросил parvulus, несколько смутившись.

— Я никак. Ведь это вы думаете…

И тотчас рассказал ему историю, которую я всегда употребляю в случаях кровавых бредней и совещаниях о них.

— Вы, верно, знаете, что Карла V водил в Риме по Пантеону паж. Пришедши домой, он сказал отцу, что ему приходила в голову мысль столкнуть императора с верхней галереи вниз. Отец взбесился. «Вот… (тут я варьирую крепкое слово, соображаясь с характером цареубийцы in spe…[1305] *негодяй, мошенник, дурак….)* такой ты, сякой! Как могут такие преступные мысли приходить в голову… и если могут, то их иногда *исполняют*, но никогда об этом *не говорят!*»[1306]

Когда Поллес ушел, я решился его не пускать больше. Через неделю он встретился со мной близ моего дома, говорил, что два раза был и не застал. Потолковал какой-то вздор и прибавил:

[1305] Сноски: 1305
в будущем *(лат.).*

[1306] Сноски: 1306
— Я к вам пришел спросить совета, — сказал мне один юный грузин, похожий на молодого тигра… снаружи. — Я хочу поколотить Скарятина… — Вы, верно, знаете, что Карла V… — Знаю, знаю! Бога ради не рассказывайте! — и тигр с млеком в жилах ушел.

— Я, между прочим, заходил к вам, чтоб сообщить, какое я сделал изобретение, чтоб по почте сообщить что-нибудь тайное, например, в Россию. Вам, верно, случается часто необходимость что-нибудь сообщать?

— Совсем напротив, никогда. Я вообще ни к кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

—

Прощайте. Вспомните, когда вам или Огар<еву> захочется послушать кой-какой музыки — я и мой виолончель к вашим услугам.

— Очень благодарен.

И я потерял его из вида — с полной уверенностью, что это шпион — русский ли, французский ли, я не знал, может, интернациональный, как «Nord» — журнал международный.

В польском обществе он нигде не являлся и его никто не знал.

После долгих исканий Домантович и парижские друзья его остановились на полковнике Лапинском как на способнейшем военном начальнике экспедиции. Он был долго на Кавказе со стороны черкесов и так хорошо знал войну в горах, что о море и говорить было нечего. Дурным выбора назвать нельзя.

Лапинский был в полном слове кондотьер.

Твердых политических убеждений у него не было никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными; принадлежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию — к австрийской армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал замечательную книгу о Кавказе.

— Какой случай раз был со мной на Кавказе, — рассказывал Лапинский. — Русский майор, поселившийся с целой усадьбой своей недалеко от нас, не знаю как и за что, захватил наших людей. Узнаю я об этом и говорю своим: «Что же это? Стыд и страм — вас, как баб, крадут! Ступайте в усадьбу и берите что попало и тащите сюда». Горцы, знаете, — им не нужно много толковать. На другой или третий день привели мне всю семью: и слуг, и жену, и детей, самого майора дома не было. Я послал повестить, что если наших людей отпустят да такой-то выкуп, то мы сейчас доставим пленных. Разумеется, наших прислали, рассчитались, и мы отпустили московских гостей. На другой день приходит ко мне черкес. «Вот, говорит, что случилось: мы, говорит, вчера, как отпускали русских, забыли мальчика

лет четырех: он спал… так и забыли… Как же быть?» — «Ах вы, собаки… не умеете ничего сделать в порядке. Где ребенок?» — «У меня; кричал, кричал, ну, я сжалился и взял его». — Видно, тебе Аллах счастье послал, мешать не хочу… Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашел; ну и спрашивай выкупа». — У моего черкеса так и глаза разгорелись. Разумеется, мать, отец в тревоге — дали все, что хотел черкес… Пресмешной случай.

— Очень.

Вот черта к характеристике будущего героя в Самогитии.

Перед своим отправлением Лапинский заехал ко мне. Он взошел не один и, несколько озадаченный выражением моего лица, поспешил сказать:

— Позвольте вам представить моего адъютанта.

— Я уже имел удовольствие с ним встречаться.

Это был *Поллес.*

— Вы его хорошо знаете? — спросил Огар<ев> у Лапинского наедине.

— Я его встретил в том же Boarding House'е, где теперь живу; он, кажется, славный малый и расторопный.

— Да вы уверены ли в нем?

— Конечно. К тому же он отлично играет на виолончели и будет нас тешить во время плаванья…

Он, говорят, тешил полковника и кой-чем другим.

Мы впоследствии сказали Домантовичу, что для нас *Поллес* очень подозрительное лицо.

Домантович заметил:

— Да я *им обоим* не очень верю, но шалить они не будут.

И он вынул револьвер из кармана.

Приготовления шли тихо… Слух об экспедиции все больше и больше распространялся. Компания дала сначала пароход, оказавшийся негодным по осмотру хорошего моряка — графа Сапеги. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово и часть Лондона знала обо всем, случилось следующее. Сверцекевич и Домантович повестили всех участников экспедиции, чтоб они собирались к *десяти* часам на такой-то амбаркадер[1307] железной дороги, чтоб ехать до Гулля в особом train, который давала им компания. И вот к десяти часам стали собираться будущие воины. В их числе были итальянцы и несколько французов;

[1307] Сноски: 1307
платформу (*фр.* embarcadère*).*

бедные отважные люди… люди, которым надоела их доля в бездомном скитании, и люди, истинно любившие Польшу. И 10 и 11 часов проходят, но train'а нет как нет. По домам, из которых таинственно вышли наши герои, мало-помалу стали распространяться слухи о дальнем пути… и часов в 12 к будущим бойцам в сенях амбаркадера присоединилась стая женщин, неутешных Дидон, оставляемых свирепыми поклонниками, и свирепых хозяек домов, которым они не заплатили, — вероятно, чтоб не делать огласки. Растрепанные и нечистые, они кричали, хотели жаловаться в полицию… у некоторых были дети… все они кричали, и все матери кричали. Англичане стояли кругом и с удивлением смотрели на картину «исхода». Напрасно старшие из ехавших спрашивали, скоро ли пойдет особый train, показывали свои билеты. Служители железной дороги не слыхали ни о каком train'е. Сцена становилась шумнее и шумнее… Как вдруг прискакал гонец от шефов сказать ожидавшим, что они все с ума сошли, что отъезд вечером в 10, а не утром… и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли с узелками и котомочками к своим оставленным Дидонам и смягченным хозяйкам бедные воины…

В 10 вечером они уехали. Англичане им даже прокричали три раза «ура».

На другой день утром рано приехал ко мне знакомый морской офицер с одного из русских пароходов. Пароход получил вечером приказ утром выступить на всех парах и следить за «Ward Jackson'ом».

Между тем «Ward Jackson» остановился в Копенгагене за водой, прождал несколько часов в Мальме Бакунина, собиравшегося с ними для поднятия крестьян в Литве, и был захвачен по приказанию шведского правительства.

Подробности дела и второй попытки Лапинского рассказаны были им самим в журналах. Я прибавлю только то, что капитан уже в Копенгагене сказал, что он пароход к русскому берегу не поведет, не желая его и себя подвергнуть опасности, что еще до Мальме доходило до того, что Домантович пригрозил своим револьвером не Лапинскому, а капитану. С Лапинским Д<омантович> все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поехали в Стокгольм, оставляя несчастную команду в Мальме.

— Знаете ли вы, — сказал мне Сверц<екевич> или кто-то из близких ему, — что во всем этом деле остановки в Мальме становится всего подо-

зрительнее лицо Тугендгольда?

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну, как не знаете. Вы его видали у нас: молодой малый без бороды — Лапинский был раз у вас с ним.

— Вы говорите, стало, о Поллесе?

— Это его псевдоним — настоящее имя его Тугендгольд.

— Что вы говорите?.. — И я бросился к моему столу.

Между отложенными письмами особенной важности я нашел одно, присланное мне месяца два перед тем. Письмо это было из Петербурга — оно предупреждало меня, что некий доктор Тугендгольд состоит в связи с III отделением; что он возвратился, но оставил своим агентом меньшого брата, что меньшой брат должен ехать в Лондон.

Что Поллес и он было одно лицо — в этом сомнения не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы перед отъездом экспедиции, что Поллес был Тугендгольд?

— Знал. Говорили, что он переменил свою фамилию, потому что в краю его брата знали за шпиона.

— Что же вы мне не сказали ни слова?

— Да так, не пришлось.

И Селифан Чичикова знал, что бричка сломана, а сказать не сказал.

Пришлось телеграфировать после захвата в Мальме. И тут ни Домантович, ни Бакунин[1308] не умели ничего порядком сделать, — перессорились. Поллеса сажали в тюрьму за какие-то брильянты, собранные у шведских дам для поляков и употребленные на кутеж.

В то самое время как толпа вооруженных поляков, бездна дорого купленного оружия и «Ward Jackson» оставались почетными пленниками на берегу Швеции, собиралась другая экспедиция, снаряженная *белыми;* она должна была идти через Гибралтарский пролив. Ее вел граф Сбышевский, брат того, который писал замечательную брошюру «La Pologne et la cause de l'ordre». Отличный морской офицер, бывший в русской службе, он ее бросил, когда началось восстание, и теперь вел тайно снаряженный пароход в Черное море. Для переговоров он ездил в Турин, чтоб там секретно видеться с начальниками тогдашней

[1308] Сноски: 1308

Домантович, после долгих споров с Бакуниным, говорил: «А ведь что, господа, как ни тяжело с русским правительством, а все же наше положение при нем лучше, чем то, которое нам приготовят эти фанатики-социалисты».

оппозиции и, между прочим, с Мордини.

— На другой день после моего свиданья с Сбышевским, — рассказывал мне *сам Мордини,* — вечером, в палате министр внутренних дел отвел меня в сторону и сказал: «Пожалуйста, будьте осторожнее… у вас вчера был польский эмиссар, который хочет провести пароход через Гибралтарский пролив; как бы дела не было, да зачем же они прежде болтают?»

Пароход, впрочем, и не дошел до берегов Италии: он был захвачен в Кадиксе испанским правительством. По миновании надобности оба правительства дозволили полякам продать оружие и отпустили пароходы.

Огорченный и раздосадованный приехал Лапинский в Лондон.

— Остается одно, — говорил он, — составить общество убийц и перебить большую часть всех царей и их советников… или ехать опять на Восток, в Турцию…

Огорченный и раздосадованный приехал Сбышевский…

— Что же, и вы бить королей, как Лапинский?

— Нет, поеду в Америку… буду драться за республику… Кстати, — спросил он Тхоржевского, — где здесь можно завербоваться? Со мной

несколько товарищей, и все без куска насущного хлеба.

— Просто у консула…

— Да нет, мы хотели на юг: у них теперь недостаток в людях, и они предлагают больше выгодные условия.

— Не может быть, вы не пойдете на юг!

…По счастью, Тх<оржевский> отгадал. На юг они не пошли!

3 *мая 1867.*

<Глава VI>
Pater V. Petcherine[1309]

— Вчера я видел Печерина.

Я вздрогнул при этом имени.

— Как, — спросил я, — *того* Печерина? Он здесь?

— Кто, reverend Petcherine?[1310] Да, он здесь!

— Где же он?

— В иезуитском монастыре С. Мери Чапель в Клапаме.

[1309] Сноски: 1309
Отец В. Печерин *(лат.).*

[1310] Сноски: 1310
его преподобие Печерин? *(англ.)*

Reverend Petcherine!.. И этот грех лежит на Николае. Я Печерина лично не знал, но слышал об нем очень много от Редкина, Крюкова, Грановского. Молодым доцентом возвратился он из-за границы на кафедру греческого языка в Московском университете; это было в одну из самых томных эпох николаевского гонения, между 1835 и 1840. Мы были в ссылке, молодые профессора еще не приезжали. «Телеграф» был запрещен, «Европеец» был запрещен, «Телескоп» запрещен, Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Только после 1848 года террор в России пошел еще дальше.

Но угорелое самовластие последних лет николаевского царствования явным образом было *пятым действием.* Тут уже становилось заметно, что не только что-то ломит и губит, но что-то само ломится и гибнет; слышно было, как пол трещит, — но под расседающимся сводом.

В тридцатых годах, совсем напротив, опьянение власти шло обычным порядком, будничным шагом; кругом глушь, молчание, все было безответно, бесчеловечно, безнадежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор, искавший сочувствия, встречал лакейскую угрозу или испуг, от него отворачивались или оскорб-

ляли его. Печерин задыхался в этом неаполитанском гроте рабства, им овладел ужас, тоска, надобно было бежать, бежать во что бы ни стало из этой проклятой страны. Для того чтоб уехать, надобны деньги. Печерин стал давать уроки, свел свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходил, миновал товарищеские сходки и, накопивши немного денег, уехал.

Через некоторое время он написал гр. С. Строгонову письмо — он уведомлял его о том, что он не воротится больше. Благодаря его, прощаясь с ним, Печерин говорил о невыносимой духоте, от которой он бежал, и заклинал его *беречь* несчастных молодых профессоров, обреченных своим развитием на те же страдания, быть их щитом от ударов грубой силы.

Строгонов показывал это письмо многим из профессоров.

Москва на некоторое время замолкла об нем, и вдруг мы услышали, с каким-то бесконечно тяжелым чувством, что Печерин сделался иезуитом, что он на искусе в монастыре. Бедность, безучастие, одиночество сломили его; я перечитывал его «Торжество смерти» и спрашивал себя — неужели этот человек может быть католиком, иезуитом? Ведь он уже ушел из царства,

в котором *история делается* под палкой квартального и под надзором жандарма. Зачем же ему так скоро занадобилась другая власть, другое указание?

Разобщенным показался себе, сирым русский человек в сортированном и по горло занятом Западе, ему было слишком безродно. Когда веревка, на которой он был привязан, порвалась и судьба его, вдруг отрешенная от всякого внешнего направления, попала в его собственные руки, он не знал, что делать, не умел с ней управляться и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ упал в иезуитский монастырь!

На другой день, часа в два, я отправился в St. Mary Chapel. Тяжелая дубовая дверь заперта. Я стукнул три раза кольцом, дверь отворилась, и явился тощий молодой человек лет восемнадцати, в монашеском подряснике; в руках у него был молитвенник.

— Кого вам? — спросил брат-привратник по-английски.

— Reverend Father Petcherine[1311].

— Позвольте ваше имя.

— Вот карточка и письмо.

[1311] Сноски: 1311
Преподобного отца Печерина *(англ.).*

В письме я вложил объявление о русской типографии.

— Взойдите, — сказал молодой человек, запирая снова за мною дверь. — Подождите здесь. — И он указал в обширных сенях на два-три больших стула со старинной резьбой.

Минут через пять брат-привратник возвратился и сказал мне с небольшим акцентом по-французски, что le père Pétchérine sera enchanté de me recevoir dans un instant[1312].

После этого он повел меня через какой-то рефекторий[1313] в высокую, небольшую комнату, слабо освещенную, и снова просил сесть. На стене было высеченное из камня распятие и, если не ошибаюсь, с другой стороны также Богородица. Кругом тяжелого массивного стола стояли большие деревянные кресла и стулья. Противуположная дверь вела сенями в обширный сад, его светская зелень и шум листьев были как-то не на месте.

Брат-привратник показал мне на стене надпись; в ней было сказано, что reverend Fathers принимают имеющих в них нужду от 4 до 6 часов. Еще не было четырех.

[1312] Сноски: 1312
отец Печерин будет очень рад принять меня через минуту *(фр.).*

[1313] Сноски: 1313
трапезную (*англ.* refectory).

— Вы, кажется, не англичанин и не француз? — спросил я его, вслушиваясь в его акценты.

— Нет.

— Sind Sie ein Deutscher?[1314]

— O, nein, mein Herr, — отвечал он, улыбаясь, — ich bin beinah' ihr Landsmann, ich bin ein Pole[1315].

Ну, брата-привратника выбрали недурно: он говорил на четырех языках. Я сел, он ушел; странно мне было видеть себя в этой обстановке. Черные фигуры прохаживались в саду, человека два в полумонашеском платье прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво кланялись, глядя в землю, и я всякий раз привставал и также серьезно откланивался им. Наконец вышел небольшой ростом, очень пожилой священник в граненой шапке и во всем одеянии, в котором священники ходят в монастырях. Он шел прямо ко мне, шурстя своей сутаной, и спросил меня чистейшим французским языком:

— Вы желали видеть Печерина?

Я отвечал, что я.

— Чрезвычайно рад вашему посещению, — сказал он, протягивая руку, — сделайте одолжение,

---

[1314] Сноски: 1314
Вы немец? (*нем.*)

[1315] Сноски: 1315
— О нет, сударь, я почти ваш соотечественник, я поляк *(нем.).*

присядьте.

— Извините, — сказал я, несколько смешавшись, что не узнал его: мне в голову не приходило, что встречу его костюмированного. — Ваше платье…

Он слегка улыбнулся и тотчас продолжал:

— Давно не слыхал я никакой вести о родном крае, об наших, об университете; вы, вероятно, знали Редкина и Крюкова.

Я смотрел на него. Лицо его было старо, старше лет; видно было, что под этими морщинами много прошло и прошло tout de bon[1316], т. е. умерло, оставив только свои надгробные следы в чертах. Искусственный клерикальный покой, которым, особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума, был уже и в его речи и во всех движениях. Католический священник всегда сбивается на вдову: он так же в трауре и в одиночестве, он так же верен чему-то, чего нет, и утоляет настоящие страсти раздражением фантазии.

Когда я ему рассказал об общих знакомых и о кончине Крюкова, при которой я был, о том, как его студенты несли через весь город на клад-

---

[1316] Сноски: 1316
не на шутку *(фр.).*

бище, потом об успехах Грановского, об его публичных лекциях — мы оба как-то призадумались. Что происходило в черепе под граненой шапкой — не знаю, но Печерин снял ее, как будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставил на стол. Разговор не шел.

— Sortons un peu au jardin, — сказал Печерин, — le temps est si beau, et c'est si rare à Londres[1317].

— Avec le plus grand plaisir[1318]. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы с вами говорим по-французски?

— И то! Будемте говорить по-русски; я думаю, что уже совсем разучился.

Мы вышли в сад. Разговор снова перешел к университету и Москве.

— О, — сказал Печерин, — что это было за время, когда я оставил Россию, — без содрогания не могу вспомнить!

— Подумайте же, что теперь делается; наш Саул совсем сошел с ума после 1848. — И я ему передал несколько гнуснейших фактов.

— Бедная страна, особенно для меньшинства,

[1317] Сноски: 1317

Выйдем на минутку в сад, погода так хороша, а это так редко бывает в Лондоне (*фр.*).

[1318] Сноски: 1318

— С величайшим удовольствием *(фр.).*

получившего несчастный дар образования. А ведь какой добрый народ: я часто вспоминаю наших мужиков, когда бываю в Ирландии: они чрезвычайно похожи; кельтийский землепашец — такой же ребенок, как наш. Побывайте в Ирландии, вы сами убедитесь в этом.

Так длился разговор с полчаса; наконец, собираясь оставить его, я сказал ему:

— У меня есть просьба к вам.

— Что такое? Сделайте одолжение.

— У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений; в числе их есть трилогия «Поликрат Самосский», «Торжество смерти» и еще что-то; нет ли у вас их, или не можете ли вы мне их дать?

— Как это вы вспомнили такой вздор? Это незрелые, ребяческие произведения иного времени и иного настроения.

— Может, — заметил я, улыбаясь, — *поэтому-то* они мне и нравятся. Да есть они у вас или нет?

— Нет, где же.

— И продиктовать не можете?

— Нет, нет, совсем нет.

— А если я их найду где-нибудь в России, печатать позволите?

— Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления.

— Коли вам дела нет, стало, я могу печатать их, положим, без имени?

— Неужели эти стихи вам нравятся до сих пор?

— Это мое дело; вы мне скажите, позволяете мне их печатать или нет?

Прямого ответа он и тут не дал, я перестал приставать.

— А что же, — спросил Печерин, когда я прощался, — вы мне не привезли ничего из ваших публикаций? Я помню, в журналах говорили, года три тому назад, об одной книге, изданной вами, кажется, на немецком языке.

— Ваше платье, — отвечал я, — скажет вам, по каким соображениям я не должен был привезти ее; примите это с моей стороны за знак уважения и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь; мы можем скорбеть о заблуждении, молиться об исправлении, желать его и во всяком случае любить человека.

Мы расстались.

Он не забыл ни книги, ни моего ответа и дня

через три написал ко мне следующее письмо по-французски:

I. M. I. A.[1319]

St. Mary's, Clapham, 11 апреля 1853 г.

Я не могу скрыть от вас той симпатии, которую возбуждает в моем сердце слово свободы, — свободы для моей несчастной родины! Не сомневайтесь ни на минуту в искренности моего желания возрождения России. При всем этом я далеко не во всем согласен с вашей программой. Но это ничего не значит. Любовь католического священника обнимает все мнения и все партии. Когда ваши драгоценнейшие упования обманут вас, когда силы мира сего поднимутся на вас, вам еще останется верное убежище в сердце католического священника: в нем вы найдете дружбу без притворства, сладкие слезы и мир, который свет не может вам дать. Приезжайте ко мне, любезный соотечественник. Я был бы очень рад вас видеть еще раз до моего отъезда в Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру мне.

В. Печерин.

[1319] Сноски: 1319

Иисус милосердный, Иисус благодатный (*лат.* Iesus Misericors, Iesus Almus).

Я свез ему книги и через четыре дня получил следующее письмо:

I. M. I. A.

St. Pierre, Islands of Guernsey. Chapelle Catholique, 15 апреля 1853 г.

Я прочел обе ваши книги с большим вниманием. Одна вещь особенно поразила меня: мне кажется, что вы и ваши друзья — вы опираетесь исключительно на философию и на изящную словесность (belle littérature). Неужели вы думаете, что они призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свидетельство истории совершенно против вас. Нет примера, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философией и словесностью. Скажу просто (tranchons le mot[1320]), одна религия служила всегда основой государств; философия и словесность, это, увы! уже последний цветок общественного древа. Когда философия и литература достигают своей апогеи, когда философы, ораторы и поэты господствуют и разрешают все общественные вопросы, тогда конец, падение, тогда смерть общества. Это доказывает Греция и Рим, это доказывает так называемая александринская эпоха;

[1320] Сноски: 1320
будемте откровенны *(фр.)*.

никогда философия не была больше изощрена, никогда литература — цветущее, а между тем это была эпоха глубокого общественного падения. Когда философия бралась за пересоздание общественного порядка, она постоянно доходила до жестокого деспотизма, например, в Фридрихе II, Екатерине II, Иосифе II и во всех неудавшихся революциях. У вас вырвалась фраза, счастливая или несчастная, как хотите: вы говорите, что «фаланстер — не что иное, как преобразованная казарма, и коммунизм может быть только видоизменение николаевского самовластия». Я вообще вижу какой-то меланхолический отблеск на вас и на ваших московских друзьях. Вы даже сами сознаетесь, что вы все Онегины, т. е., что вы и ваши — в отрицании, в сомнении, в отчаянии. Можно ли перерождать общество на таких основаниях?

Может, я высказал вещь избитую и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобы начать контроверзу, но я считал себя обязанным сделать это замечание, потому что иногда лучшие умы и благороднейшие сердца ошибаются в основе, сами не замечая того. Для того я это пишу вам, чтоб доказать, как внимательно читал я вашу книгу, и дать новый знак того уважения и любви, с которыми…

В. Печерин.

На это я отвечал ему по-русски:

25, Euston square, 21 апреля 1853 г.

Почтеннейший соотечественник,

душевно благодарю вас за ваше письмо и прошу позволение сказать несколько слов à la hâte[1321] о главных пунктах.

Я совершенно согласен с вами, что литература, как осенние цветы, является во всем блеске перед смертью государств. Древний Рим не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтерианизмом Лукиана, ни немецкой философией Прокла. Но заметьте, что он равно не мог быть спасен ни элевзинскими таинствами, ни Аполлоном

[1321] Сноски: 1321
наскоро *(фр.).*

Тианским, ни всеми опытами продолжить и воскресить язычество.

Это было не только невозможно, но и не нужно. Древний мир вовсе не надобно было спасать: он дожил свой век, и новый мир шел ему на смену. Европа совершенно в том же положении; литература и философия не сохранят дряхлых форм, а толкнут их в могилу, разобьют их, освободят от них.

Новый мир точно так же приближается, как тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвав фаланстер казармой; нет, все доселе явившиеся учения и школы социалистов, от С.-Симона до Прудона, который представляет одно отрицание, бедны, это первый лепет, это чтение по складам, это терапевты и ессениане древнего Востока. Но кто же не видит, не чует сердцем огромного содержания, просвечивающего через односторонние попытки, или кто же казнит детей за то, что у них трудно режутся зубы или выходят вкось?

Тоска современной жизни — тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери беспокоятся перед землетрясением.

К тому же все остановилось. Одни хотят насильственно раскрыть дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего;

у одних впереди пророчества, у других — воспоминания. Их *работа* состоит в том, чтоб мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте.

Рядом другой мир — Русь. В основе его — коммунистический народ, еще дремлющий, покрытый поверхностной пленкой образованных людей, дошедших до состояния Онегина, до отчаяния, до эмиграции, до вашей, до моей судьбы. Для нас это горько. Мы жертвы того, что не вовремя родились; для *дела* это безразлично, по крайней мере не имеет того смысла.

Говоря о революционном движении в новой России, я вперед сказал, что с Петра I русская история — история дворянства и правительства. В дворянстве находится революционный фермент; он не имел в России другого поприща, яркого, кровавого, на площади, кроме поприща литературного, там я его и проследил.

Я имел смелость сказать (в письме к Мишле), что образованные русские — *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли в отрицании, чем, например, французы. В отрицании чего? Разумеется, старого мира.

Онегин рядом с праздным отчаянием доходит теперь до положительных надежд. Вы их, кажется, не заметили. Отвергая Европу в ее изжитой

форме, отвергая Петербург, т. е. опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы, слабые и оторванные от народа, мы гибли. Но мало-помалу развивалось нечто новое — уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистов. Этот новый элемент — элемент веры в силу народа, элемент, проникнутый любовью. Мы с ним только начали понимать народ. Но мы далеки от него. Я и не говорю, чтоб *нам* досталась участь пересоздать Россию; и то хорошо, что мы приветствовали русский народ и догадались, что он принадлежит к грядущему миру.

Еще одно слово. Я не смешиваю науки с литературно-философским развитием. Наука если и не пересоздает государства, то и не падает в самом деле с ним. Она — средство, память рода человеческого, она — победа над природой, освобождение. Невежество, *одно невежество* — причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимала физически и нравственно.

Я буду сердечно рад…

Через две недели я получил от о. Печерина следующее письмо:

I. M. I. A.

St. Mary's, Clapham, 3 мая 1853.

Я вам отвечаю по-французски по причинам, которые вы знаете. Не мог писать я к вам прежде, потому что был обременен занятиями в Гернсее. Мало остается времени на философские теории, когда живешь в самой середине животрепещущей действительности; нет досуга разрешать спекулятивные вопросы о будущих судьбах человечества, когда человечество с костями и плотью приходит изливать в вашу грудь свои скорби и требует совета и помощи.

Признаюсь вам откровенно, ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом.

Что будет с нами, когда *ваше* образование (votre civilisation à vous) одержит победу? Для вас *наука* — все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука — так, как ее понимал мир до сих пор, но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме его. Химия, механика, технология, пар, электричество, ве-

ликая наука пить и есть, поклонение личности (le culte de la personne), как бы сказал Мишель Швалье. Если *эта* наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели по крайней мере возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до каленых пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтоб их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедовать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах: рай здесь на земле — будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!» Вот что меня

приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем?

Простите, если я сколько-нибудь преувеличил темные краски. Мне кажется, что я только довел до законных последствий основания, положенные вами.

Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза (caprice de spiritualité)? Россия именно начала с науки так, как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальной мощи, она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния, она сделается самая образованная страна в мире, провидение ей дало в удел материальный мир, она сделает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, — какое нам дело в этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным.

Я изложил мои идеи с простотою для того, чтоб уяснить нам друг друга. Извините, если я внес в слова мои излишнюю горячность. Так как я еду

снова в Ирландию в пятницу утром, мне будет невозможно зайти к вам. Но я буду очень рад, если вам будет удобно посетить меня в середу или в четверг после обеда.

Примите и проч.

В. Печерин.

Я ему отвечал на другой день:

25, Euston square, 4 мая 1853 г.

Почтеннейший соотечественник,

я был у вас для того, чтоб пожать руку русскому, которого имя мне было знакомо, которого положение так сходно с моим… Несмотря на то, что судьба и убеждения вас поставили в торжествующие ряды победителей, меня — в печальный стан побежденных, я не думал коснуться разницы наших мнений. Мне хотелось видеть русского, мне хотелось принесть вам живую весть о родине. Из чувства глубокой деликатности я не предложил вам моих брошюр, вы сами желали их видеть. Отсюда ваше письмо, мой ответ и второе письмо ваше от 3 мая. Вы нападаете на меня, на мои мнения (преувеличенные и не вполне разделяемые мною), нельзя же мне не защищаться. Я не давал того значения слову *наука,* которое вы предполагаете. Я вам только писал, что я совокупность всех побед над природой и всего

развития, разумеется, ставлю вне беллетристики и отвлеченной философии.

Но это предмет длинный, и без особого вызова не хочется повторять все, так много раз сказанное об нем. Позвольте мне лучше успокоить вас насчет вашего страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь. Наука не есть учение или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. Вы, верно, хотели сказать о торжестве социальных идей, свободы. В таком случае возьмите страну самую «материальную» и самую свободную — Англию. Люди созерцательные, так, как утописты, находят в ней угол для тихой думы и трибуну для проповеди. А еще Англия, монархическая и протестантская, далека от полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб.

Созерцательные натуры будут всегда, везде; им будет привольнее в думах и тиши, пусть ищут они себе тогда тихого места; кто их будет беспокоить, кто звать, кто преследовать? Их ни гнать, ни *поддерживать* никто не будет. Я полагаю,

что несправедливо бояться улучшения жизни масс потому, что производство этого улучшения *может* обеспокоить слух лиц, не хотящих слышать ничего внешнего. Тут даже самоотвержения никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенесть следует, а отойти от него. Но журналы всюду идут следом — кто же из *созерцательных* натур зависит от premier-Paris или premier-Londres?[1322]

Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите *нам* место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол, как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России.

Кому же следует бояться? Оно конечно — смерть не важна sub specie aeternitatis[1323], да ведь с этой точки зрения и все остальное не важно.

Простите мне, п. с., откровенное противуречие вашим словам и подумайте, что мне было невозможно иначе отвечать.

Душевно желаю, чтоб вы хорошо совершили

[1322] Сноски: 1322
передовых статей парижских или лондонских газет *(фр.)*.

[1323] Сноски: 1323
с точки зрения вечности *(лат.)*.

ваше путешествие в Ирландию.

Этим и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Серая мгла европейского горизонта зарделась заревом Крымской войны, мгла от него стала еще черней, и вдруг середь кровавых вестей, походов и осад читаю я в газетах, что там-то, в Ирландии, отдан под суд reverend Father Vladimir Petcherine, native of Russia[1324], за публичное сожжение на площади протестантской Библии. Гордый британский судья, взяв в расчет безумный поступок и то, что виноватый — русский, а Англия с Россией в войне, ограничился отеческим наставлением вести себя впредь на улицах благопристойно…

Неужели ему легки эти вериги… или он часто снимает граненую шапку и ставит ее устало на стол?

<Глава VII>
И. Головин

Несколько дней после обыска у меня и захвата моих бумаг, во время июньской битвы, явился

[1324] Сноски: 1324
преподобный отец Печерин, родом русский *(англ.).*

ко мне в первый раз *И. Головин*, до того известный мне по бездарным сочинениям своим и по чрезвычайно дурной репутации сварливого и дерзкого человека, которую он себе сделал. Он был у Ламорисиера, хлопотал без малейшей просьбы с моей стороны о моих бумагах, ничего не сделал и пришел ко мне пожать скромные лавры благодарности и, пользуясь тем, втеснить мне свое знакомство.

— Я сказал Ламорисиеру: «Генерал, стыдно надоедать русским республиканцам и оставлять в покое агентов русского правительства». — «А вы знаете их?» — спросил меня Ламорисиер. — «Кто их не знает!» — «Nommez-les, nommez-les»[1325]. — «Ну, да Яков Толстой и генерал Жомини». — «Завтра же велю у них сделать обыск». — «Да будто Жомини русский агент?» — спросил я. — «Ха, ха, ха! Это мы увидим теперь».

Вот вам человек.

Рубикон был перейден, и, что я ни делал, чтобы воздержать дружбу Головина, а главное, его посещения, все было тщетно. Он раза два в неделю приходил к нам, и нравственный уровень нашего уголка тотчас понижался — начинались

[1325] Сноски: 1325
Назовите их, назовите их *(фр.)*.

ссоры, сплетни, личности. Лет пять спустя, когда Головин хотел меня додразнить до драки, он говорил, что *я его боюсь;* говоря это, он, конечно, не подозревал, как давно я его боялся до лондонской ссоры.

Еще в России я слышал об его бестактности, о нецеремонности в денежных отношениях. Шевырев, возвратившись из Парижа, рассказывал о процессе Головина с лакеем, с которым он подрался, и ставил это на счет нас, западников, к числу которых причислял Гол<овина>. Я Шевыреву заметил, что Запад следует винить только в том, что они *дрались,* потому что на *Востоке* Головин просто бы *поколотил* слугу и никто не говорил бы об этом.

Забытое теперь содержание его сочинений о России еще менее располагало к знакомству с ним. Французская риторика, либерализм Роттековой школы, pêle-mêle[1326] разбросанные анекдоты, сентенции, постоянные личности и никакой логики, никакого взгляда, никакой связи. Погодин писал рубленой прозой, а Головин думал рублеными мыслями.

Я миновал его знакомство донельзя. Ссора его

[1326] Сноски: 1326
как попало *(фр.).*

с Бакуниным помогла мне. Головин поместил в каком-то журнале дворянски либеральную статейку, в которой помянул его. Бакунин объявил, что ни с русским дворянством, ни с Головиным ничего общего не имеет.

Мы видели, что далее Июньских дней я не пролавировал в моем почетном незнакомстве.

Каждый день доказывал мне, как я был прав. В Головине соединилось все ненавистное нам в русском офицере, в русском помещике с бездною мелких западных недостатков, и это без всякого примирения, смягчения, без выкупа, без какой-нибудь эксцентричности, каких-нибудь талантов или комизмов. Его наружность vulgar, провокантная[1327] и оскорбительная, принадлежит, как чекан, целому слою людей, кочующих с картами и без карт по минеральным водам и большим столицам, вечно хорошо обедающих, которых все знают, о которых всё знают, кроме двух вещей: чем они живут и зачем они живут. Головин — русский офицер, французский

[1327] Сноски: 1327
вызывающая (*фр.* provocant).

bretteur, hâbleur[1328], английский свиндлер[1329], немецкий юнкер и наш отечественный Ноздрев, Хлестаков in partibus infidelium.

Зачем он покинул Россию, что он делал на Западе, — *он,* так хорошо шедший в офицерское общество своих братий, им же самим описанных? Сорвавшись с родных полей, он не нашел центра тяжести. Кончив курс в Дерптском университете, Головин был записан в канцелярию Нессельроде. Нессельроде ему заметил, что у него почерк плох, Головин обиделся и уехал в Париж. Когда его потребовали оттуда, он отвечал, что не может еще возвратиться, потому что не кончил своего «каллиграфического образования». Потом он издал свою компиляцию «La Russie sous Nicolas», в которой обидел пуще всего Николая тем, что сказал, что он *нпът* пишет с *е.* Ему велели ехать

[1328] Сноски: 1328
хвастун *(фр.).*

[1329] Сноски: 1329
мошенник (*англ.* swindler*).*

в Россию — он не поехал. Братья[1330] его воспользовались этим, чтобы посадить его на антониеву пищу — они посылали ему гораздо меньше денег, чем следовало. Вот и вся драма.

У этого человека не было ни тени художественного такта, ни тени эстетической потребности, никакого научного запроса, никакого серьезного занятия. Его поэзия была обращена на него самого, он любил позировать, хранить apparence[1331], привычки дурно воспитанного барича средней руки остались в нем на всю жизнь, спокойно сжились с кочевым фуражированием полуизгнанника и полубогемы.

Раз в Турине я застал его в воротах Hôtel Feder с хлыстиком в руке… Перед ним стоял савояр, полунагой и босой мальчик лет двенадцати. Головин бросал ему гроши и за всякий грош стегал его по ногам; савояр подпрыгивал, показывая, что очень больно, и просил еще. Головин хохотал

[1330] Сноски: 1330

A propos <по поводу *(фр.)*> его братий. Один из них, кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что *отличился* 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: «Умирающая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану… тому… несчастному… Вот письмо… Я, право, не знаю, что мне делать?» — «*Снести на почту*», — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт.

[1331] Сноски: 1331

внешнее приличие *(фр.)*.

и бросал грош. Я не думаю, чтоб он больно стегал, но все же стегал — и это могло его забавлять?

После Парижа мы встретились сначала в Женеве, потом в Ницце. Он был тоже выслан из Франции и находился в очень незавидном положении[1332]. Ему решительно нечем было жить, несмотря на тогдашнюю баснословную дешевизну в Ницце… Как часто и горячо я желал, чтоб Головин получил наследство или женился бы на богатой… Это бы мне развязало руки.

Из Ниццы он уехал в Бельгию, оттуда его прогнали, он отправился в Лондон и там натурализировался, смело прибавив к своей фамилии титул *князя Ховры*, на который не имел права. Английским подданным он возвратился в Турин и стал издавать какой-то журнал. В нем он додразнил министров до того, что они выслали его.

[1332] Сноски: 1332

Французская полиция не могла ему простить одну проделку. В начале 1849 была небольшая демонстрация. Президент, т. е. Наполеон III, объезжал верхом бульвары. Вдруг Головин продрался к нему и закричал: «Vive la République» и «A bas les ministres!» <«Да здравствует республика!»… «Долой министров!» *(фр.)*> – «Vive le République!» — пробормотал Наполеон. «Et les ministres?» — «On les changera!» <«А министры?» — «Их сменят!» *(фр.)*> Головин протянул ему руку. Прошло дней пять, министры остались, и Головин напечатал в «Réforme» свою встречу, с прибавлением, что так как президент не исполнил обещания, то он берет назад свое рукожатье (il retire sa poignée de main). Полиция промолчала и выслала его, несколько месяцев спустя, придравшись к 13 июню.

Головин стал под покровительство английского посольства. Посол отказал ему — и он снова поплыл в Лондон. Здесь в роли *рыцаря индустрии,* числящегося по революции, он без успеха старался примкнуть к разным политическим кругам, знакомился со всеми на свете и печатал невообразимый вздор.

В конце ноября 1853 Ворцель зашел ко мне с приглашением сказать что-нибудь на польской годовщине. Взошел Головин и, смекнув в чем дело, тотчас атаковал Ворцеля вопросом, может ли и он сказать речь.

Ворцелю было неприятно, мне вдвое, но тем не меньше он ему ответил:

— Мы приглашаем всех и будем очень рады; но чтоб митинг имел единство, надобно нам знать à peu près[1333], кто что хочет сказать. Мы собираемся тогда-то, приходите к нам потолковать.

Головин, разумеется, принял предложение. А Ворцель, уходя, сказал мне, качая головой, в передней:

— Что за нелегкое принесло его!

С тяжелым сердцем пошел я на приуготови-

[1333] Сноски: 1333
приблизительно *(фр.).*

тельное собрание; я предчувствовал, что дело не обойдется без скандала. Мы не были там пяти минут, как мое предчувствие оправдалось. После двух-трех отрывистых генеральских слов Головин вдруг обратился к Ледрю-Роллену, сначала напомнил, что они где-то встречались, чего Ледрю-Роллен все-таки не вспомнил, потом ни к селу ни к городу стал ему доказывать, что постоянно раздражать Наполеона — ошибка, что политичнее было бы его щадить для польского дела… Ледрю-Роллен изменился в лице, но Головин продолжал, что Наполеон один может выручить Польшу, и прочее. «Это, — добавил он, — не только мое личное мнение; теперь Маццини и Кошут это поняли и всеми силами стараются сблизиться с Наполеоном».

— Как же вы можете верить таким нелепостям? — спросил его Ледрю-Роллен вне себя от волнения.

— Я слышал…

— От кого? От каких-нибудь шпионов, — честный человек не мог вам этого говорить. Господа, я Кошута лично не знаю, но все же уверен, что это не так; что же касается до моего друга Маццини, я смело беру на себя отвечать за него, что он никогда не думал о такой уступке, которая была бы

страшным бедствием и вместе с тем изменою всей религии его.

— Да… да… само собой разумеется, — говорили с разных сторон. Ясно было, что слова Головина рассердили всех. Ледрю-Роллен вдруг повернулся к Ворцелю и сказал ему: «Вот видите, мои опасения были не напрасны; состав вашего митинга слишком разнообразен, чтоб в нем не заявились мнения, которые я не могу ни принять, ни даже слушать. Позвольте мне удалиться и отказаться от чести говорить 29 числа речь».

Он встал. Но Ворцель, останавливая его, заметил, что комитет, предпринявший дело митинга, избрал его своим председателем и что в этом качестве он должен просить Ледрю-Роллена остаться, пока он спросит своих товарищей, хотят ли они после сказанного допустить речь Головина и потерять содействие Ледрю-Роллена, или наоборот.

Затем Ворцель обратился к членам Централизации. Результат был несомненен. Головин его очень хорошо предвидел и потому, не дожидаясь ответа, встал и высокомерно бросил Ледрю-Роллену: «Я уступаю вам честь и место и сам отказываюсь от своего намерения сказать речь 29 ноября».

После чего он, доблестно и тяжело ступая, вышел вон.

Чтоб разом кончить дело, Ворцель предложил мне прочесть или сказать, в чем будет состоять моя речь.

На другой день был митинг — один из последних блестящих польских митингов. Он удался, народу было бездна. Я пришел часов в 8 — все уже было занято, и я с трудом пробирался на эстраду, приготовленную для бюро.

— Я вас везде ищу, — сказал мне d-r Дараш. — Вас ждет в боковой комнате Ледрю-Роллен и непременно хочет с вами поговорить до митинга.

— Что случилось?

— Да все этот шалопай Г<оловин>.

Я пошел к Ледрю-Роллену. Он был рассержен и был прав.

— Посмотрите, — сказал он мне, — что этот негодяй прислал мне за записку — четверть часа до того, как мне ехать сюда!

— Я за него не отвечаю, — сказал я, развертывая записку.

— Без сомнения, но я хочу, чтоб вы знали, кто он такой.

Записка была груба, глупа. Он и тут фанфарон-

ством хотел покрыть fiasco. Он писал Ледрю-Роллену, что если у него нет французской учтивости, то пусть он покажет, что не лишен французской храбрости.

— Я его всегда знал за беспокойного и дерзкого человека, но этого я не ожидал, — сказал я, отдавая записку. — Что же вы намерены делать?

— Дать ему такой урок, которого он долго не забудет. Я здесь всенародно на митинге сорву маску с этого aventurier, я расскажу о нашем разговоре, сошлюсь на вас как на свидетеля, и притом *русского,* и прочту его записку. А потом увидим... я не привык глотать такие конфеты.

«Дело скверное, — подумал я, — Головин со своей весьма подозрительной репутацией окончательно погибнет. Ему один путь спасенья будет — дуэль. Этой дуэли нельзя допустить, потому что Ледрю-Роллен совершенно прав и ничего обидного не сделал. В его положении нельзя же было драться со всяким встречным. И что за безобразие: на польском митинге одного русского эмигранта затопчут в грязь, а другой поможет».

— Да нельзя ли отложить?

— Чтоб потерять такой случай?

Я еще постарался остановить дело, ввернувши

предложение суда, jury d'honneur[1334], — все удавалось плохо.

...Затем мы вышли на эстраду и были встречены френетическим[1335] рукоплесканием. Рукоплескания и шум толпы, как известно, пьянят — я забыл о Головине и думал о своей речи. Об речи я говорил в другом месте. Самое появление мое на трибуне было встречено с величайшим сочувствием поляками, французами и итальянцами. Когда я кончил, Ворцель, председатель митинга, подошел ко мне и, обнимая меня, повторял, глубоко тронутый: «Благодарю, благодарю!» Рукоплескания, шум удесятерились, и я под их громом отправился на свое место... Тут мне пришел в голову Головин, и я испугался близости той минуты, когда трибун 1848 сомнет в своих руках этого шута. Я вынул карандаш и написал на клочке бумаги: «Бога ради устройте, чтоб гнусное дело Головина не испортило вашего митинга». Эстрада была амфитеатром, я записочку отдал сидевшему передо мной Пианчани, чтоб он ее передал Ворцелю. Ворцель прочитал, черкнул что-то карандашом и отдал в другую

[1334] Сноски: 1334
суда чести *(фр.).*

[1335] Сноски: 1335
бурным (*фр.* frénétique).

сторону, т. е. отправил к Ледрю-Роллену, который сидел выше. Ледрю-Роллен достал меня рукой за плечо и, весело кивая, сказал:

— За вашу речь и для вас я оставляю дело до завтра. — И я, довольный, как нельзя больше, отправился ужинать с Руге и Копингамом в American Store.

Не успел я на другой день встать, как комната моя наполнилась поляками. Они пришли меня благодарить, но, вероятно, благодарность они принесли бы и попозже. Главное, что им не терпелось покончить спор — головинское дело. Бешенство на него распахнулось во всей силе. Они составили акт, в котором Головин был обруган, адрес Ледрю-Роллену, которому объявили, что решительно не допустят его до дуэли. Десять человек готовы были драться с ним. Требовали, чтоб я подписал и акт и адрес.

Я видел, что из одной истории выйдут пять, и, пользуясь вчерашним успехом, т. е. авторитетом, который он мне дал, сказал им:

— В чем цель? Кончить ли это дело так, чтоб Ледрю-Роллен был удовлетворен и несчастный инцидент, чуть не испортивший ваш митинг, был стерт, или наказать Головина во что б ни стало? В последнем случае, господа, я не участвую,

и делайте как знаете.

— Конечно, главная цель — кончить дело.

— Хорошо; имеете вы ко мне доверие?..

— Да, да… еще бы…

— Я поеду *один* к Головину… и, если улажу дело так, что Ледрю-Роллен будет доволен, то и конец.

— Хорошо — а если не уладите?

— Тогда я подпишу ваш протест и адрес.

— Ладно.

Головина я застал мрачным и сконфуженным; он явно ждал грозы и вряд был ли доволен, что вызвал ее.

Объяснение наше было недолго. Я сказал ему, что спас его от двух неприятностей, и предложил мои услуги отстранить третью, а именно — примирить его с Ледрю-Ролленом. Ему хотелось окончить дело, но надменная натура его не допускала до сознания своей вины, а еще больше — до признания ее.

— Я соглашаюсь только для вас, — пробормотал он наконец.

Для меня или для кого другого — дело пошло на лад. Я поехал к Ледрю-Роллену, прождал его часа два в холодной комнате и простудился; наконец он приехал очень любезен и весел. Я рассказал ему всю историю от появления по-

вшехного[1336] вооружения Посполитой Речи до ломаний нашего матамора[1337], и Ледрю-Роллен со смехом согласился предать дело забвению и принять раскаявшегося грешника. Я отправился за ним.

Головин ждал в сильном волнении. Узнав, что все обстоит благополучно, он покраснел и, набивши все карманы пальто какими-то бумагами, поехал со мной.

Ледрю-Роллен принял настоящим gentleman'ом и тотчас стал говорить о посторонних делах.

— Я приехал к вам, — сказал Головин, — сказать, что мне очень жаль…

Ледрю-Роллен его перебил словами:

— N'en parlons plus…[1338] Вот ваша записка, бросьте ее в огонь… — и без запятой стал продолжать начатый рассказ. Когда мы встали, чтоб ехать, Головин выгрузил из кармана кипу брошюр и, подавая их Ледрю-Роллену, прибавил, <что> это его последние брошюры и что он просит его принять их в знак его особенного уважения.

[1336] Сноски: 1336
всеобщего (*пол.* powszechny*).*

[1337] Сноски: 1337
забияки (*фр.* matamore*).*

[1338] Сноски: 1338
Не будем об этом больше говорить *(фр.).*

Ледрю-Роллен, рассыпаясь в благодарности, с почтением уложил кипу, до которой, вероятно, никогда не дотрогивался.

— Вот наш литературный век, — сказал я Головину, садясь в карету. — Слыхал я, что умные люди берут с собой на дуэли штопор, но чтоб вооружались брошюрами — это ново!

Зачем я спас этого человека от позора? Право, не знаю и просто раскаиваюсь. Все эти пощады, великодушия, закрашивания, спасения падают на нашу голову по тому великому правилу, постановленному Белинским, что «мошенники тем сильны, что они с честными людьми поступают как с мошенниками, а честные люди с мошенниками — как с честными людьми». Бандиты журнального и политического мира опасны и неприятны по своему двусмысленному и затруднительному положению. Терять им нечего, выиграть они могут все. Спасая таких людей, вы их только снова приводите в прежний impasse[1339].

В рассказе моем нет слова преувеличенного. Подумайте же, каково было мое удивление, когда Головин напечатал в Германии через *десять лет*,

---

[1339] Сноски: 1339
тупик (*фр.*).

что *Ледрю-Роллен извинялся перед ним*… зная, что и он и я, слава Богу, живы и здоровы… Разве это не гениально!

Митинг был 29 ноября 1853 года. В марте 1854 я напечатал небольшое воззвание к русским солдатам в Польше от имени «Русской вольной общины в Лондоне». Головина это оскорбило, и он принес мне для напечатания следующий протест:

По желанию г. Головина я печатаю немедленно письмо его, полученное мною 26 марта. 27 марта 1854 г. *А. Герцен.*

«Я прочел вашу “благовесть”, писанную в день Благовещения.

Она надписана: “Вольная русская община в Лондоне”, а между тем встречаются слова: “Не помню, в какой губернии”.

Следовательно, для меня загадка, состоит ли эта община из вас и Энгельсона или из вас одного?

Здесь не место разбирать содержание, мне не бывшее показанное в рукописи. Чтобы упомянуть только о тоне, я бы не подписал обещание не оставить без совета людей, которые меня не просят об этом. Ни скромность, ни совесть не позволяют мне сказать, что я примирил имя

народа русского с народами Запада.

Посему почитаю должным просить вас объявить при следующем и наискорейшем случае, что я до сих пор не участвовал ни в каких воззваниях, печатанных вашею типографией по-русски.

Надеясь, что вы не заставите меня прибегнуть к другого рода гласности.

Я пребываю вам покорный

Иван Головин.

Лондон, 25 марта 1854 г.

(Г-ну Герцену — Искандеру).

P. S. Поставляю на ваше усмотрение напечатать мое письмо в настоящем его виде или объявить содержание оного вкратце».

Протесту я несказанно обрадовался: в нем я видел начало разрыва с этим невыносимо тяжелым человеком и публичное заявление нашего разногласия. Европа и сами поляки так поверхностно смотрят на Россию, особенно в промежутки, когда она не бьет соседей или не присоединяет целые государства в Азии, что я должен был работать десять лет, чтоб меня не смешивали с пресловутым Ivan Golovine.

Вслед за протестом Головин прислал письмо, длинное, бессвязное, которое заключил словами:

«Может быть, отдельно мы еще будем полезнее общему делу, если не станем тратить наши силы на борьбу друг с другом».

На это я отвечал ему:

30 марта, четверг.

Я считаю себя обязанным поблагодарить вас за письмо ваше, полученное вчера и которого добрую цель — смягчить печатное объявление — я вполне оценил.

Я совершенно согласен, что отдельно мы принесем больше пользы. Насчет борьбы, о которой вы пишете, — она не входила в мою голову. Я не возьму никакой инициативы, не имея ничего против вас, особенно когда каждый пойдет своей дорогой.

Вспомните, как давно и сколько раз я говорил вам келейно то, что вы сказали теперь публично. Наши нравы, мнения, симпатии и антипатии — все розно. Позвольте мне остаться с уважением к вам, но принять нашу раздельность за fait accompli[1340] — и вы и я — мы будем от этого свободнее.

Письмо мое — ответ, вопросов в нем нет; я вас прошу не длить этой переписки и полагаюсь

[1340] Сноски: 1340
совершившийся факт *(фр.)*.

на вашу деликатность, что окончательное расставание наше не будет сопровождено ни жестким словом, ни враждебным действием.

Желаю вам всего лучшего.

Что Головину вовсе не хотелось разорвать сношения со мной — это было очевидно; ему хотелось сорвать сердце за то, что мы печатали воззвание без него, и потом примириться, но я уж не хотел упустить из рук этого горячо желанного случая.

Недели две-три после моего письма я получил от него пакет. Раскрываю — бумага с траурным ободком… Смотрю — это половина погребального приглашения, разосланного 2 мая 1852 года. В ответ на его письмо из Турина я ему его послал и приписал: «Письмо ваше тронуло меня, я никогда не сомневался в добром сердце вашем…» На этом-то листе он написал, что просит у меня свиданья, и давал новый адрес и прибавлял: «Il ne s'agit pas d'argent»[1341].

Я отвечал, что идти к нему не могу, потому что не я имею к нему дело, а он ко мне, потому что он начал разрыв, а не я, наконец, потому, что он довел о том до посторонних. Но что я готов его

[1341] Сноски: 1341
«Дело идет не о деньгах» *(фр.)*.

принять у себя, когда ему угодно.

Он явился на другое утро, смирный и шелковый. Я уверял его еще и еще, что никакого враждебного шага с моей стороны сделано не будет, но что наши мнения, нравы до такой степени не сходны, что видаться нам незачем.

— Да как же вы это только теперь заметили?..

Я промолчал.

Мы расстались холодно, но учтиво.

Казалось бы, чего же еще? Нет, на другой же день Головин наградил меня следующим письмом[1342]:

(Ad usum proprium[1343])

После сегодняшнего разговора не могу я вам отказать в сатисфакции иметь общинку, имейте! Полемики же вести я никакой не намерен, следовательно, избегайте все, что может дать повод к ней.

Когда ваши новые друзья перед вами согрешат,

[1342] Сноски: 1342

«Morning Advertiser», тогда именно попавшийся в руки К. Блинда и немецких демократов марксовского толка, поместил глупейшую статью, в которой доказывал единство видов моей пропаганды с русским правительством. Головин, дающий такие хорошие советы, сам впоследствии прибегнул к тем же средствам и в том же «Morn<ing> Advert<iser>».

[1343] Сноски: 1343

Для собственного употребления *(лат.)*.

вы найдете во мне вам всегда преданного.

Мой совет написать в «M. Adv.», что вы процесса не заводите с ними потому только, что презираете невежество, которое не знает отличить патриота и друга свободы от агента, хвалит Бруннова и клевещет на Бакунина.

Я к вам ходить не буду, покуда буду занят делами более важными, нежели снисковать симпатии.

Когда же меня захотите посетить, всегда обрадуете тем более, что имея кое-что общее имеется также кое-что и переговорить.

И. Г.

26 апреля 54 г.

К лету я уехал в Ричмонд и некоторое время ничего не слыхал о Головине. Вдруг от него письмо. Он, не называя никого, говорил, что до него дошло, что я «смеялся над ним» у себя дома… и требовал (как у любовницы), чтоб я возвратил ему портрет его, подаренный в Ницце. Как я ни хлопотал, как ни рылся в бумагах, портрета найти не мог.

Досадно было… но пришлось передать ему, что портрет пропал. Я просил нашего общего знакомого, Савича, сказать ему, как я искал, и повторить, что я ни малейшего зла ему не желаю

и прошу его оставить меня в покое.

В ответ на это — следующее письмо:

А.

Почтенный Александр Иванович,

Вы говорили Савичу, что если я вам напишу письмо, то вы мне возвратите 10 Liv. Мое распоряжение было дать вам 20 Liv. из последних денег, да и вы сами писали, что вы из 100 возьмете только 20. Я надеялся вывернуться скоро, вышло иначе. Но через неделю, много две, я бы мог вам возвратить эти 10 Liv. Вы говорите, что вы мне не враг, и я прошу об этом не как об одолжении от приятеля, а как об справедливости. Если вам это кажется иначе, то откажите, не барабаня об этом вашим поклонникам.

И. Г.

Август 16.

На это письмо я ничего не отвечал. Не нужно и говорить, что я Савичу никаких денежных поручений не давал. Он нарочно спутал два дела, чтоб придать вид какой-то *сделки* простой просьбе. О самом Савиче, одном из забавнейших полевых цветков нашей родины, занесенных на чужбину, мы поговорим еще когда-нибудь.

Вслед за тем второе письмо. Он догадался,

что отсутствие ответа — отказ, и, разумеется, вымерил всю неосторожность своего поступка. Испугавшись, он решился взять дело приступом; он мне писал, что я «немец или жид», отослал назад мое письмо С., надписав на нем: «вы трусите»[1344].

Затем два письма с поддельной надписью и с бранью внутри вроде D[1345].

Жалею, что часть их утратилась, впрочем, тон один во всех.

Он ждал, что вслед за его письмом, в котором он говорит о трусости, я пришлю секундантов. Мои понятия о чести были действительно странны и не совпадали с его понятиями. Что за шалость убить кандидата в Бисетр, в смирительный дом, или быть им убитым, искалеченным и наверное

[1344] Сноски: 1344

В.

22 августа 1854. Ричмонд.

Милостивый государь,

Вы писали мне, что хотите прекратить всякое воспоминание нашего знакомства. Через несколько дней вы просили взаймы десять ливров.

На первое письмо я вам отвечал искренно и вежливо, не обращая внимания на тон вашего письма.

На второе я ничего не отвечал.

Переписка между нами невозможна. Я возвращаю вам письмо и не приму следующих. В полном сознании моей правоты в отношении к вам я буду упорно молчать, пока это возможно, надеясь на здравый смысл всякого беспристрастного человека.

А. Герцен.

23 августа 1854 г.

Вы хотите меня заставить с вами драться, так, как заставляют мальчиков. Мне совершенно все равно, считаете ли вы меня трусом или храбрым, вором или фальшивым монетчиком.

Почему вы хотите драться теперь — потому что вам совестно, что попросили десять ливров у человека, с которым грубо прервали все сношения. Если б я вам их дал, у вас не было бы reconnaissance <признательности (*фр.*)>.

Я не буду с вами драться, потому что это глупо, потому что я ничего не сделал, за что обязан вам репарацией, и потому, наконец, что стою самобытно на своих ногах и не покоряюсь чужой воле или ругательным словам, диктованным каким-то помешательством.

Не думайте, что я из этого письма делаю тайну, — вы можете его читать, не читать. Вообще, делайте что хотите, только не пишите ко мне.

Я, с своей стороны, и говорить не буду, не только писать — так мне это надоело.

А. Герцен.

[1345] Сноски: 1345

D.

Отослать письмо, не читая, есть дерзость, достойная храбрых. Отослать письмо, полагая, что оно содержит запрос денежный, между тем как ничего такого в нем нету, надо быть жидом. Отослать письмо, не зная, нет ли в нем чего, касающегося для чести, надо иметь об ней странные понятия.

попасть под суд, бросить свои занятия — и все это для того, чтоб доказать, что я его не боюсь... Как будто одни бешеные собаки имеют привилегию вселять ужас, не лишая чести боящегося?

Опять пауза. Головин не показывается в наших паражах[1346], кутит на чей-то *другой* счет, говорит дерзости кому-то *другому*, у кого-то другого берет деньги взаймы. Между тем последние светлые точки репутации тускнут, старые знакомые отрекаются от него, новые бегут. Луи Блан извиняется перед друзьями, встретившими его с Головиным на Regent street, дом Мильнер-Гибсона окончательно запирают для него, английские «симплетоны»[1347], глупейшие из всего мира, догадываются, что он не князь и не политический человек и вообще не человек, и только вдали одни немцы, знающие людей по книгопродавческим каталогам, считают его чем-то, «берюмтом»[1348].

В феврале 1855 приготовлялся известный народный сход С.-Мартинс-Галля, — торже-

---

[1346] Сноски: 1346
краях (*фр*. parage*)*.

[1347] Сноски: 1347
«простаки» (*англ*. simpleton*)*.

[1348] Сноски: 1348
«знаменитостью» (*нем*. Berühmt*)*.

ственный, но неудавшийся опыт соединения социалистов всех эмиграций с чартистами. Подробности и схода и марксовских интриг против моего избрания я рассказал в другом месте. Здесь о Головине.

Я не хотел произносить речи и пошел в заседание комитета, чтоб поблагодарить за честь и отказаться. Дело было вечером, и когда я выходил, я встретил одного чартиста на лестнице, который меня спросил, читал ли я письмо Головина в «Morning Advertiser'e»? Я не читал. Внизу был кафе и public-house, «Morning Advertiser» есть во всех кабаках; мы взошли, и Финлейн показал мне письмо Головина, в котором он писал, что до его сведения дошло, что международный комитет меня избрал членом, и просил, как русского, произнести речь на митинге, а потому он, *побуждаемый одной любовью к истине,* предупреждает, что я не русский, а немецкий жид, родившийся в России, — «раса, находящаяся под особым покровительством Николая».

Прочитав эту шалость, я возвратился в комитет и сказал председателю (Э. Джонсу), что беру назад мой отказ. Вместе с тем я показал ему и членам «Morning Adv.» и прибавил, что Головин очень хорошо знает мое происхождение и «лжет

из любви к истине». «Да и к тому же еврейское происхождение вряд могло ли бы служить препятствием, — прибавил я, — взяв во внимание, что первые изгнанники после сотворения мира были евреи — именно Адам и Ева».

Комитет расхохотался, и, с председателя начиная, приняли мое новое решение с рукоплесканием.

— Что касается до вашего выбора меня в члены, я обязан вас благодарить, но защищать ваш выбор — ваше дело.

— Да! Да! — закричали со всех сторон.

Джонс на другой день напечатал несколько строк в своем «The People» и послал письмо в «Daily News».

«ALEXANDER HERZEN, THE RUSSIAN EXILE.

Some sham democrat has written in the “Morning Advertiser” a libel with reference to *Mr. Herzen*, with a view to damage, if possible, the approaching demonstration in St. Martin’s Hall. The effort is puerile, because that demonstration is one of *peoples* and *principles*, and does not in any way depend on the personality of any individual. But in justice to *Mr. Herzen*, we are bound to say that

the ridiculous statement about his not being a Russian and an exile is a downright falsehood, and that the statement that he belongs to the same race as *Joseph* and *Josephus* is utterly without foundation; not that it is not just as honourable to belong to that once mighty and ever consistent people, as to any other. He was five years a captive in the Ural mountains, and liberated thence only to be banished from Russia, his native clime.

Mr. Herzen is at the head of Russian democratic literature, and the most distinguished exile of his country; as such, the representative of its proletarian millions. He will be at the demonstration in St. Martin's Hall, and will, we trust, receive a welcome, that will show the world that the English can sympathise with the Russian people, while they desire

to strike at the Russian tyrant»[1349].

«Mr. HERZEN.

To the editor of “The Daily News”.

Sir, —

a letter inserted in one of your contemporaries denies Mr. Herzen, the well-known Russian exile, the right of representing, in the International Committee, Russian democracy, and even the Russian birthright.

Mr. Herzen already has disposed of the second allgation. Allow us, on behalf of the International Committee, to add to Mr. Herzen’s reply a few facts respecting the first one, which very likely his modesty has prevented him alluding to.

At twenty years of age, condemned for a conspiracy against the despotism of the czar, he was sent to the frontier of Siberia, where he remained, an exile, for a

---

[1349] Сноски: 1349

«АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН — РУССКИЙ ИЗГНАННИК.

Какой-то горе-демократ написал клеветническую заметку в “Morning Advertiser” о г. Герцене, очевидно, с намерением, если возможно, повредить митингу, устраиваемому в St. Martin’s Hall’е. Это мальчишеская выходка. Митинг устраивается различными *нациями во имя принципов* и ни в какой мере не зависит от личности какого-нибудь отдельного участника. Но, чтобы быть справедливым к г. Герцену, мы обязаны сказать, что смехотворное заявление, будто он не русский и не изгнанник из своей страны, является чистейшей ложью; а утверждение, будто он принадлежит к той же самой расе, что Иосиф и Иосиф Флавий, совершенно ни на чем не основано, хотя, разумеется, нет ничего дурного и постыдного принадлежать к этому некогда могущественному и всегда стойкому сильному народу, как и ко всякому другому. В течение 5 лет Герцен находился в ссылке на Урале, а осво-

бодившись оттуда, он был изгнан из России — своей родины. Герцен стоит во главе русской демократической литературы, он является самым выдающимся из эмигрантов его страны, а как таковой — и представителем ее пролетарских миллионов. Он будет участвовать в митинге, демонстрации в St. Martin's Hall'е, и мы уверены, что прием, который ему будет оказан, покажет всему миру, что англичане могут симпатизировать русскому народу и в то же время намерены бороться с русским тираном» (*англ.*).

period of seven years.

Pardoned a first time, he knew very soon how to deserve a second condemnation.

In the meantime, political pamphlets, philosophical writings, and novels secured him one of the most distinguished places in Russian literature.

However, for the literary and political part played by Mr. Herzen in his own country, we can do no better than to refer to an article published on the 6th inst. in the "Athenaeum", of which nobody will suspect the impartiality.

Arrived in Europe in 1847, Mr. Herzen occupied an important rank amongst the distinguished men who attached their names to the great revolutionary movement of 1848. Since that time he has started in London the first Russian free press, wherein he prosecutes against the czar Nicolas and Russian despotism a deadly and most useful war.

In consequence of these facts, anxious as we were to unite the whole democracy in a common manifestation, we neither hoped nor wished to find in England or in Europe a nobler and truer representative of the revolutionary party in Russia. Yours, & Cº. (Signed on behalf of the International Committee.)

The President
Secretaries:
Robert Chapman.
Conrad Dombrowski.
Alfred Talandier»[1350].

Головин умолк и уехал в Америку.

«Наконец, — думал я, — мы освободились от него. Он пропадет в этом океане всяких свиндлеров и искателей богатств и приключений, сделается там пионером или диггером[1351], шулером или слевгольдером[1352], разбогатеет ли он там, или будет повешен по Lynch law... — все равно, лишь бы не возвратился». Ничуть не бывало — всплыл мой Головин через год в том же Лондоне и встретил на улице Огарева, который ему не кланялся, подошел и спросил

[1350] Сноски: 1350

«Г-н ГЕРЦЕН.

Издателю “The Daily News”.

М. г.! В одном из нумеров вашего издания помещено письмо, отрицающее за известным русским изгнанником г. Герценом не только право на представительство русской демократии в Международном комитете, но даже право на принадлежность к русской национальности.

Г-н Герцен уже отвечал на второе обвинение. Позвольте нам от имени Международного комитета присоединить к ответу г. Герцена несколько фактов касательно первого обвинения, — фактов, сослаться на которые г. Герцену, по всей вероятности, не позволила его скромность.

Осужденный, имея от роду двадцать лет, за заговор против царского деспотизма, г. Герцен был сослан на границу Сибири, где и проживал в качестве ссыльного в течение семи лет.

Амнистированный в первый раз, он очень скоро сумел заслужить

и вторую ссылку.

В то же самое время его политические памфлеты, философские статьи и беллетристические произведения доставили ему одно из самых выдающихся мест в русской литературе.

Чтоб показать, какое место принадлежит г. Герцену в политической и литературной жизни его родины, мы не можем сделать ничего лучшего, как сослаться на статью, напечатанную 6 числа текущего месяца в “Athenaeum”, журнале, который никто не заподозрит в пристрастии.

Прибывши в Европу в 1847 году, г. Герцен занял видное место в ряду тех выдающихся людей, имена которых тесно связаны с революционным движением 1848 года. С этого же времени он основал в Лондоне первое свободное русское издание, целью которого стала смертельная, в высшей степени полезная война против царя Николая и русского деспотизма.

Ввиду всех этих фактов, задавшись целью направить по (единому) руслу деятельность всей демократии в целом, мы не надеялись да и не желали бы найти более благородного и более истинного представителя революционной партии в России, чем г. Герцен.

С почтением
по уполномочию Международного комитета
Председатель
Секретариат: *Роберт Чапмен,*
Конрад Домбровский,
Альфред Таландье (англ.).

[1351] Сноски: 1351

золотоискателем (*англ.* digger*).*

[1352] Сноски: 1352

рабовладельцем (*англ.* slave-holder*).*

его: «А что, это вам не велели, что ли, кланяться?» — и ушел. Огарев нагнал его и, сказав: «Нет, я по собственному желанию не кланяюсь с вами», — пошел своей дорогой. Само собою разумеется, это тотчас вызвало следующую ноту:

Приступая к изданию *Кнута, я* не ищу быть в ладу с моими врагами, но я не хочу, чтобы они думали обо мне всякий вздор.

В двух словах я вам скажу, что было у меня с Герценом. Я был у него на квартире и просил не ссориться. «Не могу, — говорит, — не симпатизирую с вами, давайте полемику вести». Я ее не вел, но когда он отослал мне письмо нераспечатанное, тогда я его назвал немцем. Это Брискорн, называвший Долгорукого немцем на смех солдатам. Но Герцену угодно было отвечать и рассказать свою историю, а потом разгневаться не на себя, а на меня. Но и в истории в этой ничего не было обидного. Допустим, что мое поведение с ним было дурно, а ваше со мною хорошо, хотя вы и не близнецы, все еще не за что становиться на дыбы, не лезя в драку.

Головин.
Янв. 12/57.

Мы решились безусловно молчать. Нет досаднее наказания крикунам и hâbleur'ам, как молчание, как немое, холодное пренебрежение. Головин еще раза два сделал опыт написать к Огар<еву> колкие и остроумные записки, вроде приложенной второй миссивы[1353], уже совершенно лишенной смысла и смахивающей на действительное сумасшествие.

Берлин, 20 августа.

Я видел
бог цензуры русской
и не смолчал ему.

С Будбергом мы грызлись два часа; он рыдал, как теленок.

Vous voulez la guerre, vous l'aurez[1354].

Мы были врагами с Герценом два-три года. Что из этого произошло? Пользы никому! Хочет он стреляться! У меня *Стрела* готова! Но для пользы общей гораздо лучше подать руку!

Victoria Hôtel.

[1353] Сноски: 1353
послания, письма (*фр.* missive*).*

[1354] Сноски: 1354
Вы желаете войны — вы ее получите *(фр.).*

Вы издаете ваши полные сочинения. Пахнет ли в них мертвыми, как в Дании?

Ни слова ответа.

А впрочем, с ума сойти было от чего. Мало-помалу все материальные и моральные средства иссякли, литературные аферы, поддерживавшие его; кредиту — нигде; он предпринимал всякого рода полусветлые и полутемные дела — все падало на его голову или валилось из рук. На средства он не был разборчив.

Одним добрым утром, вероятно, не зная, где бы на чужой счет хорошенько пообедать, — а хорошо обедать он очень любил, — Головин написал Палмерстону письмо и предложил себя, — это было в конце Крымской войны, — тайным агентом английскому правительству, обещая быть очень полезным по прежним связям своим в Петербурге и по отличному знанию России. Палмерстону стало гадко, и он велел отвечать секретарю, что вискоунт[1355] благодарит г. Головина за предложение, но в настоящую минуту его услугами не нуждается. Это письмо в пакете с печатью Палмерстона Головин долго носил в кармане и *сам показывал его.*

[1355] Сноски: 1355
виконт (*англ.* viscount).

После смерти Николая он поместил в каком-то журнале ругательную статью против новой императрицы, подписав ее псевдонимом, и через день поместил в том же журнале возражение за своей подписью. Наш приятель Кауфман, редактор «Литографированной корреспонденции», обличил эту проделку, и об ней прокричали десятки журналов. Затем он предложил русскому посольству в Лондоне издавать *правительственную* газету. Но и Бруннов, как Палмерстон, еще не чувствовал настоятельной потребности в его услугах.

Тогда он просто попросил амнистию и тотчас получил ее с условием поступить на службу. Он испугался, стал торговаться о месте служения, просил, чтоб его взял к себе Суворов, бывший тогда генерал-губернатором остзейских провинций. Суворов согласился — Головин не поехал, а написал князю Горчакову письмо о своем сновидении: он видел — государь призывает его в свой совет и что он с рвением ему благие дела советует.

Сны не всегда сбываются, и вместо места в царской думе наш поседевший шалун чуть не попал в исправительный дом. Встретившись с каким-то коммерческим фактотумом Стерном, Головин, без гроша денег, поднялся на всякие спекуляции, забывая, что еще в 1846 имя его было выставлено в Париже на бирже как человека, нечисто играющего. Он хотел надуть Стерна — Стерн надул его; Головин прибегнул к своей методе: он поместил в журналах статью о Стерне, в которой коснулся его семейной жизни. Стерн взбесился и потребовал его к суду. Головин явился растерянный, испуганный к солиситору[1356], он боялся тюрьмы, сильного штрафа, огласки. Солиситор предложил ему подписать какой-то документ на мировую, он подписал полное отречение от сказанного. Солиситор скрепил, а Стерн, вылитографировавши документ и снабдив его facsimil'ем, разослал ко всем своим и головинским знакомым. Один экземпляр получил и я.

4, Egremont Place, London.
29 May 1857.

Dear Sir,

[1356] Сноски: 1356
адвокату (*англ.* solicitor).

Your having commenced an action for libel against me in respect of certain statements I have made both verbally and in writing reflecting upon your character and your having through the intervention of mutual friends consented to forego further proceedings therein upon my paying the costs thereof and retracting such statements and also expressing my regret at having made use of them, I thus gladly avail myself of those terms and beg to assure you that if anything that I may have written or said has tended in the most remote degree to in jure you I can only say that such was not my intention and that I am very sorry for having adopted the course I did which shall never be repeated by

yours truly
I. Golovin.

E. Stern Esq.
Witness: H. Empson, Solicitor. 61. Moorgate street,

London[1357].

Затем Лондон оказался решительно невозможным… Головин оставил его, увозя с собой целую портфель незаплоченных счетов портных, сапожников, трактирщиков, домохозяев… Он уехал в Германию и вдруг как-то скоропостижно женился. Замечательное событие это он телеграфировал в тот же день императору Александру II.

Года через два, проживши приданое жены, он напечатал в фельетоне какой-то газеты о несчастиях гениального человека, женатого на простой женщине, которая не может его понимать.

Затем я не слыхал об нем больше пяти лет.

В начале польского восстания — новый опыт примириться: «Польские и русские друзья этого

[1357] Сноски: 1357

4, Egremont Place, London. 29 мая 1857.

Милостивый государь! Так как Вы возбудили против меня дело о клевете по поводу некоторых моих устных и письменных заявлений, бросающих тень на Ваш характер, и так как Вы при посредничестве общих друзей согласились прекратить это дело в том случае, если я заплачу судебные издержки и откажусь от упомянутых заявлений, а также выражу сожаление, что сделал их, — то я с радостью принимаю эти условия и прошу Вас верить, что, если что-либо из сказанного или написанного мною хотя бы в малейшей степени повредило Вам, я не имел такого намерения и крайне сожалею о том, что сделал и чего более никогда не повторит Ваш покорный слуга.

И. Головин.

Е. Стерну, эсквайру.

Свидетель Г. Эмпсон, адвокат.

требуют, ждут!» — Я промолчал.

…В начале 1865 я встретил в Париже какого-то сгорбившегося старика, с осунувшимся лицом, в поношенной шляпе, в поношенном пальто… Было ветрено и очень холодно… Я шел на чтение к А. Дюма… которое тоже было ветрено и вяло. Старик прятался в воротник; проходя, он, не глядя на меня, пробормотал: «Отзвонил!» — и пошел далее. Я приостановился… Головин шел прежней тяжелой ступней, не оборачивался — пошел и я. Остановился я затем, что раза два он встречался со мной на лондонских улицах; раз он пробормотал: «Экой злой!», другой — сказал себе что-то под нос, вероятно, обругал, но я не слыхал, и ко мне он не обращался, а начинать с ним уличную историю мне не хотелось. Он рассказал впоследствии Савичу и Савашкевичу, что, встретившись, обругал меня, а я промолчал.

— Что же Головин здесь делает? — спросил я того же Голынского, о котором упомянул.

— Плохо ему; он сделался брокантером, меняйлой, покупает скверные картины, надувает ими дураков, а большей частью сам бывает надут… Стареет, брюзжит, пишет иногда статьи, которые никто не печатает, не может вам простить ваши успехи… и ругает вас на чем свет стоит.

…Сношений между нами не было с тех пор. Но через годы, когда всего менее ждешь, получается письмо… то с предложением примириться, по просьбе каких-то поляков, то с какой-нибудь бранью. С нашей — ни слова ответа.

Я вздумал, как ни скучно, записать наши похождения и для этого развернул уцелевшие письма его. В то время как я взялся за перо и написал первые строки, мне подали письмо руки Головина. Вот оно как достойный эпилог:

Александр Иванович!

Напоминаю я Вам о себе редко, но разнесся слух, что вы «умываете себе руки» и сходите с колокольни.

По-моему, не берись за гуж, а взявшись за гуж, не говори, что дюж.

Ваши средства вам позволяют издавать «Колокол» и при потере. Если можно, поместите письмо, при сем приложенное.

Головин.

Г-ну Каткову, редактору «Московских ведомостей».

Милостивый государь!

Извините меня, если я не знаю вас ни по имени,

ни по отчеству, знаю вас только за вашу слепую ненависть к полякам, в которых вы не признаете ни людей, ни славян, знаю также за ваше незнание европейских вопросов.

Мне говорят, что в вашем журнале была фраза: «Дерптское перо сожалеет об России и утопает в ничтожестве» или нечто подобное. Я жалею Россию, жалею *опричничество* и неурядицу ее, жалею дворянство, которое принуждено делать фальшивые ассигнации и фальшивые билеты лотерейные, так что в настоящую минуту представлено три билета, выигравших 100 тысяч рублей, и никто не может отличить, который настоящий, жалею упивающихся крестьян, ворующих чиновников и священников, врущих вздор; но я знаю, что *на Руси не красно жить.*

Угодно было его величеству не велеть мне прописать в паспорт глупый чин, добытый мною в университете, и я записал в его формулярный список титул *благонамеренного,* который ему и остается, так что написанное пером не вырубается и топором.

Украли у меня отечество за политическую экономию; я вспомнил, что я человек прежде нежели русский и служу человечеству — поприще гораздо большее, нежели служба государственная,

которую мне возлагали в обязанность.

В моих глазах я не упал, а поднялся. Слышал я, что если б приехал, то заперли бы меня в дом умалишенных; но надо было бы выпустить много крови, чтоб ослабел мой мозг, — операция, известная под 53 градусом северной широты против людей, которым есть с чего сходить.

Имею честь быть ваш покорный слуга.

Ив. Головин

Париж, февр. 1/66.

Часть восьмая
<Отрывки>
(1865–1868)
<Глава I>
Без связи
I
Швейцарские виды[1358]

Лет десять тому назад, идучи поздним зимним, холодным, сырым вечером по Геймаркету, я натолкнулся на негра, лет семнадцати; он был бос, без рубашки и вообще больше раздет тропически, чем одет по-лондонски. Стуча зубами и дрожа всем телом, он попросил у меня милостыни. Дня через два я опять его встретил, а потом еще и еще. Наконец я вступил с ним в разговор. Он говорил ломаным англо-испанским языком, но понять смысл его слов было не трудно.

— Вы молоды, — сказал я ему, — крепки, что же вы не ищете работы?

— Никто не дает.

— Отчего?

[1358] Сноски: 1358

Небольшие отрывки из этого отдела были напечатаны в «Колоколе».

— Нет никого знакомого, кто бы поручился.

— Да вы откуда?

— С корабля.

— С какого?

— С испанского. Меня капитан очень бил, я и ушел.

— Что вы делали на корабле?

— Все: платье чистил, посуду мыл, каюты прибирал.

— Что же вы намерены делать?

— Не знаю.

— Да ведь вы умрете с холода и голода, по крайней мере наверно схватите лихорадку.

— Что же мне делать? — говорил негр с отчаянием, глядя на меня и дрожа всем телом от холода.

«Ну, — подумал я, — была не была — не первая глупость в жизни».

— Идите со мной; я вам дам угол и платье, вы будете чистить у меня комнаты, топить камины и останетесь сколько хотите, если будете вести себя порядком и тихо. Se no — no[1359].

Негр запрыгал от радости.

В неделю он потолстел и весело работал за че-

[1359] Сноски: 1359

Если нет, так нет (*um.*).

тырех. Так прожил он с полгода; потом, как-то вечером, явился перед моей дверью, постоял молча и потом сказал мне:

— Я к вам пришел проститься.

— Как так?

– *Теперь довольно, я* пойду.

— Вас кто-нибудь обидел?

— Помилуйте, я всеми доволен.

— Так куда же вы?

— На какой-нибудь корабль.

— Зачем?

— Очень соскучился, не могу; я сделаю беду, если останусь, мне надобно море. Я поезжу и опять приеду, а *теперь довольно.*

Я сделал опыт остановить его, дня три он подождал и во второй раз объявил, что это сверх сил его, что он должен уйти, что *теперь довольно.*

Это было весной. Осенью он явился ко мне снова тропически раздетый; я опять его одел; но он вскоре наделал разных пакостей, даже грозил меня убить, и я был вынужден его прогнать.

Последнее к делу не идет, а идет к делу то, что я совершенно разделяю воззрение негра. Долго живши на одном месте и в одной колее, я чувствую, что на некоторое время *довольно,* что надобно освежиться другими горизонтами

и физиономиями… и с тем вместе взойти в себя, как бы это ни казалось странным. Поверхностная рассеянность дороги не мешает.

Есть люди, предпочитающие отъезжать *внутренно;* кто при помощи сильной фантазии и *отвлекаемости* от окружающего — на это надобно особое помазание, близкое к гениальности и безумию, — кто при помощи опиума или алкоголя. Русские, например, пьют запоем неделю-другую, потом возвращаются ко дворам и делам. Я предпочитаю передвижение всего тела передвижению мозга и кружение по свету — кружению головы.

Может, оттого, что у меня похмелье тяжело.

Так рассуждал я 4 октября 1866 в небольшой комнате дрянной гостиницы на берегу Невшательского озера, в которой чувствовал себя как дома, как будто в ней жил всю жизнь.

С летами странно развивается потребность одиночества и, главное, тишины… На дворе было довольно тепло, я отворил окно… Все спало глубоким сном: и город, и озеро, и причаленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрыпу и видно по легкому уклонению мачты, никак не попадавшей в линию равновесия и переходившей ее то направо, то

налево…

…Знать, что никто вас не ждет, никто к вам не взойдет, что вы можете делать что хотите, умереть, пожалуй… и никто не помешает, никому нет дела… разом страшно и хорошо. Я решительно начинаю дичать и иногда жалею, что не нахожу сил принять светскую схиму.

Только в одиночестве человек может работать во всю силу своей могуты. Воля располагать временем и отсутствие неминуемых перерывов — великое дело. Сделалось скучно, устал человек — он берет шляпу и сам ищет людей и отдыхает с ними. Стоит ему выйти на улицу — вечная каскада лиц несется, нескончаемая, меняющаяся, неизменная, с своей искрящейся радугой и седой пеной, шумом и гулом. На этот водопад вы смотрите, как художник. Смотрите на него, как на выставку, именно потому, что не имеете практического отношения. Все вам постороннее, и ни от кого ничего не надобно.

На другой день я встал ранехонько и уже в 11 часов до того проголодался, что отправился завтракать в большой отель, куда меня с вечера не пустили за неимением места. В столовой сидел англичанин с своей женой, закрывшись от нее листом «Теймса», и француз лет трид-

цати — из новых, теперь слагающихся типов: толстый, рыхлый, белый, белокурый, мягкожирный, он, казалось, готов был расплыться, как желе в теплой комнате, если б широкое пальто и панталоны из упругой материи не удерживали его мясов. Наверно, сын какого-нибудь князя биржи или аристократ демократической империи. Вяло, с недоверием и пытливым духом продолжал он свой завтрак; видно было, что он давно занимается и — устал.

Тип этот, почти не существовавший прежде во Франции, начал слагаться при Людовике-Филиппе и окончательно расцвел в последние пятнадцать лет. Он очень противен, и это, может, комплимент французам. Жизнь кухонного и винного эпикуреизма не так искажает англичанина и русского, как француза. Фоксы и Шериданы пили и ели за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Француз безнаказанно предается одной *литературной* гастрономии, состоящей в утонченном *знании* яств и витийстве при заказе блюд. Ни одна нация не *говорит* столько об обеде, о приправах, тонкостях, как французы; но это все фиоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француза заедает, поглощает… оно ему не по

нервам. Француз остается цел и невредим только при самом многостороннем волокитстве, это его национальная страсть и любимая слабость, в ней он силен.

— Прикажете десерт? — спросил гарсон, видимо, уважавший француза больше нас.

Молодой господин варил в это время пищу в себе и потому медленно, поднимая на гарсона тусклый и томный взгляд, сказал ему:

— Я еще не знаю, — потом подумал и прибавил: — Une poire![1360]

Англичанин, который в продолжение всего времени молча ел за ширмами газеты, встрепенулся и сказал:

— Et à moà aussi![1361]

Гарсон принес две груши, на двух тарелках, и одну подал англичанину; но тот с энергией и азартом протестовал:

— No, no! Aucune chose pour poire![1362] Ему просто хотелось пить. Он напился и встал; я тут

[1360] Сноски: 1360
Грушу! (*фр.*)

[1361] Сноски: 1361
И мне тоже! (*искаж. фр.*)

[1362] Сноски: 1362
Нет, нет! Чего-нибудь попить! (*искаж. фр.*); англичанин спутал poire (груша) с boire (пить).

только заметил, что на нем была детская курточка, или спенцер, светло-коричневого цвета и светлые панталоны в обтяжку, страшно сморщившиеся возле ботинок. Встала и леди; она подымалась все выше, выше и, сделавшись очень высокой, оперлась на руку приземистого своего мужа и вышла.

Я их проводил улыбкой невольной, но совершенно беззлобной; они все же мне казались вдесятеро больше люди, чем мой сосед, расстегивавший, по случаю удаления дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейн — естественная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько невыразимой скуке обеих сторон. Тройная скука налегла здесь на все: немецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нет удивительного, что единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью; кроме мертвых, здесь никто не веселится, хотя немецкое общество сильно любит музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Город транзитный: все проезжают по нем, и никто не останавливается, кроме комиссионеров

и ломовых извозчиков высшего порядка.

Жить в Базеле без особой любви к деньгам нельзя. Впрочем, вообще в швейцарских городах жить скучно, да и не в одних швейцарских, а во всех небольших городах. «Чудесный город Флоренция, — говорит Бакунин, — точно прекрасная конфета… ешь не нарадуешься, а через неделю нам все сладкое смертельно надоедает». Это совершенно верно; что же и говорить после этого о швейцарских городах? Прежде было покойно и хорошо на берегу Лемана; но с тех пор, как от Вевея до Вето всё застроили подмосковными и в них выселились из России целые дворянские семьи, исхудалые от несчастия 19 февраля 1861, нашему брату там не рука.

Лозанна.

Я в Лозанне проездом. В Лозанне все проездом, кроме аборигенов.

В Лозанне посторонние не живут, несмотря ни на ее удивительные окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: раз после смерти Кромвеля, раз при жизни Гиббона и теперь, строя в ней домы и виллы. Живут туристы только в Женеве.

Мысль о ней для меня неразрывна с мыслью о самом холодном и сухом великом человеке и о

самом холодном и сухом ветре — о Кальвине и о бизе. Я обоих терпеть не могу.

И ведь в каждом женевце осталось что-то от бизы и от Кальвина, которые дули на него духовно и телесно со дня рождения, со дня зачатия и даже прежде — один из гор, другой из молитвенников.

Действительно, след этих *двух простуд,* с разными пограничными и чересполосными оттенками — савойскими, валлийскими, пуще всего французскими, — составляет основной характер женевца — хороший, но не то чтоб особенно приятный.

Впрочем, я теперь описываю путевые впечатления, а в Женеве *я живу.* Об ней я буду писать, отойдя на артистическое расстояние…

…В Фрибург я приехал часов в десять вечера… прямо к Zähringhof'у. Тот же хозяин, в черной бархатной скуфье, который встречал меня в 1851 году, с тем же правильным и высокомерно-учтивым лицом русского обер-церемоний-мейстера или английского швейцара, подошел к омнибусу и поздравил нас с приездом.

…И столовая та же, те же складные четырехугольные диванчики, обитые красным бархатом.

Четырнадцать лет прошли перед Фрибургом, как четырнадцать дней! Та же гордость ка-

федральным органом, та же гордость цепным мостом.

Веяние нового духа, беспокойного, меняющего стены, разбрасывающегося, поднятого эквинокциальными[1363] бурями 1848 года, мало коснулось городов, стоящих в нравственной и физической стороне, вроде иезуитского Фрибурга и пиетистического Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашьим шагом, стали лучше, но нам кажутся отсталыми в своей каменной одежде, сшитой не по моде… А ведь многое в прежней жизни было недурно, прочнее, удобнее: она была лучше разочтена для *малого* числа избранных и именно поэтому не соответствует огромному числу вновь приглашенных, далеко не так избалованных и не так трудных во вкусе.

Конечно, при современном состоянии техники, при ежедневных открытиях, при облегчении средств можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человек, владеющий местом, довольствуется малым. Вообще на него наклепали, и, главное, наклепал он сам то пристрастие к комфорту и ту избалованность, о которой говорят. Все это у него риторика

[1363] Сноски: 1363
равноденственными (*фр.* equinoxial).

и фраза, как и все прочее; были же у него свободные учреждения без свободы, отчего же не иметь блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключения. Мало ли что можно найти у английских аристократов, у французских камелий, у иудейских князей мира сего… Все это личное и временное: лорды и банкиры не имеют будущности, а камелии — наследников. Мы говорим о *всем свете,* о золотой посредственности, о хоре и кор-де-бале, который теперь на сцене и жуирует, оставляя в стороне отца лорда Станлея, имеющего тысяч двадцать франков дохода в день, и отца того двенадцатилетнего ребенка, который на днях бросился в Темзу, чтоб облегчить родителям пропитанье.

Старый, разбогатевший мещанин любит толковать об удобствах жизни; для него все это еще ново: *что он барин,* qu'il a ses aises[1364], что его средства ему позволяют, что это его не разорит. Он дивится деньгам и знает их цену и летучесть, в то время как его предшественники по богатству не верили ни в их истощаемость, ни в их достоинство и потому разорялись. Но разорялись они со вкусом. У «буржуа» мало смысла широко

[1364] Сноски: 1364
что все к его услугам (*фр.*).

воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой наследственной, скупой жизни осталась. Он, пожалуй, и тратит большие деньги, но не на то, что надобно. Поколение, прошедшее прилавком, усвоило себе не те размеры, не те планы, в которых привольно, и не может от них отстать. У них все делается будто на продажу, и они, естественно, имеют в виду как можно большую выгоду, барыш и казовый конец. «Проприетер» инстинктивно уменьшает размер комнат и увеличивает их число, не зная, почему делает небольшие окны, низкие потолки; он пользуется каждым углом, чтоб вырвать его у жильца или у своей семьи. Угол этот ему не нужен, но на всякий случай он его отнимает у кого-нибудь. Он с особенным удовольствием устроивает две неудобных кухни вместо одной порядочной, устроивает мансарду для горничной, в которой нельзя ни работать, ни повернуться, но зато сыро. За эту экономию света и пространства он украшает фасад, грузит мебелью гостиную и устроивает перед домом цветник с фонтаном — наказание детям, нянькам, собакам и наемщикам.

Чего не испортило скряжничество, то доделывает нерасторопность ума. Наука, прорезываю-

щая мутный пруд обыденной жизни, не мешаясь с ней, бросает направо и налево свои богатства, но их не умеют удить мелкие лодочники. Вся польза идет гуртовщикам и цедится каплями для других; гуртовщики меняют шар земной, а частная жизнь тащится возле их паровозов в старой колымаге, на своих клячах… Камин, который бы не дымился, — мечта; мне один женевский хозяин успокоительно говорил: «Камин этот *только* дымит в бизу[1365]», т. е. именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза — как будто случайность или новое изобретение, как будто она не дула до рождения Кальвина и не будет дуть после смерти Фази. Во всей Европе, не исключая ни Испании, ни Италии, надобно, вступая в зиму, писать свое завещание, как писали его прежде, отправляясь из Парижа в Марсель, и в половине апреля служить молебен Иверской Божией Матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствий, что у них другого дела много, я им прощу и дымящиеся камины, и замки, которые разом отворяют дверь и кровь, и вонь в сенях, и прочее, но спрошу, в чем их дело, в чем их выс-

---

[1365] Сноски: 1365
северный ветер (*фр.* bise).

шие интересы? *Их нет*... они только выставляют их для скрытия невообразимой пустоты и бессмыслия...

В средние века люди жили наисквернейшим образом и тратились на совершенно ненужные и не идущие к удобствам постройки. Но средние века не толковали о страсти к удобствам — напротив, чем неудобнее шла их жизнь, тем она ближе была к их идеалу; их роскошь была в благолепии дома Божия и дома общинного, и там они уж не скупились, не жались. Рыцарь строил тогда крепость, а не дворец, и выбирал не наиудобнейшую дорогу для нее, а неприступную скалу. Теперь защищаться не от кого, в спасение души от украшения церквей никто не верит; от форума и ратуши, от оппозиции и клуба мирный гражданин порядка отстал; страсти и фанатизмы, религии и героизмы — все это уступило место материальному благосостоянию, *а оно-то и не устроилось*.

Для меня во всем этом есть что-то печальное, трагическое, точно этот мир живет кой-как, в ожидании, что земля расступится под ногами, и ищет не устроиться, а забыться. Я это вижу не только в озабоченных морщинах, но и в боязни перед серьезной мыслью, в отвращении

от всякого разбора своего положенья, в судорожной жажде недосуга, внешней рассеянности. Старики готовы играть в игрушки, «лишь бы дело не шло на ум».

Модный оттягивающий пластырь — всемирные выставки. Пластырь и болезнь вместе, какая-то перемежающаяся лихорадка с переменными центрами. Все несется, плывет, идет, летит, тратится, домогается, глядит, устает, живет еще неудобнее, чтоб следить за *успехом* — чего? Ну, так, за успехами. Как будто в три-четыре года может быть такой прогресс во всем, как будто при железных дорогах такая крайность возить из угла в угол домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды…

…Ну, а выставки надоедят — примутся за войну, начнут рассеиваться грудами трупов, лишь бы не видеть каких-то *черных точек* на небосклоне…

II
Болтовня с дороги и родина в буфете

— Есть место в Андерматт?
— Вероятно, будет.
— В кабриолете?

— Может быть; вы заходите в половине одиннадцатого…

Я смотрю на часы — три без четверти… и я с чувством какого-то бешенства сажусь на лавочку перед кафе… Шум, крик, таскают чемоданы, водят лошадей; лошади стучат без нужды по камням; трактирные гарсоны завоевывают путешественников; дамы роются между саками… Щелк, щелк… — один дилижанс поскакал… щелк, щелк — другой поскакал за ним… Площадь пустеет, все разошлось… Жар смертельный, светло до безобразия, камни побледнели; собака легла было середь площади, но вдруг вскочила с негодованием и побежала в тень. Перед кафе сидит толстый хозяин в рубашке, он постоянно дремлет. Идет баба с рыбой. «Почем рыба?» — спрашивает с видом страшной злобы хозяин. Женщина говорит цену. — «Carrogna»[1366], — кричит хозяин. — «Ladro»[1367], — кричит женщина. — «Иди мимо, старая чертовка!» — «Берешь, что ли, разбойник?» — «Ну, отдавай за *три венты* фунт». — «Чтоб тебе умереть без исповеди!» Хозяин берет рыбу, женщина — деньги, и дружески

[1366] Сноски: 1366
«Стерва» (*ит.*).

[1367] Сноски: 1367
«Разбойник» (*ит.*).

расстаются. Все эти ругательства — одна принятая форма, вроде вежливостей, употребляемых нами.

Собака продолжает спать, хозяин отдал рыбу и опять дремлет; солнце печет, сидеть дольше невозможно. Иду в кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу… Описание гор и пропастей, цветущих лугов и голых гранитов — все это есть в гиде… Лучше посплетничать. Сплетни — отдых разговора, его десерт, его соя; одни идеалисты и абстрактные люди не любят сплетней… Но о ком сплетничать?.. Разумеется, о предмете, самом близком нашему патриотическому сердцу, — о наших милых соотечественниках. Их везде много, особенно в хороших отелях.

Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи; они скоро знакомятся с гарсонами и туго — с соседями; они едят с ножа; военные похожи на немцев, но отличаются от них особенно дерзким затылком, с оригинальной щетинкой;

дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за table d'hôte'ом[1368], и пр.

Тунское озеро сделалось цистерной, около которой насели наши туристы высшего полета. Fremden-Liste[1369] словно выписан из «Памятной книжки»: министры и тузы, генералы всех оружий и даже тайной полиции отмечены в нем. В садах отелей наслаждаются сановники, mit Weib und Kind[1370], природой и в их столовой — ее дарами. «Вы через Гемми или Гримзель?» — спрашивает англичанка англичанку. — «Вы в "Jungfraublick'e" или в "Виктории" остановились?» — спрашивает русская русскую. — «Вот и "Jungfrau!"» — говорит англичанка. — «Вот и Рейтерн» (министр финансов), — говорит русская...

Intcinq minutes d'arrêt...

[1368] Сноски: 1368
общим обеденным столом (*фр.*).

[1369] Сноски: 1369
Список приезжих (*нем.*).

[1370] Сноски: 1370
с женами и детьми (*нем.*).

Intcinq minutes d'arrêt[1371]

и все, что было в вагонах, высыпалось в залу ресторана и бросилось за стол, торопясь съесть обед в какие-нибудь двадцать минут, из которых дорожное начальство непременно украдет пять-шесть да еще прежде испугает аппетит страшным звонком и криком: «En voiture»[1372].

Взошла высокая барыня в темном и ее муж в светлом, с ними двое детей… Взошла с застенчивым, неловким видом бедно одетая девушка, у которой на руках были какие-то мешочки и баульчики. Она постояла… потом пошла в угол и села — почти возле меня. Зоркий взгляд гарсона ее заметил; прореяв с тарелкой, на которой лежал кусок ростбифа, он спустился, как коршун, на бедную девушку и спросил ее, что она желает заказать. «Ничего», — отвечала она, и гарсон, которого кликал английский клержиман, побежал к нему… Но через минуту он опять подлетел к ней и, махая салфеткой, спросил ее: «Что, бишь, вы заказали?»

Девушка что-то прошептала, покраснела

[1371] Сноски: 1371

Скороговорка; надо: Vingt cinq minutes d'arrêt — Двадцать пять минут остановки (*фр.*).

[1372] Сноски: 1372

«Занимайте места» (*фр.*).

и встала. Меня так и кольнуло. Мне захотелось предложить ей чего-нибудь, но я не смел.

Прежде чем я решился, черная дама повела черными глазами по зале и, увидя девушку, подозвала ее пальцем. Она подошла, дама указала ей на недоеденный детьми суп, и та, *стоя* середь ряда сидящих и удивленных путешественников, смущенная и потерянная, съела ложки две и поставила тарелку.

— Messieurs les voyageurs pour Ucinnungen, Onctin et Tontuyx — en voiture![1373]

Все бросились с ненужной поспешностью к вагонам.

Молчать я не мог и сказал гарсону (не коршуну, другому):

— Вы видели?

— Как же не видать — это *русские.*

III
За Альпами

...Архитектуральный, монументальный характер итальянских городов, рядом с их запу-

---

[1373] Сноски: 1373

Господа пассажиры на Uttigen, Mont-Sion и Tondu, занимайте места! (*искаж. фр.)*

щенностью, под конец надоедает. Современный человек в них не дома, а в неудобной ложе театра, на сцене которого поставлены величественные декорации.

Жизнь в них не уравновесилась, не проста и не удобна. Тон поднят, во всем декламация, и декламация итальянская (кто слыхал чтение Данта, тот знает ее). Во всем та натянутость, которая бывала в ходу у московских философов и немецких *ученых* художников; все с высшей точки, vom höhern Standpunkt. Взвинченность эта исключает abandon[1374], вечно готова на отпор и проповедь с сентенциями. Хроническая восторженность утомляет, сердит.

Человеку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, иметь *тугенды*[1375], быть тронутым и носиться мыслию далеко в былом, а Италия не спускает с известного диапазона и беспрестанно напоминает, что ее улица не просто улица, а что она памятник, что по ее площадям не только надобно ходить, но должно их изучать.

Вместе с тем все особенно изящное и великое

[1374] Сноски: 1374
непринужденность (*фр.*).

[1375] Сноски: 1375
добродетели (*нем.* Tugend*).*

в Италии (а может, и везде) граничит с безумием и нелепостью, по крайней мере напоминает малолетство… Piazza Signoria — это детская флорентинского народа; дедушка Бонарроти и дядюшка Челлини надарили ему мраморных и бронзовых игрушек, а он их расставил зря на площади, где столько раз лилась кровь и решалась его судьба, без малейшего отношения к Давиду или Персею… Город в воде, так что по улицам могут гулять ерши и окуни… Город из каменных щелей, так что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтоб ползать и бегать по узенькому дну, между утесами, составленными из дворцов… А тут Беловежская пуща из мрамора. Какая голова смела создать чертеж этого каменного леса, называемого Миланским собором, эту гору сталактитов? Какая голова имела дерзость привести в исполнение сон безумного зодчего… и кто дал деньги, огромные, невероятные деньги!

Люди только жертвуют на ненужное. Им всего дороже их фантастические цели. Дороже насущного хлеба, дороже своей корысти. В эгоизм надобно воспитаться так же, как в гуманность. А фантазия уносит без воспитанья, увлекает без рассуждений. Века веры были веками чудес.

Город поновее, поменее исторический и деко-

ративный — Турин.

— Так и обдает своей прозой.

— Да, а жить в нем легче — именно потому, что он просто город, город не в собственное свое воспоминание, а для обыденной жизни, для настоящего; в нем улицы не представляют археологического музея, не напоминают на каждом шагу memento mori[1376], а взгляните на его работничье населенье, на их резкий, как альпийский воздух, вид — и вы увидите, что это кряж людей бодрее флорентийцев, венециан, а может, и постойчее генуэзцев.

Последних, впрочем, я не знаю. К ним присмотреться очень трудно: они все мелькают перед глазами, бегут, суетятся, снуют, торопятся. В переулках к морю народ кипит, но те, которые стоят, не генуэзцы, это матросы всех морей и океанов, шкиперы, капитаны. Звонок там, звонок тут — Partenza! — Partenza![1377] — и часть муравейника засуетилась: одни нагружают, другие разгружают.

[1376] Сноски: 1376
помни о смерти (*лат.*).

[1377] Сноски: 1377
Отплытие! Отплытие! (*ит.*)

IV
Zu Deutsch[1378]

…Три дня льет проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется… В окне книжной лавки выставлена «Переписка Гейне», два тома. Вот спасенье — я взял их и принялся читать впредь до расчищения неба.

Много воды утекло с тех пор, как Гейне писал Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дело: с 1848 года мы всё пятились да отступали, всё бросали за борт да ежились, а кой-что сделалось, и всё исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, т. е. тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее — может, оттого, что это в самом деле работа. Дон-Кихоты реакции пропороли много наших воздушных шаров, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, как дух Божий, над водами с цевницей и пророческим песнопением, а цепляемся за деревья, крыши и за мать сыру землю.

Где эти времена, когда «Юная Германия»,

[1378] Сноски: 1378
Слишком по-немецки (*нем.*).

в своем «прекрасном высоко», *теоретически* освобождала отечество и в сферах чистого разума и искусства покончивала с миром преданий и предрассудков? Гейне было противно на ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гёте, грезя не совсем складные, но умные сны второй части «Фауста», однако и он ниже книжного магазина не опустился, — это все еще академическая aula[1379], литературные кружки, журнальные приходы, с их сплетнями и дрязгами, с их книжными Шейлохами в виде Котты или Гофмана и Кампе, с их геттингенскими архиереями филологии и епископами юриспруденции в Галле или Бонне. Ни Гейне, ни его круг народа не знали, и народ их не знал. Ни скорбь, ни радость низменных полей не подымалась на эти вершины; для того чтоб понять стон современных человеческих трясин, им надобно было переложить его на латинские нравы и через Гракхов и пролетариев добраться до их мысли.

Бакалавры мира *сублимированного*[1380], они выходили иногда в жизнь, начиная, как Фауст,

---

[1379] Сноски: 1379
актовый зал (*лат.*).

[1380] Сноски: 1380
возвышенного (*фр.* sublime).

с полпивной и всегда, как он, с каким-нибудь духом школьного отрицанья, который им, как Фаусту, мешал своей рефлексией просто глядеть и видеть. Оттого-то они тотчас возвращались от живых источников к источникам историческим — тут они чувствовали себя больше дома. Занятия их, это особенно замечательно, не только не были *делом,* но и не были *наукой,* а, так сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчас бунтовал против архивного воздуха и аналитического наслаждения, хотел чего-то другого, а письма его — совершенно *немецкие письма* того немецкого периода, на первой странице которого Беттина-дитя, а на последней Рахель-еврейка. Мы свежее дышим, встречая в его письмах страстные порывы юдаизма; тут Гейне в самом деле увлекающийся человек, но он тотчас стынет, холодеет к юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не бескорыстную измену.

Революция 1830 и потом переезд Гейне в Париж сильно двинули его. «Der Pan ist gestorben!»[1381] — говорит он с восторгом, и торопится *туда* — туда, куда и я некогда торопился так болезненно

[1381] Сноски: 1381
«Пан умер!» (*нем.*)

страстно, — в Париж; он хочет видеть «великий народ» и «седого Лафайета, разъезжающего на серой лошади». Но литература вскоре берет верх, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями впересыпочку с жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположение духа, сквозь которого просвечивает безмерное, оскорбительное самолюбие. И тут же Гейне берет фальшивую ноту. Холодно вздутый риторический бонапартизм его становится так же противен, как брезгливый ужас гамбургского хорошо вымытого жида перед народными трибунами не в книгах, а на самом деле. Он не мог переварить, что рабочьи сходки не представлялись в чопорной обстановке кабинета и салона Варнгагена, «фарфорового» Варнгагена фон Энзе, как он его сам назвал.

Чистотой рук и отсутствием табачного запаха, впрочем, и ограничивается чувство его собственного достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не немецкое, не еврейское и, по несчастию, тоже не русское.

Гейне кокетничает с прусским правительством, заискивает в нем через посла, через

Варнгагена и ругает его[1382]. Кокетничает с баварским королем и осыпает его сарказмами, больше чем кокетничает с «высокой» германской диетой и выкупает свое дрянное поведение перед ней едкими насмешками.

Все это не объясняет ли, отчего учено-революционная вспышка в Германии так быстро лопнула в 1848 году? Она тоже принадлежала литературе и исчезла, как ракета, пущенная в Крольгардене; она имела своих вождей-профессоров и своих генералов от филологии, она имела свой народ в ботфортах и беретах, народ-студентов, изменивших революционному делу, как только оно перешло из метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кроме несколько забежавших или завлеченных работников, народ не шел за этими бледными *фюрерами,* они ему так и остались посторонними.

— Как вы можете выносить все обиды Бисмар-

[1382] Сноски: 1382

Не то же ли делал и гений *на содержании* прусского короля? Его двуипостасность навлекла на него колкое слово. После 1848 король ганноверский, ультраконсерватор и феодал, приехал в Потсдам. На лестнице дворца его встретили разные придворные и Гумбольдт в ливрейном фраке. Злой король остановился и, улыбаясь, сказал ему: «Immer derselbe: immer Republikaner und immer im Vorzimmer des Palastes» <«Все тот же: всегда республиканец и всегда в прихожей дворца» (*нем.*)>.

ка? — спросил я за год до войны у одного левого депутата из Берлина в самое то время, когда граф набивал себе руку для того, чтоб повышибать зубы покрепче Грабова и К°.

— Мы все сделали, что могли, innerhalb[1383] конституции.

— Ну, так вы бы, по примеру правительства, попробовали ausserhalb[1384].

— То есть что же? Сделать воззвание к народу, остановить платежи налогов?.. Это мечта… *ни один человек не двинулся бы за нас,* не поддержал бы нас… и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидетельствуя сами нашу слабость.

— Ну, так и я скажу, как ваш президент при всяком заушении: «Воскликните троекратно “Es lebe der König!”[1385] и разойдитесь с миром!»

V
С того и этого света

[1383] Сноски: 1383
в пределах (*нем.*).

[1384] Сноски: 1384
вне пределов (*нем.*).

[1385] Сноски: 1385
«Да здравствует король!» (*нем.*)

I. С того

...«Villa Adolphina... Адольфина?.. что, бишь, такое?.. Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer»...[1386]

Вхожу — все чисто, хорошо, деревья, цветы, английские дети на дворе, толстые, мягкие, румяные, которым от души желаю никогда не встречаться с антропофагами... Выходит старушка и, спросив о причине прихода, начинает разговор с того, что она не *служанка,* «а больше по дружбе», что M-me Adolphine поехала в больницу или в богадельню, в которой она патронесса. Потом ведет меня показывать «необыкновенно удобную квартиру», которая первый раз еще не занята во время сезона и которую сегодня утром приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, в силу чего служащая «больше по дружбе» старушка искренно советовала мне не терять времени. Поблагодарив ее за такое внезапное сочувствие и предпочтение, я обратился к ней с вопросом:

— Sie sind eine Deutsche?

— Zu Diensten. Und der gnädige Herr?

[1386] Сноски: 1386

«Вилла Адольфина, большие и малые комнаты, сад, вид на море...» (*фр.*)

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg[1387]. Признаться сказать, такого города, кажется, нет и не будет.

— Очень приятно слышать. Вы давно оставили Петербург?

— Да, не вчера-таки; мы вот уже здесь живем на худой конец лет двадцать. Я с детства была подругой с M-me Adolphine и потом никогда не хотела ее покинуть. Она мало хозяйством занимается, все у нее идет так, некому присмотреть. Когда meine Gönnerin[1388] купила этот маленький *парадиз,* она меня тотчас выписала из Брауншвейга…

— А где вы жили в Петербурге? — спросил я вдруг.

— О, мы жили в самой лучшей части города, где lauter Herrschaften und Generäle[1389] живут. Сколько раз я видела покойного государя, как он в коляске и в санях на одной лошади проезжал

[1387] Сноски: 1387

— Вы немка? — К вашим услугам. А вы, сударь? — Русский. — Очень, очень приятно. Я так долго, так долго жила в Петербурге (*нем.*).

[1388] Сноски: 1388

моя покровительница (*нем.*).

[1389] Сноски: 1389

сплошь знатные господа и генералы (*нем.*).

so ernst[1390]… можно сказать, настоящий потентат[1391] был.

— Вы жили на Невском, на Морской?

— Да, т. е. не совсем на Нефском, а тут возле, у Полицей-брюке.

«Довольно… довольно, как не знать», — думаю я, и прошу старушку, чтоб она сказала, что я приду к самой M-me Adolphine переговорить о квартире.

Я никогда не мог без особого умиления встречаться с развалинами давнишнего времени, с полуразрушенными памятниками храма ли Весты или другого бога, все равно… Старушка «по дружбе» пошла меня провожать через сад к воротам.

— Вот наш сосед тоже долго жил в Петербурге… — она указала мне большой кокетливо убранный дом, на этот раз с английской надписью: «Large and small app<artement> (furnished or unfurnished)»[1392] …Вы, верно, помните Фло-

---

[1390] Сноски: 1390
такой серьезный (*нем.*).

[1391] Сноски: 1391
властитель (*нем.* Potentat).

[1392] Сноски: 1392
«Большие и малые комнаты (с мебелью и без мебели)» (*англ.*).

риани? Coiffeur de la cour[1393] был, возле Мильонной; он имел одну неприятную историю… был преследован, чуть не попал в Сибирь… знаете, за излишнее снисхождение, — тогда были такие строгости.

«Ну, — думаю, — она непременно произведет Флориани в мои “товарищи несчастья”».

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту историю, в ней были замешаны синодский обер-прокурор и другие богословы и гвардейцы…

— Вот он сам.

…Высохший, беззубый старичишка, в маленькой соломенной шляпе, морской или детской, с голубой лентой около тульи, в коротеньком светлогороховом полупальто и в полосатых штанишках… вышел за ворота. Он поднял скупо-сухие, безжизненные глаза и, пожевывая тонкими губами, кивнул головой старушке «по дружбе».

— Хотите, я его позову?

— Нет, покорно благодарю… *я не по этой части* — видите, бороду не брею… Прощайте. Да скажите, пожалуйста, ошибся я или нет: у monsieur Floriani красная ленточка?

— Да, да, он очень много жертвовал!

[1393] Сноски: 1393
Парикмахер двора его величества (*фр.*).

— Прекрасное сердце.

В классические времена писатели любили сводить на том свете давно и недавно умерших затем, чтоб они покалякали о том и о сем. В наш реальный век всё на земле и даже часть *того света на этом свете.* Елисейские Поля растянулись в Елисейские берега, Елисейские взморья и рассыпались там-сям по серным и теплым водам, у подножия гор, на рамках озер; они продаются акрами, обработываются под виноград… Часть умершего в треволненной жизни отправляет здесь первый курс переселения душ и гимназический класс Чистилища.

Всякий человек, проживший лет пятьдесят, схоронил целый мир, даже два; с его исчезновением он свыкся и привык к новым декорациям другого акта; вдруг имена и лица давно умершего времени являются чаще и чаще на его дороге, вызывая ряды теней и картин, где-то хранившихся на всякий случай, в бесконечных катакомбах памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной раз чуть не расплакаться…

Желающим, как Фауст, повидаться «с матерями» и даже «с отцами» не нужно никаких Мефистофелей, достаточно взять билет на железной дороге и ехать к югу. С Канна и Грасса

начиная, бродят греющиеся тени давно утекшего времени; прижатые к морю, они, покойно сгорбившись, ждут Харона и свой черед.

На пороге этой Città, не то чтоб очень dolente[1394], стоит привратником высокая, сгорбленная и величавая фигура лорда Брума. После долгой, честной и исполненной бесплодного труда жизни, он всем существом и одной седой бровью ниже другой выражает часть дантовской надписи: Voi ch'entrate[1395], *с мыслью домашними средствами поправить застарелое, историческое зло,* lasciate ogni speranza[1396]. Старик Брум, лучший из Ветхих деньми, защитник несчастной королевы Каролины, друг Роберта Оуэна, современник Каннинга и Байрона, последний, ненаписанный том Маколея, поставил свою виллу между Грассом и Канном, и очень хорошо сделал. Кого было бы, как не его, поставить примиряющей вывеской в преддверии временного Чистилища, чтоб не отстращать живых?

[1394] Сноски: 1394
Città dolente — град скорбей (*ит.*).

[1395] Сноски: 1395
Вы, что входите сюда… (*ит.*).

[1396] Сноски: 1396
…оставьте всякую надежду (*ит.*).

Затем мы en plein[1397] в мире умолкших теноров, потрясавших наши восьмнадцатилетние груди лет *тридцать* тому назад, ножек, от которых таяло и замирало наше сердце вместе с сердцем целого партера, — ножек, оканчивающих теперь свою карьеру в стоптанных, собственноручно вязанных из шерсти туфлях, пошлепывающих за горничной из бесцельной ревности и по хозяйству — из очень целеобразной скупости…

…И все-то это с разными промежутками продолжается до самой Адриатики, до берегов Комского озера и даже некоторых немецких водяных *пятен* (Flecken). Здесь villa Taglioni, там Palazzo Rubini, тут Campagna Fanny Elssner и других *лиц*… du prétérit défini et du plus-que-parfait[1398].

Возле актеров, сошедших со сцены маленького театра, актеры самых больших подмосток в мире, давно исключенные из афиш и забытые, — они в тиши доживают век Цинцинатами и философами против воли. Рядом с артистами, некогда отлично представлявшими царей, встречаются цари, скверно разыгравшие свою роль. Цари эти

[1397] Сноски: 1397
всецело (*фр.*).

[1398] Сноски: 1398
прошедшего и давнопрошедшего (*фр.*).

захватили с собой, как индейские покойники, берущие на тот свет своих жен, двух-трех преданных министров, которые так усердно помогли им пасть и сами свалились с ними. В их числе есть венценосцы, освистанные при дебюте и все еще ожидающие, что публика придет к большей справедливой оценке и опять позовет их. Есть и такие, которым impresario исторического театра не позволил и дебютировать, — мертворожденные, имеющие *вчера,* но не имеющие *сегодня,* — их биография оканчивается до их появления на свет; астеки давно ниспровергнутого закона престолонаследия — они остаются шевелящимися памятниками угасших династий.

Далее идут генералы, знаменитые победами, одержанными над ними, тонкие дипломаты, погубившие свои страны, игроки, погубившие свое состояние, и сморщенные, седые старухи, погубившие во время оно сердца этих дипломатов и этих игроков. Государственные фоссили[1399], все еще понюхивающие табак, так, как его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминают с «ископаемыми» красавицами времен M-me Récamier залу Ливенши,

[1399] Сноски: 1399
ископаемые (*фр*. fossile).

юность Лаблаша, дебюты Малибран и дивятся, что Патти смеет после этого петь... И в то же время люди зеленого сукна, прихрамывая и кряхтя, полурасшибленные параличом, полузатопленные водяной, толкуют с другими старушками о других салонах и других знаменитостях, о смелых ставках, о графине Киселевой, о гомбургской и баденской рулетке, об игре покойного Сухозанета, о тех патриархальных временах, когда владетельные принцы немецких вод были в доле с содержателями игр и опасный, средневековый грабеж путешественников перекладывали на мирное поприще банка и rouge ou noir[1400]...

...И все это еще дышит, еще движется: кто не на ногах, в перамбулаторе, в коляске, укрытой мехом, кто опираясь вместо клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимением слуги. «Списки иностранцев» похожи на старинные адрес-календари, на клочья изорванных газет «времен наваринских и покорения Алжира».

Возле гаснущих звезд трех первых классов сохраняются другие кометы и светила, занимавшие собою, лет тридцать тому назад, праздное и жадное любопытство, по особому кровавому

[1400] Сноски: 1400
рулетки (*фр.*).

сладострастью, с которым люди следят за процессами, ведущими от трупов к гильотине и от кучей золота на каторгу. В их числе разные освобожденные от суда за «неимением доказательств» отравители, фальшивые монетчики, люди, кончившие курс нравственного лечения где-нибудь в центральной тюрьме или колониях, «контюмасы»[1401] и пр.

Всего меньше встречаются в этих теплых чистилищах тени людей, всплывших середь революционных бурь и неудавшихся народных движений. Мрачные и озлобленные горцы *якобинских* вершин предпочитают суровую бизу; угрюмые лакедемоняне, они скрываются за лондонскими туманами…

II. С этого

1. Живые цветы. – Последняя могиканка

— Поедемте на bal de l'Opéra[1402] — теперь самая пора: половина второго, — сказал я, вставая

[1401] Сноски: 1401
осужденные заочно (*фр.* contumace).

[1402] Сноски: 1402
бал в Оперу (*фр.*).

из-за стола в небольшом кабинете Café Anglais, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполне не протрезвлявшемуся. Мне хотелось на воздух, на шум, и к тому же я побаивался длинного tête-à-tête с моим невским Клод Лорреном.

— Поедемте, — сказал он и налил себе еще рюмку коньяку.

Это было в начале 1849 года, в минуту ложного выздоровленья между двух болезней, когда еще хотелось, или казалось, что хотелось, иногда дурачества и веселья.

…Побродивши по оперной зале, мы остановились перед особенно красивой кадрилью напудренных дебардеров с намазанными мелом Пьерро. Все четыре девушки, очень молодые, лет восемнадцати-девятнадцати, были милы и грациозны, плясали и тешились от всей души, незаметно переходя от кадриля в канкан. Не успели мы довольно налюбоваться, как вдруг кадриль расстроился «по обстоятельствам, не зависевшим от танцевавших», как выражались у нас журналисты в счастливые времена цензуры. Одна из танцовщиц, и, увы, самая красивая, так ловко или так неловко опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину груди

и часть спины, немного больше того, как делают англичанки, особенно пожилые, которым нечем взять, кроме плечей, на самых чопорных раутах и в самых видных ложах Ковен-гардена (вследствие чего во втором ярусе решительно нет возможности с достодолжным целомудрием слушать «Casta diva»[1403] или «Sub salice»[1404]).

Едва я успел сказать простуженному художнику: «Давайте-ка сюда Бонарроти, Тициана, берите вашу кисть, а то она поправится», как огромная черная рука, не Бонарроти и не Тициана, a gardien de Paris[1405] схватила ее за ворот, рванула вон из кадриля и потащила за собой. Девушка упиралась, не шла, как делают дети, когда их собираются мыть в холодной воде, но человеческая справедливость и порядок взяли верх и были удовлетворены. Другие танцовщицы и их Пьерро переглянулись, нашли свежего дебардера и снова начали поднимать ноги выше головы и отпрядывать друг от друга для того, чтоб еще яростнее наступать, не обратив почти никакого внимания

[1403] Сноски: 1403
«Непорочную богиню» (*ит.*).

[1404] Сноски: 1404
«Под ивою» (*ит.*).

[1405] Сноски: 1405
полицейского (*фр.*).

на похищение Прозерпины.

— Пойдемте посмотреть, что полицейский сделает с ней, — сказал я моему товарищу. — Я заметил дверь, в которую он ее повел.

Мы спустились по боковой лестнице вниз. Кто видел и помнит бронзовую собаку, внимательно и с некоторым волнением смотрящую на черепаху, тот легко представит себе сцену, которую мы нашли. Несчастная девушка в своем легком костюме сидела на каменной ступеньке и на сквозном ветру, заливаясь слезами; перед ней — сухопарый, высокий муниципал, с хищным и серьезно глупым видом, с запятой из волос на подбородке, с полуседыми усами и во всей форме. Он с достоинством стоял, сложив руки, и пристально смотрел, чем кончится этот плач, приговаривая:

— Allons, allons![1406]

Для довершения удара девушка сквозь слезы и хныканье говорила:

— …Et… et on dit… on dit que… que… nous sommes en République… et… on ne peut danser comme l'on

---

[1406] Сноски: 1406
Идем, идем! (*фр.*)

veut!..[1407]

Все это было так смешно и так в самом деле жалко, что я решился идти на выручку военнопленной и на спасение в ее глазах чести республиканской формы правления.

— Mon brave[1408], — сказал я с рассчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому, — что вы сделаете с mademoiselle?

— Посажу au violon до завтрашнего дня, — отвечал он сурово.

Стенания увеличиваются.

— Научится, как рубашку скидывать, — прибавил блюститель порядка и общественной нравственности.

— Это было несчастье, brigadier[1409], вы бы ее простили,

— Нельзя. La consigne[1410].

— Дело праздничное…

— Да вам что за забота? Etes-vous son

[1407] Сноски: 1407
…И… еще говорят… еще говорят… что… у нас республика… а… нельзя танцевать как хочется!.. (*фр.*)

[1408] Сноски: 1408
Почтеннейший (*фр.*).

[1409] Сноски: 1409
бригадир (*фр.*).

[1410] Сноски: 1410
Инструкция (*фр.*).

réciproque?[1411]

—

Первый раз от роду вижу, parole d'honneur![1412] Имени не знаю, спросите ее сами. Мы иностранцы, и нас удивило, что в Париже так строго поступают с слабой девушкой, avec un être frêle[1413]. У нас думают, что здесь полиция такая добрая… И зачем позволяют вообще канканировать, а если позволяют, г. бригадир, тут иной раз поневоле или нога поднимется слишком высоко, или ворот опустится слишком низко.

— Это-то, пожалуй, и так, — заметил пораженный моим красноречием муниципал, а главное, задетый моим замечанием, что иностранцы имеют такое лестное мнение о парижской полиции.

— К тому же, — сказал я, — посмотрите, что вы делаете. Вы ее простудите, — как же из душной залы полуголое дитя посадить на сквозной ветер?

— Она сама не идет. Ну, да вот что: если вы дадите мне честное слово, что она в залу сегодня

[1411] Сноски: 1411
Вы ее друг? (*фр.*)

[1412] Сноски: 1412
честное слово! (*фр.*)

[1413] Сноски: 1413
с хрупким созданием (*фр.*).

не взойдет, я ее отпущу.

— Браво! Впрочем, я меньше и не ожидал от г. бригадира — я вас благодарю от всей души.

Пришлось пуститься в переговоры с освобожденной жертвой.

— Извините, что, не имея удовольствия быть с вами знакомым лично, вступился за вас.

Она протянула мне горячую, мокрую ручонку и смотрела на меня еще больше мокрыми и горячими глазами.

— Вы слышали, в чем дело? Я не могу за вас поручиться, если вы мне не дадите слова, или, лучше, если вы не уедете сейчас. В сущности, жертва не велика; я полагаю, теперь часа три с половиной.

— Я готова, я пойду за мантильей.

— Нет, — сказал неумолимый блюститель порядка, — отсюда ни шагу!

— Где ваша мантилья и шляпка?

— В ложе такой-то №, в таком-то ряду.

Артист бросился было, но остановился с вопросом: «Да как же мне отдадут?»

— Скажите только, что было, и то, что вы от *Леонтины Маленькой*... Вот и бал! — прибавила она с тем видом, с которым на кладбище говорят: «Спи спокойно».

— Хотите, чтоб я привел фиакр?

— Я не одна.

— С кем же?

— С одним другом.

Артист возвратился окончательно распростуженный с шляпой, мантильей и каким-то молодым лавочником или commis voyageur[1414].

— Очень обязан, — сказал он мне, потрогивая шляпу, потом ей: — Всегда наделаешь историй! — Он почти так же грубо схватил ее под руку, как полицейский за ворот, и исчез в больших сенях Оперы… «Бедная… достанется ей… И что за вкус… она… и он!»

Даже досадно стало. Я предложил художнику выпить, он не отказался.

Прошел месяц. Мы сговорились человек пять: венский агитатор Таузенау, генерал Г<ауг>, Мюллер-С<трюбинг> и еще один господин, ехать в другой раз на бал. Ни Г<ауг>, ни Мюллер ни разу не были. Мы стояли в кучке. Вдруг какая-то маска продирается, продирается и — прямо ко мне, чуть не бросается на шею и говорит:

— Я вас не успела тогда поблагодарить…

— Ah, mademoiselle Léontine… очень, очень рад,

[1414] Сноски: 1414
приказчиком (*фр.*).

что вас встретил; я так и вижу перед собой ваше заплаканное личико, ваши надутые губки; вы были ужасно милы; это не значит, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрела на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

— Нимало.

— В воспоминанье вашего плена вы должны бы были, если бы вы были очень, очень любезны…

— Ну что же? Soyez bref[1415].

— Должны бы отужинать с нами.

— С удовольствием, ma parole[1416], но только не теперь.

— Где же я вас сыщу?

— Не беспокойтесь, я вас сама сыщу, ровно в четыре. Да вот что, я здесь не одна…

— Опять с вашим другом? — И мурашки пробежали у меня по спине.

Она расхохоталась.

— Он не очень опасен, — и она подвела ко мне девочку лет семнадцати, светло-белокурую, с голубыми глазами.

[1415] Сноски: 1415
Будьте кратки (*фр.*).

[1416] Сноски: 1416
честное слово (*фр.*).

— Вот мой друг.

Я пригласил и ее.

В четыре Леонтина подбежала ко мне, подала руку, и мы отправились в Café Riche. Как ни близко это от Оперы, но по дороге Г<ауг> успел влюбиться в «Мадонну» Андреа Del Sarto, т. е. в блондинку. И за первым блюдом, после длинных и курьезных фраз о тинтореттовской прелести ее волос и глаз, Г<ауг>, только что мы уселись за стол, начал проповедь о том, как с лицом Мадонны и выражением чистого ангела не эстетично танцевать канкан.

— Armes, holdes Kind![1417] — добавил он, обращаясь ко всем.

— Зачем ваш друг, — сказала мне Леонтина на ухо, — говорит такой скучный fatras?[1418] Да и зачем вообще он ездит на оперные балы — ему бы ходить в Мадлену.

— Он *немец,* у них уж такая болезнь, — шепнул я ей.

— Mais c'est qu'il est ennuyeux votre ami avec son *mal de sermonts.* Mon petit saint, finiras-tu donc

---

[1417] Сноски: 1417
Бедное, милое дитя! (*нем.*)

[1418] Сноски: 1418
вздор (*фр.*).

bientôt?[1419]

И в ожидании конца проповеди усталая Леонтина бросилась на кушетку. Против нее было большое зеркало, она беспрестанно смотрелась и не выдержала; она указала мне пальцем на себя в зеркале и сказала:

— А что, в этой растрепавшейся прическе, в этом смятом костюме, в этой позе я и в самом деле будто недурна.

Сказавши это, она вдруг опустила глаза и покраснела, покраснела откровенно, до ушей. Чтоб скрыть, она запела известную песню, которую Гейне изуродовал в своем переводе и которая страшна в своей безыскусственной простоте:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hôtel-Dieu[1420].

Странное существо, неуловимое, живое, «Лацерта»[1421] гётевских элегий, дитя в каком-то бессознательном чаду. Она действительно,

---

[1419] Сноски: 1419

Однако он скучен, ваш друг, со своими проповедями. Скоро ли ты кончишь, святоша? (*фр.*)

[1420] Сноски: 1420

И я умру в собственном доме или в доме призрения (*фр.*).

[1421] Сноски: 1421

«Ящерица» (*лат.* lacerta).

как ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидеть, да и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пела, делала гримасы перед зеркалом, и все с непринужденностью ребенка и с грацией женщины. Ее frivolité[1422] была наивна. Случайно завертевшись, она еще кружилась… неслась… того толчка, который бы остановил на краю или окончательно толкнул ее в пропасть, еще не было. Она довольно сделала дороги, но воротиться могла. Ее в силах были спасти светлый ум и врожденная грация.

Этот тип, этот круг, эта среда не существуют больше. Это — la petite femme[1423] студента былых времен, гризетка, переехавшая из Латинского квартала по сю сторону Сены, равно не *делающая* несчастного *тротуара* и не имеющая прочного общественного положения камелии. Этот тип не существует, так, как не существует, конверсаций[1424] около камина, чтений за круглым столом, болтанья за чаем. Другие формы, другие звуки, другие люди, другие слова… Тут своя скала,

---

[1422] Сноски: 1422
фривольность (*фр.*).

[1423] Сноски: 1423
подружка (*фр.*).

[1424] Сноски: 1424
бесед (*фр.* conversation).

свое crescendo[1425]. Шаловливый, несколько распущенный элемент тридцатых годов — du leste, de l'espièglerie[1426] — перешел в *шик,* в нем был кайеннский перец, но еще оставалась кипучая, растрепанная грация, оставались остроты и ум. С увеличением дел коммерция отбросила все излишнее и всем внутренним пожертвовала выставке, эталажу. Тип Леонтины, разбитной парижской gamine[1427], подвижной, умной, избалованной, искрящейся, вольной и, в случае надобности, гордой, не требуется — и *шик* перешел в *собаку.* Для бульварного Ловласа нужна женщина-собака и пуще всего собака, имеющая своего хозяина. Оно экономнее и бескорыстнее — с ней он может охотиться на чужой счет, уплачивая одни extra[1428]. «Parbleu, — говорил мне старик, которого лучшие годы совпадали с началом царствования Людовика-Филиппа, — je ne me retrouve plus — où est le fion, le chic, où

[1425] Сноски: 1425
нарастание (*ит.*).

[1426] Сноски: 1426
вольной шутки, шалости (*фр.*).

[1427] Сноски: 1427
девчонки (*фр.*).

[1428] Сноски: 1428
излишки (*лат.*).

est l'esprit?.. *Tout cela,* monsieur... ne parle pas, monsieur, — c'est bon, c'est beau wellbredet, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens»[1429].

Это мне напоминает, как в пятидесятых годах добрый, милый Таляндье, с досадой влюбленного в свою Францию, объяснял мне с музыкальной иллюстрацией ее падение. «Когда, говорил он, мы были велики, в первые дни после Февральской революции, гремела одна "Марсельеза" — в кафе, на улицах, в процессиях, — все "Марсельеза". Во всяком театре была своя "Марсельеза", где с пушками, где с Рашелью. Когда пошло плоше и тише... монотонные звуки "Mourir pour la patrie"[1430] заменили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... «Un sous-lieutenant accablé de besogne... drin, drin, din, din, din"[1431]... — эту дрянь пел весь город, столица мира, вся Франция. Это не конец: вслед за тем мы заиграли и запели

[1429] Сноски: 1429

«Право же... я ничего больше не узнаю... Черт возьми... Где изящество, шик, остроумие?.. *Все* это, милостивый государь, ничего не говорит сердцу. Это красиво... это благоустроенно, но это... отдает мясной лавкой... отдает Рубенсом» (*фр.*).

[1430] Сноски: 1430

«Умереть за отечество» (*фр.*).

[1431] Сноски: 1431

«Подпоручик, изнемогший от работы... дринь, дринь, динь, динь, динь» (*фр.*).

“Partant pour la Syrie”[1432] — вверху и “Qu’aime donc Margot… Margot”[1433] — внизу, т. е. бессмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя».

Можно! Таляндье не предвидел ни «Je suis la femme à barrrbe»[1434], ни «Сапёра» — он еще остался в *шике* и до *собаки* не доходил.

Недосужий, мясной разврат взял верх над всеми фиоритурами. Тело победило дух, и, как я сказал еще десять лет тому назад, Марго, la fille de marbre[1435], вытеснила Лизетту Беранже и всех Леонтин в мире. У них была своя гуманность, своя поэзия, свои понятия чести. Они любили шум и зрелища больше вина и ужина и ужин любили больше из-за постановки, свечей, конфет, цветов. Без танца и бала, без хохота и болтовни они не могли существовать. В самом пышном гареме они заглохли бы, завяли бы в год. Их высшая представительница была Дежазе — на большой сцене света и на маленькой théâtre des Variétés.

[1432] Сноски: 1432
«Уезжая в Сирию» (*фр.*).

[1433] Сноски: 1433
«Что же однако любит Марго» (*фр.*).

[1434] Сноски: 1434
«Я женщина с борррродою» (*фр.*).

[1435] Сноски: 1435
мраморная девушка (*фр.*).

Живая песня Беранже, притча Вольтера, молодая в сорок лет, Дежазе, менявшая поклонников, как почетный караул, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встречному, чтоб выручить свою приятельницу из беды.

Нынче все опрощено, сокращено, все *ближе к цели,* как говорили встарь помещики, предпочитавшие водку вину. Женщина с *фионом*[1436] интриговала, занимала; женщина *с шиком* жалила, смешила, и обе, сверх денег, брали время. *Собака* сразу бросается на свою жертву, кусает своей красотой и тащит за полу sans phrases[1437]. Тут нет предисловий — тут в начале эпилог. Даже, благодаря попечительному начальству и факультету, нет двух прежних опасностей. Полиция и медицина сделали большие успехи в последнее время.

...А что будет после *собаки?* Pieuvre Гюго решительно не удалась, может, оттого, что слишком похожа на pleutre[1438], — не остановиться же на собаке? Впрочем, оставим пророчества. Судь-

---

[1436] Сноски: 1436
«изюминкой» (*фр.* fion).

[1437] Сноски: 1437
без лишних слов (*фр.*).

[1438] Сноски: 1438
ничтожество (*фр.*).

бы провидения неисповедимы.

Меня занимает другое.

Которое-то из двух будущих Кассандриной песни исполнилось над Леонтиной? Что ее некогда грациозная головка — покоится ли на подушке, обшитой кружевами, в *своем* отеле, или она склонилась на жесткий больничный валек, для того чтоб уснуть навеки или проснуться на горе и бедность? А может, не случилось ни того, ни другого, и она хлопочет, чтоб дочь выдать замуж, копит деньги, чтоб купить подставного сыну… Ведь она уж немолода теперь и, небось, давно перегнула за тридцать.

2. Махровые цветы

В *нашей Европе* повторялось в уменьшенном по количеству и в увеличенном или искаженном по качеству виде все, что делалось в Европе *европейской.* У нас были ультракатолики из православных, либеральные буржуа из графов, императорские роялисты, канцелярские демократы и лейб-гвардии преображенские или конногвардейские бонапартисты. Мудрено ли, что и по дамской части не обошлось без своих

chic и chien[1439]. С той разницей, что наш demi-monde[1440] был *один с четвертью.*

Наши Травиаты и камелии большей частью титулярные, т. е. почетные, растут совсем на другой почве и цветут в других сферах, чем их парижские первообразы. Их надобно искать не внизу, не долу, а на вершинах. Они не поднимаются, как туман, а опускаются, как роса. Княгиня-камелия и Травиата с тамбовским или воронежским имением — явление чисто русское, и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не-Европы, ее нравы много были спасены крепостным правом, на которое теперь так много клевещут. Любовь была печальна в деревне, она своего кровного называла «болезным», словно чувствуя за собой, что она краденая у барина и он может всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господский двор дрова, сено, баранов и своих дочерей по обязанности. Это был священный долг, коронная служба, от которой отказываться нельзя было, не делая преступления против нравственности и религии и не навлекая на себя

[1439] Сноски: 1439
шика и собаки (*фр.*).

[1440] Сноски: 1440
полусвет (*фр.*).

розог помещика и кнута всей империи. Тут было не до *шику,* а иногда до топора, чаще до реки, в которой гибла никем не замеченная Палашка или Лушка.

Что сталось после освобождения, мы мало знаем и потому больше держимся барынь. Они действительно за границей мастерски усвоивают себе, и с чрезвычайной быстротой и ловкостью, все ухватки, весь habitus лореток. Только при тщательном рассматривании замечается, что чего-то недостает. А недостает самой простой вещи — *быть лореткой.* Это все — Петр I, работающий молотом и долотом в Саардаме, воображая, что делает дело. Наши барыни из ума и праздности, от избытка и скуки *шутят в ремесло* так, как их мужья играют в токарный станок.

Этот характер ненужности, махровости меняет дело. С русской стороны чувствуется превосходная декорация, с французской — правда и необходимость. Отсюда громадные разницы. Травиату tout de bon[1441] бывает часто душевно жаль, «dame aux perles»[1442] — почти никогда; над одной подчас хочется плакать, над другой —

[1441] Сноски: 1441
в самом деле (*фр.*).

[1442] Сноски: 1442
«даму с жемчугами» (*фр.*).

всегда смеяться. Имея наследственных две-три тысячи душ, сперва вечно, ныне временно разоряемых крестьян, многое можно: интриговать на игорных водах, эксцентрически одеваться, лежа сидеть в коляске, свистать, шуметь, делать скандалы в ресторанах, заставлять краснеть мужчин, менять любовников, ездить с ними на parties fines[1443] на разные «каллистенические[1444] упражнения и конверсации», пить шампанское, курить гаванские сигары и ставить пригоршни золота на «черное или красное»... можно быть Мессалиной и Екатериной — но, как мы сказали, лореткой быть нельзя, несмотря на то, что лоретки не родятся, как поэты, а делаются. У каждой лоретки своя история, свое посвящение, втесненное обстоятельствами. Обыкновенно бедная девушка идет не зная куда и наталкивается на грубый обман, на грубую обиду. От сломленной любви, от сломленного стыда у нее являются dépit[1445], досада, своего рода жажда мести и с тем вместе жажда опьяненья,

---

[1443] Сноски: 1443
интимные прогулки (*фр.*).

[1444] Сноски: 1444
гимнастические (*фр.* callisthénique).

[1445] Сноски: 1445
досада (*фр.*).

шума, нарядов… Кругом нужда… деньги только *одним* путем и можно достать, а потому — vogue la galère![1446] Обманутый ребенок без воспитания вступает в бой, победы ее балуют, завлекают (тех, которые не победили, мы не знаем, — те пропадают без вести), у ней в памяти свои Маренго и Арколи, привычка владычества и пышности входит в кровь. Она же всем обязана одной себе. Начав с одного своего тела, она тоже приобретает души и так же разоряет временно привязанных к ней богачей, как наша барыня своих нищих мужиков.

Но в этом *так же* и лежит вся непереходимая даль между лореткой по положению и камелией по дилетантизму. Та даль и та противоположность, которая так ярко выражается в том, что лоретка, ужиная в каком-нибудь душном кабинете Maison d'Or, мечтает о своем будущем салоне, а русская дама, сидя в своем богатом салоне, мечтает о трактире.

Серьезная сторона вопроса состоит в том, чтоб определить, откуда у нас взялась в дамском обществе эта потребность разгула и кутежа, потребность похвастаться своим освобождением,

---

[1446] Сноски: 1446
была не была! (*фр.*)

дерзко, капризно пренебречь общественным мнением и сбросить с себя все вуали и маски? И это в то время, когда бабушки и матушки наших львиц, целомудренные и патриархальные, краснели до сорока лет от нескромного слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневским нахлебником, а за неимением его — кучером или буфетчиком.

Заметьте, что аристократический камелизм у нас не идет дальше начала сороковых годов.

И все новое движение, вся возбужденность мысли, исканья, недовольства, тоски идет от того же времени.

Тут-то и раскрывается человеческая и историческая сторона аристократического камелизма. Это своего рода полусознанный протест против старинной, давящей, как свинец, семьи, против безобразного разврата мужчин. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, был досуг читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идет с Ж. Санд, и когда она наслушалась восторженных рассказов о Бланшах и Селестинах, у нее терпенье лопнуло, и она закусила удила. Ее протест был дик, но ведь и положение было дико. Ее оппозиция не была формулирована, а бродила в крови — она была

обижена. Она чувствовала униженье, подавленность, но самобытной воли вне кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеньем, ее возмущенье было полно избалованности и дурных привычек, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась не освобождаясь. В ней оставался внутренний страх и неуверенность, но ей хотелось делать назло и попробовать *этой другой* жизни. Против узкого своеволья притеснителей она ставила узкое своеволье лопнувшего терпенья, *без* твердой направляющей мысли, но с заносчивой отроческой бравадой. Как ракета, она мерцала, искрилась и падала с шумом и треском, но очень неглубоко. Вот вам история наших камелий с гербом, наших Травиат с жемчугом.

Конечно, и тут можно вспомнить желчевого Ростопчина, говорившего на смертном одре о 14 декабре: «У нас все наизнанку — во Франции la roture[1447] хотела подняться до дворянства — ну, оно и понятно; у нас дворяне хотят сделаться чернью — ну, чепуха!»

Но нам именно этот характер вовсе не кажется чепухой. Он идет очень последовательно из двух

[1447] Сноски: 1447
чернь (*фр.*).

начал: из чуждости образования, которое вовсе для нас не обязательно, и из основного тона другого общественного порядка, к которому мы сознательно или бессознательно стремимся.

Впрочем, это принадлежит к нашему катехизису — и я боюсь увлечься в повторения.

Травиаты наши в истории нашего развития не пропадут; они имеют свой смысл и значение и представляют удалую и разгульную ширингу авангардных охотников и песельников, которые с присвистом и бубнами, куражась и подплясывая, идут в первый огонь, покрывая собой более серьезную фалангу, у которой нет недостатка ни в мысли, ни в отваге, ни в оружии с «иголкой».

3. Цветы Минервы

Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет… Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума… Sans crinolines, идущие на замену sans-culottes'ам.

Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями-Травиатами. Вакханки поседели, оплешивели, состарелись и отступили, а студенты заняли их место, еще не вступивши в совершеннолетие. Камелии и Травиаты салонов принадлежали николаев-

скому времени. Так, как выставочные генералы того же времени, щеголи-шагисты, победители своих собственных солдат, знавшие всю туалетную часть военного дела, все кокетство вахтпарадов и не замаравшие мундира неприятельской кровью. Публичных генералов, рысисто «делавших тротуар» на Невском, разом прихлопнула Крымская война. А «блеск упоительный бала», будуарная любовь и шумные оргии *генеральш* круто сменились академической аудиторией, анатомической залой, в которой подстриженный студент в очках изучал тайны природы.

Тут надобно забыть все камелии и магнолии, забыть, что существуют два пола. Перед истиной науки, im Reiche der Wahrheit[1448] различия полов стираются.

Камелии наши — жиронда, оттого они так и смахивают на Фобласа.

Студенты-барышни — якобинцы, Сен-Жюст в амазонке, — все резко, чисто, беспощадно.

У камелий маска loup из теплой Венеции.

У студентов маска же, но маска из невского льда. Первая может прилипнуть, вторая непременно растает… но это впереди.

[1448] Сноски: 1448
в царстве истины (*нем.*).

Тут настоящий, сознательный протест, протест и перелом. «Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution»[1449]. Разгул, роскошь, глумленье, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьем-четвертом плане. Афродита с своим голым оруженосцем надулась и ушла; на ее место Паллада с копьем и совой. Камелии шли от неопределенного волненья, от негодованья, от несытого и томного желанья… и доходили до пресыщения. Здесь идут от идеи, в которую верят, от объявления «прав женщины» и исполняют обязанности, налагаемые верой. Одни отдаются по принципу, другие неверны по долгу. Иногда *студенты* уходят слишком далеко, но все же остаются детьми, непокорными, заносчивыми, но детьми. Серьезность их *радикализма* показывает, что дело в голове, в теории, а не в сердце.

Они страстны в общем и в частную встречу вносят не больше «патоса» (как говаривали встарь), как всякие Леонтины. Может, меньше. Леонтины играют, играют огнем и очень часто, вспыхнув с ног до головы, спасаются от пожара в Сене, утянутые жизнью прежде всяких рассуждений, им иной раз трудно победить свое сердце. Наши

[1449] Сноски: 1449
«Это не бунт, это революция» (*фр.*).

бурши начинают с анализа, с разбора; с ними тоже многое может случиться, но сюрпризов не будет и падений не будет: они падают с теоретическим парашютом. Они бросаются в поток с руководством о плавании и намеренно плывут против течения.

Долго ли проплывут они à livre ouvert[1450], я не знаю, но место в истории займут по всей справедливости.

Самые недогадливейшие в мире люди догадались об этом.

Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дедушки отечества с улыбкой снисхожденья и даже поощренья смотрели на столбовых камелий (если только они не были супругами их сыновей)… но *студенты* им не понравились… ничего не похожи на «милых шалуний», с которыми они иногда любили языком отогреть старое сердце.

Давно гневались старички на суровых нигилисток и искали случая их подвести под сюркуп[1451].

А тут, как нарочно, Каракозов выстрелил…

[1450] Сноски: 1450
Здесь: без оглядки (*фр.*).

[1451] Сноски: 1451
проигрыш (*фр.* surcoupe).

«Вот оно, государь (стали ему нашептывать), что значит не по форме одеваться... все эти очки, клочки». — «Как? Не по утвержденной форме? — говорит государь. — Строжайше предписать». — «Попущенье, в. в., попущенье! Мы только и ожидали милостивого разрешения спасать священную особу вашего величества».

Дело не шуточное — принялись дружно. Совет, сенат, синод, министры, архиереи, военачальники, градоначальники и другие полиции совещались, думали, толковали и решили, во-первых, изгнать студентов женского пола из университетов. При этом один из архиереев, боясь подлога, приснопамятствовал, как во время оно в лжекафолической церкве на папеж избрана была папиха Анна, и предложил было своих иноков... так как «пред очами мертвецов срама телесного нет». Живые не приняли его предложения, генералы же, с своей стороны, думали, что такого рода экспертиза может быть только поручена высшему сановнику, который своим местом и доверием монарха поставлен вне соблазна; хотели от военного ведомства предложить это место Адлербергу старшему и Буткову — от статских. Но и это не состоялось, говорят, потому, что великие князья домогались на этот пост.

Затем совет, синод, сенат приказали в двадцать четыре часа отрастить стриженые волосы, отобрать очки и обязать подпиской иметь здоровые глаза и носить кринолины. Несмотря на то, что в «Кормчей книге» ничего не сказано о «обручеюбии» и «подолоразверстии», а волосы плести просто в ней запрещено, черное духовенство согласилось. На первый случай жизнь государя казалась обеспеченною до Елисейских Полей. Не их вина, что в Париже тоже нашлись Елисейские Поля да еще с «круглой точкой».

Чрезвычайные меры эти принесли огромную пользу, и это я говорю без малейшей иронии. Кому?

Нашим *нигилисткам.*

Им недоставало одного: сбросить мундир, формализм и развиваться с той широкой свободой, на которую они имеют большие права. Самому ужасно трудно, привыкнув к форме, ее отбросить. Платье прирастает. Архиерей во фраке перестанет благословлять и говорить на *о*…

Студенты наши и бурши долго не отделались бы от очков и прочих кокард. Их раздели на казенный счет, прибавляя к этой услуге ореолу туалетного мученичества.

Затем их дело — плыть au large[1452].

P. S. Одни уже возвращаются с блестящим дипломом доктора медицины, и слава им!

Ницца, летом 1867.

<Глава II>
Venezia la bella[1453]
(Февраль 1867)

Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, — само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грандиознейших городов — гениальное безумие. Вода, море, их блеск и мерцанье обязывают к особой пышности. Моллюски отделывают перламутром и жемчугом свои каюты.

Один поверхностный взгляд на Венецию показывает, что это город, крепкий волей, сильный умом, республиканский, торговый, олигархический, что это узел, которым привязано что-то

[1452] Сноски: 1452
на простор (*фр.*).

[1453] Сноски: 1453
Красавица Венеция (*ит.*).

за водами, торговый склад под военным флагом, город шумного веча и беззвучный город тайных совещаний и мер; на его площади толчется с утра до ночи все население, и молча текут из него реки улиц в море. Пока толпа шумит и кричит на площади св. Марка, никем не замеченная лодка скользит и пропадает — кто знает, что под ее черным пологом? Как тут было не топить людей возле любовных свиданий?

Люди, чувствовавшие себя дома в Palazzo Ducale[1454], должны были иметь своеобразный закал. Они не останавливались ни перед чем. Земли нет, деревьев нет — что за беда, давайте еще больше резных каменьев, больше орнаментов, золота, мозаики, ваянья, картин, фресков. Тут остался пустой угол — худого бога морей с длинной мокрой бородой в угол! Тут порожний уступ — еще льва с крыльями и с Евангельем св. Марка! Там голо, пусто — ковер из мрамора и мозаики туда! Кружева из порфира туда! Победа ли над турками или Генуей, папа ли ищет дружбы города — еще мрамору, целую стену покрыть иссеченной занавесью и, главное, еще картин. Павел Веронез, Тинторетт, Тициан, за кисть,

[1454] Сноски: 1454
Дворце дожей (*ит.*).

на помост, — каждый шаг торжественного шествия морской красавицы должен быть записан потомству кистью и резцом.

И так был живуч дух, обитавший эти камни, что мало было новых путей и новых приморских городов Колумба и Васко де Гама, чтоб сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтоб на развалинах французского трона явилась «единая и нераздельная» республика и на развалинах этой республики явился бы солдат, бросивший в льва по-корсикански стилет, отравленный Австрией. Но Венеция переработала яд и снова оказывается живою через полстолетия.

Да живою ли? Трудно сказать, что уцелело, кроме великой раковины, и есть ли новая будущность Венеции… Да и в чем будущность Италии вообще? Для Венеции, может, она в Константинополе, в том вырезывающемся смутными очерками из-за восточного тумана свободном союзничестве воскресающих славяно-эллинских народностей.

А для Италии?.. Об этом после. Теперь в Венеции карнавал, первый карнавал на воле после семидесятилетнего пленения. Площадь превратилась в залу парижской Оперы. Старый св. Марк весело участвует в празднике с своей иконопи-

сью и позолотой, с патриотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющиеся всякий день в два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетают с карниза на карниз, чтоб убедиться, точно ли их столовая в таком беспорядке.

Толпа все растет, le peuple s'amuse[1455], дурачится от души, из всех сил, с большим комическим талантом в декламации и словах, в выговоре и жестах, но без кантаридности парижских Пьерро, без вульгарной шутки немца, без нашей родной грязи. Отсутствие всего неприличного удивляет, хотя смысл его ясен. Это шалость, отдых, забава целого народа, а не вахтпарад публичных домов, их сукурсалей[1456], жительницам которых, снимая многое другое, прибавляют маску, вроде Бисмарковой иголки, чтоб усилить и сделать неотразимее выстрелы. Здесь они были бы неуместны, здесь тешится народ, здесь тешится сестра, жена, дочь — и горе тому, кто оскорбит маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чем был Станислав в петлице

[1455] Сноски: 1455
народ веселится (*фр.*).

[1456] Сноски: 1456
отделений (*фр.* succursale).

для станционного смотрителя[1457].

Сначала карнавал оставлял меня в покое, но он все рос и при своей стихийной силе должен был утянуть всякого.

Мало ли какой вздор может случиться, когда пляска св. Витта овладевает целым населением в шутовских костюмах. В большой зале ресторана сидят сотни, может больше, лилово-белых масок; они проехали по площади на раззолоченном корабле, который тащили быки (все сухопутное и четвероногое в Венеции — редкость и роскошь), теперь они пьют и едят. Один из гостей предлагает курьезность и берется ее достать, *курьезность эта — я.*

Господин, едва знакомый со мной, бежит ко мне в Albergo Danieli, умоляет, просит явиться с ним на минуту к маскам. Глупо идти, глупо ломаться — я иду. Меня встречают «evviva»[1458] и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздор, «evviva» сильнее; одни кричат «evviva l'amico di

---

[1457] Сноски: 1457

Год спустя я видел карнавал в Ницце. Какая страшная разница, не говоря о солдатах в полном боевом вооружении, ни жандармах, ни комиссарах полиции с шарфами… Сама масса народа, не туристов, дивила меня. Пьяные маски ругались и дрались с людьми, стоявшими в воротах, сильные тумаки сшибали в грязь белых Пьерро.

[1458] Сноски: 1458

«да здравствует» (*ит.*).

Garibaldi!»[1459], другие — «poeta russo!»[1460]. Боясь, что лилово-белые будут пить за меня как за «pittore slavo, scultore e maestro»[1461], я ретируюсь на Piazza St. Marco.

На площади стена людей; я прислонился к пилястре, гордый титулом поэта; возле меня стоял мой проводник, исполнивший mandat d'amener[1462] лилово-белых. «Боже мой, как она хороша!» — сорвалось у меня с языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый, не говоря худого слова, схватил меня и разом поставил перед ней. «Это тот *русский*», — начал мой польский граф. «Хотите вы мне дать руку после этого слова?» — перебил я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по-русски, что давно хотела меня видеть, и так симпатически взглянула на меня, что я еще раз пожал ее руку и проводил глазами, пока было видно.

[1459] Сноски: 1459
«да здравствует друг Гарибальди!» (*ит.*)

[1460] Сноски: 1460
«русский поэт!» (*ит.*)

[1461] Сноски: 1461
«славянского художника, скульптора и маэстро» (*ит.*).

[1462] Сноски: 1462
приказ о приводе (*фр.*).

«Цветок, сорванный ураганом, смытый кровью с своих литовских полей, — думал я, глядя ей вслед, — не своим теперь светит твоя красота…»

Я сошел с площади и поехал встречать Гарибальди. На воде все было тихо… нестройно доносился шум карнавала. Строгие, насупившиеся массы домов теснятся все ближе и ближе к лодке, глядят на нее фонарями, у подъезда всплескивает правѝло, блеснет стальной крючок, прокричит лодочник: «Apri — sia state»[1463]… и опять тихо вода утягивает в переулок, и вдруг домы опять раздвигаются; мы в Gran Canal'e… «Fejovia, Signoie»[1464], — говорит гондольер, картавя, как картавит весь город. Гарибальди остался в Болонье и не приезжал. Машина, ехавшая в Флоренцию, стонала в ожидании свистка. Уехать бы и мне: завтра маски надоедят, завтра не увижу я славянской красавицы…

…Город принял Гарибальди блестящим образом. Gran Canal представлял почти сплошной мост; для того чтоб попасть в нашу лодку, уезжая, нам надобно было перейти через десятки других. Правительство и его клиенты сдела-

---

[1463] Сноски: 1463
«Дай дорогу, — остановись» (*ит.*).

[1464] Сноски: 1464
«Железная дорога, синьор», вместо ferrovia, Signore (*ит.*).

ли все возможное, чтоб показать, что дуются на Гарибальди. Если принцу Амедею были приказаны его отцом все мелкие неделикатности, вся подленькая пикировка, то отчего же у этого мальчика итальянца не заговорило сердце, отчего он не примирил на минуту город с королем и королевского сына с совестью? Ведь Гарибальди им подарил две короны двух Сицилий!

Я нашел Гарибальди и не состаревшимся и не больным после лондонского свиданья в 1864. Но он был невесел, озабочен и неразговорчив с венецианцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящий хор — народные массы; он ожил в Киожии, где его ждали лодочники и рыбаки; мешаясь в толпу, он говорил этим простым беднякам:

— Как мне с вами хорошо и дома! Как я чувствую, что родился от работников и был работником; несчастья нашей родины оторвали меня от мирных занятий. Я также вырос на берегу моря и знаю каждую работу вашу…

Стон восторга покрыл слова бывшего лодочника, народ ринулся к нему…

— Дай имя моему новорожденному! — кричала женщина.

— Благослови моего!..

— И моего! — кричали другие.

Храбрый генерал Ламармора и неутешный вдовец Рикасоли, со всеми вашими Шиаолами, Депретисами, вы уж отложите попеченье разрушить эту связь: она затянута мужицкой, работничьей рукой и такой веревкой, которую вам не перетереть со всеми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всеми вашими грошовыми Махиавелли.

Теперь воротимтесь к вопросу: что ждет Италию впереди, какую будущность имеет она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповедовал Маццини, ту ли, к которой ведет Гарибальди.... ну хоть ту ли, которую осуществлял Кавур?

Вопрос этот отбрасывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие самых скорбных и самых спорных предметов. Он прямо касается тех внутренних убеждений, которые легли в основу нашей жизни и той борьбы, которая так часто раздвояет нас с друзьями, а иной раз ставит на одну сторону с противниками.

Я сомневаюсь *в будущности латинских народов,* сомневаюсь в их *будущей* плодотворности: им нравится процесс переворотов, но тягостен добытый прогресс. Они любят рваться к нему —

не достигая.

Идеал итальянского освобождения беден; в нем опущен, с одной стороны, существенный, животворный элемент, и, как назло, с другой — оставлен элемент старый, тлетворный, умирающий и мертвящий. Итальянская революция была до сих пор боем за независимость.

Конечно, если земной шар не даст трещины или комета не пройдет слишком близко и не накалит нашей атмосферы, Италия и в будущем *будет* Италией, страной синего неба и синего моря, изящных очертаний, прекрасной, симпатической породы людей, — людей музыкальных, художников от природы. Конечно, и то, что весь этот военный и штатский remue-ménage[1465], и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры — все это отразится в ее жизни, она из клерикально-деспотической сделается (и делается) буржуазно-парламентской, из дешевой — дорогой, из неудобной — удобной и пр. и пр. Но этого мало и с этим еще далеко не уйдешь. Недурен и другой берег, который омывает то же синее море, недурна и та, доблестная и угрюмая, порода людей, которая живет за Пи-

---

[1465] Сноски: 1465
переполох (*фр.*).

ренеями; внешнего врага у нее нет, камера есть, наружное единство есть… ну, что же при всем этом Испания?

Народы живучи, века могут они лежать *под паром* и снова при благоприятных обстоятельствах оказываются исполненными сил и соков. Но теми ли они восстают, как были?

Сколько веков, я чуть не сказал тысячелетий, греческий народ был стерт с лица земли как государство, и все же он остался жив, и в ту самую минуту, когда вся Европа угорала в чаду реставраций, Греция проснулась и встревожила весь мир. Но греки Каподистрии были ли похожи на греков Перикла или на греков Византии? Осталось одно имя и натянутое воспоминание. Обновиться может и Италия, но тогда ей придется начать другую историю. Ее освобождение — только *право на существование.*

Пример Греции очень идет; он так далек от нас, что меньше возбуждает страстей; Греция афинская, македонская, лишенная независимости Римом, является снова государственно самобытной в византийский период. Что же она делает в нем? Ничего или, хуже, богословскую контроверзу, *серальные* перевороты par anticipation. Турки помогают застрялой природе и придают

блеск зарева ее насильственной смерти. Древняя Греция *изжила свою жизнь,* когда римское владычество накрыло ее и спасло, как лава и пепел спасли Помпею и Геркуланум. Византийский период поднял гробовую крышу, и мертвый остался мертвым, им завладели попы и монахи, как всякой могилой, им распоряжались евнухи, совершенно на месте, как представители бесплодности. Кто не знает рассказов о том, как крестоносцы были в Византии: в образовании, в утонченности нравов не было сравнения, но эти дикие латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремлений, они шли вперед, с ними был *бог истории.* Ему люди не по хорошу милы, а по коренастой силе и по своевременности их propos[1466]. Оттого-то, читая скучные летописи, мы радуемся, когда с северных снегов скатываются варяги, плывут на каких-то скорлупах славяне и клеймят своими щитами гордые стены Византии. Я учеником не мог нарадоваться на дикаря в рубахе, одиноко гребущего свою комягу, отправляясь с золотой серьгой в ушах на свиданье с изнеженным, набогословленным, пышным, книжным императором Цимисхием.

[1466] Сноски: 1466
намерений (*фр.*).

Подумайте об Византии; пока наши славянофилы не пустили еще в свет новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее, она многое объяснит из того, что так тяжело сказать.

Византия могла *жить*, но *делать* ей было нечего; а историю вообще только народы и занимают, пока они на сцене, т. е. пока они что-нибудь делают.

...Помнится, я упоминал об ответе Томаса Карлейля мне, когда я ему говорил о строгостях парижской цензуры.

— Да что вы так на нее сердитесь? — заметил он. — Заставляя французов молчать, Наполеон сделал им величайшее одолжение: *им нечего сказать*, а говорить хочется... Наполеон дал им внешнее оправдание...

Я не говорю, насколько я согласен с Карлейлем или нет, но спрашиваю себя: *будет ли что* Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима? И иной раз, не приискав ответа, я начинаю желать, чтоб Рим остался еще надолго оживляющим desideratum'ом[1467].

До Рима все пойдет недурно, хватит и энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Ита-

---

[1467] Сноски: 1467
стремлением (*лат.*).

лия многое вынесет: и налоги, и пиэмонтское местничество, и грабящую администрацию, и сварливую и докучную бюрократию; в ожидании Рима все кажется неважным; для того чтобы иметь его, можно стесниться, надобно стоять дружно. Рим — черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он поддерживает лихорадку. В Риме все переменится, все оборвется… там кажется заключение, венец. Совсем нет — там *начало.*

Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают, — и это превосходно, — что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между пэрами, кроме признания гражданской способности *совершать акты* — и только.

Какой же *акт* возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял «вселенную и город»?

Провозгласить «независимость» sans phrases мало. А другого ничего нет… И мне подчас кажется, что в тот день, когда Гарибальди бросит свой ненужный больше меч и наденет тогу

virilis[1468] на плечи Италии, ему останется всенародно обняться на берегах Тибра с своим maestro Мацини и сказать с ним вместе: «Ныне отпущаеши!»

Я это говорю за них, а не против них.

Будущность их обеспечена, их два имени станут высоко и светло во всей Италии от Фьюме до Мессины и будут подыматься выше и выше во всей печальной Европе по мере исторического понижения и измельчания ее людей.

Но вряд пойдет ли Италия по программе великого карбонаро и великого воина; их религия совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла меч, это труба, разбудившая спящих, знамя, с которым Италия завоевала себя… Половина идеала Мацини исполнилась, и именно потому, что другая часть далеко перехватывала через возможное. Что Мацини теперь уж стал слабее — в этом его успех и величие; он стал *беднее* той частию своего идеала, которая перешла в действительность, это слабость после родов. В виду берега Колумбу стоило плыть и нечего было употреблять все силы своего неукротимого духа. Мы в нашем круге испытали подобное… Где

[1468] Сноски: 1468
совершеннолетия (*лат.*).

сила, которую придавала нашему слову борьба против крепостного права, против отсутствия всякого суда, всякой гласности?

Рим — Америка Маццини… Дальнейших зародышей viables[1469] в его программе нет — она была рассчитана на борьбу за единство и Рим.

— А демократическая республика?

Это та великая *награда за гробом,* которой напутствовались люди на деяния и подвиги и в которую горячо и искренно верили и проповедники, и мученики…

К ней идет и теперь часть твердых стариков, закаленных сподвижников Маццини, непреклонных, не сдающихся, неподкупных, неутомимых каменщиков, которые вывели фундаменты новой Италии и, когда недоставало цемента, давали на него свою кровь. Но много ли их? И кто пойдет за ними?

Пока тройное ярмо немца, Бурбона и папы давило шею Италии, эти энергические монахи-воины ордена св. Маццини находили везде сочувствие. Принчипессы[1470] и студенты, ювелиры и доктора, актеры и попы, художники и адвокаты, все

[1469] Сноски: 1469
жизнеспособных (*фр.*).

[1470] Сноски: 1470
принцессы (*um.* principessa).

образованное в мещанстве, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты — все тайно, явно было с ними, работало для них. Республики хотели немногие, независимости и единства — все. Независимости они добились, единство на французский манер им опротивело, республики они не хотят. Современный порядок дел во многом итальянцам по плечу, им, туда же, хочется представлять «сильную и величественную» фигуру в сонме европейских государств, и, найдя эту bella e grande figura[1471] в Викторе-Эммануиле, они держатся за него[1472].

Представительная система в ее континентальном развитии действительно всего лучше идет, когда нет ничего ясного в голове или ничего возможного на деле. Это — великое *покамест,*

[1471] Сноски: 1471

прекрасную и величественную фигуру (*ит.*).

[1472] Сноски: 1472

Один милейший венгерец, граф С<андор> Т<елеки>, служивший потом в Италии кавалерийским полковником, смеясь как-то над мишурной роскошью флорентийских щеголей, сказал мне: «Помните бег в Москве или гулянье?.. Глупо, но имеет характер: кучер налит вином, шапка набекрень, лошади в несколько тысяч рублей и барин замирает в блаженстве и соболях. А тут тощий граф какой-нибудь заложит чахлых кляч, с тиком в ногах, прядущих головой, и тот же неуклюжий, худенький Жакопо, который у него садовник и повар, сидит на козлах, дергает вожжи, одетый в ливрею не по мерке, а граф просит его: «Жакопо, Жакопо, fate una grande e bella figura» <«сделайте величественную и прекрасную фигуру» (*ит.*)>. Я прошу у графа Т. ссудить меня этим выражением.

которое перетирает углы и крайности обеих сторон в муку и выигрывает время. Этим жерновом часть Европы прошла, другая пройдет, и мы, грешные, в том числе. Чего Египет — и тот въехал на верблюдах в представительную мельницу, подгоняемый арапником.

Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, так долго оставленные на воспитании клерикалов, я не виню даже правительство — да и как же его винить за ограниченность, за неуменье, за недостаток порыва, поэзии, такта? Оно родилось в Кариньянском дворце среди ржавых готических мечей, пудреных старинных париков и накрахмаленного этикета маленьких дворов с огромными притязаниями.

Любви оно не вселило к себе, совсем напротив, но от этого оно не слабже стало. Я был удивлен в 1863 общей нелюбовью в Неаполе к правительству. В 1867 в Венеции я видел без малейшего удивления, что через три месяца после освобождения его терпеть не могли. Но при этом я еще яснее увидел, *что бояться ему нечего*, если оно само не наделает ряда колоссальных глупостей, хотя и они ему сходят с рук необыкновенно легко.

Пример того и другого перед глазами, я его приведу в нескольких строках.

К разным каламбурам, которыми правительства иногда удостоивают отводить народам глаза, вроде «Prisonniers de la paix»[1473] Людовика-Филиппа, «Империя — мир» Людовика-Наполеона, Рикасоли прибавил свой — и закон, которым *закреплял большую часть* достояния духовенству, назвал законом *«о свободе* (или независимости) *церкви в свободном государстве».* Все недоросли либерализма, все люди, не идущие дальше заглавия, обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало победу; сделка была явным образом выгодна духовенству. Явился бельгийский грешник и мытарь, за которого спрятались отцы-иезуиты. Он привез с собой груды золота, цвет которого в Италии давно не видали, и предлагал большую сумму правительству, с тем чтоб обеспечить духовенству законное владение имениями, выпытанными на духу, набранными у умирающих преступников и всяких нищих духом.

Правительство видело одно — деньги; дураки — другое: *американскую* свободу церкви

[1473] Сноски: 1473
«Пленников мира» (*фр.*).

в свободном государстве. Теперь же в моде прикидывать европейские учреждения на американский ярд. Герцог Персиньи находит неумеренное сходство между второй империей и первой республикой нашего времени.

Однако как ни хитрили Рикасоли и Шиаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована, и подтасована без нее. Банкир прикидывался импрезарием и старался скупать итальянские голоса, но на этот раз — дело было в феврале — камера охрипла. В Неаполе подняли ропот, в Венеции созвали сходку в театр Малибран для протеста. Рикасоли велел запереть театр и поставить часовых. Без сомнения, из всех промахов, которые можно было сделать, нельзя было ничего придумать глупее. Венеция, только что освобожденная, хотела воспользоваться оппозиционным правом — и была полицейски подрезана. Собираться для празднования короля и подносить букеты al gran comandatore[1474] Ламармора ничего не значит. Если б венецианцы хотели делать сходки для празднования австрийских архидюков, им, конечно, позволили бы. Опасности сходка в теат-

[1474] Сноски: 1474
великому командиру (*um.*).

ре Малибран не представляла никакой.

Камера встрепенулась и спросила отчета. Рикасоли отвечал дерзко, высокомерно, как подобает последнему представителю Рауля Синей Бороды, средневековому графу и феодалу. Камера, «уверенная, что министерство не желает уменьшить право сходок», хотела перейти к очереди. Рауль, взбешенный уже тем, что его закон «о свободе церкви», в котором он не сомневался, стал проваливаться в комитетах, объявил, что он не может принять ordre du jour motivé[1475]. Обиженная камера вотировала против него. За такую продерзость он на другой день отсрочил камеру, на третий распустил, на четвертый думал еще о какой-то крутой мере, но, говорят, Чальдини сказал королю, что на войско рассчитывать трудно.

Бывали примеры, что правительства, зарапортовавшись, приискивали дельный предлог, чтоб сделать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелепый предлог, чтоб засвидетельствовать свое поражение. Если правительство будет дальше и резче идти этим путем, может, оно и сломит себе шею; рассчитывать, предвидеть

[1475] Сноски: 1475
мотивированный переход к очередным делам (*фр.*).

можно только то, что сколько-нибудь покорено разуму; всемогущество безумия не имеет границ, хотя и имеет почти всегда возле какого-нибудь Чальдини, который в опасную минуту выльет шайку холодной воды на голову.

А если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. Такого призрачного мира лжи и пустых слов, фраз без содержания трудно переработать народу *менее бывалому,* чем французы. У Франции все *не в самом деле,* но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладает с этими тенями китайского фонаря, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать? Где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить

ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых узлах может больше выработаться, если есть чему вырабатываться; оно же и совершенно в духе Италии.

…Середь этих рассуждений мне попалась брошюра Кине: «Франция и Германия»; я ей ужасно обрадовался; не то чтоб я особенно зависел от суждений знаменитого историка-мыслителя, которого лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

В старые годы в Петербурге один приятель, известный своим юмором, найдя у меня на столе книгу берлинского Мишле «о бессмертии духа», оставил мне записочку следующего содержания: «Любезный друг, когда ты прочтешь эту книгу, потрудись сообщить мне вкратце, есть бессмертие души или нет. Мне все равно, но желал бы знать для *успокоения родственников».* Вот для *родственников*-то и я рад тому, что встретился с Кине. Наши друзья до сих пор, несмотря на заносчивую позу, которую многие из них приняли относительно европейских авторитетов, их больше слушают, чем своего брата. Оттого-то я и старался, когда мог, ставить свою мысль под покровительство европейской нянюшки.

Ухватившись за Прудона, я говорил, что у дверей Франции не Катилина, а смерть; держась за полу Стюарта Милля, я твердил об английском китаизме и очень доволен, что могу взять за руку Кине и сказать: «Вот и почтенный друг мой Кине говорит в 1867 о латинской Европе то, что я говорил обо всей в 1847 и во все последующие».

Кине с ужасом и грустью видит понижение Франции, размягчение ее мозга, ее омельчание. Причины он не понимает, ищет ее в отклонении Франции от начал 1789 года, в потере политической свободы, и потому в его словах из-за печали сквозит скрытая надежда на выздоровление возвращением к серьезному парламентскому режиму, к великим принципам революции.

Кине не замечает, что великие начала, о которых он говорит, и вообще политические идеи латинского мира потеряли свое значение, их пружина доиграла и чуть ли не лопнула. Les principes des 1789[1476] не были фразой, но теперь стали фразой, как литургия и слова молитвы. Заслуга их огромна: *ими, через них* Франция совершила свою революцию, она приподняла завесу будущего и, испуганная, отпрянула.

[1476] Сноски: 1476
Принципы 1789 года (*фр.*).

Явилась дилемма:

Или свободные учреждения снова коснутся заветной завесы, или — правительственная опека, внешний порядок и внутреннее рабство.

Если б в европейской народной жизни была одна цель, одно стремление, та или другая сторона взяла бы давно верх. Но так, как сложилась западная история, она привела к вечной борьбе. В основном бытовом факте двойного образования лежит органическое препятствие последовательному развитию. Жить в две цивилизации, в два пласта, в два света, в два возраста, жить не целым организмом, а одной частью его, употреблять на топливо и корм другую и повторять о свободе и равенстве становится труднее и труднее.

Опыты выйти к более гармоническому, уравновешенному строю не имели успеха. Но если они не имели успеха в данном месте, это больше доказывает неспособность места, чем ложность начала.

В этом-то и лежит вся сущность дела.

Северо-Американские Штаты с своим единством цивилизации легко опередят Европу, их положение проще. Уровень их цивилизации ниже западноевропейского, *но он один,* и до него достигают *все,* и в этом их страшная сила.

Двадцать лет тому назад Франция рванулась титанически к другой жизни, борясь впотьмах, бессмысленно, без плана и другого знания, кроме знания нестерпимой боли; она была побита «порядком и цивилизацией», а отступил победитель. Буржуазии пришлось за печальную победу свою заплатить всем, что она выработала веками усилий, жертв, войн и революций, лучшими плодами своего образования.

Центры сил, пути развития — все изменилось; скрывшаяся деятельность, подавленная работа общественного пересоздания бросились в другие части, за французскую границу.

Как только немцы убедились, что французский берег понизился, что страшные революционные идеи ее поветшали, что бояться ее нечего, — из-за крепостных стен прирейнских показалась прусская каска.

Франция все пятилась, каска все выдвигалась. Своих Бисмарк никогда не уважал, он навострил оба уха в сторону Франции, он нюхал воздух оттуда, и, убедившись в прочном понижении страны, он понял, что время Пруссии настало. Поняв-ши, он заказал план Мольтке, заказал иголки оружейникам и систематически, с немецкой бесцеремонной грубостию забрал спелые немецкие

груши и ссыпал смешному Фридриху-Вильгельму в фартух, уверив его, что он герой по особенному чуду лютеранского бога.

Я не верю, чтоб судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике. Я скажу, как Кент Лиру, только обратно: «В тебе, Борусся, нет ничего, что бы я мог назвать царем». Но все же Пруссия отодвинула Францию на второй план и сама села на первое место. Но все же, окрасив в один цвет пестрые лоскутья немецкого отечества, *она* будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы ее будут предписывать штыком и исполнять картечью, по самой простой причине: потому что у нее больше штыков и больше картечей.

За прусской волной подымается уже *другая,* не очень заботясь, нравится это или нет классическим старикам.

Англия хитро хранит *вид силы,* отошедши в сторону, будто гордая в своем мнимом неучастии… Она почувствовала в глубине своих внутренностей ту же социальную боль, которую она так легко вылечила в 1848 полицейскими палками… Но потуги посильней… и она втягивает дале-

ко хватающие щупальцы свои на домашнюю борьбу.

Франция, удивленная, сконфуженная переменой положения, грозит не Пруссии войной, а Италии, если она дотронется до временных владений *вечного* отца, и собирает деньги на памятник Вольтеру.

Воскресит ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *последнего* военного суда, разбудит ли ее приближение *ученых* варваров?

Chi lo sa?[1477]

…Я приехал в Геную с американцами, только что переплывшими океан. Генуя их поразила. Все читанное ими в книгах о старом свете они увидели очью и не могли насмотреться на средневековые улицы, гористые, узкие, черные, на необычайной вышины домы, на полуразрушенные переходы, укрепления и проч.

Мы взошли в сени какого-то дворца. Крик восторга вырвался у одного из американцев: «Как эти люди жили, — повторял он, — как они жили! Что за размеры, что за изящество! Нет, ничего подобного вы не найдете у нас». И он готов был покраснеть за свою Америку. Мы заглянули

[1477] Сноски: 1477
Кто знает? (*ит.*)

внутрь огромной залы. Былые хозяева их в портретах, картины, картины, стены, сдавшие цвет, старая мебель, старые гербы, нежилой воздух, пустота и старик кустод[1478] в черной вязаной скуфье, в черном потертом сертуке, с связкой ключей… все так и говорило, что это уж не дом, а редкость, саркофаг, *пышный след прошедшей жизни.*

— Да, — сказал я, выходя, американцам, — вы совершенно правы, люди эти хорошо *жили.*

(Март 1867).

<Глава III>
La belle France[1479]

Ah! que j'ai douce souvenance De ce beau pays de France![1480]

[1478] Сноски: 1478
сторож (*um.* custode).

[1479] Сноски: 1479
Прекрасная Франция (*фр.*).

[1480] Сноски: 1480
Ах, какое у меня сладкое воспоминание об этой прекрасной стране Франции! (*фр.*)

I
Ante portas[1481]

Франция была для меня заперта. Год спустя после моего приезда в Ниццу, летом 1851, я написал письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутренних дел, и просил его дозволения приехать на несколько дней в Париж. «У меня в Париже дом, и я должен им заняться»; истый экономист не мог не сдаться на это доказательство, и я получил разрешение приехать «на самое короткое время».

В 1852 я просил права проехать Францией в Англию — *отказ.* В 1856 я хотел возвратиться из Англии в Швейцарию и снова просил визы — *отказ.* Я написал в фрибургский Conseil d'Etat[1482], что я отрезан от Швейцарии и должен или ехать тайком, или через Гибралтарский пролив, или, наконец, через Германию, причем я, вероятнее всего, доеду в Петропавловскую крепость, а не в Фрибург. В силу чего я просил Conseil

---

[1481] Сноски: 1481
Перед воротами (*лат.*).

[1482] Сноски: 1482
государственный совет (*фр.*).

d'Etat вступить в сношение с французским министром иностранных дел, требуя для меня проезда через Францию. Совет отвечал мне 19 октября 1856 года следующим письмом:

М. г.

Вследствие вашего желания мы поручили швейцарскому министру в Париже сделать необходимые шаги для получения вам авторизации проехать Францией, возвращаясь в Швейцарию. Мы передаем вам текстуально ответ, полученный швейцарским министром: «Г-н Валевский должен был совещаться по этому предмету с своим товарищем внутренних дел; *соображения особенной важности,* сообщил ему м. в. д., заставили отказать г. Герцену в праве проезда Францией в прошлом августе, что он не может изменить своего решения и проч.

Я не имел ничего общего с французами, кроме простого знакомства; не был ни в какой конспирации, ни в каком обществе и занимался тогда уже исключительно русской пропагандой. Все это французская полиция, единая всезнающая, единая национальная и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня *гневались* за мои статьи и связи.

Про этот гнев нельзя не сказать, что он вышел *из границ.* В 1859 году я поехал на несколько дней в Брюссель с моим сыном. Ни в Остенде, ни в Брюсселе паспорта не спрашивали. Дней через шесть, когда я возвратился вечером в отель, слуга, подавая свечу, сказал мне, что из полиции требуют моего паспорта. «Вовремя хватились», — заметил я. Слуга проводил меня до номера и паспорт взял. Только что я лег, часу в первом, стучат в дверь; явился опять тот же слуга с большим пакетом. «Министр юстиции покорно просит такого-то явиться завтра, в 11 часов утра, в департамент de la sûreté publique»[1483].

— И это вы из-за этого ходите ночью будить людей?

— Ждут ответа.

— Кто?

— Кто-то из полиции.

— Ну скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашения после полуночи.

Затем я, как Нулин, «свечку погасил».

На другое утро, в 8 часов, снова стук в дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгийская юстиция.

[1483] Сноски: 1483
общественной безопасности (*фр.*).

— Entrez![1484]

Взошел господин, излишне чисто одетый, в очень новой шляпе, с длинной цепочкой, толстой и на вид золотой, в свежем черном сертуке и пр.

Я, едва, и то отчасти, одетый, представлял самый странный контраст человеку, который *должен* одеваться так тщательно с семи часов утра для того, чтоб его, хоть ошибкой, приняли за честного человека. Авантаж был с его стороны.

— Я имею честь говорить avec M. Herzen-père?[1485]

— C'est selon[1486], как возьмем дело. С одной стороны, я отец, с другой — сын.

Это развеселило шпиона.

— Я пришел к вам…

— Позвольте, чтоб сказать, что министр юстиции меня зовет в 11 часов в департамент?

— Точно так.

— Зачем же министр вас беспокоит, и притом

[1484] Сноски: 1484
Войдите! (*фр.*)

[1485] Сноски: 1485
с господином Герценом-отцом? (*фр.*)

[1486] Сноски: 1486
Это смотря по тому (*фр.*).

так рано? Довольно того, что он меня так поздно беспокоил вчера ночью, прислав этот пакет.

— Так вы будете?

— Непременно.

— Вы знаете дорогу?

— А что же, вам велено меня провожать?

— Помилуйте, quelle idée![1487]

— Итак…

— Желаю вам доброго дня.

— Будьте здоровы.

В 11 часов я сидел у начальника бельгийской общественной безопасности.

Он держал какую-то тетрадку и мой паспорт.

— Извините меня, что мы вас побеспокоили, но видите, тут два небольших обстоятельства: во-первых, у вас паспорт швейцарский, а… — он, с полицейской проницательностью, испытуя меня, остановил на мне свой взгляд.

– *А я русский*, — добавил я.

— Да, признаюсь, это показалось нам странно.

— Отчего же? Разве в Бельгии нет закона о натурализации?

— Да вы?..

— Натурализован десять лет тому назад в Мо-

[1487] Сноски: 1487
что за мысль! (*фр.*).

рате, Фрибургского кантона, в деревне Шатель.

— Конечно, *если так,* в таком случае я не смею сомневаться… Мы перейдем ко второму затруднению. Года три тому назад вы спрашивали дозволения приехать в Брюссель и получили отказ…

— Этого, mille pardons[1488], не было и быть не могло. Какое же я имел бы мнение о *свободной* Бельгии, если б я, никогда не высланный из нее, усомнился в праве моем приехать в Брюссель?

Начальник общественной безопасности несколько смутился.

— Однако вот тут… — И он развернул тетрадь.

— Видно, не все в ней верно. Вот ведь вы не знали же, что я натурализован в Швейцарии.

— Так-с. Консул е. в. Дельпьер…

— Не беспокойтесь, остальное я вам расскажу. Я спрашивал вашего консула в Лондоне, могу ли я перевести в Брюссель русскую типографию, т. е. оставят ли типографию в покое, если я не буду мешаться в бельгийские дела, на что у меня не было никогда никакой охоты, *как вы легко поверите.* Г-н Дельпьер спросил министра. Министр просил его отклонить меня от моего на-

---

[1488] Сноски: 1488
тысяча извинений (*фр.*).

мерения перевести типографию. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерский ответ, и он просил передать мне эту весть, как общего знакомого, Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просил его успокоить г. Дельпьера и уверить его, что я с большой твердостью духа узнал, что *типографию* не пустят в Брюссель; «если б, — прибавил я, — консулу пришлось мне сообщить обратное, т. е. что меня и типографию во веки веков *не выпустят из Брюсселя,* может, я не нашел бы столько геройства». Видите, я очень помню все обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистил голос и, читая тетрадку, заметил:

— Действительно так, я о типографии и не заметил. Впрочем, я полагаю, вам все-таки необходимо разрешение от министра; иначе, как это ни неприятно будет для нас, но мы будем вынуждены просить вас…

— Я завтра еду.

— Помилуйте, никто не требует такой поспешности; оставайтесь неделю, две. Мы говорим насчет оседлой жизни… Я почти уверен, что министр разрешит.

— Я могу его просить для будущих времен, но теперь я не имею ни малейшего желания

дольше оставаться в Брюсселе.

Тем история и кончилась.

— Я забыл одно, — запутавшись в объяснении, сказал мне опасливый хранитель безопасности, — мы малы, мы малы, вот наша беда; Il y a des égards[1489]... — Ему было стыдно.

Два года спустя, меньшая дочь моя, жившая в Париже, занемогла. Я опять потребовал визы, и Персиньи опять отказал. В это время граф Ксаверий Браницкий был в Лондоне. Обедая у него, я рассказал об отказе.

— Напишите к принцу Наполеону письмо, — сказал Браницкий, — я ему доставлю.

— С какой же стати буду я писать принцу?

— Это правда; пишите к императору. Завтра я еду, и послезавтра ваше письмо будет в его руках.

— Это скорее; дайте подумать.

Приехав домой, я написал следующее письмо:

Sire[1490],

Больше десяти лет тому назад я был вынужден оставить Францию по министерскому распоря-

---

[1489] Сноски: 1489
Есть соображения... (*фр.*)

[1490] Сноски: 1490
Государь (*фр.*).

жению. С тех пор мне два раза был разрешен приезд в Париж[1491]. Впоследствии мне постоянно отказывали в праве въезжать во Францию; между тем в Париже воспитывается одна из моих дочерей, и я имею там собственный дом.

Я беру смелость отнестись прямо к в. в. с просьбой о разрешении мне въезда во Францию и пребывания в Париже, насколько потребуют дела, и буду с доверием и уважением ждать вашего решения.

Во всяком случае, Sire, я даю слово, что желание мое иметь право ездить во Францию не имеет никакой политической цели.

Остаюсь с глубочайшим почтением вашего величества покорнейшим слугой

А. Г.

31 мая 1861. Лондон, Орсет Гауз, Уэстборн Террас.

Браницкий нашел, что письмо *сухо,* потому, вероятно, и не достигнет цели. Я сказал ему, что другого письма не напишу и что, если он хочет сделать мне услугу, пусть его передаст, а возьмет

[1491] Сноски: 1491

Второй раз мне был разрешен приезд в Париж в 1853, по случаю болезни М. К. Рейхель. Этот пропуск я получил по просьбе Ротшильда. Болезнь М. К. прошла, и я им не воспользовался. Года через два мне объявили в французском консульстве, что так как я тогда не ездил, то пропуск не имеет больше значения.

раздумье — пусть бросит в камин. Разговор этот был на железной дороге. Он уехал.

А через четыре дня я получил следующее письмо из французского посольства:

Кабинет префекта полиции. I бюро.

Париж, 3 июня 1861.

М. г.

По приказанию императора имею честь сообщить вам, что е. в. разрешает вам въезд во Францию и пребывание в Париже всякий раз, когда дела ваши этого потребуют, так, как вы просили вашим письмом от 31 мая.

Вы можете, следственно, свободно путешествовать во всей империи, соображаясь с общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префект полиции.

Затем — подпись эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на все, но не на фамилию Boittelle.

В тот же день пришло письмо от Браницкого. Принц Наполеон сообщал ему следующую записку императора: «Любезный Наполеон, сообщаю

тебе, что я сейчас разрешил въезд *господину*[1492] Герцену во Францию и приказал ему выдать паспорт».

После этого — «подвысь!» Шлагбаум, опущенный в продолжение одиннадцати лет, поднялся, и я отправился через месяц в Париж.

II
Intra muros[1493]

— Maame Erstin! — кричал мрачный, с огромными усами жандарм в Кале, возле рогатки, через которую должны были проходить во Францию один за одним путешественники, только что сошедшие на берег с доврского парохода и загнанные в каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандарм отдавал пассы, комиссар полиции допрашивал глазами, а где находил нужным — языком, и одобренный и найденный безопасным для империи терялся за рогаткой.

[1492] Сноски: 1492

Я отметил слово *господин,* потому что при моей высылке префектура постоянно писала «sieur» <субъект (*фр.*)>, а Наполеон в записке написал слово «monsieur» <господин (*фр.*)> всеми буквами.

[1493] Сноски: 1493

В стенах (*лат.*).

На крик жандарма в этот раз никто из путешественников не двинулся.

— Mame Ogle Erstin! — кричал, прибавляя голоса и махая паспортом, жандарм. Никто не откликался.

— Да что же, никого, что ли, нет с этим именем?! — кричал жандарм и, посмотрев в бумагу, прибавил: — Mamselle Ogle Erstin.

Тут только девочка лет десяти, т. е. моя дочь Ольга, догадалась, что защитник порядка вызывал ее с таким неистовством.

— Avancez donc, prenez vos papiers![1494] — свирепо командовал жандарм.

Ольга взяла пасс и, прижавшись к М<ейзенбуг>, потихоньку спросила ее:

— Est-ce que c'est l'empereur?[1495]

Это было с ней в 1860 году, а со мной случилось через год еще хуже, и не у рогатки в Кале (уже не существующей теперь), а *везде:* в вагоне, на улице, в Париже, в провинции, в доме, во сне, наяву — везде стоял передо мной сам император с длинными усами, засмоленными в ниточку, с глазами без взгляда, с ртом без слов. Не толь-

---

[1494] Сноски: 1494
Подойдите же, возьмите ваши бумаги! (*фр.*)

[1495] Сноски: 1495
Это император? (*фр.*)

ко жандармы, которые по положению своему немного императоры, мерещились мне Наполеонами, но солдаты, сидельцы, гарсоны и особенно кондукторы железных дорог и омнибусов. Я только тут, в Париже 1861 года, перед тем же Hôtel de Ville'м, перед которым я стоял полный уважения в 1847 году, перед той же Notre-Dame, на Елисейских Полях и бульварах, понял псалом, в котором царь Давид с льстивым отчаянием жалуется Иегове, что он не может никуда деться от него, никуда бежать: «В воду, говорит, — ты там, в землю — ты там, на небо — и подавно». Шел ли я обедать в Maison d'Or — Наполеон, в одной из своих ипостасей, обедал через стол и спрашивал трюфли в салфетке; отправлялся ли я в театр — он сидел в том же ряду, да еще другой ходил на сцене. Бежал ли я от него за город — он шел по пятам дальше Булонского леса, в сертуке, плотно застегнутом, в усах с круто нафабренными кончиками. Где же его нет? На бале в Мабиль? На обедне в Мадлен? — Непременно там и тут.

La révolution s'est faite homme — «Революция воплотилась в человеке» — была одна из любимых фраз доктринерского жаргона времен Тьера и либеральных историков луи-филипповских времен. А тут похитрее: «революция и реакция»,

порядок и беспорядок, *вперед* и *назад* воплотились в одном человеке, и этот человек, в свою очередь, перевоплотился во всю администрацию, от министров до сельских сторожей, от сенаторов до деревенских мэров… рассыпался пехотой, поплыл флотом.

Человек этот не поэт, не пророк, не победитель, не эксцентричность, не гений, не талант, а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаический господин «средних лет, ни толстый, ни худой». Le bourgeois буржуазной Франции, l'homme du destin, le neveu du grand homme[1496] — плебея. Он уничтожает, осредотворяет в себе все резкие стороны национального характера и все стремления народа, как вершинная точка горы или пирамиды оканчивает целую гору *ничем.*

В 49, в 50 годах я не угадал Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценил. 1861 год был один из самых лучших для империи; все обстояло благополучно, все уравновесилось, примирилось, покорилось новому порядку. Оппозиций и смелых мыслей было ровно настолько, насколько надобно

[1496] Сноски: 1496
человек, отмеченный роком, племянник великого человека (*фр.*).

для тени и слегка пряного вкуса. Лабуле очень умно хвалил Нью-Йорк в пику Парижу, Прево Парадоль — Австрию в пику Франции. По делу Мираса делали анонимные намеки. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому движению — слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшиеся пофрондерствовать, как, бывало, мы собирались в Москве в сороковых годах у кого-нибудь из старых приятелей. Были даже свои недовольные знаменитости вроде статских Ермоловых, как Гизо. Остальное все было прибито градом. И никто не жаловался; отдых еще нравился так, как нравится первая неделя поста с своим хреном да капустой после семидневного масла и пьянства на Масленице. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видеть: он исчезал на короткое или долгое время и возвращался с исправленным вкусом из Ламбессы или из Мазаса. Полиция, la grande police[1497], заменившая la grande armée[1498], была везде, во всякое время. В литературе — плоский штиль; плохие лодочники плавали спокойно на плохих лодках по некогда бурному морю. Пошлость пьес,

---

[1497] Сноски: 1497
великая полиция (*фр.*).

[1498] Сноски: 1498
великую армию (*фр.*).

даваемых на всех сценах, наводила к ночи тяжелую сонливость, которая утром поддерживалась бессмысленными журналами. Журналистика в прежнем смысле не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. После leading article[1499] лондонских газет, писанных сжатым, деловым слогом, с «нервом», как говорят французы, и «мышцами», premiers-Paris[1500] нельзя было читать. Риторические декорации, полинялые и потертые, и те же возгласы, сделавшиеся больше чем смешными, — гадкими по явному противуречию с фактами, заменяли содержание. Страждущие народности постоянно приглашались по-прежнему надеяться на Францию: она все-таки оставалась «во главе великого движения» и все еще несла миру революцию, свободу и великие принципы 1789 года. Оппозиция делалась под знаменем бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвета, но их можно было означать в том роде, как моряки означают промежуточные ветры: N. N. W., N. W. N., N. W. W., W. N. W… Бонапартизм отчаянный, беснующийся, умеренный, бонапартизм монархический, бо-

[1499] Сноски: 1499
передовых статей (*англ.*).

[1500] Сноски: 1500
передовые статьи парижских газет (*фр.*).

напартизм республиканский, демократический и социальный; бонапартизм мирный, военный, революционный, консервативный, наконец, пале-роялъский и тюльерийский… Вечером поздно бегали по редакциям какие-то господа, ставившие на место стрелку газет, если она где уходила далеко за N. к W. или Е. Они поверяли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились в следующую редакцию.

…В café, читая вечерний журнал, в котором было написано, что адвокат Мирeса отказался указать какое-то употребление сумм, говоря, что тут замешаны «слишком высоко поставленные лица», я сказал кому-то из знакомых:

— Да как же прокурор не заставил его назвать, и как же не требуют этого журналы?

Знакомый дернул меня за пальто, огляделся, сделал знак глазами, руками, тростью. Я недаром жил в Петербурге: понял его и стал рассуждать об абсинте с зельцерской водой.

Выходя из кафе, я увидел крошечного человека, бегущего на меня с крошечными объятиями. На близком расстоянии я разглядел Даримона.

— Как вы должны быть счастливы, — говорил левый депутат, возвратившись в Париж. — Ah! je

m'imagine![1501]

— Не то чтоб особенно!

Даримон остолбенел.

— Ну, что madame Darimon и ваш маленький, который, верно, теперь ваш большой, особенно если он не берет в росте примера с отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très bien[1502]. — И мы расстались.

Тяжело мне было в Париже, и я только свободно вздохнул, когда через месяц, сквозь дождь и туман, опять увидел грязно-белые меловые берега Англии. Все, что жало, как узкие башмаки, при Людовике-Филиппе, жало теперь, как колодка. Промежуточных явлений, которыми упрочивался и прилаживался новый порядок, я не видал, а нашел его через десять лет совершенно *готовым и сложившимся*... К тому же я Париж не узнавал, мне были чужды его перестроенные улицы, недостроенные дворцы и пуще всего — встречавшиеся люди. Это не тот Париж, который я любил и ненавидел, не тот, в который я стремился с детства, не тот, кото-

---

[1501] Сноски: 1501
О! воображаю! (*фр.*)

[1502] Сноски: 1502
Все такой же... очень хорошо (*фр.*).

рый покидал с проклятьем на губах. Это Париж, утративший свою личность, равнодушный, откипевший. Сильная рука давила его везде и всякую минуту готова была притянуть вожжи, но это было не нужно: Париж *принял* tout de bon вторую империю, у него едва оставались наружные привычки прежнего времени. У «недовольных» ничего не было серьезного и сильного, что бы они могли противопоставить империи. Воспоминания тацитовских республиканцев и неопределенные идеалы социалистов не могли потрясти цезарский трон. С «фантазиями» *надзор полиции* боролся не серьезно, они его сердили не как опасность, а как беспорядок и бесчинство. «Воспоминания» досаждали больше «надежд», орлеанистов держали строже. Иногда самодержавная полиция нежданно разражалась ударом, несправедливым и грубым, грозно напоминая о себе; она нарочно распространяла ужас на два квартала и на два месяца и снова уходила в щели префектуры и коридоры министерских домов.

В сущности, все было тихо. Два самых сильных протеста были не французские. Покушениями Пианори и Орсини мстила Италия, мстил Рим. Дело Орсини, испугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлог, чтоб нанести

последний удар — coup de grâce. Он удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительных людях Эспинаса, дала свой залог. Надобно было испугать, показать, что полиция ни перед чем не остановится, надобно было сломить всякое понятие о праве, о человеческом достоинстве, надобно было несправедливостью поразить умы, приучить к ней и ею доказать свою власть. Очистив Париж от *подозрительных* людей, Эспинас приказал префектам в *каждом* департаменте открыть заговор, замешать в него не меньше десяти человек заявленных врагов империи, арестовать их и представить на распоряжение министра. Министр имел право ссылать в Кайенну, Ламбессу без следствия, без отчета и ответственности. Человек сосланный погибал; ни оправданья, ни протеста не могло и быть; он не был судим — могла быть одна монаршая милость.

— Получаю это приказание, — рассказывал префект Н. нашему поэту Ф. Т., — что тут делать? Ломал себе голову, ломал… положение затруднительное и неприятное; наконец мне пришла счастливая мысль, как вывернуться. Я посылаю за комиссаром полиции и говорю ему: можете вы в самом скором времени найти мне десяток отчаянных негодяев, воров, не уличенных по суду,

и т. п.? Комиссар говорит, что ничего нет легче. Ну, так составьте список; мы их нынче ночью арестуем и потом представим министру как возмутителей.

— Ну что же? — спросил Т.

— Мы их представили, министр их отправил в Кайенну, и весь департамент был доволен, благодарил меня, что так легко отделался от мошенников, — прибавил добрый префект, смеясь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилия, чем публика и общественное мнение. Времена тишины, покоя, de la sécurité[1503] наступали не по дням, а по часам. Мало-помалу разгладились морщины на челе полиции; дерзкий, вызывающий взгляд шпиона, свирепый вид sergent de ville[1504] стали смягчаться; император мечтал о разных умных и кротких свободах и децентрализациях. Неподкупные в усердии министры удерживали его либеральную горячность.

…С 1861 двери были отворены и я проезжал несколько раз Парижем. Сначала я торопился поскорее уехать, потом и это прошло, я при-

---

[1503] Сноски: 1503
безопасности (*фр.*).

[1504] Сноски: 1504
полицейского (*фр.*).

вык к новому Парижу. Он меньше сердил. Это был другой город, огромный, незнакомый. Умственное движение, наука, отодвинутые за Сену, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свои «расширенные свободы» Наполеон дал; беззубая оппозиция подняла свою лысую голову и затянула старую фразеологию сороковых годов; работники не верили им, молчали и слабо пробовали ассоциации, кооперации. Париж становился больше и больше общим европейским рынком, в котором толпилось, толкалось все на свете: купцы, певцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всех стран и невиданная в прежние времена масса немцев. Вкус, тон, выражения — все изменилось. Блестящая, тяжелая роскошь — металлическая, золотая, ценная — заменила прежнее эстетическое чувство; в мелочах и одежде хвастались не выбором, не уменьем, а дороговизной, возможностью трат и беспрерывно толковали о наживе, об игре в карты, места, фонды. Лоретки давали тон дамам. Женское образование пало на степень прежнего итальянского.

— L'empire, l'empire…[1505] вот где зло, вот где

[1505] Сноски: 1505
Империя, империя… (*фр.*)

беда…

Нет, причина глубже.

— Sire, vous avez un cancer rentré[1506], — говорил Антоммарки.

— Un Waterloo rentré[1507], — отвечает Наполеон.

А тут две-три революции rentrées, avortées, внутрь взошедшие, недоношенные и выкинутые.

Оттого ли Франция не донашивает, что она слишком рано, слишком поспешно попала в интересное положение и хотела отделаться от него кесаревым сечением? Оттого ли, что духа хватило на рубку голов, а на рубку идей недостало? Оттого ли, что из революции сделали армию и права человека покропили святой водой? Оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революция делалась не для крестьян?

III

[1506] Сноски: 1506
Государь, у вас внутри рак (*фр.*).

[1507] Сноски: 1507
Не рак, а Ватерлоо внутри (*фр.*).

Alpendrücken[1508]

Да здравствует свет!
Да здравствует разум!

Русские, не имея вблизи гор, просто говорят, что «домовой душил». Оно, пожалуй, вернее. Действительно, словно кто-то душит, сон не ясен, но очень страшен, дыханье трудно, а дышать надобно вдвое, пульс поднят, сердце ударяет тяжело и скоро… За вами гнались, гонятся по пятам не то люди, не то привидения, перед вами мелькают забытые образы, напоминающие другие годы и возрасты… тут какие-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенья нет, вы летите в темную пустоту, крик вырывается невольно — и вы проснулись… проснулись в лихорадке, пот на лбу, дыханье сперто — вы торопитесь к окну… Свежий, светлый рассвет на дворе, ветер осаживает в одну сторону туман, запах травы, леса, звуки и крики… все *наше,* земное… и вы, успокоенные, пьете всеми легкими утренний воздух.

…Меня на днях душил домовой не во сне, а наяву, не в постели, а в книге, и, когда я вырвался из нее на свет, я чуть не вскрикнул: «Да здрав-

---

[1508] Сноски: 1508
Гнет гор, кошмар (*нем.*).

ствует разум! Наш простой, земной разум!»

Старик Пьер Леру, которого я привык любить и уважать лет тридцать, принес мне свое последнее сочинение и просил непременно прочесть его, «хоть текст, а примечания после, когда-нибудь».

«Книга Иова, трагедия в пяти действиях, *сочиненная* Исаией и переведенная Пьером Леру». И не только переведенная, но и прилаженная к современным вопросам.

Я прочел *весь* текст и, подавленный печалью, ужасом, искал окна.

Что же это такое?

Какие антецеденты могли развить такой мозг, такую книгу? Где отечество этого человека, и что за судьбы и страны и лица? Так сойти можно только *с большого ума;* это заключение длинного и сломленного развития.

Книга эта — бред поэта-лунатика, у которого в памяти остались факты и строй, упованья и образы, но смысла не осталось; у которого сохранились чувства, воспоминания, формы, но *разум* не сохранился или если и уцелел, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя из мыслей в фантазии, из истин в мистерии, из выводов в мифы, из знания

в откровение.

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состояние, опьянение Пифии, шамана, дурь вертящегося дервиша, дурь вертящихся столов…

Революция и чародейство, социализм и талмуд, Иов и Ж. Санд, Исаия и Сен-Симон, 1789 год до р. Х. и 1789 после р. Х. — все брошено зря в каббалистический горн. Что же могло выйти из этих натянутых, враждебных совокуплений? Человек захворал от этой неперевариваемой пищи, он потерял здоровое чувство истины, любовь и уваженье к разуму. Где же причина, отбросившая так далеко от русла этого старика, некогда стоявшего в числе глав социального движения, полного энергии и любви, — человека, которого речь, проникнутая негодованьем и сочувствием к меньшей братии, потрясала сердца? Я это время помню. «Петр Рыжий — так называли мы его в сороковых годах, — становится моим Христом», — писал мне всегда увлекавшийся через край Белинский, — и вот этот-то учитель, этот живой, будящий голос после пятнадцатилетнего удаления в Жерсее является с grève de Samarez и с книгой Иова, проповедует какое-то переселение душ, ищет развязки на том свете, *в этот не верит* больше. Франция, революция обманули его; он

скинии свои разбивает в другом мире, в котором нет обмана, да и ничего нет, в силу чего большой простор для фантазии.

Может, это личная болезнь, идиосинкразия? Ньютон имел свою книгу Иова, Огюст Конт — свое помешательство.

Может… но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу, — все книга Иова, все мутит ум и давит грудь, все заставляет искать света и воздуха, все носит следы душевной тревоги и недуга, чего-то сбившегося с пути. Вряд можно ли в этом случае многое объяснить личным безумием; напротив, надобно искать в общем расстройстве причину частного явления. Я именно в полнейших представителях французского гения вижу следы недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелым сном; в долгом лихорадочном ожидании, усталые от горечи дня и от жгучего нетерпения, они бредят в каком-то полусне и хотят нас и самих себя уверить, что их видения — действительность и что настоящая жизнь — дурной сон, который сейчас пройдет, особенно для Франции.

Неистощимое богатство их длинной цивилизации, колоссальные запасы *слов* и образов мерцают в их мозгу, как фосфоресценция моря,

не освещая ничего. Какой-то вихрь, подметающий перед начинающимся катаклизмом осколки двух-трех миров, снес их в эти исполинские памяти без цемента, без связи, без *науки.* Процесс, которым развивается их мысль, для нас непонятен: они идут от слов к словам, от антиномий к антиномиям, от антитезисов к синтезисам, не разрешающим их; иероглиф принимается за дело и желанье за факт. Громадные стремления без возможных средств и ясных целей, недоконченные очертания, недодуманные мысли, намеки, сближения, прорицания, орнаменты, фрески, арабески… Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франция, у них нет, истины они не ищут; она так страшна на деле, что они отворачиваются от нее. Романтизм ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкус от всего простого и здорового.

Размеры потеряны, перспективы ложны…

Да еще хорошо, когда дело идет о путешествиях душ по планетам, об ангельских хуторах Жано Рено, о разговоре Иова с Прудоном и Прудона с мертвой женщиной; хорошо еще, когда из целой тысячи и одной ночи человечества делается одна сказка и Шекспир из любви и уважения заваливается пирамидами и обелисками, Олимпом

и Библией, Ассирией и Ниневией. Но что сказать, когда все это врывается в жизнь, отводит глаза и мешает карты для того, чтоб ими ворожить о «близком счастье и исполнении желаний» на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блеском прошедшей славы заштукатуривают гнилые раны и сифилитические пятна на повислых щеках выдают за румянец юноши?

Перед падшим Парижем, в самую не жалкую минуту его паденья, когда он, довольный богатой ливреей и щедростью посторонних помещиков, бражничает на всемирном толкуне, повержен в прахе старик-поэт. Он приветствует Париж путеводной звездой человечества, сердцем мира, мозгом истории, он уверяет его, что базар на Champ de Mars — почин братства народов и примирения вселенной.

Пьянить похвалами поколение измельчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лесть и избалованное, поддерживать гордость пустых и выродившихся сыновей и внучат, покрывая одобрением гения их жалкое, бессмысленное существование, — великий грех.

Делать из современного Парижа *спасителя и освободителя мира,* уверять его, что он велик в своем падении, что он, в сущности, вовсе не па-

дал, сбивает на апотеозу *божественного* Нерона и *божественного* Калигулы или Каракаллы.

Разница в том, что Сенеки и Ульпианы были в силе и власти, а В. Гюго — в ссылке.

Рядом с лестью вас поражает неопределенность понятий, смутность стремлений, незрелость идеалов. Люди, идущие вперед, ведущие других, остаются в полумраке, без тоски о свете. Толки о преображении человечества, о пересоздании существующего… но о каком, но во что?

Это равно не ясно ни *на том* свете Пьера Леру, ни *на этом* Виктора Гюго.

«В XX столетии будет чрезвычайная страна. Она будет велика, и это не помешает ей быть свободной. Она будет знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человечеству. Она будет иметь кроткую доблесть старшей сестры.

Эта центральная страна, из которой все лучится, эта образцовая ферма человечества, по которой все кроится, имеет свое сердце, свой мозг, называемый *Париж.*

Город этот имеет одно неудобство — кто им владеет, тому принадлежит мир. Человечество идет за ним. Париж работает для общности земной. Кто б ты ни был, Париж — твой господин…

он иногда ошибается, имеет свои оптические обманы, свой дурной вкус… *тем хуже* для всемирного смысла, компас потерян, и прогресс идет ощупью.

Но Париж настоящий *кажется* не таков. Я не верю в этот Париж — это призрак, а впрочем, небольшая проходящая тень не идет в счет, когда дело идет об огромной утренней заре.

Одни дикие боятся за солнце во время затмений.

Париж — зажженный факел; зажженный факел имеет *волю*… Париж изгоняет из себя все нечистое, он *уничтожил* смертную казнь, насколько это было в его воле, и перенес гильотину в la Roquette. В Лондоне вешают, гильотинировать в Париже нельзя больше; если б вздумали снова поставить гильотину перед ратушей, камни восстали бы. Убивать в этой среде невозможно. Остается поставить вне закона, что поставлено вне города!

1866 был годом столкновения народов, 1867 будет годом их встречи. Выставка в Париже — великий собор мира, все препятствия, тормозы, палки в колесах прогресса сломятся в куски, разлетятся в прах… Война невозможна… Зачем выставили страшные пушки и другие военные

снаряды?.. Разве мы не знаем, что война умерла? Она умерла в тот день, когда Иисус сказал: “Любите друг друга!”, и бродила только как привидение; Вольтер и революция убили ее еще раз. Мы не верим в войну. Все народы побратались на выставке, все народы, притекши в Париж, побывали Францией (ils viennent d’être France); они узнали, что есть город-солнце… и должны любить его, желать его, выносить его!»

И в полном умилении перед народом, который *испаряется братством,* которого свобода — свидетельство совершеннолетия человеческого рода, Гюго восклицает: «О, Франция! прощай! Ты слишком велика, чтоб быть отечеством; с матерью, сделавшейся богиней, следует расстаться. Еще шаг во времени, и ты исчезнешь, преображенная; ты так велика, что скоро тебя не будет. Ты не будешь Францией, ты будешь человечеством. Ты не будешь страной, ты будешь повсюдностью. Ты назначена изойти лучами… Решись принять бремя твоей бесконечности и, как Афины сделались Грецией, Рим — христианством, сделайся ты, Франция, миром!»

Когда я читал эти строки, передо мной лежала газета, и в ней какой-то простодушный корреспондент писал следующее:

«То, что теперь творится в Париже, необыкновенно занимательно, и не только для современников, но и для будущих поколений. Толпы, собравшиеся на выставку, кутят… все границы перейдены, оргия везде, в трактирах и домах, пуще всего на самой выставке. Приезд царей окончательно опьянил всех. Париж представляет какую-то колоссальную descente de la courtille[1509].

Вчера (10 июня) это опьянение дошло до своего апогея. Пока венценосцы пировали во дворце, видавшем так много на своем веку, толпы наполняли окольные улицы и места. По набережной, на улицах Риволи, Кастилионе, Сент-Оноре пировали на свой манер до трехсот тысяч человек. От Маделены до théâtre des Variétés шла самая растрепанная и нецеремонная оргия; большие открытые линейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложенные изнуренными, измученными клячами, едва-едва двигались по бульварам в сплошном множестве голов и голов. Линейки эти, в свою очередь, были битком набиты, в них стояли, сидели, больше всего лежали растянувшись мужчины и женщины

[1509] Сноски: 1509
Здесь: уличную вакханалию (*фр.*).

во всевозможных позах с бутылками в руках; они с хохотом и песнями переговаривались с пешей толпой; шум и крик несся им навстречу из кафе и ресторанов, совершенно полных; иногда крик и песни сменялись диким ругательством фиакрного извозчика или дружеской ссорой подпивших… На углах, в переулках валялись мертво пьяные; сама полиция, казалось, отступила за невозможностью что-нибудь сделать. Никогда, — пишет корреспондент, — я не видал ничего подобного в Париже, а живу в нем лет двадцать».

Это на улице, «в канаве», как выражаются французы, а что внутри дворцов, освещенных более чем десятью тысячами свечей… что делалось на праздниках, на которые тратилось по миллиону франков?

«С бала, данного городом в Hôtel de Ville, государи уехали около двух часов, — это повествует официальный историограф императорских увеселений, — кареты не могли вовремя ни приехать, ни отвезти восемь тысяч человек. Часы шли за часами, усталь овладела гостями, дамы сели на ступенях лестницы, другие просто легли в залах на ковры и заснули у ног лакеев и huissiers, кавалеры шагали за них, цепляясь за кружева

и уборы. Когда мало-помалу расчистилось место, ковров было не видно, все было покрыто завялыми цветами, раздавленными бусами, лоскутьями блонд и кружев, тюля, кисеи, оторванных эфесами, саблями, шитьем, царапавшим плечи», и пр.

А за кулисами шпионы били кулаками, ловили, выдавали за воров людей, кричавших: «Vive la Pologne!»[1510], и суд в двух инстанциях осудил их же на тюрьму за *препятствие* шпионам беззаконно, бесформенно арестовывать их с зуботычинами.

Я нарочно помянул одни *мелочи* — микроскопическая анатомия легче даст понятие о разложении ткани, чем отрезанный ломоть трупа…

IV
Даниилы

В июльские дни 1848 года, после первого террора и ошеломленья победителей и побежденных, явился представителем *угрызения совести* угрюмый и худой старик. Мрачными словами заклеймил он и проклял людей «порядка», расстреливавших сотнями, не спрося имени,

---

[1510] Сноски: 1510
«Да здравствует Польша!» (*фр.*)

ссылавших тысячами без суда и державших Париж в осадном положении. Окончив анафему, он обернулся к народу и сказал ему: «А ты молчи, ты слишком беден, чтоб тебе иметь речь».

Это был Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его седин, его морщин, его глаз, на которых дрожала старая слеза и на которых скоро ничего дрожать не будет.

Слова Ламенне прошли бесследно.

Через двадцать лет другие угрюмые старики явились с своим суровым словом, и их голос погиб в пустыне.

Они не верили в силу своих слов, но сердце не выдержало. Не сговариваясь в своих ссылках и удалениях, эти вемические судьи и Даниилы произнесли свой приговор, зная, что он не будет исполнен.

Они, на горе себе, поняли, что это «ничтожное облако, мешающее величественному рассвету», не так ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмелье после революции не так-то скоро пройдут, и сказали это.

«В худшие времена древнего цезаризма, — говорил Эдгар Кине на конгрессе в Женеве, — когда все было немо, за исключением владыки, находились люди, оставлявшие свои пустыни для того,

чтоб произнести несколько слов правды в глаза падшим народам.

Шестнадцать лет живу я в пустыне и хотел бы, в свою очередь, прервать мертвое молчание, к которому привыкли в наше время».

Какую же весть принес он с своих гор и во имя чего поднял речь? Он ее поднял для того, чтоб сказать своим соотечественникам (француз, о чем бы ни говорил, говорит всегда о Франции): «У вас нет совести… она умерла, раздавленная пятою сильного, она отреклась от себя. Шестнадцать лет искал я следов ее и не нашел!»

«То же было при цезарях в древнем мире. Душа человеческая исчезла. Народы помогали своему порабощению, рукоплескали ему, не показывая ни сожаления, ни раскаяния. Совесть человеческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всем, как теперь, и для того, чтоб ее наполнить, надобно было *нового Бога.*

Кто же наполнит в наше время пропасти, вырытые новым цезаризмом?

На место стертой, упраздненной совести настала ночь; мы бродим впотьмах, не зная, откуда искать помощи, к кому обратиться. Всё — соучастник паденья: церковь и суд, народы и общество… Глуха земля, глуха совесть, глухи народы; право

погибло с совестью; одна сила царит…

…Зачем вы пришли, что вы ищете в этих развалинах? Развалин? Вы отвечаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились в обломках падшего зданья права. Вы ищете мира — вы ошибаетесь, его здесь нет. Здесь война. В этой ночи без рассвета должны сталкиваться народы и племена и уничтожать друг друга зря, исполняя волю властителей, перевязавших им ум и руки.

Народы подвинутся только тогда, когда *сознают всю глубину своего паденья!»*

Старик бросил для детей несколько цветов, чтоб уменьшить ужас картины. Ему рукоплескали. Они и тут не ведали что творили. Через несколько дней отреклись от своих рукоплесканий.

Месяца два перед тем, как эти мрачные слова раздались на женевском сходе, в другом швейцарском городе другой изгнанный прежнего времени писал следующие строки:

«Я не имею больше веры во Францию.

Если когда-нибудь она воскреснет к новой жизни и оправится от страха самой себя, это будет чудо; из такого глубокого паденья не подымалась ни одна больная нация. Я не жду чудес. Забытые учреждения могут возродиться, — потухнувший

дух народа не оживает. Несправедливое провидение не дало мне и того утешенья, которым оно так щедро наделяет, в замену бедности, всех изгнанников: всегдашней надежды и веры в мечты. От всего прожитого мною остались только уроки опытности, горькое разочарование и неизлечимая усталь (énervement). Мне *холодно* на сердце. Я не верю больше ни в право, ни в человеческую справедливость, ни в здравый смысл. Я отошел в равнодушие, как в могилу».

Жирондист Мерсье, одной ногой уже в гробу, говорил во время паденья первой империи: «Я живу еще только для того, чтоб увидеть, чем это кончится!» «Я и этого не могу сказать, — прибавил Марк Дюфресс, — у меня нет особого любопытства узнать, чем развяжется императорская эпопея».

И старик повернулся к прошедшему и с глубокой печалью показал его исхудалым потомкам. Настоящее ему незнакомо, чуждо, противно. Из его кельи веет могилой, от его слов дрожь пробирает постороннего.

Слова одного, строки другого — все скользнуло бесследно. Слушая их, читая их, у французов не сделалось «холодно в груди». Многие открыто негодовали: «Эти люди лишают нас сил,

повергают в отчаяние… где в их словах *выход,* утешенье?»

Суд не обязан утешать; он должен обличать, уличать *там,* где нет сознания и раскаяния. Его дело вызвать *совесть.* Суд — и не пророчество, у него нет Мессии в запасе для утешения в будущем. Он так же, как и подсудимый, принадлежит старой религии. Суд представляет чистую и идеальную сторону ее, а масса — ее практическое, уклонившееся, истощенное приложение. Осуждающий служит поневоле практическим обвинителем идеала; защищая его, он указывает его односторонность.

Ни Эдгар Кине, ни Марк Дюфресс действительно не знают *выхода* и зовут вспять. Немудрено, что они его не видят: они к нему стоят спиной. Они принадлежат к прошедшему. Возмущенные бесчестной кончиной своего мира, они схватили клюку и явились незваными гостьми на оргию высокомерного, самодовольного народа и сказали ему: «Ты все утратил, все продал, тебя ничто не оскорбляет, кроме правды, у тебя нет ни прежнего ума, у тебя нет прежнего достоинства, у тебя нет совести, ты на дне паденья и не только не чувствуешь твоего рабства, но, туда же, имеешь притязание освобождать народы и на-

родности, украшаясь лаврами войны, — хочешь надеть на себя оливковые венки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающие, пришли тебя звать к раскаянию и, если не пойдешь, сломим жезл наш над тобою».

Они видят свое войско отступающим, бегущим от своего знамени и карой своих слов хотят его возвратить в прежний стан *и не могут.* Для того чтоб их собрать, надобно новое знамя, а его нет у них. Они, как языческие первосвященники, раздирают ризы свои, защищая падающую святыню свою. Не они, а гонимые назареи возвещали воскресение и жизнь будущего века.

Кине и Марк Дюфресс скорбят об осквернении храма своего, храма народного представительства. Они скорбят не только об утрате во Франции свободы, человеческого достоинства, они скорбят о *потере передового* места, они не могут примириться с тем, что империя не предупредила единства Германии, они ужасаются тому, что Франция сошла *на второй план.*

Вопрос о том, *зачем* Франции, в которую они сами не верят, быть *на первом месте,* не представлялся ни разу их уму…

Марк Дюфресс с раздраженным смирением говорит, что он не понимает *новых вопросов,* т. е.

экономических; а Кине ищет того Бога, который сойдет, чтоб наполнить пустоту, оставленную потерей совести… Он прошел мимо их, они его не узнали и допустили его распятие.

P. S. Как комментарий к нашему очерку идет и странная книга Ренана о «современных вопросах». Его тоже пугает настоящее. Он понял, что дело идет плохо. Но что за жалкая терапия! Он видит больного по горло в сифилисе и советует ему хорошо учиться, и по классическим источникам. Он видит внутреннее равнодушие ко всему, кроме материальных выгод, и сплетает на выручку из своего рационализма некую религию — католицизм без настоящего Христа и без папы, но с плотоумерщвлением. Уму ставит он дисциплинарные перегородки, или, лучше, гигиенические.

Может, самое важное и смелое в его книге — это отзыв о революции: «Французская революция была великим опытом, но *опытом неудавшимся».*

И затем он представляет картину ниспровержения всех прежних институтов, стеснительных с одной стороны, но служивших отпором против поглощающей централизации, и на месте их — слабого, беззащитного человека перед давящим, всемогущим государством и уцелевшей

церковью.

Поневоле с ужасом думаешь о союзе этого государства с церковью, который совершается наглазно, который идет до того, что церковь теснит медицину, отбирает докторские дипломы у материалистов и старается решать вопросы о разуме и откровении сенатским решением, декретировать libre arbitre[1511], как Робеспьер декретировал l'Etre suprême[1512].

Не нынче-завтра церковь захватит воспитание — тогда что?

Французы, уцелевшие от реакции, это видят, и положение их относительно иностранцев становится невыгоднее и невыгоднее. Никогда они не выносили столько, как теперь, и от кого же? В особенности от немцев. Недавно при мне был спор одного немецкого ex-réfugié[1513] с одним из замечательных литераторов. Немец был беспощаден. Прежде была какая-то тайно соглашенная терпимость к англичанам, которым всегда позволяли говорить нелепости

[1511] Сноски: 1511
свободу воли (*фр.*).

[1512] Сноски: 1512
верховное существо (*фр.*).

[1513] Сноски: 1513
бывшего изгнанника (*фр.*).

из уважения и уверенности, что они несколько поврежденные, и к французам — из любви к ним и из благодарности за революцию. Льготы эти остались только для англичан — французы очутились в положении состаревшихся и подурневших красавиц, которые долго не замечали, что средства их уменьшились, что на обаяние красотой надеяться больше нечего.

Прежде им спускалось невежество всего, находящегося за границами Франции, употребление битых фраз, позолоченный стеклярус, слезливая сентиментальность, резкий, вершающий тон и les grands mots[1514], — все это утратилось.

Немец, поправляя очки, трепал француза по плечу, приговаривая:

— Mais, mon cher et très-cher ami[1515], эти готовые фразы, заменяющие разбор дела, вниманье, пониманье, мы знаем наизусть; вы нам их повторяли лет тридцать; они-то вам и мешают видеть ясно настоящее положение дел.

— Но как бы то ни было, все же, — говорил литератор, видимо желая заключить разговор, — однако же, мой милый философ, вы все склонили

[1514] Сноски: 1514
громкие фразы (*фр.*).

[1515] Сноски: 1515
Но, друг мой, дорогой друг (*фр.*).

голову под прусский деспотизм; я очень понимаю, что для вас это — средство, что прусское владычество — ступень…

— Тем-то мы и отличаемся от вас, — перебил его немец, — что мы идем этим тяжелым путем, ненавидя его и покоряясь необходимости, имея цель перед глазами, а вы *пришли* в такое же положение, как в гавань спасенья; для вас это не ступень, а заключение, — к тому же большинство его любит.

— C'est une impasse, une impasse[1516], — заметил печально литератор и переменил разговор.

По несчастью, он заговорил о речи Жюль Фавра в академии. Тут окрысился другой немец:

— Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословие может вам нравиться? Лицемерье, неправда о науке, неправда во всем; нельзя же два часа читать панегирик бледному Кузеню. И что ему было за дело защищать казенный спиритуализм? И вы думаете, что эта оппозиция спасет вас? Это риторы и софисты, да и как смешна вся эта процедура речи и ответа, обязательная похвала предшественнику — весь этот средневековый бой пустословья.

[1516] Сноски: 1516
Это тупик, тупик (*фр.*).

— Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes…[1517]

Мне было жаль литератора…

V
Светлые точки

Но за Даниилами видны же и светлые точки, слабые, дальние, и в том же Париже. Мы говорим о Латинском квартале, об этой Авентинской горе, на которую отступили учащиеся и их учители, т. е. те из них, которые остались верны великому преданию 1789 года, энциклопедистам, Горе, социальному движению. Там хранится евангелие первой революции; читают ее апостольские деяния и послания святых отцов XVIII века; там известны *великие вопросы*, которых не знает Марк Дюфресс; там мечтают о будущей «веси человеческой» так, как монахи первых веков мечтали о «веси Божией».

Из переулков этого Лациума, из четвертых этажей невзрачных домов его постоянно идут ставленники и миссионеры на борьбу и проповедь и гибнут большею частью морально,

---

[1517] Сноски: 1517
Что вы! Вы забываете традиции, обычаи (*фр.*).

а иногда физически, in partibus infidelium, т. е. по другую сторону Сены.

Объективная истина с их стороны, всяческая правота и дельность пониманья с их стороны — но и только. «Рано или поздно истина всегда побеждает». А мы думаем, *очень поздно* и *очень редко.* Разум спокон века был недоступен или противен большинству. Для того чтоб *разум* мог понравиться, Анахарсис Клоц должен был одеть его в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага. Действовать на людей можно только грезя их сны яснее, чем они сами грезят, а не доказывать им свои мысли так, как доказывают геометрические теоремы.

Латинский квартал напоминает средневековые чертозы[1518] или камалдулы[1519], отступившие на шаг от людского шума, с своей верой в братство, милосердие и, главное, в скорое пришествие Царства Божия. И это в самое то время, когда за их стенами рыцари и рейтеры жгли и резали, лили кровь, грабили, засекали виланов, насиловали их дочерей… Потом наступили другие времена, также без братства и второго пришествия,

---

[1518] Сноски: 1518
картезианские монастыри (*um.* certosa).

[1519] Сноски: 1519
бенедиктинские монастыри (*um.* camaldola).

и это прошло — а камалдулы и чертозы остались при своей вере. Нравы еще смягчились, изменилась манера грабить, насиловать стали с платой, обирать — по принятым уставам; но Царство Божие не приходило, а все неминуемо *наступало* (так казалось в чертозах), знамения становились все яснее, прямее; вера спасала иноков от отчаяния.

С каждым ударом, от которого разлетаются в прах последние убогие свободы, с каждым падением общества, с каждым наглым шагом назад Латинский квартал приподнимает голову, а mezza voce[1520] у себя дома поет «Марсельезу» и, поправляя фуражку, говорит: «Этого-то и надобно было. Они дойдут до предела… чем скорее, тем лучше». Латинский квартал верит *в свой курс* и храбро чертит план свой, «весь истины», идя вразрез с «весью действительности».

А Пьер Леру верит в Иова!

А В. Гюго — в выставку братства!

VI

[1520] Сноски: 1520
вполголоса (*ит.*).

После набега

«Святой отец, теперь ваше дело!»

«Дон Карлос».

(Филипп II великому инквизитору)

Эти слова мне так и хочется повторить Бисмарку. Груша зрела, и без его сиятельства дело не обойдется. Не церемоньтесь, граф!

Я не дивлюсь тому, что делается, и не имею права дивиться — я давно кричал свое: «Берегись, берегись!..» Я просто *прощаюсь,* и это тяжело. Тут нет ни противуречия, ни слабости. Человек может очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будет очень больно; он может, сверх того, предчувствовать, что она подымется, что ее ничем не остановишь; тем не меньше ему все же будет *больно,* когда она подымется.

Мне жаль личностей, которых люблю.

Мне жаль страны, которой первое пробуждение я видел своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обесчещенную.

Мне жаль этого Мазепу, которого отвязали от хвоста одной империи, чтоб привязать к хвосту другой.

Мне жаль, что я прав, я — словно соприкосновенный к делу тем, что в общих чертах его

предвидел. Я досадую на себя, как досадует дитя на барометр, предсказавший бурю и испортивший прогулку.

Италия похожа на семью, в которой недавно совершилось какое-нибудь черное преступление, обрушилось какое-нибудь страшное несчастие, обличившее дурные тайны, — на семью, по которой прошла рука палача, из которой кто-нибудь выбыл на галеры… все в раздражении, невинные стыдятся и готовы на дерзкий отпор. Всех мучит бессильное желание мести, страдательная ненависть отравляет, расслабляет.

Может, и *есть* близкие выходы, но разумом их не видать; они лежат в случайностях, во внешних обстоятельствах, они лежат *вне границ.* Судьба Италии *не в ней.* Это само по себе одно из невыносимейших оскорблений; оно так грубо напоминает недавний плен и чувство собственной несостоятельности и слабости, которое начало было стираться.

И только *двадцать лет!*

Двадцать лет тому назад, в конце декабря, я в Риме оканчивал первую статью «С того берега» и *изменил* ей, увлеченный сорок восьмым годом. Я был тогда в полной силе развития и с жадностью следил за развертывающимися событиями.

В моей жизни не было еще ни одного несчастия, которое оставило бы сильный, ноющий рубец, ни одного упрека совести внутри, ни одного оскорбительного слова снаружи. Я несся, слегка ударяя в волны, с безумным легкомыслием, с безграничной самонадеянностью, на всех парусах. И все их одни за одними пришлось подвязать!

Во время первого ареста Гарибальди я был в Париже. Французы не верили в вторжение их войск. Мне случалось встречаться с людьми разных слоев общества. Заклятые ретрограды и клерикалы желали вмешательства, кричали о нем, но сомневались. На железной дороге один известный французский ученый, прощаясь со мной, говорил мне: «У вас, мой милый северный Гамлет, так фантазия настроена, вы видите одно черное, оттого вам и не очевидна невозможность войны с Италией; правительство слишком хорошо знает, что война за папу поставит против него все мыслящее, ведь все же мы — Франция 1789 года». Первая новость, которую я не прочел, а *увидел*, был флот, отправлявшийся из Тулона в Чивиту. «Это военная прогулка», — говорил мне другой француз. «On ne viendra jamais aux mains[1521], да

[1521] Сноски: 1521
Дело никогда не дойдет до драки (*фр.*).

и не нужно нам мараться в итальянской крови».

Оказалось *нужным.* Несколько юношей из «Лациума» протестовали, их посадили на съезжую, со стороны Франции тем и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италия, благодаря нерешительности короля, шулерству министерства, делала все уступки. Но рассвирепелого француза, упивающегося всякой победой, нельзя было остановить — к крови, к делу ему надобно было прибавить крепкое *слово.*

И на этом крепком слове, покрытом рукоплесканиями империи, подали руку ее злейшие враги: легитимисты в виде старого стряпчего Бурбонов — Беррье, и орлеанисты, в виде старого Фигаро времен Людовика-Филиппа — Тьера.

Я считаю *слово* Руэра историческим откровением. Кто после этого не понял Франции, тот слепорожденный.

Граф Бисмарк, теперь ваше дело!

А вы, Маццини, Гарибальди, последние угодники Божии, последние могикане, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь вас не нужно. Вы свое сделали. Теперь дайте место безумию, бешенству крови, которыми или Европа себя убьет, или реакция. Ну что же вы сделаете с вашими ста республиканцами и вашими волонтерами,

с двумя-тремя ящиками контрабандных ружей? Теперь — миллион отсюда, миллион оттуда, с иголками и другими пружинами. Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов… а там тиф, голод, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотели даже и такой бледной республики, как февральская, не хотели подслащенной демократии, которую вам подносил кондитер Ламартин. Вы не хотели ни Маццини-стоика, ни Гарибальди-героя. Вы хотели *порядка.*

Будет вам за то война, семилетняя, тридцатилетняя…

Вы боялись социальных реформ — вот вам фениане с бочкой пороха и зажженным фитилем.

Кто в дураках?

Генуя, 31 декабря 1867 года.

Старые письма (Дополнение к «Былому и думам»)

Oh, combien de marins, combien de capitaines, Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, Dans ce noir horizon, se sont évanouis! Combien ont disparu…[1522]

V. Hugo

Я всегда с каким-то трепетом, с каким-то болезненным наслаждением, нервным, грустным и, может, близким к страху, смотрел на письма людей, которых видал в молодости, которых любил не зная, по рассказам, по их сочинениям — и которых больше нет.

Недавно я испытал это еще раз, читая письма *Карамзина* в «Атенее» и *Пушкина* в «Библиографических записках». Дни целые они были у меня перед глазами, и не только они, но тогдашнее время, вся их обстановка, как я ее помнил, как я ее читал, воскресла с ними — вместе с 1812 г. и 1825 — император Александр, книги, костюмы.

Как сухие листы, перезимовавшие под снегом, письма напоминают *другое* лето, его зной, его теплые ночи, и то, что оно ушло на веки веков, по ним догадываешься о ветвистом дубе, с кото-

---

[1522] Сноски: 1522

О, сколько за этим угрюмым горизонтом исчезло моряков, капитанов, которые с радостью отправились в далекие странствия! Сколько пропало без вести… (*фр.*)

рого их сорвал ветер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в *книге*. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим.

Жаль, что не много писем уцелело у меня. Моя жизнь прибивала меня к разным берегам, к разным слоям, я с многими входил в сношения, но три полицейских нашествия: одно в Москве и два в Париже, отучили меня от хранения всякого рода писем. Уезжая в 1852 из Италии и думая пробраться через *смирительную* империю, я сжег много дорогого мне и как бы в вознаграждение получил в Лондоне несколько пачек писем, оставленных мною в Москве.

С 1825 года *события* несущейся истории начинают зацеплять больше и больше и наконец совсем увлекают в широкий поток общих интересов. С тем вместе прозелитизм, страстная дружба, вызывает на переписку; она растет и делается какой-то движущейся, раскрытой исповедью… все закреплено, все помечено в письмах и притом наскоро, т. е. без румян и прикрас, и все остается, оседает и сохраняется, как моллюск, залитый кремнем, как бы для того, чтоб когда-нибудь свидетельствовать на Страшном суде или упрек-

нуть своим несправедливым. *Таким ли был я расцветая?* — как будто человек виноват в том, что стареет.

Но не из этой юной и лирической эпохи жизни хочу я на первый раз передать несколько писем. Те — когда-нибудь, после. Теперь на первый случай поделюсь десятком писем от лиц, большей частию известных и любимых у нас или уважаемых.

И-р.
1 марта 1859.

Письмо Николая Алексеевича Полевого

25 февраля 1836 г. Москва.

Зная, как всегда любил и уважал я вас, вы поверите искренности слов моих, когда я скажу, что я сердечно обрадовался, получив письмо ваше. Добрая весть эта была подарком для меня; слава Богу, что вы уцелели, что вы не упали духом, что вы продолжаете занятия ваши, что можно иногда перекликнуться с вами. Бодрствуйте, любезнейший Александр Иванович! Время драгоценное лекарство на все. Будем опять вместе, будем опять философствовать, с тою же бескорыстною

любовью к человечеству, с какою философствовали некогда. Наперед всего вы простите меня и не причтите мне в вину долговременное медление мое ответом на уведомление ваше. Причиною была полуожиданная, полунечаянная поездка моя в Петербург, отнявшая у меня почти месяц, а потом тьма мелких забот и нездоровье мое по возвращении; не поверите, сколько различных досад и неприятностей перенес я с тех пор, как мы не видались, моральных и физических. Москва так надоела мне, что, может быть, я решусь совершенно оставить ее; по крайней мере нынешнее лето, с июня месяца, я проживу в Петербурге. Если уж надобно, неволя велит продолжать мне мою деятельность, то надобно продолжать ее в Петербурге, который, как молодой красавец, растет и величится на счет Москвы, стареющей и дряхлеющей во всех отношениях. Но что в будущем, ведомо только Богу, а пока я в Москве, прошу вас писать ко мне, когда вздумаете и что вздумаете. Мне приятно сделаться и посредником вашим с журналами и публикою, если вы захотите входить в какие-нибудь с ними сношения. Статью вашу о *Гофмане* я получил. Мне кажется, вы судите об нем хорошо и верно, но если вы хотите дать публичность этой статье,

то примите мой дружеский совет: ее надобно поисправить в слоге, весьма небрежном, и необходимо прежде цензуры исключить некоторые выражения. Кроме того, что без этих поправок статья может навлечь на вас неприятности, положим хоть *журнальные,* спрашиваю: к чему эти выражения? Дело в деле, а не в них. Если вы доверите мне, я охотно приму на себя обязанность продержать над статьею вашею политическо-литературную корректуру и потом отдать ее в какой угодно журнал. Без вашего позволения приступить ни к чему не смею, и, право, не советую без поправок посылать к другому. Верьте, что я желаю вам всякого добра, как родному, уверенный притом, что настоящее положение ваше продолжиться долго не может, если вы будете сколько возможно осторожнее во всех отношениях. Верю, что вы можете быть в состоянии оскорбленного и раздраженного человека, но кто из нас переходил путь жизни без горя и без страданий? Слава Богу, если они постигают нас тяжелым опытом в юности. А как изменяются потом в глазах наших взгляды и отношения на все нас окружающее! Великий Боже! я сам испытывал и испытываю все это, а мне только еще *сорок* лет. Расстояние между мнениями и по-

нятиями двадцати- и сорокалетнего человека делит бездна. — Братец ваш рассказывал мне, что вы принялись за географию, за статистику, дело доброе! Жаль, что по исторической части сторона ваша совершенно бесплодна. Об ней можно сказать одно: жили, а кто жил и зачем жили, Бог весть; впрочем, если бы что открылось любопытное, пожалуйста, сообщите мне. Русская история сделалась моею страстью. Я охотно готов сообщить вам исторической пыли сколько хотите. История теперь и кстати. Кажется, что вся литература наша сбивается на задние числа. Адрес мой теперь: *в Москве, под Новинским, в Кудрине, в приходе Девяти мучеников, в доме Сафонова.* Буду ждать писем ваших, а в ожидании всегда сохраню к вам чувства совершенного почтения и преданности, с коими был и есть

ваш усердный и преданный

Н. Полевой[1523].

Из писем Виссариона Григорьевича Белинского[1524]

I

С.-Петербург, 2 января 1846.

Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою и о том, и о сем, и о твоих статьях «Об изучении природы», и о твоей статейке «О пристрастии», и о твоей превосходной повести, обнаружившей в тебе новый талант, который мне кажется лучше и выше всех твоих старых талантов (за исключением фельетонного — о Копернике, Ярополке Водянском и пр.), об истинном направлении и значении твоего

[1523] Сноски: 1523

Статья, о которой идет речь, была напечатана в одной из последних книжек «Телескопа» и поссорила меня с Полевым. К<етчер>, не зная вовсе, что я дал ее Полевому, напечатал ее в «Телескопе» и, считая неосторожным оставить под нею мою фамилью, поставил *Искандер,* подпись, которую я шутя употребил в одной статье, назначенной не для печати. Я был тогда в Вятке.

Полевой рассердился на меня и, не узнав дела, написал мне записочку, в которой говорил, что *серьезные* люди не дают одну и ту же статью в два журнала. Я ему отвечал на это, что *они* имеют еще и другие привычки, например, сперва узнать дело, а потом браниться. На этом переписка остановилась. В 1840 году в Петербурге он велел мне сказать через Вадима Пассека, что «стыдно сердиться». Но я вовсе не за «Гофмана» сердился тогда, это было время «Параши Сибирячки» и пр.

[1524] Сноски: 1524

Я должен предупредить, что я счел необходимым очень многое из писем Белинского и из писем Грановского не печатать.

таланта, и обо многом прочем. Но все не было то случая, то времени. Потом я все ждал тебя и раз опять испытал понапрасну сильное нервическое потрясение по поводу прихода г. Герца, о котором мне возвестили как о г. Герцене. Наконец, слышу, что ты сбираешься ехать не то будущею весною, не то будущею осенью. Оставляя все прочее до другого случая, пишу теперь к тебе не о тебе, а о самом себе, о собственной моей особе. Прежде всего — твою руку и, с нею, честное слово, что все написанное здесь останется, впредь до разрешения, строгою тайною между тобою и твоими друзьями.

Вот в чем дело. Я теперь решился оставить «Отечественные записки». Это желание давно уже было моею idée fixe; но я все надеялся выполнить его чудесным способом, благодаря моей фантазии, которая у меня услужлива не менее фантазии г. Манилова, и надеждам на богатых земли. Теперь я увидел ясно, что это все вздор и что надо прибегнуть к средствам, более обыкновенным, более трудным, но зато и более действительным. Но прежде о причинах, а потом уже о средствах… Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь. Обыкновенно я недели две в месяц рабо-

таю с страшным лихорадочным напряжением, до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но труд мне не опротивел. Я больной писал большую статью «О жизни и сочинениях Кольцова», и работал с наслаждением; в другое время я в три недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и добрым духом. Стало быть, мне невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер, и без того брюзгливый и мелочно раздражительный, но труд не ex officio был бы мне отраден и полезен. Вот первая и главная причина…

К Пасхе я издаю толстый огромный альманах. Достоевский дает повесть, Тургенев повесть и поэму, Н<екрасов> юмористическую статью в стихах («Семейство», он на эти вещи собаку съел), П<анаев> повесть; вот уже пять статей есть; шестую напишу сам; надеюсь у Майкова выпро-

сить поэму. Теперь обращаюсь к тебе: *повесть или жизнь!* Если бы, сверх этого, еще ты дал что-нибудь легонькое, журнальное, юмористическое, о жизни или российской словесности или о том и о другом вместе, — хорошо бы было! Но я хочу не одного легкого, а потому прошу Грановского — нельзя ли исторической статьи — лишь бы имела общий интерес и смотрела беллетристически. На всякий случай скажи юному профессору К<авелину>, нельзя ли от него поживиться чем-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал мне (за что благодарен ему донельзя), чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории — гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Если бы он дал мне статью, в которой бы развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как благодарить его. Сам я хочу что-нибудь написать о современном значении поэзии. Таким образом, были бы повести, юмористические статьи, стихотворения и статьи серьезного содержания, и альманах вышел бы на славу. Теперь о твоей повести. Ты пишешь вторую часть «Кто виноват?». Если она будет так же хороша, как первая часть, она бу-

дет превосходна; но если бы ты написал новую другую, и еще лучше, я все-таки лучше бы хотел иметь вторую часть «Кто виноват?». А<нненков> 8 января едет. В Берлине он увидится с Кудрявцевым, и, может быть, я и от этого получу повесть. А<нненков> тоже пришлет что-нибудь вроде путевых заметок. Я печатаю Кольцова с Ольхиным; он печатает, а барыш пополам: это еще вид в будущем, для лета. К Пасхе же я кончу первую часть моей истории русской литературы. Лишь бы извернуться на первых-то порах, а там, я знаю, все пойдет лучше, чем было; я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будет легче и приятнее. Жму тебе руку и с нетерпением жду твоего ответа.

В. Б.

II

С.-Петербург, 14 января 1846.

Несказанно благодарен я тебе, любезный Герцен, что ты не замедлил ответом, которого я ожидал с лихорадочным нетерпением. Делай как знаешь. Но только на новую повесть твою мне плоха надежда. Альманах должен выйти к Пасхе; времени мало. Пора уже собирать и в цен-

зуру представлять. Ценсоров у нас мало, а работы у них гибель, оттого они страшно задерживают рукописи; чтобы ты успел написать новую повесть, невероятно, даже невозможно. Притом же, бросившись продолжать и доканчивать старую, чтобы начать новую, ты испортишь обе.

Насчет писем Б<отки>на, об Испании, нечего и говорить; разумеется, давайте. А<нненков> уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости, так что я теперь живу вовсе без радостей…

Ах, братцы, плохо мое здоровье, — беда! Иногда, знаете, лезет в голову всякая дрянь, например, как страшно оставить жену и дочь без куска хлеба и пр. До моей болезни прошлою осенью я был богатырь в сравнении с тем, что я теперь. Не могу поворотиться на стуле, чтоб не задохнуться от истощения.

Полгода, даже четыре месяца за границею, и, может быть, я лет на пяток или более опять пошел бы как ни в чем не бывало. Бедность не порок, а хуже порока. Бедняк — подлец, который должен сам себя презирать, как пария, не имеющего права даже на солнечный свет. Журнальная работа и петербургский климат доконали меня.

III

С.-Петербург, 6 февраля 1846.

Рад я несказанно, что нет причины опасаться не получить от тебя ничего для альманаха, так как «Сорока-воровка» кончена и придет ко мне вовремя. А все-таки грустно и больно, что «Кто виноват?» ушло у меня из рук. Такие повести (если 2 и 3 часть не уступают первой) являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальною статьею, разделяя восторг публики с повестью Достоевского «Сбритые бакенбарды», а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во сне, не только наяву. Словно бес какой дразнит меня этою повестью, и, расставшись с нею, я все не перестаю строить на ее счет предположительные планы, например, перепечатал бы я и первую часть вместе с двумя остальными и этим начал бы альманах… Тогда фурорный успех альманаха был бы вернее того, что *а* — вор, *б* — дурак, а *с* — плут…

Что статья К<авелина> будет хороша — в этом я уверен как нельзя больше. Ее идея (а отчасти и манера К<авелина> развивать эту идею) мне известна, а этого довольно, чтобы смотреть на эту

статью как на что-то весьма необыкновенное.

Впрочем, не подумай, чтобы я не дорожил твоею «Сорокой-воровкой»; уверен, что это грациозно-остроумная и, по твоему обыкновению, дьявольски умная вещь; но после «Кто виноват?» во всякой твоей повести не такой пробы ты всегда будешь без вины виноват. Если бы я не ценил в тебе человека так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!» Но Потемкин ошибся, Фонвизин не умер и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: *«Он прав,* давно бы ему приняться за повесть!» Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур.

Ты пишешь: «Грановский *мог бы* прислать из лекций»; если *мог бы,* то почему же не пришлет? Зачем тут *бы*? Статье С<оловье>ва я рад несказанно и прошу тебя поблагодарить его от меня за нее.

IV

С.-Петербург, 19 февраля 1846.

Ты пишешь, что не знаешь, радоваться или нет, что я оставил журнал. Отвечаю утвердительно: радоваться; дело идет не только о здоровье, о жизни, но и уме моем. Ведь я тупею со дня на день. Памяти нет, в голове хаос от русских книг, а в руке всегда готовые общие места и казенная манера писать обо всем. «В дороге», Н<екрасов>а, превосходно; он написал и еще несколько таких же, и напишет их еще больше; но он говорит — это оттого, что он не работает в журнале. Я понимаю это. Отдых и свобода не научат меня стихи писать, но дадут мне возможность так хорошо писать, как мне дано. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без «Отечественных записок», может быть, еще лучше, это, кажется, ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при прочих занятиях никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много.

Твоя «Сорока-воровка» отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно

чертовски. Одного боюсь: всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды. Мысль записок медика прекрасна, и я уверен, что ты мастерски воспользуешься ею. «Даниил Галицкий» — дельный и занимательный монограф. О статье К<авелина> нечего и говорить, это чудо. Итак, вы, ленивые и бездеятельные москвичи, оказались исправнее наших петербургских скорописцев. Спасибо вам!

А что мой альманах должен быть слоном или левиафаном, это так. Пьеса, как «В дороге», нисколько не виновата в успехе альманаха. «Бедные люди» — другое дело, и то потому, что о них заранее прошли слухи. Сперва покупают книгу, а потом читают; люди, поступающие наоборот, у нас редки, да и те покупают не альманахи. Поверь мне, между покупателями «Петербургского сборника» много есть людей, которым только и понравится, что статья «О парижских увеселениях». Мне рисковать нельзя, мне нужен успех верный и быстрый; нужно, что называется, сорвать банк. Один альманах разошелся, глядь, за ним является другой, покупатели уж смотрят на него недоверчиво. Им давай нового, повторений не любят, у меня те же имена, кроме твоего и М<ихаила> С<еменовича>. Когда альманах

порядком разойдется, тогда статья К<авелина> поможет его окончательному ходу, а сперва она только испугает всех своим названием, скажут: «Ученость, сушь, скука!» Итак, мне остается рассчитывать на множество повестей да на толщину баснословную. И верь мне: я не ошибусь — вы, москвичи, народ немножко идеальный, вы способнее написать или собрать хорошую книгу, но продать ее не ваше дело: тут вам остается только снять шляпу да низко нам поклониться.

Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже в объявлении для столиц: это вторая часть «Мертвых душ». Но ведь такая книга только одна и была на Руси.

Бедного Я<зыкова> постигло страшное несчастие — у него умер Саша, чудесный мальчик. Бедная мать чуть не сошла с ума, молоко готовилось броситься ей в голову, она уже заговаривалась. Страшно подумать, смерть двухлетнего ребенка! Моей дочери только восемь месяцев, а я уж думаю: «Если тебе суждено умереть, зачем ты не умерла полгода назад!» Чего стоит матери родить ребенка, чего стоит поставить его на ноги, чего стоит ребенку пройти через прорезывание зубов, крупы, кори, скарлатины, коклюши, поносы, запоры, — смерть так и бьется за него

с жизнию, а если жизнь побеждает, то для того, чтобы ребенок сделался со временем чиновником или офицером, барышнею и барыней. Было из чего хлопотать! Смешно и страшно! Жизнь исполнена ужасного юмора. Бедный Я<зыков>!

Коли мне не ехать за границу, так и не ехать. У меня давно уже нет жгучих желаний, и потому мне легко отказываться от всего, что не удается. С М. С. в Крым и Одессу очень бы хотелось; но семейство в Петербурге оставить на лето не хочется, а переехать ему в Гапсаль — двойные расходы.

Впрочем, посмотрю. Твоему приезду в апреле рад донельзя.

V

С.-Петербург, 20 марта 1846.

Получил я конец статьи К<авелина>, «Записки доктора Крупова», отрывок М. С. и, наконец, статью М<ельгунова> — и все то благо, все добро. Статья К<авелина> — эпоха в истории русской истории, с нее начнется философическое изучение нашей истории. Я был в восторге от его взгляда на Грозного. Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было знания

для оправдания моего взгляда.

«Записки доктора Крупова» — превосходная вещь, больше пока ничего не скажу. При свидании мне много будет говорить с тобою о твоем таланте; твой талант — вещь нешуточная, и если ты будешь писать меньше тома в год, то будешь стоить быть повешенным за ленивые пальцы. Отрывок М. С. — прелесть. Читая его, я будто слушал автора, столько же милого, сколько и талантного. Статья М<ельгуно>ва мне очень понравилась, я очень благодарен ему за нее. Особенно мне нравится первая половина и тот старый румянцовский генерал, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называет мальчишками. Вообще, в этой статье много мемуарного интереса; читая ее, переносишься в доброе старое время и впадаешь в какое-то тихое раздумье. Ты что-то писал мне о статье Рулье, недурно бы; не мешало бы и Грановского что-нибудь. Чисто литературных статей у меня теперь по горло, ешь не хочу, и потому ученых еще две было бы очень не худо. Имя моему альманаху «Левиафан». Выйдет он осенью, но в цензуру пойдет на днях и немедленно будет печататься.

Насчет путешествия с М. С., кажется, что поеду. Мне обещают денег, и как получу, сейчас же

пишу, что еду. Семейство отправляю в Гапсаль, это и дача в порядочном климате, и курс лечения для жены, что будет ей очень полезно. Тарантас, стоящий на дворе М. С., видится мне и днем и ночью, это не соллогубовскому тарантасу чета. Святители! Сделать верст тысячи четыре, на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии — да это для меня лучше Магометова рая, и гурий не надо, черт с ними!

Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать М. С., я так и буду готовиться. Альманаха при мне напечатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу[1525].

Здравствуй, Николай Платонович, наконец-то твое возвращение уже не миф. Я был на тебя сердит и больно бранил, а за что, спроси у Герцена. А теперь я хотел бы поскорей увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редереру — что это за вино, братец ты мой! С<атину> и всем вам жму руку.

[1525] Сноски: 1525

Альманах этот никогда не выходил. Белинский вместо его поставил на ноги «Современник».

VI

С.-Петербург, 6 апреля 1846.

Вчера написал было я к тебе письмо, сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго ожидал. Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой во сне даже брежу) черт положит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки? Я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнию. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это с таким спутником, как М. С., да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. Мой доктор (очень хороший доктор, хотя и не Крупов) сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, М. С. едет решительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться; но во всяком случае я на днях беру место в мальпост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли

М. С. и когда именно. Вот почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так, что куда девалась лень, и я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то что Т<учков> едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 р. с. тоже не последнее обстоятельство в письме твоем, меня обрадовавшее. Только этих денег мне не высылай, а отдай мне их в Москве, оно проще и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет; может быть, станет их на месяц и по приезде в Питер, а там что будет, то и будет, vogue la galère! Нашему брату *подлецу*, т. е. нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего, а притом, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти.

Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?». Я из нее окончательно убедился, что ты большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт, не только в «Генрияде», но и в «Кандиде» — однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие не великие уже пережил и еще

больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию — и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди — ограниченны и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот — талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который все родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом, — нет, твой талант — черт его знает — такой же бастард или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думал об этом вопросе) и мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу: «Эврика! Эврика!» Есть умы чисто спекулятивные, для которых мышление почти то же, что чистая математика, и вот когда такие принимаются за поэзию, у них

выходят аллегории, и тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума с бездарностию родит камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Хроносу. Но у тебя, при уме живом и осердеченном, есть своего рода талант; в чем он состоит, не умею сказать, но дело в том, что я глупее тебя на много раз, а искусства (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе; фантазия у меня преобладает над умом, и, кажись, по всему этому, такому *своего рода* таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя (уже по одному тому, что тебе читать Канта, Гегелеву феноменологию и логику — нипочем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей), а ведь у меня такого *своего рода* таланта ни больше, ни меньше, как на столько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно,

как и под произведения истинного художества. Как *Нос* в Гоголевой повести, ты можешь сказать: *«Я сам по себе!»* Дельные идеи и талантливое, живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностию автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя все оригинально, все свое — даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинство. Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши как можно более и не для себя, а для дела; у тебя такой талант, за скрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие.

Кончаю письмо известием, что мы с Н<екрасовым> взяли билет в мальпост на 26 апреля.

В. Б.

VII

Одесса, 4 июля 1846.

Вчера получил письмо твое, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо. Насчет первого

пункта вполне полагаюсь на тебя; не забывай только одного — распорядиться в том случае, если мы разъедемся.

Мои путевые впечатления собственно будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои «Письма об изучении природы» — вовсе не об изучении природы. Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкой статьи или, лучше сказать, придиркою к ней. Они будут состоять больше в толках о скверной погоде и еще сквернейших дорогах.

А буду писать я вот о чем: 1. О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими и мною, но предмет будет рассмотрен à fond[1526]. М. С. играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе и, может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и черт знает где еще. Я видел много, ходя и на репетиции и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, М.

[1526] Сноски: 1526
досконально (*фр.*).

С. преусердно снабжает меня комментариями и фактами, так что все будет ново и сильно.

2. В Харькове я прочел «Московский сборник». Статья С<амарина> умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и зацепляет меня в лице «Отечественных записок». Как умно и зло казнил он аристократические замашки С<оллогу>ба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Х<омяков>… я ж ему дам зацеплять меня — узнает он мои крючки!

3. Я не читал еще ругательства Сенковского; но рад ему как новому материалу для моей статьи.

Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячине, сдобренною полемическим задором.

В Калуге столкнулся я с И. А<ксаковым>. Славный юноша! Славянофил — а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!

Здоровье мое лучше. Я как-то свежее и заметно крепче, но кашель все еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30 опять посвежело; впрочем, все тепло, так что ночью потеешь в летнем пальто. Начал было я *читать Данта,* т. е. купаться в море[1527], да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал кровью; доктор велел на время прекратить купанья.

Вот что скверно. Последние два письма от жены получил я в Харькове, от 22 и 27 мая, в обоих она жалуется на огорчения и на лихорадку; а с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с нею делается, — тоска! Без этого мне было бы весело — far niente[1528].

С<около>в славный малый, но впал в провинциальное прекраснодушие. Оттого, что ты в письме ко мне не упомянул о нем, чуть не расплакался. О провинция, ужасная вещь! Одесса лучше всех губернских городов, это решительно третья столица России, очаровательный город, но *для проходящих.* Остаться жить в ней гибель.

[1527] Сноски: 1527
Стих Шевырева: «Что в море купаться — что Данта читать».

[1528] Сноски: 1528
ничегонеделание (*ит.*).

Наталье Александровне мой поклон. А что ж ты не пишешь, где теперь пьет О<гарев> и селадонствует С<атин>? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты К<орша>? Поклонись от меня его семейству и не сказывай М<арье> Ф<едоровне>..., что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства: она, пожалуй, сочтет меня за *преступного семьянина,* а такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты К<орша>. Прощай. Если не поленишься, напиши что-нибудь.

В. Б.

VIII

Симферополь, 6 сентября 1846.

Здравствуй, любезный Герцен, пишу к тебе из тридевятого царства, тридесятого государства, чтобы знал ты, что мы еще существуем на белом свете, хотя он и кажется нам куда как черным. Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним язы-

ком, то тем не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительными славянофилами. Но увы! в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большею частию носят на голове длинные волоса, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотеческих обычаев времен Кошихина — своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом — принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснее того, что блеет Ш. и вся почтенная славянофильская братия.

Несмотря на то, Симферополь по своему местоположению, очень миленький городок; он не в горах, но от него начинаются горы и из него видна вершина Чатыр-Дага. После степей Новороссии, обожженных солнцем и пыльных и голых, я бы видел себя теперь как бы в новом мире, если б не страшный припадок геморроя,

который теперь проходит, а мучить начал меня с 24 числа прошлого месяца.

Настоящая цель этого письма — напомнить вам о «Букиньоне», или «Букильоне», — пьесе, которую С<атин> видел в Париже и о которой он говорил М. С. как о такой пьесе, в которой для него есть хорошая роль. А он давно уж подумывает о своем бенефисе и хотел бы узнать вовремя, до какой степени может он надеяться на ваше содействие в этом случае.

Нет! Я не путешественник, особенно по степям. Напишешь домой письмо — и получаешь ответ на него через полтора месяца: слуга покорный пускаться вперед в такие Австралии!

Когда ты будешь читать это письмо, я уже, вероятно, буду на пути в Москву. По сие время еще не пришли в Симферополь «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» за август. Прощай, кланяюсь всем нашим и остаюсь жаждущий увидеться с ними поскорее.

В. Б.

P. S. Не знаю, привезу ли с собою здоровье; но уж бороду непременно привезу — вышла, братец, бородка весьма недурная.

Из писем Тимофея Николаевича Грановского

I

Москва, 1847.

«Опять романтизм», — скажешь ты, может быть, прочитав это письмо. Пусть будет по-твоему, Герцен. Я остаюсь неизлечимым романтиком. Сегодня у меня потребность говорить с тобой. Ночь так хороша; Лиза до двух часов мне играла Моцарта, душа настроена тепло, как давно не было. И потом твой «Крупов»!

Я его слышал от тебя прежде, но он мало произвел на меня впечатления, не знаю почему. В «Современнике» он напечатан с большими выпусками, а я не могу его начитаться. Знаешь ли, что это просто гениальная вещь? Давно я не испытывал такого наслаждения, какое он мне дал. Так шутил Вольтер, во время оно, и сколько теплоты и поэзии; мне от него повеяло тобою, днями, проведенными в Покровском и в деревянном доме[1529]; Крупов снял у меня с души что-то ее

[1529] Сноски: 1529

Грановский говорит о доме, в котором мы жили до кончины моего отца.

сжимавшее, отчего ей было неловко с тобою. Мне кажется, что я опять слышу твой смех, что я опять вижу тебя во всей красоте и молодости твоей природы. Зачем же было надевать на себя какую-то *буржуазную* маску, которую ты так гонишь во Франции?[1530] Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная arrière-pensée, которая поминутно пробивается наружу. То же чувствовал, кажется, и К<орш>, хотя мы не говорили с ним об этом. Твои прежние насмешки над близкими тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письме к Т<атьяне> А<лексеевне> и т. д., это было нехорошо. Последние дни твои в многом могли доказать тебе, что соколовские споры не оставили следов и сколько любви и преданности оставил ты за собою. К<орш> умеет

[1530] Сноски: 1530

Я этого упрека никогда не мог понять и относил его к дамским размолвкам перед нашим отъездом, об них я упомянул вскользь, см. «Былое и думы» в «Полярной звезде» на 1858.

шутить и острить, когда его дети больны, но он плакал, провожая тебя. Неужели ты не оценил этих недешевых слез? К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.? Мы не писали к тебе, но разве твои письма из Парижа вызывали к ответу? Что мне за охота спорить с тобою о настоящем значении bourgeoisie, я говорю об этом довольно с кафедры. Я человек до крайности личный, то есть дорожу своими личными отношениями, а эти отношения к тебе были нелегки в последнее время. Дай же руку, carissime![1531] Да здравствуют записки д-ра Крупова, они были для меня и художественным произведением, и письмом от тебя. Из них я опять услышал твой голос, увидел твое лицо.

Жду с нетерпением писем из Avenue Marigny и от тебя также.

Наталье Александровне пожми от меня крепко обе руки. Когда же увижу вас, друзья мои? Покаместь будьте счастливы, прощайте! А Крупов дивно хорош! М<арье> Ф<едоровне> рукожатие.

[1531] Сноски: 1531
дорогой мой (*ит.*).

II

Москва, 1849.

Х. берется доставить вам эти письма, друзья мои, следовательно, можно сказать несколько слов, не опасаясь почтовой цензуры. Положение наше становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университет предполагалось закрыть. Теперь ограничились пока следующими уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату с студентов и уменьшили их число законом, вследствие которого *ни в одном русском университете не может быть более 300 своекоштных студентов.* Приемы студентов в университет года на два остановлены. У нас, вероятно, до 1852 года, потому что в Московском университете 1400 студентов, надобно, следовательно, выпустить 1200, чтобы иметь право принять сотню новых. Даже невежды вопиют против этой меры, лишающей их детей, в продолжение нескольких

лет, университетских аттестатов. Дворянский институт закрыт; учебным заведениям грозит та же участь, например, Лицею и Школе правоведения. Не устоят и университеты. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставлен образцом подчинения, дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древнего мира и показать *величие не понятой историками империи римской,* которой недоставало одного только — *наследственности.* Даже учителю танцевания поручена нравственная пропаганда. А между тем в Петербурге открыты три тайные общества разом, и в них много офицеров, вышедших из кадетских корпусов. О литературе и говорить нечего.

Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда ж развалится этот мир! Я решился не идти в отставку и ждать на месте

совершение судьбы. Кое-что еще можно делать благородному человеку, пусть выгоняют сами…

Ты не понял, что я писал о деньгах, дело идет не лично о ком-нибудь, а о всех нас и о возможности еще действовать. Все мы держимся на волоске, каждому предстоит или отставка, или поездка в Вятку и, может, далее. Журналы едва существуют. Надобно дать публике книги, хорошие книги, они легче проходят через ценсуру, у нас читают много, более делать нечего — а читать что? На все эти éventualités[1532] нужен капитал, к которому мы могли бы прибегать и который был бы всегда готов, это дело общее и личное наше… Потеря этого капитала невозможна, ибо он гарантирован всеми нами и способом употребления. Пока будет лежать в банковых билетах, если случится что важное с кем-нибудь, ему будет тотчас выдано что-нибудь и будут средства для литературных изданий. Сверх того, Фролов и я затеяли всеобщую историю.

[1532] Сноски: 1532
возможные случаи (*фр.*).

Голохвастов подал в отставку от страха, видя что делается, на его место никто не идет. Что будет, не знаем. Строгонов в совершенной немилости. Все это для них либералы, даже Голохвастов. Первые казни, верно, будут в Петербурге. Вопрос об эманципации оставлен; приняты меры против фабричных работников, за ними строгий надзор. Слышен глухой, общий ропот, но где силы для оппозиции. Тяжело, Герцен, а выхода нет живому!

Т. Г.

III

Село Ильинское, в 20 верстах от Москвы, 1849.

Вчера привезли нам известие о смерти И. П. Галахова. Еще одним благородным человеком стало менее. На днях распустили в Москве слух о твоей смерти. Когда мне сказали об этом, я готов был хохотать от всей души. Этого недоставало еще, а впрочем, почему же и не умереть тебе? Ведь это не было бы глупее остального. Пока хорошо, что ты жив. Есть о ком с любовью подумать. Поводом к слухам о твоей смерти было твое письмо к Е<гору> И<вановичу>, где ты говоришь о при-

падке холеры с И. Т., вас смешали. Галахов писал тебе много перед смертью, нельзя ли как-нибудь доставить интереснейшие письма Фролову? Он просит тебя об этом.

Жму вам обоим руку, обнимаю детей ваших. Учить их истории более не хочу, не стоит. Довольно им знать, что это глупая, ни к чему не ведущая вещь. Лето хорошее, на зиму я набрал много работы. Менее буду думать, grübeln[1533], телом я очень здоров, но душа едва ли когда выздоровеет. Еще раз жму ваши руки.

Ваш Грановский.

IV

Весною 1851.

Пользуюсь наскоро, чтоб сказать вам несколько слов, друзья мои. Какой-то добрый немец берет письмо мое для доставления вам. Он едет через несколько часов.

Кроме отрывочных сведений, сообщаемых М<ельгуновым>, мы ровно ничего не знаем об вас, возвратились ли вы из Испании? и где намерены жить этот год?..

[1533] Сноски: 1533
углубляться в размышления (*нем.*).

...Если б здешние друзья твои могли отправиться en pèlerinage[1534] к тебе, они пошли бы и привели бы с собою много лиц, тебе не известных. О тебе осталось исполненное любви воспоминание не у одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои (кроме одного парижского) разным юношам. Есть негодяи, бранящие тебя, но они бедны умом и подлы сердцем.

Книги твои дошли до нас. Я читал их с радостью и с горьким чувством. Какой огромный талант у тебя и какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нас и говорить чужим языком; но, с другой стороны, я не могу помириться с твоим воззрением на историю и на человека. Оно, пожалуй, оправдает Гайнау и tutti quanti[1535]. Для такого человечества, какое ты представляешь в статьях своих, для такого скудного и бесплодного развития не нужно великих и благородных деятелей. Всякому правительству можно стать на твою точку зрения и наказывать революционеров за бесплодные и ни к чему не ведущие волнения. Все, что ты писал до сих

[1534] Сноски: 1534
на поклонение (*фр.*).

[1535] Сноски: 1535
всех прочих (*ит.*).

пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталь, отрешено от живого движения событий. Ты стоишь одинок. Ты, скажу без увлечения, значительный писатель, у тебя есть условия сделаться великим писателем, но то, что было в России живого и симпатичного для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чужой почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться *ею.* — Скоро едут мои знакомые за границу, они привезут тебе *большое* письмо[1536], там расскажу подробнее обо всех нас и скажу, может быть, еще что-нибудь о книгах твоих.

Мне открывалась возможность ехать на Лондонскую выставку, но она мелькнула только.

Наши все вам кланяются. Лиза была крепко больна, жму вам обоим крепко руку, ваш

Т. Г.

V

1854 года.

Годы прошли с тех пор, как мы слышали в по-

[1536] Сноски: 1536

В конце 1851 г. Грановский написал мне длинное письмо; письмо это, отданное в Париже моей матери, погибло вместе с нею 16 ноября.

следний раз живое слово от тебя. Отвечать не было возможности. Над всеми здешними друзьями твоими висела туча, которая едва рассеялась. Но утешительного мало и впереди, хотя живется как-то легче.

Из сочинений твоих некоторые дошли и к нам с большим трудом и в большой тайне. Друзья твои прочли их с жадностью, любовью и грустью. От них веет нашею прошлой, общей молодостью и нашими несбывшимися надеждами. Многого хотели — а на чем помирила нас судьба? Менее всего понравился здесь «Юрьев день». Зачем ты бросил камень в Петра, вовсе не заслужившего твоих обвинений, потому что ты привел неверные факты. Чем более живем мы, тем колоссальнее растет перед нами образ Петра. Тебе, оторванному от России, отвыкшему от нее, он не может быть так близок и так понятен; глядя на пороки Запада, ты клонишься к славянам и готов им подать руку. Пожил бы ты здесь, и ты сказал бы другое. Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет.

Еще одно замечание по поводу твоих сочинений. Если ты хочешь действовать на мнение у нас, не печатай таких вещей, как песня Соколовского[1537]. Она оскорбила многих, которые иначе остались бы довольны книгой и согласились бы с нею. Вообще имей больше в виду твоих читателей и берегись неверных фактов, которые у тебя часто проскакивают.

Но довольно общего, перейдем к частному. У нас опять проснулась надежда когда-нибудь видеться с тобою и пожать тебе крепко, братски руку. Может, через год. Сколько перемен, сколько горя, сколько утрат со дня нашей разлуки…

…Что сказать тебе? Память о тебе свежо сохранилась в кружке твоих друзей. Когда случай сводит нас вместе, рассеянных теперь, твое имя чаще всех других раздается между нами. Где-то увидим тебя?.. Только не здесь!

Твой Г.

Письмо Петра Яковлевича Чаадаева

Москва, 26 июля 1851.

Слышу, что вы обо мне помните и меня любите.

[1537] Сноски: 1537
«Тюрьма и ссылка».

Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что события мира разлучили нас с вами, может быть, навсегда. Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, так чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне кажется, лучше было усвоить вам себе язык французский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при чтении хороших образцов ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются. Тяжело однако ж будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались. Как бы то ни было, я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот, а это главное дело. Стыдно бы было, чтоб в наше время русский человек стоял ниже Кошихина.

Благодарю вас за известные строки. Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете не общие места — а общие мысли. Этому человеку, кажется, суждено было быть примером не угнетения, против которого восстают люди, — а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнее первого. N'allez

pas prendre cela pour un lieu commun[1538]. Может быть, дурно выразился.

Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас, так же как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите.

Из Писем П. Ж. Прудона[1539]

I

S-te Pélagie, 27 ноября 1851.

Весть о несчастии, вас поразившем, дошла до нас[1540], она глубоко огорчила нас. Все наши друзья поручили мне от их имени передать вам слово их искреннего участия, живой симпатии, неизменной любви к вам.

Итак, видно, еще мало, что мы страдаем внутри

[1538] Сноски: 1538

Не примите это за общее место (*фр.*).

[1539] Сноски: 1539

Из двух первых писем Прудона, одного, писанного 23 августа 1849, и другого из Консьержри от 15 сентября 1849, выписана вся общая часть в тексте «Былое и думы».

[1540] Сноски: 1540

Весть о гибели парохода 16 ноября 1851.

нашего разумения в качестве мыслящих людей, страдаем в нашей совести — человека, гражданина… надо еще, чтоб несчастие за несчастием гналось за нами по пятам и преследовало бы нас в нашей любви сына, отца… Бедствия, так же как, с другой стороны, счастливые случаи, идут, цепляясь друг за друга, и когда вглядываешься поближе, то связь становится заметна, начинаешь разглядывать, что тот же самый гнет, который ведет нас в тюрьму, в ссылку, с другой стороны, морит голодом, болезнями.

Двадцать лет тому назад мой брат, молодой солдат, лишил себя жизни; капитан — вор, которому он не хотел помогать, довел его мелкими преследованиями до самоубийства. Отец и мать мои умерли преждевременно, одряхлевшие, изнуренные жизнию, исполненной горечи, побитые сборщиками податей, судейскими прижимками, всем, что называется властию.

В чем разница между крестьянином, у которого сын взят в солдаты, хозяйство разорено налогами и пр., который ломится под тяжестию безвыходного положения, — и вами, обреченным на скитанье из страны в страну, на все случайности переездов и у которого часть семьи гибнет в волнах?

Я родился в семье земледельцев и очень знаю, сколько членов семьи нашей с отцовской и с материнской стороны были разорены, доведены до отчаяния, убиты всеми этими старыми и новыми рабствами в продолжение века. И будьте уверены, что эти наболевшие, глухие воспоминания очень взошли в счет, когда я предпринял мою борьбу. Несчастие, поразившее вас, разбередило мои раны больнее, чем когда-нибудь, и как ни печально и ни суетно такое утешение, но и этот новый зуб (grief[1541]) не забудется в репертуаре выстраданных мною вещей.

Станемте теснее, чтоб лучше переносить наши невзгоды и бороться против наших врагов; чтоб увеличить, усилить нами, нашими словами — возмущающееся поколение, для которого мы ничего не можем сделать любовью и семейной жизнию.

Я сам отец, и скоро буду им во второй раз. Жена моя кормила ребенка своим молоком, растила его на моих глазах. Я знаю, что такое то беспрерывное чувство отцовской любви, которое ежеминутно растет, каким-то беспрерывным, повторяющимся излиянием сердца. Я через два года чувствую,

---

[1541] Сноски: 1541
урон (*фр.*).

как неразрывно тверды стали цепи, которые приковывают нас к этим маленьким существам, которые словно сжимают в себе начало и конец нашей жизни, ее причину, ее цель. Из этого вы поймете, как отозвалось во мне ваше несчастие.

Не успел я оплакать нашего Бакунина[1542], вдруг весть о гибели этого парохода. Ничего не подозревая, я на днях писал к Ш. Е. и писал об вас, шутя, с моей вечной иронией. Сегодня скорбь удручает меня; о, сколько слез, крови, в которых я имею право спросить отчета у гнетущей силы… так много, что я отчаиваюсь при жизни свести счеты и только повторяю с псалмопевцем: Beatus qui retribuit tibi retributionem tuam, quam retribuisti nobis![1543]

Да, Герцен, Бакунин, я вас люблю, вы тут, в этой груди, которую многие считают каменной. У русских, у казаков (простите выражение) (!?) — я нашел больше души, решимости, энергии. А мы выродившиеся *крикуны* (tapageurs), унижающиеся перед силой сегодня и завтра безжалостные

[1542] Сноски: 1542

Слух о смерти М. Бакунина в шлюссельбургских казематах был тогда распространен во всей Европе.

[1543] Сноски: 1543

Блажен, кто так же воздает тебе по заслугам, как и ты воздаешь нам! (*лат.*)

гонители, если завладеем местом.

А между тем все распадается, оседает, все дрожит и готовится к борьбе, волны поднялись высоко, того и смотри затопят последние убежища реакции. По деревням, на полях являются страшные мести, невидимый враг поджигает житницы, валит деревья в лесу, уничтожает дичь, грозит и исполняет иной раз угрозы под штыками солдат и саблями конницы.

О, друзья мои! торопитесь оплакать ваши частные горести, идет время, и если его не устранит последнее условие примиряющего разума, если оно не сведет покоя на землю, оно придет, и вы увидите вещи, от которых сердце ваше окаменеет и вы сделаетесь нечувствительными к собственным бедствиям своим! Жму вашу руку.

П. Ж. Прудон.

P. S. В ту минуту, как я хотел запечатать мое письмо, пришел меня навестить Мишле. Он знал уж о вашем несчастии, и мы вместе погоревали еще. Говорили мы много с ним о России, о Польше, об иезуитах, об революции и об вашей брошюре[1544]. Все люди с сердцем понимают друг друга от одного конца Европы до другого… но бе-

---

[1544] Сноски: 1544

«La Russie et le socialisme», lettre à J. Michelet.

гите *особенных кружков* (conciliabules) и *ложных пророков*...

II

Rue d'Enfer, 83, Париж, 23 июля 1855.

Письмо ваше от 14 было мне передано только 18 и именно в такую минуту, когда я был завален работой и делами. Отвечать прежде мне было невозможно.

Пользуюсь небольшим досугом, чтоб сердечно поблагодарить вас, что вы не забыли меня, предпринимая ваше «Русское обозрение». Наше воззрение, я думаю, сходно; мы связаны круговой порукой, у нас общие надежды и те же упования. С края на край Европы та же мысль, как молния, освещает все свободные сердца. Не говоря друг с другом, не переписываясь, хотим мы того или не хотим, — мы *сотрудники* друг друга. Я не могу теперь написать вам статьи, но чего нельзя сегодня, то можно завтра, и во всяком случае, живой или мертвый, я хочу быть одним из титулярных (honoraires) редакторов «Русской звезды»[1545].

[1545] Сноски: 1545

Отрывок из этого письма был напечатан в I кн. «Полярной звезды».

Наше положение ужасно трудно! Вы пока еще заняты правительствами, а я, напротив, смотрю на управляемых. Не следует ли прежде, чем нападать на деспотизм притеснителей, напасть на деспотизм освободителей? Видали ли вы что-нибудь ближе подходящее к тирании, чем народные трибуны, и не казалась ли вам иной раз нетерпимость мучеников так же отвратительной, как бешенство их гонителей? Деспотизм оттого так трудно сокрушить, что он опирается на внутреннее чувство своих антагонистов, я должен бы сказать — своих соперников, так что писатель, действительно любящий свободу, истинный друг революции, часто не знает, в которую сторону ему направлять свои удары, в скопище ли утеснителей или в недобросовестность утесненных.

Верите ли вы, например, что русское самодержавие произведено одной грубой силой и династическими происками?.. Смотрите, нет ли у него сокровенных оснований, тайных корней в самом сердце русского народа? Я спрашиваю вас — как одного из самых откровенных людей, которых я знал, — неужели вы не приходили в негодование, в отчаяние от притворства, от махиавеллизма тех, которых так или иначе

европейская демократия признает или *выносит* своими главами? Не надо распадаться перед неприятелем — скажете вы; но, любезный Герцен, что страшнее для свободы — распадение или измена?

То, что я вижу на Западе, дает мне право предположить о том, что будет на Востоке, которого я не знаю; люди всё те же под всеми меридианами. Я четыре года смотрю, как вслед за гибельным примером какое-то бешенство деспотизма охватило все души; как презрение масс, вчера объявляемых самодержавными, почти боготворимых, сделалось общим мнением; как люди, у которых свобода была девизом, ругаются теперь над ней; как социальная революция была осмеяна, посвящена смерти — лицемерами, которые со дня ее рождения поклонялись ей. Знаете ли вы, наконец, на ком хотят эти побежденные вчерашнего дня выместить горе своей неудачи? — На тирании, на привилегиях, на суеверии? Нет, на народе (la plèbe), на философии, на революции…

Speramini, popule meus![1546] Какое же общение возможно с ними? Сделаемте союз, как Бертран дю Гесклин и Оливье де Клиссон, *за свободу*

[1546] Сноски: 1546
Надейся, народ мой! (*лат.*)

quand même[1547], против всех живых и мертвых. Будем поддерживать дело освобождения, откуда бы оно ни шло и каким бы образом оно ни являлось, и будем без пощады сражаться против предрассудков, хотя бы мы их и встречали у наших единомышленников и братьев. Если газеты говорят правду, то Александр II собирается возвратить Польше долю ее прав[1548], как будто исполняя программу вашу, любезный Герцен, и это в то время, как Запад воюет против него и против революции за Турцию. Кому же дать пальму? Английской ли аристократии, которая с высоты свободной трибуны всенародно отзывается с презрением о Венгрии и Польше, или царю, начинающему восстановление Польши? Римскому ли понтифу, проклинающему восстание Польши, или еретическому царю, зовущему ее на жизнь?

Снова будто с Востока занимается свобода, с Востока варварского, из этой родины рабов, кочующих дикарей отсвечивает на нас нравственная жизнь его, убитая на Западе эгоизмом мещан и нелепостию якобинцев; отсвечивает

[1547] Сноски: 1547
вопреки всему (*фр.*).

[1548] Сноски: 1548
Тогдашние слухи!

на нас в то время, как грубый материализм нас пожирает больше чумы и картечи; наше несчастное войско и народ русский увлекаются в бой благородными чувствами народности, религии, ненавистию к варварству и, может, надеждой на свободу, обещанную царем.

История полна этих противуречий.

Принесут ли наши солдаты, храбрые в опасности, герои перед смертию, — принесут ли они с собой заразу благородных чувств и широких помыслов? Не знаю. От Запада они отрезаны механизмом дисциплины; казарменный дух, жалкая страсть отличий их очень забили — может, они придут так, как пошли солдатами папы и императора, Рима и 2 декабря.

Но чего не сделает «пушечное мясо», то сумеет сделать перо писателя. С берегов Черной, Днепра, Вислы — мысль о свободе придет пристыдить старую революционную весь. Она вызовет воспоминания 14 июля, 10 августа, 31 мая, 1830, 1848. Тогда мир узнает, может ли Франция, победоносная в Крыму (это предположение я поневоле должен сделать для моих суетных соотечественников), еще держать скипетр образования и прогресса…

Прощайте, любезный друг. Сохраните себя неприкосновенным и чистым в наших передрягах, это мое единственное желание вам, пусть оно будет залогом вашего успеха.

П. Ж. Прудон.

Письмо Томаса Карлейля

5, Чайна Род, Челси, 13 апреля 1855.

Dear Sir[1549],

Я прочел вашу речь[1550] о революционных началах и элементах в России; много в ней мощного духа и сильного таланта, она особенно поражает трагической серьезностью тона, которого нельзя не видеть и нельзя легко принять читателю, какого бы мнения он ни был о вашей программе и о вашем пророчестве России и миру.

Что касается до меня, я признаюсь, что никогда не считал, а теперь (если это возможно) еще меньше, чем прежде, надеюсь на всеобщую подачу голосов, во всех его видоизменениях. Если оно может принести что-нибудь хорошее, то

[1549] Сноски: 1549
Дорогой сэр (*англ.*).

[1550] Сноски: 1550
Произнесенная в С. Мартин'с Галь 26 февраля 1855.

это так, как воспаление в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый царизм или даже великий туркизм (grand turkism) — чистой анархии (а я ее такою, по несчастию, считаю), развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов. «Ach, mein lieber Sultzer, er kennt nicht diese verdammte Rasse»[1551], — сказал раз Фридрих II, и в этом он выразил печальную истину.

В вашей обширной родине, которую я всегда уважал как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя провидения, которого внутренний смысл еще неизвестен, но который очевидно не исполнен в наше время; она имеет талант, в котором она первенствует и который дает ей мощь, далеко превышающую другие страны, — *талант,* необходимый всем нациям, всем существам и беспощадно требуемый от них всех под опасением наказаний, — *талант повиновения,* который в других местах вышел из моды, особенно теперь. И я нисколько не сомневаюсь, что отсутствие его будет, рано или поздно, вымещено до последней копейки и принесет с собой страшное банкротство. Таково мое мрачное веро-

[1551] Сноски: 1551
«Ах, мой дорогой Шультцер, он не знает этой проклятой расы» (*нем.*).

вание в эти революционные времена.

Несмотря на наши разномыслия, я буду очень рад, если вы заедете ко мне, будучи в городе; да я и сам надеюсь как-нибудь, прогуливаясь, завернуть в вашу Чомле-Лодж и потолковать с вами о разных разностях.

С искренним уважением и желанием всякого добра…

Т. Карлейль[1552].

[1552] Сноски: 1552

Вот мой ответ на письмо Томаса Карлейля:

«Позвольте вам сказать несколько слов о тех близких мне предметах, которые вы затронули в вашем письме.

Я никогда не был горячим поклонником *всеобщей* подачи голосов. Она, как всякая форма, не связанная с необходимым содержанием, может быть хороша и дурна, может привести к результатам счастливым или совершенно нелепым. Социализм идет дальше арифметического сложения и вычитания голосов, которыми определяют *числовое* достоинство закона. Социализм старается раскрыть законы наиболее естественного устройства общества и стремится к данным историческим условиям.

“Анархия”, “талант повиновения” — все это очень смутно и требует большей определительности. Если анархия значит беспорядок, произвол, разрыв круговой поруки, разрыв с разумом, то социализм больше борется с ней, чем монархия…

Талант повиноваться в согласии с нашей совестью — *добродетель*. Но талант *борьбы*, который требует, чтоб мы не повиновались против нашей совести, — тоже добродетель!

Природа представляется нам самою огромною гармоническою анархией, и именно оттого-то в природе все в порядке, что идет само по себе. Разумеется, анархия в этом смысле не значит tohu-bohu <беспорядок (*фр.*)>, путаница капризов, странностей. Признание анархии в мысли не значит освобождение ее от логики, но дело в том, что я не из *повиновения* говорю, что 2 x 2 = 4. Религия — совсем напротив, она, как монархия, требует не только талант разумения, но и талант

послушания и верования.

Без таланта борьбы и противудействия мир бы еще стоял на точке Японии, не было бы ни истории, ни развития…

“Всякая власть от Бога”, — сказал ап. Павел, а сам был мятежный гражданин римский, богохулец Дианы Ефесской, бродящий демагог на Via Appia, общинник (partageux), казненный цезарем именно за то, что он у него не находил достаточно развитым талант повиновения.

Вы, как мыслитель, должны извинить меня, что я против вас отстаиваю мои мнения, зная очень хорошо сравнительную слабость моих сил.

Как только я буду в Лондоне, непременно явлюсь с моим почтением к г-же Карлейль, и очень буду рад вас видеть в моей Ричмондской пустыне для того, чтобы продолжать viva voce <в личной беседе (*ит.*)> наши споры.

Ричмонд, 14 апреля 1855».

Рекомендуем книги по теме



Полка: О главных книгах русской литературы (тома I, II)

Коллектив авторов



Полка: О главных книгах русской литературы (тома III, IV)

Коллектив авторов

Примечания

1. Гурвич-Лищинер С. Д. Творчество Александра Герцена и немецкая культура. — Франкфурт-на-Майне: Peter Lang, 2001. С. 271–272.

«The murderer Barthélemy

A monsieur le rédacteur du “Times”.

Monsieur le Rédacteur, — Je viens de lire dans votre estimable feuille de ce jour, sur les derniers moments du malheureux Barthélemy, un récit, auquel je pourrais beaucoup a jouter, tout en y relevant un grand nombre de singulières inexactitudes. Mais, vous comprenez, Monsieur, tout ce que m’impose de réserver ma position de prêtre catholique et de confident du prisonnier.

J’étais, donc, résolu de demeurer étranger à tout ce qui serait publié sur les derniers moments de cet infortuné (et c’est ainsi que j’avais refusé de répondre à toutes les demandes qui m’avaient été adressées par des journaux de toutes les opinions); mais je ne puis laisser passer sous silence l’imputation, flétrissante pour mon caractere, qu’on met adroitement dans la bouche du malheureux prisonnier, quand on lui

fait dire: “que j’avais trop bon goût pour le troubler au sujet de la religion”.

J’ignore si Barthélemy a réellement tenu un pareil langage, et à quelle époque il l’a tenu. S’il s’agit de mes trois premières visites, il disait vrai. Je connaissais trop bien cet homme pour essayer de lui parler de la religion avant d’avoir gagné sa confiance; il me serait arrivé ce qui était arrivé à d’autres prêtres catholiques qui l’ont visité avant moi. Il aurait refusé de me voir plus longtemps; mais dès ma quatrième visite la religion a été le sujet de nos continuels entretiens. Je n’en voudrais pour preuve que cette conversation si animée, qui a eu lieu entre nous dans la soirée de dimanche sur l’éternité des peines, l’article de notre, ou plutôt de sa religion, qui lui faisait le plus de peine. Il refusait, avec Voltaire, de croire, que –

> *Ce Dieu qui sur nos jours versa tant de bienfaits,*
>
> *Quand ces jours sont finis, nous tourmente à jamais.*

Je pourrais citer encore les paroles qu’il m’adressait un quart d’heure avant de monter à l’échafaud; mais, comme ces paroles n’auraient d’autre garantie que mon propre témoignage, j’aime mieux citer la lettre

suivante, écrite par lui le jour même de l'exécution, à six heures du matin, au moment où, selon le récit de votre correspondant, il dormait d'un profond sommeil:

"Cher Monsieur l'Abbé, — Avant de cesser de battre, mon cœur éprouve le besoin de vous témoigner toute sa gratitude pour les soins affectueux que vous m'avez si évangeliquement prodigués pendant mes derniers jours. Si ma conversion avait été possible, elle aurait été faite par vous; je vous l'ai dit: je ne crois à rien! Croyez bien que mon incrédulité n'est point le résultat d'une résistance orgueilleuse; j'ai sincèrement fait mon possible, aidé de vos bons conseils; malheureusement, la foi ne m'est pas venue, et le moment est proche… Dans deux heures je connaîtrai le secret de la mort. Si je me suis trompé, et si l'avenir qui m'attend vous donne raison, malgré ce jugement des hommes, je ne redoute pas de paraître devant notre Dieu, qui, dans sa miséricorde infinie, voudra bien me pardonner mes péchés en ce monde.

Oui, je voudrais pouvoir partager vos croyances, car je comprends que ceux qui se réfugient dans la foi religieuse trouvent, au moment de mourir, des forces dans l'espérance d'une autre vie, tandis que moi, qui ne crois qu'à l'anéantissement éternel, — je suis obligé de puiser à ce moment suprême mes forces dans les

raisonnements, peut-être faux, de la philosophie et dans le courage humain.

Encore une fois merci! et adieu!

E. Barthélemy.

Newgate, 22 janvier, 1855, 6 h. du matin.

P. S. Je vous prie d'être auprès de M. Clifford l'interprête de ma gratitude".

J'ajouterai à cette lettre que le pauvre Barthélemy se trompait lui-même, ou plutôt cherchait à me tromper, par quelques phrases, dernières concessions faites à l'orgueil humain. Ces phrases auraient disparu, je n'en doute pas, si la lettre eût été écrite une heure plus tard. Non, Barthélemy n'est pas mort incrédule; il m'a chargé, au moment de mourir, de déclarer qu'il pardonnait à tous ses ennemis, et m'a prié de me tenir auprès de lui jusqu'au moment où il aurait cessé de vivre. Si je me suis tenu à une certaine distance, — si je me suis arrêté sur la dernière marche de l'échafaud, l'autorité en connait la cause. Du reste, j'ai rempli religieusement les dernières volontés de mon malheureux compatriote. Il m'a dit en me quittant, avec un accent que je n'oublierai de ma vie — "Priez, priez, priez!" J'ai prié avec effusion de cœur, et j'espère que celui a déclaré qu'il était né catholique, et qu'il voulait être catholique, aura eu à son moment suprême un de ces repenties ineffables

qui purifient une âme, et lui ouvrent les portes de l'éternelle vie.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'expression de mes sentiments les plus distingués,

L'abbé Roux.
Chapel-house, Cadogan-terrace, Jan. 24».

<«Убийца Бартелеми.

Господину редактору "Теймса".

Господин редактор, я только что прочел в сегодняшнем номере Вашей уважаемой газеты о последних минутах несчастного Бартелеми — рассказ, к которому я мог бы многое прибавить, указав и на большое количество странных неточностей. Но Вы, господин редактор, понимаете, к какой сдержанности обязывает меня мое положение католического священника и духовника заключенного.

Итак, я решил отстраниться от всего, что будет напечатано о последних минутах этого несчастного (и я действительно отказывался отвечать на все вопросы, с которыми ко мне обращались газеты всех направлений); но я не могу обойти молчанием позорящее меня обвинение, которое ловко вкладывают в уста бедного узника, якобы сказавшего, что "я достаточно воспитан, чтобы

не беспокоить его вопросами религии".

Не знаю, говорил ли Бартелеми действительно что-либо подобное и когда он это говорил. Если речь идет о первых трех моих посещениях, то он говорил правду. Я слишком хорошо знал этого человека, чтобы пытаться заговорить с ним о религии, не завоевав прежде его доверия; в противном случае со мной случилось бы то же, что и со всеми другими католическими священниками, посещавшими его до меня. Он не захотел бы меня больше видеть; но начиная с четвертого посещения, религия являлась предметом наших постоянных бесед. В доказательство этого я желал бы указать на нашу столь оживленную беседу, состоявшуюся в воскресенье вечером, о вечных муках — догмате нашей или, скорее, его религии, который больше всего угнетал его. Вместе с Вольтером он отказывался верить, что "тот Бог, который излил на дни *нашей* жизни столько благодеяний, по окончании этих дней предаст *нас* вечным мукам".

Я мог бы привести еще слова, с которыми он обратился ко мне за четверть часа до того, как он взошел на эшафот; но так как эти слова не имели бы иного подтверждения, кроме моего собственного свидетельства, я предпочитаю

сослаться на следующее письмо, написанное им в самый день казни, в шесть часов утра, в тот самый миг, когда он спал глубоким сном, по словам Вашего корреспондента:

“Дорогой господин аббат. Сердце мое, прежде чем перестать биться, испытывает потребность выразить Вам свою благодарность за нежную заботу, которую Вы с такой евангельской щедростью проявили по отношению ко мне в течение моих последних дней. Если бы мое обращение было возможно, оно было бы совершено Вами: я говорил Вам: «Я ни во что не верю!» Поверьте, что мое неверие вовсе не является следствием сопротивления, вызванного гордыней; я искренне делал все, что мог, пользуясь Вашими добрыми советами; к несчастию, вера не пришла ко мне, а роковой момент близок… Через два часа я познаю тайну смерти. Если я ошибался и если будущее, ожидающее меня, подтвердит Вашу правоту, то, несмотря на этот суд людской, я не боюсь предстать перед Богом, который, в своем бесконечном милосердии, конечно, простит мне мои грехи, совершенные в сем мире.

Да, я желал бы разделять Ваши верования, ибо я понимаю, что тот, кто находит убежище в религии, черпает, в момент смерти, силы

в надежде на другую жизнь, тогда как мне, верующему лишь в вечное уничтожение, приходится в последний час черпать силы в философских рассуждениях, быть может, ложных, и в человеческом мужестве.

Еще раз спасибо! и прощайте!

Е. Бартелеми

Ньюгет, 22 января 1855 г., 6 ч. утра.

P. S. Прошу вас передать мою благодарность г. Клиффорду".

Прибавлю к этому письму, что бедный Бартелеми сам заблуждался, или, вернее, пытался ввести меня в заблуждение несколькими фразами, которые были последней уступкой человеческой гордыне. Эти фразы, несомненно, исчезли бы, если бы письмо было написано часом позднее. Нет, Бартелеми не умер неверующим; он поручил мне, в минуту смерти, объявить, что он прощает всем своим врагам, и просил меня быть около него до той минуты, когда он перестанет жить. Если я держался на некотором расстоянии, — если я остановился на последней ступеньке эшафота, то причина этого известна властям. В конце концов, я выполнил, согласно религии, последнюю волю моего несчастного соотечественника. Покидая меня, он сказал мне с выражением, которого я

никогда в жизни не забуду: “Молитесь, молитесь, молитесь!” Я горячо молился от всего сердца, и надеюсь, что тот, кто объявил, что он родился католиком и что он хотел бы быть католиком, вероятно, в последний час испытал одно из тех невыразимых чувств раскаяния, которые очищают душу и открывают ей врата вечной жизни.

Примите, г. редактор, выражение моего глубочайшего уважения.

Аббат Ру.

Chapel-house, Cadogane-terrace, 24 января»>